РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Серия самых выдающихся книг великих русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения:

Св. митр. Иларион
Св. Нил Сорский
Св. Иосиф Волоцкий
Иван Грозный
«Домострой»
Посошков И. Т.
Ломоносов М. В.
Болотов А. Т.
Пушкин А. С.
Гоголь Н. В.
Тютчев Ф. И.
Св. Серафим Саровский
Муравьев А. Н.
Киреевский И. В.
Хомяков А. С.
Аксаков И. С.
Аксаков К. С.
Самарин Ю. Ф.
Валуев Д. А.
Черкасский В. А.
Гильфердинг А. Ф.
Кошелев А. И.
Кавелин К. Д.
Лешков В. Н.
Погодин М. П.
Беляев И. Д.
Филиппов Т. И.
Гиляров-Платонов Н. П.
Страхов Н. Н.
Данилевский Н. Я.
Достоевский Ф. М.
Одоевский В. Ф.
Григорьев А. А.
Мещерский В. П.
Катков М. Н.
Леонтьев К. Н.
Победоносцев К. П.
Фадеев Р. А.
Киреев А. А.
Черняев М. Г.
Ламанский В. И.
Астафьев П. Е.
Св. Иоанн Кронштадтский
Архиеп. Никон (Рождественский)
Тихомиров Л. А.
Соловьев В. С.
Бердяев Н. А.
Булгаков С. Н.
Хомяков Д. А.
Шарапов С. Ф.
Щербатов А. Г.
Розанов В. В.
Флоровский Г. В.
Ильин И. А.
Нилус С. А.
Меньшиков М. О.
Митр. Антоний Храповицкий
Поселянин Е. Н.
Солоневич И. Л.
Св. архиеп. Иларион (Троицкий)
Башилов Б.
Концевич И. М.
Зеньковский В. В.
Митр. Иоанн (Снычев)
Белов В. И.
Лобанов М. П.
Распутин В. Г.
Шафаревич И. Р.

МИХАИЛ ЛОБАНОВ

ТВЕРДЫНЯ ДУХА

МОСКВА
Институт русской цивилизации
2010

Лобанов М. П. Твердыня духа / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2010. — 1024 с.

В настоящее издание вошли главные идеологические произведения выдающегося русского критика и публициста Михаила Петровича Лобанова, одного из ведущих русских мыслителей XX века. В его трудах сформулированы духовные ценности и цели русского народа, выраженные в великой русской литературе. Цель жизни – стремление к Царствию Божьему через преодоление греха, преображение души на пути добротолюбия, нестяжательства, искания правды, душевной цельности и соборного единения. Русская литература – отражение духовной схватки добра и зла, в которой русскому народу-Богоносцу противостоят все силы мирового зла. Лобанов одним из первых показал тупиковый характер западной цивилизации, назвал ее представителей в России «просвещенным мещанством». Если их не остановить, именно они, пророчески предсказал Лобанов, рано или поздно приведут к разрушению государства и гибели многих плодов тысячелетнего труда русского народа.

ISBN 978-5-902725-64-0

© Институт русской цивилизации, 2010.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Михаил Петрович Лобанов родился 17 ноября 1925 года в деревне Иншаково Спас-Клепиковского района Рязанской области. Во время Великой Отечественной войны участвовал в боях на Курской дуге в составе 58-го гвардейского стрелкового полка (11-я гвардейская армия), 9 августа 1943 года был ранен осколком мины в бою в районе населенного пункта Воейково, что в двадцати четырех километрах восточнее Карачева (Брянская область). За участие в боях награжден двумя боевыми орденами — Красной Звезды и Отечественной войны I степени. В 1949 окончил Московский университет. Там же защитил кандидатскую диссертацию о творчестве Л. М. Леонова. С 1963 года — преподаватель, профессор Литературного института им. А. М. Горького. Заслуженный работник Высшей школы России, почетный работник культуры Москвы, лауреат премий «Сталинград», «Прохоровское поле», Большой литературной премии и других.

В 1958 в издательстве «Советский писатель» вышла первая книга Лобанова «Русский лес». Свое отношение к персонажам романа критик выражал не столько декларативно, сколько стилистически, создавая вокруг крупного лесовода, патриота Вихрова эмоционально-лирическую языковую среду в отличие от саркастического языкового поля вокруг Грацианского, псевдоученого-космополита, преследующего Вихрова и паразитирующего на его научных трудах. Тонкий эстетический анализ языка леоновского романа, средств выразительности, особенностей его стиля и т.д. здесь сочетается с размышлениями об историческом пути России.

После выхода в начале 1963 года книги Лобанова «Время врывается в книги» имя ее автора было названо в числе 4 ведущих российских критиков в докладе председателя правления Союза писателей РСФСР.

С первыми публикациями в журнале «Молодая гвардия» и вхождением в члены ее редколлегии в апреле 1966 начинается новый этап критической и творческой деятельности Лобанова. В. В. Кожинов считал, что «новое направление журнала "Молодая гвардия" начало складываться прежде всего в статьях Лобанова "Чтобы победило живое" (1965. № 12), "Внутренний и внешний человек" (1966. № 5), "Творческое и мертвое" (1967. № 4), но стало явным для всех позднее». Эти и другие статьи критика вызвали яростные нападки либеральной космополитической прессы. Поистине раскаленной была реакция на статью Лобанова «Просвещенное мещанство» («Молодая гвардия». 1968. № 4). Бывший до эмиграции работником комсомольского журнала в Москве, ныне профессор Нью-йоркского университета А. Янов в своей книге «Русская идея и 2000 год» так, с некоторым испугом, передает свое впечатление от «Просвещенного мещанства»: «Даже на кухнях говорили об этой статье шепотом», «сказать, что появление книги Лобанова в легальной прессе, да еще во влиятельной и популярной "Молодой гвардии" было явлением удивительным, значит сказать очень мало. Оно было явлением потрясающим... Здесь яд и гнев, которые советская пресса обычно изливала на "империализм" или подобные ему "внешние" сюжеты, на этот раз были направлены внутрь. Лобанов неожиданно обнаружил червоточину в самом сердце первого в мире социалистического государства, причем в разгар его триумфального перехода к коммунизму... Язва эта, оказывается, в духовном вырождении "образованного человека"». Янов пишет: «По какой-то причине все иллюстрации Лобанова, все "разлагатели национального духа" носят еврейские фамилии. Именно эти еврейские элементы, которые примазываются к истории великого народа, играют роль своего рода фермента в зараженной мещанством дипломированной массе».

В опубликованной в журнале «Новый мир» (1969. № 4) статье А. Дементьева «О традициях и народности» автор «Просвещенного мещанства» обвинялся в «антимарксизме», «русском шовинизме» и т.д. Статья Дементьева станет сценарием другой известной статьи руководителя идеологического отдела ЦК КПСС А. Яковлева, которая появится спустя 2,5 года в «Литературной газете» (15 нояб. 1972) и повторит с еще большей оголтелостью русофобские обвинения в адрес Лобанова и др. русских писателей.

Близкий к «Новому миру» А. Солженицын в своих мемуарах «Бодался теленок с дубом» приводит из статьи «Просвещенное мещанство» несколько цитат (кстати, ставя рядом лобановское выражение «просвещенное мещанство» и свое «образованщина»), заключает: «В 20—30-е годы авторов таких статей сунули бы в ГПУ да вскоре и расстреляли». Солженицын рекрутирует русского критика в свою «шарашку» ненавистников советского строя, борцов против него. Но куда более объективен тот же Янов, который пишет в названной выше книге: «В отличие от ВСХСОН (Всероссийский Социальный Христианский Союз освобождения народа) Лобанов верил в потенции советского строя». А ученый и писатель О. А. Платонов в своей книге «Русское сопротивление. Борьба с антихристом» вспоминает: «Мы же, русская молодежь, жаждали своих кумиров (в молодости это вполне естественно). И мы обрели их. Помню, первыми нашими кумирами стали великий русский художник Илья Сергеевич Глазунов и замечательный русский публицист Михаил Петрович Лобанов. Во мне и в тысячах других русских людей работы Глазунова и Лобанова создавали чувство уверенности в будущем нашего народа... В апреле 1968 года в журнале "Молодая гвардия" появилась статья М. Лобанова "Просвещенное мещанство". Лобанов сформулировал то, что еще неосознанно бродило в наших душах. Для русской молодежи он стал одним из любимых авторов, его статьи и книги мы читали в первую очередь».

После статей о современной литературе Лобанов во второй половине 70-х годов обратился к русской классике, от

«животрепещущей» критики — к солидному литературоведению. Казалось бы, нет прежней «актуальности», чтобы был повод для идеологических обвинений, но и здесь далеко было до академического спокойствия. В 1979 в серии «ЖЗЛ» вышла его книга «А. Н. Островский», где автор показал великого драматурга не по старой советской схеме «обличителя темного царства», а в полноте его творчества, в богатстве изображенных характеров, в жизненности картин не только с темными, но и светлыми поэтическими сторонами народного быта, в колоритности образов в его исторических пьесах, одушевленных высоким гражданско-патриотическим чувством. И в «Грозе» исследователь видит трагедию Катерины в ключе отличном от традиционного. Катерина оказалась жертвой переходного времени, когда «старая», «домостроевская» мораль уходила в прошлое, а в новой «буржуазной» героиня не могла найти себе места.

Вскоре же после выхода книги Лобанова в свет в «Литературной газете» (19 марта 1980 года) появилась статья В. Кулешова «А было ли ”темное царство”?» Он возмущался «отходом» автора книги «А. Н. Островский» от Добролюбова в оценке «Грозы», но дело было не в Добролюбове, а в том, что кроме «темного царства» в 1000-летней России ничего не позволялось видеть. В духе этой статьи проходило и «обсуждение», точнее, погром книги Лобанова за «круглым столом» с участием «ученых-специалистов» по Островскому («Вопросы литературы». 1980. № 9). Здесь также все ссылались на Добролюбова, ополчась против «ревизии революционных демократов», но за этой проформой советско-еврейских критиков стояло главное, объединяющее их, — неприязнь к прошлому России, олицетворением которого было для них пресловутое «темное царство».

Крупным идеологическим событием стала история со статьей Лобанова «Освобождение», опубликованной в саратовском журнале «Волга» (1982. № 10). В статье в достаточно мягкой форме осуждались методы коллективизации в сельском хозяйстве России, проводимые еврейскими большевиками. Их прямой наследник — Ю. В. Андропов потребо-

вал принять постановление, осуждающее статью Лобанова. Первый секретарь Союза писателей Г. Марков рассказывал, что «Андропов с сожалением вспоминал в этой связи о статье Лобанова, которая послужила поводом для издания постановления, и сказал, что партийный комитет Саратова "должен еще принять меры". Эта статья "поднимает руку на то, что для нас священно", прежде всего на коллективизацию и Шолохова. Кроме того, она предпринимает попытку ревизии мер партии в 30-е, несмотря на то, что "жизнь полностью доказала ее правоту"». Литературовед В. Кожинов писал, что статья «Освобождение» — «одно из самых важных духовных событий за двадцатилетие "застоя". Читая семь лет спустя Михаила Лобанова, я испытывал, помимо всего прочего, чувство великой радости от того, что честь отечественной культуры спасена, что открыто звучит ее полный смысла и бескомпромиссный голос — хотя, казалось бы, в тогдашних условиях это было невозможно».

ЧАСТЬ I

ПОЧВЕННОСТЬ

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ

(глава из книги «Роман Л. Леонова ”Русский лес”»)

Их много, нас больше.
Из пьесы Л. Леонова
«Половчанские сады»

В романе Леонида Леонова «Русский лес» есть такой эпизод. Грацианский вонзает палку в родничок, который ему показал Вихров. В этом как будто особого злодейства нет, но писатель сумел придать этому факту такую обнаженную остроту, с такой силой вскрыл потаенную мерзость души Грацианского, что эпизод приобретает значение символа. Грацианский впился взглядом в вихровскую святыню. «Какая-то смертельная борьба чувств происходила в его побледневшем лице, как если бы перед ним билось обнаженное от покровов человеческое сердце. Словно зачарованный, опершись на свой посошок, и сквозь пенсне на шнурочке, он щурко глядел туда, в узкую горловину родника, где в своенравном ритме распахивалось и смыкалось песчаное беззащитное лонце.

— Сердитый... — непонятно обнажая зубы, протянул Грацианский и вдруг, сделав фехтовальный выпад вперед, вонзил палку в родничок и дважды самозабвенно провернул ее там, в темном пятнышке его гортани.

Все последующее слилось в один звук: стон чередиловской досады, крик Вихрова — *я убью тебя!* — и хруст самой

палки, скорее разорванной надвое, чем даже сломленной в его руках, — причем Грацианский каким-то зачарованным, странным взглядом проследил полет ее обломков».

Эта символическая сцена имеет емкое социально-философское содержание. Схватились силы жизни с мертвящим отрицанием ее, святое в жизни с черной низостью. Грацианский покушается на родничок, завещанный Вихрову его прежним хранителем Калиной, выразителем народа. Грацианский хочет растоптать то, что принято от народа, завещано им беречь, как святыню. Грацианский пошел войною на родничок «вторым эшелоном»: первым, вызвавшим столь памятное сопротивление мальчика Вихрова, был купец Кнышев. Таким образом, Грацианский достойно, только с несравненно большей ожесточенностью повторил атаку купца-хищника, который «снял одежду с трех великих русских рек» и готов был оголить всю русскую землю. Со всей остротой выявляется смысл столкновения между Вихровым и Грацианским.

Выходка Грацианского — как отчаянный взрыв давно копившейся разрушительной силы в нем. В мгновенном отсвете этого взрыва отчетливо застыло лицо человека, испытывающего спазматическое сладострастие убийцы. Перед нами — вся суть Грацианского, и сколь бы суровым и величественным ни казался Александр Яковлевич впоследствии, как бы ни старался он выглядеть благородным в тоге лесного судьи, громящего «еретиков», — мы всегда будем видеть это лицо. И когда в этот же раз Грацианский сообщает Вихрову, что он не согласен с идеей его книги и будет писать критического статью, мы видим, как тень убийцы, напряженно застывшего над родничком — сердцем жизни, падает на лист бумаги, исписанной мелким и скрытным, влево наклоненным почерком Грацианского.

Роман Леонова поистине кипит борьбой, и каждая схватка здесь многозначительна.

Напряженность и острота борьбы достигают в «Русском лесе» невиданной в творчестве писателя силы. Конфликт неизмеримо углубляется философски, писатель дает истори-

ческий генезис его, обращаясь к прошлому. В романе борьба двух непримиримых начал проходит фронтом через десятилетия. Основным конфликтом является столкновение двух миров: лагеря прогресса, социализма с лагерем реакции, фашизма. Выражение «старый мир» десятки раз повторяется в романе — автор постоянно как бы напоминает о той главной силе, которая стоит за плечами персонажей-врагов. Разрешению основного исторического конфликта подчинены все частные столкновения действующих лиц.

Социально-исторический конфликт находит — свое выражение в сфере научной, философской, моральной, эстетической и т.д. Смысл «распри» между Вихровым и Грацианским — это борьба подлинной творческой науки с псевдонаукой, паразитирующей на теле народа, творческой мысли с мыслью бесплодной, спекулятивной; сил созидания, жизни с силами разрушения, смерти; это противопоставление честности перед народом, патриотизма бесчестию, моральной низости, космополитизму; все это является выражением борьбы передовой идеологии с реакционной. Столкновение Вихрова с Грацианским приобретает в романе особую остроту в связи с судьбою молодого поколения: это сражение за душу молодежи, за те пути, которыми ей идти. Борьба советского народа против немецко-фашистских захватчиков является тем грандиозным экраном, на котором во всем объеме отражается содержание исторического конфликта.

В идейно насыщенной системе человеческих образов в «Русском лесе» на первый план выдвинуты три персонажа — Вихров, Грацианский и Поля, взаимоотношения которых отражают историю напряженной идеологической борьбы, преемственности передовых идей века. Вокруг каждого из этих образов группируются персонажи, которые, нисколько не теряя художественной самостоятельности, в то же время дополняют и усиливают характеристику образа.

Как хорошего знакомого, близкого нам человека видим мы Ивана Матвеича Вихрова, «подвижного, небольшого роста старика» с прихрамывающей походкой, «с проседью на висках и замятой на сторону бородкой», «с колючей пригляд-

кой», с его своеобычной речью и милым привычным выражением «таким образом». Есть в его облике что-то от духовной привлекательности чеховских «незаметных» больших людей типа Дымова, с их будничным трудом без расчета на признание, с их природной неспособностью к громким словам, житейской незащищенностью и вместе с тем огромной сдержанной внутренней силой. Такие люди проходят по жизни скромно, «не толкаясь», как бы не подозревая о том, что именно они двигают вперед науку и преумножают славу народа. Иван Матвеич Вихров живет в нашем воображении вместе с хорошими русскими людьми, знакомыми нам из родной литературы, в которых воплотились лучшие черты русского национального характера. Леонов как-то писал: «Я особенно люблю людей, которые что-нибудь любят». Писателем создано немало образов таких людей, влюбленных в свое дело, но ни в один из них не вложено столько авторской симпатии и чувства, как в образ Ивана Вихрова...

В романе «Русский лес» описание труда овеяно подлинной поэзией. В лесе, в заботах о нем и заступничестве за него — весь смысл жизни Вихрова. Невозможно представить «депутата лесов» хоть на миг отрешенным от «зеленого друга». Мысли о лесе стали неотделимой частью вихровского духа, и именно потому, что трудовая деятельность Ивана Матвеича раскрывается в своем духовном содержании, читателя, далекого от лесных вопросов, захватывают и волнуют занятия и думы лесовода. В романе есть сцена, с психологической достоверностью передающая степень вихровской привязанности к лесу. Молодой лесничий ведет на «экскурсию» в свои владения любимую девушку Леночку, желая посвятить ее в лесные тайны. «При вступлении в лес Вихров отделил почку от черемухи, погрызенной зайчишком, и на ладони преподнес своей спутнице с таким торжественным видом, словно подарок невесте вручал на пороге новоселья.

— Зачем? — удивилась Леночка.

— Это мои приятели, семья моя бьет вам челом за неимением даров побогаче... — с чувством сказал лесничий. — Не гнушайтесь, берите. Таким образом!»

Замечательна серьезность этого жеста Вихрова: он пришел к близкой родне и чувствует себя вправе одаривать от ее имени свою спутницу. По мере углубления в лес Вихровым овладевает тревога и ревнивое чувство хозяина, преодолевающее его первоначальную робость от близости любимой девушки. «Как, интересно вам здесь? — с ревнивой любезностью хозяина спрашивал Вихров». Свой рассказ о лесе Вихров начал несколько необычно, словно читал лекцию: «Итак, мы входим в лес, — отрывисто и с волнением заговорил Вихров, — или, как его называют некоторые кабинетные мудрецы, био-гео-фито-ценоз...» Иван Матвеич волнуется не только от близости любимой, это волнение и лектора, обретшего отзывчивую аудиторию (в начале сцены автор с добрым юмором замечает: «Никто не отошел от окошка, пока лектор и его аудитория не исчезли в перелеске»

В присутствии Леночки Вихров в едином вдохновенном порыве обнаружил главное, что было в его душе, и это главное вылилось в импровизированную лекцию о лесе: «только на своем лесном языке он и мог рассказать Леночке о предстоящих им совместных заботах и огорчениях».

Тонким отбором языковых средств Леонов создает впечатление поэтичности всего, что связано с профессией лесника, с лесоводством. В том же эпизоде, вводя свою героиню в лесной мир, писатель употреблением поэтических образов и словосочетаний (Вихров «предполагал начать с худшего, чтобы к наступлению ночи поразить Леночку зрелищем созвездий, запутавшихся в неводах сосновых крон»; «гортанное лопотанье» воды и т.д.) заставляет читателя лирически взволноваться, почувствовать удивительную красоту леса. В «Русском лесе» много пейзажных картин дано через поэтическое восприятие Вихрова. Незаурядная натура Ивана Матвеича щедро одарена тонким чувством природы, способностью глубоко проникать в ее тайны. Вихров живет в красочном мире русской природы, черпая в ней силы и творческое вдохновение. Рядом с этим человеком, до преклонных лет сохранившим в душе трепетное чувство волнения от общения с природой, любимым лесом, его антипод Грациан-

ский выглядит духовным мертвецом. В романе нет ни одной пейзажной картины, которая была бы показана глазами Грацианского. Этот грозный лесной деятель полностью выключен из мира природы, ему, нищему духом, недоступна радость общения с ней.

Вихров не погружен в созерцание природы, он воспринимает ее в неразрывной свиязи с деятельностью человека, это восприятие наполнено глубоким содержанием. В природе Вихров, как и сам автор, видит могучую творческую силу, непрерывный животворящий поток. Вот почему Вихрову свойственно антропоморфическое восприятие природы.

Во всем, начиная с привычки уже в Москве по лесному обычаю вставать и ложиться со светом и кончая разговорами с сестрой Таиской на лесные темы, у Вихрова видна такая привязанность к лесу, которая исключает малейшую возможность хотя бы на короткое время отрешиться от него.

Несомненно, наиболее полно отношение Вихрова к лесу выражено в его блестящей лекции студентам лесоустроительного института. Вихровская лекция — это вдохновенная песнь о русском лесе, взволнованная поэма любви и благодарности за дары безответного друга. Это гимн, в который врываются трубные тревожные призывы о защите леса. Только поэт-гражданин, болеющий сердцем за судьбу родины и ее будущее, может говорить так страстно и беспокойно, как говорит о русском лесе Иван Вихров. Есть замечательное мгновение после окончания лекции Вихрова, когда в аудитории, в которой только что смолк голос старого профессора, «все вокруг подалось вперед, словно при внезапной остановке». Вихровская деятельность — порыв в будущее, порыв, влекущий за собой молодежь; работа для будущих поколений, забота об их благе и счастье придает смысл его лесным занятиям.

Лекция о лесе настолько ярко передает характер Вихрова, что невольно вспоминается изречение: «Стиль — душа человека». Не случайно именно эта лекция совершила перелом в Полином мнении об отце, которого она до того, веря наветам Грацианского, подозревала во вредительстве. Про-

слушав вихровскую песнь русскому лесу, Поля почувствовала облегчение от давившей ее столько времени тяжести подозрений, чутьем своего юного сердца поняла она отцовскую правоту.

Вихров обладает умением говорить о своем предмете с той поэтичностью, яркой профессиональной характеристичностью, которые отличают подлинных мастеров. У Леонова мы видим эстетизацию названия предметов и понятий, связанных с лесом, которые служат ему важным средством поэтического изображения труда.

В речи Вихрова своеобразно синтезированы элементы разговорной народной речи и литературного языка. Это речь интеллигента, вышедшего из народа и не забывшего «языка своих дедов», по выражению самого Ивана Матвеича. Живая интонация народного говора придает речи Вихрова яркую характеристичность. Самый склад вихровской речи становится чисто народным, когда он говорит с простыми людьми из народа. Это не подделка под просторечье, а подлинно народный склад речи, усвоенный Вихровым с детства. Приведем отрывок из разговора Ивана Матвеича с сестрой Таиской, рассказавшей брату о сомнительном визите Грацианского: «"Побежала я на кухню за чаишком, а уж он, батюшки, вокруг стола твоего кружит и бумаги разные вроде как со скуки шевелит. А чего ему там, при твоем столе?

"Надо думать, брильянты собирался покрасть. Погоди, я ужо кадушку железную для них заведу", — отшутился Иван Матвеич».

В речи выражены открытость и честность натуры Вихрова, не заботящегося о словесной красивости, более всего дорожащего истиной, говорящего то, что он думает. В разговоре с Грацианским обычная прямота Вихрова переходит в резкость: «Что-то липучий ты сегодня, но... хорошо, приходи».

Психологический анализ у Леонова обладает той полнотою, объемностью, которой только и достигается раскрытие всей сложности душевной жизни человека. В различных обстоятельствах жизни во всей полноте человеческих чувств

видим мы Ивана Матвеича. Беспокойство поиска и творческая радость крупного ученого; любовь к Леночке и испытание обрушившейся семейной драмы; горечь одиночества и мирная успокоенность в беседе с сестрой Таиской; отцовская нежность к Поле и Сереже и непреклонность в борьбе с научными противниками; напряженность раздумий о судьбах народа и счастье соприкосновения с ним. Весь внутренний мир человека подвластен художнику, раскрывающему человеческую душу во все новых, самых тончайших ее движениях. Казалось, мы уже узнали Ивана Матвеича и он стал близок и дорог нам, но вот мы встречаемся с ним в его последней поездке в родные места и столько раскрывается сокрытых чувств, их тонких оттенков, что мы как бы заново, в новой прелести душевного обаяния видим этого человека. Стариком, много пережившим в жизни, ученым с мировым именем, но в сущности все тем же Ивашкой Вихровым, неприхотливым крестьянским сыном, так и не сумевшим до конца жизни войти во вкус городского бытия, всегда мечтавшим о деревенском уединении едет Иван Матвеич на побывку в освобожденное от врага родное Красновершье...

У родничка его застигает новый хозяин и охранитель овражка с живой водой крестьянский мальчик Калинка. Эпизод встречи с Калинкой, а затем с его дедом, девяностолетним Минеем Лисагоновым, замечателен своим проникновением в психологическое состояние Вихрова. Радость изумления при виде внезапно появившегося из засады грозного десятилетнего защитника родничка; щемящая жалость к сироте, скрываемая — чтоб не бередить детское горе — сугубо серьезным, без особого сочувствия тоном разговора; лирико-философская настроенность о непрекращаемости «потока веселого, пенного, мудрого вещества» жизни, вызванная совпадением имени мальчика с тем ставшим для Вихрова священным именем владыки Пустошей Калины Глухова; а затем сдержанная грусть в беседе с больным древним стариком, перемешанная с горечью, что не уберегли лес.

Но Ивану Матвеичу предстояло еще испытание встречи с покинувшей его женой Еленой Ивановной, проживавшей

в этих местах. Он увидел ее утром из окна Минеева дома, где ночевал.

«Елена Николаевна обернулась не раньше, чем сообразила, кто еще на земле, если исключить чудо, мог позвать ее давним именем детства:

— Ах, это ты, Иван?.. Как же ты напугал меня! — держась за сердце, сказала она, а Ивану Матвеичу почудилось в ее голосе маленькое разочарование».

Писатель обрывает на этом подглавку; следующая, последняя, начинается словами о Вихрове. Эта пауза многозначительна: она как бы скрадывает охватившее Вихрова невыразимое волнение. Первая реакция Ивана Матвеича при встрече с любимой женщиной передана писателем изнутри, через мысли и чувства персонажа. Вихров жадно вглядывается в лицо Елены Ивановны, ища перемен, которые бы могли положить конец его одиночеству. «Но как ни вглядывался Иван Матвеич в ее суховатые, совсем теперь успокоенные черты, не мог различить за ними трогательного детского личика, на индейский образец раскрашенного акварелью». Замечательно глубока и тонка эта психологическая деталь: Иван Матвеич хочет пробиться к милой девочке, подруге детства, с которой при встрече когда-то было так легко на душе... Но черты этой девочки затянуло временем и в потускневшем образе — спокойная отчужденность, равнодушная ясность. Леонов переводит внимание читателя из сферы внутреннего состояния Вихрова на внешние признаки проявления его чувств. Этим дополняется и усиливается, становясь наглядной, сила переживаний Ивана Матвеича. Мы чувствуем всю вложенную им в рукопожатие силу, чтобы удержать любимую женщину. Не заметив у Елены Ивановны радости от встречи, Вихров опускает глаза, и в этом необычном для Ивана Матвеича, привыкшего смотреть открыто, прямо, движении мы видим всю горечь его переживания и свойственную чистым людям совестливость, с какой они боятся быть в тягость нелюбящему человеку. За разговором, уже в пути, на грузовике Елена Ивановна вспоминает, как в приезд Ивана Матвеича, много лет назад, она сидела в со-

седней комнате и не вышла, не желая растравлять его душу. Следует удивительной психологической тонкости описание душевного состояния Вихрова.

«— Да, я знал тогда, сердцем узнал, что ты рядом, — сказал Иван Матвеич и, отвернувшись, стал глядеть на молодые, в правильных шеренгах сосны его давней собственной посадки.

То была наглядная мерка протекшего времени: давно и сами они стали матерями, вот уж и детки их в иссиня-зеленых распашонках выбегали на дорогу. Им было неплохо здесь, на старой вырубке: нежились под дождем и, казалось от движения автомашины, медленно поворачивались на корню, чтоб промыло каждую хвоинку. Немудрено, что война в оба захода пощадила их чудесную юность. Вряд ли Иван Матвеич и сам признал бы это место, если бы не речка впереди, кроткая Веселуха, с дрянным мостком, памятным ему еще с похорон отца. Этим путем в грозовой, с испаринкой полдень отвозили Матвея Вихрова на погост, и Демидка все выпрашивал хоть до речки понести угодника, пока не обрушился на шествие тот сверкающий, добрый проливень детства... Так остро было наваждение памяти, что ноздри пощекотал вкусный запах мокрого ластика, из которого шита была тогдашняя рубашка, Иванова обновка».

Иван Матвеич как бы не в силах больше видеть эту бесконечно близкую и чужую ему женщину, умножившую своим признанием его страдания, отвернулся, и в любовании молодыми соснами его собственной посадки стихает, постепенно меркнет острое горе. Не совсем еще плохи вихровские дела, если есть у него родной, милый лес! Сколько человеческой теплоты излучается из этого вихровского взгляда, обращенного на сосны: «...давно и сами они стали матерями, вот уж и детки их в иссиня-зеленых распашонках выбегали на дорогу». И какая глубокая эстетико-психологическая связь в том, что от леса взгляд Вихрова, углубляясь, переходит к далекому прошлому, к «сверкающему, доброму проливню детства». Так, ассоциируясь с самыми дорогими, такими свежими в памяти картинами детства, лес, его красота напол-

няются для Вихрова особым, волнующим смыслом. Проникновенно, по-настоящему художественно показан этот душевный «исход» Ивана Матвеича от личного горя в сферу трудовых интересов, овеянных поэзией.

Признание Елены Ивановны исключало стариковские надежды, привезенные из Москвы. С обнаженной откровенностью, потому что в последний раз, признается и он: «Просто я полюбил тебя на всю жизнь до беспамятства, Елена Ивановна, таким образом... и главное, неужели же я безответно тебя полюбил?» Увидев же, каким уважением пользуется Елена Ивановна, фельдшерица, у местных жителей, Иван Матвеич не мог скрыть своего волнения. «Все гораздо проще, Елена Ивановна: разволновался, глядя на моих земляков. Обычное следствие некоторых возрастных изменений... — честно признался он и вот уже порадовался, что хоть и не похожа на себя, прежнюю, эта женщина, а все такая же легкая, статная и молодая». Забыты все горести, страдания, и вновь заботой, радостью за удачи дорогого человека наполняется тревожное сердце.

Из разобранного нами отрывка видно, каким сложным и богатым психологизмом насыщен только один из эпизодов жизни Ивана Матвеича. Ни один из образов в творчестве Леонова не отличается такой филигранностью психологического анализа, как образ Вихрова. Во всем многообразии человеческих чувств и эмоций, в неповторимой самобытности человеческого характера предстает перед нами образ Ивана Матвеича Вихрова, глубоко волнуя и навсегда оставаясь в наших сердцах.

Вихров принадлежит к разряду тех ученых, для которых наука — не храм, отграниченный от жизни, от социально-этических вопросов современности. Вихров — это тот тип ученого, о котором К. А. Тимирязев говорил, что его деятельность выражается «в стремлении к гармоническому слиянию задач науки и жизни, в служении научной истине и этической правде». С «внешностью мастерового», Вихров работает в науке, как в мастерской. Отвлеченная, отрешенная от жизни наука не для Вихрова, он должен выверить свои научные

выводы критерием жизни, практики. Вихров проверяет свою деятельность приблизительной прикидкой, как его усилия отразятся на благополучии грядущих поколений.

Это честный, принципиальный ученый, глубоко преданный пауке, научной истине, во имя ее пренебрегающий хлебными местами и удобствами личной жизни. Именно Вихровы являются «солью» науки, они хранят чистоту ее знамени, несут человечеству свет научной мысли. Теоретические взгляды Вихрова неоднократно попадали в категорию сомнительных, а сам он Грацианским и его сподвижниками обвинялся в смертных политических грехах. Однако травля и инсинуации не сломили стойкости Вихрова, не заставили его отречься от своих научных убеждений. В романе описан случай, когда Вихров почти в одиночку мужественно отстаивает свои научные взгляды от спаявшихся в один клубок псевдоученых типа Грацианского, затеявших на ученом совете «обсуждение» деятельности Вихрова с целью расправы с ним»*. Противники Вихрова не гнушаются никакими средствами, они готовы на любой подлог, чтобы извратить смысл вихровских идей и обвинить его в идеологическом вредительстве. Нужно обладать большим мужеством, чтобы не склонить головы перед этим судилищем, и Вихров ведет себя твердо, независимо.

Крупный специалист лесного дела, благородный рыцарь науки, научной истины, Вихров в то же время является гражданином. Его волнуют социально-политические, морально-нравственные вопросы, судьбы народа, его будущее. Его идеал — чистота человеческих взаимоотношений; по его убеждению, Октябрьская революция была сражением «в первую очередь, за человеческую чистоту». Вихров смело ставит перед обществом острые вопросы лесоустройства, потому что он чувствует себя законным наследником национального достояния. В своем романе Леонов называет ложной такую

* В свое время Леонид Максимович, говоря со мной о фильме «Русский лес» (вышедшем уже после моей книге о его романе) положительно отозвался об игре артиста Гриценко в роли Грацианского, удивительно смахивавшего на Троцкого в кадре расправы над Вихровым на ученом совете института (кадр помечен титром «1937»).

любовь к России, когда любят ее «без радостного озаренья, без молчаливой готовности проститься с жизнью ради нее, как это свойственно тем, кто создает повседневные ценности и славу своего Отечества». Любовь к России до самоотреченности свойственна великому труженику Вихрову.

Образ Вихрова — наиболее значительный в творчестве Леонова. Он является наиболее ярким в ряду леоновских образов представителей русской трудовой интеллигенции, связавшей свою судьбу с социалистическим строительством.

С эпохой капитализма связано хищническое истребление лесов. Вихрову собственными глазами доводилось видеть, как сдирали «зеленый коврик» с родной земли свои отечественные и иностранные грабители. Наблюдая в дореволюционное время разгул железного ливня, сметавшего леса, Вихров понял, что спасение лесов «надо искать... в решительном народном перевороте». Революция положила предел хищническому уничтожению лесов. Лесные акты советской власти, начиная со знаменитого ленинского декрета 1918 года, предписавшие соразмерность рубки с годовым приростом, направляли на разумное обращение с лесными богатствами страны. Только в условиях социалистического общества проблема леса получила возможность благоприятного разрешения, с разумным учетом интересов будущих поколений молодежи, являющейся завтрашним днем мира, озабоченность ее судьбой. В отношении Вихрова к молодым людям — дочери Поле, приемному сыну Сереже, ученику Осьминову и другим — выражается огромная благотворная роль опыта старшего поколения для советской молодежи, являющейся завтрашним днем мира, озабоченность ее судьбой. Кровная связь с народом, моральная чистота, служение передовой науке — все эти качества Вихрова, представителя старшего поколения, передаются молодежи как прямой наследнице всего, что завоевано отцами.

Человек, одержимый своей идеей, самозабвенный труженик, — а где-то подспудно живет в нем тоска по самому простому человеческому счастью. В сущности-то, Вихров очень одинок. Профессор читает лекции, пишет книги, хро-

мающей походкой спешит на ученые заседания... бесконечные заботы по институту, неотложные дела, и кому известно, как порою пусто бывает этому не знающему устали работяге, как на вечерних посидках с сестрой Таиской он вдруг задумывается, что-то припомнив. Ведь это только «сверхчеловеки» грацианские умеют страдать артистически, на виду всего человечества, не забывая при этом наградить себя в возмещение самоуслаждением своей мнимой немощи.

Вот Александр Яковлевич, не сказать, чтоб очень уж хил, даже наоборот, мужчина внушительный и грозный, а сколько хлопот доставляет вертодоксам падение каждого процента его гемоглобина, — всей свитой ведут они своего малость ослабшего учителя до кафедры. И не этот ли потерянный процент гемоглобина дал повод сателлитам Грацианского именовать его «человеком трагической судьбы»?

Да, Вихров не тот. Ни удары, которыми его осыпает Грацианский, ни превратности судьбы не валят его с ног, он стоит на земле твердо, чего бы это ни стоило. Но как временами ему нужен друг, который без суда принял бы его исповедь, поддержал его силы, порою слабеющие в борьбе! И вообще-то он человек что ни на есть самый земной, предназначенный для семьи, ему бы, как он сам признается с шутливой грустью, сидеть у себя за столом сам-двенадцать в окружении целой обоймы сынов-лесников и радоваться преемникам своего дела.

Но семейная жизнь не удалась, и здесь доверчивость Вихрова к жизни зло сыграла с ним. Как он мог не заметить, что поселившаяся в его доме птица — это пленница, что она залетела к нему *поневоле* и рано или поздно улетит?.. Люди проходят через отдельные полосы своей жизни, навсегда унося ожоги, как солдаты, когда они выбираются из горящих траншей. Он перешагнул, но коснувшись огня. Позднее он многое поймет: «Неужели же я безответно тебя полюбил?» — вырвется у него, когда они встретятся много лет спустя, оба постаревшие, много пережившие.

Впоследствии из признания самой Леночки мы узнаем, что ей «не до любви было». В ней что-то творилось, какой-то

разлад... поиск. Кто она такая? Девочка-подкидыш, выросшая в полурусской-полунемецкой помещичьей семье, приученная к щелчкам и унижению в доме баронессы, к положению приживальщицы, игрушка богатых. Барыня, сонливая владычица русского леса, мутила душу девочки своей боязнью перед будущим, пугала расправой мужиков; в Леночкину душу постепенно вползает страх.

Вот тут-то и кстати оказалось вихровское предложение, и она решила: пусть без любви, только бы вырваться из этой опостылевшей жизни, уйти от этих пугающих призраков.

Неудовлетворенность своим положением в доме Вихрова, мучительное ожидание все какой-то развязки; жажда стать человеком, как все, жить не как «в узелок завязанная», распрямиться, обрести душевный покой — толкает ее на решительное действие: она уходит от Вихрова и возвращается на Енгу.

Для психологического метода Леонова характерно углубленное внимание к процессам, сопровождающим острые духовные кризисы в жизни героев.

С особой пристальностью я нежностью исследует он душевую жизнь Леночки после ее возвращения на Енгу, когда определилась кульминация ее духовного развития.

Здесь, в местах, где зародился ее страх («идти навстречу своему страху» — эти слова Крайнова сыграли решающую роль в побеге Леночки), ей суждено было пройти искус и перешагнуть круг, замыкавший ее жизнь. С каким-то отчаянным самоотречением работает она санитаркой в местной больничке. В душе ее, никогда не знавшей любви, что-то встрепенулось; но, может быть, и в этой короткой истории ее знакомства с сельским избачом Марком — грустной истории, которую так бережно и любовно донес до нас писатель,- было нечто сокрытое, объясняемое все тем же порывом ее к новой жизни, порывом, который так нуждался в поддержке. Марк был сыном крестьянской старухи Семенихи, а встреча с нею была для Леночки самым ответственным экзаменом на признание. Взгляд Семенихи, матери четырех погибших в войну сыновей, взгляд пристальный, недоверчивый, видящий в ней

чужую, Леночка чувствовала все эти годы, вдалеке от Енги. И вот она у постели у раненного кулаками Марка в упор встретила этот взгляд, но теперь уже не было в нем того страшившего ее ледка. Старуха по-матерински нежно приласкала молодую женщину, отбившую у смерти сына. Для Леночки это означало конец страха, благовест нового утра жизни. Ее усилия приметили — и приняли в свой дом. Это был конец болезненного кризиса, начало выздоровления. Мир, такой желанный, сошел в ее душу, покойное сознание своей нужности, уверенность в будущем, исключающая сомнения... Новая жизнь, ее большое, доброе тепло, ее светлый полдень... Да будут благословенны они!

И Иван Матвеич заметит тогда же, что «в глазах у этой женщины теплился теперь ровный, неомраченный свет того полного бесстрашия, что, пожалуй, происходит лишь от близости к вечным родникам жизни или от постоянного общения с простыми, чистыми людьми».

Жизненной тропою, внезапно терявшейся, шла Леночка, и она обрела то, чего искала. «Но на это ушла вся жизнь», — скажет ей с горечью Иван Матвеич. Слишком тяжелого послуга потребовал этот душевный покой: похоронив молодость, вошла она в свой полдень жизни.

Она вошла в большую семью ценой разлома собственной семьи. Ей стало широко, иногда слишком широко... При последней встрече с Вихровым, которому она доставила столько страданий, сердце ее остается безжалостным и жестоким.

Она нашла главное, хотя, может быть, по пути многое личное осыпалось. Но разве кто-нибудь старался отвести ее от заблуждений? Их разбивает опыт, и тогда молчаливее становится сердце...

Грацианский — дитя тех «распадных годов» начала XX века, которые М. Горький назвал самым позорным десятилетием в истории буржуазной интеллигенции. Именно в эти годы сложился социально-психологический облик А. Я. Грацианского. Без уяснения этого невозможно схватить суть почтенного профессора, личности двоящейся, ускользающей,

и легко оказаться в заблуждении относительно подлинных мотивов его распри с Вихровым.

Молодость Саши Грацианского была бурной и беспокойной. Сын профессора теологии Петербургской духовной академии, он рано начал судорожно искать поприща, на котором в полную меру проявились бы его незаурядные «таланты». То была пора увлечения всякими модными идеями, в них наглядно отражалась степень общественного распада. В воспаленном сознании чуткого ко всему модному Саши Грацианского возник беспримерный по дерзости план уничтожения монархии. Этот план, носивший наименование миметизма, последовательно сводился к тому, чтобы путем проникновения в царские учреждения доводить «палаческие методы самодержавия» до дикости и абсурда, тем самым поставив народ перед необходимостью свалить монархию. Дьявольская идея Саши стала знаменем основанного им тайного общества «Молодая Россия», объединившего вокруг себя десяток-другой гимназистов и курсисток. Сашино сообщество своеобразно преломляло некоторые признаки тогдашней действительности, оно было накипью общественного сознания после поражения революции. Сколь «неподкупно» увлечен Саша борьбой против самодержавия, столь гордо отмежевывается он от толпы, от народа. Народ, о котором он знает только по беседам с дворником, должен служить слепым орудием его «вождистских» замыслов. Интересы народа чужды и враждебны ему. Весьма знаменательна встреча Саши с голодающими поволжскими крестьянами, пришедшими в Питер за подаянием.

«У чугунных перил, сбившись в кучку, чернели какие-то призраки, неподвижные, как и всякая уличная скульптура, только отлитые из мглы и стужи, а не из бронзы или чугуна. Несломанный снег белел у них на плечах и в складках овчины. Это были крестьяне, четверо: жердистый старик в армяке и три разного возраста, некрасивые женщины в нагольных, на тугой крючок застегнутых полушубках. Верно, они притащились сюда из самых неимоверных глубин России: холодом бескрайнего простора веяло от них». Суровая

и скорбная картина! И какое интонационно-смысловое богатство в одной, последней фразе! Мы как бы зримо видим океаническую огромность русской земли, ее «неимоверные глубины»; понимаем всю меру отчаяния крестьян, вынужденных «притащиться» за тысячи верст за подаянием; и одновременно замечаем... замолкшего и поеживающегося Сашу Грацианского, на которого дохнуло от крестьян «холодом бескрайнего простора» неизвестной и чуждой ему народной России.

Далее автор заставляет ожить «скульптурную группу», чтобы категоричнее определить отношения между крестьянами и Сашей Грацианским. Подойдя поближе, Саша полушутливо осведомился: «Ну, братцы, чего вы тут встали?.. Шли бы вы лучше куда-нибудь на постоялый двор... Чего примолкли, откуда вы, сказывайтесь... Кто такие?» (хотя по виду понял, что они из голодного Поволжья). «Никто не отвечал ему, но ближняя, помоложе, отшатнулась при виде форменной, с металлическими пуговицами, шинели; только старик отважно, без удивления или испуга продолжал глядеть на студента, скорее даже сквозь него, как если бы то было всего лишь его очередное голодное видение. В ту минуту Саша Грацианский разглядел и пятую фигуру, привалившуюся к коленям старухи, — девочку в таких же лапотках и крест-накрест опоясанную полушалком; проснувшись, она глядела на студента теми же смутными глазами цвета зимней мглы... Из самых похвальных побуждений молодой человек потянулся приласкать ребенка, но старуха ревниво и дико прижала ее головку к себе: не трожь, дескать, наше...». Крестьяне безмолвствуют, да и что сказать этому наскочившему барчуку, сыплющему словами с тем же приличием, как если бы на похоронах отделывали трепака. Многозначительно это молчание крестьян: у них нет общего языка с Сашей Грацианским. Впервые Саша лицом к лицу столкнулся с народом и не услышал даже его голоса (вспомним, какой стихией изумительной певучей народной речи окружен образ Вихрова).

Как выразительна деталь о старике, который глядел «на студента, скорее даже сквозь него, как если бы то было всего

лишь очередное голодное видение»! Каким ненужным, призрачным выглядит Саша перед лицом народного горя!

Так во имя чего и на чьей стороне дерзостно воюет Саша Грацианский с царским самодержавием? В самом ли деле он пасынок старого мира, которому роет могилу? На поверку выходит, что Сашина борьба с деспотизмом — недоразумение. Это прекрасно понял жандармский подполковник Чандвецкий, с мудростью библейского змия заставивший экзальтированного юношу вкусить от запретного плода провокаторской профессии. Увязнувший в жандармских сетях, ловко расставленных Чандвецким, Саша Грацианский был вызван на очную ставку со своей совестью. Эта очная ставка, которую проводил подполковник, выявила вполне благонадежную основу Сашиной огненной натуры. Он сознался себе, что ему чужды те цели, ради которых борются революционеры-коммунисты, что не стоит дезертировать из «обжитого» старого мира.

Внутренне не сопротивляясь, слушает он расслабляющий волю властный голос Чандвецкого, призывающий его пойти в «идейные» провокаторы. И «как-то незаметно рука Чандвецкого оказалась на Сашиной, и по ней текла ему в душу мертвая вода увещанья, и почему-то Саша своей не отнял, и уже будто не Чандвецкий ему, а все это он сам себе говорил вполголоса». Глоток мертвой воды, который Саша отведал из отравленного источника царской охранки, был как причастие к старому миру, которое формально закрепило давно существовавшую духовную связь. И хотя волею удивительных обстоятельств он стал виновником ареста и высылки своих товарищей по институту- коммуниста Крайнова и Вихрова (сболтнул о них своей даме Эмме, не подозревая, что она подставное лицо Чандвецкого), роль Саши при этом была провокаторской по внутреннему расположению его к этому щекотливому делу.

В советское время уделом Грацианского стало извлекать «корень зла» из вихровских книг и обезглавливать его на глазах общественности. Какой это «корень зла»? С поразительной настойчивостью Вихров проводит мысль о том, что

необходимо рубку соразмерять с годовым приростом леса. Нужно покончить, твердит Вихров, со взглядом на лес лишь как на строительный материал и дрова. Лес — «зеленый друг» человека, он поддерживает климат, способствует поднятию урожаев, бездумное пользование лесом приведет к неизбежному оскудению природных богатств родины. Кроме того, и будущему поколению мы должны оставить в наследство не меньше, чем получили сами. В вихровских взглядах явственно ощущается и мнение народное, и идеи прогрессивных русских ученых-лесоводов. Но специалисту по нахождению «корня зла» Грацианскому важно одно: взгляды Вихрова «не созвучны» требованию «момента». Как! — с пафосом гражданского негодования восклицает Грацианский.- В нашу величайшую эпоху, когда все богатства природы поставлены на службу человека, преобразующего мир, может ли идти речь о лимитации древесины! Что значит ограничить рубку леса? Это значит сдержать, затормозить, сорвать, черт возьми, темпы социалистической индустриализации, загубить святое дело коммунизма! Не ясно ли, на чью мельницу работает теория Вихрова?! Таков ход блестящих исповедей Грацианского, обильно приправленных намеками на сомнительную политическую репутацию Вихрова. Правда, вихровская теория не только не противоречит, а, наоборот, согласуется и исходит из возросших темпов строительства: ведь Иван Матвеич составил обстоятельные таблицы о том, где, как и сколько можно взять древесины без разорения лесных фондов. Но какое дело до этого Грацианскому, разряжающему в противника критические обоймы далеко не из высоких солдатских побуждений. Обличая Вихрова, Грацианский, вероятно, выдвигает свою теорию, которая должна вывести лесную науку из дебрей путаницы, помочь государству решить сложную лесную проблему? К сожалению, нет. Профессор Грацианский считает себя специалистом по корню зла, особенно лесного. В лесоустроительном институте он ведает кафедрой «несколько неопределенного профиля»- «организация промышленного освоения лесов». Да Грацианский и не ставит своей целью вносить в науку что-то оп-

ределенное, позитивное. «Человек разнообразнейших дарований», как говорит о нем любящая его женщина, Александр Яковлевич бросил якорь в гавани лесной науки после того, как убедился, что именно здесь он может больше всего преуспеть. И вот в ведомство, где сидят невидные работяги, бесталанные в отношении разящего словца, где много еще теоретически неясного, неустоявшегося, куда редко проникает глаз общественного контроля, приходит новый ученый, и не простой ученый-лесовод, а охранитель и страж идейной ясности, и с необычайным блеском, прикрываясь броней революционных фраз, начинает разить идеологических «отступников».

У Грацианского достойная смена в лице вертодоксов (прозванных так ввиду их исключительной гибкой «ортодоксальности» — на все четыре стороны света. Как признается один из этих «лесных специалистов», Чик, он «никогда в русских лесах не бывал, так же, как и никогда, добавим, не входил в суть народно-хозяйственных лесных проблем. Цель этих вертодоксов — вслед за Грацианским выступая от имени «пролетарской правды», клеймить Вихрова с его теорией лесопользования как буржуазного реакционера, стоящего поперек пути социалистического прогресса.

Грацианский не просто опасный демагог, в низменных целях карьеры играющий на высоких идеях века. Его «революционные», «идейные» заклинания — средство социальной мимикрии. Он любит адресоваться к «нашей чуткой, отзывчивой, передовой молодежи», уверяя, что всегда «готов посильно служить» ей. Значит, велика роль молодежи в судьбах нового мира, если, пуская в ход весь дар красноречия и изощренной демагогии, перед нею заискивают матерые враги народа. Грацианский свой яд хочет впрыснуть в души молодежи, которой предстоит строить новый мир, от которой зависит будущее. С какой змеиной ловкостью при первом же разговоре запускает он жало в доверчивую душу советской девочки Поли, вступающей в жизнь и охваченной самыми светлыми, благородными порывами, готовой умереть за родину в борьбе с фашистскими захватчиками! На ее вопрос,

долго ли продлится война, он с истинно иезуитским искусством красноречия стремится внушить ей мысль о неизбежности войн, о невозможности что-либо познать в историческом процессе. «С непривычки к дискуссиям» Поля «не умела возразить на то неуловимое недоброе, что крылось в ускользающих профессорских намеках». Полю смущало то, что эти речи, против которых бессознательно восставало все ее существо, исходили от человека, которого она знала по его статьям, как стойкого борца за идейную четкость. Правда, такие, как Поля (а она представляет большинство советской молодежи), не могут долго находиться под гипнозом речей Грацианских, выдающих себя за идейных ортодоксов: в конце концов молодежь обнаружит ядовитый зубок и придет с расплатой, как заявилась к Александру Яковлевичу Поля. Но что, если яд Грацианского падет на благоприятную почву, если неустойчиво-слабые молодые души воспримут «газированный ядок сомнения»?

Мы ясно видим последствия, когда знакомимся с «любимцем и ближайшим учеником Грацианского». Это студент предпоследнего курса, но какую выучку вероломства прошел он у своего учителя! В минуты всеобщего радостного возбуждения студенческой молодежи, взволнованной изумительной лекцией Вихрова, этот головорез провокационным намеком на якобы политическую сомнительность вихровской родни хочет всадить нож в спину честного ученого, отравить вызванную его лекцией радость молодежи, заронить семя недоверия к лектору. И читатель горячо разделит гнев и возмущение безвестного кубанского паренька, оказавшегося на вихровской лекции, который с присущей молодости непримиримостью к подлости определил поведение «оголтелого деятеля» как фашистскую выходку: «Ненавижу... фашизм в любом его виде, двойную игру, удар из-за угла ненавижу!» — эти слова многое показывают нам в облике Грацианского и его сподвижников. ..

Слово — главное оружие Грацианского, и как иезуитски-изощренно использует он его в своей разрушительной деятельности! В ответ на мучительный вопрос Поли: на-

сколько велики ошибки Вихрова, и можно ли «повернуть его на наши рельсы», Грацианский отвечает: «У него первоклассные знания и все еще ясный ум, а... лишь в молодом возрасте случаются такие озаренья. Вспомните, сколько лет было Савлу на пути в Дамаск или Белинскому, отрекающемуся от гегельянского примиренчества... но кто, кто поверит в раскаяние семидесятилетнего Галилея? И все же я отвергаю ваши законные подозрения в злом умысле, хотя временами и сам склонен предположить нечто близкое к этому... но совсем другое»

Структуру этой речи можно назвать «пыточной». «У него первоклассные знания и все еще ясный ум», — говорит Грацианский, и в душе Поли, которая, начитавшись статей Грацианского, считает отца врагом народа, затеплилась надежда. Но тут же эта надежда оборвалась, когда после короткой паузы тот продолжал: «...лишь в молодом возрасте случаются такие озаренья».

Дальнейшие слова и это подчеркнутое «***кто**, кто* поверит в раскаяние семидесятилетнего Галилея?» окончательно, кажется, убивают девочку, она подавлена, жалка... «И все же я отвергаю ваши законные подозрения в злом умысле...» — доносился до ее смятенного сознания размеренный голос мучителя, и она вновь встрепенулась от внезапной надежды, но Грацианский добивает: «...хотя временами и сам склонен предположить нечто близкое к этому... но совсем другое». Это «но совсем другое» застревает в мозгу, рождая подозрения о еще большей отцовской вине.

Своей речью Грацианский стремится проникнуть в сознание молодежи, подточить его изнутри, внушить подозрение и вражду к честным людям старшего поколения.

Писатель использует своеобразную лексику, заостренно передающую мимикрию Грацианского под «передового» человека.

Речь его насыщена выражениями типа: «***наша сверкающая*** действительность», «***враги пускаются*** порой на ***ювелирные хитрости***», «сопротивление людей этого класса... погребено в ***бетоне социалистической стройки***», «направ-

ление нашей прекрасной, передовой, жизнерадостной, ***бестеневой, так сказать, литературы***» и т.д.

Острую характеристичность речи Грацианского придают его двусмысленные словесные «формулы», в которых одна часть логически исключает вторую: «...мне и самому не хотелось бы отпускать вас с пустыми руками... хотя время наше уже полностью истекло», говорит он Морщихину; «...дама эта, конечно, сбережет их (копии документов. — *М. Л.*) в целости... впрочем, без особого ручательства»; «...ты кури, кури... вообще-то у меня не курят...», — говорит он Вихрову. Важна в речевой характеристике ритмо-мелодика его вкрадчивой речи, с помощью которой до читателя доносится та или иная черта характера персонажа или авторская оценка.

Выразительны в речи Грацианского внезапная пауза и междометие «э» — так иронически подчеркивается оценка последующей речи: «Именно это внушает мне глубокую веру в это самое, э... ну, в окончательное торжество дела, которому мы с вами посвятили наши жизни»; выразительна привычка Грацианского не дослушивать собеседника до конца, и т.д.

При анализе художественного образа нельзя игнорировать момент авторской оценки. Авторская оценка рождается из той роли, которая отводится персонажу в произведении, из тех ситуаций, в которые он поставлен, из тех поступков, которые персонаж совершает. Отношение писателя к образу видно и в авторской речи. У разных писателей, да и в различных произведениях одного и того же писателя, авторская оценка персонажа проявляется по-разному: иногда авторская речь как будто беспристрастна, «объективна» — и момент оценки здесь может быть обнаружен только в результате тщательного анализа текста, тех художественно-изобразительных средств, с помощью которых характеризуется персонаж. Таковы, например, произведения А. Чехова.

В произведениях других писателей авторская речь вносит прямую оценку в повествование, взгляд автора проявляется со всей очевидностью. Такова авторская речь в «Русском лесе»: ни в одном прежнем романе писателя она не была столь субъективно-оценочной, как в этом произведении.

Резкость субъективно-оценочного момента составляет характерную особенность стиля романа Леонова. Она является следствием активной идейно-эстетической позиции автора, его стремления к предельно открытому выражению своих симпатий и антипатий.

Говоря о попытке Саши Грацианского унизить сыщика в глазах высокопоставленных гостей своего отца, автор замечает: «Это было мстительное превосходство трусливой силы и, с одной стороны, конвульсивная разрядка обиженного барчука, а с другой — уже и потребность насладиться униженьем низшего создания».

Мысли Грацианского о самоубийстве вызывают следующую авторскую оценку: «в ту минуту он (Вихров. — *М. Л.*) еще не понимал, что это всего лишь вражеский солдат корчится перед ним на поле отвлеченного проигранного боя».

В художественном произведении каждый образ находится во взаимодействии с другими образами, хотя и должен в то же время действовать вполне самостоятельно, жить своей особой жизнью. Характер проявляется во взаимодействии с другими характерами, в движении, развитии. Реалистичность образа Поли в том, что, выступая в разнообразии жизненных и общественных связей, она обнаруживает типичные для советской молодежи черты характера, отражает существенные приметы времени. Для понимания Поли как целостной личности важны все разновидности ее общественно-жизненных связей. Сталкиваясь с другими персонажами, порою появляющимися эпизодически, Поля как бы поворачивается к нам все новыми гранями своей личности. Наиболее существенны взаимоотношения Поли с Вихровым и Грацианским.

Начитавшись разносных статеек Грацианского, в которых явно сквозил намек на сомнительную политическую репутацию Вихрова, Поля начинает подозревать отца во вредительской деятельности, страдает из-за мнимой его вины. Писателем взята как будто исключительная, необычная ситуация. Однако она важна для характеристики Поли, ее моральной чистоты, стремления быть безукоризненно честной перед

родиной и народом. Поля выросла без отца, она жила с матерью, бывшей воспитанницей помещицы. Испытав в жизни тяжелую драму, мать Поли прошла путь утрат и потрясений и ценою огромной внутренней ломки обрела свое место в трудовой жизни. Не только родительский дом, а вся атмосфера советской жизни, теплота новых человеческих отношений были той питательной средой, которая взрастила Полю. Ее отношение к отцу определяется теми нормами социальной и человеческой этики, которые усвоены ею как советским человеком. В ряде критических статей отмечалась ненужная следовательская «изощренность» Поли в отношении отца, невиновность которого совершенно ясна. Думается, что у автора это психологически оправдано, тем более, что значение Вихрова в развитии образа Поли по существу гораздо шире фабульных связей. Судьба Вихрова содержит в себе опыт жизни и борьбы старшего поколения, который обогащает Полю и подготавливает ее к подвигу в годы Отечественной войны. В линии Вихров — Поля выражена художественная идея о преемственности поколений, их передовых традиций и борьбы. Этой художественной идеей обусловлено своеобразие композиционной структуры романа.

Действие романа начинается в самый канун Великой Отечественной войны и заканчивается весной 1942 года. Но это, так сказать, «настоящее» время действия. В ходе повествования писатель то и дело обращается к прошлому, уходящему в глубь десятилетий, вводит огромное количество событий, эпизодов, лиц, связанных с этим прошлым. Леонов и раньше включал материал прошлого в свои произведения — вспомним роман «Дорога на океан». Но там картины минувшего, узко связанные с биографией героя, не представали в органическом единстве с эпизодами современности, образуя целостную сердцевину произведения, как это есть в «Русском лесе», — там экскурсы в прошлое, являясь как бы довеском к изображению настоящего, часто замедляли развитие сюжета, в то время как в «Русском лесе» переход к прошлому и обратный переход к настоящему воспринимаются как органическое свойство сюжета, раскрывающего

идею преемственности. Но почему писатель не дает временной последовательности в изображении событий, почему он не начал повествование с описания прошлого, например детства Вихрова? Леонов преднамеренно выделяет «настоящий» план повествования, острие его замысла направлено на современность, на события Великой Отечественной войны, на молодое поколение, наиболее полно представленное в образе Поли, которому пришлось принять на свои почти еще детские плечи огромную тяжесть испытаний в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Но вместе с тем писателю важно показать, что подвиг советской молодежи подготовлен всем славным прошлым ее отцов. Приемом отступлений в прошлое писатель добивается того, что в романе постоянно ощущается биение пульса в живой преемственной связи двух поколений советских людей, в единстве народной борьбы.

Взаимоотношения Поли с Грацианским отражают одну из разновидностей основного конфликта романа. Статьи Грацианского, намекавшие на политическую неблагонадежность Вихрова, были тем ядом, который, просочившись в юную душу, отравлял Полино детство. Беспомощная в специальных вопросах, подавленная авторитетом грозного критика, Поля долго верила наветам на отца. Первая встреча с Грацианским в бомбоубежище внесла еще больше сумятицы в сознание Поли. Наивная девочка, доверчивая к жизни и людям, сталкивается с изощренным врагом, стремящимся замутить юную душу разъедающим скепсисом, сомнением в возможности разумного, без кровопролития устройства человеческой жизни. Поля не может еще вступить в прямую борьбу, она еще беспомощна и не знает жизни, но она интуитивно чувствует в Грацианском чуждую силу и всем существом своим противится ей. Обостренное восприятие всего того, что противоречит ее идеалу, помогает Поле осознать фашистскую сущность Грацианского. Впоследствии, пройдя сквозь испытания войны, собственными глазами повидав фашистов, Поля отметит сходство Грацианского с ними. В истории взаимоотношений Поли с Грацианским воплощена художественная мысль о неодолимости молодых и чест-

ных сил нового мира, о непримиримой ненависти советской молодежи к фашизму во всех его проявлениях. Автор выделяет особую роль молодежи в разоблачении Грацианского. Именно молодые советские люди — Поля, Морщихин, Сережа, Лавцов почувствовали в Грацианском своего смертельного врага и с открытостью честной молодости вступили с ним в борьбу.

Образ Поли выступает связующим композиционным стержнем, вокруг которого объединяются все другие образы молодых советских людей, как бы дополняя и обогащая характер главного персонажа. Наибольшее воздействие на развитие характера Поли оказали ее подруга Варя и секретарь райкома комсомола Сапожков. Студентка педагогического института, страстно привязанная к детям и мечтающая посвятить свою жизнь воспитанию честных граждан; серьезно мыслящая девушка, в которой мечтательность и романтика уживаются с трезвостью и расчетом, — Варя, несмотря на незначительную разницу в возрасте, была для Поли старшим наставником. Поле, настроенной еще по-детски мечтательно, не хватает вдумчивого отношения к жизни, эмоциональность преобладает в ее натуре, ее «философские» рассуждения не самостоятельны и вызывают улыбку Вари. Когда началась война, Варя уходит в партизаны и погибает смертью героя. Все поведение Вари перед отправлением в тыл врага: строгая сосредоточенность, отсутствие какой-либо позы, ее слова о том, что в грозное время войны от человека требуется «сознание важности своего места, ясное понимание возложенного историей... пусть хоть маленького поручения» — все это должно было отрезвляюще подействовать на Полю, полагавшую, как об этом сурово сказала Варя, что «настоящая жизнь — игра в опасный подвиг, бег наперегонки к братской могиле...». Варя шла на подвиг с полным пониманием того, что ее ожидает. Но она стала только замкнутее, как бы вся ушла в то главное своей души, что должно было быть подвергнуто испытанию. Писатель нашел хорошую деталь, освещающую духовную стойкость Вари в суровый и драматический момент ее жизни. Перед тем, как

уехать на выполнение задания, она «накинула на плечи красивую клетчатую косынку, лучшую из своих вещей, надеваемую лишь в самые торжественные, хорошего настроения дни». Варя была для подруги образцом зрелого мужества.

Столь же поучительно было для Поли знакомство с секретарем райкома комсомола Сапожковым. Она пришла к нему с просьбой направить ее на фронт, но молодой секретарь не мог одобрить горячности девушки и посоветовал подумать о будущем, когда будет ощущаться особая нужда в ее профессии архитектора. Придя в райком в другой раз, Поля узнает о гибели бывшего секретаря на фронте. Смерть Сапожкова, поразившая Полю, заставляет ее глубже задуматься над жизнью. Жил и работал далеко от фронта молодой человек, такой же мечтатель, как и она, но только чуточку мудрее, не надоедавший никому просьбами о «большом деле», скромно и добросовестно выполнявший «возложенное историей» маленькое поручение, но вот потребовалось отдать жизнь за родину и он отдал ее без колебаний. Размышления над судьбою Сапожкова помогали духовному возмужанию Поли.

Каждый образ молодого советского человека в «Русском лесе» отчетливо индивидуализирован. Неповторим человеческий облик Вари. Эта девушка не обладает внешней привлекательностью; с лицом «несколько плоским, с тонким разрезом рта и широко расставленными глазами», она «выглядела бы куда естественней, если бы из стен педагогического института перенести ее куда-нибудь на выжженные склоны Тянь-Шаня, посадить на мохнатого конька да пустить против полуденного ветра с камчой в руке и ниткой бус на загорелой шее». Духовная красота, расточительная щедрость сердца Вари делают ее облик обаятельным. Ее покровительственное отношение к Поле, манера говорить точно и понятно, словно диктовать на уроке в классе, привычка перемежать свою речь паузами, чтобы ее маленькие собеседники успевали следить за нею, — все эти живые черточки человеческого характера придают образу убедительность.

Всего на двух страницах описан разговор Поли с Сапожковым. Вот первое знакомство Поли, а вместе с нею и чита-

теля с секретарем райкома комсомола. «Поле повезло: несмотря на ранний час, начальство находилось у себя в кабинетике и завтракало из бумажки. Это был очень молодой человек в защитной гимнастерке, но не тот прежний, высокий и кареглазый, с оттенком государственной озабоченности в лице, а другой, временный, помельче ростом и попроще, с такими же синяками бессонной ночи под глазами, как у нее самой, причем и фамилия у него оказалась совсем домашняя: Сапожков». Здесь все хорошо: и это согретое добрым юмором «начальство находилось у себя в кабинетике и завтракало из бумажки»; и такая привлекательная, по контрасту с важностью прежнего секретаря, домашняя простота Сапожкова; и синяки от бессонницы под глазами, роднящие его с Полей. Хорош Сапожков своей человечностью, чуткостью к людям, высоким интеллектом. Поля говорит секретарю, что она только боится «бесславной смерти». «Мысль несомненно интересная, — несколько нахмурясь, согласился секретарь, — но, вероятно, ты хотела возразить мне, что гораздо больше следует жизни бесславной опасаться. О смерти-то нам с тобой рановато думать. Согласна со мной?» Хорошо выражены здесь серьезность, настоящий, не казенный оптимизм юноши. В эпизодическом образе каждая портретная черточка, каждый жест, каждое слово должны быть предельно характеристическими, только тогда персонаж не промелькнет перед глазами читателя серым пятном, а останется в памяти живым лицом. Леонов обладает этим трудным искусством лепки эпизодических образов. Перед нами — зримый до ощутимости образ Сапожкова. Пластичность в данном случае достигается портретной характеристикой, разнообразием психологических деталей и жестов, однако основную роль здесь играет речевая характеристика. Проникновенно раскрывает писатель строй чувств Поли, узнавшей о гибели своей любимой подруги Вари. Оставшись на ночлег в Вариной комнате, Поля вспоминает, как до войны Варя мечтательно пересказывала ей содержание любимых страниц из знаменитой книги о путешествии дарвиновского корабля. «Бигль, Бигль... — вслух позвала Поля, и лишь одна душа на свете могла бы

разгадать и откликнуться на ее пароль». Эта фраза содержит глубокий поэтический подтекст: Поля произносит заветное слово вслух, устремленная мыслями к живой Варе, как бы веря, что подруга откликнется на ее зов. «Тонкоствольные, с плоскими кронами и под самое небо деревья высились, раскиданные на пологих холмах, похожие на поднимающиеся дымы, и будто Варя ждала ее там, такая невозмутимая, несомненная и живая, что Поля доверчиво двинулась к ней туда отдать ей долг любви и верности, чего мы никогда не успеваем сделать при жизни наших близких». В описании Полиного забытья автор вводит метафорические средства, сохраняя в целом строгую, внешне сдержанную, но обладающую сильным эмоциональным зарядом форму повествовательной речи. Логически выделенные слова-эпитеты- «такая невозмутимая, несомненная и живая» — подчеркивают силу восприятия Полею живого облика подруги. Неожиданный перевод повествовательной речи из области субъективных чувств и видений Поли в сферу общехарактерного — «чего мы никогда не успеваем сделать при жизни наших близких»- придает повествованию большую значительность.

Исключительная особенность в облике и характере человека, уловленная писателем, делает образ свежим и жизненным. Образ Поли пленяет самобытными человеческими чертами. Вот она приезжает в Москву, провинциальная восемнадцатилетняя девочка, которой на вид можно дать только пятнадцать, «с беспричинно сияющим лицом», с восторженной речью, которая то звенит от нескрываемого счастья, то затихает до шепота. Путешествуя по Москве, она приобретает ненужные ей вещицы, потому что они имеют оттенок московской новизны; покупает ландышевые капли, потому что «у них такое красивое название!» Во взаимоотношениях с другими героями — учась и осваивая опыт одних (Вихров), преодолевая чуждую силу других, борясь с ними (Грацианский), испытывая воздействие третьих (Варя, Сапожков и др.), обнаруживая все новые и новые черты своего характера, непрестанно развивающегося и обогащающегося, такой

предстает перед нами Поля. История роста характера Поли, ее духовного возмужания пристально исследуется писателем.

Сложные вопросы действительности не выступают у героев Леонова в отвлеченном виде, они опосредствованы жизненным опытом и чувствами человека, окрашены личными эмоциями, приобретают характер интимных вопросов!»Личные» вопросы, вплоть до родственных, органически сливаются с «общими» в единой душевно-психологической сфере жизни человека. Эту особенность психологии персонажей можно наглядно увидеть, например, в эпизоде встречи Вихрова с дочерью Полей. Отец не виделся с дочерью тринадцать лет, с тех пор как покинувшая Ивана Матвеича жена забрала дочь с собою на Енгу. И вот уже студенткой дочь приходит на квартиру Вихрова. Иван Матвеич взволнован встречей: проведя ее к себе в кабинет, он первое время не может взять себя в руки. В его словах, обращенных к дочери, озабоченность ее судьбой, грустная успокоенность одинокого человека, много испытавшего в жизни. «- Однако же все обернулось в наилучшем виде: выросла, комсомолка... и уже в армии?» — спрашивает Иван Матвеич, преодолевая власть горечи, неминуемой при подобных встречах.

«— На войну еду... вот, проститься зашла, — сказала Поля, подняла лицо и, не смахивая набежавшей от счастья слезинки, улыбнулась отцу в самые глаза». Счастье дочери, обретшей отца, выразилось в этой светлой открытой улыбке, и она вошла в самое сердце Ивана Матвеича, наполнив его радостным сознанием близости Поли. Он решается на вопрос, на который, вероятно, не решился бы, не почувствовав этой близости дочери: что подвигнуло ее пойти в армию, на фронт? «— Это самое упоение, желание испытать себя в опасности, гражданская совесть, гнев, оскорбленная гордость твоя, может быть, стремление к славе, наконец? — подсказывал он, чтоб облегчить ей выбор и точность обозначенья». Мы видим, как зарождаются духовные связи между отцом и дочерью, как «частное» переходит в «общее». Отец «до такой степени держался вровень с нею, что некоторые из своих выводов ставил в прямую зависимость от ее ответов».

Этот искренний нетерпеливый порыв Ивана Матвеича, обращающегося к близкому человеку за разъяснением вопросов, которые его волнуют (что движет молодежью, идущей на борьбу против зла старого мира?), удаляет последнюю преграду, отделяющую их друг от друга. «Теплота доверия» охватила Полю, и «ей стало совсем легко с отцом, почти как с Варей». Поля открывает душу отцу, делясь своими думами о том, что такое чистота на земле, говоря о зле старого мира. Полины слова звучат как лирическая исповедь. И вообще весь разговор Поли с отцом на «отвлеченную» тему содержит столько взволнованного чувства, так богат интимными интонациями, что он может служить замечательным подтверждением того, что для подлинного художника поэзия везде, где жизнь, большая мысль, правда. Приведем хотя бы часть Полиных слов: «— Я так объясняю... ну, к чему стремятся люди? Говорят, к счастью, а по-моему, неверно: к чистоте стремиться надо. Счастье и есть главная награда и довесок к чистоте. А что такое чистота на земле? Это чтоб не было войны и чтоб жить без взаимной обиды, чтоб маленьких не убивали, чтоб на ослабевшего не наступил никто... ведь каждый может ослабеть в большой дороге, правда? И чтоб дверей на ночь не запирать, чтоб друг всегда за спиной стоял, а не враг, и чтоб люди даже из жизни уходили с улыбкой...». Вы чувствуете, как этот разговор на «высокую» тему вылился из самой души героев, и он придал всему свиданию отца с дочерью особую интимность.

В художественном произведении тот поступок или действие персонажа, в котором проявляется самая сущность характера, должны быть мотивированы всем предшествующим развитием этого характера, обстоятельствами его формирования. Только тогда этот поступок, это действие, будучи закономерными и художественно достоверными, могут раскрыть нам образ. Все развитие образа Поли, вся история ее духовного становления подготавливают подвиг, совершаемый ею в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Высшим выражением этого подвига явилось мужественное поведение Поли на допросе у фашистского офицера. Эпизод

допроса фашистом Киттелем советской девушки — кульминационный момент романа. ...Первая реакция Поли, когда она вышла на допрос, — естественный страх за свою жизнь. Постепенно этот страх проходит, вытесняемый отчаянием от сознания, что задание останется невыполненным. Но и с чувством отчаяния она справляется: все силы души сосредоточиваются на одном: выдержать, не оказаться слабой! Мы видим воочию, как рождается зрелость. Поля — наивная восторженная Поля! — в какой-то миг постигает науку хитрости, расчетливости. Как искусно она разыгрывает перед Киттелем версию о своем бегстве из Москвы, как умело «оскорбляется» недоверием немецкого офицера к ее словам. С истинным вдохновением лжи выпаливает она «филиппику» против советской власти, лишившую ее, якобы помещичью дочку, «боярских» привилегий. Выпаливает и... замолкает во всем разбеге от внезапного испуга, что вдруг старый мир поверит ей, пощадит за ее беспримерное отступничество.

Сколько психологических оттенков в поведении Поли: она и лжет, и играет, и ведет себя правильно. И в обмане ею Киттеля какой талант: если она вопреки стыдливости подавит в себе девчонку, то Киттель поверит... Полю кинули с размаху в воду, и она держится на поверхности, не тонет.

И все-таки она не может до конца довести тягостную и фальшивую роль — слишком чиста она в помыслах, и даже ее вынужденная ложь кажется ей сделкой со старым миром. Она смело объявляется врагу. Писатель психологически убедительно связал «взрыв» в душе Поли с доносящимся сквозь стены блиндажа гулом советских самолетов. Поля вырастает, она становится поистине великой в своем духовном взлете. В облике этой девочки, гордо бросающей вызов врагу, есть что-то от прекрасного облика Зои Космодемьянской*.

Роман «Русский лес» пронизан чувством молодости. В этом романе впервые у Леонова тема молодости стала

* В беседе с автором этой работы Л. М. Леонов сказал: «Меня поразила фотография повешенной Зои Космодемьянской. Ветром эпохи веяло от этой фотографии. Когда я писал сцену допроса, я думал о Зое».

пафосом произведения, а образы молодых людей обрели ту яркость и одухотворенность, которые делают их живыми в воображении читателя».

Эти образы, и прежде всего образ Поли, — принципиальная удача в творчестве писателя. Художник самобытного взгляда на жизнь, определенного круга излюбленных образов, Леонов в «Русском лесе» как бы распахнул все двери для молодых сил, и они ворвались в роман со своим неудержимым порывом в будущее, придав это ощущение движения вперед повествованию.

К тому кругу людей нового поколения, которые выступают в романе восприемниками наследия отцов, примыкают Морщихин и Осьминов. Правда, это люди более старшего поколения, чем Поля, Варя, Сережа и другие, но, в сущности, они стоят в том же ряду непримиримой молодости. Впервые мы встречаемся с Морщихиным в зале музея, когда он приходит на помощь Ивану Матвеичу, который доказывал Сереже, «ниспровергавшему» по молодости классическое искусство, непреходящую художественную ценность его. То, что для Морщихина идея о культурном наследии, о преемственности стала такой же истиной, как для Вихрова, характеризует интеллектуальную и духовную зрелость поколения, которое формировалось в советское время. Морщихин — как бы связующее звено между Вихровым и Сережей.

И недаром Иван Матвеич вверяет судьбу своего приемного сына в руки Морщихина, ставшего комиссаром бронепоезда.

Каким путем идти молодежи, озабоченность ее будущим — эти вопросы так же, как и Вихрова, волнуют Морщихина. Он знает, что «после своего поражения в текущей войне... старый мир... непременно вернется к испытанной тактике обольщения всякими либерально-завиральными идеями, мнимыми свободами буржуазной демократии, — к соблазнам легального классового сотрудничества, то есть к обману, подкупу, подачкам и отеческо-полицейской ласке». В первую очередь, предсказывал Морщихин, такая атака грозит странам, которые после войны отойдут от капитализма...

ЧТОБЫ ПОБЕДИЛО ЖИВОЕ

Душа родного языка начинает жить для нас, пожалуй, с названия родины, родных мест. Наши мещерские деревни под Спас-Клепиками называются так: Заречино, Егорово, Малое-Дарьино, Ивкино, Исток, Пилево, даже Свежая Водичка и, как кривая осина в березовой роще, село Екшур (с путаным ударением). Свет этих русских названий деревень так же осязаем для меня, как смолистые бревна новой избы-пятистенки. Сколько красоты таилось в народном слове, связанном с деревенским бытом, с крестьянским трудом! Моя мать рассказала мне, какие в старину были покосы на лугу, где косила их мещерская деревня Малое-Дарьино: Репище, Липово, Граный Столб, Низкое, Могино, Язовки, Таловище, Первый Закос, Реписка Верейка, Ценские Шалоши, Горель, Линево. «Бывало спросишь: "Ты где гребла?" — "В Клинушках" или — "В Протягах"». Сколько названий — как цветы на лугу! А ведь это только в одной деревне. Сколько поэзии было в душе деревенских людей, целых поколений, чтобы породить такое соцветие слов.

Приходит в жизни человека глубокое осознание основ духа, и тогда открывается смысл первородного в человеческом опыте. Тогда в народное слово глядишь, как в колодец, тогда разверзается глубина каждой поездки в родные места.

Вспоминаю я одно недавнее навещанье в своей родной Мещере. С бабушкой и мамой мы пошли к «сестричке Кате», в деревню Егорово (в ту самую деревню, где родился и жил знаменитый художник Архипов). «Сестричка Катя» — это девяностолетняя двоюродная сестра бабушки, славившаяся по окрестным деревням тем, что к ней со всех сторон ходили лечиться пиявками. Мы застали ее тяжело больною (бабушка и пошла проститься с сестрой: «Бог знает, когда боле увидимся»). Высохшая, задыхающаяся «сестричка Катя» узнала и бабушку, и маму, а на меня посмотрела пристально-тяжело и покачала головой. Мы впервые видели друг друга. Бабушка подвинула табуретку к постели больной и присела. В камор-

ке было тесно (это был отгороженный угол избы), мы с мамой постояли, а потом тихонько вышли. В большой половине избы сидели все домашние. На лавке молодой человек лет пятнадцати, вытянув ноги в узких брючках, накручивал ручку старого патефона (видимо, желая развлечь гостей), но на него прикрикнули: «Убери свой граммофон». За перегородкой старые сестры говорили между собой тихо, с большими перерывами, и по глубокой покорности голосов чувствовалось, что это было прощание.

— Ногами-то, Аннушка... отмаялась?..

— Отмаялась, сестричка, все слава Богу... Не замай ты себя...

А в избе шла своя жизнь: дочь больной собирала обедать, с довольным видом вернулся с улицы ее молодой зять. Он поставил на стол поллитровку и расположился на лавке. По-хозяйски стал разливать водку по стаканам. Сказал «поехали» и выпил залпом. Быстро управившись со щами, закурил и стал вспоминать свою недавнюю солдатскую службу на Севере. Я слушал невнимательно, никак только не мог отвязаться от чего-то липучего, а потом понял — от слова «досконально», которое часто повторял рассказчик. «Вызывает меня командир части, досконально, дает на двое суток увольнительную... Я, досконально, в город, была у меня там одна чувиха...» и т.д.

Мама сидела пригорюнившись, ничего не ела. Из-за перегородки слышался бабушкин голос: «...вернулся он, а у ей вся душа осветлела, больно рада с ребятишками... тебе наказала кланяться».

Молодой зять с еще большим настроением стал докладывать о своих успехах...

В самом молчании за перегородкой было что-то значительное. Там было просто и сокровенно. Задумчиво стало на душе. Так иногда бывает, когда перед внутренним взором пробивается оболочка жизни и воронкою тянет ранее скрытая глубина.

...Для многих из нас, родившихся в деревне, отчий край навсегда останется тем пристанищем, где мы лечим душу

в трудные минуты жизни. Первый трепет нашей души — в восторге и обиде — связан с отчим краем. Здесь прикоснулись мы к тайне народа, к его безмолвной мудрости. И здесь же проник в вас свет родного русского языка, отзываясь на всю жизнь шелестом листвы и сказок. И бывает, одно слово в письмеце, полученном из родной деревни, уведет к сумеркам в избе, к близким озабоченным лицам, к щемяще-глубокому в простой деревенской жизни.

В жизни русского крестьянства таились огромные нравственно-эстетические ценности. Никто не собирается идеализировать старую русскую деревню, но не все в ней было худое. Была и мощь нравственного идеала, добрые обычаи гостеприимства и общего, «миром» участия к чужой беде. Была содержательность душевных связей с природой, землей, порождавшая народную философию; и художественность самого быта, которая выражалась прежде всего в искусстве постройки крестьянской избы (верно говорил знаток русского искусства Игорь Грабарь о «совершенно исключительной архитектурной одаренности русского народа»). Была поразительно образная крестьянская речь — сокровищница народного опыта и народного чутья к красоте.

Высокие свойства народного характера недаром являлись опорой в мучительных жизненных исканиях великих русских писателей. Как никакая другая литература в мире, русская литература прошлого века отличалась нравственной чуткостью, жгучим правдоискательством, и это ее качество объяснялось близостью к народу. Апелляция к народу как высшему авторитету в нравственных вопросах внутренне объединяла творчество великих русских художников. Проблема «интеллигенция и народ», становясь стержневой в раздумьях писателей о судьбах России, решалась с глубоким сочувствием к народным идеалам.

От народа же получали русские писатели и такой великий дар, как язык. «Язык — народ, в нашем языке это синонимы, и какая в этом богатая глубокая мысль!» — писал Достоевский. Говоря о том, что в высших классах русского общества «уже перестают родиться с живым русским язы-

ком», Достоевский заключает: «Живой же язык явится у нас не раньше, как когда мы совсем соединимся с народом». Высмеивая моду «высших классов» воспитывать своих детей на французском языке, отрывать их от родного, русского языка, Достоевский говорит: «На высшую жизнь, на глубину мысли заимствованного, чужого языка не достанет именно потому, что он нам все-таки будет оставаться чужим; для этого нужен язык родной, с которым, так сказать, родятся». Достоевский даже ставит счастье мыслящего человека в зависимость от того, насколько глубоко овладел он родным языковым материалом («чтоб организовать в нем всю глубину своей мысли и своих душевных запросов»).

Особый смысл в высказываниях о языке такого глубочайшего психолога человеческой души, как Достоевский, приобретает мысль о растлевающем влиянии «мертвого языка» (то есть чуждого живому родному языку) на человека, порождающего «коротенькие идейки», циничные мысли — «циничные именно по своей короткости, вследствие ничтожных, мелочных форм, в которые всю жизнь облечена была...»

Веками создавал русский народ свою народную цивилизацию, творил свой несравненный могучий, как безбрежный океан, родной язык. И было бы трагичным для нации предать забвению народные культурные сокровища. Это означало бы строить дом без фундамента, это означало бы безмерно урезать духовную жизнь молодых поколений.

Вот почему проблема народности языка становится одной из главнейших для нашей литературы. Я вспоминаю, с какой грустью говорил мне Борис Шергин, этот волшебник русского народного слова, о том, что на его родном Севере, в архангельских краях, нивелируется разговорный язык, исчезает многоцветность, образность северного говора. Мне скажут, что если так происходит, то, стало быть, это закономерно, что, мол, новое время — новый язык. Эта мудрость, однако, мне кажется сомнительной, на манер той «коротенькой идейки», о которой говорил Достоевский. И уж совсем получается «коротенько», когда эту «мудрость» отстаивают иные из писателей. Судьба живого народного языка, конечно, пробле-

ма сложная, зависящая от многих глубоко общественных причин. Однако влияние литературы не может не быть активным — в положительную или отрицательную сторону. Это влияние, к прискорбию, нередко разрушительно для живого языка — своей мертвенностью, узостью форм.

Сразу же оговорюсь, дабы не быть превратно понятым: я вовсе не за то, чтобы без разбору наполнять литературу областными словами — по-моему, это настолько ясный вопрос, что и говорить об этом нечего. Речь идет о народном слове, поэтически образном, понятном читателю, обогащающем его эстетическое чувство.

Забвение народного слова — это страшное обеднение духовное. В истории очень часто остаются безвестными люди духовного величия — ведь величие сердца, души не всегда можно увековечить в памяти людей, как, скажем, открытия научные. Точно так же остаются безвестными многие, если можно так сказать, молчаливые художники из тех же крестьян, прозорливо, словно гениальный художник, чувствующие природу, но не обладающие даром слова. И только счастливая случайность может сделать достоянием известности духовную незаурядность этих неприметных в жизни людей, как это произошло с героями сказов Бориса Шергина.

Борис Викторович Шергин рассказывал мне, какие замечательные истории он услышал в детстве от своего отца Виктора Васильевича Шергина. Вместе с четырьмя другими поморами Виктор Васильевич Шергин входил в ядро архангельских мореходцев. Они интересовались культурой Севера, записывали предания, воспоминания о мореходцах и кораблестроителях. Один из них, тот самый Лоушкин, Максим Осипович, о котором упоминается в шергинском сказе, все напутствовал маленького Шергина, будущего писателя: «Поедешь, Борис, в Москву учиться, постарайся, чтобы наши сказания попали в писания».

И вот эти народные сказания «попали в писания», стали замечательным фактом литературы. А сколько таких эстетических богатств пропало бесследно! И какой же глубокий долг, нравственный и гражданский, встает перед писателем:

закрепить в слове, чтоб не пропало богатство, это величие народной души! «Искусство, — сказал Н. С. Лесков, — должно и даже обязано сберечь, сколь возможно, черты народной красоты».

* * *

Не произойдет ли с русским народным языком то же самое, что случилось с архитектурными памятниками нашей старины: долгое время не замечали чудо, не очень-то берегли сокровища, а когда они скорбным образом стали уменьшаться, то стало яснее, что мы наследуем, и резко обострилась любовь к старине. Нашу веру в русский язык питает заключенная в нем мощь внутренней жизни. Русский язык выходил могучим из многих тяжелых испытаний. Введение книжного церковнославянского языка в древней Руси вытеснило из оборота огромный лексический запас русской народной речи. Обойденная книжным языком, не вошедшая в древние литературные памятники, эта свежая, первородная стихия народной речи так и не дошла до нас. Книжный, литературный язык от этого, конечно, сильно обеднел. Природа русского языка победила такие языковые нашествия, как иностранщина, казенщина и т.д.

Но есть одно обстоятельство, которое надо учитывать. Народная речь прежде, в старой России, оставалась вне поля воздействия литературной речи, ибо народ почти не читал литературу. Теперь совсем другое дело: не только грамотность, но и образование стало общим достоянием, читают теперь много, и тревожным становится вопрос о влиянии книжного языка на разговорную речь. Но не будем гадать. Обратимся к языку книг о современной деревне.

Недавно вышли две книги живущего в Вологде молодого писателя Василия Белова — «Знойное лето» и «Речные излуки». В рассказах и повестях В. Белова просторно и вольно русской разговорной речи, точнее даже говоря — колоритному вологодскому говору. Ему доступна не речевая шелуха наподобие «фулюганить», а дух народного язы-

ка и его поэзия. Как самоцветы, нанизывает слова на нить разговорную бабка Параня в рассказе «Колоколена». Говор ее обворожителен потому, что образность его очень естественна: как говорит рассказчик, слова она «не придумывала, а они сами у нее сыпались». Послушаем хотя бы прощальные бабкины слова:

«— Ой, батюшко, — заговорила, прощаясь, бабка Параня, — больно уж ты доб-то, да и одежа-та на тебе хорошая, хоть ты заглянул, проведал старуху. Зайди хоть еще разок, когда будешь уезжать-то, всегда у нас с вами было дружно, да матке-то скажи от меня поклон, да и всем-то поклоны. Устарела, скажи, колоколена, а язык-то все еще колоколит, ведь и тебе-то, наверно, напостыла да все уши опела, колоколена.

...Долго еще я слышал громкий бабкин голос, колоколит он у меня в ушах и посейчас, призывая меня в ольховый родимый край, туда, где звенят грибные дожди и пахнет горьким березовым дымом».

Так же выразительно «колоколят» у Белова и другие крестьяне. Важно знать, что эта жизнь слова возможна только в душах непустых — многоцветья не бывает на пустыре. Я не раз замечал, что деревенские люди, особенно старухи, которых слушаешь и не наслушаешься, — всегда люди душевно живые, участливые к другим. И, напротив, люди черствые — сухи в речи. Сердце народное, которое Некрасов назвал «золотом», и выражает себя в слове-самородке. Тут нет надобности в словесных побрякушках или в красивости. Все просто и глубоко. Так иногда в одной фразе виден свет всего человека. Спрашиваю свою мать, вырастившую нас, и теперь, на старости лет, нянчащую дочку самого младшего сына Александра: «Мам, тебе не тяжело?» — «Говорят, Бог дает здоровья с маленькими детьми...»

Послушать настоящую крестьянскую речь — это значит испытать, как говорили в старину, веселие духа, почувствовать себя причастным к нравственному опыту народа. Передаваемые В. Беловым деревенские истории по тому уж одному содержательны, что в них жизнь крестьянского языка,

следовательно, проявления народного духа. Для молодого писателя — это большое дело, но еще важнее это как залог социально-углубленного исследования современной русской деревни (о чем я буду говорить ниже).

В будничном Белов умеет увидеть выпуклое, характерное для деревенских людей. В рассказе «День за днем» живо описана перебранка между соседями — стариками Евдокией и Михаилом — по поводу спорной охапки травы. А на другое утро, увидев Евдокию, выгоняющую из ворот корову, Михайло кричит ругавшей его вчера соседке, чтобы она несла ему косу: «Я ее нараз выколочу». Как будто и не было вчерашней горячей стычки — невольно задумаешься о незлобивости, отходчивости простых людей, которых связывает не случайное, а жизненно-родственное.

Автор ревниво относится ко всему, что для него дорого в деревне. Мы сочувствуем этой ревностности, потому что она идет от серьезного отношения к делу. Поэтому мы можем понять и некоторое увлечение автора частушками в своих рассказах и даже своим даром передачи крестьянского говора (забавная историйка о дорожных приключениях двух однодеревенцев в рассказе «Три часа сроку»). Понятна нам и симпатия автора к местным словам. Впрочем, у Белова достаточно вкуса, чтобы не злоупотреблять ими. А в таком случае употребление наиболее выразительных местных слов только усиливает художественность речи. Те, кто хотел бы наглухо закрыть доступ в литературу любому местному слову, — сомнительные стражи русского языка. Чаще всего такие стражи, не терпя поэтичности местного народного слова, весьма терпимы и даже сочувственно пристрастны к словам казенным и жаргонным лишь потому, что они, так сказать, современны. Но эти «современные» слова должны еще выдержать эстетическое «соревнование» с местным словом! Ведь, вероятнее всего, может быть так, что жаргонное слово явится на это «соревнование», как выпрыгнувшая болотная лягушка в общество лилий. Один из героев повести Белова «Знойное лето», председатель сельсовета, получил в деревне прозвище «Нет необходимости». «Современное» прозвище,

не так ли? Но сравните его хотя бы с тем же прозвищем «колоколена». Эта «колоколена» звучит как музыка в сравнении с этим казенным «Нет необходимости».

Судьба народного языка — это не профессиональная прихоть литераторов, а проблема глубоко общественная, национальная. И пусть будет у писателей больше встревоженности и боли за родной язык, преданности вверенному народом бесценному наследству.

Как бы, однако, ни остро стояла сейчас проблема языка, для русского писателя это само собою разумеющееся условие подлинно жизненного творчества. Языковая атмосфера сама по себе еще не все значит. Белову предстоят большие внутренние усилия, чтобы его вещи стали социально-действенными. Встречаются у него пока еще только штрихи общественной жизни, довольно редкие, но точные (драма любви молодой колхозницы из-за сложившихся обстоятельств в рассказе «Клавдия», колхозные дела в повести «Знойное лето»). Автор обнаруживает свою близость к заветным сторонам крестьянской жизни (непомерно трудная первая послевоенная весна в рассказе «Весна»). Но социальность только тогда задевает читателя, оставляет след в нем, когда она становится нервом произведения. На какой-то достигнутой «профессиональной» точке рассказы Белова начинают повторяться своим бытовизмом.

Искусство, чтобы развиваться, должно идти вглубь, а не вширь. Литература о деревне не может быть узкодеревенской. И, сочувствуя «деревенской» привязанности Белова, его размышлениям о судьбе русской деревни, видишь вместе с тем у него некую внутреннюю самозакрытость местной жизни. Всякая внутренняя обособленность застаивается. В самом лиризме прозы Белова уже чувствуется некоторая степенность, вряд ли согласующаяся с тревожными исканиями. Есть проблемы не менее, а, может быть, более больные, чем те, которых касается молодой писатель Белов, и хотя жизненная интегральность доступна только большим художникам, все-таки содержание запросов времени должно стать ростом души каждого писателя. А то ведь так можно с удо-

вольствием любоваться, скажем, оставшейся в живых старой деревянной мельницей, справедливо и с грустью видя в этом исчезнувшую народную эстетику, но в то же время и не предполагать, что судьба деревни немыслима вне судьбы всего народа. [...]

ПОЭТ ПОИСТИНЕ НАРОДНЫЙ

Семьдесят лет назад, 3 октября 1895 года в селе Константиново Рязанской губернии, в крестьянской семье родился Сергей Есенин. Через тридцать лет знаменитому русскому поэту суждено было умолкнуть.

Дар исключительной интуиции вел Есенина к самым эпицентрам социально-нравственных потрясений времени. От копившейся грозы революции поэта не могли увести религиозные мотивы его ранней поэзии. Внутренняя тревожность прорезывается сквозь ясность ранних есенинских образов.

Сам Есенин говорил об огромном влиянии на его творчество Октябрьской революции 1917 года. Поэзия Есенина наэлектризовывается невиданными в России социальными сдвигами. В поэте обостряется чувство Родины, раздумья об исторической судьбе России. Поэтизация крестьянской Руси боролась в сознании Есенина с желанием обновления Родины.

Я не знаю, что будет со мною...
Может, в новую жизнь не гожусь,
Но и все же хочу стальною
Видеть бедную, нищую Русь.

Родина живет в есенинских стихах о русской природе — в буераках и косогорах, которые «обпечалили русскую ширь»; в поле и лугах, «принакрытых сереньким ситцем этих северных бедных небес»; даже в красоте персидского Шираза, который «не лучше рязанских раздолий». Такие шедевры лирики, как есенинские «Персидские мотивы», заставляют

вспомнить слова Достоевского о Пушкине, который обладал удивительным свойством русского художественного гения — способностью естественно проникаться духом других народов, их культуры. Можно сказать, что «Персидские мотивы» Есенина, никогда не бывавшего в Персии, так же национальны для восточного читателя, как и для русского.

В есенинских стихах о России каждое новое поколение найдет созвучие своей привязанности к Отчизне, как бы ни изменялся ее облик. Трудно привести имя другого русского поэта, равного Есенину по пронзительности выражения того, что он сам называл «чувством Родины».

В драматической поэме «Пугачев» стихия крестьянского «буйства» причудливо соединена с тревожным предчувствием Пугачевым своей обреченности. Поэзия юношеской любви в «Анне Снегиной» и здесь же, в родных поэту рязанских местах, — веяние революции с ее социальными конфликтами, переменами в деревне.

Главная сила есенинской поэзии — в ее лиризме. В напряженности лиризма выразились вся глубина и драматичность душевных переживаний поэта в переломную эпоху. Душа поэта стала тем полем мучительной психологической борьбы, которая является уделом великих поэтов в новые, мучительно рождающиеся эпохи. Истинный поэт значителен не только своей поэзией, но и как тип своего времени. Внутренняя отделенность поэта от тревог времени, происходящего в мире — как бы мастерски ни была отлита в словесные формы эта «самозакрытость» — никогда не найдет признания у поколений. Такая самозакрытая поэзия может стать лишь предметом книжного «изучения», но не потребностью человеческой души. Поэзия Есенина сильна своей проникновенной связью с внутренней жизнью людей, с их сокровенными чувствами, сильна ощущением трепета действительности, искренностью участия к человеку. И поэтому, дитя своего времени, эта поэзия волнует и нас, живущих в другую эпоху.

Покоряющая сила есенинской лирики прежде всего в ее удивительной человечности. Душе поэта доступны тончайшие человеческие переживания, она полна сочувствия к пре-

ходящей жизни человека на земле. Обычно мы только с утратой во всей глубине постигаем то, что неповторимо. И это ощущение бытия как однажды полученного дара особенно обострено для нас, людей XX века, когда величайшие научные открытия не только несут блага человечеству, но и таят в себе опасность катастрофы. Поэзии должна быть больше всего внятна эта боль ухода из мира, то пронзительно единственное, о чем с таким мудрым лиризмом сказал Сергей Есенин:

Знаю я, что не цветут там чащи,
Не звенит лебяжьей шеей рожь.
Оттого пред сонмом уходящих
Я всегда испытываю дрожь.
Знаю я, что в той стране не будет
Этих нив, златящихся во мгле,
Оттого и дороги мне люди,
Что живут со мною на земле.

Проникновенна нежность Есенина ко всему на земле. И как ни хрупка участь нежности в нынешнем мире, предпочитающем силу и насилие, все-таки неистребимо действенна глубина чувств в поэзии Есенина и этим она так современна — как мощное противостояние рационалистичности, рассудочности. Нежность, чтобы стать силой, должна, как ребенок, быть под щитом мужества. И это двуединство есть в судьбе есенинской поэзии, которую всегда любил наш народ, своим мужеством утверждающий в истории истинную человечность.

Читателя ведут к тайне бытия есенинские прозрения в глубины человеческой души и природы. Порой кажется, что поэту в самом деле понятен «земли глагол», что он может «прорасти глазами, как эти листья, в глубину». В есенинской лирике о любви много горького, угарного, чадного. И все же она светится внутренней чистотой чувства.

Выпячивание своего «я» в поэзии, как и в жизни, всегда есть признак поверхностности натуры. О смешном и нелепом самоупоении стихотворца перед людьми, в душе которых всегда скрыто выстраданное, с презрением говорил Лермон-

тов, сравнивая такого стихотворца с разрумяненным актером, «махающим мечом картонным». Чтобы люди видели в поэте внутренне близкого себе человека, он, поэт, должен проникать до самой природы этой близости. Ибо, говоря слова Л. Толстого, «чем глубже зачерпнуть, тем общее всем знакомее и роднее».

Но можно ведь и рассудочно глубоко «зачерпнуть» — в искусстве нередко бывает, когда значительностью отвлеченной мысли имитируется значительность жизни. В таком случае, конечно, возможна только «схема» глубины, сухой «чертеж» ее, а не ее живые омуты. В поэзии особенно редкостна эта естественность связи с коренными началами человеческой души. От серьезности такой связи нередко и талантливых поэтов уводит условность самого «жанра» — музыка слов, искус словесного эффекта. Но именно тогда, при таком естественном, свободном погружении в глубину человеческих душевных связей, и рождается крупная поэтическая индивидуальность. Это не выпячивание своей личности, а тот лиризм человеческой души который становится нашим достоянием в той же мере, как и достоянием самого поэта.

Органически живут в поэте, в его стихах образы, «лирические чувствования», по его выражению. Излучающая сила его лиризма исходит, кажется, не из слов, а из самой души поэта. Высокая простота, естественность есенинской лирики обращены к природно-глубокому в человеческой натуре. У Чехова в «Чайке» говорится о чувстве, напоминающем своим изяществом цветы. В поэзии Есенина чувства нежны, как цветы, и глубоки, как сама жизнь. Быть поэтом для Сергея Есенина — значит «кровью чувств ласкать чужие души». Стихи самого Есенина напоены этой выстраданностью и правдой чувства. Лиризм стихов — то светлый, то драматический — потому так и заразителен, что Есенин «всем существом в поэте» отзывался на «радость» и «печаль» жизни.

Мне представляется, как будущие космонавты, для которых звездочкой теплится покинутая ими планета, смотрят на зеленую травинку, щемящее напоминающую о земном. Таким же напоминанием об оставленной красоте, волнующим

«земное сердце», будет для человечества, как бы далеко ни отрывалось оно от Земли, и поэзия Сергея Есенина, вечно живая в своих чувствах.

ОТВЕТ НОРВЕЖСКОМУ КРИТИКУ

Я ознакомился с «Открытым письмом русскому критику» М. Нага, напечатанным в норвежской газете «Арбейдербладет» 13 октября 1965 года. Само по себе это «Открытое письмо» настолько далеко от литературы, что было бы несерьезно устраивать «дискуссию», как того хочет автор. Дискуссия возможна там, где очевидны зрелые суждения или хотя бы осведомленность автора в предмете. Вряд ли может состояться дискуссия с человеком, у которого один только довод в споре — вульгарная брань. И если я все-таки решил ответить на упомянутое «Открытое письмо», то единственно потому, что затрагиваемые вопросы имеют общественное значение и, как мне кажется, будут небезынтересны для читателей...

Хотя Вы и были, г-н Наг, слишком заняты подбором «сильных слов» — и я отдаю должное Вашему вдохновению, — все-таки у меня к Вам претензия: могли бы в двух словах передать смысл моей статьи о поэме Евтушенко «Братская ГЭС», коль уж взялись возражать мне. Вы ослепленно замахали руками, а читателю неясно: чем Вас так растревожили?

А между тем речь шла в статье о вещах, на мой взгляд, достойных более вдумчивого отношения.

Признаться, мне не хочется возвращаться к поэме Евтушенко, о которой я уже писал и в журнале «Молодая гвардия» (1965, № 9), и в «Дне поэзии» за 1965 год. Но придется еще раз сказать. Должен ли поэт чувствовать ответственность за слово? Кажется, странный вопрос. Но вот, скажем, автор поэмы «Братская ГЭС» готов «волочить всю Россию»... Что это — или такая уж силушка рвется из Евтушенко? Дело гораздо прозаичнее — автору не до смысла

слова, он занят лишь эффектностью звучания... Но какая же может быть глубина других слов, если автор так несерьезен и суетлив в слове о России?

И эту поверхностность Евтушенко обнаруживает постоянно, чего бы он ни касался — исторических, нравственных или социальных проблем. История для Евтушенко — все равно что детская подзорная труба с разваливающимися цветными стеклышками. Вы вот, г-н Наг, почувствовали «желчность» в моей статье, значит, Вы можете в нашем русском языке многое уловить. Как Вы не уловили бьющую в глаза игрушечность, игривость стиха Евтушенко в тех самых местах, где речь идет о событиях великих, трагических? Декабристы — опереточные мальчики, казнь Стеньки Разина — всего только повод поиграть словцом. Ведь в поэзии автору невозможно скрыть меры своих внутренних усилий — это видно уже в самом стихе: выстраданное, глубокое выражается и в стихе точном, строгом. Все поверхностное, претенциозное и проявляется в стихе условном, книжном (как это и получилось в тех же стихах Евтушенко о Стеньке Разине). Так же как и та бойкая манера, в которой разговаривают между собой Египетская пирамида (провозглашающая неверие в человека) и Братская ГЭС (утверждающая светлое будущее). Как бы ни хотели Вы назвать этот разговор современным словом «диалог», от этого резвость тона (а следовательно, легковесность «диалога») не перестанет быть чем-то иным.

Вы привели фразу из моей статьи (сопровождая ее непонятным мне двусмысленным рассуждением): «История — не подверстка к остренькому слову автора...» Чего Вы так возмутились? Или Вы в самом деле считаете, что школярское обращение с историей и есть «историзм» мышления? Уровень исторических критериев — это ведь очень красноречивое свидетельство. Было бы несправедливо добиваться каких-то исторических прозрений, например, от Вас, изрекающего, что Евтушенко «воодушевляет историю».

Нет, критерии — и не только в истории — все-таки дело важное. Не будь их — и не было бы разницы между, ну

скажем, Вашей руганью и критической статьей. Более того, перемешалось бы все — искусство и конъюнктурщина, гражданственность и демагогия, кибернетическая музыка в «стиле Баха» и сам Бах и т.д.

Позвольте Вам заметить, что Вы в таком «обогащении» уже достигли значительного прогресса. «Предшественниками» Евтушенко Вы называете «Достоевского, Пастернака, Маяковского». Можно было бы порадоваться Вашей эрудиции, если бы не дилетантское смешение Вами в одном ряду имен, не сравнимых ни природою своих художнических сил, ни своим значением для русской литературы. Что же сказать о Вашей «генеалогии»: Евтушенко — Достоевский? Вы критик? Для меня это удивительно. Ведь одно такое анекдотическое «открытие» наповал убивает всякое доверие к Вашим оценкам.

Вы, г-н Наг, решили говорить о моей рецензии для «предостережения как в Советском Союзе, так и в других странах». Ах, г-н Наг, какое же бремя заботы Вы на себя взяли! Подумать только: прочитали критическую заметку о поэме Евтушенко, и такая всемирная озабоченность, такая мировая скорбь! Можем Вас утешить: кажется нам, что народный дух вряд ли будет потрясен в основе своей без Евтушенко. Или уж не спасителем ли русской литературы Вы стать порешили? Можете и тут успокоиться: вроде бы и без Вашей спасительной миссии русская литература не обижена мировым признанием.

Проблема истинных социально-эстетических ценностей в русской поэзии — проблема глубокая, и не походя о ней говорить. Можно напомнить, что в русской литературе, начиная со времен Пушкина, всегда наряду с поэзией подлинной, органично связанной с духом народа, с нравственными запросами общества, существовала имитация поэзии, державшаяся на популярности у той «просвещенной» публики, которую великий поэт справедливо назвал «чернью». И не только существовала, но и громко требовала первенства! Теперь мы как о курьезе вспоминаем неслыханную популярность стихотворца Бенедиктова, затмившего само-

го Пушкина. Но ведь тогда это не было курьезом. Современник Бенедиктова вспоминает: «... он был в моде. Учителя гимназии в классах читали стихи его ученикам своим, девицы их переписывали, проезжие из Петербурга молодые франты хвастались, что им удалось заучить наизусть только что написанные и еще нигде не напечатанные стихи Бенедиктова».

За какой только модой не гнался Бенедиктов, дабы угодить публике, дабы не потерять популярность! После эротических стихов пускается (чтобы не «отстать» от века!) в декламационную гражданственность, в патетическое сочувствие прогрессу. Все перепробовал стихотворец, а что осталось? Еще при жизни это была только «сезонная» популярность.

Известно, что значение творческой личности — в перерабатывании опыта жизни, опыта культуры в свое, неповторимое. Созданием ценностей и продолжает жить поэзия. Пусть скромное, но свое, — пусть только зеленая травинка, но приметная во чистом поле русской поэзии. Если же ценности не создаются, а заимствуются, как добытое чужими усилиями, как некие готовые «приемы», — то неизбежна и вульгаризация этих заимствованных чужих ценностей и безжизненность их использования. Читателю, знающему русскую поэзию, сразу же бросается в глаза, насколько несамостоятелен стих поэмы «Братская ГЭС», какое смешение в нем чужих интонаций — русских классиков и современных поэтов, как навязчива стилизация, даже — стилизации. Надо ли говорить, что даже и активно намечаемый автором гражданский бросок может подкоситься в результате этой опутывающей искусственности стиха.

Вот мы, г-н Наг, и подошли с Вами к главному пункту Вашего «Открытого письма». Я, конечно же, понимаю всю сложность разговора с Вами на этот счет, потому что, судя по пафосу Вашего письма, Вам не до качества поэзии. Но я все-таки замечу, что у поэзии есть свои законы, своя природа, и если автор не считается с ними, то никакая напористость намерения не пойдет впрок. Вы видите в авто-

ре «Братской ГЭС» борющуюся личность. Но, во-первых, не всякое желание автора быть борющейся личностью может достигать цели. Вы вот в своем «Открытом письме» тоже ведь хотите быть «борющейся личностью», не так ли? А что толку от Вашего намерения быть таковой личностью? Вы же сами валите себя примитивизмом своей «борьбы». «...Неэстетический, даже антиэстетический анализ эстетическо-этическо-идеологического феномена...», «не имеет ни разума, ни чувства», «интеллектуальная мерзость» и т.д. — ну зачем же так?..

Поэма Евтушенко не только не воспламеняет гражданственностью, но, напротив, уводит от гражданственности. Ведь это в самом деле так. Когда в темпе повторяется одно и то же, когда о разных вещах говорится в одинаково восклицательной интонации, когда вместо раскрытия духа внутренних исканий — эстрадная декламация, — это что, гражданственность?

Социальность или смерть — в этих словах Белинского, в сущности, весь смысл русской литературы. Гражданственность никогда не была в ней крикливостью, а страстью внутренней, глубоким социальным анализом действительности, рождавшим в читателе гражданские выводы. Вспомним, что говорил Достоевский о Некрасове «как поэте и как гражданине»: «Народ был настоящею внутреннею потребностью его не для одних стихов».

Но только для человека большой души народ может быть «настоящей внутренней потребностью» «не для одних стихов».

Каждый сообразно своему разумению понимает народ. Для одного это казенное понятие, для другого — повод порезвиться в интеллектуальном твисте, и сколько еще там этих пламенных знаков любви к народу? Конечно, народу до всех этих пламенных знаков — все равно что Гулливеру до чего-то там в траве копошащегося... Но нам-то надо все-таки поглубже задумываться о жизни народа. Критерии — слово книжное и пустое, когда оно носится в умозрительных спекуляциях, но в применении к народности оно остро жизненно.

Вся глубина выстраданного нашим народом, накал народных проблем, реальность народной жизни — все это требует своего уровня понимания, и не только понимания, но участия всех сил ума и сердца каждого литератора. Поэтому так обостренно воспринимается всякая фальшь, всякая игра на больных проблемах народной жизни.

В рассказе Андрея Платонова «Родина электричества» деревенская старуха, всего навидавшаяся за свою долгую жизнь и в молении не ждущая спасения от засухи, от голода, говорит рассказчику: «Разве мы Богу одному только кланяемся — мы и ветра боимся, и гололедицы, и ливня, и суши, и соседа, и прохожего человека, — и на всех крестимся. Разве мы молимся оттого, что любим? Нам и любить-то нечего уж!

Я отошел прочь от старухи, наполненный скорбью и размышлением».

Вот эта пронизывающая жизненность, эта честность художника, которому не до словесного самоупоения, когда сердца касается народное несчастье, — не это ли делает слово писателя нужным людям? Такое, как при задетой боли, движение сродненности у рассказчика и людей из народа обнажает самую природу народного самопознания.

Гражданственность, а особенно влияние ее на читателя достигается только тогда, когда писатель помогает развитию общественного самосознания. Чтобы слово писателя стало фактом общественного самосознания, для этого требуется не имитация гражданственности, а ее глубина и выстраданность.

ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ЧЕЛОВЕК

Проспект как пустынное поле. Снежные спирали, цепляющиеся за асфальт... Торопится к подъезду, поглядывая машинально на свет в окнах (от этих редких окон дом еще безлюднее). В лифте можно немножко разжаться перед зеркалом: лицо чужое, невыразительное... Только это осталось от всего вечера.

Простимся с нашей назябшейся знакомой — она сейчас в себя заглядывает. Теперь ее никто не видит, нечем ей питать свое кокетство, ей надо собственными силами жить.

Человек долго может жить внешним, но если в человеке есть духовная искра, для него рано или поздно наступает осознание внутреннего и в себе, и в жизни. Ты сверкал неотразимым успехом там, где интересным только и могли быть непринужденные манеры и такой же разговор. И думал, что всегда так сверкать будешь. Но у тебя случилось горе. И ты чувствуешь, каким мелким стало твое тщеславие перед этим горем.

Всегда признававший авторитет физики, а вовсе не лирики, ты, возможно, задумаешься, что кроме принципов науки есть еще и принципы сердца, — для тебя будут не просто слова, ты поймешь их во внутреннем, взволнованном значении. И еще, может быть, со своей склонностью к научности рассуждений ты задумаешься и о том, что человек не просто воспринимает, перерабатывает внешнюю информацию мира, что в человеке живет внутренняя опора, которая может и противиться этой немыслимой пестроте информации, что если бы не было этой опоры, то человек как живой организм был бы раздавлен давлением хаоса внешнего мира.

И эту опору можно было бы назвать нравственной силой. Думал ли ты о том, что все крупные ученые, философы сходились в одном — в глубинах нравственных вопросов? И не здесь ли черпали они новые силы для новых научных открытий?

* * *

Быть или казаться — в этой двоякости целый узел социально-нравственных проблем. Сущность и видимость. Скрытая природа зла и благопристойная форма. Высшее удовлетворение для человека и смысл его общественной жизни — проявить внутренние ценности своей личности. Никакой урон внешне так мало не приметен, как захоронение этих ценностей, но и ничто так не опустошительно для нации. Ибо из малого создается великое, из индивидуальных воль воз-

никает интеллектуально-духовная атмосфера общества, которая, в свою очередь, концентрируется в творческих личностях, становящихся гордостью и славой нации. Но из истории известно, что величие каждой эпохи не только в научно-техническом прогрессе, но прежде всего в духовно-нравственном обогащении человечества.

Проблема, если можно так выразиться, естественности внутреннего человека имеет острое социальное значение. Когда искажается внутреннее в человеке, то происходит деформация личности, и социальная ценность ее сомнительна. В нынешней литературе можно встретить героев — из комсомольских работников, отмеченных родовой чертою — какой-то душевной «захлопнутости». Это или строгий деятель в лице девицы, работника райкома комсомола, которая звонко громит на заседании бюро за аморальное поведение сникшего паренька, ушедшего от семьи (громит, даже и не подумав о том, почему не удалась жизнь, кто виноват).

А ведь у той же грозной девицы, громящей за аморальность незнакомого ей паренька, было же ведь и свое девичье, личное. Видимо, до того, как стать хозяйкой этого кабинетика, она была и попроще, и несколько поглубже. Она сама могла бы отказаться жить в семье, где уже нельзя жить. Но сейчас, командуя за официальным столом, она личность «руководящая» и ей не пристало не только говорить, но даже и чувствовать по-женски.

Работал за станком хороший парень, держался со всеми просто и с достоинством, знал себе цену как рабочему человеку. Мне о нем говорил знакомый: заехал тот в Москву к брату, чтобы вместе с ним нагрянуть в деревню к бабушке на ее восьмидесятилетие. Брат почему-то не смог поехать, энтузиаст поездки призадумался. Видимо, рассчитывал, что поедет не один: вместе — шумнее, когда приезжают в деревню вдвоем, за шумом не так видно, что привезли. «Жестокая правда» (его слова) была в том, что у него не хватало денег на подарки родственникам, а без этого как приедешь — там ждут, что привезешь. Так и возвратился к себе восвояси, не отметив славной бабушкиной даты.

И вот этот самый рабочий парень, переживший не одну такую «жестокую правду», понимающий всю ее грусть... — на трибуне как вожак комсомольцев завода. Исчезло обаяние рабочей колючести. Говорит по самому малому поводу — ну хотя бы о плане культурно-массовой работы среди молодежи. Он и понимает, что это в самом деле скучно, казенно, не надо бы так, но нельзя же ему, как «ответственной» личности, объявлять об этом с трибуны.

Одна вот такая малость, другая, третья — и душа уже в колодке, не живет, а «функционирует».

Наш общественный идеал — личность духовно и нравственно развитая, не искаженная в своей внутренней сущности (любое искажение, особенно же нравственное, не проходит бесследно для окружающих). И если говорить о долге литературы перед обществом, то для нее наиболее острой жизненной проблемой должно стать раскрытие нравственных связей людей. Читателю важно знать не только профессионально-«показательные» черты героев, но самую их нравственно-психологическую природу.

В какой мере наша литература стремится постигнуть эту природу? Хочу поговорить о двух вещах, которые на этот счет могут быть примечательными, — о повести В. Ханжина «До последней строки» (журнал «Октябрь», № 1 за 1966 год) и рассказе И. Грековой «Летом в городе» (журнал «Новый мир», № 4 за 1965 год).

Герой повести В. Ханжина — работник областной газеты (Рябинин его имя). У самого героя довольно масштабное представление о профессии газетчика: «Журналист — деятель политический. Если хотите, деятель государственный...» Что ж, понимание сущности всякого призвания — дело серьезное, я прочитал недавно рукопись, где герой видит во сне своего знакомого, справедливого и сильного рабочего человека. Этот рабочий стоит — голова под облака — и спрашивает громовым голосом, кто, какой бюрократ обидел честного человека. Замысел подобных гипербол можно понять: ведь речь-то идет в самом деле о богатыре — рабочем классе, у которого моральное право судить с такой высоты.

И тот же газетчик — у него тоже ведь свое общественное дело: не обязательно, чтобы он только поскрипывал перышком, носился сломя голову за новостями, был всегда довольным, о чем бы ни писал. «Динамичность» газетчика, употребляя выражение одного из героев повести «До последней строки», должна, видимо, быть свойством не одним лишь скоропишущим.

Конечно, не обязательно сближать газетчика с облаками, но намеченная в самих словах героя значительность идеи («журналист... деятель государственный») предполагает содержательность характера. И автор прилагает явные старания, чтобы представить своего героя, так сказать, с полной идейно-боевой выкладкой.

Нам придется сделать длинную выписку — это нужно, чтобы читателю было видно свойство активности нашего героя.

«Через несколько дней Нина повесила над своим столом вырезку из журнала: репродукция с картины французского художника.

— Что тут изображено? — спросил отец.

— Написано же: ”Мальчик Парижа”. Отлично сделано.

Рябинин долго смотрел на картину. Абстракция как абстракция, ничего напоминающего фигуру мальчика — по всему полотну яркие пестрые пятна.

— Это что же... в сочетании красок характер мальчика?

— Да, его живость, задор. Разве не здорово?

— Не знаю... Невозможно догадаться.

— Мы многое чувствуем, а высказать не можем. Абстракционисты могут.

— И ты считаешь, что это столбовая дорога искусства?

— А ты считаешь столбовой дорогой парадные портреты?

— Не бери крайности.

— Искусство — это область общечеловеческого: любовь, радость, горе, одиночество — область чувств.

— И еще больше — область идей. Коли на то пошло, искусство прежде всего должно помогать обществу двигаться вперед. А если бы люди погружались в одно чувствование,

человечество топталось бы на месте. Нас ведут вперед общественные, социальные идеи, только они...

— Популярная лекция о растлевающей сущности абстракционизма... Хорошо, я вывешу здесь фотографию первомайского парада.

Рябинин дико глянул на дочь. Хотел крикнуть что-то, но лишь стиснул зубы».

В другой раз эстетическое объяснение отца с дочерью было более конкретным: услышав от дочери дерзкую фразу о методе творчества, которого он придерживается, Рябинин «потерял власть над собою», «гнев и ненависть поднялись в нем». «Подойдя к столу дочери, он сорвал висевшую на стене репродукцию, скомкал ее и швырнул на пол».

Нечего сказать, довольно оригинальный способ разрешения спора. Я уже не говорю о том, что спор-то идет с родной дочерью, и невольно озадачивает отцовская атака с таким подкреплением, как «дико глянул», «стиснул зубы», »ненависть» и пр. Но оставим в стороне родство. Будем говорить об отношении человека одного поколения — старшего — к младшему. Причем это отношение достойно внимания уже по одному тому, что старший как журналист понимает ответственность своей миссии (он же «деятель государственный»).

Нина, дочь Рябинина, только что окончила школу, следовательно, еще не настолько необратимый противник, чтобы ее разить наповал. Конечно же, рассуждения Нины далеки от зрелости, но в них все-таки больше непосредственности, чем агрессивности (как это кажется Рябинину, судя по его «ненависти»). Для молодежи, только начинающей умственно жить, очень эмоциональной в своем рождающемся опыте, авторитетны не общие фразы, а убеждения, возникающие из глубокого знания. Молодежь сейчас достаточно думающая, чтобы ее можно покорить прописными вещами. И если такие, как Рябинин, серьезно озабочены идейно-культурным развитием молодого поколения, то тут, видимо, не обойтись одной назидательностью, тут нужно, чтобы убеждения вырабатывались у молодежи, а не заучивались, не усваивались формально. Заученное — непрочная ценность для общества.

Легче всего, конечно, швырнуть на пол (как это сделал Рябинин с неугодной ему репродукцией), скажем, пластинку с симфонией композитора Леверкюна из «Доктора Фаустуса» Томаса Манна (если бы такая пластинка была). Но куда плодотворнее объяснить той же Нине (опять-таки если бы ей и тут почудилась «область чувств») смысл этой музыкальной бессмыслицы, попытку композитора адской дисгармоничностью «отменить» Девятую симфонию Бетховена. Уж Бетховен-то сам бы увел от этого хаоса звуков.

К сожалению, не только у одного Рябинина в ходу эта «швыряющая» манера разговора с молодежью. Для молодого человека, знающего, что «Мане — это не Моне» (фраза, услышанная Рябининым во время разговора гостей Нины), видимо, не пустыми будут слова, скажем, о «Путниках в Еммаусе» Рембрандта. Во всяком случае, на таком духовном примере можно найти куда больше взаимопонимания с молодыми оппонентами, чем вооружившись общими фразами вроде: «Искусство прежде всего должно помогать обществу двигаться вперед», «столбовая дорога искусства» и т.д.

До всех ли доходит искусство во всей своей серьезности и глубине? Если бы доходило, то какая была бы сила нравственного влияния на целые поколения! Но власть искусства над человеческой душой всегда останется заботой серьезной литературы. И досадно, когда такая сила и тайна, как искусство, так легко «одолевается» авторами.

В повести В. Ханжина «До последней строки» есть эпизод, который можно назвать идейно ударным. Работники редакции областной газеты обсуждают рецензию своего коллеги Орсанова о двух спектаклях. Один спектакль — идейно непримиримый, другой — «без громких слов». Здесь следует обратить внимание, на каком уровне ведется разговор об искусстве: «Все было хорошо в пьесе: и общественный конфликт, и гражданский пафос героев, и их думы и слова о высоком — все отвечало самому строю чувств героев и было правдой».

Но обсуждают не только, а вернее даже не столько рецензию. Обсуждают, как воспитывать молодое поколение. Под-

черкивается значение высоких слов: «Нужны, нужны высокие слова! Без них жизнь и человек перестанут быть Жизнью и Человеком. Пусть молодость чаще слышит их, ибо как же иначе можно выковать бойцов? Не бывает же, черт побери, воспитания без слов!»

«Нужны высокие слова», но, чтобы слова дошли и до читателя как высокие, они, видимо, должны быть жизненными, а не декларативными (и, между прочим, должны быть точными, чего не скажешь о повести «До последней строки»). В самом деле, речь идет о судьбе молодых поколений, в сущности, о будущем Родины, о том, что волнует каждого мыслящего человека, а тут на редакционном обсуждении — одни восклицания вроде: «Кто поверит в душевное богатство и духовную красоту таких людей? Кто согласится, что они результат нравственной эволюции человека и общества?»

Выступают-то газетчики, можно сказать, недремлющее око общественных нравов, а где же жизненные наблюдения, которые бы давали психологический материал для раздумий?

Гражданская активность не только в том, чтобы утверждать высокие слова, но и в том, чтобы не оставаться равнодушными, когда эти высокие слова становятся казенщиной, общим местом.

Желательно, чтобы высокие слова были не фонетической только способностью личности, а выражением ее внутренней человеческой значительности. Этого-то и не чувствуется в отношении Рябинина к своей дочери. В «воспитательном» разговоре с нею он предпочитает командное внушение: «отвечай!», «что!», «ты говоришь чудовищные вещи, Нина!» и т.д. Где же мудрость старшего, который бы не командовал, а терпеливо открывал молодежи истину?

Рябинин недоволен дочерью: почему она не такая, как он, вообще почему нынешняя молодежь не та, кем были мы, люди другого поколения? Но ведь та же Нина и не может быть такой, каким был в свое время Рябинин, потому что это уже во многом другое, обогащенное событиями последнего времени поколение, рожденное в новых общественных ус-

ловиях. И мудрость не в том, чтобы желать видеть в своих детях буквальное повторение самих себя, а в том, чтобы помочь им развить в себе социально-моральные ценности, нужные обществу и народу. Но для этого недостаточно одних общих фраз, резкого поучения, одного митингового пафоса.

Когда человек хочет влиять вообще, одной словесной активностью, а не глубиной своей духовно-нравственной сущности, то это сомнительной силы влияние. Молодежь чутка не только к форме, но и к содержанию — это, так сказать, к сведению таких, как Рябинин, замечающих в молодежи только стиляжничество. Кажущаяся Рябинину неотразимость своих доводов для Нины на самом деле призрачна именно из-за своей декларативности. Для юного сознания общие фразы действуют менее впечатляюще, чем жизненные факты. Вот Нина потрясена историей с ответственным работником города, которого арестовали за взяточничество. «Все им верили. Их приветствовали. Помню, я подносила Манцеву цветы, когда он приезжал к нам в школу. На торжественном сборе. Я была счастливая, я волновалась. А как я гордилась!..»

Можно понять, что это действительно удар для веры только вступающей в жизнь девушки. А понял ли отец свою дочь? Отвел ли ее от горького разочарования, которое грозит быть обобщенным? Нет, он просто накричал на нее. увидел в ее эмоциональных словах «чудовищное, кощунственное».

Мы не стали бы говорить обо всем этом, если бы нам не задал задачу сам Рябинин своей фразой: «Журналист — деятель государственный». А это уже обязывает нашего героя к серьезной общественной роли.

Однако нет в образе Рябинина главного, чем бы стал он значителен как «борец», — психологии идейности. Есть фразы, есть рассуждения, но эти внешние признаки идейности не могут еще составить ее природы, которая бы стала сущностью человеческого характера. Когда проблема берется во внешних чертах, а не во внутреннем содержании, то возможности анализа, духовных открытий крайне скудны и авторы охотно пускаются на «обострение» повествования. Таким

обострением стала в повести В. Ханжина история любви Нины к сорокалетнему Орсанову, коллеге ее отца. Скептицизм Нины к «высоким словам» объясняется влиянием возлюбленного.

* * *

А теперь поговорим о рассказе И. Грековой «Летом в городе». Если в повести «До последней строки» виден «борцовский» прицел, то рассказ «Летом в городе» хочет заявить о себе своим, так сказать, негромким гуманным настроением. Героиня рассказа Валентина Степановна, заведующая библиотекой, еще в молодости порвала с обманувшим ее мужем. Живет со своей Лялькой, дочерью. И есть еще у Валентины Степановны подруга Жанна — дама экстравагантная, добрая, хотя и пожилая, но неистощимая в любовных увлечениях. Менее симпатичная личность — соседка по квартире тетя Поля, преследующая всех этих трех женщин своей ортодоксальной моралью.

Ниже мы увидим, как могут быть нравственно изолированы такие кухонные деятели, как тетя Поля. Теперь же познакомимся с героинями в их главном качестве — эмоциональных движениях.

Известная нам Жанна сообщает, что она опять влюбилась.

«— Да. Ужасайся, не ужасайся, моя добродетельная подружка, придется тебе принять меня, какая есть. Тру-ля-ля. Осуждаете, Валентина Степановна?

— Что ты — осуждаю. Радуюсь за тебя.

— Ты знаешь, ему больше всего понравились мои икры. В этих икрах, — он говорит, — вся элегантность века».

Поговорив немного о любви («...опять она налетела на меня, как ураган. Чувствую, что-то клубится, клубится...»), Жанна объявляет, что сейчас зайдет к подруге.

«Жанна уселась в кресло, переплела ноги змейкой. В самом деле, удивительные, неувядаемые ноги. Вынула папиросу, закурила.

— Ну вот какие дела, Валюша. Опять на жизненном пути повстречалась мне любовь.

Жанна всегда говорила такими формулами. Странно, что это было не противно. Ей это шло.

— И кто же он? — спросила Валентина Степановна.

— Один моряк. Вполне интеллигентный. Знаешь, я неравнодушна к галунам. Недаром во все времена женщины любили военных. Это золото, кивера, ментики, доломаны...»

Далее Жанна рассказывает, как она познакомилась с моряком, какой у нее с ним был «прекрасный сон».

«— И сколько времени он продолжался?

— Две недели. Деньги кончились.

— У него?

— У меня.

— А он?

— Остался там. Когда мы расстались, он даже прослезился. Дал слово, что позвонит мне сразу, как приедет.

— Он женатый?

— Кажется, да. А что? Валюта, ты меня осуждаешь?

— Честное слово, нет.

Вдруг Жанна уткнулась носом в спинку кресла и зарыдала. Именно зарыдала, а не заплакала.

— Жанна, милая, что с тобой? Я тебя обидела?

— Я сама себя обидела.

— Ради бога, не плачь. Я же не Поля. Я все понимаю.

Жанна трясла головой. Светло-каштановые пряди, "гамма с отливом", рассыпались, и между ними замелькали темные, с сединой.

— Валюша, сегодня я вспомнила Леонтия Иваныча... — Это был покойный муж Жанны, генерал. — За ним я была как за каменной стеной. Если бы он был жив, ничего бы не случилось. Он воздух вокруг меня целовал. Это проклятое одиночество! Нет, ты не понимаешь.

— Я ведь тоже одна.

— У тебя — Лялька.

— Верно. У меня Лялька.

...Внезапно, как-то сразу, Жанна успокоилась. Она села, вытерла глаза и улыбнулась.

— Знаешь, мне все-таки повезло, что я не располнела. Сзади меня можно принять за девочку. Правда?»

Удивительное все-таки дело — литература. Читателя с развитым эстетическим чувством не очень-то захватят эти «переходы» от женской беззаботности к рыданию, от горьких воспоминаний к самолюбованию («Сзади меня можно принять за девочку»). Вся эта женская «сложность» стала уже в литературе наипростейшей банальностью. Зато другой читатель будет в восторге от такой чарующей подробности, как «неувядаемые ноги» героини, которые она так восхитительно переплетает «змейкой». Найдется, пожалуй, читательница, которая может всплакнуть вместе с Жанной. И уж наверняка на какой-нибудь читательской конференции (вроде той, которую проводила Валентина Степановна) будет рассказано с трибуны, как они всей квартирой читали один замечательный рассказ и как он всем понравился своей правдой.

Было бы бесполезно разубеждать таких читателей — у них свой довод: «Так в жизни и бывает», «У нас в старой квартире все стены прошипела такая тетя Поля», «У меня знакомая такая же Жанна: всю жизнь гуляет» и т.д. Надо, видимо, признать, что для многих людей первейшая авторитетность коммунальных, домашних чувств вряд ли может быть легко поколеблена. Поэтому автор может быть уверен, что он здесь встретит массовую поддержку. Правда, у подлинной литературы свое достоинство, которое никогда не пойдет на поводу невзыскательного вкуса, но это уже другой вопрос. Автор рассказа «Летом в городе» бьет в одну эмоциональную точку: так бывает! Разве не бывает, что мать случайно обнаруживает у дочери врачебное направление — для «прерывания беременности»? И об этом говорится в рассказе И. Грековой, и не только говорится, но это эмоционально «клубится, клубится», говоря словами Жанны. Валентина Степановна, наткнувшись на злополучную справку гинеколога, уходит в воспоминание о том, как она в свое время, забеременев, хотела ликвидировать «это» (слова Жанны), но помешала милиция («Тогда за все судили», — мимоходом социально обобщает героиня). Эта кризисная эпоха в жизни

героини передается на таком же импульсивном эмоциональном уровне, как и памятная нам встреча Валентины Степановны с Жанной. И вообще наши героини не выходят из чувствительной «атмосферы», как сказала бы чеховская Змеюкина. Вот обычный разговор Валентины Степановны со своей Лялькой:

«— Мышонок, ты? — сказал издалека любимый, смутный, низковатый голос.

— Я, милая. Откуда ты? Я тебя жду. Есть салат.

— О, салат! Это удачно! Люблю салат. Мышонок, ты меня слышишь? Я тебя люблю, понимаешь?» (Мышонком Лялька называет свою мать.)

Эмоциональные всхлипы вообще мало могут рассчитывать на сочувствие, но еще неприятнее, когда они претендуют на многозначительность. Ах, разве это не правда жизни: бедная Жанна говорит о своем романе с моряком, а сама, в сущности, так одинока (и разрыдалась, не выдержала). Лялька по телефону так весела со своим мышонком — матерью, и только по фразе «Мне никто не звонил?» можно догадаться, что мыслями она вся с Олегом, от которого сделала аборт.

Принято считать, что язык нуждается в очищении и обогащении... А почему в том же самом не нуждается чувство?

«Когда душа потеет и чувства пускают слюни, — писал немецкий поэт И. Бехер, — вполне можно понять тех, кто пытается спастись от этого неприятного и противного зрелища хотя бы отказом вообще от эмоционального в литературе. Но такой отказ со временем перестает удовлетворять, ибо как раз злоупотребление эмоциональным заставляет добрые чувства требовать соответствующего им выражения».

В чувстве героя читателю дорога проникновенность человечности, а не его только возбудимость. На одной этой возбудимости трудно достигнуть эффекта гуманизма, какого-то морального урока. В самом деле, так ли уж сокрушена нравственно тетя Поля? Намек-то ясный: вот ведь и в церковь ходит, на словах только за правду, а эти люди как будто и ошибаются, но разве можно по человечности сравнить этих

людей со зловредной Полей (обстреливающей из-за кухонной двери гостей соседей словом «паразитка» и т.д.)?

Однако мне думается, что когда человечность представлена на уровне эмоциональной возбудимости, то и сравнивать-то тут особенно нечего.

Итак, казалось бы, разные вещи — повесть В. Ханжина «До последней строки» со своим боевитым прицелом и рассказ И. Грековой «Летом в городе», где нет этого боевитого пафоса. Пожалуй, рассказ И. Грековой написан «покультурнее», в том смысле, что здесь не встретишь острот вроде «бред сивой кобылы» или же таких «принципиальных» фраз в отношении отца к дочери, как «и он рассказал, в чем суть его задачи». Но справедливости ради надо сказать, что по своей «стенографичности» язык рассказа И. Грековой вполне сродни языку повести В. Ханжина («...А уколы не помогали. Владимир Казимирович каждый раз говорил: ”Не сегодня-завтра, подождите”. А я уже не верила в эти уколы. Мне казалось, он, как опытный рыболов, поддел меня на крючок и водит, берет по двадцать пять рублей, чтобы потом вернее взять свою тысячу. Тысячи у меня не было, я заняла у Жанны. А он был ласков, Владимир Казимирович... Каждый раз, прощаясь, он задерживал мою руку в своей. А мне казалось, что я взяла жабу... И вот...»).

Казалось бы, неожиданное сцепление двух разных вещей. Но ничего неожиданного в этом нет. Может быть, схема мысли, но может быть, и природа мысли, жизнь, дух мысли. Трепет слез в Двенадцатой кантате Баха потому так обогащает нас, что он заряжен огромной духовной силой. Сколько внутренних сил отдает художник, чтобы одухотворить идею, эмоции, создать душевную ткань своего героя! Но чтобы вдохнуть в произведение эту жизнь, художник должен не просто умозрительно понимать даже глубокие проблемы жизни, а переработать их в свой дух. Никакие высокие слова, никакие эмоции не станут фактом художественной литературы, если они не будут духовно проявлены. Без духовного нет в произведении жизненного, глубинного измерения. Тогда-то и возможны такие неожиданности, как побратимство рас-

смотренных выше двух сочинений, опубликованных в журнале «Октябрь» и «Новый мир». Тогда-то и возможно такое зрелище, как объятие этих журналов, которые вроде бы «идейно воюют» между собой, оставаясь внутренне абсолютно чуждыми традиционной русской духовности. [...]

ЛИЧНОСТЬ ИСТИННАЯ И ЛИЧНОСТЬ МНИМАЯ

Зашел ко мне по дороге один знакомый. Не то критик, не то преподаватель. На голове что-то модное с козырьком, сам в чем-то туристском. Уловить во взгляде ничего невозможно — он дробится в мельтешенье. У меня был как-то тяжелый случай, когда на меня так подействовала одна история с близким человеком, что я ночью, в темноте, с закрытыми глазами все думал добраться до самого духа этого человека, до загадки — что там? Но тянуло в какую-то воронку, никакой определенности, все расплывалось, как только, мне казалось, я добираюсь до точки. Неужели все зло только в случайном намерении — тогда просты были бы загадки.

Потом-то я стал сомневаться в таких «тайнах» — там, видимо, особенно-то и нечему скрываться, все гораздо поверхностнее и мертвее, но душевное донышко там по-своему с непростой начинкой.

Явившийся знакомый, оценив сразу же взглядом все, что у меня лежало на столе (я до этого писал), присел к столу (отказался раздеться: «Я всего на минуту, по дороге зашел», только потом он разделся, как-то незаметно, за разговором).

— Ты слышал, что Райкин в интервью сказал? — Он всегда начинает с новостей. — Назвал своей любимой книгой «Подводя итоги» Сомерсета Моэма. Одним ударом нокаутировал всех этих земляных червей от литературы.

— Каких червей?!

— Да всех этих, от земли которые! Нет, я тебе скажу, ударчик! Теперь пойдет вовсю Моэм — Райкина же все знают. У меня скоро юбилей — почти десять лет агитирую за Моэма. Четырем критикам открыл Моэма, и все они из него

цитатки привели. К юбилею еще кое-кого сагитирую и общий тираж цитаток догоню до кругленькой. Ты ведь хорошо знаешь Николая Григорьевича? Он что, интеллектуал? Удивил он меня вчера. Оказывается, читал Моэма, но ведь ни черта не понял! Есть, говорит, научно-популярные брошюры, а это, то есть «Подводя итоги», тоже, говорит, в том же роде, только на этические темы.

Непрошеный гость близоруко уткнулся в крохотный блокнотик, я и не заметил, откуда он извлек его.

— Материальчик для «Крокодила». Николай Григорьевич, сокрушающий Моэма.

Гость не выдержал комизма темы и ликующе всхохотнул.

— Люблю навещать врасплох работничков искусства. Нагрянешь, а из него всего идеи торчат, великие замыслы — как хозяйство в чемодане у командировочного. Ты ничего не слышал о Н.? Э, с ним такая вышла история... — Гость подвинулся ко мне вплотную, глаза его радостно забегали. — У него любовница артистка, ушел от жены с тремя детьми. Любовница требует развода, а жена в больнице. Сюжетец! Я узнал — и с визитиком к нему. Он, наверное, не слышал, как я стучал. Приоткрываю дверь, и одним глазом — рекогносцировочку. Здесь голубчик! — Опять заливистый смех. — Как зверь в клетке, бегает из угла в угол. Я дверь пошире и бочком подаю сигнальчик о себе: «Кхе». Ему как в спину кто ударил. Повернулся ко мне и трет рукой лоб: «А? Что?» Я молчу, робею, хе-хе, ро-бе-ю! «Я пришел насчет работы узнать». Он опять трет лоб, в голове кавардачок маленький, развод, жена в больнице. На лбу бисеринки холодненькие. Холодненькие-то они были точно, сизенькие такие. Он-то думает, я к двери прилип, а я дорожку ему перекрыл и его разглядываю, бисериночки эти. Смотрит на меня и говорит: «Так вы насчет работы? Сейчас я вам ничего не могу сказать, приходите через неделю». Я молчу, коротенько так усмехнулся ему прямо в лицо и говорю: «Пожалуй, работа мне не нужна, я пришел посмотреть на вас». Тут он взглянул на меня, хе-хе, с понятием, очумелость-то немножко слетела.

Насладиться я успел его видиком. Как червяк перееханный извивался, каждый членик в судороге. Редкий моментик! У собственных моих ног извивался! И захочешь — да не забудешь. Через две недельки я его опять взял в объективчик. На совещании он выступал. Отошел от прошлого-то недуга... на трибуне парил! А у меня в памяти та зарубочка осталась, членики-то в судороге! — воскликнул рассказчик с каким-то восторженным всхлипом.

Гость по инерции еще продолжал всхлипывать, а между тем в его глазах мельтешенье внезапно приостановилось, и в меня испытующе вонзились два ртутных шарика. Продолжалось это мгновенье, затем все смылось опять начавшейся вибрацией глаз.

— Ну, мне пора уходить. Пойду почитаю Моэма. Со счету сбился, сколько раз его читаю. По-моему, это библия двадцатого века. Проблемки-то личности мы мало обсуждаем, а надо бы, надо бы. Ну, как говорят французы, «се ля ви»! Такова жизнь. Ну, побежал.

Трудно представить, чтобы глубокий человек кричал о себе: я личность, я неповторимая индивидуальность! Л. Толстой любил говорить: «Все мы одинаки». Конечно, не в том смысле, что равно «одинаки» и подлец, и человек честный; беспринципный и не торгующий совестью. Есть экземпляры совсем отличного свойства: если их собрать вместе, то будут как пауки в банке. Но не такого рода человеческую общность надо выводить из толстовских слов. Толстой мудро сознавал ни с чем не сравнимую глубину внутренних, нравственных связей между людьми — перед чем так условно все внешнее, умствующее.

Не наблюдаем ли и мы, как высшее образование помогает иному человеку только изощреннее добиваться личных выгод! Так же как образование — это еще не культура (многие ли даже в обнимку с дипломом сумеют отличить литературу подлинную от суррогата литературы), так книжное умствование — это еще не духовная значительность. Книжно рассуждать — это еще не значит быть яркой личностью. Очень чуткие к человеческой индивидуальности великие

художники не очень-то испытывали потребность в общении с такими умствующими личностями. Это и понятно: «программируемые» (любимое словечко нынешних интеллектуалов) исключительно книжностью, эти личности однообразны, похожи друг на друга, как морские голыши.

С древних пор известно, что недобро человеку единому быть. Чем глубже человек, тем яснее для него, как много обязан он другим людям. Конечно, какому-нибудь монументальному, рыгающему от довольства деятелю не придет в голову такое самоунижение... Но мы говорим не об этой рыгающей личности.

Без простых русских людей, без русских крестьян не было бы Л. Толстого, не было бы и Достоевского — таких, какими их знает мир. Частицей духа Достоевского стала память о деревенском мужике Марее, потрясшем лаской его детскую душу.

В памяти человека другой человек остается не блистательной фразой, а своим духовным содержанием, чем-то внутренне родным. За тысячу километров от человека, думая о нем, мы порой чувствуем, как радость проливается в душу. Сколько в жизни повстречалось самых всяких — и ученых, и умных, а тоской в душе, я знаю, останется через пестроту встреч и разговоров пение матери в «сороковой день» этой весной на могиле ее младшего брата — моего дяди. Обступили могилу, бабушку клонит к насыпи, не держит палка, надо бабушку поддерживать. Третьего сына пережила, двое убиты на войне, и она обнимает их всех вместе. «Ох, вы детки мои, как я по вас стренулася!» — и режущее в плаче, как от нарыва в душе. А тут еще мама — дождь с ветром — сгорбилась, тоже уже старушка, сморщилась от слез, поет и звенит не голос ее, а слезы самой души.

Как мелка перед страданиями людей игра в свою мнимую значительность. Один философ сказал, что «первым камнем преткновения, о который разбивается гордость личности, является "ты", другое — "я"». Когда о выстраданный опыт других людей разбиваются самоуверенность, эгоизм человека, тогда-то и можно говорить о рождающейся личности.

* * *

Было бы, разумеется, нелепо умалять значение интеллектуального в жизни и в литературе. Но есть интеллектуальность подлинная и подделка под нее. Высокая интеллектуальность великой русской литературы неотделима от социально-нравственной активности, от глубокого раздумья о народе, об исторических путях России. У писателей выработалась ответственность за слово, ибо слово стало для них национальным делом. И крупные русские художники XX века обостренно чутки были к искажению природы русской литературы. Бунин говорил в 1913 году: «Исчезли драгоценнейшие черты русской литературы: глубина, серьезность, простота, непосредственность, благородство, прямота — и морем разлились вульгарность, надуманность, лукавство, хвастовство, фатовство, дурной тон, напыщенный и неизменно фальшивый. Испорчен русский язык (в тесном содружестве писателя и газеты), утеряно чутье к ритму и органическим особенностям русской прозаической речи, опошлен или доведен до пошлейшей легкости — называемой «виртуозностью» — стих, опошлено все вплоть до самого солнца... чего только мы не проделывали с нашей литературой за последние годы, чему только не подражали мы, чего только не имитировали, каких стилей и эпох не брали, каким богам не поклонялись. Буквально каждая зима приносила нам нового кумира...»

В нынешней литературе много сорного, что можно было бы назвать словесным интеллектуальным и эстетическим жаргоном. Такого рода продукция нашла свое прибежище в молодежном журнале «Юность» с его полуторамиллионным тиражом. Вот, например, повесть «История одной компании» (нет резона называть автора этого литературно безликого изделия, столь характерного вообще для прозы этого журнала). Один из героев компании «составил список лучших ребят класса, эдакой школьной аристократии, с которой мне было бы очень полезно и интересно дружить». «Это были пять ярких индивидуумов», щеголяющих такими сло-

вами, как «высокоинтеллектуальный», «интеллигентный» и т.д. Бросается в глаза вопиющая духовная неразвитость этих «ярких индивидуальностей». Какими были в пятнадцать-семнадцать лет — такими остались и в тридцать. Все тот же языковой жаргон, подростковое мышление. Все эти умники недолюбливают «простого человека», «трудягу». В семьях, быту «плебеев» видятся им лишь пьянки и драки.

«Недавно, когда сын пришел домой поздравить с первомайским праздником, мать обняла его и сказала: "Саша, выпей политуру, она знаешь, какая вкусная!"» Молодой физик Чернышев с презрением говорит о «работягах»: «Отстоят смену и айда, ребятишки, на футбол». Одинаковые, оказываются, дела у «работяг» — смена и футбол. А ведь «отстоять смену» — это не отсидеть, скажем, в Доме литераторов. Иные так «отстаивают», что не до футбола. Что для упомянутого интеллектуала обозначается прозаичным словом «смена», то для семьи — это хлеб, для самого рабочего и тяжесть и, вместе с тем, одна из основ нравственного здоровья, а уж что эти «смены» значат для государства — наш герой сам может сообразить (ведь семьдесят миллионов рабочих «отстаивают смену»).

Мы тоже за личность, за интеллектуальное — в жизни и в литературе. Мы за личность, но не мнимую, не кичащуюся своим мнимым превосходством над «простыми» людьми, а за личность глубокую, нравственно и духовно содержательную, органично сознающую себя частицей родного народа.

В литературе наступает время сильных духом, питаемых внутренней связью с народом. Резвость «личностей» все-таки пройдет, как бы ни изощрялись они в своих расчетах на разложение читателя. Мы верим, что в литературу нашу скоро придут молодые, свежие силы, для которых нравственной опорой будет родной народ, каким он всегда был для русской литературы. Вот эти-то уж наверняка будут личностями.

А теперь обратимся к историко-литературной работе — к книге А. Лебедева «Чаадаев» (серия «Жизнь замечательных людей», 1965 год). Но пусть читатель не удивляется, что

мы взяли такие разные на первый взгляд вещи, как «История одной компании» и книгу о Чаадаеве. Ниже мы постараемся показать, что между этими вещами не такая уж пропасть.

Русский философ Петр Яковлевич Чаадаев сыграл в истории русской общественной мысли своеобразную и выдающуюся роль. Его знаменитые «Философические письма» явились одним из ярких выражений русского философско-исторического самосознания.

Личность Чаадаева и его философские взгляды сложны и противоречивы. Он был приверженцем католицизма. В отторжении России от католического Запада видел он ее главную беду — замкнутость ее. Но небезызвестный князь и он же патер Иван Гагарин, покинувший Россию и принявший на Западе католическую веру, писал: «Но не следует из этого заключать, что Чаадаев приобщился к римской церкви». Можно выписать из Чаадаева цитаты самого противоположного свойства: «Любовь к Родине разделяет народы». И вот его же слова: «Да и может ли великая душа, каково бы ни было ее призвание на земле, быть лишенной патриотизма?»

Отрицание прошлого, настоящего и будущего России. И в то же время эти слова: «У меня есть внутреннее убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, довести до конца большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на наиболее важные вопросы, которые занимают человеческий род».

Ясно, что было бы упрощением принимать во внимание только один «ряд» высказываний Чаадаева. Но исследователю, взявшемуся за эту сложную тему, важно ведь не только объяснить смысл этого противоречия. Как у всякого крупного мыслителя прошлого, у Чаадаева для нас есть живое и мертвое. Жизненность идей проверяется временем, и поэтому немыслимо уяснить сущность проблемы вне ее истории.

С именем Чаадаева прежде всего связывается его философия истории России. Безнадежный взгляд Чаадаева на историю России противоположно оценивался его современниками и потомками. Но справедливо было бы видеть

в «отрицании» Чаадаевым России его неравнодушие к ней, страстное желание видеть ее на высоте исторического призвания. Надо знать всю тяжесть реакции времен Николая I, казенный патриотизм официальной России, чтобы психологически понять резкость чаадаевского отрицания. Нам, русским, чужды фанфаронство, тот напыщенный патриотизм, который оставил в назидание потомкам граф Бенкендорф: «Прошедшее России было удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается ее будущего, то оно выше всего, что может нарисовать себе самое смелое воображение».

Истинная любовь к Отчизне деятельна, она не должна довольствоваться созерцанием былого величия, а работать для ее настоящего и будущего величия. Сложное чувство Чаадаева к России было такой работой во имя будущего Отчизны.

Но эпохи проходят, а проблемы остаются, и нет, может быть, для великого народа проблемы более глубокой, чем осознание своей самобытности, своего места в истории человечества.

Естественно, что мыслитель, для которого заветной и мучительной была мысль об исторических путях России, не может быть глубоко оценен вне исторического движения самой России. К сожалению, в книге А. Лебедева даже не делается попытка такого осмысления.

Я не ставлю своей целью подробно разбирать эту книгу, а остановлюсь только на этом, как мне кажется, главном вопросе. Автор рассматривает Чаадаева как одинокую, никем не понятую личность, в исторически очень узких рамках, стесненных только его временем. Чаадаева ли не волновала судьба России, будущее ее, а исследователь пишет, замкнувшись в колпаке своих книжных рассуждений о личности (об этом ниже), как бы и не подозревая столбовой дороги исторического движения России. Как будто с тех пор Россия стояла на месте, как будто не было последующего движения русской общественной мысли, трех революций, как будто не было войны с фашизмом, когда русский народ спас человече-

ство от варварства, как будто не было двадцати миллионов убитых — цвета нашего народа.

Автор не выказывает способности задуматься о выстраданном опыте народа. Но ведь понятно, что без этого обобщения истории русского народа, без нравственно-исторического синтеза ее не может быть серьезного, жизненного разговора о Чаадаеве, болевшем мыслью об историческом назначении России.

Фокусом работы А. Лебедева являются рассуждения о личности, о ее непреходящей ценности. Спорить об этом было бы неразумно, но одно обстоятельство, на мой взгляд, требует внимания. Русской общественной мысли, русской литературе прошлого века чуждо понимание личности как крайнего индивидуализма. Того индивидуализма, который на Западе очень резко проявился, например, в книге Макса Штирнера «Единственный и его достояние». Это та крайняя степень, безграничность индивидуализма, когда личность объявляется абсолютной ценностью бытия, когда в ней целиком поглощаются Бог, мировая история, государство, мораль. Личность в русской литературе утверждалась не в отталкивании от народа, а, напротив, в сближении с ним, и это выражалось не только в открытой проповеди, но и в самой насыщенности произведений философией народного ума. Можно сказать, что ни одна литература в мире не богата так индивидуальностями людей из народа, как великая русская литература.

Было бы наивно сближать искусственно Чаадаева с народом, но было бы столь же односторонне и начисто отторгать. Сам Чаадаев сказал, что «положение народа... должно могущественно влиять на дух каждого отдельного человека в этом народе». И конечно же, положение русского народа, его нравственно-исторические потребности не могли не повлиять на природу самосознания Чаадаева. «Отрицательная» любовь Чаадаева к России оказалась плодотворной, но она потому и могла стать плодотворной, что она была обращена не в пустоту, а к могучей потенциальной силе — народному духу. Надо ли говорить, что история только

великого народа может придать такую значимость «отрицанию» личностью России.

Историческое движение России, как мы уже замечали, оказывается в стороне, зато автор оперирует межконтинентальной эрудицией, сравнивая судьбу «чудака» Чаадаева с судьбой другого «чудака» — американца Торо. Автор приводит следующие слова Торо: «Каждый из нас владеет страной, рядом с которой земные владения русского императора кажутся карликовым государством, бугорком, оставленным льдами... Если хочешь выучиться всем языкам, узнать обычаи всех народов, проехать дальше всех путешественников, освоиться со всеми климатами и заставить сфинкса разбить себе голову о камень, послушайся совета древнего философа и Познай Самого Себя. Вот где нужны зоркость и отвага».

Не будем здесь вдаваться в историю жизни этого американского «чудака» первой половины XIX века. Заметим только, что Генри Дэвид Торо был не таким уж отрешенным от мира «чудаком», погруженным только в самого себя. Этот «чудак» не остался в стороне, когда в Америке шла борьба против рабовладения, и обнаружил свой общественный темперамент. Но нас больше интересует другое — сравнение Чаадаева с Торо. А. Лебедев пишет: «Главное, что их роднит, — это то, что оба они были неисправимыми чудаками в глазах своих современников». Далее автор дает свое определение чудакам: «Чудаки — это люди, которые по каким-то причинам выбились из наезженной колеи расхожих правил и пошли своей, непонятной современникам тропой».

Эффектно, конечно, такое неожиданное сравнение, но мы все-таки попробуем вникнуть в сущность дела. Эти люди — Чаадаев и Торо — даже и психологически как-то далеки друг от друга: Чаадаев, по словам одного современника, «отчуждался от общества, не мог его покинуть. Опять являлся капризным, недовольным, раздраженным, опять тяготел над московским обществом и опять не покидал его». И трудно как-то представить Чаадаева в положении Торо, который бросил общество, построил себе в лесу хижину и жил в ней отшельником два года, добывая сам себе пропитание. Утопия

Торо о счастье человека в близости с природой далековата от философии Чаадаева. Разделяет этих двух «чудаков» и нечто более глубокое.

Но прежде всего эти «чудаки» не были уж такими одиночками, которые «пошли своей, непонятной современникам тропой». Тот же Генри Торо потому и стал заметным общественным явлением, что он своеобразно выразил социально-нравственные искания своего времени. Торо входил в кружок так называемых трансценденталистов, тех американских демократических интеллигентов, которых пугала опасность «обесчеловечения» личности в условиях надвигающегося капитализма и которые боролись против этого своими утопическими средствами.

Надо ли говорить, что и Чаадаев как мыслитель был рожден своим временем, условиями социально-общественной жизни России. И вряд ли обогащает А. Лебедев разговор, в сущности изолируя развитие Чаадаева-мыслителя от движения русской литературы, крепнувшей в своем национальном самосознании.

Вообще для автора — совсем в иной плоскости, так сказать, внутренние кратеры проблем, где огненно взаимодействуют философские силы. Чаадаев «отрицал» историю России, а Достоевский, например, говорил: «Мы веруем, что русская нация — необыкновенное явление в истории человечества». На мой взгляд, сопоставление этой веры и безверия куда плодотворнее для раздумья о судьбах России, открывает перед исследователем куда более волнующий, более жизненный простор, нежели искусственное сближение Чаадаева с Торо.

Когда мы говорим о такой искусственности, то дело, конечно, не в том «патриотизме», который «насквозь пропах квасом», по энергическому выражению А. Лебедева. Как слово мыслящего человека о Родине детерминировано ее историей, так бесплодны всякие «чудачества» вне национальной среды. Сам же Чаадаев сказал: «Чтобы явственно говорить роду человеческому, надо обращаться к своей нации, иначе не будешь услышан и ничего не сделаешь».

Трудно написать что-либо глубокое о русских мыслителях, не стремясь вникнуть в такую глубину, как психология русского народа, духовная мощь которого умножается на исторических поворотах. Постижение смысла этого требует многого, но зато же оно и отзывается в философии личности. Но, минуя эту глубину, автор неизбежно впадает в словесное мельтешенье, в красноречие. Сколько эффектных рассуждений в книге А. Лебедева о личности: «В "звездные часы", делая выбор, человек вносит свою лепту в историю человечества, вписывает свое решение в общий ход, общее развитие судеб мира», или: «По-своему прожитая жизнь — вот что вносит человек в историю человеческого прогресса, в историю становления человека». «Человек, живущий "в спешке", в суете, не может "одуматься", оглядеться, вчувствоваться в жизнь. Он живет в мире нравственных штампов, гуртовых, стадных представлений, в мире социальных трафаретов...» и т.д.

Не в духе серьезного, скорбного раздумья Чаадаева писать о нем в броском стиле афоризмов вроде: «Легенда и сплетня — Дон-Кихот и Санчо Панса одной системы представлений, они — Сцилла и Харибда истины». «Надежда — это чувство общественного голода... Иллюзия — это горький послевкус неосуществленной надежды». «Бумажные ассигнации религии не спасают оптимизм от девальвации на рынке житейской суеты» и т.д.

Справедливости ради надо сказать, что автор не всегда так бросок, часто он не чурается сложности, вроде: «И чаадаевский индивидуализм в этом случае сам сделался выражением протеста человека против отчуждения его человеческой сущности в мертвой всеобщности предписанных норм бытия, стал, таким образом, естественной формой присвоения человеком его собственной человеческой сущности, естественной и необходимой формой преодоления человеком его одиночества в мире вещных отношений, в мире, предписанная обязательность которого всегда обратно пропорциональна его истинной общественной необходимости».

Для автора, видимо, это важная мысль, но мысль-то убита казенным языком!

Некоторая «мимоходность» авторской мысли видна и в отношении к такой сложной проблеме, как католические симпатии Чаадаева. А. Лебедев занят рассуждением о превосходстве католицизма над Православием, тем самым отчасти объясняя тяготение Чаадаева к римской вере. Но исторический смысл проблемы оказался скрытым от автора — опасность того духовного порабощения России, которую несло с собою папство, — с его, говоря словами Достоевского, «дьяволовом искушением» «всемирного владычества». Как известно, своей главной целью в планах духовного покорения мира папство считало введение униатства в России. И видимо, есть истина в том, что апофеоз католичества того же Чаадаева оставил свои следы в деятельности русских иезуитов (см., например, книгу «Папство и царизм» Э. Винтера, немецкого исследователя, посвятившего более сорока лет своей жизни изучению взаимоотношений папства и России).

Итак, предмет писания у автора повести в журнале «Юность» и автора книги о Чаадаеве совершенно разный, но по своей сути эти вещи родственны между собой. Их объединяет общий критерий личности — критерий измельченный, обескровленный отрывом от внутренних сил народной жизни.

«Об истории может судить лишь тот, кто испытал на себе историю», — сказал Гете. Испытывая на себе историю, крупные личности несли тяжелый крест национального самосознания, обогащая тем самым мировую философскую мысль. Серьезное вникание в историю крупных личностей поможет нашим претендентам на высокую интеллектуальность потрезвее оценить себя как личностей — было бы на то только желание!

ТВОРЧЕСКОЕ И МЕРТВОЕ

«Мне страшно подумать, что моим детям был бы непонятен мой язык, а за ним — и мои понятия, мечты, стремления, моя любовь к своей бедной природе, к своему родному

народу, к своей соломенной деревне, к своей стране, которой, хорошо ли, плохо ли, служишь сам».

Так писал В. Короленко, и суть этих слов всегда будет тревожной для мыслящего человека. Для русских писателей любовь к Родине всегда была неотделима от любви к русскому языку. Может быть, более бессознательно, но так же природно есть эта потребность родного слова в каждом из нас. В глубине нашего духа и сознания живет заветное — название деревушки или города, где мы родились; сказка матери или бабушки в детстве; слово участия, легшее целительно на душу. То заветное, что открывается с возрастом в безмерности святого понятия: Родина. Все это таится в душе как слиток, как главное ее достояние. И в самые глубокие моменты обнажается смысл этих сокровенных слов.

Страшно было бы, если бы, скажем, мать всю жизнь (и умирая) слышала бы от своего сына не «мама», а «предок», если в конце концов сам этот сын, в свою очередь, дождется от своих детей бомбардировки все тем же «предком». Вскоре, через несколько поколений, люди говорили бы со своими родителями как дикари. Родство людей, внутренние связи поколений держатся не на жаргоне. Слово, связанное с родным для нас, разветвляется во всем нашем духовном существе.

Да, слово — это и наша сущность. У писателя оно вырабатывается не только внутренними усилиями, но и его родословной, его опытом. И это та природа литературы, когда слова у одного автора — мертвые типографские знаки, а из слов другого автора, как из радия, веками излучается человеческая энергия.

В 1878 году у Достоевского умер младший сын, трехлетний Леша. Отчаянье отца, глубокая горесть его выразились в потрясающей сцене в «Братьях Карамазовых». «Верующая баба», жена извозчика, схоронив «трехлеточка», за триста верст пришла за утешением к старцу Зосиме, исходит в растравляющих сердце причитаниях: «По сыночку мучусь, отец, по сыночку. Последний оставался, четверо было у нас с Никитушкой, да не стоят у нас детушки, не стоят, желанный, не

стоят... последнего схоронила и забыть его не могу. Вот точно он тут предо мной стоит, не отходит. Душу мне иссушил. Посмотрю на его бельишечко, на рубашоночку аль на сапожки и вою... И хотя бы я только взглянула на него лишь разочек, только один разочек, на него мне бы опять поглядеть, и не подошла бы к нему, не промолвила, в углу бы притаилась, только бы минуточку едину повидать, послыхать его, как он играет на дворе, придет, бывало, крикнет своим голосочком: "Мамка, где ты?" Только услыхать-то мне, как он по комнате своими ножками пройдет разик, всего бы только разик, ножками-то своими тук-тук, да так часто, часто, помню, как, бывало, бежит ко мне, кричит да смеется, только бы я его ножки-то услышала, услышала бы, признала! Да нет его, батюшка, нет, и не услышу его никогда! Вот его поясочек, а его-то и нет, и никогда-то мне теперь не видать, не слыхать его!»

Эта неутоленность горя, как в народных плачах-причитаниях, доступна лишь глубокой, любящей душе.

Богатство русского языка создавалось историей народа, его самопознанием (народное творчество, летописи и протопоп Аввакум, русские писатели). Органичная почва русского языка вобрала в себя все пережитое народом, лихолетья и надежды его. И как в жизни отдельного человека не пропадает бесследно ни одно глубокое чувство, ни один проникновенный факт, так в истории русского языка органичен каждый значительный историко-психологический момент. Испытания народа питают жизненную силу слова. Не случайно русские писатели любили летописи с их жизненным и языковым сгустком. Какая наполненность хотя бы в переложении историком С. М. Соловьевым летописных сведений о бедствиях на Русской земле:

«Под 1230 годом летописец говорит о голоде, свирепствовавшем по всей России, кроме Киева: в половине сентября мороз побил весь хлеб в Новгородской области, и отсюда началось горе большое, говорит летописец: начали покупать хлеб по 8 кун, кадь ржи — по 20 гривен, пшеницы — по 40 гривен, пшена — по 50, овса — по 13; разошелся весь город

наш и вся волость, и наполнились чужие города и страны братьями нашими и сестрами; оставшиеся начали мереть: трупы лежали на улицах, младенцев грызли псы; ели мох, сосну, кору липовую, лист разный... отцы и матери отдавали детей своих из хлеба в рабство купцам иноземным; по улицам скорбь при виде трупов, лежащих без погребения, дома тоска при виде детей, плачущих по хлебе или умирающих с голоду; цены возвысились, наконец, до того, что четвертую часть кади ржи начали покупать по гривне серебра...» Псковский летописец рассказывает об этом голоде у себя в тех же чертах: "Написал бы еще кой о чем похуже, да и так уже горько", — оканчивает он свой рассказ».

Если можно об этих бедствиях вообще говорить литературно, то поражает «материальность» описания. Текст как бы пропитан бедствиями. То, что Тургенев называл «правдивостью русского языка», рождалось историческим опытом народа.

От Крылова и Пушкина начинается народное языковое самосознание нашей литературы. Бесспорно, двигателем здесь послужила победа в Отечественной войне 1812 года, заставившая мыслящих людей России глубоко задуматься о судьбе русского народа, о ценностях народной жизни. Складывание стилей в литературе XIX века — это во многом осваивание открывшегося океана живой народной речи. Недаром все великие художники так восторженно отзывались о русском языке. Не случайно и стал возможен такой подвиг, как полувековое собирание В. Далем «Толкового словаря живого великорусского языка» — своего рода подчеркивание перед литературой первородности народной речи.

Одной из главных основ стиля стало то, что Достоевский назвал «язык — народ». У разных художников — разная философия, неодинаковый социально-жизненный опыт, разная степень национального самосознания, нравственного прозрения в «вечные вопросы», психологического предчувствия грядущих социальных перемен в России. Разумеется, все эти различия своеобразно преломились и в стиле каждого писателя, но ведь, как сказал Достоевский, только родного языка достанет «на высшую жизнь, на глубину мысли».

И в этом смысле индивидуальности в великой русской литературе внутренне близки друг к другу — органичностью языка как синонима народа.

Когда после революции был патетически брошен работникам искусств клич: «Назад, к А. Н. Островскому!» — то это было воспринято многими как анахронизм. А между тем это был резонный клич: вперед, к классикам! Высились гималаи культуры, и легче, конечно, было отворотиться от них, нежели достигнуть их высоты. Когда наступает перерыв в развитии культуры, то извращается самая сущность творчества. Опустошительность всего, что рвет с традициями русской литературы, настолько очевидна, что спорить об этом можно разве лишь не по доброй воле. Любопытное дело: о сверхновом в искусстве больше всего рассуждают те, кто не вносит ничего нового в искусство, кто довольствуется эпигонством (плодя литературно-критическое мещанство с его патетическим требованием «новаций», «ядерной» поэзии, «чисто современных образов» и т.д.). Совсем уж старомодным тогда надо назвать Достоевского, восхищавшегося — представьте себе такую отсталость! — картинами русских передвижников (которые не может выносить, к примеру, один писатель, готовый вообще прихлопнуть Третьяковскую галерею, как не имеющую художественных ценностей). Но ведь надо понять мудрость Достоевского, видевшего в искусстве выражение духа родного народа.

Стиль самого Достоевского мог родиться только на почве русской жизни. В творчестве известных западных писателей повторяются те психологические «смещения», которые уже были и в «Петербургских повестях» Гоголя, и у Достоевского, но у великих русских писателей они были не «приемом», не расчетом индивидуалистической философии, а органичным познанием русской действительности. И как жалко выглядят наши подражатели западным писателям: не догадываясь о глубинах первоисточника, взапуски спешат они «освоить новый стиль», чтобы быть, так сказать, на уровне.

Стиль только там, где жизненная органичность, а не умозрительность. Сколько было всяких попыток «кривизны», «срезов» в искусстве, а живет все тот же старомодный

«Обломов». И выходит, что дело не в намерении быть «новатором», а в жизненности таланта, в изобразительной силе, в народности языка. Нет старой формы, всякий раз она обновляется личностью самого автора, самобытностью жизненного материала.

Упадок языка — это грозный симптом не только для литературы, но и для самой нации. В отношении стиля нет проблемы более важной, чем язык. Мы уже говорили, что значит язык для русских классиков. Но и в современной литературе должна быть глубина языкового выражения. Водоразделом в стилях сейчас становится природа языка. Все заметнее выявляется почвенность языка, близость его к народной речи, к традициям русской прозы (В. Астафьев, В. Белов, Е. Носов и близкие к ним другие писатели). С другой стороны, напориста авторекомендация модной «новой прозы», с ее узостью и мелочностью языковых форм. Вообще эта короткость языкового выражения (порождающая, говоря словами Достоевского, «коротенькие идейки») вполне объединяет писателей внешне самых разных.

Я приведу отрывки из разных вещей (не называя авторов, ибо дело не в именах, а в самом, так сказать, «течении»).

«— Нет, — сказал я и сострил: — Может, все дело в генах?

— В каких генах?

— Ну, в обыкновенных. Наследственность. У меня ведь отец писатель. Не слышали — Важенин?

— Нет, — заинтересовалась она. — А где он печатается?

— Да он печатался мало. Он в цирке пишет репризы.

— А, — сказала она.

— Ага, — подтвердил я».

А вот другой автор:

«К Бескудину Виктор ворвался так стремительно, что тот, усмехнувшись, сказал:

— На ракетных скоростях работаешь.

— А что делать? События подгоняют. Мне сейчас Рая Туманова звонила.

— Ну да? — удивился Бескудин. — Откуда она твой телефон узнала?

— Карцев, наверное, сказал. А сейчас они вместе. Хочет срочно повидать меня. По секрету от него, кстати. Я через полчаса ей свидание назначил. А вы спрашиваете, почему такие скорости».

Наконец, третий автор:

«Его новая книга — какой-то хорошо налаженный трест. Так сказать, Главболь. Главбольснаб. Главбольсбыт со своей бухгалтерией и с плановым отделом, рассчитывающим выпуск продукции на многие годы вперед... Впрочем, в новой книге поэта есть и новые оттенки. Прежде всего — насквозь искренняя, но несколько паническая тоска по чему-то не сделанному человеком. Не совершенному. Не состоявшемуся. Не родившемуся...»

Не в одном ли «стиле» написано все это? Хотя бы одинаковое у всех трех авторов желание остроумно вести разговор («Да он печатался мало. Он в цирке пишет репризы»; «На ракетных скоростях работаешь»; «Главбольснаб. Главбольсбыт»). А главное — какой-то автоматизм речи. Стенографичность языка, безликость его. Естественно, что при такой языковой укороченности нечего рассчитывать на глубину мысли или яркость образа.

Язык неразрывно связан с историей народа. Так неужели же опыт нашего великого народа достоин только жаргона, воляпюка? Русскому языку в разные века угрожала опасность засорения — слепыми заимствованиями, казенщиной. В настоящее время главная опасность — короткость языкового выражения, крайняя упрощенность лексики (опустошительная для мысли). Многозначителен такой факт. Академику П. С. Александрову на его публичной лекции в актовом зале МГУ в марте 1967 года был задан такой вопрос: «Входит ли в задачу вашей науки функция воздействия на слушателя или читателя стилем, языком?» Ответ академика был следующий: «Безусловно! Но эту функцию современная математика выполняет пока плохо. Преобладает усвоенный (очевидно, из-за океана) жаргон». А ведь этот жаргон выставляется с надменностью чуть ли не жреческого «интеллектуализма»! Уже господствующие права предъявляет тот же

усвоенный жаргон в нынешней литературе. И странно, что все это не замечается теми, кто взял на себя, так сказать, миссию по охране русского языка. Если судить по книге П. Пустовойта «Слово. Стиль. Образ», то чуть ли не главная беда для современной литературы — словарь Даля. Достается же Далю!

«Областнические каноны Даля не могут быть для нашей современности идеалом, образцом, как не может быть возврата к сохе и мотыге в наш век спутников и ракет»; «Людей, в ежедневной речевой практике которых вполне естественны слова "электроутюг", "пылесос", "телевизор", "репродуктор", "магнитофон", "вентилятор", "термометр" и т.п., ни в коей мере не может сейчас удовлетворить словарь Даля даже в случае, если бы в нем было собрано не 200, а 400 тысяч слов».

Увы, домохозяйка действительно не найдет в словаре Даля «пылесоса», «электроутюга» и прочего, вообще современный человек многих слов там не найдет, в словаре многое стало прошлым, и, как все творческое, он не может быть каноном. Но разве не дорого каждому, кто не равнодушен к родному слову, подвижничество Даля, в течение полувека собиравшего по зерну, по крупице свой бессмертный труд, его безмерная любовь к народной речи — во всем богатстве ее метафоричности и образности, к народному быту, к крестьянскому труду, к философии народной жизни, обогащаемой близостью с природой. Самое преклонение, почти благоговение перед океаном народного языка — неужели это не поучительно?

Язык — это проблема не узколингвистическая, а прежде всего общественная. И здесь требуется постижение исторических языковых потребностей народа. Во всяком случае, Даль вряд ли «зло» первостатейное. Пустынное дыхание безъязычной литературы пострашнее всяких областнических слов.

Без ощущения стержневых проблем языка неизбежна пестрота стилистического анализа. Я не разбираю здесь книгу П. Пустовойта «Слово. Стиль. Образ», в ней есть немало

интересных наблюдений. Но, мне кажется, ему не удалось избежать той пестроты, когда в одном ряду оказываются вещи совершенно разнородные. Так ли уж естественно следующее сопоставление: «Но вот поэт олицетворяет понятие "ночь". "Ах ты, ночь, что ж ты, ночь, наковеркала" (С. Есенин). Или еще: "Ночь деревья по небу размазала, как ребенок слезы по лицу" (Н. Матвеева). В обоих случаях прямое значение слова "ночь" как бы отходит на второй план, а представление, которое это слово вызывает, и связанный с ним образ выдвигаются на первый план. Возникает элемент сравнения, ассоциации с чем-то другим: в первом случае — с какой-то живой, злой и губительной силой, во втором — с конкретным ребенком, который размазывает слезы по лицу. Оба поэта толкают читателя от логического восприятия мира к художественному, образному, от абстрактного к конкретно-чувственному». Что же тут общее — трагичность есенинских слов (заставляющая вспомнить Ивана Карамазова после кошмара ночных галлюцинаций) и этот претенциозный, искусственный образ поэтессы? Так же как и второй ее образ, приводимый опять с похвалой автором книги:

Мне чайка, будто вилкой
Дно тарелки,
Голодным криком выскоблила слух.

* * *

Кеплер сказал однажды, что «одного своего открытия он не отдал бы за целое княжество». Это бескорыстие и есть главная двигательная сила всего истинно великого на земле. Без этого не было бы мучительного искания истины. Но кеплеровское признание открывает нам и святая святых подлинного ученого — его поглощенность своей идеей, сознание достоинства своего признания.

Этими лучшими умами и создается реальность науки. Но научные, творческие ценности не на поверхности. Кимбер-

литовые прожилки скрыты в огромной массе породы. Так и в науке не все одинаково ценно. Есть истинная наука и то, что можно назвать лженаукой. Наука популярна и, как все популярное, манит к себе не столько глубиною, как внешним блеском своего авторитета. Но нашей молодежи, на мой взгляд, далеко не безразлично, в какой мере все, что связано с наукой, действительно научно. Ведь вырабатывая в себе культуру научного мышления, творческая молодежь не может мириться с профанацией науки.

Распространено такое выражение: «наука о литературе». Выражение это мелькает в ученых записках, выпускаемых педагогическими институтами и университетами разных городов, в литературоведческих сборниках и книгах. Авторы часто так и начинают: «В нашей науке о литературе...», «Наука о литературе обогатилась...» и т.д. Слово «наука» сразу как бы пресекает всякую ненаучность читателя. В «науке о литературе» бывают и дельные исследования, обнаруживающие и серьезную мысль, и эстетическое чутье их авторов. Но резоннее, на мой взгляд, говорить о свойствах другого рода, которые мешают литературоведению внутренне приблизиться к читателю.

Перед нами сборник статей «Время. Пафос. Стиль», выпущенный недавно издательством «Наука» (под весьма внушительным грифом «Академия наук СССР»). В аннотации говорится: «Сборник статей посвящен малоисследованному вопросу о художественных течениях, о многообразии стилевых исканий в современной советской литературе. Авторы статей сборника ставят своей целью показать художественное богатство и новаторство современной советской литературы...»

Сборник открывается статьей В. Ковалева «Проблемы стиля в советской литературе». Статья эта, по словам самого автора, «имеющая характер введения к помещенным в сборнике материалам», как бы приуготовляет методологическую опору для сборника. Что же это за опора? Автор озабочен беспорядком в вопросе о стиле. Столетиями люди бьются над этой загадкой, а разгадки нет. «Что такое стиль? Все вновь

и вновь возникает этот вопрос в работах литературоведов», — пишет автор.

Мы не будем здесь переоценивать некоторые теоретические догадки В. Ковалева (вроде «стиляга» — ведь это словечко образовано от того же «стиля», свойственного определенной части молодых людей). Лучше отдадим должное солидности собранных им сведений. В самом деле, ведь сколько прочитано, сколько имен! Тут А. Урбан и Гете, А. Эльяшевич и Гегель, К. Симонов и И. Маца и т.д. и т.п. «Научный аппарат» должен быть на высоте!

Цитирование чужих мнений — дело, видимо, неизбежное в «науке о литературе», но зачем же без передышки пересказывать то, что сказали другие? Участие В. Ковалева в разрешении теоретических неясностей выражается чаще всего в таком виде: «С критикой этих пережиточных представлений о стиле выступил на втором съезде писателей К. Симонов, отметивший, что сторонники этих представлений приходят к мысли о едином стиле социалистического реализма и тем самым к отрицанию многообразия стилей в советской литературе».

«Возражение К. Симонова, видимо, не убедило И. Рыжкина, ибо в своем исследовании он настойчиво сближал понятие ”стиль” с понятием ”творческий метод” и защищал термин ”стиль социалистического реализма”».

По мере приближения к выводу автор все теснее сплачивает ряды цитат: «Мысли Гете, подкрепленные некоторыми суждениями Вяч. Иванова, позволяют уточнить понятие стиля...» Далее В. Ковалев приводит цитату о стиле из «Теории литературы» Л. Тимофеева. «В. Днепров склонен выразить эту мысль так... На это же, как существенное в стиле, обращает внимание К. Федин, говоря...

В итоге следует сказать, что категория стиля в целостном виде открывает нам характерное в произведениях писателя, внутреннее единство и органичность его творчества, тесную сращенность качеств его творений с характерным в жизни, в исторической действительности. Стиль — это некая своеобразная последовательность художника, выдержанность тона

и освещения во всех элементах его словесного искусства, верность себе в анализе и освещении самых различных явлений жизни».

Как любили говорить в старину ученые, из-под ферулы цитат и не могло возникнуть что-либо более самостоятельное в определении стиля. От каждой цитаты по одной «черточке» — и эта эклектичность должна стать наиболее совершенной научной формулой? Но не справедливо ли в данном случае вспомнить сказанное самим автором (по поводу статьи другого автора о стиле): «Ничего нового читатель не узнал»?

Стиль — категория не академически-застывшая, а жизненно-историческая. Стиль истинного художника так же неповторим, как неповторима его человеческая личность. Есть индивидуальность писателя, но есть и индивидуальность литературы — скажем, великой русской литературы XIX века, так резко отличающая ее от всех литератур мира. Следовательно, есть силы, связующие в нечто целостное индивидуальности, стили писателей. Прежде всего это язык — как выражение народного сознания.

Но В. Ковалеву некогда уйти в глубину вопроса, только поспевай справляться с «оппонентами»: «Одни (В. Панова, К. Симонов, В. Огнев и др.) отрицали самую возможность существования в литературе "идеального героя" (требование создать такого героя как образец для молодежи выдвинула педагог А. Протопопова), другие...», «По словам Б. Костелянца... представители этой линии избегают развернутых отступлений от лица повествователя. В. Некрасов, полемизируя с известным призывом А. Довженко "Не бойтесь великих слов...", подчеркнул "непатетичность" этой стилистической линии. А. Нинов считает важным... Т. Трифонова, относя к этой линии В. Панову и В. Некрасова, находит...» и т.д. и т.п.

Кем, где, когда, что сказано — даются внизу под чертой сноски — всего более ста сносок в статье. Это ли не высокий академизм?! И вообще порядок неукоснительный, как в славных классицистических правилах:

...сперва прочтешь вступленье,
Там продолжение, а там и заключенье.

Правда, местами автор отходит от обычной учености, отдыхая на образности, вроде: «Но ведь на самом деле взаимоотношения писателя и жизни не таковы! Разве писатель берет из жизни некий уже "раскроенный" и приблизительно "сшитый по фигуре" материал (как это бывает в некоторых отделах готовой одежды универмагов)? Разве он получает в руки некие полуфабрикаты, которые остается лишь зажарить за рабочим столом, чтобы получилось сносное блюдо для читателя? Нет и нет!»

Не резко ли я пишу? Все-таки автор взялся за нужную тему, так сказать, защищает реализм от модернизма и т.д. Но «наука о литературе» (В. Ковалев) не может быть коллекцией внешних сведений, общих мест, деклараций. Не подходит ли более для науки синтез, конкретность социально-эстетического мышления? Не в том ли уж наука, чтобы сказать, например, что одна из поэм А. Вознесенского написана в «стиле ясной поэзии»? Не по этому ли внешнему признаку попадают в один ряд поэты и глубокие, и резвящиеся? Всякая ведь может быть «ясность». Стих Есенина тоже «ясен», но только безнадежный литературный «профессионал» не почувствует, как наэлектризована эта ясность драматизмом, противоречиями времени. Дело литературоведения все-таки не кибернетический свод информации о литературе, а выявление ее истинных ценностей. В основе того же стиля лежит природа искусства, а не имитация его. Может ли быть стиль у Сальери и его сподвижников. В «академическом» смысле, видимо, может быть, если не учитывать высоты требований искусства. Я понимаю, что может быть стиль авторов «Тихого Дона», «Русского леса», стиль Андрея Платонова. Но может ли быть стиль, скажем, у подражателя Чехова и Бунина, а затем — у подражателей этого подражателя? Может ли быть стиль у авторов, для которых литература что угодно, только не подвижничество? А ведь стоило бы призадуматься о том, что стиль художника и — шире —

стилевые особенности литературы могут быть серьезно оценены только из глубины исторического опыта народа. Литература питается духом народной жизни, и все пережитое, выстраданное нашим народом (как ни одним народом мира), должно выразиться в литературе. И что может быть органичного (а значит, глубокого) в том или ином «стиле», если в него, хотя бы частицей, не проникают голоса народной жизни? Не думаю, что достоинство «науки о литературе» — в глухоте к этим голосам. Какой же может быть серьезный разговор о «стиле» без этого соотношения психологизма литературы с историческим опытом народа?

В свое время Герцен писал и о «дилетантизме в науке» (о скользящих по поверхности науки), и о «буддизме в науке» (о тех, кто специализируется, как Вагнер, на дождевых червях). Но сложнее, пожалуй, обстоит дело в «науке о литературе». Нет ли здесь того любительства, которое когда-то отмечал Кант в метафизике, «где всякий человек, невежественный во всех прочих предметах, позволяет себе решающее суждение, так как в этой области действительно нет никакого верного критерия (Mass und Gewicht), чтобы отличить основательность от пустой болтовни».

Сколько уж лет наблюдаю одно и то же. Еще студентом МГУ наблюдал: в курилке Ленинской библиотеки одни и те же фигуры все что-то цитировали друг другу, что-то «концептуальное» и еще всякое такое, что трудно выговорить. И сейчас те же самые фигуры, уже менее волосатые. Им бы Сократами быть, а они, перебивая один другого, все цитируют, под закрытие библиотеки несут для сдачи гору книг до потолка, и все это вычитанное так и не выйдет из пределов курилки. А впрочем, кое-что может осесть в «науке о литературе»...

Наука минус творчество — может ведь быть такое. А между тем та же «наука о литературе» может стать жизненным словом, нужным людям. Для этого необходимо не только брать от народа (во сколько государству обходятся многие «научные» сборники?), но и возвращать взятое. А вернуть можно чем? Творческими ценностями, в которых народ нуждается так же, как в хлебе.

* * *

«Творческие ценности», — сказал я. А может быть, не подумав, сказал. А ну как Ан. Дремов, специализирующийся на проблеме положительного героя, на проблеме народности, перебьет меня грозным тезисом: «Что это такое — творческие ценности? Какое отношение это имеет к народности?»

Мы все-таки думаем, что взаимосвязь здесь глубоко внутренняя. Один мой знакомый рассказал мне, как по соседству с его домом строили новое здание. Худо дело шло, когда-то еще доберутся до крыши, а видимо, по плану-то давно пора. И вот чуть ли не во всю стену лозунг выбросили: «Да здравствует советский народ!» Такого размера лозунг, что все провалы работы прикрыли. А ведь куда бы более подходило для «здравствования» народа не такое штурмовщинное поминание его, а, попросту говоря, добросовестная работа.

Не так ли и иные наши словесные строители выставляют только щит народности? Уместно было бы вспомнить, что, например, великие русские писатели — от Пушкина до Л. Толстого — пришли к народности, к ее мудрости, освоив ценности мировой культуры, и тем свежее, первороднее в своей безмерной глубине открылось им содержание народной жизни, смысл народности. А иные нынешние авторы думают, что если они на каждой странице повторяют слово «народность», то этим уже все обнимают.

Ан. Дремов в одной из своих брошюр приводит слова Белинского о том, что литература есть «народное сознанье». Если бы мы во всей глубине усваивали подлинный смысл подобных истин! Тогда, с этой высоты «народного сознанья», многое открылось бы в своей сущности. Тогда, между прочим, и в критике было бы больше и требовательности в оценках, и жизненности разговора. Тогда рука несколько попридерживалась бы, прежде чем черкануть очередное слово «народность». Но для Ан. Дремова народность стала общим местом, некоей застывшей формулой. В статьях и брошюрах Ан. Дремова мелькают одни и те же стереотипные фразы:

«Основным пафосом советского искусства и литературы всегда было утверждение нового, воспевание героики жизни — созидания и борьбы пробудившегося к историческому творчеству великого народа»; «партийность и народность сливаются воедино лишь в творчестве прогрессивных художников, обладающих ясным и отчетливым классовым мировоззрением» и т.п.

Не думаю, что углублением проблемы можно считать и авторское теоретизирование на таком уровне: «Если наш народ-строитель в целом героичен, то из этого еще не следует, что и каждый отдельный участник этого строительства непременно герой». Между прочим, есть одно неизбежное следствие формального отношения к проблеме народности. Если все содержание народности сводится к застывшей формуле, то в оценке книг для критика важно не истину выяснить, а свою формулу подкрепить. Здесь не до идейно-эстетической конкретности, не до природы творчества того или иного автора. Главное — «подкрепить» тезис вроде таких строк у Ан. Дремова: «Есть на чем учиться и воспитываться. Это романы М. Шолохова, К. Федина, Л. Леонова, книги, писателей среднего поколения — В. Кожевникова, Г. Николаевой, В. Пановой, О. Гончара, Вс. Кочетова, М. Стельмаха, Г. Маркова, М. Бубеннова, Ч. Айтматова и т.д.

Это относится и к поэзии. Всем известна чудесная поэзия С. Маршака, Р. Гамзатова, А. Прокофьева, А. Твардовского, Э. Межелайтиса. А сколько еще у нас талантливых и зрелых и молодых поэтов, вносящих свой ценный вклад в развитие социалистической поэзии!»

Я понимаю, что легче не вдаваться в сущность дела, но пишущему надо все-таки немного хотя бы вдаваться. Например, в социально-исторический опыт нашего народа. Ведь когда реально представляешь себе все пережитое нашим народом, действительно беспримерное в истории мужество его, то вряд ли будешь заворожен той словесной унылостью, с какою, например, Ан. Дремов рассуждает о героическом характере в брошюре «Образ нашего современника в советской литературе»:

«Героизм у нас выражается не только в том, чтобы идти вперед, но и в товарищеской помощи более слабым, в подтягивании их до первых рядов, в коллективных усилиях ради общего успеха». Или же: «Советские писатели создадут такие книги. Они шире раскроют людям глаза на величие и красоту нашей жизни, поставят перед ними новые образы подлинных героев нашего времени — вдохновляющие примеры для миллионов, ведущие вперед, в коммунистическое завтра» и т.д.

Не проходят бесследно окостеневшие, казенные слова о народе. Их перекладывают на свой лад иные шумные личности, вроде того молодого автора, который негодует, почему я должен думать о народе, а не народ обо мне?

И «дискутируют» насчет этого взбрыкивания!

* * *

Но есть другого рода критика, где на поверхности весь «блеск» и вся наличность содержания. «Интеллигентные критики» — так назвал недавно один критик своих коллег. Внешне здесь полное «культурное» благополучие. В ходу такие слова, как «максимализм», «дефиниция», «бездны», что-то вроде «ядерного сознания» и т.д. И вообще термины самые наисовременнейшие. Грамотно, а все как-то мертвенько!

Нечто подобное, видимо, испытываешь, слушая завсегдатая компании: обо всем он говорит с ровным красноречием, даже не говорит, а как бы читает, цитирует; все гладко, бойко, закругленно, с восклицаниями в меру и с расчетливыми паузами. А скучно от всего этого, как от чего-то электронно-методичного. Невольно затоскуешь по живому слову. Слушаешь, например, фронтовика, как разрубали топором на всех замороженную буханку («во рту растает, а до желудка не дойдет»), как по бугру ползали немецкие танки, а у каждого нашего орудия по два снаряда («...и как удержались тогда — не пойму», — говорит старый фронтовик, даже и не подозревая, что такие русские люди и удержали врага), — слушаешь все это и навсегда сохранишь в душе.

После солдатских слов о войне особенно изящно, не так ли, звучат «ритмы войны». Этот красивый образ мы позаимствовали из одной статьи критика А. Нинова. Я не удивлюсь, если прочитаю: «виртуозная минута смерти», «концептуальное горе», «артистизм народных испытаний», «экспрессия человеческого страдания», «жанровое своеобразие эпохи» и т.д. Можно было бы сказать, что в таких случаях слово поедает смысл, но это была бы большая честь для слова-карлика. Здесь скорее «поедание» красноречием собственных мыслительных данных.

«Жанр обязывает...» — названа одна из статей А. Нинова. Название многозначительное, хотя нетрудно понять, что авторский жест с многоточием явно завышен в отношении к писателю талантливому, который, пожалуй, может и не быть под гипнозом жанровых мерок. Ведь жизненное и выражает себя неповторимо. Но критику важна «концепция», указующая литературе выход к новым берегам вроде вот этого: «Чтобы успешно двигаться вперед, следует более отчетливо представлять себе основные элементы, формирующие облик современной прозы, видеть реальное взаимодействие жанров, находящихся в живых, подвижных, изменяющихся соотношениях друг с другом».

Редчайший набор проницательнейших концепций содержится в большой статье А. Нинова «Исследование и характеры». Правда, несколько смущает несоответствие между шумовым эффектом фразы и элементарностью ее смысла, но, может быть, это столкновение и должно составлять суть современного стиля критика? Вот несколько «открытий»: «Исходным пунктом очеркового жанра остается исследование определенных общественных отношений, анализ конкретных условий, составляющих реальный уклад человеческой жизни. Именно с этой стороны очерк начинает изучение разнообразных общественно-психологических типов, которые создаются соответствующими условиями»; «Он объективен не только в широком смысле слова, как правдивый деталист, сохраняющий реальные светотени изображаемого, но и как автор, который нигде не вмешивается в повествова-

ние, строго держится логики конкретной жизненной ситуации и сюжетной обрисовки характеров»; «Портреты и типы, появляющиеся по ходу развития мысли, как бы овеществляют, персонифицируют ее, подкрепляют общий тезис живыми, конкретными примерами»; «В очерке определенность публицистического задания, четкая логическая формулировка проблемы, движение от тезиса к эпизоду, от конкретной ситуации к выводу, разрывы единой сюжетной связи и вмешательство самого автора в решение поставленного вопроса не только не ощущаются как недостаток, но составляют суть и смысл всего построения» и т.д. и т.д.

Таким языком написаны все статьи А. Нинова.

В том же словесном темпе, без передышки, идет дело, когда автор от «литературно-теоретических» рассуждений переходит к социально-общественным. А об этом критик рассуждает много и охотно — как же без гражданственности? «Как повествователь, Тендряков отдает явное предпочтение перипетиям общественного содержания», — пишет А. Нинов, сходясь неожиданно на одной звучной волне с тем героем из тендряковской повести, который любил по разным поводам употреблять таинственное слово «перипетия». Подобных «перипетий» у А. Нинова такое скопление, что задавливается всякая живая мысль. Вот, например, социально-содержательный рассказ Тендрякова «Ухабы» — не тут ли проявить критику свою гражданскую взволнованность?! Но как мертвеет гражданская проблема в языковом бездушии автора: «Воссозданная в мельчайших подробностях и деталях и проходящая почти через весь рассказ картина недавней борьбы машины с размокшей дорогой дает как бы общий безмолвный фон трагическому происшествию. Картина бездорожья стала одним из составных элементов художественной концепции рассказа, она введена в сюжет как характерная бытовая черта анализируемой ситуации».

У писателя речь идет о жизненном зле, а вот как словесно жестикулирует по этому поводу критик: «Ситуация, преломившаяся в характерных поступках разных людей, исчерпана до конца. В то же время подпочва изображенных харак-

теров, общественные условия, их сформировавшие, остаются как бы за рамками сюжетного построения рассказа. Распространенность мотивировок, позволяющих проследить предысторию каждого характера, ограничена здесь самой логикой жанра».

В свое время Достоевский с пародийной иронией приводил красноречие тогдашних адвокатов: «Это чтоб нам без блеску и эффекту, это нам никоим образом невозможно, потому как нам никак невозможно, чтобы нам совсем без блеску и эффекту».

Без «блеску и эффекту» не обходится ни одно рассуждение А. Нинова. Обо всем, о чем бы он ни писал — о войне, о социально-гражданских проблемах, о композиции, жанре, «публицистической струе», об «аспекте проблемы», о ситуации, перипетии, максимализме, о том, что «в авторской позиции и интонации, если они соответствуют объекту, уже заложен момент познания и момент оценки существа предмета» и т.д. и т.д., — обо всем говорится с одинаковой вибрацией красноречия. Можно было бы такую неразборчивость назвать недостаточной эмоциональной грамотностью, если бы дело не обстояло гораздо глубже. Чего бы ни касался — большого, малого ли, — во всем блестит прежде всего умение быть на уровне современной интеллектуальной моды.

Что-то вроде стриженого газона. Ровно, более или менее «культурно», но так искусственно! И в этой ровности есть то равнодушие к глубинам жизненных проблем, которое никогда не было признаком талантливости. Есть та умозрительность, которая ничего общего не имеет с самопознанием личности творческой. Ибо творчество — это не комбинация шумных фраз, не выставление внешних форм «интеллектуализма», за которыми бывает скрыта мещанская духовная безликость.

В какой мере нетворческое, мертвое многолико в критике, мы видели на примерах статей трех, внешне совершенно разных авторов. Мнимый академизм; упрощение социально-общественных формул; безудержное красноречие как самоцель — что жизненного вносится этим в литературу?

Творческое — всегда от действительного, от реального. Истинная литература — это всегда социально-общественная необходимость, самосознание народа, выражение того, что становится исторической потребностью. Критика в том случае только оправдывает свое, так сказать, существование, если она не довольствуется иллюстрацией идей, а, как и литература, исследует действительность, чувствует в себе — по мере сил — нагрузку социально-общественных проблем. Это и есть творчество.

ПРОСВЕЩЕННОЕ МЕЩАНСТВО

Расскажу пустячный случай. Как-то присел я на скамейку пробежать газету во дворе нашего огромного московского дома. Вдруг откуда-то сверху: что-то магнитофонно-стегающее, с гнусавинкой. Гляжу — неподалеку скамейка, сидят женщины. Кто вяжет, кто разговаривает, кто с ребенком сидит — и все ногами работают, в такт грянувшей из окна музыке. Сначала смешно показалось — не видят сами, как все одновременно притопывают. А потом стало жутковато — что-то стадное было в этом слепом притопывании. Это пожилые-то так заработали. А какой-нибудь вертун вовсе задрожит при звуках этих с гнусавинкой...

Есть над чем задуматься: в душе иного молодого человека еще никакой опорной точки, а его со всех сторон облепляют — и выхолощенный язык, опустошающий мысль и чувство, и телевизионная суета, и нечто эстрадно-зазывное, и какая-то павильонная беготня кинофильмов. От всего этого пестрит в глазах, дразнят простенькие желания.

К тому же могут быть разные сюрпризы. Вот, например, где-то на вечеринке под бутылочное настроение прокручивалась песенка о троллейбусе, подбирающем ночью «потерпевших крушение». Гитарно-гуманная песенка. А вскоре, скажем, тот, кто слушал ее на вечеринке, наталкивается в газете на такую заметку:

«Вы написали, что фильм ”был встречен прохладно и поэтому, очевидно, недолго продержался на экранах...”

Что же касается ”прохладного приема”, то скажу Вам, что как автор побывал во многих кинотеатрах и наблюдал реакцию зрителей, присутствовал на многих встречах со зрителями, получил множество писем из различных уголков страны.

Должен признаться, что мнения крайне противоположны: как положительные, так и отрицательные, но ни одного ”прохладного”...

Не знаю, подлежат ли Ваши действия суду, но поверьте мне, что на всех своих выступлениях я буду широко знакомить публику с этим фактом, чтобы она Вам не доверяла, чтобы в редакциях упоминание Вашего имени ассоциировалось с подлогом.

Копию этого письма я направляю в Союз писателей СССР и Союз кинематографистов СССР, чтобы и там познакомились с Вашими дурными манерами.

Примите уверения и проч.

Булат Окуджава».

(Газета «Труд» от 1 декабря 1967 года)

Вся эта «лирика» вызвана тем, что женщина-рецензент осмелилась заметить, что фильм «Женя, Женечка и Катюша» (одним из авторов сценария которого является Окуджава) «прохладно» встречен зрителями. Молодой поклонник песенки о троллейбусе, прочитав эту заметку, не подумает ли вот о чем: а-я-яй, такая чувствительная песенка, а какое письмецо! Ну дело ли стихотворца — ни за что ни про что угрожать судом? Даже как-то страшновато: попадись-ка под власть такой прогрессистской руки...

Так вот, наш молодой человек должен быть продуктом довольно сложного сцепления, чтобы выработалось в нем то, помните, стадное притопывание. Мещанство свое дело делает. Оно считает себя в курсе всех современных наук и мировых прогрессов. Оно ужасно любит остренькое в науке — пересаженное сердце, летающие тарелки (которые должны

быть непременно посланцами с других планет), оно любит порассуждать о физиках и лириках, о какой-нибудь электронной теории бессмертия и т.д. Такое просвещенное мещанство быстро поставит на место патриархально-отсталого Л. Толстого с его ненаучным утверждением: «Много ли железа и какие металлы в солнце и звездах — это скоро узнать можно; а вот то, что обличает наше свинство, — это трудно, ужасно трудно».

Не имея собственных мыслей, мещанство делает плоским все, к чему ни прилипнет. Даже великие мысли, великие имена забалтывают, гениальную индивидуальность пытаются заклеймить особым словцом, уничтожающим значение подвижничества мысли великого человека: Руссо — «руссоизм». Толстой — «фатализм», Есенин — «есенинщина» и т.д.

У мещанства мини-язык, мини-мысль, мини-чувство — все мини. И Родина для них — мини. И дружба народов — тоже. Только разлагатели национального духа народов могут не желать этой дружбы.

Мини торжествует. Посмотрите, что делается порою в нынешней критике — достаточно чихнуть, чтобы тем самым вызвать многомесячную дискуссию. Чих отвлекает — в этом, видимо, и его привлекательность. Но за этим чихом и другой расчет: можно, конечно, допустить самое невинное — любыми способами войти в «историю литературы», примазываясь к истории великого народа. Но наивно так думать. Отвлекусь и сам от разлагающей угрозы мини. Лучше вспомню знакомого (по рассказам земляков) стародавнего деревенского мужичонка по прозвищу Кадык. Выходил он из дому и спрашивал на народе свою жену:

— Мать, ты мясо-то вынула, погляди, не перепреет?»

— Кады-ык, мяса-то еще нету его.

Очень уж хотелось Кадыку похвалиться своим достатком, которого у него никогда не было.

Не так ли и иные критики хотят больше «выдать», чем имеют за душой? Но ведь и то верно, что Кадык только в глазах самого себя мог быть богаче.

Если бы у этих мини была только бесхитростность Кадыка!

* * *

Вот, например, небезызвестный чеховский профессор Серебряков. Все-то свои годики «герр профессор» перегнал на ученые рассуждения о красоте, ровным счетом ничего не понимая в ней. Десятки лет театры и критики высмеивают этого бездарного профессора, все-таки знают цену этой посредственности, этому приживальщику в науке, а ему хоть бы что — по-прежнему он заведует кафедрами, с надменным видом изрекает ученые пошлости, пишет никому не нужные «труды», величаво заседает, подписывает юбилейные «адреса» и т.д. Как говорит один герой у Бальзака: «Я посредственность, следовательно, я могу добиться всего, чего захочу». Серебряковы и в самом деле могут всего добиться, кроме одной лишь мелочи — оживить свою «ученость» хотя бы одним живым, творческим словом.

А моральная ценность этих светил? Увы, самого квелого сорта. При величавой-то осанке да душу бы «адекватную», как любят говорить эти ученые люди. Нет этого. Вот помните, как стоически переносил свои старческие недуги профессор Серебряков? Вот оно, это мужество в присутствии молодой жены нашего ученого: «Серебряков: Говорят, у Тургенева от подагры сделалась грудная жаба. Боюсь, как бы у меня не было. Проклятая, отвратительная старость. Черт бы ее побрал. Когда я постарел, я стал себе противен. Да и вам всем, должно быть, противно на меня смотреть... Тебе же первой я противен... Конечно, ты права. Я не глуп и понимаю. Ты молода, здорова, красива, жить хочешь, а я старик, почти труп. Что ж? Разве я не понимаю? И, конечно, глупо, что я до сих пор жив. Но погодите, скоро я освобожу вас всех. Недолго мне еще придется тянуть». Каков наш проповедник красоты?! А ведь в жизни этот и ему подобные не довольствуются смиренной ролью слабых — им подавай трибуну, откуда бы они гремели на весь свет. Да еще как гремят. Теща Серебрякова Мария Васильевна только и занята целыми днями тем, что читает «брошюры» обожаемого ею зятя-профессора. Для таких Марий Васильевн нет большего

остроумия в мире, как шутка профессора: «Повесьте, так сказать, ваши уши на гвоздь внимания»; нет большей тонкости, как профессорские восклицания о природе: «Прекрасно, прекрасно... Чудесные виды». И по-профессорски процветают на этих эффектах, на этой театральности. Выдающимися слывут из-за одной своей осанки или голосовой сгущенности.

Сознательно или бессознательно, но Чехов подметил страшный психологический симптом — духовное вырождение «образованного» человека, гниение в нем всего человеческого — так сказать, в блеске интеллектуальной синтетики. Расплодись повсеместно серебряковщина — не из чего было бы развиваться роду человеческому. Никакого здесь идеала, никакого намека на самопожертвование, ничего естественного, Фразы, фразы... Вот недавно за границей был очередной *симпозиум* — сколько речей было там произнесено на тему: может ли творить художник, когда на его глазах умирает с голоду ребенок? Писали в газетах, что весьма интересная была дискуссия. Но можете вы представить себе, чтобы «дискутировали» на эту «тему» Достоевский или Л. Толстой?

Элегантно облаченные в сплошной прогресс, все эти любители *симпозиумов* искреннейшим образом убеждены, что вокруг их пупа крутится человечество и сама земля. Вы помните «талантливого и многочтимого» либерала Степана Трофимовича Верховенского из «Бесов» Достоевского, который до «страсти» любил «гражданскую роль»? Помните, как он написал нечто смелое — поэму, где все поют, даже насекомые и какой-то минерал? Эту поэму вдруг печатают «там, то есть за границей... Он был сначала испуган, бросился к губернатору и написал благороднейшее оправдательное письмо в Петербург... Одним словом, волновался целый месяц, но я убежден, что в таинственных изгибах своего сердца был польщен необыкновенно. Он чуть не спал с экземпляром доставленного ему сборника, а днем прятал его под тюфяк и даже не пускал женщину перестилать постель, и хоть ждал каждый день откуда-то какой-то телеграммы, но смотрел свысока. Телеграммы никакой не пришло».

Ясно, что наш смелый Степан Трофимович преувеличивал свою гражданскую роль, вряд ли кому было дело до него, хотя он «искренно сам верил всю свою жизнь, что в некоторых сферах его постоянно опасаются, что шаги его беспрерывно известны и сочтены, и что каждый из трех сменившихся у нас в последние двадцать лет губернаторов, въезжая править губернией, уже привозил с собою некоторую и хлопотливую о нем мысль, внушенную ему свыше, и прежде всего при сдаче губернии».

Чтобы полнее представить себе значительность Степана Трофимовича, напомним, что он защитил блестящую диссертацию о «возникавшем было гражданском и ганзеатическом значении немецкого городка Ганау, в эпоху между 1413 и 1428 годами». Кроме того, Степану Трофимовичу принадлежит ряд замечательных мыслей, вроде: «я... всех русских мужичков отдам в обмен за одну Рашель»; «К тому же Россия есть слишком великое недоразумение, чтобы нам одним его разрешить, без немцев и без труда».

Конечно, в иных обстоятельствах Степаны Трофимовичи могут менять темы своих диссертаций, переваливаться на иной бочок своей «гражданской роли» — по многосторонности своей натуры. Пойдут труды соответственные — с надлежащей фразеологией и неусыпными ссылками. Где-то я читал, как ответил на высочайшее пожалование крепостными один благородный человек: «Куда уж мне до чужих душ, когда и со своей собственной я не умею справиться». Вот такое самоумаление уж никогда не придет в голову «досточтимым» прогрессистам. Они убеждены, что им под силу справиться с таким количеством душ, сколько их в человечестве. Они и не представляют себе иной аудитории, как целое человечество, не народ какой-нибудь. Народ для них — это провинциально.

При образованности-то всеевропейской вдруг такой анахронизм. Что скажут европейские коллеги по всемирному интеллектуальному прогрессу? Образованность — слово магическое и всеспасительное. Как же можно представить себе профессора Серебрякова или Степана Верховенского без

этого отличия? И культура без них зачахнет. Кто же будет говорить о ней на конгрессах, симпозиумах? Но сами они считают, что не только говорят о культуре, но и делают ее. Заодно с Достоевским — ибо у него и у них, «интеллектуалов», один и тот же «круг идей». Тайна искусства, стихия народной жизни, порождающая подлинную культуру как море жемчужину, — все это, конечно, к делу не относится.

Видимо, есть какая-то роковая дисгармоничность между внутренней ценностью человека и его местом в мире. Мещане часто артистичны, форма у них не только что-то скрывает, но и в какой-то мере поглощает внутренние разрушительные силы. Творческие цели, самоуглубление этим силам неведомы — так они разряжаются смертельной практической хваткой. Это колоссальнейшая энергия, которой хватает и на самопожирание, и на торжество. Если не в глубь — то вперед, во все стороны пространства!

Точно так же как выстраданное слово русских художников-классиков рождено страданием и борьбой народа, так истинная культура исходит из недр народного опыта. Даже музыка, которую называют наиболее «общечеловеческим» видом искусства, не оторвана от национальных истоков (хотя бы и духовные кантаты Баха, впитавшие в себя многое из немецкой средневековой музыки). Культура — растение органичное, немыслимое вне народной почвы. Но плодородие этой почвы непостоянно, оно зависит от исторических обстоятельств. И конечно же, никакой разлив так называемой «высшей образованности» не заменит первоисточника культуры. В истории народов можно вспомнить периоды, когда задавленный, так сказать, необразованностью народ порождал через органы своего самосознания — национальных художественных гениев — непреходящие ценности культуры. Но вряд ли зараженная мещанством (даже и сплошь дипломированная) масса способна оставить по себе что-либо духовно-значительное. Самое прогрессивное умножение такой массы культуры никак не сулит. Здесь можно быть оптимистичным только на манер того зарубежного прогноза, который недавно был опубликован в «Литературной газете».

«Ни прожорливость читателя, ни жажда знания не смогут обеспечить непосредственный контакт с совокупностью даже наиболее значительных творений человеческой мысли, когда одновременно будут творить тысячи Рафаэлей, Моцартов...»

Стало быть, не такое уж сложное дело — размножение художественных гениев. Это, так сказать, неизбежно-прогрессивное дело (уже по одному тому, что прошлое всегда и во всем хуже настоящего, а тем более будущего). Самоуверенность такого рационализма имеет давнюю историю. Может быть, наиболее разительный пример — как свора музыкантов после смерти Баха переделывала его произведения, «поднимая» их на уровень «современного звучания». Бах был для них «неотесанным». У нас в России в 20-х годах много пришлось повозиться с русскими классиками режиссеру Мейерхольду: только после основательной перекройки их книг, урезывания всего «неотесанного» и приклеивания нового, «современного», эти писатели обретали «достойный» голос.

Казалось бы, ведь страшно подумать: сама тянет в себя непостижимая глубина; неужели же можно, стоя у этой пропасти, примериваться аршином, дабы одеть эту бездну в некий современный костюм?

Кстати, вот тема для будущего исследователя: с какой целью так методически выхолащивалось на сцене (и не только на сцене) слово русских классиков? Кое-что может пояснить письмо научного работника В. Трухтанова о постановке А. Эфросом чеховских «Трех сестер» на Малой Бронной (газета «Советская Россия» от 13 февраля сего года): «...огромная тахта на авансцене — эмблема спектакля. Чуть ли не все герои побывали на этой тахте. Чего только на ней не происходит: и валяются от безделья, и целуются, и бьются в истоме, когда играет молодая кровь... В чеховской пьесе — твист. Это ли не фиглярство?..

В театре на Малой Бронной чуть не каждую неделю перед сотнями людей звучат монологи "офицериков" Тузенбаха и Вершинина о будущем, о том, что оно будет прекрасным, о том, что ради него лишь и стоит жить. Эти монологи

произносятся в таком саркастически-издевательском тоне и над Чеховым, и над теми, кто верит в это, с такими марионеточными подергиваниями и ужимками, что о какой-либо преемственности поколений, взаимном обогащении не только говорить — думать неловко. Зато какой эффект — все наоборот!..

Кто следующий подвергнется экзекуции?.. Пушкин, Горький, а может быть, Тургенев или Островский?»

Автор письма спрашивает: «Какие идеалы вы несете взамен ниспровергаемых? Пока налицо только разрушение». Виден ли конец этому разрушению?

И как же заразительна «культурная» элегантность! В самом деле, если мы умнее (потому что современнее) наших предков, если скоро будет преизбыток Моцартов (всех даже невозможно будет приметить), то что нам какой-то прошлый Моцарт! Насколько беспредельны наши прогрессивные возможности, можно судить, например, по такому отношению к красоте. Один философ первых веков нашей эры отмечал в красоте ее «способность ранить душу человека, оставить в ней след неизгладимый» (привожу слова одного историка). Гете считал, что красота может быть только преходящей. Две бездны — Мадонну и Содом, божественное и дьявольское видел в красоте Достоевский. А мы сейчас куда основательнее проникаем, исчерпывая это понятие красивым ширпотребом.

Можно писать диссертации о красоте; одеваться красиво, то есть модно; сидеть в красивом ресторане, красиво выпивая и покуривая; прищуривание, эрудированные разговоры, тонкость намеков — все распрекрасно. Но так все это пестрит, мельтешит, что, как ни старайся наедине, ни за что не соберешь эту воздушную красоту в какую-то одну точку, которая хоть чем-то задела бы душу. Пыль какая-то.

Смеяться разучились. Смотришь: здоровый мужик, добродушнейшая физиономия — думаешь, вот освежит душу своим столь же добродушно-открытым смехом, а он изобразит такое нечто учтиво-чичиковское, что тошно становится. Иначе нельзя — так принято, так культурно.

А если мы вернемся к профессору Серебрякову, то здесь ни один шаг не обходится без «культуры», не говоря уже об его важном писании. Конечно, Серебряковых ничем не проймешь, они ни на минуту не сомневаются в историческом значении своих унылых монографий, но все-таки я приведу слова Фейербаха: «И подобно тому, как ценность и содержание жизни не определяются количеством лет, так и ценность и содержание сочинения не определяются количеством листов. Жизнь, заключенная в кратком афоризме, может скрывать в себе больше духа, смысла и даже опыта, чем жизнь, многословно выраженная скучным профессорским или канцелярским стилем».

Это верно, что живет только то, где «больше духа» (не отрадно ли, не справедливо ли, что духовная значительность, выраженная в слове, не пропадает). Но верно и то, что это значительное может долгое время быть погребенным под корою незначительного, которое из-за своей доступности неистребимо.

Творческое требует силы, внутренней независимости, индивидуальности. Другое дело — видимость, форма «интеллектуального». Это уже всем доступно, достаточно лишь усвоить набор каких-то правил, изречений. В этой рационалистичности объединяется самая разномастная компания — от ученого схоласта до девицы с дипломом, которая обо всех новинках искусства может весь вечер щебетать.

* * *

Все на свете можно опошлить, и в этом бессмертная заслуга бессмертного мещанства. В свое время Блок писал об интеллигентах-философах, ищущих Бога с кафедры, в «людской каше», при обилии электрического света. Таким сытейшим ораторам как бы отвечал Чехов в одном из своих писем: если веры в истину нет, «то не заменять ее место шумихой, а искать, искать, искать одиноко, один на один со своей совестью...»

Но в том-то и дело, что никак не могут «искать одиноко» эти динамичные деятели. Потому что осатанело крутятся

в них цитатные и прочие «культурные» приспособления, и не могут они работать вхолостую. Вот тут-то и подавай на размол побольше «проблем» всякого сорта — начиная от судьбы мировых цивилизаций и кончая кибернетическим стихотворчеством. Попадись на вид Гл. Успенский с его болью — вот уж будет «блеск»!

Боль, «кровопролитная битва» на шахматной доске, атомная бомба, моднейшие актрисы — все одинаковая пища для крутящегося внутри интеллектуального агрегата.

И самая смерть для таких счастливцев — щенячье дело.

Говорят, что Моцарт умер вскоре же после «Реквиема» — так он был потрясен сокровенной загадкой бытия, выразившейся в его «Лакримозе». Но вот я слышал, как говорил молодой музыкант, вернувшийся из Боткинской больницы, где только что умерла его жена: «Понимаешь, так хватала из кислородной трубки, сжимает ее, дергает, а у самой уже в это время окисление мозга начинается...» Ему бы бежать с этого шестого этажа, где он так расписывал смерть жены, чтобы в голове кровь с мозгами не перемешалась, чтобы не броситься самому из окна, а он так научно вникает... Как бы посмеялся этот любитель изящного, передай я ему рассказ моей бабушки о том, как умирала ее дальняя родственница: «Говорит всем: вы возьмите в руки свечи, зажгите их и мне одну дайте, чтобы я не в темноте пошла на тот свет, а с огоником».

Поделюсь наблюдениями. Иногда я хожу на кладбище Донского монастыря (от нашего дома поблизости). Не было еще дня, чтобы не слышал: «Скажите, а где могила Салтычихи?» Но не слышал ни разу: «Скажите, а где могила Чаадаева?» Или: «Где могила историка Ключевского»? Видимо, Салтычиха действует поострее...

Как короед, мещанство подтачивает здоровый ствол нации. Живя только этим подтачиванием — слепым или злобно-сознательным, — мещанство не способно подняться повыше своих несложных (хотя и разрушительных) инстинктов. Исторический смысл нации? Для мещанства это пустота. Для него «общие» идеи — пустой звук, его греет только то, что можно попробовать на ощупь, что можно сегодня же

реализовать на потребу брюха. Чтобы что-то утверждать, нужна способность к творчеству. Поэтому мещанство так визгливо-активно в отрицании. В этом у него способности изощреннейшие, эрудиция современнейшая — вплоть до ссылок на заклятых зарубежных «друзей» и т.д. Это мещанство — самая желанная почва для разлагателей народного духа.

* * *

Вообразите себе самочувствие Герцена, который покинул Россию ради «свободной речи» в Европе и вот в этой Европе начинает задыхаться от миазма буржуазной пошлости. Потом-то у Герцена вырвалось: «Начавши с крика радости при переезде через границу, я окончил моим духовным возвращением на Родину. Вера в Россию спасла меня на краю нравственной гибели».

Вообразите себе ужас Герцена, который бежал за границу, полный надежд и веры в европейское духовное процветание, и вот обнаруживается, что духовного-то процветания и нет, а есть «мелкая и грязная среда мещанства, которое, как тина, покрывает зеленью своей всю Францию», а есть лавочники, буржуа, безликая икра людская. Сколько ненависти в герценовских словах о буржуа, который «обрюзг, отяжелел», который «смеется над самоотвержением», каменея в «разврате самом гнусном». Катастрофично оскудение: «Все мельчает и вянет на истощенной почве: нету талантов, нету творчества, нету силы мысли, нету силы воли... все нищают, не обогащая никого: кредита нет, все перебиваются со дня на день; образ жизни делается менее и менее изящным, грациозным, все жмутся, все боятся, все живут, как лавочники, нравы мелкой буржуазии сделались общими, никто не берет оседлости: все на время, наемно, шатко».

Можно представить себе такой вопрос Герцену со стороны воображаемого оппонента: «Вот вы говорите о русском народе, так сочувствуете ему за всякие там его страдания, но что будет, когда он достигнет благополучия, достигнет просперити? Вы уверены, что тогда-то, без голодухи- то поваль-

ной, без которой не обходились русские, ваш народ будет глубок духом? Будет готов к толчку для обновления человечества? Не проест ли его тля столь презираемой вами буржуазности?» Герцен мог бы в ответ сказать: «Буржуазная Россия? Да минет Россию это проклятие!»

Нет более лютого врага для народа, чем искус буржуазного благополучия. Это равносильно параличу для творческого гения народа. Что же тогда оставляет народ в памяти человечества?

Когда нация не застыла еще в определенных формах, когда внутренние силы ее мощно бродят, пусть потенциально, — тогда есть историческая надежда. Но может ли она быть, когда нация нивелируется в стандарте самых несложных прагматических идеалов и потребностей? Это упрощение заразительно в нынешнем мире. Американизм духа поражает другие народы. Уже анахронизмом именуется национальное чувство. Какие там могут быть судьбы народов, когда, по словам одного зарубежного социолога, Европа не что иное, как «единый индустриальный организм», где взаимосвязь разноплеменной массы целиком определяется технико-организационными факторами. Интеграция — вот словцо, которым эти ревнители «единого организма» хотели бы духовно просветить народы, зараженные национальным «анахронизмом». Так интегрировать, чтобы начисто соскоблить этот дикий пережиток национального, народного, чтобы перемешать всех во всеобщей индустриальной пляске. Чтобы ни духа, ни памяти о прошлом, ни самого языка не осталось от этих самых народов — без всего этого груза куда успешнее будет регулирование «единым организмом». Ничего, что с такой «интеграцией» в народах исчезнут атлантиды самобытной культуры, что вместо красочного луга, усеянного цветами, вытянется что-то вроде голого асфальтированного шоссе, что нивелировка породит гибельную для творчества стандартизацию.

Рано или поздно смертельно столкнутся между собой эти две непримиримые силы — нравственная самобытность и американизм духа.

Духовная сытость — вот психологическая основа буржуа, делающая его таким непробиваемо здравым и в то же время неизлечимо больным. Для творческого человека нет, пожалуй, большего наказания, чем опуститься до этой духовной сытости, но буржуа иного состояния и не знает. Респектабельность вполне побивает в его глазах «юродство какого-нибудь Белинского», нищенствовавшего всю жизнь, а перед смертью, в бреду, что-то кричавшего народу. Ну солидно ли? Или вот еще: дело ли этого ученого Ломоносова рассуждать о «сохранении и размножении российского народа»?..

Гражданская честь заливается жиром. Все бытие — в пределах желудочных радостей: довольствуясь этим малым, мещанин только в этом рыгающем содержании и понимает мир.

То, что живот — святость материнства, это совершенно ясно. Но есть и брюхо, о котором В. Гюго (по поводу Рабле) сказал: «Брюхо — животное, это свинья. Один из отвратительных Птоломеев прозывался ”брюхо”. Брюхо для человечества — страшная тяжесть: оно ежеминутно нарушает равновесие между душой и телом. Оно пятнает историю. Оно вместилище пороков. Аппетит развращает разумение. Похоть сменяет волю... Потом оргия превращается в кабачный загул... Человек стал штофом водки. Внутренний поток темных представлений топит мысль: потонувшая совесть не может более подать знака пьянице-душе. Оскотение совершилось. Это даже уж и не цинизм: пустота и скотство. Диоген исчез: осталась только его бочка. Довершено. Ничего больше: ни достоинства, ни стыда, ни чести, ни добродетели, ни ума: животненное наслаждение напрямки, грязь наголо... брюхо съело Человека. Конечное состояние всех обществ, в которых померк идеал».

На застоявшуюся кровь буржуа куда острее действует «человечество», нежели местное «народ». Этому провинциализму он сумеет дать надлежащий отпор. Вроде таких вот допотопных слов Гоголя: «Что Петербург не сделался до сих пор гостиницею, этому виною какая-то внутренняя стихия русского человека, до сих пор глядящая оригинальностью даже в вечной шлифовке с иностранцами». А ведь давно пора бы отшлифовать эту самую «внутреннюю стихию». Да и гос-

тиница — дело веселое и прогрессивное, способствующее общению и усвоению культуры...

Национальная культура для мещанства — пустой звук. С одинаковым физиологическим напором будет оно говорить и о модном здании гостиницы, и о трагедиях в жизни народа. Первооснова всякого творчества — незримая связь с «телом народа» (употребляя известное выражение) — столь же чужда мещанству, сколь соблазнительна для него международная вокзальная сутолока. Нравственно-психологическая физиономия народа, его место в истории человечества — ведь это требует духовных поисков, к этому надо идти внутренне, самостоятельно...

...Этой зимой, в середине декабря, приехав в родную Мещеру, пошел я со своим дядей в гости к родственникам в Егорово (неподалеку от Спас-Клепиков). В деревне этой родился и жил знаменитый русский художник Архипов. Здесь в каждом доме будут вам говорить об Архипове, так же как в Спас-Клепиках — о Сергее Есенине, учившемся тут. Тихая деревушка, вся в зеленой оправе мещерских лесов.

В низеньком домике праздновали рождение дочки молодых хозяев. Трое братьев с женами главенствовали за столом (недавно отслужили в армии и все, то есть молодые мужья, вернулись домой).

О многом говорили. И вот в этом-то низеньком доме узнал я поближе одного своего земляка. Сам он больше молчал, а говорил о нем его друг, тоже фронтовик и тоже прошедший войну до Берлина, — Иван Макарович Марушкин. «Его орудие в Ленинграде в музее стоит. Награжден двумя орденами Славы, двумя Красной Звезды, всего двенадцать наград...»

А этот героический русский человек неприметно сидел тут же в углу лавки и чуть застенчиво улыбался...

Потом, когда в метель мы возвращались лесом домой, я все думал: Лев Толстой знал свой народ. Недаром он так любил своего Тушина. Такие люди спасали Россию. И не в них ли — воплощение исторического и морального потенциала народа? И не здесь ли наша вера и надежда?

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗМ» И «НАДОБНОСТЬ В ПОНЯТИЯХ»

Одна тургеневская особа говорит: «Прогресс — это симптом!» О нынешнем «интеллектуализме» можно сказать, что это тоже «симптом». Данная проблема стала предметом настойчивого обсуждения, причем речь идет не о каких-то метафизических вопросах разума, а о что ни на есть самых «актуальных» вещах, очень наглядно выразившихся, например, в статье Вадима Ковского «Об интеллектуализме, мещанстве и чувстве времени».

Из рассуждений автора можно понять, что «интеллектуализм» — это та ценность, которая независима от этических признаков.

Такое мнение вряд ли основательно. Можно было бы назвать множество великих философов и художников, признававших именно этические терзания проявлением высшего развития сознания. Что же остается в «интеллектуализме», если из него изымается моральное содержание? Не тот ли «холодный рассудок», о котором Руссо говорил, что он «не создает ничего замечательного»?

Когда древний философ вывел: «Познай самого себя», то вряд ли он мог предполагать, сколь блистательно броским может стать этот «афоризм». Мы часто выпаливаем его, даже не задумываясь, чего стоила эта первоначальная мудрость, какой великий нравственно-духовный подвиг был в этом самопознании. И для каждого мыслящего человека познание «самого себя» превращается в глубокую нравственную задачу. Это не рассудочное самоутверждение, бесплодное в своем эгоцентризме. Глубина самосознания возможна лишь в целостности ума и духа, в том жизненном всеединстве, когда личность органически вбирает в себя сложность бытия — со всеми его «общими» и конкретными культурно-историческими и народными проблемами. Здесь и возникает истинная интеллектуальная деятельность.

Озабоченность может быть и относительно самого свой-

ства образованности. Надо ли пояснять, что одно дело — образованность Тургенева и Л. Толстого и совсем другое дело — расхожая образованность, именуемая на Западе «арткультурой»? В какой мере эта последняя обогащает творческие силы интеллигенции? Понятно, что интеллигенция — это не механическая сумма «специалистов», дипломированных лиц. Те же серебряковы с их профессорским самомнением так же «равнозначны» интеллигенту, как схоластические их «трактаты» могут быть «равноценны» живым идеям, углубляющим общественное сознание. Каждому свое. Но вряд ли справедливо отождествлять с интеллигенцией (порождаемой народом и выражающей его культурно-исторические потребности) тех «интеллектуалов», которые функционируют, не внося никакого вклада ни в развитие общественных идей, ни в сокровищницу национальной культуры.

Есть и еще одна проблема «образованности». Если за Акимом из толстовской драмы «Власть тьмы» и не признавать цивилизаторских заслуг, то все равно не минешь его, когда речь идет о русской культуре. И сам Аким с его крестьянским «не тае», смутно намекающим на существенное в жизни, и его творец Л. Толстой, высшее напряжение национальных творческих сил в искусстве, — все это разные ступени нравственно-однородного сознания, все это исходит из органической целостности национально-народного бытия. В этом почва истинной образованности. Толстовский Аким хорош в своей непритязательности; но когда какой-нибудь дипломированный Аким с духовным запасом, не идущим дальше «тае — не тае», в множественности своей претендует заменить Л. Толстого и кого угодно из его собратьев, то это выглядит несколько плачевно. Качеством своего характера Аким в большей мере причастен к культуре (хотя бы тем, что притягивает к себе Толстого), нежели когда этот Аким размывается в дипломированной безликости. Вообще истинная культура рождается многообразием, неоднотипностью народной жизни. В этом смысле как в природе нельзя безнаказанно сводить до минимума флору и фауну, так губительно для культуры и разрушение многообразия народной жизни.

Оставим, однако, в покое нашего Акима и послушаем тех, у кого были свои солидные ученые счеты с Л. Толстым. Одному из самонадеянных эрудитов Л. Толстой писал: «Тебе кажется увлечением самолюбия и бедностью мысли те убеждения, которые приобретены не следованием курса и аккуратностью, а страданиями жизни и всей возможной для человека страстью к отысканию правды, мне кажутся сведения и классификации, запомненные из школы, детской игрушкой, не удовлетворяющей моей любви к правде».

Дело тут, видимо, не только в двух разных психологических типах мышления (целостно-жизненное у Л. Толстого и отвлеченно книжное у его адресата), но в разрыве вообще между реальностью и разного рода «теориями». Казалось бы, несостоятельность рационалистической претензии очевидна: отвлеченная мысль, увы, не охватывает полноты жизни. Но очевидность не всегда торжествует. Конечно, целостно-органичное мышление требует неизмеримо больших внутренних усилий (вообще внутреннего богатства личности), чем мышление рационалистическое. Но это же внутреннее богатство — само по себе глубокая проблема для общества, если оно, разумеется, желает выработать в себе достойные культурные критерии, а не иссушаться в элементарной грамотности. Любой доцент будет вам обличать Толстого, отрицавшего культуру и науку (не задумываясь даже, что при имени Толстого вас подавляет величие культуры). Спорить с Толстым насчет науки может любой: помните, как во время ухода Льва Николаевича из Ясной Поляны в вагоне III класса обличала Толстого бойкая гимназистка, наскочившая на великого писателя с неотразимым доводом: ага, вы отрицаете науку, а сами вот сейчас фонариком электрическим подсветили себе дорогу. Ведь фонарик — это тоже наука.

В наше время наука стала в самом деле второй природой, и было бы нелепо «отрицать» ее. «Бесплодный спор с веком» немыслим при здоровом рассудке. Но столь же сомнительна и зрелость мысли, которая становится жертвою немыслимо плодящейся «информации». Это та центробежная «науч-

ность», которой некогда сосредоточиться в синтезе и которая дробится в пестроте всякого рода сведений, терминов и проч. Взять хотя бы тот же «демографический взрыв» — столько было в прессе сказано о нем, что истинной дикостью может быть квалифицирована неосведомленность в оном предмете. Но не стоит ли задуматься над таким фактом: недавно в «Литературной газете» (1 мая 1968 года) были напечатаны весьма примечательные письма читателей. Вот характерный отрывок: «...”стимулировать рождаемость”. И это в тот момент, когда ООН бьет тревогу по поводу перенаселения на земном шаре!..»

Указанных читателей поправил профессор-демограф, подчеркнувший, что нашей стране не только не грозит упомянутый «взрыв», а, наоборот, «в большинстве ее районов возникает обратная проблема, проблема повышения рождаемости». Сколько еще таких «интеллектуалов», завороженных своим уменьем вести разговор, так сказать, в свете последних данных науки, во всеоружии наисовременнейших «терминов», даже и не подозревающих, что могут быть тревожные гражданские вопросы.

Видимо, со временем будет конкретно обобщена та переводная продукция, которую принято называть «интеллектуальной». Но и сейчас в связи с этой продукцией нам открывается кое-что в генезисе нашего «интеллектуализма», испытывающего явное влияние этих переводных «интеллектуальных концепций», лишенных социально-исторической конкретности.

Недавно вышла в переводе книга американского философа Б. Данэма «Герои и еретики», отмеченная такой историко-философской отвлеченностью. В предисловии к своей книге Б. Данэм пишет: «Человеку легче сделать карьеру внутри окружающего его общества, если он будет верить в то, что провозглашает это общество, и наоборот, его карьера может резко оборваться, если человек перестанет разделять общепринятые взгляды. Это явление типично для всей истории человечества». И еще перед этим автор говорит: ”Мне стало ясно, что вся история философии с присущей ей

борьбой мнений представляет собой столкновение "ереси" с "ортодоксальностью..."»

Это та вневременная философическая концепция, ради которой написана книга... Я не имею возможности в этой короткой статье подробно говорить о книге «Герои и еретики», но хочется отметить, так сказать, ее исследовательские особенности. Автор пишет: «...Иисус Христос был вождем вооруженного национально-освободительного движения». О «тайной вечере» говорится: «...Мы наблюдаем картину собрания группы революционеров (своего рода исполнительного комитета или главного штаба), ужинающих совместно накануне восстания». Таким динамизмом исследования отмечена книга «Герои и еретики».

В числе еретиков (сталкивающихся с «ортодоксальностью», подрывающих существующий общественный строй) Данэм называет Сократа, тех, кто не был согласен с церковными догматами, Жанну д'Арк, Лютера. Спинозу, французских философов-просветителей, Маркса (учение которого Данэм называет «самой главной» ересью для капиталистов) и т.д.

Тот, кто не знаком с популярными историческими фактами, тот может их узнать из книги Данэма, но кто хочет большего, тот, прочитав «Герои и еретики», повторит вслед за Кантом: «...Дешево же стоящая истина не вызывает к себе большого интереса». Даже и в том случае, если эта истина украшена злободневной фразеологией, как это мы видим в работе Данэма. Данэм считает нужным подчеркнуть (в связи с «молодым Вольтером») «союз науки и скептицизма, который положил начало новому веку, его и нашему веку, и который (можно надеяться) всегда будет новым».

Вся мировая история сводится у Вольтера к борьбе людей просвещенных с суеверием и невежеством. Бесспорно, в самом космополитическом пафосе разума уже зрела своя «ортодоксальность». В этом отношении книга Данэма «Герои и еретики» любопытна как тот этап рационалистической ортодоксальности, когда уже не принимаются во внимание ни «нравы», ни «дух народов», а «история человечества»

схватывается на лету с помощью парадоксов. Данэм замечает, что американский прагматизм разложил философскую мысль XIX века. Вероятно, можно и усомниться в разлагающем торжестве прагматизма для века, но применительно к работе Данэма эти качества прагматизма совершенно очевидны, выражаясь наглядно в узком практицизме идеи.

Книга Б. Данэма «Герои и еретики» при всем «еретическом» намерении может быть названа скорее «ортодоксальной» — в смысле следования тому установившемуся «мировому» журналистскому «динамизму», когда даже сама история используется как иллюстрация к злободневным вопросам.

В нашей печати сообщалось как-то, что на публичной лекции в Актовом зале МГУ (в марте прошлого года) академику П. С. Александрову был задан вопрос: «Входит ли в задачу вашей науки функция воздействия на слушателя или читателя стилем, языком?» Ответ академика был следующий «Безусловно! Но эту функцию современная математика выполняет пока плохо. Преобладает усвоенный (очевидно, из-за океана) жаргон».

Не надо быть особенно проницательным, чтобы увидеть и в нашем «гордом интеллектуализме» преобладание этого «усвоенного» жаргона, с его неприятием всякой народно-исторической проблематики, дешевыми «еретическими» парадоксами, «новациями» и так далее. Насколько широко стремится захватить влияние этот усвоенный жаргон, можно судить по тому, как «интеллектуально осовремениваются» народные песни. В газете «Правда», в статье «Нельзя замутить родник», писалось по этому поводу: «Вряд ли кому-нибудь в голову придет превратить старинную американскую песню "Миссисипи" в... "Камаринскую". А джаз-оркестр "Гамма" подает песню "Стенька Разин" в духе модного танца "шейк"».

А что, если для иных и в самом деле высший идеал — приподнять на этот уровень «пляса» и «шейка» всю прошлую культуру и саму историю народа? Вспоминается гетевский Мефистофель: «Коль скоро надобность в понятиях

случится, их можно словом заменить...» Видимо, есть резон разобраться в самом «понятии» слова «интеллектуализм», которое есть не отвлеченно-рационалистическая категория, а плод конкретной социально-исторической мысли.

БОЛЬ ТВОРЧЕСТВА И СЛОВЕСНОЕ САМОДОВОЛЬСТВО

Те, кто за «теориями» не видит жизни, не знают первоосновы человеческих связей. «Теоретики» могут рассуждать о «концепциях», «системах» и т.д., но им не дано прикоснуться к тому первородному, где зарождаются нервные узлы нравственного бытия и откуда исходит мощь творческого духа. Не из недр ли этой нравственной красоты слышится голос умирающего, теперь уже не Дон Кихота, а Алонсо Кихано, «за свой нрав и обычай прозванного Добрым».

...Стоят в глазах два великих русских человека, в душе которых вечно жил свой Рыцарь Печального Образа. Видевший последние минуты жизни Пушкина В. А. Жуковский писал: «Когда все ушли, я сел перед ним и долго, один, смотрел ему в лицо. Никогда на этом лице я не видал ничего подобного тому, что было на нем в эту первую минуту смерти... Никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли». Почему-то мне кажется, что только на челе Достоевского осталась после смерти такая же значительность духа. Незабываемо выразительна маска, снятая с Достоевского на другой день после его кончины: как будто он прикрыл глаза, еще трепетные от мучительной связи с миром, и особенно обостренно чувствуешь, какая мощь духа отделилась от нас.

* * *

«В произведения искусства народы вложили свои самые содержательные внутренние созерцания и представления,

искусство часто служит ключом... для понимания их мудрости и религии». Эти гегелевские слова приходят на память, когда задумываешься о русской литературе. «Святой» назвал ее Томас Манн, и может быть, это то самое, что делает ее жизненной. Не слабеет напор индустриально-письменной продукции, ничего общего не имеющей с художественной литературой. Сколько энергии всажено в торжество того «творчества», о котором еще простак Санчо Панса восклицал с искренним удивлением (хотя и произносил «пресонаж» вместо «персонаж»): «Так, стало быть, автор жаден до денег, до прибыли? Ну тогда это просто чудо будет, коли он напишет удачно: ведь ему придется метать на живую нитку, как все равно портняжке перед самой Пасхой, — произведения же, написанные наспех, никогда не достигают должного совершенства».

Позволю себе после Санчо Пансы рассказать об одном своем земляке по прозвищу Бадема. Рос он (после войны) в захудалой семье, вечно голодный и оттого смышленый по части всего, что без присмотра лежит. Бывало, поймают его на чужом картофельном поле с непустым ведром, отлупят как надо, а он орет: «Я по рытому ходил» (то есть собирал по полю, уже вскопанному). Чаще бывало, что ходил не по рытому, а кричал всегда одно: «Я по рытому ходил». Так его и прозвали: Рытик. Но куда бедному Бадеме до иных индустриально-литературных рытиков. Эти вовсе всю жизнь ходят по рытому, а сколько важности, какие чуть ли не глобальные жесты! Можно подумать, что эти самые литературные рытики (даже не ведающие, что без почвы невозможно никакое рытье) наши кормильцы.

Вспомнился мне недавний разговор в лесу.

— Как грибы? — спрашиваю старика с корзинкой за плечом.

— Грибы набежные, квелые внутри. Им в спасов день срок, а эти порастут денька три и сойдут.

Сколько же этого набежного и в литературе... Из услышанных мною слов одного стихотворца-«интеллектуала»:

«Я ему (писателю другого направления) жизнь сокращал тем, что встречался с ним по утрам на прогулке и не здоровался». Видимо, это делалось с беспощадной методичностью, и немудрено вздрогнуть, представляя себе такую охоту. Но как же надо упростить себя, чтобы начиниться такой физиологической ненавистью к чуждому по духу человеку. И хотя у подобных охотников в совершенстве развит нюх — сокращает или не сокращает жизнь противника их прищур, — все-таки затраченная энергия вряд ли в конечном счете окупается. При таком-то горении ненавистью остается ли что для «стихотворчества», вообще для положительной работы, этой главной силы, без которой всякая публичность кончается довольно слякотно? Но здесь своя природа, захлестнутая фанатизмом. А мы прильнем к другому. И сейчас звучит во мне один давний рассказ знакомой женщины:

— Каждую ночь ко мне приходил. Ребята уснут, слышу — стучит на крыльцо, это мой Никанор идет. Мешочек у двери поставит, сядет за стол, и начинаем мы с ним говорить. Все ему расскажу... посоветуюся, как нам жить... Он слушает, молчит, а я уж знаю, что он мне скажет: «Скоро я к тебе совсем приеду, а ребят учить не бросай, слышишь?» Наговорюся с ним и не знаю, как он уйдет. А тут днем сижу я на лавке, у крыльца, и вижу, Никанор идет прямо ко мне. Я встала да к нему-то кинулась и не помню боле ничего. В себя-то пришла — соседей цельный двор, перепужались, жива ли я. Это он мне поблазнился. Больно уж я тосковала, похоронную-то получила.

Последние слова она проговорила с какой-то виноватой извиняющейся улыбкой, от которой стало как-то беспокойно на душе. «Чувства, настроения — это тоже исторические факты». Слова эти сказаны русским историком, знавшим цену каждой реальной исторической силе. Все, что пережили наши люди, наш народ, — это те исторические факты, которые, как всякие события национального масштаба, не пройдут бесследно не только для отечественной культуры, но и для самого будущего нашей Родины.

* * *

Наш XX век научил нас ничему не удивляться, никакому техническому чуду. Вчерашние парадоксы мысли становятся ныне научной обыденностью. «Модели» мира, теории и гипотезы меняются на глазах одного поколения людей. Кажется, притупляется сама фантазия — этот могущественный двигатель культуры. Много говорят о влиянии точных наук на самый «стиль мышления» современного человека. И хотя есть бесспорный предел (даже в силу самой физиологической природы) усвоению человеком плодящейся информации, мучительность вопроса остается: не заглушит ли в человеке «вторая природа» (наука) естественного зова природы?

Полагают, что человек в своем внутреннем развитии как бы проходит все стадии развития человеческого рода. Но появляются порою люди особого свойства, концентрирующие в себе не только прошлое человечества, но и его будущее, проникающие своей гениальной интуицией до связи с судьбой человеческого рода — в вечности самой его идеи. Это не замкнутость в самой себе самоуверенной рационалистической мысли Гегеля, объявившего свою философию конечной ступенью познания и бытия мира. Скорее это прозрение Рембрандта в «Путниках из Эммауса», где, кажется, вся судьба людского рода — в его прошлом, настоящем и будущем — таится в бесконечно глубоком, скорбно любящем взгляде центрального лица картины — Того, Кто принял на Себя всю глубину причастности к историческому пути человечества.

Достоевский, предвосхитивший невиданной глубиной своего творчества переворот в научном мышлении, пережил и наши космические проблемы. Вся психологическая атмосфера удаления от Земли, «самочувствия» в пространстве в «фантастическом рассказе» «Сон смешного человека» — как это все современно! Но вот один «праздный» вопрос, который задает себе герой рассказа: «Мне вдруг представилось одно странное соображение, что если бы я жил прежде на Луне или Марсе, и сделал бы там какой-нибудь самый

срамной и бесчестный поступок, какой только можно себе представить, и был там за него поруган и обесчещен так, как только можно ощутить и представить разве лишь иногда во сне в кошмаре, и если б, очутившись потом на Земле, я продолжал бы сохранять сознание о том, что сделал на другой планете, и, кроме того, знал бы, что уже туда ни за что и никогда не возвращусь, то, смотря с Земли на Луну, было бы мне все равно или нет? Ощущал ли бы я за тот поступок стыд или нет?»

Можно ли, в самом деле, стряхнуть с себя то, что уже, казалось бы, не зависит от человеческого мнения? Что же тогда мешает ничем не связанному с миром человеку освободиться от всякого земного «мнения»? Видимо, то, что »сущность сердца моего оставалась со мною во всей глубине», как говорит герой Достоевского. Остается что-то существенное, когда «перескакиваешь через пространство и время и через законы бытия и рассудка и останавливаешься лишь на точках, о которых грезит сердце». Не та ли одна из этих точек, о которой так щемяще сказал русский поэт:

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет — Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав.

Возвращаясь к «странному» вопросу, можно представить себе, что он будет тем главным земным притяжением, от которого вряд ли удастся избавиться человеку, оказавшемуся на другой планете. По самой элементарной логике, подавление глубокого в человеке ведет к его вырождению. Жалок был бы «прогресс», если бы рассеял в пространстве нравственно-духовную энергию человечества, сконцентрированное в народах богатство содержания. Это был бы не

прогресс, а гибель, алогичность этого (подтверждаемая самим законом сохранения энергии) не дает повода к историческому унынию.

Мудрецы не раз урезонивали любителей обольщаться новизною в жизни — столько в прошлом передумано и перечувствовано, что «новое» оказывается повторением забытого. Разные эпохи связываются нравственно теми «точками, о которых грезит сердце», — словами Сенеки: «Природа хотела, чтобы все мы были родными, порождая нас из одних и тех же начал и для одной и той же цели»; законом о «категорическом императиве» Канта, его тезисом, что человек не может быть только средством для другого человека, а имеет неприкосновенное значение; откровениями нашего Достоевского, с мучением любившего человека. Кажется, вся духовно-нравственная энергия человечества, как на оси, вращается вокруг этих стержневых проблем, вечных и всегда волнующих. И углублению этих моральных проблем отдают свои лучшие силы народы — органы человечества, призванные внести свой вклад в этику бытия. Что может быть возвышеннее, чем чувствовать свою кровную связь с народом, человечность которого беспримерно самоотверженна — исторически и социально? Конечно, такая связь дается не многим, но плоды такого родства наглядны, и мы не сомневаемся, что литература будет обогащаться ими. Наибольшие ценности, видимо, будут порождены испытаниями нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Прежде чем начать разговор об этой бессмертной теме, хочется привести любопытные слова, сказанные очень давно участником еще той, первой Отечественной войны: «По мере удаления Наполеона угрюмость стала исчезать с лиц наших... Таков еще народ русский... беда проходит, беда едва прошла, а ее как будто уже никогда и не бывало». Сказано это было давно и с некоторой грустью непонимания, но как много схвачено тут в национальном характере русского народа! «Беда прошла, а ее как будто уже никогда и не бывало» — народ не кичится победой, не возбуждает себя воспоминаниями; то, что сделано, отошло, жизнь идет своим чередом. И это — после разгрома влас-

телина Европы, претендента на мировое господство! Более ста лет спустя другой завоеватель, но не Наполеон, а всего лишь Геринг объявил на Нюрнбергском процессе о «загадке русского человека», помешавшей фашистской победе. Вероятно, есть обильная пища для досужих западных рассуждений о «загадке» нашего народа и в приведенной выше записи современника Наполеона, но сам наш народ не любит говорить о себе «загадочно». Ведь и после этой Отечественной войны много ли он говорил о своей победе? Часто ли вы слышали рассказы самих фронтовиков о своем героизме, подвигах и т.д.? Если и рассказывают, то в узком кругу близких, родных, под «настроение», — и почти всегда о быте войны. Многие ли на работе открываются вам как фронтовики? Только случайно выясняется, что твой сосед по работе, оказывается, герой-фронтовик. А часто ли вы слышите жалобы от женщин, голодавших всю войну с малыми детьми? Только говорят: «Лишь бы войны не было, а живем слава Богу: хлеб досыта, маслице, сахар».

Но в глубине народной памяти вечно живет все выстраданное им. Здесь и ценности литературы. Здесь и развитие однородных творческих сил, способных создать общественное нравственное влияние. Нам кажется, что будущее именно за этими ценностями, уже и сейчас радующими читателя.

Известно, что все взаимосвязано во вселенной, что даже движение одного человека влияет на других людей, находится в связи с движением всего мира. Но если отойти от метафизической премудрости и вспомнить войну, то можно сказать, что тогда в народе так и было: все были связаны общей бедой. «Где-то гремит война» (так названа повесть В. Астафьева), но и здесь, за тысячи километров от фронта, во глубине Сибири, те же лишения, то же горе. Перед новым, 1942 годом семнадцатилетний фэзэошник получил от тетки письмо, которым она молила навестить ее. В лютый мороз, ночью, по берегу сибирской реки идет он в родное село (а до него десятки километров), идет, сбиваясь с дороги, продираясь сквозь режущий снег, ударяясь о зубья льдин, привалива-

ясь к камню, пересиливая сон, не желая умирать! Чем-то даже первобытным дохнуло от этого пути. Случаются такие возвраты, и в разных видах.

Семнадцатилетний сибиряк как бы в апокалиптические времена оказался один на обезлюдевшей земле, сжатый враждебной природой. И вот мир сводится к. первоосновам бытия. «Да у меня в кармане хлеб! Порции! Две пайки. Вечерняя и утренняя. По двести пятьдесят граммов в каждой! Целых полкило! Батюшки-светы! Пропал бы и хлеб не съел!..» Я сдернул рукавицу, засунул руку в карман. Вот она, пайка! Вот он, хлебушко! Уголочек хлебного кирпича. Виктор Иванович дал мне горбушку — всегда кажется, что горбушка больше серединки... Я ем. Рву горбушку зубами. Жую кислый хлеб с вялой, но живой коркой и чувствую, что жизнь, было отдалившаяся от меня, снова ко мне возвращается».

А сколько изначального, отогревающего душу блага в этом тепле шорницкой, на которую набрел еле живой человек: «Меня трясло. Я глотал и глотал чай, стараясь выгнать из себя промерзлость, а тем временем снова засветились щели на плите, заходили по ней молнии и сильнее запахло смолою, потными хомутами, седелками, шлеями, развешанными вдоль стен, наваленными в угол избушки и под стол». Но еще больше спасительного тепла в заботливости шорника, оказавшегося бабушкиной кумой Дарьей Митрофановной, пробудившей в проваливающемся сознании бабушкины слова: ”Спи! Господь с тобой! Христос с тобой!..”»

Много ли найдется в мире ценностей, более понятных человеческому сердцу, чем эти благословения добра, и без них — что значит вся наша цивилизация?

Тяжелое предчувствие не обмануло молодого сибиряка: тетка получила похоронную. Осталась с тремя маленькими детьми на руках. Между теткой и племянником происходит надрывающее душу объяснение. Писатель не говорит за своих героев — они у него сами говорят, а вернее, сердцем маются в одном несчастье.

«Августа достала с чердака беремя густо воняющих корней табаку, и, пока я сушил волглые листья на железной печке, пока мял их, чихал и свертывал цигарку, у меня прояснилось в голове.

— Вот что, — закуривши, начал я солидно, с расстановкой, как мне, мужчине, и полагалось говорить. Зря, что ли, Августа вызывала меня со станции Енисей, из школы фэзэо? — Вот что. Беда сейчас не у одной у тебя. Многим внове беды. Тебе не привыкать. Обколотилась. Жить надо. Девки у тебя.

— Господи-и! — ударилась о стену головой Августа и начала катать ее по тесаному, замытому бревну. — Господи-и-и! Кем мой век заеденный? Кто сглазил его? Сызмальства. С малолетства самого как взяло меня! Ну чем я, чем я хуже других? Марея живет! Кольча тот и другой в чести и достатке. Все живут как люди, а я маюсь, а я бьюсь, как сорожина об лед...»

Зачем же вызвала она племянника?

«— Хорошо, что ты пришел, — через большое время слабо и отрешенно прибавила она. — Надумала я удавиться. И веревку припасла, дрова на ней осенью из реки вытаскивала. Алешка при месте, теперь не пропадет, девчонок тоже приберут в детдом, кормить, одевать станут. А то и мне смерть, и им смерть... — Она сказала об этом так, как прежде люди говорили, что дом надо подрубить, кабы не завалился: что пора переходить с бадогов на другую работу — поясница отнимается; что на Майской гриве рыжиков и брусницы будет, по приметам, хоть коробом вези.

Я сжал лицо руками, сдавил обмороженные щеки, чтоб мне больно сделалось, и какое-то время стоял шатаясь.

— Перестань! — завыл я и затопал ногами, терзая свое лицо, и боялся отнять от него руки. — Перестань! — еще громче закричал я, хотя Августа уж ничего и не говорила.

Девчонки затопотали по шатким половицам и затихли, должно быть, снова укрылись под кроватью.

Проснулась Лидка. Ее плач хлестко ударил по моим ушам.

— Да ты что? — размахивая руками, горячим шепотом орал я. — Ты понимаешь, чего говоришь? Спятила! Не ба-

бушка, а ты спятила! — Меня колотило всего, как прошлой ночью в шорницкой избушке. Чтобы побороть этот сотрясающий все нутро озноб, я бегал по кутье, махал кулаками, сбивался с шепота на крик, говорил, говорил какие-то слова о детях, о войне, о ФЗО, о вчерашней ночи, о том, как мне хотелось жить...»

Сколько такого горя разлилось от похоронных по России! Не из этих ли слез сплавляется та высшая человечность, которая становится сокровенным опытом нации? У Карлейля есть такие слова: «Все, что дает любовь, настолько жалко и ничтожно, что в героическую эпоху никому и в голову не придет думать о ней».

В противовес этому Анатоль Франс говорил: «Природа, по-видимому, только об одном и помышляет — бросить одни существа в объятия других, дабы они, находясь между двумя безднами, успели познать мимолетное упоение поцелуя». Но можно ли представить, чтобы Анатоль Франс, доживи он до оккупации немцами Франции, мог бы повторить эти слова? В ответственное время миллионы объединяются патриотической любовью Жанны д'Арк, а не остроумием автора «Орлеанской девственницы», не вольтеровской усмешкой, сколь бы едкой она ни была. Выдающийся русский историк В. О. Ключевский говорил о Сергии Радонежском: «Если бы возможно было воспроизвести писанием все, что соединилось с памятью... что в эти 500 лет было молчаливо передумано и перечувствовано пред его гробом миллионами умов и сердец, это писание было бы полной глубокого содержания историей нашей всенародной политической и нравственной жизни».

Есть что-то глубоко общее между маетой героя повести «Где-то гремит война», потрясенного теткиной мыслью о самоубийстве, и ноющей тоской такого же молодого фронтовика из другой повести В. Астафьева «Звездопад», расстающегося после госпиталя (с предчувствием, что не увидятся больше) с любимой девушкой. Как будто задевается все то же самое в душе, то же наиболее уязвимое место.

И разве сам он не прикоснулся к этой боли любви, когда после беспощадно трезвых слов матери Лиды он постиг

правду своего чувства: «Оказывается, ничего в жизни просто так не дается. Даже это, которое еще только-только народилось и которому еще не было названия, уже требовало сил, ответственности, раздумий и мук».

Здесь хочется сказать об удивительной душевной тонкости, деликатности астафьевских героев, их ранимости и вместе с тем какой-то неистребимой внутренней цельности. Им все так дорого дается: «...но я уже знал, что этого разговора мне никогда не забыть. Не так я устроен, чтобы забывать такое. Что-то перевернулось во мне сейчас, что-то непонятное содеялось». Это после разговора с матерью Лиды. А вот балагурство солдат, наблюдающих редкое в военное время свидание молодой пары: «А несколько человек не переставали похохатывать. Я знал, чем все это может кончиться... Но тут вмешался постовой. Он заорал на тех двух хамовитых солдат:

— Шо вы к человеку привязались, га? Ну шо? Мабудь, у людей горе, а вы? Гэть все до помещенья!»

А сколько взаимной чуткости у сплавщиков и маленького Ильки, убежавшего из дому, от мачехи, в повести «Перевал»!

«— Ну, мужики, кто сколько может! Ты, Дерикруп, снова за дело. Составь что-то вроде ведомости и дай нашему сплавщику расписаться. На подачку он обидится, не возьмет, а мы ему выдадим зарплату.

...Илька старательно, печатными буквами вывел свою фамилию рядом с цифрой ”84 рубля 50 копеек”. Мелочь эту прибавили по совету Трифона Летяги, чтобы у паренька не возникло никаких подозрений».

Вообще астафьевская нежность к тяжелому детству не только человечески проникновенна сама по себе, но и социально характеристична. Особенно психологически содержательна в этом отношении повесть «Кража» — о довоенных детдомовцах.

Эта жизнь была не так приметна для теоретически-планетарного взгляда, но сколь она была по естественности обретаемого через трудности смысла жизни ближе к стержню исторического народного опыта, стоявшего в преддверии вой-

ны! Дети пришли в детдом, уже узнав ужасы голода. «У Саши Рагулина родители умерли от голода. У Гали Косовой — тоже. Он-то хорошо помнил тот страшный год. Именно тогда, в тридцать третьем году, его истоптали на Камской пристани высушенные голодом мужики, у одного из которых он разрезал котомку и выковырнул из нее краюху, сляпанную из отрубей и мякины». Да, должно было бы память о голодных годах вменить в обязанность школьных исторических знаний — как о всяком народном испытании.

Очень живо воспоминание о старой удушливой године в повести В. Астафьева «Стародуб». Не столько конкретно-психологический, сколько «общий» интерес к раскольникам снабдил автора энергичностью определений, но вовсе не оставил впечатление полной исчерпанности этой среды.

В «Стародубе» — сосредоточенность на силе кажущегося бессилия. Не жалок ли в глазах людей Култыш с изуродованной с детства рукой, всегда пропадающий в тайге, безответный в обидах? Но этот почти юродивый спасает от голодной смерти все село, привезя на лодке из тайги мясо. Сами таежные наблюдения автора всегда нравственно активны. Сколько сочувствия к маленькому мараленку, попавшему на солонцах под мушку охотника: «...из кустов выскочил еще зверек и бесшумно подбежал к ямке. У него были тоже большие уши, гибкая, как у змейки, шея и тоненькие, паучьи ножки. На узенькой мордочке в свете луны стеколками поблескивали глазенки. ”Это же теленок!” — ахнул от неожиданности Амос и зажмурился, памятуя о том, что зверь страшно чуток к человеческому глазу. ”А у меня глаз-то урочливый”».

И веришь, чего стоило почти истеричное добивание раненого дикого козла, застреленного, чтобы накормить голодных детей тетки (повесть «Где-то гремит война»). Верится, что такой человек всю жизнь будет мучиться от есенинских слов: «И зверье, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове».

Култыш находит в тайге уже мертвым Амоса, сбившегося с дороги. Амос нарушил неписаный таежный закон — убил

приваженного другим охотником зверя. Что это, не подтверждение ли слов, в которые уверовал один из астафьевских героев: «Но никакое предательство, никакая подлость даром не проходят. Один мой фронтовой товарищ утверждал, что за всю человеческую историю ненаказанными остались всего лишь несколько подлецов, не больше десятка, заверял он. Если не живых, то хотя бы мертвых подлецов отыскивает возмездие». Мы не будем входить в философию этого рассуждения (тогда бы пришлось вспомнить заверения одного любомудра, что ни одна мысль человека не проходит бесследно для других людей — ни добрая, ни злая), а постараемся вникнуть в смысл противоречия. Безобидный Култыш оказывается крепче Амоса, и не только потому, что тайга для него — как собственный дом. Он крепче в своей внутренней основе, в постоянстве характера, не раздробляемого, в отличие от амосовского, беспорядочностью хотений.

Один философ печальным, но убедительным доказательством высшего назначения человека считал то, что исключительная поглощенность только материальными наслаждениями, без каких-либо духовных интересов, быстро ведет к пресыщению, душевной пустоте, а нередко и к самоубийству. Столь же колеблемо и основание эгоцентризма. Как бы ни казалось порою торжествующим все расталкивающее на своем пути шествие, все-таки нечто роковое, судорожное заложено в этом самоутверждении. Это торжество, держащееся на песке случайных обстоятельств.

Окажись тот и другой, Култыш и Амос, в одиночку в тайге, вообще в плену обезлюдевшей природы (допустим такую фантазию), кто вернее из них выживет? Конечно, не конвульсивный добытчик первопопавшейся живности, не видящий дальше дерева, а скорее тот, кто не слепо, а разумно чувствует свою связь с природой (открывающей ему, как нашему Култышу, и самые лекарства-растения от болезней), кто свое место тверже знает в целесообразности природы. Так разномыслие нравственное может неожиданным образом повернуться вопросом сугубо практическим.

Сложность переживаний героев В. Астафьева — это не пестрота эмоций, не рефлектирующий произвол. Эта сложность уводит к каким-то коренным узлам человеческой жизни. Чем глубже, тем общее. И разве не в одной пучине любви сходятся философ Кант, утешающий мать своего ученика в своих «Мыслях, вызванных безвременной кончиной...», и знакомый нам молодой сибиряк из повести «Где-то гремит война», захлестнутый горем тетки, получившей похоронную? Не здесь ли, в этой силе участия, и заключена истинная сила, движущая миром?

У каждого народа есть свои излюбленные определения, с которыми связывается и что-то характерно национальное. Много их, этих слов: гордый, славный, прекрасный, величественный и т.д. Но живет в русском народе одно слово, самое обыденное, — «жалеть». Издревле в нашем народе говорят «жалеть» вместо «любить». И ничем не истребляется в нас эта ноша человечности. «Мальчишка, конечно, и не подозревал, — пишет В. Астафьев в «Краже», — что сейчас в нем пробудилась и заговорила российская жалость, та ни с чем ни сравнимая жалость, которая много вредила русским людям, но и помогала сохранить душу, оставаться людьми».

Эту «ни с чем не сравнимую» человеческую чуткость, конечно, глубоко понимали русские философы, писавшие, что «в условиях земной действительности эта любовь есть главным образом сострадание».

Внимательный читатель не может не заметить углубляющуюся человечность в нашей литературе. Она и не могла, конечно, исчезнуть, эта человечность, как не мог быть вечным разрыв между отвлеченностью в литературе и реальным психологическим содержанием народной жизни.

* * *

Свойством истинно великой литературы всегда было то, что можно определить словами древнего автора: творить «во всей истине», то есть для серьезных целей, не для забавы. Русские писатели уходили в такие метафизические и народ-

ные глубины, что само слово несло в себе всю тяжесть этого нравственного давления. Конечно, основой такого безмерного углубления было осознание художниками великой ответственности русского народа в истории человечества. Русский народ заявил о себе на мировой арене не только как колоссальная политическая сила, но и как феномен нравственный, призванный обогатить духовно мировую цивилизацию. В интеллектуальное бытие входит знаменитый «русский спор», та неутоляемая жажда дойти до корня добра и зла, до морального смысла всякого явления, которую так страстно выразил Достоевский, особенно в «Братьях Карамазовых». Сама эстетика слова насыщается тревожной красотой лесковского языка — как бы в предчувствии грозящего родной культуре исторического испытания, со «смертельной любовью» к русским правдоискателям, как говорит старик Туберозов в «Соборянах».

Усилиями наиболее глубоко национальных, а следовательно, наиболее крупных художников сложилась природа русского слова с его смысловой содержательностью, нравственным достоинством и благородством, со строгостью эстетического вкуса. Эта сложившаяся особенность русского стиля, ставшая одной из основ духовной жизни народа, оказалась непоколебленной активностью декаданса начала XX века, когда множество космополитических литературных направлений (всякого рода «измы») столь азартно заявили свое первенство перед титанами русской культуры. Ожидавшая этих претендентов (лишенных главного для творчества — «чувства Родины», говоря словами Сергея Есенина) участь бесплодных смоковниц была слишком очевидной, но то, что оказалось несостоятельным в открытой форме, то ушло позднее в подспудную силу. В 20-х годах декаданс видоизменился самым патетическим образом, рекомендуя себя в расцветке вопиющего борца за новое. Это особая тема, так сказать, личный состав этого «передового» отряда, но родовая генеральная мета здесь сама бросается в глаза — нескрываемая враждебность к национальной основе русской культуры. Воинственным паролем этих не знающих устали

активистов стало то, что наиболее откровенно высказано одним из них: быть непримиримыми к «традициям так называемой великой русской литературы». Всякого рода антиреалистические «измы» были настолько накалены этим неприятием русской культуры, что их узкая тенденциозность исключала возможность в них даже самых элементарных ценностей.

В последнее время в нашей литературной критике замелькал термин «мовизм». Этот термин ввел в текущую словесность В. Катаев. Сам он о симпатичных ему «мовистах» сказал с такой блистательной парадоксальностью: «Если вы действительно научитесь писать паршиво, хуже всех, то мировая популярность вам обеспечена». Видимо, сказано это не без иронии, но и ирония красноречива. Немыслимо представить, чтобы в таком качестве иронизировал, скажем, Иван Бунин (которого Катаев называет своим Учителем), — это просто вне его эстетической натуры. Но вот у Катаева уже без иронии, а совсем серьезно: «Один из главных законов мовизма — начертить бесшумный проект молнии». Красивый образ, хотя какая удручающая коммунальность.

В повести Катаева «Кубик» мы читаем о «синих кустарных гвоздях, которыми римские легионеры-захватчики прибили к деревянному кресту молодого пророка-мовиста Иисуса Христа, создателя новой религии... Вода в бутылке, ржавая на вкус, лишенная настоящей души, выделяла пузырьки сухого углекислого газа третьего сорта» и прочее. Христос-«мовист» — это, конечно, сверхэффектно... но не менее «смело» и то «ассоциативное мышление», когда в одном «образе» соединяется Иисус Христос с «пузырьками сухого углекислого газа третьего сорта». И хотя нельзя умалять гипотетической активности автора (о распятии Христа «римскими легионерами-захватчиками»), все же его стилистический «мовизм» довольно многосторонен. Приведем еще одно высказывание автора, относящееся к «мовизму». «В. Розанов — тот действительно смел и писал так, как ему хотелось, не кривя душой, не согласуясь ни с какими литературными приемами. По-видимому, литературный прием, заключаю-

щийся в полном отрицании литературного приема, это и есть мовизм». Поскольку Катаев заговорил о В. В. Розанове (не скрывая своей писательской «недостаточности» перед ним), есть резон обратиться к розановским мыслям в «Опавших листьях». В. Розанов пишет: «Не литература, а литературность ужасна: литературность души, литературность жизни». «Писателю необходимо подавить в себе писателя (”писательство”, ”литературщину”). Только достигнув этого, он становится писателем: ”не ”делал”, а ”сделал”». «Боже, сохрани во мне это писательское целомудрие не смотреться в зеркало». Как видим, все это далеко не то же самое, что «литературный прием, заключающийся в полном отрицании литературного приема, это и есть мовизм». Для В. В. Розанова любой «прием» (даже и «отрицающий» другие приемы) есть та самая «литературность», которую необходимо подавить в себе, чтобы стать писателем. Но вот еще одна розановская ступенька в глубь писательского самосознания, уже решительно ничем не соединимая с «мовизмом» Катаева: «Чему же я, собственно, враждебен в литературе? Тому же, чему враждебен в человеке: самодовольству». Это уже совсем иной мир, чем все эти «приемы», хотя и «отрицающие» другие приемы. И наконец, вот эти слова В. В. Розанова, совсем далекие от литературного ремесла: «Глазами, пожалуй, гляди везде, но душой никогда не смотри на многое, а на одно: ”Нужно, чтобы о ком-нибудь болело сердце. Как это ни странно, а без этого пуста жизнь”». Приведенные цитаты позволяют наглядно убедиться в том, как В. Катаев, видя нечто поучительное в другом писателе, вполне остается верным своему личному почерку. Во внешней пестроте видит катаевский «мовизм» свою подходящую среду. «Кубик» призван стать как бы иллюстрацией на этот счет. «Но почему, собственно, Кубик? Потому что — шесть сторон в трех измерениях пространства и времени. А может быть, просто имя собачки. А верней всего, просто так. Захотелось. Что может быть лучше свободной воли!» Так разъясняет сам автор назначение заглавия повести. «Свобода воли» здесь во всей очевидности снимает всякое насилие над личностью. О,

«творческая личность» не потерпит никакого эстетического «конформизма». Если хочет она писать «просто так», то этим любому и каждому уже задана задача: почему именно «просто так»? Непонимание сей задачи означает не что иное, как возмутительный консерватизм. Читателю легко попасть впросак с этим «просто так». Мне вспоминается одно случайное знакомство в одном случайном собрании: «Пареньков. Вот так — просто Пареньков», — рекомендовал себя направо и налево бойкого вида и уже немолодой человек. Но за этой подчеркнутой доступностью звучало вовсе не просто так: «Пареньков», а что-то вроде следующего: «Как, вы не знаете Паренькова? Ничего моего не читали? Не-ет, дружище, я не "просто так", это я сам могу о себе сказать "просто так", а вам-то всем должно быть уже известно, что я не просто Пареньков, а Пареньков-журналист, и не просто журналист, а известный читателям тем-то и тем-то, стало быть, нельзя уж так лапотно понимать мою доступность в форме "просто Пареньков"». И т.д. Не знаю, может быть, Пареньков и не столь важный литературный малый, но от его вклада в «просто так» никуда не денешься.

И вот о «свободной воле» тоже можно сказать «просто так». Видимо, стало старомодным, недостойным «мовизма» отношение к свободе воли из глубины нравственного выбора, моральной обязанности. Всякая ответственность (и в той же «свободной воле»), надо полагать, может стать ретроградской обузой для той прогрессистской личности, которой больше всего говорит слово «захотелось».

В «Кубике» дан полный простор этой «свободной воле», решительно ничто не препятствует «хотению». А «хотение» здесь может быть «цветным» (употребляя слово самого автора) и каким угодно. Вот, например, В. Катаев записывает: «Синяк, похожий на цветок анютины глазки. Ну — непохожий! Не все ли равно?» Так и представляется почему-то, как одна дама пенсионного возраста, сидя на кушетке с «Новым миром» в руках, прочитав вслух это место в «Кубике», снимает пенсне и с подъемом говорит сидящей тут же на кушетке своей интеллектуальной престарелой подружке:

«Как это восхитительно: синяк, похожий на цветок анютины глазки! И здесь же: ”Ну — непохожий!” Какой милый каприз художника! Не надо, не надо допытываться, похож синяк на анютины глазки или не похож. А то ведь художник, как существо тонкое, эмоциональное, может возмутиться, что в душу к нему лезут в галошах, и уйдет в свою слоновую башню. Нет, пусть он всегда дарит нас своими чудесными мыслями и чувствами».

Преданность подобных поклонниц может быть для автора немалым, так сказать, эстетическим стимулятором. И свойство юмора в «Кубике» наглядно говорит о том, что автор не теряет должного контакта с таким читателем. «Просто это была паршивая собачонка, воспитанная в буржуазном духе: она ненавидела бедность — все оттенки и виды — и бесилась всякий раз, когда чувствовала наступление какого-нибудь социального конфликта». Или вот еще такого же рода остроумие: «Там я лицом к лицу столкнулся с мучительно знакомым молодым осетром, который смотрел на меня своими круглыми выпуклыми глазами наглеца, двигая костяным рылом и шевеля небольшими усиками сукина сына, надежно защищенного от общественного мнения толстым стеклом». Особенно «звучит» катаевский юмор на научные темы: «Здесь нельзя не вспомнить задачу, которую великий экспериментатор Капица задал не менее великому теоретику Ландау: ”С какой скоростью должна бежать собака, к хвосту которой привязана сковородка, чтобы не могла слышать грохот сковородки о мостовую?” Ответ Ландау был величественно прост: ”Собака должна сидеть на месте”».

Вообще экспериментаторство в науке близко интересам Катаева. Его «Кубик» — это тоже «экспериментаторство»: «не повесть, не роман, не путевые заметки, а просто соло на фаготе с оркестром — так и передайте». Известно, что в литературе новое слово оставляли именно те, кому и в голову не приходило объявлять себя «экспериментатором», кто всеми силами души был поглощен одним: выразить то, что стало страданием духа. Ведь и сама новая форма не изобретается холодными головными усилиями, а рождается неповтори-

мым внутренним опытом художника. Надо ли говорить, что законы художественного и научно-технического творчества в такой мере различны, что переносить в литературу внешнюю научную «атрибутику», терминологию — это значит даже и не «экспериментировать», а просто эпигонски следовать за модой (уже утихающей) иных литераторов во всем ссылаться на «физиков», а не на «лириков». В «Кубике» и заявляет о себе этот антураж научных терминов. «Эффект присутствия» — вот сокровенная суть подлинно современной поэзии». «Воскрешение — это переход "эффекта отсутствия" в "эффект присутствия"» и т.д. А вот открывается читателю суть творческой личности: «Я не пишу, не создаю музыку, не вижу, не слышу, не понимаю — да и зачем? — я непрерывно звучу, как некий резонатор, волшебный прибор, принимающий отовсюду из мирового пространства миллионы миллиардов сигналов, с непостижимой скоростью несущихся в мое бедное тело, в мою жизнь, такую хрупкую Психею... Я творю из подручного материала неистовствующей, вечно изменяющейся материи. Я ее крошечный слепок, каждый атом, из которого состоит мое тело, мой мозг, — модель вселенной...

Я жертва космических бурь, протуберанцев, бешенства солнечной плазмы».

Доверчивый читатель, привыкший ждать от писателя какого-то душевного тепла, узнав об этой устрашающей космической бомбардировке, совсем может пасть духом: до него ли писателю, жертве «бешенства солнечной плазмы», тому, кто «не слышит, не понимает — да и зачем?», а «непрерывно звучит, как некий резонатор»? Правда, этот же читатель, отойдя немного от «космических бурь», может, пожалуй, и улыбнуться: что-то уж чересчур страшное терзает «нежную, такую хрупкую Психею» автора.

Беспощадный космический «брамбахер» оказывается все-таки бессильным подавить «свободную волю» личности, в частности его экономические «терзания»: «Она [птичка] ничего не стоит до тех пор, пока ее не накроют сеткой, и в тот же миг чижик уже не бесплатный, он уже стоит три копейки.

Даже четыре. В этом есть какое-то наваждение, колдовство. Превращение бесплатной, свободной птицы в товар, имеющий рыночную стоимость, в детские годы мучительно терзало мое воображение, мой слабый, невинный ум, еще незнакомый со знаменитой формулой Маркса насчет сюртука и холста». Да, такое общение с природой, с «бесплатным» чижиком, становящимся вскоре «товаром», могло дать проницательное развитие юному интеллекту.

Товарно-денежную страсть автор «Кубика» считает вообще крайне характерной для детства: «В один роковой миг в детскую душу вселяется жажда обогащения. Является разрушительная идея денег. Вы заметили, что дети часто говорят о деньгах? Они их копят, собирают, ищут на тротуарах. Они вдруг начинают понимать, что за деньги можно приобрести все на свете». О всеобщей детской алчности сказано здесь с той неотразимой уликой, которая предполагает авторитет опыта: «За деньги можно приобрести все на свете». Автор, видимо, так непререкаемо убежден в этом, что не допускает никакой другой возможности: «Чудо полета не могло произойти бесплатно. Неужели и Христос в своем кубовом хитоне ходил бесплатно по водам Тивериадского озера?»

«Экспериментаторство» не коснулось тех мест «Кубика», где речь идет о бытовом аксессуаре, окружающем автора. Вероятно, это одна из тех наиболее интимных сторон действительности для него, которая невольно заставляет держаться достоверности. Здесь автор не подавляет в себе «реалиста» в том смысле, что с удовольствием выписывает подробности косметического, гастрономического, дегустаторного порядка. Вот одна из таких «вкусных» деталей: «Выпивали розовое добруджское винцо, имеющее тот недостаток, что оно несколько более сладковато, чем бы следовало, — вроде "анжу розе", — что не мешает ему, как говорят, "очень хорошо давать себя пить"». Автор делает чрезвычайно наглядные сравнения, оттеняя запахи самым тончайшим образом: «Однако дезодораторы не только не устраняли вонь, но усугубляли ее, доводили до непереносимой приторной мерзости, подобно тому, как нечистоплотная красавица не может смяг-

чить запах своего тела, натираясь под мышками герленовскими духами, абстрактной смесью амбры, мускуса и болгарского розового масла».

Упомянутая утонченность автора чужда любой ограниченности. Особого расцвета она достигает в истории Мосье Бывший Мальчик и Мадам Бывшая Девочка, которая когда-то, в детстве (вместе с рассказчиком) жила в Одессе, потом переселилась во Францию, а в старости вместе с супругом в качестве туристов навещает места детства.

Французская жизнь схвачена в таких существеннейших кулинарных особенностях, как «едят... суп в маленьком закопченном горшочке и пьют красное "орди-нер"»; «в семь часов утра съедят свой среднеевропейский маленький завтрак — пти дежене — в постели, пачкая тончайшие линобатистовые, скользкие наволочки абрикосовым джемом», и т.д. Большая наблюдательность проявлена в отношении мод: «он деликатно поддерживал Николь под локоть рукою в замшевой перчатке из самого лучшего перчаточного магазина на авеню Опера»; «он бородатый, в очках, нагруженный фотоаппаратами и транзисторами, в ярко-красном свитере кольрулян, а она в хорошо сшитой, складненькой мини-жюп» и т.д.

Но весь этот модный бытовой «мини-жюп» сам по себе мало что говорит читателю (мало ли сейчас в литературе и где угодно этих «жюп»). Нет надобности вникать и в те «мовистские» приемы В. Катаева, которые сводятся к такому «хотению» «свободной воли», когда читателю предлагается без всякого эстетического контроля любое жаргонное остроумие, вроде: «Ну что, Кант, теперь ты видишь, что мир материален?..»

«Интересуетесь, что обозначают эти буквы ОВ? Пожалуй. Могу сказать, в этом нет никакой тайны: одесский водопровод. Каждый раз делаем отметки О и В, чтобы всегда было известно, где проложены трубы, чтобы даром не ковырялись другие чудаки.

Бывшие Мальчики и Девочки посмотрели друг на друга и невесело рассмеялись.

— Как просто! — воскликнула она.

Штучка посильнее Фауста Гете...»

В подобной логической связи и идет, так сказать, преодоление «литературных приемов». Поклонникам этого «мовизма» предоставляется полное право восхищаться качеством данного мышления. Вряд ли дельным занятием было бы обсуждать то, что иные критики с восхищением называют «катаевским мастерством детализации». То, что Катаев из любой мелочи хочет сделать «конфетку», — это бросается в глаза сразу же, вроде: «Под эстакадами всегда царит сырой сумрак и окаменевшие собачьи экскременты, почему-то чаще всего принадлежащие таксам, — такие же длинные, узкие, напоминающие бледные стручки перезрелой фасоли». Но дело даже не в том, что Катаев избирателен в такого рода детализации, а в том, что нагнетаемые им подробности мертвы, настолько самоцельны, что превращаются уже в автопародию. Не будем углубляться в психологическую причину этой мертвенности (какая же может быть свежесть жизненных подробностей в изображении детей при уже известной нам «разрушительной идее денег» в их жизни? Поэтому-то и так специфичны в «Кубике» все эти «новейшие мальчик и девочка» с их коммерческим разговором. «"У нас будет мешок денег", — сказал мальчик. Она засмеялась. "Чудило. Не мешок, а сто мешков". — "Тысяча тысяч мешков"». И т.д.).

Мертвенность и жизненность подробностей так же не случайны, как закономерны тусклость обыкновенного угля и светоносность алмаза, хотя, как известно, они ничем не отличаются друг от друга по химическому составу.

Подробности начинают жизненно светиться, пройдя только «сквозь магический кристалл» нравственного опыта художника. Без этого «кристалла» неизбежен хаос деталей, лишенных какого-либо эстетического значения. Такой хаос и очевиден в «Кубике». Вряд ли может быть живительной собирающей силой тот «фокус», в котором, «как в мертвом зрачке», отпечатываются предметы; как и другое, упоминаемое также в «Кубике» видение: «Однажды удалось сфото-

графировать глаз рыбы, — заметил Осип, — снимок запечатлел железнодорожный мост и некоторые детали пейзажа, но оптический закон рыбьего зрения показал все это в невероятно искаженном виде». Зрительный мир людей, конечно же, гораздо совершеннее рыбьего, и если в литературе возможны такие же «железнодорожные мосты», то причина этого может быть только в самом, так сказать, классе внутреннего зрения.

В. Катаев теоретизирует в «Кубике»: «Самый надежный способ организации материи есть превращение ее в отпечаток мысли, а потом в слово, в метафору, которая в конечном итоге с помощью оптического луча квантового генератора станет не только объемной, но и создает "эффект присутствия"». Надо полагать, что этот тезис в какой-то мере должен реализоваться практически в прозе автора, но пока что «эффект присутствия» призрачен. Прежде всего, проза Катаева далека до какой-либо «объемности» (может быть, потому, что еще не пришла «помощь оптического луча квантового генератора»?). Крайне скудна «изобразительность» автора, а точнее, «изобразительные приемы»: мальчик у него «похож на кузнечика», а девочка на «цаплю»; луна в одном случае «стеариновая», в другом случае — «гелиотроповая», в третьем — «луна, как бы нарисованная мелом в летаргическом небе» и т.д. Обилие определений не обеспечивает еще, увы, обильной художественности, как это видно, например, в рассказе о бывших бедных одесситах, превратившихся со временем в «богатых французов», которые в качестве туристов, «увидев со спардека туристского теплохода забытый берег своей бывшей родины, очень взволновались, глаза их наполнились слезами — может быть, впрочем, лишь потому, что в их воспоминаниях это море... и этот берег были совсем другими: неизмеримо более прекрасными, почти сказочными, полными прелестных подробностей и поразительно прозрачных, почти светящихся красок. На самом же деле все оказалось гораздо беднее и некрасивее...» Некоторая банальность этих эпитетов, пожалуй, не только не в стиле «мовизма», но и не совсем конкретна в отношении эмигрантов; ведь единственное, что их взволновало по приезде на свою быв-

шую родину, — это изменившееся море, а тут, в множестве этих эпитетов не такая уж красота морская.

Но есть у Катаева один эпизод, который резко выделяется своим неподдельным темпераментом и при кажущейся фантастичности образа реальной сосредоточенностью. Это «описание моей схватки с осой». Описание это настолько многозначительно, что мы приведем из него большой отрывок:

«Бывают осы злые, как человек, к тому же еще и коварные. Я сразу узнаю их по нервному, целенаправленному полету. Они уже издали узнают меня среди множества других людей и немедленно бросаются на меня в слепой ярости, готовые вонзить свое жало мне в голову и убить на месте. Одна такая оса в течение нескольких дней преследовала меня...

Я боялся этой завистливой низменной твари, боялся ее полосатого тела, жесткого звука ее полета, в котором мне слышалась дрожащая струна смерти... Как-то я воевал с ней в течение целого длинного летнего дня и, наконец, обессилел. Настала ночь, и оса исчезла из поля моего зрения. Форточка была открыта, и я подумал, что насекомое улетело спать в свое мерзкое грушевидное гнездо, слепленное из серого воска. Я еле добрался до постели, лег щекой на еще прохладную подушку и сейчас же увидел свой постоянный, единственный, никогда не прекращающийся сон: человек с узкими глазами убийцы... Вдруг я услышал нечто, прервавшее мой сон. Это был звук осы, которая вдруг завозилась где-то совсем близко от моего лица, под моей подушкой... и тогда я, наконец, бросился на нее, схватил пальцами ее извивающееся, упругое, как бы заряженное электрическим током тело, сжал его, как щипцами, превратил в комок, бросил на пол и окончательно раздавил босой пяткой, явственно услышав в ночной темноте хруст ее проклятого тела, неповторимый звук, в котором как бы заключалось все: подбородок, крашеные усы, багровая индюшья кожа его щеки, прищемленная строгим воротником императорского мундира, — и шелест темного яда, проникшего в мою кровь, заставившего мгновенно распухнуть мою руку... А полосатый комочек все еще

катался на полу, и я еще раз раздавил его, надеюсь, на этот раз уже окончательно...»

В этом описании поистине удивительна концентрация ненависти, самое наслаждение от ощущения раздавливаемой осы. Но это уже и не оса, и мы сразу же начинаем это понимать: «бывают осы злые, как человек, и к тому же еще и коварные», и уже какое-то содрогающее сладострастие в «хрусте ее проклятого тела, неповторимом звуке, в котором как бы заключалось все: подбородок, крашеные усы, багровая индюшья кожа его шеи...» Здесь поразительна даже не изощренность фантазии, сколько сама потенция ненависти. Мы невольно чувствуем, как реально накален этот поединок; и если оригинальность не в том, чтобы «склеивать по кусочкам извне» (а «Кубик» так и склеен), а в характерности целого, то этот очень цельный в своей направленности эпизод может говорить о такой оригинальности В. Катаева. Ненависть как что-то необходимое, без чего нельзя «держаться», как ничем не размягчаемая (никакой болью, любовью), «дрожащая струна», как не подвергающийся сомнению психологический опыт — вот та сила, которая дает автору некую точку опоры в его «мовистском» словесном расползании.

Эта точка опоры определяет и человеческие характеристики. В «Кубике» В. Катаев, как и в прежних своих вещах («Святой колодец» и «Трава забвения»), часто упоминает своего Учителя (так назван И. А. Бунин).

М. Горький в своих воспоминаниях о Л. Толстом рассказывает, как перед Львом Николаевичем заискивали, лезли запанибрата его многочисленные «друзья» и как одного аристократического жеста великого старца было достаточно, чтобы поставить их на свое место. Но когда великого писателя уже нет в живых, то прежнее заискивание может быть модернизировано в согласии со «свободной волей». В. Катаев с пафосной почтительностью говорит о своем Учителе, приводит его мнения по тому или иному поводу. Конечно, заверения в своем почтительном отношении к Учителю — это еще не верный знак того, что есть внутреннее основание

считать себя учеником. Учитель и ученик в литературе — это сложная культурно-психологическая связь, а не просто внешне заверительная. Если очевидно неравноправие эстетического мышления, то должно быть хотя бы сближение в каких-то критериях; но я не думаю, чтобы И. Бунин (впрочем, и как автор «Освобождения Толстого») был в восторге от такой «запевки» Катаева: «Ну, интонация, мелодия — это ясно: то самое, внутреннее, а потом и внешнее, заставляющее сжиматься горло и дрожать на губах — ”М... м... м... м”, — запевка всей вещи, ее музыкальный ключ, ее тайная горечь: никто в эту ночь не спал в доме Болконских».

Эстетическая тонкость, благородство художественного вкуса Бунина, отмеченные гордостью наследственной культуры, могут быть предметом не только «поклонения». Высота культуры, недоступная в своем достоинстве для тех, кто пожизненно снедаем интеллектуальным жаргоном, невольно порождает сальеризм и другую мертвящую приглядку.

В критике уже писали об одной подробности у Катаева, связанной с памятью Бунина. «Без преувеличения могу сказать, — пишет Катаев, — что вся моя жизнь была пронизана мечтой еще хоть раз увидеться с Буниным». Такая встреча не состоялась, однако состоялось посещение Катаевым дома Бунина, где он увидел жену Ивана Алексеевича — Веру Николаевну Муромцеву. И что же испытал Катаев, оказавшись в бунинском доме, увидев жену Учителя, разделившую с Буниным его скитальческую жизнь? «Мне кажется, я нашел определение того белого цвета, который доминировал во всем облике Веры Николаевны. Цвет белой мыши с розоватыми глазами». Вот все, что «всколыхнулось» в душе автора в доме Учителя, встреча с которым была мечтой всей его жизни. Поклонение Учителю отозвалось той самой «дрожащей струной».

Ничто нельзя скрыть в слове — в этом смысле «реализм» побеждает в самых вызывающих «экспериментаторских» вещах, вроде «Кубика» Катаева, где за обилием всякого рода «брамбахеров» остается нескрытой та сущность, которая всегда связана с нравственным состоянием личности. Памятны

чеховские слова о тех самодовольно-сытых авторах, которые играли в декадентскую «утонченность»: «Какие они декаденты, они здоровеннейшие мужики!» Это «декадентствующее» самодовольство, исторически прогрессируя, может вполне процветать и в патетическом амплуа, и в столь утомленном скепсисе...

Русская литература всегда развивалась в безграничной жизненной сложности, и этим самым она уже как бы естественно самоочищалась от всякого рода чуждых ее духу наслоений. Очищающая сила народной жизни была и всегда будет спасительной для русской литературы.

БЛЕСТИНКА НАСЛЕДИЯ

В этих коротких заметках будет затронута тема в творчестве Леонида Леонова, которая для самого писателя, можно сказать, главная. Именно эта тема и явилась причиной того, что спустя более тридцати лет после написания романа «Вор» писатель вновь возвращается к нему и выпускает в 1959 году вторую редакцию романа. Здесь многое переработано, исторически проявлено. И глубже открылся смысл проблемы культурного наследия в связи с судьбой главного героя Дмитрия Векшина.

В романе Леонида Леонова «Вор» происходит любопытный разговор между писателем Фирсовым и вором Митькой Векшиным, опустившимся на дно жизни. Фирсов говорит: «Косноязычны мы пока — о многом рассказать не можем, не жжет наш огонь... но скольким мы владеем, сколько еще выстроим и напишем и мир неоднократно удивим!» Нас больше подкупает в человеке даже его самоумаление, нежели самомнение, и в этом смысле фирсовское признание о «косноязычии» как-то доходчивее его патетического слова о том, сколько мы еще напишем и т.д. Немного странно, что Фирсов, так горячо ратующий за прошлую культуру, как бы и не принимает во внимание, что такого обещания удивить мир, вообще такой патетики о своей писательской роли и в поми-

не не было у русских классиков. Так и слышится желчный голос Щедрина: «Зелено, голубчик, зелено!» Но что такое «зелено», когда собеседник Фирсова не Достоевский и даже не Иван Карамазов, а всего лишь Митька Векшин или агрессивный мещанин Чикилев, подозрительный по части всякой непримитивной мысли. В таком интеллектуальном мире Фирсов в самом деле может внушить себе, сколь масштабно его мышление и сколь ответственна его культурная миссия. Само по себе такое самосознание может быть и не бесплодным, особенно если тревожит еще и вопрос: а не «зелено» ли?

Однако культура — и не только созидание ее, но и отношение к ней — это всегда плод борьбы своего времени, не допускающий постоянства критериев. Видимо, культура и не может развиваться без этого сравнительного материала образующих ее исторических, жизненных сил. Само различие в качестве уже фермент для творческой мысли. Старые истины могут стать судьбой художника, чуткого к новому времени. Но ведь в таком случае это уже истины не старые, а только позабытые, следовательно, всегда потенциально животрепещущие. Можно представить себе, как поеживается от культурного одиночества Фирсов: он-то понимает это, а векшиным и чикилевым сие и невдомек. В самом деле, прерванный нами разговор Фирсова с Векшиным весьма характерен исторически. Митька Векшин говорит Фирсову:

«— Чудачина ты... шуршишь писчей бумагой и утешаешься, будто всемирным делом занят. А к чему нам, революции, твоя суета? В бумагу, да еще в порченую, рабочий класс не оденешь, книжками мировую бедноту не накормишь.

Фирсов бросил в его сторону злой и короткий взгляд.

— Вот за такое плачевное ваше пренебрежение к этому и накажу я жестоко вас... разумеется, всего лишь в пределах ничтожной повестушки моей. Ибо здесь коренится важнейшая причина всех ваших недугов».

Здесь возможно еще взаимное недоразумение: Векшин, знай он поконкретнее литературные дела, мог бы вполне резонно заметить, что наказывать его пока еще не за что, потому что недоверие к «шуршащим писчей бумагой» — это

еще не пренебрежение к культуре. Чтобы иметь право отождествлять свое писание с этим (то есть с культурой), нужно по крайней мере дождаться, пока само время рассудит написанное. Да и писательские щедроты... Всегда ли дается просящему, и не бывает ли с читателем того же, что с щедринским неудачником (мог бы вспомнить Векшин в лад с фирсовским иносказанием): «И всегда встречал в ответ готовый афоризм, который представлял собой камень, поданный голодному человеку. Сознавал ли Иудушка, что это камень, а не хлеб, или не сознавал — это вопрос спорный, ну, во всяком случае, у него ничего другого не было, и он подавал свой камень, как единственное, что он мог дать».

Но похоже, что для Векшина любая книга — камень: «Книжками мировую бедноту не накормишь...» Накормить голодных людей — это первая святая человеческая обязанность, но почему же помешать этому могут книжки? Невольно как-то закрадывается сомнение: а так ли уж глубока у векшиных готовность насытить жаждущих?

У этих товарищей завидный размах: заботятся, как накормить всю мировую бедноту, и намертво равнодушны к близким, даже родным, нуждающимся в помощи. Митька Векшин в «просветлении» говорит об отце: «Ни письма ему не послал, ни копейки с самой поры, как из дому ушел... пятнадцатый год истекает». А как этот планетарный кормилец мило обходится со своим дружком Санькой и его чахоточной женой Ксенией, растаптывая ее нехитрую мечту о простом, наивном счастье? Преданнейший Санька не утаивает от «хозяина»: «Промежду прочим, сколько мы с тобой годочков сообща прожили, а ведь ни разика ты ко мне в середку не заглянул... все подвигами разными занят был!» Знает же Митьку и все-таки ждет от него руководящего совета, когда собирается бросать «шпановать» и вместе с больной Ксенией поехать жить в деревню.

«— Понятно, — раздумчиво сказал Митька. — Земледелием, значит, решил заняться с бабенкой своей?.. Может, одно к одному, и коровку заведешь? — насмешливо продолжал допрашивать Митька из своего холодного далека.

— А какая ж радость человеку в домашности без коровки жить? Я в том греха не вижу, хозяин. Не банк ведь, не дом осьмиэтажный... коровка собственность махонькая!

— Махонькая тем и опасней для человека, Александр, что дороже, потому что завсегда при руках, — тотчас и с неподкупным (курсив мой. — *М. Л.*) видом разоблачил его лисью уловку Митька. — Давишь ты меня, Александр: совсем ты еще молодой, так откуда же такой старый... закостенелый, хочу сказать».

Удивительно, как братается Митька в эту пафосную минуту со своим, казалось бы, непримиримым врагом мещанином Чикилевым: тот ведь тоже неподкупно парирует все социально-подозрительные, на его взгляд, уловки того или иного гражданина. Здесь уже прощай для Векшина сама бывшая фронтовая дружба и все подвиги, коль грянула такая черная измена классовому братству. И ведь какая логика: вот опуститься так, что дальше некуда, пьянствовать, воровать — это почти что революционно, а поехать в деревню, заняться честным трудом — выходит, нет хуже позора. Уж Бог с ней, с векшинской несуразицей насчет гуманизма, когда бездушие к больной Ксении (ради которой и затеял Санька свое переселение в деревню) как-то не обнимается с его мировой заботой о всеобщем благоденствии.

Недаром умирающая Ксения бросает в Митьку задыхающуюся фразу: «Да имеется ли в тебе сердце хоть с горошину?» Но, помимо этих нравственно-показательных качеств Векшина, многозначительно и его отношение к деревне.

И как же заканчивается намеренье Векшина прогуляться по родным деревенским местам? Не много близости в этом бесстрастном внимании родственника: «Ай, вы эти годы за границей находились, отбилися от русской жизни, братец?» И все это землячество кончилось тем, что Векшин увидел себя в блевотине (и не только в пьяной). Но здесь его прикрыли от стыда, как блудного сына, ведь простой народ наш жалостлив к падшим. Только вот в жизни Векшину, пожалуй, не до этой лирики узнавания позабытого родного края, не до «заплаканной красы» ее. Леонов деликатен с Век-

шиным, наводя его на какие-то серьезные, жизненные вопросы, но не докучают ли они Митьке? Правда, от природы человек он смышленый и нутром даже умен, но ведь одним нутром всего не обнимешь. И это нутряное подозрительно даже и к тому, что хотя и брезжит доступностью, но требует самостоятельной работы мысли. Фирсов заводит с Векшиным речь (опять возвращаемся все к тому же их разговору) о прошлом, о культурном наследстве, «без чего весьма многое может у нас обернуться в высшей степени наоборот». Начиная с довольно туманного для Митьки иносказания, Фирсов заканчивает выводом: «Прошлое неотступно следует за нами по пятам, уйти от него еще трудней, чем улететь с планеты, вырваться из власти образующего нас вещества». А в ответ на свое философствование слышит от Векшина: «А ты не запугивай, Федор Федорыч... Не из пугливых...» Фирсов все-таки старается пробиться к Митьке, заставить его взглянуть на себя — завтрашнего. «За спиной у вас окажется, весь в чаду и руинах, поверженный и вполне обезвреженный, старый мир... Привалясь к обезглавленному дереву, на фоне прощальной виноватой зорьки будет глядеть вам в очи вчерашняя душа мира, бывшая! Самое хозяйственное комендантское око не обнаружит в ней сколько-нибудь стоящего, подлежащего национализации имущества... Кроме, пожалуй, раздражающе умной, колдовской блестинки в ее померкающем зрачке... И тут опалит вас жаркая догадка, не эта ли ничтожная штучка, почти точка... и есть наиважнейшая ценность бытия, потому что выплавлена из всего, сколько у нас его было позади, опыта человеческой истории».

Угрюмо слушавший фирсовскую притчу Векшин признается: «Понял... лишь слова отдельные... Выходит, по-твоему, нельзя в завтрашнее без вчерашнего войти... так, что ли?» Но здесь-то и настораживается Векшин. Смотрите, куда его повело: «Навел туману, сочинитель: не то драться с тобой, не то кланяться. Не хвала и не обида, а может, и ненависть одна на поверку. Чем я тебя задел, обидел, рассердил?.. Не боязно тебе со мною так?»

Даже жутковато немного от этого заворочавшегося подозрения. Ведь жил человек по ясному распорядку, даже и когда опустился — все равно понимал себя «хозяином», в самом падении своем видел чуть ли не величие, а тут вдруг тянут во что-то непонятное, чуждое. Ведь что такое войти в завтрашнее со вчерашним (да и сегодня без него нельзя жить) — это значит усвоить из него еще что-то, не только одну запомнившуюся Векшину с детства строчку: «В награду возьмешь ты любого коня». Усвоить то, о чем и слыхом не приходилось слыхать, а это значит уже и на себя по-другому взглянуть: может быть, и величие-то твое слепое, да и в открывшейся сложности ты король голый, а вовсе не «хозяин». Это значит задуматься, что страсти на дне воровской жизни — это еще не жизнь народа. Многое тогда пришлось бы переоценить, поскромнее стали бы права, но зато прибавились бы новые обязанности. И конечно, нравственной работы прибавилось бы — той внутренней работы прежде всего над самим собою, о чем хорошо говорит Фирсов: «Предстояло продолжать жить и строить целый мир не только вне, но и внутри себя, без чего стали напрасными все затраченные жертвы и усилья».

С фирсовской «блестинкой» связывается в романе идея культурного наследства. В записной книжке Фирсова говорится о «трех решениях задачи об овладении сокровищем: 1. Погасить эту блестинку в глазах противника, и тогда не появится вопроса о ней. 2. Уничтожить условия, при которых она может возникнуть в чьем-либо зрачке. 3. Приобрести ее самому...» Фирсов спрашивает: «Которое примет Векшин?» В конце концов Фирсов приходит к заключению, что Векшин «не шибко оправдал себя в том качестве».

В середине 20-х годов (к этому времени относится действие романа «Вор») проблема культурного наследия не была столь уж очевидной не только для таких, как Векшин. В литературе господствовало нигилистическое, враждебное отношение к русской классике. Этому способствовала и та искусственно возбуждаемая борьба против так называемого «великорусского шовинизма», которую возглавляла троцкистско-зиновьевско-бухаринская группа.

С твердым сознанием своего наступившего исторического часа вносит личный вклад в понимание культуры Петр Горбидоныч Чикилев. Ничего, что прямое его дело как председателя домкома — наводить порядок в коммунальных квартирах. В проектах своих (помышляя себя будущим директором земного шара) он уже наводит порядок и в подзапущенных делах культуры, запрещая, например, такие глубоко антиобщественные явления, как гений, талант и т.д. В записной книжке Фирсова есть такое замечание о Чикилеве: «Надо отдать ему справедливость, подозрительность его, кажется, происходит от сознания недостатков собственного мышления». При всей самоотверженности и вере в свою неистребимость чикилевы никак не избавятся от сосущего их чувства некоей неполноценности. Мешает, да и все тут. Можно вообразить себя и директором земного шара, и проекты сочинять, но вот в самый торжественный для самолюбия миг возьмет да и закрадется подлая мыслишка о собственной своей уязвимости. И разжигается подозрительность: считаются ли эти писаки и всякие гении с директорством, не спрятано ли у них в голове что-то такое, чего нет у меня, Петра Горбидоныча? Вот Чикилев, например, знает, что «хорошие песни раньше сочиняли, несмотря на производившийся гнет». Сказано со знанием дела, вполне научно, и уделено должное внимание прошлому со стороны «работника ответственного труда» (как именует себя Чикилев). Все в норме, на высоте текущих культурных и прочих задач, чего еще лезут к Петру Горбидонычу с Достоевским и прочими подозрительными лицами старого времени! Других, что ли, нет, попроще? Достоевский для чикилевых что-то непонятное, темное, если и тревожащее, то только каким-то смутным и оттого более ненавистным напоминанием о чем-то недоступном для Петра Горбидоныча.

Это ненавистничество становится солидаризирующей силой. Проникает оно и в литературу, особенно в переходные времена, когда пишущие чикилевы видят, как мертво и никому не нужно их писание, как невсевластным становится девиз «упростить жизнь» и возникает угроза потерять дешево доставшуюся известность, прокорм.

Подозрительность Чикилева к Достоевскому и «прочим гениям» берется не с потолка. Какой вывод мог бы, скажем, сделать Петр Горбидоныч, прочитав слова Д. Заславского, сказанные им о Достоевском в 1951 году: «Характерные черты Достоевского как писателя: его двурушничество, нарочитое и туманное многословие, игра намеками, искусственная загадочность». А спустя несколько лет тот же Д. Заславский восторженно пишет о гениальности Достоевского.

В трех известных нам фирсовских вариантах — как поступить с «блестинкой» (культурным наследием) — Чикилев полномочно представляет второй вариант: создать условия, чтобы вообще не мог возникнуть вопрос о ней. Чикилев глядит в «корень»: «Мысль — вон где главный источник всякого неравенства, личного и общественного». Почему не отрегулировано равноправие в мозгах? Даже в подведомственном ему «ковчеге» — коммунальной квартире — наблюдаются ускользающие от неусыпного чикилевского контроля умственные беспорядки (вроде скрытых от него разговоров соседа Манюкина с гостями).

В лучшем случае, на что способны чикилевы — это распределять по «массам» культуру, ту культуру, от которой уже не отделаешься.

Такие, как Грацианский, паразитируют на культуре — они не заинтересованы, чтобы распределять даже и «готовую», старую культуру, ибо это грозит их «культурной» монополии. Сами-то грацианские творчески начисто бесплодны: «деятельность» их лишена какой-либо позитивности. Грацианский достиг профессорской карьеры и даже знаменитости единственно только тем, что писал разносные статьи на книги крупного ученого-лесовода Ивана Вихрова. У самого Грацианского нет решительно никакой идеи о лесных проблемах, ничего положительного, зато он вцепился как клещ в труженика Вихрова и на его болях и заботах о русском лесе сколачивает себе «ученое имя». Грацианские «популяризируют», «комментируют» классиков (которых они еще вчера обвиняли во всякого рода отступничествах), пишут «монографии» и т.д. Деятельность обширная и громкокипящая, но,

повторяем, бесплодная в самой своей основе — мертвящем равнодушии к народным интересам.

Весьма многозначительная способность глаз Грацианского раздваиваться, когда один вполне «перпендикулярно» уставляется в переносицу собеседника, другой же отъезжает в сторону, в не доступный никому «тайничок». «Перпендикулярный» зрак может быть и устрашающим, и заискивающим — глядя по обстоятельствам. Вчера еще грацианские, громя вихровых, клялись сверхреволюционной бдительностью. Но они могут и прийти на поклон к тем, кого смертельно преследовали (как заявился к Ивану Вихрову с поздравлением по случаю награды его Грацианский, всю жизнь травивший Вихрова).

Глубоко органична любовь Вихрова к русскому лесу, родной земле. Это тревожный патриотизм, заставляющий мучиться там, где другие видят тишь да гладь. Вон как отчитывает Вихрова Чередилов, достигший высот заместителя председателя лесонаучного комитета: «Скажи, чего тебе было затевать этот великий плач над дровяным поленом? Ну, рубят, водоохранные рубят... И черт с ними! Ну, сыплется добро сквозь пальцы... так ведь не с тебя же взыщут за растрату? Иное дело, если бы тебе штатным образом, с зарплатой поручили это самое лесное казначейство». Сам-то Чередилов, этот матерый бюрократ, именно так, сообразно с зарплатой и казенным временем, и может уделить руководящее внимание лесным делам. Но Вихрова не отпускает ни на день забота и боль о русском лесе. Можно представить себе, как ему психологически близок рассказ Достоевского о Юрии Самарине, который не спал всю ночь, узнав из одной статьи, что России грозит обезлесение, или слова М. Горького о «тревожной статье» «Гроза с Востока» Вл. Соловьева, в которой столько глубокой озабоченности о судьбе безлесных заволжских земель, засыпаемых песком.

В чем же смысл распри между Вихровым и Грацианским, особенно обострившейся в середине 30-х годов? Вихров убежденно борется за постоянное лесопользование, то есть за такое разумное хозяйство, чтобы рубка леса не превышала

его прироста. Мы должны оставить потомкам не меньше, чем сами получили от дедов и отцов, — твердит Вихров. Вот здесь и наступает черед патетического негодования Грацианского, обвиняющего Вихрова в намерении «осиротить котлованы пятилеток», хотя Иван Матвеич составил обстоятельные таблицы о том, где, как и сколько можно взять древесины без разорения лесных фондов.

Но какое дело Грацианскому до «этих таблиц», когда его меньше всего интересует научный спор. Сам-то Грацианский вполне на высоте своего прогрессивного призвания. «Назло вам мы срубим все, когда придет пора, не пощадим ни Волги, ни столь любезной вам Мезени, выкосим к чертовой матери Печору и Каму, Днепр и Двину, Ангару и Енисей...» — почти в истерике кричит Грацианский. И это не гротеск: когда надо делать «назло вам», назло иванам вихровым, то эти грацианские становятся историческими нетерпеливцами, изменяют своей столь прославленной изощренности скрытых планов, забывают о своем «тайничке» и брызжут ненавистью. Грацианский и его ученики вертодоксы (прозванные так ввиду их исключительно гибкой «ортодоксальности» на все четыре стороны света) и не скрывают своего отвращения к русскому лесу и русской земле. Один из этих вертодоксов, сверхактивный «лесной специалист» Чик не считает нужным скрывать с трибуны, что «никогда в русских лесах не бывал».

Для Грацианского и его вертодоксов «пережиток древности» все то, что не входит в их «интеллектуальное» ведомство. И Вихров с его преданностью русскому лесу — такой же отвратительный пережиток, как, впрочем, и русский язык. Грацианского раздражает уже одно то, что Вихров говорит «на своем древнерусском жаргоне». Иван Матвеич не выдерживает: «Этот жаргон — язык моих дедов... На каком же воровском воляпюке прикажешь мне изъясняться?»

Нет ничего удивительного, если иные вертодоксы, почитающие Томаса Манна, в разряд вполне древних пережитков зачисляют такое его высказывание: «Стиль писателя — это в конечном счете, если внимательно прислушаться к нему, — сублимация диалекта его предков».

Но за лесными распрями между Вихровым и Грацианским стоит борьба добра и зла уже народного смысла. Кардинальнейший принцип действий Грацианского и вертодоксов — разложение целостного в жизни. Желанный идеал для вертодоксов — измельчить все значительное, крупное, как хотел бы упомянутый Чик коноплей или бокконией заменить лес как «малооперативную культуру» (не забудем, что лес в романе Леонова — это больше, чем деревья). Не думают ли вертодоксы укоротить и самую историю народа, дабы ее начинать, как иронически писал Пушкин, «только со времени кн. Потемкина»?

«Страшный ты человек, Иванище», — говорит Грацианский Вихрову, уже не закидывает, а из самого своего «тайничка» выплескивает, может быть, даже с неосознанным отчаянием (вообще-то несвойственным грацианским, отполированным всей историей приспособленчества и оттого безунывным). Казалось бы, чего уж там «страшного» в Иване Вихрове, которого Грацианский, как паук, опутал паутиной и зачарованно следит за скованностью своей жертвы. На каждое вихровское движение уже готова удавка политического обвинения («С каких политических позиций призывал ты нас раздумывать перед каждым ударом топора?» — публично вопрошает Грацианский Вихрова). А сама эта все дробящая целеустремленность Грацианского в ненависти к своему «коллеге»? От одного того уже ненасытимая ненависть, что это — Иван Вихров. А сам Вихров чем может ей противоборствовать? Да при одном непривычно «доверительном» обращении к нему Грацианского Иван Матвеич «простил ему все за двадцать с лишком лет причиненные огорченья». Конечно, в глазах Грацианского такая незлобивость омерзительна, как самое допотопное юродство. Но отчего же так неутоленно точит Грацианского эта незлобивость? Не потому ли, что уже в самой этой вихровской снисходительности (когда двадцатилетняя травля — всего только «огорченья» для Ивана Матвеича) чувствуется естественная высота неразложимой силы? Ведь всего своего добились Грацианский и его вертодоксы: решительно диспет-

черы! Но не довольно им рычажков на пульте, они пришли «по Иванову душу», да не сработало: «Страшный ты человек, Иванище, во всякую погоду бежит твоя стружечка, и никакая ржавчина к тебе не пристает».

У грацианских не может быть морали в принятом значении, здесь все хорошо, что служит цели. А цель эта запрятана в «тайничок» и больше всего повергает в смятение грацианских, когда их собеседники догадываются об этом «тайничке» (как содрогнулся Грацианский, смекнувший, что Иван Вихров догадывается об его истинной цели — познакомить с неким «австралийцем, сомнительным лесным специалистом»).

Главное оружие Грацианского — слово, и как же изощренно он пользуется им в своих разрушительных целях. А цель его — отделить молодое поколение от отцов, впрыснуть в их души яд недоверия, обезоружить их путем забвения опыта прежних поколений, народных традиций.

Грацианский вырастил достойную смену — в лице своих учеников-вертодоксов. Вот в действии метод «критики» этих вертодоксов, расправляющихся в подходящее время с ученым-патриотом Иваном Вихровым: «Получается, по Вихрову... что природа действует стихийно, человек же сознательно, потому что ослабляет в ней одно и усиливает другое. Следственно, по Вихрову, человек и природа являются антагонистами и труд человека есть нечто враждебное по отношению к природе. Отсюда... вывод, что Вихров считает человека бессильным согласовать свою деятельность с природой, познать ее процессы, что прямиком ведет к опаснейшему агностицизму.

Правда, Вихров-то как раз и призывал к изучению лесных закономерностей для овладения стихиями, но это была уже частность, которой в суматохе можно было и пренебречь... Отсюда вытекало, что Вихров проповедует студентам конфликт человека и природы, сознания и стихии, духа и материи, что было уже совсем нехорошо, так как отзывало поповщиной. Все это вместе доказывало причастность Вихрова к кантианству, спенсеровщине, махизму, дохманизму».

Таким методом вертодоксы многого добились (и не только в травле честных ученых). Но главного сделать им не удалось — истребить в Вихровых «блестинку» наследия родного народа.

В творчестве Леонова Вихров — наиболее полный и глубокий выразитель идеи преемственности народной жизни. В разговоре с дочерью Полей он говорит, что «без познания таких корней человечества не поймешь и листьев в его кроне». Так воплощается в Вихрове третье «решение» вопроса об «овладении сокровищем»: взять эту «блестинку» себе. Но взять — это не значит усвоить ее книжно, насладиться в тиши кабинета. А это значит прежде всего — выдержать напор ненависти и непонимания, практический союз векшиных, чикилевых, грацианских. Тут требуется мужество не эпизодическое, но без этого мужества не было бы в конце концов и плодотворного результата всех усилий Вихрова, обращенных к молодежи, к будущему. Поле Вихровой открыла глаза на подлость грацианских Великая Отечественная война, те испытания в жизни народа, до которых этим грацианским не было никакого дела. Открылся для повзрослевшей девушки и смысл научного подвига отца — Ивана Вихрова, того подвига, который зрел в самых недрах народного опыта. И как узнанная Полей могучая доброта отца, так притягивают к себе юных леоновских героев ценности, открывшиеся им через опыт старших поколений — «блестинки» народного наследия.

ВЕЧНОСТЬ КРАСОТЫ

Такое явление культуры, как «Война и мир» Л. Толстого, могло созреть только на древе бытия народа исторического. Подвиг русского народа в Отечественной войне 1812 года, сокрушившего нашествие «двунадесяти языков», стал тем событием мирового значения, которое не могло ограничиться только политическими последствиями. На весь мир заявляла о себе могучая нравственная сила, непонятная для привыч-

ного европейского представления. Хотя бы самые внешние факты: жители Берлина, Вены и других западных городов встречали Наполеона депутациями и ключами от столиц, а Москва встретила опустевшими улицами: почти все население покинуло город. Наполеон въезжает в Москву победителем, а чувствует себя осажденным. Русское пространство позади, казалось бы, парализовано, и вдруг со всех сторон начинает ходить по головам французов «дубина народной войны». Въезд русских в Париж был наглядным итогом наполеоновских планов, но смысл этого итога был глубже, духовнее и предугадывался наиболее проницательными умами того времени, в частности Гегелем, писавшим перед смертью о великом историческом будущем России.

Есть мнения, что Л. Толстой «снизил» личность Наполеона — показал его почти карикатурно. Знаменательно, что в тех же 60-х годах обратился к Наполеону, точнее к идее Наполеона, Достоевский в «Преступлении и наказании».

Почему-то трудно представить, чтобы Достоевский вывел непосредственно Наполеона (у Достоевского, кажется, нет ни одной исторической личности, его как будто не интересует «портретность» такой личности, а важна только идея ее в духовной борьбе). Толстовская «портретность» Наполеона заострена тем же, как у Достоевского, нравственным отталкиванием. В старину один моралист любил говорить: «Хоть ты и Павел, а человек». Толстой еще нетерпимее к увлечению историческими авторитетами, называя его в «Войне и мире» «лакейским». Он как бы говорит: ты — Наполеон, а значит — ограниченный, недалекий человек, не говоря уже о твоей преступной аморальности; потому и недалекий, что сама твоя профессия убивать людей и не может быть принадлежностью человека духовно глубокого.

Удивительна эта высота нравственного взгляда русских художников и мыслителей на «сильных мира сего», на «великих», вызывающих всеевропейское поклонение. Предчувствуемое Достоевским новое «наполеоновское» злодейство в мире, разгул бесов ждал своего исторического часа, и когда в Германии Ницше провозгласил «религию» сверхчеловека,

она была встречена в России (Вл. Соловьевым) со снисхождением к умственному недугу нового пророка.

Исторические испытания становятся для народа тем горнилом, в котором основа народного духа очищается от всего наносного, искусственного, насильственно привитого. В «Войне и мире» внешние формы общественной жизни (главным образом до 1812 года), отмеченные веянием «просветительства», «вольтерьянства» предыдущего века, кажутся с первого взгляда гораздо более влиятельными, чем манера «не только говорить, но и думать» на французском языке в петербургском салоне фрейлины Анны Петровны Шерер. Влияние это как будто проникает в самую психологическую сущность личности. «Вольтерьянский» налет чувствуется в насмешливости старого князя Болконского, екатерининского вельможи, над верой своей дочери княжны Марьи. Вступая в масоны, Пьер Безухов говорит: «Я был атеистом». Он знает о «прежних атеистических убеждениях» князя Андрея, хотя может и не знать о многомерности духовных связей своего «первенствующего друга». Слушая пение, Андрей Болконский «готов был плакать» от «вдруг живо осознанной им страшной противоположности между чем-то бесконечно-великим и неопределенным, бывшим в нем, и чем-то узким и телесным, чем он был сам...» Князя Андрея с его «обыкновенной» мыслью, что «нельзя все-таки выразить всего того, что думаешь», поражает в Сперанском «непоколебимая вера в силу и законность ума». Глубокий ум князя Андрея не гарантировал ему еще той интеллектуальной новизны, которая выдавала себя за дух времени. «Современник» Андрея Болконского, один из тогдашних русских просветителей, следовавший за Вольтером и Дидро, наш В. В. Попугаев, писал в 1802 году: «Просвещение есть солнцев луч во мраке, истина для нашего счастья драгоценнее золота! Всякий просвещенный человек есть неоспоримое тому доказательство... Итак, если истина соделывает счастье мудрецов, для чего не соделывает оная счастья народов? Для чего народы не стараются уподобиться мудрецам?.. Все народы в Европе вообще не что иное, как слепая, неразмышляю-

щая толпа, не знающая своих выгод и занимающаяся только личным, а не общественным благосостоянием».

Нависла смертельная опасность над Россией, и внутренние, подспудные силы вступили в действие. Решали дело не умствующие теории, не отвлеченный «солнцев луч» и прочее, а реальное — то, что в «Войне и мире» Кутузов и автор называют «духом армии» и «народным чувством». Кутузов понимал это глубже, чем кто-либо другой. «А главное, — думал князь Андрей, — почему веришь ему, это то, что он русский... это то, что голос его задрожал, когда он сказал: "до чего довели!", и что он захлипал, говоря о том, что он "заставит их есть лошадиное мясо". На этом же чувстве, которое более или менее смутно испытывали все, и основано было то единомыслие и общее одобрение, которое сопутствовало народному, противному придворным соображениям, избранию Кутузова в главнокомандующие».

«Опытностью жизни» презирая надменность внешних знаний, Кутузов глубоко чуток к той духовной силе, которая, в сущности, руководит войском, исходя из самой исторической «опытности» народа. Главнокомандующий узнает о том, что ополченцы, готовясь к завтрашнему сражению, к смерти, надели белые рубахи... «Чудесный, бесподобный народ, сказал Кутузов и, закрыв глаза, покачал головой». И как значительно единение главнокомандующего со своим войском перед Смоленской святыней (в самый канун Бородина), когда Кутузов «тяжело опустился на колена, кланяясь в землю...» Среди этой огромной массы «взволнованных лиц», последовавших примеру Кутузова, так и видится его друг, умерший незадолго до этого старый князь Болконский, позволявший себе некогда «вольтерьянские» вольности...

Л. Толстой говорит, что «победа нравственная, та, которая убеждает противника в нравственном превосходстве своего врага и в своем бессилии, была одержана русскими под Бородином... Под Бородином была наложена рука сильнейшего духом противника». В «Войне и мире» мы и видим проявление этого нравственного величия русского народа. Высшей его точкой стало Бородинское сражение, когда «не

один Наполеон испытывал то похожее на сновиденье чувство, что страшный размах руки падает бессильно; но все генералы, все участвовавшие и не участвовавшие солдаты французской армии, после всех опытов прежних сражений (где после вдесятеро меньших усилий неприятель бежал) испытывал одинаковое чувство ужаса перед тем врагом, который, потеряв половину войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения».

Непоколебленная эта сила складывалась из храбрости таких русских солдат, как Тимохин, из чести и высокоразвитого долга перед отечеством Андрея Болконского, командира полка; его отца, старого князя Болконского, умирающего с мыслью о России; из самоотречения Пьера Безухова, радостно ощущающего себя в «море войск», добивающегося участия в сражении; из «скрытого тепла патриотизма» русских людей, заставляющего их без всякого колебания уезжать из Москвы («как ни жалко оставлять на погибель свое имущество»), из этой целостности русской жизни исходила нравственная несокрушимость русского войска на Бородине. Русское самосознание освобождается от привычного благодушия. Андрей Болконский говорит о назначении Кутузова: «Пока Россия была здорова, ей мог служить чужой... но как только она в опасности, нужен свой, родной человек». В этой опасности обнажился и весь смысл духовной измены и духовной верности России. Постижение сути такого рода измены и верности предполагает в обществе определенный уровень духовной культуры. Очевиднее, конечно, преступление денщика Лаврушки, попавшего по ротозейству в руки французов и разговаривавшего с самим Наполеоном (а потом, по возвращении к своим, передавшего этот разговор гусарам). Приговор здесь может быть бесспорным. Совсем другое дело князь Ипполит, который говорит «по-русски таким выговором», «каким говорят французы, пробывшие с год в России», просящим в салоне извинения за то, что он будет говорить по-русски. Ипполит не только говорит, но и думает по-французски. То, что Ипполит изменил духовно родине, и ему не только все равно — Россия или Франция, но

Франция непременно милее, этого не может уразуметь, скажем, тот же денщик Лаврушка, потому что и слово-то «духовное» для него чудно. Но такие люди, — как Андрей Болконский и Пьер Безухов, видят гной духовной измены. Для них духовное своеобразие, передаваемое из поколения в поколение, это та психологическая почва, без которой немыслимо не только нравственное, но и само физическое существование. Недаром Пьер Безухов решается на убийство Наполеона. Сам Пьер глубоко русский человек, в душе которого удивительно уживаются мужество и кротость, сознание того, что «нельзя остановиться на половине дороги», и невозвратимость веры, когда он разочаровывается в том, что казалось ему истиной. Пьер Безухов «испытывал несчастную способность многих, особенно русских людей, способность видеть и верить в возможность добра и правды, и слишком ясно видеть зло и ложь жизни, для того, чтобы быть в силах принимать в ней серьезное участие». То глубинное свойство русской души, которое известно миру через Достоевского, пробуждается в Пьере, оставшемся в Москве: «Первое было чувство потребности жертвы и страдания при сознании общего несчастья...»

Не минует Безухова и та захватывающая дух бездна, которая может одновременно ощущаться и как дно, и как облегчительная высота бытия и которая роковым образом подводит к черте особого нравственного призвания. Это было, по словам Л. Толстого, «то неопределенное, исключительно русское чувство презрения ко всему условному, искусственному, человеческому, ко всему тому, что считается большинством людей высшим благом мира», больше всего поразило французского капитана, которого случай свел с Пьером в опустевшей Москве, то, что русский барин «очень богат, что он имел два дворца в Москве и что он бросил все...», еще менее понятно было бы для этого иностранца (с его «оживленной непроницаемостью... ко всему тому, что не было он сам») то, что этот русский аристократ ездил за границу к масонам не за чем иным, как за самой истиной, спасался бегством и вином от запутанного страшного узла

жизни, знал непреодолимое для него ощущение своей ничтожности и лживости в сравнении с правдой, простотой и силой того разряда людей, которые отпечатались у него в душе под названием: «они», т.е. наши солдаты; наконец, обрел веру в жизнь, сблизившись со старым солдатом, который стал для него «олицетворением всего русского». Духовный крест свой еще мучительнее несет князь Андрей, признающийся Пьеру: «...последнее время мне стало тяжело жить. Я вижу, что стал понимать слишком много». И все внешнее для Андрея Болконского снимается предсмертным постижением любви как сострадания, как «самой сущности души».

Нравственные искания Пьера Безухова, Андрея Болконского у Л. Толстого как раз та духовная культура, которая должна нейтрализовать мертвенность, разрушающую все национальное. Одна из таких растлевающих сил в романе — семейство князя Курагина и особенно его дочь Элен. Л. Толстой как бы говорит: нет большего греха на земле, чем грех женщины, могущей, но не желающей иметь ребенка. И о смерти Элен (хотевшей избавиться от будущего ребенка) Л. Толстой говорит с откровенным небрежением, как о мелком происшествии, как о светской сплетне (как будто совсем незадолго до этого не было всеобщего примирения в любви подле умирающего князя Андрея).

Философия Л. Толстого в «Войне и мире» не столько в метафизических рассуждениях, сколько в материале психологическом. Тысячи философских книг о «женщине» не скажут того, что говорит одна сцена в театре, когда Наташа, казалось бы, любящая своего жениха князя Андрея, неожиданно для себя тянется к Анатолю Курагину, почти неизвестному ей красавцу, чувствуя, что между ними исчезает «нравственная преграда».

У Л. Толстого та глубина антиномии чувств, которая заставляет вспомнить Канта (его «Об изначальном злом в человеческой природе»), Достоевского. Это не только «любящее мучительство» старого князя Болконского, но и та «душевная мерзость», которой ужаснулась в себе добрая княжна Марья, пожелав в глубине души смерти своего отца.

Л. Толстой, однако, не уходит в обострение этих антиномий, а сдерживает, смягчает их самим аристократизмом характеров и самой их деятельностью (старый князь Болконский становится командующим одной из шести ополченческих армий).

«Война и мир» создавалась сразу после реформы 1861 года. Л. Толстой силою своего эпического гения и наследственной культуры хотел как бы удержать целостность реальной России (как он сдержал «уздой» семьи «женские антиномии» Наташи, которые в других обстоятельствах могут прогрессировать до полнейшего и всеобщего семейного развала). Достоевский идею целостности хотел удержать в самом духе, в утверждении добра над злом в самой природе человека, но оба гиганта положительностью идеала хотели разрешить мучительные вопросы времени. И если справедливо то, что исторической жизнью народа обуславливаются великие культурные ценности, то сама жизненность их становится для потомков уже проблемой беспощадной исторической самооценки.

«МНЕ ВСЕ НАДО РОДНОЕ»

В начале XX века, когда в литературе стало известно имя Куприна, русская культура представляла собою сложнейшее духовное явление. Предстояло невиданное историческое испытание этой культуры, ее философской самобытности, самой многовековой преемственности моральных ценностей. Как бы предощущением этого испытания насыщено одно из глубочайших творений русского гения — «Сказание о невидимом граде Китеже...» Римского-Корсакова, созданное в 1903—1904 годах, — о трагических событиях в истории русского народа, связанных с нашествием на Русь татарских полчищ. Концентрация национальных элементов (начиная от свадебного обряда и кончая духовной красотой юной Февронии, раздумьями о высшей цели жизни) достигает такой тревожной, волнующей силы, когда настает проблема

уже не искусства, а путей народного бытия. В исторической перспективе открывается нам емкий смысл слов основателя града Китежа, мудрого князя Юрия — музыка безмерно углубляет их содержание:

О Китеж мой, мать городам всем,
О Китеж, краса незакатная,
На то ли тебя я повыстроил
Средь темных лесов непроходных.
В гордыне безумной мне думалось —
Навеки сей город созиждется,
Пристанище благоутишное
Всем страждущим, алчущим, ищущим.
Китеж, Китеж, слава где твоя?
Китеж, Китеж, где птенцы твои?

Китеж великой культуры оставляет на поверхности времени свое отражение, разнося перезвоны исчезнувших колоколов.

Культура укореняется в духовно-бытовой многослойности, в богатстве нравственных связей. Для того чтобы развиться психологической «центробежности» Достоевского, нужно было многовековое накопление «положительных» сил в русской литературе, нужны были не только Пушкин и С. Аксаков с их уравновешенностью духа, но и устойчивая идеальность стремлений древнерусской литературы. Исключительность тогда лишь становится плодотворной, когда за нею стоит осознанная полнота родственных сил. Очень точно почувствовал это в Достоевском Нестеров, изобразив великого писателя в картине «На Руси» среди простого народа, где ему так легко и свободно. Вот почему в самой неудержимости «антиномий» у Достоевского есть та черта, за которой вдруг проясняется тоска по вечно простой истине. Иваном Карамазовым, его умом можно даже восхищаться, когда знаешь, что есть Лев Николаевич Мышкин. Самому Достоевскому легче было отрываться от «земного» и так самозабвенно уходить в «вечное», когда был в России и мощно привязанный к «земному» Л. Толстой, когда был Менделеев, выда-

ющиеся практические деятели, когда, наконец, нравственное «земное тяготение» создавалось многомиллионной народной массой.

Достигнутые русской культурой, ее философской мыслью глубина и объемность миропонимания стали той духовной атмосферой, которая «формует» сокровенную сущность творческой личности, стали тем внутренним познанием, против которого бессильно узкопрактическое теоретизирование, не считающееся с реальностью культуры.

Куприн был в начале века в числе тех русских писателей: Бунин, Андреев и другие, — которые могли считать себя, каждый в своем роде, продолжателями реалистического дела классической литературы. Можно вообразить себе, «продуктом» какой сложной и пестрой культурной среды (здесь вспоминается Лесков, назвавший крестьянина «продуктом природы») мог стать такой писатель, как Куприн, столь чуткий к изменениям и в природе, и в общественной жизни, и в литературном движении. И действительно, Куприн спешил поспевать и за «темами», и за «течениями общественной мысли». Писал он об «отзвуках» и русско-японской войны, и кануна революции 1905 года, а затем и послереволюционной поры. Писал он и о заводе (повесть «Молох»), и об очаровательной полесской дикой красавице (повесть «Олеся»), и о женолюбивом Соломоне, пристрастившемся к любовному пиру с молоденькой бедной девицей («Суламифь»), и о публичном доме (роман «Яма») и т.д. Со вкусом к слову мог он писать о том, в чем знал особый толк: о беговой лошади (рассказ «Изумруд»), о цирковой среде («В цирке»). И сам он в жизни жаждет здоровых, сильных впечатлений. В 1910 году вместе с известным летчиком-спортсменом Уточкиным совершает полет на воздушном шаре; а вскоре же поднимается на аэроплане; опускается на дно моря в костюме водолаза и т.д. Знавшие Куприна признавали, что пришедшая к нему литературная известность нисколько не измельчила его натуры, как это чаще всего бывает со «знаменитостями».

В одном из лучших своих произведений — повести «Поединок» (1905 г.) — Куприн рассказывает о жизни и службе

русских офицеров в провинциальном городке недалеко от западной границы. В «Поединке» замечательна цепкость бытовой наблюдательности писателя: подпоручик Ромашов на приеме, а затем на обеде у полкового командира; пикник в роще; смотр полка — все это буквально стоит в глазах. И конечно же, позорнейший провал Ромашова, который, упоенный на смотру своими пылкими мечтами, сам того не замечая, расстраивает общее движение полуроты. Если у каждого крупного художника можно назвать найденную им незабываемую подробность для выражения тоски или радости, подозрительности и т.д., то у Куприна таким моментом становится чувство нестерпимого стыда, который испытывает Ромашов после провала на смотру: «Но вдруг ему вспомнились его недавние горделивые мечты о стройном красавце подпоручике, о дамском восторге, об удовольствии в глазах боевого генерала, — и ему стало так стыдно, что он мгновенно покраснел не только лицом, но даже грудью и спиной». Именно в этой физиологической яркости сильнее всего обнаружилась психологическая зоркость Куприна. Физиологический психологизм, если можно так выразиться, поражает в рассказе «Конокрады» — как мужики зверски убивают конокрада. И насколько неподатливее для Куприна та область психологической жизни, где происходят глубокие, кризисные процессы. Здесь касание «тайн» отзывается таким же несколько наивным «безумием», которое разыгрывается между Ромашовым и Назанским при общей догадке о любимой ими женщине:

«— И вы никогда не бываете у Александры Петровны?

Эти слова Ромашов сказал совсем шепотом, но оба офицера вздрогнули от них и долго не могли отвести глаз друг от друга. В эти несколько секунд между ними точно раздвинулись все преграды человеческой хитрости, притворства и непроницаемости, и они свободно читали в душах друг у друга. Они сразу поняли сотню вещей, которые до сих пор таили про себя, и весь их сегодняшний разговор принял вдруг какой-то особый, глубокий, точно трагический смысл.

— Как? И вы — тоже? — тихо, с выражением безумного страха в глазах, произнес наконец Назанский».

Любопытно, что Л. Толстому понравилось в «Поединке» сложное «начальническое» отношение командира полка к своему офицеру (сначала он громово распекает этого офицера, а затем по-стариковски добреет), а М. Горького, по рассказу очевидца, до слез трогал разговор Ромашова с забитым солдатом Хлебниковым (когда офицер, «тихо склоняясь к стриженой, колючей, грязной голове... прошептал чуть слышно: «Брат мой!»). Здесь два разных нравственно-эстетических представления о том, как выразить в человеке «душу живу». И в этом патетическом ключе «брат мой!» — явно горьковского звучания («Поединок» в первых изданиях и был посвящен М. Горькому) — выдержано множество характеристик и разговоров в повести. Во всяком жизненном материале есть своя основа, та характеристичность (прежде всего психологическая), которую не просто размыть внешними обстоятельствами. Известно, что гоголевский Манилов тоже значился русским офицером, но своим мечтательным «пареньем этаким», воздушными постройками каменных мостов через пруд и т.д. он прославился не в полку, не на поле сражения, а в своей Маниловке. Подпоручика Ромашова одолевают уже в самом полку маниловские грезы, и вот была бы славная боеспособность полка, состои он сплошняком из таких нежнейших существ. Как ни тонки и ни благородны рассуждения Ромашова, а куда больше красоты в самом исполняемом военном деле: «приемами против атак кавалерии Стельковский окончательно завоевал корпусного командира. Сам генерал указывал ему противника внезапными, быстрыми фразами: ”Кавалерия справа, восемьсот шагов”, и Стельковский, не теряясь ни на секунду, сейчас же точно и спокойно останавливал роту, поворачивал ее к воображаемому противнику, скачущему карьером, смыкал, экономя время, взводы, — головной с колена, второй стоя, — назначал прицел, давал два или три воображаемых залпа и затем командовал: ”На руку!” — ”Отлично, братцы! Спасибо, молодцы!” — хвалил генерал».

Как трудно распознать в людях истинно значительное и мелкое, а о военных людях особенно рискованно судить по

ораторским качествам, — скромный, невидный Тушин совсем стушуется в ораторском собрании, а между тем кто же будет спорить, что Тушины — соль русской земли. И поэтому было бы неосновательно говорить, что в полку все дураки, один юный подпоручик Ромашов прогрессист да еще философ-алкоголик Назанский мудрее всех. Этот Назанский во время катания на лодке с Ромашовым произносит тирады, воспаряя к литературно-профессорским высотам: «Давно уже, где-то вдали от наших грязных, вонючих стоянок, совершается огромная, новая, светозарная жизнь. Появились новые, смелые, гордые люди: загораются в умах пламенные свободные мысли».

Читая Куприна, видишь, как трудно приходилось ему справляться с обступавшими его со всех сторон «течениями». Конечно, сам уровень культурных традиций, определявший первооснову творчества, давал главные точки опоры в текучести материала, поэтому Куприн мог повторять: «Самое важное — язык: простой народ бережет его, украшает, ценит, относится к нему как к драгоценному сокровищу. Не случайно поговорки, пословицы, меткие словечки родились не в семье интеллигентов, а в гуще народной — в деревенской избе, у ночного костра, в степи и в лесу, на работе, в поле и у станка». Самому Куприну зачастую не удавалось сохранить в своих рассказах и повестях чистоту и крепость этого народного языка, он сам чувствовал расслабленность своего слова (там, где возобладала отвлеченность, морализирование). С подкупающей, хотя и несправедливой небрежностью к своему писательству он говорил: «Моя работа — второй сорт».

Так может сказать только человек душевно талантливый, не чернильная душа, и вот почему купринские рассказы и повести так сильны обаянием такого рода талантливости, с которой как-то «домашнее» читателю после чтения, например, Бунина, куда более «мастера», чем Куприн, но не располагающего к себе свой дворянской спесью, как и своим вызовом в нарочитом показе беспросветного идиотизма и хамства русской деревенской жизни (повесть «Деревня»), как некоего прообраза самой России.

Куприн, видимо, и не имел особых философских видов, когда затрагивал «известные» мотивы русской литературы, но для бдительных критиков здесь много подходящего материала. Разве нет повода для зачисления в славянофилы героя повести «Молох» доктора Гольдберга, который, рассказывая другу-инженеру об «очень интересном хирургическом случае», заключает: «Изумительный, я вам скажу, народец: младенцы и герои в одно и то же время. Ей-богу, я не шутя думаю, что только русский терпеливый мужик и вынесет такую починку балды. Другой, не сходя с места, испустил бы дух. И потом, какое наивное незлобие: "В драке нечто разберешь?.." Черт знает, что такое». Более жизненно говорится о русском человеке в рассказе «Болото» — студент думает о леснике Степане, которого ночью поднимают вестью о лесном пожаре и который «без рассуждений, без жалоб, разбитый лихорадкой», встает среди ночи и уходит по делу. «Какая загадочная, невероятная жизнь копошилась по ночам в этом огромном, густом, местами бездонном болоте?.. А Степан шел теперь через это болото совсем один, тихо повинуясь судьбе, без страха в сердце, но дрожа от холода, от сырости и от пожиравшей его лихорадки, от той самой лихорадки, которая унесла в могилу трех его детей и, наверное, унесет остальных. И этот простосердечный человек, с его наёженой бородой и кроткими, усталыми глазами, был теперь непостижим, почти жуток для Сердюкова».

Странность соседства разнородных слоев нигде у Куприна так не бросается в глаза, как в рассказе «Мирное житие». Герой рассказа старик Наседкин приходит в собор. «Певчие замолчали, и вслед за ними замолкли один за другим невидимые хоры в углах и в куполе. Тихим, слегка вздрагивающим, умоляющим голосом, так странно не похожим своей естественностью на обычные церковные возгласы, священник проговорил первые слова великого канона:

— Откуда начну плакати окаянного моего жития деяний? Кое положу начало, Христе, нынешнему рыданию?..

— Помилуй мя, боже, помилуй мя! — скорбно заплакал хор.

”Нынешнему рыданию! — повторил мысленно Иван Вианорыч, почувствовав в затылке у себя холодную волну. — Какие слова!..”»

И этот же человек, выйдя на улицу, торгуется, сколько дадут ему процентов за одолженную крупную сумму, — это ли не разящее разоблачительство? Но и Горький начал бы с «другого конца»: сперва бы — об этих процентах, а потом — о способности чувствовать «в затылке у себя холодную волну» в сокровенные минуты, — и было бы не так фельетонно, а размашистее, в духе лютовых и булычовых, что ли.

Метафизические проблемы и не влекли к себе Куприна, и он просто скучал бы в том мире, куда было устремлено воображение художников одного с ним поколения: Бунина с его «Господином из Сан-Франциско», Рахманинова с его «Колоколами», Андреева с его чувством космического одиночества... Мерою самосознания каждого художника является то отношение его к временному, которое неизбежно одушевлено идеей бесконечности.

Самое трогательное в судьбе Куприна — это его тоска на чужбине о родине. Оказавшись в эмиграции в Париже, Куприн говорил: «Есть, конечно, писатели такие, что их хоть на Мадагаскар посылай на вечное поселение — они и там будут писать роман за романом. А мне все надо родное, всякое — хорошее, плохое — только родное». Куприну словно заново открывается, что только у «насквозь русского человека» может быть такая «послушность необходимых слов».

«Мы, в изгнании и в рассеянии сущие...» — писал Куприн в первую годовщину со дня смерти Репина. В 1937 году писатель вернулся на Родину. С тех пор его книги выходили у нас большими тиражами: современный читатель охотно читает Куприна, и объяснение этого можно найти в наиболее, может быть, «купринском» рассказе «В цирке». Сам писатель говорил о своем рассказе: «Тема сама по себе не больно сложная, но какой простор для меня: цирк днем во время репетиций и вечером во время представления, жаргон, обычаи, костюмы, описание борьбы, напряженных мускулов и красивых поз, волнений толпы и т.д.».

Во всем этом есть что-то от нетерпеливости того преизбыточного темперамента, который у Куприна выражался в жадном интересе к профессиям, к людской толчее и соответственному говору, в самой его «степной» натуре. И какой все растущей тревогою чувства захватывают нас последние, предсмертные приготовления к поединку тяжело больного русского борца Арбузова. И эта купринская душевная сосредоточенность — та ниточка, которая тянется к Китежу русской культуры, сплетаясь с ее мощным колокольным звоном.

ЗВУЧАЩЕЕ ЧУДО

Среди тех, кто оставил воспоминания о великой русской певице Надежде Андреевне Обуховой, есть одно любопытное свидетельство — женщины-врача, следившей постоянно за состоянием ее горла. Эта врач пишет, как изумлена была она, впервые обследуя горло певицы, как перед нею «открылась великолепная незабываемая картина»: «никогда ни до этого, ни позже мне не приходилось видеть столь тонкого и высокоорганизованного голосового аппарата»; «великолепные мощные связки плотно смыкались, как подобает при низком голосе», «прекрасно открывавшийся надгортанник и чудесная надставная трубка» и т.д. Все это, вероятно, в самом деле достойно профессионального восхищения, и верно замечает врач, что перед нею было «необыкновенное чудо природы, еще одно творение ее неиссякаемой силы».

Но, конечно, голос Обуховой — это не просто меццо-сопрано и даже не только тот голосовой феномен, который поразил «специалиста», а что-то гораздо сложнее, непостижимее, так же как и наше восприятие пения, музыки — только ли результат действия колебания частиц воздуха на нашу барабанную перепонку и уже вовсе не следствие одних только физиологических изменений — под ударами звуков — в нашем организме. Музыка, как никакой другой вид искусства, рождает в нас, в глубинах нашего духа ощущение самой

бесконечности, таинственной связи нашей с нею. И если могущество музыки в гармонии, объединяющей даже и противоположности, то это соединение не во внешнем примирении, а во всеединстве идеальности сущего.

Когда один крупный музыкант говорил, что для него нравственные вопросы являются более волнующими, нежели даже музыка Баха и Бетховена, то это может быть непонятным только для тех, кто не испытал в себе хотя бы, например, сладости доброго дела. Эстетическое «искушение» музыки, однако, остается в силе с того древнего времени, когда автор собственного жизнеописания, полагая, что «через наслаждения пением слабый дух мог подняться» до возвышенного настроения, признается тут же, что нередко «на меня больше действовало само пение, нежели его содержание», и это он считает ослаблением в себе самопознания, «опасностью наслаждения».

Скуден дар певца, когда он только «вокал». Но вот когда к Михаилу Васильевичу Нестерову за несколько дней до его смерти приходит Обухова, и она поет для него, и это было для художника последней его радостью — то это уже не просто пение. В голосе Обуховой было нечто большее, чем «вокал», и думается, что душе ее было бы созвучно сказанное современником-философом о народной жизни, о причитаниях во время крестьянских похорон: «Тут и польза, и добро, и святыня, и слезная красота. Теперь сопоставьте с этим причитанием интеллигентский концерт, и вы сами почувствуете, как он беден содержанием». Сама Надежда Андреевна в «Моих воспоминаниях» рассказывает, как однажды в концертном исполнении должна была идти опера «Хованщина» и как она после долгих размышлений отказалась от участия в концерте. «Я настолько любила партию Марфы, настолько сжилась с этим образом на сцене, что мне казалось, будто в концертном исполнении я не смогу почувствовать того настроения, утеряю тот образ, который давала в спектакле. Освещенный зал, публика, концертное платье, рядом дирижер и оркестр, все это, вместе взятое, очень отвлекало бы меня и мешало бы перевоплотиться в мой

любимый образ так, как мне хотелось бы. Я боялась утратить то большое, глубокое чувство, которое жило у меня в душе...»

При такой боязни «утратить глубокое чувство» и сами концертные выступления Надежды Андреевны не были пением «на публику» (нас и сейчас чарует в записи исполнение Обуховой романсов и русских народных песен).

Что такое обуховский голос, из каких сил возникло чудо — нам будет яснее из «Моих воспоминаний» самой певицы. Надя Обухова провела свое детство в деревне, в имении Хворостянка Тамбовской губернии. Ребенку было всего только два года, когда умерла мать, и все заботы о воспитании сироты легли на дедушку Андриана Семеновича, который сам был замечательным музыкантом и многое сделал для музыкального развития внучки. Со стороны же отца дедом Обуховой был известный русский поэт Баратынский. Впечатлительная душа будущей певицы с детства впитывала в себя все родное. «С самых ранних лет я любила русскую природу, русскую деревню, русские песни с их затаенной тоской и грустью». «По большим праздникам в соседних селах устраивались ярмарки... И вдруг среди общего веселья, хохота, гама и шума раздавалось протяжное пение — это подходили слепцы и пели духовные песнопения и сказания о подвигах русских воинов. Слепцы шли медленно, положив друг другу руку на плечо, точно спаянные живой цепочкой, — старые люди в лаптях и зипунах, впереди них шел мальчик-поводырь. И так проходили они пешком всю родную землю, прося милостыню». «Я сама так верила в Россию, так беспредельно любила с раннего детства родину, все русское».

В юности Надежда Андреевна жила и училась пению в Италии, но знаменитое итальянское бельканто не могло, конечно, подчинить себе выдающуюся русскую индивидуальность. За рубежом Обухова воочию видела громадный успех Шаляпина, когда он совершал свою первую поездку по Европе. «Появление Шаляпина не только певца, но и драматического актера произвело впечатление грома среди ясного неба... Будучи еще совсем юной девушкой, я не могла до конца проанализировать свои впечатления, но ясно помню,

как всем моим существом ощущала то новое, что внес Шаляпин в искусство, понимала, что это и есть та настоящая правда, к которой нужно стремиться, торжествовала, что наше русское искусство победило и что Шаляпин своим творчеством показал всю силу и самобытность русской реалистической оперы...»

Обухова поступила в Большой театр в 1916 году, когда там пели Шаляпин, Собинов, Нежданова. Это была новая жемчужина в короне русского оперного искусства. Об Обуховой как оперной певице рассказывается во многих воспоминаниях. По общему признанию всех, кто пел вместе с Надеждой Андреевной, кто видел и слушал ее на сцене Большого театра, незабываема была ее Марфа в опере Мусоргского «Хованщина». Не «игра», не «исполнение», а именно жизнь в образе морально сильной русской женщины. Надежда Андреевна говорила о ней: «Мне всегда хотелось, чтобы от моей Марфы веяло древней исконной Русью, чтобы движения были скупы, походка мягка, а глаза горели священным огнем». Обуховская Марфа напоминала русских женщин Сурикова, Нестерова. Начиная с Пушкина в русской культуре возникает целый ряд ярких женских образов, причем нравственно заостренных. И это был не просто «женский вопрос», а проблема национальная — куда «пойдет» женщина: будет ли она силой нравственно устойчивой, надежной основой семьи или будет чем-то иным? Пушкинская Татьяна, некрасовская Волконская, Феврония Римского-Корсакова — каждая из них неповторима, и вместе с тем роднит их общее: истинная их женственность — в верности моральному долгу, в любви глубокой, «единственной». Какое поразительное соединение в юной Февронии скромности до самоотречения («где уж мне, девице, важничать, свое место крепко знаю я»), ласки к старшим, чтобы они взяли ее под свой покров, и вместе с тем — духовной твердости перед лицом иноземного врага. Это тот психологический тип русской женщины, который в сознании мыслящих людей связывался с непреходящими нравственными ценностями. Это, возможно, и не отвечало «расцвету» женской личности. Тому «расцвету»,

который вызывал омерзение у Л. Толстого, когда он выводил красивую хищницу Элен Курагину, презиравшую семейную жизнь (и пошедшую на смерть, лишь бы не иметь детей), вызывал глубокую озабоченность судьбой русской семьи у Лескова, прекрасно видевшего, какого сорта матери могут выйти из этих заваливающих себя окурками «личностей».

Обуховская Марфа, горящая женской любовью и верою преданиям (певица сама так истолковывает образ), — тот колоритный, сильный характер, которыми была так богата русская жизнь. Мусоргский писал о народе: «Какая неистощимая руда для хватки всего настоящего! Жизнь русского народа, только ковырни, — напляшешься, — если ты истинный художник». «Неистощимая руда» — это когда действительное богатство содержания, разнородного, разнотипного, непокорного узкой норме, психологически сложного, даже противоположного, вроде — огненная Марфа и пусть даже вкрадчиво-почтительнейший Чичиков. Но если одни чичиковы с портфелями да их петрушки (даже и научившиеся правильно читать)... здесь особенно не напляшешься. И в опере русской поет Сусанин, поют Марфа, Досифей, Борис Годунов, юродивый.

Но чтобы запел Чичиков с портфелем... впрочем, может исполнить разве лишь соответствующую арию — указание Петрушке.

Народность в русском искусстве органична, как система кровообращения в организме, и это особенно очевидно в музыке, например в «Борисе Годунове» Мусоргского, где народ заявляет о себе действительно как «великая личность, одушевленная одной идеей», по слову самого композитора. Вслушайтесь в юродивого (пушкинский побочный образ, так гениально обогащенный музыкой, ставший самим гласом русской земли, и это выразительно передал в свое время И. С. Козловский), как стенающий голос его перерастает в стон голодного люда, просящего, требующего грозно: «Хлеба, хлеба», как затем затихающий хор снова переходит в плач юродивого; так глубока здесь причастность к народному, что мы чувствуем народную жажду и духовного хлеба.

Одна особенность русского искусстве сделала его явлением необыкновенным, и об этом проникновенно говорит Генрих Нейгауз в своей статье «Лучезарный талант»: «Кто слышал ее Марфу в "Хованщине", тот ее никогда не забудет. Но в этом именно величие Обуховой как артистки, что она, будучи до мозга костей, "с головы до пят" русской певицей, умеет так воплотить образ испанки Кармен или польки Марины Мнишек (ведь и Мусоргский, изображая Марину, сочинял "почти" польскую музыку), что никто ни на минуту не усомнится в том, что ее артистическое дарование универсально, что все "стили" ей подвластны, — а это является уделом только очень больших художников, это именно роднит ее и с Рахманиновым, и с Шаляпиным.

Когда я слушаю таких артистов, в моих разлетающихся мыслях почему-то неизбежно вспыхивает воспоминание о знаменитой речи Достоевского о Пушкине, всечеловеке... Правда, ведь он говорил не только о величайшем гении русской поэзии, он говорил вообще о русском человеке, о его душевных качествах — Пушкин был для него только ярчайшим примером, высшим их воплощением».

В рецензируемой книге* много самых разных выступлений, от раздушенного, в любезностях и клятвах, «письма друга» И. Андроникова до воспоминаний тех, кто фотографировал великую певицу, вел ее радиоконцерты и т.д. Очень ценны и очень полезны для читателя, любящего музыку, рассказы самих певцов, живших вместе с Обуховой на сцене Большого театра, — сколько здесь подробностей, которые приближают нас к чуду обуховского голоса, позволяют ощутить само дыхание этого чуда. Нельзя только не погоревать вместе с И. С. Козловским, как мало при жизни великой певицы позаботились «записыватели», чтобы возможно полнее сохранить в памяти потомков обуховский голос. Это тем более досадно, что со стороны тех же записывателей нет недостатка во внимании к микрофонным нашептывателям

* Надежда Андреевна Обухова. Воспоминания. Статьи. Материалы. М., Всероссийское театральное общество, 1970.

песенок, заполняющих эфир и магазины грамзаписи. Закрывая книгу, живо представляешь себе образ Надежды Андреевны Обуховой, величественной, почти царственной на сцене, а в быту — внимательной, обходительной с людьми, прекрасной русской женщины, и возникает горделивое чувство, что красота истинная не исчезает со смертью.

ЦЕННОСТИ НАРОДНОГО ХАРАКТЕРА
(заметки о книгах)

Какая это притягательная красота — моральное здоровье человека, цельность характера. Недаром один из величайших древнегреческих философов считал своим идеалом человека сильного, но обязательно простого, цельного душевно.

Выветрившийся слой не может породить крепкого растения; так только на почве народной жизни могут возникнуть сильные характеры. И то же самое — вечный источник нравственного, а следовательно — творческого развития личности — народная мораль. «Где больше народу, там правды больше,» — довелось мне как-то услышать в разговоре двух простых людей, и это глубоко верно. Именно в толще народа, в единстве множественности, и может найти личность, как часть целого, родственные и неизменяемые ценности. Из народного морального принципа, как из семени, может родиться целое древо культуры. Как сказал мне один фронтовик, теперь уже дедушка: «Начну жить на пустом месте с кирпича — и все будет, и для внуков, и для себя». Сила подобных слов в том, что это по сути и не слова, а в потенции действие самого характера, цельность бытия в нераздельности мысли и поступка. Народная мораль и исходит из самой, казалось бы, повседневности, несокрушимости ее. Не из головной солидарности, а из общности переживания, затрагивающего самое основополагающее в жизни. В народе не рассуждают о своих чувствах, но если уж что-то вырвется, то этого невозможно забыть. Моя мать, вспоминая своего младшего брата, сгоревшего в танке под Веной за неделю до конца

войны (ему было всего 20 лет), сказала: «Я целый год не могла затапливать печку, зажгу спичку и о Косте думаю, как он, бедный, в танке горел». И тихо заплакала. Я внутренне вздрогнул, — чтобы так, почти физически чувствовать муки брата, и никогда и никому об этом не говорила, первый раз вырвалось за четверть века.

В народной жизни неразложимы мораль и красота или, как принято называть, этика и эстетика. Было в старину слово «каженик» (искаженный, кажущийся), означавшее выродок нравственный, уродец духовный. С виду фигура даже и важная, надменно-«интеллектуальная», а все каженик. «Разоделся урод уродом» — это о любой, лишенной души, внутреннего содержания, форме — и в быту, и в искусстве, и повсюду. Жалкая претензия на первенство — хоть чем-нибудь выделиться, хоть разряженностью, хоть надменностью — при полной духовной пустоте. Конечно, все мелкое в литературе, все злобное и расчетливое, как и вообще все бездуховное, не имеет в ней будущего, и само по себе не заслуживает внимания, разве лишь в смысле психологическом — по какой причине стало возможно такое омертвение. В литературе поедом поедает себя экстремизм в отношении к народной культуре, к истинному творчеству, ибо творчество — это кровная связь с народом, его историей, духовно-нравственными традициями. Культурные ценности и могут рождаться только из этого родства с народом, а не из голых мозговых операций, обескровленных беспочвенностью мысли, ее стрелянием во все стороны, оторванностью ее от той силы, которая дает ей смысл и целесообразность — от идеала. В современной литературе происходят духовные процессы, знаменательные для нашего времени. Здесь хотелось бы сосредоточить внимание на той тенденции в нынешней литературе, которая связана с народным характером, с его нравственными и эстетическими ценностями. Тот долгий спор, который велся и еще ведется нашей критикой вокруг так называемой «деревенской прозы», невнимателен к главному в этой прозе — к тому, что лучшие книги последних лет о деревне подчеркнули жизненную необходимость

для развития литературы проблемы характера и языка. Памятные читателю претензии модной «интеллектуальной» прозы слишком быстро оказались несостоятельными, чтобы можно было подобные акции принимать в расчет потенциальных сил литературы. Книги о деревне обнаружили эту возможность характерности прозы, и в известном смысле произошло смещение материала в литературе, своего рода новообразование. Теперь уже можно говорить о «материке» в нашей литературе, возникшем из талантливых произведений о деревне.

Особенность этих книг, при различии дарований их авторов, в том, что выведенные в них характеры выражают опыт реальной народной жизни, моральную красоту людей из народа как принципиальную ценность бытия. Насколько благодатно влияние народного характера на писателя, сколько он может дать ему тепла и света, — видно на примере повести В. Распутина «Последний срок». На глазах съехавшихся детей, людей уже немолодых, умирает старуха-мать, и так нежалобно, возвышенно она уходит из жизни, что уже в самом этом есть что-то вечное. Ошибочно думать, что в мире не отзывается то, как человек жил, сознание этого пробивается в смутной скуке одного из сыновей старухи: «...Мать уйдет — и все, и одни. Не маленькие, а одни... Считалось: первая ее очередь, потом наша. Загораживала нас, можно было не бояться... Вроде как на голое место вышел, и тебя кругом видать». В жизни и «загораживают» так одни других, морально ответственные слабых... И даже в бытовом смысле — худо, если не будет таких самоотверженных бабушек, а будут такого рода, для которых внуки в тягость, только телевизор в радость, — разве это приобретение для общества?

Духовное величие народа складывается из индивидуальных сил, из моральной значимости личностей, а не из механической суммы их. И здесь непреложна только внутренняя значительность, как необманчива она в старухе-матери в «Последнем сроке», на душе которой тяжестью всю жизнь лежит самой себе данное наказание за погибших в войну троих детей.

Великая и плодотворная печаль за все отвечающего материнства, чтобы мир никогда «не старел без детей».

Повесть «Последний срок» написана тридцатидвухлетним автором, живущим в Иркутске, радует зрелое преклонение молодого писателя перед моральной силой народного характера.

Но тем больший спрос с таланта, когда этот талант соединяет свое развитие с материалом народной жизни — в этой вечной этикой и вечной эстетикой — и поэтому здесь логично ожидать основательности в плане духовном, а не только внешне бытовом. В этом отношении освоение В. Распутиным и другими авторами быта еще нуждается в углублении духовной культуры, в том смысле, что духовное самоуглубление приближает к полноте ценностей. «Золото — сердце народное», можно ли точно сказать, где оно есть, а где его нет. Мне рассказывал поэт Егор Исаев, как его воронежский земляк поправлял ему зрение: «Ты на меня глядишь, а ведь не видишь. Ты скорее всего меня в себе видишь. Ты зеркальце-то убери, в которое ты глядишься. Вот, а теперь ты на меня вот так погляди, — и приставил ладонь к глазам. — Ну, чего видишь-то?

— Тебя, дядя Митя.

— Ну погляди еще из-под руки-то. Отца видишь? А деда? Ты отца-то видишь, а еще за отцом и деда рассмотри. Вот так-то человек издалека идет и это далекое в нем лежит. Ты вглядывайся в это далекое в человеке, тогда и вперед подальше будет видать».

Это «далекое» зрение именно в своих родословных возможностях может быть и духовно бесконечным. И настоятельная проблема сейчас для тех, кто хочет вникнуть в народное миропонимание, — это не замкнуться в каких-то внешних признаках его, не лишать себя пытливости духа. Почему уважение к той же матери в «Последнем сроке» должно непременно требовать от нас духовной и эстетической глухоты, скажем, к Платону, Паскалю, Рахманинову.

Ведь сила «частного» открывается в глубинах общего, в той сокровенной основе, когда, по слову Л. Толстого, — чем

глубже зачерпнуть, тем общее. Умение увидеть человека в пучине морального родства с другими людьми (представьте, той же старухи и Паскаля, мучительно искавшего смысл жизни) — это и значит в быте постигнуть бытие. И тогда уже нет «деревенской», «военной», «научной» и другой темы, а есть жизненная содержательность.

У многих молодых писателей сейчас тяготение к народному слову, цельным людям. В сознании молодого героя повести В. Потанина «Пристань», едущего учиться в Москву, дорожные картины как бы поглощаются глубинным течением его воспоминаний о детстве. И как бы ни сложилась дальнейшая судьба этого человека, какие бы крикливые «интеллектуалы» ни попадались ему на пути, для него душевной «пристанью» на всю жизнь останется его нянька, постоянная в своих глубоких чувствах.

О военном времени один из рассказов А. Жукова — «Светлый день любви». Не случайно обращение многих молодых писателей к военному детству — там для них все горькое, но и все самое святое, оттуда идут к ним силы. Автор рассказа задумывается над вопросом большого морального смысла. Говоря о том, что одни родители выбрали своему ребенку имя Олег, что означает «святой», А. Жуков пишет: «Святой, святость — до этого ли нам, людям атомного, космического века! Впрочем, возможно, что если не святости, то сердечности, бережности отношений к миру и друг к другу нам именно и не хватает. Но восполним ли мы этот недостаток, выражая свои надежды в именах родных детей? Ведь первоначальное значение именам — как заклинание, как молитвенную просьбу о будущем — придали наши предки, которые завещали исполнение своих желаний детям, не добившись этого сами. Теперь мы возвращаемся к тому же на новом уровне, хотя для нас человеческие имена давно потеряли первоначальный смысл и остались просто условными обозначениями того или иного лица». Нам представляется перспективным это повышение духовной интенсивности в творчестве молодых писателей, отвечающих современному этапу народного самосознания.

Молодых авторов манит к себе родник народного слова, народной эстетики. Конечно, нужна огромная культура, эстетическая культура не одного поколения, чтобы создать такой образ (в русской сказке): «Если бросит на дороге полотенце — сделается быстрая и глубокая река; если бросит гребень — явится дремучий, непроходимый лес...» Развертывающийся, как сама природа, образ, как самозарождающееся бытие — как жалка, мертва перед этой тайной самораскрытия, перед этим естественным преображением вся вымученная конструкция «ультрасовременных», с позволения сказать, образов у стихотворцев, почитающих себя «новаторами». Это именно имманентно-природный образ, зерно всякого творчества, а не механически навязанный. В современной прозе плодотворна творчески свободная связь с народной эстетикой, нравственно-образной ее природой. Однако наблюдается здесь и некая стилизация, выпадение слова из современной психологически действенной связи. Важно не копирование, а принцип языкового мышления — духовно содержательного, эстетически емкого, богатого в языковых формах.

Когда в той или иной книге земля — это исключительно и только «деревенская земля», — это еще не вся правда и не вся истина. Ведь на земле не только пашут, но ей и кланяются в самое кризисное для человека время, как кланяется ей Родион Раскольников, обретший в ней, в родной русской земле, точку опоры, дотоле бившийся в мучительных «вечных вопросах». Как же закалится в самой народности слово, как углубится оно и еще полнее будет насыщено современным духом, если для писателя «земля» будет не только как до боли родная земля в родной деревне, но и откроется как категория духа, как та вечно нравственная ценность, в которой, собственно, разрешалась вся мучительная сложность противоречий больших русских художников.

В «Плотницких рассказах» В. Белова сооружается баня с каменкой, столь усладительной для любителя париться, делающая его «язычником» — по словам рассказчика. Но одной этой «языческой» радости мало было бы для рассказа

(да и кончается ли баней язычество героя?), так же как и, говоря шутливо, синтеза банных традиций с современной цивилизацией в виде совмещения героями жаркой мойки с одновременным слушанием песни Шуберта из цикла «Прекрасная мельничиха», раздающейся из транзистора, замаскированного под лавкой старым веником. Выход из поэзии печки в другом — в самой «метафизике» характеров плотника Олеши Смолина и его однодеревенца Козонкова, в сложности их взаимоотношений. Разгорается бой между ними, затеявшими на пирушке спор о прошлом, о том, кто был «сплоататор» в деревне, а кто просто работящий мужик, который для Козонкова всегда был непременно «буржуй». Не выдержав спора, Козонков называет Смолина «контрой» и, вцепившись в противника, «начал стукать о стену лысой Олешиной головой». Переживания рассказчика, расстроившегося, что своим предложением «в открытую» разобраться друг в друге он вызвал эту драку и, значит, ненависть обоих к себе, — ничего не стоят в сравнении с изумлением его, когда, призванный на другой день в дом Смолина, он видит за столом вчерашних бойцов, которые мирно беседовали, «как старые ветераны». Это уже не парилка в бане, а что-то посущественнее, и не только в бытовом плане.

Это черт знает что такое: не то загадка, не то рок: сперва головой твоей обобьют стену, а потом обнимут по-братски. Но как бы то ни было, это уже антиномичность характера, которая дает пищу для размышлений.

Когда произошло достаточное накопление авторского материала, то становится необходимым, во избежание застоя его, переход из одного психологического состояния в другое, в какой-то мере качественно новое, — так появилась повесть А. Иванова «Жизнь на грешной земле». Здесь мы видим, как духовно проясняется эта обычная у Анатолия Иванова жестокость столкновения между людьми, как она переходит в борьбу внутреннюю, душевную. То, что пережил Павел Демидов, — не под силу, кажется, одному человеку. Не один Павел, а вместе с ним и мыслящий читатель не может не остаться потрясенным оттого, как это возможно то, что ста-

лось с Демидовым, у которого из-за мстительного однодеревенца Макшеева «покатилась жизнь... колесом куда-то в пропасть». Но как ни остра тяжба недругов (Демидов каждый раз следует за Макшеевыми, когда они меняют местожительство), оставляющая впечатление почти таежной охоты за зверем, — все же напряженность стержневая в другом. Наступает подходящий момент для возмездия. Это момент переворачивающий, ставящий человека в сложнейшую борьбу с самим собою. И писатель эту борьбу и выход из нее показывает не как умствующее дело, а в страшном напряжении всех сил героя перед опасностью, на самой грани жизни и смерти.

Сам как будто того не желая, словно против воли, Демидов спасает тонущего в проруби своего врага. Это внутреннее смятение Павла полно глубоко морального смысла. И в Демидове весь узел мучительных переживаний, внутренних противоречий концентрируется в конце концов в моральную силу. Это характер новый и, хочется думать, не случайный у А. Иванова не в отрицательном своем действии (как Григорий Бородин в романе «Повитель», натура сильная и драматическая), а в нравственной положительности, ничем не разрушаемой человечности — никакими обстоятельствами, никакими страданиями. Ведь все пережитое Павлом не убило в нем живой души: столько у него отцовской нежности к приемным детям. Это типично русский человек с такой заложенной в нем моральной основой, которая позволяет ему оставаться человеком при тягчайших жизненных обстоятельствах.

* * *

В солдатском деле нельзя прикрыться ни фразой, ни позой. И сама память о погибших требует от каждого из нас такой же дельности и ответственности. Величие нашего солдата, прославившего Россию на весь мир, предполагает и величие других дел. Все то, что вырабатывалось веками в национальном характере, что отложилось вечного в духовной

истории народа, — все это поднялось в войну к действию, к сопротивлению врагу. И нет более испытующей силы для творческой личности, чем эта причастность к народному опыту. «Сил со мною буди», и слово преображается.

К сожалению, порою война мыслится на уровне таких мелких, явно придуманных «проблем», что недоумеваешь: неужели это говорится всерьез? Автор книжки «Эммануил Казакевич» А. Бочаров рассуждает таким образом по поводу одного из эпизодов из романа «Весна на Одере»: «И мы начинаем яснее понимать высокую человечность Лубенцова, как существенную черту его характера. Гвардии майор отстаивает перед командиром дивизии свое решение не посылать в поиск Мещерского.

— Мне бы не хотелось его посылать, — сказал он медленно.

— Жалко?

— Жалко.

— А солдат не жалко?

Лубенцов возразил:

— И солдат жалко. Но Мещерский поэт... Он стихи пишет.

— Поэт, поэт! — засмеялся генерал. — Если бы он был поэт, его бы в газетах печатали.

Лубенцов сухо сказал:

— Всему свой срок».

Приведя этот разговор, критик заключает: «Что ж, приказ есть приказ, Мещерский пошел в разведку. Но сам факт, что Лубенцов возражал, и то, как он возражал, приоткрывает нам душу настоящего человека».

Оправданна ли та важность, с какой критик выводит патетическую «проблему» из очевидной, в сущности, безнравственности: раз человек пишет стихи (признак «интеллектуала»), то цена его жизни не идет в сравнение с жизнью «простого» солдата (который, конечно же, не способен к такой высокомозговой функции, как рифмовка слов).

Одна из величайших вечных ценностей жизни — основательность характера человека из народа. Основательность ни на что не претендующая, вовсе и не задумывающаяся о своей

значимости, а существующая сама по себе, естественно и уверенно, так что даже трудно представить равновесие мира без таких основополагающих сил. И то гносеологически-принципиальное, что принято называть в русской философии живым знанием, корнями своими — корешками, капиллярами, самим дыханием своим — связано с цельностью народного характера, таящего в себе не психическую пыль отвлеченно мыслящей личности, а все богатство душевно скрепленных, мыслящих и деятельных сил человека. Каждому свое. Кто одно только и скажет: «выдюжим», и как по мосту идешь, возникшему вдруг над пропастью. В этом «выдюжим» — та же надежность, о которой в старину говорили: без таких людей не может стоять град. В Великую Отечественную войну выдюжили великие наши солдаты. Если смысл исторического бытия народа — в беспрерывности подвига, то подвиг нашего фронтовика в минувшую войну требует от потомков своего духовного эквивалента, — это значит дополнять друг друга, жить общей исторической народной жизнью.

В романе Ю. Бондарева «Горячий снег» впечатление силы уравновешенной, на которую можно положиться в любых обстоятельствах, оставляет сержант Уханов. Он поистине один из тех, на которых родная земля стоит, и это чувствует его командир — лейтенант Кузнецов.

Роман «Горячий снег» дает интересный психологический материал, помогающий уяснить волевую природу нашего воина. Даже в «механических» обстоятельствах эта сила не механическая, а чрезвычайно сложная духовно. К генералу Бессонову, пробивающемуся вместе с колонной войск навстречу противнику, подводят танкиста, который с «остатками роты... вырвался» из боя.

«— Проверьте, как там чувствуют себя остальные танкисты в машинах!

— Есть проверить, товарищ командующий, — ответил Божичко слабым криком изумления и покорности, словно в эту минуту исходила от командующего какая-то смертельная волна, краем коснувшаяся и его, адъютанта. И это было Бессонову неприятно. Он пошел вперед по дороге».

Воля — не ослепленно замкнутая в своей, так сказать, физической энергии, а нравственно живая (ему было «неприятно»), и в то же время это «смертельная волна». Труднопостижимый для механической силы волевой тип!

Бессонов — средоточие воли всей армии, когда он руководит сражением, и читатель невольно заражается грозовым зарядом его властности. После сражения тот же Бессонов, вручая оставшимся в живых артиллеристам ордена Боевого Красного Знамени, думает потрясенно: «Все, что могу, все, что могу... А что я могу сделать для них, кроме этого спасибо?»

Это даже не сочетание, а неразложимая сложность «разрушительной ненависти» и сокровенного родства.

Если бы лейтенанта Кузнецова спросили после боя, отчего он не приказал Уханову снять панорамы с орудия под бомбежкой, а одинаково разделил с ним опасность, он шутливо мог бы сказать: на миру и смерть красна. Сокровенно то, что еще не выражено, не стало фразой; нашего человека легче вызвать на откровенность грубоватую, нежели на такую, где замешана отзывчивость. И сколько непровозглашаемых духовных сокровищ таится, как говорили когда-то, в скрове народной памяти.

Социально-исторический опыт нашего народа — неисчерпаемый кладезь нравственной красоты и величия, и развитие литературы связано с этим опытом, в бесконечном богатстве и своеобразии народных характеров.

* * *

В литературной записи военного писателя Ивана Падерина вышли «Записки снайпера» Василия Зайцева, легендарного участника Сталинградского сражения, озаглавленные: «За Волгой земли для нас не было». Первое, что читатель находит в этой книге и что покоряет его, — это дельность слова, поистине солдатская ответственность за сказанное (не забудем, что «солдатское» — это не только «военное», но и вообще все добросовестно прилагаемое к любой человеческой

деятельности: солдат мира, солдат культуры и т.д.). Это и дельность рассказчика, свободная от празднословия и верная фронтовой правде, с поразительной достоверностью подробностей и жизненностью характера. В самой судьбе и натуре Василия Зайцева есть что-то и от внешней незаметности толстовского Тушина, и от неунывности тех народных самородков в рассказах и повестях Н. Лескова, которые в каких только жизненных переплетах не побывали, а все душа жива. «Мал золотник да дорог», — говорят в народе о таких невидных с виду людях, как низкорослый Василий Зайцев, которого в детстве необидно прозвали «аршином в шапке», но и с детства же пошло уважение людей к этому удивительному внутренней зоркостью «колобку». Зоркостью именно внутренней — с того времени, когда еще двенадцатилетним мальчиком, следуя мудрым советам деда Андрея, охотился в уральской тайге, и из первой же таежной опасности извлек для себя простую истину: «И удивительно, ни дедушка, ни отец, ни мать, ни бабушка, ни сестра, никто из родственников не придал этому особого значения, — обыкновенный эпизод из жизни двух охотников. Ночевали в лесу, в трескучий мороз, убили двух волков и вернулись домой — все нормально и привычно». Это глубоко народная черта — исполнять разумно любое, даже самое опасное дело, и не видеть ничего особенного в этом, а так должно быть, все на земле должно происходить нормально и целесообразно. И впоследствии, когда он стал моряком, а потом воевал в пехоте, когда прославился лучшим первым сталинградским снайпером, — Василий Зайцев принимал все как должное, с тою основательностью и неложною простотой, что достается в наследство от народного опыта. Прежде всего, это склад мышления, основанный на природном чутье к сущности явлений и к людям, на деятельном начале и объемном юморе. Посмотрите, как живо перевито и «уставное», железное и простодушно «зайцевское» в этом безоглядном решении, вызванном долгом: «— Дайте ему снайперскую винтовку... — И, подозвав меня, приказал: — Товарищ Зайцев, считайте всех фашистов, которых прикончите. Два уже есть. С них и начинайте счет...

Я понял это указание командира, как приказ, но приступить к его выполнению по всем правилам не мог: боевая обстановка вынуждала заниматься другими видами борьбы с фашистами (курсив мой. — *М. Л.*)». Своя особенная «физиономия» в этой рассудительности, как и в юморе, когда солдат говорит о фашистах, отправляемых в «крестовый батальон»; и особенно тот момент, когда уже знаменитым снайпером Василий Зайцев в Москве прибывает по «вызову» важных ученых лиц, изучающих в кабинете за чайком «опыт Великой Отечественной войны» и как сквозь первую растерянность, почтительность к изучающим «опыт» непроизвольно проглядывает насмешливый умный взгляд солдата, все замечающего и знающего всему свою цену. И вместе с этим — сколько выношенного, испытанного лично на себе и «общего» солдатского, братского в этих почти эпических словах о «солдатском небе», которое «над боевыми позициями всегда кажется с овчинку. Постоянно чего-то не хватает: то еды, то боеприпасов, то нет условий для отдыха. Зато вдоволь, хоть отбавляй, опасности. Попросту гляди в оба, иначе смерть. А если начинается непогодь, считай: дыра в небе открылась именно над твоей головой, и все, что есть на свете мокрого, слякотного, холодного, предназначено для тебя, чтобы ты продрог до мозга костей. И кажешься ты себе тогда огромным неукрываемым великаном».

Если чуть-чуть это «символ», то совсем ненавязчиво оно, великанство солдата, а даже как бы и необходимо, — возникая из психологической правды самочувствия его, открытого со всех сторон и для непогоды, и для вражеского огня, и видящего себя как бы огромной неукрываемой мишенью. Это мог сказать только человек, который вмерзал в ледяную землю. Но, конечно же, это и богатырь в полный размах своих сил, вышедший во поле чистое и видимый отовсюду на земле, как это и было с нашим солдатом в минувшую войну. Но чтобы решиться на такое «преувеличение», надо знать этого богатыря не «вообще» (тогда-то и получаются мертвые «символы»), а в живых, мельчайших подробностях фронтовой жизни. Именно жизни, ибо если справедливо, что чело-

век ко всему привыкает, то на войне это подтверждалось в полной мере. «Наши солдаты научились жить в огне», — говорит Василий Зайцев, и в книге дышит эта огненная обстановка, — с землей, «вздыбливающейся» от двухсуточной молотьбы вражеских бомб и снарядов; с таким привычным гуденьем и грохотом, что кажется уже «не к добру» внезапная тишь; со смертельной усталостью оставшихся в живых: «Я стоял перед комбатом, а сердце, все внутренности во мне спали». Должен признаться, что, прочитав эту книгу, я впервые представил себе, что это значило — сталинградские бои, в «разрезе» отдельного дома и даже отдельного заводского цеха, когда «наверху — фашисты, а в подвале — наши раненые...» «Я высунул (из щели) голову, осмотрелся. Оказывается, мы пробрались в кладовую инструментального цеха: кругом шкапы, стеллажи с инструментами и разными деталями. Отсюда можно видеть, что делается в токарном и сборочном цехах. В токарном — немцы. Укрываясь за стенками, ждут подносчиков пищи...» — и т.д. Но это не та «окопная правда», получившая хождение в нашей «военной литературе» с пересыпанием скрытно-полемических «окопных» фактов, которая выдает скорее расчетливость автора, нежели житие его в фронтовой действительности. Здесь же сама реальная боевая обстановка, точность и доскональность того, что «положено» знать солдату, «положено» по долгу службы и опыту пережитого, когда сами действия все говорят о характере героя..Если вспомнить, что в последнее время вышли воспоминания о Великой Отечественной войне наших крупных военачальников, обозревающих события (в том числе и Сталинградскую битву) с высоты армии или фронта, то ярким добавлением к этим масштабным картинам надо счесть эти «Записки снайпера», где обнаруживается тот самый первоэлемент, из которого рождалась победа, — подвиг нашего солдата. И это, пожалуй, первые в нашей литературе по-настоящему солдатские записки о войне — характеристичностью разговора и самого облика героя-рассказчика. Солдатское мы видим не только в «мелочах», в «осьмушке махорки-полукрупки», в «лопате-телефоне», когда

с помощью лопаты, воткнутой в грунт до самого заступа, прослушивается земля и присутствие противника на ней; но и в краткости — местами как в боевом донесении — языка, афористичности его («силен тот воин, кто умеет себя победить»; «ведь мертвые бывают в строю только на перекличках, а бой ведут живые» и т.д.). И в нравственной развитости личности, в том сложном составе мыслей и переживаний ее, где скрепляющей силой становится человечность, и это передано во внешне сдержанном рассказе и о встрече Кузьмы Афонина с матерью — на виду строя моряков, когда всю колонну «как электрический тот просквозило» волнение; и о фронтовой дружбе людей разных национальностей; о заботливости крестьянски обстоятельного и на войне Петра Ивановича о своем младшем земляке Василии Зайцеве, — и это так просто и сердечно, что хочется привести данное место: «— Ну, Вася, я твоих словечков понимать сейчас не хочу, пожрать тебе надо.

Присели мы к котелку. Ныряем в него ложками по очереди. Смотрю, мой Петр Иванович своей ложкой крупу подхватывает, а мясо и жирную подливу под мой бок в котелке теснит.

— Что же ты, Петр Иванович, мясо не берешь?

— А у меня, Вася, настроение сегодня такое, — объяснил он явно неудачно. И чтобы окончательно замять разговор о мясе, заговорил ласково: — Ты вот что, Вася, попей чайку, да усни хотя бы на часок, а то у тебя глаза покраснели, как у рака. А гвозди и фанеру я принес.

Привалившись спиной к куче свежего песку на дне траншеи, я снова уснул. Проснулся ночью и не поверил себе: Петр Иванович укутал меня... своей шинелью, под головой вещевой мешок, ноги завернуты фуфайкой. Мне подумалось, что более мягкой и теплой постели не найти сейчас во всем Сталинграде.

— Петр Иванович, ты не замерз в одной-то гимнастерке! Зачем ты...

— Я, Вася, не мерз, работой грелся.

Оказывается, пока я спал, он прокопал новый ход сообщения к блиндажу».

Но Василий Зайцев прежде всего снайпер, и снайперский прицел становится в книге вроде собирательного центра всего материала. И мы сами как будто под наблюдением этого центра — довольно странное психологическое ощущение, объяснимое, может быть, только силою всепоглощающей страсти, владеющей мастером своего дела и оттого заразительной для других. Наблюдения снайпера за поведением людей в их «переходном», под его прицелом, состоянии, полны острого интереса и производят, как все, доступное лишь исключительным обстоятельствам, действие глубоко внутреннее. «Наблюдать за поведением противника — моя страсть. Вот увидишь — из блиндажа выходит такой напыженный фашистский офицер, важничает, повелительными жестами разгоняет солдат в разные стороны. Они точно выполняют его волю, его желания, его каприз. Но он не знает, что жить ему осталось считанные секунды. Я вижу его тонкие губы, ровные зубы, широкий тяжелый подбородок и мясистый нос...» Бывает, и человек делается для нас еще дороже по своим моральным достоинствам, когда мы ближе узнаем его в «деле». Так и Зайцев: простота его поднимается на недосягаемую высоту, когда он припадает к оптическому прицелу, когда пускает в ход свой зайцевский снайперский «почерк», парализующий вражескую умелую стрельбу «навскидку», «влет», когда огромным самообладанием поддерживает дыхание, чтобы оно не стало «дергунком», не мешало плавно нажимать спуск; когда при стрельбе сверху вниз — «а в таких случаях скрадывается расстояние» — не верит глазомеру с первого взгляда, а накидывает «минимум одну восьмую к привычной сумме метров»; когда делает поправку и при зрительном мираже, возникающем в нагретом колеблющемся воздухе от бесконечного огня из всех видов оружия и т.д. Одним словом, тончайшее знание самой техники меткой стрельбы, но образно трудность этого дела сам снайпер определяет так: «Путь к меткому выстрелу — это маленькая тропинка, проложенная по краю обрывистого берега бездонной пропасти». И в книге видно, чего стоит «путь к меткому выстрелу» — какой выдержки и напряжения всех заложен-

ных в человеке способностей, какой изобретательной подготовки, чтобы, как говорит, не мудрствуя лукаво, Василий Зайцев, «приступить к решению задачи одним выстрелом». Зайцевское «решение задачи» со всей проницательностью проявилось в его поединке с «суперснайпером» Конингсом, начальником берлинской школы снайперов, прилетавшим в Сталинград со специальным заданием — покончить с «главным зайцем». Поединок этот, кончившийся гибелью «гостя», читается и как захватывающая военная история, и как разгадывание двух характеров, в узкопрофессиональном смысле, кажется, имеющих и что-то сходное (опытность, осторожность и прочее), но тем более несходных в природе своего поведения, своего характера. Оказалось, что бездушно-мстительный, машинный прицел куда более уязвим в качестве мишени, нежели интуиция нравственного порядка. Мастерство Зайцева не вышколено, он ведь и школы специальной не оканчивал, в его снайперском совершенстве поражает именно гениальная интуиция, не механичность действия, а ориентация в бою, как в живой природе. Зоркость растет в бою, но исходное — оттуда, из детства, из тайги, из сродственности с природой, родной землей. И это уже не просто навыки охотника, а целое мироощущение с непрекращающейся нравственной связью с природой. И с непрекращающейся работою совести — явление как будто немыслимое на войне, но это так только для поверхностного взгляда. Известно, чем заканчивалось освобождение Гитлером своих солдат от совести.

Попрание совести обратилось машинной обездушенностью человека, понижением и в конце концов разрушением его жизнедеятельных сил, лишившихся организующего нравственного центра; а в сугубо практическом смысле — ослаблением самого приноравливания к внешним условиям из-за нарушения разумной координации действий. То, что существует прямая связь между моральной основой человека и его волевой изобретательностью, — можно вывести из известного нам поединка Василия Зайцева с фашистским «суперснайпером», вообще из действий русского снайпера, под-

чиненных той неодолимой внутренней силе, которую он сам называет «совестью». Может быть, в этом и феномен характера нашего солдата — в неразложимой сложности силы воли и совестливости.

В предвоенный период сознание таких людей, как Зайцев, формировалось под влиянием активных идей Советской власти, взывавших к интернациональной солидарности мирового пролетариата. Это призвано было воспитывать в советском человеке патриотизм, что не приводило к забвению прошлого родины. Не случайно перед самым началом войны получили такое широкое распространение фильмы о наших великих предках — об Александре Невском, о Дмитрии Донском, Александре Суворове.

Глубочайший смысл в неразмываемой внешними обстоятельствами сущности этого характера, который заставляет вспомнить, конечно же, «суворовское» — как психологический тип сознания, не замкнутого механистической логистикой, а одухотворенного морально. Любопытно вспомнить, как русский резидент в Константинополе писал Суворову: «Один слух о бытии вашем на границах сделал и облегчение мне в делах и великое у Порты впечатление...» И этот же полководец, одно имя которого наводит страх на противную сторону, говорил: «Если вы хотите истинной славы, следуйте по стопам добродетели». Связь, казалось бы, загадочная, но только для интеллекта, не способного постигнуть того, что односторонность истощает себя в самом корне.

Поэтому ненависть фанатичная бесплодна, как «акция» односторонняя, элементарная, так же как исторически действенна та «ярость благородная», о которой говорилось в песне времен Великой Отечественной войны. Русский человек добр до крайности, но в ненависти к врагу он неумолим. «Есть упоение в бою», — Пушкин и здесь ясновидец, как поэт национальный, как и в своем откровении о всечеловеческой отзывчивости русского человека.

В «Записках снайпера» плодотворно это единство яростности, «упоения в бою» и удивительной человечности нашего солдата, представляя собою в цельности тот тип духовной

красоты, возникновение которого возможно только на народной почве. И в этой своей нравственности, «натуральности» Василий Зайцев — одно из тех звеньев в исторической генеалогии, которые сами по себе составляют развивающуюся философскую проблему: как были тушины, как были и есть зайцевы и гагарины, как будут в этом же ряду такие же поистине народные характеры, в отношении которых можно вспомнить слова Суворова: «Не льстись на блистание, но на постоянство».

«НА ВЫСОТАХ СОЗДАНИЯ...»

К истоку Волги мы с литератором Владимиром Мильковым решили добираться не со стороны озера Селигер, что в Калининской области, а со стороны Марева, крайнего района Новгородской области. Это очень еще глухой район, долго пытались мы узнать в Мареве, как попасть к истокам Волги, пока нам не повезло: туда ехал председатель колхоза на своем «газике». Сначала оба «газика» весело бежали, подпрыгивая и виляя, пока не доехали до Пустыньки (два-три домика на лесистой горке), а там вскоре началась дорога непролазная. Машины, дрожа, почти заваливались на бок, едва выбирались из ям, наполненных водой. А то и вовсе нельзя было ехать — тогда выходили из машин, в ход пускались топоры, чтобы замостить трясину. До истока Волги еще километров пятнадцать, но уже все вокруг им таинственно дышит, кажется, что здесь уже готовится исток Волги, в этом могучем безмолвии, в чащобах замшелых сосен, увитых понизу папоротником, в болотах с проваленными деревьями, мхом заросшими пнями, мшистыми кочками, запахом болотной воды. И такое же чувство, когда мы купались в озере Клопском. Вода почти вровень с ковром берега, пружинящим от ходьбы, готовым вот-вот разверзнуться, Обрыв у самого берега, озеро очень глубокое, вода темная, почти коричневая, но удивительно чистая особой, болотной чистотой.

Снова едем, скоро будем у цели. Я так- ожидал — наткнемся где-то за поворотом, в такой же чащобе, на родничок под крышей. И вдруг машина выскакивает па горку, и открывается простор с бросившейся сразу же в глаза часовенкой внизу, блестевшей радостно на солнце. Это и есть исток Волги, село Волго-Верховье.

Впрочем, это в прошлом была часовенка, а теперь домик, будка среди болота, и в ней под деревянным полом бетонированный колодец, который и считается началом великой реки (хотя сам родничок бьет из болота в стороне). Болотная стоячая вода кругом, в пятидесяти метрах от будки, мостик и за ним то же самое болотце, бревна, незабудки, осока, медуница, лилии, ольха, орешник. Но вот ручеек колышет тину, расширяется и пропадает в новом болотце, опять никаких признаков течения (как бы в болотце прячется, насыщается). Еще десяток шагов, и ручеек уже пульсирует, болотная трава колеблется от тугих струек, бревнышко преградило путь, струйки просачиваются сбоку, сверху; в трех шагах — новое препятствие, глубоко зарывшееся бревно; вода обмывает его уже не множеством струек, а параллельно двумя напористо бьющими струями, сливающимися затем в одну, которая идет густо, толчками, жилой, опоясывая дугой зеленый островок. А дальше что-то уже плавное, но неудержимое. Потом мы увидели Волгу в девяти километрах от истока. Уже не ручеек, а трехметровой ширины речка, с течением плавным у моста, а подальше уже с набегающими, шумящими волнами, уже маленькая Волга, которая, неудержимо набирая силы и ширясь, пошла в свой путь через тысячекилометровые пространства России...

Меня поразило тогда: всего-то, кажется, ручеек, еле пробивающийся, но его уже никакой силой на земле нельзя «заткнуть», остановить.

Не знаю, возможно, с научной точки зрения это и не так, но весь путь к этому ручейку казался мне приготовленном к его рождению: те болотные чащобы, сама таинственность их безмолвия. И дохнуло древней, первобытной силой от

самого слова «исток», которое так обмелело от литературного употребления.

Не так ли и в творчестве? Как Волга начинается с маленького ручейка, так и великий замысел художника берет начало иногда с какого-нибудь образа, порой смутного воспоминания, подробности, и вот пробивается подспудно жизненный родник, идет вширь, и ничем не остановить этого мощного потока.

* * *

Шли мы с моим дядей по тропинке во ржи и говорили о его младшей сестре, у которой врачи обнаружили страшную в наше время болезнь. Сама еще молодая, двое детей, их еще надо поставить на ноги. Дядя шел, как всегда, бодро, прямо, но чувствовалось, что тяжело у него на душе. Говорил, что надо самому поехать в больницу (в областной город) и разузнать все точно. Уходил в свои мысли. Вокруг было тоскливо как-то. И вдруг дядя насторожился, повернулся в сторону узкоколейки, на которой из-за леса показался товарнячок. «Вот гляди, — сказал он. — Что бы ни случилось у людей, а у него свое дело, прет себе без оглядки, делает то, что ему положено». И в самом деле: что бы ни случилось, а тянуть надо, в дождь ли, в снег ли, в беду ли. Пыхтит себе «козелок», как называют здесь этот маленький паровозик, тянет вагончики, важно посвистывает, и есть что-то прочное, успокоительное в этой деловитости. Что бы ни было, а жить надо, и замечал я, что самое простое житейское дело больше помогает жить в несчастье, чем любое утешение.

* * *

Вспоминаю, как мы шли из Гегарта в Гарни со стариком армянином зимой по необычайно безлюдной для этих удивительно живописных мест горной дороге. В оставшемся позади, закрытом скалами Гегарте, оказывается, самая лучшая в мире родниковая вода, как мне об этом рассказал мой

спутник: «Будете пить и никогда не будете забывать». (И он очень жалел, что мы не могли отведать ее, был закрыт на замок вход во дворик, где бьет фонтанчик.) И теперь, отойдя в сторону от дороги и показывая на заснеженные голые деревья и квадратные домики теряющегося глубоко внизу селения, рядом где-то с подножием громоздящихся гор, мой спутник важно проговорил: «Это село Гохт. Нет вкуснее винограда, персиков, апельсинов, слив, груш, чем в Гохте». Григорий Оганесович (так звали старика) значительно посмотрел на меня. Широко расставленные, спокойные глаза, приплюснутый широкий нос. Старенькая синяя кепка. В Гарни нас ожидал самый вкусный, какой только может быть, хлеб. По тому, что Григорий Оганесович сомневался, что этот хлеб мы достанем («он редко бывает»), можно было допустить, что это никакое не преувеличение (то есть, что это лучший хлеб). Но хлеб оказался в продаже. Как сейчас вижу эту палатку, рядом с которой высятся бурды (высокие пирамидальные тополя, которые для армянского села то же самое, что для русского села березы). И моего спутника, говорящего что-то по-армянски продавщице и тут же обращающегося ко мне: «И вы возьмите. Такого нигде не пекут». Он уложил в сетку две огромные, размером с таз, плоские лепешки, и мою половинку, от которой я попробовал кусочек. Действительно вкусно, вязкий, сыроватый немного на вкус пшеничный хлеб. «Все лучшее для него на свете здесь, в Армении: вода в Гегарте, фрукты в Гохте, а хлеб в Гарни», — думал я, когда мы стояли в ожидании автобуса.

Расстались мы с Григорием Оганесовичем уже в Ереване, где-то в середине улицы Абовяна, он спешил к больной жене («Ей оставил покушать, пить, что надо, а все-таки...»). И все осветилось для меня в Армении этой встречей, этим моим спутником: и не только Гегарт, но и люди, и горы, из которых, кажется, и состоит вся Армения, и сам Эчмиадзин, и Матендаран.

И я не мог, конечно, не побывать в Сардарападе и, глядя на колокола, на каменные изваяния орлов, на торжественное молчание аллей, вспоминал рассказ Григория Оганесовича

о «лиевах» — об армянских героях, которые, как «лиевы» (то есть как львы), сражались с врагами. И было так досадно, что ослепительно молочный от солнца туман скрывал совсем недалекий отсюда Арарат. «Где Арарат?» — спрашивал я у женщин (их было трое), шедших по дороге от соседнего села к территории памятника (видимо, работающих здесь). Они не понимали по-русски, переглядывались между собою, и при повторном моем вопросе одна из женщин повернулась немного в сторону и указала рукой! «Там Арарат». Я уезжал обратно в Ереван со все более углубляющимся чувством уважения к людям, чтущим свою историю, опыт народной жизни.

Как глубоки корни литературы, вырастающей из этого опыта!

* * *

Новгородская деревушка Санталово под Крестцами — всего несколько дворов среди леса. Вся в развалинах школа, с выбитыми окнами, на полу бревна, кирпичи, битое стекло, скамейка упирается в потолок, чтоб не обвалился. Десять лет как закрыли школу, некого учить. На стенке вырезано (и кто-то обвел мелом): «Здесь жил с 16 мая и умер первый Председатель Земного шара Велимир Хлебников 9 часов утра 28 июня 1922. П.З.Ш. Д. Митулич». Рядом со школой — черная, полусгнившая банька на спуске к родничковой речке. Семидесятитрехлетняя Евдокия Лукинична Степанова, знавшая Хлебникова, рассказала, как он, больной, сам попросился в баньку (чтобы не заразить детей учителя Митулича, у которого жил в школе) и устроился в углу на полке, где парят, «а банька очень чистенькая была, как должна. Муж ходил к нему, все подкладал соломку. Там он и умер». Как это понятно — не «Председатель Земного шара» (сразу же нашелся другой П.З.Ш.), а странник, довольный своим углом, этой полкой в баньке — и он никому не мешает, и ему не докучают, — он и устал от бездомности, и сердце вещает, что это его прочный угол, он уже не встанет и некуда ему

спешить, и сейчас здесь все с ним — и его прошлые скитания, и потрясающие — даже глаза внезапно сами собою в темноте распахиваются — подробности давно забытого и сейчас умилением вдруг накатывающегося, и тоска, и вдруг явственно слышимый в мертвой тишине плеск снизу набежавшей на валун сонной волны. И нет никакого футуризма, есть только эта полка и то, что ждет его на ней.

* * *

Из окна дома вижу, как идет с бидончиком за молоком мать, бежит, как всегда, глядя в землю, скрывается за углом школы. Сколько вот так перебегала за свою жизнь, с опущенными в землю глазами, все в заботах и в заботах. В войну — старший сын и братья на фронте, куча голодных маленьких детей на руках, после войны, в 1946—1947-м, еще страшнее голод, особенно весной, все летние месяцы держались на крапиве (а сама она пережила голодные годы и в гражданскую войну, и в начале тридцатых). И только она знает, чего стоили ей надрывавшие душу крики и голодные взгляды детей, которые заставляли ее забывать собственный голод, и так это вошло в душу, что впоследствии, когда дети выросли и уже сами стали отцами и приезжали все вместе к ней, она, следя за ними за столом, все говорила им: «Ешьте, ребята». И теперь заботы о том же самом, о детях, внуках («Виданное ли дело, к ней невестка родить издали приехала, от родной матери приехала», — говорят о ней соседки). И опять заботы — проводы, эта напуганность дорогами еще первых послевоенных годов — сядут ли, как доедут, как приехали, здоровы ли. Будет ли конец этому? Да никогда. И у кого бы ни была из шестерых сыновей — рада, что своими глазами увидела, как и что, и тут же задумчивость набегает: у этих хорошо, а у других ребят?..

И вот побежала с бидончиком, уже совсем старенькая, семьдесят лет, о себе ей некогда подумать (лишь однажды, когда все были в сборе, сказала: «Вы, ребята, все приезжайте, похороните меня хорошо. А чего? Правду я говорю. Я вам

мать, и прежде вы меня похоронить должны, и у вас дети, и они будут дольше вашего жить»). Всю жизнь «колготится», старается всем угодить — детям, внукам, невесткам, всей родне; копошится в своем чуланчике или что-то шьет за столом, косясь через очки. Сколько всего было за эти семьдесят лет! И все пережила. И все пересилила. Бежит себе, согнувшись, от своего дома к дому матери (недавно умершей), о чем-то всегда думая. «Что всем, то и нам».

* * *

Удивительное дело — вещественная память о великом писателе. Мне почему-то всегда казалось, что Л. Толстой был ниже среднего роста. Те, кто знал Толстого в старости, отмечали, что он «маленький», «низенький» и т.д. И вот в Ясной Поляне я увидел его шубу такого размера, как будто ее только что скинул со своих могучих плеч какой-нибудь богатырь. Повеяло живым Толстым от этой шубы, в которой, видимо, было хорошо этому широкоплечему, физически крепкому человеку, сохранившему мускулистость тела вплоть до глубоких лет.

Зала с портретами предков Толстого и портретом самого Толстого работы художника Крамского. Здесь собиралась семья Толстых за обедом или самоваром, здесь устраивались общие чтения, сам Л. Н. в углу у круглого стола раскладывал пасьянс, барышни пели у рояля старинные романсы, Софья Андреевна с корзиночкой на коленях вязала на спицах. И отсюда он уходил в свой кабинет или спальню, оставался один со своими мыслями, писал романы, писал свою «Исповедь», из четырех Евангелий составлял одно, «свое», «толстовское», — писал с нравящимся ему отвращением к своей прошлой жизни, но и с чувством милой связи с нею, с этой залой, шумом молодежи, вязаньем и т.д. Кажется, что этот шум сквозь несколько дверей долетает до него, когда он, сидя в низеньком кресле перед низеньким письменным столом, на котором, как всегда, когда он работает, горит только одна свеча, — он еще во

власти этого семейного тепла, многоголосия, и кабинет его, с диваном, обитым черной кожей, почти с отшельническим минимумом вещей, меньше всего похож на келью. Здесь мысль зреет во плоти, в широте человеческих интересов.

Меня заставила задуматься репродукция «Сикстинской Мадонны» над письменным столом Толстого. Репродукция той же «Сикстинской Мадонны» висела и в кабинете Ф. М. Достоевского, но не в полной композиции, а в ликах Богоматери с Младенцем. У Толстого вся целиком композиция, но разомкнутая, попросту говоря, разрезанная на четыре части и существующая в таком «разобранном» виде: отдельно изображение Мадонны с Младенцем, поодаль — отдельная же фигура святой Варвары слева и папы Сикста IV справа, а внизу — ангелов. И все эти четыре группы разделены промежутками стены. Многозначительным мне это показалось. Вот у Достоевского даже в этой картине видна его избирательность: для него важен самый центр картины, два лика. «Толстовская» картина шире, в ней и все другие изображения, но целостное рассечено. Мне очень наглядным показался в этом рассечении меч рацио Толстого, подвергавшего логическому анализу искусство (Шекспир), не принимавшего в области духа то, что не отвечает арифметическим законам (его сарказм, что один не может равняться трем).

Знаменитое «дерево бедных». Два года тому назад его, уже начинавшее засыхать, выкорчевали, обвязали каким-то материалом, пропитали особым составом, чтобы сохранить навеки. И напоминает оно чем-то Холстомера, кости которого кому-то понадобились, а не то вздрогнувшее «всем телом» дерево, рухнувшее вершиной на сырую землю в «Трех смертях», которое самому Толстому казалось прекрасным в соседстве с красовавшимися живыми деревьями.

Я представил себе, как было бы интересно последовать по стопам уходившего из Ясной Поляны Толстого, встать 28 октября в три часа ночи (когда начал сборы Толстой) — по совпадению именно в конце октября я был в Ясной

Поляне, — живо представить себе, как Л. Н. идет в кучерскую будить кучера закладывать лошадей и как он в темноте на дороге заблудился и потерял шапку, как укладывают вещи на пролетку (и сейчас она стоит там, в конюшне, как будто ждет своего хозяина), и как поехали. Эпичностью все дышит в усадьбе, и все цело, как будто хозяин вышел и скоро вернется. В «доме Болконского» есть комната, где гость может иметь счастливую возможность ночевать в толстовских стенах. Мне почему-то кажется, что не было бы загадочного для меня в этой ночевке. Толстой — «дневной» писатель. Нечто другое я испытал, стоя у дома Достоевского на берегу реки Перерытица в Старой Руссе. Стоял, представляя себе, сколько в этом доме было «разных чуланчиков, разных пряток и неожиданных лесенок», и как Иван Карамазов (известно, что планировка дома Федора Павловича Карамазова в «Братьях Карамазовых» напоминает планировку дома Достоевского в Старой Руссе, месторасположение дома в городе то же самое), как Иван Карамазов после разговора со Смердяковым ночью прислушивался к тому, что делается в нижних комнатах отца, выходил на лестницу и «слушал — подолгу, минут по пяти, со странным каким-то любопытством, затаив дух, и с биением сердца, а для чего он все это проделывал, для чего слушал, конечно, и сам не знал. Этот ”поступок” он всю жизнь свою потом называл ”мерзким” и всю жизнь свою считал, глубоко про себя, в тайниках души своей, самым подлым поступком изо всей своей жизни». Это «ночной» писатель, с загадками «ночной» души. И в этой таинственности иначе воспринимается и бытовое окружение: «по-достоевскому» — и эти чуланчики, прятки и лесенки в доме, и эти лопухи во дворе (посаженные недавно, так это было при Достоевском и в «Братьях Карамазовых»), и эта банька в саду, которую работники Дома-музея Достоевского хотят восстановить опять-таки, как это было. Так же, как существующие и ныне башенки ворот при въезде в Ясную Поляну, знаменитая липовая аллея, сад, воспринимаемые «по-толстовски», в эпическом дневном освещении.

* * *

«Женевский дневник» А. Г. Достоевской (вторая половина 1867 года), недавно впервые опубликованный. Череда обычных будничных дней, кофе утром, обед, читальня, прогулки, ссоры, мелкие покупки. Безденежье. Попытки разбогатеть на рулетке (две поездки и возвращение ни с чем). Постоянная боязнь припадка. И сами припадки. И в то время он писал своего «Идиота» — и все это вместе с бытом, неприятностями, рулеткой и припадками. Это когда жена просыпается ночью и видит его, стоящего перед нею на коленях, говорящего горячо что-то: «Как меня это поразило, мне было от того так хорошо; он с такой любовью стоял подле меня, просто я не знаю, как мне и выразить, как я счастлива. Говорил мне, что если я умру, то он будет очень плакать, что ничем не утешится». Это когда, опять же ночью, она, проснувшись, видит, что «Федя лежит па полу, это он молился, я его подозвала, он сейчас подбежал и сказал, что я его ужасно испугала, а я укорила его, что он ужасно меня испугал, потому что я думала, что с ним припадок на полу». И то ужасное, чего оба так страшатся: «Право, мне до сих пор ни разу не случалось пугаться его, когда с ним это сделается, но сегодня до крайней степени страшное, такое страдающее лицо, что я побоялась за него. К тому же вдруг у него похолодело совершенно лицо и, главное, нос. Мне вдруг представилось, что он умрет. Как мне это было больно и как я молилась, чтобы припадок поскорее кончился! Федя довольно скоро очнулся и узнал меня. Он назвал мое имя, но я не расслышала, и чтобы знать, может ли он назвать имя мое, спросила, как меня зовут, и он, еще хорошенько не придя в себя, сказал мне, что меня зовут Анна. Потом он как будто бы пришел в себя... Он все говорил, что боится так страшно умереть, и просил, чтобы я посматривала за ним, я уверена, что с ним ничего не будет, да к тому же я не буду и спать, буду все слушать, если с ним что-нибудь случится. Он называл меня множеством хороших имен,

называл ангелом своим, что он меня очень любит и благодарит, что я за ним хожу, и сказал: ”Да благословит тебя Бог за это”».

Из такого вот «быта» и бездонность нравственной глубины Мышкина, и его припадок, и беззащитность его в жестоком мире. Уходят все мелочи быта, а остается то, без чего бессильно любое воображение. Поэтому Достоевский и говорил, что «роман надо писать на двух-трех действительных переживаниях».

* * *

«Как не так», — повторяет Архип-кузнец в пушкинском «Дубровском». Знай себе кует в своей кузнице такой Архип, идя домой, кланяется прохожим, и не отличишь его как будто от других Архипов. И вдруг этот Архип произносит всего только два слова: «Как не так» — и запирает приказных в горящем доме, чтобы они не выбежали, а после этого лезет на крышу спасать кошку. Увидеть в человеке вот это «как не так», это неожиданное в его характере, особенное, что таится в нем, — и значит в какой-то мере понять человека в его существенности.

* * *

Бегает по двору в запачканном мелом и красками комбинезоне тщедушный мужичонка, мелькает на этажах с ведром в руках. Всего-то маляр. Но вот «взял» этого маляра Достоевский (Миколка в «Преступлении и наказании»), и дух захватывает у людей вот уже более ста лет. Общечеловеческое в маляре, как и в любом другом лице — генерале, профессоре и т.д. Такая высота общечеловеческого в Миколке (взял вину на себя, пострадать решил). И за это спасибо литературе. Не будь ее — как бы все извратилось в ценностях. Миколка так бы и остался только маляром, которого бы не отличил от его ведра профессор Серебряков (пьеса Чехова «Дядя Ваня»). Не говоря уже о Наполеоне. Но вот заглянула

литература в душу этих людей — и маляр потряс миллионы умов и сердец, а профессор открылся во всей нестерпимой своей пошлости, как Наполеон («Война и мир» Толстого) — в механической своей ординарности.

* * *

«Далеко я, далеко заброшен, даже ближе кажется луна». Это Есенин. Какое одиночество (на чужбине ли, в обстоятельствах, в душе ли). Страшнее то, что на душе лежит. Можно сказать красиво: «Чтобы по бледным заревам искусства узнали жизни гибельный пожар». Но в жизни все проще. «Тошно жить», — говорит, может быть, в последний раз какой-нибудь мужик, и нет ему дела ни до заревов, ни до гибельных пожаров.

* * *

Недавно в подмосковном Муранове, музее-усадьбе Тютчева, пришлось мне увидеть одну культурную личность. «Вы были в Керчи? — спрашивала она и экскурсовода, и публику. — Там лесенка белая, прямо на гору, поднялась я по ней, стою — глаза прикрыла, чтобы не видно было всего современного, одно море да небо — и я, как Медея». Ходила эта Медея с нами по комнатам старинного дома, вслух угадывала портреты, их родственные связи, интересовалась системой отопления. Потом, по дороге на станцию, рассказывала, какие чудеса видела на выставке индийских кукол, японской архитектуры, на никитинских субботниках. Бежит, в руках сумочка с бутербродами. В вагоне объявила, что в Абрамцеве была утром, а сейчас поедет, пожалуй, в Александров, — «еще не поздно, там, говорят, есть старинные памятники». И вдруг задумалась о чем-то Медея, внезапно провалилась в свои мысли, такой заброшенностью повеяло от нее. Долго я думал: кто она? До изнеможения гонится за «культурой», которой конца-краю не видно, а такая, видно по всему, неприкаянность в жизни.

И часто мне приходит на память эта Медея. Даже когда это вовсе и не скороходица с сеточкой, а вполне представительная фигура, спешащая поспевать за такими, например, диковинами, как «плюрализм», «релятивизм», «структурализм», «сюрреализм», «экзистенциализм» и т.д. Здесь ведь тоже может быть своего рода бесприютство.

* * *

Прочитал слова И. В. Курчатова «Интеллект — возможное и невозможное; разум — разумное и неразумное». Как найти литературе свое место в вихре научной информации? Памятно, как известный хирург уверенно заявил в печати, что никакого принципиального несчастья он не видит в том, если со временем будет практиковаться пересадка не только органов, но и самой человеческой головы, если один человек будет жить с пересаженной головой другого человека. А цельность личности, неповторимость его индивидуальности? — может спросить наивный читатель. Но как ни абсурдно кажется такое составление человека из разных «узлов» других человеческих существ, видимо, есть какая-то современная психологическая причина для такого оптимизма. Несколько лет тому назад мир облетела весть о выращивании итальянским медиком Даниэлем Петруччи человеческого организма лабораторным путем. Зародыш достиг что-то нескольких месяцев своей «утробной» жизни, пока опыт не был приостановлен. Почему-то внутренний голос, какая-то внутренняя сила не позволяет «додумывать», что это было бы за существо, как оно ходило бы по земле и о чем говорило бы с людьми... но довольно.

Какой сенсацией для мира было сообщение о первой пересадке сердца, слово «трансплантация» звучало как новое откровение человечеству. Еще вчера никому не были известны хирург со «спортивной фигурой», как писали о нем газеты, Кристиан Бернард и улыбающийся владелец чужого сердца Блайберг, каждое слово и шутка которого мгновенно облетают земной шар. Есть ли предел рукотворному чуду?

И впрямь, не вступает ли человек в пору своего физического бессмертия? Увы, вскоре последовало печальное отрезвление. На всех языках мира заговорили вдруг о «биологической несовместимости» — редкое в истории трогательное единение рода людского во взглядах. Возникла и моральная проблема: нравственно ли прицеливаться к людям как к возможным «донорам»? Не может ли быть при этом трагических ошибок и злоупотреблений? Открылось и главное — загадка сердца. «Раньше думали, что трансплантированное сердце будет вести себя, как трансплантированная почка, что организм будет бороться против инородного тела, но в конечном счете с помощью медикаментозных средств воспримет его. Но иммунологи убедились, что сердце — это особенный орган». Эта цитата взята из перепечатанной «Литературной газетой» (26 января 1972 года) статьи американского автора о «трансплантационной эпопее» в одном из хирургических центров США. Тяжело читать эту «эпопею». «Д-р Дентон Кули, хирург госпиталя святого Луки в Хьюстоне, высокий, красивый, немногословный, отстал на 5 месяцев со вступлением на поприще трансплантации, но когда он сделал свой первый ход, то быстро занял центральное положение... Дентон был готов оперировать кого угодно. Из наших первых 9 пациентов трое были мертвыми. Когда их направили на пересадку, у них не было ни малейшего шанса выжить. И все же Дентон взялся за них, — и к черту статистику! Для хирурга это было равнозначно превращению в бога».

Что же движет этим гордым «научным духом»? Соперничество, нежелание отстать от темпа, заданного «коллегами», боязнь оказаться в стороне от научного прогресса? Профессиональная азартность, которую можно оправдать преданностью делу и стремлением помочь людям? Но что бы ни руководило им, это сознание своего владычества в области, по существу, таинственной, эта вера в неоспоримость, абсолютность своей власти над всем, что не есть она сама, то есть в данном случае хирургия, над всем живым и даже над жизнью человека, — да, здесь обильная пища для размышления. В древней книге «лукавый и гордый дух» на вопрос:

«Откуда пришел еси?» отвечал с сознанием своего собственного достоинства: «Обошед землю и прошед поднебесную». Действия нашего хирурга «равнозначны превращению в бога». Гордость не знает предела, но это артистичное могущество незаметно, в том же надменном неведении переходит в волхование, комическое и мрачное: «Когда для одного из умирающих больных не нашлось донорского сердца, Кули решил взять для пересадки сердце барана. Но оно сразу сморщилось и стало бесполезным, в то время как пациент лежал на операционном столе». Конец «эпопеи»: «все реципиенты (22) к настоящему времени умерли».

Какие бы формы, внешне самые блестящие, ни принимала цивилизация, какие бы благоденствия ни сулила, она уже в основании своем больна кризисом, когда обесценивается самая идея человека. Если человек только комбинация атомов или набор органов, то почему бы не следовать и дальше в этой утилитарности? Это и делается, вроде того, как американский биохимик Форман, разложив человеческий организм на составные части (углерод, кальций, фосфор, кислород, водород, азот), подсчитал, что человек стоит 3 доллара 50 центов — стоимость полученных из него «элементов».

Да, как легко такой «науке» разложить человека, куда труднее обратное превращение — от «элементов» к духовному чуду или хотя бы к одной-единственной живой клетке. И перед напором такой «научности» как нуждается в самоуглублении литература, как важно для нее уметь видеть различия того же порядка, как приведенные выше замечательные слова И. В. Курчатова.

* * *

«Филатов это был или нет — я не даю гарантии, но, по-моему, был он, — начал свой рассказ бывший солдат, вспоминая прошлое. — Скорбненький старичок, коренастый, ниже меня на полголовы, бородка клинышком, волосики рыжие, почти белые, редко говорит, незвучно.

— Ну, что, молодой человек, у вас?

— Ангина, — говорю, — замучила, проклятая.

Он взял какую-то штуку, растопырил ноздрю, посмотрел и говорит своему молодому пациенту или ассистенту — то-то надо сделать. Сделал все тот как положено, все как рукой сняло.

Прихожу на караул. Спрашиваю:

— У кого я был, товарищ лейтенант?

— У академика Филатова.

Я не поверил, а потом портрет в газете увидал — точно он, академик Филатов.

Тут один из тех, кто слушал бывшего солдата, сказал:

— Повезло тебе. Ведь к академику Филатову люди приезжали со всех концов земли. А ты с ангиной к нему попал. Может быть, это не Филатов был?

— Гарантию я не дам, но, по-моему, это был он. Потом я видел на портрете, такой же старичок, скорбненький, коренастый, редко говорит, незвучно...»

Я, слышавший тогда этот разговор, подумал с нахлынувшим вдруг радостным чувством: какое это великое счастье для творческого человека, когда в него верят в народе.

ЧАСТЬ II

В СРАЖЕНИИ И ЛЮБВИ

ПРАВДА ЖИЗНИ И ЕЕ «ПРЕВРАЩЕНИЯ»

К критике современного буржуазного художественного сознания

Известно, что модернизм на Западе (вплоть до «искусства абсурда») называет своими предтечами и учителями русских классиков, прежде всего, Гоголя и Достоевского, с их необычайно и резко выразительным художественным миром, с пропастями в сознании и духе героев, «алогичностью» их поведения, интуитивными озарениями, исключительностью обстоятельств, психологическими смещениями, гротескностью подробностей и самих образов.

Насколько оправданно это родство? Вспомним «алогичный» эпизод в «Невском проспекте»: «Тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу, и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз. И все это произвел один взгляд, один поворот хорошенькой головки». Вот где истинная находка для «искусства абсурда» — в этом уличном столпотворении, и можно представить себе, с каким оживлением признают здесь в Гоголе родоначальника «абсурдности», превращая это потрясающее мгновение жизни человеческого сердца в бездушный формалистический прием.

Внутреннее потрясение молодого художника срывает со своих устоев окружающий мир. Для героя эта круговерть мира, этот стоящий крышею вниз дом, алебарда часового на реснице — один из моментов почти горящего чувства и сознания, от «духовной потребности любви», по словам самого Гоголя. И поэтому, когда герой убеждается в самообмане, в поражении своего идеала перед действительностью, он кончает самоубийством. Это та же «алогичность», что и в известных словах Достоевского, считавшего, что еще вопрос, кого считать больным: того ли, кто сходит с ума от ужасов жизни, или же физического здоровяка, непробиваемо равнодушного к «больным» вопросам.

Дело не в приемах. В скетче «Автомобильный салон» Э. Ионеско (живущего и работающего во Франции основоположника «театра абсурда») происходит следующий разговор: «Мадемуазель, не одолжите ли вы мне свой нос, чтобы я мог лучше рассмотреть? Я его верну вам перед уходом». «Вот он, вы можете его оставить у себя». В этом, видимо, вся разница: одно дело, когда «нос» — остроумный прием, игра в «сочетание несочетаемого». Совсем другое дело — когда этот «нос» заменяет человека (гоголевский рассказ «Нос»), когда «точно странно сверхъестественное отделение носа и появленье его в разных местах в виде статского советника», когда равнозначны нос и человек в обществе, и эта обезличенность человека нечто уже совсем иное, чем прием.

В изображении трагического разлада человека с действительностью русские писатели доходят до черты, когда уже немыслима привычная реальность («Записки сумасшедшего» Гоголя, ночной разговор Ивана Карамазова со своим двойником после последней встречи со Смердяковым в «Братьях Карамазовых» Достоевского). Но и в этой «ирреальности» не подвергается распаду существо личности, именно нравственные связи и образуют живой нерв самосознания героев, иначе не было бы потрясающего в своем страдании крика в конце «Записок сумасшедшего», не было бы душевных мук зашедшего в интеллектуальный тупик Ивана Карамазова.

У Достоевского вся сложность мира, запутанность, мучительность противоречий, кипение страстей, идейная, философская одержимость, трагичность ищущей мысли — вся эта немыслимая разнородность сосредоточивается вокруг одного нравственного центра: борьбы добра и зла. Происходящая в мире борьба не просто «фиксируется» сознанием, теоретическими построениями, релятивистскими спекуляциями, а отражается непосредственно в человеческом сердце. Как говорит Дмитрий Карамазов, «тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей».

Писатель огромной силы воображения, Достоевский подчеркивал не сравнимое ни с какой фантазией значение реального факта, явления, безграничность, бездонность заключенных в самой действительности тайн. «Действительно. Проследите иной даже вовсе и не такой яркий, на первый взгляд, факт действительной жизни, и если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира». Искусство меркнет перед действительностью и в том смысле, что оно может существовать тысячи лет и не дать того, что может дать одно мгновение действительности. Достоевский называет себя: реалист «в высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой». Творчество — это не одно усилие мысли. «Нужно действительно жить настоящей жизнью, а не одним только мозгом, общим мышлением», — говорит Достоевский. Жить «настоящей жизнью» — это в конечном счете стремиться к цельности, преодолевать разрыв между словом и делом, самой жизнью подтверждать проповедуемое. В русских писателях жило это сознание, что люди «не так живут», или, как сказал Достоевский, «надо молитвенно желать быть лучше».

Приятие жизненного явления в неисчерпаемости его содержания, во внутренней его значительности определяет отношение Достоевского к быту. Русский народный быт был для него «тылом» в его метафизических исканиях, как бы далеко и высоко он в них ни «заносился», он знал, что за ним милый его сердцу русский бытовой уклад. Любовь его к этому быту видна в самом простодушии, с каким он восхищает-

ся, например, картиной Перова «Охотники на привале» или московской свахой в пьесе Островского «Женитьба Бальзаминова».

Вообще быт в русской литературе — одна из основ, коренных особенностей народной жизни. И основу здесь заложил Пушкин, как и в других художественно-психологических сферах — от мудрого проникновения в духовный мир древнерусского летописца Пимена в «Борисе Годунове» до загадочно-фантастических видений Германна в «Пиковой даме».

Открытые Пушкиным перспективы художественного воплощения самых разнообразных сторон бытия получили индивидуальное развитие в русской литературе, начиная с Лермонтова, в котором, по словам Гоголя, «готовился великий живописец русского быта», то есть коренных начал народной жизни. Верность действительности становится художественным принципом, диктующим предельное «самоочищение» от литературной условности, от того, что не есть жизнь, что не есть ее правда, от той «словесности», которую впоследствии А. Блок отождествлял с ложью: «Что ни пишу, все словесность, то есть ложь». Кстати, о Блоке. В судьбе его поэзии с сильной дозой разрушительного «лирического яда» (слова самого поэта), заменой непосредственности образов их интеллектуализацией наглядно видно, какое оздоровляющее, в конце концов — спасительное влияние на такого рода творчество оказывала русская культура с ее духовно-созидательной атмосферой.

Понимание реализма в русской литературе всегда было углубленно жизненное, ничего общего не имеющее с «дагерротипом», с внешним описательством.

Отношение к произведению, к литературе связывалось с «внутренним содержанием». Это выражение часто встречается у Достоевского, Толстого, Гончарова и других русских классиков.

Широко известен интерес русских писателей к «злобе дня», к больным вопросам современности. Однако литературу ожидала бы печальная участь, если бы она замыкалась

текущими вопросами; злоба дня проходит: много из того, что волновало людей XIX века, стало уже историей. Но если классическая русская литература близка людям XX века, то, значит, есть в ней ценности непреходящие. В романе Толстого «Анна Каренина» Константин Левин занят мыслью о земельном вопросе, о методах хозяйствования в деревне. Крупный государственный чиновник Каренин разрабатывает административный проект, представляющийся ему делом чрезвычайной важности. Подобным практическим материалом иные писатели и ограничивают свое любопытство: метод хозяйствования, административные проекты, автоматизация производства и т.д. Это и называется у них литературой. Но ведь, кроме этого «хозяйствования», у Толстого есть и нечто другое: напряженные до отчаяния искания Левиным смысла жизни; потрясающий переворот в Каренине (у постели больной, казалось ему, умирающей Анны).

«Слезы стояли в глазах, и светлый, спокойный взгляд их поразил Вронского.

— Вот мое положение. Вы можете затоптать меня в грязь, сделать посмешищем света, я не покину ее и никогда слова упрека не скажу вам, — продолжал он. — Моя обязанность ясно начертана для меня: я должен быть с ней и буду. Если она пожелает вас видеть, я дам вам знать, но теперь, я полагаю, вам лучше удалиться.

Он встал, и рыданья прериали его речь. Вронский тоже поднялся и в нагнутом, невыпрямленном состоянии исподлобья глядел на него. Он не понимал чувства Алексея Александровича. Но он чувствовал, что это было что-то высшее и даже недоступное ему в его мировоззрении».

Литература гибнет, когда нет никаких загадок, ничего сокрытого, есть только то, что лежит на поверхности, что целиком исчерпывается видимым, наглядным. Литература гибнет, если она погружена в этот внешний, застывший материал, не соединяется с сущностью явления, с этим озарением в человеческой душе, как, скажем, у Толстого, если не обогащается внутренним содержанием.

* * *

Общеизвестно влияние Достоевского на западную литературу. Иногда связь с русским писателем столь отчетлива, что напоминает своеобразную форму «реминисценций». В романе «Чума» Альберта Камю у постели умершего на их глазах ребенка доктор Риэ яростно бросил в лицо священнику Панлю:

«...У этого-то, надеюсь, не было грехов, — вы сами это отлично знаете». Далее доктор говорит: « Нет, отец мой. У меня лично иное представление о любви. И даже на смертном одре я не приму этот мир божий, где истязают детей». Доктор Риэ спрашивает: «И впрямь, кто возьмется утверждать, что века райского блаженства могут оплатить хотя бы миг человеческих страданий?» Достаточно очевидно, насколько это место «внутри литературы» у Камю. Конечно же, это знаменитые слова Ивана Карамазова о замученном ребенке (а еще раньше непримиримость Белинского в известном письме Боткину, что не хочет он принять будущей гармонии, построенной на человеческом страдании).

Для Камю эта идея более отвлеченная, ставшая для него умозрением, облеченным в диалогическую форму, переведенным из образности в символику (агонизирующий ребенок «улегся в чуть нелепой позе распятого»; «с губ сорвался крик, один-единственный, протяжный, чуть замирающий во время вздохов и заполнивший всю палату монотонной, надтреснутой жалобой, протестом, до того нечеловеческим, что казалось, исходит он ото всех людей разом»). Символичность может быть и конструктивно-умозрительной (как в значительной степени у Камю), и как перевод в обобщающий, высший смысл самого жизненного материала, определенных исторических тенденций («Великий инквизитор» у Достоевского). В холодности Ивана Карамазова, в его предельно исчерпывающей аргументации неверия («как сам чувствовал и понимал сильней», по словам самого писателя) заложена возможность, даже необходимость антитезы, того самого «горячо», также предельно выразительно. В связи с образом

Ивана Карамазова Достоевский говорит в своих письмах 1879 года: «Мой герой берет тему, по-моему, неотразимую: бессмыслицу страданий детей — и выводит из нее абсурд всей исторической действительности».

«Абсурд всей исторической действительности» — из этого понятия, на мой взгляд, вырастет та ветвь экзистенциализма, которую представляет Камю. Но выводить эту философию из Достоевского, из его творчества — значит не замечать самого отношения русского писателя к изложенной им выше теории абсурда, бессмыслицы мира («Вот в этом только современная цивилизация и находит ахинею»). Для понимания сущности реализма Достоевского очень важна его мысль о том, что он даже и в «отвлеченной теме не изменил реализму», что реальное для него сама проблема добра и зла в мире, борьба сил разрушительных с силами созидания и творчества; нравственная основа бытия, духовные ценности личности и т.д. («не знаю ничего реальнее именно этих вот тем»). И сама связь человека с миром, со Вселенной у Достоевского глубоко одухотворена, проникнута высшим смыслом неповторимости бытия.

Абсурд исторической действительности, самой жизни для героев Камю — факт личного бытия. Для молодого француза в повести «Посторонний» весь смысл существования в слитности его малого тела с огромным телом Вселенной. В этом источник блаженства, добра для героя. Хотя в этом же и тьма инстинкта: от зноя, заволакивающего его сознание, от бьющих во лбу «цимбал солнца», от пронесшегося над морем «тяжелого жгучего дыхания», от ослепительного сверкания солнца герой теряет контроль над собой и совершенно непроизвольно убивает араба («Сразу разрушилось равновесие дня, необычайная тишина песчаного берега, где только что мне было так хорошо»). Вселенная у Камю — эмпирический гроб. Мирочувствование, миросозерцание его героев угнетено придавленностью бытия. Жизнь отождествляется с чумой в романе «Чума»: а что такое, в сущности, чума? Тоже жизнь, и все тут. Конечно, Камю не приемлет цинизма отрицания. В той же «Чуме» (написанной после войны) он говорит

о близких ему ценностях жизни. «Доктор отворил окно, и комната словно распухла от шумов города. Из соседней мастерской долетал короткий размеренный визг механической пилы. Риэ встряхнулся. Да, вот что дает уверенность — повседневный труд. Все прочее держится на ниточке... Главное — это хорошо делать свое дело». Другой герой романа, Рамбер, решает остаться в зачумленном городе: «стыдно быть счастливым одному». Тот же доктор Риэ говорит: «Возможно, эта мысль покажется вам смехотворной, но единственное оружие против чумы — это честность». И то, что Камю писал в 1942 году повесть «Посторонний» («для себя», не для опубликования в то время), и то, что он участвовал в те годы в движении французского Сопротивления против гитлеровских оккупантов, — в этом тоже была его честность.

Направление философского мышления Камю — в русле, заданном французской культуре, очевидно, не Паскалем. Паскаль — это иная духовная сфера (представленная в романе «Чума» Панлю и отвергаемая рассказчиком, как, впрочем, и самим Камю).

Приговоренный к казни герой повести «Посторонний» говорит: «А ведь все небесные блаженства не стоят одного-единственного волоска женщины». В камере приговоренного к казни героя Камю обступают мучительные для него видения: красивые головки многочисленных его любовниц... Такого рода видения трудно вообразить, скажем, у Раскольникова, и не потому, что Раскольников человек менее «плотский», а потому, что совсем в иных измерениях, в иных сферах живет мысль того и другого. Следователь спрашивает героя «Постороннего», сожалеет ли он о своем поступке, то есть о том, что он убил человека. «Я подумал и ответил, что испытываю не столько сожаление, сколько досаду». А что происходит с героями Достоевского — с Раскольниковым, убившим старуху процентщицу, с Митей Карамазовым, не убившим, а только подозреваемым в убийстве? Какой беспощадный суд собственной совести начинается у них: казнь раскаяния Родиона Раскольникова, посягнувшего на тайну чужой человеческой житии; готовность понести наказание

Мити Карамазова, не виновного фактически, не убившего отца, но допускавшего это в разнузданности своей, а тем самым морально причастного к злодеянию. Этих нравственных, психологических глубин как будто и не подозревает герой «Постороннего», столь замкнутый в своих «телесных» ощущениях.

У Камю Достоевский присутствует некоей психологической моделью, как, например: «Я знал когда-то одного промышленника. Жена его была прелестная женщина, вызывавшая всеобщее восхищение, а он все-таки ей изменял, да еще буквально бесился из-за того, что был виноват перед ней и что никто решительно, даже он сам, не мог бы дать ему свидетельства о добродетели Чем больше проявлялось совершенство его жены, тем сильнее он бесновался. В конце концов сознание своей вины стало для него невыносимым. И как вы думаете, что он сделал тогда? Перестал ей изменять? Нет. Он убил ее» (повесть «Падение»). Особый вопрос — характер психологическо-эстетического преломления Достоевского в творчестве Камю. Не может вызвать сомнения то, что это преломление — лишь отношение части к целому, какая-то одна сторона Достоевского, не столько его мир во всей духовно-нравственной объемности, сколько мысли отдельных его персонажей. В этом смысле любопытна, например, философия Кириллова («Бесы»).

«— Бог необходим, а потому должен быть.

— Ну и прекрасно.

— Но я знаю, что его нет и не может быть.

— Это вернее.

— Неужели ты не понимаешь, что человеку с такими двумя мыслями нельзя оставаться в живых?»

Однако поучительнее другое — в какой мере «реальна», говоря словами Достоевского, «отвлеченная тема» у Камю. В последней своей повести «Падение» исповедующийся перед читателем адвокат говорит: «Войны, самоубийства, любовные трагедии, нищета людей, право — для меня все это не шло в счет... Все скользило. Да, все скользило по поверхности моей души». Этот адвокат, живущий на «покаянии» в Ам-

стердаме, весьма мрачными красками рисует окружающий мир: «Иной раз я думаю, а что скажет о нас будущий историк? Для характеристики современного человека ему будет достаточно одной фразы: «Он блудил и читал газеты»; «Вы заметили, что концентрические каналы Амстердама походят на круги ада?»; «Наше время — царство пошлости» и т.д. У амстердамского мизантропа своя выработанная тактика осуждения: «нужно сначала обвинить себя, и тогда получишь право осуждать других... начать с покаяния, а кончить осуждением». «Перехожу в своей речи с "я" на "мы"... Чем больше я обвиняю себя, тем больше имею право осуждать вас». О себе адвокат говорит: «В известном смысле я всегда погрязал в разврате, никогда не переставая при этом мечтать о бессмертии». Подобного рода покаяния дают ему уверенность в обвинениях совсем иного масштаба: «Судьи всех пород — из воинства Христа и из воинства Антихриста; впрочем, это одно племя, они помирились друг с другом, придумав каменный мешок». В исповеди адвоката немало, видимо, от размышлений самого французского писателя при всей софистической изворотливости ума героя повести (здесь вспоминается адвокат Лужин в «Преступлении и наказании» Достоевского, тип надменно-деляческий, исключающий какую-либо возможность сближения с писателем). В том же «Падении» «реально» то, что можно назвать унификацией западноевропейской жизни («глотание газет» и проч.). Непреодолимость у Камю эмпирического гнета, обессиливание в нем человека, отсутствие того, что делает искусство вечным — соединение конечного с бесконечным, и в этом смысле нельзя говорить о «реализме» Камю (как понимал «реальное» даже в отношении «отвлеченных тем» Достоевский).

* * *

Многие читатели познакомились с Кафкой в ходе литературно-критических баталий вокруг его имени. Франц Кафка, живший в Праге во времена Австро-Венгерской монархии, еврей, писавший на немецком языке, был, по свидетельству

тех, кто его знал, глубоко несчастным человеком. На это было множество причин: болезнь легких, слабость духовная, уводившая его от реальной жизни в призрачные «видения»; враждебное отношение к отцу и вообще «критичность» к родным, в которых он любил замечать недостатки; неудачные попытки жениться. Он был изгоем в немецкой культурной среде, с которой связывал свое писательство. Таких людей обычно называют «неудачниками» в жизни, по-человечески они достойны сочувствия. Не всякому дано возвыситься над своим страданием, быть убежденным в том, что в жизни есть что-нибудь повыше личного страдания, как говорил Аполлон Григорьев.

Этого «общего интереса» не знал Кафка, и вся его жизнь, все написанное им стало фиксацией подавленного болезненного сознания. С этой точки зрения произведения Кафки обладают своей искренностью, напряженностью, своей «экспрессией» (и критики стилевые особенности Кафки относят к поэтике экспрессионизма). Все это хорошо видно в романе «Процесс». Герой романа — служащий банка Иозеф К. — оказывается арестованным, начинается процесс, длящийся долгие месяцы, хотя К. невиновен. Напрасно было бы здесь искать какие-либо конкретные черты — жизненно-социальные или психологические. Перед читателем мелькают тени, обозначенные именами и профессиями, как принято в таком случае говорить, персонифицирующие авторские мысли об абсолютном господстве зла в мире, о равнодушии, ненависти людей друг к другу и прочее и прочее. Автор обращается к иносказаниям, намекам, притчам, но конкретность при всей этой отвлеченности все-таки остается, и остается в самом существенном. Вот, например, о детях: «У девочки был небольшой горб, ей можно было дать лет тринадцать... Несмотря на молодость и физический недостаток, в ней чувствовалась безнадежная испорченность»; «...они стояли, перебирая пальцами фартучки. В их лицах, в том, как они стояли рядком у стенок, была смесь какого-то ребячества и распутства». И это об обычных детях обычного жилого дома. Есть тут какая-то немощь брезгливого отвращения к людям (за

исключением разве тех случаев, когда герой весьма деловито «контактуется» с любовницами). Это и есть то, что может внести некоторую определенность в то довольно отвлеченное (хотя так гордо звучащее) слово «отчуждение», которым иные критики как ореолом окружают Кафку и его героев.

Столь же подлинна в романе и атмосфера страха, в которой живет герой. Но в чем причина страха? Это неизвестно, хотя, конечно же, это не просто страх, а «феномен» страха. Может быть, страх смерти (каким мучился, как мы знаем, Толстой). Или страх Григория Мелехова, после того как он прошел регистрацию в Вешенской, ему самому непонятный, все одолевающий страх, из-за чего ненавидит себя этот человек, бесстрашный в боях. Страх в условиях беззакония и произвола, становящийся духом времени (например, при Гитлере). Многозначительность страха в «Процессе» не скрывает, однако, его житейской ординарности.

Вообще, «феномен» Кафки при внимательном взгляде оказывается довольно невзрачным в своем унылом однообразии. Сначала читателя вроде бы даже пугают кошмары, одолевающие автора и его героев. Что может быть ужаснее, когда человек вдруг превращается в «страшное насекомое», и не во сне («это не было сном»), а на самом деле, в действительности, когда, «лежа на панцирно-твердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный дугообразными чешуйками живот... Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами». Еще ужаснее, когда этот бывший коммивояжер Грегор Замза ползает по стенам и потолку, когда он застревает в дверях комнаты: «Одна сторона его туловища поднялась, он наискось лег в проходе, один его бок был совсем изранен, на белой двери остались безобразные пятна; вскоре он застрял и уже не мог самостоятельно двигаться дальше, на одном боку лапки повисли, дрожа, вверху; на другом они были больно прижаты к полу. И тогда отец с силой дал ему сзади поистине спасательного пинка, и Грегор, обливаясь кровью, влетел в свою комнату».

Фантастика имеет свою органическую природу. Глубокое суждение об этом есть у Достоевского, отличавшего «внешний», «материальный» характер фантастики от ее высокого смысла, одухотворенности. Он говорит о писателе первого типа фантастики: «...если он и фантастичен, то, так сказать, внешним образом. Он, например, допускает, что оживает египетская мумия гальванизмом, лежавшая пять тысяч лет в пирамидах... если и есть фантастичность, то какая-то материальная». Достоевский отдает предпочтение фантастике другого типа, к которой он относит повести немецкого писателя Гофмана. Превосходство этой фантастики не только в ее поэтичности, одухотворенности. «У Гофмана есть идеал, правда, иногда не точно поставленный, но в этом идеале есть чистота, есть красота действительная, истинная, присущая человеку». Содержательность, загадочность фантастики в том, что в нее включается возможность действительности, как об этом говорил Достоевский, имея в виду «Пиковую даму» Пушкина: «Реализм есть фигура Германна (хотя на вид что может быть фантастичнее)».

Если мы вернемся к Кафке, то здесь вполне очевиден «внешний», «материальный» характер его фантастики. Это скорее даже не фантастика в смысле авторского воображения, а то, что сам Кафка называл как главную особенность своего метода, — выражение своего отношения к жизни, к людям через схему, конструкцию: «Все возникает передо мной как конструкция», «я нахожусь на охоте за конструкциями». Превратить человека в омерзительное насекомое, подробно описывать его ползание по стенам и потолку, ненависть к нему родных — это вопрос не столько фантастики, сколько природы «гуманизма» Кафки.

Такова же новелла «Отчет для Академии», где обезьяна рассказывает о том, как она превратилась в человека, вошла в жизнь людей, стала существом духовным. Читатель, конечно, должен догадаться, какова цена человеку, если обезьяна стала человеком, и к этой догадке автор подталкивает такими остротами: «Я и люди начали плевать друг другу в физиономии; разница между нами заключалась лишь в том, что я мог

вылизать свою физиономию, а они нет»; «Обезьяний дух вылетал из меня с такой силой, что мой первый дрессировщик чуть было сам не превратился в обезьяну» и т.д. Кстати, заметим, что один из критиков по поводу подобного рода юмора в «Отчете для Академии» говорит в таком трагическом тоне: «Иронический скептицизм Кафки превращается в жестокую сатиру на род человеческий»; «"Отчет для Академии" — одно из самых мрачных произведений Кафки» и т.д. Несколько комично несоответствие между предметом и столь глубокомысленным комментарием...

Такая же «конструкция», выхолащивающая все живое в фантастике, оперирующая только схематичными мыслями, в таких новеллах, как «В исправительной колонии» (где аллегория о мировом зле вполне уживается с обилием «устрашающих» подробностей: «с трудом впихнул войлочный шпенек в рот осужденного, как вдруг осужденный, не в силах побороть тошноты, закрыл глаза и затрясся в рвоте. Офицер поспешно рванул его со шпенька вверх, чтобы повернуть голову к яме, но было поздно — нечистоты уже потекли по машине» и т.п.). Или же новелла «Гигантский крот», где та же аллегоричность обретает очередной «феномен»: «Все те — в том числе и я, — кому даже самый обычный, маленький крот кажется омерзительным, наверное, умерли бы от омерзения, доведись им увидеть гигантского крота, появившегося несколько лет назад вблизи маленькой деревеньки...»

В своем дневнике Кафка говорит, что его часто охватывает «спокойное удивление перед своей бесчувственностью. Я отделен от всех вещей пустым пространством, через границы которого я даже и не стремлюсь пробиться» (журнал «Вопросы литературы», 1968, № 2). «Бесчувственность», ватная стена, отделяющая его от «всех вещей», — все это говорит само за себя.

Писатель сам говорит в том же дневнике: «Надо спокойно разбираться в себе, не торопиться с выводами, жить так, как положено, а не носиться, как собака, вокруг собственного хвоста». Эта основательность остается только самопожеланием у автора. В его книгах происходит как раз то кружение,

когда просто немыслимо уследить за какой-либо нравственной логикой, да ее и нет, а есть то, что иные критики возвышенно называют «релятивизмом добра и зла». Это какое-то неостановимое мельтешенье всего и вся, такое перевертывание их, когда желаемая бы вроде автором «ценность» вдруг опрокидывается и с нервической иронией отвергается.

Многие вещи для Кафки просто не существуют в их реальном значении. Вот, например, одно из его рассуждений: «Почему чукчи не покидают свой ужасный край?.. Ведь везде они жили бы лучше по сравнению с их нынешней жизнью и нынешними желаниями. Но они не могут это сделать. Да, все, что возможно, происходит, однако возможно только то, что происходит». Для Кафки, кажется, и не может быть той простой истины, что чукчи потому и не покидают свой «ужасный край», что это их родина (впрочем, и в этом рассуждении иной критик видит глубокомысленную «фаталистическую формулу»). И все-таки есть у Кафки то, что можно назвать его постоянством. В его рассказе «Гигантский крот» имеется такое рассуждение: «Он писал: ”Мир зол, и ему помогают быть злым”, — чем хотел сказать, что и я порождение злого мира, но, не довольствуясь присущей мне от природы злобностью, я помогаю миру быть плохим, другими словами, стараюсь пробудить всеобщую злобность и помочь ей одержать победу». В статьях о Кафке почему-то обычно подчеркивается, что это был человек больной, с угнетенной психикой, мучившийся бессонницами, как будто предполагается особая чуткость, снисхождение к нему. Но ведь никому не придет в голову возбуждать такое снисхождение к таким великанам духа, как Гоголь и Достоевский. Беспредельный эгоцентризм, «бесчувственность», брезгливость ко всему, что не есть сам, не может скрыть никакое украшение из громких слов вокруг Кафки («изображает трагическую неразрешимость», «отчужденность», даже «отчуждение внутри отчуждения» и т.д.).

Все гораздо проще, все не так уж многозначительно, и об этом говорит сам Кафка, переходя от своих новелл к более краткой форме изложения своего кредо. Здесь уже не «вооб-

ще» человек-насекомое, не вообще человек-обезьяна, а уже вполне конкретный адресат. Брезгливой иронии удостаиваются... кто бы, как вы думаете? И Прометей, и тот человек великого сердца, книгу о котором Достоевский назвал «самой величайшей и самой грустной книгой из всех, созданных гением человечества». В своей «иронии» на эту книгу «Правда о Санчо Пансе» Кафка «делает» Дон-Кихота глупым, прирученным Санчо «демоном». Читатель, однако, знает, что преданный своему благородному господину Санчо Пансо, основательный в своих суждениях о людях, умеющий разбираться в них, не останется в долгу перед наветом и может воспользоваться словами одного из героев Достоевского, адресуя их кому следует: «Это просто маленький, гаденький, золотушный бесенок, с насморком, из неудавшихся».

Снизить до уровня своих героев, до убожества их мышления и духовных мерок окружающую среду, людей и все великое в истории, все то, что говорит о стремлении людей к идеалу, — в этом смысл «нигилятины» Кафки, употребляя выражение Достоевского. Своеобразная надменность, бесконтрольность этой «нигилятины» — достойный внимания психологический «феномен». Здесь никто не гарантирован от «превращения». Попало и «учителю» — Достоевскому. Довольно забавную историю передает автор одного «исследования»: «В одном из писем своей приятельнице Милене Есеньской он (Кафка), описывая свое состояние (бессонница), прибегает к развернутому сравнению. Кафка подробно пересказывает известный эпизод из жизни молодого Достоевского, представившего ”Бедных людей” на суд Некрасову, который, как известно, восторженно одобрил это произведение. Эпизод этот Кафка передает неточно, с фактическими ошибками. Но интересней всего, что Кафка перетолковывает эпизод в созвучном ему ключе. После ухода Некрасова и Григоровича (у Кафки он назван Григорьевым) Достоевский, сообщает Кафка, долго не может успокоиться. Он охвачен радостным волнением, но в то же время сознает, что недостоин столь щедрых похвал. Достоевский, по изложению Кафки, как бы чувствует свою униженность, неполноцен-

ность. Это чувство заставляет его воскликнуть: ”О, эти прекрасные люди! Как они добры и благородны! И как низок я сам! Если б только они могли видеть меня насквозь! Они не поверят, если я скажу им это”!» Тем самым Кафка в этом рассказе словно превращает Достоевского в своего собственного героя... В конце, как бы спохватившись, Кафка, впрочем, добавляет, что, «к сожалению, великое имя Достоевского сводит на нет весь смысл этой истории». Один из исследователей пишет о героях Кафки: «В отличие от придавленных людей Достоевского, они вовсе не чувствуют себя ни оскорбленными, ни униженными, и в этом самодовольстве падения яснее всего выражается окончательность их перерождения». «Самодовольство падения». Очень точные слова, которые как-то упрощают всю «трагическую неразрешимость», «фаталистические формулы» у Кафки.

«Ничто так быстро не проходит, как новизна» — эти слова французского поэта Поля Валери вполне справедливы в отношении всякого авангардизма, в частности и Кафки. Собственно, «новизна» Кафки так очевидно архаична (не только из-за духовной своей провинциальности, но и из-за бесцветности, крайней скудости своих «технических» средств), что Кафка в данном случае важен не столько сам по себе, сколько как симптом определенной духовной ситуации в литературе. И то, что нет уже прежнего оживления вокруг Кафки (в критике, среди его почитателей), тоже показатель. «Отчуждение» вполне закономерное. История искусства знает подобный поучительный «феномен». Модернистские направления не оставляли какого-либо заметного следа в искусстве тех стран, где они появлялись. Не связанные с национальными традициями культуры, они оставались в ней чужеродным элементом.

* * *

Издание книг западных писателей может вызвать только удовлетворение нашего читателя, внимательного к тому, что выходит в сериях «Мастера современной прозы», «Зарубеж-

ный роман XX века». Читатель может сам делать выбор, и хорошо, что такие книги выходят, их надо, конечно, знать.

После Кафки, прямолинейного, грубо гротескного, с подчеркнутыми гримасами «презрения» к людям и жизни, Марсель Пруст кажется утонченно-артистичным. В его романе «По направлению к Свану» наглядна эта утонченность, становящаяся смакованием вещей, чувств, воспоминаний. Обычно называется в первую очередь эпизод с пирожным «мадлен», вкус которого вызывает в душе рассказчика «целый обвал воспоминаний». Что бы ни описывалось — поцелуй матери (из детства рассказчика), прогулка, дождь, кувшинка, куст боярышника, какой-нибудь фонтан, — все эстетически дегустируется, как бы обволакивается ассоциациями. Марселя Пруста часто называют в критике реалистом. Это так в том смысле, что у Пруста есть «объективные» картины жизни, нравов той среды, в которой вращаются его герои, реальность самих этих героев. Известно, что круг наблюдении Пруста был иной, чем у Кафки, задавленного банковской службой, мелким бытом; Пруст был связан родственными узами с ротшильдовской семьей, вхож в аристократические дома, салоны, имел возможность наблюдать механизм взаимоотношений людей в этой среде. И какой-то мере эта сфера реальной, невыдуманной жизни отразилась в «По направлению к Свану» — в знакомствах героя с этим светским кругом, в истории его любовных отношений и женитьбе на Одетте.

Однако нельзя не принимать во внимание и того, что круг наблюдений, вообще приток жизненных впечатлений был для Пруста, страдавшего всю жизнь удушьем, ограничен до минимума. Писатель отделяется от мира пробковыми стенами комнаты, в которой живет и куда не долетают внешние звуки, и единственным для него «островком» действительности становится парижский ресторан «Риц», куда он приходит ночью и где расспрашивает официантов о разговорах посетителей, узнавая нужные ему подробности. Все это, конечно, не могло не сказаться на характере реализма Пруста. Может быть разное мнение о том, в какой мере его роман

представляет собою «поток сознания», выражают ли воспоминания, посредством которых фиксируется прошлое, только текучесть, зыбкость ощущения реального бытия. Но несомненно то, что рассказчик, говоря словами Достоевского, живет не «действительной жизнью», а «мышлением», даже стерильным мышлением. Это свойство реализма Пруста (если уж говорить о реализме) и вносило своеобразную новизну в структуру его романа.

Автор предисловия к роману «По направлению к Свану» Б. Сучков пишет: «Творчество для Пруста превратилось в форму и способ существования, замену ставшей для него почти недоступной обычной жизни... В сферу его изображения входила жизненная повседневность, такая, какой она открывалась ему, и охватывающая довольно узкий сектор общественного бытия». «Сосредоточившись на изображении психологии и частной жизни частного человека, Пруст слишком многого не желал видеть в живой истории». Такая узость жизненной сферы, доступной писателю, самозакрытость его определила и круг идей, тем. «Узловая для Пруста тема человеческой закрытости...» — читаем в предисловии. Здесь своеобразная вариация все того же знакомого нам по Кафке «отчуждения»; тот ватной стеной отделен от мира (памятная нам «бесчувственность»), этот — пробковыми стенами. Из этого отношения к жизни, точнее, отчуждения от нее и эстетическая характерность у Пруста. Вот примечательное место в его романе: «Дома я думал о чем-нибудь другом, и в моем сознании накоплялись (как у меня в комнате цветы, которые я срывал во время прогулок, или вещицы, которые мне дарили) камень с отблеском солнечного цвета, крыша, колокольный звон, запах листьев, множество разных образов, но *прежде я ощущал за ними жизнь, у меня только не хватило силы воли ее обнаружить, и теперь оказывалось, что эта жизнь давным-давно от них отлетела* (курсив мой. — *М. Л.*)». Здесь характерно смешение в сознании, эстетизация самого разнородного и в конечном счете безжизненность этого гербария впечатлений. Приведем еще признания рассказчика, уточняющие его поэтику, смысл создаваемой «лишь в па-

мяти» действительности: «Оттого ли, что жизнетворная вера иссякла во мне, оттого ли, что действительность создается лишь в памяти, — но только цветы, которые я вижу теперь впервые, кажутся мне ненастоящими». «Я даже затрудняюсь сказать, из какого края, из какого времени — а может быть, просто-напросто из каких мечтании — выплыл он». «Кажутся мне ненастоящими», «из каких мечтаний» — все из этой зыбкости, из этой призрачности воспоминаний. Ориентировка на подобное средство познания исходит из самого представления рассказчика о «жизни интеллектуальной», как «особенно богатой происшествиями». Но как узка мысль перед безграничностью жизни, так анемична и эта интеллектуализация образа, не вбирающая в себя его внутренней сущности и только мыслительно очерчивающая его. Ограничивается сама возможность изобразительности, которая сводится зачастую к упрощенным сравнениям: «синели дальние леса, словно нарисованные на картинках»; «три цветка, как бы нарисованные на небе» и т.д. Возникает однообразие приемов характеристики, как, например, часто встречающиеся однотипные сопоставления: «матери ничего не оставалось, как прекратить разговор, но эта помеха навела ее на более счастливую мысль — так тирания рифмы заставляет хороших поэтов достигать совершенства»; «выбрать место на щеке, к которому я прильну губами, мысленно подготовиться, вызвать в воображении начало поцелуя, с тем чтоб уж потом, когда мама уделит мне минутку, всецело отдаться ощущению того, как мои губы касаются ее щеки, — так художник, связанный кратковременностью сеансов, заранее готовит палитру и по памяти, пользуясь своими эскизами, делает все, для чего присутствие натуры не обязательно»; «Ее прельщало даже то, что в даримых ею вещах было удобно, потому что пользоваться этим удобством можно было непривычным уже для нас способом — так в старинных оборотах речи нас пленяет метафора, стершаяся в нашем современном языке от частого употребления»; «на все это долго смотрел безвестный прохожий, склонный к мечтательности ребенок, — так смотрит на короля замешавшийся

в толпу летописец». Игра мысли — и прихотливая капризность сравнения, вроде: «я всегда заставал эту кувшинку в том же самом положении, и этим она напоминала иных неврастеников».

Сам рассказчик помогает нам уяснить свой секрет, признаваясь, что «стремился провести... мысль сквозь образ, сквозь запах», прежде всего, рационалистичность. Живая клетка образа омертвляется этой рационалистической инъекцией. В психике героя затрагиваются поверхностные слои сознания, а не скрытые глубины. Вторая часть романа названа «Любовь Свана». Это пространная история любви Свана к Одетте, любовнице, а потом жене, подробнейшая фиксация встреч и взаимоотношений, ревности его, обмана с ее стороны и проч. В этой сложности чувств героя, невозможности для него узнать правду об Одетте, живущей как бы в оболочке лжи, обмана, заключена своя философская многозначительность (о чем скажем ниже). Сначала же отметим своеобразную сложность и в восприятии героем красоты возлюбленной, которая вполне «отвечает его эстетическим требованиям»: «Иногда она смотрела на Свана хмуро, перед ним опять было лицо, достойное занять место в ”Жизни Моисея” Боттичелли, и он помещал его там, он придавал шее Одетты нужный выгиб; когда же он чувствовал, что ее портрет во вкусе XV века, написанный водяными красками на стене Сикстинской капеллы, удался ему, мысль, что Одетта все-таки остается здесь, у рояля, что сию минуту он может обнять ее, обладать ею, что она из плоти и крови, что она живая, до того опьяняла его, что с помутившимися глазами, выдвинув нижнюю челюсть, точно собирался проглотить ее, он бросался на эту деву Боттичелли и впивался в ее щеки». Примечательно, как через эту томность «эстетического восприятия» прорывается, так сказать, живое, «реалистическое», «с помутившимися глазами, выдвинув нижнюю челюсть», и это неожиданно напоминает аналогичную сцену «Процесса» Кафки:

«— Иду, иду, — сказал К., подбежал к ней, схватил се, поцеловал в губы и вдруг стал осыпать поцелуями все ее лицо, как изжаждавшийся зверь лакает из ручья, гоняя язы-

ком воду. Наконец он прильнул к ее шее у самого горла и долго не отнимал губ». Что-то общее оказалось вдруг у этих, казалось бы, таких разных авторов: певца «кувшинок» и творца омерзительного насекомого и «Превращении», и это общее в реалистических чертах характера: трудно скрыть реальное, как бы ни уходили от него мысли автора. Впрочем, у Пруста такие реальные места особенно как-то выдаются, освежают, что ли, своей психологической подлинностью, действенностью, весьма редкой в потоке его однообразно-рефлективных чувствований. Вот, например, такое вдруг неожиданное, но стилистически-красочное превращение, непривычное, казалось бы, для изящной манеры рассказчика и тонкости самого его героя: «Он (Сван. — *М. Л.*) невольно подумал о том, что вот так же заставят Одетту смеяться и над ним. «Какая гадость!» — говорил он себе, и губы его кривила гримаса такого глубокого отвращения, что у него напрягались мускулы и воротничок врезался в шею. И как существо, созданное по образу и подобию божию, может смеяться этим тошнотворным остротам? Всякий мало-мальски чуткий нос отвернулся бы с омерзением, чтобы не задохнуться в этой вони. Как мыслящее существо может не понимать, что, посмеиваясь над человеком, который искренне к нему расположен, оно скатывается в болото, откуда его никакими силами не вытащишь? Я стою бесконечно высоко над ямой, где кишит и шипит вся эта погань, шуточки какой-то госпожи Вердюрен меня не забрызгают своей грязью! — вскричал он, вскинув голову и выпятив грудь». (Вспомним мнение Свана о себе: «Сван привык к хорошим манерам, и его коробил нарочито грубый тон матерого вояки, который усвоил себе в обращении со всеми этот профессор-солдафон».) Но как, с точки зрения психологической, раскрывается та сфера чувств, отношений Одетты к Свану, которая герою (и самому автору) представляется загадочной, релятивной? Здесь мы имеем дело скорее с логизацией чувств, чем с самой их жизнью. Сван подозревает свою возлюбленную в любовных связях — не только в прошлом, но и в настоящем, терзает себя ревностью, видит, убежден, что Одетта обманы-

вает его, но никак не может пробиться сквозь оболочки ее лжи. В данном случае уместно сравнение (употребленное в романе по другому поводу): «прежде чем я успевал до него дотронуться, оно как бы улетучивалось, — так, если поднести раскаленное тело к мокрому предмету, оно не дотронется до его влажности, оттого что вокруг предмета всегда образуется зона испарения». И вокруг лжи Одетты образуется нечто вроде такой же «зоны испарения». Однако в том-то и содержательность художественности, что в ней обнаруживается и то, что происходит за оболочкой, не столько многозначительные намеки на загадочность чувств, сколько сам процесс этих чувств. Сфера же чувств Свана и Одетты (в их взаимоотношениях) не выходит за пределы общих представлений о том или ином чувстве (любовь, ненависть, ревность, ложь).

«Он (Сван) заметил, что Одетта нравится многим, что она волнует мужчин, телесное желание, которое она будила у них, вызывало у него острую потребность завладеть всеми тайниками ее души. И ему стали бесконечно дороги те минуты, которые он проводил у нее вечером, когда он сажал ее к себе на колени, спрашивал, что она думает о том, о другом, когда он устраивал поверку тем радостям, которые теперь придавали смысл его жизни». Как же изучаются «тайники ее души»? «Но в необычную пору его жизни, в пору любви субъективное начало достигло у Свана такой глубины, что любопытство, с каким он когда-то изучал историю, теперь возбуждал в нем житейский обиход любой женщины. И все, чего он еще вчера устыдился бы, — подсматривание в окно, а там, может быть, даже ловкое подслушивание посторонних, подкуп слуг, подслушивание у дверей, — теперь было для него равнозначно расшифровке текстов, сопоставлению свидетельских показаний, изучению памятников старины, то есть методам научного исследования, обладающих неоспоримой духовной ценностью, незаменимым при поисках истины». Все это по-своему познание «тайников» ее души — подсматривание, ловкое подслушивание — так же, как и выпытывание, столь подробно описанное, с кем она была в любовной связи («Согласись, Одетта,

радость моя, что ведь ты не могла забыть, с кем?»), хотя при этом терзающая его ревность мало согласуется с «методом научного исследования», каким он пользуется при «расшифровке» улик. Но конкретность исчезает вовсе, когда речь заходит о главной загадке — «тайнике» ее души, — о лжи, обмане этой женщины. Невозможно уловить ничего конкретного, определенного в потоке «ассоциаций», рассуждений рассказчика: «Но Одетте постоянно приходилось прибегать и к гораздо менее невинной лжи, чтобы избежать разоблачений, которые могли бы поставить ее в ужасное положение. Вот почему, когда она лгала, трепеща от страха, сознавая, что она недостаточно хорошо вооружена для того, чтобы защищаться, не веря в победу, то ей хотелось плакать, плакать от усталости, как плачут невыспавшиеся дети». «Сван тщетно доказывал Одетте, что лгать стыдно; его доказательства могли бы разрушить стройную систему лжи, но ее у Одетты не было: она лишь умалчивала всякий раз о том, что ей хотелось утаить от Свана. Ложь была для нее средством, к которому она обращалась в отдельных случаях, и принимала она решение прибегнуть к этому средству или сказать правду тоже в каждом отдельном случае: все зависело от того, сможет ли или не сможет Сван уличить ее во лжи»; «И тогда она как ни в чем не бывало говорила Свану, уже на всякий случай не прикрываясь из предосторожности лоскутком правды, что приехала только сейчас, с утренним поездом. Это была ложь»; «Если бы Одетта перестала быть для него существом вечно отсутствующим, влекущим, вымышленным; если б его чувство к ней не было тем таинственным волнением, какие вызывала в нем фраза из сонаты, а выродилось в привязанность, в благодарность; если б между ними установились нормальные отношения, которые положили бы конец его безумию и его тоске, то, вне всякого сомнения, повседневная жизнь Одетты показалась бы ему малоинтересной». Все эти сравнения, ассоциации — сугубо внешние, рассудочно-оценочные, а не добытые из глубин, из природы самого чувства. Поэтому так отвлеченно звучит: «Точно злой дух, ревность воодушевляла Свана и толкала его к гибели».

Если уж речь зашла о «злом духе», то можно вспомнить Анну Каренину с ее «духом зла и обмана».

Вот как бы два плана в отношении Анны к Каренину — внешне семейный, как к мужу, и внутренне враждебный, как к чужому, ненавистному ей человеку: «Анна говорила, что приходило ей на язык, и сама удивлялась, слушая себя, своей способности лжи. Как просты, естественны были ее слова и как похоже было, что ей просто хочется спать! Она чувствовала себя одетою в непроницаемую броню лжи. Она чувствовала, что какая-то неведомая сила помогала ей и поддерживала ее». «Он (Каренин. — *М. Л.*) говорил и смотрел на ее смеющиеся, страшные теперь для него своею непроницаемостью глаза и, говоря, чувствовал всю бесполезность и праздность своих слов»; «Но каждый раз когда он начинал говорить с ней, он чувствовал, что тот дух зла и обмана, который владел ею, овладевал и им, и он говорил с ней совсем не то и не тем тоном, каким хотел говорить». Но почему так действует на нас этот «дух зла и обмана» Анны? Да потому, что не отвлеченные слова, да и вообще не слова, а само реальное ее душевное состояние, возникающее как бы даже непроизвольно для нее из недр ее души. Мы воочию видим, как зарождается этот дух зла из самого психического состояния героини. Вот одно из таких мест (ревность Анны к Вронскому): «— Так для чего же ты оставался? — спросила она, вдруг подняв на него глаза. Выражение ее лица было холодное и неприязненное. — Ты сказал Стиве, что останешься, чтобы увести Яншина. А ты оставил же его.

То же выражение холодной готовности к борьбе выразилось и на его лице.

— Во-первых, я его ничего не просил передать тебе, во-вторых, я никогда не говорю неправды. А главное, я хотел остаться и остался, — сказал он, хмурясь. — Анна, зачем, зачем? — сказал он после минуты молчания, перегибаясь к ней, и открыл руку, надеясь, что она положит в нее свою.

Она была рада этому вызову к нежности. Но какая-то странная сила зла не позволяла ей отдаться своему влечению, как будто условия борьбы не позволили ей покориться.

— Разумеется, ты хотел остаться и остался. Ты делаешь все, что хочешь. Но зачем ты говоришь мне это? Для чего? — говорила она, все более разгорячаясь...»

«Он спросил ее ужинать и стал рассказывать ей подробности бегов; но в тоне, во взглядах его, все более и более делавшихся холодными, она видела, что он не простил ей ее победу, что то чувство упрямства, с которым она боролась, опять устанавливалось в нем. Он был к ней холоднее, чем прежде, как будто он раскаивался в том, что покорился. И она, вспомнив те слова, которые дали ей победу, именно: «Я близка к ужасному несчастью и боюсь себя», поняла, что оружие это опасно и что его нельзя будет употребить другой раз. А она чувствовала, что рядом с любовью, которая связывала их, установился между ними злой дух какой-то борьбы, которого она не могла изгнать ни из его, ни, еще менее, из своего сердца».

Такая психологическая глубина возможна и потому, что она исходит из нравственной природы чувства, столь непонятной тем же Свану и Одетте, у которых количественность любовных открытий и обмана не переходит в какую либо новую качественность. Анне Карениной приходится за свой «дух зла» расплачиваться жизнью, это она сама предчувствует: «И смерть, как единственное средство восстановить в его сердце любовь к ней, наказать его и одержать победу в той борьбе, которую поселившийся в ее сердце злой дух вел с ним, ясно и живо представилась ей».

Так же, хотя и менее жестоко, расплачивается Наташа Ростова за ту узнанную ею с ужасом пропасть чувства, когда она под влиянием взволнованной близости к Анатолю Курагину, блеска и оживления людей в театре почувствовала вдруг, как «исчезает нравственная преграда» между нею и Анатолем.

Такова власть художника, творящего в недрах жизни. И так обедняются изобразительные краски и сама психология героев, когда автор имеет дело не с жизнью, а с «интеллектуальными происшествиями», хотя бы это и называлось релятивизмом.

Сама идея бегства от действительности в мечту, как бы воплотившаяся в книгах Пруста и в самой его судьбе, уже имела более жизненный, правда, вариант — во французской литературе («Мадам Бовари» Флобера). Но в данном случае интересны сами критерии релятивизма в романе. Вот характерная ассоциация: «Та кувшинка была похожа на одного из несчастных, чьи необычайные, вечные муки привлекали внимание Данте, и Данте, конечно, подробнее расспросил бы терзаемого, что именно он чувствует и за какие грехи это терпит, если б Вергилий не уходил далеко вперед и не заставлял Данте бежать за ним бегом, как бежал я за моими родителями». «Вечные муки», «терзаемый», Данте, Вергилий и т.д. — все это на уровне кувшинки (так изящно, подробнейшим образом расписываемой). Из таких «поэтических» релятивностей соткано повествование рассказчика. Часто релятивность не столь поэтична, но зато выразительна. «Да Свану и в самом деле неизмеримо больше, чем Одетта, нравилась свежая и пышная, как роза, молоденькая работница, в которую он был тогда влюблен, и ему хотелось ранним утром побыть с ней, а потом уже с Одеттой, тем более что эта встреча не могла не состояться»; «У Свана наблюдалось странное несоответствие между его эстетическими потребностями и тем, как он их удовлетворял: самыми тонкими произведениями искусства он наслаждался в обществе самых невежественных женщин; так, например, он приводил молоденькую горничную в ложу бенуара на декадентскую пьесу или на выставку импрессионистической живописи». Релятивность мышления Свана в том, что он смотрит на возлюбленную то как на творение Боттичелли, то «плотоядным взглядом коллекционера», то осыпает ее нежнейшими эпитетами, то говорит, что «она понимает в музыке Вагнера столько же, сколько свинья в апельсине». Видимо, эта сложность все-таки другого рода, нежели та релятивная зыбкость, в которой иные критики видят почему-то загадочность героя.

Существеннее другая проблема — характер «человеческой закрытости» Свана, которую автор вступительной статьи

определяет как «неконтактность» («неконтактность лежит в основе отношения Свана и Одетты»; «любовь Марселя и Альбертины также являет собой зрелище полной человеческой неконтактности»). В чем же эта «неконтактность»? В той знакомой уже нам по Кафке «отчужденности» (на этот раз выступающей в другой форме релятивности). В предисловии к книге говорится о том, что «в Франсуазе живет одновременно и народный рассудок, разумная трезвость суждений, и народные предрассудки, жалостливость, покорность перед происходящим и доходящая до жестокости неприязнь к событиям, явлениям жизни и людям, которые находятся за пределами ее понимания и накопленного опыта». Конечно, может быть разный уровень «накопленного опыта», так же как и степень «отчуждения» вплоть до разного рода превращений типа Кафки, у которого так остроумно звучит определение: «мышиный народ».

В том же предисловии сказано: «Если Бальзак изображал закат французской аристократии в тонах высокого элегизма, то для Пруста характерна пессимистическая ирония». Думается, что это сравнение неосновательно: «ирония» Пруста скорее уместна для диалога с другим «иронистом» — Кафкой. Общность эта подкрепляется и замечанием о методе изучения людей Марселя Пруста, которое высказывает доброжелательный его знаток Андре Моруа: «Пруст наблюдает своих героев со страстным и вместе с тем холодным любопытством натуралиста, наблюдающего насекомых».

Итак, можно только приветствовать издание на русском языке книг зарубежных писателей, но надо и помогать читателям ориентироваться в ценностях, в идейно-эстетическом качестве той или иной книги; в том, какое место занимает эта книга в культурном наследии народа, в развитии реалистических традиций; насколько правомерно сближение (даже и по принципу контраста) несравнимых величин в литературе. Одним словом, заботиться о том, чтобы та идея релятивности, с которой некоторые критики связывают новаторство искусства XX века, не стала решающей в отношении читателей к литературе.

ОБРАЗ И СХЕМА

Мне рассказывал один знакомый, как в войну он стоял в очереди за хлебом. Выстраивались еще с вечера. К утру образовывалась целая цепь. Надо было намертво держаться друг за друга, но очередь обрывалась, отцепившийся человек хватался в испуге не за того, от кого оторвали, а за последнего из хвоста — очередь превращалась в замкнутый круг; короткий хвост к магазину подхватывался другими; мороз, темно, двигались, думая, что очередь приближается, а на самом деле это было кружение впустую вокруг дома. Никакие рассуждения о цене хлеба в войну не заменят страшной наглядности этой картины.

Такова и природа художественного образа в литературе: он всегда глубже, полнее, объемнее, многомернее той идеи, которая в нем заключена. В этом смысле глубоко примечательны слова Л. Толстого о том, что для того, чтобы пересказать содержание его романа «Анна Каренина», нужно целиком прочитать его. Мысль сама по себе еще далеко не все значит в художественном произведении. И мало ее еще огранить оттенками, надо вдохнуть в нее душу живую, тогда она начнет жить всем своим внутренним содержанием. Один из известных советских писателей иронизировал над вычитанными у другого писателя словами: «я очень люблю». Ему это показалось нелепостью: уже само слово «люблю» все говорит. «Но ведь «очень люблю» повторяли и Гоголь, и Достоевский, и Л. Толстой, и все другие русские классики. И это не кажется нелепостью: просто надо было сказать от полноты самого чувства — очень люблю; наш же писатель-критик, хотя формально и прав, но не почувствовал этой полноты, когда слова уже мало что значат. Ему кажется, что он эстетический вкус свой показывает («люблю», а не «очень люблю»), а на самом деле устанавливает узкие рамки не знающей, собственно, никакой регламентированной формы полноте чувств. В слове крупного художника всегда больше сказано (и больше скрыто), чем это графически обозначено

(так картина великого художника-живописца всегда уводит нас за рамки изображаемого). Одна из тайн искусства — сохранение в недрах художественного произведения, в образах, художественной ткани полноты вкладываемого писателем: мысли, чувства, воображения, воли, — то есть полноты духовно-нравственных усилий автора. Эта полнота не умещается в пределах внешних изобразительных средств, она уходит в глубину творения, образуя его второй, внутренний план, особую емкость слова, тональность, образную выразительность. В образности заключен наибольший потенциал содержательности.

В зависимости от степени жизненности, от способа отражения действительности — непосредственно-жизненного или опосредованного (интеллектуально, эстетически) — можно говорить об органичности образа, его интеллектуализации, эстетизации и так далее. Обратимся к русской литературе советского периода. Один из крупных художников этого времени — Андрей Платонов, оригинальный стилист и создатель столь же оригинальных образов. Герои Андрея Платонова могут несколько «шокировать» современного читателя своими кажущимися чудачествами. Повесть «Сокровенный человек» начинается со следующего сообщения: «Фома Пухов не одарен чувствительностью: он на гробе жены вареную колбасу резал, проголодавшись вследствие отсутствия хозяйки». У Чехова, например, это могло быть, да и было одичанием, нравственным отупением (мужики в одноименном рассказе, гробовщик Бронза в рассказе «Скрипка Ротшильда»). Нечувствительность Пухова — это только внешнее невыказывание своего состояния, своих чувств — характерная черта людей из народа, принимаемая любителями чувствительности за черствость, неразвитость. Пухов как бы загоняет внутрь свое горе, свое одиночество, как будто не думает о нем. Но оно само напоминает о себе даже во сне. Никаких действительно чувствительных слов, все сугубо буднично и прозаично, но эта внешняя сдержанность психологически окрашена внутренним состоянием герои, чувствуемым читателем.

Может быть, страшнее всего то, что современник Пухова (с его же багажом мытарств) усомнится не в том, что Пухов резал на гробе жены колбасу, а что эта колбаса вообще могла быть у Пухова в такое время, как гражданская война. Сам Пухов впоследствии вспомнил, что он резал колбасу на гробе жены «не из похабства, а от голода. Зато потом чувствительность начинала мучить его, хота горестное событие уже кончилось». Казалось, после этого образа голодного человека, который резал колбасу на гробе жены, некуда идти дальше в психологической мрачности. Но вот Пухов в поезде с мешочниками, кочующими по свету в разыскании того места, где можно было бы обменять на хлеб свое барахло и всякие пожитки, и «впечатления так густо затемняли сознание Пухова, что там не оставалось силы для собственного разумного размышления». «Какие-то бабы Тверской губернии теперь ехали из турецкой Анатолии, носимые по свету не любопытством, а нуждой. Их не интересовали ни горы, ни народы, ни созвездия, и они ничего ниоткуда не помнили, а о государствах рассказывали, как про волостное село в базарные дни. Знали только цены на продукты...»

Для поверхностного, самоуверенного взгляда Пухов — тот так называемый «простой человек», который неразличим в серой массе точно таких же Пуховых. Он может казаться даже и придурковатым, каким и выглядит в глазах экзаменатора, слышащего на свой вопрос «Что такое религия?» бодрый ответ: «Предрассудок Карла Маркса и народный самогон». Но у того же экзаменатора есть повод и задуматься над заключительным ответом Пухова, согласного за общее дело и кровь лить, «только чтобы не зря и не дуриком!» Оказывается, Пухов не такой уж простой человек, он зачастую видит гораздо больше и глубже, чем его начальство, и оставляет всегда в себе, про запас, главную часть мнения о происходящем, оставляет за собою последнее слово. В объемности народного здравого смысла и «непотопляемость» сознания Пухова, не особенно податливого для вклинивающихся отвлеченно-патетических понятий. Пухова убеждают не теоретические рассуждения, а доводы здравого смысла, накоп-

ленного трудового, народного опыта. И здесь у него своя высота взгляда на невежд, думающих, что одной их воли, одних указаний довольно, чтобы не считаться ни с каким здравым смыслом, как тот начальник, давший указание Пухову о работе мотора («А ты норови керосину поменьше, а воды побольше»), на что Пухов «радостно закатывается»: «Тебе бы не Советскую власть, а всю природу учреждать надо, — ты бы ее ловко обдумал! Эх ты, мехоноша!»

Особенность склада народного ума, мышления, самого чувства — не до конца выговаривать свою мысль, свое отношение к тому или иному явлению, а оставлять место для догадки, для уединенного размышления, как бы зная, что словом нельзя исчерпать всего содержания предмета или чувства, что поговорить около истины бывает чаще содержательнее и многозначительнее, чем повторять прописные истины. Таков склад мышления и у Пухова. Иные принимают его за «придурковатого мужика», и Пухов, собственно, не возражает против такой репутации о нем (выгодной ему). Ведь придурковат и тот старик, который, выслушав совет ученого человека переменить свой отсталый ум на передовой, научный, решает: «Нет уж, хоть сопливенький, да свой». В народной мудрости иные тоже находят много «придурковатого», не отвечающего должной логичности мысли. «Поживем — увидим», — гласит народная пословица. И Пухов не торопится с выводами. Умники хотели бы упорядочить Пухова, привести в надлежащий порядок его мысли и чувства, но Пухов не верит в то, что всех людей можно сделать из одинаковых мыслей, здоровый трудовой инстинкт подсказывает ему, что и на одном паровозе всегда разные машинисты.

Как у всякого крупного художника, сама изобразительность Платонова идейно и эстетически оценочна. Но эта изобразительность сращивается с открыто выраженной философией (в том ее жизненном значении, которое в старину определялось как любомудрие). В этом своеобразие платоновского стиля, выразительность авторской интонации, его манеры выпукло представить необычайные свойства челове-

ческого характера. У Гоголя есть любопытное замечание о том, как открывался ему, художнику-психологу, человек (письмо П. А. Плетневу 24 декабря 1847 года): «Ко мне становился человек вовсе не тою стороною, какою он сам хотел стать перед мною; он становился противувольно той стороной своей, которую мне любопытно было узнать в нем, так что он иногда, сам не зная как, обнаруживал себя передо мною больше, чем он сам себя знал». О Гоголе можно сказать, что он искал в жизни, в истории «сокровенного человека», в этом смысл его творчества, трагедия второго тома его «Мертвых душ». В стиле Платонова внешне нет ничего, казалось бы, гоголевского, но общее у него с Гоголем — внимательность к деталям душевного свойства, к необычайным свойствам характера, умение увидеть в герое то, что он сам о себе не знает. Многие современники Пухова могли бы узнать себя в нем и то в себе самих, чего они до этого и не знали в себе. Пухов и ему подобные поворачиваются в «Сокровенном человеке» такой стороной, которая как бы открывает им глаза на самих себя, на то, что в них есть неосознаваемая ими глубинная особенность «всю тактику жизни чувствовать», та сила, которая помогает им «жить всему напротив».

В создании образа, как известно, большую роль играет деталь, подробность. У Платонова подробности не внешне бытовые, не внешне портретные. Читатель решительно ничего не знает о том, как внешне выглядит Пухов, какого роста, сложения, какие у него черты лица и прочее, ничего этого нет (даже во внешнем жесте видно не столько «лицо» Пухова, сколько его нрав: «стал подтягивать ремешок на животе, как бы увязывая себя за отсутствием багажа...»). Этим самым как бы снимается интерес автора к оболочке человека, обобщается, делается характерным то, что входит в круг душевных интересов героя. Автору важнее, чем внешние приметы героя, передать даже то, что Пухов сначала был машинистом снегоочистителя, действовавшего недалеко от фронта, на первом пути от Козлова до Лисок (наткнувшегося на белых казаков); потом числился старшим монтером береговой базы

Азово-Черноморского пароходства, затем его приняли слесарем на гидравлический узел — это ближе к делу, ближе к интересам Пухова, чем расписывание его физиономии (безынтересной для самого Пухова).

Приведем некоторые из тех подробностей, с помощью которых характеризуется Пухов. Глядя на мертвого помощника машиниста, Пухов думает: «Жаль дурака: пар хорошо держал». В этом весь Пухов, «не одаренный чувствительностью»: ему жаль не столько неизвестного ему человека, сколько погибшего в нем хорошего работника. «Вот сволочи, в механике не понимают, а командуют!»; «Пухову казалось странным, что никто на него внимания не обращал: звали только по служебному делу»; «он обрадовался дыму паровоза, как домашнему очагу»... Своеобычность образу Пухова (и в этом наиболее выразительно проявляется его индивидуальность) придают его разговоры с людьми, меткие замечания и ответы, ставящие его «оппонентов» в тупик, заставляющие терять их «некую внутреннюю честь»; Пухов как бы знает «особые ненарочные способы очаровывать и привлекать к себе людей и всегда производил ответ без всякого размышления». В кажущейся придурковатости Пухова, в несдержанности его высказываний есть что-то от традиционно-народного, от образа Иванушки-дурачка, которому все, кажется, сходит с рук как дурачку, но который главную «линию жизни» понимает и чувствует куда мудрее всех смеющихся над ним умников.

Из таких (как приведенные выше) подробностей, из таких разговоров и «состоит» Пухов. Возникает портрет-характер, не внешний облик героя, а портрет его внутренней физиономии, его души — в существенных проявлениях его характера.

Пухов, как мы знаем, «любит машины», и, кажется, даже больше любит, чем человека. Человек, чернорабочий — «одна сырая сила», машина же «строгая вещь. Для нее ум и ученье нужны». Машина, по мысли Пухова, «любит конюха, а не наездника: она живое существо». Близ машины Пухов «всегда был добродушен». «Пухов не вылезал из машинного от-

деления, обливаясь потом у бесившейся машины и стращая ее всякими словами». Платонов одухотворил значение машины для своего героя, он сделал машину предметом эстетики, внес в литературу эстетическую атмосферу вокруг труда (особенно работы машиниста, водителя паровоза, вкладывая в это и свой личный опыт, когда он в молодости работал помощником машиниста). Трудно назвать другого писателя в русской литературе, который бы с такой свободой и поэтичностью показал, как машина, отношение к ней человека может войти самой художественной, образной плотью в повествование, стать проявлением характера героя. У самого Платонова был глубокий интерес к науке, к ее конкретно-техническим проблемам; по свидетельству жены писателя, Марии Александровны, он даже имел патент военного технического изобретения. Платонов интуитивно (еще в 20-х годах, когда были написаны рассказы «Маркун», «Потомки солнца», «Лунная бомба», «Эфирный тракт») предчувствовал наступление научно-технических достижений и связанных с ними нравственных проблем, свидетелями чему мы ныне являемся.

Вернемся к Пухову. При всем его уважении к машинам он все же не узкоутилитарно относится к ним. Он философски любит машины и как показатель ценности человека, когда надо знать, уметь дело делать, что сам Пухов в высшей степени оправдывает (вспомним, как он всю ночь возится с мотором и в конце концов заставляет его работать). Во-вторых, машина — это «вещь», а не просто «отношение» («отношение же Пухов понимал как ничто»). И самое важное — машины Пухов включает в целесообразные связи мира, природы, где он «находил все уместным и живущим по существу». Пухов не такой уж простой человек. Он чувствует себя «странником» на земле, талант его вездесущ, будь это вождение паровоза, собирание мотора в трюме парохода, слесарное дело, какая-либо техническая новинка, для разгадывания которой Пухову требуется только время (и в этом современность его таланта), но все-таки это странник. Сама мысль его о машинах, о технике — мысль странническая, ищущая не столько самоцельных скоростей и высот, сколько

ответа на потребность души в целесообразности всего сущего. Это «очарованный странник», знающий, что дело его полезно, нужно людям.

Пухов любит «растекаться в отвлеченных мыслях, не имеющих никакого отношения к его квалификации и социальному происхождению». Он додумался даже до того, что «находил необходимым научное воскрешение мертвых, чтобы ничто напрасно не пропало и осуществилась кровная справедливость».

У Пухова живет «нечаянное в душе». Это «нечаянное» есть и в душе других героев Платонова, как что-то мечтательное, озаряющее сознание. Таковы герои его рассказов 20-х годов «Маркун», «Потомки солнца», «Лунная бомба», «Эфирный тракт», печатавшихся в периодических изданиях и вошедших в недавно изданный сборник «Потомки солнца». Герои этих рассказов — изобретатели, ученые, одержимые научными, техническими идеями. Рассказы эти воспринимаются так свежо, как будто они написаны сегодня, в условиях современного значения науки, когда научно-технические достижения ставят и тревожные проблемы, прежде всего проблему взаимоотношений науки и морали. Читателя подкупает в писателе свободное владение писателя материалом, его научно-техническая интуиция, придающая психологическую убедительность даже явно фантастическим до нелепости проектам, вроде изобретения приборов для размножения материи, для выкармливания электронов в рассказе «Эфирный тракт». Образ дается в соединении научных рассуждений героя, того «нечаянного», что возникает в его душе, идущего зачастую наперекор его научной одержимости; бытовых характерных признаков, из которых складывается представление о времени и которые своим несоответствием высоким полетам мысли героя создают какую-то трогательно-ироническую ситуацию. Молодой герой рассказа «Маркун» «...вынул из печурки бумагу с чертежами, снял клопа со щеки мальчика и опять сел». Маркун опять сел, чтобы продолжать думать о своем моторе-станке, которым можно было бы «вскинуть землю до любой звезды». Мысль его заносится

еще выше: изобрести машину, в которой, как в пасти, может «исчезнуть, вся вселенная в мгновение, принять в ней новый образ, который еще и еще раз я пропущу через спирали мотора». Но такие свирепые изобретательские порывы смиряются у бедного Маркуна голосом его простых человеческих чувств, еще не убитых в нем: «Совесть сжала ого сердце, и страдание изуродовало лицо. Маркун увидел свою жизнь, бессильную и ничтожную, запутанную в мелочах, ошибки и незаметные преступления.

Он вспомнил, как этого маленького брата, который теперь бьется от страха во сне, он недавно столкнул со стола, и с той поры тот молчал, сторонился и закрывался от нечаянного быстрого взмаха его руки, думая, что он будет опять бить». Такое угрызение совести может быть загадкой не меньшей для любознательного ума, нежели изыскание того, как через пасть машины пропустить вселенную (чем занят Маркун), во всяком случае, пока ученому уму напоминает о себе совесть, и проекты его будут реалистичнее, ближе к людям, к их запросам.

Герой другого рассказа, «Потомки солнца», инженер Вогулов, разработал и реализует грандиозный проект по климатической перестройке земного шара. «Чтобы земное человечество в силах было восстать на мир и на миры и победить их — ему нужно родить для себя сатану сознания, дьявола мысли и убить в себе плавающее теплокровное божественное сердце». И Вогулов со свирепой энергией принялся за переделку вселенной, направив свой раскаленный мозг на борьбу с гигантскими, непреодолимыми сопротивлениями. «И никто не знал, что было сердце и страдание у инженера Вогулова... И потому в нем случилась органическая катастрофа: сила любви, энергия сердца хлынула в мозг...» Это написанная на фантастическом материале притча о мысли, лишенной нравственной цели, когда она в «ненависти и отчаянии истребляет тот мир, где невозможно то, что единственно нужно человеку, — душа другого человека».

В «Эфирном тракте» умами преемственно овладевает фантастическая идея выкармливания электронов (как тех-

нически создать «эфирный тракт» — вызвать приток питательного эфира к электронам). Зачинатель этой работы доктор наук Фаддей Попов кончает трагически, лишая сам себя жизни («работа головы высасывала из него всю кровь, и его истощенное тело вышло из равновесия...»). Его преемник Михаил Кирпичников ведет большую практическую строительную работу (сооружает в тундре вертикальный тоннель для добычи внутренней тепловой энергии земли), но тайна эфирного тракта мучит его, не дает ему покоя. Кирпичников — истое дитя науки, научной мысли в ее чистом виде, «командующим чувством которого было интеллектуальное сознание, и ничто иное». Главное для науки — это прогресс, идея бесконечности ее развития, завоевание все новых секретов, тайн природы и вселенной, это могущество мысли, покоряющее, переделывающее, преобразующее. Подобная научная мысль заносится в такие отвлеченные высоты, что сама жизнь кажется слишком уж доступной, слишком близко лежащей, чтобы поражаться ей и уноситься к ее тайнам (другое дело лететь мыслью почти со световой скоростью к иным вселенным и мирам). Проблема науки не исключает и трагичности, в определенных социально-исторических обстоятельствах она может стать величайшим злом. Известно, каким дьявольским орудием стала наука для гитлеровских «ученых» с их изуверскими экспериментами над людьми. Именно такого рода «ученых» имел в виду Достоевский, писавший, что если наука скажет, что для блага же людей необходимо резать младенцев, то «ученые» и будут это делать с сознанием исполняемого научного долга.

Подлинная наука всегда связана с жизнью, из нее, собственно, и рождается, а не из голых мозговых акций. Всякая отвлеченная, лишенная таинственных связей с природой, жизнью, мысль обескровливает себя, закупоривается, лишается жизненных соков, подлинно творческого прозрения. Ведь творческая мысль — не одно только интеллектуальное усилие. Это проявление всей полноты личности ученого (или художника), соединение его духовно-умственных, волевых, эмоционально-душевных, нравственных и всех других

усилий. Без «человеческих чувств» ученого, без его качеств гражданина и патриота обедняется и сама творческая мысль. Взаимоотношение науки и жизни, отражение этого в сознании ученого, изобретателя становится внутренним стержнем образа у Платонова. При всей фантастичности научных вопросов и ситуаций основа этих рассказов, образов — психологически реальная. Платонов обращается к гротеску, чтобы резче, нагляднее подчеркнуть бесплодность, в конечном счете, самоистребление мысли, выводящей из самой себя все и вся. Михаил Кирпичников встречает в деревне, в своих родных воронежских местах, инженера-агронома Исаака Григорьевича Матиссена, с ним он учился в одном институте. Матиссен показывает ему в деле свое изобретение «технику без машин» — полив капустного участка с помощью одного только слова Матиссена: «о-р-о-с-и-т-ь!» Оказывается, мысль заставляет мозг излучать в пространство электромагнитные волны, каждому роду волн соответствует одна строго определенная мысль, выходит, что одной мыслью «оросить» вызывается должная волна, которой, в свою очередь, и приводится в действие оросительный аппарат. Демонстрацию своего аппарата Матиссен заключает провозглашением своего открытия: «Достаточно будет подумать, чтобы звезда переменила путь...»

Беспрерывное мозговое стреляние не доставляет, однако, устойчивой радости Матиссену, остается ничем не заполненная внутренняя пустота: «Проснулся Матиссен на заре. В Кочубарове чуть слышно пели петухи. Он почувствовал, что ему ничего не жалко: значит, окончательно умерло сердце. И в ту же минуту он понял, что ему неинтересно и то, чего он добился, — не нужно ему самому. Он узнал, что сила сердца питает мозг, а мертвое сердце умерщвляет ум».

Вскоре Матиссен умирает от нового мозгового штурма вселенной, мозг бедного Исаака Григорьевича не выдержал бомбардировочной нагрузки. На эту кончину его знакомый Петропавлушкин отозвался корреспонденцией (оставшейся ненапечатанной): «И вот я уверился, что Млечный Путь лопнул от мыслей Исаака Григорьевича. Смешно говорить,

но он умер от такого усилия. У него жилы лопнули в голове, и произошло кровоизлияние. Кроме Млечного Пути, Исаак Григорьевич навеки испортил одну звезду и совлек Солнце с Землею с их спокойного, гладкого пути. От этого же, я так думаю, и какая-то планета отчего-то прилетела на Камчатские полуострова». В заключение Петропавлушкин простодушно восклицает: «Долой злые тайны и да здравствует сердечная наука».

Итак, встреча с таким мозговым феноменом, как Матиссен, могла только усилить в Кирпичникове тот внутренний голос, который временами напоминал ему о себе: «Кирпичников сильно затосковал, потому что он был человеком, а человек обязательно иногда тоскует». Это человеческое уберегает Михаила Кирпичникова от духовного опустошения, от самоистребления отвлеченной, механической мыслью, не отнимая у него надежды на «нечаянное» в жизни, даже и в далеком плавании, в путешествии по свету. В современной литературе существует некая тенденция показывать ученых как избранное сообщество неких жрецов науки, занятых на недосягаемой для смертных высоте своими загадочными действиями; или же приоткрывают для непосвященных двери в таинственную лабораторию, где в окружении учеников и поклонников гениальный ученый демонстрирует почти световую скорость мышления. Исключительная поглощенность героя формулой, расчетом, за которыми не видно ни человека, ни жизни, почитается такими авторами высшим достоинством ученого. Впрочем, так нередко и бывает. Я знал одного ученого, который даже с какой-то гордостью говорил мне, что он ни разу в жизни не ездил на могилу отца (за пятьдесят лет с тех нор, как умер отец, сейчас ученому за семьдесят). «Все удивляются, ехать десять часов, но я действительно не могу поехать. Я работаю каждый день, мозг привык к дисциплине, и это выведет меня из ритма работы». Я подумал тогда: ведь это ужасно, чего стоит вся эта дисциплина мозга перед могилой отца, ведь этой глубины духовного общения с отцом мозгу и не хватает. Хотя этот ученый с охотой выезжает на всякие коллоквиумы,

симпозиумы, собеседования, не жалея на них времени и не боясь потерять ритма работы.

Герои Платонова знают, что такое «неустанный холод отвлеченной одинокой идеи», но о них нельзя сказать, что они внутренне скованы этим холодом. За панцирем идеи, одинокой и отвлеченной, в них живет потребность общения с людьми. Во всяком случае, они не изжили еще в себе тепла человеческого чувства (и этом смысле не к ним относится сказанное в рассказе: «Человек — рудник, но руда была выработана вся, остались пустые шахты»), они способны чувствовать содержательность человеческих связей, мудрость живого народного слова. «Очутившись в вагоне, Кирпичников сразу почувствовал себя не инженером, а молодым мужичком с глухого хутора и повел беседу с соседями на живом деревенском, языке». Такой же освежающей для души и сознания Михаила Кирпичникова была встреча со стариком Федосием: «Кирпичников вышел и пропал в полях. Он был доволен встречей с Федосием, восемнадцать лет пропадавшим где-то в поисках праведной земли и увидевшим в нем только черепичного мастера, — и своей беседой с ним». Характерная народная черта: «увидел в нем только черепичного мастера». Для Федосия Кирпичников все тот же Михайла, которого он знал с детства, ему нет дела до его «эфирного тракта», до его затеи о выращивании электронов, для него важнее судьба человека, насколько дело его «сурьезное». В таких разговорах проверяется человеческая основа личности, насколько в человеке, несмотря на всю его ученость, жива еще способность удивляться простым вещам, радоваться с людьми, находить общее с ними. Такая способность сохранилась и в Егоре Кирпичникове, который победно довершил дело своего отца Михаила Кирпичникова — открыл «эфирный тракт». Правда» все «силы в его сердце были мобилизованы» на искания научной тайны, в нем уже не оставалось места для любви к девушке, и он, как и отец, отправляется в странствие: «У отца тоже было это чувство... быть может, это дурная наследственность от предков — пеших бродяг и киевских богомольцев».

Он пишет матери: «Я думаю о тебе, ночуя в стогах сена и в куренях рыбаков». И это странничество с ночевками в стогах сена, в куренях рыбаков, как странничество и внутреннее, с беспокойством искания истины, уже не даст человеку оцепенеть духовно. В самом познании Егора есть элемент наивности, этого духовного чуда, таящего в себе целостность, неразложимость сознания, не отделяющего себя от мира, от природы, доверительного к ним, и оттого этот мир, природа, открывает ему, а не изощренному аналитику, свои тайны.

Художественный образ — это не «вообще» ученый, не «вообще» рабочий, солдат, врач и т.д. Это не конструкция отвлеченных социально-профессиональных качеств героя. Обобщение рискует быть схематичным без живой индивидуальности, неповторимости личности. Герои великих художественных творений и живут в нашем сознании этой неповторяемостью своей личности. Особенность Платонова-художника в том, что создаваемые им образы, картины на первый взгляд как будто далеки от жизненного правдоподобия, настолько это своеобычный мир, не похожий ни на какой другой, но сила его художественной убедительности такова, что мы принимаем этот мир, у которого свои законы и своя логика, как мир реальный, действительный. Образы ученых у Платонова необычны, они далеки от ученой кабинетности, респектабельности, эти образы заразительно действуют чем-то другим, не ученостью. Главное в них — не рационалистические признаки ученого, а человеческое выражение личности (нравственные переживания, наивные черты характера и т.д.).

Иногда это неожиданный жест, наивная выходка героя, далекие внешне от учености, но этим и вносится человеческая содержательность в образ, такова, например, подробность, как Егор в «Эфирном тракте» ищет разгадку секрета:

«Так, — сказал себе Егор, — но что же производит эфир? — и лег в траву. — А черт его знает что!» В романе одного современного писателя герои-ученые, глядя из окна своей лаборатории на идущих внизу людей с высоты тринадцатого этажа, ощущают себя чуть ли не небожителями, от

научных открытий которых зависит судьба этих снующих внизу, занятых своими мелкими житейскими заботами человеческих муравьев. Эти лабораторные гении и не мыслят себя иначе, как только на недосягаемой высоте, высекающими куском мела на доске гениальные формулы, изрекающими ошеломительные парадоксы, витающими в сфере чисто логических построений. То, что в Америке называют мозговым трестом, — это уже превращение познания, мысли в чисто производственную функцию, в голую интеллектуальную операцию, где уже нет ничего творческого. А здесь вдруг это наивное: «но что же производит эфир? — и лег в траву. — А черт его знает что!» Но это «лег в траву» может быть и тем случаем, когда вдруг ученый, увидя упавшее яблоко, «наивно» задумывается о причине этого и делает величайшее открытие. Поразителен ведь не столько «мозговой штурм» закона всемирного тяготения, сколько это удивление гения перед упавшим яблоком, это «нечаянное», возникающее в душе ученого. Это и проще, но и таинственнее. И у всех подлинно великих ученых есть это «лег в траву», это личное, интимное., не отделяющее их от простых людей холодом отвлеченной идеи. Это человеческое тепло в выношенных мыслях Паскаля о нравственном назначении человека, в отеческом отношении к студенчеству Лобачевского, ректора Казанского университета; в том, как Менделеев называл «детками» свою периодическую систему элементов, и другие свои научные открытия наряду со своими детками кровными. Калужский «чудак» Циолковский; Королев, обнимающий как сына Юрия Гагарина; Курчатов, предлагающий различать в разуме «разумное и неразумное»; Филатов, возвращающий зрение людям, и еще более, может быть, думавший о человеческом прозрении внутреннем, духовном... Перед этим богатством индивидуальностей — творческих, человеческих, перед этим «древом жизни» как поистине сера «теория», как говорится в гетевском «Фаусте», как бедны, внутренне мертвы все эти мозговые тресты, интеллектуальные комбинаты и прочие изобретения механической мысли. В «Эфирном тракте», увидев, так сказать, в действии мысль человека, приводящую в движение оросительный аппарат,

Кирпичников испытывает жгучее чувство внутреннего протеста. «И еще Кирпичников сознал в себе какой-то тайный стыд и тихую робость — чувства, которые присущи каждому убийце даже тогда, когда убийство совершено в интересах целого мира. На глазах Кирпичникова Матиссен явно насиловал природу. И преступление было в том, что ни сам Матиссен, ни все человечество еще не представляли из себя драгоценностей дороже природы. Напротив, природа все еще была глубже, больше, мудрее и разноцветней всех человеков». В русской литературе советского периода наряду с поверхностным представлением о природе как слепой, косной силе, которая стоит препятствием на пути передовой, прогрессивной силы, продолжает жить идущая от русской классики философия природы как силы творческой, с которой органично связан человек. Наиболее глубоко эта философия выразилась в творчестве М. Пришвина, определив характерную и своеобразную природу его образов.

* * *

У Пришвина есть запись, сделанная в Дунине в 1947 году:

«Я буду писать о той радости жизни, какая бывает последствием трагедии. Они же будут понимать, как радость языческую, пантеизм, детство и тому подобный вздор». Эти слова — ключ к подлинному Пришвину, который долгое время поверхностной критикой воспринимался только как «певец природы». Во многом это объясняется и тем, что критике не был известен во всем объеме главный труд жизни Пришвина — его дневники, которые он писал на протяжении более полувека, занося в них свои мысли о происходящих событиях, об истории и современности, о философии, науке, искусстве, о встречах с людьми, о природе. Дневники раскрывают историю творческого сознания, разные фазисы его развития: сознания, испытавшего на себе воздействие разных исторических эпох, перед нами духовный мир (как у всякого крупного художника), противоречивый и в чем-то, видимо, цельный, прежде всего в своей духовной основе.

Образ у Платонова при всей глубине философской наполненности в основе своей вещественно предметный. Но философия жизни может находить образное выражение и через изречение, и через мысль. Но чтобы мысль, изречение стали образами, для этого необходима полнота заключенного в них жизненного опыта. Примечательны в этом отношении образы-изречения Пришвина.

У Пришвина есть высказывания, которые можно считать его философско-эстетической программой, самим принципом его изображения человека. «Ни за что в мире не отдам это счастье интимного общения с незнакомым русским человеком, как с родным». Рассказывая о встречах с простыми трудовыми людьми, Пришвин заключает: «И сколько таких хороших людей есть на свете, и никто из них сам ничего хорошего не знает о себе, и так все привыкнут к тому, что никто и не догадывается, как он хорош». «Величайшее счастье не считать себя особенным, а быть, как все люди». Быть как все — это значит осознать смысл человеческого назначения на земле, ту нравственно-духовную основу, на которой зиждется связь людей, их взаимоотношения: чувством проникнуть в то, что есть общего, коренного, лучшего в людях, в народе. Другой человек интересен нам именно тем, чего нет в нас, мы тоскуем обычно по тому, чего нет в нас самих и что есть в других, и этим другим обязаны своим внутренним обогащением. Быть как все — это значит видеть лучшее в людях; замечая лишь одни недостатки в человеке, мы тем самым обедняем себя, лишаем духовной глубины, которая только и возможна в общении с положительными началами. Как, в сущности, несчастен человек, видящий в других одно только дурное, злонамеренное, подлое, уверенный в том, что нет людей, которых бы он уважал, злопамятный на каждое слово (”буду умирать — не забуду”), растравляющий свою мысль, память каждой обидной мелочью. Такой человек обрекает себя на внутреннее самоистребление. Быть как все — это значит и не иссушать себя индивидуализмом, презрением к ”толпе”».

Надменность «избранника», «служителя муз», «оракула» и пр. — все это было чуждо духовной атмосфере русской

культуры. Поэтому всякие оракульские претензии оказывались несостоятельными. Пришвин вспоминает в 1939 году: «Два чудовищных момента русской культуры: когда декаденты объявили: «я — бог!» — и потом рапповцы тоже: «Мы — правда!» — и диктовали свои условия художнику от имени правительства». Можно понять художника Пришвина, собирающего, как пчела, мед со всех полей и лугов матери-земли («счастье интимного общения с незнакомым русским человеком»; «сколько таких хороших людей есть на свете»; «быть, как все люди») и поставленного перед требованиями новоявленных литоракулов: писать так, как указываем мы, «мы — правда!» Но настоящие писатели никогда не говорили «мы — правда», они искали правду, боролись за нее. И злободневное, временное превращали в общечеловеческое, в вечное. Требование писать по навязанной формуле нелепо, кроме всего прочего, еще и тем, что лозунг «мы — правда!» предполагает вытеснение собой, своей формулой всего жизненного содержания, всего богатства связей «быть как все», подмену вульгарной схемой всей неисчерпаемости бытия. Смысл «быть как все» углубляется в своем жизненном содержании, в значении реально существующих, ненадуманных взаимоотношений людей.

Но «быть как все» не означает уравнивания, обезличивания творческой индивидуальности, подгонку личности под среднемассовый духовный уровень. Для великих русских писателей «быть как все» означало органичную связь с народной почвой, из этой глубины родства и рождалась значительность индивидуальности.

Такой принцип обогатил художника знанием интимных сторон человеческого духа, оттенков мысли, настроения. Извлечения из дневников писателя в шестом томе его последнего собрания сочинений и особенно книга «Незабудки», составленная из дневниковых записей, открыли читателю новое в творчестве и в самой личности Пришвина. Читатель узнал Пришвина как поэта-философа, автора коротких и очень емких заметок, высказываний, размышлений на самые различные темы (современности, истории, природы,

культуры, науки, быта и т.д.), эти высказывания зачастую и приобретают афористическую выразительность, становятся изречениями, образами. В литературе эта форма афористически-образного мышлении не нова, во Франции это «Опыты» Монтеня, «Мысли...» Паскаля; у нас в XIX веке эта форма философско-образной мысли становится близкой всем крупным художникам, начиная от самого Пушкина («Отрывки из писем, мысли и замечания») и кончая мыслителями — современниками Пришвина, особенно В. В. Розановым. «Неподкупность» этого жанра коротких заметок в том, что он требует особого свойства личности автора, ибо только самой личностью, цельностью мировосприятия и можно объединить и придать цельность всей пестроте и разнородности материала, о котором идет речь. Но эта же форма и позволяет автору наиболее живо, непосредственно выразить первичное в своем мироощущении, интуитивно-глубинное в виде догадки, намека, прозрения.

Что внес Пришвин нового в жанр лаконичной, образной записи? Со временем, когда будут полностью опубликованы дневники Пришвина, обнаружится видимо, яснее и пестрота его характеристик, увлечения временными категориями, терминами, конкретнее выявится и движение его мысли. Но уже теперь можно говорить о мысли-образе у Пришвина как главном звене его философски духовной связи с человеком, миром, природой (кстати, звеньями называются главы романа «Кащеева цепь»). Приведем из книги «Незабудки» несколько таких мыслей-образов, чтобы нагляднее представить себе особенности этой формы у Пришвина: «Отдать себя жизни, пусть ранит она сердце, — чем больше ран, тем глубже свет. И каждый человек будет открытая книга, и по одному звуку голоса другого человека будешь сразу узнавать, кто он такой, что с ним было, и чем он мучится, как он ранен... А то можно забить себе в голову гвоздь, и так с гвоздем всю жизнь прожить и ничего не узнать...» Мы чувствуем, как обеднело бы содержание, если бы это образное выражение было заменено сугубо логической передачей мысли. Заставляет задуматься этот «гвоздь», застревающий

в голове как узкая фанатичная мысль, умозрительная предвзятость, калечащая сознание, закрывающая собой все богатство жизненных связей. Приведем еще мысль-образ у Пришвина: «Сила молчанья. Всю ночь мы проспорили. Утром в лесу спор зашел до того, что я стал защищать художество, как создание лучшей реальности. И так пошло: я защищал художника — она нападала на человека.

Так в споре мы подошли к реке. Тут :на берегу стояла старая седая кобыла, возле нее на траве валялись два гнедых жеребенка, ее дети: годовалый и новорожденный. Мы видели, как кобыла, наклонясь, коснулась губами своего жеребенка.

Так в молчанье у лошадей совершилось то самое, о чем люди говорили и не могли договориться всю ночь и все утро... Молчанье при достижении полноты». Здесь наглядно видно, как образ может вместить в себя то содержание, которое недоступно для мысли логической, умозрительной. Еще пример: «Забылся от горя и шел по дороге, опустив глаза. Но в лужице увидел лес, и на голубом деревья высились так прекрасно. Да откуда же такое прекрасное небо взялось? Посмотрел и увидел небо.

Так и мое искусство, друзья, не больше лужицы, в которую из-за нашей спины смотрится невидимый нам весь человек с природой своей, деревьями, водами, и я пишу вам только, чтобы вы обратили внимание».

Выразительность пришвинских мыслей-образов прежде всего в их емкости, жизненной содержательности, в доверительности автора к самой жизни, к бесконечным проявлениям ее мудрости, в желании говорить языком самой этой мудрости, а не тем, что сам Пришвин назвал застрявшим в голове гвоздем, то есть плоской, рассудочной мыслью, узкой формулой. Здесь мысль должна одухотворяться, быть чувством-мыслью, пульсировать оттенками, отделяться от ствола личности художника как зрелый плод, она результат не одного головного усилия, а всего духовно-творческого напряжения автора, недаром Пришвин сравнивал с материнством вынашивание художником в себе образа.

Особый разговор — пришвинский образ, возникающий из общения с природой. Пришвин не уходит в природу от действительности, напротив, в природе он еще глубже сходится с действительностью, с ее социально-философской природой. Так, бродя с лукошком по грибным лесным низинкам, пробираясь по болоту с охотничьим ружьем, а то и просто прогуливаясь по лесной тропинке, присаживаясь на пенек, чтобы записать карандашом в блокнот внезапно возникшую мысль, Пришвин никогда но был лесным созерцателем. Он жил (и об этом свидетельствуют прежде всего его дневники) постоянной духовно-сосредоточенной внутренней жизнью, напряженными размышлениями о своем времени, его проблемах, об истории, судьбе современного человека. Природа была для него не только стабильным фактором, влияющим на равновесие творческих сил близкого к ней человека, художника, она была для Пришвина как бы проявителем глубинных тенденций самой действительности, смысла событий, социально-нравственных интересов человека. Природа стала связующим звеном между художником и действительностью в самых существенных социально-исторических, философских связях. В этом смысле, «уйдя» в природу, Пришвин больше сделал в литературе для постижения действительности, современности, нежели те авторы, которые спешили зафиксировать внешние признаки современности, совершенно не догадываясь об ее скрытых, внутренних силах. Образы природы рождаются у Пришвина из глубоко выношенной идеи сотворчества человека и природы, их взаимообогащения, должной цельности их бытия; образы эти духовны, в этом и благодарность человека в ответ на материнство природы. Может «равнодушная природа красою вечною сиять», но может и включиться в живое и духовное единение с человеком.

Наиболее значительно в писательской судьбе Пришвина то, что он сам назвал «искусство как поведение», то есть стремление достигнуть согласия творчества и самого образа жизни. («В «Кащеевой цепи» Пришвин приводит слова Грибоедова: «Пишу как живу, и живу как пишу»). Это выраба-

тывание в себе цельной личности, нераздельность слова и образа жизни, поведения и становится, по Пришвину, главной творческой задачей художника. «Писать можно, чувствуя себя образованным и отчеканенным человеком, как Анатоль Франс пишет; или же как русские пишут, будто поднимают какой-то вопрос для обсуждения с другом». В этих словах Пришвина подмечена одна из важных особенностей русской литературы. В ней, действительно, нет выставления на первый план внешнего блеска, в ней прежде всего «вопрос», потребность выразить то, что мучит, не отпускает от себя художника. Есть литература цивилизации (сложившийся тип современного западного писателя), но есть литература пророческая, не знающая профессионального самоудовлетворения, обращенная за пределы литературы, к самым глубоким и больным вопросам человеческого существования, бытия. Такова русская литература XIX века. Для русских писателей творчество, писание книг не было самоцелью, а иногда казалось даже «недостойным» занятием, как, например, Гоголю, Л. Толстому, недостойным перед мукой нравственных вопросов, овладевшей ими. Главные духовно-нравственные усилия художника переносятся на центр самой его личности, на вырабатывание ее цельности, на преодоление разрыва между творением и самой жизнью художника. В этом смысле понятна глубина гоголевских слов о том, что сначала образуй самого себя как человека, гражданина, а потом уже пиши, учи других. Каждый большой русский художник знал это противоречие между словом и делом, и это была одна из наиболее мучительных проблем в их жизни. В борьбе, в преодолении этого противоречия и заключается глубинный смысл их творчества. Для русских писателей литература — это, конечно же, не профессия в том понимании, как это принято считать на Западе, когда писательство — это само по себе, как всякая профессия, а жизнь — тоже сама по себе. У русских писательство — это больше чем профессия, чем эстетика. Это судьба. В традиции этого действенного самосознания художника, не отделяющего слова от дела, видится и пришвинское «искусство как поведение». «Далеко позади себя

я оставил гордые попытки управлять своим творчеством как механизмом. Но я хорошо изучил, при каких условиях мне удаются прочные вещи: только при условии цельности своей личности». И может быть, главный итог, поучительность творчества Пришвина — в истории «узнавания и оберегания условий бытия цельной личности», в истории внутренней борьбы за цельную личность в конкретных социально-исторических условиях, в осознании нравственного «ствола человеческой личности». В. Д. Пришвина, хорошо знавшая круг творческих, внутренних интересов Пришвина, пишет о нем: «Жизненное дело Пришвина было в каком-то смысле глубже искусства, оно было нравственным усилием человека, а не просто радостью художника». В этом — «внутренний человек» в Пришвине, в этом и ключ к природе его образов.

* * *

Образ — это не отвлеченно-художественное понятие. В нем выражается мировоззрение писателя, его гражданственность, мера понимания жизненной глубины, социально-исторических народных проблем своего времени. Образ — это характер связи писателя с людьми, с действительностью.

Каждый писатель требует индивидуального подхода, его нельзя мерить достоинствами и недостатками писателя иного стиля, нельзя не принимать во внимание эстетических задач, поставленных перед собою автором. Есть, однако, основа, которая может быть бесспорной при разговоре о разных авторах, — это мера жизненной достоверности, соотнесенность изображаемого автором с историческим опытом народа, с насущными проблемами личности.

Здесь и может при сопоставлении проявляться особенность каждого писателя.

Перед нами два рассказа: «Возвращение» А. Платонова и «Ночь в октябре» К. Паустовского. И в том и в другом рассказе время действия — окончание войны (кстати, и написаны оба рассказа в одном и том же 1946 году). И здесь и там

главный герой — капитан, возвращающийся домой с фронта. Но любопытно, как одна и та же тема, ситуация наполняется разным содержанием, внутренним смыслом, как по-разному (даже до противоположности) выглядит картина послевоенной жизни. В рассказе А. Платонова вернувшийся с войны капитан Иванов с тяжелым чувством видит, как многое изменилось в доме. Почти не узнать двенадцатилетнего сына Петрушку, из ребенка превратившегося в рассудительного хозяйственного мужичка, забывшего детство, занятого лишь заботами, как бы что сэкономить, не забыть сделать: за обедом он жалеет много есть, говорит отцу: «А тебе, отец, завтра с утра надо бы в райсовет и в военкомат сходить, станешь сразу на учет — скорей карточки на тебя получим». Но больше всего ранит Иванова признание жены в близости с другим человеком, в близости невольной, от тоски, нестерпимой жизни. Петрушка, проснувшись ночью на печи, слушает злой разговор мучимого ревностью отца с матерью, потом, не выдержав, вступается за мать, говорит отцу: «Ты сам не понимаешь. У нас дело есть, жить надо, а вы ругаетесь, как глупые какие». Иванов решает уехать от семьи, но, увидев из вагона бегущих Петрушку и Настю, не выдерживает и сходит с поезда. «Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем». Надо прочитать весь рассказ «Возвращение», чтобы почувствовать всю глубину вложенной в него боли, всю трагедию последствий войны.

В рассказе К. Паустовского «Ночь в октябре» едущий на пароходе из Москвы в деревню, за Рязань, рассказчик-писатель знакомится в дороге с капитаном-фронтовиком Зуевым. Выясняется, что до войны Иван Матвеевич Зуев лесничествовал и сейчас возвращается на старое место, в ту же деревню Заборье, куда едет и его спутник-писатель: «— Чудесное дело — леса! Я лесовод по образованию. Приезжайте ко мне. Я вам такие места покажу, что вы ахнете. На фронте я эти места почти каждую ночь видел во сне.

Он засмеялся, и от этого его лицо сразу помолодело на несколько лет».

Сойдя глухим вечером с парохода, герои отправляются в путь, но вскоре в ночной темноте обнаруживают, что произошло что-то непонятное, они, оказывается, попали на остров, отрезанный водой, на глазах прибывающей, грозящей их жизни. «Глупо... в двух шагах от родного дома...» — говорит капитан. Наконец в ответ на крик слышатся из темноты слабые, отрывистые удары весел и женский голос: «Иду».

Выясняется, что спасительница — это Даша, работавшая до войны также в лесничестве помощницей Зуева. «Я вас сразу узнала. Только не признавалась. Мы вас ждали-ждали после победы!» — говорит Даша Зуеву. Все трое собираются в доме Василисы Ионовны, куда приехал работать писатель. Василиса Ионовна говорит Даше: «Дождалась ты наконец Ивана Матвеевича». Сорвавшаяся с места Даша выбегает с пустым ведром в сад, от волнения упускает ведро в колодец. «Я вытащил ведро. Даша тут же напилась из ведра — влажные ее зубы поблескивали в темноте — и сказала:

— Ох, как же я вернусь в дом, прямо не знаю.

— Ничего, пойдемте.

Мы вернулись в дом. Там уже горели лампы, стол был накрыт чистой скатертью, и со стены спокойно смотрел из черной рамы Тургенев. Это был редкий его портрет, гравированный на стали тончайшей иглой, — гордость Василисы Ионовны».

Так заканчивается рассказ К. Паустовского «Ночь в октябре». Две совершенно разные атмосферы послевоенного времени. У Платонова судьба семьи, как сказалась война на ней, — это проблема социально-народного значения. Здесь все обыденно, просто, «как у всех»: приехал человек с войны, увидел детей, семья за столом, разговоры с женой, как жила, — это действительно обыденно и тем значительнее в своей правде, в концентрации тех переживаний, испытаний, которые выпали в войну на долю людей, сделали их во многом уже иными. Весь рассказ А. Платонова построен на обнажении душевного состояния людей, самой их внутрен-

ней сущности. Казалось бы, в «проходном» эпизоде, в случайном знакомстве, в житейском деле Платонов касается как бы самого «корня» человека, оставляет в читателе «жало» участия, сострадании к человеку. Вот всего несколько слов о Маше, с которой случайно познакомился в поезде Иванов и которая так же, как и он, возвращается с войны домой; всего несколько слов об этой молодой женщине, а нам уже ясен ее характер: «Поезд пришел, и они попрощались. Иванов уехал и не видел, как Маша, оставшись одна, заплакала, потому что никогда не могла забыть ни подруги, ни товарища, с кем хоть однажды сводила ее судьба». Вот семья Ивановых за обедом:

«Петрушка за столом съел меньше всех, но подобрал все крошки за собою и высыпал их себе в рот.

— Что ж ты, Петр, — обратился к нему отец, — крошки ешь, а свой кусок пирога не доел... Ешь! Мать тебе еще потом отрежет.

— Поесть все можно, — нахмурившись, произнес Петрушка, — а мне хватит.

— Он боится, что если он начнет есть помногу, то Настя тоже, глядя на него, будет много есть, — простосердечно сказала Любовь Васильевна, — а ему жалко.

— А вам ничего не жалко, — равнодушно сказал Петрушка. — А я хочу, чтоб вам больше досталось.

Отец и мать поглядели друг на друга и содрогнулись от слов сына».

Повествование уходит внутрь, в психологию героев, оно никогда не выходит на поверхность описательности, внешнего сюжетного действия. Основой рассказа становится то, что сам автор называет прикосновением к жизни «обнажившимся сердцем».

В рассказе Паустовского «Ночь в октябре» возвращение капитана Зуева с войны превращается в некое романтическое происшествие, в загадочное приключение на острове, поглощаемом водой, с неожиданным появлением спасительницы и заключительной красивостью их чувств друг к другу. Сам разговор капитана с рассказчиком-писателем какой-то вне-

временной, литературный — общими местами о войне, оборотами речи. В нем нет живых подробностей, которые бы убеждали, что это говорит фронтовик. Вот характерный пример его рассуждений: «Да, жизнь! — вздохнул Зуев. — Хорошая, в общем, жизнь. Очень я ее ощущаю после войны. Особенно как-то ощущаю. Смейтесь или нет, как хотите, а я теперь готов всю жизнь выращивать какую-нибудь сосну. Верно! Глупо это, по-вашему? Или нет?»

Настрой рассказчика на романтичное, на красивое очевиден с первых же строк: «По писательскому своему опыту я знаю, что гораздо лучше работать в деревне, чем в городе. В деревне все помогает сосредоточиться, даже треск фитиля в маленькой керосиновой лампе и шум ветра в саду... Там была усадьба со старым домом и совершенно заглохшим садом». Луна с тускнеющим светом; гудящий лес; молчание ночи над черными стогами; непонятно откуда прибывающая в непроглядной тьме вода; стог, вспыхивающий от поднесенной спички «багровым мрачным огнем»; появление из темноты на лодке спасительницы с «мокрыми прядями волос», выбивающимися из-под платка; ночь, кажущаяся после недавней опасности «удивительной и прекрасной»; «влажные зубы» стоящей у колодца Даши, которые «поблескивали в темноте»; редкий портрет Тургенева в черной раме, «гравированный на стали тончайшей иглой», — все это придает определенную окрашенность повествованию. Автор эстетизирует не только внешние подробности, но и чувства и мысли героев. Вот какие легкие, красивые мысли навещают рассказчика в момент смертельной опасности: «Мы стояли у горящего стога и смотрели на огонь. В голову приходили бессвязные мысли. Сначала я пожалел о том, что не сделал в жизни десятой доли того, что собирался сделать. Потом подумал, что глупо пропадать от собственной оплошности, тогда как жизнь обещает впереди еще много вот таких хотя и пасмурных и осенних, но свежих и милых дней, когда нет еще первого снега, но все уже пахнет этим снегом — и воздух, и вода, и деревья, и даже капустная ботва.

Должно быть, и Зуев думал примерно о том же».

Примечательны эти слова о герое, что он думал «примерло о том же». У самого рассказчика мысль об опасности, смерти как бы незаметно, непроизвольно смывается наплывом, так сказать, «пахнущих снегом» слов. Интересно свидетельство того, как трудно писателю побороть в себе самого себя, как это свое всегда дает знать о себе в обстоятельствах неожиданных, вовсе не подходящих для этого. Это свое, свои мысли, восприятие людей и мира, природы, свой язык он переносит на героев (людей разного опыта, разных характеров, разных профессий), и все они у него думают, воспринимают жизнь «примерно так же», как он сам, рассказчик.

Нетрудно заметить, что рассказ «Ночь в октябре» построен на чередовании описания природы и разговора героев. Но связь здесь, пожалуй, внешняя. Все хорошие слова рассказчика о природе, восклицания о ней капитана не дают нам почувствовать, однако, живого, глубокого общения с ней. Печать пейзажной условности лежит на описании природы в рассказе (как, впрочем, часто у Паустовского).

Вот характерное для Паустовского описание природы в рассказе «Собрание чудес»: «Мы пробыли на озере два дня. Мы видели закаты и сумерки, и путаницу растений, возникавшую перед нами в свете костра. Мы слышали крики диких гусей и звуки ночного дождя. Он шел недолго, около часа, и тихо позванивал по озеру, будто протягивал между черным небом и водой тонкие, как паутина, дрожащие струнки». Восприятие природы у Паустовского слишком очевидно опосредовано идущими от искусства ассоциациями, тем, что он сам называет «шедеврами» в рассказе «Наедине с осенью»: «Сейчас на реке я подумал, что шедевры существуют не только в искусстве, но и в природе. Разве не шедевр этот крик журавлей и их величавый перелет по неизменным в течение многих тысячелетий воздушным дорогам?..

Да что говорить! Каждый осенний лист был шедевром, тончайшим слитком из золота и бронзы, обрызганным киноварью и чернью.

Каждый лист был совершенным творением природы, произведением таинственного искусства, недоступного нам, лю-

дям. Этим искусством уверенно владела только она, только природа, равнодушная к нашим восторгам и похвалам.

Я пустил лодку по течению. Лодка медленно проплывала мимо старого парка. Там белел среди лип небольшой дом отдыха».

Из таких «шедевров» и складываются, как мозаика, пейзажи у Паустовского. Здесь же мы видим типичный для его рассказов переход от пейзажного «шедевра» к столь же красивым мыслям. Из глубины старого парка до слуха рассказчика, сидящего в лодке, доносятся «знакомые томительные слова»:

«Не искушай меня без нужды...

Вот, — подумал я, — еще один шедевр, печальный и старинный».

Заканчивается рассказ «Наедине с осенью» словами о том же шедевре: «Я пишу все это осенней ночью. Осень за окном не видна, она залита тьмой. Но стоит выйти на крыльцо, как осень окружит тебя и начнет настойчиво дышать в лицо холодноватою свежестью своих загадочных черных пространств, горьким запахом первого тонкого льда, сковавшего к ночи неподвижные воды, начнет перешептываться с последней листвой, облетающей непрерывно и днем, и ночью. И блеснет неожиданным светом звезды, прорвавшейся сквозь волнистые ночные туманы.

И все это покажется вам великим шедевром природы, целебным подарком, напоминающим, что жизнь вокруг полна значения и смысла».

Если в этом описании снять очарование звучных фраз, то образно-конкретного остается крайне мало. В пейзажах Паустовского крайне трудно обнаружить живое, трепетное, первородное ощущение природы. Это не случайно, кроме всего прочего, еще и потому, что люди в рассказах Паустовского — предмет почти пейзажного созерцания, и при такой созерцательности исключается возможность человеческой активности, зоркости в отношении к самой природе.

В литературе нередка имитация жизни. Писатель может так войти в имитацию, сжиться с нею, сжиться со своим

представлением о литературе, об искусстве, что жизнь для него исчезает, в нем, в самом писателе, как бы исчезает человек, живущий своей жизнью, со своей судьбой, со своим неповторимым опытом (и тем интересный другим людям), остается только «пишущий», остается фраза, которая и говорит за него.

Излюбленный сюжет рассказов Паустовского — история знакомства со случайным интересным человеком, передача состоявшегося разговора (с бакенщиком, паромщиком, лесником, подпаском, стариком из лесной глухой деревушки, с художником, старой библиотекаршей, композитором, кинорежиссером, рыбаком). При этом каждая встреча с человеком, самый обыденный бытовой случай как бы обрамляются рамкой эстетических интересов, а роль самого рассказчика — роль «проводника по прекрасному», как говорится в рассказе «Кордон 273». Кстати, этот рассказ о леснике, о людях мещерской деревни, начинается с описания гравированного портрета Гарибальди в мезонине дома, где поселился рассказчик: «На портрете нет подписи гравера, но с оборотной стороны гравюра заклеена французской газетой. Я догадываюсь: бывший владелец этого деревенского дома, давно умерший художник, долго жил в Париже, бывал в Буживале у Тургенева, знал Виардо и, очевидно, встречался с Гарибальди.

Гарибальди! Небо Италии, поход на Рим, воздух, пропитанный запахом масличной коры, страна мечтаний, поэм и нищеты!» Это обычное для автора добавление «прекрасного» в прозу жизни. Особенно это замечается, когда заходит речь о войне, когда против суровой правды того времени вопиет всякая фальшь, красивость. Вот почему мы остановились на рассказах Паустовского, написанных во время войны. Нам придется занять внимание читателя пересказом еще нескольких сюжетов подряд, это поможет объективности и полноте впечатления. Герой рассказа «Дождливый рассвет» майор Кузьмин сходит ночью с парохода, чтобы от соседа по госпиталю передать письмо его жене, проживающей в этом небольшом городке. Извозчик на пролетке везет его по ночным улицам. «Где я?.. — подумал он. — Где-то

рядом — неизвестная женщина. Ей надо передать ночью важное и, должно быть, невеселое письмо. А два месяца назад был фронт. Польша, широкая тихая Висла. Странно как-то! И хорошо». Открывшая дверь старуха проводит его в комнату. «На столе... лежала раскрытая книга. Кузьмин встал, наклонился над ней и, прислушиваясь к торопливому шепоту за дверью и шелесту платья, прочел про себя давно забытые слова:

И невозможное возможно,
Дорога дальняя легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка...»

В ожидании незнакомки Кузьмин осваивается с обстановкой комнаты: «И рядом — раскрытая книга Блока. И черная женская маленькая шляпа на рояле, на синем плюшевом альбоме дли фотографий... И всегда немного печальный, особенно в такую позднюю ночь, запах духов». На пороге появляется «молодая женщина в черном платье». «Его удивили ее молодость и блеск глаз — глубокий и немного туманный». «Она взяла письмо, поблагодарила и, не читая, положила его на рояль».

В этом «не читая» и сказывается психологическая нечуткость, неправдивость поступка героини. Никак не верится, чтобы она не прочитала, даже и не любя, ибо она, как все, живет войной, которая обострила чувство, заставила по-иному, более глубоко взглянуть и на личные отношения людей. Кузьмин догадывается, что у женщины разлад с мужем. За вином у них налаживается разговор, она просит его говорить «обо всем», он говорит ей, что «все хорошее почти всегда проходит мимо»... Загудевший за окном «в сыром мраке» пароход прерывает их беседу. Они идут по темной улице. На деревянной лестнице, недалеко от пристани, они прощаются. «Кузьмин взглянул на нее. Из-под платка смотрели на него тревожные, строгие глаза. Неужели вот сейчас, сию минуту, все уйдет в прошлое и станет одним из томительных воспо-

минаний и в ее, и в его жизни?» Пароход уплывает. Так печально заканчивается история знакомства фронтовика с незнакомкой, как бы сошедшей со страниц стихов Блока. И Кузьмин с его мечтательностью и склонностью к красивым образам («С вами тоже так, наверное, бывало. Из окна вагона вы вдруг увидите поляну в березовом лесу, увидите, как осенняя паутина заблестит на солнце, и вам захочется выскочить на ходу из поезда и остаться на этой поляне. Но поезд проходит мимо»), сам Кузьмин больше напоминает заезжего любителя романтических приключений, чем фронтовика. Здесь, конечно, следует учитывать и то известное нам обстоятельство, что Кузьмин «мог примерно думать о том же» (как и фронтовик Зуев в рассказе «Ночь в октябре»). Ведь автор свое представление о такой «туманной» и «томительной» встрече, мысли о ней может считать и за мысли своего героя.

В рассказе «Снег» молодой лейтенант Николай Потапов после госпиталя получает короткий отпуск и едет в родной городок навестить отца. Уже приехав, на вокзале от знакомого начальника станции он узнает, что «отец его умер месяц назад и что в их доме поселилась с дочерью молодая певица из Москвы». Потапов решает только посмотреть на дом, не заходить. «Мысль о том, что в отцовском доме живут чужие, равнодушные люди, была невыносима». Но около дома его встречает женщина и приглашает в дом. Сразу же он чувствует себя, как в родной семье. «После чая Татьяна Петровна провела Потапова на могилу отца, за рощу. Туманная луна поднялась уже высоко. В ее свете слабо светились березы, бросали на снег легкие тени.

А потом, поздним вечером, Татьяна Петровна, сидя у рояля и осторожно перебирая клавиши, обернулась к Потапову и сказала:

— Мне все кажется, что где-то я уже видела вас.

— Да, пожалуй, — ответил Потапов».

Вскоре после отъезда Татьяна Петровна получила от Потапова письмо. «”Я вспомнил, конечно, где мы встречались... — писал Потапов. — Помните Крым в двадцать седьмом году? Осень. Старые платаны в Ливадийском парке.

Меркнущее небо, бледное море. Я шел по тропе в Ореанду. На скамейке около тропы сидела девушка... Этой девушкой были вы... жизнь оказалась милостивой ко мне, я встретил вас. И если все окончится хорошо и вам понадобится моя жизнь, она, конечно, будет ваша...”

Татьяна Петровна отложила письмо, туманными глазами посмотрела на снежный сад за окном, сказала:

— Боже мой, я никогда не была в Крыму! Никогда! Но разве теперь это может иметь хоть какое-нибудь значение? И стоит ли разуверять его? И себя!

Она засмеялась, закрыла глаза ладонью. За окном горел, никак не мог погаснуть неяркий закат».

Эта эффектная история с крымской девочкой кажется просто удивительной для своего времени (рассказ помечен 1943 годом).

Нужно остановиться еще на одном рассказе военного времени — «Приказ по военной школе». Это несколько иной по тональности рассказ, с иными особенностями. Речь идет о том, как курсант медицинского училища Михайлов, преодолевая страх и неуверенность, успешно делает внутривенное вливание бойцу Капустину. Благодарный Капустин вручает курсанту Михайлову подарок. «Когда, наконец, последняя газета была сорвана, восхищенные курсанты отступили: на койке лежали куски сушеной дыни. Чарджуйской дыни, чей запах прекраснее запаха жасмина и чья сладость слаще дикого меда». Это уже знакомые нам и по предыдущим рассказам красивости. Но есть здесь то, чего не было в предыдущих рассказах, — солдатская среда, разговоры солдат. И здесь автору явно труднее справляться с задачей, здесь труднее ограничиться «туманными», «томительными» чувствами, а требуется больше «натуры». И в этой «натуре», в этой солдатской среде гораздо труднее справляться с языком, чем в тех романтических историях. Обнаруживается, что Паустовский крайне приблизительно передает живую разговорную речь с ее интонацией, особой фразеологией, далеко не всегда совпадающей с грамматической правильностью, с ее меткими словечками. Язык солдат у него деланный,

вульгарно-утрированный, псевдонародный. «Эх ты, полотерная щетка! — рассердился Капустин. — Все мозги на паркетах растряс. Говорю тебе, сотню раз делал. Друг он мне теперь навеки...» Вслушаемся в разговор:

«— Вот те и сотый раз. Процедура. *Дура ты*, Капустин! *Обмишурили* они тебя, а ты и уши развесил.

— Это еще мы поглядим, кто из нас дура! — угрожающе пробормотал Капустин. — Чего скалишься? Значит, у человека талант. Значится благодарен ему еще больше. *Талант — он, брат, землю ворочает!*

— Насчет таланта я не говорю, — примирительно сказал Коноплев. — *Это, конечно, дело великое. Конечно, если кому он даден.*

— Вот и видать, что ты дура! — с сердцем сказал Капустин. — Разговариваешь серо, неубедительно. Сам своих слов не понимаешь (Выделено мною. — *М. Л.*)».

В подчеркнутых словах особенно видно усилие автора, как принято говорить, индивидуализировать речь, но это не живость самой разговорной речи, а искусственная утрированность.

Вообще в передаче Паустовского речь тех людей, с которыми он встречался (включая и деревенских жителей), с очевидностью олитературивается, подводится под один образец, собственно авторский. С языком происходит примерно то же, что с природой: не столько конкретные живые подробности, не столько живое ощущение красоты, сколько рассуждения, оперирование общими местами. Читатель, чуткий к живой разговорной речи людей из народа, почувствует «химикалию», неестественность языка, скажем, бакенщика (из одноименного рассказа), эту искусственность выдает «переигрывание» словами, фразу ломает «не то слово»: «Пустая наука! Этого для человека мало. Другое знать *надобно*»; «У меня тоже *дело тонкое, государственное дело*. Потому — это река тоже для победы старается, несет на себе пароходы, и я при ней *вроде как пестун*, как охранитель, чтобы все было в исправности». «Наша страна — *прелесть какая!* За эту прелесть мы тоже должны с врагами драться, уберечь ее...»

(Выделено мною. — *М. Л.*). Причина такой языковой неточности лежит глубже, чем в недостаточно чутком улавливании писателем живых особенностей разговорной речи. Эта причина — в самом восприятии автором народного характера, так сказать, в переложении его на свой беллетристический лад. Характер этот лишается своей коренной связи со средой, с временем, превращается во что-то идиллическое, в резонерствующего «проводника по прекрасному», забывающего, что происходит вокруг него. В рассказе «Бакенщик» старик расспрашивает деревенских ребятишек, за что они хотят идти в бой. Дети отвечают по-разному: «за свободную жизнь», «за свои города и заводы», «за свою школу», «за свой народ». Старик на все это отвечает: «Мало». Замолкшим детям, не знающим, как правильно ответить на вопрос, старик объясняет: «Эх вы, рассудители! А скажем, за перепела тебе драться не хочется? Защищать его от разорения, от гибели? А?»

Когда мудрость народного характера связывается с подобного рода назиданиями (и это в 1943 году, в войну), то понятно, что и языковая стихия может открываться только в своих верхних, поверхностных слоях.....

Такое великое, грозное событие, как война, определяет духовное давление всей народной жизни, в том числе и народного слова, литературы. Изменяется сама атмосфера прозы, мера жизненной наполненности фразы. Но в рассказах военных лет Паустовского всего этого нет.

Итак, основой образа у Паустовского становится эстетизация материала, точнее говоря, эстетическая самозакрытость его. К этому, как к цели, идет всякий раз авторская мысль. В путевом дневнике «Ветер скорости» Паустовский рассказывает, о чем он думал, проезжая на «Победе» по Бородинскому полю: «Ветер скорости гудел в крыльях ”Победы”. Под этот гул хорошо было думать о разных разностях, хотя бы об этой невозможной встрече Безухова со Стендалем.

О чем они могли говорить? Может быть, о том, что рядом со старой кровавой историей, с ее войнами и бессмыслицей живет простая повесть любящих сердец, где-то близко бьется

милое сердце Натащи Ростовой. И ради этого сердца стоит броситься очертя голову в любую опасность.

Мало ли мыслей приходит в голову под гул дорожного ветра!» Здесь уже проглядывает сюжет рассказа: возникает догадка, что если бы Паустовский взялся писать о Бородинском сражении, то дело и свелось бы к этой «невозможной» встрече Стендаля и Пьера Безухова, к «повести любящих сердец». Во всяком случае, это типичный для Паустовского угол зрения на великие события. Не в этой нашей догадке, конечно, суть дела, а в самом факте, что, проезжая по Бородинскому полю, писатель вообразил себе единственно только эту трогательную ситуацию — довольно странную хотя бы потому, что Пьеру Безухову было тогда вовсе не до литературы, ведь он, как известно, прибыл на Бородинское поле, чтобы принять участие в сражении, и вряд ли прельстила бы его сентиментальная беседа с интендантом наполеоновской армии Стендалем о «повести любящих сердец». Достаточно взять «зерно» столь поэтически «томительного» (любимое слово Паустовского) образа, чтобы убедиться, насколько нежизненна, бесперспективна сама исходная точка этого образа, насколько самодельна вся эта игра воображения.

Как мы помним, испытанное героем рассказа Платонова потрясение при виде страдающих детей переворачивает все его представление о жизни, снимает ту «преграду самолюбия и собственного интереса», которая отделяла его от жизни, и он внезапно коснулся ее «обнажившимся сердцем». Поэтому и жизнь он теперь узнал «гораздо точнее и действительней». Героев рассказов Паустовского отделяет от жизни, от действительности черта литературной условности, они, как и сам рассказчик, смотрят на жизнь через преграду эстетизма, красивых мыслей и чувств. Нет и намека на то, чтобы внутреннее потрясение сняло эту преграду.

В рассказе «Телеграмма» работающая в Союзе художников Настя («художники звали ее Сольвейг за русые волосы и большие холодные глаза») получает телеграмму, что помирает ее мать. До этого почти забывшая о матери, Настя горько плачет от раскаяния и срочно выезжает к ней. Но

мать умирает, не дождавшись ее. «Хоронили Катерину Петровну на следующий день». Но где это писатель видел, чтобы в русской деревне хоронили покойников на следующий день? Хоронят, как правило, на третий день, здесь же похоронили, даже не дождавшись ответа дочери на телеграмму о смерти матери. Рассказ заканчивается так: «Уехала Настя из Заборья крадучись, стараясь, чтобы ее никто не увидел и ни о чем не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с нее непоправимой вины, невыносимой тяжести». Как будто гуманный призыв: не забывайте матерей, заботьтесь о них, пока они живы, но вместе с тем — равнодушие к тому, как это бывает в жизни.

Эстетизм образа принимает иногда у Паустовского форму внешней выразительности, почти «пластичности», читателя может покорить этот «воздух, пропитанный запахом масличной коры», «веселый запах снега, схваченной первым морозом ивовой коры». Но вскоре же обнаруживается однообразие этих образов, повторяемость одних и тех же свойств, особенно это заметно в небольших статьях об иностранных писателях, в заметках о зарубежных впечатлениях. Статья «Бессмертный Тиль» начинается словами: «Старинная Фландрия. Родина Тиля Уленшпигеля. Веселая и богатая страна. Страна румяных и шутливых людей, тучных пастбищ, маленьких городов, дремлющих под треньканье надтреснутых колоколов, и других городов — многолюдных, огромных». Как будто бы и «колоритно», но ничего, собственно, конкретного от «духа» старинной Фландрии. Мало отличается это от другой картины из другой статьи — «Жизнь Александра Грина»: «Грин начал писать и создал в своих книгах мир веселых и смелых людей, прекрасную землю, полную душистых зарослей и солнца, — землю, не нанесенную на карту, и удивительные события, кружащие голову, как глоток вина». Тот же однообразно экзотический образ варьируется и в применении к творчеству Оскара Уайльда, Эдгара По, Шиллера, Андерсена и других. Характерны и разговоры автора с людьми

других стран. Автор передает слова старика француза, с которым он познакомился на набережной Сены: «— О-ля-ля! — сказал он и щелкнул языком. — Вы, я вижу, иностранец, мосье, и потому, может быть, думаете, что эти оригиналы там, внизу, — старик показал на рыболовов, — могут поймать какую-нибудь рыбу? Ни-ко-гда!! Это я говорю вам, я, Шарль-Антуан Пиго. Если раз в неделю один из них вытащит из воды вот такую сардинку — не длиннее спички, — то об этом напечатают даже в "Фигаро". Так же, как и о насморке президента господина Коти».

Мне почему-то этот Шарль-Антуан Пиго напомнил вовсе не похожего на него старика Тихона в рассказе Паустовского «Телеграмма», который «хлопотал часто без толку», помогал по хозяйству больной Катерине Петровне, с почтением относясь к памяти ее отца-художника: глядя на его картины, он «громко вздыхал: "Работа натуральная"». Вот еще черты: «долго, вытирая рукавом усы, что-то писал на бланке корявыми буквами. Потом осторожно сложил бланк, засунул в шапку и поплелся к Катерине Петровне». «Корявые буквы», «криво ухмыляясь» — таким в литературном представлении, видимо, и должен быть деревенский мужик. И не по тому ли рецепту (только, так сказать, на свой, национальный, французский, лад) написан француз Шарль-Антуан Пиго с его уже известной каждому читателю живостью и чисто галльским остроумием («О-ля-ля!»; о вытащенной сардинке напечатают в «Фигаро», так же, как и о насморке президента господина Коти).

Может быть, большего внимания, чем все другие, заслуживает у Паустовского сам образ рассказчика, повествователя, с кругом его интересов, занятий, с характером его быта, связей (знакомства с людьми в домах отдыха, на берегу моря, на рыбалке, во время путешествий по городам СССР и по зарубежным странам). И здесь можно сказать: «Как живу, так и пишу».

Есть в «Письме из Тарусы» Паустовского такие строки: «Каждая доярка в колхозе, выдаивающая десять коров, может работать не больше пяти лет. После этого срока руки

у нее слабеют, и она выходит из строя. Нужна электрическая дойка, но ее нет, так как нет энергии». Это так неожиданно для Паустовского, сама обнаженность приведенного жизненного факта (говорящая больше любых слов), что даже несколько недоумеваешь: как это могло попасть в «мир Паустовского», в мир его героев с их «шедеврами» чувств, воспоминаний? И этот факт, правда этого факта только подчеркивает своей неожиданностью ту далекую от жизни красивость историй, которые описываются в рассказах Паустовского.

В литературе всегда были эти два направления — собственно литература художественная с ее «внутренним содержанием» (как определяли ее сущность Достоевский, Л. Толстой) и беллетристика с ее занимательностью, легкостью историй, отражением уже отраженного в литературе. Такая беллетристика была, есть и будет, смотреть на это надо спокойно, не поступаясь, однако, подлинностью литературы, не мирясь с тем, когда беллетристика в силу обстоятельств «поднята» во мнении публики на уровень литературы. Значение этой беллетристики сводится чаще всего к распространению легкого, занятного представления о жизни, уводящего мысль читателя от серьезных насущных проблем современности; к распространению среди массы читателей крайне упрощенного эстетического вкуса, а точнее — безвкусицы, мещанского круга мыслей и чувств. Бесплодность этой беллетристики — в ее неизбежном самоистощении, ибо какое же может быть развитие, обогащение без притока жизненных впечатлений, без глубокого раздумья о действительности. Отличительная особенность беллетристики — она не воспроизводит ценностей в литературе, а существует, так сказать, за счет других ценностей, «эксплуатируя» таящиеся в подлинной литературе эстетические богатства, открытия, самый авторитет литературного слова, добытый подлинным искусством.

В рассказах Паустовского очевидно использование эстетической руды, добытой художниками, в частности Чеховым и Буниным. Вопрос о влиянии одного писателя на

другого психологически сложный, влияние здесь может быть глубоко внутреннее, скрытое. Но эстетическое влияние более обнажено, оно просматривается в самом тексте. Иногда это сама «окраска» характера. Но нагляднее, буквальнее эта связь видна в стилистике, в языке. В рассказе Бунина «Последнее свидание» читаем: «горько пахло осиновой корой, оврагами с прелой листвою...» У Паустовского: горький запах льда, «запах масличной коры», «веселый запах снега, схваченной первым морозом ивовой коры». Это не мелочь. Дело в том, что у Бунина мы встречаемся с целой эстетикой запаха, которая становится частью мироощущения художника. Приведем ряд примеров (самую малую часть, на выбор): «Оттуда доходил сухой, теплый запах дуба, мешавшийся с запахом зелени, с влажным мягким ветром, пробегавшим по верхушкам берез...»; «пахло жасмином в старой гостиной с покосившимися полами»; «гуще и свежее пахнут конопляники в вечерней тени, роса пала на огороды»; «пахнет жильем — как-то особенно, тепло, по-ночному»; «пруд, пахнущий садом»; «утром когда еще пахло мокрыми гумнами и дымом». Бунина, конечно, нельзя поставить в равноправный ряд русских классиков, этому мешает жесткость и узость его психологизма, накладывающая свою печать на его героев и самый его стиль. Но он первоклассный мастер слова, зоркий поэт природы. Стиль Бунина столь истончен, что он как бы достигает предела некой эстетической пленки, откуда уже нечего «черпать». В нем сверкает отточенная строгость подробностей, четкость наблюдений, сравнений. В самом запахе у Бунина то смешение оттенков, которому трудно в литературе подражать, это надо самому улавливать. А сколько подробностей в такой, например, фразе: «Мокрые, точно сразу похудевшие, лошади шлепали, блестя подковами, по синей грязи, тарантас влажно шуршал». В отдельном явлении природы, в том же дожде Бунин достигает объемности образа: «И начинал сыпать дождь. Сначала осторожно, потом все шире и шире, и затихший сад, густые чащи сочной зелени у раскрытых окон стояли, не шелохнувшись, насыщаясь влагой.

Тяжелый запах цветущих тополей наполнял сырой воздух». Это не просто «дождь идет», а целое мироощущение, насыщаемость души природой. Паустовский много писал о дожде. Но дождь у него какой-то серый, однообразный, мертвый, как будто специально вставлен для пейзажа: «моросил дождь»; «Было слышно, как шуршит в кустах дождь»; «Дождь прошел, но с крыш еще падали капли, постукивали по дощатому тротуару»; «Над лугами тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь»; «Весь день шел дождь с холодным порывистым ветром. Такая погода часто бывает в Москве в начале мая».

Секрет «монтажности» описаний дождя у Паустовского мне стал понятнее, когда я прочитал следующее место в его рассказе «Во глубине России» (1950 г.): «Лет двадцать назад в Москве показывали так называемую экспериментальную, созданную только для опыта, для пробы кинокартину о дожде... В картине был показан дождь во всем его разнообразии. Дождь в городе на черном асфальте, дождь в листве, дождь дневной и ночной, ливень и так называемый грибной, моросящий дождик, "слепой" дождь под солнцем, дождь на реке и на море, воздушные пузыри на лужах, мокрые поезда в полях, великое разнообразие дождевых облаков... Всего перечислить я не могу, но воспоминание об этой картине сохранилось надолго и помогло мне ощутить с большой силой ту поэзию обыкновенного дождя, которую раньше я плохо замечал. Раньше меня, как и многих, поражал, например, нежный запах прибитой дождем пыли, но я не вслушивался в звуки дождя и не всматривался в пасмурную и мягкую расцветку дождевого воздуха». Здесь видна эстетическая цепкость Паустовского, но ведь это не самим им открыто и узнано, а увидено в кинокартине. Так и в его рассказах — не открыто, а узнано откуда-то, вычитано, увидено на картине, в фильме.

Паустовский любит писать о, «крепких» запахах: «пахло капустной ботвой». Но читателю эти запахи не передаются, это просто слова. Тайна искусства в том, что нельзя слова-

ми заменить чувства. Мало, видимо, сказать, что пахнет «капустной ботвой», а надо знать, что это такое, знать в той же вещественности, ощутимости, как это мы чувствуем у Бунина: «мороз солью лежал на траве, на сизо-зеленых раковинах капустных листьев, раскиданных по двору». Отсюда такая осязаемость бунинских образов, та свежесть, которая так восхищала Чехова в бунинском сравнении «море пахло арбузами». И конечно же, одна из главных причин зримости, осязаемости образов у Бунина в том, что он подчиняет эстетику жизни, из самой жизни, из природы выводит богатство красок, звуков, запахов, а не берет их из «кладовой» литературы, как это мы видим у Паустовского.

Свое отношение к природе Паустовский выражал, не столько постигая ее тайны, сколько в форме уверений в любви к ней, высоких слов о ее красоте. В предисловии к собранию сочинений Пришвина он пишет: «Для таких мастеров, как Пришвин, мало одной жизни, — для мастеров, что могут написать целую поэму о каждом слетающем с дерева листе. А этих листьев падает неисчислимое множество». Интересно привести высказывания на этот счет самого Пришвина, который вовсе не думал посвящать свою жизнь составлению поэм «о слетающем с дерева листе», который и не считал себя «певцом природы», а был занят вопросами более, на его взгляд, существенными. «В художественной вещи красота красотой, но сила ее заключается в правде: может быть бессильная красота (эстетизм), но правда бессильная не бывает». Тот же Пришвин только повторял традиционную для русской литературы истину, когда говорил, что он «привык в искусстве ценить прежде всего не красивость, а волю», то есть силу, напряженность духовно-нравственных исканий. Поэзия — это не украшение, не «томительность воспоминаний», не уход от действительности, а прежде всего волевое начало, та духовная сила в человеке, в художнике, которая проявляет в своем идеале действительность, которая творит красоту. Это не бессильная красота эстетизма, а та красота, которая, по словам Достоевского, «спасет мир» силою Истины.

* * *

Вспоминаю повесть одного молодого литератора о женщинах на стройке. Была там одна сцена, которая не могла не запомниться. Автор рассказывал, как женщины кладут кирпич. Свинцовая тяжесть в руках, не разгибается спина, но они напрягаются изо всех сил, одна героиня чувствует, что у нее надрывается живот, но она все кладет, кладет. И автор пишет об этом с пафосом, ему кажется, что это очень благородно с его стороны — таким образом воспевать самоотверженный труд своих героинь. А ведь это возмутительно — восхищаться тем, что женщины работают, надрывая животы. Может ли что-либо путного выйти из такого пафоса? Если в основе произведения — ложная идея, то она заранее обречена (даже и при большом таланте автора) на антихудожественность, на неубедительность.

Вспоминаю рукопись другого автора. Герой ее, фигура положительная во всех отношениях, говорит и делает только «правильные вещи», никогда ни в чем не ошибается, во всем соблюдает норму, не допуская никаких отклонений от нее, всех наставляет, каким должен быть настоящий человек, уверив себя, что именно таковым он и является; но вот обстоятельства его жизни меняются, он попадает в условия, где надо быть, а не казаться, и превращается из показательной фигуры в весьма неблаговидную. И автор удивляется, как это могло случиться. Удивляться же здесь нечему: то, что загонялось внутрь, выплеснулось в изменившихся обстоятельствах жестокостью. Это был не «настоящий человек», а была фикция человека, та насильственная добродетель, которая рано или поздно должна была прорваться гнойником копившегося зла. Была схема человека, по которой и жил этот герой на виду других героев, но подлинный-то человек был скрыт в нем и не мог быть окончательно подавлен этой добродетельной схемой.

Ничего удивительного нет и в том, как заканчивается карьера другого героя. Он так занят своей работой, составлением очередного проекта (по профессии он инженер, началь-

ник конструкторского бюро), что даже дома поглощен мыслями о проекте, не может войти, чтобы не прерывать мыслительного процесса, к больной маленькой дочери, у которой температура под сорок. И этот показательный труженик, уйдя на пенсию, оказавшись не у дел, быстро сдает, оказывается человеком настолько слабым, что вскоре опускается и кончает пьянством. Не стало проектов, шумных совещаний, обсуждений и прочего, и нечем человеку стало жить, нет ничего за душой. Авторов зачастую пленяет внешне динамичная сторона жизни и деятельности героя, и складывается схема такой похвальной деятельности: правильное поведение, правильные выступления, борьба за прогресс в своей профессии. Но бывает так, что о человеке больше говорит не послужной его список, не диаграмма его внешних успехов, а какая-нибудь психологическая реакция на то или иное событие в его жизни. Один поэт, обращаясь к смертельно больной жене, писал: «Держи нос морковкой». И все сразу было поставлено на место, вся прошлая, полная благополучия и публичных успехов жизнь этого поэта: все шло стороной от человеческого, все съедалось внешней формой существования, литературной известностью, «положением», осталось только это «держи нос морковкой» — как весь итог его духовного опыта. Схемой может быть и само жизненное поведение человека, не осознаваемое им самим, и это уже проблема не только индивидуальной психологии.

Схематичность безмерно упрощает и омертвляет жизненное явление. Если образ в своей жизненной содержательности бесконечно богаче мысли, то сама мысль, в свою очередь, — это целый живой мир по сравнению со схемой. Схема претендует на всеобъемлющее значение: может быть схематичность мысли и даже чувства, схематичность мироощущения, мировоззрения. Живое явление укладывается в прокрустово ложе схематичности, и все, что не подходит под эту мерку, надо обрубить, и этот духовный обрубок выдается за целостный организм, за саму истину. Широко распространен такой способ упрощения жизненных явлений в литературе, схематичность духовных проблем стала одной из ее главных бед.

Последние повести В. Тендрякова дают наглядный материал для разговора об образе и схеме. Известно, что он начинал свой путь в литературе в конце 50-х годов с довольно острых социально-общественных наблюдений (зло бюрократического, формального отношения к делу, к человеку). В его ранних повестях и рассказах были живые бытовые и психологические подробности, которые свидетельствовали о цепкости взгляда автора, о его способности подмечать характерное в людях. Но уже тогда обращала на себя внимание нарочитая подчеркнутость конфликтов в его повестях, рассудочное заострение в героях качеств, нужных автору для доказательства своего тезиса. Вскоре обнаружилось, что одной обличительной запальчивости недостаточно для творчества. Всякий отрицательный пафос становится отвлеченным, умозрительным, без жизненной основы образов. Это и произошло с Тендряковым. Реальные наблюдения постепенно уступали место рассудочно сконструированным конфликтам; само обличение измельчалось, приобретая уже фельетонный характер; вся глубина и сложность жизненных противоречий все более низводились до уровня сенсационного происшествия, разрешаемого с помощью авторского рецепта. Так образность, не получая жизненного материала, приходит к самоистощению, вытесняется схематичностью идеи и самого характера героя.

Написанные в последние годы повести Тендрякова очень похожи друг на друга самой завязкой сюжета, конфликта. Повесть «Ночь после выпуска» начинается с выступления на выпускном вечере Юлечки Студенцевой, которая высказала то, чего от нее никто не ожидал: «Школа требовала пятерок, я слушалась и... не смела сильно любить... Теперь вот оглянулась, и оказалось — ничего не люблю. Ничего, кроме мамы, папы и... школы. И тысячи дорог — и все одинаковы, все безразличны... Не думайте, что я счастливая... Мне страшно. Очень!»

Эти слова вчерашней десятиклассницы вызывают крайне острую реакцию учителей. Они вступают в пространный диспут.

«— Вот итог диспута: смазанные и сглаженные личности — помилуйте! — не нелепость ли? Личность всегда исключительна, нечто противоположное "как все".

— Если вы о Студенцевой, так она и прежде была исключительна, не отымешь!

— Она отличалась от остальных только тем, что это "как все" удавалось ей лучше других. И вдруг взрыв — не как все, себя выразила, не устрашилась! Событие, граничащее с чудом... Родилась на наших глазах новая, ни на кого не похожая человеческая личность...»

Оказывается, достаточно выпускнице школы сказать несколько путаных, взволнованных слов («не как все»), чтобы наиболее передовая в повести учительница с восторгом объявила о чуде рождения личности. Но если в устах учительницы это и может быть понято (все-таки говорит она о любимой ученице), то гораздо менее понятен здесь авторский пафос. А на таком уровне и решается в повести проблема воспитания молодежи, так сказать, высвобождение в молодом человеке личности.

Таков обычный способ разрешения всех сложных проблем, конфликтов в повестях Тендрякова — через риторические формулы.

В повести «Чрезвычайное» директор школы Махотин, потрясенный открытием, что одна из учениц, Тося Лубкова, верует в Бога, решает нейтрализовать этот факт смелым, по его мнению, мероприятием. В школе организуется диспут на тему «Физики и лирики». Поставлены «две урны для голосования». Над одной урной написана декларация «физиков», над другой — декларация «лириков». Спор до того горячий, что в него втягивается и Тося Лубкова. «И тут я услышал голос Тоси Лубковой: "Мертвая аксиома — вот твоя позиция!"» Итак, цель достигнута: «Тося Лубкова спорит не только мысленно... Сталкиваются два лагеря: молодость и старость, энергия и покой, надежды и отказ от них. Сталкиваются не где-нибудь, а в Тосиной голове, в Тосиной душе». После этой дискуссии перед нами уже не та, не прежняя Тося, а другая, приблизившаяся к коллективу. Ди-

ректор школы Махотин говорит в повести: «Собрание встряхнуло меня. Если за каких-нибудь четверть часа я заставил тридцать с лишним человек по-иному думать, то, скажем, за пять лет можно своротить горы». Какая непостижимая уверенность в том, что за четверть часа, одним выступлением можно «переделать» сознание школьников! И в тоне самого автора есть что-то от этой уверенности одним «взрывом», запальчивостью монолога повернуть вспять мысль, переделать сознание героя (да и самого читателя в нужном случае). Но сделать это трудно, когда автор оперирует одними рассуждениями, схемами.

В повести «Апостольская командировка» тридцатидвухлетний герой Юрий Рыльников говорит о себе: «Да, я теперь верующий. И пришел к вере от знаний». Здесь уже известный нам прием «взрыва». «Два разных человека встали к барьеру — вчерашний Юрий Рыльников и сегодняшний». Ход внутренней борьбы выглядит так: герой, считающий, что в нем «жив дух двадцатого века», начинает читать Библию. Библия не удовлетворяет героя. «От Библии я метнулся к работам Эйнштейна. Может, он уже нашел для меня Бога. Мудрец двадцатого века, во всей истории таких по пальцам перечесть...»

В конце концов герой, по специальности «физик-теоретик», сбежав от семьи, уезжает из большого города в глухое село, поступает работать землекопом («Мы втроем копаем большую яму — навозохранилище»). В этом парадокс его поступка, по его собственным словам, «духовного скачка» в его жизни. Но на этой новой стезе героя ждет серия разочарований. Во-первых, коллеги по копанию навозохранилища встречают его довольно подозрительно:

«— Из Москвы убежал, ради веры жизнь на кон поставил, не укладываешься ты у меня в башке, странный, вроде лошади с рогами». — «Нет, не странный! — вскричал Гриша. — Опасный он... Опасный! Заразу несет, мы эту заразу хлебаем!»

В раздражение приводят героя верующие: в первом же разговоре с «несчастненьким попом Володькой» (который

приходит к нему знакомиться с бутылкой водки в кармане) герой называет «доверчивыми дураками», «безмозглыми идиотами» тех, кто не способен «критически мыслить». Бабка Анна для него «Пришибеев в юбке». Герой приходит к выводу: «Кончен маскарад, как мог, сыграл роль землекопа, никому не нужную роль. Хочу домой хочу покоя, хочу любви Инги, хочу рассказывать дочери сказки, хочу быть прежним!»

Так заканчивается эта вымученная история с пресловутой верой «на основе эрудиции». К сожалению, эта эрудиция представлена в повести в форме и на уровне тех научно-популярных сведений, которые элементарно доступны для каждого читателя газеты или журнала «Наука и религия» (членом редколлегии которого, кстати, является Тендряков).

Более сложная для автора задача — показать то, к чему должен идти герой, — духовно-нравственное возрастание. И здесь возникают недоразумения. Герой проповедует любовь к людям, а как это выглядит на деле? У героя явная неприязнь к людям, стремление подметить в них что-то нечистоплотное. Дважды говорит он о том, что сосед его по вагону поезда «пахнет лошадиным потом». Митька Гусак из бригады землекопов вызывает в нем презрение, как существо неинтеллектуальное. В итоге поиск героем «смысла жизни» через веру ли «на основе эрудиции», работу ли землекопом оборачивается пошлой риторикой. Ранее писавший даровитые вещи на социально-бытовые темы (зло бюрократического бездушия, частнособственническое озверение) Тендряков терпит крах в атеистических сочинениях, бездуховных, плакатных в своем схематизме.

Художественный образ теряет свое основание, когда порывается связь с социально-нравственной, идейно-духовной полнотой явления. Тогда наступает очередь схемы. А это уже смерть для творчества, для искусства.

Как свидетельствует опыт работы разных писателей (о некоторых из них речь шла выше), вытеснение образа схемой происходит по мере ослабления социальной, жизненной ос-

новы творчества. Одна из насущнейших проблем текущей литературы — преодоление схематичности, которое невозможно без освоения существенного материала действительности, без органичной связи писателя с нею, без углубления духовного, социально-нравственного самосознания автора.

МЕРА ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ

За четырнадцать лет работы в Литературном институте имени А. М. Горького, где я веду творческие семинары прозы, передо мною прошли десятки молодых авторов с разным пониманием литературы и разным отношением к ней. Иные приходят в институт, вполне серьезно веря, что проведут они в нем пять лет и выйдут готовыми писателями. Я своим долгом считаю сразу же разочаровать их в этом: на писателя нельзя выучиться, никакой институт не может этого сделать. Лучшее, что может получить молодой автор в институте, — это развить в себе более глубокое представление о литературе, научиться отличать литературу подлинную от беллетристики, художественные ценности от суррогата, выработать в себе идейно-эстетические критерии, выбрать направление творчества, которое отвечало бы реальности, сущности опыта автора. А это немало. Ведь что такое зачастую литература для начинающего автора? Целое море, океан книг, всяческие «течения», «школы», «современные стили», печатающиеся в журналах и выходящие ежедневно в издательствах «новинки». Как разобраться в этом и найти себя, не потеряться и не пропасть, как щепка в море? Многие всю жизнь так и мечутся в этой пестроте, не разбираясь, что к чему, попадая под влияние моды, бросаясь от одной «темы» к другой, так и не задумываясь до конца дней своих: чем же они занимались десятки лет?

Знакомясь со студентами нового семинара, я обычно спрашиваю каждого из них о любимых писателях. И нередко можно слышать ответы вроде: «Толстой, Паустовский, братья Стругацкие»; «Достоевский, Ильф и Петров, Катаев»...

Как это возможно? Впрочем, подобное смешение в одном ряду великих имен с именами, мягко говоря, отнюдь не великими стало общим местом в литературной печати. Читатель уже привык к этому, и то, что казалось еще недавно диким, сейчас примелькалось. И если извинительна такая несообразность для молодого, начинающего автора, по неопытности еще не разбирающегося в ценностях (есть надежда, что со временем может разобраться), то уже совсем не так безобидно, когда нелепость такой всеядности не понимает человек вполне взрослый, с «литературным стажем». В науке немыслимо утвердить себя в качестве ученого, невозможно вообще работать, оперируя только арифметическими правилами сложения и вычитания. А в литературе, оказывается, можно и писать, и рассчитывать на известность, усвоив самые элементарные правила сочинительства, беря за образец посредственных авторов, даже не догадываясь о духовных глубинах подлинной литературы. А ведь литература — тоже наука, да еще какая глубокая, хотя и не всегда поддающаяся систематизации, но со своими закономерностями, своими факторами, определяющими внутреннее бытие художественного произведения. (Вспомним, что у русских классиков часто встречается выражение «внутреннее содержание литературы».)

В художественном творчестве так или иначе все сводится в конечном счете к личности автора; от глубины или, наоборот, мелкости его внутреннего мира, органичности опыта или, напротив, голых мыслительных операций зависит степень содержательности произведения, мера самой художественности. Печать личности лежит в произведении буквально на всем, начиная от случайно оброненного авторского характерного словечка (иногда саморазоблачительного) и кончая стилем, сокровеннейшими душевными движениями героев. Не может духовная пустота породить что-то содержательное, как бы ни ухитрялась. «Служенье муз не терпит суеты». И не только суеты, но и делячества, приспособленчества, беспринципности.

Иные пишут, преследуя единственную цель, как бы «сделать карьеру» в литературе, пробраться в «литературные

дамки». Об этих что говорить! Но куда печальнее положение человека небездарного, испытавшего когда-то, в начале своего литературного пути, удовлетворение творчеством, а затем прельстившегося расчетливым отношением к литературе. Незавидна судьба этого человека при всем внешнем успехе его в литературе, ибо не наказывает ли он себя и в радость ли все знаки внешнего успеха и благополучия, когда нет главного — творческого удовлетворения своей работой? Сколько примеров, когда шумело имя автора, а умер — и не слышно совсем, и книги его никому не нужны. Как бы ни относиться к этому, ни пренебрегать этими наивными, конечно, доводами, но факт тот, что делячество в литературе всегда на виду и само себя в конце концов поедает.

На основе созидательности творчества и возможны сопоставления, близость самых разных по манере письма авторов. Пусть у каждого свой стиль, свои языковые краски, свой угол зрения на вещи — ведь автор и неповторим, и интересен своей индивидуальностью! — но чтобы это было творчество, а не профанация его, чтобы это было созидание, а не паразитизм на чужих ценностях в литературе. Когда человек занят творчеством, ему не до «приемов», не до спекуляции на каких-то терминах. А сколько их, этих терминов, развелось в «науке о литературе»: «семантическая подоплека», «культурный контекст», «синтетические пути изучения литературы», «слово — интерьер (или же: слово — экстерьер), несущее художественную информацию» и т.д. и т.д. — бесконечное жонглирование этими терминами призвано создать иллюзию научного глубокомыслия, хотя сама по себе мысль порой короче воробьиного носа. Подобная тарабарщина способна прямо-таки запугать иного неискушенного молодого автора, не желающего отставать от «научного» уровня современного искусства. Когда-то он разберется, бедный, что к чему, и сколько попусту усилий потратит на «слово-интерьер» и прочее! Все становится на место, когда автор задается элементарно здравым вопросом: а какое, собственно, отношение имеет все это к творчеству? И оказывается, что король гол, что все эти сверхнаучные термины, так же как

и воинствующее экспериментаторство, — фикция, несущая в себе «подоплеку» отнюдь не творческую.

Когда человек поглощен творчеством, ему не до этих брезгливо-высокомерных, а по сути немощных, бесплодных претензий на какую-то особую интеллектуальность, «передовизм» в искусстве. Когда нет ничего за душой, когда нечего сказать (или же когда преследуется весьма далекая от творчества цель), тогда и начинается игра в приемы, всяческие намеки с помощью этих приемов. Читаешь рассказ и видишь, как на ладони, ради чего этот рассказ написан: не ради выстраданной идеи, которая была бы разлита в тексте рассказа и входила бы в сознание читателя всей нравственно-эмоциональной полнотой содержания; нет, не ради этого, а ради одной строчки, одного намека, спрятанного как будто в пестроте других слов, но на самом деле режущего глаз прямолинейностью выражения.

Ничего нельзя скрыть в литературе, поистине яблочко от дерева недалеко падает. Каков ты сам, таково и твое детище, то бишь книга твоя. Если ты безответствен в жизни, не можешь бороться за свои убеждения, а готов отказаться от них тут же, коли это грозит тебе неприятностями, то, как бы патетически ты ни клялся в книге своими убеждениями, читатель не поверит этому.

Да, начинающего автора подстерегают и хаос книжного моря, всяких литературных течений; и соблазн литературной моды, и искус внешнего успеха в литературе. Но есть искус иного рода: подражательство действительно высоким образцам — классикам. На первый взгляд это как будто и похвально. Но обращается молодой автор не к самой сути, а к внешним признакам стиля. И выходит, что это не творческое следование классикам, а эпигонство. Ведь значение классиков — в их живом воздействии на современного читателя, в актуальности поставленных философско-общественных вопросов, в жизненности, психологической содержательности характеров, в эстетической выразительности формы, вылившейся органично из самого содержания; наконец, в духовной значительности личности самого писателя. Учиться у клас-

сиков — это значит не подражать их манере, а усваивать прежде всего их внутренний опыт, критерии культуры, серьезность духовно-нравственных исканий, такое отношение к слову, которое отвечало бы идейно-эстетической необходимости, правде изображения. В свое время М. Зощенко к пяти «Повестям покойного Ивана Петровича Белкина» добавил свою, шестую повесть, как бы продемонстрировав формальное мастерство, так сказать, на уровне Пушкина. Но что это дало литературе? Эта повесть так и осталась литературным курьезом, как мертвый слепок формы, бесконечно далекий от «искренности и добродушия» повествования пушкинского Белкина. В той или иной форме это повторяется всякий раз, когда автор следует формальному усвоению стиля классика. Я знаю одного писателя, который почти никогда не расстается с Толстым, где бы он ни был — даже отдыхая на юге, на пляж идет с томом Толстого под мышкой и, устроившись на берегу моря, собственное писание чередует с чтением Толстого: напишет что-то свое, потом начинает читать Толстого, потом снова напишет свое... И все переходящее в рукопись из этого тома — характерно толстовские обороты, окраска мышления мужика (не сегодняшнего, а толстовского), сама философия жизни и человеческих взаимоотношений, — все это входит стилизованным, искусственным миром в рукопись современного автора, отделяя его от живой действительности. Внешне как будто и ловко (как же, почти «как Толстой»), а в итоге самообман, ничего своего, тот же мертвый слепок. И что хуже всего: даже и то, что знает автор, преломляясь через Толстого, теряет свою жизненную достоверность и обращается в литературную условность. Само знание жизни становится уже необязательным. Зачем знать какого-то конкретного, заурядного мужика, когда автор знает мужика «на уровне Толстого». И появляется вообще «народ», вообще «мужик».

Очень просто и верно сказал Есенин о том, что у каждого свой голос должен быть в поэзии, в литературе: «петь по-свойски, даже как лягушка». Пусть скромный голос, но зато свой, не заимствованный. В этом и смысл, и оправдание

всякой индивидуальности в литературе. Человек приходит в этот мир как неповторимая личность, и то, что дано испытать, прочувствовать, узнать ему, не дано никому другому, и только он может рассказать об этом. Это то, что интересно знать другим людям, то, что открывает им новое в жизни и обогащает их. Не забавы жизни, остающиеся в поверхностных, эстетических слоях мироощущения автора и, следовательно, в его книгах, а опыт выстраданный ведет в глубь искусства. В романе Достоевского «Бесы» Степан Трофимович Верховенский, либеральствующий краснобай, перед смертью признается: «Я всю жизнь лгал. Даже когда говорил правду, я никогда не говорил для истины, а только для себя, я это и прежде знал, но теперь только вижу...» И хорошо, что хоть перед смертью прозрел, понял это. А сколько таких краснобаев так и уходит из жизни, одни — даже и не догадываясь, что всю жизнь лгали; другие — вовсе не сожалея, что лгали. В творчестве не может быть чудес в том смысле, что автор пребывает в состоянии духовной спячки, слепоты, нравственного ожирения, а в книгах растет и углубляется. По книгам больших писателей можно проследить внутренние процессы, а то и душевные перевороты, пережитые авторами. Да и на примерах более скромных можно убедиться в этом. На моих глазах произошел ряд разительных перемен со студентами нашего семинара. Особенно поразил меня Х. Первые рассказы Х. удручали своей распадностью на манер Кафки: крайний эгоцентризм, «изнанка» быта вплоть до физиологической натуралистичности. Откуда это? Неужели оттого только, что начитался модных книг, полагая, что это самое современное и прогрессивное в литературе (благо есть такой термин «прогресс в литературе»)? Живет он в Соликамске, приезжал на сессию в институт два раза в год, многое ли узнаешь из коротких встреч о человеке? И все же появилось как будто обнадеживающее, когда Х. написал рассказ о старике стороже. Работая директором музыкальной школы, Х., видимо, знал этого старика и правдиво и тепло рассказал о том, как тот, сидя ночью у горящей печки, вспоминает свою прошлую жизнь, думает о малень-

ких музыкантах, которые утром придут в это здание, — откуда появились и наблюдательность, и краски, и интересные психологические подробности.

Но случилось несчастье. Х. чудом остался в живых, обреченный, казалось, на почти неподвижное существование. Он писал мне неровным, заплетающимся от слабости руки почерком (привожу буквально слова, передающие своей «неправильностью» и его психологическое состояние): «Мое несчастье дало мне такую точку опоры, с которой от одного взгляда разлетелось все мое нажитое своим и чужим умом. Я пережил нравственное отрезвление, но можно было и здоровому понять то, что я понял...» А понял он многое, понял, как поверхностно судил о людях, как был слеп, когда с высокомерием относился к своему сверстнику — «простому рабочему», за то лишь, что тот не разбирается в «тайнах искусства», — а теперь увидел, сколько мудрого смысла, нравственного тепла в этой честной жизни труженика-семьянина. Понял он, сколько истинной, непоказной отзывчивости в «простых людях», вроде нянечек в больнице, которые делают дело, не мудрствуя лукаво, бескорыстно и твердо исполняя свой человеческий долг. Открылись ему и самые глубины жизни, не только те блага бытия, которые он раньше принимал как должное и не замечал, не ценил, — радость видеть небо и слышать шепот листвы деревьев, ощущать дуновение ветерка (он уже мог со временем ездить на коляске), чувствовать, что тебя окружает «море благодати земной». Открылись и глубины человеческих взаимоотношений. С горькой искренностью Х. писал мне: «Сколько же людей из-за меня несчастны!» Как же много нужно было и пережить, и перечувствовать, и передумать, каких глубин страдания коснуться, чтобы повернуться к людям (в таком-то положении!) состраданием, укорять себя в несчастье других. Из этой глубины пережитого и люди видятся в самой их сущности. Х. рассказал мне в письме, как к ним в дом пришла «образованная» соседка и выпалила его матери, указывая на него: «Разве это жизнь, это одно жалкое существование». А другая женщина, баба Ярина, потерявшая в вой-

ну сыновей, сказала больному: «Рукой коснуться и то для твоей маты радость!» Сказала не утешая, а сколько сил придала больному, как мудро осветила бесценный дар жизни. И узнавать, открывать для себя таких людей, как баба Ярина, — разве не великая радость, радость общения с теми по-настоящему мудрыми людьми из народа, о существовании которых даже не подозревают многие авторы, обрекая себя на суесловие.

Пишет мне Х. о самом больном для себя: «Вспоминая прошедшее, вижу, что в разное время был совершенно различным человеком, как бы в одной оболочке жили разные люди. Но теперь мне необходима цельность, теперь безумство распада в художественных произведениях меня отталкивает...»

Как молодому человеку найти себя в литературе? Надо прежде всего найти себя в себе (ведь иногда «как бы в одной оболочке живут разные люди»), надо вырабатывать в себе внутреннюю цельность. Без этой цельности или, по крайней мере, без осознания ее необходимости не может быть и творчества.

* * *

Есть всегда что-то праздничное в самой художественности слова. В одном из рассказов студента нашего семинара я прочитал о мальчике, который несет в ведре живых карпов: «Заботливо накрыв ведро вафельным полотенцем, он схватился за ручку, и, чувствуя в руке живую тяжесть и движение внутри ведра, выбежал на улицу». Как будто твоей руке передается через ручку ведра эта тяжесть движения карпов; вот маленькое чудо, которое доступно слову художественному.

Художественное слово — это образность, вещественность, конкретность (то, что называется деталями, подробностями). Отвлеченное, приблизительное представление о предмете, человеке никогда не вызовет образа, яркой картины. Молодой автор зачастую находится в плену книжных ассоциаций,

литературного мира того или иного писателя (обычно модного), одним словом, отгорожен от живой жизни, от окружающих его людей стеной литературной условности. Преодолеть этот барьер, этот плен условности — решающая задача. Удастся или не удастся это сделать — от этого, собственно, зависит судьба автора в литературе: быть ли ему действительно писателем (который немыслим вне этого реального отношения к жизни, к ее насущным проблемам) или пробавляться литературной стилизацией, графоманством. Надо, чтобы автор не фантазировал отвлеченно, бесплодно, а чтобы почувствовал себя в поле притяжения жизненного материала. Сдерживающим фактором в бесплодном фантазировании, сочинительстве может послужить обращение к самой натуре. Внимание автора сосредоточивается на реальном, конкретном предмете или человеке, уже нельзя ограничиться придумыванием «героя», а требуется подметить черты жизненные. Натура помогает наращивать изобразительную вещественность — основу художественности. Само воображение художника не изолировано от его изобразительно-вещественного опыта. Вспомним Гоголя, мощную базу вещественности его «Мертвых душ», начиная от бытовых сцен и кончая портретами героев, вплоть до их жестов и мимики, вроде, например, того, как Чичиков приготовляется к балу, целый час посвящая только одному рассматриванию лица в зеркале. Потому так неотразимо и действует на нас гоголевская фантазия, что она как бы вырастает из почвы действительности. И как мертвы воображением расхожие научно-фантастические романы, именно потому мертвы, что нет за ними ничего жизненного, никакой изобразительно-жизненной основы, одни ухищрения детективных «ходов» и рационалистических построений.

В художественном произведении всегда должна чувствоваться (если и не всегда раскрываться) исчерпанность материала: не просто обозначение мыслью того содержания, которое таится в ситуации, а как бы перенесение его эквивалента в художественное произведение. Беда многих пишущих в скольжении мыслью по материалу, поэтому такое прочер-

чиваемое содержание не затягивает в себя, ибо оно не имеет своей внутренней субстанции (как это бывает у подлинных художников). Писать художественно (как и вообще творчески в любом жанре) — это значит не рационализировать явление, свойство человеческого характера, а погружаться в стихию материала, проникать в сущность. Иные считают современным стилем, отвечающим скоростям, темпу нашего времени, именно «стремительный» стиль, называя архаичным, например, стиль Гончарова. Но в наше время и обнаруживается с особой очевидностью богатство стиля таких художников, как Гончаров, повествование которых — как саморазвертывание самой природы, предельное обнаружение скрытого в явлении жизненного потенциала. Это ли не современно для нынешней литературы?

Известно, что художественное произведение начинается с отбора материала, подробностей. Художник виден уже в выборе психологической ситуации, в характере конфликта. От того, насколько правдива, жизненно содержательна психологическая ситуация, оттого, придумана она или открыта автором в самой жизни, зависит и правда характеров, и сама художественность произведения. Фальшь психологической ситуации только подчеркивает нелепость литературных усилий автора. Вспоминается роман одного студента Литературного института: молодой герой-шахтер попадает в аварию, ему остается жить считанные минуты (если его не спасут), и вот следует повествование в три сотни страниц, где герой предается воспоминаниям о прошлом, как он познакомился с женой друга, как они встречались, следуют пикантные любовные сцены, игривые пошлые разговоры... И этим трехсотстраничным повествованием герой упивается, отрезанный обвалом от всего мира, дожидаясь с минуты на минуту своей смерти. Но автор просто не задумывается над нелепостью такого положения, и эту глухоту — психологическую, человеческую — никак нельзя оправдать.

Читаешь иногда роман — и не на чем остановиться: одни слова, которые тотчас же улетучиваются, как только закрываешь книгу. А услышанное в жизни врезается навсегда

в память, и слова не обязательно точно помнить, врезается именно суть дела. «Ты, мама, собирай деньги себе на похороны, на меня не рассчитывай», — говорила уже немолодая дочь своей матери, деревенской старухе, получающей пенсию 20 рублей. Здесь сказано все, никакой роман не добавит уже ничего нового к характеру этой «заботливой» дочери. Это и надо открывать в жизни, ведь в таких откровениях и обнажается внутренний смысл ее, все остальное — оболочка быта.

Широко известны слова И. С. Тургенева: «Талант — это подробности». Но подробности могут быть всякие, и такие, которые не только не служат выявлению характера героя, явления, по и убивают правду этого характера, правду ситуации. Художественность не в том, чтобы перегружать рассказ подробностями самоцельными, фиксировать их с бесстрастием фотоаппарата. Недавно я прочитал рассказ одного автора: у него молодой шофер, узнав о несчастье, случившемся с любимой девушкой, спешит к ней. Приезжает на мотоцикле в деревню, где она живет, подходит к дому, открывает дверь и... следует целая страница описания того, что он увидел в доме: какие занавески (оказывается, капроновые — надо же это увидеть), какая салфетка на телевизоре, какая мебель, какие обои... А ведь он спешил узнать, что с любимой, жива ли она, и вот целая страница таких мелких (увиденных даже не мужским, а скорее женским взглядом) подробностей. И отношение автора к герою самое положительное. А ведь герой должен был забыть о любимой (жива ли она?), начавши так скрупулезно фиксировать всю обстановку в доме. И уже не веришь в его столь восхваляемые автором высокие чувства к героине. Внимание к подробностям может быть разное, кого что интересует: иной замечает в человеке прежде всего внешнее и соответственно пишет портрет героя, другой — внутреннее состояние человека через какую-то психологическую подробность. Любитель деталей броских, экстравагантных не заметит, пройдет совершенно равнодушно мимо подробностей иного характера. Студент К. рассказал мне, как его поразил найденный на чердаке деревенского дома

мешок с квитанциями за уплаченный налог на молоко и мясо в военные и послевоенные годы. И сколько всего вдруг встало за этими квитанциями, когда старуха, хозяйка дома, начала вспоминать свою прошлую жизнь, не знающую отдыха работу в колхозе и дома, похоронные на сыновей. И К., которого поразила эта подробность — мешок с квитанциями, — написал глубокий рассказ, от которого повеяло самой правдой народной жизни.

Любопытно, что и студенты по прошествии многих лет помнятся мне преимущественно по выразительным подробностям: забылись названия рассказов, герои, какие эпитеты, какая композиция и прочее, а не забылись и помнятся без слов подробности. Помню, например, как в рассказе З. флотоводец во время морского сражения, возбужденный боем, уже не замечает вокруг себя моря, как будто сражение происходит на суше. Одна эта деталь куда больше говорит о психологическом состоянии героя во время сражения, нежели десятки устрашающих эпитетов, которые приводит перед этим автор. Но и не только эти психологически выразительные, сами по себе не требующие даже словесного уточнения детали, а вообще всякая деталь, пусть скромная, но жизненно правдивая, всегда останавливает внимание читатели. Вот я перебираю сейчас свои записи, сделанные в свое время на занятиях семинара, и вижу, что было самого живого в рассказах. В рассказе Я. молодая героиня приходит домой и видит солдатский ремень на спинке стула и фуражку с голубым околышем на шкафу, и все понятно: вернулся любимый. Можно выдумать сюжет, но нельзя выдумать чувства, и поэтому особенно важна чуткость к деталям, передающим то или иное состояние героя.

Когда автор из хаоса впечатлении, пестроты картин, подробностей не может выбрать главное, выразительное, то и язык его хаотичен, аморфен, необразен. Когда нет пристальности взгляда, то нет и изобразительной направленности повествования. Предметность видения дает и предметность изображения, художественную конкретность слова. Беда многих молодых авторов — увлечение внешним аффектом

слова, когда за громкостью, за шумом фразы решительно ничего не стоит. Молодые авторы берутся писать о том, чего сами не видели и не пережили, и, естественно, этого нельзя восполнить никаким шумом фраз. Вот, например, молодой человек пишет о схватке своих красных героев с басмачами: «Ему сделалось по-настоящему *страшно*, он не знал, что предпринять, как повлиять на беспорядочное течение боя, похожего на свалку, с ослепляющим мельканием сабель, вспышками выстрелов, с кружением *возбужденно ржущих лошадей и надрывными воплями* всадников...» Гоголь говорил, что со словом нужно обращаться честно. Но честно нужно обращаться и с чувством героя, его душевным состоянием. Нельзя, например, о смерти героя писать с таким же резвым настроением, с каким вполне возможно писать о времяпрепровождении героя в веселой компании. Есть особые моменты человеческой жизни, состояния человеческого духа, когда от автора требуется сосредоточение всех его нравственных, духовных, сострадательных и прочих сил и возможностей. Необычайная ситуация требует не треска фраз, а особой наблюдательности и выразительности описания. Вспомним, например, описание приступа в пушкинской «Капитанской дочке» — как пугачевцы начинают осаду Белогорской крепости. Внимание читателя сосредоточивается на необычности происходящего. Каждое движение в стане пугачевцев исполнено особой значительности и воспринимается через тревожное состояние тех, кто находится в крепости и пристально следит за неприятелем. Вот эти полные тревожной значительности движения: «Люди, разъезжающие в степи, заметив движение в крепости, съехались в кучку и стали между собой толковать»; «ядро зажужжало и пролетело из виду, и степь опустела»; «В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками»; «четыре человека отделились и во весь опор подскакали под самую крепость»; «Василиса Егоровна, присмиревшая под пулями, взглянула на степь, па которой заметно было большое движение...»; «Мятежники

съезжались около своего предводителя и вдруг начали слезать с лошадей»; «Он махал саблею, и, казалось, с жаром их уговаривал». Внимание читателя сосредоточено на самом ходе приступа, на тех его картинах, поражающих как бы новизной, которые и по-пушкински лаконично объективны, и вместе с тем как бы психологически окрашены восприятием тех, кто следит за происходящим из крепости. Видимо, такая резкость видения в ситуации, связанной со сражением, не просто художническое прозрение Пушкина, это могло родиться только из схожего собственного психологического опыта. Известно, что еще до «Капитанской дочки»во время путешествия в Арзрум в 1829 году Пушкин не только был свидетелем сражения наших войск с турками, но и сам участвовал в преследовании отступавшего неприятеля. Уже у Пушкина можно обнаружить признаки обостренной новизны видения местности и происходящего на ней, что составило впоследствии целый психологический мир у Толстого (особенно в «Севастопольских рассказах» и в повести «Казаки»).

Резервы слова поистине неисчерпаемы не только стилистически (в сочетании слов друг с другом), но и в психологическом обновлении. Генерал, приехавший на похороны матери, говорит младшему брату: «Командуй парадом». И уже иной, горький, смысл в этих словах генерала, и сам генерал уже иной, не такой бравый. Всякий раз слово вызывается к новой жизни, когда оно ставится в новый жизненный контекст. В этом смысле, действительно, когда есть что сказать, слово найдется. Когда среда внутренне содержательна, не унифицирована в отношении быта и человеческих характеров, когда не измельчились жизненные интересы и сами конфликты, тогда еще небесплодна почва для языковой выразительности. Есть сила характера, как, например, у Григория Мелехова, — есть и сила выражения, которая из самих его поступков, действия исходит. Но какую силу слова можно ждать от интеллектуальной безликости, живущей расхожими понятиями? Какое может быть живое слово у духовно мертвого человека? Так же, как и напрасно было бы ждать

какого-то языкового праздника от автора, для которого язык — исключительно способ передачи информации.

Выразительность языка — в непосредственной силе выражения, связанной с психологическим состоянием человека, с тем, насколько целостно отзывается в слове это психологическое состояние. Известный русский юрист А. Кони (который, кстати, был в дружеских отношениях с Толстым, Достоевским, Гончаровым и другими русскими писателями) в своей статье «Обвиняемые и свидетели» приводит целый ряд любопытных выражений, которые ему приходилось слышать в суде. «Язык свидетеля очень часто служит показателем силы его *способности мышления*. Нередко внешняя словоохотливость прикрывает скудость соображения и отсутствие ясности в представлениях, и обратно, сдержанность, краткость слова бывают следствием честного к нему отношения и сознания его возможных последствий. В людях внешней культуры и полуобразования замечается особенная склонность к пустому многословию... но свидетель из простонародья на месте обыкновенно говорит языком образным, полным силы и оригинальности. Наряду, например, со слышанными мною выражениями полуобразованных свидетелей о «нанесении раны в запальчивости и разгорячении нервных членов», о «страдании падучей болезнью в совокупности крепких напитков», о «невозможности для меры опьянения никакого Реомюра» и о «доведении человека до краеугольных лишений и уже несомненных последствий» — мне приходилось слышать в показаниях простых людей такие образные выражения и поговорки, как: «они уже и дальше ехать собирались, ан тут и мы — *вот они*!», «нашего остается всего ничего», «только и осталось, что лечь на брюхо да спиной прикрыться», «*святым*-то кулаком да по окаянной шее»... «да ведь ему верить нельзя — он человек воздушный»... Обвиняемый в убийстве жены, застигнутой на прелюбодеянии, Ларионов, между прочим, выразился: «Как увидел я это, то и говорю себе: когда так, приходится повесить замок своей жизни».

Здесь особенно показательно то, как из самих обстоятельств, ситуаций возникает характерность слова, — в одном

случае вычурность его, претенциозность, в другом случае своеобразие, психологическая сила, выразительность слова.

Тот интерес, который вызывал у русских художников крестьянин, народный характер, имел глубокие причины. Это и моральная цельность народного характера, которую особенно обостренно чувствовали и отмечали Достоевский и Толстой. Это и отсутствие резкого разлада между словом и делом, притягательная деятельность самого слова, за которым чувствуется характер говорящего. В «Смерти Ивана Ильича» Толстого буфетный мужик Герасим, который все ночи напролет проводит около больного, говорит Ивану Ильичу: «Все умирать будем. Отчего же не потрудиться?» Если бы это сказал Чичиков или Иудушка Головлев, то и принималось бы это как болтовня пустая, словоблудие; но все дело в том, что говорит тот самый Герасим, который без всяких красивых слов ухаживает за больным и «не тяготится своим трудом именно потому, что несет его для умирающего человека, и надеется, что и для него кто-нибудь в его время понесет тот же труд». Именно из самой особенности характера Герасима, поступающего по правде, исходит сила, вся многозначительность его слов: «Все умирать будем. Отчего же не потрудиться?»

Пока существует в жизни соответствие между словом и делом, реальной можно считать и жизненность слова. Слово омертвляется, становится пустым звуком, когда за ним не стоит действие характера. Немыслима сила, выразительность слова, когда человек живет душевно раздвоенной, лицемерной жизнью или же когда пресыщен бытовым благополучием, не имея высших духовных стремлений, когда намертво равнодушен ко всему, что не касается его самого, и при этом хочет с помощью слова, фразеологии выставить себя с показательной стороны. Можно назвать две формы существования слова: первая — когда слова носят условный характер, подменяя собою поведение человека, реальные взаимоотношения людей, действительность. Хотя и здесь может быть иногда своя характеристичность (какой-нибудь бюрократ может сказать о себе публично: «у меня могучее

чувство ответственности за порученное мне дело»), но, в сущности, это паразитическая языковая среда, где возможна только смысловая комбинация, по ни в коей мере не языковое творчество.

Другая форма бытия слова — не в условности, а в подлинности выражения. Это уже творческая языковая стихия, где зарождаются и взаимодействуют речевые явления, высекающие искры психологической подлинности. Здесь слово вызывается к жизни самим драматизмом обстоятельств, трудностями жизни, где, как известно, все переплетается между собою, и высокое, и обыденное. Когда, например, у женщины, потерявшей мужа, среди плача вырывается вдруг: «Квартиру теперь не дадут», — это не значит, что она лицемерна в своем горе, что для нее квартира — главное; она без ума от смерти мужа, но и квартира тут же, муж должен был получить квартиру, как же теперь ей с детьми, и от всего этого случившееся еще грустнее для нас. Вот в такой сложности и возникает правда слова — в жизни простых людей, которым не все просто дается и которым не до красноречия. В этой речевой стихии и следует автору искать живое слово, которое тем и выразительно, что оно сближено с характером говорящего. В этом смысле язык трудовых людей показателен, и не только лексикой, яркой в своей предметности, вещественности (например, лексика, связанная с работой шахтеров, кораблестроителей, геологов), и, уж конечно, не профессиональным жаргоном, а самой «физиономией выражения», самой психологичностью, действенностью фразы.

Из опыта своей работы со студентами Литературного института имени Горького я вижу, как много общего было в тех трудностях, которые приходилось преодолевать молодым авторам на пути к человеческому характеру. Эти трудности неизбежны, очевидно, для большинства начинающих авторов. Для меня же всегда радостным было то, когда на моих глазах молодой автор, блуждавший в литературном хаосе, начинал обретать точку опоры и входил постепенно в состояние творческой сосредоточенности. Такой точкой опоры и являлся человеческий характер. В нем молодой

автор находил как бы точку приложения своих наблюдательных способностей, поле преломления своего внутреннего опыта; в противостоянии двух реальных сил — характера героя и самого автора — нельзя уже отделаться литературной игрой, оно требует психологически действенного самоопределения. И что особенно бросалось в глаза — это резкая перемена в качестве письма тех авторов, которые обратились к народным характерам. До этого иные из них увлекались так называемым «современным стилем», «интеллектуальной прозой», и общая безликость связывала их. А здесь заговорили вдруг каждый своим голосом, нашлись свои краски, и свой колорит, и своя интонация и у русского, и у украинца, и у белоруса, и у армянина, и у аджарца, и у азербайджанца, и у литовца, и у монгола, и у ногайца — все это нашлось, как только каждый из них на своем родном языке, впитанном с молоком матери (и это чувствовалось даже в переводе), обратился к тем героям, в которых выразилась та или иная черта, особенность родного народного характера.

«ТИХИЙ ДОН» И РУССКАЯ КЛАССИКА

Первая книга «Тихого Дона» вышла в сложных условиях литературно-общественной жизни двадцатых годов. Выход ее в 1928 году знаменательно совпал со столетием со времени рождения Толстого. Сама эта годовщина стала предметом литературно-критической борьбы. Раздавались голоса в духе рапповского отрицания прошлой культуры о «контрреволюционности» автора «Анны Карениной» и «Войны и мира», предлагалось даже не отмечать юбилей, Это была линия на то, чтобы строить новую культуру на пустом месте, прервать связь с традициями классической литературы. Но уже сам факт выхода в свет такого произведения, как первая книга «Тихого Дона», убедительнее всяких теоретизирований свидетельствовал, что эта связь существует, что великое творение и возможно только в этой преемственности. По силе изобразительности, лепке характеров, по жизненной мощи

картин, по глубине человечности, по народности языка книга молодого писателя утверждала на новом историческом этапе высокие идейно-эстетические критерии великой русской литературы.

В «Тихом Доне» есть прямые упоминания о Толстом, о его «Войне и мире». В дневнике убитого молодого казака сказано: «У Толстого в "Войне и мире" есть место, где он говорит о черте между двумя неприятельскими войсками — черте неизвестности, как бы отделяющей живых от мертвых. Эскадрон, в котором служил Николай Ростов, идет в атаку, и Ростов мысленно определяет эту черту. Мне особенно ярко вспомнилось сегодня это место романа потому, что сегодня на заре мы атаковали немецких гусар». Иногда это звучит почти по-толстовски: «А было так: столкнулись на поле смерти люди, еще не успевшие наломать рук на уничтожении себе подобных, в обнявшем их животном ужасе натыкались, сшибались, наносили слепые удары, уродовали себя и лошадей, и разбежались, вспугнутые выстрелом, убившим человека, разъехались, нравственно искалеченные. Это назвали подвигом».

Это писалось о первой мировой войне. Но вот пошла речь о гражданской, и уже ни малейшего следа от Толстого. Там, в мировой войне, человек убивает человека по тысячелетним правилам войны — как солдат солдата враждебного государства, убивает, не зная его, да и то зарубленный Григорием австриец у решетки мерещится ему, он не может его забыть залитых смертным ужасом глаз. Здесь же, в гражданской войне, человек убивает человека, которого зачастую хорошо знал, убивает не иноземца, а своего же земляка, даже родного брата. Вот одна из таких поразительных картин в «Тихом Доне»: «Мишка подошел к Петру в упор, тихо, не поднимая от земли глаз, спросил:

— Навоевался? — Подождав ответа и все так же глядя Петру под ноги, спросил: — Ты командовал ими?

У Петра запрыгали губы. Жестом великой усталости, с трудом донес он руку до мокрого лба. Длинные выгнутые ресницы Мишки затрепетали, пухлая верхняя губа, осыпан-

ная язвочками лихорадки, поползла вверх. Такая крупная дрожь забила Мишкино тело, что казалось — он не устоит на ногах, упадет. Но он, сейчас же рывком вскинув на Петра глаза, глядя ему прямо в зрачки, вонзаясь в них странно чужим взглядом, скороговоркой бормотнул:

— Раздевайся!

Петро проворно скинул полушубок, бережно свернул и положил его на снег; снял папаху, пояс, защитную рубашку и, присев на полу полушубка, стал стаскивать сапоги, с каждой секундой все больше и больше бледнея.

Иван Алексеевич спешился, подошел сбоку и, глядя на Петра, стискивал зубы, боясь разрыдаться.

— Белье не сымай, — прошептал Мишка и, вздрогнув, вдруг пронзительно крикнул: — Живей, ты!

Петро засуетился, скомкал снятые с ног шерстяные чулки, сунул их в голенища, выпрямившись, ступил с полушубка на снег босыми, на снегу шафранно-желтыми ногами.

— Кум! — чуть шевеля губами, позвал он Ивана Алексеевича. Тот молча смотрел, как под босыми ступнями Петра подтаивает снег. — Кум Иван, ты моего дитя крестил... Кум, не казните меня! — попросил Петро и, увидев, что Мишка уже поднял на уровень его груди наган, расширил глаза, будто готовясь увидеть нечто ослепительное, как перед прыжком, вобрал голову в плечи.

Он не слышал выстрела, падая навзничь, как от сильного толчка».

Психология человека на войне у Л. Толстого — это длительный процесс, когда даже мгновение растягивается в сознании героя до бесконечности (лихорадочная мысль офицера, лежащего рядом с упавшей бомбой, — убьет — не убьет в «Севастопольских рассказах»). Раненому Андрею Болконскому открывается высокое «бесконечное небо», заставляющее забыть его все мелкое, тщеславное в жизни. В «Тихом Доне» смерть неизмеримо оголеннее, здесь некогда рефлектировать: «или они нас, или мы их», — часто повторяется в романе. Здесь действие зачастую не имеет психологической предпосылки, ибо сама идея мгновенно приводится в дейст-

вие, как бы неожиданно даже для тех. кто совершает это действие. Такова внезапная расправа Бунчука над офицером Калмыковым, когда он мгновенно скручивает его и расстреливает; так совершенно внезапно Подтелков рубит офицера Чернецова. Это уже особая психология в литературе, вызванная невиданными обстоятельствами, жизненность этой психологии и делает се единственной, открывающей новые стороны психологизма в искусстве. Раскольников в «Преступлении и наказании» долгие месяцы изнуряет себя философствованием, готовясь убить «человеческую вошь» — старуху процентщицу. «Человека убить иному, какой руку на этом деле наломал, легче, чем вшу раздавить. Подешевел человек за революцию» — глубокомысленно говорит старик казак в «Тихом Доне».

Октябрьская революция 1917 года не имеет себе равных в истории человечества по размаху действующих в ней социально-исторических сил, по масштабу вовлечения в нее народных масс, по радикальности своих задач. В ней сошлись те глубочайшие противоречия, которые в течение веков накапливались в русской жизни, в русской истории. Революция стала проявителем исторических проблем, в реальности ее получают новое освещение явления прошлого, даже вся история России в целом. В новом свете открываются и существенные стороны русской литературы.

Русская классическая литература в глубоком основании своем литература реалистическая в том смысле, что в ней, бесспорно, обнаруживается в большой степени эквивалент русской действительности прошлого века, действительности крайне сложной и антиномичной — в своей социальной разнородности, богатстве бытовых форм и психологических типов, в самих кризисных симптомах тысячелетнего государственного организма. В этой литературе сильны центростремительные тенденции, в отличие от литературы предшествующей, особенно древнерусской с ее нравственно-эстетической в целом стабильностью. Поразительно у русских писателей то, что называется максимализмом, не знающим срединности, никакого предела развитием идеи. Это беспощадность

толстовского психического анализа, «выедающего» до дна то, что кажется писателю внешним, скрывающим суть явления или человека, общественных порядков или традиций, так что сила отрицания становится почти универсальным средством познания.

Это и метафизическая беспредельность Достоевского, борение в его героях (как и в нем самом) веры с безверием, с полной свободой доходить в своей идее (а следовательно, и в действии, поскольку эта идея становится сущностью человека) до края, до пропасти. В «Дневнике писателя» рассказывается, как один мужик причастие расстрелял, — и атеизм героев Достоевского (в логической своей последовательности) на одной линии с этой невообразимостью. Середины нет — или «холоден» или «горяч», но только не «тепл».

Это и удивительно напряженная ненависть Щедрина с поистине феноменальным захватом: от осмеяния дикого народа — глуповцев с их «коренью происхождения»; их предков головотяпов («Головотяпами же прозывались эти люди оттого, что имели привычку "тяпать" головами обо все, что бы ни встретилось на пути. Стена попадется — об стену тяпают; Богу молиться начнут — об пол тяпают»; призвание головотяпами князя «володеть ими», повелевшего им за это называться «впредь не головотяпами, а глуповцами»; нравов города Глупова («Разница в том только состоит, что в Риме сияло нечестие, ау нас — благочестие. Рим заражало буйство, а у нас кротость, в Риме бушевала подлая чернь, а у нас — начальники») — до торжествующего сарказма о градоначальниках с органчиком в голове, с «фаршированной головой», и умирающими кто от натуги «постичь некоторый сенатский указ», кто от «объядения», кто от «истощения сил», кто «заеденный клопами» и пр. и пр.

В реализме Гоголя, с одной стороны, колоритнейший, многослойный бытовой материал русской действительности воплощается в крупные, до символического смысла, типы и картины («Мертвые души»), когда смещается определенность представления (юмор — не юмор в восхищении Собакевичем талантами умерших крестьян); когда из самой быто-

вой среды возникает крупность черт характера (размашистость Ноздрева, мечтательность Манилова и т.д.). С другой стороны, обыденность, каждодневный быт переходит в план совершенно иной, с иными измерениями, иным, высшим смыслом; скоротечность человеческой жизни в «Старосветских помещиках», ирреальное перевоплощение героя в конце «Шинели».

Есть непреходящая жизненность в глубинах символических гоголевских образов. В колоссальной фантазии «Вия» увековечена история одного поражения. Знавшие молодого бурсака, философа Хому, говорят о нем:

«— Знатный был человек! А пропал ни за что.

— А я знаю, почему пропал: оттого, что побоялся. А если бы не боялся, то бы ведьма ничего не могла с ним сделать».

Хома оробел перед страшной внешней силой, перед чудовищем с «железным» лицом. «"Не гляди!" — шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул». Хоме не хватило внутреннего убеждения (выдержать угрозу железного чудовища, внешней силы, сохранить до конца веру в свои духовные силы, в то, что питает эти силы). И Вий стал для него как бы «железной» необходимостью. Но это обманчивое представление, на самом деле он ничего не видит, этот чудовищный Вий, он слеп в окружающем мире, и ему целая армада прислужников должна подымать веки, чтобы он на увиденное в упор уставил свой «железный палец». И эта армада гномов, эти бесовские силы преходящи, их ждет свой час, да он уж и настал, только не заметил (по маловерности своей) Хома, пропустивший первый петушиный крик. Фантастичность гоголевских образов уходит в духовно-нравственные основы бытия.

С «Путешествия из Петербурга в Москву» Радищева начинается отчетливо тема революции в русской литературе. Радищеву же принадлежат слова: «потомки отомстят за меня». С большой силой выражено предвидение революции в стихотворении Лермонтова: **Настанет год — России черный год — Когда царей корона упадет...** Известна страстность социально-философских исканий Белинского. В пись-

ме к Боткину он говорит: «Итак, я теперь в новой крайности — это идея *социализма*, которая стала для меня идеею идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфою и омегою веры и знания. «Я понял и французскую революцию... Понял и кровавую любовь Марата к свободе, его кровавую ненависть ко всему, что хотело отделяться от братства с человечеством... Я начинаю любить человечество маратовски; чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную». Но у Белинского есть высказывание, поразительно схожее с мыслью Ивана Карамазова о детской слезинке, которую не может искупить мировая гармония. Белинский писал, имея в виду гегелевскую философскую систему: «...если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, — я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр. и пр., иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен на счет каждого из моих братий по крови... Говорят, что дисгармония есть условие гармонии: может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж конечно не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии». Пути Белинского и Достоевского противоположны, но характерно: по замыслу Достоевского, его Алеша Карамазов должен был уйти в революцию, которая глубоко входила в сознание писателя и его героев.

Русская литература XIX века полна напряженных исканий смысла жизни, правды, способов устроения человеческого счастья и т.д. И эти искания зачастую вступали в глубокий конфликт с традиционно существовавшим укладом. Отрицательная сила этих исканий играла революционизирующую роль. Особенно велика в этом роль Толстого, отрицание которого носило универсальный характер (от неприятия Православия до изобличения семьи в тогдашнем обществе). Толстой неустанно проповедовал то, что казалось ему правдой, и готов был пострадать за нее, не

боялся и даже хотел тюрьмы (говорил о себе в том смысле, что пусть пострадают его старые кости), в конце концов решил уйти из Ясной Поляны, не забывая в дороге писать дневник, диктовать статью...

Сопоставление Пьера Безухова и Григория Мелехова может показаться произвольным. Разные эпохи, совершенно различные социально-психологические типы. Но в глубине своей, в исторической перспективе, связь эта органически жизненная, закономерная. Оба ищущие свой путь в жизни, предельно искренние в своих мыслях и действиях, одинаково благородные натуры. Оба испытывают крушение своих верований, оба проходят через великие события, но исторический итог этих путей совершенно различный, в этом катастрофическая их взаимосвязь и взаимоотрицание.

Философско-психологический тип исканий в первом случае (Пьер Безухов) усложненнее, многослойнее. Жизненные вопросы здесь сплетаются с метафизическими, отвлеченными. Характерен (впрочем, и для понимания самих его исканий) тот психический процесс чувства, который занимает такое большое место в духовной жизни Пьера Безухова и который в столь живой ткани обнажен художническим гением Л. Толстого. Это и область интимных чувств, когда Пьер, вопреки желанию, вопреки трезвому голосу в нем о нелепости происходящего, вопреки даже отвращению к хищной красавице Элен, все же идет к ней навстречу, сближается с ней, сводит свою судьбу с судьбой этой чуждой и враждебной ему женщины. Вот это странное самоотрицание чувства, приводящее к неожиданному результату: «...он в одно и то же время думал о ее ничтожестве и мечтал о том, как она будет его женой, как она может полюбить его, как она может быть совсем другою и как все то, что он об ней думал и слышал, может быть неправдою»; «Так уж все кончено! — думал он. — И как это все сделалось? Так быстро! Теперь я знаю, что не для нее одной, не для себя одного, но и для всех это должно неизбежно совершиться. Они все так ждут этого, так уверены, что это будет, что я не могу, не могу обмануть их. Но как это будет? Не знаю; а будет, непременно

будет!»; «Все это так должно было быть и не могло быть иначе, — думал Пьер, — поэтому нечего спрашивать, хорошо ли это или дурно? Хорошо, потому что определенно, и нет прежнего мучительного сомнения»; «Пьер снял очки, и глаза его сверх общей странности глаз людей, снявших очки, глаза его смотрели испуганно-вопросительно. Он хотел нагнуться над ее рукой и поцеловать ее, но она быстрым и грубым движением головы перехватила его губы и свела их с своими. Лицо ее поразило Пьера своим изменившимся, неприятно-растерянным выражением.

"Теперь уж поздно, все кончено; да и я люблю ее", — подумал Пьер. Произнесенные им тут же слова "Я вас люблю" прозвучали так бедно, что ему стало стыдно за себя».

Поскольку сам тип мышления Пьера Безухова включает в себя не только рациональное сознание, но и чувство, волю, верование, всю полноту его нравственно-духовных качеств, то эта психическая особенность развития его чувства переносится в известной мере и в область его идей, философских мыслей. Чтобы нагляднее представить эту зависимость, проследим историю вступления Пьера Безухова в масонство, историю его взаимоотношений с масонами.

Встреча с масоном произошла, когда Пьер Безухов был в тяжелом душевном состоянии после дуэли с любовником своей жены Долоховым, последовавшим вслед за этим разрывом с женой. Еще незадолго до этой встречи Пьер весьма мрачно рассуждал о бессмысленности истории: «Людовика XVI казнили за то, что они говорили, что он был бесчестен и преступник (пришло Пьеру в голову), и они были правы со своей точки зрения, так же правы и те, которые за него умирали мученической смертью, причисляли его к лику святых. Потом Робеспьера казнили за то, что он был деспот. Кто прав, кто виноват? Никто. А жив — и живи: завтра умрешь, как мог я умереть час тому назад. И стоит ли тогда мучиться, когда жить остается одну секунду в сравнении с вечностью?» Через несколько дней по дороге в Петербург, в Торжке, на станции, в ожидании лошадей Пьер был занят разрешением «проклятых вопросов». «Смотритель, смотрительша, камер-

динер, баба с торжковским шитьем заходили в комнату, предлагая свои услуги. Пьер, не переменяя своего положения задранных ног, смотрел на них через очки и не понимал, что им может быть нужно и каким образом все они могли жить, не разрешив тех вопросов, которые занимали его». Это напоминает известный рассказ Тургенева о своем современнике, который воскликнул (когда кто-то в разгар спора предложил поесть): «Мы еще не решили вопроса о существовании Бога, а вы хотите есть». Характерная черта: немедленно разрешить вопрос даже что ни есть мировой (и ведь сам Толстой хотел такого же немедленного разрешения всех вопросов). Разрешить даже и неразрешимый вопрос, так сказать, до обеда. Такая нетерпимость (найти немедленный ответ на все вопросы бытия) проявляется и в случайном, в сущности, разговоре с масоном. Но какие это вопросы, мучающие Пьера? «Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? Для чего жить и что такое я? Что такое жизнь, что смерть? Какая сила управляет всем?» — спрашивал он себя. И не было ответа ни на один из этих вопросов, кроме одного, но логического ответа, вовсе не на эти вопросы. Ответ этот был: «Умрешь — все кончится. Умрешь и все узнаешь — или перестанешь спрашивать. Но и умереть было страшно».

Мы видим, что это те вопросы, которые мучили и самого Толстого (особенно страх смерти). Но оказывается, что первая же встреча с масоном, первый же с ним разговор снимает для Пьера мучительность всех этих вопросов, масон чудесным образом разрешает сомнения Пьера. Чем же задел этот старик-масон мятущийся ум? Красноречием о необходимости служения ближнему, нравственного самоусовершенствования и т.д. И хотя, по признанию Пьера, он «не верит в Бога», речь масона заставляет его вдруг поверить во что-то почти определенное: «он всей душой желал верить, и верил, и испытывал радостное чувство успокоения, обновления и возвращения к жизни». Не последнее значение здесь играло желание «обновления», новизны (уже начиная от такой новизны, как замеченная им на перстне старика «адамова голова, знак масонства» и возможные другие, еще более

многозначительные и скрытые знаки). Он надеется получить от масонов «руководства, помощи в обновлении», как магически действует на него таинственный ритуал приема его в ложу масонов с шествием куда-то с завязанными глазами, с вопросами ритора, со стуком молотком «великого мастера» и т.д. Пьер умилен своей принадлежностью к «братству», начавшейся в нем «любовью к человечеству». Это умиление (все той же новизной) он готов принять за обновление, за духовный переворот в нем. Ритор спрашивает его: «Искали ли вы средств к достижению своей цели (т.е. братство людей. — *М. Л.*) в религии?» — «Нет, я считал ее несправедливою и не следовал ей, — сказал Пьер так тихо, что ритор не расслышал его и спросил, что он говорит. — Я был атеистом, — отвечал Пьер». Теперь Пьеру представляется, что он обрел истину в таких понятиях, как братство, любовь, любовь к человечеству и проч. Эта магия обновления, прогрессизма принимала и другие формы. Например, вольтерьянство, заразительно действующее даже на старого князя Болконского, который не прочь кольнуть дочь за ее «предрассудки».

Поразительно несоответствие между увлечением, даже пленением Пьера Безухова плоской масонской моралистикой и нравственной глубиной его натуры (проявляющейся на дуэли, когда он, «едва удерживая рыдания», побежал к раненному им Долохову, когда он забывает о всякой опасности перед целящимся в него раненым Долоховым. «Пьер с кроткой улыбкой сожаления и раскаяния, беспомощно расставив ноги и руки, прямо своей широкой грудью стоял перед Долоховым и грустно смотрел на него. Денисов, Ростов и Несвицкий зажмурились»). И рядом с такой необъяснимостью мужества, с такой глубиной кротости — эта масонская моралистика. Пьер хочет убедить своего друга Андрея Болконского в обновляющей силе «новых, масонских мыслей»: «...масонство есть лучшее, единственное выражение лучших, вечных сторон человечества... Он говорил, что масонство есть учение христианства, освободившееся от государственных и религиозных оков; учение равенства, братства и любви». Пьер с увлечением говорит своему другу об узнан-

ной им «правде», о том, что мы «вечно — дети всего мира», что «кроме меня, надо мной живут духи и что в это мире есть правда» и т.д. Скептический Андрей Болконский резонно замечает: «Но ты говоришь: вступи в наше братство, и мы тебе укажем цель жизни и назначение человека и законы, управляющие миром. Да кто же мы? — люди. Отчего же вы все знаете? Отчего я один не вижу того, что вы видите?» И действительно, после пережитого на Аустерлицком поле, после того «бесконечного неба» как это все отвлеченно для князя Андрея: братство, любовь к человечеству. Выслушав Пьера, он говорит: «Да, это учение Гердера... но не то, душа моя, убедит меня, а жизнь и смерть, вот что убеждает. Убеждает то, что видишь дорогое тебе существо, которое связано с тобой, перед которым ты был виноват и надеялся оправдаться (князь Андрей дрогнул голосом и отвернулся), и вдруг это существо страдает, мучается и перестает быть... зачем? Не может быть, чтоб не было ответа! И я верю, что он есть... Вот что убеждает, вот что убедило меня, — сказал князь Андрей. — Ну да, ну да, — говорил Пьер, — разве не то же самое и я говорю! — Нет. Я говорю только, что убеждают в необходимости будущей жизни не доводы, а то, когда идешь в жизни рука об руку с человеком, и вдруг человек этот исчезает там в нигде, и ты сам останавливаешься перед этой пропастью и заглядываешь туда. И, я заглянул».

Смерть жены (когда он действительно заглянул в «пропасть»); открывшаяся ему, раненному, бесконечность неба, уводящая от всего суетного, преходящего, — это те глубинные пути самопознания, перед которыми так никчемны всякие теоретизирования об истине, человечестве и проч., это выстраданный опыт, благодаря которому только и возможны такие прозрения, как предсмертное постижение князем Андреем смысла любви. Это путь к истине не через умозаключения, умозрительные понятия, а через духовно — нравственное потрясение (как и у героев Достоевского), через страдание.

Но вернемся к масонству Пьера Безухова. Одно обстоятельство достойно особого внимания. Это то место в речи

ритора, где он касается целей масонского ордена: «Первая главнейшая цель и купно основание нашего ордена, на котором он утвержден и которого никакая человеческая сила не может низвергнуть, есть сохранение и предание потомству некоего важного таинства... от самых древнейших веков и даже от первого человека, до нас дошедшего, от которого таинства, может быть, судьба человеческого рода зависит. Но как сие таинство такого свойства, что никто не может его знать и им пользоваться, если долговременным и прилежным очищением самого себя не приуготовлен, то не всяк может надеяться скоро обрести его Поэтому мы имеем вторую цель, которая состоит в том, чтобы приуготовить наших членов, сколько возможно, исправлять их сердце, очищать и просвещать их разум теми средствами, которые нам преданием открыты от мужей, потрудившихся в искании сего таинства, и тем учинять их способными к восприятию оного». Как же реагирует Пьер на эти открытые ему ритором цели масонского ордена? «Из трех поименованных ритором целей — эта последняя — исправление рода человеческого, особенно близка была Пьеру. Некое важное таинство, о котором упомянул ритор, хотя и подстрекало его любопытство, не представлялось ему существенным...» Поразительное дело: новый прозелит масонства даже не задумывается (это для него несущественно) над тем, что же все-таки это за таинство загадочное, в чем его сокрытый от «неприуготовленных» смысл, в чем конечная цель этого таинства, доступного только немногим посвященным, нет ли враждебного в нем его убеждениям? Все это несущественно для нашего «исправителя рода человеческого». Скоро, однако, он почувствовал неудовлетворение своим новым положением, разочарование в своих братьях по масонской ложе. «Он давал свои деньги на устройство храмин и пополнял, насколько мог, сборы милостыни, на которые большинство членов были скупы и неаккуратны». «Все братья, члены лож, были Пьеру знакомые в жизни люди, и ему трудно было видеть в них только братьев по каменщичеству, а не князя В., не Ивана Васильевича Д., которых он знал в жизни большею частью как

слабых и ничтожных людей». Здесь довольно сложного состава сама моральная основа разочарования. Во-первых, и в самом Пьере его собрат отметил бы это несоответствие должного и наличного («Он любил хорошо пообедать и выпить, хотя и считал это безнравственным и унизительным, не мог воздержаться от увеселений холостых обществ, в которых он участвовал»). Обостренное внимание к чужим слабостям, недостаткам есть чаще всего признак недостаточно глубокой нравственной работы в самом себе, ибо это преобладающая занятость чужими слабостями есть не что иное, как собственная духовная несвобода, погружение в низы собственного бытия. Для человека, погруженного в глубины духовного опыта, чужие недостатки есть проблема изживания собственного несовершенства, а не предмет обличения. (Да это обличение, думается, и не в характере простодушного Пьера.) Также и в любом практическом деле, в той же помощи бедным: если это для тебя принцип, то какое тебе дело до того, как исполняют это дело другие, и тем более можно ли ставить этот свой принцип в зависимость от поведения других. И в этой, наиболее отвечающей, казалось бы, натуре Пьера (доброй, щедрой) сфере жизни обнаруживается зыбкость принципа. (Впрочем, иногда в размышлении Пьера слышится голос самого писателя, хотя бы о тех собратьях Пьера, которых он «знал в жизни большею частью как слабых и ничтожных людей».)

У Пьера Безухова возникают новые замыслы: «он подозревал, что русское масонство пошло по ложному пути и отклонилось от своего источника. И потому в конце года Пьер поехал за границу для посвящения себя в высшие тайны ордена».

Пьер не истины, не веры ищет, а внешнего авторитета. Встретил масона Иосифа Алексеевича (того знакомого нам старика на станции в Торжке) — и стал масоном. Встретит потом Платона Каратаева — и будет каратаевцем. И уже мало ему местных авторитетов, а надобны заграничные. Очень характерная черта для умственного движения XIX века в среде тех прекраснодушных поклонников всего ново-

го, об одном из которых хорошо сказано в некрасовской поэме «Саша».

«Что ему книга последняя скажет, То на душе его сверху и ляжет... Нынче не знает, что завтра сожнет, Только наверное сеять пойдет».

Пьеру Безухову должно было бы быть известно, что многие русские масоны новиковского времени не безоглядно доверчиво относились к масонству, а задавались вопросом, нет ли чего враждебного в масонстве их вере, собственным убеждениям, духовно-культурным традициям. Самого Пьера совершенно не интересует этот вопрос, у него ни малейшей доли сомнения в масонстве. Он считает себя приближенным к его великим тайнам, в наивности своей полагая, что для этого достаточно было его одной поездки за границу. «По переписке наших масонов с заграничными было известно, что Безухов успел за границей получить доверие многих высокопоставленных лиц, проник многие тайны, был возведен в высшую степень и везет с собою многое для общего блага каменщицкого дела в России. Петербургские масоны все приехали к нему, заискивали в нем, и всем показалось, что он что-то скрывает и готовит».

Что это за «высшая степень», в которую возведен за границей русский барин, нам остается неизвестным, да и вряд ли известно самому Пьеру, можно только предполагать, что у него разве лишь прибавилось знание средств все для того же «освобождения от государственных» и других «оков», что для него стала более очевидной организационно-практическая активность масонства (напомним, что «сердце его не лежало к мистической стороне масонства»). По возвращении в Петербург Пьер выступил перед братьями ложи, которым передал наставления от высших руководителей ордена. Речь его состояла из весьма торжественных выражений. «Одним словом, надобно учредить всеобщий владычествующий образ правления, который распространялся бы над целым светом... Коль скоро будет у нас некоторое число достойных людей в каждом государстве, каждый из них образует опять двух других, и все они тесно между собой

соединятся, — тогда все будет возможно для ордена, который втайне успел уже сделать многое ко благу человечества», — и т.д. Речь Пьера, в которой большинство братьев «увидело опасные замыслы иллюминатства», была холодно, даже враждебно встречена в ложе, против Пьера выступил сам «великий мастер». Поскольку предложение Пьера не было принято, он вышел из ложи. Так, в сущности, кончилась «масонская эпоха» в жизни Пьера Безухова (хотя он и продолжал считать себя масоном).

Известно, что при всей своей скрытности и таинственности история масонства знает на протяжении XIX, и не только XIX, столетия такие неожиданные повороты, которые открывают совершенно новые стороны даже таких событий, как начало первой мировой войны.

В книге историка Н. Яковлева «1 августа 1914 года» приводятся крайне многозначительные факты о заговоре тайной масонской организации в России накануне Февральской революции 1917 года во главе с А. Ф. Керенским.

Возвращаясь к Пьеру Безухову, можно сказать, что такие, как он, поистине не ведают, что творят. Если для самого Пьера ничего, кроме целей «нравственного совершенствования», не стоит за словами «учредить всеобщий владычествующий образ правления», «число достойных людей в каждом государстве», то и для других здесь не может быть, по его убеждению, иного смысла, тем более скрытного. В этом широта натуры доверчивого русского человека Пьера Безухова, от которой ему может стать и самому невмоготу... Здесь мы подчеркнем в нем те психологические черты, которые близки многим героям русской литературы и лучшим людям русской интеллигенции. Это, прежде всего, глубоко развитое чувство совестливости, нравственной чуткости перед лицом зла в жизни. О Пьере Безухове говорится: «Он испытывал несчастную способность многих, особенно русских людей, — способность видеть и верить в возможность добра и правды и слишком ясно видеть зло и ложь жизни, для того чтобы быть в силах принимать в ней серьезное участие». И сам Толстой испытал эту драму разлада, обо-

стрявшую в нем сознание своего долга перед народом до такой степени, что он, думая о нищей бабе, готов был проклинать себя за съеденное яйцо (как пишет об этом И. Бунин в «Освобождении Толстого»). В русской интеллигенции выработались свои, особые нравственные категории: сознание своего долга перед народом, жажда искупить то, что ей представлялось виной перед народом. С другой стороны, мы видим субъективность, даже гипертрофированную, этих исканий, которая представляется личности ее высшим благом — свободой (свободой выбора пути, свободой духа и проч.). Искания превращаются в скитания, в странствие мысли с утверждением своей свободы, с сильным нигилистическим элементом в отношении культурно-исторических традиций. При этом важным психологическим фактором становится стремление этой идейно и духовно скитальческой личности к обновлению. Так «обновляется» каждый раз Пьер Безухов — после встречи с масоном Иосифом Алексеевичем, затем после поездки за границу к тамошним масонам и т.д. Но то же «обновление» испытывает Пьер и в чувствах личных (даже в связи с возвращением в его дом жены: «Пусть она не знает, как тяжело мне было вновь увидать ее. Устроился в большом доме в верхних покоях и испытываю счастливое чувство обновления», не говоря уже о чувстве Пьера к Наташе). Пьеру Безухову «...становилось вполне хорошо только тогда, когда он, сам не замечая как, опрокинув в свой большой рот несколько стаканов вина, испытывал приятную теплоту в теле, нежность ко всем своим ближним и готовность ума поверхностно отзываться на всякую мысль, не углубляясь в сущность ее». Это тоже вид «обновления». При такой обновляющей чесотке все может представляться в жизни обыденным, рутинным, без «озарения», без «пропастей» и т.д. Но если буква мертва, а дух животворит, то постоянно в своей глубине животворящее творчество, а не это «обновляющее» скитальчество (когда случалось, что скиталец проклинал то, с чего начинал).

Вся психология исканий Пьера Безухова основана на обновляющих его сознание и чувство началах, на ощущении

нового каждый раз, когда ему кажется, что разрешается мучащий его вопрос, что он нашел искомое. Проследим этот процесс на всех этапах его внутреннего развития. Напомним некоторые самые ранние моменты его самосознания: «Разве не он всей душой желал то произвести республику в России, то самому быть Наполеоном, то философом, то тактиком, победителем Наполеона? Разве не он видел возможность и страстно желал переродить порочный род человеческий и самого себя, довести до высшей степени совершенства? Он говорит: ”А может быть, и все те мои товарищи, точно так же, как и я, бились, искали какой-то новой своей дороги в жизни...”» Можно сказать, что от «припадков ипохондрии», от «неразрешимых и страшных» вопросов («тщета всего человеческого») Пьера всегда спасает обновляющий фактор, «новая дорога» «того дня, как Пьер, уезжая от Ростовых и вспоминая благодарный взгляд Наташи, смотрел на комету, стоявшую на небе, и почувствовал, что для него открылось что-то *новое* (курсив мой. — *М. Л.*) — вечно мучивший его вопрос о тщете и безумности всего земного перестал представляться ему» «Новое» в душевной жизни Пьера (потрясшее его, долженствовавшее «привести его к великому подвигу и великому счастию») — это открытое ему масоном на основании Апокалипсиса пророчество относительно Наполеона и собственное его открытие своей великой миссии в устранении антихриста — Наполеона. Необычайное чувство подъема испытывает Пьер, когда он едет в белой шляпе и зеленом фраке в экипаже по дороге на Бородино, решаясь принять участие в сражении. «Пьер торопился скорее ехать вперед, и чем дальше он отъезжал от Москвы и чем глубже погружался в это море войск, тем больше им овладевала тревога беспокойства и не испытанное еще им новое радостное чувство... Его не занимало то, для чего он хочет жертвовать, но самое жертвование составляло для него новое радостное чувство». «Все, что он видел в этот день, все значительные, строгие выражения лиц, которые он мельком видел, осветились для него *новым* светом» (курсив мой. — *М. Л.*). Особенность таких обновлений у Пьера в их саморазрушении, под действи-

ем все тех же «неразрешимых вопросов»: вскоре же после Бородино Пьер снова впадает в «ипохондрию»: «Ему вдруг представилось, что все теперь кончено, все смешалось, что разрушилось, что нет ни правого, ни виноватого, что впереди ничего не будет и что выхода из этого положения нет никакого». Встреча с Платоном Каратаевым — очередное обновление; «Пьер долго не спал и с открытыми глазами лежал в темноте на своем месте, прислушиваясь к мерному храпенью Платона, лежавшего подле него, и чувствовал, что прежде разрушенный мир теперь с *новой* красотой, на каких-то новых и незыблемых основах воздвигался в его душе» (курсив мой. — *М. Л.*).

Такое укрепление сил в Пьере происходит вскоре же после испытанного им потрясения, когда на его глазах были расстреляны за «поджигательство» московские жители (после чего «мир завалился в его глазах и остались одни бессмысленные развалины. Он чувствовал, что возвратиться к вере в жизнь — не в его власти»).

Наиболее глубокий след оставило в Пьере все пережитое и увиденное им в плену у французов, пребывание его в бараке для военнопленных, где он много узнал о народной мудрости. Ему открылись в то время реальные глубины жизни, — не в привычной новизне сменяющихся впечатлений, а в обнажении страшной, дотоле неведомой ему правды. Это и ощущение «таинственной силы», которая овладевает вооруженными людьми, когда они начинают расправу над людьми беззащитными и когда ее уже не остановить: «"Вот оно!.. Опять оно!.." — сказал себе Пьер, и невольный холод пробежал по его спине. В измененном лице капрала, в звуке его голоса, в возбуждающем и заглушающем треске барабанов Пьер узнал ту таинственную, безучастную силу, которая заставляла людей против своей воли умерщвлять себе подобных, ту силу, действие которой он видел во время казни. Бояться, стараться избегать этой силы, обращаться с просьбами или увещаниями к людям, которые служили орудиями ее, было бесполезно. Это знал теперь Пьер». Это и тот момент, который он будет помнить всю жизнь (когда почти

при нем французы пристрелили больного, не могшего идти вместе со всеми пленными Платона Каратаева): «возникло воспоминание о взгляде, которым смотрел па него Платон, сидя под деревом, о выстреле, слышанном на том месте, о вое собаки, о преступных лицах двух французов, пробежавших мимо его, о снятом дымящемся ружье, об отсутствии Каратаева на этом привале, и он готов уже был понять, что Каратаев убит...»

И когда их, пленных, освобождают русские партизаны: «Братцы! Родимые мои, голубчики! — плача, кричали старые солдаты, обнимая казаков и гусар. Гусары и казаки окружали пленных и торопливо предлагали кто платья, кто сапоги, кто хлеба. Пьер рыдал, сидя посреди их, и не мог выговорить ни слова: он обнял первого подошедшего к нему солдата и, плача, целовал его». Это то, что в Пьере сходится с самой жизнью, с пропастями ее, действительно способными перевернуть внутренне человека; то, о чем говорил Пьеру его друг Андрей Болконский; что убеждает человека не новое модное учение, а «жизнь и смерть, вот что убеждает», утрата близкого человека. Может быть, наиболее сильный момент из всей жизни чувства Пьера в романе — эти рыдания его, когда их, пленных, освобождают партизаны. А ведь незадолго перед этим Пьер то буквально с сардоническим хохотом, то с грустной снисходительностью выставлял нелепость держать его взаперти, в плену («Пьер взглянул в небо, вглубь уходящих, играющих звезд. "И все это мое, и все это во мне, и все это я! — думал Пьер. — И все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками"»). Но жизнь берет свое, приводит человека в соприкосновение с такими тайнами даже в себе самом, перед которыми таким жалким становится морализирование. Такое обогащение и познает Пьер, сам сознавая, насколько приобретенный им опыт возвышает его над собратом по масонству Вилларским: «Все лица: ямщик, смотритель, мужики на дороге или в деревне — все имели для него новый смысл. Присутствие и замечания Вилларского, постоянно жаловавшегося на бедность, отсталость от Европы, невежество России, только возвышали

радость Пьера. Там, где Вилларский видел мертвенность, Пьер видел необычайную могучую силу жизненности, ту силу, которая в снегу, на этом пространстве, поддерживала жизнь этого целого, особенного и единого народа».

Происшедшая в Пьере перемена не остается не замеченной теми, кто знал его раньше. Наташа Ростова, которую автор относит к разряду «настоящих женщин, одаренных способностью выбирания и всасывания в себе лучшего, что только есть в проявлениях мужчины», так передает княжне Марье свои впечатления о Пьере, далеко за полночь рассказывавшем о своих злоключениях в плену: «Он сделался какой-то чистый, гладкий, свежий; точно из бани, ты понимаешь? — морально из бани. Правда?» У древних авторов есть выражение «духовная баня» через которую возрождается человек. «Моральная баня» — это скорее милое сердцу Пьера обновление, чем возрождение. И в самом деле, Пьер не был бы Пьером без постоянного «обновления». Снова перевернуто его представление о мире, на этот раз любовью к Наташе: «Радостное, неожиданное сумасшествие, к которому Пьер считал себя неспособным, овладело им. Весь смысл жизни, *не для него одного, но для всего мира* (курсив мой. — *М. Л.*) казался ему заключающимся только в его любви и в возможности его любви к нему. Иногда все люди казались ему занятыми только одним — его будущим счастьем... Но как те люди, которые казались Пьеру понимающими настоящий смысл жизни, то есть его чувство, так и те несчастные, которые, очевидно, не понимали это, — все люди в этот период времени представлялись ему в таком ярком свете сиявшего в нем чувства...» То же знакомое нам недоумение, что и во времена лежания Пьера на станции в Торжке. Удивительное соединение искренности, бескорыстья и поразительного эгоцентризма. И новый поворот уже в солидном семьянине Пьере Безухове: он обличает тех в высших кругах, кто «просвещение душит»,он за «независимость и деятельность», «мистицизма Пьер никому не прощал теперь» и проч. Пьер имеет свою «задушевную мысль, ту самую, для которой он ездил в Петербург — советоваться с новым другом своим,

князем Федором». Итак, уже «новый друг», новый наставник — прежде это был «благодетель» Иосиф Алексеевич, масон; затем Платон Каратаев, теперь князь Федор. Пьера подстерегает вопрос, который ему был задан в свое время: «есть масоны и масоны, и надеюсь, что вы не принадлежите к тем, которые под видом спасения рода человеческого хотят погубить Россию». Пьер снисходителен, по высоте своего неустанного обновления, к подобным вопросам. Наташа спрашивает его; «Ты знаешь, о чем я думаю?.. О Платоне Каратаеве. Как он? Одобрил бы тебя теперь?» — «Нет, не одобрил бы, — сказал Пьер, подумав». Пьер вступает — в новый период обновления — через «просвещение». Мы помним, что одно из главных приобретений Пьера во время плена — это обретенное им чувство внутренней свободы, когда в свете нового опыта ему открылось понимание значительного и ничтожного в жизни. Этой «внутренней свободой», характером ее объясняется и многое в исканиях Пьера, в его духовно-философских метаморфозах.

Полнота толстовского отношения к Пьеру Безухову выразилась одновременно в симпатии к его характеру и в иронии к его «обновлению.

Таким образом, основой психического процесса становится постоянно обновляющееся душевное состояние Пьера, переходящего из одних обстоятельств в другие, из одного круга умственных интересов в другой круг.

Психологическая реакция на реальные события сплетается в сознании Пьера с рефлективностью чувств и мыслей, вызываемой его внутренней, нравственной работой. Жизнь чувств играет огромную роль в самосознании Пьера, ею во многом определяется и разнообразие его нравственных симпатий. Пьер Безухов — это не столько судьба личности (как Григорий Мелехов), сколько история сознания. В психологии Григория Мелехова — больше исторической детерминированности, зависимости от обстоятельств. И в выборе пути не может быть знакомой нам периодической «обновляемости», правдоискательство Григория Мелехова достается ему ценою выжигания в его душе радости «обновления». «Прос-

той, бесхитростный ум» Григория Мелехова податлив на разные влияния (большевика Гаранжи, с которым раненый Григорий лежал в одной палате лечебницы и который «постепенно, неуклонно разрушал все его прежние понятия о царе, родине, о его казачьем воинском долге»; Чубатого, проповедующего, что «нам, казакам, нужна, своя власть, а не иная» и т.д.). В слабых возражениях Григория тем, кто агитирует его, чувствуется растерянность, действительно бесхитростность ума. По природе своей цельная натура, не знающая расслабляющей волю рефлексии, Григорий Мелехов испытывает мучительное душевное раздвоение. Это не подпольное двойничество, уходящее в иррациональную сферу, а реальность противоречий, тем более трагическая, что есть в ней неизбежность объективной закономерности. Противоречия в Григории Мелехове — исторические, психологические — глубже, чем в Пьере Безухове (хотя и менее сложны), ибо за Григорием Мелеховым — многовековая история народа, тогда как за Пьером — столетие умственных интересов, разбуженных в образованном русском слое Петровской реформой. Конечно, есть и общенациональное в обоих характерах, но природа психологизма Григория резко индивидуальна, и эта индивидуальность вызвана немыслимыми для прежних героев социально-историческими обстоятельствами. Между братьями Мелеховыми — старшим Петром и младшим Григорием — происходит разговор, в котором извечные, казалось бы, родственные чувства таинственно разводят, отчуждают людей: «Ты гляди, как народ разделили... Будто с плугом проехались: одни в одну сторону, другие — в другую, как под лемехом. Чертовая жизня, и время страшное! Один другого уже не угадывает... Вот ты — круто перевел он разговор, — ты вот — брат мне родной, а я тебя не пойму, ей-богу! Чую, что ты уходишь от меня... Правду говорю? — и сам ответил: — Правду. Мутишься ты... Боюсь, переметнешься ты к красным. Ты, Гришатка, до себя не нашел. — А ты нашел? — спросил Григорий».

Вспоминается знаменитый разговор «русских мальчиков», братьев Ивана и Алеши Карамазовых, в романе Досто-

евского «Братья Карамазовы». Это типичный разговор «русских мальчиков» по философской своей бесконечности, психологической разомкнутости с практическим миром (не говорим о прозрениях «Великого инквизитора», о проблемах страдания и мировой гармонии, вложенных в этот разговор самим писателем). Иван спрашивает младшего брата, перед тем как начать разговор с ним о «мировых вопросах»: «Мы для чего здесь сошлись? Что бы говорить о любви к Катерине Ивановне, о старике и о Дмитрии? О загранице? О роковом положении России?..» — «Нет, не для этого». «Русских мальчиков» не интересует «роковое положение России» (напомним, что сам Достоевский считал конец 70-х — начало 80-х годов — то время, когда писались «Братья Карамазовы», — именно роковой эпохой для России, Россия чудилась ему стоящей на краю бездны). Место пусто не бывает, и найдутся другие мальчики, именно «для этого». Разрешители «вековечных вопросов», вроде Ивана Карамазова, не знали удержу своей «центростремительной силе» (его слова), не видя в беспредельности своих хотений, что они в плену Смердяковых (как это случилось с тем же Иваном). Смердяковский же девиз известен: «Я всю Россию ненавижу». Известна и его затаенная программа: «чтобы умная нация покорила бы весьма глупую-с». При всей своей трагичности, метафизической глубине, сознание Ивана Карамазова субъективно, индивидуалистично, оно «перепрыгивает» через целые иерархии ценностей, через такие проблемы народного бытия, которые необходимым элементом входят в творческое самосознание. Ивану как будто и нет дела до того, что «центростремительные силы» возможны лишь потому, что существуют силы центробежные, и что без этих вторых сил, скажем — без моральной основы народной жизни, неизбежно измельчает и сила отрицания, что может вообще стать всеобщей «нигилятина» (при которой и немыслима выдающаяся сила отрицания). Иван не задумывается хотя бы над тем, о чем писал Достоевский, считавший возможным, что с цивилизацией народу, подобно интеллигенции, придется перейти «фазис разврата и лжи». «Я бы желал ошибиться или

чтоб вы мне сказали что-нибудь утешительное. А если с ним это и случится, то давайте-ка способствовать вместе, чтоб обошлось дело легче и прямее к цели... У меня много надежд, что народ отстоит свой облик и не начнет цивилизацию с разврата. Пусть через этот фазис переходили мы». Разговор «русских мальчиков» (в том обобщающем смысле, который разъяснен самим писателем) и разговор братьев Мелеховых — разница здесь качественная. Об этой разнице можно сказать словами Пьера Безухова (тоже ведь «русского мальчика», занятого теми же «вековечными вопросами»), когда он думает о солдатах, которых узнал накануне и в день Бородинского сражения: «они все время, до конца были тверды, спокойны... — подумал он. *Они* в понятии Пьера были солдаты — ...И *они* просты. *Они* не говорят, но делают. Сказанное слово серебряное, а несказанное — золотое». Григорий Мелехов из тех же людей, которые «не говорят, но делают». И если он заговорил с братом о том, что все перепуталось в жизни и непонятно, по какому пути идти, — то это уже не просто слова, это пришла в движение глубинная сила, которая не остановится на словах, а будет искать выхода только в действии. И сами слова как бы переоцениваются, отлетает все условное, остается одна жуткая суть. Когда казак говорит Григорию: «Нарвешься на каких-либо отчаянных — и они из одного тебя не то что двоих—пятерых сделают!» — то это вовсе не метафора, а буквально так и может быть (как хвалится в романе другой казак, что он из одного человека сделал две половинки). К людям, страдающим «болтливостью», Григорий всегда испытывал «чувство глубокого отвращения». Всегда чувствуется, что в нем самом больше и глубже того, что он высказывает. В романе говорится о его тоске по умершей жене: «Стоило на минуту снять узду с услужливой памяти, и перед глазами его вставала живая, улыбающаяся Наталья». Но гораздо труднее Григорию справиться в самом себе с психологической уздой, сдерживающей его в действиях, мыслях и даже чувствах — от большего (его держит семья, дети, чтобы ему решиться уйти из хутора, который должны занять белые) до малого. Пьер

Безухов в своем самоотречении, в отказе от богатства во время войны с Наполеоном достигает ощущения высоты и дна одновременно. Но это очищающее его душу нравственное состояние — духовный опыт сугубо индивидуальный, когда даже такое событие, как Бородино, переводится в крайне отвлеченный факт самосознания: «...его не занимало то, для чего он хочет жертвовать, но самое жертвование составляло для него новое радостное чувство». Ничего подобного нельзя представить в Григории Мелехове. События не проходят «сквозь» него, обновляя каждый раз чувство (как это происходит с Пьером Безуховым), а скручивают его, подчиняют себе неведомой ему силой. Иногда Григорию даже кажется, что, сложись иначе обстоятельства, он пошел бы другим путем. Вот его разговор с Кошевым: «— Ежели б тогда на гулянке меня не собирались убить красноармейцы, я бы, может, и не участвовал в восстании. — Не был бы ты офицером, никто бы тебя не трогал. — Ежели б меня не брали на службу, не был бы я офицером... Ну, это длинная песня! — И длинная и поганая песня. — Зараз ее не перепевать, опоздано».

Но потому именно так, а не иначе и сложилась судьба Григория Мелехова, что у событий, обстоятельств своя логика, своя «длинная песня», и Григорий — жертва этой закономерности (жертва, далекая от жертвования Пьера с его «новым радостным чувством»). Такие, как Григорий Мелехов, — материал истории («они не говорят, они делают»), из этого материала, из этой корежащейся, страдающей плоти «лепится» история. Представим себе, что было бы, если бы воплотить все искания Пьера Безухова, все его меняющие друг друга убеждения — в дело, в действие, — какая это была бы запутаннейшая «междоусобица», сколько было бы жестоких «ситуаций»! Но вся эта борьба в основном не выходит у Пьера за пределы его духовно-умственных усилий, объективно он чаще всего — иной человек. Григорий же поставлен в такие обстоятельства, когда даже не сложившееся еще убеждение влечет к кровавым последствиям. И ужасные муки совести в Григории говорят о том, в какое глубочайшее проти-

воречие с самим собою поставлен он событиями: «— Кого же рубил?.. — И впервые в жизни забился в тягчайшем припадке, выкрикивая, выплевывая вместе с пеной, заклубившейся на губах: — Братцы, нет мне прощения!.. Зарубите, ради Бога... Смерти... предайте!» Психология Григория Мелехова раскрывается преимущественно через действие. Он живет и действует в обстоятельствах, когда не до рассуждений: «Три коня были убиты под Григорием за осень, в пяти местах продырявлена шинель. Смерть как будто заигрывала с казаком, овевая его черным крылом. Однажды пуля насквозь пробила медную головку шашки, темляк упал к ногам коня, будто перекушенный.

— Кто-то крепко за тебя молится, Григорий, — сказал ему Митька Коршунов и удивился невеселой Григорьевой улыбке». В этой «невеселой улыбке» вся тяжесть душевного состояния Григория. В психологизме писателя это обычный способ выражения — скупая эмоциональная реакция на то или иное событие, — скупая и тем более выразительная во внутренней своей емкости, значительности. В какой бы обстановке мы ни видели Григория — в бою ли, дома ли среди семьи; в разговоре ли со своим верным фронтовым другом Прохором Зыковым или наедине с самим собою, переживающим смерть близких людей, — всегда остается психологическая объективность его состояния, точнее говоря, психологическая действенность жеста, поступка, действия и т.д. Вот Григорий приезжает домой, узнает о смерти Натальи, казнит себя раскаянием за причиненные ей страдания. «Из горницы он вышел постаревший и бледный, беззвучно шевеля синеватыми, дрожащими губами, сел к столу, долго ласкал детей, усадив их к себе на колени, потом достал из подсумка серый от пыли кусок сахара, расколол его на ладони ножом, виновато улыбнулся:

— Вот и весь гостинец вам... Вот какой у вас отец... Ну, бежите на баз, зовите деда».

Глубоко народная черта — не мусолить с людьми свое горе, а изживать его в здоровом общении с ними. К Григорию приходит сосед.

«— Проведать пришел. Прослыхал про ваше горе. Похоронили, стал быть, Наталью Мироновну?

— Ты каким путем с фронта? — спросил Григорий, сделав вид, будто не слышал вопроса, с удовольствием рассматривая нескладную, несколько согбенную фигуру Христони...

Григорий обрадовался новому человеку, возможности поговорить о чем-то постороннем, что не касалось его переживаний».

Особенно замечательно это «с удовольствием рассматривая...» — так и чувствуется, как отмякает наболевшее в душе Григория при виде оставшегося в живых казака. Психологическая емкость той или иной реакции Григория на происходящее — в ее кажущемся спокойствии. «Григорий поднял голову. В проезжавших санях лежали внакат, прикрытые брезентом, серошинельные трупы. Наклески саней Григория на раскате ударились о торчавшую из проезжавших саней руку, и она отозвалась глухим чугунным звоном... Григорий равнодушно отвернулся». Предельно действенным становится само чувство: «Вот и кончилась его недолгая мирная жизнь... Он действовал, как в бою, — поспешно, но уверенно: прошел в горницу, осторожно поцеловал спавших детишек, обнял Аксинью». Говорится об «отточенном клинке минувшего чувства» Григория.

Сила переживания Григория проявляется в его открытых, яростных движениях и жестах: «дрожал и задыхался», «вскипел, с холодным бешенством сказал», «один звериный инстинкт властно и неделимо вступал в управление его волей», «бешено охаживал коня плетью», «забился в тягчайшем припадке, выкрикивая, выплевывая вместе с пеной, заклубившейся на губах» — и т.д.

Сталкиваются характеры, в каждом из которых огромный потенциал жизненных сил, в сознание читателя входит трагическое ощущение самоистребления этих сил. Григорий ночует в хате вместе с Лихачевым, красным командиром, взятым казаками в плен: «Изредка посматривал на Лихачева, скрещивал с ним взгляды, как клинки... Забылся Григорий на заре, но вскоре проснулся, поднял со стола отяжелевшую

голову. Лихачев сидел на соломе, зубами развязывал бинт, срывая повязку. Он взглянул на Григория налитыми кровью, ожесточенными глазами. Белозубый рот его был оскален мучительно, как в агонии, в глазах светилась такая мертвая тоска, что у Григория сон будто рукой сняло.

— Ты чего? — спросил он.

— Какого тебе ... надо! Смерти хочу! — закричал Лихачев, бледнея, падая головой на солому».

Характер Григория Мелехова, его «звериный инстинкт» и т.д. — это не биологизм (хотя чувствуется в нем и огромная биологическая сила), жестокость событий не убивает в нем нравственной основы, — так поднимается в нем неодолимо сострадание к Лихачеву, так он спешит спасти жизнь Ивану Алексеевичу Котлярову и даже Мишке Кошевому, убийце своего старшего родного брата.

Общее у Шолохова с Толстым — почти «языческая» свежесть чувств, с огромной силой подсознательного. Но как выразители разных эпох в истории России, это разные художественные миры, как различны пути Пьера Безухова и Григория Мелехова. Если от расстрела нескольких пленных в глазах Пьера «завалился мир», то что же можно сказать о Григории Мелехове? Пьер в результате всех обновлений «попростел»; о Григории Мелехове можно сказать, что он под влиянием всего пережитого «посложнел». Ему открылись такие стороны жизни и взаимоотношений людей, которые делают невозможным его возвращение к прежней своей простоте. Ему открывается не «радостное чувство обновления», как Пьеру Безухову, а неведомые ему самому предчувствия (отвратительный ему самому страх, охватывающий его после регистрации в Вешенской).

В русской литературе не было еще такого психологического опыта, складывающегося из самого действия, из самой борьбы (поэтому такое большое значение имеет в романе «косвенная» характеристика Григория — через его поступки, отношение к нему людей).

Характер Григория Мелехова впервые открыл и меру способности человека остаться человеком при неисчислимых

утратах (гибель почти всей родни Григория), — не в узко личном смысле, а в значении поучительности судьбы Григория Мелехова как элемента народного самопознания.

В судьбе Григория Мелехова выразился опыт народа как исторического заложника умственных спекуляций, идеологических «обновлений», отторжения от православия, безответственности так называемой «интеллигенции».

«СПОДОБИТЬСЯ РОССИИ БЫТЬ СЛУГОЮ»
(глава из книги «А. Н. Островский»)

Путешествие по Волге развернуло перед Островским панораму исторического прошлого России. Что ни город, то новое предание.

И впоследствии, уже после этого путешествия, когда он был в волжских и других городах, живо интересовался всем, что связано с историей здешних мест. В мае 1865 года он побывал в Казани. Стоя около памятника павшим во время взятия города Иваном Грозным, при впадении Казанки в Волгу, Островский представил в воображении, как отсюда после молебна начинался штурм крепостной деревянной стены, бывшей на месте нынешней Проломной улицы: лютая сеча, крики, стоны, ржание коней и взволнованное лицо молодого царя, ожидающего исхода сражения. Теперь отсюда как на ладони виден Кремль с его белокаменными соборами и Спасской башней налево, а направо — краснокирпичной башней Сююм-беки. Сейчас на Казанке мельница в восемь камней, как рассказал Островскому прохожий старик, а тогда, после сражения, вся речка была в крови. На этом же месте, где ныне памятник павшим, Иван Грозный после взятия Казани отслужил панихиду и отправился в покоренный город.

Островский весь ушел воображением в далекое прошлое, а в это время рядом, на Казанке, ребятишки и взрослые удочками ловили рыбу, из воды то и дело вылетали трепещущие окуньки, плотвицы, и Островский, сам заядлый рыбак, загорелся рыбацкой удалью, глядя на удачников. «Какая

была здесь сеча, а вот прошли столетия, ребятишки удят рыбу, жизнь идет своим чередом».

По берегу Казанки он подошел к Волге, которая здесь казалась необъятной, долго всматривался в ту сторону, где в тридцати верстах отсюда находился Свияжск, оттуда Грозный начал готовить осаду Казани. Потом Александр Николаевич прошел берегом Волги, поднялся к Кремлю, обогнул его по берегу Казанки и оказался у Спасской башни.

Исподволь накапливались впечатления, подробности, относящиеся к историческому прошлому и во время поездок Островского в Щелыково. До 1871 года, когда была построена Иваново-Кинешемская железная дорога и Островский стал пользоваться ею, до этого он добирался до Щелыкова на лошадях по дороге, которая проходила через Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов-Великий и Ярославль. Дорога обогащала драматурга картинами народной жизни, труда, обилием интересных разговоров, красочностью народной речи, многообразием характеров. Бесценный бытовой материал сам плыл в руки художника. Историей веяло от этой дороги, проходившей по старинному тракту, через древнерусские города. Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на битву, сыгравшую решающую роль в освобождении Руси от татарского ига. Монастырь оказал твердое сопротивление польско-литовским интервентам, выдержав длительную осаду в течение 1608—1610 годов и вынудив отряды захватчиков отступить. Сюда, в Троице-Сергиеву лавру, пришли Козьма Минин и Дмитрий Пожарский с ополчением по дороге в Москву, прежде чем вступить в сражение с неприятелем. Много других исторических событий связано с лаврой. А в нескольких десятках километров от нее, в сторону Владимира, раскинулась Александровская слобода, в которую Иван Грозный удалился из Москвы и где прожил более десяти лет, наводя ужас на своих подданных опричниной.

Исторические лица, их жесты, речи оживали, обретали звучание в воображении, как живой стоял перед глазами Минин: этот образ давно не оставлял его, еще с детства, когда мальчиком он стоял на Красной площади, когда слышал

рассказ о том, как в Замоскворечье, недалеко от того места, где они, Островские, жили, Минин сам повел отряд в бой против польского гетмана и обратил его в бегство. Что это был за человек? Какая сила владела им, какая пламенная вера? Он из тех необыкновенных, исторического значения людей, у которых все крупно. Это о них говорит пословица: «великому делу — великое слово». В воображении видятся широкие, величавые жесты человека, нравственно цельного, открытого. Слышится речь житейская, но не бытовая, а полная внутреннего духовного значения. Минину нечего бояться высоких слов — так велико его дело. Он не демагог, играющий на чувствах толпы ради своекорыстных узких политических целей, заманивающий ее лицемерным пафосом.

Но почему так дался ему, не отпускает его от себя Минин, вообще почему его «потянуло на историю»? Все по той же причине, по какой люди всегда обращались в прошлое, чтобы лучше разобраться в настоящем. А настоящее, то есть начало шестидесятых годов, было для Островского предметом напряженных и тревожных раздумий. Какою Россия входит на второе тысячелетие своего существования, что ее ожидает в будущем? Канун, а затем сама реформа 19 февраля 1861 года открыли пути новым, невиданным в истории России отношениям — буржуазно-капиталистическим. Неясной, неопределенной была историческая перспектива.

И в этот переходный период, рождавший в современниках опасение за будущее страны, Островский обратился к истории. Для тех, кто знал драматурга поверхностно, кто видел в нем «бытовика», такой поворот его от сцен современного быта к историческим сюжетам, к изображению народной жизни давних эпох казался невероятным и даже необъяснимым. Но кто знал Островского и его пьесы глубже, для тех не было в этом ничего неожиданного. Может быть, такое знание выразил лучше других И. А. Гончаров, постоянно и любовно следивший за литературной деятельностью Островского и написавший о нем: «Островский писатель исторический, то есть писатель нравов и быта... Островский писал эту жизнь с натуры, и у него вышел бесконечный ряд

живых картин или одна бесконечная картина — от "Снегурочки", "Воеводы" до "Поздней любви" и "Не все коту масленица"... Тысячи лет прожила Россия, и Островский воздвигнул ей тысячелетний памятник».

Все взаимосвязано у Островского — прошлое и современное, все входит в историческое бытие народа с его веками сложившимися традициями.

После путешествия по Волге у Островского возник замысел, о котором он писал в сентябре 1857 года Некрасову: «Честь имею Вас уведомить, что у меня готовится целый ряд пьес под общим заглавием "Ночи на Волге"». В цикл «Ночи на Волге» должны были войти и пьесы о современной жизни, такие, как «Гроза», и пьесы исторические, например, драматическая хроника «Козьма Захарьич Минин-Сухорук», комедия «Воевода». Все пьесы, и о современной жизни, и на исторические сюжеты, объединялись единым целостным замыслом, составляя широкое полотно народной жизни, где настоящее, с его поэзией, бытом, со всеми его проблемами и противоречиями, несло в себе коренные свойства исторического бытия народа.

И Козьма Минин как национальный характер не появился у Островского вдруг, на пустом месте. Ведь и в Русакове, если всмотреться, есть что-то от Минина — в цельности, монолитности его характера, в нравственной силе убеждений, в самой его несколько резонерствующей рассудительности.

Пьеса «Козьма Захарьич Минин-Сухорук», вышедшая в 1862 году, начинается с драматического противопоставления: здесь, в Нижнем, тишь да гладь, довольство, сытость, а там, в Москве, настали «времена плохие», «стон и плач сирот и горьких вдов, как дымный столб, на небеса восходит». Смута, разорение, злодейство поразили первопрестольный град. Душой болезнует, скорбит Козьма Захарьич Минин, «радетель» за земское дело, за родную землю. Некоторые из его земляков думают: зачем Козьме Захарьичу печалиться о Москве, по пословице: своя рубашка ближе к телу. Но в том-то и дело, что искони в русском человеке жила заветная мысль о единстве своей земли, та мысль,

которая вдохновляла еще автора «Слова о полку Игореве», которая умудрила старца Филофея из Пскова в начале XVI века провозгласить идею Москвы как «Третьего Рима», которая заставляла областных летописцев ратовать за объединение русских княжеств вокруг Москвы. Так и Минин не может быть в стороне, когда в беде и смуте родная земля. «Москва нам мать!.. А разве дети могут мать покинуть в беде и горе?» — говорит он нижегородцам. Свои же люди розничают, врагу на радость, Руси на погибель, иной боярин, глядишь, боярство-то от тушинского вора получил. Тушинцы предают святое дело, этим отступникам лишь «хочется пожить да погулять».

Ночью один стоит Минин на берегу Волги. Река сливается с темнотой, огоньки поблескивают по берегам — то бурлаки готовят себе пищу. Доносится печальная, протяжная песня. Минину чудится, что не радость сложила эту песню, а неволя, «разгром войны, пожары деревень, житье без кровли, ночи без ночлега», в песне этой слышатся ему слезы самой Руси, терзаемой врагом, они рвут ему сердце, душу жгут огнем и утверждают на подвиг его «слабый дух». Он чувствует в себе неведомые силы, «готов один поднять всю Русь на плечи, готов орлом лететь на супостата». И Волга укрепляет его усомнившийся было дух: «Восстань за Русь, на то есть воля Божья!»

Минин чувствует себя избранником и сознает свою ответственность перед Русью: ему больше, чем всем, дано — с него больше и спросится. Сам Сергий Радонежский привиделся ему ночью и велел идти к Москве и спасать ее. При всей своей глубочайшей духовной озаренности, Минин человек деловой, практический, хорошо понимающий, что для успеха дела «казна всего нужнее». На площади Кремля, с Лобного места он обращается к нижегородцам:

Поможем, братья, родине святой!
Что ж! Разве в нас сердца окаменели?
Не все ль мы дети матери одной?
Не все ль мы братья от одной купели?

И не только говорит, а сам первым показывает пример: кладет в общую казну все до последнего рубля, велит жене нести из дому драгоценности и дорогие наряды: «поднизи и серьги, весь жемчуг, перстни, ферязи цветные, камку и бархат, соболь и лисицу...» Эпизод добровольного приношения, когда каждый отдает на дело общее, на помощь ратным все, что имеет — скопленное добро, трудовые рубли и копейки, сундуки, ларцы, даже одежду и домашние вещи, — один из самых волнующих в пьесе, с непосредственной силой изображен здесь народ, охваченный единым патриотическим порывом, готовностью жертвовать всем, вплоть до жизни своей, ради освобожденной Родины.

Островский писал «Минина», будучи во власти дум о современной ему России, о ее будущем. Но история не могла стать для него только предлогом для высказывания современных идей, для либеральной декларации «актуальных» политических мыслей в иносказательных образах. Он говорил: «Историк-ученый только объясняет историю, указывает причинную связь явлений; а историк-художник пишет, как очевидец...», «Историк передает, *что было*; драматический поэт показывает, как было, он переносит зрителя на самое место действия и делает его участником события. Не всякий человек растрогается, прочитав, что Минин в Нижегородском кремле собирал добровольные приношения на священную войну, что несли ему кто мог, и бедные, и богатые; но тот же самый простой человек непременно прослезится, когда увидит Минина живого, услышит его горячую, восторженную речь, увидит, как женщины кладут к его ногам ожерелья, как бедняки снимают свои медные кресты с шеи на святое дело».

Драматург не поступался художественностью, исторической правдивостью образа ради мнимого успеха, популярности, общественной моды. После выхода «Минина» он писал в конце 1862 года Аполлону Григорьеву: «Неуспех Минина я предвидел и не боялся этого: теперь овладело всеми *вечевое бешенство*, и в Минине хотят видеть демагога. Этого ничего не было, и лгать я не согласен. Подняло в то время Россию не

земство, а боязнь костела, и Минин видел в земстве не цель, а средство. Он собирал деньги на великое дело, как собирают их на церковное строение... Нашим критикам подавай бунтующую земщину; да что же делать, коли негде взять? Теоретикам можно раздувать идейки и врать; у них нет конкретной поверки; а художникам нельзя; перед ними образы... врать только можно в теории, а в искусстве — нельзя».

Драматург признавался, что для своих исторических хроник он берет форму «Бориса Годунова». Имелась в виду не только стихотворная форма, не только вольное, не скованное единством места, действия и времени течение события, расположение сцен. «Что развивается в трагедии? Какая ее цель? — спрашивал Пушкин и отвечал: — Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная... Что нужно драматическому писателю? Философию, бесстрастие, государственные мысли историка, догадливость, живость воображения, никакого предрассудка любимой мысли. Свобода».

Судьбы народные и стали в центре «Минина» и других исторических хроник Островского. «Догадливость», «живость воображения» позволили ему войти в духовный, внутренний мир людей того времени, глубоко почувствовать и понять особенность их психологии, мировосприятия. Так изображена Марфа Борисовна, молодая красавица вдова, которая оставшееся от мужа богатое наследство раздавала нищим, сиротам, в убогие дома, заключенным в тюрьмах, в обители, а затем — в казну, на помощь ратным. Но не только этой раздачей она щедра, а безграничной добротой своей к ближним, кротостью и веселым, не ханжеским нравом. В этой деятельной любви к ближнему и состоит святость ее, святость в миру, среди людей.

Художник чуток к внутреннему миру своей героини. Не белые ли стены обители Нила Столобенского, вставшие перед ним во время путешествия по Волге, вспомнились ему теперь, когда он в просторной бревенчатой светлице видел свою Марфу Борисовну, девушек, которые поют любимый душеполезный стих «О пустыне», и ее уносят мечты в прекрасную «пустыню» с тихими лугами, испещренными цвета-

ми, и красивым, дивным садом, с кудрявыми деревьями, шумящими без ветра?

Современники могли только поразиться той правде, с какой Островский нарисовал облик молодой женщины, жившей два с половиной века тому назад. И какой поразительный диапазон художника, владеющего одинаковой изобразительной убедительностью как при обрисовке какой-нибудь недалекой Липочки, так и в раскрытии богатой внутренней жизни Марфы Борисовны!

Кстати, сестрой Марфы Борисовны, близкой по характеру, по всему облику, можно считать молодую девушку Февронию в «Сказании о граде Китеже» Римского-Корсакова. Да и начинается опера с похвалы «матери пустыне». Февронию, как и Марфу Борисовну, овевают мечты о прекрасной пустыне, где можно найти тихие радости в уединении и в созерцании красоты. И в характере Февронии — та же любовь к ближнему, та же кротость, смирение: «Где уж мне, девице, важничать, свое место крепко знаю я, и сама как виноватая, всему миру низко кланяюсь», — говорит она в ответ на незаслуженный упрек в зазнайстве, когда стала княгиней. За обеими героинями стоит образ древнерусской женщины в житийной литературе. Во всяком случае, у Марфы Борисовны есть такой очевидный «прототип» — Ульяна Устиновна Осорьина (Иулиания Муромская), вдова провинциального дворянина, жившая в начале XVII века и оставшаяся в памяти потомков благодаря замечательной житийной повести, написанной ее сыном. Впоследствии историк В. Ключевский с художественной пластичностью коснулся этого образа в статье «Добрые люди Древней Руси».

Дыханием эпичности веет от «Минина», от монологов главного героя, исполненных патриотического подъема, лирического чувства, религиозного, в духе того времени, содержания. Кажется, что личность нижегородского купца так увлекла драматурга, настолько он был покорен однодумьем патриота, помышляющего только о спасении Руси, что главной заботой автора и стала сама эпическая выразительность образа. Не случайно сам Островский признавал, что хронике недостает сценичности.

Но то, что он мог называть несценичностью по неуверенности или под влиянием писавших об этом рецензентов, совсем иначе воспринималось таким художником, как Гончаров. У него есть замечательно любопытное, глубокое суждение о художественной природе пьес Островского, суждение, которое особенно может быть отнесено к «Минину» и другим историческим хроникам: «Но он комик — по своей натуре, по натуре своего материала, комик по внешней поверхностной форме, — а в сущности, он писатель эпический. Сочинение действия — не его задача... Ему как будто не хочется прибегать к фабуле — эта искусственность ниже его: он должен жертвовать ей частью правдивости, целостью характера, драгоценными штрихами нравов, деталями быта, — и он охотнее удлиняет действие, охлаждает зрителя, лишь бы сохранить тщательно то, что он видит и чует живого и верного в природе».

Однако сомнение относительно сценичности побудило автора написать вторую редакцию пьесы, в ней подверглись некоторому сокращению монологи Минина, была введена новая сцена сражения нижегородцев с поляками за Москвой-рекой, напротив Кремля, другим стал финал: если в первой редакции пьеса заканчивалась тем, что нижегородское ополчение под водительством князя Пожарского и Минина отправляется в Москву, то во второй редакции победители во главе с Мининым из Москвы возвращаются в Нижний Новгород. В пьесе и происходит все так, как было на самом деле, как подробно передал С. М. Соловьев в своей «Истории России». Минин просит князя Пожарского дать ему отряд, чтобы обойти гетмана и ударить с тыла, что и решило исход сражения. Минин возвращается в родной Нижний Новгород. Народ встречает спасителя Руси хлебом-солью, восторженно славит его. Славословием Минину заканчивается вторая редакция пьесы: «Потоль велика русская земля, поколь тебя и чтить и помнить будет».

Такие люди, как Минин, являются на сцену истории, чтобы народ, увидев в них себя, почувствовал свои силы и привел в действие, сполна проявил их. Через таких людей народ осознает себя, свои возможности и свое призвание.

Самосознание переходит в историческое свершение. И действительно, «потоль велика русская земля, поколь тебя и чтить и помнить будет» — величие народа можно ставить в зависимость от того, насколько прочна память в нем о таких своих предках, как Минин.

Для Островского Минин был опорой — делом своим, примером, чистотою своих помыслов и верностью заветам предков. Твердым стоянием на своей правде, если бы ему даже пришлось остаться одному. Сколько «воришек» объявляется в «смутные времена», они готовы служить и служат «тушинскому вору», и некоторые ставят это даже в заслугу себе: мол, не какие-то простецы, а соблюдают гибкость тактики, не лезут напролом, в лоб, а действуют умеючи, сообразно с обстоятельствами. Какая нужда тогда в Минине! Нужда в его великом бескорыстии — в век начавшегося служения «золотому тельцу», нужда в его прямодушном и благородном слове — в век либерального краснобайства и теоретических спекуляций. Для этих умствующих воришек Минин кажется уже безнадежно старомодным и даже «уснувшим» в истории после совершенного им подвига, его могилу можно и перечеркнуть*. Но все проходит — «слова, слова, слова», торжество демагогии и лицемерия, а. остается то, из чего и созиждется история, — великие дела народа, подвиги его славных сынов, остаются минины и пожарские, к которым потомки обращаются за помощью и поддержкой в ответственные моменты истории и которые вечно живут в памяти нации как ее величайшее достояние.

Островский в думах своих так сживался с Мининым, со строем его мыслей и чувств, что забывал об окружающем, помыслы и видения героя, казалось, передавались ему самому. Он испытывал нечто схожее с тем, что пережил Минин ночью, сам не знавший, спал он или не спал, когда «образница вся облилася светом», и он услышал голос Сергия Радонежского: «Кузьма! Иди спасать Москву» — и, вскочив от ложа, увидел чуть брезжущий рассвет.

* Как известно, могила Минина, находившаяся в Спасо-Преображенском соборе нижегородского кремля, была вместе с собором взорвана в 1929 г.

Соборный благовест волной несется.
Ночная темь колышется от звона.
Оконницы чуть слышно дребезжат,
Лампадки, догорая, чуть трепещут
Неясным блеском, и святые лики
То озарялися, то померкали,
И только разливалось по покоям
Благоуханье.

И слова, казалось, лились свободно, как тот благовест, переливались в образы, в мерцающие лики — такова удивительная пластика этой сцены.

Каждый из нас может остановиться на одном каком-нибудь воспоминании, одном моменте своей жизни и может уйти в него, открыть в нем столько заветного, дорогого для себя, столько значения, оттенков, внутреннего смысла, что одним этим можно было бы богато жить... если бы это не вытеснялось, не забивалось, не притуплялось массой других таких же впечатлений, залегающих в нас. Столько богатства слеживается в нас, засыпает психически, так и не раскрыв нам свой потенциал, свое содержание и свою эмоциональную заразительность. И можно только поражаться, сколько таится неразбуженного в нашем внутреннем опыте, какие имманентные силы, какие резервы чувства могли бы прийти в движение. Так в истории: погружение художника в какое-нибудь историческое событие открывает ему такое богатство бытия, что, кажется, жизни не хватит, чтобы исчерпать его, а ведь это всего только одно событие в потоке других событий. И можно вообразить себе, как психологически обогатили Островского Минин, события того далекого прошлого.

И во второй пьесе — «Воевода» («Сон на Волге»), опубликованной три года спустя после «Минина», в 1865 году, время действия — тот же XVII век, но это уже другой мир, другие типы. Воевода Шалыгин «задуровал на воеводстве», посадским чинит утесненье, многим от его неправды, насильства и поборов житья не стало. Богатого посадского Дубровина он бросил в тюрьму, чтоб без помехи отнять у него

красавицу жену. Сбежавший из тюрьмы Дубровин ушел в бор сырой, «загулял» с разбойниками, дожидаясь часа, когда может отмстить воеводе за обиду и вернуться в посад. Такова сюжетная история этой пьесы, названной автором комедией при, казалось бы, явной драматичности событий. Более «веселое» определение пьесы вытекало, видимо, из поэтической целостности замысла.

Как и при создании «Минина», как и при работе над другими историческими пьесами, Островский основательно изучал источники, углубленно вникал в них. Но великий художник в нем подчинял себе историка, оживотворял факты, почерпнутые из разного рода юридических актов, документов, грамот, облекал их в плоть образов и живых картин. Художник-реалист постоянно оставался верным духу времени, правде характеров. Ведь искус мелодрамы был уже в самой, не новой в литературе, ситуации: от обиды сильного притеснителя добрый молодец уходит в лес, вскоре разносится молва, что появился разбойник и наводит ужас на проезжих, на богатых, оказывается, что этот разбойник и тот молодец — одно и то же лицо, надо ждать расплаты от него притеснителю. И у Островского сбежавший из тюрьмы воеводы Роман Дубровин разносит о себе молву как о разбойнике Худояре, он не грабит людей, а следит за своим обидчиком, чтобы выбрать удобное время и явиться к нему с расплатой, приходит ночью к дому воеводы, чтобы увидеть и вызволить свою любимую жену, томящуюся в неволе. Но нет трафарета для художника, которому ведомы тайны человеческого сердца, и та же встреча «разбойника» с женой после двух лет разлуки так трогательно-правдива, как это может быть только в жизни. Молодая женщина плачет, припав к груди любимого мужа, спрашивает, где он был, и вдруг обращает внимание на его сорочку:

Суровая какая!
Такие ли я шила! Ишь-ты, ворот
Не вышитый. А я, бывало, шелком
И рукава, и ворот изошью.

Впоследствии один из авторов воспоминаний об Островском расскажет, как его поразило это замечание жены о невышитом вороте рубашки и как он не утерпел и шепнул Островскому на ухо во время репетиции «Воеводы»:

«— Какая прелестная, *поэтическая* подробность!

— Мы, батюшка, *не поэты*, — шепнул в ответ Островский. — Простые русские люди; про рубашки говорим. Какая тут поэзия!»

Но в этой «рубашке», в подобной «обыденности» подробностей, передающих правду чувства, и заключена высшая поэзия, какая только может быть в искусстве, — поэзия жизни, и она разлита, благоухает в творениях Островского.

Роман Дубровин потому и живое лицо, что он показан в полноте бытовых и духовных связей, которыми жила Древняя Русь. В лесу, среди гор и оврагов, с виднеющимися сквозь чащу стенами монастыря происходит встреча Дубровина-Худояра с пустынником. Сцену открывает пение нищими «космического» стиха о Голубиной книге, широко распространенного в старинное время и часто исполнявшегося каликами перехожими. Отчего начался белый свет, отчего началось солнце красное, отчего начались звезды чистые, зори светлые? Отчего началось, откуда взялась вся эта красота вселенной, умиляющая душу? Сколько раз, как и эти поющие духовный стих нищие, задавался за свою долгую жизнь и пустынник теми же вопросами, и они вносили умиротворение, гармонию в его душу, знавшую и борение страстей, и радости, и печали. К концу идет его земной путь, недолог день, когда убогий брат, зайдя к его пещере, на оклик не услышит ответа. И честно похоронят его, и никто не будет знать, что видел он и любил:

Но все, что видел я, что сам содеял,
Что я любил, что я покинул в мире,
Со мной в могиле быльем порастет.

Глубоко просветлен его взгляд, кроткий, видящий насквозь человека; благодатным покоем веет от старца. Эта

очистившаяся от страстей душа, живущая созерцанием уже иного мира, встречается с душой мятущейся, уязвленной насильством, неправым судом. Старец велит ему бросить грешное дело, зовет его жить с ним в пещере.

Мне жаль тебя! Мы оба беглецы.
Ты злом за зло, обидой за обиду
Греховному и суетному миру
Воздать желаешь; я молюсь о нем.

«Сердце ретивое» Дубровина-Худояра занимается обидой и злом, он еще не готов покаяться, у него «в миру есть счеты», исповедь его горяча, он дает обет старцу, как только сядет опять в посаде, прийти к нему за благословением. В короткой сценке дан целый мир древнерусской жизни в отношении ее к духовному идеалу.

Волжские впечатления нахлынули на поэта, когда он писал своего «Воеводу» — ведь действие пьесы происходит «в большом городе на Волге». У художника ничего не пропадает даром, все ждет своего срока, чтобы, когда-то замеченное, прочувствованное, возвратилось художественным словом; пришел свой час — и услышанная восемь лет назад во время путешествия по Волге песня деревенской женщины над зыбкой отозвалась в «Воеводе» колыбельной песнью старухи; тогда же увиденные пляски ожили в разгульных играх; запомнившаяся своей оригинальностью архитектура старинных волжских городов отпечатлелась в тереме с переходами, по которым воевода преследует свою жертву. Песни не умолкают в пьесе — песни сенных девушек, жены, дочери, слуг посадского, удалого молодца есаула, наладившего гусли челядинца, богатого дворянина, духовные песни нищих, песня гребцов о Волге. Вплетаются в разговоры легенды о разбойнике Кудеяре, сказки, загадки и пословицы. Живописуются народные игры, представления, обряды. И все это не экзотическое украшение, не внешний фон для действия пьесы, а тот действительный поэтический мир, в котором живут герои, люди XVII века, с которым органично связаны их психология, образ мыслей.

Какое чудо, когда рассказывающая сказку боярышне мамка Недвига задремывает и видит вышедшего из двери Домового с фонарем, настолько живого, зачаровывающего своей непередаваемо поэтической речью, что в самом деле не разобрать, во сне ли, наяву ли все это! В своих подробностях (даже в том, как сшибает Домовой со старухи шлык, то есть чепец) — это фантастическое существо неотделимо от быта, от мыслей, представлений мамки. Сцена эта наполнена и другим художественным смыслом: Домовой объясняет счастливые перемены в жизни молодой хозяйки терема, которую ожидает не постылое замужество за стариком воеводой, а «радость с милым дружком». Это фантазия, сливающаяся с действительностью, переходящая в нее, в действие пьесы. То же самое — сон воеводы, увиденный им во сне московский боярский суд, на котором разбирают челобитье на его, воеводино, самоуправство, — приобретает реальность происшедшего на самом деле события, имевшего свои последствия для воеводы (его снимают с воеводства). И совсем поразительно в том же сне воеводы, с каким размахом авторской творческой фантазии народная игра подгулявших удальцов в «Лодку» превращается в действительный выезд их ладьи в Волгу: на наших глазах исчезают сени, где на полу играют в любимое представление герои (которым «простору нет в избе, гулять охота») и, словно по мановению чудесной силы, переносятся на простор, оказываются на середине Волги, в настоящей лодке и с песней плывут, зорко всматриваясь вперед.

Народно-поэтический, фантастический сказочный мир «Воеводы» неповторим в обаянии своем. Непостоянный в отношении к Островскому, чаще несправедливо придирчивый и пристрастный в своих оценках его пьес, Тургенев на этот раз не удержался от восторженной похвалы и писал: «"Воевода" Островского меня привел в умиление. Эдаким славным, вкусным, чистым русским языком никто не писал до него!.. Какая местами пахучая, как наша русская роща летом, поэзия! Хоть бы в удивительной сцене "Домового". Ах, мастер, мастер этот бородач! Ему и книги в руки... Сильно он расшевелил во мне литературную жилу». Эта поэтичность,

лиричность фантастики выступает как достояние народной жизни, как красота ее быта, как ее духовное богатство. Грандиозная картина русской жизни XVII века развертывается перед нами, поражая широтою замысла и удивительной поэтичностью жизненных образов, оставаясь непревзойденным художественным изображением той эпохи.

Без старинных исторических и юридических документов, без «Домостроя» автор не мог бы написать и «Воеводу», но этого не видит читатель, а только верит — и совершенно справедливо — общественно-бытовой подлинности происходящего в пьесе.

Так начинал драматург и свою новую пьесу «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» — начинал с изучения исторических источников. О Смутном времени оставили свидетельства его современники, в их числе келарь Троице-Сергиева монастыря Авраамий Палицын в своем «Сказании», польские послы в своих дневниках. Островскому особенно важно было услышать живые голоса, людей, судящих о событиях по-разному, но одним уже тем необходимые ему, что они очевидцы, участники этих событий. Внимательно изучал он «Историю государства Российского» Н. М. Карамзина, захватывающую и своим художественным изложением событий, мастерским воссозданием характеров исторических лиц. Изучая «Историю государства Российского», Островский вел конспект всех событий этого времени. Иногда, впрочем, не довольствуясь изложенным, делал заметки вроде: «Справиться Собр. Гос. гр. и догов.». Само это «Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Гос. коллегии иностранных дел» было для драматурга весьма обильным источником исторических фактов, а фактам он старался быть предельно верным, видя в них основу реалистичности образа, правдивости психологии героев. Драматург настолько был основателен и добросовестен в изучении источников, что мимо его внимания не проходили и встречающиеся в текстах неточности. Так, приводя из «Иного сказания о самозванцах» фразу: «Венчание в Воскр. 30-июля», он замечает в скобках: «(Неверно. Воскр. было 29)».

Много и других материалов было изучено драматургом: «Сказания современников о Дмитрии Самозванце», «Летопись о многих мятежах», «Сказание и повесть еже соедяся в царствующем граде Москве, и о расстриге Гришке Отрепьеве и о похождениях его», «Обзор событий русской истории от кончины царя Федора Иоанновича до вступления на престол дома Романовых» С. М. Соловьева и т.д. Насколько хорошо знал Островский источники, которым и следовал в характеристике героев своих исторических пьес, показывает следующий факт. После выхода пьесы «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» в 1867 году в критике появились утверждения, что Островский несамостоятелен в своем взгляде на события эпохи и повторяет сказанное Н. И. Костомаровым в его исторических работах. Историк Н. И. Костомаров выступил с печатными разъяснениями по этому поводу: «Весною 1866 года, когда мой «Названный царь Дмитрий» еще весь не был напечатан, артист И. Ф. Горбунов читал мне эту драматическую хронику. Г. Островский никак не мог видеть в печати второй части моего сочинения, а его хроника обнимает именно те события, которые изображаются в этой второй части. В рукописи я не сообщал своего сочинения г. Островскому... Сходство... произошло оттого, что г. Островский пользовался одними и теми же источниками, какими пользовался я». Не Костомаров, конечно, повлиял на Островкого в главном направлении его замысла. По мнению Костомарова, свержение Самозванца произошло в результате узкого заговора бояр, народ же не сочувствовал им.

У Островского именно активное участие народа, московского люда в событиях дало успех заговорщикам. Народ, как и в пушкинском «Борисе Годунове», решающим образом влияет на события. Пушкин помогает нам понять положение Самозванца в той «психической среде», в которой он действует. Мы видим молодого чернеца Григория, будущего Самозванца в Чудовом монастыре, вместе со старцем Пименом. Григорий думает о старце:

Я угадать хотел, о чем он пишет?..
Ни на челе высоком, ни во взорах
Нельзя прочесть его сокрытых дум:
Все тот же вид смиренный, величавый...

Старец стоит на такой духовной высоте, что Григорию остается только приспосабливаться к нему, втайне признавая его неизмеримое превосходство. Положение Григория меняется, когда он вступает в сложную систему взаимосвязей с другими героями. Это и князь Курбский, сын «казанского героя», и католический священник, и Марина Мнишек, и уже толпа русских и поляков, к которым Григорий обращается как к «товарищам».

Психологическая среда, в которой действует герой, чрезвычайно усложняется, здесь взаимодействие уже не двух воль, а множества, «толпы», сплетенность разнородных интересов, которые используются Самозванцем в своих целях.

В «Борисе Годунове» с психологической ощутимостью передана атмосфера разрастающегося самозванства Григория по мере усложнения связей героев. Но, впрочем, тот же Самозванец такая же жертва этой психологической среды, что и всякий другой, действующий в ней. Власть его мнима, и это обнаруживается в знаменитом «народ безмолвствует», когда перед Самозванцем уже не «толпа», а народ как историческая сила.

В хронике Островского мы видим Самозванца на русском троне. Пылкий авантюрист хочет быть великодушным к своим подданным, народу, хочет милостью править, а не страхом и не казнями. Но нет у него твердой опоры под ногами. Для народа он Самозванец, самозванство выражается в самом неприятии «отеческих преданий», национальных святынь, того народа, которому навязывается он в правители. В пьесе, как нарастающая угроза, повторяется это обвинение русскими людьми правителя и его иноземного окружения в попрании традиций русской жизни. На почве недовольства «кощунством иноземцев над святыней» возникает то мощное

противодействие самозванству, которое в конце концов хоронит его. Но и Василий Шуйский, хитрый, умный, мужественный, готовый головой рисковать в заговоре против Самозванца, от плахи перешагнувший на трон, и этот ловкий, циничный, видящий во лжи орудие для «блага народного» политик также не имеет авторитета власти. Недаром хроника «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» заканчивается словами одного из бояр о Василии Шуйском: «Не царствовать ему! На трон свободный садится лишь избранник всенародный».

Островский придавал большое значение своей пьесе «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский». «Одно из самых зрелых и дорогих моих произведений — плод пятнадцатилетней опытности и долговременного изучения источников», — говорил он. «Хорошо или дурно то, что я написал, я не знаю, но, во всяком случае, это составит эпоху в моей жизни...» — писал он Некрасову в марте 1866 года.

Но ведь эта хроника — не только прекрасные стихи, это пьеса о трагическом в истории народа — о смуте, имевшей такие тяжкие последствия в русской жизни. Островский глубоко задумывался об этом, когда писал следующую хронику — «Тушино», где действие происходит в 1608 году.

Подмосковное Тушино сделалось скоплением не только польских интервентов, но еще более многочисленного отряда запорожских, донских казаков, перешедших на сторону самозванца. Сюда, в этот стан, превратившийся в город, в столицу Лжедмитрия II, «перелетали» (этих перебежчиков называли перелетами) из Москвы, из окрестных земель дворяне, бояре, дети боярские, торговые люда, подьячие, даже стольники. Патриарх слал в Тушино грамоты, которые начинались словами: «Бывшим православным христианам всякого чина, возраста и сана, теперь же не ведаем, как вас и назвать». В «Тушине» один из таких «тушинских воров», вернувшийся в Москву, говорит:

Вчера клялись и целовали крест,
А нынче в ночь бежали.

...Где есть барыш, там душу продадут.
Такой базар, такая-то торговля
Под Тушиным, в подметки не годится
Московский наш гостиный двор.

Все самое своекорыстное, низменное, холуйское «перелетало» в Тушино, предавая веру, заветы отцов и дедов, изменяя Отечеству. Только такая моральная гниль и могла быть питательной почвой для самозванца. Он этим и пользуется; как ворон, он чует падаль, летит на нее, и здесь он властелин. Особенно это обнаруживается в Смутное время, когда силы нации подорваны, распадаются вековые духовно-нравственные связи, и возникший кризис становится добычей пришлых изощренных политиканов. Лжедмитрий II — самозванец особый, не то что Лжедмитрий I, искренне убежденный, как считают некоторые историки, в своем царственном происхождении, с открытым авантюризмом и вместе с тем с великодушными порывами. Один из героев «Тушина» говорит о Лжедмитрии II:

Он вор и есть, да только вор мудреный,
С ним воевать хитро, бесовской силой
Он держится. Поди-ко повоюй!
Он знает все: и что, и как творилось
Здесь без него, и что у нас за мысли,
Кто хорошо о нем, кто дурно думал.
Из ведунов — ведун.

По словам современника, Лжедмитрий II, чтобы увеличить число своих приверженцев, «велел объявить во всех городах, чтобы крестьяне, которых господа служат Шуйскому, брали себе поместья и вотчины и женились на их дочерях». Это очень характерный «классовый» прием, много говорящий о личности самозванца.

В хронике Островского Лжедмитрий II высокопарно декларирует о себе: «Мы, царь Димитрий Иванович, московский и всей Руси, всех царств и княжеств наших самодер-

жец... вознесенный Богом над прочими царями, и, подобно Израилю, ведомый высшей силой»... Но не библейский, чтимый и христианством, патриарх Иаков (Израиль) указывает путь «тушинскому вору», у самозванца свой чисто земной, государственный замысел вознестись «над прочими царями», и русский престол для него — путь к этой цели. И когда историк Устрялов восклицал: «Поверит ли потомство? Несколько сот тысяч россиян с боярами и князьями предались иудею — вору тушинскому!» — то в этом факте можно видеть феномен не только национальной измены, но и слепоты. И эта слепота исторически оказалась очень живучей в поразительном массовом непонимании, так сказать, природы «тушинского вора», знающего все: «и что, и как творилось здесь без него, и что у нас за мысли, кто хорошо о нем, кто дурно думал». И этому «ведуну» отлично, конечно, ведомы средства разжигания войны «всех против всех».

Всего два года прошло со времени действия в предыдущей хронике, а какие потрясения в русской жизни, в душах людей! Трагедия — в гражданском расстройстве народной жизни, в разлившейся, в охватившей даже семью всеобщей смуте, когда брат на брата пошел. Это и происходит в семье мелких дворян Редриковых; они пашут землю, не имеют достатков даже на одежду, герои потому и вымышленные, что таких людей тысячи и в них-то отражается трагедия смуты. Два сына Дементия Редрикова — старший Максим и младший, совсем юный Николай, оказались в противоположных лагерях; тушинец Максим, который вместе с «ворами» врывается в город, сталкивается с Николаем и погибает от руки младшего брата как изменник. Горем отца, безотрадной картиной лютости, объявшей русскую землю, заканчивается эта драматическая хроника.

* * *

Было одно искушение у Александра Николаевича, которое он сам называл «искушением от Гедеонова». Степан Александрович Гедеонов, в 1872 году высочайше назначенный директором императорских театров, был человек умный,

высокообразованный, энергичный, да к тому же питал слабость к сочинительству. Он-то и явился искусителем Островского.

«Имею сделать вам очень щекотливое и серьезное предложение», — писал Гедеонов Островскому и прибывшему в Петербург драматургу (всю дорогу гадавшему: какое же это предложение, уж не хотят ли дать ему служебное место?) передал свою пьесу на исторический сюжет: пусть-де маститый драматург займется обработкой сюжета и придаст пьесе литературную форму. Пьеса у Гедеонова даже не имела никакого заглавия, главной героиней была безликая «плакса» царица Анна, жена Ивана Грозного. И вообще пьеса, не обратись ее автор к Островскому, так и осталась бы тысяча первой мелодрамой, как заметил один из исследователей, сравнив текст Гедеонова и переработку его Островским. Главной героиней стала Василиса Мелентьева, шестая «женище» (сожительница) Ивана Грозного. В карамзинской «Истории государства Российского» Мелентьева упоминается, но ничего не говорится о ее дальнейшей судьбе. В пятом действии пьесы, написанной целиком Островским, и раскрывается судьба этой поразившей царя красотой, незаурядным характером женщины.

По всей вероятности, Островскому была известна «выписка», приведенная в «Отчете Имп. публичной библиотеки» за 1863 год: «Шестую жену Василису Мелентьеву, которой муж был заколот опричником, царь Иоанн IV Васильевич постриг в Новегороде, мая 1577 г. за то, что заметил ”ю зрящу яро на оружничаго Ивана Девтелева, князя, коего и казни”». Кого, как не художника, может поразить эта сила, выразительность древнерусского языка, передающего с такой зримостью неодолимость женской страсти? «Зрящу яро» — для такого художника, как Островский, который так же «яро» чувствовал слово, эта подробность могла быть началом характера, тем первым движением, за которым виделась героиня. Поэтому и такой живой встает перед читателем Василиса Мелентьева — «грешница с лукавыми глазами, с манящим смехом на устах открытых», как называет ее сам царь Иван Грозный; притворно-стыдливая с царем при первом

разговоре с ним, а когда становится его наложницей, — то вызывающе смелая, то вкрадчиво ласковая, капризная с грозным повелителем, честолюбивая, властная красавица, не знающая моральных пут, снедаемая жаждой стать царицей, ради этого готовая на любое злодейство и вместе с тем глубоко любящая своего милого дружка Андрюшу Колычева (имя которого в присутствии царя она произносит во сне и тем самым губит себя и возлюбленного).

Если в прежних хрониках в центре внимания Островского были сами социально-исторические события, участие в них народных масс, то фокусом «Василисы Мелентьевой» стала семейно-бытовая драма, любовная история царя Ивана Грозного — это и было «искушением от Гедеонова», как шутливо называл драматург необычный для своих исторических пьес сюжет.

Островский не ставил здесь своей целью показать Ивана Грозного как государственного деятеля, как историческую личность, хотя черты исторического Грозного местами видны (подозрительность царя к боярской «крамоле», выставление своей «богоизбранности», дающей ему в его собственных глазах нравственное оправдание в зверствах над подданными, которые смиряются перед этими зверствами ввиду того же взгляда на царя как на помазанника Божиего).

Грозный выведен преимущественно как муж и любовник, «в любовных страстях» своих, в плотском грехе и покаянии, всегда подозрительный к «бабам», жестокий в расправе с ними, мнимо или действительно провинившимися. Этот «домашний» Иван Грозный — не на троне, а в тереме, в опочивальне жены, с которой он «тешится» и которая для него всегда остается «рабой», которую он «достойной сделал ложа» своего, — этот Иван Грозный, мастерски вылепленный Островским, входит в наше сознание как реальная личность.

Пьеса «Василиса Мелентьева» при жизни драматурга шла за двумя подписями: «А. Островский и Г******». Но так как переработанный Островским текст представлял собою уже новую пьесу, то постановка ее в театрах была единоличной заботой Александра Николаевича, как всегда, проводившего с актерами читку пьесы, репетиции, дававшего им советы.

Александр Николаевич не считал себя историком, делая отдельные замечания исторического характера по ходу действия пьесы, но какая вескость, какая чуткость и глубокое понимание эпохи, духа ее были в каждом таком замечании! Ивана Грозного актеры обычно воспринимали так, что речь его должна быть грозна и криклива, и Островскому приходилось разъяснять: личность царя Иоанна Грозного не столь грозна и криклива, сколь величественна и сдержанна в тоне своих строго повелительных слов, потому что царь, какой бы он ни был, по мнению автора «Василисы Мелентьевой», не мог «кричать» на своих подданных. «При том же Иван Четвертый был слабогрудым, — говорил Островский, — и очень нервным, отчего он часто задыхался так сильно, что при этом даже слова не мог вымолвить. Если же он и был грозен, то не в словах, не в крике на людей, а лишь в тихом могучем гневе и еще в долгом молчании, когда в его уме создавался какой-нибудь страшный приговор для подвластных ему людей, не угодивших чем-либо своему суровому царю. Вот чем он был для всех грозен, но не криком своим, которого у него почти совсем никогда не было». Александр Николаевич как бы и не желал этого, а вынужден был судить да рядить по исторической части, объясняться с актерами и актрисами, иногда попадая в неловкое положение от вопросов их и просьб. Так, однажды некая красавица актриса стала упрашивать драматурга разрешить ей в «Василисе Мелентьевой» распустить волосы в последней сцене с Грозным.

— Посмотрите, какая у меня коса, — показала она свою чуть ли не до пят косу.

— Не могу, сударыня, — отвечал Александр Николаевич с сожалением. — Мелентьева — замужняя женщина, а у русских женщин считалось позором опростоволоситься.

* * *

...В октябре 1872 года исполнялось двести лет со времени возникновения театра в России. Для Островского это была, можно сказать, кровная дата: 200-летие русского театра, кото-

рому посвятил свою жизнь. К этому юбилею Островский написал комедию «Комик XVII столетия» — пьесу веселую, жизнерадостную, предназначенную для праздничного спектакля, насыщенную дорогими для драматурга мыслями о русском театре. Молодой писец Посольского приказа Яков Кочетов обладает даром «веселого слова», он может так живо и комично представить, как ему за его веселонравие достается от строгого отца, что «животики со смеху надорвешь» (невольно вспоминается друг драматурга, молодой Иван Горбунов с его устными рассказами из народного быта). Вместе с другими молодыми подьячими Яков «взят в службу» в актерскую труппу, его неодолимо тянет к веселому, радостному «действу»:

Да так-то хорошо,
Что, кажется, кабы не грех великий,
Не страх отца... Вот так тебя и тянет,
Мерещится и ночью.

Яков страшится, что его как «скомороха» проклянет отец («убьет — не страшно; проклятия боюсь»), и хочет бежать от «бесовской потехи». Но в конце концов с согласия сурового отца, уразумевшего, что «действам» сын и другие молодые подьячие обучаются по царскому веленью и нет в этом ничего «бесовского», Яков становится комедиантом. Один из героев пьесы говорит о призвании комика, театра:

...порочное и злое
Смешным казать, давать на посмеянье,
Величия родной земли героев
Восхваливать и честно и похвально;
Но больше честь, достойно большей славы
Учить людей, изображая нравы.

Это, конечно, мысли самого Островского, видевшего в театре важное средство общественного, нравственного воздействия на людей.

Были две книги в библиотеке Александра Николаевича, с которыми он не разлучался во время работы над «Комиком XVII столетия», по которым справлялся об исторических фактах, в которых почерпал материал и поэзию быта для своей пьесы. Это были книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских царей XVI—XVII ст.» и «Домашний быт русских цариц в XVI—XVII ст.». Так богаты эти книги живыми картинами обычаев и нравов той эпохи, так явственно слышатся голоса тогдашних людей — от царя и бояр до подьячих и «мизинных», что по прочтении некоторых мест, вроде челобитья подьячего Василия Клушина, текст старинного документа, изменяясь немного в порядке слов, выстраивался под рукой драматурга как бы сам собой в стихотворный ряд и направлялся прямехонько в пьесу. Вкус к древнерусскому слову, к его благолепию и крепости делали стихотворный язык Островского свободным, непринужденным, способным без насилия, иногда лишь с малыми изменениями, вбирать в себя речения старинных документов.

Александр Николаевич чтил и высоко уважал самого Ивана Егоровича Забелина, замечательного историка и археолога, автора «Истории гор. Москвы», множества других выдающихся трудов. Забелин был такой же поэт Москвы, как Островский. Он умел видеть поэзию Москвы в кремлевских антиках, в остатках мостовых, которые находили археологи, в чашах, ендовах (сосудах для меда), рундуках (старинных сундуках) и т.д. Забелин сам, как археолог докапывался до «белых камней» Дмитрия Донского — до фрагментов Кремля белокаменного, откуда пошла Москва белокаменная при Дмитрии Донском — белые стены Кремля как мощного оборонительного сооружения послужили основанием для освобождения Руси от иноземного ига. Не было такого московского храма, который бы не исследовал и не описал Забелин; не было такого терема, сохранившегося или исчезнувшего, о котором бы он не написал. Его научная дотошность и добросовестность поражали знатоков. Забелин был председателем Общества истории и древностей, одним из создателей и фактических руководителей Московского Исторического музея.

Островский не только пользовался книгами Забелина как историческим источником, но и обращался к ученому непосредственно за советами. Думая о постановке комедии «Комик XVII столетия», он писал своему другу, архивисту Н. А. Дубровскому: «Сходи к И. Е. Забелину и поклонись ему в ноги (а после я тебе поклонюсь), и проси его вот о чем: чтобы он начертил тебе на бумажке постановку декораций для Постельного крыльца, так, чтобы та часть его, которая выходила к нежилым покоям, приходилась к авансцене, далее, чтоб видна была каменная преграда, место за преградой и ход на государев верх». Дубровский, выполнив поручение, отвечал Александру Николаевичу: «Забелин с полным удовольствием... взялся исполнить твою просьбу, прибавив при этом, что он всегда рад содействовать тебе во всем, и чем только может быть полезным... Он хочет составить тебе верный и подробный план местности старого дворца...»

Вскоре после этого Островский сам впервые навестил Забелина. Иван Егорович был на три года старше Александра Николаевича, осанка довольственная, лицо купца или старовера, нос «картошкой», брови густые — вразлет, густая же седая борода «лопатой», расчесанная, волевые губы. На первый взгляд это был суровый, не расположенный к общению старик, но, как только Островский заговорил, неприступное, казалось, лицо хозяина осветилось широкой, добродушной улыбкой, и гостю сделалось покойно и приятно. «Приди ко мне, брате, в Москову», — продекламировал Островский на особый летописный лад, по-доброму глядя на хозяина. «Буди, буди, брате, ко мне на Москову», — ответствовал таким же тоном Иван Егорович, и оба они рассмеялись. Произнесенные ими фразы, как известно, принадлежали князю Юрию Долгорукому. Они были первым дошедшим до нас в двух вариантах летописным поминанием о Москве. Этими словами и открыл Забелин свою «Историю гор. Москвы».

Хозяин и гость с первых же слов легко почувствовали себя друг с другом, как будто давно уже знакомы, что, впрочем, и было так на самом деле: встретились два человека, заочно ценившие друг друга, близкие по духу, по мироощу-

щению, одинаково любящие прошлое своего народа. Они и заговорили о том, что дорого было обоим, — запросто и как будто не впервые: конечно же, о Москве, о достопримечательностях ее, о Кремле, о тех людях, которые проходили века назад по кремлевским мостовым, о Спасских воротах; о любимом Замоскворечье, которое каждый из них по-своему воспел; о Москве-реке, которую народное поэтическое предание окрестило «Смородиною», так как берега ее некогда все были в кустах дикой смородины. Забелин, знавший в совершенстве народное искусство, утверждал его самобытные, как он выражался, «своенародныя» черты, и сейчас он с увлечением говорил об этом, вызывая явное сочувствие в собеседнике.

«Вы, Александр Николаевич, своими историческими пиесами сделали в отечественном художестве явственный поворот к воспроизведению старинных русских форм, — мерно, неторопливо говорил Иван Егорович. — Старинная русская форма в художничестве будет приобретать сочувствие общества и еще более сочувствие самих художников. Этому есть, видимо, своя веская причина, ведь область искусства всегда и везде была самым чутким выразителем зреющих и руководящих идей времени».

Забелин высказал глубокие и меткие замечания об исторических пьесах Островского. Александру Николаевичу было лестно слышать такое мнение о себе глубокоуважаемого им историка, но и чуточку неловко, и он перебил хозяина:

— Вы хвалите моего «Воеводу», Иван Егорович, а ведь мне изрядно досталось за него от «Русского слова», от Писарева, Досталось за Домового, за сон воеводы: куда, мол, смотрели те, кто печатал «Воеводу», — меня уж в расчет не берет, как безнадежно отсталого, погрязшего в народной фантастике и прочих народных «суевериях»...

Целая треть суток незаметно пролетела за разговором, и, когда стали прощаться, было уже два часа ночи.

Александр Николаевич и Иван Егорович так сблизились, что ходили теперь друг к другу запросто, по-родственному. В апреле 1873 года Н. А. Дубровский пишет Островскому: «Вчера я был у Забелина; он на днях будет у тебя, конечно, поутру... И. Е. Забелин, так же как и ты, весь пост корпел над

своей работой. Я рассказывал ему о содержании новой твоей пьесы («Снегурочка». — *М. Л.*), которая его очень заинтересовала».

Была и у драматурга, и у историка еще одна общая страсть, их объединявшая, — к старой книге. Эта страсть чаще всего приводила их на Сухаревку.

По воскресеньям площадь около Сухаревской башни, напротив великолепного дворца Шереметевской больницы, кипела торгующим и покупающим людом, сходившимся, съезжавшимся сюда как на праздник не только со всей Москвы, но и из пригорода, провинции. На этом торге, разношерстном, шумном, колышущемся морем голов, было одно место, считавшееся аристократической частью Сухаревки: здесь и давки той не было, и публика почтеннее: из коллекционеров, собирателей библиотек. В этом месте располагались букинисты и антиквары («старьевщики»). Сюда со всех концов Москвы стекались все последние книжные находки, букинисты и покупатели хорошо знали друг друга и не спорили о ценах. Хозяин палатки, куда заходил Забелин, выставлял перед почетным покупателем гору книг, приготовленных лично для него, и был неподдельно доволен, когда знаменитый ученый отбирал нужное ему и благодарил. Не проходил Забелин и мимо разваленных на рогожах книг, около палаток, нагибался, рылся, листал. Иногда останавливал антиквара-«барахольщика», несшего тяжелый мешок, шел с ним в амбар, где были свалены ветхие издания, рукописи. А что, если где-то погребены бесценные сокровища старинного художества наподобие «Слова о полку Игореве», а мы так и не узнаем об этом?..

Хорошо был знаком Островский и с историком Николаем Ивановичем Костомаровым. С. В. Максимов в своих воспоминаниях об Островском воспроизвел любопытнейшую беседу драматурга и историка на одном из «вторников» Костомарова: «После ответа на вопрос Николая Ивановича, где автор «Минина» нашел известие о том, что этот нижегородский гражданин покупал плохих лошадей, но потом в короткое время они у него так отъедались, что сами хозяева их не узнавали, — ответа, предъявившего новые доказательства

тому, что, отдаваясь известному изучению, Александр Николаевич доходил до корня вдумчиво и основательно, — коснулась речь отношений Москвы к Польше, московских посольств и переговоров. По ведомым, живым образцам, еще уцелевшим в современной Москве в среде именитого купечества, и с тем художественным проникновением, которое составляло секрет Островского, он развернул картину в художественно-комическом виде свидания наших долгополых доморощенных политиков, несговорчивых, грубых и упрямых перед надменными блестящими кунтушами с таким мастерством, что поразил всех. Болезненно-нервный Костомаров увлекся так, что вскакивал с места, бегал по комнате, хохотал до упаду и топал ногами».

Известно, что Костомаров, высоко ценя исторические пьесы Островского, обращал внимание драматурга на некоторые исторические неточности, и эти огрехи Александр Николаевич тотчас же устранял.

Но это были не те дружественные отношения, что связывали Островского с Забелиным, единомыслия не было. Костомаров мог подсказать, например, что не в характере Марины Мнишек слова: «перерезать бояр», ибо она не была кровожадною и не могла так сказать, как говорит в пьесе Островского (с чем драматург согласился и снял эти слова Марины). Но в вопросах не частных, а составлявших пафос исторических пьес Островского. Костомаров уже не мог быть советчиком. Вспомним, как разошлись автор «Истории Смутного времени» и создатель пьесы «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский» в толковании свержения Самозванца: Костомаров считал это делом узкого заговора бояр, в то время как Островский признал решающим участие народа.

Кроме того, была у Николая Ивановича одна слабость, которая никак не могла вызвать сочувствие у Островского, вообще-то снисходительного к слабостям ближних своих. Костомаров мог увлеченно доказывать допущенную кем-то биографическую неточность в отношении малоизвестного лица и в то же время иронизировать над Дмитрием Донским. Это в глазах некоторых его почитателей было и либерально, и смело. Что ж, «развенчанные», не шибко «прогрессивные»

предки не могли подать голоса о себе и что-либо возразить профессору. Николай Иванович, человек нервно-возбужденный, нередко «топал ногами» и в своих исторических статьях и книгах, и Островский, все замечавший, мог опасаться и за себя, как бы и ему не досталось за консерватизм, за некоторые его ретроградские выходки, вроде того, что его дядя по отцу Г. Ф. Островский оказался в родственных отношениях с самим Филаретом, митрополитом московским. Но в подобных случаях его всегда спасало благодушие, и, зная о слабостях Костомарова как ученого, Александр Николаевич относил их к делу его совести, и это не сказывалось на их беседах.

Исторические интересы Островского связывали его не только с деятелями науки, но и художниками. Последние угадывали в драматурге исторического живописца, передающего в ярких образах колорит и дух давней эпохи. Известный скульптор и художник-график Михаил Осипович Микешин, создатель знаменитого монументального памятника в Новгороде «Тысячелетие России», писал Александру Николаевичу, обращаясь к нему с просьбой помочь сюжетами для народных картинок: «Ты знаток и народа, и истории эпоса... в резервуаре твоего таланта я предполагаю непочатый угол мыслей на эти темы, вот и раскошелься».

Микешин был на тринадцать лет моложе Островского и подписывал свои письма к нему «Твой Миша Микешин». Приезжая из Петербурга в Москву, он всегда навещал Александра Николаевича, советовался с ним о темах для народных картинок, просил просмотреть тексты; как автор историко-скульптурных работ, хорошо подготовленный с археологической стороны в воссоздании русских одежд и вооружений, он мог бы быть полезен императорским театрам, если бы ему было поручено рисовать костюмы и самые типы исторических пьес, и просит Островского дать ему «благой совет»: с чего начать хлопотать? Микешин просит «родительского согласия» Островского разрешить ему иллюстрировать что-либо из его произведений: «в русском легендарном, сказочном или фантастическом пошибе». Работая над проектом очередного памятника, скульптор хочет знать мнение Островского о выборе исторических личностей для этого

памятника, предлагает «оспорить или одобрить выбор, исключить или пополнить другими».

...Ежегодно в весеннюю праздничную ночь вместе с другими писателями и артистами Островский приходил в Кремль к Успенскому собору. Сюда же постоянно являлся вместе с другими художниками Василий Иванович Суриков. Здесь Островский и Суриков объединялись в едином чувстве с тысячами людей, заполнявших не только собор, но и огромную Соборную площадь. Чувство народной общности, отношение к народу как к собирательному историческому лицу были одинаково свойственны как драматургу, так и художнику и составляли содержание их исторических произведений. Судьбы народные нашли гениальное отражение в думах, в подвигах и страданиях героев Сурикова, в его монументальных картинах «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин».

Еще при жизни драматурга его пьесы привлекали художников своим историческим колоритом, поэтичностью. Великолепные декорации и костюмы к спектаклю «Снегурочка» сделал А. М. Васнецов. Впоследствии исполнилось то, о чем говорил драматургу Забелин, — произошел поворот русских художников к «воспроизведению старинных русских форм». То, чем поразил читателя и через спектакли зрителя Островский, воссоздав поэтически обобщенный, самобытный образ национальной жизни глубокого прошлого — в фольклорном, народно-сказочном и вместе с тем художнически-личном, интимном преломлении, — явилось художественным преддверием творчества таких живописцев, как В. М. Васнецов, М. А. Врубель, Б. М. Кустодиев, Н. К. Рерих. Словесная златотканость пьес Островского, их языковая парча с удивительной осязаемостью передают красоту старинного быта, дают почти материальное ощущение вещей, предметов, одежды героев, их движений.

Один из современников вспоминал, как Островский при работе над своими историческими пьесами «изучал внимательно быт, привычки, манеры, язык высшего духовенства». «Чтобы составить понятие, ну хотя бы приблизительное, говаривал он, как ходили, говорили и смотрели наши цари, вы

понаблюдайте архиереев. Они ведь тоже цари у себя в епархии, у иных двор целый. Одежда широкая, красивая, и носить они ее умеют. Каждое движение плавное, неторопливое. Говорят медлительно, важно, с осознанием своего достоинства... Смотрят величаво, спокойно, и мир-то душевный у них немного чем отличается от прежнего мировоззрения».

Без знания прошлого своего народа человек слеп, так же как без этого знания немыслимо глубокое творчество писателя. Историческими были у Островского не только пьесы о прошлом. Историей становилось все происходившее на его глазах — невиданные для России перемены, заставлявшие с тревогой думать о будущем страны, народа.

«НАЙТИ В ЧЕЛОВЕКЕ ЧЕЛОВЕКА»

В своей книге «В мире Достоевского» Юрий Селезнев «хочет понять и осмыслить» творчество и личность писателя в их единстве, целостности. Он предлагает читателю «не итог познания, но путь к нему». Это и скромный, и разумный выбор: нельзя, в самом деле, объять необъятное. Образ своим содержанием неизмеримо богаче силлогизма, мысли, и тем более это можно отнести к образному миру Достоевского, который нелепо было бы пытаться исчерпать какими-то формулами, умозаключениями. И совсем было бы странно делать конечные, застывшие выводы из того вечно живого бытия, которое представляют собою творения великого художника. Предлагая читателю пройти с ним «по пути, пройденному Достоевским», Юрий Селезнев уточняет, так сказать, свою роль при этом: он понимает, как неуместно «поучать гениев прошлого», того-то не знавших, того-то не усвоивших, того-то не понимавших, до того-то не доросших и т.д., в чем их поучают зачастую самодовольные авторы каких-нибудь литературоведческих монографий. Нельзя понять, нельзя постигнуть мира великого художника, ограничиваясь механическим накладыванием на этот мир умственных, теоретических построений, не войдя в самое «состоя-

ние» художника, в особенности, логику его мироотношения, идей. Только тогда, изнутри можно понять этот мир, его побудительные причины и следствия, его место в искусстве и в самой истории, только тогда он и будет доступен исторической оценке, объективной, разумеется. Такой точки зрения на Достоевского и держится автор данной книги. И это приносит свои плоды. Прежде всего, неизбежно богаче, содержательнее предстает «сам мир Достоевского», нередко в непосредственном выражении, видении самого писателя, а не через тусклые, серые литературоведческие очки. С достаточной полнотой дается мир идей Достоевского, его социально-общественных, религиозных, исторических взглядов, верований. Это не значит, что автор не выказывает своего отношения к этим взглядам. Оно есть, это отношение, и проявляется иногда с публицистической прямотой (как, например, в секулярной оценке Библии, в отличие от религиозной самого Достоевского). Своя оценочность есть уже в выборе проблем, подлежащих разбору, исследованию. В работе Юрия Селезнева существует пласт, который можно назвать в лучшем смысле слова литературоведением, имея в виду свежесть, четкость отдельных наблюдений и серьезность, основательность выводов. Вот одно из таких наблюдений: «Трагедия любви Андрея Болконского и Наташи и заключалась даже в самом различии их мироощущений, в том числе и во временном аспекте. Князь Андрей живет в ”перспективном” времени. Для него каждое настоящее мгновение важно лишь постольку, поскольку оно служит его будущему, его мечте о своем Тулоне. Для Наташи такие мгновения важны сами по себе, как неповторимые. Для Андрея год разлуки — это только период его движения к будущему. Для Наташи — невозвратимая, навсегда утраченная вечность».

Это всего только частность о героях «Войны и мира», но говорящая несравненно больше о них, чем всякие эмпирические псевдоученые характеристики. И вместе с тем объединяющая частности «концептуальность», которой отмечены все главы и в целом вся книга. Назовем хотя бы главу «Лики единого мира» с характерной для автора идеологичностью

взгляда, крупностью сопоставлений и заключений. Речь идет о Достоевском и Толстом, их «взаимоотталкивании» и «взаимопритяжении», о разности их миров и двуединстве. Об этом в литературе писали много и с разных точек зрения. Справедливо делая оговорку, что миры таких гениев, как Толстой и Достоевский, не могут быть сводимы к однородности, Ю. Селезнев выделяет — и так же справедливо — мысль о двух преимущественных типах мирочувствования, воплотившихся в них: эпического, «гомеровского» в Толстом, и пророческого, «апокалиптического» в Достоевском. Бытие «Войны и мира» имеет совсем иные законы, чем бытие «Преступления и наказания», у обоих творцов свое художественное видение, своя природа психологии, свой метод познания мира. Критик отчетливо видит резкое различие в мироотношении двух великих художников, умеет об этом сказать кратко и емко: «Толстой лепит свой мир, как бы "не мудрствуя лукаво", по образу и подобию целого, которое открыто ему все и сразу, как нечто данное. У Достоевского же мир — это нечто прозреваемое, целое которого ему, как автору, еще предстоит открывать». Но, хорошо сознавая особость каждого из этих двух творений, автор книги хочет доискаться до того общего, что в них есть, и убедительно говорит об этом общем. «От Наполеона — войны, от его сознания — к народу-миру — таков путь нравственных исканий» Андрея Болконского в «Войне и мире». «И этот путь, — продолжает критик, — идет через страдание... Понятие, бывшее одной из капитальнейших идей Достоевского. Путь от наполеонизма к духовному воскрешению Раскольникова тоже пролег через страдание героя, связанное опять-таки с его приобщением ко всеобщему». Своеобычные, даже полярные, хотя и в чем-то родственные пути двух великих художников, по словам критика, говорят о «бесконечности возможностей художественного постижения действительности и мира в его целом. Толстой и Достоевский — это и есть «своеобразные, взаимообусловленные духовные полюсы единого целого», того целого, выражением которого в истории для Достоевского был русский народ, а в литературе — Пушкин.

Пушкин и Достоевский — проблема давняя. Были попытки противопоставить Достоевского как явление «болезненное» — «духовно здоровому» Пушкину, сложности первого — классическую простоту второго и т.д. Отлучали от Пушкина художника, который, начиная с «Бедных людей» и кончая предсмертной знаменитой речью о гениальном поэте, не скрывал своего благоговения перед ним, видел в нем идеал, считал, что Пушкин был «началом всего, что теперь есть у нас». Но ведь и самого Пушкина отлучали в двадцатых годах от русского народа, именовали его поэтом «помещичье-дворянским». Время все поставило на свои места, поглотило недостойную шумиху вокруг Пушкина и только усилило его свет да еще наше удивление перед чудом до сих пор неразгаданного пушкинского гения. И тем прозорливее оказался Достоевский в его отношении к Пушкину, увидев в нем самое полное явление нашей национальной жизни, выражение национальных качеств, указующих на всемирно-человеческое назначение русского человека. Значение Пушкина в жизни и творчестве Достоевского автор книги рассматривает в самых существенных чертах. Он не делает открытия, выводя свойства художественного взгляда, поэтики Достоевского из пушкинских «Повестей Белкина» (прежде всего «Выстрела», «Гробовщика», «Станционного смотрителя») и особенно «Пиковой дамы» и «Египетских ночей». Но эта известная связь, творческая преемственность уточняется и обосновывается в книге целым рядом конкретных содержательных замечаний, исследовательских находок и подробностей. Таков, например, сближающий обоих художников разбор «сюжетостроения» в их произведениях, когда «незавершенность, открытость сюжетов в прошлое и будущее» создает ту художественную, психологическую перспективу, которая заставляет читателя соучаствовать в происходящем, направляет его сознание «на самостоятельное открытие ответов». Подобные наблюдения для автора важны не столько сами по себе, сколько как частности, подчиненные целому. Это целое стоит перед ним, куда бы не уклонялась его мысль, в какие бы подробности он не вдавался. Приведу одно место,

где ясно виден этот путь к целому через, казалось бы, противоположности: «Уже в фантастичности пушкинских сюжетов с их *вдруг*, с их новым, принципиально не завершенным типом героя нашло отражение чувство рвущейся связи времен. Гармония художественного сознания Пушкина приходила в едва заметное (у него) противоречие с принципами сюжетных построений, с цепью их катастрофических *вдруг*. Но это неуловимое противоречие в гармонии художественного мира Пушкина выросло в "антиномичный" принцип сюжетно-композиционных построений романов Достоевского.

У Пушкина его противоречия, элементы дисгармонии еще не выступают на поверхность, они как бы незримы, подчинены всевластности его гармонического целого. У Достоевского дисгармония на поверхности, она прежде всего бросается в глаза. Но эта "кричащая дисгармония", неустойчивость, противоречивость, отраженная даже в его стиле, — являет собой лишь текущий, временной план сложного идейно-художественного целого его произведений.

Достоевский ищет возможности видеть мир как целое не с точки зрения текущего, но под таким углом, чтобы это само текущее было бы включено в более общее, осмыслено как бы с точки зрения самого этого целого...»

Так сложная взаимосвязь с Пушкиным, с его «элементами дисгармонии» разрешается выходом в то целое, что составляет внутренний мир Достоевского и в чем он сходится, при всей кажущейся несходности, даже полярности с Пушкиным.

Для Ю. Селезнева проблема: «Пушкин — Достоевский» не литературоведческая, а скорее мировоззренческая (недаром он замечает, что Пушкин для Достоевского идеал не только художественный, но и идеологический), принципиально важная в свете общего пафоса его книги, утверждения народных начал. Ибо Пушкин — это «наше все», это русский народ, и не только современный ему русский народ, но и «пророчество и указание» (Достоевский) на его будущее. Автор книги видит в Пушкине и ту центробежную силу, которая удерживает цельность и единство его мира и этим самым делает его особенно близким Достоевскому.

Селезнев прекрасно понимает, как сложно и противоречиво творчество гениального русского писателя. Об этом он говорит не раз и всегда с тем знанием дела, которое доступно только знатоку Достоевского. Но не эти бездны противоречий, антиномий(от социально-общественных до философских, онтологических) манят к себе автора данной книги. Другое, более мощное, пожалуй, духовно-психологическое поле Достоевского притягивает его к себе — это идеал писателя, та твердь положительных ценностей, на которой, как на основании, зиждется его мир. Чем все-таки дорог нам Достоевский, на что в нем мы можем опереться, на какие положительные начала? Ведь нельзя же, в самом деле, полагать, что писатель, покоривший мир своими художественными открытиями, оказывающий все более глубокое влияние на современную мысль, мог это сделать немощью «нигилятины», как презрительно называл сам Достоевский все разлагающее, отрицательное в искусстве и в самой действительности. Двумя факторами можно объяснить мировое значение Достоевского: ролью в современной мировой истории русского народа, выразителем бытия которого он был и значение которого в мировых событиях, начиная с Октябрьской революции, хотят понять и разгадать наиболее мыслящие люди на Западе (очевидно, роль русского народа, его исторический путь не следует преуменьшать и для будущих судеб человечества). И второе, что ставит Достоевского в центр мирового влияния, — это его позиция в борьбе добра и зла, веры и безверия, в той борьбе, которая сейчас стала главной проблемой (социально-нравственной, духовной) для мира. И эта позиция, при всей страстности борьбы, вполне определенна и устойчива. Достоевский не гармонизирует действительность, общественные отношения, самую психологию, духовную жизнь человека. Он сам говорил о себе, что как «дитя века» пережил и страшной силы сомнения, и отрицания, что «через большое горнило сомнений моя осанна прошла». И тем более поучительна, глубока эта прошедшая через сомнения, поистине выстраданная вера Достоевского в идеал, в добро, в способность человека противостоять силам зла, «переродиться к лучшему», по словам самого писателя.

На этих деятельных, положительных началах мира Достоевского и сосредоточено преимущественное внимание автора книги. В самой уже личности писателя он видит те черты, которые живо свидетельствуют о его доверии к людям, о вере в человека. Таким и был Достоевский, с его верой, доходящей до наивности, в тех людей, которые могли обмануть, предать его (даже и из так называемых литературных друзей), вызывая в нем не озлобление и злопамятность, а разве лишь недоумение: как может быть такое? Жена его, Анна Григорьевна, говорила о нем: «Он слишком верил в людскую честность». Мы можем добавить, что он «слишком верил» и в возможность жизни на земле без зла, как о реальном будущем говорил о том времени, когда люди будут жить в духе братства и любви. И это говорил человек, который как никто другой чувствовал всю бездну зла, в которой лежит мир, человечество. Достоевский мог казаться и действительно казался слишком добродушным тем из своих знакомых, вроде Н. Страхова, которые считали себя достаточно трезвомыслящими, чтобы поддаваться иллюзии веры в человеческую природу, необратимо извращенную в их глазах. «Превосходительную» иронию вызвала вера Достоевского в возможность человеческого братства на земле в К. Леонтьеве, этом мрачном «апокалиптике», предпочитавшем видеть смысл истории в ее конце, «страшном суде», а не в торжестве любви на земле. Но вот уж поистине наивно было бы думать, что Достоевский менее глубоко, чем К. Леонтьев, понимал, какие пропасти зла разделяют действительность и всякую мечту о более совершенном человечестве, и если такой ни с кем не сравнимый тайновидец зла, как Достоевский, так страстно мечтал, с таким убеждением говорил о реальности в будущем братских отношений между людьми на земле, — то какая, значит, жажда идеала жила в нем, какая глубокая созидательная сила была двигателем его творений и самой жизни. Да об этом же и говорит, кстати, такой факт, мимо которого обычно проходят пишущие о Достоевском. Мало у кого из русских, да и мировых великих художников столько положительных героев, по-человечески

открытых, прямодушных и добрых: полковник Рославлев в «Селе Степанчикове», мать Раскольникова, сестра его Дуня, Разумихин в «Преступлении и наказании»; Шатов в «Бесах», не говоря уже о Мышкине (на созидание которого художник положил весь свой созидательный гений и в этом видел главную свою цель), не говоря уже о старце Зосиме, Алеше Карамазове и др. В самом стремлении Достоевского создать положительный тип, выразить свой идеал человека, как он его понимал, взгляд на это как на высшую задачу искусства — в этом была неколебимая позиция великого художника, которой он оставался верным в течение всей своей жизни.

И понятно, что автор книги «В мире Достоевского» хочет постичь именно эти фундаментальные ценности в творчестве писателя, утверждающие созидательные, высшие нравственные связи между людьми, ибо, как говорил Пушкин, «нет истины, где нет любви». Вокруг Достоевского до сих пор кипит борьба, и если говорить об одной из главных бездн, разделяющих взгляды, — то это будет отношение к человеку, к самой идее его: что есть человек, что он такое в своих возможностях, в задатках, образ ли это чего-то высшего, духовно и нравственно великого, причастного к бесконечности совершенствования, или это всего лишь животное с низменными инстинктами, в лучшем случае призванное быть слепым орудием в руках сильных мира сего. И здесь Достоевский противостоит как идее наполеонизма, для которого человек — не самоценная личность, а лишь средство, так и всякому духовному декадансу с его немощным омерзением к человеку.

Ни один из великих писателей XIX века не вызвал столько разноречивых толкований, как Достоевский, и никто, как он, не подвергся такому извращению. Ю. Селезнев показывает, как в «снижении» гения, в крайнем упрощении, вульгаризации, искажении творчества, самой личности художника сходятся самые разнообразные критики, от Фрейда и его сторонников, сводящих тайну творений писателя к «сексу»; западных приверженцев «антиморализма» Ницше, видящих в Достоевском родственные себе «сатанинские глу-

бины», до нынешних исследователей личности писателя с их «аксиомой» о «двойничестве» Достоевского и т.д. Но, как об этом убедительно говорит Ю. Селезнев, если фрейдистская «отмычка» гения слишком уж груба и вульгарна и признается даже самим «отцом психоанализа» Фрейдом несостоятельной «перед проблемой писательского творчества», то более изощренна «демонология» в отношении Достоевского. Ю. Селезнев подчеркивает, что идеал Достоевского был «божественный идеал», и этот идеал, как бы к нему ни относиться, прямо противоположен «сатанизму». И вообще в русской литературе разделение этих двух понятий, сущностей неизменно четкое и бесспорное (как остроумно замечает автор книги: «так, скажем, пушкинское: ”И Бога глас ко мне воззвал” — никак невозможно заменить ”синонимом”: ”И черта глас...”»). Поэтому только удивление могло бы вызвать приписывание Достоевскому, так сказать, «божественно-сатанинского» плюрализма, если бы не вполне определенный смысл всего этого, о чем Ю. Селезнев говорит так: «Нужно сказать, что декадентские попытки переоценки ценностей именно с атеизмом-то ничего общего не имели. Просто древнее понятие Бог было постепенно подменено другим символом веры и почитания — Сатаной. Постепенно и сатанинские атрибуты стали провозглашаться истинными ценностями. Добро перемешалось со злом, болезни духа сделались синонимом гениальности, разрушительство стало выглядеть творчеством, все было объявлено относительным». Поскольку все относительно, то и Достоевского можно считать (что и делают его модернистские толкователи) стоящим по ту сторону добра и зла, не видящим будто бы различия между ними. Такая софистика, почитающая решительно все относительным в мире, выдает себя даже за некое ультрасовременное научное сознание, отметающее, как рутину, косность, самую мысль о возможности незыблемых, в том числе этических ценностей. И эта релятивность переносится на сферы не только нравственные, но и художественно-эстетические, когда относительным, одинаково значимым объявляется все в искусстве — и реализм, и декаданс, Достоевский и Кафка,

Толстой и Джойс, Рублев и Кэте Кольвиц и т.д. Можно наблюдать в современном советском литературоведении, как вчерашних еще модернистов (по характеристике того же литературоведения) вроде Пруста, Кафки и т.д. ныне ставят уже в один ряд с самыми выдающимися художниками-реалистами XX столетия.

Таким образом, релятивность, обращенная к Достоевскому, имеет далеко не академический интерес, так же как и затрагивает не только литературу, но и самые нравственные основы жизни общества, народа. И все в Достоевском выходит за пределы частного, личного, даже и часть его, которая вместе с тем есть и часть самого народа, породившего его. Ю. Селезнев прекрасно это понимает и ревниво готов оберегать писателя от всяких наветов, искажений его облика. Полемика его, нисколько не снижаясь в аргументации, доказательствах, вместе с тем очень «личная», активная в проявлении своего отношения к предмету разговора, к критикам Достоевского. У автора, хорошо знающего литературу о Достоевском, и хорошая память на прошлое, на все написанное о Достоевском («ничто не забыто»), на всякого рода прокурорские приговоры в адрес великого писателя, в том числе и тех, кто ныне превозносит его.

Остановимся на полемике Ю. Селезнева с автором книги «Личность Достоевского» Б. Бурсовым о «двойничестве» великого писателя. Это место важно как пример позитивной, я бы сказал, созидательной полемики автора и в то же время для понимания его «концепции личности» писателя. Говоря о «двойничестве» Достоевского, Бурсов ничего нового, собственно, не открывает, все это говорилось задолго до него. Но он хочет придать этому «двойничеству» всеобъемлющее значение в жизни и творчестве Достоевского и на этом строит «пафос» своей книги. Все в Достоевском должно обличить его «двойничество», по мнению Бурсова, — и факты личной жизни писателя, и отношение к нему современников, смесь у него «правды с неправдой», «жестокость», «самомнение», «неблагообразность» его, «легенды», порочащие его («нет дыма без огня»), «порывы к обогащению», его

герои-двойники и т.д. Такова личность Достоевского, таков гений-художник, жаждущий нажиться за счет литературы и карточной игры. Бурсов пишет: «Все беды Достоевского из-за денег. В погоне за деньгами он шел в казино. Обычно — проигрывал. И садился за писание, как игрок». Игрок в творчестве. И справедливо то заключение, которое делает Ю. Селезнев о методе исследователя: «Писатель, давая характеристику своему игроку, пишет: "Он — игрок, и не просто игрок... Он поэт в своем роде...". Для Достоевского даже его игрок — поэт, для Б. Бурсова даже Достоевский — игрок».

Но как же быть с «двойничеством» у Достоевского? У Ю. Селезнева на это свой ответ, с которым трудно не согласиться. Показывая несообразность отождествления писателя с его героями-«двойниками» (ведь тогда личность любого классика может быть сведена к любому, такого же рода, изображенному им герою), автор высказывается о «двойственности» самого Достоевского. «Критики Достоевского любят приводить слова самого писателя о его "двойственности". Но при этом как бы забывается, что эти слова относятся не только к нему одному, для Достоевского это "черта, свойственная человеческой природе вообще", и дана она как "сильное сознание, потребность самоотчета и присутствия в природе... потребности нравственного долга" к самому себе и к человечеству. Вот что значит эта двойственность. Гении тем ведь и отличаются от других людей, и конечно же, от своих критиков, что обладают особой глубиной самосознания — "самоотчета", открывающего им то в них, что свойственно вообще человеческой природе и что заставляет их обостренно чувствовать "потребность нравственного долга к самому себе и к человечеству"». Достоевский потому и говорил (не боясь наветов и современных ему, и будущих своих критиков) о своей «двойственности», что как тайновидцу человеческой души она открылась ему в человеческой природе вообще, и эта всеобщность была так для него очевидна, что исключала, конечно же, заботу, так сказать, о личном престиже. Это ведь черта всех великих людей — откровенность духа. Можно указать на Паскаля, который

в своих «Мыслях» обнажает до таких глубин природу человеческого сознания, духа, живущего в состоянии постоянной какой-то зыбкости, неустойчивости, не только «двойственности», но вообще разбросанности, что, казалось бы, человек с таким более чем «раздвоенным» сознанием не только не может быть гениальным математиком, но вообще нормальным человеком. А между тем Паскаль, зная эти «двойственности» в себе, был человеком глубоко цельным в самом нравственном ядре своей личности, в своем совершенствовании. Толстой сравнивал человека с рекой, считал его существом текучим, постоянно меняющимся, но это не значило, что личность самого Толстого не имела основы, стержня, как раз об этой основе и свидетельствовали его этические искания. Так и «двойничество» Достоевского. Кстати, Ю. Селезнев, как бы уточняя это понятие, видит причину «двойничества» не только в свойствах человеческой природы, но и в «реальных противоречиях эпохи». Эти противоречия были мучительны для сознания писателя, который столь же мучительно искал выход из них. По словам Ю. Селезнева, «противоречия были формой и способом движения к истине у Достоевского. Но истина его не в противоречиях. Его совесть никогда не металась между добром и злом, его духовный центр не смесь правды с неправдой».

Оригинальна, содержательна мысль автора книги о «свободе совести», свободе выбора, которую как бы предоставляет Достоевский читателю своих романов. Изображая обе бездны, связанные с добром и злом, высоту и глубину человеческих взлетов и падений, художник как бы дает возможность читателю, без авторского принуждения, самому сделать выбор, добровольно остановиться на том или другом. Можно добавить в развитие этой мысли, что такая свобода выбора возможна только в полноте жизни, а не в односторонности, именно таков мир Достоевского, который с полным правом можно назвать миром объективным, при всей страстности, «субъективности» его творца.

Подводя итог своим размышлениям о связи личности художника с творчеством, Ю. Селезнев говорит: «Слово

Достоевского было обеспечено "золотым запасом" его личности, сумевшей сохранить цельность в мучительной борьбе сомнений, противоречий, заблуждений». Автор вышел из спора с критиками Достоевского убежденным в невозможности понять творчество великого художника, дробя его личность на «двойников», на враждебные друг другу «лики». Именно в «цельном, нравственном ядре личности» писателя справедливо видит автор книги необходимое условие духовного созидания, определяющего пафос творчества, тех этических начал, которые проходят через все творчество Достоевского, составляя, при всех безднах противоречий, основу его художественного мира.

Для автора книги это принципиальный вопрос, не праздно академический. Да и не только для него, разумеется, это не праздный вопрос: на какой стороне Достоевский — на стороне ли духовного декаданса, «двойничества», «сатанинства» и прочего нравственного распада, или же на стороне тех сил, которые не приемлют этого распада? Не надо забывать и того, что современная идеологическая борьба в мире выражается и в духовной сфере, более скрытой, чем область идей, но оттого не менее напряженной и даже более глубокой. Не случайно антинародные силы в мире поддерживают все духовно нездоровое (и не только в искусстве), растлевающее, низменное, человеконенавистническое. Это ведь могучее средство разложения национальной культуры, самого народа, закабаления его. И в этой разрушительной, поистине сатанинской работе иные хотели бы видеть своим союзником и Достоевского. Но несмотря на изощреннейшую релятивистскую софистику, раздваивающую, раскалывающую Достоевского, что общего между этим духовным декадансом — разложением и, с другой стороны, — высотой духовно-нравственных интересов великого писателя, его болью за страдающего человека, жаждой идеала, родственностью с народом, в котором он видел, между прочим, и оздоровляющее начало для всякого индивидуализма. Если вот так целостно, не лукавя, посмотреть на личность Достоевского, то мы и увидим его

таким, каким он был в его «нравственном ядре», в неколебимости той нравственной точки в душе писателя (по его собственным словам), с которой он оценивал как самого себя, свои мысли, так и все происходящее в мире. Так целостно посмотрел на Достоевского автор книги о нем Ю. Селезнев, если не ошибаемся, — впервые за многие десятки лет в литературе о писателе выявляя в его личности то, что было главным в ней, и тем самым помогая лучше понять и само творчество писателя.

Содержательны и плодотворны суждения Ю. Селезнева и о такой основополагающей для Достоевского проблеме, как народность. Для Достоевского народность не только и даже не столько в прямом и непосредственном изображении «мужика», сколько в выражении народной точки зрения на явление, событие. Особенность такой народности писателя автор показывает на примере языка романа «Бесы». «*Некрасивое*, изломанное слово Ставрогина, кривляющийся, изворачивающийся стиль Лебядкина, "нерусский" слог Кириллова, "дворянское присюсюкивание" Кармазинова, "мямленье" и "нерусские слова" Степана Трофимовича, "всемирно-человеческий язык" Липутина, "народная фраза с завитком" Толкаченки и т.д. — в отношении к какому слову, к слову чьего самосознания в романе воспринимаются как изломанность, некрасивость и т.д.». Очевидно, что подобные речевые характеристики воспринимаются как безобразие по отношению к народному языку. Вроде бы невидимый и даже «неслышимый» в романе идеал народного слова и «определяет некрасивость, изломанность оторванного от народных корней языка бесов». По словам автора, прийти к идее народа, к народности для Достоевского — значит прийти к исконному народному языку, без «завитков». «Язык-народ, в нашем языке это синонимы, и какая в этом богатая, глубокая мысль!» — писал Достоевский. Оттого-то для Достоевского Пушкин и национальный народный гений, что он «первый заговорил самостоятельным и сознательным русским языком». Частные замечания автора приобретают емкий смысл

именно в понимании народной глубинности писателя: «Кириллов, например, характеризуется в "Бесах" как человек "чрезвычайно отрывистый", и это слово — один из прекрасных образчиков стилевого единства художественного мира Достоевского, в котором идея отрыва "бесов" от народа, от России, от живой жизни зеркально отражается и в их *отрывистом*, изломанном слоге». И конкретен сам вывод, стягивающий воедино частности: «Народный образ, слово народа — потому и могли стать центральными, связующими изнутри воедино расколотый, раздвоенный мир, что, по мысли Достоевского, сама *народная жизнь* полна *сердцевины*, в отличие от *бесхребетной*, оторванной от народных корней бесовской нежити».

Глава «Слово воплощенное», где идет речь о народности в творчестве Достоевского, пожалуй, наиболее насыщенная из всех глав как привлекаемым материалом, так и мыслями самого автора. Это не только заключительная глава, как таковая, с обобщением предыдущих глав и выводами; это пафос всей книги, ради чего, можно сказать, она написана. Автор смело распахнул дверь в мир народности и как бы почувствовал себя на той «большой дороге», образ которой выведен в «Бесах» Достоевского и о которой («идея большой дороги — идея народная») в своем месте подробно говорит сам автор книги. Это необычно для литературы о Достоевском, где, по обыкновению, отдается предпочтение запутанным ходам «двойничества», «безднам антиномий», «подполью» и т.д. Ю. Селезнев пошел этой «большой дорогой» к Достоевскому, и сколько открылось ему простора — исторического в том числе, какое богатство народных корней. Многое в мире писателя исследователем соотносится с народным сознанием, народным мировосприятием: борьба добра и зла у Достоевского и борьба Правды и Кривды в духовных стихах; библейски-евангелический пласт у Достоевского в преломлении через народное сознание; роль «слухов» и «молвы» в романах писателя и в народном творчестве (где ими, как источником информации, широко пользовались летописцы); идея троичности в рома-

нах Достоевского и троекратность как характернейший элемент народного творчества, вообще народного миропредставления; метод фантастического реализма Достоевского и народная образность и т.д. И это не декларируемые, а в самой почве творчества Достоевского коренящиеся элементы народного сознания.

В главе много таких, увиденных пытливым взглядом автора частностей, служащих одному — осмыслению народности Достоевского. Полемика автора вступает в свою, так сказать, завершающую стадию и касается главного для него вопроса — в чем смысл проповеди Достоевского об исторической роли русского народа. Ю. Селезнев не приемлет «религиозно-философских интерпретаций» идей Достоевского-проповедника в духе библейского мессианизма, он даже считает нужным сделать «экскурс» в Библию с целью показать «библейский национализм», проповедь в ней идеи «национальной исключительности» «избранного народа». Секулярная оценка (с чем вряд ли можно согласиться), по мысли автора, должна подчеркнуть нечто противоположное в проповеди Достоевского — не национализм, не утверждение национальной исключительной роли русского народа, а идею братства, которая является идеалом русского народа и которую он несет миру, человечеству. И этот идеал, проповедуемый Достоевским, живет в многовековой традиции русского национального сознания, получив свое выражение еще в «Слове о Законе и Благодати» Илариона (XI век) с его идеей равноправия всех народов, внутренней свободы человека. Автор, прекрасно понимая суть идеала Достоевского, то, что реальные формы будущего были скрыты от писателя, тем не менее, считает, что в общей направленности своих устремлений Достоевский не был утопистом: история, полагает автор книги, подтвердила веру писателя «в великое историческое предначертание нашего народа», как и его «пророчество о *всечеловеческой*, объединяющей в братство ”все души народа”» способности русского народа.

Как видим, проблема народности становится почти всеобъемлющей в понимании автором Достоевского, но нам

хотелось бы обратить внимание на один момент, имеющий, может быть, особенно актуальное значение для современной литературы. Сам Достоевский сказал о себе: «При полном реализме найти в человеке человека. Это русская черта по преимуществу, и в этом смысле я конечно народен».

История русской литературы показала, что в отношении к народности, к оценке ее столько было недоразумений, что теперь этому можно только удивляться. Ведь это правда, что какой-нибудь «Иван Выжигин» Ф. Булгарина считался в глазах тогдашнего массового читателя куда народнее, чем «Евгений Онегин» Пушкина. Да и романы Достоевского при его жизни не шли «по народности» ни в какое сравнение с «Антоном Горемыкой» Д. Григоровича. Но вот теперь, в наше время (так же, как и тогда, конечно), разве не народен Достоевский — в своей вере в историческое призвание русского народа, в своем «полномочном представительстве» от этого народа в мировой культуре, в своих высших духовно-нравственных устремлениях, в утверждении идеала, высокого назначения человеческого бытия? Разве не народную черту отметил в романе «Идиот» Щедрин, сказавший, что Достоевский так далеко заглянул в нем, коснулся таких глубоких нравственных вопросов, которые будут предметом исканий отдаленнейшего будущего человечества. И для современных писателей, современной литературы нет важнее, может быть, проблемы, чем «найти в человеке человека», того, говоря словами Андрея Платонова, «сокровенного человека», в котором выразился бы и опыт его как частицы народа, и суть его самосознания как личности общественной и бытийной. Не внешняя атрибутика народно-бытовой жизни, не имитация «мужиков», не прагматическая суетность и делячество (чего у нас довольно в литературе и что выдается за народное), а именно народная точка зрения, способность понимать вечные ценности в народной жизни, выявление в личности того, что входит в эти вечные ценности, — в этом и народность. «Реализм» Достоевского с его «найти в человеке человека» тут может иметь весьма действенное значение. И то, что Ю. Селезнев сосредоточил

в своей книге разговор на этом исключительно важном вопросе, говорит о его живом понимании насущных задач современной литературы.

Книга Ю. Селезнева может вызвать к себе интерес с разных сторон. Литературовед найдет в ней немало того, что принято называть исследовательскими находками, и это в каждой главе. Правда, иногда автор отдает дань, так сказать, литературоведческой благообразности, излишней почтительности к цитатам. Таковы, например, его многочисленные положительные ссылки на М. Бахтина, которые не столько углубляют, сколько «филологизируют» (от слова «филология») проблемы, да и сам мир Достоевского, а иногда даже запутывают их (ссылка на релятивное определение М. Бахтиным природы творчества Достоевского как «амбивалентного» в традициях «карнавальной культуры», совмещающего в себе прямо противоположные стороны явления, в том числе и духовного, нравственного). Впрочем, своеобразный пиетет автора перед М. Бахтиным не мешает ему уточнить некоторые факты из истории изучения Достоевского. Так, Ю. Селезнев считает, что «теория диалога» М. Бахтина, возможно, была разработана не без влияния А. А. Ухтомского, выдающегося русского физиолога, научные открытия которого («теория доминанты», «проблема собеседника») связывались им самим с художественным творчеством Достоевского. Но книга Ю. Селезнева, при всей своей исследовательской оснащенности — более чем литературоведение. И она — факт более чем литературный. Дело в том, что каждый великий художник живет не только своим наследием как таковым, но и теми живыми силами, которые воспринимают его, готовы воспринимать его как явление современное, им необходимое. Только в этой преемственности и возможна жизнь даже и великого творения. Это главное в судьбе творца (поэтому, вероятно, и нет для него более сокровенного желания, чем видеть свой народ всегда и вечно духовно дееспособным). Но есть и частности этой проблемы. Вопрос и в том, какие силы «поднимают» Достоевского — здоровые или декадентские, народные или

индивидуалистические, созидательные или разрушительные, — всего этого, как в самой жизни, довольно у Достоевского, творчество которого и есть полнота жизни, где человек волен делать свободно свой нравственный выбор. Мы делаем ошибку, когда односторонне оцениваем критику, литературу о Достоевском, видя в ней характеристику, оценку только самого писателя. Но ведь существует и другая, обратная сторона, этого дела. Подход того или иного критика к Достоевскому характеризует не столько Достоевского (который, конечно же, проживет и без этой характеристики), сколько самого критика, уровень его мыслительных данных, духовно-нравственного развития, вообще способности подняться до понимания гения: нельзя же духовному убожеству обнять внутреннее богатство великих творений, так же как мало одной сноровки наклеивать социологические ярлыки, чтобы считать себя выше Достоевского по передовому прогрессу и присваивать себе право учить отсталого писателя. В этом отношении литература о Достоевском любопытна с точки зрения авторекомендации именно тех, кто пишет о нем, сам же Достоевский обычно здесь не при чем. Характеризуя зачастую столь самоуверенно и безапелляционно Достоевского как «идейно ограниченный» продукт своего времени, критики забывают, что они и сами не в меньшей степени продукт времени, и больше говорят (самим уровнем, самими критическими методами) не столько о великом писателе, сколько о себе и о своем времени.

Книгу Ю. Селезнева о Достоевском тоже можно назвать продуктом времени. Написанная с горячим увлечением и убеждением, она не просто обращена к Достоевскому и поучительна не только пониманием созидательного значения его творчества. Эта книга свидетельствует, сколько здоровых сил в современном литературно-критическом и — шире — общественном сознании, как рвутся наружу эти силы и жаждут истины. И это отрадно, ибо классики, не лишне будет это повторить, — живут этим откликом, этими здоровыми силами общественной жизни.

ОСВОБОЖДЕНИЕ

Эпиграфом к своему новому роману «Драчуны» (опубликованному в журнале «Наш современник», 1981, №№ 6, 7, 9) Михаил Алексеев поставил следующие слова Толстого: «Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения... Писатели, если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное или интересное, что им случалось наблюдать в жизни». Без всякого сомнения, слова эти имеют в настоящее время неизмеримо более глубокий смысл, нежели тот, какой они имели при жизни Толстого. Потому прежде всего, что сам исторический опыт, пережитый нашим народом в XX веке, опыт ни с чем не сравнимый по испытаниям и потерям, перевернул многие предшествующие представления о ценностях, в том числе и о литературе. Этот опыт превзошел все, что только могло быть предсказано в прошлом, в том числе и все провидения Достоевского. Если духовным плодом буржуазного Запада считать экзистенциализм как опыт переживания личности, то как жалок этот опыт индивидуалистического сознания перед всемирной поучительностью нашего выстраданного опыта! Не странно ли, читая, например, француза Камю, видеть трагедию его героя в том, что зной заволакивает его сознание, он теряет контроль над собою и непроизвольно убивает человека. Этот психологический «феномен» всякого рода «исследователи» готовы рассматривать в лупу и бесконечно обсуждать его. И перед этой «загадкой» что значит почти обыденный факт, о котором говорит старик казак в «Тихом Доне» Шолохова: «Человека убить иному, какой руку на этом наломал, легче, чем вшу раздавить. Подешевел человек...» Невообразимая пропасть между двумя этими мирами. И то, что занимает героев Камю, с точки зрения хотя бы того же старика (видящего, чего стоит человек) действительно «абсурд». Да что там Камю! Герои самого Достоевского типа умника Ивана Карамазова быстро бы образумились, оказавшись рядом с тем же стариком,

и задумались бы о таких глубинах, в сравнении с которыми все их философские разглагольствования показались бы просто ребячеством.

Собственно, литература призвана передать, пусть отчасти, исторический эквивалент бытия своего народа. Конечно же реального, а не должного. Русская литература XIX века оставила нам в каких-то существенных чертах историческое состояние русского народа, с историческими же, как у Достоевского, предвидениями. В этом смысле наша классическая литература стала в большой мере источником не только русской философской мысли, но и важных исторических свидетельств.

Теперь предположим, что наши потомки захотели бы по современной советской литературе составить представление об исторических испытаниях нашего народа в XX веке. Что дала бы на этот счет наша литература и насколько это соответствовало бы действительности? Конечно, обнаружилось бы немало примечательного, характеризующего время, как, например, воспевание, особенно в 30-х годах, «пафоса строительства». Стройки, вовлечение в них грандиозной массы людей, формовка массового сознания на основе новых идей, заявка на невиданного еще в истории «нового человека» — все это стало своего рода историческим «феноменом», и свою лепту в распространение его внесла и литература социалистического реализма. Вышло множество книг о всякого рода стройках с установкой, так сказать, на масштабное изображение происходящего, когда в фокусе внимания оказывалась приведенная в действие целая армия строителей, перевыполняющих план. В этом был знак времени, и литература была верна ему. Хотелось бы, конечно, за ворочающейся массой разглядеть человека, узнать, кто он, откуда, что у него на душе. Но это могло сойти за частность в сравнении с грандиозностью общей строительной картины.

Пафос идей сделался как бы своеобразной действительностью в литературе. И в человеке важнее всего стала идея в ее отношении к «новому миру». С этой точки зрения подросток Павлик Морозов с его классовой бдительностью

внутри семьи — знак неизмеримо более эпохальный, чем, допустим, Мишка Додонов (из «Ташкента — города хлебного» А. Неверова), с недетскими мытарствами добирающийся до сказочного хлебного города, чтобы спасти от смерти голодную семью. Если говорить о новаторстве как о чем-то небывалом, уникальном, то таким новаторством действительно помечена советская литература. Небывалая оптимистичность этой литературы вышла из формулы, которая с афористической четкостью выражена в «Интернационале»: «Мы наш, мы новый мир построим: кто был ничем, тот станет всем». Здесь и ключ к особенностям самосознания советской литературы (крайне повышенного и критического в отношении к предшествующей, классической русской литературе), к качеству ее эстетики, волевому началу в ней и т.д. И сама задача литературы явилась, можно сказать, беспримерной в мировой литературе — моделирование «нового мира», «нового человека», причем с ориентацией на «третью действительность», как называл М. Горький будущее. Усилия массы писателей в этом направлении хорошо известны. Но следует сказать, что при всей их активности они не могли, как говорится, целиком и полностью охватить эпоху. Да что там эпоху! Даже и об отдельных событиях можно сказать: черпать их — не перечерпать. Писал о гражданской войне в Сибири, например, Вс. Иванов. Но можем ли мы думать, что после повести «Партизаны» этого автора нечего уж и сказать о гражданской войне в Сибири? Скажем, вышла в тридцатых годах поэма В. Казина, посвященная строительству Беломорско-Балтийского канала, очень бодрая по тону, воздающая хвалу красоте труда и рассказывающая о перевоспитании, возрождении через радостный труд главного героя — бандита (поэма сначала так и называлась «Бандит» и только впоследствии была переименована в «Беломорскую поэму»), одним словом, патетическая история, но она не могла охватить всего того, что происходило на строительстве Беломорканала. Насколько необъятнее была бы картина тех же названных выше событий, включи она в себя море свидетельств их очевидцев, участников, далеких от литературы, но

без понимания исторического смысла свидетельств которых и не может быть литературы в ее народном значении. Когда мы говорим о соотношении содержания той или иной книги и самой действительности, то имеем в виду прежде всего меру историчности, нашедшей отражение в книге или вовсе оставленной за ее бортом. О, историческая подлинность слишком многое значит и многое открывает, чтобы можно было легко пренебрегать ею. В каждом событии через документальное свидетельство открываются такие его стороны, которые нельзя восполнить никакой литературной изобретательностью.

Особенность современного общественного сознания в том, что повысился, как, может быть, никогда, интерес к прошлому, к истории. Общеизвестно, с какой поистине жадностью читаются книги, основанные на документах, архивных материалах, особенно о советском периоде. Издание таких книг не случайно все более увеличивается. Назову только несколько из них, вышедших в последнее время: Василия Поликарпова — «Пролог гражданской войны в России» (о деятельности против большевиков ставки верховного главнокомандующего Духонина, затем войскового правительства Каледина на Дону); Марка Касвинова — «Двадцать три ступени вниз» (о конце последнего русского императора Николая II); Давида Голинкова — «Крушение антисоветского подполья в СССР» (о действиях чекистов, революционных трибуналов в 1917-1919 годах). Читатель найдет в этих книгах множество любопытных фактов из истории создания Советского государства, первых лет его борьбы против врагов революции. Авторы подчеркивают классовый характер этой борьбы, ту решительность и непримиримость, с какой большевики утверждают диктатуру пролетариата, — особенно примечательна в этом отношении книга Д. Голинкова, который в прошлом сам был чекистом, следователем по особо важным делам Прокуратуры СССР и отлично знает суть дела. Приводимые им факты дают удивительно яркое и сильное представление о революции, характере ее борьбы. Вот, например, то место из книги, которое, по словам автора,

превосходно характеризует революционную инициативу рабочих масс, веру в нее Ленина. Рассказав об убийстве неизвестным скрывшимся лицом Володарского, автор продолжает: «Убийство В. Володарского вызвало волну негодования. Рабочие готовы были ответить врагам революции их же оружием — террором, но петроградские партийные и советские органы сдерживали рабочих. Узнав об этом, В. И. Ленин писал 26 июня Зиновьеву, Лашевичу и другим петроградским работникам: «Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не Вы лично, а питерские цекисты или пекисты) удержали.

Протестую решительно!

Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс вполне правильную.

Это не-воз-мож-но!

Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего решает».

О революционной решительности вождя пролетариата в книге Д. Голинкова говорится со всей убедительностью именно фактического материала. Здесь можно узнать о том, что оказалось обойденным в художественной литературе о гражданской войне в России, например, сведения о подавлении антисоветских выступлений в различных губерниях, в том числе в Саратовской губернии. С этим историческим материалом нечего соотнести нашей литературе, исключая разве лишь роман Н. Вирты «Одиночество» (о восстании Антонова на Тамбовщине). Такая скудость исторического освещения в литературе хотя бы названных событий из времен гражданской войны (это только один из примеров), конечно же, не отвечает народному опыту.

Нельзя сказать, что нынешняя литература глуха к прошлому, к истории. Вовсе нет. Наблюдается даже оживление на этот счет, с историческими марафонами к временам пер-

вых русских князей, удельных княжеств; и менее отдаленные забеги — в эпоху Петра I с деяниями его сподвижников; и совсем короткие пробежки по дореволюционным событиям с длиннейшими, однако, обличениями прошлого через какое-нибудь писаное чудище — вроде Гришки Распутина и т.д. И такие исторические забеги на разные дистанции можно только приветствовать, было бы только у авторов, помимо археологического интереса к прошлому (а этим дело нередко ограничивается), понимание нужности, необходимости выбранного события для современного читателя.

Однако наша история — это не только седые времена удельных княжеств и не только Григорий Распутин, но и события тех лет, свидетелями которых многие из нас были: события 20-50-х годов и т.д., и даже наших дней. История делается на наших глазах, но мы обычно не замечаем этого, живя текущим. Литература же должна замечать, должна, подобно драге, из песка текущего намывать золотые крупинки вечного. Так в настоящем художник умеет увидеть то плодоносное зерно, которое принадлежит истории. И здесь опять уместно вспомнить слова Толстого, приведенные нами в начале статьи: историчность и заключается в том, что Толстой называет не «выдумыванием» художественных произведений, а рассказыванием того «значительного», что автору «случалось наблюдать в жизни».

* * *

Именно потому, что роман М. Алексеева представляется мне значительным произведением современной русской прозы, разбор его требует своей среды, своего литературно-исторического контекста. Писательская известность к М. Алексееву пришла с выходом в начале 50-х годов его романа «Солдаты». Следовательно, начал он с военной темы и, как видно из его недавних высказываний в печати, не оставляет ее до сих пор; более того, считает все написанное им до сего времени только подступом к будущей основной своей книге — о Сталинградском сражении. Хотя полнота разговора

о писателе требует и полноты привлекаемого материала, то есть всего написанного им, мы ограничим свой разговор книгами М. Алексеева о деревне. Ибо главная военная книга, по словам самого автора, еще впереди (и рано без нее делать какие-то обобщения о его военной прозе, как и обо всем творчестве), в то время как роман «Драчуны» — это в известном смысле итог (не будем пока говорить, насколько закономерный для автора) его размышлений о деревне и тем более поучительный, что дался он писателю не свободно; характерно уже то, как он шел к нему, какими путями, через какие круги и петли, о чем отчасти будет речь в своем месте.

...Крестьянство для русской литературы всегда имело особое, исключительное значение. Собственно, и сама она, великая русская литература, родилась из недр крестьянской, народной жизни, но не в том поверхностном, эмпирическом значении, что выводила мужика, копировала простонародную речь, воссоздавала бытовые формы крестьянской жизни и т.д. Чтобы заниматься этим, не надо было быть великим художником, а довольно и того, чтобы быть Григоровичем. Но для таких великанов русской и мировой литературы, как Достоевский и Толстой, народность уходила в самые глубины бытия. Конечно же, это и язык, именно крестьянство, народ породил тот океан языка, вне которого не может быть великого творчества. «Язык и народ — это синонимы, и какое в этом глубокое значение», — говорил Достоевский, видевший несчастье художника в том, что он отходит от родного, народного языка и усваивает с детства только короткие, куцые формы языкового выражения, годные лишь для передачи коротеньких идей, а не для воплощения самосознания мыслящего человека, что может дать только народный язык. Народ — это и моральные ценности. Идеал, который видели для себя в русском крестьянстве Достоевский и Толстой, — это не просто «чудачество», а понимание основ общественной жизни — без почвы, без твердыни народной морали не может быть великой культуры и великой истории. И ведь сам скептицизм в любых проявлениях (в художественном ли, в философском) если и может быть относительно плодотвор-

ным, то лишь тогда, когда за ним стоят моральные силы народной жизни, иначе этот скептицизм вырождается в бесплодное отрицание. Что значил бы исторический в отношении России нигилизм Чаадаева, если бы Россию, русский народ представляли только такие ее доброхоты, как небезызвестный современник Смутного времени Хворостинин, объяснявший свое бегство за границу тем, что, по его словам, на Москве все люд глупый, «не с кем поговорити»; как столь же печально знаменитый Печерин с его «Замогильными записками», перебежавший также на Запад и ставший там католиком-иезуитом, не знавший большей сладости чувства, чем ненависть к Отчизне; как Смердяков с его «Я всю Россию ненавижу» и т.д. Чем не отрицатели и чем не благодетели желанного прогресса России? Но из этой ненавистнической тьмы какие могут быть выведены пути, какие плодотворные, хотя и с отрицательным зарядом, силы? Ничего, кроме разложения. Но, слава Богу, кроме этой тьмы, были еще и силы здоровые, могучие, от крестьянства до Кутузова, от няни Арины Родионовны до Пушкина, при которых можно было позволять какое угодно отрицание: как ни отрицай, а остается эта твердь, эта положительная, созидательная основа — без нее были бы полнейшая безответственность и действительно разгул «нигилятины», говоря словами Достоевского. И если можно видеть какой-то смысл в том же чаадаевском отрицании России, то только в ней самой, возможностях, заложенных в ее истории.

Зададимся теперь вопросом: в какой мере эта извечная традиция русской литературы — утверждение положительной, созидательной основы в крестьянстве — отразилась в литературе советской? И здесь заявляет о себе в первую очередь то, что принято называть новаторством советской литературы, объясняемым невиданным социальным опытом того же крестьянства. В самом деле, не случайно известное сравнение коллективизации по радикальности социальных перемен с Октябрьской революцией. Многовековой традиционный уклад русского крестьянства подвергся коренной, революционной ломке. Как это отразилось в литературе? Пре-

обладающей, почти исключительной нотой в ней сделалась патетика, пафос того самого переустройства, «строительства нового», что и в отношении всего прочего, чего бы ни касались писатели: строек, заводов, педагогики и т.д. Если в «Тихом Доне» Шолохова гражданская война нашла выражение глубоко драматическое, то равные им по значению события коллективизации в «Поднятой целине» звучат уже совершенно по-иному, на иной, бодрой ноте. Различие между этими двумя книгами одного и того же автора знаменательно. Питерский рабочий, приезжающий в донскую станицу, учит земледельческому труду в новых условиях исконных земледельцев — это не просто герой-«двадцатипятитысячник», но и некий символ нового, волевого отношения к людям. О том старом, патриархальном преклонении перед мужиком, чем грешили многие из классиков, прежде всего Достоевский и Толстой, не могло быть теперь и речи. Места поменялись, идейно вооруженный писатель (нередко пришедший в литературу «от станка») призван был образумливать, просвещать идейно дремучего мужика. Просвещение в основном понималось как обличение крестьянской несознательности, отсталости во всех видах, от бытовой до политической, всякого рода инстинктов — от частнособственнических до физиологически-животных. Все это представлялось абсолютно бесспорным и стало как бы прописной истиной навсегда, так что уже в наше время сравнительно недавно критик И. Мотяшов, рассуждая в журнале «Москва» о «косной» крестьянской массе, не находит иного слова для определения ее места в том же социалистическом строительстве, как только такое, что оно, это инертное крестьянское месиво, было «перемолото в котлованах пятилеток».

Но естественно, больший интерес должны вызывать те книги о деревне, авторы которых сами были связаны с нею, собственной ли жизнью, через своих ли родителей. Так, сын смоленского крестьянина трудной судьбы Александр Твардовский в середине тридцатых годов написал поэму «Страна Муравия», в основу которой был положен эпизод из романа Ф. Панферова «Бруски», где рассказывается о поисках Ни-

китой Гурьяновым «счастливой Муравии». Заметим, что сам метод перевода реальности в «план несколько условный», осуществленный Твардовским в поэме, дал, конечно, свои результаты... и мог иметь своего рода методологическое значение для литературы (и не только о деревне) как в тогдашнее время, так и в последующее. В том же «несколько условном плане», но уже в другое время, в тяжелое, голодное для деревни послевоенное время, были написаны, например, жизнерадостные поэмы «Колхоз "Большевик"» Н. Грибачева, «Алена Фомина» А. Яшина, многие рассказы, повести, романы со своеобразным «правдоискательством» их патетических героев.

Новые, примечательные явления обозначились в литературе на рубеже 50—60-х годов. Критика заговорила о «лирической прозе», устроив на торжище ее некий галдеж, метя, впрочем, не столько в «лириков», сколько в саму деревню, в тех же прозаических мужиков, далеких от какой-либо лирики и, конечно же, от прогресса. Но если отвлечься от этого галдежа, о сути «лирической прозы» можно судить, например, по рассказам Вл. Солоухина. Вышедшие в конце 50-х годов его «Владимирские проселки» получили широкую известность, хотя бы в литературной среде. Как сам автор, так и его почитатели дивились открытию: вот едут люди в далекие края, в какие-нибудь африки и америки, а рядом, всего час-два электричкой от Москвы, — эвон какие красоты. Тем более что это край родной для автора, владимирский, и все в нем благостно и светло его очам! Правда, смутить могло то, что писались «Владимирские проселки», по признанию самого автора, больше в московской библиотеке им. Ленина (где и вычитывались им всякие культурно-исторические сведения о городах Владимирщины, вроде Суздаля и т.д.), и автор пустился в путешествие по родному краю, уже имея, так сказать, в рюкзаке готовую рукопись. Разве лишь несколько случайных встреч по дороге с земляками и пополнили готовый писаный сюжет. Но кому какое дело до писательских тайн, главное — невиданно трогательным для литературы было уже то, что автор предпочел очередной далекой

почетной поездке путешествие по земле, где он родился, а это чего-то да стоит! Увы, с чем пошел, с тем и пришел. «Владимирские проселки» при всей расчетливой предварительной подготовке автора, так и оказались только записками туриста, хотя и «о родном крае». Никакой социальности, если не считать социальным открытием заключительные слова автора о своих земляках, о том, что они так родственно срослись с колхозной жизнью, что иной и не могут себе представить.

Такова «лирическая проза» в лице наиболее, пожалуй, типичного ее представителя, а возможности, заключенные в ней, поучительнее всего и развились в последующих повестях и рассказах самого же В. Солоухина, в его бесконечных «лирических» историях, «исповедях», в том, как он дивил их тем, в каких заграницах был, что там видел, что едал и пивал и т.д. — в поучение оседлым деревенским аборигенам.

Потом эта «лирическая проза» ушла в песок, не в почву. С почвой оказалась связанной не «лирическая», а так называемая «деревенская проза» (прозванная так почему-то критикой, хотя уместнее ее было бы назвать традиционно-русской прозой). В начале 60-х годов эта «деревенская проза» дала свои ростки еще не в полную силу, но многообещающие: В. Астафьев, В. Белов, Е. Носов, к которым со временем присоединятся новые имена, прежде всего В. Распутин. Я не называю здесь К. Воробьева, писателя, стоящего «особняком», на творчество которого как бы пал крест пережитых им военных испытаний, давших его книгам ту нравственную пронзительность, которую он, видимо, сохранил в самом себе вплоть до своей недавней смерти, напомнив своей судьбой о назначении русского литератора.

Обратимся теперь к писателю, о творчестве которого и пойдет в дальнейшем речь. Первый роман М. Алексеева о деревне — «Вишневый омут» писался в 1958—1961 годах. Переход от военной темы (до этого автор был известен прежде всего своим романом «Солдаты») к теме крестьянской если и был для кого-то неожиданностью, то только не для самого писателя. Он не раз потом повторит, как всегда жило в нем все то, что было увидено, перечувствовано,

выношено в деревенской жизни, начиная с детства, каким богатейшим источником стало все это для его книг.

Лирическая стихия господствует в «Вишневом омуте» от первой до последней страницы. В каком-то смысле это «лирическая проза», но в ином, чем у того же В. Солоухина, варианте (слишком разнится у обоих сам жизненный материал), в преимущественно лирическом отношении к действительности. Исток и пафос лиризма здесь вполне конкретный и связан с образом Харламова, взрастившего чудесный сад и внесшего тем самым нечто радостное, жизнеутверждающее в мир, вопреки злым, разрушительным силам в нем; сад, образ его, мысли о нем становятся лейтмотивом романа, как бы символом самой народной жизни с ее вечными ценностями (невольно приходит на память параллель с «Русским лесом» Л. Леонова, общность в центральности природного образа — в одном случае русского леса, в другом — сада). Возможно, в чем-то и сказался для автора «Вишневого омута» опыт автора «Русского леса», писателя, весьма чтимого М. Алексеевым (хотя, конечно, сама основа этого образа не только не литературная, но глубоко личная, автобиографическая). Отчасти и лиризм повествования связан с характером Михаила Аверьяновича Харламова, с переданной как бы по наследству и внуку мягкостью его здоровой натуры, с почти женственной ласковостью родной мовы, сохраняющейся и в русской его речи, во всяком случае, украинский элемент чувствуется в лирической атмосфере романа, да и порою в самих лирических, с подступами и «завитками», приемах рассказа (что останется отчасти характерным и для таких последующих книг писателя, как «Хлеб — имя существительное», «Ивушка неплакучая»).

Родством поколений соединяется цепь времен в романе. Собственно, и зрелость писателя, как и вообще человека, начинается с осознания своей родословной, и не только исторической, но и личной. Это было ясно даже и самым отвлеченным, парящим в сугубо рационалистической сфере философам. Кант, например, признавался, что психологической основой как его собственной жизни, так и его

философии было стремление следовать основательному характеру отца. Но ведь к этой, казалось бы, очевидной мудрости приходится иногда идти через разные препоны заблуждений, иллюзий, а иные и вовсе никогда не задумываются об этом, считая всякое такое родство изменой планетарной идее. Судя по всему (и прежде всего по теплоте самого тона рассказа), старик Харламов много значил в жизни своего внука, не только заменяя ему отца, довольно безответственного и нелепого (о нем подробнее пойдет речь дальше), но и как бы закладывая основы его мировоззрения, нравственного мира, самого характера. Автор не упускает, что называется, случая выставить старика Харламова с самой выгодной стороны, подчеркнуть его благородство, честность, трудолюбие, «бесконечную доброту» и т.д.

Что идейного мог заложить дед Харламов в сознание внука? В обычном понимании ничего, пожалуй, конкретного. В отношении к людям у него как будто и нет идейного принципа: в разное время — в царское и советское — он укрывает у себя в саду разных людей: в первом случае — беглеца от царской воинской повинности; в другом случае — вступившего в конфликт с местными властями молодого человека, любящего девушку из раскулаченной семьи. Если перед нами ситуация не литературного характера (что вернее всего), а достоверно-жизненного, то эти поступки Михаила Харламова можно, конечно, толковать и в пользу его порядочности, доброты, а впрочем — и в пользу приверженности новому строю (укрыв у себя в саду упомянутого выше жениха «раскулаченной», он вскоре меняет отношение к нему и видит в нем бандита). Это единственное (не считая некоторых лозунговых, вряд ли его собственных, а не внуковых, изречений, о чем ниже), что можно назвать идейностью этого человека (хотя бы в смысле определенности взглядов). Худо, когда подростку, духовно пытливому, тем более с задатками творческими, неоткуда услышать направляющего слова, а ведь иногда одна оценка, одна характеристика (касающаяся, скажем, истории России) может дать глубокий росток, избавляя человека (с юности

и до старости иногда) от слепого, никуда не ведущего тыканья в интеллектуальные, духовные и прочие углы. При этом мы не забываем, конечно, всей благотворной силы того стихийного нравственного влияния, каким наделены были люди поколения старика Харламова, но каждый, выросший в подобной благотворной среде, не мог не почувствовать в какие-то важные моменты жизни и нехватку именно этой закваски с детства направляющей мысли, говоря более громко — культурно-исторических ориентиров, и, может быть, ни для кого последствия этого так не ощутимы, как для писателя.

Внешне сюжет романа охватывает крестьянскую жизнь на протяжении целого столетия, от пореформенного времени до уже нашего, послевоенного. Но историческая канва дана не столько в реальных картинах, сколько пунктирным обозначением событий (отмена крепостного права, убийство Александра II, революционные события начала века, 1917 год, колхозы, Отечественная война и т.д.). Хотя в самом замысле подразумевается преемственность поколений, но налицо, если можно так выразиться, социально-психологические ножницы между опытом деда и опытом внука. Исторический опыт деда передан через общие, условные характеристики (даже наиболее близкие к нашему времени события 1917 года даны не иначе как через «вторгающиеся» с улицы в избу звуки «Интернационала»), в то время как опыт внука, родившегося вскоре же после Октябрьской революции, пережившего незабываемое, составляет реалистическую основу повествования. Собственно, эта «внучатая» часть романа и представляет интерес как с точки зрения жизненной, так и литературно-художественной. Здесь больше конкретности, бытовой и психологической, лучшие эпизоды романа связаны с тем, что было увидено, пережито внуком (начиная от сохранившегося в душе ощущения уюта русской печи, так много значившей в жизни крестьянской детворы, от теплого, родственного чувства к теленку, поселившемуся в той же избе, что и дети, до подробностей со щитом с начертанным на нем словом

«Бойкот», который прибивался к воротам раскулачиваемых, чем оповещалось о запрещении всяких отношений с ними). Как бы ни скромны казались подобные места в масштабе замышленного автором, именно в таких местах видна живая ткань мировосприятия, в них больше содержательности, чем в любых литературных моделях.

Большая роль отведена в романе саду. Это и «просто» сад, дело рук хозяйственного Михаила Аверьяновича Харламова, «отвоевавшего у дикой природы кусок земли», превратившего его в цветущий уголок с обилием плодов и ягод, тот сад, в лоне которого прошло детство рассказчика, сохранившего о нем память как о какой-то святыне. Читатель узнает, что этот сад был убежищем всей семьи Харламовых в трудное для них время. «И сад действительно либо вовсе отвращал беду, разгоняя сгустившиеся тучи, либо смягчал удары грозы. Люди, сами того не замечая, делались тут добрее, покладистее, внимательнее и предупредительнее друг к другу, все мирские треволнения на время как бы вовсе оставляли их». Здесь уже начало того, что перейдет потом в патетику, в декламационную перекличку героев о пользе и красоте сада (вроде: «Ничего нет на свете лучше сада!.. Ничего, ничего нет лучше и краше!», «Что может быть важнее сада!», «Он нужен — ох, как нужен! — людям» и т.д.). Как говорил Гоголь, «сокровенные чувства как-то становятся пошлыми, когда облекаются в слова», тем более от повторения одного и того же. Но помимо этого есть и еще одно следствие настойчивого обращения автора, его героев к саду (и к образу его) как к некоему всеразрешающему рецепту. Вспомним такой эпизод. В саду Харламова отлеживается Митька, снимавший колокола с сельской церкви и за это побитый бабами. Между Харламовым и Митькой происходит такой разговор:

«— А колокола мы все-таки сымем, — сказал Митька. Михаил Аверьянович промолчал. Потом спросил:

— Старый мир разрушаете, как в песне вашей поется?

— Разрушаем.

— А построите ли новый-то?

— Построим, — сказал Митька, и на его пухлых, разбитых губах появилась совсем детская, нежная улыбка.

— Хорошо, коли так, — сказал Михаил Аверьянович и вышел из шалаша. Уже за дверью сообщил: ''Снег подгребу к яблоням. Что-то мало его выпало нонешней зимой''».

Здесь видна «хохлацкая» хитрость Михаила Аверьяновича (его зовут в селе «хохлом»), он «улизнул» в сад от довольно щекотливого разговора. Как для Харламовых сад стал местом, где они скрывались от «мирских треволнений», так образ сада становится для самого писателя как бы эстетическим убежищем от социальных проблем. Вступивший в колхоз Харламов предается, отталкиваясь опять-таки от сада, таким пафосным рассуждениям:

«— Помрут сады, сухота и скука пойдут вокруг. Вот об чем надо думать. А то ведь оставим нашим детям и внукам да правнукам не землю, а голый шар... Земля нынче принадлежит простым людям — ее работникам. Кому ж о ней позаботиться, как не им? Ведь и при коммунизме людям жить на земле, а не в небесах. И о ней, землице нашей, вся наша печаль-забота: не иссушилась чтоб, не была б она яловой, бесплодной то есть, чтобы для людей завсегда был хлеб, завсегда был сад, были луг, моря и реки. Лучше и краше нашей земли, мабудь, ничего нет на свете. И жить нам на ней веки вечные...»

После этого монолога время действия перескакивает на десять лет вперед, к началу войны, то есть все 30-е годы, тогдашние события (в том числе потрясающий для автора 1933 год) просто сняты, опущены, а сюжетно вытеснены «образом сада». Так эстетический наплыв смазывает социальность, историческую подлинность. Можно даже сказать, что вся история проходит через эстетику того же «сада», эстетизируясь сама и утрачивая свою поучительность. В своем месте, при разговоре о романе «Драчуны», мы еще вернемся к этому, увидим, чего стоила, каких жертв (и личных, автобиографических) эта эстетизация истории, редкой по своему драматизму.

После «Вишневого омута» М. Алексеевым была написа-

на повесть «Карюха». Здесь уже нет эпического замаха, как в «Вишневом омуте». Действие локальнее, сюжет компактнее. Не столетняя история крестьянства, а история одной крестьянской семьи, история лошади Карюхи, можно сказать, члена этой семьи. Отмеченные нами выше вкратце бытовые подробности в «Вишневом омуте», связанные с детством внука Харламова, здесь не только умножились, но получили органическое развитие, стали той убедительной жизненной средой, без которой нет правды характера. Надо сказать, что быт всегда был важен для понимания социальной психологии и самой истории народа. Не случайно Достоевский так ценил бытовой жанр в живописи, например, картину Перова «Охотники на привале» (над которой в свое время иронизировал, как и над картинами других русских художников-передвижников, советский писатель И. Эренбург, поклонник французских импрессионистов). Трудно будет составить будущим поколениям представление по советской литературе о нашем быте, скажем, 30-х годов, — столько «масштабного», патетического и так мало конкретно-бытового. В нем, быте, открылось бы много социально-познавательного и поучительного. Возвращаясь к «Карюхе», заметим, что бытовая среда в этой повести рождается из обилия тех частностей, примет крестьянской жизни, которому надо было самому напитаться с детства, чтобы так осязаемо передать их: и застолье большой семьи со своеобразным обеденным чином, и раздел братьев, и семейный уклад, и деревенское детство с ночным и удивительными открытиями, вроде увиденного нечаянно волчьего выводка, и особенно это отношение к Карюхе, безответной труженице-кобылке, кормилице семьи, дарящей ей к тому же такое сокровище, как дочь Майку, красавицу, от которой так много ждут все домашние — от родителей до детей. И эта Майка, встающая в глазах читателя как живая, с таким трудом появившаяся на свет, утверждающаяся на зыбких, еще не твердых ногах, но с каждым днем набирающаяся сил и роста, с первым

радостным ржаньем на солнце и с первым, после скачки по снегу, трудовым потом, доставляющая столько радости и надежд людям... пока несчастный случай не уведет ее вместе с матерью Карюхой зимней ночью со двора в поле, на запах сена, и там ее зарежут волки. Сколько мы знаем рассказов о лошадях, собаках и прочих животных, иные авторы претендуют даже на тонкое понимание собачьей психологии. Но нет в них главного, как, скажем, в «Зимовье на Студеной» Мамина-Сибиряка или в той же «Карюхе», — самой целесообразности отношения к животному, не праздно-литературного отношения, а жизненно необходимого, заинтересованного, отчего и находится у человека общий с его «домашним другом» язык.

Говоря о быте, мы подразумеваем в нем и социальные приметы. В «Карюхе» действие происходит накануне создания колхозов, и об этом в конце повести происходит короткий, но многозначительный разговор. Один мужик говорит другому:

«— Тебе-то что горевать, Миколай? Ты, чай, бедняк, скоро в колхоз затешешься... Уполномоченный, говорят, днями нагрянет из району... А каково мне? Жеребца отберут, меня окулачат — крышка!

— Какой еще колхоз? — вяло и будто безразлично спросил отец.

— Вроде не знаешь?! — осерчал Михайла. — Но ты не радуйся. Тебе тоже будет несладко. Скажут мужики: нарошно стравил волкам рысачку, чтоб в артель не отдавать. И тоды доказывай, что...»

Вообще-то, разговор не очень характерный для тогдашних героев М. Алексеева в смысле своей, так сказать, безбоязненной натуральности. О том же самом в «Вишневом омуте» («сообща нам жить надо, мужики») говорят куда более приподнято, даже с трогательным исполнением модной тогда песни... но, надо полагать, большая натуральность мужицкого разговора в «Карюхе» стала возможной из-за общего реалистического напора повествования, вызванного, видимо, интимной темой, захватившей автора и давшей ему цельный настрой.

* * *

Читая повести М. Алексеева о деревне, то и дело наталкиваешься на упоминание о 1933 годе, голодном годе. Читатель, особенно тот, который не знает этого времени, в недоумении может подумать: что же это за год, оставивший такой, судя по всему, саднящий след в душе автора? И почему он не останавливается на нем, не говорит подробно, а, упомянув, тут же и уходит от него? Впрочем, иногда даже попутно сказанная фраза об этом страшном годе — и она как бы выжигает все литературное вокруг себя, всю игру свойственного повестям автора лиризма, юмора: такова сила самого факта народной правды. Особенно относится это к повести «Хлеб — имя существительное», которую можно считать в этом отношении приступом к «Драчунам». В «Хлебе — имени существительном» узнаем об этом годе: «По чьему-то распоряжению был вывезен весь хлеб и весь фураж. Начался массовый падеж лошадей, а затем — страшный голод: люди умирали семьями, рушились дома, редели улицы, все больше и больше окон слепло — уезжающие в город наглухо забивали их досками и горбылями. Ныне, спустя тридцать с лишним лет после того ужасного года, памятью о нем остались только бугры от фундаментов, да котлованы от погребов, да то там, то сям видневшиеся из-под земли перламутровые отблески ракушек: ракушки эти вылавливались в реке, в озерах, ими люди пытались спастись от голодной смерти». Рассказы о земляках то и дело перебиваются словами: «Помер он в тридцать третьем — от голода»; «Померли все в том же тридцать третьем»; «В один год мальчишки эти остались круглыми сиротами. Отцы и матери их померли в тридцать третьем...» и т.д. И мимоходом такая подробность, которая переводит вдруг трагедию в новое измерение, усиливая и углубляя ее. Подросток Петька, оставшийся единственно живым в семье, гордится перед немногими уцелевшими сверстниками тем, что отец оставил ему в наследство буденовку, — в ней он и щеголяет по вымершему селу. Если употребить в данном случае слово нерусское, неуместное, конеч-

но, при таких обстоятельствах, но конкретно определяющее бытийное состояние, психическую реальность, того или иного явления, — если, повторим, употребить слово «экзистенция» — то вот уж действительно эта «экзистенция» с буденовкой может поставить в тупик почитателей Камю и всяческих абсурдов — столько в ней, так сказать, самобытно русского (касающегося психологии не только детской), по сути — многоликости и загадочности самого бытия. Вообще, автор не лишен чуткости к тем состояниям, когда сама за себя говорит эта психическая реальность, здесь он подлинный художник, может быть, и не осознавая того, но в этом ведь и неподкупность литературы!

В новелле «Астрономы» («Хлеб — имя существительное» назван повестью в новеллах) рассказывается о том, как два подростка, оставшиеся круглыми сиротами после голодного года, промышляют, чтобы выжить, тем, что ночами пилят на кладбище могильные кресты и продают их на базаре, как дрова. Жуть не только в самой картине страшной работы вьюжной полночью, среди могил, но и в том, что взрослые, догадываясь о происхождении дров, как ни в чем не бывало покупают их. Один из этих кладбищенских добытчиков рассуждает мысленно: «Пятнадцать рублей за один воз — это, брат, деньги! А бог, если действительно есть и если он действительно создал все на свете, в том числе и их, Петьку и Ваську, то он должен простить им этот грех. Сходят к отцу Леониду, исповедуются, признаются во всем — и делу конец. А может, и правду говорят в Петькиной школе — бога нет? Если бы он был, зачем же столько бед наслал на Петькину и Васькину головы?

Так мысленно Васька искал оправдания их кощунственным деяниям».

Как отличается это место от другого места в повести, даже целой новеллы, на ту же «антирелигиозную тему» — «Исповедь отца Леонида». Здесь почтенных лет рассказчик готов припереть к атеистической стене восьмидесятипятилетнего старика — священника Леонида, но, оказывается, этого и не надо делать, ибо батюшка сам охотно признается,

что он неверующий. Служит же он Богу потому, что, как считает, это полезно людям, помогает держать их в «нравственной узде»: мол, «мы исповедуем заведомо ложные идеи и потому должны быть изощренными в своей пропаганде», и вообще, говорит он, «мне поздно ломать профессию, хотя в душе я материалист» и т.д. Батюшка, конечно, ловкий, но очень уж смахивающий на плакатных служителей культа, вроде героев антирелигиозных повестей В. Тендрякова, какого-нибудь попика из «Апостольской командировки», узнающего о приезде в глушь молодого образованного человека и заявляющегося к нему (конечно же, и как ловец душ!) с поллитровкой в оттопыренном кармане, — это ли не характеристика человека в рясе! Но больше, пожалуй, это характеризует самого автора. Итак, если в первом случае по малости ума «кощунственные деяния» подростка и его самооправдание психологически объяснимы, то во втором случае — варианте, собственно, той же темы, исповеди священника в своем атеизме перед случайным человеком — это уже явно от литературного лукавого. При этом уровень доводов не превышает стандарта журнала «Наука и религия» («Вы старый, мудрый, грамотный, образованный человек, вы не можете верить в того, кого никогда не было, нет и, главное, не могло быть»; «церковь для многих была не чем иным, как сельской оперой!» и т.д.). Этого, конечно, мало для обогащения читателя. Так, в том же «Хлебе — имени существительном» сочетаются два разнородных слоя: конкретно-изобразительный и описательно-риторический. С одной стороны, встречаются жизненно-пронизывающие подробности. Некоторые мы приведем: «Когда хлеб стал созревать, в райкоме комсомола для мальчишек придумали новое занятие. Понастроили им на полях караульные вышки, посадили по два пионера на каждой и назвали этих ребят интригующими и очень высокими словами "легкая кавалерия по охране урожая". Ребятишки должны были со своих вышек обнаруживать кулацких "парикмахеров" — так прозвали тех, кто тайком забирался в зрелые хлеба и состригал в мешок колосья.

Петька и Васька не раз обнаруживали стригунов, дудели во всю силу в пионерский горн, колотили в барабан, а когда прибегали с полевого стана взрослые и настигали "парикмахера", то им чаще всего оказывался какой-нибудь сельский многодетный бедолага, подвигнутый голодом на такое дело. Мальчишкам было стыдно, они прятали глаза перед преступником и готовы были провалиться сквозь землю: нередко пойманный доводился им родственником — дальним или близким». «Мне давно хотелось пройтись по всем улицам и проулкам Выселок, точнее — по тем буграм и ямам, которые остались от бывших домов и дворов и по которым только и можно определить, где проходили те улицы и проулки до середины тридцатых годов. Из пятисот изб осталось теперь лишь сто пятьдесят: остальные триста пятьдесят — бугры и ямы. Бугры — от фундаментов. Ямы — от погребов и погребиц. Но я-то знаю, что далеко не все обитатели исчезнувших изб сами исчезли с лика земли». С другой стороны, такого рода лирико-патетические фигуры: «Василий глядел на небо и думал о чем-то своем, может быть, далеком, может быть, близком — кто его знает. Может, на какой-то из тех далеких и загадочных звезд тоже сидят где-то сейчас люди, думают все о нем же, о хлебе. А как же иначе?» «Может, Выселки все-таки придут в коммунизм со всеми вместе, а не последними. Как ты думаешь, дедушка Капля, а?..» (в обоих случаях это заключительная часть рассказов).

В «Хлебе — имени существительном» М. Алексеев оставил сюжет как нечто связующее повествовательную форму, систему образов в ней, и обратился к прямому разговору с людьми, своими земляками. Важен здесь сам интерес к землякам, не так уж часто встречающийся у писателей (а земляки — это всегда целая история, не отвлеченно-книжная, а во плоти человеческих судеб; так, в каждой деревне можно проследить историю, например, 30-х годов). Вспоминается выступление одного писателя в «Литературной газете», поделившегося с читателем открытием, что во время выезда столичной писательской бригады (куда он входил) в его родную область он заглянул в свою деревню (в которой не

бывал десятилетиями) и обнаружил, что там у него живет сестра — это ли не чуткость к родне, а через нее и к землякам? Выводимые М. Алексеевым деревенские люди уже тем интересны, что каждый из них своей индивидуальностью дополняет другого, как говорит сам автор: без этих людей селение «утратило бы свою физиономию, свой характер, больше того — свою душу». И этих людей, в самом деле неповторимых, со своей житейской, жизненной метой, со своим положением среди подобных себе, автор представляет читателю так же охотно, как охотно сам общается с ними.

О жизни земляков он знает, конечно, много такого, что и не попало в «новеллы» (очень уж не русский жанр эта «новелла», тем более не для бремени русской деревни). Читатель может догадываться, по отдельным частностям, о характере некоторых ситуаций, психологических «замет» в жизни героев, хотя автор предпочитает ограничиться при этом игровым, что ли, юмором. Такова, например, история со стариком Иннокентием Даниловичем, который, преисполнившись доверия к рассказчику, затащил его в свои «святая святых» — на чердак и, «зачем-то все время озираясь», извлек из трубы кирпич, а оттуда черную тряпицу, в которой оказалась его давняя награда — Георгиевский крест с муаровой лентой. Рассказчик спрашивает старика, отчего он не носит награду, а прячет ее?

«— А не посадят? — спросил Иннокентий Данилович, подозрительно глядя на меня. — Царская ведь награда!

— Что ж царская? Ты за отечество сражался. При чем тут царь?

— Это верно. Стало быть, ее можно носить?

— Конечно. Многие старики в эту вот войну ”Георгия” носили. И никто им ничего...

— А не врешь? Не потянет меня наш депутат Акимушка в сельский Совет или даже к самому прокурору?

— Не потянет».

Вечером старик сидел в первом ряду на концерте сельской самодеятельности, и на груди его красовался «Георгий» к гордости рядом сидевшей его старухи и к восхищению

детворы, любовавшейся диковинной наградой. Экий чудак старик, и чего боялся? Ну не анекдот ли?

В «Хлебе — имени существительном» есть «новелла» под названием «Журавушка» — о судьбе молодой солдатки, доярки, одной из тех, на которых в войну и в послевоенное время держалась русская деревня. От этой ласковой «Журавушки» — прямая дорога к столь же ласковой «Ивушке неплакучей» из одноименного последующего романа. Не ставя своей задачей подробно говорить об этом романе М. Алексеева, коснусь лишь некоторых его сторон — в их отношении к «Драчунам». Трудность для автора, видимо, была в том, что он писал о действительности, которую непосредственно не знал, — о жизни деревни в войну и первые послевоенные годы, тогда как по природе своего таланта, как это видно по его книгам, он писатель именно увиденной, пережитой действительности, это и придает убедительность его картинам. И в «Ивушке неплакучей» все наиболее живое, впечатляющее своим источником имеет реальный опыт автора, как, например, довоенный деревенский быт, приезд молодого офицера Сергея Ветлугина (в котором угадывается нечто автобиографическое) после войны в родные саратовские места, первые встречи с земляками, с родными, теплота разговоров и вместе с тем разыгрывающиеся на его глазах драмы, как наследие войны, вдребезги разбивающие его мечты о послевоенном рае, и т.д. Но роман сводится все-таки преимущественно к жизнеописанию молодой героини Фени Угрюмовой (она и есть Ивушка неплакучая): это и трудовая ее жизнь, работа в войну трактористкой с таким кульминационным подвигом, как вытаскивание ею с помощью закрепленного троса потопленного трактора из ледяной воды; рост ее до бригадира трактористок и до такого высокого общественного положения, как депутат Верховного Совета республики. В то же время это и история ее личной жизни, вдовства ее после гибели мужа на войне, а затем последующих любовных привязанностей — к «радости ее нечаянной» лейтенанту Мищенко, вскоре погибшемув бою, и к Авдею, давнему своему, еще до войны, возлюбленному. Эти взаимоотношения

между Феней и Авдеем, с разлуками, ссорами (Авдей в отместку даже женится на другой, хотя и возвращается в конце концов к Фене), схождениями и расхождениями, занимают столь много места в романе, что мельчат в целом все повествование, тем более что сама атмосфера времени действия — голодный 1947 год, казалось бы, вовсе не в характере этой занимательности. О пафосе романа можно сказать словами секретаря райкома Знобина, который обращается к трактористкам с такими словами: «Спасибо вам, девчата! Знаете ли вы сами-то, что вы такое? Придет время, Феодосья Леонтьевна, и вам воздастся полною мерой. Будь на то моя воля, я бы уже и сейчас памятник вам поставил!» И об этом же говорит, вернее, думает Сергей Ветлугин (подполковником демобилизованный из армии, чтобы «писать»): «Ведь мы там, на фронте, одержали лишь военную победу. Остальное делали и делают они, вот эти русские бабы. Где, в какой еще стране отыщете вы таких...» Сергею Ветлугину вспоминаются по этому поводу стихи: «Мы о вас напишем сочиненья, полные любви и удивленья...», и он заключает: «Когда же и кто напишет их, эти сочиненья? Пора бы уж!» Предыдущий стишок вносит литературный настрой в тему, не очень подходящую для такого рода литературных ссылок, не сказывается ли это и на самом авторском отношении к теме?

И в «Ивушке неплакучей» — опять воспоминания о 1933 годе: «в голодном тридцать третьем», «страшный тридцать третий», «в горьком тридцать третьем», «ни матери, ни отца у нее не было — померли в тридцать третьем», «полынный тридцать третий», «давно ушедшие из жизни при трагических обстоятельствах...», «тридцать третий годик прокатился по-над Волгой-матушкой лютее иной войны, сколько народу смахнул с землицы — не счесть!», «во второй раз оказался за решеткой уже гораздо позднее, в голодном тридцать третьем, когда пытался принести домой с полей немного ржи», «он был убежден в том, что тридцать третий, непонятный для него, нелепый и страшный, не повторится». Характерно то, что насколько, в сущности, далек автор от атмосферы деревенской жизни первых послевоенных голодных лет (так

правдиво переданной, например, в рассказе В. Белова «Весна»), настолько в этом повествовании о другом времени он не может уйти от тридцать третьего года, больше думает о нем — вот что значит пережить страшное время самому, а не судить о нем по слухам, даже по свидетельству других.

...Что же это за лихой год для писателя, который стучится в него, тревожит память, подводит к какой-то мучительной черте, которую он так долго не может переступить?! И вот этот решительный шаг, кажется, сделан. В новом романе — «Драчуны» — все кажется преобразованным. Как будто отставлена в сторону шахматно-романная доска с заранее рассчитанной партией, забыта осторожность сделать необдуманный ход, стало решительно не до игры. Как будто не в радость уже само писательское амплуа с его ненасыщающими душу всяческими ролями и успехами; автор, кажется, забыл, что он писатель, просто подступило к сердцу то, что надо непременно высказать, освободиться от долго сдерживаемой внутренней тяжести, и это становится главным. Так возникает детство в «Драчунах» с его удивительным миром природы и недетским жизненным опытом. Показанное в романе первое же мироощущение главного героя — подростка Миши связано с природой, со всем живым в ней. Это двойная содержательность: внутренней жизни подростка, живущего в природе, и художественная содержательность — извлекаемое из этого общения с природой такое обилие подробностей, образов, переживаний, которое образует одно из главных изобразительно-психологических направлений повествования. Между прочим, и доверие к повествованию возникает с самого же начала благодаря именно художническому восприятию природы. Весенняя жавороночья пора, прилет скворцов, совпадающий с половодьем, само половодье с тронувшимся льдом и т.д. — все это видится так зримо и передано так уравновешенно, предметно, без всякого «пейзажного» подчеркивания, что становится как бы уже эстетическим эквивалентом самой природы. Сделаем небольшую выписку о половодье, дающую представление о сказанном выше: «Все начиналось с робких ручейков, оживавших лишь к полудню,

а к вечеру замиравших от зябкого прикосновения легкого в общем-то морозца, но вполне достаточного для того, чтобы до следующего полудня укротить, умертвить все ручейки. Однако они упрямо оживали и с помощью солнышка день ото дня становились смелее и напористее, а потом, объединив свои силы, давали настоящий бой вечерним и утренним заморозкам, уступая им лишь свои закраины, а двумя-тремя днями позже не уступая и этого. Колеи от саночных полозьев превращались в желоба, по которым вешние воды устремлялись в низины и по ним добирались до реки, проникали под толстую твердыню льда, казавшуюся до поры до времени несокрушимой. Там и сям слышался звонкий — поначалу детский — лепет малых ручейков, вскоре к нему подключался басовитый — уже не лепет, а прямо-таки львиный рык: это заговорили овраги. Их желтые воды устремлялись сперва на Малые и Большие луга, в одну ночь (почему-то такое случается только ночью) заполняли их и мчались в лес Салдыковский и Малогриевский и через лес — сразу под ледяные панцири двух рек: Медведицы и Баланды. В такие-то ночи и раздавался, будя людей, хлопающий взрыв на вчера еще тихих и смиренных речках. Это под напором хлынувших отовсюду потоков лопался, ломался, рушился лед. Дождавшись утра, я и Ванька бежали на берег Баланды, чтобы по возможности первыми возвестить селу волнующую, всегда сильно возбуждающую и малого и старого новость: "Лед тронулся!"» Жизнь везде, куда ни попадает жадный до впечатлений детский взгляд (и художнический взгляд самого писателя): и в ослепительной глубине небес, где почти невидимый заливается серебристый, трепещущий жаворонок; и в траве, где молодой косец потрясенно смотрит на порезанный им целый перепелиный выводок, из которого единственно уцелевший птенец, лежа «пушистым пузцом вверх и суча лапками», силится перевернуться и встать на ноги, чтобы убежать и скрыться в траве; и в реке с ее разнообразным населением: от снующих мальков, упрямо держащихся встречь течению пескарей с длинными усиками до буравящих зеркало омутов медночешуйчатых сазанов; и в степи со скрытой жизнью всякого в ней зверья со своими повадками и нравами

и т.д. Природа, в которой живет подросток, самой неложностью своей оттеняет особенности тех условий, в которых дано формироваться детской душе, подчеркивает неистинность, ложность всего искусственного, навязываемого ей.

М. Алексееву хорошо известен деревенский быт, но мало сказать, что он знает этот быт, он любит его и все связанное с ним, с обжитым миром деревенского дома, отношением к земле, труду, сложившимися издавна нравами, моральными представлениями — все это одушевлено чувством, проникнуто пониманием не только эстетической, но и нравственной важности этого быта. А как поэтично описание такой принадлежности старого крестьянского быта, как ярмарка с ее яркими красками, праздничной сутолокой, гулом голосов, ввинчивающимися звуками свистулек, дудочек, перебивающими друг друга, заманивающими криками торговцев, нарядной каруселью с разноцветными конями, белыми лебедями, несущимися под веселую музыку невидимого граммофона; с чудесами за белой занавескою в цирке; с купленными игрушками, заливающими радостью детскую душу.

Быт всегда имел огромное значение в жизни, в истории народа. По словам одного из русских мыслителей, Россия жила многоярусным бытом. Из этого многосоставного быта и могло только родиться то богатство русской культуры, которое сделало ее феноменальным явлением в мировой культуре. И потому-то были возможны, скажем, метафизические глубины исканий героев Достоевского, что за всем этим был «тыл» положительных сил в виде того векового бытового, нравственного уклада крестьянской жизни. Быт — это устойчивость при всех возможных изменениях, противоречиях в нем. Не может быть бытом общежительская свалка, миграция, вокзальное коловращение людской массы, это может быть признаком времени, но не почвой для культуры, так же как и всякая унификация образа жизни. Главным в крестьянском быте была нравственная его основа, обнимавшая все стороны существования и деятельности человека. Недаром крестьянский труд издревле считался праведным, безгрешным по сути своей: земледелец, добывая

пропитание собственным трудом, не имеет нужды обманывать других, прибегать ко лжи, насилию. Демагогией здесь никаких плодов не добудешь и не приумножишь. Эта праведность самого земледельческого труда, определявшая и то в быту, в психологии крестьян, что мы теперь так снисходительно именуем «патриархальным началом», видя в этом нечто недоразвитое в сравнении с нами, ультрасовременными умниками. В «Драчунах» читатель застает этот быт уже как бы в последнем акте его исторической драмы. Здесь нет уже той «помочи» — удивительной коллективной помощи крестьян нуждающемуся, попавшему в беду односельчанину, которая была извечной традицией деревенской жизни, о которой писатель подробно рассказал в своем романе «Вишневый омут». Русская деревня в «Драчунах» — на переломе 20—30-х годов, с еще живущими чертами традиционного быта, но и уже вторгающейся в него, переворачивающей его лемехами социального эксперимента небывалой новизной. Ценность романа и в том, что в нем как свидетельство очевидца и с исторической достоверностью зафиксированы те характерные подробности, которые были как бы отправными точками складывавшейся «новой жизни» в русской деревне. Тем более эти подробности показательны, что они даны автором без всякого утрирования, а даже с какой-то объективной теплотой, как нечто, принадлежащее по праву его поколению. Речь идет, например, о первом тракторе, появившемся в деревне. «Пройдет немного времени, и по всей стране покатится немудрящая песенка: «Прокати нас, Петруша, на тракторе, до околицы нас прокати» — вспоминает автор. Поразительное зрелище! Переключение энтузиазма, духовной энергии молодежи на своеобразный культ трактора, «фордзона», поклонение ему — это факт не просто «нового быта», но и какого-то даже сверхбытового смысла, вносящего в мироощущение невиданное качество. Деревня потрясена увиденным трактиром, а ведь было еще задолго до этого в России чудо техники куда «похлеще» замарашки-«фордзона» — хотя бы Великая сибирская железная дорога, поразившая мир как величайшее техническое достижение XIX

века, но стоит ли удивляться этому? Да и само русское земледелие: вроде бы был В. В. Докучаев, лучшая в мире русская агрономическая наука, но и это — какой же предмет для энтузиазма? «Прокати нас, Петруша, на тракторе, до околицы нас прокати» — это уже целая эпоха в сознании целого поколения, не только трактор. В последующей истории, впрочем, этому трактору суждено еще будет сыграть немаловажную этическую роль, недаром в советской литературе героической стала ситуация, когда молодой тракторист идет на гибель, чтобы только спасти свой трактор, — об этом написано немало произведений в самых разных жанрах.

Подобных отправных точек новой жизни немало в романе М. Алексеева, в согласии с документально воспроизводимой им тогдашней действительностью, но фокусом, в котором сходится эти новообразования, где они преломляются, является образ подростка, через него и создается в романе сравнительная полнота мироощущения, социально-бытовых особенностей времени. Это не вообще детство в его психологических нюансах, а детство подростка, живущего в русской деревне начала 30-х годов, впитывающего в себя не только прелесть окружающей природы, интересы сверстников, но и все происходящее в мире взрослых, вплоть до тех ужасов, о которых будет сказано ниже. Да, это детство социальное, с уникальной формовкой сознания и психологии. Русская литература никогда не знала того, что называется «секцией детской литературы», «детскими писателями», не знала столь расхожей сейчас в «детской литературе» игрушечности «проблем», плоской дидактики, казенного учительства, фальши, в сущности же — полнейшей оторванности от реальной жизни детей, мертвящего равнодушия к тому, что должно составлять истинную заботу писателя о детях (если он берет на себя ответственность служить им), — к действительному общественному положению детей. (Мы, конечно, знаем, в «детской литературе» есть и другие, более активные, действенные формы воздействия на детские души и в определенном направлении, но разговор об этом увел бы нас далеко в сторону.) Как дети живут в той же действительности, что

и «взрослые», только обостреннее чувствуя противоречия жизни (поэтому Толстой и называет детей «увеличительными стеклами добра и зла»), так изображение детей в русской литературе всегда было органичной составной частью исследования русской жизни, дополнительным, особым углом зрения на нее. Такое же детство и в «Драчунах». В этом отношении роман М. Алексеева не очень выгодный сосед для нынешней «детской литературы», одним уж тем, что напоминает невольно о вроде бы давно забытых в ней традициях в изображении детей. Но в этом преимуществе перед тем, что, собственно, и не относится к литературе, пожалуй, немного и лестного для автора. Дело в другом. В изображаемом писателем детстве выразились такие свойства детской психологии, которых не было в прежних автобиографических книгах русских писателей и которые, может быть, более знаменательны для своего времени, чем все другое. Здесь речь идет не о художественном сравнении «Драчунов» со знаменитыми автобиографическими повестями С. Аксакова, Л. Толстого, М. Горького, книга М. Алексеева уступает им в эстетической цельности, в выпуклости характеров, в самой языковой одушевленности. Вообще, какая-то внутренняя приглушенность лежит на повествовании, я бы довел даже свою мысль до резкости — как бы какая-то контуженность, и это не столько состояние повествователя, сколько сам воздух романа, дающий почувствовать время в его существенностях, может быть, гораздо точнее, чем вся внешняя его атрибутика. В переводе на другие языки это состояние (живущее в самой стихии языка) может и утратиться, но для русского читателя оно очевидно, многозначительно, и без этого неполна сама содержательность романа. Что же нового внес писатель в автобиографический жанр? Не вдаваясь в подробный разговор о таких гениальных книгах, как «Детские годы Багрова-внука» С. Аксакова, «Детство», «Отрочество» Л. Толстого, заметим только, что в обоих случаях детское сознание развивается имманентно, внутренне свободно, не лишаясь цельности не только в гармоничном, в общем-то, мирочувствовании героя повести Аксакова (при всем драматизме некоторых

событий, вроде испытываемого мальчиком ужаса при виде умирающего дедушки), но и в психически противоречивом миропредставлении толстовского героя с его рано развитым чувством личности, рефлективность ее. Это дворянское детство, в определенной мере культурно детерминированное. У Горького детство мещанское, разночинское («Детство», «В людях»), «свинцовые мерзости», которые повсеместно виделись ему, не деформируют, однако, детскую душу, не расщепляют ее; эти «свинцовые мерзости» давят юного протестанта со стороны, вызывая в нем сопротивление и, в конце концов, торжествующее сознание своего превосходства над ними. В «Драчунах» детство крестьянское, совпадающее с невиданными событиями, потрясениями в тысячелетней истории русского крестьянства, народа. Идущие из глубин времени стихия быта, народная мораль еще питают внутренний мир подростка, его задушевнейшие движения, хотя эта связь уже почти бессознательна с его стороны. Сознание же подростка живет иным, оно захвачено не меньшим, чем мировые события. В школе объединяющим детей началом служит разучивание революционных песен. «На домашнее задание у Михаила Федоровича уходило не более пяти минут, а остальное время мы разучивали новые революционные песни». Одна из них начиналась словами:

Слезами залит мир безбрежный...
Лейся вдаль, наш напев,
Мчись кругом!
Над миром наше знамя реет, —
Оно горит и ярко рдеет.
То наша кровь горит огнем.
То кровь рабочего на нем!

«Охваченные уже и сами этим огнем, нагретые им чуть ли не до кипения, мы не замечали, как за большими окнами нашего класса на улице собиралась толпа мужиков, баб и девчат, заскучавших, похоже, оттого, что церковь порушена и что не было теперь спевок при ней, собиравших все лучшие

голоса, какие только были на селе». И дома, даже на сеновале, перед сном дети разговаривают все о тех же мировых событиях, разучивают все те же революционные песни. «Особенно нравилась нам одна. Ее мы услышали... когда нас принимали в пионеры и когда вроде бы я никого и ничего не мог слышать и слушать, кроме легкого шелеста и похлопывания под порывами ветра пламенного лоскутка материи на моей груди. Но эту я услышал:

Ах, какой у нас дедушка Ленин,
У которого столько внучат!..
Я хочу умереть в сраженье
На валу мировых баррикад.

— А что такое баррикада? — спрашивал меня Ванька.

— Не знаю, — отвечал я честно.

— А я знаю! — гордо возвещал Ванька.

Чтобы подзадорить его, я суперечил:

— А вот и не знаешь!

— А вот знаю!

После небольшой словесной перепалки Ванька изрекал наконец:

— Баррикады, знаешь, это... это такая высоченная-превысоченная штена ш пушками и пулеметами. Па-па-па-пах-пах!.. Во!»

Поистине феномен детской психологии, столь правдиво раскрытый писателем, — это внедрение в детское сознание классовой бдительности. Особенно характерна в этом отношении упоминаемая мною раньше история охраны школьниками урожая. Среди «кулацких парикмахеров» оказывались и многодетные женщины, которым нечем было кормить детей. Не только люди, но и сама природа в детском сознании, воображении наделяются как бы подозрительными свойствами, бдительность переносится и на нее. Вот удивительное состояние крестьянских детей среди ночной природы: «Прижавшись поплотнее друг к другу и согреваясь таким образом, мы напряженно прислушивались ко всем шорохам,

которых прежде не улавливали и которые сейчас были отчетливыми и пугающими. Пролетевшая рядом сова черканула по нашим расширившимся глазам тенью своего бесшумного лохматого крыла и заставила вздрогнуть; "тю, тю, шалава" — вырвалось у Ваньки, и, желая скрыть от меня свой страх, он ненатурально засмеялся.

Где-то посреди ночи, в самую, значит, глухую пору, нам почудилось, что к подножию мара подкралась волчья стая, мельтешившие внизу, под нами зеленые огоньки показались их глазами; прежде чем мы сообразили, что никакие это не волки, а обыкновенные светлячки — прежде всего натерпелись такого страху, что долго не могли потом унять охватившей нас дрожи. Забредшая во ржи чья-то блудливая, отбившаяся с вечера от стада корова была принята нами за большую артель "кулацких парикмахеров", организовавших набег на колхозные поля; цепенея от ужаса, мы решали про себя, что нам делать — подымать ли шум, чтобы нас услышали ночующие в тракторной будке, у Правикова пруда, мужики, или затаиться, прикинуться, что нас тут и нету вовсе». Сравните крестьянских ребятишек в ночном в «Бежином луге» Тургенева с их растворением, при всех суеверных чувствах, в ночной природе и эту ночную настороженность маленьких «кавалеристов», готовых принять каждый ночной степной звук за вражескую вылазку, и вы почувствуете качественное изменение в детской психике даже и в отношении к природе. «Так или иначе, — заключает эту историю автор, — но хлеба были сохранены. Не думаю, чтобы решающую роль тут сыграла наша "легкая кавалерия", но именно она была на ту пору героиней... Для этого хорошо постарались и местные, и районная пионерские организации. В конце уборочной страды, в которой мы, дети, приняли самое активное участие, в Баланде был проведен слет бойцов "легкой кавалерии"... Речей, которых было произнесено очень много, я почти не слышал, потому что был оглушен бурно стучавшим сердцем и прихлынувшей к ушам кровью. Венцом торжества было награждение пионерскими костюмами (костюм этот состоял из белой ситцевой маечки и синих

сатиновых трусиков). Награды вручались ребятам, наиболее отличившимся в охране урожая». Тем более убедительны такие свидетельства, что автор ничего не преувеличивает, не мудрит задним числом, а пишет так, как было, сохраняя свое отношение к прошлому как к некоей детской святыне.

Отношения внутри семьи психологически очень показательны. Мы не будем здесь останавливаться на сыновнем чувстве маленького героя к рано умершей матери, составляющем драгоценный клад его памяти и освящающем во многом повествование: и без слов ясно, что означает это для автора. Образу матери, однако, недостает какой-то индивидуальной проявленности, большей четкости, как будто в авторских чувствах живущий облик самого дорогого, может быть, человека, несколько размывается от слишком близкого взгляда. Женская покорность судьбе, терпение в супружестве с довольно беспутным мужем, материнская самоотреченность вносят элегическую ноту с самого же начала, пока она не оборвется тридцать третьим годом.

Отец потому, видимо, и вышел ярче, выразительнее, чем мать, что он деятельнее как социальный тип, оказавшийся в самом водовороте событий. Он, судя по всему, не из трудолюбивых мужиков, дома хозяйственными заботами не обременен, переложив их полностью на жену, он уже почувствовал свое место в руководящих рядах. Секретарствуя в сельском Совете, он не прочь и злоупотребить своим положением, пуская при этом в ход демагогические угрозы. Так, из-за личных счетов он вторично облагает налогом соседа.

«— А чего мне стыдиться? Это не я, а ты не уплатил налога, обманул Советскую власть! — Отец только теперь поднял глаза на Жукова. — Если б уплатил, у тебя была бы на то справка. Есть она у тебя?.. Нету?

— Ты ж, хохленок, мне ее не выдал! — чуть не плача, заорал мужик. — Не выдал, а теперича...

— Кабы уплатил, выдал бы.

— Ну, Миколай, постой... Я этого не оставлю! Я те... я те... так твою мать, покажу!

— А вот за то, что угрожаешь властям расправой...

— Какая ты власть! — взорвался Григорий Яковлевич. — Дерьмо ты собачье, а не власть!..»

Это он уже оценил выгоду отождествления себя с властью: кто не согласен с ним, тот, значит, не согласен с властью. И вместе с тем не так прост Николай Михайлович, отец рассказчика. Ему в тягость работать вместе с председателем сельсовета Ворониным, «великим мастером на придумывание социальных кличек», как называет его автор, видящим свою задачу в том, чтобы как можно больше значилось в списке «кулаков», «кулацких подпевал», «подкулачников», «подноготников» и т.д. Николаю Михайловичу не по душе такая огульная расправа над земляками (в числе которых многие его родственники), связывающие его с ними глубинные потребности жить «по совести, по справедливости» вносят двойственность в его сознание. Наш активист оказывается в довольно затруднительном положении: нельзя перечить раскулачиванию хотя бы и невинных, и в то же время совесть велит помогать им. Дома, в кругу семьи, вырывается у секретаря сельсовета то, о чем он молчит на службе: «Теперь успевай поворачиваться: попрут со всех концов села сродники за разными справками». И на слова жены: «Что поделаешь, отец? Коли могешь, помогай» — он отвечает: « Легко сказать — помогай! А как? — И, кажется, именно в ту минуту окончательно сложилась в потревоженной душе отца и вырвалась наружу формула, которую мы слышали от него много раз: — Как, я тебя спрашиваю? Ты попробовала бы служить одновременно и богу, и черту! А я служу».

Целая народная эпопея — история тех, кому помог секретарь сельсовета своими справками: тайком покинувшие в свое время родное село, они разбрелись, разъехались, затерялись по разным углам страны, начавши новую жизнь, не подавая десятилетиями никаких вестей о себе, и нечаянная встреча автора с некоторыми из них — как болевой толчок, задевающий очень многое: и в прошлом села, и в судьбе этих лиц, и в душевных борениях отца, и в писательском раздумье его сына, окрашивающем рассказ грустной мудростью.

В семейных картинах, так живо написанных, напитанных

бытовыми приметами времени, личным отношением рассказчика к матери, к разладу между нею и отцом, есть и нечто сверхбытовое. Семья — это действительно уже та социальная клеточка, в которой отражаются происходящие в крестьянской, народной жизни перемены, перерождения. Отец уже не глава семьи (поэтому дети и решаются на мщение ему, бросают камнем в окно, в избу, где он пирует с возлюбленной). У рассказчика даже вырывается как бы непроизвольно об отце: «клацнув по-собачьи зубами», хотя он, конечно же, отец, и сын для него все-таки сын, в его понимании. Есть удивительное место в романе: во время голода отец, перебравшийся к тому времени в другое село, устроившийся там все тем же секретарем сельсовета, привозит муку, небольшую баранью тушку (чтобы помянуть умершего от голода отца). Видя, что семья остается без хлеба, он забирает с собою сына Мишу, чтобы меньше в оставленной семье было хотя бы одним голодным ртом. В новом селе, где жил теперь отец, в новой его избе сына ждал «заваленный едою» стол, за которым хозяйничала возлюбленная отца, подсовывая к моему носу куски белого пшеничного хлеба, сваренное во щах и оттого оглушительно-вкусно пахнущее баранье мясо, подрумяненные пирожки с зеленым луком и яйцами... от всего этого голова шла кругом, глаза застились мутью, голодное брюхо требовало, чтобы я поскорее набрасывался на еду и насыщал его». После этого потрясающего обеда отец говорит сыну: «Возьми с собою пирожков-то да переоденься в пионерский костюм, в сельсовет пойдем».

«В сельсовете, куда мы пришли... отец, вообще любивший похвастаться, начал хвастаться теперь перед молодым человеком, оказавшимся председателем Кокодиевым...

— Он у меня молодец, — говорил между тем папанька, поворачиваясь лицом к вошедшим в кабинет каким-то другим людям, — его прошлым летом район пионерским костюмом наградил за охрану урожая. Только не захотел надеть его, паршивец. Стеснительный больно.

— Не в батьку, видно, угодил, — обронил кто-то. Контора сдержанно засмеялась».

Кончилось тем, что ночью, когда пировавшие в доме отца Кокодиев и другие гости разошлись с первыми петухами, мальчик тайком вышел из ненавистной избы и пустился в побег. Но и другим кончилась эта последняя (вскоре отец исчез неведомо куда) встреча с ним: отец настиг ночного беглеца и, не уговорив его вернуться к нему, сказал на прощанье:

«— Ну, прощай, Миша, не суди строго папаньку. — Отец прижал меня к груди своей, неловко ткнулся несколько раз в мою щеку мокрыми жесткими усами и легонько подтолкнул в спину: — Ступай».

Выходит, что отец и сын — из тех же «драчунов», которые дали название роману. Теперь мы обратимся к этим «драчунам». Вся история заварилась оттого, что два друга детства Миша Алексеев и Ванька Жуков по глупейшему недоразумению надавали друг другу тумаков, даже не зная почему, их захлестнула вдруг ненависть друг к другу, и вчерашние друзья стали яростными врагами. Дело этим не ограничилось: драка разрослась, как снежный ком, в нее тут же втянулись другие школьники, а вскоре и взрослые жители села, так что в конце концов вспыхнула «грандиозная драка», охватившая массу людей. Такова история «драчунов», которая в романе, как музыкальная тема, постоянно варьируется. Вот несколько таких «вариаций» этой темы: «Было бы еще полбеды, если б в них участвовали лишь два пацана (велика печаль!), но ведь в наши потасовки неотвратимо втягивалось все большее число людей разных возрастов, и глухая волна ежели не открытой вражды, то неприязни и отчуждения грозила выйти из берегов и захлестнуть все село, жители которого с давних лет переплетены тесными узами родства, сватовства, кумовства и других привязанностей». «А пора бы уж и поумнеть. Разве революция и гражданская война мало нас учили?.. Вот что, Николай Михайлыч, вы мне эту драчку бросьте. Доведет она вас до большой беды». «Зло, Мишанька (говорит дед внуку), — все равно что сорняк. Посеешь его, с умыслом, нечаянно ли, попробуй потом выполи! Так ухватится, так расползется вокруг, вон будешь дергать — не

выдергаешь. Помиритесь, покамест не поздно, Мишанька... И нас, больших, не обошла стороной ваша ссора». «Миш... Миша... Михаил!.. И зачем только люди дерутся?.. Давай с тобой никогда... ну, сроду не будем драться!» и т.д. Писатель придает важнейшее, первенствующее значение этой теме, ревностен к тому, понимают ли читатели романа смысл его «драчунов». Об этом он не устает напоминать в ходе самого повествования, может быть, даже с излишним подчеркиванием. Об этом же, более конкретно, говорит он в беседе о своем романе: «Рисуя многочисленные и тяжелые испытания, выпавшие на долю моих героев, стремился я показать, что в жизни для того, чтобы события не приняли непредвиденный оборот, нужно согласие людей, желание сородичей-единомышленников выслушать и понять друг друга». «В «Драчунах» я показываю, какой страшной вещью в деревне была подозрительность, когда злоба застилала свет дня героям... подспудная моя сверхзадача состояла в том, чтобы напомнить о дне вчерашнем, о промахах и ошибках, которые дорого обошлись». Характерно, что эта мысль о тягчайших последствиях подозрительности, искусственно разжигаемой вражды все более входит в сознание литературы, обращающейся к прошлому русской деревни (как, например, в романе И. Акулова «Касьян Остудный»). И это могло бы быть запоздалым морализированием, если бы не тот факт (исторически не раз подтверждавшийся), что посеянное рознью может взойти горькой, отравленной жатвой для последующих поколений. Важно, что понимание этого стало достоянием уже общественного сознания. В нашей литературе был и прежде опыт такого рода, как, например, в творчестве Константина Воробьева, русского писателя, до сих пор недооцененного, пронесшего до конца своей жизни (он умер в 1975 году) верность своим выношенным, выстраданным нравственным убеждениям. В книгах К. Воробьева душевное родство рассказчика и героя согревает повествование, возвышает его нравственно. Но какой надо было проделать путь, сколько всего пережить, перестрадать, чтобы эти отношения стали родственными! В повести «Почем в Ракитном радос-

ти» рассказывается, как герой в прошлом еще, задолго до войны, подростком, предал своего родного дядю, предал неосознанно, не понимая все подлости своего предательства, стоившего невинному человеку почти жизни. И вот спустя десятки лет, уж после войны, они встречаются в родной деревне. Оба постаревшие, чудом оставшиеся в живых — можно представить себе, что на душе у племянника, виновного в покалеченной жизни дяди. По праву ждет он ненависти, презрения, проклятия, но что происходит?

«Мало ли каких слов я ждал в ту минуту, но из этого ничего не сбылось, — дядя Мирон не сразу, молча и дробненько подошел ко мне, глядя куда-то в угол мельницы, и лицо его было белым, как мука. Я не знал, с чем он шел, и поэтому не двигался с места. Он подступил ко мне вплотную и не то сказал что-то, не то охнул, и голова его очутилась у меня под мышкой, — до такой степени, оказывается, дядя Мирон был мал ростом. Я обнял его за плечи и зажмурился...

Потом мы стояли друг против друга, и дядя Мирон водил по моему лицу шершавой, как брезентовая варежка, ладонью и спрашивал:

— Да ты чего это? Слышь?

— Это так, — сказал я. — Сейчас пройдет...

— Племяш, сгреб его мать! — плачуще сказал дядя Мирон всем, кто был на мельнице. — Я сразу признал, как только увидел. Он, думаю! Так оно и вышло... Племяш!..»

В этом и сила русского характера — в неистребимой человечности, несмотря ни на какие превратности и удары судьбы. В этом и оправдание многого в заблуждениях, хотя и поздно зачастую приходит такое понимание. Но, собственно, к этому сводится и путь — свело ли людей общее прозрение, или они ушли из жизни, так и не узнав друг друга, не испытав взаимного глубинного чувства выстраданной общности. И сам Константин Воробьев ушел, так, видимо, и не узнав многих своих собратьев по убеждению, по отношению к главным для него, больным вопросам времени.

Есть в русской литературе психологический «феномен», имеющий особый исторический смысл. В шолоховском «Ти-

хом Доне» это история взаимоотношений между Григорием Мелеховым и Мишкой Кошевым, первоначальная их дружба и последующая вражда, непримиримая со стороны Мишки Кошевого. Оба они из одного хутора, друзья детства, даже в известной мере родственники (сестра Григория Дуняшка замужем за Мишкой). У Мишки Кошевого много еще юношески неустоявшегося, непосредственного, склонного к противоречиям. В округ приезжает Штокман, когда-то до Октябрьской революции ведший здесь подпольную партийную работу среди казаков, а теперь направленный сюда для работы в политотдел восьмой армии. С приездом Штокмана происходит переворот в сознании Мишки Кошевого. Он почти с детским доверием относится к Штокману: «Мишка часто хватался за рукав штокмановской шинели, будто опасаясь, что вот оторвется Штокман и скроется из глаз или растает призраком». Штокман преподает членам хуторской ячейки урок беспощадно трезвого отношения к «классовой правде». Один из них, узнав о расстреле арестованных хуторян, потрясенный, бежит к Штокману, думая, что он будет возмущен этим, напуган последствиями, но тот, медленно натягивая рубашку, выпростав голову, попросил: «Ты не кричи. Хозяйку разбудишь...» Отчитав прибежавшего к нему «за слюни интеллигентские», Штокман заключает: «Была ли необходимость расстреливать в данном случае этих людей? Я думаю — да! Может быть, не всех, но Коршунова, например, незачем исправлять! Это ясно! А вот Мелехов, хоть и временно, а ускользнул. Именно его надо бы взять в дело! Он опаснее остальных, вместе взятых. Это ты учти». Григорий Мелехов, командовавший дивизионом красных конников и после этого вернувшийся в родной хутор, теперь, после расстрела арестованных хуторян, «ускользнул». Внешне, «сюжетно» пути Штокмана и Мелехова не сходятся, они действуют в разных обстоятельствах, связи здесь не прямые, косвенные, через воздействие Штокмана на Мишку Кошевого, вступающего в схватку непосредственно с Григорием Мелеховым. Для Мишки Григорий теперь непримиримый враг, «опаснее остальных», об этом он прямо скажет Григо-

рию. Штокман цепко держит в поле зрения происходящую схватку, Мишка, посланный арестовать Григория, возвращается и сообщает, что Григорий скрылся из хутора, уехал на Сангин к тетке. Штокман, «глядя на белый Мишкин оскал, на глаза его, смотревшие улыбчиво и преданно, процедил:

— Дорогу на Сангин знаешь?

— Знаю.

— Чего же ты вернулся? А еще говоришь — с немцем дрался... Шляпа! — и с нарочитым презрением сощурился».

В схватку с Мелеховым вступает характер цельный, в известной степени равный по силе характеру Григория, эта внутренняя борьба идет с тем большим ожесточением, что борются не отвлеченные идеи, а именно сильные характеры. Для Мишки Григорий Мелехов — непримиримый классовый враг, вчерашние друзья оказались разведенными во враждебные станы.

Подобные «ситуации» могли бы быть для досужих умов предметом исследования, что называется, психологического новаторства, не имевшего места в мировой литературе. Возвращаясь снова к алексеевским «драчунам», мы увидим, как благодетельно их примирение не только для них самих, но и для всей деревенской среды, для всей нравственной атмосферы романа — проявляющаяся местами некоторая аллегоричность в выражении идеи отступает в конце концов перед психологической реальностью.

Теперь мы подходим к черте в романе, за которой кончается литература и вступает в действие обжигающая правда самой народной жизни. Не решавшийся до сих пор говорить об этом, только дававший иногда выход сдавленному в памяти тридцать третьему году — упоминанием о нем, автор набрался наконец решимости освободиться от того, что десятилетиями точило душу, и выложить все так, как это было. Было бы нелепо отмечать какие-то литературные достоинства этих мест, как кощунственно было бы художественное расписывание автором народного бедствия. Если и уместно говорить о каком-то писательском качестве, достойном в данном случае понимания, то это — осознание автором происшедшего на народном уровне. Так написана

та часть романа, в которой рассказывается о голоде 1933 года в селе Монастырском Саратовской области, где подростком жил тогда рассказчик и где был свидетелем всего, что там происходило. Это уже и не проза, это сама летопись которую историк будет так же вводить в свой труд, как, скажем, С. М. Соловьев вводит в свою «Историю России» древние русские летописи. Каждый факт здесь исторически значителен. В самом же начале автор говорит: «Признаться, и теперь я еще пытаюсь уразуметь происхождение этого голода. Урожай в тридцать втором году был если не самым богатым, то, во всяком случае, неплохим. Колхозники нашего села, получивши по сто граммов на трудодень в качестве аванса, надеялись получить еще по килограмму позднее, при окончательном расчете с государством». Надежда эта, однако ж, рухнула, продолжает автор, когда нежданно-негаданно объявился «встречный план» по хлебозаготовкам, который «подмел артельные сусеки до последней зернинки, оставив людей без хлеба, а лошадей без фуража». По дворам ходили активисты, выискивая припрятанный хлеб с помощью «щупа» — длинной, толщиной с мизинец, проволоки с выщербленной выемкой на конце. «Погруженный в землю, мякину или солому и затем выдернутый, щуп зачерпнет своей выемкой несколько зернинок, и хозяин припрятанного хлеба может навсегда распроститься с ним, а в придачу получить еще и суровое наказание за укрывательство пшеницы или ржи». Начался голод. Дети и взрослые, пока хватало сил, выискивали все, что могло бы сгодиться хотя бы для видимости в еду — от трав до смертельно опасной для жизни, отвратительно вонючей бурды. Смерть начала косить людей, кладбище было завалено мертвыми. Приводимые С. М. Соловьевым в «Истории России» древние летописные отрывки о скудельницах, наполненных умершими от мора, бледнеют перед кладбищенскими подробностями в рассказе автора. Но не менее, а, может быть, даже более пронзительно все то, что относится к детям, не к голодным только их страданиям, смерти, но и к их роли в этой трагедии. Даже и в это время, когда умирают их матери, отцы, братья, родные, когда они сами еле

ходят на ногах, — некий энтузиазм не отпускает их. Вот школьники хоронят своего умершего товарища.

«Будто виноватый, прошмыгнул я в раскрытые настежь двери школы и остановился у порога длинного коридора, наткнувшись на ударившую прямо по сердцу волну траурной мелодии: три незнакомых мне парня и одна девчонка, стоя на широкой лавке из-под кадок с фикусами, вспучив щеки, дули в концы изогнутых, сверкающих на солнце медных труб; посреди коридора, поближе к учительской комнате, установлен на длинном, покрытом красной материей столе новенький небольшой гроб, на котором торчал тонюсенький, по-птичьи заостренный воскового цвета Мишин нос, а такой же острый клинышек подбородка утыкался в пламенный лоскуток пионерского галстука; десятка два учеников, преимущественно старших классов, испуганно жались к стенам коридора, боясь подойти поближе к покойнику. Четверо, однако, стояли по углам стола: два в изголовье, два у Мишиных ног. "Почетный караул", — шепнула мне вошедшая вслед за мною всезнающая Катька Леснова... Последними встали в караул учителя... Миша Тверсков был единственным отличником в классе, и потому, знать, директор решил похоронить его со всеми почестями. Гроб сколотил Петр Ксенофонтович Одиноков в школьной мастерской. Федор Пчелинцев нарисовал на его крышке красную звезду, словно бы там, под землею, ее мог кто-то увидеть...

Гроб положили на полотенца, взрослые взялись за их концы, подняли Мишину домовину и направились к выходу. Трубы взревели громче, но сильнее их дуванул на наши души своей октавищей директор. Михаил Федорович, мертвенно бледный, покрывшийся капельками пота, запел революционную песню... Несколько тонюсеньких, прерываемых всхлипыванием, девчоночьих голосов прорвались через директорский бас и закрутились над ним повителью...

На кладбище вырытую для Миши могилку охраняли комсомольцы, иначе она была бы завалена другими телами раньше, чем дошла бы сюда наша траурная процессия. Мертвых было нанесено и навезено отовсюду, и теперь родствен-

ники только ждали, когда им разрешат опустить их в свежую яму». «После похорон директор не отпустил нас, а привел снова в школу, где и объявил, что мы должны опять создать отряд легкой кавалерии по охране урожая: ржавые колосья уже начали буреть, и ясно, что к ним не нынче-завтра потянутся с ножницами голодные руки». Оставшиеся в живых дети зачисляются в «отряды по спасению голодающих». «Разбитые на небольшие группы, предводительствуемые учителями и пионервожатыми, мы разошлись по селу, и к вечеру каждая группа привела и принесла на руках по нескольку ребятишек, подобранных в заброшенных домах, в одичавших дворах и огородах; некоторых отыскивали в густых зарослях лебеды, крапивы и горьких лопухов, — находили их там по слабому писку. Именно так я обнаружил на дяди Петрухином дворе своего младшего двоюродного брата и тезку, оставшегося в единственном числе от некогда большой семьи...»; «...помимо собранных по селу, вытащенных в последнюю минуту как бы уж из могилы детишек, мы принесли цифру, заставившую всех, кто был в ту минуту в школе, примолкнуть, как пришибленных, ужаснуться: в селе, насчитывавшем шестьсот домов, осталось сто пятьдесят». Рассказчик так же, как его двоюродный брат, остался в единственном числе от всей семьи, уцелев от голода.

Но вот уже в следующем, тридцать четвертом году, рассказывает автор, он распевал, «одушевляясь, сверкая увлажнившимися глазами», новые «бодрые, воспламеняющие, электризующие душу песни», вроде:

По долинам и но взгорьям
Шла дивизия впе-э-ре-ед,
Чтобы с бо-о-ою взять Приморье —
Белой армии оплот!

«Тридцать четвертый и тридцать пятый отпечатались в моей памяти тремя событиями, взвихренными именами Павки Корчагина, Чапаева, челюскинцев и их спасителей». Следующие годы «взвихривались» другими именами. Это

и была в сознании того поколения историческая магистраль, ведшая к «самому прекрасному в мире — борьбе за освобождение человечества» (повторяемые героем наизусть слова Павки Корчагина). Здесь и виделось то, что так бодро выражено в песне: «Наш паровоз, вперед лети» — лети, оставляя позади, где-то в бесконечной стороне, такие российские глухомани, как никому не ведомое Монастырское с его не ко времени небодрой историей; и сколько же надо было изжить времени, через какие события пройти, чтобы потом вернуться в Монастырское и именно в нем найти ответ на главные вопросы жизни.

* * *

На многие мысли наводит новый роман М. Алексеева и в отношении его собственного творчества, и в отношении всей современной нашей литературы. Читая «Драчунов», еще раз убеждаешься, насколько же правда в литературе способна выжечь все ложное вокруг себя, как недопустима при ней любая фальшь, любая красивость, насколько это мощный «фермент» цельности — от языковой до всего произведения в его законченности. Именно через горнило правды очищается от всего наносного, сорного язык, избавляется от всякой велеречивости, цветистости, укрепляясь в предметности, выразительности.

В «Драчунах» внимательный читатель может заметить некоторые остатки прежней для автора лексической утрировки в единственном, пожалуй, месте — разговоре председателя сельсовета с приехавшим к нем уполномоченным из района, когда в речи председателя пестрят: «хужее», «нравов», «спереж», «покумекали» т.д. В целом же вся стилистическая атмосфера, весь дух повествования чужды какой бы то ни был имитации. Вот, казалось бы, просто «информация», сколько смысла, внутреннего движения, «личностного» в этом сообщении: «Месяцем позже началась коллективизация и на ее основе — ”ликвидация кулачества как класса”.

Списки, составленные в сельсовете годом раньше и ожидавшие этого исторического часа в темных, молчаливо-таинственных закромах райкомо-райисполкомовских сейфов, возвратились к месту своего рождения с многозначительными пометками, изображавшими где крестик, где галочку, где просто черточку, выведенными соответственно красным, синим и черным карандашами. К вернувшимся спискам было приложено разъяснение, из которого сельсоветские руководители должны были понять, что красный крестик поставлен против фамилии кулака, синяя галочка — середняка, ну а черточка, хоть и была черной, ничего вроде бы худого не сулила тому, кто под нее угодил, ибо разумела за собой "беднейшие слои сельского населения" или хоть и середняка, но "маломощного". Но и эти последние могли пострадать, поскольку по условиям деревенского житья-бытья неизбежно, вполне естественно состояли в ближнем или дальнем родстве с первыми, и по этой причине многие из них скоро попали в категорию "подкулачников", "кулацких подпевал", "кулацких подноготников" и прочих "под"».

Своим новым романом М. Алексеев, кроме всего другого (о чем скажем ниже), устроил объективно как бы даже суд, нравственно-эстетический, над своими прежними (за исключением «Карюхи») книгами о деревне, больше всего, кажется, над «Вишневым омутом». И это должно быть им поставлено себе в заслугу, ибо многие ли из ныне пишущих могут сказать, что им открылось наконец-то в действительности, что перешло в самом их творчестве в новое качество, и прежнее видится уже иным. Поистине, счастлив тот, к кому рано, поздно ли пришло это прозрение, и как жалок тот самонадеянный сочинитель, который с томами своих книг уходит из жизни, так и оставшись слепым, глухим к тому, чем действительно живут люди, что отвечает подлинным запросам народной жизни и реально касается ее, а это только и может быть предметом «внутреннего содержания» литературы, употребляя выражение русских классиков. Трудно сказать, насколько М. Алексееву открылась по-новому действительность, это ему лучше знать самому (и это обнаружится

в новых его книгах), по всей видимости, пафос его книг и не изменится, «Драчуны» могут остаться «особицей»: это ведь детство (да еще какое!), самое заветное в жизни, самое интимное, затаенное до поры до времени, все вложил в эту книгу автор, всего себя, оттого и такая искренность, такая правда. Если писатель будет честен перед памятью своих погибших друзей, как он честен в «Драчунах» перед памятью погибших от голода земляков, то новый его роман о войне может оказаться и новым словом о ней. Но не будем гадать, надо быть благодарным и тому, что имеем.

Но еще важнее, чем для творчества самого писателя, значение «Драчунов» для нашей современной литературы. Надо ли говорить о важности такого свойства романа, как его историзм. И в прямом смысле — отныне 30-е годы пополнились для историка таким материалом, который окажет ему неоценимую услугу в историческом освещении того времени. Но есть еще одна сторона дела. Когда-то в прошлом на крови мучеников созидались святыни. В жизни нашего народа столько испытаний, что каждое из них может быть «закваской» целой литературы, осознавай она должным образом свою ответственность. Приводимые автором «Драчунов» в качестве эпиграфа к роману слова Толстого о том, что со временем писатели будут только рассказывать то, что им отучалось наблюдать в жизни, — это очевидный историзм. Но есть еще историзм психологического порядка, в том значении, какое имел в виду выдающийся русский историк В. Ключевский, говоривший, что переживание народа уже является историческим фактом, наряду с событием. Но кто же, как ни литература, может и должен, по художественной природе своей, раскрывать историзм своего времени в этой внутренней, психологической содержательности?! Это и всегда делала истинно русская литература. Вспомним хотя бы послевоенное время, когда в своем рассказе «Возвращение» Андрей Платонов с потрясающей силой — прежде всего через переживания детей — показал, как тяжело повлияла война на жизнь семьи, на детские души. Читатель видит, как проведший четыре года на войне, отвыкший от семьи герой

грубеет чувством, нравственно, разрушительные инстинкты переносит на близких, живет еще психологией войны, своего положения в ней. Потребовались особые обстоятельства, чтобы герою через горе детей, через собственные страдания открылись глаза на жизнь, и он постиг, что «узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем». В судьбе этой семьи отразилась правда послевоенной народной жизни, социальная, нравственная чуткость к ней художника, тем более замечательная, что в литературе того времени о войне, о послевоенной жизни зачастую писали упрощенно, с розовым оптимизмом, с бесчувственностью к реальным трудностям, страданиям людей. Писатель увидел, почувствовал, психологически обнажил в жизни одной семьи то, что было наследием войны для всего парода, что будет потом десятилетиями сопутствовать его жизни, что не перестает сказываться и на судьбе даже новых поколений. И это историзм в литературе, это факт психологического переживания народа, равный по реальной значимости, по последствиям, по значительности в жизни народа действительному историческому событию. И сколько в народе такого скрытого, сокровенного бытия, каждый раз равного историческому событию, и всегда ли это выходит наружу, становится в литературе фактом народного самосознания?

Наша критика готова порой без удержу восхищаться каждой очередной зарубежной знаменитостью. Как же, Габриэль Гарсиа Маркес, «Сто лет одиночества», «Осень патриарха», романист мирового стандарта! При этом зачастую и речи нет о том, что действительно интересно у Маркеса — национальный элемент в тех же «Сто лет одиночества» (народность образа старухи из рода Буэндиа; то в романе, что порождено авторским языковым принципом: «Надо было рассказать так, как рассказывали мои деды, то есть бесстрастно, с абсолютным неколебимым спокойствием, которое не может нарушиться, даже если мир перевернется вверх дном»). Но в ди-

ковинку ли кому национальное? Другое дело в том же романе мировая философия, фантастически-символические картины потопа, возносящейся на простынях на небо «прекрасной женщины» (нетрудно догадаться по ассоциации о «вознесении»); или же в одном из рассказов — упавший на землю, сломавший крылья, разбившийся ангел (в виде героя Кафки) и т.д. Или все, что связано с «экзистенциализмом», здесь уж Маркес (долгие годы живший в Париже) не только не уступит французу Камю, но и, как боксер, может вполне послать его в нокаут — так усвоены им экзистенциалистские приемы. И в этих литературных перепевах иные наши критики готовы видеть какой-то указующий перст мудрости, чуть ли не универсальный человеческий опыт. Как будто мало у нас своего выстраданного опыта, своих в этом отношении «экзистенций», да еще каких! Но если чего и недостает нашей литературе, то, употребляя термин поклонников всего модного в литературе, именно этих «экзистенций» — в смысле психической данности, живого психологического опыта, в смысле сказанных Достоевских слов о том, что в основе романа должны быть два-три действительных переживания. Это животворящее начало чаще всего и не «прослушивается» в эмпирически-рационалистическом составе современных книг. Примером могут служить романы С. Залыгина, в которых вроде бы много всего: и истории, и актуальных, злободневных проблем, и всяких событий — от гражданской войны, коллективизации, различных общественных перипетий вплоть до какого-нибудь «южноамериканского варианта», — но все это, в сущности, не что иное, как беллетризованная литературная полемика (со взглядами на определенные этапы нашей истории, на крестьянство и т.д.). Это, вероятно, и нужно, но маловато для искусства, нет в этих романах того, что делало бы их в чем-то откровением, — нет живого, непосредственного опыта (заменяемого умозрительными конструкциями), нет того психологического переживания, из которого и исходят жизненные токи в произведении. Ничего реального в историзм литературы подобные романы не вносят, для них явно невыгодно соседство таких книг, как «Драчуны» (у нас

в критике зачастую боятся каких-либо сравнений, боятся все кого-то обидеть, а ведь из сравнения виднее становится как особенность каждого автора, так и развитие всей литературы).

Немаловажно и то, как писатель понимает свою роль, когда он решается писать о тех или иных событиях народной жизни. Недавно один литератор в некрологе о другом литераторе (В. Росляков о П. Нилине) провозгласил, что тот активно участвовал в «формировании народной души». Не слишком ли тяжкое бремя взвалено на литераторские плечи? Можно подумать, что так и не оформится бедная народная душа без писательского попечительства и отцовства.

Это весьма грустное обстоятельство. Настолько люди залитературились, настолько вознеслись во мнении о собственной «миссии», что забыли, бедные: никакие они не «формировщики» народной души, никакие ни попечители, ни отцы ее, а всего лишь детки (часто беспризорные), которым впору бы подумать о приведении в порядок, о «формировании» души собственной, прежде чем приступать к «формированию народной души». «Драчуны» не претендуют на «формирование народной души» (так же, как в отличие от других вещей самого же М. Алексеева нет здесь ориентации и на воспевание «красоты народного характера»), но писатель делает большее: сострадая истинно людям из народа, он показывает изнутри все то, чем они живы, что пришлось им испытать. Здесь особого рода ценность народного характера — в правде его, в реальности всего пережитого им, в социально-исторической нагрузке его.

В публицистике писателя обычно более отчетливо проявляется то, что рассеяно, как бы растворено в его прозе. И надо знать М. Алексеева как автора публицистических, газетных статей, чтобы лучше узнать его и как прозаика. Не всегда может совпадать сам характер осмысления того или иного факта у публициста и писателя. Когда автор статьи, например, уверяет, что у нас самый дешевый в мире хлеб, то это, конечно, знак великой гордости достигнутым уровнем жизни, но еще не исчерпывающая задача для писателя. Писатель увидит свой гражданский долг и в том, чтобы вникнуть

в существо дела, чего стоит этот хлеб, дешево ли обходится его добывание и т.д. Это не значит, что надо клеймить земледельцев, как это делает, к примеру, Ф. Абрамов в своем небезызвестном «открытом письме» к землякам, обвиняя всех поголовно в лени, пьянстве, тунеядстве, захребетничестве за счет государства и т.д. (уже сомневаешься после этого, так ли уж он любит героев своих романов — тех же самых ведь земляков). Любовь к народу нуждается не в пустых декларациях и заверениях, а в деятельном содействии его благу, материальному ли, духовному, в чувстве ответственности перед ним, перед его историей, в понимании насущных его нужд, во внутренней причастности к его испытаниям, ибо ведь все проходит, а народ остается вечным (и в литературе остается только слово, верное ему). В этом отношении «Драчуны» — свидетельство патриотизма, гражданственности куда более убедительное, нежели любые на этот счет декларации.

Будущее русской литературы, на мой взгляд, зависит от того, что в ней возобладает — социально-ответственное, нравственно-взыскующее, народное, то есть то, что составляет ее традиционные ценности, или же прагматическое, деляческое, духовно-разрушительное (...)

На фоне литературных игрищ трудно переоценить появление «Драчунов» М. Алексеева. Сам факт выхода этой книги знаменателен: это новый и отрадный признак глубоких перемен, совершившихся в нашей литературе за последнее время, — перемен реалистических, отвечающих в большей или меньшей степени исторической правде. Грустно подумать, что могло и не быть этого романа. И это также «феномен» уже индивидуальный, но не менее знаменательный. Пройти через все, через страшные (но часто благотворные для писателя) испытания, через разные искусы (часто для писателя гибельные), и сохранить в себе боль детства, выйти из всего этого с живым чувством народной жизни, — это многого стоит. И это отрадно. И это перспективно — жива и будет жить русская литература с ее вечными заветами правды, ответственности перед народом.

ОСВОБОЖДЕНИЕ

(глава из книги «В сражении и любви»)

Летом 1982 года мне позвонил из Саратова Николай Егорович Палькин, главный редактор журнала «Волга», и попросил меня написать для них статью о романе Михаила Алексеева «Драчуны», опубликованном в предыдущем году в журнале «Наш современник». Я согласился и решил прочитать все, что написал до этого о деревне писатель. После уже известной мне, прочитанной ранее повести «Карюха» — трогательной, драматической времен коллективизации истории о лошади, незаменимой помощнице в большой крестьянской семье, — неким «лирическим сиропом», казалось, было размешано повествование в других романах и повестях автора (в духе названия одного из романов «Ивушка неплакучая» — о судьбе русской женщины, не утратившей в годы суровых испытаний душевной красоты, силы любви). И читая, наконец, «Драчунов», поразительно было видеть, как правда в литературе способна выжечь все ложное вокруг себя, как недопустима при ней любая фальшь, любая красивость, велеречивость. Писатель рассказал о том, что он видел, что пережил в детстве в своем родном селе Монастырском, на Саратовщине, поведал о страшном голоде 1933 года, поразившем Поволжье, когда смерть косила массы людей: так впервые была сказана правда об этой народной трагедии, о которой до этого царило полное молчание в нашей художественной и исторической литературе (за исключением упоминания о 1933 годе в книгах того же М. Алексеева).

«Драчуны» вызвали в памяти и личное, связанное с тридцать третьим годом, когда мне было семь с небольшим лет. Голод тогда, как я могу теперь судить после «Драчунов», лишь краем коснулся наших рязанских мещерских мест. Но навсегда запомнил я слова матери: «Ничего нет страшнее голода». Она еще и по голоду первых послереволюционных лет знала, что такое хлеб из крапивы, дубовой коры, из опилок, отдающих сыростью, из гречневой мякины, после

нее все тело начинало щипать, когда утром умываешься, а когда идешь по росе, как иголками прокалывает с ног до головы... Помню, как однажды, когда никого не было в избе, я зачерпнул деревянной ложкой мятую картошку из большой чашки и, услышав, как кто-то идет, подбежал к открытому окну, выходившему в огород, и бросил ложку вниз. Но никто в дом не вошел, мне, видимо, почудилось, что кто-то идет, и было так жаль, что поторопился бросить ложку. Второй раз я не решился взять картошку, боясь, что будет заметно. И помню — в тот год и долго еще потом мечтал я о том, что, когда вырасту, буду председателем колхоза, чтобы вдоволь есть блины. О том голодном 1933 годе я вспоминал в своей книге «Надежда исканий», вышедшей в 1978 году (глава «В родительском доме»).

Народ может извлечь исторические уроки только из полноты своего опыта, сокрытие событий глубинных, трагических способно исказить, деформировать национальное, даже религиозное сознание. Литература, «историческая наука»молчали о тридцать третьем годе, а между тем вокруг него возникали целые мистические легенды. В восьмидесятых годах посылал мне не переставая, и, видно, не одному мне, толстые конверты житель деревни с Могилевщины с машинописными отдельно сложенными листиками. В конце очередного «послания» каждый раз дата: такого-то числа, 92 года по Р. И., то есть «по Рождеству Иванова». О Порфирии Иванове многие слышали как об оригинальном человеке, который и сам жил, и других учил жить в единении с природой, ежедневно обливаться водой, ходить босиком по земле, по снегу и т.д. Но главное не это, а то, что Иванов Порфирий Корнеевич и сам себя считал, и после своей смерти продолжал оставаться в глазах своих поклонников «Господом Животворящим», основателем «новой тотальной религии», объединяющей «бывших христиан, мусульман и буддистов». У новоявленной религии нашлись последователи — «ивановцы» — среди них и тот, кто постоянно направлял мне письма с «посланиями» своих единоверцев. Но что меня поразило, так это следующее место: «Произошло это боговоплощение

во время искусственно организованного голода 1933 года, когда умерло семь миллионов крестьян-христиан: коллективный народный вопль о помощи привел ко второму вочеловечению Бога. 25 апреля на Чувилкином бугре (в эпицентре голода) родился свыше Богочеловек Второго Пришествия — Господь Животворящий Порфирий Корнеевич Иванов».

По поводу этого «второго боговоплощения», как и миссионерских посланий с Могилевщины, я писал в своем цикле «Из памятного» в одном из номеров журнала «Молодая гвардия» восьмидесятых годов: «Может быть, кому-то это смешно, а мне от этого жутко. Голод, массовое вымирание, неимоверные страдания народа, о чем у нас молчали полвека (как будто ничего этого не было), остались в недрах народной памяти и вот в данном случае обратились в болезненно-фантастическое "боговоплощение". В самом эпицентре голода. В этом видится какое-то мистическое примирение с тем, с чем нельзя, собственно, примириться исторически. Не могли пройти бесследно те ужасы, именно из этих необъятных народных страданий и исторгается идея нравственного абсолюта. Так отозвался голод 1933 года в этой духовной фантасмагории. Вряд ли что-нибудь подобное было в истории возникновения религиозных идей; это наше, увы, "русское чудо", новая социальная утопия, от которой мы никак не можем освободиться».

И в заключении у меня было сказано: «Не Крест, а "Чувилкин бугор". Но, может быть, помимо всего другого и неустройство наше, множащиеся беды — от бесплодности наших страданий. Ибо страдания не бесплодны, когда они — с Крестом, с именем Христа, Который страдал на земле и оставил нам тайну страдания, без нее даже и великая жертвенность народа напрасна...»

Вскоре после появления этого моего ответа в «Молодой гвардии» на «миссионерство» автора с Могилевщины я получил от него письмо, в котором он обвинил меня в пособничестве... сионизму.

Приступил я к статье о «Драчунах» с решимостью прямо, без обиняков говорить, в какой мере исторический опыт

народа отразился в современной литературе. Как бы ни льстила себе литература, но она на торжищах жизни всего лишь голос, так сказать, совещательный, не решающий. Литературе не решать, а ставить проблему, предупреждать, предсказывать — и к этому может прислушиваться власть или быть глухой. Нынешняя «демократическая» власть наплевала на всякую литературу, как и на все другое, что не отзывается шелестом долларовых бумажек. Тогда литературу не оставляли без внимания, но вряд ли прислушивались к ней. Для того чтобы к ней прислушивались, литература должна прежде всего уважать себя, должна обрести сознание собственного достоинства, как та нравственная сила, которая нужна людям, обществу, народу, государству. До этого сознания мало кто поднимался. Тон задавала «секретарская литература», книги многочисленных секретарей — Союза писателей (СССР, РСФСР, Московской писательской организации и т.д.) Помимо особых квартир, помимо дач «полагались» им, как правило, издание их собраний сочинений, Государственные и прочие премии, повышенные гонорары и проч. И не мудрено, что при таком положении дел эти «классики» держали курс не на народ, не на государство, а на «высокое начальство».

Помню, во время описанной мной встречи членов редколлегии журнала «Молодая гвардия» с секретарем ЦК КПСС П. Н. Демичевым я обратил внимание: весь угол его большого кабинета, как поленницей дров, был завален книгами. Оказывается, это были дарственные книги писателей партийному идеологу. Любопытно было бы собрать эти дарственные надписи воедино: вот был бы портрет верноподданнической литературы. Туда, на Старую площадь, где размещался ЦК партии, где засели яковлевы-беляевы, — туда и вострила свой взгляд ловкая часть братьев-писателей в расчетах угоднических и потребительских.

Если по отношению к идеологическому «начальству» писатель был покорным исполнителем «указаний сверху», то совершенно менялась его роль по отношению к народу: здесь он считал себя «воспитателем», был убежден, что «формиру-

ет народный характер». И уверял себя и читателей, что писатель «за все в ответе». Как-то в одной из своих статей (в «Комсомольской правде» в середине шестидесятых годов) я позлословил по поводу этого взваленного на себя бремени: какое уж там «за все на свете в ответе», ты хотя бы за себя отвечал, за свое слово, хотя бы получше писал, не водил пером по бумаге, как курица лапкой. И как же возмутились ответчики «за все на свете». Так же, как впоследствии возмутились сказанным мною (уже в статье о «Драчунах») о тех писателях, которые настолько залитературились, настолько вознеслись во мнении о «собственной миссии», что забыли, бедные: никакие они не «формировщики» народной души, никакие не попечители, не отцы ее, а всего лишь детки (часто беспризорные), которым впору бы подумать о приведении в порядок, о «формировании» души собственной, прежде чем приступать к «формированию народной души». Ведь еще Гоголь говорил, обращаясь к писателям: «Сначала образуй себя, а потом учи других». Первая часть этого завета была не в моде, зато со второй все было в порядке: писатели вовсю старались учить других. Но никуда ни денешься от закона в литературе: сколько вложено, столько и отзовется. И если в себе ничего нет, кроме дара приспособленчества, кроме духовной, душевной мелкости, равнодушия к тому, о чем пишешь, — то чем же могут отозваться в читателе любые твои поучения?

По мере работы над статьей одно сцеплялось с другим, литературное с личным, историческим, и самого меня вело по прямому пути, изменить которому я не мог по зову совести. Собственно, ничего особенного здесь и не было, обычное вроде бы дело, что и должно быть в критике, — соотнесенность литературы и жизни, историзм литературы, чего нельзя подменять узкой идеологичностью — без ущерба для самой же идеологии, сила которой всегда в осознании своей исторической правды. Видя на практике, какой существует разрыв между историческим опытом народа и, с другой стороны, литературой, ставшей уже казенной идеологией, я не мог не предвидеть, как будет встречена моя статья на эту

тему людьми, не признающими за писателем права ставить проблемы, предупреждать о грозных симптомах в общественной, государственной жизни. Как показали последовавшие вскоре события, страна двигалась к краю пропасти. Пятая колонна, породившая Горбачева, готовилась к захвату власти изнутри, в недрах ЦК (усилиями всяческих сионистских «помощников», «экспертов», «консультантов»), с помощью амбивалентной марксистско-ленинской идеологии разлагая государственные устои. А в это же время «верные ленинцы», как страусы пряча головы в песок, не желали видеть реальности происходящего и ничего, кроме «пролетарского интернационализма», не хотели знать. Отправил я свою статью под названием «Освобождение» в «Волгу» (за статьей приезжал работник журнала В. Бирюлин) и стал ждать не без тревоги, что будет дальше, когда она была опубликована в десятом номере «Волги» за 1982 год.

10 ноября 1982 года умер Брежнев. Через день я пришел в Литинститут, чтобы оттуда вместе с другими (обязаны!) идти в Колонный зал для прощания с покойным. На кафедре творчества я увидел Валентина Сидорова — как и я, он работал руководителем семинара. Он стоял у стола, более, чем всегда, ссутулившийся, отвислые губы подрагивали. «Пришел к власти сионист», — поглядывая на дверь, ведущую в коридор, вполголоса произнес он и добавил, что этого и надо было ожидать при вечной взаимной русской розни. Я промолчал, зная, какие средства имеются у «Махатмы» (так называли Валентина Сидорова его знакомые литераторы) против этой розни — «надрелигиозное ученье» Рериха и Блаватской с антихристианской подкладкой.

От Литинститута до Колонного зала, где происходило прощание с Брежневым, совсем недалеко, но шли мы какими-то окольными улицами, так что подошли к Дому Союзов незадолго до его закрытия. И поднимались по лестнице, подгоняемые прикрикиванием милиционеров: «Побыстрее! Побыстрее!»

Андропов. Теперь Андропов! Что нас ждет? И что ждет меня после моей статьи, уже вышедшей в свет? Взгляд

сквозь очки — строго испытующий, со зловещинкой. Вскоре дала о себе знать «твердая рука» нового правителя. Стали хватать в рабочее время людей в магазинах, на рынках, в банях — в целях «наведения порядка». Следовало ожидать нечто подобное и в идеологии. И первое как бы предупреждение получили «русисты» (как называл Андропов «русских националистов»), когда он, новый генсек, в своей речи к 60-летию СССР, 21 декабря 1982 года, назвал дореволюционную Россию «тюрьмой народов».

Тогда же узнал я о «проработке» своей статьи «Освобождение» в ЦК КПСС. Вот что пишет об этом свидетель происходившего Михаил Алексеев, автор романа «Драчуны»: «В Центральном Комитете партии под председательством секретаря ЦК М. В. Зимянина было проведено экстренное совещание главных редакторов всех столичных изданий, где было и произведено судилище над статьей Лобанова и над главным редактором "Волги" Н. Палькиным, опубликовавшим в 10-м номере за 1982 год эту статью. Будучи редактором журнала "Москва", я присутствовал на том памятном совещании, но именно как редактор, и вроде бы разыгравшаяся трагикомедия вокруг "Драчунов" меня вовсе не касается, а виноват лишь, мол, Лобанов, истолковавший роман в антисоветском духе. В результате главного редактора "Волги" Н. Палькина сняли с работы, М. П. Лобанова, как по команде (а может быть, не "как", а точно по команде), начали яростно прорабатывать едва ли не всеми средствами массовой информации и чуть было не отстранили от преподавания в Литературном институте» (Михаил Алексеев. Избранные сочинения в трех томах. М.: Русское слово, 1998. Т. III. С. 537—538).

Забегая вперед, хочу передать то, что рассказал мне сын Михаила Васильевича Зимянина — Владимир Зимянин, международник, работник Министерства иностранных дел. Уже во времена «перестройки», находясь на пенсии, Михаил Васильевич просил сына передать мне, чтобы я не обижался на него за то судилище над моей статьей, потому что «все шло от Юры», как назвал он по старой комсомольской

привычке Юрия Андропова, давшего ему добро на проработку (с соответствующим решением ЦК по этому же вопросу). Как-то неожиданно для меня было узнать об этом «покаянии», видно, осталось в этом высокопоставленном партийце нечто живое, казалось бы, немыслимое после тех идеологических медных труб, сквозь которые он прошел.

Но каково конкретно было отношение к злополучной статье непосредственно самого Юрия Владимировича Андропова? В 1994 году в Германии, а затем в 1997 году в переводе на русский язык в Москве вышла книга немецкого историка Дирка Кречмара «Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко. 1970-1985 гг». В этом по-немецки обстоятельном исследовании приводится, в частности, содержание беседы Ю. Андропова с первым секретарем СП СССР Г. Марковым вскоре же после решения ЦК КПСС о журнале «Волга» и моей статье. «Андропов с сожалением вспомнил в этой связи о статье Лобанова, которая послужила поводом для издания постановления, и сказал, что партийный комитет Саратова "должен еще принять меры". Эта статья «поднимает руку на то, что для нас священно», прежде всего на коллективизацию и Шолохова. Кроме того, она предпринимает попытку ревизии мер партии в 30-е годы, несмотря на то, что "жизнь полностью доказала их правоту"». (Содержание беседы дается со слов Г. Маркова на заседании секретариата правления СП СССР от 12 апреля 1983 года. — Архив СП СССР, оп. 37, № 1036.)

Честно говоря, когда я писал статью, никакого замысла «поднимать руку» на коллективизацию и Шолохова у меня не было. В статье есть такие три фразы: «Если в "Тихом Доне" Шолохова гражданская война нашла выражение глубоко драматическое, то равные ей по значению события коллективизации в "Поднятой целине" звучат уже совершенно по-иному, на иной, бодрой ноте. Различие между этими двумя книгами одного и того же автора знаменательно. Питерский рабочий, приезжающий в донскую станицу, учит земледельческому труду в новых условиях исконных земледельцев — это не просто герой-"двадцатипятитысяч-

ник", но и некий символ нового, волевого отношения к людям». Вот и все, что сказано о коллективизации и Шолохове в статье размером в шестьдесят с лишним машинописных страниц. Конечно, «на бодрой ноте» — не те слова в отношении «Поднятой целины». Недавно я перечитал этот роман и убедился, что в нем (в первой книге, вторая слабее) чувствуется художническая рука автора «Тихого Дона». Но тогда я имел в виду, главным образом, героя романа Давыдова, питерского рабочего, и даже его прототипа Плоткина, который учит исконных земледельцев, как работать на земле. Что же касается Шолохова, то с его «Тихим Доном» у меня была связана целая жизненная история. Выпускником МГУ я защитил на отлично дипломную работу на тему: «Колхозное крестьянство в произведениях современных советских писателей». Мой руководитель, заведующий кафедрой советской литературы Евгения Ивановна Ковальчик и оппонент, доцент Дувакин на защите вовсю расхваливали мою критическую работу (а Евгения Ивановна отметила ее как лучшую в «Комсомолии» — в знаменитой тогда огромной, метров десять длины, стенгазете в коридоре филфака). В аспирантуру выдвигались «общественники», каковым я не был, но она и не прельщала после того, как я прочитал «Тихий Дон» и был потрясен художественной силой его. Меня потянуло туда, где жил и творил Шолохов, и после окончания МГУ в 1949 году я поехал в Ростов-на-Дону по вызову, который мне устроил мой дядя по матери Федор Анисимович Конкин, работавший секретарем одного из райкомов партии города. Помню, когда поезд мчался по донской земле, я из окна вагона смотрел на расстилающиеся степи и все думал: неужели этот великий писатель живет в наше время?

А в Ростове жизнь распорядилась совсем не так, как я предполагал. Поступив на работу в редакцию областной газеты «Молот», я рассчитывал поездить по донской земле, по местам гражданской войны. Скрутил меня туберкулез легких, который переборол романтику, хотя от того благоговение перед творцом «Тихого Дона» не исчезло. И когда спустя десять лет, уже живя в Москве, приехал я в Ростов

и благодаря Анатолию Калинину оказался среди других литературных гостей Шолохова в гостинице «Дон» — то сплошным переживанием для меня были те долгие часы, когда я слушал и смотрел на писателя. Видно, глубоко засел во мне образ автора «Тихого Дона», овеянный трагизмом времени, что вот и тогда, на той встрече, в живом Михаиле Александровиче я видел того Шолохова. (О встрече с Шолоховым я рассказал в журнале «Слово» в начале девяностых годов.) И в своей литературной работе я не скрывал своего преклонения перед автором гениального «Тихого Дона», творцом образа Григория Мелехова, сына «серединного народа», который своими поступками, действиями, кровавыми схватками в бою расплачивался за умственные спекуляции, «поиски обновления» героев из интеллигенции типа толстовского Пьера Безухова (об этом моя статья «"Тихий Дон" и русская классика» в книге «Надежда исканий». — М., 1978).

Так что я никак не могу признать справедливым обвинение меня в том, что я «подымал руку на Шолохова».

В недавно вышедшей книге Т. Окуловой-Микешиной «Бесовщина под прикрытием утопий» впервые исследована роль в разрушении великой державы такой касты, как советники из числа западников-космополитов последних советских вождей, начиная с Хрущева. Об истории возникновения этой касты рассказывает один из подобных советников Г. Шахназаров в своей книге «Цена свободы. Реформация Горбачева глазами его помощника». «Это была первая группа такого рода. В какой-то мере ее создание было навеяно опытом американцев. Как раз в те годы президент Кеннеди привлек к себе на помощь для совета специалистов из числа крупных политологов, историков, экономистов. В моду входили так называемые мозговые атаки, предлагавшие правителям веер альтернативных решений. Нечто вроде этого задумал только что возведенный в сан секретаря ЦК КПСС заведующий отделом по связям с коммунистическими и рабочими партиями социалистических стран Юрий Владимирович Андропов». По признанию мемуариста, эта группа

была «своего рода инородным телом в чиновничьем организме, какой представлял собой аппарат ЦК КПСС». По его же словам, в политической жизни противостояли два лагеря: «в одном — великодержавники, славянофилы, или евразийцы, в другом — западники, интегралисты, или космополиты». Новоиспеченная группа консультантов Андропова и состояла исключительно из западников-космополитов, таких, как Г. Арбатов, Г. Шахназаров, А. Бовин, А. Черняев, Ф. Бурлацкий и т.д.

В своих мемуарах Ф. Бурлацкий бахвалится, что Андропов называл его и других своих консультантов «духовными аристократами». Заметим, не то, что нас, «славянофилов», — презрительным словом «русисты». Читая мемуары этих «духовных аристократов», видишь, сколько высокомерия и презрения у этой ядовитой, поистине инородной публики к «серой массе» цековских работников, в том числе и к самим членам Политбюро из русских, и вместе с тем как дружно, образуя неразрывный круг, демонстрируют они свои «особые отношения» с Андроповым, сначала секретарем ЦК КПСС, а затем генсеком — вплоть до того (как рассказывает об этом Бурлацкий), что Юрий Владимирович доверительно почитывал им свои стихи, дружеские стихотворные послания, чем, оказывается, он увлекался.

Недавно в нашей печати (газета «Советская Россия», 8 апреля 2000 года) приводились слова заместителя госсекретаря США Тэлботта о том, что академик Арбатов стал «другом Америки» еще с семидесятых годов. В качестве агента влияния в интересах США действовал он и как консультант в ЦК КПСС. Ему были всегда открыты двери кабинетов генсеков... Вот одна из историй. Партийная комиссия во главе с одним из членов Политбюро при проверке работы академического Института мировой экономики установила факты «засоренности института сионистскими элементами», пришла к выводу, что «институт дезориентировал руководство страны относительно процессов, происходящих в мире». Директор этого института Н. Иноземцев оказался, что называется, в подвешенном состоянии. И тогда на выруч-

ку своему другу и единомышленнику бросился Арбатов. Как он сам рассказывает в своих мемуарах «Затянувшееся выздоровление (1953-1985 гг.)», придя к Брежневу в его кабинет, он начал обвинять парткомиссию в необъективности, клевете на директора Института мировой экономики, и первой же реакцией Леонида Ильича на эти слова было то, что, положив руку на телефон, он спросил: «Куда звонить?» И этот звонок генсека в присутствии Арбатова прекратил расследование преступной деятельности агентов влияния. Как пишет автор названной выше книги «Бесовщина под прикрытием утопий»: «Насколько обоснованными были выводы комиссии, можно судить и по тому, что бывший сотрудник этого института Д. Саймс после эмиграции в 1973 году в США стал там консультантом Совета по разведке ЦРУ». Со вступлением Андропова на высший пост в партии панибратское отношение с ним Арбатова приняло такой наглый характер, что новый генсек счел нужным в письме к «академику» несколько урезонить его. Сам поклонник, опекун «интернационалистов»-космополитов в литературе и театре, вроде шатровых, юриев любимовых, евтушенок, Андропов не нуждался в арбатовском оголтелом навязывании ему роли апологета еврейской «творческой интеллигенции». Тем более что всему должно прийти свое время...

В том же докладе к шестидесятилетию СССР, где он назвал дореволюционную Россию «тюрьмой народов», Андропов ратовал за «слияние наций» в одну «советскую нацию», прекрасно, конечно, зная, что есть одна нация, заинтересованная в «слиянии наций» и которая сама никогда ни с кем не сольется, — это народ по имени «И.». И в этом вопросе его консультанты оставались, разумеется, все теми же «духовными аристократами». В ЦК партии при Андропове проблемами национальных взаимоотношений в стране занимался А. Бовин, заведующий группой консультантов. С наступлением «перестройки» он начал открыто проповедовать как обозреватель «Известий» то, что раньше попридерживал до лучших времен. В газете «Московский литератор» (25 мая 1990 года) я привел факт, как на I съезде народных

депутатов РСФСР из редакционной комиссии был исключен главный редактор «Советской России» В. Чикин за публикацию в этой газете «Манифеста антиперестроечных сил», известной статьи Нины Андреевой. И далее я писал: «Почему бы во времена хваленого "плюрализма" не дать слово и этому автору? (Нине Андреевой.) Ведь печатают же небесспорные материалы в других газетах, скажем, статьи А. Бовина с яростной защитой сионизма ("Известия", № 239 за 1989 год, № 21 за 1990 год), но от того главный редактор этой газеты И. Лаптев не подвергался же политической обструкции, а, напротив, даже преуспел, оказавшись выбранным председателем Совета Союза Верховного Совета». Вскоре после этого бывший консультант Андропова сионистский идеолог А. Бовин отбыл в Израиль в качестве посла России на «обетованной земле».

Оголились при Горбачеве, сбросив с себя показные идеологические покровы, и другие бывшие генсековские консультанты. (Экс-шеф ЦРУ Гейтс пишет в своих воспоминаниях: «ЦРУ с энтузиазмом отнеслось к Горбачеву с момента его появления в начале 1983 года как протеже Андропова». Кстати, с приходом Андропова к власти вернулся из Канады в Москву оголтелый русофоб А. Яковлев, ставший его ближайшим советником, а при Горбачеве — «главным архитектором перестройки».)

Таким образом, из всего сказанного выше видно, что представлял собою круг духовно близких Андропову людей и что, собственно, стояло за осуждением им моей статьи «Освобождение». Не могла найти в данном случае сочувственного понимания и моя ссылка в этой статье на Штокмана из «Тихого Дона», революционера-троцкиста, который натравливает одну часть казачества на другую его часть (Мишку Кошевого на Григория Мелехова) и считает «опаснее остальных, вместе взятых» Григория Мелехова, требуя его поимки и расстрела именно как представителя «серединного народа», сердцевины его.

О, тогда мне было не до этих рассуждений! Жуткая тень не просто КГБ (где работали разные люди и где конечно же

были скрытно сочувствующие русским патриотам), а самого Андропова нависла над моей бедовой головой. Предстояло только ждать своей участи. Незадолго до этого подвергся допросу в КГБ историк С. Н. Семанов за хранение купленных им номеров машинописного русского периодического журнала «Вече», который редактировал В. Н. Осипов. Тогда же С. Семанов был снят с поста главного редактора журнала «Человек и закон». Как стало известно впоследствии, этому предшествовала секретная записка Андропова в Политбюро, в которой речь шла и о Семанове как «русском и антисоветском элементе». И вот теперь мы оба, знавшие друг друга со второй половины шестидесятых годов, давние «молодогвардейцы», оказались в схожем положении. Мы встретились с ним около его дома, на Большой Дорогомиловской улице, рядом с Киевским вокзалом. Долго петляли, как зайцы, по переулкам и дворам, по привокзальной площади, остерегаясь быть услышанными даже и там, хотя чего вроде бы таиться и скрывать — как «русисты» мы были все на виду в своих писаниях. По крайней мере, так я мог сказать о себе, когда писал, стараясь уйти в «русский дух», в чем виделось мне наиболее действенное противостояние разлагателям России. Сколько я ни общался до этого с Сергеем Николаевичем, все казалось теперь празднословным в наших прежних отношениях, и только сейчас что-то новое холодком общей опасности коснулось нас обоих. Оба мы, видимо, смахивали в чем-то на окруженцев, и командиром моим был в этих знакомых ему местах Семанов, уверенный, что за ним следят и что надо заметать следы.

Между тем пущенная в ход по приказанию генсека идеологическая машина набирала обороты. Заведующие отделами ЦК КПСС — агитации и пропаганды Б. Стукалин, культуры — В. Шауро послали докладную записку в секретариат ЦК партии с осуждением моей статьи. И того, и другого я никогда не видел в лицо и позднее мог составить представление о них, встретившись с ними.

Набросились на меня борзописцы, первыми П. Николаев, Ю. Суровцев, В. Оскоцкий — давние мои попечители. Сегод-

няшнему читателю эти фамилии ничего не говорят, но тогда это была одиозно известная (во всяком случае, в литературных кругах) свора отпетых русофобов — достойных папашек нынешних «демократических» телекиллеров. Прошло три с половиной года после той истории с моей книгой об Островском, когда Николаев так тешил себя ролью распорядителя травли, за это время он заматерел в этой роли и теперь, с выходом решения ЦК по моей статье, первым вылез добивать осужденного. «Освобождение... от чего?» — многозначительно назвал П. Николаев свою статью, опубликованную в «Литературной газете» 5 января 1983 года. По поводу названия этой статьи автор «Драчунов» М. Алексеев пишет в том же послесловии к трехтомнику, что я подвергался нападкам «за то, что первый указал, чего может добиться писатель, освободившись от внутренней цензуры, раскрепостив и душу, и перо свое, — это и только это продиктовало умному и честному критику и заголовок, и все, что сказано им под этим заголовком». И у меня в статье сказано: «Не решившийся до сих пор говорить об этом, только дававший иногда выход сдавленному в памяти тридцать третьему году — упоминанием о нем, автор набрался наконец решимости освободиться от того, что десятилетиями точило душу, и выложить все так, как это было». Вроде бы ясно, о каком освобождении идет речь, но моему обличителю требуется политическая улика, и вот он «расшифровывает» заголовок статьи как освобождение от всех социалистических основ, как неприятие коллективизации, индустриализации, марксистско-ленинской идеологии, классовой борьбы, «завоеваний советской литературы» и т.д.

Вслед за Николаевым лягнули меня В. Оскоцкий в газете «Литературная Россия» 21 января 1983 года, Ю. Суровцев в «Правде» 13 февраля 1983 года. Как Николаев партвластью был наделен некоей функцией идеологического надзора над литературой, правом «вершить суд» над неугодными писателями, так Суровцев являлся недреманным оком по части разоблачения фабрикуемой им же самим «опасности русского шовинизма». В должности секретаря Союза писателей

СССР он «курировал национальные литературы», разъезжал по республикам страны, по рашидовым-шеварднадзам-алиевым, раздуваясь, как клоп, на паразитировании казенно-интернационалистской «дружбы народов». И всюду, куда ни приезжал, сеял русофобию, ненависть к «захватнической, колониальной политике царской России», дразнил «опасностью русского шовинизма», науськивал местных националистов на русских людей. Ему были открыты двери всех партийных изданий, где он свободно мог навесить на нежелательное лицо любой ярлык. Ныне ставший «демократом», этот тип уже без прежних партийно-классовых масок в открытую называет своего главного врага, объявив в печати, что он пишет книгу «Конец русской идеи».

«У страха глаза велики!» Вспомнилась мне Лубянка, где я был осенью 1966 года по делу моего литинститутского «семинариста» Георгия Белякова...

Первое, о чем я подумал в наступившем для меня безвременье, — это устранение возможных улик. Собственно, никаких улик и не было, но мало ли что... В свое время Илья Глазунов дал мне изданную за рубежом книгу Солженицына «Ленин в Цюрихе» с портретом на обложке вождя какого-то склеротического облика в зловеще-кровавом отсвете. Видя мое колебание (брать — не брать), он уличил меня в непонимании, что на эту книгу найдется масса охотников, готовых платить за нее большие деньги, а я даром не беру из-за трусости советского человека... И тут же предупредил, как бы отталкиваясь от меня жестом поднятых перед собою рук, что если я выдам его, то он объявит, что этого советского человека он не знает, видит в первый раз. (До этого я не раз был в его мастерской.) Для Ильи Сергеевича суть была, видимо, не в Солженицыне, а в самом Ленине, которого он недолюбливал, именуя «картавым». Впоследствии я лучше узнал Илью Глазунова, читая лекции в созданной им Академии живописи и ваяния, и оценил по-настоящему этого феноменального во многих отношениях художника и человека, его поистине великие заслуги в выращивании молодых русских художников-реалистов. Что же касается врученной мне кни-

ги, то в ней больше путающего себя с Лениным Солженицына, чем Ленина (недаром Александр Исаевич, как мне передавала по телефону первая его жена Наталья Решетовская, считал, что он похож на Владимира Ильича, и потому так охотно пишет о нем). Читать я ее никому не давал, и вот пришел черед аутодафе для нее. Жил я тогда в «хрущевке» на Бескудниковском бульваре, в крохотной однокомнатной квартирке, заваленной книгами, и, с трудом разыскав ту злополучную, приступил вместе с дочерью Мариной к сожжению ее в туалете. До чего же долго, чадно тлели клочки разорванных страниц, особенно куски глазурованной, с багровыми отсветами обложки.

Наступила пора моей домашней блокады. Безмолвствовал телефон, замолкли знакомые. Вдруг звонок из Твери. Звонит Петр Дудочкин, который до этого присылал мне свои статьи против пьянства, спаивания народа. Говорит о моей статье, кричит: «Рыба плывет нереститься против течения!» В Литературном институте узнаю, что на занятии по текущей литературе Н. Томашевский поздравил студентов... с выходом моей статьи. Лично я не был знаком с ним, знал его как автора честной вступительной статьи к двухтомнику Константина Воробьева, изданного в Прибалтике. Потом я познакомился с ним, вместе выезжали в 1989 году в Курск, на родину Воробьева, в связи с его юбилеем — семидесятилетием со дня рождения. Как-то он засиделся допоздна у меня в номере гостиницы и все рассказывал о Воробье, как любовно называл он Константина Воробьева, признавался, как много значил этот писатель в его жизни, сколько он натерпелся от его резкого, трудного характера и все мог простить ему за незаурядность его личности и таланта. О Константине Воробьеве писал и я в своей статье «Освобождение», но мог бы добавить и нечто из личных встреч — как впервые, кажется, летом 1960 года, встретился с ним на квартире Михаила Карунного, в доме против Военторга, в центре Москвы. Карунный заведовал отделом прозы в издательстве «Советская Россия», где и выходила тогда первая в Москве воробьевская книга. Сразу же у меня с Воробьевым произошла

схватка из-за Леонова: я тогда был, можно сказать, одержим любовью к Леонову (в 1958 году в издательстве «Советский писатель» вышла моя книга «Роман Л. Леонова ”Русский лес”»), мерилом моих симпатий к писателям было их отношение к Леонову. Доходило до анекдотичности. Как-то в статье одного публициста, помнится, Н. Грибачева, мелькнула отрадная для меня фамилия, и вроде бы сам этот публицист стал для меня другим. Но, увы, фамилия-то была не Леонов, а Лесков, и автор тут же стал для меня прежним Грибачевым (дело было не в Лескове, он и без того Лесков, а Леонов наш современник, недооцененный, как я думал, по достоинству). Мы оба с Воробьевым кричали, один вознося непомерно Леонова, другой ругая его чуть ли не как графомана. Синь глаз моего литературного противника вонзалась в меня льдинками неприязни, напряженные мышцы лица искажали ту его волевую чистоту, которая бросилась мне в глаза, как только я тогда увидел его. Все-таки мы и в тот раз отошли от взаимной горячки, а позже в издательстве «Советская Россия» встретились уже как добрые знакомые. Со временем, лучше узнав его как писателя, я понял, что ему, с его «жгучей правдой войны», с его жестким характером «правдолюбца» не до леоновской «велеречивости», как он довольно предвзято судил о творчестве Леонида Максимовича. Но закончу о верном поклоннике «Воробья» — Н. Томашевском. Не знал я никого из своих знакомых, кто бы так, как этот не русский по национальности человек, предан был памяти близкого ему русского писателя. Вспомнилась мне его слабая, чуть виноватая улыбка, когда я узнал о смерти, настигшей его в далекой от Москвы деревне.

Были с нами в той поездке по курской земле В. Астафьев, Е. Носов, московские, курские писатели. Незадолго до этого в журнале «Сельская жизнь» (№ 1, 1988), говоря о моей статье «Освобождение», Астафьев сказал, что автора ее «очень хотели уничтожить». Тогда Виктор Петрович был щедрее душой, как бы добрее к русским людям, и они, можно сказать, объединялись, кучковались вокруг него в той поездке. Где-нибудь на остановке, выйдя из машины, собравшись

в круг, все, включая секретаря обкома партии, разинув рот слушали россказни Виктора Петровича, изумительные по живописной языковой лепке, с простонародной «солью», — под хриплый хохот его самого. Кажется, только однажды случилась заминка в господствующем положении Виктора Петровича как рассказчика. Дело было на банкетике перед нашим отъездом. Астафьев сидел рядом с Евгением Носовым во главе стола, добавляя к пирушке перцу своих шуток до тех пор, пока слово не взял его внушительный сосед. Евгений Иванович заговорил не о каких-нибудь пустяках, а о самом Микеланджело, и таким голосом, что его сосед, задававший тон застолью, несколько притих, а затем совсем смолк, поглядывая с деланно-ироничной, а больше явно смущенной улыбкой на восседавшего рядом эпического собрата. С таким же почтением, как о Микеланджело, говорил Евгений Носов о «высокой культуре маленьких народов Прибалтики. В Эстонии я не видел ни одного лопуха, это в России все лопухами заросло».

Но я все отвлекаюсь. Итак, первым поддержал меня в Литинституте не знакомый мне тогда Николай Томашевский. Но общая атмосфера была настороженной, ожидающей. Встретив меня в коридоре, тогдашний проректор Евгений Сидоров просил зайти к нему в кабинет. Стены небольшого кабинета были увешаны гравюрами с видами парижских бульваров и улиц, казалось, наш проректор уютно чувствовал себя здесь, как в маленьком Париже. Со временем он окажется сам парижанином, пройдя путь от ректора Литинститута до министра культуры России, а потом став представителем России в ЮНЕСКО. Он начал разговор с того, что назвал мою статью обаятельной, но, по его словам, я слишком подставил себя, тут же он заверил, что выступать против меня не будет, но просил, чтобы я в своем выступлении на Ученом совете, где будет обсуждаться моя статья, не упоминал в отрицательном смысле Троцкого. Что-то интригующее было в этом предупреждении: не поменялось ли сверху отношение к Льву Давидовичу? С этой мыслью я и ушел от Сидорова, гадая, каких можно ждать перемен.

Решил я встретиться с Михаилом Алексеевым, который по моей вине влип в историю, о коей он и не помышлял. По выходе в свет моей статьи он расхваливал ее на все лады разным лицам, начиная с руководителей Союза писателей и кончая даже моей дочерью Мариной (когда она вместо меня подошла к телефону), но вот грянул сигнал со Старой площади. После моей статьи роман Алексеева, по его собственным словам, «был вычеркнут из списка соискателей Ленинской премии». Градус расположения ко мне Михаила Николаевича естественно понизился, что я сразу же и заметил, войдя в кабинет главного редактора журнала «Москва». Шел я туда, как это ни странно показалось бы ему, чтобы поддержать его: может быть, он нуждается в информации, какая у меня есть относительно нашего уже ставшего общим дела. Но никаких вопросов у него ко мне не было, да и не чувствовалось никакого интереса к моему приходу, и когда я помянул ему о предупреждении Сидорова насчет Троцкого, Михаил Николаевич тут же быстро проговорил: «Не надо называть Троцкого, не надо!» И не понимая опять-таки, почему нельзя называть Троцкого, полагая, что, вероятно, им известно то, чего мне не дано знать, — я счел разговор оконченным и ушел.

Уже не помню, по какому поводу встретился я в ту пору со Свиридовым Николаем Васильевичем, председателем Российского Госкомитета по печати. Николай Васильевич благоволил ко мне, не раз приглашал меня на беседы, когда готовил для какого-нибудь совещания документ, доклад, вроде, помнится, доклада о детской литературе. Присутствовал при этом главный редактор Комитета Петр Александрович Карелин, который тепло относился ко мне еще со времен его работы в «Известиях», с конца пятидесятых годов, где я иногда печатался. На этот раз мы были одни с Николаем Васильевичем, и как сейчас вижу его взгляд — пристальный и в то же время какой-то отсутствующий, какого я раньше никогда не видел у него. Он ни слова не сказал о моей статье, хотя я был уверен, что именно ею и были заняты сейчас его мысли, всей этой идеологией вокруг нее, вышедшей из стен

ЦК, где он когда-то работал и токи которого как бы доходили до его кабинета. Интуитивно чувствовалась мною настороженность моего собеседника, и, чтобы не ставить его в неловкое положение, я простился с ним и, перед тем как выйти из кабинета, желая вывести его шуткой из смутительного состояния, проговорил громко и бодро: «Наше дело правое, победа будет за нами!» Николай Васильевич реагировал на мою выходку так же, как в свое время военный писатель Василий Соколов, которому на его телефонный звонок в день Пасхи я крикнул приветственно в трубку: «Христос Воскресе!» — и ответом было молчание.

Впоследствии работавший в Комитете по печати поэт Артур Корнеев, хорошо знавший, по его словам, Свиридова, передал мне лестные слова Николая Васильевича о моей тогдашней «смелости» в разговоре с ним. От него же, Корнеева, я узнал, какой страх пережил Свиридов в дни августовского путча 1991 года: он боялся, что его арестуют, будут пытать и расстреляют. Напомним, что по радио «демократы» призывали в те дни доносить на всех тех, кто поддержал гекачепистов.

Наступил, однако, день 20 января 1983 года, когда я должен был держать ответ за свою злополучную статью на заседании Ученого совета Литературного института. Двадцать лет работал я в Литинституте, вроде бы знал всех присутствующих, но что будут они говорить? Как меняется человек, оказавшись на трибуне, в обстановке официальной, с ее требованиями единогласия! Но вот смотрю на Владимира Федоровича Пименова, который, как всегда перед открытием собрания, заседания, по-орлиному оглядывает собравшихся, и на память приходит десятилетней давности история со статьей А. Яковлева «Против антиисторизма». Тогда он смягчил направленный на меня удар, и сейчас я почему-то ожидаю этого же. И что это так и будет, я почувствовал по началу же его выступления. Привычно начальственным тоном, двигая густыми бровями, он объявил «об одном обстоятельстве, которое имело место недавно», — о моей статье, критике ее в печати, и здесь я приведу (по

стенограмме) его слова, которые, на мой взгляд, дают наглядное представление о нем как человеке. «Нам не нужно допускать такие ошибки: ведь мы не только писатели, критики, журналисты — мы еще и преподаватели, мы воспитываем молодых литераторов, молодежь! В статье Лобанова мы видим ревизию линии партии в коллективизации. Нельзя допускать нарушения законов историзма, нельзя делать никаких ревизий в этом вопросе... Ведь если бы не было колхозов — мы не победили бы в Великой Отечественной войне!

Не надо и неправильно было бы говорить о некоей «абстрактной» душе крестьянина. Душа — это то, что не стоит на месте, развивается диалектически, и игнорировать классовую борьбу, которая тогда шла по всей стране, — нельзя.

Да, тридцатые годы были сложными, но нечего сводить это время только к разрухе, только к кошмарам и голоду».

И уже после выступлений других ораторов, в своем заключительном слове, как ректор и ведущий заседание, Пименов сказал: «Все, что мы здесь сказали, Лобановым должно быть воспринято как серьезная критика. Мне хочется, чтобы он признал свои ошибки в критике Шолохова, в описании деревни тридцатых годов, коллективизации. Итак, Ученый совет сегодня совершенно справедливо признал статью М. П. Лобанова в журнале "Волга" неправильной и ошибочной. Заседание закрываем, повестка дня исчерпана».

Я и сейчас, читая все, что говорил тогда Пименов, чувствую, как не хотел он обострять разговор, придавать ему политический характер, даже слова «ревизии линии партии» воспринимались мною как проходные в общем строе его спокойной, можно сказать, лояльной речи. А ведь мог бы он, говоря о том, что мы не только писатели, но и преподаватели, воспитатели молодых литераторов, вспомнить ту давнюю историю с моим студентом Георгием Беляковым... Ту самую историю, которая доставила ему как ректору столько служебных неприятностей, идеологических проверок. Но об этом он не вспоминал, как будто ничего этого не было, так же как и на литинститутском партсобрании по этому нашумевшему делу я не услышал от него ни одного об-

винительного слова в мой адрес как руководителя злосчастного моего семинариста.

И с его словами о коллективизации я согласен — конечно, без нее мы не победили бы в Великой Отечественной войне! И тридцатые годы — это, конечно, не только разруха, не только голод, не только репрессии, но и невиданный массовый созидательный энтузиазм, небывалый для истории России доступ для народа к знаниям, образованию, поистине извержение из народных недр талантов во всех областях жизни — от государственной до культурной. И очистительные 1937—1938 годы, когда эти таланты были призваны крепить мощь страны, заменяя места устраненных разрушителей и болтунов троцкистского толка!

Колоритный был человек Владимир Федорович! Как я уже говорил, он был сыном священника, и это «изгойство» преломлялось в нем демонстративным, довольно забавным иногда «атеизмом». На партсобрании он как-то возмущался: «Вчера в общежитии захожу в студенческую комнату и вижу — читают! Что бы вы думали? Библию читают! Видите ли, заинтересовались Библией! Нечего им больше читать!» — и оглядывал ряды сидящих в зале с деланным театральным изумлением — недаром в свое время был он директором театра Вахтангова, главным редактором журнала «Театр». В другой раз с той же трибуны поведал нам о том, как пошутил над ним Сергей Михалков недавно во время открытия Всемирного конгресса защитников мира. «Сидим с Михалковым. Объявляют президиум. Михалков говорит: ”Пименов, иди в президиум. Тебя назвали!” Смотрим: лезет в президиум поп Пимен!» — под смешок в зале закончил ректор Литинститута. Это — о Патриархе Пимене, кстати, на средства Патриархии и был организован этот конгресс. Когда мы вместе с Владимиром Федоровичем были в ГДР, кажется, в 1980 году, он на приеме в Лейпцигской ратуше нахваливал сидевшего рядом с ним руководителя отдела культуры горкома ССПГ, ярко выраженного еврея, называя его «перспективным работником». «Неперспективные» немцы, мне показалось, довольно сочувственно реагировали на кадровый прогноз советского геноссе.

Родовое «изгойство» нисколько не помешало Пименову всю жизнь подниматься по служебной лестнице. Как не помешало священство отца А. М. Василевскому (он и сам окончил духовную семинарию в Костроме) стать одним из самых выдающихся советских военачальников, Маршалом Советского Союза. (Кстати, Сталин упрекнул Василевского за то, что он прервал связь с отцом-священником, посоветовал забрать старика отца к себе в Москву.)

Вообще Пименов — фигура характерная для сталинской эпохи и отчасти эпохи брежневской с ее «застоем», но никак не для хрущевской с ее гнилой «оттепелью» — но на этом я не буду останавливаться.

Вернусь к заседанию Ученого совета. После Пименова выступил заведующий кафедрой советской литературы Вс. Сурганов. В Литинститут он пришел работать недавно, перевел его сюда проректор Александр Михайлович Галанов из пединститута имени Ленина. До этого заведующим этой кафедрой был Виктор Ксенофонтович Панков, человек милый, всегда улыбающийся, но критик весьма всеядный, который в свои статьи, как в мешок, запихивал подряд всех чистых и нечистых, вопящих от соседства друг с другом, и завязывал это скопище узлом соцреализма. После смерти Панкова, услышав о называемых кандидатах на «освободившееся место», я пришел к Галанову и предложил пригласить на эту должность Александра Овчаренко. Александр Иванович не раз оказывал мне добрые услуги. Он был официальным оппонентом на защите моей кандидатской диссертации в МГУ. Написал положительную внутреннюю рецензию на мою рукопись, которая долго мытарилась в издательстве «Современник», после чего дело несколько продвинулось. Он предлагал мою кандидатуру в качестве руководителя аспирантов в Академии общественных наук при ЦК КПСС, хотя и безуспешно. Заведующий кафедрой в этой академии, знаменитый в писательских кругах «серый кардинал» Черноуцан поставил на моей фамилии крест, объясняя это тем, что у меня нет педагогического опыта (хотя я уже долгие годы работал

в Литературном институте, где, кстати, работаю и теперь, вот уже сорок лет, с 1963 года). Когда я заговорил с Галановым об Овчаренко, он с хитроватым пониманием взглянул на меня (дескать, знаю я вашего Овчаренко) и сказал, что есть более приемлемая кандидатура. Таким более приемлемым оказался Сурганов, который, став заведующий кафедрой, с помощью Галанова с его цековскими связями переехал из Подольска в Москву, поселился в элитном цековском доме по соседству с главными редакторами, партбоссами.

Первое мое впечатление о нем было как о человеке, который несколько ушиблен «пятым пунктом», в частности касательно русских. Как-то шла защита дипломных работ, выступал мой семинарист Муравенко и начал говорить о разнице между американской и русской литературой в пользу последней. Сурганов был оппонентом моего выпускника, и как же я был удивлен, когда он накинулся на него, как на «квасного патриота», «русского шовиниста». «Какой же он русский шовинист, когда он украинец, живет в Киеве!» — не выдержав, крикнул я. Неожиданно для меня Сурганов заметно смутился и не нашел ничего иного сказать, как только: «Я не знал, что он украинец». Со временем я увидел, что он все-таки из числа «умеренных», а по поводу моей статьи резонерствовал об «искажении в ней общей картины литературного процесса».

Слово дали шолоховеду Федору Бирюкову. До этого он нашептывал в коридоре членам Ученого совета что «надо спасать Лобанова», а теперь с ходу начал обвинять меня в клевете на Шолохова, на социализм, даже на трактор: «Ведь трактор — это идеологическое и политическое орудие! Поэт Безыменский, который побывал в годы коллективизации в деревне, так писал о тракторе...» И продекламировал с прыгающим от пафоса лицом стихотворение Безыменского о тракторе. Я слушал и не верил своим ушам — всегда льстил мне, призывал в коридоре «спасать» меня, а здесь такая злоба, откуда она? Эх, русачки мы, русачки! Чего стоят наши патриотические слова, когда мы

в трудное время топим друг друга! Впрочем, можно иногда видеть, как из этой топи протягивается рука в знак запоздалого примирения. Тот же Бирюков спустя пятнадцать лет после описанной выше истории защищает вдруг меня в газете «Советская Россия» (13 ноября 1997 года) от А. Яковлева, вспоминает, как меня «немедленно пригласили для объяснения на партийную группу кафедры творчества. Он пришел, привел примеры, как высокопоставленный автор извратил его тексты, стараясь приписать всяческие грехи» и т.д. Да и я тоже, уже недавно, при встрече с ним почувствовал себя неловко за то нехорошее слово в коридоре, и мы мирно поговорили друг с другом, жизнь коротка, особенно в нашем с ним возрасте, и так много кругом взаимной неприязни.

Смотрю на Евгения Сидорова, который должен сейчас выступать. Вспоминаются слова, сказанные им при разговоре со мной в его кабинете, что он не будет выступать против. Но эта фраза почему-то прокрутилась в моем сознании с обратным смыслом: скажет же что-нибудь против. И почему-то я решил, что не пропустит Евгений Юрьевич то место в моей статье, где приводятся адресованные Зиновьеву слова Ленина о необходимости активизации массового террора в Питере в связи с убийством Володарского. И я как в воду глядел. Сказал обо мне добрые слова как о критике, как о преподавателе, и вдруг о том самом... Тонко сказал: есть в статье место, которое дает основание думать о Владимире Ильиче как о стороннике терроризма.

— Это не я говорю, — бросил я с места. — Я цитирую из книги Давида Голинкова «Крушение антисоветского подполья в СССР».

— Тем хуже! — как-то молниеносно парировал Сидоров, как ракеткой в пинг-понге, что поставило меня просто в тупик.

Но в целом отношение его ко мне выглядело, говоря его любимым словом, толерантным. «Михаил Петрович Лобанов — человек уважаемый, он хорошо работает в институте, никаких административных мер мы применять к нему не

можем и не будем. Но обсуждать книги и статьи, вызывающие споры в печати, мы должны обязательно». И в последней фразе назвал мою «главную идею» — «мечтательно-консервативной». Видимо, в этом была какая-то доля истины, хотя и было для меня странно...

Почему из такой мечтательной консервативности загорелся сыр бор на самом верху партийной власти? Может быть, и там переоценивали возможности «русской почвенности», не веря в полную силу в то, что было уже явью, — в наличную реальность радикальную, имеющую давние революционные традиции и уже готовую перейти в новое свое состояние — «перестроечно-криминального» толка.

А в итоге-то могу сказать только доброе слово о «толерантности» ко мне Евгения Сидорова. Даже и когда я написал о нем в «Молодой гвардии» что-то «изящно-двусмысленное» по поводу того его «тем хуже», он не затаил обиду и, уже будучи министром культуры России, повстречавшись со мной во дворике Литинститута, рассказал мне о своей инициативе по некоторому улучшению пенсионной обеспеченности группы писателей-фронтовиков, в которую включил и меня, за что я, по своему инстинкту христианскому считать грехом неблагодарность, ответил ему благодарным письмом.

С обычной ко мне доброжелательностью выступил Виктор Тельпугов, заведующий кафедрой творчества, при этом, разумеется, оговариваясь, что статья моя «действительно вызывает определенные возражения с политической точки зрения», и тут же именуя меня «нашим товарищем, прекрасным критиком, которого мы все любим и уважаем». Привожу здесь эти эпитеты, конечно, не ради дешевой саморекламы, а чтобы показать, насколько порядочным было поведение Виктора Петровича, как, впрочем, и некоторых других.

Как всегда, отличился Валерий Дементьев: статья Лобанова порочна своей антипартийностью, антиисторизмом; чему такой преподаватель может научить студентов Литинститута?

В заключение слово было представлено мне, и я зачитал следующий текст:

«Хочу поблагодарить за критику моей статьи "Освобождение", которая получила такой резонанс, которого я не ожидал. Я чувствую себя обязанным сказать несколько слов о замысле статьи. В основе ее — анализ романа М. Алексеева "Драчуны", затронувшего сложную, острую проблему первых лет коллективизации. Известно, что имели место две точки зрения о путях социалистического строительства в деревне. Все мы знаем позицию Ленина по этому вопросу. В своей статье "О кооперации" он говорил о необходимости перехода к социалистической деревне наименее болезненным путем, "наиболее простым, легким и доступным для крестьянства". Пока не будет создана материальная и культурная база для такого перехода — "до тех пор это будет вредно, это будет, можно сказать, гибельно для коммунизма". В статье "Странички из дневника" Ленин говорил о недопустимости задаваться "предвзятой целью внедрить в деревню коммунизм".

Совершенно иной была позиция Троцкого, который требовал исключительно принудительных мер в отношении крестьянства, тотальной милитаризации крестьянского труда: "Утверждение, что свободный труд, вольнонаемный труд производительнее труда принудительного — было безусловно правильно в применении к строю феодальному, строю буржуазному, но не к социалистическому".

К сожалению, после смерти Ленина на отдельных этапах коллективизации скрытые троцкисты продолжали проводить линию Троцкого в вопросе о крестьянстве. В основе романа М. Алексеева и лежит эта трагическая ситуация — когда крестьяне пошли по новому пути. И, вместе с тем, столкнулись с троцкистскими методами работы в деревне. Наши идеологические противники — советологи — используют эти известные факты в выгодном для них антисоветском смысле. И заслуга М. Алексеева именно в том, что он не избежал этих фактов, а осветил их с позиции партийной и народной правды (и выбил тем самым возможность

идейно спекулировать на драматических событиях нашей истории). Художническая принципиальность, проявленная автором "Драчунов", мне кажется, особенно насущна именно сейчас, когда партия безбоязненно обсуждает, не боится затрагивать болевые точки нашей истории, нашего современного развития.

Журнал "Волга", печатая мою статью о "Драчунах", естественно, ориентировался как на партийность позиции автора романа, так и на полную убежденность в искренности, идейную недвусмысленность моей позиции в отношении романа. Именно из указанной выше позиции по вопросу о крестьянстве я и исходил, когда писал свою статью. И если статья воспринята не так, как я хотел, — значит, я не донес до читателей свою мысль, излишне лаконичную, конспективную в некоторых местах. Тут есть над чем мне подумать, и я, безусловно, приму к сведению предъявленные мне упреки. Однако я могу искренне сказать, что никаких нигилистических целей я не преследовал в своей статье. Все, кто знает мою работу в критике на протяжении десятилетий, могут подтвердить, что мне всегда были глубоко чужды любые проявления диссидентства и я никогда не держал и не собираюсь держать идеологического кукиша в кармане.

Еще раз благодарю за критику, над которой я еще много буду думать и которая не пройдет для меня бесследно».

После Ученого совета предстояло мне еще пройти через партгруппу кафедры творчества. Здесь на меня накинулись Евгений Долматовский и Валерий Дементьев. Долматовский кричал: «Вы пишете, были троцкистские методы в коллективизации. Это клевета! Я сам организовывал колхоз!» Для меня это было сюрпризом! Пятнадцатилетний городской мальчик переделывал «темное» тысячелетнее крестьянство, командовал и учил, как жить и работать на земле! Дементьев в упор, как следователь, угрожающе допрашивал: «Вы признаете критику Центрального Комитета?!» И потом где только он не топтал меня: в издательствах «Советская Россия» и «Современник», в Госкомпечати,

в Союзе писателей РСФСР, на всех заседаниях, в редакции журнала «Октябрь» (он был там членом редколлегии), где мне присудили премию за статью о В. Белове — к его пятидесятилетию — и тут же отменили, как только Дементьев устроил в редакции шум против меня.

Этот Дементьев в свое время, во второй половине шестидесятых годов, прочитав какую-нибудь очередную мою статью в «Молодой гвардии», останавливал меня при встрече во дворике Литинститута и скороговоркой хвалил ее, оглядываясь при этом, не идет ли кто-нибудь из них. Попросил он как-то меня написать рецензию на его книжку очерков о «памятниках культуры», но все это было так посредственно и безлико, «а ля рюс», что у меня рука не поднялась писать об этом опусе. В те годы в Союзе писателей РСФСР мне было поручено вести работу с молодыми критиками, и, естественно, я использовал эти свои обязанности для того, чтобы привлекать побольше русских в качестве руководителей, участников обсуждений, семинаров. Но в самом начале семидесятых годов с уходом, вернее, снятием с поста руководителя Союза писателей РСФСР Л. Соболева и приходом на его место С. Михалкова ответственным за работу с молодыми критиками сделали Валерия Дементьева, и все переменилось. Из состава членов бюро и совета по критике он убрал почти всех русских, и хотя меня это не коснулось, я не мог оставаться в этой компании. Замелькали одни и те же фамилии в роли руководителей критических семинаров, ведущих участников совещаний: Книпович — Перцов — Гринберг — Молдавский — Борев и т.д. И соответствующий отбор для систематически проходивших семинаров тех молодых зоилов, которые затем пополнят антирусскую орду в критике.

За моим делом в Литинституте, как мне рассказывал секретарь нашей парторганизации Н. Буханцов, внимательно следил Краснопресненский райком партии, требуя исключения меня из партии и снятия с работы, но до этого не дошло. И вне стен Литературного института было немало лояльных и сочувствующих мне. Владимир Лазарев на

собрании московских писателей открыто выступил в защиту статьи и журнала «Волга», за что получил партийный выговор. Не скрывали своего положительного отношения к статье Вадим Кожинов, Сергей Семанов, Юрий Лощиц, Юрий Селезнев, Марк Любомудров, Николай Кузин, из молодых — Сергей Лыкошин. Встретил я человеческую поддержку и со стороны Андрея Туркова, несмотря на разницу наших литературных позиций.

Выше приводились слова генсека Ю. Андропова в беседе с первым секретарем Союза писателей СССР Г. Марковым, что с выходом статьи «Освобождение» в журнале «Волга» партийный комитет в Саратове «должен еще принять меры». И меры были приняты. На бюро обкома партии тогдашний первый секретарь обкома В. К. Гусев добивался ответа: как все это могло произойти, как могла выйти такая статья? В местной партийной газете выступил ее редактор с самыми отъявленными политическими обвинениями в адрес автора статьи, журнала. Оказывается, Лобанова в Москве давно раскусили, так он, как вражеский агент, проник в «Волгу» и произвел эту идеологическую диверсию. Хотя никуда я не проникал, журнал «Волга» сам обратился ко мне с просьбой написать статью. На собрании местных писателей должно было бы, по обычаю того времени, повториться все то, что было сказано в столичной прессе и местным начальством. Но тут вдруг не все пошло по команде. Один из местных писателей Василий Кондрашов назвал статью правильной и заявил, что через пять лет отношение к ней будет совсем другое. Надо знать положение писателя в провинции, чтобы оценить такое мужество.

* * *

8 февраля 1983 года состоялось обсуждение моей статьи «Освобождение» на секретариате правления Союза писателей РСФСР под председательством С. Михалкова. Я думаю, любопытно было бы привести в сокращении некоторые выступления (по стенограмме).

СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ СЕКРЕТАРИАТА ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

8 февраля 1983 г.

Председательствует — **С. МИХАЛКОВ**

С. МИХАЛКОВ. Товарищи!

Разрешите мне считать заседание секретариата открытым.

У нас сегодня секретариат должен быть ориентирующим нас на будущее и настораживающим наших редакторов в связи с тем, что журнал «Волга» опубликовал статью Лобанова, которую Центральный Комитет партии определил как ошибочную. Обком партии вынес главному редактору Палькину строгий выговор, соответствующие взыскания получили товарищи, которые были причастны к публикации этой статьи. А выводы нам нужно делать здесь.

Статья Лобанова уже обсуждена, статья Лобанова получила соответствующую оценку в «Литературной газете», в «Литературной России», и, я думаю, мы не собираемся здесь воспитывать тов. Лобанова. Он достаточно взрослый человек. Это не новичок в литературной критике и литературоведении. В его статье ясно выражена его позиция, его точка зрения на нашу современную литературу. Можно сказать шире: это его мировоззрение. И поэтому воспитывать и учить тов. Лобанова мы не собираемся. Но поскольку мы ответственны за такие публикации в наших журналах, мы должны делать соответствующие выводы.

[...] Удар по нашей литературе нанесен через него, отталкиваясь от него, интерпретируя то, что вздумалось интерпретировать критику. Начиная с шолоховской «Поднятой целины», он проявил недоверие к писательскому слову, сказанному за все предыдущие годы. Я уж не говорю о том, что Лобанов одной фразой зачеркивает всю детскую литературу. По его мнению, такой литературы вообще нет. Но это пусть, бог ему простит, такая литература есть! Лобанова не будет,

а детская литература будет. Но это не предмет нашего сегодняшнего обсуждения.

Нам небезразлично, что взгляд на нашу советскую литературу, на литературные явления становится материалом для проповедничества неверных идейных позиций в отношении литературы. Для нас небезразлично то, что читатель и молодые писатели вводятся в заблуждение, и небезразлично то, что тов. Лобанов преподает в Литературном институте. Вероятно, он и там знакомит своих студентов со своими теоретическими взглядами. [...]

Произведение современного писателя, писателя-коммуниста, произведение критика, очеркиста в нынешних условиях должно быть в какой-то степени маяком, маяком, по которому надо равняться, который указывает путь. И если этот маяк светит не туда, то оказывает ли он помощь нашему большому «кораблю»? Нет, наоборот, он сбивает его с верного пути. А мы рассчитываем наши журналы на широкую читательскую массу и должны понимать, что нельзя читателя сбивать с толку. [...]

Литература — есть часть общего большого партийного дела. А у нас то и дело появляются произведения, не являющиеся частью нашего большого партийного дела.

В. ДЕМЕНТЬЕВ. ...Шолохов [...] не мог просто так сказать, что питерский рабочий приехал учить земледельцев, станичников труду. Что же на самом деле происходит в романе? В главах 25, 29, 24 речь идет о том, что учат конкретно, как пахать, Семена Давыдова, причем учит его Разметнов, учит Любишкин. [...] Или другой пример: Кондрат Майданников прочел целую лекцию Семену Давыдову перед тем, как тому взяться за чапыги, он учил его, как нужно пахать на быках.

Так где же питерский рабочий учит станичников земледельческому труду?

В. ФЕДОРОВ. Это метафора.

В. ДЕМЕНТЬЕВ. Она неверна. Это вроде ложного маяка, идя на который корабль может подорваться. Это метафора, но нужно понимать, в каком контексте она должна быть. [...]

Дальше. Особенно мне близок А. Твардовский. У него вырывается клочок фразы, что Твардовский-де в период написания «Страны Муравии» прибегал к методу изображения или перевода реальности в план несколько условный и что этот метод в дальнейшем дал свои большие результаты.

Что же получается, по Лобанову? Получается, что Твардовский «Страной Муравией» открыл целую серию фальшивых произведений тем, что он отрывал все от действительности, от реальности и все переводил в условный план. На самом же деле все это не так, потому что категория условности у Твардовского — категория эстетическая. Это высказывание он употребил значительно позже, в своей биографии в 1954 году, когда в нашей литературе шла дискуссия по поводу подобных изображений в литературе и по поводу реализма в литературе. [...]

Я не говорю о том, что перечеркиваются Камю, Маркес, перечеркивается Куприн, вплоть до московской школы. Во многих местах Лобанов нарочно темнит, то есть прибегает к формально нарочитым многозначительным ссылкам на франкфуртскую школу. Как будто никто не читал философов Мартина Хайдеггера, Маркузе, Адорно. Ни один не читал, только он прочитал. [...]

В некоторых местах концепция Лобанова сводится к тому, что в русской деревне было благолепие, все было прекрасно, но вторглась какая-то инфернальная сила — и все пошло кувырком. [...]

Я напомню один эпизод. Один барин вблизи села Покровское приказал разметать стог сена, который был собран из пятидесяти возов, как уверяли мужики. Этот барин долго спорил с крестьянами. И когда разметали один стог, в нем оказалось тридцать два воза, а не пятьдесят. С кем же это было? С Константином Ивановичем Левиным. И написал об этом Лев Николаевич Толстой. Так было. Такие были мужики, и таков их благостный лик, каким он и должен быть в нашем сознании.

Ф. КУЗНЕЦОВ. Михаил Лобанов знал, на что шел. Статья осмысленная и осознанная. Это — поступок, и не нужно делать вид, что мы чего-то недопонимаем.

Я ее прочитал внимательно и не принял ее внутренне, принципиально и категорически. Считаю, что статья нанесла большой вред нашему литературному делу, нашей критике и нашему читателю. Очень жаль, что сегодня нет здесь Михаила Петровича, было бы правильней пригласить его сюда.

В. ДЕМЕНТЬЕВ. Он был на Ученом совете в Литературном институте, он ничего не принял.

Ф. КУЗНЕЦОВ. Я не согласен с тем, что мы не должны воспитывать, не должны учить. Нужно бороться за каждого человека, и за Лобанова тоже. Нужно спорить, аргументировать и силой, и убедительностью фактов. Потому что Лобанов — это не просто Лобанов, это — тенденция. Нужно спорить и доказывать, нужно давать точную партийную характеристику.

Статья Лобанова написана просто [...], надо отдать должное Лобанову — это его лучшая, очень сильная статья, потому что он шел здесь на бой. [...]

Практически круг за кругом снимается все, что дорого нам, что осталось во имя человечества. Сделано это своеобразно. [...]

Роман «Драчуны» написан как прелюдия к роману о Сталинграде. Люди, которые прошли через эти тяжелейшие испытания, жизнью своей спасли Отечество, страну.

Вот позиция автора романа Михаила Алексеева. Она вся обращена в будущее. Позиция же автора статьи Михаила Лобанова реакционно-романтическая, то есть в качестве позитива у Лобанова — позитив веховский. Эта статья — заключительный, завершающий аккорд развития Лобанова, которое он прошел за последние десять-пятнадцать лет. Это продолжение идеологии, которая вошла в русскую общественную мысль после революции 1905 года как попытка отречения от русских революционных традиций и поворота сознания в направлении защиты реакции. Кокетничанье с веховской линией в конечном счете, будучи логическим продолжением, приводит именно сюда.

В этом смысле, я бы хотел сказать, данная статья — это не просто факт плохого редактирования журнала «Волга». Эта статья свидетельствует об очень трудных, в какой-то степени

кризисных, явлениях в нашей критике, теоретическом мировоззренческом разброде...

Н. ДОРИЗО. Я согласен с тем, что говорил Феликс Кузнецов, особенно в последней части. С одной только фразой я не соглашаюсь. Я имею в виду ущерб, нанесенный Алексееву. Удивительная история произошла с этой статьей. У меня полное ощущение, что статья написана не о романе Алексеева, который я прочитал, а совсем о другом. И эти две вещи существуют порознь. [...]

У Алексеева за плечами большая литература, тот же «Вишневый омут». В романе «Драчуны» Лобанову нравится только одно, что Алексеев дошел до вершины, когда он показывает голод. Но это однобокое и неверное отношение к литературе, которое не может не вызывать чувство внутреннего желания спорить. [...]

Насчет того, что нет у нас детской литературы, — я об этом даже не хочу разговаривать. Говорить об этом — это значит ломиться в открытую дверь. У меня лично, как у человека, больше всего вызвала возмущение странная и неверная трактовка Лобановым рассказа Платонова «Возвращение».

Это, товарищи, — Ремарк, а не Платонов. Это — западная литература. [...]

Если бы говорил человек, который не прошел войну... У нас есть фильмы, созданные людьми, которые не были на войне, и это чувствуется. Но Лобанов воевал, а позиция его вызывает чувство спора. [...]

Е. ИСАЕВ. «Волевое начало», — осуждает Лобанов. Смотря какое волевое начало. Есть волевое начало дьявола, и есть волевое начало бога. Это разные вещи. Если бы не волевое начало, не знаю, сидели бы мы за этим столом.

В каждом человеке, в каждом обществе есть волевое начало. Это как часть разума, как часть основы. Это государство, прежде всего. Мы еще государство не отменили. Это партийное начало.

Возьмите ту часть статьи Лобанова, где он подвергает критике большое, громоздкое строительство, говорит, что в громоздком строительстве мы потеряли человека. Но если

бы к 1929 году мы не начали делать большое железо, что мы получили бы в 1941-м? [...]

Если бы не было волевого начала, мы бы экономически и технически не осилили фашизм. У нас в литературе, на мой взгляд, упущена одна очень большая тема — как, каким образом была подготовлена энергетическая система нашего государства, если мы, отступив до рубежа Волги, Москвы, Ленинграда, сумели перевооружить армию, потеряв практически все промышленные центры в европейской части. [...]

Так что волевое начало — его нельзя ставить в такое неудобное положение, держать где-то в уголке.

У Лобанова в статье совершена, на мой взгляд, ревизия основной, генеральной исторической идеи всего нашего государства и всей нашей деятельности, и эта ревизия произошла, к сожалению, на фоне прекрасного романа Алексеева. Мы должны Алексеева защитить и всю нашу литературу от субъективных толкований М. Лобанова.

Ю. ГРИБОВ. ...Мне кажется, в этом нашем заседании нам надо сказать о нашей линии. Между прочим, Лобанов делает всегда такой вид, что он знает что-то такое, о чем не знают другие. А мы знаем, что Лобанов — способный критик. Он учит молодежь и может ее убеждать. Я считаю, что наше мнение об этой статье должно быть самое отрицательное и мы должны серьезно его высказать...

Н. ШУНДИК. ...Я не знаю, возможно, от чего-то и надо освобождаться Михаилу Алексееву, всем, видимо, нам надо кое от чего освобождаться, что стало грузом, но только не от метода диалектического мышления. Лобанов пишет: «Если писатель будет честен перед памятью своих погибших друзей, как он честен в "Драчунах" перед памятью погибших земляков, то новый его роман о войне может оказаться и новым словом о ней».

Но как понимать, по Лобанову, честность М. Алексеева в «Драчунах», если он назвал это произведение «нравственным судом» над его остальными книгами о деревне? Не метафизическим ли аршином измерил Лобанов «Драчунов»? [...]

И в заключение еще несколько слов вот по какому поводу.

По-моему, мы достаточно сильны, чтобы ошибки подобного рода осмысливать с достоинством, без зубодробильного пафоса, по-товарищески. Но еще нужна хорошая озабоченность, умение и желание не потешать наших врагов, не давать им повод бесноваться по этому поводу: вот, мол, смотрите, расправа над инакомыслием. А у нас, господа, никакой расправы. У нас мужской разговор. И уж будьте уверены, мы в своих делах разберемся сами по всем правилам нашей безукоризненной чести.

С. МИХАЛКОВ. Ошибки Лобанова не случайность, это его мировоззрение, это — тенденция, это его позиция, причем за ним идут и другие.

Ф. КУЗНЕЦОВ. Не так уж много.

С. МИХАЛКОВ. Но все-таки идут.

М. АЛЕКСЕЕВ. Некоторые товарищи были участниками расширенного секретариата Московской писательской организации, когда роман «Драчуны» выдвигали на премию. Там выступило семнадцать ораторов, и одним из этих ораторов был автор нашумевшей статьи. Он выступал устно, потому несвязно и трудно — трудно было уловить смысл. Но в зародыше в его выступлении было все то, что появилось в этой статье. Желая мне польстить, он сказал, что после появления романа «Драчуны» писать по-прежнему уже нельзя. [...]

Там выступал Кузнецов и говорил, что это не метод — противопоставлять всех и вся. Но, очевидно, секретарям и участникам этого важного заседания будет полезно узнать одно обстоятельство: роман «Драчуны» вышел в начале прошлого года, и с тех пор я получил полторы тысячи писем. И из этих полутора тысяч писем нет ни одного, которое выступило бы против идеологии героев этого романа.

И вторая, не менее существенная деталь. Казалось бы, раз Алексеев написал тяжелые детали о 1933 годе, западные издатели должны были бы наброситься на этот роман. Ничего подобного! А вы знаете, как они подхватывают, если есть хоть маленькая пропагандистская крупица против советской власти.

Если вы помните, противопоставление не только «Драчунам», но и «Поднятой целине» в статье наличествует. А ведь Лобанов мог бы заметить, что в «Драчунах» учительница читает «Поднятую целину» и какой восторг это вызывает у героев. [...]

По поводу двух статей, появившихся в «Литературной газете» и «Литературной России». Мне показалось вначале, что, может быть, не нужно сразу из двух стволов ударять по Лобанову, потому что «Литературная газета» — это главный калибр, а потом уж «Литературная Россия». Хотя было бы странно, если бы наша российская газета промолчала.

В чем я убежден: «Литературная Россия» могла бы подобрать критика более спокойного, более объективного и вдумчивого, чем Оскоцкий. Мы боимся признаться, что групповщина у нас все-таки существует. Даже «Литературная газета» и та вынуждена заметить, что этот критик за одни и те же ошибки разных писателей судит по-разному: одних карает, других милует. Пусть статья была бы в этом же смысле, но более спокойная, более объективная. В ней слишком много крика. На какой-то пронзительной ноте она написана. Если у Николаева хватило такта написать, что на роман Алексеева была большая критика в газетах и журналах, то Оскоцкий этого не заметил. Он готов меня соединить, слить воедино с Лобановым. Давняя сложившаяся неприязнь Оскоцкого прощупывается и тут. Я не говорю, что такие статьи не нужны. Они нужны. Но хотелось бы, чтобы это был другой, более объективный критик. [...]

Я был бы нечестен, если бы сказал, что статья совсем неинтересная. При первом чтении она действует очень сильно. Лобанов — талантливый критик, от этого никуда не денешься. И потому статья произвела большой резонанс.

Ю. ДРУНИНА. Феликс Феодосьевич сказал, что Лобанов знал, что идет на бой. У меня не было при чтении статьи такого ощущения. Я думаю, что он шел на сенсацию. Статей с элементами этого было довольно много. И я буду нечестной, если не скажу, что они мне нравились, потому что это был период, когда у нас все было благостно, прямолинейно,

плоско. И когда появлялась такая критика, это было приятно, что мы не боялись ни в глазах собственных, ни в глазах наших друзей в кавычках никаких трудностей, не казались китайцами. Но нужно учитывать время, когда выходят те или иные статьи. Сейчас время сложное. Наступило время «холодной войны».

У меня нет ощущения, что Лобанов хотел похвалить Алексеева.

Был трудный период в нашей истории. 33-й год. Голод. Но уж если говорить об испытаниях, почему же Лобанов не говорит об испытаниях войны? Снова у него получается перекос. [...]

Я вовсе не призываю к примитивному, но надо нам подумать об общей линии. Здесь не может быть двух мнений...

В. ФЕДОРОВ. Лично меня статья критика Лобанова очень огорчила, потому что я к Лобанову относился всегда с симпатией. Какая-то материальность в его размышлениях всегда присутствует, и в этой статье она также есть.

Я думаю, что статья написана не в расчете на сенсацию, он достаточно зрелый человек и искренний в своих верованиях, а какие это верования — это вопрос другой. [...]

Второе, на что я хотел бы обратить внимание: очень грустно, да и не только грустно, прямо слов нет, когда вы читаете статью Лобанова и видите, что как будто изнутри она патриотична, и вы клюете на это. Вам кажется, что как будто он смелый человек, но какая же это смелость? Когда он бросает какие-то метафорические сравнения, что в революции происходили какие-то ужасные вещи и народ страдал, — и в это же время появился Павка Корчагин. У Лобанова это как-то так высвечено, что уходит Павка Корчагин...

Ю. БОНДАРЕВ. К выступлению наших мудрых критиков добавить здесь нечего с точки зрения эстетической и теоретической. Мне хотелось бы сказать вот о чем. Жизнь дает повод для суеты, для злобы, для печали и радости, для ностальгии, наконец, для самого главного — я имею в виду состояние человека, когда он задумывается о смысле жизни.

И думаю, что не нужно здесь вести разговор о неких сиюминутных маяках, а надо судить и ориентировать себя в реальности по звездам, по созвездиям, по главному в жизни. [...] Юлия Друнина была права: мы живем в тревожное время. Упаси нас бог от стереотипного мышления — мысли по одной мерке. Я за дерзость в критике. А это разговор о жизни, о счастье, о смерти, о любви, ненависти и пр. Это ориентация по звездам.

А. АЛЕКСИН. Мы выдвинули роман Михаила Алексеева «Драчуны» на соискание Ленинской премии и правильно поступили, ибо это — явление в нашей литературе.

Я считаю, что статья М. Лобанова по сути дела никакого отношения к роману не имеет. [...]

Попутно и походя критик изничтожает и нашу прославленную на весь мир детскую литературу — литературу Аркадия Гайдара, Корнея Чуковского, Виталия Бианки, Николая Носова...

В. ПОВОЛЯЕВ. Лобанов — критик смелый, злой и умный. [...]

Когда мы выдвигали произведение Алексеева на Ленинскую премию, мы говорили, что герои его, мальчишки 1933 года, были потом участниками Великой Отечественной войны. Поэтому попытка Лобанова как-то заслонить эти вещи вызывает у нас совершенно справедливую тревогу.

Я присоединяюсь к высказыванию Друниной, что удар был нанесен всем нам. Может быть, критик занял такую позицию, что надо сталкивать всех лбами, и тем самым он старается завоевать для себя дешевую популярность?

Ю. СБИТНЕВ. [...] Я прочитал статью Лобанова с величайшим интересом. Дал мне прочитать ее М. Н. Алексеев, и я ее прочитал, повторяю, с большим интересом. Я увидел, что это статья, мимо которой мы не можем пройти. [...]

Что в этой статье есть? Нет там никакой бердяевщины, никакой почвенности. Есть только лобановщина. Все подразумевают какую-то основу, какую-то выстроенную систему. Там системы никакой нет. Там крестьянин убивается. А он давным-давно не такой, каким его представляет Миша

Лобанов. Он не может быть почвенником, потому что такой крестьянин сто пятьдесят лет отсутствует. [...]

Литераторов, которых совершенно верно и костромской критик Дедков рубил под корень, мы взяли под защиту. Мы говорим: чеканная проза Афанасьева или необыкновенные экзерсисы Кима, то есть я расцениваю это как выходки, совершенно непонятные критике.

Обрадовала меня эта статья тем, что нам надо заниматься нашим хозяйством очень серьезно.

Ф. КУЗНЕЦОВ. Мазохистская радость, надо сказать.

Ю. СБИТНЕВ. Не случайно было постановление о критике. Мы говорим: мы выполняем его прекрасно. А что прекрасного? Наша литература, периодическая литература, которая существует сейчас, не освещена никак...

А. КЕШОКОВ. Когда мы говорим о выдающихся, известных литературных образцах русской литературы, мы непременно затрагиваем и задеваем и художественные образцы национальных литератур, потому что многие из них возникли под непосредственным влиянием русской литературы. [...] Я хочу сказать, что, замахиваясь на русских писателей, Лобанов также замахивается и на национальную литературу.

Критика должна быть преисполнена любви и уважения к тому предмету, который становится предметом исследования, то есть критика должна быть преисполнена любви к литературе, и прежде всего к носителям этой литературы. Без этой любви и уважения критика может быть только субъективной. Эта статья при всех ее других недостатках лишена любви и уважения к литературе вообще и к писателю в частности. Вот в этом, как мне кажется, и состоит вредность этой статьи.

А. ЧЕПУРНОВ. В критике недопустим внеисторический, ненаучный подход, отсутствие диалектического анализа. В статье Лобанова «Освобождение», помещенной в журнале «Волга» (№ 10 за 1982 год), допущено внеисторическое сопоставление произведений разных лет. Подобный метод, намеренно или случайно, может иметь провокационный характер. Искажая истинный, конкретной эпохой по-

рожденный пафос писателя, этот метод приводит порою к неоправданному столкновению крупных явлений нашей литературы. [...]

Все это заставляет нас не мириться и не идти на компромисс со взглядами, идущими вразрез с марксистско-ленинской эстетикой.

А. БЕЛЯЕВ. Разговор, который сегодня состоялся на секретариате Союза писателей, показал высокую политическую зрелость наших писателей, и все выступившие здесь товарищи дали верную и точную, партийную оценку статье Лобанова.

Здесь некоторые товарищи говорили, что с огромным интересом читали эту статью. Я должен сказать, что я читал эту статью со все возрастающей тревогой, так как видел, как все глубже и глубже Лобанов запутывался в поднятых им вопросах. Здесь уже отмечали, что статья, в сущности, ставит под вопрос пользу и необходимость проведенного социалистического переустройства нашей деревни и советскую литературу, которая болела за это социалистическое переустройство и поддерживала его. Несостоятельна и сама методология этой статьи. Она далека от марксистско-ленинской и выявляет слабости мировоззренческой позиции автора.

И очень хорошо, что Московская писательская организация собирается дать бой этим нездоровым тенденциям, которые время от времени проявляются в литературе и которые, надо сказать, находят должную оценку у литературной общественности.

Я присутствую на втором секретариате, где поднимаются подобные проблемы. Нельзя, однако, не обратить внимание на то, что статья Лобанова была опубликована в октябре месяце. Прошли октябрь, ноябрь, декабрь, январь, все читали с интересом эту статью и молчали. Потребовалось решение ЦК партии, чтобы этот интерес повернулся в правильную сторону.

Я понимаю, что нужно было время, чтобы переварить все эти «концепции», но ошибочные тенденции, которые уже не раз проявлялись у Лобанова, они всем давно известны. О них

говорили, о них писали, и на статью надо было сразу обратить внимание и забить тревогу.

Я не в качестве упрека секретариату это говорю. Упреки надо адресовать членам редколлегии журнала «Волга». Получив эту статью в октябре, они должны были своевременно обратить на нее внимание и дать ей оценку.

Не может не возмущать недостойное обращение Лобанова с молодым талантливым писателем Крупиным. Лобанов ругает его за то, что Крупин честно, по-партийному, по-человечески отнесся к критике своих товарищей и воспринял ее. И непонятно, за что его Лобанов подвергает такому грубому и беспрецедентному поношению в своей статье.

Это должно быть приостановлено. Так мы далеко не уйдем.

Тут говорили уже: непонятно, откуда у Лобанова столько презрения к писателям.

Я согласен с Юлией Друниной, что пора кончать играть в политические игры. Они до добра не доведут. Постановление ЦК КПСС о журналах требует от секретариата СП РСФСР сделать очень серьезные выводы и по каждому российскому журналу внимательно разобраться.

Обратите внимание, все скандальные публикации, не прошедшие в Москве, где-то появляются на периферии. На моей памяти второй такой разбор. Один по «Простору», когда была прекращена публикация. И второй по журналу «Волга», где очень некритически отнеслись к столичному критику и прямо «с колес» он пошел в печать. Редактор журнала членов редколлегии не поставил в известность — привыкли.

Я думаю, что постановление секретариата СП РСФСР будет разослано всем журналам, и с учетом последнего постановления ЦК о творческой связи журналов с практикой коммунистического строительства, необходимости повышения требовательности, дисциплинированности оно будет помогать нам успешно выполнять решения XXVI съезда КПСС и указания ЦК о высокой мере ответственности каждого за порученное дело.

С. МИХАЛКОВ. Мы, дорогие друзья, собрались сюда не для того, чтобы судить Лобанова, а для того, чтобы обсудить работу редакций наших журналов, ошибку редакции «Волги». Я думаю, что «Литературная Россия» может дать хороший, подробный отчет о нашем секретариате.

Возражу Юрию Бондареву. Когда я говорил о маяках, я имел в виду идеологические маяки. А наши идеологические маяки не могут превратиться в столбы.

Тут кто-то сказал: надо бороться за Лобанова. Сегодня надо скорее бороться за молодого писателя Крупина. У Лобанова сложившийся характер, философия.

Мы рассчитываем на Московскую организацию, потому что это самая сильная организация. Мы рассчитываем на то, что там надо дать бой выступлениям, подобным лобановской статье. Не нужно закрывать глаза на то, что статья Лобанова, напечатанная в «Волге», имеет и своих апологетов, которые его поздравляют с этой статьей, чьи групповые интересы и чьи тенденции он разделяет. Они разделяют его позицию. Есть люди, которые находятся в боевой готовности, но не на нашей, а на его стороне. ЦК партии посчитал статью «Освобождение» вредной. Если бы она была безликой, может быть, ЦК не стал бы обращать на нее такое внимание. Но она вредна, потому что она спекулятивно-провокационна. А по отношению к Алексееву критик поступил бесчестно. Лобанов не такой глупый и необразованный человек. Он понимал, что делает.

Я считаю, что убеждать его не нужно. Убеждать нужно редакторов быть внимательными, заведующих отделами критики, молодых литераторов, которые следуют за такими критиками и писателями, которые исповедуют эти же позиции. Мы не в детском саду, чтобы перевоспитывать Лобанова! Да, спорить с ним нужно, но убедить его вы не убедите. Дементьев сказал уже, что на совете в Литинституте он не отказался от своей позиции.

Ф. КУЗНЕЦОВ. Бороться против идей, но за людей.

С. МИХАЛКОВ. Посмотрим, какие будут результаты. Напишет ли он что-то честное и искреннее? Если он напишет это сейчас, это будет неискреннее.

Низвергаются маяки. С каких позиций? С наших позиций? С партийных позиций? Пересматривают Горького. Не успел Симонов умереть, его уже ниспровергают. Кожинов ревизует всю нашу литературу об Отечественной войне. Что это такое? ЦК партии не будет спускать нам таких идеологических просчетов, серьезных ошибок. Редакторы должны отвечать.

Мне кажется, сегодня прошел деловой секретариат, все выступили и сказали свое мнение. Мне очень жаль, что Викулов не пришел.

Ю. БОНДАРЕВ. Викулов свое отношение уже высказал.

С. МИХАЛКОВ. Во всяком случае, было бы хорошо, если бы он тоже присутствовал, потому что «Современник» мы обсуждали на секретариате примерно за такие же ошибки.

Я предлагаю принять следующее постановление секретариата:

«Проект постановления секретариата правления Союза писателей РСФСР от 8 февраля 1983 года.

В постановлении ЦК КПСС "О творческих связях литературно-художественных журналов с практикой коммунистического строительства" указывается, что редколлегии, партийные организации журналов и авторский актив призваны работать с большей мерой ответственности. Отмечается, что на страницах журналов появляются историко-литературные и литературно-критические работы, авторы которых явно не справляются со сложным материалом, обнаруживают мировоззренческую путаницу, неумение рассматривать общественные явления исторически, с четких классовых позиций.

Эти положения постановления ЦК КПСС были нарушены редакцией журнала "Волга", опубликовавшей статью М. Лобанова "Освобождение" (Волга. 1982. № 10).

Обсудив статью М. Лобанова "Освобождение", секретариат правления Союза писателей РСФСР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Считать серьезной ошибкой журнала "Волга" публикацию статьи М. Лобанова "Освобождение".

Обратить внимание главных редакторов на их личную ответственность, а также на ответственность редколлегий и редакционного аппарата за качество и идейно-художественный уровень публикуемых материалов.

Активизировать работу редакционных коллегий, обеспечивая тем самым полную коллегиальность при отборе материалов для печати.

Проводить мероприятия по неуклонному укреплению трудовой дисциплины в аппарате редакций.

Данное решение довести до сведения всех руководителей писательских организаций, главных редакторов и редакций литературных журналов и альманахов СП РСФСР».

Вот такое постановление есть предложение принять. Нет возражений? (Нет.)

Я считаю, что члены редколлегий должны также отвечать, и, если они не читают материалы и потом, после опубликования ошибочных, идейно порочных статей, не высказывают своего отношения у себя в редакции, если они замалчивают это, они должны или уходить из редакции, или нести ответственность.

Я очень благодарен Ф. Кузнецову за его выступление и что на Московском идеологическом активе будет дан бой этой статье, а у вас есть могучие критические силы.

Ф. КУЗНЕЦОВ. Надо найти серьезных критиков, а это — проблема. Здесь создалась очень сложная ситуация.

С. МИХАЛКОВ. Но, дорогой Феликс, почему нельзя попросить выступить на этом активе Суровцева, Кузнецова, Николаева, Дементьева, Озерова, Туркова и других?

На этом разрешите закончить обсуждение.

* * *

Интересные встречи и разговоры были у меня впоследствии с участниками этого обсуждения. Назову поименно некоторых из них.

Н. ДОРИЗО. В Дом литераторов я не любил ходить и крайне редко, случайно оказывался там. Но однажды зашел

туда посидеть за столиком в ресторане с дочерью Мариной и моими добрыми знакомыми — профессором-медиком Александром Сергеевичем Бобровым и его милой женой, тоже медиком Людмилой Михайловной. У себя дома она была такой гостеприимной хозяйкой, что казалось, ей некогда присесть к столу, и теперь мне было приятно видеть, как веселая, не занятая гостями, она отдыхала в нашей маленькой компании. Доволен был и Александр Сергеевич, похваливая давно не пробованную копченую «сталинскую колбасу», аппетитно жуя и дивясь качеству писательской трапезы. Марина как-то не по возрасту неумело, безразлично отхлебывала маленькими глоточками шампанское из бокала, еще не привыкшая к новизне обстановки. А я, чувствуя почти домашний уют за столиком, думал, что и в этом писательском окружении можно уединиться и хорошо провести время. Но недолго длилась эта идиллия.

Неожиданно около стола появился Николай Доризо. Глядя на меня туповатым, нетрезвым взглядом, он протянул мне руку: «Привет, Лобанов!» Не вставая с места, я громко ответил, что не подаю руки тому, кто в мое отсутствие обливал меня грязью.

— Сто граммов без сдачи! — крикнул Доризо стоявшей рядом официантке, выхватывая из кармана бумажку и тут же требуя ответа, крича, почему я не подал ему руки. Я повторил свои слова.

— Мерзавец! — прохрипел он, багровея мясистой физиономией, и, когда я вскочил, он быстро отпрянул в сторону, встал около женщины, видимо из администрации ресторана, что-то осторожно говоря ей. Тут я заметил, что сидевший поблизости от нас за столиком Евтушенко с любопытством поглядывал в нашу сторону, став зрителем забавной сцены. Сдерживавший меня Александр Сергеевич жаждал узнать, кто же это такой — нарушитель нашего спокойствия.

— Слышали такую песенку: «Парней так много холостых, а я люблю женатого»? Так вот автор этой песенки по фамилии Доризо и есть нарушитель нашего спокойствия.

— Доризо? Боже мой, разве я могла бы подумать... такая песенка... — искренне сокрушалась Людмила Михайловна,

а ее супруг, как-то двусмысленно улыбаясь, покачивал головой: «Вот это Доризо».

Николая Доризо я знал давно, еще по своей работе в ростовской газете «Молот» в начале пятидесятых годов, когда он печатал в ней свои стихи, выпускал в местном издательстве свои стихотворные сборники. Помню, в начале 1953 года, возвращаясь из Ростова в Москву, я оказался в одном купе с какими-то московскими литераторами, к которым то и дело заходил Доризо, ехавший в том же вагоне. Он только что познакомился с ними и все вставлял в разговор, какие остроумные анекдоты он слышал от «Миши Светлова». Видно было, что он уже знает, как входить в литературу, что умение «почесать языком», рассказать байку, завязать связи — зачастую важнее самого кропанья стихов.

Вскоре после стычки в Доме литераторов в мае 1985 года я очутился вместе с Доризо в группе писателей, поехавших в Париж. Там он большей частью, сказавшись больным, отсиживался в гостинице. А когда мы были в маленьком левом издательстве с выставленными книгами Троцкого и других революционеров, и издатель вспоминал своих знакомых из московских писателей, то назвал он и отсутствовавшего Доризо.

НИКОЛАЙ ШУНДИК. На VIII съезде писателей РСФСР, в 1989 году, С. В. Михалков принес мне извинение за свою, как он выразился, «необоснованную критику» моей статьи «Освобождение» на секретариате СП РСФСР в феврале 1983 года. Выступивший тогда же на съезде Вл. Бондаренко сказал с трибуны, что невредно было бы и другим извиниться, назвав в их числе и Н. Шундика. И я тогда же поведал, как Николай Алексеевич, встречаясь со мною, бьет челом, чуть не касаясь головой земли, и этим самым как бы уже подает сигнал к согласию. И вот на трибуну важно поднимается Шундик и, водрузив очки на косящие глаза, сообщает залу, что он человек вежливый, всегда здоровался и будет здороваться с Лобановым и хочет сейчас сделать то, что его давно мучит, — извиниться перед Кардиным, которого он в свое время несправедливо критиковал за известную

статью в «Новом мире». В статье той космополит Кардин ядовито иронизировал над русской, советской историей, пустив в ход эффектную фразу, что «никакого выстрела ”Авроры” не было». Не было и самого Кардина в зале, где извинялся перед ним «русский патриот», но это и не имело значения, главное — зафиксировано извинение перед евреем, а значит, снято возможное подозрение в «шовинизме», «антисемитизме», что страшнее всего для карьериста. А какая польза от извинения перед Лобановым? Одна морока. Вот так и лавировали эти казенные «русские патриоты», всегда готовые ради секретарства, Государственных премий, «собраний сочинений» идти на поклон к кардиным.

ЮРИЙ ГРИБОВ. Осенью 1999 года мне довелось отдыхать вместе с Юрием Грибовым в санатории «Карачарово» Тверской области. Жили мы с ним три недели в одной комнате, что было для меня не очень удобно, потому что мне надо было писать, а какое писание при соседе? Поэтому я уходил в лес, подальше от аллей, где он мог меня увидеть и опять затеять все один и тот же политический разговор. А в комнате, прохаживаясь взад-вперед мимо меня, он выставлял перед собой ладонями вверх руки с трепещущими пальцами и допрашивал неизвестно кого. Откуда появилась Хакамада? Почему Немцов говорит, что они люди — не бедные? Откуда у него деньги? Почему народ молчит? Почему нет наших, русских террористов? Я помалкивал, зная, что в противном случае будут только плодиться эти бесконечные «почему».

Он рассказывал интересные истории из своей жизни в послевоенное время, когда младшим лейтенантом служил в Германии, познакомился там с немецкой девушкой и как уже спустя десятилетия встретился с нею и ее мужем во время своего приезда в ГДР. «Я говорил Бондареву: тебе надо было писать с меня, как это было, а не придумывать любовь лейтенанта Княжко к немке». Слушая Грибова, я почти восхищался его свободой поведения — и когда?! где?! — в то время, как я, его одногодок, студентом корпел над книгами в МГУ после ранения и контузии на фронте.

Но больше всего он вспоминал свое секретарство. Какое было время! Он был секретарем СП СССР по издательским делам. Когда уезжали куда-нибудь Марков или Верченко, он принимал иностранные писательские делегации. «Надо было их занимать разговором часа два-три за столом. За мной была зарезервирована бутылка шампанского, ничего другого не пил. Сижу с ними, выйду по делам, вернусь, опять разговоры, налью шампанское из своей бутылки».

«Четыре месяца в году секретарям союза полагался отпуск, бесплатные путевки в санатории, — вспоминал Юрий Тарасович. — У меня ежегодно был такой распорядок отдыха. В марте — Пицунда. В мае — Карловы Вары. В августе-сентябре — правительственный санаторий "Объединенные Сочи" в Сочи. Там видел через железную решетку, как ходил к морю по лесенке Брежнев, махал рукой. В ноябре-декабре — Дубулты. Рядом была правительственная дача, видел, как гулял Косыгин».

Вдруг задумавшись, Юрий Тарасович произносил тихо: «Жена у меня умерла в прошлом году. Плохо без нее». Видимо, это точило его, и казалось, он отгонял мысли о жене воспоминаниями о том, где, в каких заграницах, в каких местах нашей страны он бывал и чем там его угощали. Сейчас, при «демократах», будучи на голодном пайке, когда-то сытым писателям остается только предаваться ностальгии по прежним временам. Итак: в Чехословакии — пиво и горы мяса. В Италии его учили, как надо чистить апельсин — срезать верхушку, надрезывать кожуру на дольки. На Кубе пили ром в смеси — двести граммов желтого и пятьдесят граммов гранатового сока с прибавкой травки — и двумя кусочками льдинки. В Румынии пили вино опоэшты — «мы говорили оболдэшты — голова ясна, ударяет в ноги». Во Вьетнаме — крабы, кальмары. «Как нас принимали под Парижем французские коммунисты, сколько было вина!» В Казахстане секретарь обкома пригласил Юрия Тарасовича к себе на дачу и угощал жеребенком (а гость думал, что это телятина). В Бурято-Монголии секретарь обкома угощал его пареными пельменями. В Костромской области председатель

колхоза послал за ящиком пива, заедали его свежей копченой свининой. В Пошехонье на сырном заводе угостили ложечкой закваса с бактериями — очень полезная штука, этой ложечки хватает на бочку сырной массы. Об этом Грибов написал в «Правду», когда был там спецкором. Прочитал министр пищевой промышленности, позвонил ему и сказал: приезжайте на любой завод выбирать любой сыр.

Голова шла у меня кругом от этого гастрономического клубления и винных паров, пока вдруг не отрезвел от мысли: чем-то важным, видимо, приходится человеку платить за искус подобных маленьких праздничков, которые остаются в памяти разве что забавами, когда нас постигают утраты.

ЕГОР ИСАЕВ. Прихожу домой, жена говорит: «Звонил Егор Исаев, приглашает на свой юбилей. Сказал, что не представляет его без тебя». Знаю Исаева с конца пятидесятых годов, когда он еще работал в отделе поэзии издательства «Советский писатель», читал на ходу отрывки из своей поэмы «Суд памяти», которую долго писал. Мне нравились в ней стихи о нашей планете — Земля, несущейся в мировом пространстве, увиденной как бы с космической высоты. Меня всегда восхищало его устное словотворчество, неиссякаемость образного словоизвержения, выступал ли он с трибуны, на эстраде или же импровизировал в разговоре. Мне даже кажется, что он не говорит, а именно импровизирует, кто бы ни был перед ним и о чем бы ни шла речь. Иногда так увлекается, что даже как бы и не воспринимает слушателя. В таком положении однажды оказался я. Еще недавно выходила «Библиотека российской классики» (ныне деятельность этого уникального по размаху издания приостановлена из-за финансовых трудностей). Председатель редакционного совета этого издания — Егор Александрович Исаев, в числе других членов совета — и я. С выходом первых томов в 1994 году была устроена «шикарная» презентация в гостинице «Космос» около станции метро «ВДНХ». И вот поздно ночью, в ожидании машины, чтобы отправиться домой, мы сидим с Егором одни за столом, в огромном зале — и еще

только несколько человек неподалеку. Поднимается Егор с места, с бокалом в руке, обводит отсутствующим взглядом стол и громко обращается к пустым стульям: «Товарищи! Сегодня мы много говорили о великой русской литературе. Это литература...» Мне жутковато стало. Около трех часов ночи, все товарищи и господа давно разъехались, одни мы за столом в огромном, почти безлюдном зале... Но вскоре, сидя в машине, Егор Александрович был уже самим собой, щедро, красочно философствуя, бодря шофера энергичными присказками, оставляя нам заряд своего красноречия и на обратный путь — от Переделкина ко мне на Юго-Запад.

Но вернусь к его юбилею, в мае 2001 года. Был он сперва в Государственной думе — куда пускали по спискам, а потом на окраине Москвы — в поселке Сходня, в Российской Международной академии туризма, где его щедро одарили и морально, и материально. На банкете по его просьбе я должен был выступить в числе первых. И вот он, сам объявляя о моем выступлении, начал негодовать на тех, кто «преследовал Лобанова» за его статью «Освобождение». Было как-то трогательно слышать это: мне показалось, что он и сам забыл о своем участии в том «обсуждении»... — а может быть, искренне считает, что все прошлое — чепуха, как те пустые стулья на презентации. Но, глядя на Егора, сидевшего во главе стола рядом с Михаилом Алексеевым, я вдруг, шпаря свою речь, находил все-таки слова нужные, искренние, а потом, уже сидя, с грустью почему-то подумал, как быстро пронеслась наша жизнь и сколько этих юбилеев мешается ныне с похоронами.

В. Ф. ШАУРО. Бывшие заведующие отделами ЦК КПСС — культуры В. Ф. Шауро и отдела пропаганды Б. И. Стукалин после появления моей статьи «Освобождение» написали докладную записку в секретариат ЦК КПСС с осуждением этой статьи. В. Шауро я увидел в лицо только раз в жизни — перед отпеванием Леонида Максимовича Леонова в храме Большого Вознесения, 10 августа 1994 года. О Шауро я раньше слышал, что он «великий молчальник», всегда уходил от общения, разговоров с писателями. И здесь, у па-

перти, он стоял особняком, приглядываясь, видимо, к необычной для него обстановке. В храме я оказался рядом с ним, простояв недолго, он как-то незаметно вышел.

Б. И. СТУКАЛИН. С Борисом Ивановичем Стукалиным я познакомился на квартире Л. М. Леонова в начале девяностых годов, где собрались близкие Леониду Максимовичу люди, которых он хотел видеть в качестве хранителей своего литературного наследия. Выйдя потом на улицу, мы прошлись немного вместе, на ходу поговорив кое о чем (помнится, он сказал мне об отсутствии «стратегии» у Ельцина), я отметил мысленно, видя воочию вчерашнего завотделом пропаганды ЦК, как была важна наверху, для того же Ю. Андропова, в подборе кадров «русская мягкость». После этого Стукалин звонил мне, очень просил в качестве редактора поработать с Леонидом Максимовичем над рукописью его «Пирамиды». Было видно, с каким пиететом Борис Иванович относится к патриарху русской литературы. И этому он остался верен и впоследствии, когда, уже после смерти Леонова, взял на себя основное бремя по организации его юбилея в мае 1999 года — столетия со дня рождения писателя. «Демократическая» власть устранилась от юбилея, не дала ни копейки, и Стукалину, пользуясь прежними связями, пришлось «шапочно» добывать деньги.

Перед торжественным заседанием мне, как члену юбилейного комитета, сказали, что я должен сидеть в президиуме. Вот уж чего мне не хотелось! Но вдруг я вспомнил, по книге Фейхтвангера «Москва. 1937 год», как в том же Октябрьском зале Дома Союзов, где будет торжественное заседание, проходил в 1937 году процесс над троцкистами, и я тут же решил: «Ну конечно же, сяду в президиум!» Сидеть на той же самой сцене, на том же самом месте за столом, где сидел Вышинский, допрашивая скученных напротив на скамье подсудимых, всех этих радеков-пятаковых — крестинских-раковских, а перед этим, в 1936 году, — зиновьевых-каменевых, а позже, в 1938 году, — бухариных, прямо-таки огромное удовольствие сулила мне возможность представить это! И, признаюсь, пока шло заседание, мысли мои были заняты тем

славным временем, когда загнанную в этот угол перед сценой троцкистскую банду настигло справедливое возмездие.

После заседания ко мне подошел Стукалин и, заговорив о моем интервью в газете «Советская Россия» в связи со столетием Леонова, несколько смущенно сказал: «Крепко Вы по ним ударили». «И Вы по мне в свое время тоже», — подумал я, но сказал другое, повторил сказанное в газете: о его решающей роли в устроении леоновского юбилея.

* * *

На заседание секретариата правления Союза писателей РСФСР, на котором была обсуждена моя статья «Освобождение», я не получил приглашения и о выступлениях на этом заседании узнал из короткого отчета о нем в «Литературной России» от 25 февраля 1983 года. Выступавшие в большинстве как бы отрабатывали идеологической бдительностью свои должности, премии, их речи не отличались силой убеждения. Это очевидно даже для стороннего, объективного наблюдателя. Уже цитированный мной немецкий исследователь Дирк Кречмар пишет в своей книге: «Ввиду того, что сам генеральный секретарь выразил неудовольствие статьей Лобанова, СП РСФСР должен был так же четко отреагировать на нее. 8 февраля 1983 года, то есть уже через четыре месяца после публикации, секретариат правления СП РСФСР созвал специальное совещание для обсуждения статьи Лобанова. Несмотря на то, что все секретари правления отдавали себе отчет в политическо-идеологическом размахе лобановской статьи, их речи оставляли впечатление скорее беспомощности и неуверенности».

Приведу мнение и нашего отечественного талантливого критика, главного редактора журнала «Кубань» Виталия Канашкина: «Уровень суждений и представлений в статье М. Лобанова оказался таким, что после ”Освобождения” сочинять и размышлять так, как это делалось до ее появления, стало невозможно». Это, конечно, большое преувеличение достоинства моей статьи, так же, как и слишком суровы,

по-моему, слова критика о выступлениях писателей при обсуждении моей статьи на секретариате правления СП РСФСР: «Мы как бы открываем комод, из которого на нас пышет нафталином и залежалым тряпьем. Ощущение возникает "обрыдлое". Но такое, от которого никуда не деться. Ведь перед нами не кто иной, как мы сами» (журнал «Кубань», 1990, № 10).

Такой же «залежалостью» веяло и от обсуждения статьи в Московской писательской организации. Автор книги «Счастье быть самим собой» В. Петелин с подкупающим простодушием признается, как он готовился выступать там на парткоме в поддержку некоторых положений моей статьи, но не решился этого сделать из-за запрета начальства.

Статья «Освобождение», ставшая предметом критики самого генсека Андропова, вызвала отклики и за рубежом — от Америки до Японии.

Все связанное со статьей пережитое стало моим освобождением от литературной публичности. И я надолго замолк, испытывая какое-то странное умиротворение. Хорошо, что все-таки все кончилось благополучно. Теперь я могу уйти в себя, жить посмиреннее и помудрее, без писательского суесловия. Мне и до того было противно всякое выставление себя напоказ, я не понимал никогда, как можно упиваться на сцене «славой», «известностью» перед массой публики, которая через какие-нибудь два-три часа вывалится из зала на улицы и рассеется по городу, занятая своими заботами.

Летом, в августе 1983 года, умер Анатолий Васильевич Никонов. Ушел человек, с которым была связана, можно сказать, весенняя пора моей литературной жизни — «молодогвардейская». С его смертью уходила в прошлое часть самого меня. После похорон на Кунцевском кладбище мы собрались на поминки в здании издательства молодежных журналов на Новодмитровской, где он работал. Я сидел рядом с его сыном, изредка мы переговаривались с ним, не упоминая имени его отца. Если бы я знал, что его ожидает в будущем. Его найдут зимой замерзшим на улице и таким окоченевшим, что нельзя было нормально уложить в гроб.

Было в этом что-то роковое для Анатолия Никонова с его драматической, в сущности, судьбой в катастрофическое для России время.

На поминках, помнится, поэт Владимир Фирсов начал читать свое стихотворение, наступало то оживление с растущим празднословием, которое как-то не ложилось в мою уже свыкшуюся с безмолвием душу, и я тихо покинул эту тризну.

Шли годы, и случилось то самое, что предсказал саратовский писатель Василий Кондрашов, — через несколько лет, пусть не пять, а немного попозже — через шесть лет отношение к моей статье стало совсем другим. В. Кожинов в своей статье «"Позиция" и понимание» («Литературная Россия», 28 июля (№ 30), 1989) писал: «В "Литературной России" (№ 24, 1989) появилась информация о том, что саратовские писатели отменили свое давнее "решение", которое "осуждало" публикацию статьи Михаила Лобанова "Освобождение" в № 10 журнала "Волга" за 1982 год. В сущности, "решение" это отменено самой жизнью, и очень многие литераторы ныне ясно понимают, что та статья Михаила Лобанова — одно из самых важных духовных событий за двадцатилетие "застоя"... Читая семь лет назад статью Михаила Лобанова, я испытывал, помимо всего прочего, чувство великой радости оттого, что честь отечественной культуры спасена, что открыто звучит ее полный смысла и бескомпромиссный голос — хотя, казалось бы, в тогдашних условиях это было невозможно...»

Ст. Лесневский писал в «Литературной газете» (27 января 1988 года): «У нас не прозвучало полного признания того, что мы совершили большую ошибку, учинив разгром памятной статьи М. Лобанова в "Волге". Между тем сейчас, перечитывая статью, мы находим в ней немало справедливого, точного. Не должна возникнуть такая ситуация, когда одно направление пытается доказать власти, что противоположное направление является врагом нашего строя. Эта ситуация находится вне морали и вне культуры».

Выступивший на VII съезде писателей РСФСР, в декабре 1990 года, В. Бондаренко говорил: «Но давайте не забывать,

что это на российском секретариате громили не так давно наши уважаемые секретари Михаила Лобанова за его знаменитую статью. Мы хоть повинились перед ним? Нет... Я думаю, все называемые секретари, сидящие здесь, должны лично на съезде извиниться перед Михаилом Петровичем Лобановым» («Литературная Россия», 21 декабря 1990 года).

Из всех названных секретарей извинился только один из них — руководитель СП РСФСР С. Михалков. В связи с этим в своем кратком слове на съезде я сказал: «Я не думал выступать на съезде, но, видимо, будет невежливо, если я не скажу несколько слов по поводу одного выступления. Я имею в виду выступление Сергея Владимировича Михалкова. Здесь, на съезде, он принес мне извинения за свое выступление на секретариате Союза писателей РСФСР в феврале 1983 года, когда после решения секретариата ЦК КПСС подверглась разносу моя статья "Освобождение" в журнале "Волга". Мне хотелось бы услышать от секретариата СП и извинения перед Николаем Егоровичем Палькиным, снятым тогда же с поста главного редактора "Волги" за публикацию моей статьи. Тем не менее извинения Сергея Владимировича — своеобразный аристократизм на фоне литературно-критического плебейства многих участников того судилища» («Литературная Россия», 28 декабря 1990 года).

В своем слове я счел нужным сделать акцент на следующем: «Характерно, что большинство громивших "Волгу" за мою статью — русские, полтора десятка секретарей СП, лауреатов. Альберт Беляев слушал их и потирал руки от удовольствия: вот русские дураки, — бьют своего, лежачего. Это не в диковинку. Этим методом пользовались, пользуются политики... Сейчас левые радикалы испытывают явное затруднение, растет все большее недоверие к ним, разваливающим страну, и потому они стремятся использовать русских, и те идут на это» (там же). Но это уже та проблема, которая требует особого разговора.

В начале июня 2000 года по просьбе Михаила Николаевича Алексеева я поехал с ним в Саратов по случаю вручения лауреатам премии его имени. Местные писатели вспоми-

нали ту давнюю историю с моей статьей, расхваливали меня, дарили книги. Во время плавания на катере по Волге мой визави по застолью поднял меня с места, подвел к борту и, вспоминая то писательское собрание по поводу моей статьи, начал вдруг выкрикивать в мутном вдохновении: «Мы слабаки! Трусы! Подлецы!» Что мне оставалось делать, как не успокаивать его.

После поездок по городу, встреч нас принял губернатор области Д. Аяцков. Он вышел к нам навстречу, как только открылась дверь кабинета, торжественно обнял своего знаменитого земляка. Сели за большой стол, Алексеев — напротив губернатора, и началась беседа. Тут слушавший писателя с какой-то разогретой, понимающей улыбкой Аяцков воскликнул: «Этот подонок N!» Только позже, выйдя из губернаторского кабинета, спускаясь по лестнице, я сказал: «Не надо бы так резко об N.» — заметив тут же, как внимательно посмотрел на меня шедший рядом молодой человек, видно, из администрации губернатора.

Пока шел разговор, у меня возникла мысль воспользоваться случаем, чтобы чем-то помочь местным писателям. И я обратился к Аяцкову: «Дмитрий Федорович, Вам известно, что в некоторых областях России писателям выделяются ежемесячные пособия. Нельзя ли то же самое сделать у вас? Это было бы знаком отеческого внимания к нуждающимся писателям!»

— Отеческое внимание есть, но не всегда есть возможность реализовать его, — отпарировал хозяин кабинета. — Вот мы помогаем артистам филармонии.

— Ну какое может быть сравнение исполнителей с писателями?

— Я — не против, — заключил Аяцков. — Пусть руководитель саратовских писателей сделает мне соответствующее представление.

Замечу, что сразу же после этого, при вручении премий, чтобы придать гласность обещанию губернатора, я в своем выступлении с трибуны перед публикой остановился на обещанных пособиях. И потом, в разговоре с секретарем

местной писательской организации Иваном Шульпиным, присутствовавшим на нашей встрече с Аяцковым, просил убедительно в списке кандидатов поставить первым Кондрашова Василия Павловича. Он был единственным из саратовских писателей, кто вступился за меня, когда там, по команде из Москвы, трепали меня в феврале 1983 года за злополучную статью. Так хотелось мне отблагодарить Василия Павловича за поддержку, за благородное поведение — и я был уверен, что сумел это сделать, когда решился вопрос о пособиях. И что же? При встрече в Союзе писателей России узнаю, что ежемесячное пособие (по пятьсот рублей в месяц) получили пять саратовских «классиков», Кондрашов же в список не попал. А ведь о нем я больше всего думал, когда пробивал вопрос об этих пособиях.

Я благодарен Михаилу Николаевичу за поездку на Саратовщину, особенно — в его родное село Монастырское. Когда мы, приехав туда, ходили по улицам и окраинам, я узнавал все описанное в его книгах — Вишневый омут, сад деда, другие места его детства. Здесь мне как-то виднее стал этот человек, ранее смущавший меня порою уклончивостью в поступках, крестьянским «себе на уме» при своих, конечно, качествах самородка, мудрости житейской. Здесь, в родных его местах, он понятнее мне стал как автор «Карюхи», «Драчунов» — выношенных им в глубине сердца, написанных рукой художника. «Я писал ”Карюху” здесь, в Монастырском, в избе зимой, написал за два месяца», — сказал он мне и добавил, что хорошо бы нам с ним приехать сюда вдвоем. Он посетовал не в первый раз, что кому-то надо было поссорить нас, распустить слух, что будто он, Алексеев, топтал меня за статью, но это — ложь. И не в первый уже раз вспомнил, как из-за моей статьи отменили уже решенное было дело — присуждение ему за «Драчунов» Ленинской премии. А ведь в самом деле, подумал я, человек пострадал из-за меня, а вроде чувствует себя чем-то виноватым передо мной — что за странная русская черта!

С особым чувством отправился я на кладбище, которое в моем представлении было связано с теми картинами

в «Драчунах», когда сюда свозили и хоронили в ямах умерших от голода. Но никаких признаков тех могил здесь не оказалось. Только редкие островки могил поздних с большими деревянными крестами жались к краям огромного кладбищенского пространства с переливающимися от пронзающего холодного ветра ковыльными травами. Такого кладбища я не видел, весной с разливом, как мне рассказали, вода заливает всю околокладбищенскую низменность и тогда в открывающейся красоте чего может быть больше — призрачного или врачующего для людской памяти?

ОПЛОТ
(семья Аксаковых)

В «Детских годах Багрова внука» С. Т. Аксакова есть удивительное место, когда в дорожной поездке, казалось бы, неизлечимо больного ребенка родители кладут на траву лесной поляны, и все, что видел он, ощущал, слышал вокруг, пение птиц, аромат цветов, дыхание леса — все это так целительно подействовало на него, что вскоре он почувствовал себя здоровым.

Такая же целительная природа живет и оздоровляюще действует на нас в произведениях писателя.

Но такое же духовное здоровое воздействие оказывает на нас и сам облик Сергея Тимофеевича. По его собственным словам, наклонность ко «всему ясному, прозрачному, легко и свободно понимаемому», впитанные им с молоком матери родные предания отвращали его от всякого духовного оборотничества, преподносимого под видом новизны.

Еще не будучи знаменитым писателем, он уже был той личностью, которая притягивала к себе замечательных людей русского искусства и науки. Гоголь, Тургенев, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Тютчев, Толстой, Достоевский, Аполлон Григорьев — все они глубоко чтили «старика Аксакова». Под влиянием Гоголя, который заслушивался устными рассказами Сергея Тимофеевича о заволжском быте и уговорил

«старшего друга» писать «историю своей жизни», Аксаков начал свои автобиографические книги и сразу же вошел в русскую литературу как ее классик.

Привлекал Сергей Тимофеевич своих современников и как прекрасный семьянин, гостеприимный хозяин дома, где все дышало приветом и доброжелательством. Жена Аксакова Ольга Семеновна, дочь суворовского генерала и турчанки, взятой в плен при осаде Очакова, была подлинной устроительницей внутреннего лада семейной жизни. Известны слова Белинского: «Ах, если бы побольше было у нас в России таких отцов, как старик Аксаков». В семье, состоявшей из десяти детей, царили взаимная любовь и дружба, отца они уже будучи и взрослыми, называли «Отесенька» (от слова «отец»).

Собственно и жизнь Сергея Тимофеевича была сосредоточена вокруг двух начал: созидание семьи и автобиографических книг, воссоздание семейных преданий.

Из этой семьи вышли два замечательных деятеля русской культуры и общественной жизни: славянофилы Константин Аксаков и Иван Аксаков.

Семья всегда была в русской литературе прообразом народной жизни: пушкинские Гриневы, тургеневские Калитины, толстовские Ростовы, до шолоховских Мелеховых, платоновских Ивановых. Семья Багровых занимает среди них особое место, ибо за нею стоит семья самих Аксаковых.

Семья — не только свои дети, но и родовое предание, родители, предки. Известный философ-богослов П. Флоренский писал: «Быть без чувства живой связи с дедами и прадедами — это значит не иметь себе точек опоры в истории. А мне хотелось бы быть в состоянии точно определить себе, что именно делал я, и где именно находился я в каждом из исторических моментов нашей Родины и всего мира — я, конечно, в лице своих предков».

В двух своих главных книгах «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука» Сергей Тимофеевич на основе рассказов родителей воспроизвел семейное предание, историю трех поколений рода Аксаковых (Аксаков заменен

в повествовании вымышленной фамилией Багров). В «Семейной хронике» выведены первое и второе поколение семьи Багровых — дедушка и родители маленького Сережи, а детству Сережи, продолжающего род Багровых в третьем поколении, посвящены «Детские годы Багрова-внука». Вся «Семейная хроника» состоит из пяти сравнительно небольших отрывков, книга скромна по размеру, но остается ощущение полноты, обнимающей разнообразные события и множество людей, целую историческую эпоху. За литературными персонажами стоят реальные люди, но это не значит, что перед нами фотографические снимки с них. Нет, это прежде всего художественные образы, заключающие в себе нечто более, чем только частное, личное. И прежде в Аксакове был виден большой художник, — уже в его «Буране», затем в «Записках об уженье рыбы», «Записках ружейного охотника», «Воспоминаниях» (писавшихся почти одновременно с последними главами «Семейной хроники»), но тогда автор как бы сдерживал свою изобразительную силу, а здесь, в «Семейной хронике» дал ей полную волю, и вот повеяло такой подлинной жизнью, за которой уже не замечается искусство. Таков первый же отрывок из «Семейной хроники», глава «Добрый день Степана Михайловича» (включенный потом в знаменитую «Русскую хрестоматию» А. Галахова, выходившую десятками изданий в дореволюционной России). Что, казалось бы, замечательного — день, проведенный дедом рассказчика, провинциальным помещиком, но сколько здесь любовно переданных подробностей бытовых, домашних, из жизни хозяйственной с поездкой Багрова в поле, осматриванием там отцветающей ржи, посещением мельницы, разговором с мужиками, ужином, сиденьем на крылечке перед сном, «перекрестился раз-другой на звездное небо и лег почивать». Эпическое течение дня, времени. Один день из жизни героя, но воспринимается это как целый законченный цикл бытия, так это все крупно и целостно.

Автор не идеализирует своего героя, а точнее говоря, своего деда. Старик Багров отмечен печатью времени, крепостнических порядков. Переселяясь из Симбирской губернии

в Уфимское наместничество, за четыреста верст, на новокупленные земли, он снимает с места своих крестьян, всю деревню, и «потянулись в путь бедные переселенцы, обливаясь горькими слезами, навсегда прощаясь со стариною, с церковью, в которой крестились и венчались». Крут и самовластен Степан Михайлович в семье, где так боятся его гнева, делающего из этого, в сущности, добросердечного человека «дикого зверя» (ничто так не может распалить его так, как неправда, ложь).

В Багрове, как в крупном характере, крупны и недостатки, и достоинства. При всех своих противоречиях поступках эта личность монолитная, цельная в своей нравственной основе. А эта основа несокрушима, и на ней зиждется мудрость его житейских правил. Он тверд в слове, «его обещание было крепче и святее всяких духовных и гражданских актов». Подобно тому как могучая грудь, необыкновенно широкие плечи, жилистые руки, мускулистое тело обличали силача в этом небольшого роста человеке, подобно тому, как лицо его с большими темно-голубыми глазами имело открытое и честное выражение, так всегдашняя его помощь другим, посредничество в спорах и тяжбах соседей, ревностная преданность правде в любом случае свидетельствовали о нравственной высоте его.

Софья Николаевна, невестка, быстро постигла «все его причуды», сделала «глубокую и тонкую оценку высоких качеств его». Так гордая, образованная женщина, презиравшая все деревенское и грубое, склонилась перед этим грубым на первый взгляд стариком, интуитивно почувствовав в нем те качества его, которые возвышали его над всеми другими.

В Багрове практические качества уравновешены нравственными, и в этом особенность его натуры. Он из людей практического склада, деятельных, способных на большие предпринимательские дела, но это не голое делячество, не знающее ради выгоды никаких моральных препятствий. У таких людей развитое нравственное сознание не оставляет их и в практической деятельности, иногда может вступать в жестокое противоречие с нею, но никогда не оправдает

в себе неправедности поступка и тем самым уже исключает в себе ничем не ограниченное хищничество.

Но в том-то и дело, что такой характер, как Багров, не был только «преданьем старины глубокой». Почти одновременно с Багровым появился Русаков в пьесе Островского «Не в свои сани не садись», позже Чапурин в романах Мельникова-Печерского «В лесах» и «На горах»; оба эти героя характерами сродни Багрову.

Образ старика Багрова может быть поставлен в ряд эпических образов мировой литературы. Еще в прошлом столетии, сразу же по выходе «Семейной хроники», критика, желая похвалить автора, видела в нем «сходство с Вальтер-Скоттом», в частности, в понимании «исторической необходимости» прошлых обычаев, в строе мыслей Багрова «сообразно духу времени» (недостаточно, видно, была еще авторитетна тогда русская литература для критики, чтобы можно было из нее самой вывести эту «историческую необходимость»). Сила обобщения того же образа Багрова могла родиться только из такой семейной хроники, где представлены не узкие рамки семейного быта, а целая Россия в главных своих качествах (так и было, особенно в дальнейшем, когда уже в семье Сергея Тимофеевича с ее духовно-общественными интересами Россия постоянно присутствовала и в разговорах, и в мыслях отца и детей).

И не только образ старика Багрова отличается такой поразительной силы художественным обобщением. В «Семейной хронике» с не меньшей, пожалуй, только отрицательной силой изображен Куролесов. В портрете героя, который рисует С. Т. Аксаков, при отсутствии, казалось бы, анализа (в том роде, в каком, разлагая целое на его составные части, «выворачивают» нам человека, обнажают потаенные уголки его души и сознания Достоевский и Толстой), при всей целостности рисунка поражает в образе Куролесова психологическая глубина. Некоторые критики видели в Куролесове некоего бытового злодея, что подтверждается как будто и самой канвой сюжета: история женитьбы героя; обман жены; узнанная ею правда об истинном образе жизни мужа, когда

она, прослышав об этом, решает отправиться в имение, где он жил, и своими глазами удостоверяется в правде слухов о его развратной жизни, тиранстве; злодейство Куролесова, убедившегося, что жена не простит ему и ему грозит лишение доверенности на управление имением, избивающего жену и запирающего ее в каменном подвале; освобождение пленницы Степаном Михайловичем и т.д.

Но за этой чуть ли не приключенческой историей скрыты не только бытовые черты, но и метафизические тайны характера героя. Об одной из них говорится: «Избалованный страхом и покорностью всех его окружающих людей, он скоро забылся и перестал знать меру своему бешеному своеволию». Вот что, оказывается, может разжигать «своеволие», «жестокость», «кровожадность» и все другое — и не только в случае с Куролесовым, и не только в его время. Из иных, как бы брошенных на ходу «изустных» замечаний повествователя Достоевский мог бы, кажется, извлечь материал для цепной психологической реакции. Куролесов наименовал три деревни, которые он заселил переведенными со старых мест крестьянами, названиями, составившими имя, отчество и фамилию его жены. «Это романическая затея в таком человеке, каким явится впоследствии Михаил Максимович, всегда меня удивляла».

Достигнув высшей степени разврата и лютости, Куролесов ревностно занялся построением каменной церкви в Парашине. Эти «бездны» в характере героя, «феномен» его кровожадности, противоречивость поступков настолько глубоко затронули что-то «необъяснимое» в «человеческой природе», что дали основание Аполлону Григорьеву сделать следующий вывод: «Эти типы последних времен нашей литературы, бросившие нежданно и внезапно свет на наши исторические типы, — этот Куролесов, например, ”Семейной хроники”, многими чертами своими лучше теорий гг. Соловьева и Кавелина разъясняющий нам фигуру Грозного Ивана...» Такова сила психологического обобщения художника, позволяющая нам за выведенным лицом увидеть целый исторический тип, заставляющая нас задуматься о явлениях, не ограниченных рамками времени и места действия.

Может быть, нигде у С. Т. Аксакова художническая пристальность и полнота не проявляются так, как в образе матери, особенно в «Детских годах Багрова-внука». «Этот образ выносила в душе своей такая же любовь сыновняя, какая прежде у груди матери лелеяла сына», — справедливо писал один из современников писателя. И в самом деле, горячая любовь матери и страстная привязанность дитяти к ней составляют нераздельное целое. «Постоянное присутствие матери сливается с каждым моим воспоминанием, — говорит автор в самом же начале своих «Детских годов Багрова-внука». — Ее образ неразрывно соединяется с моим существованием». Болезненный ребенок был обречен, казалось, на смерть, и только чудом остался жить. И одной из этих чудесных сил, исцеливших его, была самоотверженная, безграничная материнская любовь, о которой сказано так: «Моя мать не давала потухнуть во мне догоравшему светильнику жизни; едва он начинал угасать, она питала его магнетическим излиянием собственной жизни, собственного дыханья». Все повествование освещено образом матери, бесконечно родной, любящей, готовой на любые жертвы, на любой подвиг ради своего Сереженьки. Материнское чувство психологически, кажется, неисчерпаемо: сколько переживаний, сколько душевных оттенков. Забывшаяся тревожным сном мать слышит голос больного своего маленького сына. «Мать вскочила, в испуге сначала, и потом обрадовалась, вслушавшись в мой крепкий голос и взглянув на мое посвежевшее лицо. Как она меня ласкала, какими называла именами, как радостно плакала... этого не расскажешь!» Это всего лишь один момент ее душевного состояния, и, собственно, вся жизнь ее в этом лежащем в глубине души «беспредельном чувстве материальной любви», как говорит сам рассказчик. От первой до последней страницы книги, в каждом эпизоде, где показана мать, в самых разнообразных проявлениях — то страстных, то отчаянно-тревожных, то радостных, то светло-грустных — живет это удивительное чувство, открывая нам скрытые от мира тайны материнского сердца.

В литературе обычно поэтизируется любовь до семейной жизни, с началом ее как бы опускается занавес романтической истории и начинается проза быта. Ни у кого, пожалуй, из русских писателей семейная жизнь не раскрывается с такой поэтической содержательностью, как у С. Т. Аксакова в его «Семейной хронике» и «Детских годах Багрова-внука» в особенности. И это при далеко не гармоничном союзе между супругами (вспомним, что Софья Николаевна вышла замуж не по любви). Но столько в материнской любви богатства чувств, столько душевной «занятости», что уже одно это делает жизнь женщины глубоко осмысленной, дающей ей огромное нравственное удовлетворение, и маленький сын чувствует над собою «нравственную власть» матери. Такое материнское «однолюбие» было, видимо, таким же явлением русской жизни, как и постоянство пушкинской Татьяны с ее: «Но я другому отдана и буду век ему верна».

Поразительно то, что это материнское чувство во всей его первородности и чистоте донес до нас шестидесятипятилетний художник, как будто не было ни бремени охлаждающего душу житейского опыта, ни даже иной матери, когда с женитьбой сына она так переменилась в своих чувствах к нему, ревнуя его к семье: ничто оказалось не властным над силою той детской сыновней любви, которая сделалась святыней его души. Как бы инстинктивно чувствуя, чем он обязан матери, не раз вырывавшей его, казалось, из объятий смерти, Сережа отвечает ей страстной сыновней привязанностью, которая временами буквально потрясает его детскую душу. Такие потрясения переживает он во время болезни матери, приходя в недетский ужас при одной мысли, что она может умереть. «Мысль о смерти матери не входила мне в голову, и я думаю, что мои понятия стали путаться и что это было началом какого-то помешательства».

С. Т. Аксаков, видимо, передал очень характерное вообще для детской психологии. Вот признание известного русского ученого-физика С. И. Вавилова: «Мать любил я всегда глубоко и, помню, мальчиком с ужасом представлял себе, а вдруг мама умрет, что казалось равносильным концу мира».

В этом ужасе остаться без матери есть какая-то стихийная боязнь сиротства, не только сыновнего, но вообще сиротства на земле, и мать здесь как та наиболее близкая и доступная детскому сознанию опора, без которой ему так страшно в мире. Каким оцепенением поражает детскую душу болезнь матери и каким светом озаряется мир с ее выздоровлением. «Наконец, все мало-помалу утихло, и прежде всего я увидел, что в комнате ярко светло от утренней зари, а потом понял, что маменька жива, будет здорова, — и чувство невыразимого счастья наполнило мою душу! Это происходило 4 июня, на заре пред восходом солнца, следовательно, очень рано».

Любовь к матери глубже открывает Сереже самого себя. Он так предался впечатлениям пробуждающейся весенней природы, так («точно помешанный») поглощен был своими делами и заботами — послушать, поглядеть, что творится в роще, как развертываются листья, оживает всякая живность, как завивают гнезда птицы, — что забыл обо всем на свете и даже о матери. И мать с упреком напомнила ему об этом. Словно пелена спала с его глаз: он в самом деле мало думал о ней. Острое раскаяние укололо его в самое сердце, он чувствовал, как он виноват перед матерью, и просил прощения у нее. Мать же не сдержала своих чувств: «Мы с матерью предались пламенным излияниям взаимного раскаяния и восторженной любви; между нами исчезло расстояние лет и отношений, мы оба исступленно плакали и громко рыдали. Я раскаивался, что мало любил мать; она — что мало ценила такого сына и оскорбила его упреком».

Само нравственное развитие мальчика в значительной мере происходит под влиянием познания материнской любви. Эту любовь он особенно, «во всей силе», начинает понимать и чувствовать во время своей болезни. «Понятен испытанный ею мучительный страх — понятен и восторг, когда опасность миновалась. Я уже стал постарше и был способен понять этот восторг, понять любовь матери. Эта неделя много вразумила меня, много развила, и моя привязанность к матери, более сознательная, выросла гораздо выше моих лет». Мысли о матери, возбуждающие в сыне «тревожное

состояние», заставляют его быть «в борьбе с самим собою». И само его «воображение, развитое не по летам», тоже во многом объясняется горячей привязанностью к матери, боязнью утратить ее. Таким образом, в детской психологии образ матери порождает нечто вроде «процесса чувств», «борьбы с самим собой» — явление как бы даже неожиданное при установившемся мнении о «безанализности» психологизма у С. Т. Аксакова.

И не только через мать идет рост детской души. Как содрогается эта детская душа, когда умирает дедушка, какой страх, какой ужас охватывает ее, как воспаляется детское воображение мыслями о смерти! По силе психологической выразительности этот страх поистине зародыш того страха смерти, который будет метаться в сознании героев Толстого, и эта же боязнь смерти, так рано, почти с младенчества узнанная Сергеем Тимофеевичем, видимо, не могла не оставить следа в дальнейшей его жизни, может быть, таилась в его душе, заглушаемая теми «страстишками», о которых говорил сам писатель, имея в виду свои семейные заботы, привязанность к природе и прочее. А рядом со смертью дедушки — появление на свет крошечного братца, вызывающего в Сереже какие-то особые бережные чувства. «В маленькой детской висела прекрасная люлька на медном кольце, ввернутая в потолок. Эту люльку подарил покойный дедушка Зубин, когда еще родилась старшая моя сестра, вскоре умершая; в ней качались и я и моя вторая сестрица. Подставили стул, я влез на него, и, раскрыв зеленый шелковый положок, увидел спящего спеленанного младенца и заметил только, что у него на головке черные волоски. Сестрицу взяли на руки, и она также посмотрела на спящего братца — и мы остались очень довольны... Алена Максимовна, видя, что мы такие умные дети, ходим на цыпочках и говорим вполголоса, обещала всякий день пускать нас к братцу, именно тогда, когда она будет его мыть. Обрадованные такими приятными надеждами, мы весело пошли гулять и бегать сначала по двору, а потом и по саду». Семейное чувство, как бы разветвляясь, входит в душу мальчика, про-

низывает все его существо, дает ему ощущение полноты и уверенности существования. Ему радостно знать, что он из того же рода, что его отец и дедушка. «Я один был с отцом; меня также обнимали и целовали, и я чувствовал какую-то гордость, что я внук моего дедушки. Я уже не дивился тому, что моего отца и меня все крестьяне так любят; я убедился, что это непременно так быть должно: мой отец — сын, а я — внук Степана Михайловича».

Семейное начало стало ведущим, определяющим в повествовании. Это нашло отражение и в самих названиях книг: «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука». Хорошо сказал о книгах С. Т. Аксакова Андрей Платонов, увидевший их «бессмертную сущность» «в отношении ребенка к своим родителям и к своей Родине». По словам Андрея Платонова, «книги Аксакова воспитывают в читателях патриотизм и обнаруживают первоисточник патриотизма — семью», ибо «этому чувству Родины и любви к ней, патриотизму, человек первоначально обучается через ощущение матери и отца, то есть в семье». И сама любовь Аксакова к природе «является лишь продолжением, развитием, распространением тех чувств, которые зародились в нем, когда он в младенчестве прильнул к своей матери, и тех представлений, когда отец впервые взял с собою своего сына на рыбную ловлю и на ружейную охоту и показал ему большой, светлый мир, где ему придется затем долго существовать. И ребенок принимает этот мир с доверием и нежностью, потому что он введен в него рукой отца».

Природа — та вторая, после родительской, колыбель, которая поистине вскармливала и лелеяла детство художника. Одно из самых первых и сокровенных «отрывочных воспоминаний» автора «Детских годов Багрова-внука» — это болезнь и выздоровление в младенчестве. «Дорогой, довольно рано поутру, почувствовал я себя так дурно, так я ослабел, что принуждены были остановиться; вынесли меня из кареты, постлали постель в высокой траве лесной поляны, в тени дерев, и положили почти безжизненного. Я все видел и понимал, что около меня делали. Слышал, как плакал отец и уте-

шал отчаянную мать, как горячо они молились, подняв руки к небу. Я все слышал и видел явственно, и не мог сказать ни одного слова, не мог пошевелиться — и вдруг точно проснулся и почувствовал себя лучше, крепче обыкновенного. Лес, тень, цветы, ароматный воздух мне так понравились, что я упросил не трогать меня с места. Так и простояли мы тут до вечера. Лошадей выпрягли и пустили на траву близехонько от меня, и мне это было приятно... Я не спал, но чувствовал необыкновенную бодрость и какое-то внутреннее удовольствие и спокойствие, или, вернее сказать, я не понимал, что чувствовал, но мне было хорошо... На другой день поутру я чувствовал себя также свежее и лучше против обыкновенного». «Двенадцатичасовое лежанье в траве на лесной поляне дало первый благотворный толчок моему расслабленному телесно организму». Так врачующе подействовала природа на ребенка, и с тех пор он до самозабвения полюбил ее.

Один из современников С. Т. Аксакова, охотник-литератор, шутя говорил, что его собака делает стойку перед «Записками ружейного охотника», так много в них жизни и правды. То же самое можно сказать и в отношении описания природы в «Семейной хронике» и «Детских годах Багрова-внука»: столько здесь жизненного, истинного, что забываешь всякую литературу и вместе с автором погружаешься в мир самой природы.

Здоровое чувство природы роднило Аксакова и художника-пейзажиста такой мощи, как И. И. Шишкин, который называл Сергея Тимофеевича своим любимым писателем.

Она оздоровляюще влияет даже на нас, читателей аксаковских книг, а что уж говорить о Сереже, живущем в ней. Для него она неиссякаемый источник радостей и наслаждений. Сколько тайн, сколько волнующих подробностей открывается ему повсюду в ней, сразу же за домом, где течет Бугуруслан и начинается грачовая роща: на рыбалке; в дороге, все той же самой, от Уфы до Багрова, и всегда захватывающе новой; на ночлеге в степи под открытым небом; в весеннем неистовстве соловьев при потухающей заре. И все это, и многое другое, все голоса, цветы, ароматы,

«красоты природы» (любимое выражение самого писателя) как бы переливаются в детскую душу, ласкают ее, приводят в восторг, ширят ее, делают счастливой. И так же, как в любви к матери, проявляется вся гамма чувств, переживаний маленького героя, так в страстной привязанности к природе раскрывается не менее, пожалуй, богатая жизнь детской души.

Можно было бы много говорить о значении родного угла, природы в творческой судьбе С. Т. Аксакова, в частности, и об уникальности в русской литературе, да и не только, видимо, в русской, а и мировой — такого явления, когда скромные рамки события — детство, проведенное в оренбургском селе, — под пером художника наполняются вдруг такой жизненной подлинностью, содержательностью, значительностью, что мы невольно задумываемся о неисчерпаемости бытия и в самых малых «уголках земли». Впрочем, это и не должно нас удивлять, вспомним, например, что значил этот уголок земли для Пушкина, как обогатило его двухлетнее пребывание в Михайловском, какая поэзия, какие глубины народной жизни открылись ему — через сказки Арины Родионовны, рассказы крестьян, песни слепцов на ярмарках; именно отсюда, из этого «уголка земли» началось и пушкинское постижение русской истории, эпохи «Бориса Годунова» (сотворенного здесь), самой народности. И у каждого великого русского художника был свой «уголок земли», который связывал его с миром.

Отсюда же, из этого «уголка земли» ведет свое происхождение и язык писателя. «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука» впитали язык аксаковской родины, как вобрали они и благоухание окружающей природы. Народность языка у С. Т. Аксакова не только в чисто народных словах, но и в самой правде выражения народной жизни, которую он хорошо знает. Живая речь, кажется, облегает все, чего ни касается: каждое явление, каждый предмет, каждую бытовую подробность; проникается тем неуловимым русским значением, которое дается самой непосредственной жизнью в национальной стихии. Изустная живость речи соединяется

с удивительной пластичностью изображения, с такой зримостью, осязаемостью картин, особенно природы, что мы как бы входим в них, словно в реальный мир. Ни одного фальшивого тона, все просто и истинно. Уже сам язык очищающе действует на читателя не только в эстетическом, но и в нравственном отношении. Отпечаток мудрости, духовной ясности старца, его нравственной проникновенности проглядывает в слоге. Все сокровище души своей вложил художник в этот слог, в эту величавость русского слова, оттого и не убывает со временем красота и правда этого удивительного аксаковского языка, одарившего нас чудной илиадой детства русской жизни.

«Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука» сразу же после своего выхода вызвали восторженные отзывы современников. И что удивительно, эти единогласные похвалы принадлежали людям разных убеждений, таким, как Хомяков и Тургенев, Толстой и Герцен, Шевырев и Щедрин, Погодин и Чернышевский, Анненков и Добролюбов и т.д. Правда, неодинаковые были причины для похвал. Так, Добролюбов (в своей статье «Деревенская жизнь помещика в старые годы, отразившаяся в "Детских годах Багрова-внука"») отметил, как самое важное в книге С. Т. Аксакова, все то, что связано с описанием «старого порядка», с «произволом» помещика в «семейных отношениях», с вторжением в его деревенскую жизнь крепостных отношений. «Конец концов, — пишет Добролюбов, — вся причина опять сводится к тому же главному источнику всех бывших у нас внутренних бедствий — крепостному владению людьми».

«Неразвитость нравственных чувств, извращение естественных понятий, грубость, ложь, невежество, отвращение от труда, своеволие, ничем не сдержанное, — представляется нам на каждом шагу в этом прошедшем, теперь уже странном, непонятном для нас и, скажем с радостью, невозвратном».

Для Толстого в «Детских годах Багрова-внука» «равномерно сладкая поэзия природы разлита по всему, вследствие чего может казаться иногда скучным, но зато необыкновенно

успокоительно и поразительно ясностью, верностью и пропорциональностью отражения».

Щедрин признавался, что испытал на себе решительное влияние «прекрасных произведений» С. Т. Аксакова, потому и посвятил ему один из циклов «Губернских очерков» в журнальной публикации — «Богомольцы, странники и проезжие». Аксаковская эпическая просветленность коснулась такого беспощадно-язвительного сатирика, каким был Щедрин. И гораздо позднее, в его «Пошехонской старине», в главе «Воспитание нравственное», рассказывается, как герой (с автобиографическими чертами самого автора), возрастом уже за тридцать лет, впервые «почти с завистью» познакомился с «Детскими годами Багрова-внука» и вынес из этого чтения неизгладимые впечатления. Высоко ставил книги С. Т. Аксакова Достоевский, отмечая в них правду народного характера. Полемизируя с западниками, он писал: «Вы утверждаете, что чуть народ проявит деятельность, то сейчас он кулак. Это бесстыдно. Это неправда. Няня, переход через Волгу в "Семейной хронике" и сто миллионов других фактов, деятельность самоотверженная, великодушная».

У каждого из знаменитых современников С. Т. Аксакова был свой взгляд на его книги, но все сходились в одном: в признании выдающихся художественных достоинств этих книг, редкого таланта их автора. Сам же Сергей Тимофеевич, искренне удивляясь своему громкому авторскому успеху, с присущей ему «незаносчивостью» самолюбия объяснял дело просто: «Я прожил жизнь, сохранил теплоту и живость воображения, и вот отчего обыкновенный талант производит необыкновенное действие».

Выйдя в свет, «Детские годы Багрова-внука» сразу же стали хрестоматийным классическим произведением. Так, Мамин-Сибиряк (родившийся в 1852 году, за шесть лет до выхода книги Сергея Тимофеевича) писал в своей автобиографии, как он в раннем детстве «заслушивался» чтением «Детских годов Багрова-внука». И позднее другой будущий писатель (о чем расскажет сам Горький в повести «В людях») запомнит навсегда, как «Семейная хроника», «Записки

охотника» Тургенева и другие произведения русской литературы «вымыли» его душу: «Я почувствовал, что такое хорошая книга, и понял ее необходимость для меня. От этих книг в душе спокойно сложилась стойкая уверенность: я не один на земле и — не пропаду!»

Книгами С. Т. Аксакова всегда будут «заслушиваться» потомки писателя, находя в них, как в мудрых народных преданиях, всегда живой, глубоко современный и вечный смысл.

* * *

Имена Аксаковых — Константина и Ивана связаны с тем направлением русской общественной мысли, которое получило название славянофильство. Но следует оговориться: оправдывая это название (любовь к славянам), ратуя за единение славян, горячо поддерживая дело освобождение южных славян от турецкого ига (особая роль здесь Ивана Аксакова), славянофилы сами говорили, что главное, сокровенное в их идеях — это русский народ, Россия. Константин Аксаков (род. в 1817) хотя и был значительно моложе Хомякова (1804) и Киреевского (1806), вместе с ними принадлежит к поколению старших славянофилов, а Иван Аксаков — их преемник уже в новой, послереформенной эпохе. Знакомство молодого Константина Аксакова с Хомяковым произвело переворот в его убеждениях, о чем пойдет речь ниже.

Поскольку Алексей Степанович Хомяков и Иван Васильевич Киреевский — «отцы основатели», столпы славянофильства, остановимся коротко на их учении. Глубоко образованный, фантастически даровитый во многих областях знаний, свободно владевший французским, английским, немецким языками, Хомяков воплощал в себе духовную высоту русского национального самосознания. Мысль о самобытной русской философии зародилась у него еще в молодости, в двадцатых годах, в кружке любомудров, средоточием которого был его друг, поэт и мыслитель Д. Веневитинов, подававший большие надежды и так рано скончавшийся в 1827

году, в возрасте всего двадцати двух лет. Первыми идейными учениками Алексея Степановича стали юные Константин Аксаков и его друг Юрий Самарин. В 1840 году произошла встреча, оказавшая решающее влияние на их жизнь. Алексей Степанович Хомяков был значительно старше каждого из них: ему было тридцать шесть лет, человек всесторонне образованный философски, со сложившимся давно мировоззрением. Но не только духовным опытом, зрелостью мысли превосходил он своих молодых товарищей. То, что было порознь в каждом из них — творчество и сила аналитическая, — соединилось в нем в полном согласии, составляя цельность его натуры. Поэтому молодые друзья должны были бы, казалось, найти каждый свое, свою точку опоры в Хомякове, но на первых порах этого не произошло. Для обоих кумиром являлся Гегель, и расстаться с ним было им не так-то просто. Хомяков же, прекрасно изучивший Гегеля, сам редкий диалектик, по высокой терпимости своей не подавлял мнения молодых людей, только непреклонно держался своего «камня» — русской истории, ее духовно-культурных, бытовых особенностей. Это было главным для него, а потом уже Гегель и «гегелята» (как он говорил), «гегелизм», ценимый им, но имеющий в его глазах все-таки косвенное отношение к «русскому началу» (как вообще вся германская, рационалистическая в своей основе, философия). Друзья-противники оказались довольно крепкими орешками, с которыми непросто было справиться. Особенно упорствовал в стоянии за Гегеля Константин Аксаков, которого Хомяков прозвал «свирепым агнцем», соединявшим в себе идейное неистовство с детскостью сердца. Веря в прочность главного в Константине Аксакове, Хомяков говорил ему: «Я с вами более согласен, чем вы сами». И дело сдвинулось с места, благоговение хомяковских оппонентов к Гегелю как всеобъемлющему абсолютному началу познания померкло. По словам младшего брата Ивана, освобождение Константина Аксакова от оков Гегеля было полным: «Гегель как бы потонул в его любви к русскому народу». Впоследствии сам Константин Сергеевич признавался: «Живой голос на-

родный освободил меня от отвлеченности философской. Благодарение ему».

Неведомое, волнующее вошло в сознание друзей, когда они стали читать памятники древней русской словесности, изучать летописи, старые грамоты и акты. Целый мир, до того совершенно не известный им, со своими духовными сокровищами, видимыми и еще не изведанными, со своеобразием народной жизни, быта открылся им. Какая-то почвенность почувствовалась вдруг под ногами после зыбкого блуждания в гегелевской «феноменологии духа».

Хомяков сделался постоянным гостем в доме Аксаковых, так же как и сам рад был видеть их у себя в гостях, в доме на Собачьей площадке. Особенно часто он стал бывать у них после смерти своей жены, тридцатипятилетней Катерины Михайловны (она была сестрой поэта Языкова), оставившей на его руках пятерых детей. Он тяжело, хотя и мужественно переносил страшное горе, старался не выдать своего состояния, на людях принуждал себя быть таким же, как и прежде. Однажды гость, оставшийся ночевать в доме Хомякова, случайно стал свидетелем потрясающей сцены. Хомяков глубокой ночью стоял на коленях и глухо рыдал, а утром, как обычно, вышел к гостям добродушно улыбающийся и спокойный. Смерть жены была испытанием его, казалось бы, незыблемой веры. Ведь это он писал в своем сочинении «Церковь одна»: «Живущие на земле, совершившие земной путь, не созданные для земного пути (как ангелы), не начинавшие еще земного пути (будущие поколения), все соединены в одной Церкви — в одной Благодати Божией». Оба они — и она, и он — всегда жили в Церкви, и в ней, в вечном ее благодатном лоне, продолжают жить вместе с Катей и с уходом ее из этой жизни. Он верил в это, но такая тоска по умершей жене точила его, что временами падал духом. И однажды во сне услышал ее голос: «Не отчаивайся!» И ему стало легче. Она не перестает быть с ним, с детьми, укрепляет его силы для жизненного подвига. Ранее беззаботный относительно «слова письменного», предпочитавший ему «изустное» слово, он теперь стал больше писать, как бы зная

отпущенный ему недолгий земной срок, спешил передать на бумагу в глубине души зревшие долгие годы дорогие ему мысли и чувства. В доме Аксаковых он отдыхал душевно, сам как хороший, теперь уже неполный семьянин, глубоко чувствовал благо семейного круга. Как во всем другом в жизни, в семье он оставался цельным человеком. И в философии своей он находил для семьи не отвлеченные, логистически-мертвые формулы, а слова живые, проникновенные, говоря, что семья есть тот круг, в котором любовь «переходит из отвлеченного понятия и бессильного стремления в живое и действительное проявление».

Глубоко любя Сергея Тимофеевича, Хомяков и произведения его ценил прежде всего за то, что писатель «живет» в них, действует на читателя всеми своими прекрасными душевными качествами, как он говорил — «тайна его художества в тайне души, исполненной любви».

В пятидесятые годы, после смерти жены, Хомяков ушел в глубины богословия, познания сущности Церкви. В своих статья и письмах, написанных по некоторым причинам по-французски и по-английски, Хомяков развивает идею соборности. Сила Церкви — не во внешнем устроении, не в иерархичности ее, а в соборности, в единении любви всего церковного народа, в неодолимости ее как Тела Христова. Единство Церкви созидается непрекращающимся в ней действием Духа Божия. Каждое действие Церкви направляется Духом Святым, духом жизни и истины. Дух Божий в Церкви недоступен рационалистическому сознанию, а только целостному духу. В отличие от Восточной Православной Церкви с ее соборностью в любви, Запад, католичество утверждает себя на гордыне индивидуального разума.

Соборностью глубоко проникнута великая русская литература. Осуществилось в XX веке то, что православный мыслитель, верный сын Русской Церкви Хомяков называл выходом своих богословских идей «на мировое поприще».

Духовно близок был к семье Аксаковых и другой выдающийся русский мыслитель Иван Васильевич Киреевский. Обратимся к его философским взглядам, без этого не будет

полон показ той умственно-духовной среды, которая окружала Аксаковых.

Иван Киреевский занимал в ней важное место. Еще в статье, написанной в 1830 году, «Обозрение русской словесности за 1829 год», он говорит: «Но чужие мысли полезны только для развития собственных. Философия немецкая вкорениться у нас не может. Наша философия должна развиться из нашей жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов нашего народного и частного быта». Слушание в 1830 году лекций Гегеля в Берлинском университете, а затем — лекций Шеллинга в Мюнхенском университете не произвело особого действия на Ивана Киреевского, не вызвал у него сочувствия сам «способ мышления» немецких философов, даже и более близкого ему по духу Шеллинга. Пожалуй, больше дало ему личное знакомство с Гегелем и через младшего брата Петра Васильевича (ранее его приехавшего в Мюнхен) — с Шеллингом, который, кстати, в разговоре с Киреевскими высказывал мнение, что России суждено великое назначение (эту же мысль, видимо, под влиянием победы России над Наполеоном в 1812 году высказал и Гегель одному из молодых русских, слушавших его лекции). Издали отчетливее мог он осмотреть то огромное, что представляло собою его Отечество. Не отрицая поучительности опыта Западной Европы, Иван Киреевский считал, что любой иноземный опыт нельзя механически переносить на историческую почву другого народа, что и философия, образованность точно так же не могут быть внешне переняты, а рождаются из недр национальной жизни. Тем более это относится к «самобытной русской философии», которая должна была, по убеждению его, выйти далеко за пределы национального значения и приобрести мировую роль.

В создании такой философии Иван Васильевич видел свое призвание, задачу своего служения Отечеству и жил, собственно, этим однодумьем. Он не разрабатывал систему, наподобие немецких философов, а развил ряд положений, которые легли в основу славянофильской философии. Суть этих положений вкратце сводилась к следующему.

Исторически сложилось так, что в основании просвещения Европы и России легли разные элементы, разные начала. Что касается Европы, то этими началами в ее просвещении стали христианство, проникшее туда через Церковь Римскую, древнеримская образованность и государственность варваров, возникшая из насилия завоевания. Как видно уже из этого, определяющей в судьбе просвещения европейских народов была роль Рима, римской образованности. Между тем было еще греческое просвещение, которое в своем чистом виде почти не проникало в Европу до XV века, до самого взятия турками Константинополя (когда на Западе появились греческие изгнанники со своими «драгоценными рукописями»). Но это было уже запоздалое знакомство, которое не могло изменить заложенного склада ума и жизни. Господствующий дух римской образованности, римские законы и римское устройство наложили властную печать на всю историю и жизненный уклад европейских народов, начиная от частного быта и кончая религией. Если говорить о главной особенности «римского ума», то это будет преобладание в нем наружной рассудочности над внутренней сущностью. Таким характером рассудочной образованности отмечены все проявления общественной, религиозной, семейной жизни в Древнем Риме, унаследованные Западной Европой.

Если на Западе христианство привилось через Римскую Церковь, то в России — через Церковь Восточную. В отличие от западного, рационалистического в своей основе богословия богословие Восточной Церкви, не увлекаясь в односторонность силлогизмов, держалось постоянно полноты и цельности умозрения. Восточные мыслители заботятся прежде всего о правильности внутреннего состояния мыслящего духа; западные — больше о внешней связи понятий. Восточные писатели, по словам Ивана Киреевского, ищут внутренней цельности разума, того средоточия умственных сил, где все отдельные деятельности духа сливаются в одно живое и высшее единство; западные, напротив того, полагают, что достижение полной истины возможно и для разделившихся сил, для раздробленного духа, что одним чув-

ством можно понимать нравственное, другим — изящное, третьим — личное удовольствие и т.д.

Эта цельность духа, самого бытия как наследие восточного христианства, Православия отличала, говорит Киреевский, древнерусское просвещение, быт и жизнь древнерусского человека и теперь еще не утрачена в простом народе, в русском крестьянстве. Необходимость такой цельности духа, цельности мировоззрения и жизни Киреевский считал центральной задачей русской философии независимо от времени, от исторических обстоятельств. Причем он призывал следовать не букве, а духу этого положения, приводя его в соответствие с современными, в том числе научными требованиями, не допуская решительно никаких элементов архаичности.

Итак, главное, по Киреевскому, заключается в том, чтобы та цельность бытия, которой отличалась древнерусская образованность и которая сохранилась в народе, была навсегда уделом настоящей и будущей России. Но в этом Иван Киреевский видит не узконациональную задачу, а мировое призвание России, ее историческую роль в судьбах Европы. Ошибаются те, кто считает славянофилов некими провинциалами, которые хотели бы вновь заколотить «окно в Европу», отгородиться от нее, замкнуться в своих национальных рамках (чуть ли не удельной Руси) и похаживать в мурмолках да косоворотках. Вопрос об их отношении к Европе гораздо глубже, не имеет ничего общего с этим карикатурным представлением.

Мысль Ивана Киреевского была такова: историческая жизнь России была лишена классического элемента, а так как прямой наследницей древнего мира является Европа, то и следует перенять у нее этот классический элемент — через лучшие черты западной образованности. Усвоив это все лучшее в культуре Запада, обогатившись ею, придав, таким образом, общечеловеческое значение русскому просвещению, можно успешнее влиять им и на Запад, внося в его жизнь, в его сознание недостающее ему единство духовного бытия. Сутью мировоззрения Киреевского было требование цельности, неразрывности убеждения и образа жизни. Еще в моло-

дости он поставил своей целью «чистоту жизни возвысить над чистотою слога». Это был девиз всех его друзей — и брата Петра Васильевича, и Хомякова, Константина и Ивана Аксаковых, Юрия Самарина и других. «Чистота жизни», нравственная высота славянофилов наложили отпечаток и на их «слог», стиль творений, о чем В. В. Розанов, писавший по своему непостоянству разное о них, иногда прямо противоположное, в итоге мог сказать, что творения их «исходят из необыкновенно высокого настроения души, из какого-то священного ее восторга, обращенного к русской земле, но не к ней одной, а и к иным вещам... Чего бы они ни касались: Европы, религии, христианства, язычества, античного мира, — везде речь их лилась золотом самого возвышенного строя мысли, самого страстного углубления в предмет, величайшей компетентности в суждениях о нем» (Статья «И. В. Киреевский и Герцен»).

Та цельность, к которой стремился Иван Киреевский, не сводилась для него к сугубо личному самопознанию. Нравственная цельность личности может иметь большое воздействие на людей, стать средоточием их единомыслия и духовной общности. Иван Киреевский знал, что значит для других людей нравственная высота человека, какая это вдохновляющая и влекущая к себе собирательная сила.

Как философия не умозрительная, а практическая, жизненная, философия цельности Ивана Киреевского вбирала в себя и его бытовые впечатления и не могла, конечно, не вобрать его впечатлений от общения с хорошо знакомой ему, близкой семьей Аксаковых. Сергей Тимофеевич, не имея склонности к философствованию, мог и не вникать во все оттенки взглядов Ивана Васильевича, но ему родственно было понимание жизни человека в единстве, нераздельности его мысли и поведения. И в творчестве его эта цельность стала основой той удивительной истинности повествования, которая так властно действует на читателя, и не только эстетически, но и нравственно.

Бывавший у Хомякова Сергей Тимофеевич мог видеть, как менялись отношения между людьми, которых он всех

хорошо знал и «по веротерпимости своей» готов был каждому отдать должное. Еще, казалось, недавно тот же Хомяков дружески встречался с Грановским, поздравлял его с успехом публичных лекций в Московском университете. А в доме Аксаковых был даже дан торжественный обед в честь популярного лектора, распорядителем «по части кушанья» был сам Сергей Тимофеевич Аксаков, «по части пития» — Герцен и «по части цигарок» — Самарин.

Но уже в этих лекциях таилось зерно разрыва. Как ни поздравляли устроители обеда виновника торжества, а видели прекрасно, что застольными тостами и кончится это веселое единодушие: все эти обеды — дань уважения людей, достойных той же веротерпимости, а суть оставалась ясной с самого же начала.

Спустя год после лекций Грановского в том же Московском университете с публичным курсом по истории русской словесности выступил другой профессор, Степан Петрович Шевырев. Для многих, даже скептиков, открылось вдруг нечто поразительное. Оказывается, в древней русской словесности такие богатства, о которых мало кто и знал. Ведь выходит, что русской литературе почти тысяча лет — самая древняя литература среди литератур Запада! У нас уже были шедевры словесности, когда она еще не значилась ни во Франции, ни в Германии, ни в Англии. Открылось как бы окно в Древнюю Русь, в мир ее духовного бытия и культуры.

Вскоре Шевырев издал свои лекции отдельной книгой, озаглавленной: «История Русской Словесности, преимущественно Древней». Получив эту книгу, Гоголь писал автору: «Читаю я твои лекции. Это первое степенное дело в нашей литературе». Живейший интерес вызвали чтения Шевырева и у поэта Н. Языкова, который в письмах к брату то и дело возвращался к лекциям, видя в них массу «нового» по части древней русской литературы («это Америка, открытая Шевыревым»). «Аксаков говорит, что как бы ни была драка на лекциях!! — писал Языков, — партия европеистов выходит из себя» и т.д.

Лекции, прочитанные Грановским и Шевыревым, послужили тому, что и практически углубилось размежевание между западниками и славянофилами. Назревал разрыв. Но почти одновременно с лекциями Шевырева произошло и еще одно знаменательное событие. С «проклятиями в стихах» (как сказал один из современников) против западников выступил Н. Языков, в то время тяжело больной, бывший уже на пороге недалекой смерти, но горевший страстной верой в «Русь Святую» и враждой к идейным противникам. Поэт, любимый Пушкиным и Гоголем, их друг, Языков был близок славянофилам. Хомяков, женатый на его сестре, Катерине Михайловне, называл Языкова в письмах «любезным братом». Столкновение между западниками и славянофилами не оставило Языкова равнодушным. Он ринулся в стихию борьбы, как тот пловец в его знаменитом стихотворении о «нелюдимом нашем море», как бы в предчувствии, что «будет буря: мы поспорим и помужествуем с ней». Целую бурю в обществе вызвало стихотворение Языкова «К ненашим». Оно было направлено против тех, кто жаждал «онемечить Русь». Стихотворение подействовало на общество как электрический разряд.

Так развертывались события, очевидцем которых стал Сергей Тимофеевич. Сам он был в приязненных отношениях с Языковым. Но еще в начале тридцатых годов, в бытность свою цензором Аксаков познакомился заочно с поэтом Языковым, нанеся некоторое «повреждение» его стихам. В стихотворении «Ау» Сергей Тимофеевич красным карандашом вычеркнул следующие строки:

О! Проклят будь, кто потревожит
Великолепье старины,
Кто на нее печать наложит
Мимоходящей новизны!

И это был, конечно, не произвол цензора С. Т. Аксакова, а его убеждение, которого впоследствии придерживался и сын Константин, да и все славянофилы: «старина» не

может быть законсервирована, она должна помогать творить ей же подобную «новизну» в новых исторических условиях, в духе того же идеала. Под влиянием ли когда-то преподнесенного Сергеем Тимофеевичем урока, независимо ли от него — только «старина» в посланиях Языкова уже лишилась прежней неприкосновенности, покоя и стала силой, сопутствующей действию:

...самобытная, родная
Заговорила старина,
Нас к новой жизни подымая...

Западники и славянофилы размежевались. Вчерашние друзья стали идейными противниками. Что же касается Сергея Тимофеевича, то хотя «веротерпимость», как всегда, оставалась с ним, ему были ближе убеждения сына Константина и его друзей. Конечно, он не богословствовал, как Хомяков; не философствовал, как Иван Киреевский; не залезал с головой в летописи и акты для доказательства исторической основы русской общины, для выяснения бытовых и государственных стихий русской истории, как это делал Константин Аксаков; не проникал, как Юрий Самарин, с логической отточенностью в рационалистические процессы, исказившие нравственное учение «латинства», то есть католичества. Сергей Тимофеевич не углублялся и не заносился в сферы, которые могли казаться порой и отвлеченными для его реалистической натуры при всей ее художественности. В нем говорил человек, знающий цену жизненному опыту. Поэтому он мог пошутить над философскими увлечениями молодого Константина, неумеренного «почитателя немцев» (считая, что «немецкий мистицизм противен русскому духу»), мог и прямо сказать, что старший сын недостаточно знает действительность.

Слушая собиравшихся в его доме друзей, таких, как Хомяков, Киреевский, Юрий Самарин и другие, сам принимая участие в беседе, в спорах, Сергей Тимофеевич мог с неудовольствием отмечать, что нет порой единодушия среди, каза-

лось бы, единомышленников, что сколько людей — столько и мнений по какому-то одному вопросу. Но правда и то, что сам он еще в молодости, будучи студентом Казанского университета, говорил о своем «русском направлении», а впоследствии о своем «московском направлении» — в смысле «чувства национальности». Не надо забывать, что великий художник уже потому патриот, что он связан самим своим творческим призванием с созидательным гением народа, и судьба, будущее его творений немыслимы вне судьбы народа, его языка. Родной язык был для С. Т. Аксакова той национальной стихией, в которой только и возможно проявление самосознания художника и самой его бытийной сущности. И можно представить себе, что значило для него умаление этого языка и творца его — народа. А в этом умалении не было недостатка.

Не так невинно выглядела эта «галломания», «англомания» и прочее. Как мы назовем человека, который отрекается от своей матери, от своих родителей? Не меньшее, а еще большее, может быть, падение, когда человек отрекается от своего народа, от его языка, стыдится его, как чего-то позорного, низкого, недостойного его. Сколько было таких блудных сыновей, русских иностранцев, вообще добровольных рабов Запада, по-холопски унижавших все русское. Умаление всего родного, неуважение к своему народу, его истории, великому языку было оскорбительным для С. Т. Аксакова. В этом и было то «чувство национальности», которое так много говорило ему и как человеку, и как художнику и без которого не было бы его замечательных творений.

Центральным пунктом расхождения между славянофилами и западниками стал вопрос об отношении России к Европе: должна ли она, Россия, следовать по пути Запада или у нее свой, самобытный исторический путь. С подлинным драматизмом выразилось это расхождение в истории взаимоотношений между «неистовым» Виссарионом Белинским и столь же «неистовым» Константином Аксаковым, семилетняя дружба которых завершилась разрывом. Уже в кружке Станкевича (названного именем его вдохновителя Николая

Станкевича, рано скончавшегося двадцати семи лет от роду) царило разномыслие, кипели споры. Впоследствии в «Воспоминаниях о студенстве» Аксаков скажет о кружке, о своем месте в нем: «В этом кружке выработалось уже общее воззрение на Россию, на жизнь, на литературу, на мир — воззрение большей частию отрицательное... я был поражен таким направлением, и мне оно часто было больно: в особенности больны были мне нападения на Россию, которую люблю с малых лет». Высоко ценя семью Аксаковых, самого Константина, которого он называл «одним из малолюдной семьи сынов Божьих», отдавая должное заслугам славянофилов, которые впервые поставили перед обществом вопрос о русском национальном самоопределении, Белинский резко не принимал в Аксакове того, что он называл «неподвижностью», что было традиционным, православно-народным в России. Сам он, Белинский, в последний период своей обильной идейными «переворотами» короткой жизни был одержим отрицанием «гнусной действительности», духом революционности, с чем, конечно, не мог примириться Аксаков.

Но были западники, которые в отличие от Белинского, искренне искавшего истину, любившего Россию, смотрели на «эту страну» как на чуждый им мир, достойный презрения и даже не имеющий права на существование. Например, для В. Боткина, полжизни проведшего за границей, в Италии и Париже, русский народ был вроде папуасов, и Россия — погрязшей в невежестве. И никогда не переводились в России духовные дезертиры вплоть до современных диссидентов, вроде Синявского с его угрозой «России-суке», А. Зиновьева, автора оголтелого русофобского опуса «Зияющие высоты», который даже вернувшись в 1999 году после двадцатилетней эмиграции в Россию и повторяя свои неизменные заклинания: «Россия обречена, погибла», признается, что больше его тревожит «судьба западноевропейской цивилизации», ибо он «прожил всю свою жизнь человеком, до мозга костей принадлежащим к западноевропейской цивилизации», что многие его сверстники формировались как «люди западноевропейские, а не национально-русские — в эти от-

ношения я ушел дальше многих других». Здесь же автор ставит в заслугу себе то, что он «не обрусел». Но вот возникает вопрос: что может значить для самих «цивилизованных европейцев» такие неофиты. У Достоевского есть статья «Мы в Европе лишь стрюцкие»: «Вы начали с бесцельного скитальчества по Европе при алчном желании переродиться в европейцев, хотя бы по виду только... И чего же мы достигли? — спрашивает Федор Михайлович этих «перерожденцев» и обобщает: «чем больше мы им в угоду презирали нашу национальность, тем более они презирали нас самих... Они именно удивлялись тому, как это мы, будучи такими татарами (les tartares), никак не можем стать русскими; мы же никогда не могли растолковать им, что мы хотим быть не русскими, а общечеловеками». «Русские европейцы» — это и стрюцкие (стрюцкий — человек подлый, дрянной, презренный) и «международная обшмыга» — по другому выражению Достоевского.

И Константин Аксаков величайшим бедствием России считал отрыв высших, образованных слоев общества, того слоя, который позднее будет называться интеллигенцией — от народа; возникшие в результате этого разрыва глубокие противоречия между ними грозят катастрофой России.

Что такое народ для Константина Аксакова и что такое в сравнении с ним, народом, представители высшего сословия — можно судить по его статье «Опыт синонимов. Публика — народ», в которой с афористичной выразительностью противопоставлено одно понятие другому: «Публика выписывает из-за моря мысли и чувства, мазурки и польки; народ черпает жизнь из родного источника. Публика говорит по-французски, народ по-русски. У публики — парижские моды. У народа — свои русские обычаи. Публика (большей частью по крайней мере) ест скоромное, народ ест постное. Публика спит, народ давно уже встал и работает... Публика презирает народ; народ прощает публике. Публике всего полтораста лет, а народу годов не сочтешь. Публика преходяща; народ вечен. И в публике есть золото и грязь, и в народе есть золото и грязь, но в публике грязь в золоте, а в народе —

золото в грязи... Публика и народ имеют эпитеты: публика у нас почтеннейшая, а народ православный».

Во всем, о чем бы не размышлял Константин Аксаков, чего бы не писал в какой угодно области, будь то филологические изыскания, литературная деятельность в виде драм, критики, публицистики, исторические труды — везде и всегда дышит задушевнейшая мысль о народе как главной исторической силе. В стихах Аксакова остался не только пафос его любимой мысли о народе, но в иных и такие стороны, которые, может быть, как никогда многое говорят современному сознанию. Огромную опасность для человека он видел в бездуховности. Для «толпы эмигрантов» (из одноименного стихотворения) не существует никакой высшей истины, кроме «осязательного пути», кроме только материального. Но зло гнездится еще глубже — это «вещественное», «плотское», не вынося пустоты своего эмпирического существования, хочет «в дух втесниться», принимает обличье «лже-духа» (одноименное стихотворение), в котором лишь

...Плоти раздраженной жар:
Ей мало вещества для власти,
Ее пленяет духа дар,
Небесный мир в ней будит страсти.

«Лже-дух» претендует уже на универсальность бытия, ему мало «вещественной» власти над человеком, он хочет контролировать в нем и вседуховно-сокровенное, интимное, хочет стать для него всем, а в сущности ничем. Искус этого лже-духа особенно велик оттого, что, легко внедряясь в бытийные низы человека, он эти низы «освещает» доводами рассудка, некой научности, принимающей только «осязательный путь» и освобождающей человека от его духовных, нравственных задач. Константин Аксаков и в современной ему литературе видел такую «точку эмпириков», самоуверенных, рассудочных, посмеивавшихся, кстати, над его чудачествами.

Бердяев в своей книге о Хомякове назвал ранних славянофилов бытовиками, крепко связанными с устойчивым бы-

том, лишенными катастрофического ощущения бытия. Психологически славянофилы менее всего были укоренены в быте. Если нельзя не увидеть трагическое в самом бытии человека, мучительно раздвоенного между осознанием христианского идеала и невозможностью достигнуть его на земле, то в высшей степени трагической была жизнь славянофилов. Ибо в отличие от западников, так сказать, детерминированных преимущественно социальной средой, основным двигателем учения, поступков славянофилов была мораль, принцип единства мысли и поведения. Нравственная безупречность славянофилов была такова, что даже сами их противники — западники, либералы, писали об их редчайшем благородстве. Глубочайшая разница была в том, что западников больше занимало «общественное зло» (запрет свободы, слова, крепостное право), в то время, как славянофилы неизмеримо глубже видели природу зла прежде всего в самом человеке, устремляя главные свои усилия на самоусовершенствование (что не мешало им, однако, не быть равнодушными и к общественному злу — характерно, что именно славянофилы в лице Ю. Самарина и других готовили проект освобождения крестьян 1861 года). Далека от бытовой идиллии была и личная жизнь этих людей, знавших и тяжелые утраты (смерть молодой жены Хомякова, оставившей на его руках пятерых малых детей), и бездны аскезы (уход в Оптину пустынь Ивана Киреевского).

Но, пожалуй, никто из этих людей не был так духовно беспощаден к себе и последователен в прямоте духовно-нравственного выбора, как Константин Аксаков, чистота которого доходила до того, что, не создав собственную семью, он умер девственником. В писаниях своих он был тем же, что и в жизни: братски близок ему был тот,

...Кто речи хитро не двоит,
Чья мысль ясна, чье прямо слово,
Чей дух свободен и открыт...

Кстати, эта прямота и в знаменитых строках поэмы Ивана Аксакова «Бродяга»:

Прямая дорога, большая дорога!
Простора немало взяла ты у Бога,
Ты вдаль протянулась, пряма, как стрела,
Широкою гладью, как скатерть, легла!..

Интересно сравнить эту аксаковскую «прямую дорогу» с тем образом дороги, которую дает историк В. Ключевский в своей статье «Этнографические следствия русской колонизации верхнего Поволжья»: «Великоросс часто думает надвое, и это кажется двоедушием. Он всегда идет к прямой цели, хотя часто и недостаточно обдуманной, но идет, оглядываясь по сторонам, и потому походка его кажется уклончивой и колеблющейся... Природа и судьба вели великоросса так, что приучили его выходить на прямую дорогу окольными путями. Великоросс мыслит и действует, как ходит. Кажется, что можно придумать кривее и извилистее великорусского проселка? Точно змея проползла. А попробуйте пройти прямее: только проплутаете и выйдете на ту же извилистую дорогу». Географически разные дороги и могут привести к «прямой цели», но нравственно чаще всего одна, прямая дорога ведет к праведничеству (как у К. Аксакова), другая, «извилистая», — к либерализму (как у В. Ключевского).

Из века в век сквозным принципом эта «прямота» как черта нравственная проходит через всю русскую историю, литературу. В величайшем творении древнерусской литературы «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона (XI век) сказано: «...и будут кривая в правая» («и будут кривизны прямыми»). В присяге избранному на всероссийский престол государю Михаилу Федоровичу Романову говорилось: «Служити мне ему Государю и прямить и добра хотелось и безо всякие хитрости». Оптинский старец Амвросий писал о другом оптинском старце, что в письмах своих он «обнажает истину прямо». Писатель XVIII века Андрей Болотов свою автобиографическую книгу назвал разговором с «прямым сердцем и душой». У русских классиков: «прямой путь», «идти прямою дорогою выгоднее, нежели лукавыми стезями» (Фонвизин), «прямой поэт» (Пушкин),

«счастье прямое» (Жуковский), «свободою прямою» (Батюшков), «мы сохраним сердца прямые» (С. Аксаков), «прямота чувств и поведения» (Достоевский), «прямые и надежные люди» (Лесков), «настоящая русская речь — добродушная и прямая» (Тургенев о «Записках ружейного охотника» Аксакова), «благородная прямота» народных песен (П. Киреевский), «горячая прямота» Багрова (героя «Семейной хроники» С. Т. Аксакова), «святое всегда прямо» (В. Розанов) и т.д.

* * *

В отличие от старшего брата Константина, домоседа, почти никуда не выезжавшего, совершенно отрешенного от практических вопросов, погруженного в летописи, в свою диссертацию о Ломоносове, одержимого яростными спорами с западниками в узком кругу московских знакомых, в отличие от Константина Иван Аксаков с юности после выхода из Петербургского училища правоведения начал усердно служить чиновником, много путешествовал с практическими, познавательными целями по России и Европе. Сначала состоял при Министерстве юстиции, потом, спустя два года, в 1844 году, был назначен членом ревизионной комиссии в Астрахани. И от этой канцелярской работы он испытывал удовлетворение, считал, что благодаря ревизии он не только приобрел опытность в службе, но и узнал лучше действительность, «переворачивая народ со всех сторон, во всех его нуждах». Потом последовала служба в Калуге, Петербурге, командировка в Бессарабию, в Ярославскую губернию, где он пробыл два года. По поручению Географического общества отправился в Малороссию для обозрения и описания украинских ярмарок. Кроме практической цели была у этого путешествия и художественная сторона: Иван Сергеевич чувствовал себя пленником той прелести и обаяния, которыми уже в прежние поездки обдавала его Малороссия, и теперь совсем должна была покорить его — и самой природой, и видом сел с белыми хатами, живописно разбросанными по

холмам и долинам, и южными ночами с роскошью темного неба, усеянного ярко горящими звездами, и очаровательными песнями. Да еще потому, может быть, ему так дороги эти края, что здесь всегда так и торчит Гоголь со своими «Вечерами на хуторе близ Диканьки», как писал он родным. Побывал он в гоголевской Васильевке, где мать Гоголя, умершего два с лишним года назад, показала ему все места, которые любил ее сын. Иван Сергеевич знал, как много скажут Отесеньке и Константину его слова в письме о Гоголе, которого они почти боготворили.

И где бы Иван Аксаков не бывал, куда бы не заносили его служебные командировки, путешествия, он всегда, постоянно писал письма родным, удивительные по своей обстоятельности, наблюдательности, искренности. Сергей Тимофеевич со всей щедростью отцовского сердца подробно и любовно писал сыну, не скрывая своего отношения к его посланиям: «прекрасное письмо твое, в котором с большою, хотя еще неполною свободой раскрывается твоя богатая всякою благодатью натура, привело нас всех в восхищение». Отец беседовал с сыном с таким живым чувством общности их интересов и понимания его психологии, душевных запросов, с таким вниманием, что сын, в свою очередь, не менее удивлялся его письмам: «Удивляюсь тому, милый Отесенька, как Вы находите досуг писать мне аккуратно пол листа Вашим довольно сжатым почерком». И всегда под письмами Сергей Тимофеевич подписывался: «Твой отец и друг».

Надо сказать, что отношение Сергея Тимофеевича к письмам во многом было эстетическое, художественное. Для него письма Гоголя были прежде всего созданием великого художника. О двух глубочайших гоголевских письмах-исповедях к нему, где так явственна печать совершившегося в писателе духовного переворота, Аксаков говорил как о «замечательных задушевных» письмах, окруженных «блеском поэзии», признаваясь, впрочем, что тогда они не были поняты и почувствованы, как того заслуживают. Есть высказывание о письмах известного ученого, мыслителя, богослова, ставшего священником отца Павла Флоренского.

«Единственный вид литературы, который я признавать стал — это ПИСЬМА. Даже в "Дневнике" автор принимает позу.

Письмо же пишется столь спешно и в такой усталости, что не до поз в нем.

Это единственный искренний вид писаний».

Вот где путь к тому изживанию литературы в литературе, чем были озабочены писатели, вроде В. В. Розанова, пресытившиеся, глубоко неудовлетворенные литературой, заслоняющей автора стеной условности, позирующей самости от самой действительности. Предельная искренность Ивана Аксакова и делает его письма, можно сказать, высшим видом литературы, вобравшим в себя реальный огромный мир русской жизни XIX века.

Наряду с писанием писем Иван Аксаков смолоду и в течение почти всей своей жизни писал стихи, вкладывая в них свои раздумья о современных вопросах, о действительности. Сам он невысоко ставил себя как поэта, и эта скромность делала честь Ивану Сергеевичу, отдельные стихи которого Некрасов называл «превосходными» и добавлял: «Давно не слышалось в русской литературе такого благородного, строгого и сильного голоса». Муза Ивана весьма сурова своей гражданственностью («во мне слишком много гражданина, который вытесняет поэта», по его словам) и в то же время тревожна своими душевными исканиями и порывами в сравнении с публицистическими стихами Константина, не знавшего никаких сомнений в своей проповеди. Иван «лицом к лицу», говоря его словами, «встретился с действительностью», живя долгое время в губернских городах и вникая не только в механизм чиновничьего управления, но и в интересы общественной, народной жизни. Тысячи верст пришлось ему исколесить по дорогам России, на тарантасе ли, в кибитке, на санях, в простой телеге с приделанным к ней кибиточным верхом или вовсе без него. Сколько людей самых разных сословий перевидал он на станциях, во время ночлега в деревнях и селах, при исполнении служебных обязанностей, сколько дорожных впечатлений и разговоров. «Эти впе-

чатления лягут во мне, — писал он, — широким фундаментом для будущей моей поэтической производительности».

Что-то от личного, духовно-интимного есть в лучшей поэме Ивана Аксакова «Бродяга» (названный им «очерком в стихах»). Недаром он признавал в себе «бродяжнический элемент», заставлявший его пускаться в путешествие по России. «Бродяжничество» главного героя, двадцатилетнего крестьянина Алешки Матвеева по русской земле позволило Ивану Аксакову коснуться извечно «ищущих», «странических» сторон русского национального характера, и вместе с тем, этот «бродяга, гуляя по всей России как дома», дал автору, по его словам, «возможность сделать стихотворное описание русской природы и русского быта в разных видах». Но наш «бродяга» вовсе не бездельник, «не празднолюбец», он бежит «не от труда, а к новому труду», зная, что везде найдет работу.

Хоть сторона и не совсем знакома —
Все Русь да Русь, везде ты будешь дома!

Поэма «Бродяга» оказалась неоконченной. Любопытно замечание Гоголя о возможной развязке ее: «Надобно показать, как этот человек, пройдя сквозь все и ни в чем не найдя себе никакого удовлетворения, возвратится к матери-земле. Иван Сергеевич именно это и хочет сделать, и, верно, сделает хорошо».

Неизвестно, этим ли возвратом героя к земле завершилась бы поэма, будь она целиком написана, но и в настоящем своем, незавершенном виде поэма нисколько не утратила в силе и цельности идеи. А эта идея есть не что иное, как любовь автора к своему герою, вообще к крестьянству, восхищение его нравственным здоровьем, крепостью, размахом его душевных сил, трудолюбием, умом, самой его речью. Современников поразила смелость, широта замысла поэмы, этот размах коснулся как в целом всей поэмы, так и ее отдельных глав — развертывающихся картин крестьянского житья, образующих как бы панораму народной жизни. Простой, строгий стих поэмы не претендует на оригинальность, и,

однако, как отражение богатства содержания, жизненных явлений стиховой состав «Бродяги» так самобытен, интонационно-метрически разнообразен, щедр. Склад стиха главы «Бурмистр», например, напоминает стих поэмы «Кому на Руси жить хорошо», написанной Некрасовым спустя десятилетия после «Бродяги». Как признано в исследовательских работах, поэма Ивана Аксакова предварила некрасовскую поэму и своеобразием сюжета — странствием героя по Руси, хотя цель и самый идейный смысл хождения некрасовских мужиков по русской земле иные, чем у аксаковского бродяги.

Бродяжничество» еще не перебродило в Иване Сергеевиче, его тянуло в новое путешествие, но на этот раз уже по чужим краям, которые надобно было увидеть собственными глазами, чтобы глубже понять существенные для него вопросы, относящиеся к России и Европе, и только после этого можно было зажить оседлой жизнью, серьезно приняться за какое-то постоянное дело.

Хотелось ему отыскать и понять те «добрые стороны», которые есть же у всякого народа, но сделать это было нелегко, лучшее, видимо, было разбросано, как все редкое, и находилось где-нибудь в другом месте, недоступное за дальностью расстояние. Краткость пребывания в Париже не помешала Ивану Сергеевичу сделать суровый вывод о здешней духовной среде, где «отовсюду видны края и дно, стремлений высших нет».

С приездом в Италию Аксаков сразу же оказался под неодолимой властью красоты, изобилием которой, кажется, здесь насыщен сам воздух. В Риме он насчитывает четыре города: Рим древний (с Колизеем, соответствующим идее древнего владычества Рима), Рим католический (с храмом Святого Петра, соответствующим идее католического всемирного владычества), Рим художественный и Рим народный. И о каждом Риме у него свое мнение, свои мысли, вынесенные не из книг, а из собственных впечатлений, — так важно все это увидеть своими глазами. После Рима с его развалинами, вещающими про могучую жизнь древнего мира, с неисчислимыми сокровищами музеев, ласкающей синевой

моря и упоительной природой встретил путешественника Неаполь; и совсем очаровала Венеция — с площадью Святого Марка, с сотнями мостиков и арок, возносящихся над каналами, с почерневшими от времени дворцами, опоясанными водою. Сама итальянская природа, по-юному яркая, пышная, впечатляющая, пришлась, как видно, ему по вкусу.

Он совершил восхождение на Везувий, был в самом кратере, стоя на застывшей, отвердевшей лаве и видя, как неподалеку со страшным шумом и ревом вырываются из двух жерл, дымясь и беснуясь, изрыгая камни и серу, два огненных языка, и рядом, почти под ногами, под застывшим слоем, сквозь трещины дышит, выбиваясь дымом, раскаленная лава, кажется, из самой преисподней земли. Великолепное, ужасное, торжественное зрелище, думал он, и здесь же закурил сигару на «огне Везувия», то есть от горячего куска лавы, выброшенного на глазах.

Такие моменты бывают редко в жизни человека, они оставляют в нем особое ощущение исключительности положения: дух захватывает от сдавленной ярости и гула подспудных стихий, необычайно обостряются слух и зрение, само сознание человека, поставленного перед вулканической силой. Нечто подобное не раз испытывал впоследствии Иван Сергеевич, будучи уже знаменитым публицистом и общественным деятелем, находясь как бы в кратерах социально-общественной жизни, чутко прислушиваясь к гулу времени, стараясь уловить подспудное движение событий.

Все относящееся к итальянской природе, расписываемой с увлечением Иваном, не встречало сочувствия отца. «Мать и сестры приходят в восхищение от местностей и природы, тебя окружающей, — отвечал он сыну, — но мы с Константином, испорченные нашей русской природой, не увлекаемся восторгами, и признаюсь тебе: ни разу не мелькнула у меня мысль или желание — взглянуть на эти чудеса». Сергей Тимофеевич не любил ничего грандиозного в природе, никаких эффектов и ничего вызывающе яркого, броского. На что, казалось бы, вода, в которой он видел «красоту всей природы», которая всегда жива, всегда движется и дает жизнь

и движение всему ее окружающему; но не всякая вода, не во всякой своей стихии люба Сергею Тимофеевичу. Ему по душе небольшие речки и реки, бегущие по глубокому лесному оврагу или же по ровной долине, по широкому кругу, по степи, но не любимы им реки большие, с «необъятной массой воды», с громадными, утесистыми берегами. «Волга или Кама во время бури — ужасное зрелище! Я не раз видал их в грозе и гневе. Желтые, бурые водяные бугры с белыми гребнями и потопленные, как щепки, суда — живы в моей памяти. Впрочем, я не стану спорить с любителями величественных и грозных образов и охотно соглашусь, что не способен к принятию грандиозных впечатлений». В природе Сергея Тимофеевича привлекают не «величественные и грозные образы», а все простое и повседневное, дающее не столько зрительное удовольствие, сколько душевную радость общения с ней, с природой, и самой жизнью в ней. Потому-то он довольно равнодушно внимал сыновним описаниям красот итальянской природы, не переставая, впрочем, восхищаться «славными письмами» Ивана. Как всегда, Иван отправлял домой письма с подробнейшими и выразительными рассказами о тех местах, где бывал, об особенностях культурной, бытовой, общественной жизни, делясь своими неудовольствиями по поводу того, что люди живут там преимущественно «вне общих современных интересов» — и за границей не убывал в Иване Сергеевиче его общественный темперамент, обращаясь хотя бы в эту критику.

В одном из писем Иван Сергеевич признавался родителям, что «хотел бы взглянуть на Лондон». В молодости, не раз видевший Герцена (с ним был ближе знаком старший брат Константин), он теперь, спустя десять лет после эмиграции его, с любопытством ожидал встречи с этим человеком, сделавшимся предметом столь разноречивых суждений в русской публике.

Герцен приветливо встретил Ивана Аксакова. Вскоре за столом, где хозяин взял на себя «должность разливателя шампанского», гость попал в поток его красноречия, с блеском острот, парадоксов, воспоминаний о прошлом. Но были

у обоих в разговоре и конкретные цели. Дело в том, что в руки Герцена неизвестно какими путями попали в Лондоне два экземпляра сцен драмы Ивана Аксакова «Утро в уголовной палате», в которых резко обличались судебные, крепостнические порядки в России. И вот, ухватившись за эту довольно резкую вещь, «сатирически, да еще талантливо написанную», Герцен решил напечатать ее отдельным изданием, и теперь, при встрече с автором просил согласие на это. Но у автора была своя просьба: «уважить его отказ».

Ведь и явился Аксаков к Герцену не ради «судебных сцен» и моды побывать у «знаменитого изгнанника». Были у него свои причины для такого визита. Ему было известно о разочаровании Герцена Западом, о неприятии им буржуазного пути для России, и, видимо, в этом слышался ему «живой голос» Герцена, а он, Аксаков, считал, что «необходимо затронуть все живое». Впоследствии, говоря об этой встрече в одном из писем, Герцен называл «брата ярого славянофила» Ивана Аксакова «человеком большого таланта... с практической жилкой и проницательностью». «Мы с ним очень, очень сошлись» — писал он И. С. Тургеневу. Надо сказать, что далеко не во всем сошлись. Герцен видел в собеседнике «немного славянофила» и тогда, в прямом разговоре, объяснил, что его, Герцена, связывает и разделяет со славянофилами. По его словам, ему и им одинаково ненавистно крепостничество, бюрократия, произвол власти, общее требование — свобода слова. Здесь, вдали от России, ему понятнее стали «иеремиады славянофилов о гниющем Западе». По странной иронии после революционных бурь 1848 года ему пришлось делать на Западе пропаганду части того, что в сороковых годах проповедовали в Москве Хомяков, Киреевский и что он тогда высмеивал. «Нам, — продолжал Александр Иванович, — равно дорога русская община, хотя его социализм нечто иное, чем славянофильская община. Но непримиримое, что разделяет нас, — с патетической нотой в голосе произнес Герцен, — это отношение к религии, здесь мы заклятые враги». С детства он был плохой верующий, Причастие вызывало у него страх, так действует ворожба, заговарива-

ние... «Воробьевы горы сделались для нас местом богомолья...» Не прикладывание к честному кресту, а честный и мужественный путь борьбы в осуществление человеческого прогресса — вот его, Герцена девиз, символ веры.

Но подходил конец заграничному путешествию Ивана Сергеевича, его новому «бродяжничеству». «Священные камни» Европы, ее великое культурное наследие много говорили ему и сердцу русского человека. Но это был и другой мир, с наложенной на него печатью утилитаризма и сугубо деловых, материальных интересов, это был другой мир, живущий своей жизнью, которому и дела нет до мнения какого-то заезжего русского, до его мыслей, неотвязных раздумий о «судьбах России и Европы», мир этот был как бы даже и непроницаем для него в своей самодовольной самодостаточности. Нет, здесь он не прижился бы, на этом европейском торжище. Отсюда, из «прекрасного далека», Россия виделась в своей беспредельности и таинственности, вовлекая и на таком громадном расстоянии от себя в тяжкие думы и в то же время открывая очистительный простор для мысли.

Как совсем еще недавно, три года тому назад в доме Аксаковых жили мыслями, переживаниями от поступавших тревожных, трагических вестей о Крымской войне, так теперь при гостях и без них здесь вспыхивали, разгорались страсти вокруг судьбоносного крестьянского вопроса. В печати в конце ноября 1857 года было объявлено о предстоящей разработке проектов крестьянской реформы. Сергей Тимофеевич, еще недавно, менее полугода тому назад погруженный в свои воспоминания, в свои «Детские годы Багрова-внука» и отрешенный от злобы дня, весь был теперь поглощен предположениями, мыслями о реформе. «Корабль тронулся! — повторял он. — Никто не может, не имеет права равнодушно взирать на то, что происходит теперь в России» Сразу же после объявленного царского рескрипта Сергей Тимофеевич письменно известил оренбургского предводителя дворянства о своем желании освободить крестьян, не дожидаясь специального решения вопроса об этом. Нравственное бремя было сброшено и как-то самому стало свобод-

нее, легче. А Иван Аксаков давно определил свое отношение к крепостному праву; двадцатипятилетним чиновником, еще в 1848 году, он писал отцу: «Я же дал себе слово никогда не иметь у себя крепостных и вообще крестьян»... Следует сказать, что одной из главных побудительных причин публицистической, общественной деятельности славянофилов была борьба с крепостным правом как величайшим злом — нравственным, национальным, государственным, сковывающим творческую мощь народа, тормозящим развитие России, грозящим ей опасными последствиями.

Огромные перемены ждали Россию и не только в «устройстве крестьян». Новые силы появились на исторической сцене. Уходила на глазах в прошлое столь любезная сердцу С. Т. Аксакова старая жизнь. Степан Михайлович Багров, дед писателя, как бы жил с ним, тешил его величием своим, пока он писал свои семейные предания, но как только окончил — Аксаков особенно остро почувствовал, что таких людей, как Степан Михайлович, уже нет и не может быть в настоящее время. Сергей Тимофеевич даже рассердился на сына Ивана, когда тот заявил, что «Степан Михайлович теперь бы не годился». Он бы отлично годился, отвечал Сергей Тимофеевич, но вся беда в том, что он невозможен теперь.

Но и о самом старике Аксакове можно было бы сказать, что уходят и такие, как он. О себе, как всякий отец, он не мог думать лучше, чем о детях, но так выходило, что полнота семейной жизни была именно в нем, он объединял в себе, как бы гармонически обнимал интересы всех детей, и в этом отношении он был лицом универсальным. Детям уже менее была свойственна эта широта понимания. Каждый из них был одностороннее отца, уйдя преимущественно в какую-то одну область — в историческую, как Константин (с исследованием древнерусского общинного быта, «русского воззрения»); в политику, общественную деятельность, как Иван; в практическое, служебное дело, как Григорий; в нравственный аскетизм, как Вера. Но у каждого из них было и то, чего не было у «Отесеньки». В свое время Сергей Тимофеевич писал Гоголю, страшась, как бы художник в нем, в Гоголе, не

пострадал от «религиозного, мистического направления». И тут же оговорился: «Я лгу, говоря, что не понимаю высокой стороны такого направления. Я понимал его всегда, особенно в молодости; но оно только скользило по моей душе. Лень, слабость воли, легкомыслие, живость и непостоянство характера, разнообразные страстишки заставляли меня зажмуривать глаза и бежать прочь от ослепительного и страшного блеска, всегда лежащего в глубине духа мыслящего человека». Сын Иван не заставил себя «зажмуривать глаза и бежать прочь» от того, что открывалось ему в его мироощущении. Поразительно, с какой глубиной, обостренностью, драматизмом двадцатипятилетний молодой человек с «практической жилкой» воспринимал вторжение в жизнь новой космически холодной бытийности с разрушением повсюду быта, теплоты: «Надо жить, отвергая жизнь... Рушится быт повсюду; взамен тепла предложен воздух горних высот, где так страшно высоко; а так хорошо иногда бывало внизу!.. Конечно, еще далеко от этого преобразования, но уже вместилось в нас это убивающее жизнь понимание»... Во всей русской литературе нет более сильных, реальных, не литературно-декламируемых, а именно реальных слов о переломном мироощущении, чем это «убивающее жизнь понимание». Впоследствии, спустя шестьдесят лет, уже в начале нового XX века Блок будет говорить о своем времени, где покоя нет, уюта нет, где двери распахнуты настежь на вьюжную площадь и т.д., но это уже словесность, поэтические обороты, да и богемный быт поэта не очень-то трагически контрастировал с воздухом горних высот. Как это всегда бывает в жизни и в литературе: глубокое предчувствие стало общим достоянием и обратилось в словесность.

А для Константина Аксакова неотвязной темой станет то, что выразится в самом названии его статьи «О современном человеке». Что же характерно для этого современного человека? По словам автора статьи это прежде всего то, что «исчезла искренность и ложь, как ржавчина, проникла душу». Аксаков говорит о лжи во всех ее видах, типах, во всех тончайших душевных движениях. «Всякий запасся внутрен-

ним, душевным зеркальцем... и беспрестанно в него смотрится», теша свое самолюбие, тщеславие, «все кокетничают друг перед другом». Собственно, это то, что сам он называл «грязью в золоте», позолоченностью наружного, внешнего, за которой таится всякого рода мерзость. И можно добавить, что эта всеобщность лжи, смотрение каждого в «свое душевное зеркальце» становятся той тиранией «общественного этикета», с чем не могут уже не считаться и люди искренние.

Все, сказанное Константином Аксаковым о лжи заставляет невольно вспомнить «мысли о религии» Паскаля, где природа лжи с неискренностью, наружностью, искусственностью, условностью в человеческих взаимоотношениях выводится из поврежденного состояния души вследствие первородного греха. Ложь, отсутствие искренности Аксаков относит к Западу, к «сынам Запада», но это же, по его словам, повторяется «и у нас (в так называемом образованном обществе) в карикатурном виде». Здесь патриотизм несколько подводит Константина Сергеевича, как будто Запад виноват в прививке зла, лжи русской душе, а не в ней самой, как во всякой другой душе — будь она французская, немецкая, прочая — гнездится тот паук зла, что показал Достоевский при всей его любви к русскому человеку, можно сказать, культе русского народа. Да и где, как не в священном тексте сказано: «Человек есть ложь». И все же, не кто иной, как Константин Аксаков мог говорить то, что фальшью отзывалось бы в словах других людей, а здесь было самой сутью человека: «Очень просто, кажется, говорить что чувствуешь, и чувствовать, что говоришь. Но эта простота составляет величайшее затруднение современного человека. Для этой простоты необходима цельность души, внутренняя правда...» Сам Константин Аксаков был одарен такой цельностью, чистотой души, был настолько во всем искренен, правдив, естествен, что, например, уже взрослым человеком мог при гостях подойти к отесеньке и ласкаться, как в детстве. Он всегда оставался самим собою в любое время и в любых обстоятельствах — был ли в семье, наедине с собою или в обществе. Только такой человек и мог придать такую силу убедитель-

ности, неотразимости всему, когда он говорит о лжи. Ведь одно дело, когда о ней говорит Аксаков, и совсем другое — когда, скажем, Солженицын, сделавший из своего заклинания «жить не по лжи» орудие политиканства.

В статье «О современном человеке» встречаем такие ключевые аксаковские слова, как «прямота души», «прямота сочувствия», «прямо общественный человек» и с высоты этой нравственной прямоты рассматривает автор так называемый «свет» с «ядом эгоизма», противопоставляя ему «мир», «общество», где личность находит себя в «общем любовном согласии» и «восходит, следовательно, в высшую область духа». В основании же света — сторона исключительно внешняя, здесь требуется одна наружность, личина, видимость приличия, а «внутри может лежать что угодно, до этого нужды нет». Самое страшное зло в свете, по словам Аксакова, это «равнодушие к нравственному вопросу», абсолютное непризнание его, свет «выкидывает самый вопрос нравственный вон из жизни». И вот «свирепый агнец», как называл Константина Аксакова Хомяков за младенческую чистоту его души и неистовость убеждений, объявляет войну светскому разврату, «растленным душам». Он говорит о тех, кто под лицемерным предлогом христианского неосуждения готовы потворствовать любой подлости, кто «в оправдание общения своего и дружеских пирований с отъявленными мерзавцами говорят: "я не хочу осуждать". "Не осуждайте," — кричит подлец и плут из плутов». Называя эту демагогию искажением значения любви христианской, Аксаков так разъясняет «свои положения»: основа в обществе — единство нравственного убеждения; человек, нарушивший эту нравственную основу, тем самым становится невозможным в обществе. Если же общество его не исключает, то происходит уже не частная безнравственность лица, но безнравственность самого общества, безнравственность, падающая уже на всех. Необходим общественный суд. Он судит не грешников, (грешники мы все), но отступника.

Весь Константин Аксаков, вся сила, неистовость его убеждений в конце статьи «О современном человеке», когда

он говорит: «у вас нет единства в убеждениях с другим человеком, и вы расходитесь с ним — вот и только»... «Но если бы (предположим такую страну или время) пришлось человеку при таких требованиях остаться совершенно одному среди людей? Он должен оставаться один и он прав в своем одиночестве. Он желал бы жить в обществе, но для жизни в обществе не пожертвует нравственным началом, основою общества, (это была бы нелепость)». И еще раз повторяет, уже делая это концом своей статьи: «Хотя бы пришлось остаться человеку вовсе без общества, одному — пусть он будет один, пусть осудит себя на общественное отшельничество, но пусть будет неколебим в своем нравственном основании, в своем общественном требовании, пусть не уступит и не воздаст чести греху:

Hora novissima
Tempora pessima sunt.
Vigilemus*».

Сказанное в устах Константина Аксакова было не просто словами, это хорошо понимали, чувствовали близко знавшие его современники. Недаром Герцен говорил о нем, что он «за свою веру пошел бы на площадь, пошел бы на плаху, и когда это чувствуется за словами, они становятся страшно убедительными». Нелегко давались разрывы по убеждению со вчерашними в чем-то единомышленниками, но драматизм расхождения лишь еще глубже открывал его высокие человеческие качества, искренность, честность, благородство, и на еще большую высоту поднимал его веру. Герцен вспоминал: «В 1844 году, когда наши споры дошли до того, что ни ”славяне”, ни мы не хотели больше встречаться, я как-то шел по улице. К. Аксаков ехал в санях. Я дружески поклонился ему. Он было проехал, но вдруг остановил кучера, вышел из

* Дни последние,
Времена наихудшие,
Будем бодрствовать *(лат.)*.

саней и подошел ко мне. ”Мне было слишком больно, — сказал он, — проехать мимо вас и не проститься с вами. Вы понимаете, что после всего, что было между вашими друзьями и моими, я не буду к вам ездить, жаль, жаль, но нечего делать. Я хотел пожать вам руку и проститься”. Он быстро пошел к саням, но вдруг воротился: я стоял на том же месте, мне было грустно: он бросился ко мне, обнял меня и крепко поцеловал. Как я любил его в эту минуту ссоры»!

Константин Аксаков различал мысль и думу, вторую считал достоянием немногих. И вот эту его думу о «современном человеке» можно назвать, при полном отсутствии у этого праведника тщеславия учительства, можно назвать эту думу его завещанием русской литературе, обществу, России. Он восстановил первородный смысл слова «грех» — в истинно христианском его значении. Не литературное кокетство вокруг «греховного мира», «мир лежит во зле и грехе» и т.д., — он вступает в бой с самим грехом. Как в себе (не найдя подругу жизни, он остался девственником), так и в окружающем мире. Он готов остаться один и здесь, ибо знает одну только истину и эта истина — Христос. И он, конечно, не один, а с тем, кто сказал своим немногим последователям: «Мужайтесь! Я победил мир» (Иоанн, 16, 33).

Константин Аксаков задал литературе, обществу такую духовную «планку», которая, конечно же, непосильна для нас, «немощных», но забывать о которой мы уже не можем. И то, что был такой подвиг в литературе — стало высшим оправданием русского слова.

Было историческим предвидением то, что он назвал в своей думе «о современном человеке» «растленными душами», «смешением добра и зла», все это стало духовной чумой так называемого «серебряного века» с неразличением Бога и дьявола, с «новым религиозным сознанием», а в наше «демократическое» время массовым растлением под лозунгом плюрализма и свободы слова.

Два «рая земных» дано было познать Сергею Тимофеевичу в жизни: Аксаково — колыбель детства, где ему открылись глаза на «чудеса природы»; и Абрамцево — пристанище его

последних четырнадцати лет, насытивших его сполна зрелой радостью общения с природой, но и ранивших душу закатом ее красоты. Как уходило за край неба солнце, так, видно по всему, закатывалось для него Абрамцево, да и не только оно. В эту осеннюю непогоду, сидя в четырех стенах, слушая хлест мокрого ветра в затворенные окна, он с непривычной для себя покорностью вдруг понял и принял как должное, что захворал тяжело и от него теперь ничего не зависит.

В Москве самоотверженно ухаживающий за отцом Константин Сергеевич писал «Наблюдение болезни» Сергея Тимофеевича, а также вел «Дневник болезни», отмечая подробности состояния, самочувствия больного. На протяжении целых десятков лет он очень часто подвергался сильным спазматическим головным болям... тринадцать лет назад потерял левый глаз от катаракты, но теперь была другая причина для страданий. Жестокие боли, иногда невыносимые, приносили рези в желудке и особенно воспалительные процессы в мочевом канале — с выходом крови. В начале мая 1858 года в письме к П. А. Плетневу Сергей Тимофеевич писал: «Конечно, великая отрада быть окружену такими попечениями, как я, но в то же время неотразимо прискорбно огорчать и печалить своим болезненным положением мое доброе семейство». Вся семья ушла в это попечение. Посетивший больного старика Аксакова Иван Сергеевич Тургенев говорил с удивлением о той самоотреченности, терпении, кротости, с которыми Константин Сергеевич как сиделка ходил за отцом. Близкий к аксаковской семье историк М. П. Погодин записал в «Дневнике»: «Константин — святой человек в чувствах к отцу».

Но поразительно, как и в таком состоянии, на одре мучительной болезни, мог написать старик Аксаков, вернее, продиктовать дочери Вере трепетно поэтический «рассказ из студентской жизни» «Собирание бабочек» (для сборника в пользу нуждающихся студентов родного ему Казанского университета). Страдающий от приступов болезни, еле передвигающийся в запертой темной комнате, еле различающий одним глазом предметы (только по-прежнему ясны для него

чувствуемые сердцем каждое движение, каждый поворот головы склонившейся над столом Веры, записывающей рассказ под диктовку отесеньки), немощный старец — что мог он вспомнить о каких-то бабочках, о собирании их более полувека тому назад? Но вот он, до того сидевший в кресле согбенным, приподнял голову, уставился взглядом перед собою, умиление скользнуло по лицу, оживляя его внутренней теплотой воспоминания, и заговорил, по-домашнему просто, с какой-то светлой, набирающей силу нотой, и что-то как будто влетело в комнату, распахнуло ее и властно позвало на воздух, на простор. «Как радостно первое появление бабочек! — слышался голос, казалось, звавший на этот простор. — Какое одушевление придают они природе, только что просыпающейся к жизни после жестокой, продолжительной зимы...» Он словно уже видел бабочку, радующую его взгляд, и следил неотрывно за нею, даже как будто уже шел к этому «порхающему цветку», видел себя уже бегущим за ним, как когда-то, более полувека назад, пятнадцатилетним студентом Казанского университета, бегал он на поляне загородного сада, преследуя носящихся в воздухе мелькающих разноцветных бабочек и затем дрожащими от радости руками извлекая из мешочка рампетки добычу.

«Из всех насекомых, населяющих Божий мир, из всех живых тварей, ползающих, прыгающих и летающих, — бабочка лучше, изящнее всех», — диктовал он, и как будто не воспоминание это было, а живое созерцание мелкой твари, трогательной вестницы недоступной уже ему природы. Как прекрасна жизнь, и сколько радости для глаз в гармонии цветов, узоров, испещряющих это милое, чистое создание, никому не делающее вреда, питающееся соком цветов, которое сосет оно своим хоботком... Таким он уже рожден и таким сойдет, видно, в могилу: достаточно прилепиться к чему-нибудь в природе, вот к этим хотя бы бабочкам, и все для него в них, весь мир, средоточие всего живого на земле. И в нем самом оживает целый мир впечатлений, и от тех мест, где ловил бабочек, где провел много счастливых, блаженных часов, и от тех людей, с кем делил эту страсть,

которая так быстро, но горячо прошла по душе его и оставила в нем незабываемый след. Так грустно от невозвратного того чудесного времени... но нужды нет! «Горы, леса и луга, по которым бродил я с рампеткою, вечера, когда я подкарауливал сумеречных бабочек, и ночи, когда на огонь приманивал я бабочек ночных, как будто не замечались мною: все внимание, казалось, было устремлено на драгоценную добычу; но природа, незаметно для меня самого, отражалась на душе моей вечными красотами своими, а также впечатления, ярко и стройно возникающие впоследствии, — благодатны, и воспоминания о них вызывают отрадное чувство из глубины души человеческой».

И уже за четыре месяца до смерти находил он отраду хотя бы в мысленном воображаемом общении с природой, диктуя Вере «Очерк зимнего дня». Вспомнился ему зимний день, падение снега, почти полвека тому назад. «Чтобы вполне насладиться этой картиной, я вышел в поле, и чудное зрелище представилось глазам моим: все безграничное пространство вокруг меня представляло вид снежного потока, будто небеса разверзлись, рассыпались снежным пухом и наполнили весь воздух движением и поразительной тишиной. Наступали длинные зимние сумерки: падающий снег начинал закрывать все предметы и белым мраком одевал землю».

С поля в сумерках шел он домой, видя засветившиеся огоньки в крестьянских избах, предаваясь заботам и мечтам о завтрашней охоте... И подобно тому, как рано утром в начавшемся рассвете топившаяся печка освещала дверь и половину горницы каким-то веселым, отрадным и гостеприимным светом, так же веяло чем-то приветливым, светлым от самого голоса Сергея Тимофеевича, диктовавшего свое последнее произведение. И столько поразительной свежести и очарования, молодости чувств было в каждой его фразе, что невозможно было поверить, смириться с мыслью, что это пишет умирающий писатель.

30 апреля 1859 года, в третьем часу пополуночи, скончался Сергей Тимофеевич на руках своей любимой семьи. В воскресенье 3 мая в церковь Святых Бориса и Глеба, где отпе-

вали покойного, проститься с ним пришли его многочисленные друзья, почти все здешние литераторы, ученые, люди всех званий. Прощались с дорогим, глубоко чтимым человеком и писателем. Последний путь лежал до Симонова монастыря, здесь, по желанию самого писателя, его и должны были похоронить. При торжественном песнопении гроб Аксакова на руках был внесен в ворота монастыря... Весеннее солнце ласково грело землю, ликующе щебетали птицы. На деревьях распускалась нежная зелень. В воздухе чувствовалось первое дыхание весны, и было что-то невероятное в том, что с пробуждением природы замолк навеки тот, кто умел так радоваться всему живому в ней, кому как немногим была открыта красота этого великого Божьего мира.

Когда в разверстую, залитую яркими весенними лучами солнца могилу опускали гроб отца, Константин Сергеевич как будто и не осознавал отчетливо, что происходит. Он стоял около матери и неподвижным взглядом смотрел перед собою, отрешенный от всего, что делалось вокруг.

Сергея Тимофеевича похоронили 3 мая, а уже в середине мая знакомые Константина Сергеевича не узнавали его. Он страшно изменился. От сильной исхудалости что-то удлиненное появилось в его лице и всей фигуре, пепельными стали борода и усы, и какая-то жуткая тихость во всем — в голосе и в самом взгляде, обращенном внутрь себя. Видя такую перемену и боясь за его жизнь, знакомые упрекали Константина Сергеевича, что он не удерживает себя от горя, дает ему волю и намеренно расстраивает себя. Но он просил не верить этому, добавляя: «Я просто не могу», Иной приглашал его в деревню чтобы как-то рассеять его, и на этот привет он отвечал очень серьезно, но задумчиво, что если бы его приглашение было сделано при батюшке, тогда он с охотой бы поехал, но теперь все кончилось, ни удовольствие, ни радость жизни для него существовать не могли.

Всю зиму Константин Сергеевич чахнул, весной ему стало совсем худо, лето не принесло облегченья, и его отправили на лечение за границу. Тамошние врачи-знаменитости дивились чахотке этого богатыря, съедаемого тоской по

умершему отцу, в этом и была его болезнь. Последнее, что могли предложить врачи, — это теплый морской климат. И вот он вместе со своим братом Иваном Сергеевичем, сопровождавшим и опекавшим его, отправился на греческий остров Занте. Это было второе и последнее совместное путешествие братьев. Прошло десять лет, как они вместе ездили в Ростов Великий, Углич. Тогда Иван желал ближе свести старшего брата с действительностью. Теперь в этом уже не было нужды, тут была уже действительность иная, перед которой смолкают все практические вопросы. Пароход вез их к неведомым берегам. Константин Сергеевич, глядя с невыразимой тоской в волны, говорил брату: «Неужели, однако, уж и кончено? Как не ожидал я. Но чтоб так уж скоро, кто бы думал»?

Пустынный остров и стал последним земным пристанищем Константина Сергеевича. Чувствуя, что приближается конец, он пожелал исповедаться и причаститься. Русского православного священника в этих местах не было, нашли священника-грека, с трудом говорившего по-французски. На языке, на котором он всю жизнь избегал говорить, и исповедался умирающий. Грек, пришедший наскоро справить требу, был изумлен, слушая исповедь, видя такую твердость духа перед кончиной. И долго потом не переставал он удивляться, все просил: может ли он повидать близких, а главное — мать покойного, ему хотелось передать ей — праведник скончался, еще не видывал он, исповедник, ничего подобного в жизни. Он все хотел узнать: кто же этот необыкновенный человек? Кто же умер перед ним? Ему отвечали, что это был Константин Сергеевич Аксаков. И что можно было к этому прибавить?

А бедная мать, не вынесшая разлуки с больным сыном и месяц тому назад приехавшая к нему на остров вместе двумя старшими дочерьми Верою и Любовью, убитая горем, отправилась в обратное путешествие с гробом первенца; Иван и его сестры неотлучно были при ней в дороге.

Исполнилось предчувствие Сергея Тимофеевича: не перенес его смерти старший сын, пережив отца всего на год

и семь месяцев. Вскоре опять они были рядом — в могилах в Симоновом монастыре.

С оцепенением в душе писал Иван Сергеевич Юрию Самарину: «Теперь в Москве, там, за городом, на поле, в симоновской глуши около него водворились страшный мир и страшная тишина, морозы сковали свежую землю, ветер то и дело заносит ее снегом... Есть что-то беззаконное в этой смерти, как бы она сама по себе ни была свята, какой бы святой жизни она ни была окончанием, беззаконное постольку, поскольку в ней участвовала воля умершего...» Не мог примириться младший брат с казавшейся ему своевольной смертью старшего брата, не нашедшего в себе сил жить после кончины отца. «Еще трудно отрешиться от болезненных воспоминаний», — писал тогда же Иван Аксаков, и они не покидали, преследовали его и дома, и за границей, в славянских землях, куда он вскоре уехал и где в своей «записной книжке» отдавался мыслям о тоске, о ее месте, значении в литературе русской и европейской, о том, что «все вопли и стоны родной земли, поднимаясь, как испарения к небу, образуют живую атмосферу тоски, которой поэт является избранным выражением, органом, передатчиком, истолкователем», и в этом смутном тягостном ощущении ясной для его сознания была тоска по брату.

Смерть отца, а затем старшего брата, имевших огромное влияние на него, глубоко ранили Ивана Сергеевича. Угас в нем, казалось, интерес к злободневным вопросам, общественной деятельности. Но он знал, что нельзя давать власти над собою унынию, ведь это он поучал Константина, удрученного смертью отца, что брат будет неправ, если постоянная горечь станет мешать его деятельности. В службе пользы общественной никакое личное горе в расчет не берется. И он знал, что его ждет эта служба, как бы тяжело ему ни было.

А между тем на пороге было уже новое, пореформенное время. Вступали в действие невиданные дотоле на Руси буржуазные силы. Было ясно, что современные требования неизбежно коснутся и славянофильства. И надо было из-

брать путь в соответствии с изменившимися историческими условиями. Для Ивана Аксакова началась новая эпоха его деятельности. Он начал издавать газету «День», затем «Москва», «Москвич», где уверенно вступил в реальные взаимоотношения с новой действительностью. Для него была свершившимся фактом новая экономическая жизнь в России. И он увидел свою цель в том, чтобы обратить эти изменения, как экономические, так и общественные, в обновленные доводы славянофильских идей. Мало кто, как он, понимал растущее значение промышленности в жизни страны. Ведь еще в поездке по украинским ярмаркам он познал вкус к изучению «материальных сил», экономики края. В пореформенной действительности роль «материальных сил» неизмеримо возрастала, и это он готов был только приветствовать. О железнодорожном строительстве он говорил языком поэта: «Всякая верста железной дороги просветительнее тысячи казенных учреждений и благодетельнее целого свода законов». И можно представить себе, каким благом была бы в глазах Ивана Аксакова построенная уже после его смерти великая сибирская железная дорога с тысячами мостов удивительного инженерного искусства, тоннелей, это чудо науки и техники XIX века, чудо русского строительного гения, возникшее за короткий срок и восхитившее мир.

Исключительная чуткость к происходящим изменениям делала его выступления событиями в публицистике, общественной жизни. Он смело и прямо высказывал взгляды, которые, по его мнению, диктовались духом времени и которые вызывали горячие споры. Сам старинный дворянин, он выступил за упразднение дворянства как привилегированного сословия, чем вызвал резкое возражение со стороны многих известных публицистов во главе с М. Н. Катковым. Но эта идея Ивана Аксакова была, в сущности, итогом той борьбы, которую вел старший брат Константин, и он сам, ставя во главу угла крестьянство, народ, видя в нем главную нравственную силу, воплощение национальной самобытности, призывая к сближению с народом, с его историческими и духовными началами.

В литературе о славянофильстве принято считать, что Иван Аксаков — «практик» славянофильства. Грандиозная общественная деятельность Ивана Сергеевича действительно как бы закрывала собою творческое развитие им славянофильского учения, которое нашло свое выражение в его публицистике. Такова теория «общества», развитая в ряде его передовых статей, опубликованных в 1862 году в газете «День». Известно, что об «общественном мнении», как о «великом благе и великой силе», писал К. Аксаков. Но это была категория как бы отвлеченно-нравственная в отношении учения К. Аксакова о «Земле» («народе») и государстве. Иван Аксаков вводит третью силу, имеющую уже свое определенное место. «Что такое общество? и какое его значение у нас в России, между Землею и Государством?.. Общество, по нашему мнению, есть та среда, в которой совершается сознательная умственная деятельность известного народа; которая создается всеми духовными силами народа, разрабатывающими народное самосознание. Другими словами, общество есть народ во втором моменте, на второй ступени своего развития, народ самосознающий».

Проследим далее развитие мысли Ивана Аксакова. «Итак, мы имеем: с одной стороны — народ в его непосредственном бытии; с другой — государство, — как внешнее определение народа... наконец, между государством и народом — *общество*, т.е. тот же народ, но в высшем своем человеческом значении, не пребывающий только в известных началах своей народности, но сознающий их, сознательно развивающий [...] Народность, не вооруженная сознанием, не всегда надежный оплот против врагов внутренних и внешних (вспомним лежащего на горе богатыря. — *М. Л.*). Только *сознание* народных начал, только общество, служащее истинным выражением народности, являющее высшую сознательную деятельность народного духа, может спасти народ...». «Народ делает доступное ему дело жизни, выжидая, чтоб недоступное ему, по его неведению и самому бытовому строю, довершили те, которые от народа, но сверх народа, призваны служить высшим органом народного самосознания».

Но каков, так сказать, состав «общества», кто, какие лица составляют его? Естественное условие, конечно, образование, «но не в значении известного количества "познаний", и даже не в значении одного умственного образования, а в значении личного духовного развития вообще, такого развития, которым нарушается однообразие и безличность непосредственного народного бытия, но нарушается именно тем, что дух народа сознается и самое единство народное ощущается — яснее и живее. [...] Общество образуется из людей всех сословий и состояний — аристократов самых кровных и крестьян самой обыкновенной породы, соединенных известным уровнем образования. Чем выше умственный и нравственный уровень, тем сильнее и общество».

Как видим, в этом обществе нет места той духовной черни, которую Иван Аксаков с презрением всегда называл «так называемой интеллигенцией». Отличительная особенность этой «интеллигенции» — это ее «болезнь сознания», духовная беспочвенность, язва нигилизма, космополитизм, холуйство перед Западом. По словам Ивана Аксакова, «интеллигенты» (это слово всегда берется им в кавычки) «все превеликие мастера искать разные "взгляды" и "нечто", судить и рядить о судьбах человечества вообще, созидать и разрушать в теории человеческие общества (и не только в теории. — *М. Л.*)... прибавьте самомнение, гордость знания, или точнее, — полузнания, чванство последними словами науки, высокомерно-отрицательное отношение к русской истории, к Русской народности, полнейшее неведение — из человеческих обществ — именно Русского общества, — и вам станет понятно, каким образом в этой среде отвлеченности, неведения и отрицания... могли возникнуть и сепаратизм, и демократо-революционизм, и анархизм, — одним словом, — все заграничные измы, образовавшиеся там исторически и законно, но у нас беззаконно рожденные, — а в конце концов, как венец нашего общественного культурного развития, все выражающий одним словом, приводящий всех к одному знаменателю, вполне уже *наш*, свой, дома выхоленный — нигилизм». Нигилизм нельзя считать внезапно воз-

никшим в России, он готовился исподволь, исторически, начиная от эпохи какого-нибудь Ивана Хворостинина (считавшего, что нельзя «с глупыми русскими жити»), — перебежчика в лагерь Лжедмитрия II, до времен эмигранта-иезуита Печерина («как сладостно отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтоженья»), Чаадаева «Россия — аномалия, абсурд, пустое место в истории»), до мережковских («новое религиозное сознание»), до самого Толстого (анархическое отрицание всего и вся, от Церкви до государства).

Подводя итог изданию своей газеты «День», Иван Аксаков писал: «Заступничеством за права русского народа и народности, так, как мы их понимаем, мы и начали, и окончили свой тягостный четырехлетний редакторский труд». Вместе с тем Иван Сергеевич не идолопоклонствовал перед народом. Дорожные впечатления во время многочисленных служебных поездок по Росси, непосредственное знакомство с сельскими жителями, их бытом открывали Ивану Сергеевичу и то далеко не идеальное в народе, что было скрыто от его старшего брата, восторженного народопоклонника.

Глубоко актуальный смысл придавал Иван Аксаков понятию патриотизма. В передовой статье газеты «День» «В чем недостаточность русского патриотизма?» он пишет, что «время и обстоятельства требуют от нас патриотизма иного качества, нежели в прежние годины народных бедствий», что «надо уметь стоять за Россию не только *головами* (как на войне — *М. Л.*), но и головою», то есть пониманием происходящего, «не одним оружием военным, но и оружием духовным; не только против видимых врагов, в образе солдат неприятельской армии, но и против невидимых и неосязаемых недугов...» Для патриотизма важны не только воинские подвиги, но и подвиги духа. Такое редкое сочетание качеств патриота — мужественного воина и мыслящей личности — было в генерале Скобелеве, с которым Ивана Аксакова связывали дружественные отношения. Какой вой подняла «либеральная пресса» в ответ на патриотическую речь Скобелева, его слова о «доморощенных иноплеменниках», о чуждой народу «интеллигенции».

Иван Аксаков не раз подчеркивал, что «общество» — это не партия, не какая-то официальная корпорация образованных умов, а духовно-нравственное единение выразителей народного самосознания. Как редактор «Дня» он мог быть по-человечески великодушен к разным людям (сведя, например, на страницах «Дня» мытарившегося в Европе Печерина с другом его молодости), но был непреклонен в своих принципах, отказываясь печатать статьи, чуждые его убеждениям.

Но каковы взаимоотношения «общества» и «так называемой интеллигенции»? То, что составляет сущность мировоззрения «общества» — народность — для «интеллигенции» решительно пустой звук, атавизм. Ретроградами, реакционерами в глазах «интеллигенции» были и Достоевский с Иваном Аксаковым, которых родственно связывала идея русской народности. Главное для «интеллигенции» — «теории», очередные философские книжки, вывезенные из-за рубежа. Как в некрасовской поэме «Саша»:

Что ему книга последняя скажет,
То на душе его сверху и ляжет.

Прочитали или даже просто услышали о Вольтере, Дидро — и появились вольтерьянцы-просветители с масонской помесью. Узнали о Гегеле — расплодились гегельянцы. Познакомились с Сен-Симоном, Фурье — на арену вышли социалисты. Вслед за тем — ученики Фохта, Молешотта — с резаньем лягушек, культом естествознания, что только и сулило прогресс.

В статье «О деспотизме теории над жизнью» Иван Аксаков писал: «Из всех фасадов самый худший есть фасад либерализма». Либералы-интеллигенты слепо раболепствуют перед своим идолом — прогрессом. В другой аксаковской статье «Ответ на рукописную статью "Христианство и прогресс"» говорится: «Прежде всего о заглавии "Христианство и прогресс". Слово "*прогресс*" само по себе ничего не выражает; ведь мы говорили: "прогресс добра и прогресс зла, прогресс болезни". Цивилизация, отвергающая веру в Бога

и Христа, ведет к одичанию, какие бы там либеральные и прогрессивные знамена не выкидывала». В наше время разнузданного террора мирового либерализма особенно актуально звучат аксаковские слова: «Апостол Иоанн определяет антихриста именно как лжеподобие Христа. Такое лжеподобие преподносится теперь миру современным прогрессом и разными гуманными и литературными теориями».

Заискивание, раболепство перед «просвещенным» Западом сочеталось у «интеллигентской» черни с презрением, ненавистью к России. Считающая себя «солью земли» «интеллигенция» давно уже даже и выходцами из нее воспринимается как отрава народной почвы, как враг, губитель России. Философ-богослов С. Булгаков писал в своей статье в «Вехах» (как бы в продолжение мыслей Ивана Аксакова о разрушительной роли «интеллигенции»): «...для патриота, любящего свой народ и болеющего нуждами русской государственности, нет более захватывающей темы для размышлений, как о природе русской интеллигенции, и вместе с тем нет заботы более томительной и тревожной, как о том, поднимется ли на высоту своей задачи русская интеллигенция, получит ли Россия столь нужный ей образованный класс с русской душой, просвещенным разумом, твердой волей, ибо в противном случае интеллигенция... погубит Россию».

Мысли Ивана Аксакова, пристально следившего за происходящим в мире, живо занимал и Новый Свет — Америка. (Кстати, Герцен видел в ней и в России — две главные ведущие силы в будущем человечества). В газете «День» обсуждались «американские вопросы», события, связанные с тогдашней гражданской войной в Америке между Севером и Югом. В январе 1865 году в «Дне» была опубликована статья Аксакова «Об отсутствии духовного содержания в американской народности». Автор пишет: «Мы сами видели американских джентельменов, очень серьезно и искренно доказывавших, что у негров нет человеческой души и что они только особая порода животных». Таково соседство американской свободы с «бесчеловечностью отношения к людям». И сама война Северных Штатов с Южными — с ее «остервене-

нием, оргией братоубийства» — «как будто необходимо было явить миру, как способны уживаться дикость и свирепость с цивилизацией». Будущее Америки Ивану Аксакову представлялось в довольно мрачном свете: «...Этот новый исполин-государство бездушен, — и, основанный на одних материальных основах, погибнет под ударами материализма. Америка держится еще пока тем, что в народностях, ее составляющих, еще живы предания их метрополий, нравственные и религиозные. Когда же предания исчезнут, сформируется действительно американская народность и составится Американское государство, без веры, без нравственных начал и идеалов, или оно падет от разнузданности личного эгоизма и безверия единиц, или сплотится в страшную деспотию Нового Света».

Мрачные мысли об Америке были и у Хомякова. В своей исторической работе «Семирамида» он говорит о «завоевателях, размочивших кровью землю, открытую благородным подвигом Христофора Колумба, и затопивших в крови крест, принесенный Колумбом».

Русские писатели отмечали бездуховность, царящую в стране материально-технических достижений. Гоголь с сочувствием приводил слова, сказанные Пушкиным: «А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина, человек в ней выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит». Уже в начале XX века Толстой, говоря о том, что «американцы достигли наивысший степени материального благосостояния», удивлялся духовному уровню своего американского коллеги. «На днях бывший здесь Scot — он американский писатель — не знал лучших писателей своей страны. Это так же, как русскому писателю не знать Гоголя, Пушкина, Тютчева».

С годами имя Ивана Аксакова как общественного деятеля приобретало все больший авторитет. В 1872—1874 годах он был председателем Общества любителей российской словесности. Особенно прославился он на поприще председателя Славянского комитета. Еще во время путешествия по славянским землям, вскоре после смерти отца, он поставил своей задачей «упрочить дружественные связи со славянами

и узнать поближе их дело и обстоятельства». В дальнейшем Иван Сергеевич очень много сделал для плодотворного развития этих связей, для помощи славянам. Расположенное к Ивану Аксакову московское купечество вносило через него в Славянский комитет крупные денежные суммы, которые шли на народные училища в славянских странах. На деньги купцов выплачивались стипендии студентам-славянам, учившимся в России.

Велика, действенна была роль Ивана Аксакова в защите славян от турецких поработителей. Он как руководитель Славянского комитета снарядил в Сербию генерала М. Г. Черняева и отправил туда добровольцев для борьбы с турками. Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов Иван Аксаков развернул энергичнейшую деятельность не только как публицист, но и как организатор; так, он участвовал в доставке оружия для болгарских дружин, имея связи с директорами железных дорог, добивался бесплатного провоза в Болгарию военного снаряжения и продовольствия. Современники считали, что народное движение за освобождение балканских славян нашло в лице Ивана Аксакова своего Минина.

Любовь к России, пламенное гражданское чувство, непреклонность убеждений, честность («честен, как Аксаков» — это было почти пословицей) делали Ивана Сергеевича выдающейся личностью, распространявшей вокруг себя сильное нравственное влияние. Его призыв к «русским быть русскими» ничего общего не имел с национальной исключительностью, а означал только то, что, как всякий человек любой национальности, русский должен иметь чувство национального достоинства, не быть духовным рабом, лакеем перед Западом. И сам он, Иван Аксаков, был примером в этом отношении, недаром один из современников признавался, что он сильнее всего чувствует себя русским в трех случаях: когда слушает древние песнопения, когда слышит русскую народную песню и когда читает речи и статьи Ивана Аксакова о «наших русских делах».

Вера в русский народ, идея необходимости преодоления разрыва, существующего между народом и образованным

слоем, была той почвой, на которой произошло сближение Ивана Аксакова с Достоевским. Высшей точкой их единодушия стали дни Пушкинского праздника в начале июня 1880 года. Тогда, как известно, в Москве, в Благородном собрании, Достоевский произнес свою знаменитую речь о Пушкине, которая произвела потрясающее впечатление на всех присутствующих. С поистине пророческим вдохновением говорил Достоевский о Пушкине как о всеобъемлющем гении русского духа, воплотившем в себе и такое свойство русского человека, как его всечеловеческая отзывчивость, чувство братства, и тем самым сказавшем человечеству новое слово. После речи Достоевского должен был выступать Иван Аксаков, однако, взойдя на кафедру, он заявил, что отказывается от выступления: ему нечего сказать — все разъяснил в своей гениальной речи Федор Михайлович Достоевский. Правда, Ивану Сергеевичу, любимцу Москвы, все-таки пришлось выступить, его отказ не был принят, и выступил он, по обыкновению, с блестящим ораторским искусством развивая мысль о народных началах в творчестве Пушкина, о значении для него его няни, Арины Родионовны.

Переживший на два с лишним десятилетия старшего брата, Иван Сергеевич видел, как меняется Россия, как любезные когда-то сердцу отца патриархальные нравы теснятся новым образом жизни негоциантов, не знающих иного идеала, кроме приобретательства. «Невольно вспоминаю я брата Константина и думаю, как было бы ему странно, горько и чуждо среди этого движения», — писал Иван Сергеевич одному из своих знакомых. Пришло время вспомнить не только отца и Константина. Не стало матери — Ольга Семеновна умерла в 1878 году. Скончались сестры — Ольга, Вера, Любовь, Надежда. Чаще других вспоминалась Вера, о ней Иван Сергеевич писал: «Она принадлежала всецело тому периоду времени, когда развивался и действовал брат Константин... Она свято хранила заветы и предания всей нашей школы. Она для меня служила руководительницею и поверкой». Остались в живых самые младшие сестры — Мария и София. В семейную аксаковскую хронику София вписала

свою страницу: в 1870 году она продала С. И. Мамонтову Абрамцево, впрочем, усадьба попала в хорошие руки, и, как при Сергее Тимофеевиче здесь бывали известные писатели и общественные деятели, так при новом хозяине гостеприимный дом стал местом, где собирались художники, музыканты, где были созданы замечательные творения русской живописи.

Скромный, никогда не выделявший себя, всегда гордившийся своими знаменитыми братьями Константином и Иваном, Григорий Сергеевич служил вдалеке, сначала был оренбургским, а потом самарским губернатором.

Можно было бы и еще длить postscriptum к семейной аксаковской хронике, но мы закончим его прощанием с Иваном Сергеевичем, умершим в начале 1886 года. Его смерть вызвала широкую волну сочувственных откликов по всей России и за рубежом. Телеграмму из Москвы 27 января 1886 г., в 12 час. ночи, послал императору К. Победоносцев с сочувственным извещением о смерти И. Аксакова и с такими словами: «Немного таких честных и чистых людей, с такою горячею любовью к России и всему русскому». Александр III ответил: «Действительно, потеря, в своем роде, незаменимая. Человек он был истинно русский, с чистою душою, и хотя и маньяк в некоторых вопросах, но защищающий везде и всегда русские интересы». А. Н. Островский сказал, узнав о его кончине: «Какой столп свалился!» И такое ощущение было у многих современников, к которым были обращены сказанные за три недели до смерти слова Ивана Аксакова: «Будем бодрствовать!.. Любовь к истине, любовь к своему народу и земле делают борьбу обязательною. Но ведь не по шоссе же в самом деле достигают до царства правды, а нудится она скоростным путем; но ведь именно к подвигам и призываются те, кому много дано и предназначено. Или мы уже разуверились в том, что России много дано и предназначено?» И при этом имени неизбежно вставали рядом имена Сергея Тимофеевича и Константина Аксаковых, то была уже становившаяся историей русской культуры, ее высоким достоянием знаменитая семья, удивительно богатая плодами творчества и самой жизни.

ИСТОРИЯ И ЕЕ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВАРИАНТЫ»

Одна из девяти муз Аполлона — муза истории Клио — упорно соблазняет представителей разных жанров нашей литературы. В союзе с этой музой, например, бард-песенник Булат Окуджава. На протяжении двух десятков лет выпускает он одну за другой повести, романы на исторические темы. Все они — из истории России XIX века. Уже в первой повести «Глоток свободы» (в журнале она печаталась под названием «Бедный Авросимов») автор представился читателю как любитель необычайных «романтических» историй. Главный герой повестей — молодой провинциальный дворянин Иван Авросимов, которого «фортуна» вознесла на должность писаря Следственной комиссии по делу декабристов. Бушеванием страстей, «сердечным кипением» объят наш герой... От Дельфинии он бросается тут же к другой: «Пойдемте со мной, прекрасная Мерсинда... я вас в лохани топить не буду». Затем, снедаемый жаром страсти, герой нежится «с любезной его сердцу Милородой». «Полные тайн» истории преследуют героя. Вот одна из них: «А зов не умолкал, а, напротив, усиливался. Кто призывал к себе нашего героя?.. И вот пистолет английский, блеснувший под луной, легко в ладонь улегся, и все тело нашего героя напряглось, как бы перед прыжком, и уже не было ни усталости, ни хмеля, а лишь учащенное дыхание — предвестник безумства...

Авросимов распахнул дверь. Испуганное лицо Дуняши возникло перед ним. В белой руке она высоко держала свечу. Минутный страх ее пропал, едва увидела она нашего героя, она улыбнулась, и два зубочка ее передних будто поддразнивали Авросимова. ”Нет, нет”, — покачала она головой».

Роковым оказалось увлечение героя красавицей, «полной тайн и волшебства», — Амалией Петровной. На этот раз это не просто «стройная высокая молодая дама... с печальным силуэтом», но еще и «жена Владимира Ивановича Пестеля», брата арестованного декабриста. «Кипение сердечное» при этом новом знакомстве держится обычного накала и даже

грозит взрывом, но вступает здесь в силу, так сказать, сублимация идейного порядка. Проще говоря, свое нестерпимое первоначальное томление по новой красавице герой переводит в столь же нестерпимую решимость — во имя возлюбленной — сделать подкоп под равелин и освободить арестованного Пестеля (которым еще до замужества была увлечена Амалия Петровна).

Писарь сообщает о своем захватывающем плане Амалии Петровне:

«— Ах да, я поняла вас, поняла, — с ужасом произнесла она, и слезы хлынули из ее прекрасных глаз. — И вы решились?»

Однако наша прекрасная дама, она же «родственница пленного полковника», весьма своеобразно поддержала подкопщика: она наносит визит военному министру Татищеву и рассказывает ему об ужасном замысле: «— Я боюсь за него, — сказала она, ломая пальцы. — Мы с Владимиром Ивановичем твердо решили спасти молодого человека, и я не преминула обратиться к вам...» Легко представить себе, что мог предпринять при таком черном известии царский министр: писаря арестовывают, хотя отделывается он срочной высылкой из столицы и возвращением в деревню.

Но перед этим финалом разыгрывается чудовищная мистификация, которая, как беспримерная молния, выхватила из мрака самую «суть» (слово автора) истории. Вот эта вспышка:

«— Господа, — сказал Враницкий, сбрасывая шубу к ногам. — Рассказывают, будто нынче ночью, ну, часа два назад...

— Что случилось? — спросил наш герой.

— Пестель бежал! — глухо промолвил Батурлин.

— Не может быть, — крикнул Крупников.

— Очень может быть, — вздохнул Павловец.

— Вы с ума сошли! — рассердился Крупников. — Опять все сначала!

”Действительно, — подумал наш герой, — неужто все сначала? Теперь уже не до награды...”» (Напомним: только что граф Татищев при очередной встрече намекнул: писарю о на-

граде — «не миновать тебе Владимира носить, любезный...» — и тем самым сразу же подорвал энтузиазм подкопщика, властно притянул его к «примкнувшим к царской когорте». — *М. Л.*). «Надо уезжать, — подумал Авросимов, теряя силы. — Скорей, скорей от этих перемен, к черту от этих бурь... Ах, Настенька, ваше душистое письмо не укрепило меня... Ах, чертов полковник, как все теперь переворотилось... Об нас-то и не подумал...»

Теперь мы можем немного перевести дух от ударов, обрушившихся на нас, и собраться с мыслями. Эффект Враницкого помог нам приблизиться к пониманию «сути» повести. Ах, эти бедные Иваны Авросимовы, безнадежные интеллектуальные провинциалы, добродушно-тупые, масса инертная, без всякого-то сознательного, «личностного начала», «примыкающие» к тому, кто сильнее. Вот вам типичнейший из этой тупой массы — Иван Авросимов, совсем потерявший голову от непосильной задачи решить: к кому же «примкнуть» — к государю или к «злодею»? Интеллектуальная убогость, «зависимость и страхи» этого Ивана весьма настойчиво подчеркиваются воздействием на него «пронзительных немецких глаз» Пестеля (в журнальном варианте множество раз повторяются эти «немецкие глаза» декабриста, подавляющие писаря). Пестель хочет «русским людям дать жить по-людски, а не по-скотски». Сдерживающим моментом на этом пути Пестеля может почитаться то, как живут герои повести Б. Окуджавы: «по-скотски» живут, пьянствуют, развратничают, раболепствуют.

Ну, а что кроме этих «романтических», «полных тайн» историй в этой «исторической» повести? Есть исторические лица. Молодой император, Николай Павлович, который «на всякий народ, на кучеров да на мастеровых топал ногами в ботфортах и кричал: ”Вот я вас!”» «Милорадович, со щекою (?) в крови, протянул ему руку в белой перчатке». Военный министр граф Татищев, искушающий бедного писаря: «А не произвел ли на тебя Пестель симпатии?.. Он ведь многих умников соблазнил, не тебе чета. А?.. Каков он тебе показался?»

Опять же эпоха: «залы», дворянские дома, компании гвардейцев-офицеров... Желающие знать тогдашнюю разговорную речь — извольте, вот она. Речь графа (в разговоре с дамой): «Натурально, сударыня... Кто бы мог подумать... Примите уверения...» Речь поручика: «Получается неувязка. Данные не сходятся». Герои действуют здесь «по высшему счету», среди них «примкнувшие к царской когорте» и те, кто «царя берет на себя». «Аромат» эпохи добавляется также тем, что здесь «подается грог», офицеры выкрикивают «браво», «черт», то и дело «кони понесли», «наскоро перекусив, летел равнодушный фельдъегерь» к Санкт-Петербургу и т.д. и т.д.. И конечно же, на самом видном месте — столь вежливая светская форма обращения рассказчика к читателю (ласкающая слух от первой до последней страницы романа) — «милостивый государь». Не приятно ли слышать: «Должен повиниться перед вами, милостивый государь, что в спешке, которая иногда сопутствует моему повествованию, совсем упустил из виду сказать вам фамилию сего гренадерского поручика... лучше поздно, чем никогда...»

Поскольку Б. Окуджава сделал историю своей музой и поскольку галантный слог весьма распространен в его сочинениях (с постоянным обращением к читателю «милостивый государь»), то уместно будет здесь вспомнить «Письма об изучении и пользе истории» англичанина Болингброка, написанные в начале XVIII века и как бы адресованные автору «Глотка свободы» и других его повестей: «Милорд! Я уже обдумывал в свое время серьезно тот предмет, относительно которого Вы пожелали узнать мое мнение, и, насколько дела и досуг мне позволяли, следовал на практике правилам, которые, как мне казалось, необходимо наблюдать при изучении истории... Мотивы, по которым люди обращаются к изучению истории, различны. Одни, если только к таким, как они, применимо слово "изучение", заботятся лишь о развлечении и читают жизнеописания... Александра или Цезаря так же, как они разыгрывают карточную партию... Между тем, милорд, сама идея остроумия и всего того, что может быть названо вкусом, утрачена».

Слова о «развлечении», подобном карточной игре, сомнительном «остроумии», утрате вкуса (литературной безвкусице) здесь имеют прямой адрес. Но вот «мотивы», по которым наш автор «обращается к изучению истории», в данном случае истории России прошлого века, — разговор особый, на этом мы подробнее остановимся ниже.

Отмеченные выше авторские особенности наиболее полно представлены в романе «Путешествие дилетантов (Из записок отставного поручика Амирана Амилахвари)». В аннотации к роману сказано: «Действие романа ”Путешествие дилетантов” относится ко времени последнего десятилетия царствования Николая I — к 1845-1855 годам. Еще живы некоторые декабристы, живо воспоминание об убийстве Пушкина и Лермонтова, герои романа были свидетелями и участниками Крымской кампании. Все это составляет фон повествования, на котором развивается романтическая история любви, сметающей все преграды на своем пути».

Опять «романтическая история», не знающая удержу литературная безвкусица и пошлость. Герой романа князь Мятлев проходит через множество любовных приключений, всякого рода «перипетий». У него уже был «опыт, на который он опирался», вроде того, как «он соблазнил, едучи как-то в свое костромское имение, молодую розовощекую поповну. Вернее, она его соблазнила». В последующих любовных связях герой выступает в «новом качестве», вырабатывая в себе «умение как ни в чем не бывало дружить с мужем своей любовницы — вот что было высшим и тончайшим признаком совершенства». Вот он танцует с женой барона Фредерикса, Анной Михайловной Фредерикс, «пленительной Аннетой»: «Он старался не глядеть на нее, чтобы не быть убитым наповал, смеялся в душе, пытаясь залить бушующее пламя, но попытки были напрасны. Глубокие ее глаза и розовый шелк платья казались ему грозовым небом. Дышалось трудно, с ужасом... В душе Мятлева бушевала буря».

После блаженства с баронессой, а затем разрыва с нею герой упивается любовью к «таинственной своей добыче» Александрине Жильцовой, «стройной, гибкой»; «несчастной

жертве неумолимого рока», жившей без родителей, со всеми вытекающими отсюда ошибками молодости, обретшей вроде бы пристанище в доме князя. Однако неожиданное бегство ее из княжеского дома в сторону Невки, исчезновение «валькирии» (видно, утопившейся в реке, как решил Мятлев) прерывает очередное сердечное увлечение героя. Не найдя забвения в «шалостях», он заинтересовывается «господином ван Шонховеном», которого сначала принимает за мальчика, за «Эолова сына», но этот мнимый мальчик оказывается на самом деле маленькой тринадцатилетней девочкой — Лавинией Бровур, «дочерью выходца из Польши». Таинственный «ван Шонховен» уходит, «оставив Мятлева восхищаться», и в дальнейшем, спустя много лет, их пути сплетутся в некий роковой узел немыслимой любви и несчастий — из-за «чудовищного безразличия» мира и «убийственного климата» российской действительности.

Но все это еще впереди, а до этого — новые встречи, новые стрелы Амура: графиня Наталья Румянцева («Она улыбнулась Мятлеву, и все поплыло у него перед глазами, закружилось, засвистело; ее громадные зрачки были неподвижны, и огни тысячи свечей сияли в них. Она протянула ему руку, и он приник к ней»). Явившиеся в дом Мятлева ее подозрительные племянники устраивают ночью между собою кровавое сражение, «заливаясь кровью». Слуга князя Афанасий, «вернувшись, увидел, что раненый поручик облапил его ненаглядную супругу и, прижимая ее к кровоточащим ранам, склоняет к самому худшему. Тут Афанасий не сдержался и, приведя поручика в беспамятство ударом табуретки, выволок его на улицу, оттащил от дома и прислонил к чужому забору». Проведшая ночь в таком бедламе, графиня Наталья не теряет головы от ласк погубителя женщин князя Мятлева: «Вы хотите, чтобы я тоже утопилась? Нетушки, князь, это не случится». И она действительно не утопилась, а добилась того (угрозой: «Я хочу вас обрадовать — у нас будет очаровательный бэби»), что Мятлев женится на ней, их соединяет, благословляет сам государь Николай Павлович. Семейная жизнь, как можно

сразу же догадаться, не приносит счастья герою, все его мысли и чувства устремлены к «господину ван Шонховену», то есть к подрастающей красавице Лавинии, с которой он переписывается, которая шестнадцатилетней выходит замуж и в замужестве не перестает думать и мечтать о князе («ей приснился счастливый Мятлев на белом коне. Он легким кивком звал ее с собою...»).

В жизни героя наступает новая «перипетия»: «инфлуэнца, прицепившаяся к Наталье... унесла несчастную княгиню вместе с ребенком». Овдовевший князь все отчетливее начинает «видеть перед собою острые ключицы бывшего господина ван Шонховена» (эти «острые ключицы», как «единственная истина» для героя, — назойливо множество раз повторяется автором). Переписка с горячими взаимными уверениями друг друга в любви уже не удовлетворяет возлюбленных. Герой жалуется в письме, что один из его знакомых «машинально водит ладонью по спине спящей жены и в который раз вспоминает свое свидание с Дубельтом. Только Лавиния вне моих лучей».

Наконец возлюбленные вместе, преодолев препятствие со стороны супруга Лавинии — действительного статского советника Ладимирского. Но на пути к их счастью встает не кто иной, как сам император Николай I. Известие о бегстве молоденькой красавицы со старым соблазнителем князем Мятлевым «произвело бурю». «Я давно этого ждал, — сказал Николай Павлович, багровея». Оказывается, юная красавица-полячка Лавиния была предметом «благосклонности государя», поручившего начальнику III Отделения шефу жандармов графу Алексею Федоровичу Орлову «как-то приблизить» ее (граф, по словам рассказчика, оказывал дружеские услуги царю в «любовных историях», во всех этих делах Алексей Федорович выполнял роль амура и очень ловко пускал стрелы «в сердца завороженных жертв»). Таким образом, очередными жертвами «благосклонности» императора стали и возлюбленные Мятлева, в особенности последняя его красавица — Лавиния. Герой со всей твердостью решил противиться царскому насилию, произволу: «И, гладя худенькие

плечики этой немыслимой юной женщины, он снова подумал, что ее-то, вот эту, он уж Ему, Тому самому, не отдаст ни за какие блага. Хватит. Довольно. Он увел у меня Аннету, погубил Александрину, эту я ему не отдам...»

Портрет Николая I следует, видимо, отнести к числу наиболее «пикантных» страниц романа. Сам автор в своем «современном послесловии» пишет: «Я посчитаю интересным для читателя вставить несколько эпизодов из жизни Николая I, так и назвав их вставными главами, которые должны были, на мой взгляд, несколько дополнить характеристику человека, которого Мятлев долгое время считал виновным в своих несчастьях». Много здесь чего «вставлено» нелестного для императора. Он «глядит волком», он сосуд всяких «злодейских качеств», такой варвар, который возможен только в дикой, варварской стране. Если верить автору, на всеподданнейшем докладе товарища министра просвещения о поездке одного академика с научными целями в Америку государь изволил наложить резолюцию: «Согласен, но обязать его секретным предписанием отнюдь не сметь в Америке употреблять в пищу человеческое мясо, в чем взять с него расписку и мне представить».

Но с особым «вдохновением» расписывает сочинитель воображаемые «амурные дела» императора. Даже во время напутствия двух молодых «тайных агентов», засылаемых в Турцию, государь не забывает им на прощанье «крикнуть»: «Глядите, не влюбитесь в какую-нибудь турчанку». Из множества «пикантных подробностей» наиболее, пожалуй, «эффектен» рассказ-исповедь императора за чаем, в кругу своей семьи (супруги, детей, внуков) о том, как двадцать лет тому назад он, направляясь на свидание с «прехорошенькой молодой особой» на ее квартиру, полагая, что он инкогнито для нее, наткнулся на сюрприз; грязная кухарка с «меднокрасной рожей», приняв его за «простого гостя», выдворила вон, сказавши, что барышня ждет «самого ампиратора».

«Кухарка выкрикивала вслед какие-то непристойности, фортепьяна звучали насмешливо, а он уже выскакивал со двора...

— И вы ее не проучили? — смеясь, поразился Костя (сын царя. — *М. Л.*).

— Господи, — сказал отец, довольный произведенным эффектом. — Простая грязная баба. Да в этом же и вся пикантность».

Так «дополняет характеристику» царя автор, явно «довольный произведенным эффектом» своей придуманной фривольной истории.

Вернемся к приключениям Мятлева. Наглость этого «очкарика», увлекшего в бегство красавицу, вызывает грозное царское распоряжение: найти, схватить беглеца. «Ночной курьер помчался к Петербургу. Леонтий Васильевич Дубельт внезапно постиг глубину свершившегося. Полковник фон Мюрлинг, оставив все дела, выехал на Кавказ. Поручик Катакази — в Одессу. Господин Свербеев, сопровождаемый рыдающим Афанасием, зашагал в сторону Финляндии».

Тут начинаются еще большие чудеса с лихорадочной гонкой влюбленных на лошадях, преследованием их царскими сатрапами, с попутными «роковыми приметами», «роковыми предзнаменованиями», с «таинственными», «тайными знаками», «тайными», «любовными» и прочими «сигналами», «тайными делами», «тайными агентами» и т.д. Странно это пристрастие автора к «тайнам», «сигналам» и проч. Эдак можно ненароком коснуться и более существенных «тайн», «сигналов»... Пойманный князь водворяется в «Петропавловку». После чего по приговору лишается «прав состояния и княжеского достоинства», отправляется рядовым солдатом «куда-то в Тмутаракань или на китайскую границу». А его возлюбленная Лавиния возвращается к мужу, который по-прежнему, по его словам, «прикован» к «юной чертовке», хотя и сознает, что она «охвачена кошмаром, ужасом, разложением». «Никогда не была в таком сложном положении», — признается ему беглянка.

Между тем тянущий где-то там, в «Тмутаракани», а похоже — на Кавказе, солдатскую лямку Мятлев становится «предметом настойчивого вожделения» комендантской дочки Адели Курочкиной, «изнывающей» от желания завоевать

сердце «ароматного, недосягаемого князя», который «хоть и стар, но строен и деликатен». «А ей, двадцатилетней, необузданной кобылке, должно быть, приходилось не сладко в роли непорочной девы, черт бы подрал ее совсем. — Так думал Мятлев, сталкиваясь с дочерью коменданта и жалея ее». Но жалость к «кобылке» оказывается напрасной: Мятлев узнает из рассказа молодого адъютанта Питкевича, что «она, господа, давно уже не девица! Вот ведь как...»

Сердце героя готово «разорваться от тоски по господину Шонховену». В свою очередь господин Шонховен (Лавиния) после нового бегства из дома, от мужа, и неудачной попытки соединиться с раненым «солдатиком Мятлевым» решает ехать с мужем в Италию. Но этим история не кончается. Смерть виновника всех злополучных «перипетий» в жизни героя («этой неизбежной злодейке») императора Николая I приносит Мятлеву «полное помилование», герой поселяется в своем деревенском имении, «зализывая раны», с ним, под видом экономки, живет Лавиния, а после его смерти она «навсегда покинула Россию».

Такова головокружительная история этой немыслимой любви. Уже из приведенных выше цитат наглядно видно, насколько убог литературный уровень «романа». В свое время критик Вл. Бушин в статье «Кушайте, друзья мои. Все ваше» (Москва. 1979, № 7), подробно разбирая роман Б. Окуджавы «Путешествие дилетантов», привел буквально сотни примеров, фактов, свидетельствующих о поразительном невежестве автора романа, незнании им исторического материала, жизни, быта описываемого времени, о его языковой безграмотности. Кое-где вставляя (для «колорита»!) в текст расхожие французские слова (вроде «мадам», «визави»), автор делает каждый раз две-три ошибки. Примерно так же он знает и русский язык (в статье В. Бушина на этот счет бесчисленное количество примеров). Но это его нисколько не смущает. Что это? Неприязнь к русскому языку, который для него только «средство»; главное, чтобы «цель была достигнута».

А эта цель недвусмысленна. Как ни нелепы пускаемые стрелы Амура в «сердца завороженных жертв» (употребляя

слова автора, сказанные в адрес графа Орлова), означенная любовь не лишена «тайных сигналов». Наряду с изречением Цицерона эпиграфом к роману поставлены слова знакомой нам героини Лавинии: «Иногда хочется кричать, да хорошее воспитание не позволяет». Впрочем, красавица-полячка временами все-таки не выдерживает, кричит, например, на русского офицера: «Каждый, проше пана, сует нос не в свое дело! Они думают, пся крев, что их вонючий мундир дает им право... Он еще смеет, холера, приглашать в свою грязную канцелярию». Из ее прелестных уст исторгается и такой крик: «Да здравствует свобода!» Как видим, натура вольная, свободолюбивая, не то что «по-животному добрая» полковничья дочь Адель Курочкина. И в этом-то, оказывается, несчастье красавицы Бровур, которая наделена таким вольнолюбивым характером, так «умеет самозабвенно служить любви» и задыхается от невозможности полностью реализовать свой любовный пыл. Еще молодая, она уже устала, «потеряла волю к сопротивлению» от «ужаса, внушаемого ей воздухом империи». Упоминаемый не один раз «воздух империи», что там говорить, мало пригоден для героев Окуджавы. «Россия задыхается в скотстве», — язвит один из них. И в соответствии с этим — штемпелеванные «характеристики» персонажей (людей разных сословий и положений), самой действительности. Сплошь «препакостной», пустой до «идиотизма» представлена русская офицерская среда: «Командир полка барон Р., человек-машина, чуть не ежедневно устраивал смотр с непременными затем придирками. Луга вокруг местечка были испохаблены конскими копытами, хамство процветало и поощрялось, офицерские дочки были готовы на все с любым мало-мальски похожим на мужчину. Пожилые офицеры пили до умопомрачения, вистовали до полного идиотизма и с помощью жен плели интриги против офицерской молодежи». Мало этого. Вот один подпоручик «исхитрился, свинья, очутиться тайным свидетелем любовных игр Адели... чуть было не сгорел от вожделения, находясь от любовной пары на расстоянии какой-нибудь полусажени».

Общедоступность «полковой маркитантки» вызывает в Мятлеве такую образную картину: «Боюсь, что в ближайшем будущем, распалившись до крайности, войска пойдут в очередной поход, неся ее пред собою как знамя». Это ли не остроумно?! Вскоре после этого говорится, что «Адель сидела как просвирка, которую еще предстоит делить».

Вообще нет удержу авторскому «черному юмору». Один из офицеров говорит: «А знаете, почему князь Барятинский помчался на Кавказ сражаться? Великая княжна Ольга Николаевна предпочла ему, по желанию, естественно, своего папаши, принца Вюртембергского, и бедный князь вынужден был сделаться патриотом». «Патриот» здесь произносится со своим смыслом. В этом Окуджава не одинок. В свое время братья Стругацкие в одном из своих фантастических сочинений о будущих космических цивилизациях с той же многозначительной иронией поминали «патриотизм» в качестве дикого атавизма человечества. Добавим от себя: хорошо, если бы диким атавизмом стали и все виды национализма, в том числе расизма. Вообще «патриотам» достается от язвительного сочинителя. Все они у него на манер того автора «анонимного письма министру двора», подписавшегося: «Истинный патриот с младенческих лет», которым возмущается Мятлев: «Уж не французский ли он шпион, что ему все у нас отвратительно».

«Патриот» в глазах «критически мыслящего» героя равносилен «шпиону». «Шпионаж в России — явление не новое, но крайне своеобразное, — говорит он. — Европейский шпион — это, если хотите, чиновник известного ведомства. Вот и все. У нас же, кроме шпионов подобного типа (мы ведь тоже Европа, черт побери!), главную массу составляют шпионы по любительству... Шпионство у нас — не служба, а форма существования, внушенная с детства, и не людьми, а воздухом империи. Конечно, ежели им за это ко всему же дают деньги, они не отказываются, хотя в большинстве своем, закладывая чужие души, делают это безвозмездно, из патриотизма, и из патриотизма лезут в чужие дымоходы и висят там вниз головой, угорая, но запоминая каждое слово».

Кстати, «исторические романы» Б. Окуджавы наводнены «шпионами», «тайными агентами» — и вовсе не «по любительству», а по «известному ведомству». Особое, странное какое-то у автора пристрастие к «тайным агентам». Психологически он, может быть, и знает сей предмет, сие призвание, но вот что касается исторической достоверности фактов, то он не попадает в точку. Судя по всему, факты его совершенно не интересуют, а их все-таки надо знать. Можно было бы посоветовать автору, напускающему целые армии шпионов в свои романы, прочитать, например, вышедшую несколько лет назад в издательстве «Мысль» книгу И. В. Оржеховского «Самодержавие против революционной России» (1826 — 1880). Он узнал бы из этой книги (богатой архивными материалами), что, например, штат III Отделения во времена Дубельта (о ком идет речь в «Путешествии дилетантов») составлял 16 человек, и вплоть до упразднения III Отделения (включения его в Министерство внутренних дел) к началу 80-х годов этот штат не превысил 40 человек. Из этой книги сочинитель узнал бы конкретно и о русских «тайных агентах» в Европе: были считанные единицы, а не те легионы, о которых говорит он: «Граф докладывал (царю. — *М. Л.*) о сообщениях лазутчиков и тайных агентов, которых было видимо-невидимо за пределами России». Вместо того чтобы так опрометчиво страшиться безвестных воображаемых «тайных лазутчиков», «тайных агентов», было бы куда уместнее, если бы автор поинтересовался тайной, уже без кавычек, деятельностью Нессельроде (о котором мельком упоминается в романе), ведавшего Министерством иностранных дел. Эта зловещая фигура с ее политическим интриганством, закулисными международными связями во вред России, с ее предательской ролью в Крымской войне — не до конца еще раскрыта историками, и здесь Окуджава мог бы найти более солидное (чем в своих отвлеченных фантазиях) поприще для реализации своего чутья к тайнам.

Еще о тех «тайных агентах», «шпионах», которые интересуют Окуджаву. Один из них стал главным героем его книги «Похождение Шипова, или Старинный водевиль». Это ре-

альное лицо, сыщик М. И. Шипов (Зимин), приезжавший в Тулу со специальным поручением следить за Толстым, который в 1862 году открыл в Ясной Поляне школу для крестьянских детей. Сыщик Шипов «измышлял невероятные истории» о Толстом (как сказано в аннотации), но еще более невероятные истории измышляет сам автор повести. Заметим, что приезд сыщика Шипова почти совпал с выходом второго (февральского за 1862 год) номера журнала «Ясная Поляна», где напечатана сказка «Дуняшка и сорок разбойников» (записанная яснополянскими учителями по пересказам школьников и отредактированная Толстым). Как бы по следам этой «Дуняшки...» и разыгрываются «Похождения Шипова». О качестве авторской фантазии можно судить, например, по эпизоду, когда Шипов и его компаньон Гирос оказываются в зимнем лесу осажденными «мохнатыми дьяволами» — волками. С испугу оба взбираются на верх дубов, стая волков, задрав морды, воет, хрипит (ожидая, «когда секретный агент, устав висеть подобно спелой вишне, оторвется и полетит к ним»), поет по очереди, пляшет, наконец главный волк-атаман со словами: «Ну, будя, пора и выпить. Пущай энтот посидит пока, а мы выпьем» — «пропускает махонькую» и, «поднявшись на задние лапы», угощает осажденного.

«— Браво, — крикнул атаман, и волки тотчас запели.

— Молятся, — догадался Шипов и выпил».

Читателю остается догадываться: явь это или сон, и эту «неоднозначность» можно отнести за счет особой загадочности авторской фантазий...

Герои-волки в перечне «действующих лиц» входят у автора в состав населения России, наряду с представителями всех ее сословий, начиная от шефа жандармов, министра внутренних дел, членов Государственного совета (открывающий повесть длинный список «действующих лиц» кончается: «жандармы, возницы, мужики, бабы, нумерные, горничные, швейцары, гости, студенты, волки...»). Но если «сложны», «неоднозначны» у автора герои-волки с великодушными порывами, то проще обстоит дело с людьми. Они у Окуджавы решительно «однозначны». Нечего уж говорить о презрен-

ных тайных агентах — Шипове с его французскими словами («Нет уж, лямур-тужур, будя со сроками»), или же его компаньоне Гиросе (по словам рассказчика, не то он грек, не то итальянец, не то турок, не то цыган), который на каждом шагу «хохочет», «подхохатывает вожделенно». И другие персонажи не хуже.

«— Хоп, — весело сказал Потап, — момент, сейчас переговорим. — И словно провалился в омут, но тотчас же вынырнул обратно, пуская пузыри. — Хоп, неудача, — сказал он виновато и закричал на весь зал: — Братцы, наших бьют! Православные, вступайтеся! — И умчался за городовым».

Это трактирный половой Потап, от которого ничем не отличается «хорек в очках» Потапов, генерал, начальник корпуса жандармов. Иногда даже можно подумать, что сами герои, недовольные столь вольным с ними обращением автора, не выдерживают и высказывают протест, вроде полковника Муратова: «Какое свинство! — думал полковник. — Какая грязная возня! И вокруг чего?.. Навозные жуки высасывают из пальца историю, чтобы доказать мне, что я свинья? Кому это надобно?..»

Но протестовать в какой-то мере небезопасно для героев, они могут попасть в еще более невыгодное положение. Например, в «перипетию», когда «несметные полчища» тайных агентов и жандармов берут приступом Ясную Поляну.

«— Господа, — сказал маленький полковник, — дело предстоит нешуточное... — И по-суворовски поднял над головой руку в белой перчатке. — Усердия не жалеть, живота не щадить! Враг хитер, да мы хитрее... Ворвемся внезапно».

«— Какой сигнал подать? — спросил Михаил Иванович.

— Петухом крикните, — шепотом сказал Кобеляцкий...»

«...Батюшки, и ведь впрямь петухом надо», — подумал Шипов и набрал воздуху в грудь и дунул... Получился странный, хриплый вскрик, и больше ничего.

— Да что это вы, будто боров! Петухом надо...

Кобеляцкий вытянул шею, приподнялся на носки, и резкий крик молодого драчливого петуха прорезал ночную тишину, и при этом становой пристав поддал локтями себе под

бока, подобно утреннему кочету, не знающему возражений в своем курятнике».

Читателя, имевшего уже случай представить в «Путешествии дилетантов», как русские войска несут в качестве знамени гулящую девку, не удивит, пожалуй, и этот жандармский бросок на Ясную Поляну «по Суворову», с «петушиным криком», «по-суворовски поднятой над головой рукой» предводителя атакующих. Это ли не достойная «тень» великого полководца? Не подобные ли «подковырки» и составляют самое «существенное» в замысле автора, а все другое — все эти волчьи концерты с волчьим же подношением рюмки сидящему на верху дуба Шипову, его любовные промашки (когда ласкаемая им в постели молодая Дасичка оборачивается вдруг «розовогубой» старухой, за которой, в свою очередь, скрывается жандармский полковник Муратов), все эти нелепости, словесное фраерство, все эти «романтические» «перипетии» — видимо, для приправы, для «заманки», как это понимает автор.

И вот новый, вышедший в 1985 году роман Окуджавы «Свидание с Бонапартом». В аннотации к книге читаем: «В основе романа события Отечественной войны 1812 года. Романтические судьбы героев романа тесно переплетены с истинной историей нашествия, а потом изгнания из России наполеоновских войск». Никакой «истинной истории» двенадцатого года здесь нет, а есть все те же знакомые нам «перипетии». Главный герой романа генерал-майор в отставке Опочинин, поклонник «Бонапартова гения» ждет появления в своих калужских местах французского полководца, чтобы пригласить «грозу Европы отведать деревенских яств». Так, с первых же строк «подпущается приключение» (слова рассказчика), долженствующее пощекотать читателя: ну чем все это кончится? Те же, знакомые нам по прежним сочинениям Окуджавы нелепости, любовные истории, «хохмы». Те же «загадочные силы», «женское трепетание», «трагический пафос», «таинственные знаки». То же коверкание языка. Впрочем, есть и удивительные народные обороты, вроде того, как герой-иностранец здоровается с русскими

крестьянами: «Здгасте, мюжик. Здгасте, баба». Как говорит один из героев романа: «...пока писал все это, перо хромало». Сами же герои могли бы сказать о себе словами героини: «...мы были подобно тряпичным куклам, произносящим чужие враждебные слова, и мера нашего поведения определялась не нами...» «Чужие враждебные слова» этих «тряпичных кукол» определяются все тем же отношением рассказчика к прошлому России. Все окружающее в России «вызывает ужас». Народ исключительно «раб». Крестьяне — рабы «лукавые», «унылые», «коварные» и еще какие? «Московские вельможи напоминали мне восточных сатрапов». «От пространств российских захватывало дух, рабов хватало». «Беспредельна тупость патриотов...» «Эти будут рубиться до последнего вздоха, но колеса не изобретут». Автор буквально изводит себя желчью, говоря о ненавистных ему «патриотах». В Можайске, «откуда все бегут», военный лекарь «крикнул безразлично» генералу с «трясучкой в пальцах»: «Это от повышенного героизма, господин генерал; когда распирает патриотическое безумие, а возраст подпирает, кровь играет, а пролиться не может, господин генерал». Герой по фамилии Свечин говорит французскому полковнику, своему «старому приятелю по Сорбонне», оказавшемуся в качестве завоевателя в Москве: «Если бы корсиканец вместо того, чтобы торопиться в Москву после Бородина, свернул бы на Калужскую дорогу и отрезал нас от продовольствия, считайте, что русской армии уже не было бы... вместо армии была бы толпа недоумевающих патриотов...» Это напоминает сожаление Смердякова в «Братьях Карамазовых»: «В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с».

Вообще склонность к подобного рода прогнозам странным образом одолевает героев Окуджавы. Без этой нагрузки не обошлась и проживающая в Москве молодая француженка-шансонетка Луиза Бигар, милая певичка, вовсе, казалось

бы, не любопытная по части исторических сравнений. Во время осмотра достопримечательностей Кремля она вещает своим знатным русским знакомым: «И вот в тот момент, когда графиня подробно рассказывала о покорении Грозным Казанского ханства, которое теперь представляется вечным достоянием Российского государства, я с присущим мне простодушием воскликнула: "Ну вот, прошло время, и все улеглось, и ханства не существует, какая прелесть. Значит, если кто-нибудь покорит Россию, то по прошествии двухсот лет ее корона станет музейным экспонатом?" "Но для этого ее надо покорить", — засмеялся граф...»

Милая шансонетка не дала ходу своей фантазии, когда услышала вежливую реплику графа, и эта осмотрительность юной героини могла бы быть уроком для пожилого автора в его исторических фантазиях. В них же он не знает никакого самоконтроля. Взять хотя бы его «противопоставление Европы России». Все, что касается Европы, — это прогресс, свобода, культура. Россия же — тьма, дикость, скотство. В упоминавшейся статье В. Бушина «Кушайте, друзья мои. Все ваше» убедительно, на многочисленных исторических фактах, показано, что реальный запад XIX века (страны Европы, США) ничего общего не имел с идеализированным Западом, о котором грезят, куда рвутся герои Окуджавы. Были там, на Западе, и шпионы, и социальные язвы, и нравственные безобразия, все то, что приписывает Окуджава только России. Более того, в США (куда мечтает бежать герой «Путешествия дилетантов» как в страну «иных нравов») рабство (положение негров) было гораздо более жестоким, чем крепостное право в России. Кроме того, в отличие от той же Америки, где почти полностью были истреблены коренные жители страны — индейцы, Россия, «присоединяя к себе ряд народов, ни один из них не лишила исторического будущего; иные народы входили в ее состав добровольно, а некоторые обширные земли, занятые ею, были малонаселенными или безлюдными». Но исторические факты, судя по всему, ничего не значат для нашего сочинителя. Ему, например, хочется представить Наполеона в ка-

честве освободителя русских крестьян от крепостного права (подумайте только: Наполеон обещает «спасение от рабства»!) — и вот пленный французский полковой интендант поучает своего русского собеседника: «Рабство отупляет... я видел множество ваших рабов. Они унылы и коварны. Они убивали своих господ и везли нам продовольствие. Я сам принимал у них хлеб и мясо, и они кланялись мне до земли, и я говорил им, выполняя инструкцию императора: теперь вы свободные граждане, идите и живите на своей земле. Она ваша». Оно и видно, как «рабы» кланялись до земли завоевателю: слишком уж быстро пришел в себя этот полковой интендант, схваченный «рабами» под Вязьмой и увезенный в телеге с «тряпкой во рту». Рассказчик переходит на веселые стишки в такт своего канканного представления о войне двенадцатого года: «...каждый хочет драки: крестьяне, девки и рубаки. Но так, чтоб Бонапарта одолеть, а вот самим чтоб уцелеть!»

Но оставим историю и обратимся лучше к тому, ради чего написан роман. Знакомая нам Луиза Бигар, очаровательная француженка-шансонетка (не то что «дородные и немного испуганные» русские женщины), за шесть лет пребывания в России обзавелась новыми друзьями, привыкла к новой жизни, почти забыла о «клейме француженки» на своем челе, обрела в России вторую родину. Уже не француженкой, а русской почувствовала она себя, когда Москву заняли французы и ей пришлось так много испытать в горящем городе вместе с русскими друзьями. Но вот завоеватели покидают город, Луиза, смешавшись с толпой московских жителей, ликует как русская патриотка. И далее происходит следующее:

«— А французы-то тю-тю, — сказал один мастеровой, и все тихо засмеялись.

— Теперь они больше не вернутся, — крикнула я по-русски, ликуя, — я знаю! Можно не бояться... Вив Москва!

Они внезапно остановились. Кто-то спросил:

— А ты кто такая?

— Я француженка, — сказала я упавшим голосом. — Но я давно живу в Москве, и я осуждаю своих соотечественников...

— Сучка, — прохрипел господин в помятой шинели.

Они тотчас окружили меня. Они задыхались от злобы, что-то клокотало в них. Я сделала попытку вырваться из их кольца, но старуха, разевая беззубый рот и что-то крича, ударила меня в грудь палкой...

— Что вы делаете? — закричала я. — Я ни в чем не виновата! — меня схватили за волосы, кто-то бил по спине, чьи-то пальцы подбирались к горлу. — Сжальтесь! Сжальтесь! — кричала я.

Они били меня, я увидела среди них Свечина... Затем что-то обрушилось, и я потеряла сознание.

Очнулась я на том же месте. Я лежала под дождем. Сначала вокруг никого не было, затем стали появляться одинокие прохожие...

"Скорей, скорей, — подумала я, с трудом подымаясь — скорей, пока они вновь не собрались в толпу!"

И бедная француженка, только что, какой-нибудь час тому назад, отказавшаяся ехать в экипаже во Францию со своим соотечественником, бросилась к еще стоявшему дормезу и «навсегда покинула Россию».

Ну не дикари ли эти люди, в своей слепой злобе готовые убить невинную женщину лишь потому, что она француженка! Правда, в действительности-то дело обстояло, скорее, наоборот, не жестокостью, а отходчивостью могло дивить отношение русских людей к тем же французам-пленникам, да такой отходчивостью, что иные современники возмущались, видя в ней следы навязчивой галломании. С. Т. Аксаков, например, негодовал в стихах, что «толпы сих пленников» «гораздо более вдыхают сожаленья, чем росски воины, израненны в сраженьях».

Любопытно, что хорошо знавший народ, живший в 70-х годах прошлого века в смоленской деревне А. Н. Энгельгард, в своей книге «Из деревни», передавая рассказы крестьян о «разоренье» 1812 года, вместе с тем не раз отмечает доброжелательное отношение их к французам. И если иметь в виду не выдуманную французскую шансонетку, а француженок, реально живших в России в начале того же XIX

века, то судьба их могла бы многое сказать добросовестному автору. Достаточно назвать хотя бы жен декабристов — Полину Гебль (Анненкову), Камиллу Ле Дантю (Ивашеву), которые последовали в Сибирь за своими мужьями, разделили с ними все испытания, нашли родную среду в окружении русских людей, родину в России.

Оказывается, для кого-то действительно страшное дело — кровь, особенно когда она становится маниакальной идеей. Она преследует рассказчика. «Я вижу, как загорелись ваши глаза при слове "кровь"»... «А одна ли у нас кровь?», «кровь», «кровь», «затхлая кровь», даже «крашеная кровь» (в жилах маршала Нея). И такое изречение: «Нет слов, способных подняться выше крови...» Слова многозначительные, звучащие почти как афоризм, они многое могут сказать о рассказчике, о его «тайное тайном», и тогда, конечно, пустым, игрушечным, должен быть разговор о «русской истории», «литературе» и прочем, ведь все это для рассказчика только, употребляя его словцо — «фьюить», главное же — в другом. Но если говорить об этом «главном», то, представьте, в русской культуре художники в своем слове поднимались «выше крови», и в этом величие русской культуры, которая вбирала, сплачивала вокруг себя имена не по биологическим, «кровным» признакам, а по духовным. Стоит ли перечислять эти имена? Можно коснуться только «соотечественников» несчастной Луизы Бигар. Знает ли Окуджава, что француженки были в роду, например, А. И. Кошелева (известного публициста, деятеля крестьянской реформы), К. С. Станиславского (основателя Московского Художественного театра), на них-то, можно надеяться, не натравит Окуджава дикую толпу?

Слышал ли он о Карле Францевиче Рулье, французе, знаменитом профессоре Московского университета середины прошлого века, крупном ученом-естествоиспытателе, патриоте, знатоке русского языка, друге С. Т. Аксакова (жена которого, кстати, была дочерью турчанки), А. Н. Островского. Карл Францевич любил повторять слова Овидия (весьма актуальные, пожалуй, для иных нынешних сочинителей):

«Изучи свое отечество, а потом можешь путешествовать». Резонно было бы вникнуть иным пишущим на русском языке и в те слова, которые говаривал Рулье: «Яйца курицу не учат», имея в виду первородство народного начала в языке, да и не только в языке.

Но можно привести примеры и «поближе», допустим, наиболее поучительный с Блоком; ему не был чужд «зов крови», но он не дал сделать себя жертвой его. Блок был рыцарски честен в осознании своего призвания в русской культуре (в этом было велико влияние на него ее традиций) и остался поэтом русским (значение родословной в судьбе Блока обстоятельно раскрыто в статье С. Небольсина «Преемственность и ответственность», вошедшей в его книгу «Прошлое и настоящее»). Да и у Б. Пастернака могли бы поучиться его поклонники (часто мнимые) — не только культуре его стиха, но и культуре духовной, исторической, знанию истории России и того, между прочим, что «позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех».

Но это тоже, может быть, «фьюить»? Любимое, кстати, словцо — не у одного Окуджавы, но и у Вознесенского. Но общее у обоих — не только во «вкусе» к такого рода жаргонам.

В книге Станислава Куняева «Огонь, мерцающий в сосуде» есть такое место, относящееся к «исторической поэме» Вознесенского «Андрей Полисадов».

«Главный герой поэмы — дальний предок автора, мальчиком вывезенный с Кавказа, своеобразный Мцыри, становится архимандритом Муромского собора, олицетворяющего в поэме тогдашнюю Россию. Архимандрит ненавидит свой собор как символ плена, и хотя он человек влиятельный, свободный и высоко стоит на общественной лестнице, поэт всячески старается представить его «заложником», «пленником», «ссыльным», «колодником», «узником», мучающимся в России... Герой ненавидит Россию и свой собор настолько, что в виде протеста, когда к нему на исповедь приходит девушка, влюбленная в него, овладевает ею в алтаре так, что «содрогнулось чудище слепого собора».

Странно, что у автора поэмы был такой предок, и странно, что он, если верить ему, из грузин... Ведь куда исторически достовернее не эта патологическая ненависть к России (да еще якобы православного священника, кощунство которого можно назвать бредом сатаны), а слова Лермонтова в «Мцыри» о том благе, которое принесло грузинскому народу его добровольное соединение с Россией.

И божья благодать сошла
На Грузию! — Она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасался врагов
За гранью дружеских штыков.

Многие великие сыновья Грузии связывали свою судьбу с Россией, видя в ней спасительницу своей Родины, честно служа ей в мирное и военное время. Общим любимцем грузин и русских стал Петр Багратион (кстати, в «Свидании с Бонапартом» Окуджавы дважды упоминается Багратион, и оба раза — как «интриган» и «лицемер»). На Бородинском поле вместе с ним сражались генералы Панчулидзе, Иоселиани, многие грузинские дворяне-интеллигенты. Сами за себя говорят русско-грузинские культурные связи, поистине братские взаимоотношения литератур обоих народов, традиционная любовь к Грузии русских писателей — от Грибоедова до Есенина. И как ни сильна роль фантазии в литературе, но совершенно особой (далекой от литературы) выглядит она в «исторической поэме» А. Вознесенского, где примитивной ненавистью сжигается все реальное, и, пожалуй, сам Кафка (с его притчей о Дон Кихоте, который делается демоном) позавидовал бы такому «превращению».

Станислав Куняев обращает внимание на любопытную «оговорку» в таких стихах «исторической поэмы»:

На границе Горьковской и Владимирской области
Я стою без голоса, в неволю отданный,
Родина, услышь меня, услышь мя, родина!

Архимандрит вроде бы забывает, в какое время он живет, что тогда, при нем была Нижегородская губерния, а не Горьковская область. Но в этом-то и вся «соль»: это ведь голос не только потомка автора поэмы, но и его самого, нынешнего поэта, который, так же, как его предок, находится «на границе Горьковской и Владимирской области» на положении изгоя, «в неволю отданный».

Но вернемся к «исторической прозе» Окуджавы. Знающий читатель в недоумении вправе спросить: что это все значит? Всего-то литературный фарс, а такой затянувшийся разговор о нем. Если говорить серьезно о русской истории, то зачем мне, читателю, эти «старинные водевили» (как назвал Окуджава свою повесть «Похождения Шипова»). Зачем мне эти «путешествия дилетантов» с чахлыми потугами на занимательность? Русская история, события ее так содержательны сами по себе, заключают в себе столько захватывающего, драматического, что не нуждаются в дешевой внешней занимательности. В событии 14 декабря можно увидеть, к примеру, только то, что у «храброго кавказца» Якубовича «заболела голова», он покинул восставших, и больше ничего не было на Сенатской площади. В таком духе и пишутся нередко «исторические» романы. Как будто не было мучительно-тревожного ожидания диктатора Трубецкого (который должен был взять на себя руководство восстанием), не было того, как восставшие и правительственные войска стреляли в воздух, щадя друг друга, как проходили переговоры с царем, как вели себя восставшие и т.д. Существуют работы (например, недавно вышедшая книга М. Нечкиной «День 14 декабря 1825 года»), где ход декабрьского восстания расписан буквально по минутам (длилось оно пять с половиной часов — с одиннадцати до наступления петербургских сумерек в половине пятого). Могу ли я сравнить эту потрясающую правду с жалкой выдумкой? И о Пестеле я узнаю не по какому-то «Глотку свободы», а по исторической работе, скажем, статье академика Н. М. Дружинина «К истории идейных исканий П. И. Пестеля» (в его книге «Революционное

движение в России в XIX в.») — об истории вступления Пестеля в масонскую ложу, значении этого факта в его революционной борьбе. От иных книг, глядишь, и поменьше будешь «профаном», непосвященным в истории. А все эти «старинные водевили», «путешествия дилетантов» только запутывают простаков...

Так может сказать знающий читатель. Если бы это всегда был знающий читатель. Тогда, действительно, и не надо было бы говорить о том, что не стоит разговора. Но когда те же глумливые анекдоты, фарсовые истории, те же «старинные водевили» печатаются в сотнях тысяч, миллионах экземплярах, когда автор вовсю восхваляется критикой, преподносится ею как «большой оригинал» (говоря словами гоголевского Хлестакова), когда жертвой этой мистификации становится столь доверчивый к печатному слову массовый читатель — то это уже не безобидное зрелище. Отчего так, почему возможна такая мистификация — это особый вопрос, как и то, отчего так безнаказанно насильничает сочинитель над музой Клио. Не над мифологической Клио. Выходят один за одним его штемпелеванные повести, романы — из прошлого России, XIX века. Того самого XIX века, когда Россия поразила мир великой русской литературой, музыкой, наукой, деяниями народными на пространствах, раскинувшихся на трех континентах, историческими событиями как внутри страны, так и на мировой арене. И вот вместо этой России — мировой державы с мировой культурой — какие-то витебские шагаловские сценки (кстати, и рисунки-иллюстрации в книгах Окуджавы в таком же роде), только не в «симпатичной» раскраске, а злобно карикатурной. Ни одного нормального русского человека, все уроды, тупицы, доносчики, пьяницы. Если и есть порядочные герой, то кто угодно — немец, полячка, француженка, грузин и т.д., — только не русский. Можно лишь посочувствовать бедному автору, как на протяжении двух десятилетий, не зная никакого облегчения (и этому как будто не предвидится конца), изводит он себя на упомянутой, мягко говоря, антипатии.

* * *

Если Булат Окуджава «специализировался» на русской истории XIX века, то другой стихотворец, Виктор Соснора, взял «на откуп» русскую историю XVIII века. Повести его об этой эпохе составили недавно вышедшую книгу «Властители и судьбы», имеющую подзаголовок: «Литературные варианты исторических событий».

Повести написаны «построже», без тех «романтических» любовных приключений и превращений, которыми кишат повести первого автора. Но исторической фантастики у Сосноры не меньше. Что-то знакомое — уже в первой повести «Державин до Державина». Те же самые, знакомые «по Окуджаве» картины дикости русской жизни, теперь уже не XIX, а XVIII века. Вот воинская служба, свидетелем которой, по словам автора, был Державин. «Все и все воровали». «Солдаты пили домашний самогон из свеклы. Солдаты играли в карты. Хороша игра "ерошка"... Проигравшего таскают за волосы, пока бедняга не упадет без памяти». «Поскольку за "ерошку" садились в мертвецки-пьяном состоянии, то уж чего-чего, а тумана хватало и в глазах и мозгах». «Женщины матерились, все путали портянки, с похмелья дрались дисциплинированно и со вкусом. Потом лейб-гвардейцы носили свои ушибы с невозмутимостью верблюдов, а их жены все чаще и чаще смотрели на мир из-под повязок только одним глазом». «Но счастье счастьем, любовь любовью, а деньги есть деньги». «Он сказал приблизительно такие слова: никому не приходит в голову, что писать письмо — тяжелый труд, потому что солдатские головы — тупы, никто в этой казарме, кроме него, Державина, писать вообще не умеет, а он, вдобавок, пишет бесплатно...»; «...на Красной площади играют дети и свиньи, на дворах церквей играют в "орлянку" нищие и монахи...»; «...майоры секретной политической полиции скачут на тройках — к девкам, на Валдай!»; «Десятки попов поставили около иконы аналои и промышляли исповедями и отпущениями».

«Бьют кого-то! — и Москва встрепенулась, в соседней церкви кто-то дернул за веревку малого колокола, в соседней церкви ударили в колокола, и вот вся Москва уже закачалась, загудела, забубнила — одиннадцать тысяч колоколов — били в набат!

Растерянные, разъяренные, отчаявшиеся толпы запрудили улицы и площади. Все хватали что попало — топоры, вилы, грабли, косы, оглобли, ножи, — все вооружались и бежали, даже бабы и подростки. Все готовы были убивать, лишь бы кто-нибудь оказался виноват». «Архимандрита Никона утопили в бочке мозельского, а потом откачали, как утопающего, забавляясь и улюлюкая, а потом возложили на алтарь. Он потерял рассудок от страха и умер». И т.д.; и т.д.

Автор пишет: «В 1770 году в Москве было 211 388 нерасследованных дел об убийствах и грабежах». Откуда взята эта астрономическая цифра — неизвестно, тем более что сам же автор в этой же книге уверяет, что «Россия никогда не имела статистики...» Примем это противоречие рассказчика за счет его своеобразной патриотичности: кто же упрекнет за ретивое, сверх здравого смысла, очернительство прошлого? Лучше перебрать, чем недодать, хотя резонно заметить, что дело-то ведь и для самого обличителя — вовсе не в прошлом.

Одним словом, и у Сосноры тот же самый кошмар русской жизни, что и у Окуджавы. И конечно же, не могло в таком случае обойтись без патетического вопроса: «Где объяснение тому, что этот мощный экземпляр человеческой породы, поэт с несчастной и буйной биографией, бился, как деревянная бабочка в паутине, в условиях российского существования?»

По словам Сосноры, никто из великих русских поэтов «не понимал Державина». Сам Соснора понял Державина через такие его стихи:

Страха связанным цепями
И рожденным под жезлом,
Можно ль орльими крылами

К солнцу нам парить умом?
А хотя б и возлетали,
Чувствуем ярмо свое.

Приведя эти державинские стихи, автор повести заключает: «Это чувство тысячу лет витало над русскими поэтами». Тысячу лет — со страхом, цепями, ярмом, не то что Соснора, парящий к солнцу «орльими крылами» без этого тысячелетнего русского испуга.

Из XVIII века, как из всякого другого века, автор волен выбрать любое событие, любое историческое имя.

Кто Петра I, кто Елизавету Петровну, кто Бирона, кто банкира Липпмана и т.д. Впрочем, сама избирательность уже характерна. Виктор Соснора выбрал для своей повести «Спасительница отечества» Петра III. Имя этого императора, свергнутого его женой, ставшей императрицей Екатериной II, никогда не вызывало среди историков разноречий в его исторической характеристике. Враждебность к России, ко всему русскому. Холуй Пруссии, Фридриха II. Замысел заменить в России Православие лютеранством. Никто из историков, начиная от С. М. Соловьева, вплоть до современных, не брался «реабилитировать» Петра III, слишком все очевидно. Автор новой книги «Россия в середине XVIII века. Борьба за наследие Петра» Е. В. Анисимов пишет: «Сознавая, как сильно влияет на точку зрения сложившийся в литературе стереотип, автор этих строк пытался найти в документах свидетельства, которые позволили бы пересмотреть традиционную оценку личности Петра Федоровича, увидеть в ней ”скрытый план”, такие не замеченные предшественниками черты, раскрытие которых обогатило бы наши знания, но все усилия оказались тщетными — никакой ”загадки” личности и жизни Петра Федоровича не существует».

И автор этой исторической работы повторяет традиционную характеристику Петра III, подчеркивая, что «все связанное с Россией было глубоко чуждо Петру III».

Но вот берется за Петра III Соснора, и в его «литературных вариантах» этот император возносится буквально над

всеми другими императорами России всех времен. За какие же заслуги? «Петр III, первый из русских императоров (и последний)... сказал в лицо всей жрущей и обворовывающей все и вся системе, что она представляет собой на самом деле. Поэтому вся администрация России возненавидела Петра III». «Петр III издал указ о желательности, но необязательности службы в армии». «Петр III позволил дворянам беспрепятственный выезд за границу. Высочайшим указом он повелел "принять вообще всех западных людей и всех других иноверцев, пусть они молятся, кому хотят..."» Автор вопрошает: «Почему все инородцы России, а их были миллионы, от калмыков до евреев, еще двести лет поминали Петра III в своих храмах? Ни одного императора — только Петра III?» При Петре III, пишет Соснора, «все, даже самые малочисленные вероисповедания в России, были приравнены к государственной религии — к православию. Православие лишилось исключительно ореола и командных постов. Духовенство возненавидело Петра III». Здесь умалчивается главное: Петр III ставил своей целью переменить Православие на лютеранство. В своей «Истории России» С. М. Соловьев приводит свидетельство современника о том, что «сильный ропот и негодование в подданных "более всего возбудило то, что Петр III вознамерился «переменить совершенно религию нашу, к которой оказывал особенное презрение"». Андрей Болотов (это его цитирует историк), знавший Петра III по своей службе в Зимнем дворце, в автобиографических записках «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков» рассказывает о том, чему очевидцем он бывал во дворце. «...Редко стали уже мы заставать государя трезвым и в полном уме и разуме... он говаривал такой вздор и такие нескладицы, что при слушании оных обливалось даже сердце кровию от стыда пред иностранцами-министрами, видящими и слышащими то и бессомненно смеющимися внутренно». Другой современник Петра III, известный публицист и государственный деятель М. М. Щербатов в своем сочинении «О повреждении нравов в России» приводит примеры, как занятый ночным развратом с очеред-

ной любовницей, Петр III поручал своему секретарю написать к утру «знатное узаконение» и тот, «не зная ни причины, ни намерения государского», писал наобум, и этот «манифест» «обнародовался» государем.

По словам Андрея Болотова, у Петра III была «врожденная ненависть и презрение» к россиянам, к «российскому народу», «крайнее отвращение его от нашей российской религии», которую он вознамерился переменить на лютеранство. Становится ясной из записок Андрея Болотова и причина того «подобострастия», которое питал Петр III к прусскому королю: «Многие говорили тогда, что помогло к тому много и вошедшее в тогдашние времена у нас в сильное употребление масонство. Он введен был как-то льстецами и сообщниками в невоздержностях своих в сей орден, а как король прусский тогда, как известно, был гранд-мэтром сего ордена, то от самого того и произошла та отменная связь и дружба его с королем прусским...» Болотову самому, служившему в свое время в Кенигсберге, привелось убедиться в достоверности этого факта, то есть в принадлежности Петра III к масонству. «Будучи еще в Кенигсберге и зашед однажды пред отъездом своим в дом к лучшему тамошнему переплетчику, застал я нечаянно тут целую шайку тамошних масонов и видел собственными глазами поздравительное к нему письмо, писанное тогда ими именем всей тамошней масонской ложи; а что с королем прусским имел тогда он тайное сношение и переписку, производимую через нашего генерала Корфа и любовницу его графиню Кейзерлингшу, что от самого того отчасти происходили и в войне нашей худые успехи, о том нам всем было по слухам довольно известно: а наконец подтверждало сие некоторым образом и то, что повсеместная молва, что наследник был масоном, побуждала тогда весьма многих из наших вступать в сей орден и у нас никогда так много масонов не было, как в тогдашнее время».

Отношение Андрея Болотова к масонству было недвусмысленное, вполне определенное: сам он отверг предложение известного масона вступить в ложу, считая, что честный гражданин не должен иметь дело ни с какими тайными

орденами, тайными организациями. Но может быть, В. Соснора, восхваляя безоговорочно Петра III, видя в нем одни достоинства, и в масонстве его полагает особую историческую заслугу? Тогда, конечно, многое проясняется в апофеозе героя книги, поставленного выше всех русских императоров.

«Петр III не делал тайны из своей ненависти к России», — признает Соснора. Возвратил он сосланного при Елизавете Бирона, заклятого врага всего русского. С явной симпатией пишет Соснора о представлениях, которые выделывал его герой. «Петр снимал шляпу, подмигивал, раскланивался, произносил, размахивая шляпой, дурацким голштинским картузом:

— Моя шляпа, а ее марка — Голштиния, намного интереснее русской короны».

Такое, мягко говоря, вольное обращение с историческими фактами, точнее, искажение, извращение их автор называет «литературными вариантами исторических событий». Автор вступительной статьи к повестям Сосноры Я. Гордич пишет: «Как человек, занимающийся русской историей, я не разделяю многих утверждений автора повестей. Но что из того? Даже если в отдельных случаях моя позиция сильнее и аргументированнее, Соснора, как и любой человек — и в частности писатель, взыскующий истины, — имеет право на ошибку». Но очень уж целенаправленные ошибки. При этом, стремясь навязать неосведомленному читателю любительские «литературные варианты исторических событий», Соснора рядит и судит всех подряд, невзирая на лица. Никто из великих русских поэтов не понял Державина, понял его только он, Соснора. «Ни один историк не попытался поставить хотя бы элементарный опыт объективности». Сделал это впервые он же, Соснора. Своим «свободным моделированием ситуаций». «Впоследствии Вольтер назвал переворот восхождением государственности, а Дидро — счастьем страны. Эти мыслители — лишь писатели, они далеко зашли в своем снобизме, вмешиваясь в политику. Их политика — коллекционирование автографов королей». Сам Соснора превосходит, конечно же, этих писателей, поскольку в от-

личие от них, он должным образом оценил Петра III. Откуда такая самоуверенность? Не взращивается ли она неумеренными похвалами, вроде панегирика того же Я. Гордича или же поощрения академика Д. Лихачева, давшего весьма лестный отзыв о «переводе» Соснорой «Слова о полку Игореве», — вероятнее всего, все тем же «свободным моделированием» на этот раз филологической «ситуации».

Да, каждый волен выбирать в XVIII веке, что ему, так сказать, близко. Соснора в повести «Две маски» выдвигает свою — детективную версию (в отличие от менее эффектной версии «официальной историографии») о сговоре Мировича с Екатериной II, в результате чего был убит заключенный в Шлиссельбургскую крепость Иван Антонович, а императрица вероломно нарушила обещание сохранить жизнь Мировичу — уничтожила его. Эта авторская фантазия выглядит чуть ли не главным событием века, закрывающим всю тогдашнюю историческую действительность...

Нельзя писать о XIX веке, не зная значения его для России и мира.

Нельзя писать о XVIII веке, не зная его значения для России и мира.

Только невежды могут думать, что в России XVIII века, в отличие от Европы, щи хлебали лаптем. Академик Е. Тарле писал о России конца XVIII века, что тогдашняя «русская торговля и промышленность были гораздо более развиты, чем в большинстве континентальных держав и что (кроме Франции) ни одна страна не была столь экономически независима, как именно Россия тех времен». Гоголь, прочитав отрывки биографии Фонвизина, написанной П. Вяземским, сообщал автору о заключенном в XVIII веке «волшебном ряде чрезвычайностей, которых образы уже стоят пред нами колоссальные, как у Гомера, несмотря на то, что и пятидесяти лет еще не протекло... Нет труда выше, благороднее и который бы так сильно требовал глубокомыслия полного многостороннего историка. Из него может быть двадцать томов чудной истории, и клянусь — вы станете выше всех европейских историков».

* * *

История народов нашей страны и советская литература... Странно, но вопрос не праздный: насколько глубоко знают историю своего народа писатели, когда обращаются к этой истории. В книге армянского поэта Геворга Эмина «Семь песен об Армении», представляющей собою пространный очерк о прошлом и настоящем Армении, много интересных сведений, исторических фактов. Но вот два рассуждения, друг за другом: «Присоединение Восточной Армении к России не только спасло наш народ от физического уничтожения, но и снова собрало его на родной земле, связав ее судьбу с судьбой России, имеющей более развитые, чем Турция и Персия — культуру и экономику». Вслед за этим автор пишет: «Национальные, освободительные надежды нашего народа Налбандян связывал не с царской Россией, а с крушением самодержавия. Он уже знал, что царская Россия — тюрьма народов, и пока не разрушена эта тюрьма, не быть свободным и армянскому народу». Нет ли здесь противоречия? Тем более что автор ту же мысль о России, как спасительнице армян, повторяет не раз: «...организованное младотурками переселение и истребление армян в первую очередь преследовало цель удалить от русско-турецкой границы преданное России армянское население, лишив армян помощи России, а Россию — верной опоры...»

В книге Геворга Эмина нуждаются в уточнении и некоторые другие моменты. Он много пишет о национальной трагедии — геноциде армянского народа, обвиняет в этом «младотурок», «пантюркистов», немецких офицеров, называет имя Талаат-паши, «главного палача армянского народа». Но кто такой Талаат-паша, кто такие «младотурки» конкретно? Автор «Семи песен об Армении» и не задается этим вопросом, ограничиваясь вообще «младотурками». То, чего нет в книге поэта, мы найдем в книге историка Д. С. Киракосяна «Младотурки перед судом истории», вышедшей в Ереване — сначала в двухтомнике на армянском языке, а затем — в сжатом изложении на русском языке. Это уже не беллетристика,

а сама история, которую должен знать каждый армянин, да и все те, кто неравнодушен к злодеяниям врагов народов. Историк пишет, что младотурецкое движение началось с первой ячейки партии «Единство и прогресс» — Иттихада (от слова «единение»), созданной в Шенове в 1891 году. После свержения в 1908 году султана в Турции пришли к власти младотурки. На передний край руководства выдвинулись Талаат, Энвер, Джемаль, Назым, Джавад, принадлежавшие к фримасонским ложам. «Иттихад, — пишет автор, — в действительности была не партией, а организацией заговорщиков. По своей структуре и целям она была скорее похожа на масонские организации, чем на партии европейского типа. Комитет «Единство и прогресс» действовал как тайная организация, руководствуясь устными указаниями. Главной причиной намеченного и осуществленного геноцида армян было то, что этим правители хотели преодолеть соперничество в торговле, в экономической и культурной жизни. Было истреблено два миллиона армян. В 1919 году, с восстановлением власти султана в Турции султанский трибунал приговорил младотурецких главарей к смертной казни. На суде обвинитель призывал отделить турецкий народ от Иттихада. «Когда мы говорим турки, — заявил он, — нужно отделить от них салоникских дёнме и организованный ими Иттихад и военщину».

Приговоренные к смерти скрылись за границей, некоторые из них были убиты армянскими мстителями. Трагедия армянского народа не прекратилась и при Кемале Ататюрке, при котором было уничтожено полмиллиона человек. Интересна такая подробность: в 1918 году Карл Радек жил на квартире Талаата в Берлине, был солидарен с ним в армянском вопросе.

Думается, что не только историк, но и писатель должен знать подобные факты, быть исторически информированным. Ничто не должно быть скрыто из прошлого, касающегося народа.

И в советской русской литературе часто можно видеть, когда незнание исторических фактов, пренебрежение или

сознательное уклонение от них, подмена их предвзятыми стандартными оценками, социологическими схемами — искажают события прошлого, лишают их конкретного смысла, дезориентируют сознание читателя не только в отношении прошлого, но и настоящего. Впрочем, это тема слишком серьезная, требующая отдельного обстоятельного разговора, поэтому будем ближе все-таки к литературе.

Знание фактов здесь стало, как правило, излишним. Иные пишущие «исторические» сочинения любят ссылаться на совет Ю. Тынянова насчет того, что следует «заглянуть за документ». Заглянуть, увидеть там что-то свое, желаемое, и уже, выходит, «документ» не нужен. Вот и заглядывают и вполне обходятся без «документа», без исторических источников. И все выдается за прошлое, за якобы бывшее — с определенным знаком. Вот, например, П. Антокольский написал поэму «Повесть о мощах Александра Невского», как русские мужики везли мощи Александра Невского из города Владимира в новосозданную столицу государства Российского — в Санкт-Петербург, в Александро-Невскую лавру. Взят факт, мощи Александра Невского действительно были перевезены в названное место. Но сам по себе этот факт, видимо, слишком «пресен», чтобы вдохновить поэта, он «заглянул за документ» и увидел желаемое. Петр I говорит у него: «Наша лавра без мощей, что бордель без девки красной». Да и мужики, везшие святые мощи, взяли вдруг да и перепились все вдрызг и утопили мощи в реке. Это ли не сюжетик старой русской жизни? А кто за него упрекнет? Кто осудит за то, что старый поэт так энергически, в передовом духе разделался, так сказать, с мракобесием и предрассудками прошлого?

Такая вседозволенность в отношении прошлого России имеет свою давнюю историю, начиная с двадцатых годов, и не видно пока, чтобы ей был положен предел. Потребовались бы фолианты, чтобы только привести факты. Читатель, если он не равнодушен к этой проблеме, сам может вспомнить сколько угодно таких фактов. Мы, русские, живем вне истории своей страны, начиная со школьных лет (из школь-

ной программы, как и вузовской, даже на гуманитарных факультетах, исключена история России). Какие только истории у нас не входят — от какой-нибудь Гваделупы до африканского племени. Для объективного освещения исторических событий, как сказал мне один историк, «не пришло еще время» (речь шла, в частности, о международном значении и мирных усилиях русской дипломатии в восьмидесятых годах прошлого столетия). А между тем успешно внедряется в сознание людей другая, искаженная история, издаваемая миллионными тиражами, в виде «исторических» повестей, поэм и т.д. (наподобие упомянутых в этой статье). И это небезобидное дело. В конце января 1987 года по советскому телевидению выступала группа «возвращенцев» (бывших эмигрантов, вернувшихся в СССР), говоривших о том, насколько сильно, в массовом масштабе распространена в США русофобия, ненависть ко всему русскому. Один из выступавших даже заявил, что это больше всего угнетало его там, за океаном. Массовая информация (которая вся в руках сионистов, об этом тоже говорили «возвращенцы») интенсивно обрабатывает своих читателей, зрителей в духе ненависти к нашему народу, его истории. И невольный вопрос к местным нашим сочинителям всяческих «старинных водевилей» из русской истории: не добавляют ли они, мягко говоря, антипатии к русскому в глазах зарубежного обывателя.

Вообще плоды обработки нашей истории налицо, и об этом, пожалуй, лучше всего может сказать молодое поколение. Недавно я прочитал рассказ одной студентки Литературного института имени А. М. Горького, которая пришла заниматься в мой семинар. Мне кажется любопытным привести здесь одно место из этого рассказа: юная героиня-подросток задумывается об истории.

«В те годы и без того имела довольно странное представление об истории. Твердо я знала только то, что была война и революция. А до этого самым загадочным образом существовали цари, пещерные люди, Наполеон и древние египтяне — все сразу и вместе.

Еще раньше я думала, что революция случилась вдруг, из ничего, как, по научным теориям, наша вселенная взрывом среди пустого места, и только после нее, революции, появились люди вообще и возникла жизнь.

Но, оказывается, уже в наше время кроме войны и революции было еще что-то важное, важное и большое, о чем знает только этот старик, и никто больше.

Я даже подумала, что это был целый народ с какими-то особыми сжатыми ртами, одни мужчины, все в одинаковых серых пиджаках, и у всех одинаковые сжатые рты. А впереди — таинственная бабка. Ее черное платье развевается по ветру; в одной руке она держит знамя, а в другой у нее — однорукий мальчик с иконой в руке. А потом всю эту армию кто-то таинственно перебил и уничтожил, и никто поэтому не знает о ней. В живых остался только однорукий мальчик, который стал одноруким стариком и стоял сейчас передо мной. Впервые я смутно почувствовала, что такое живая история.

— Ну ничего, пташка божья. Поймешь потом, коли не дура, — сказал старик, и я подумала, удивившись, что раз смогу когда-нибудь понять, то не такое уж это таинственное племя, и не все из него перебиты: остатки разбитой армии ходят по земле, о них знают и смогут рассказать мне тоже».

Возможно, немного шаржированное место, но примечательное сутью, смутным представлением юного сознания об истории.

В затмении многовекового исторического пути народа не может быть не только духовно полноценной жизни новых поколений, но и попросту, как принято говорить, достаточной общественно-трудовой отдачи, ибо любое творчество питается традицией, опытом предшествующих поколений, чувством исторической общности. Прекрасно знают, что делают, те, кто хотел бы погрузить во тьму историю народа, сделать из нее свалку анекдотов, кунсткамеру. В литературе бросаются в глаза такие усердные занятия. Похоже, что все заботы — в отпевании прошлого. Это мне напоминает спектакль «Господа Головлевы» во

МХАТе, который я недавно смотрел: там каждая сцена, одна омерзительнее другой, заканчивается панихидой — «богослужением» артиста-«священника» в сопровождении записанного на пленку церковного хора...

* * *

Поговорим о «частной» истории — не народа, а той области его самосознания, которая всегда имела общественно важное значение в России — поговорим об истории литературы. Здесь тоже немало «отпевателей», охотников разделаться с русской литературой. В журнале «Огонек» (1986, № 44) помещены литературные воспоминания Ю. Трифонова, в которых читаем: «Кроме того, мне непонятно высокомерие, с каким иные литераторы говорят о западной литературе, будто эта литература — какой бы высокой и значительной она ни была — все же чем-то ниже отечественной, мол, там чтиво, а здесь пища мозгам; там стиль, а здесь коряво, но правда. Все это ползет от непереваренной почвеннической фанаберии девятнадцатого века, не принесшей русскому искусству особых достижений, зато обольстившей наших мыслителей великим множеством приятнейших, душегрейных рассуждений: от гениального Достоевского до Шевцова. Пусть простят меня почитатели великого писателя за то, что соединяю его имя в одной фразе с именем графомана, но делаю так лишь затем, чтобы показать, сколь необъятна эта система и как много в ней всякого рода, всяких масштабов орбит». Никаких, оказывается, «особых достижений» нет у русской литературы, русского искусства XIX века. А мы-то думали, что для мира что-то значат имена Достоевского, Толстого, Чехова, Гоголя, Мусоргского, Чайковского, множества других великих художников. Можно понять, конечно, положение автора, столь презиравшего данную литературу и вынужденного писать на языке этой литературы — положение незавидное... Как видим, пути сходятся: если для Окуджавы Россия XIX века — сплошное скотство и мрак, то для Трифонова русское искусство XIX века не что иное, как

только «почвенническая фанаберия». Чем же она, бедная русская классическая литература провинилась, уж не тем ли, что слишком светит миру и с этим нелегко справиться? Что ее нельзя взорвать, как храм Христа Спасителя, срыть, как Поклонную гору, повернуть вспять, как северные реки?

Впрочем, все посильное делается. «Переоценка» русской классики на литературной бирже (и на театральной, и на кинематографической) идет полным ходом. В самых бесцеремонных формах, без особых подходов. Памятна история с книгой О. Сулейменова «Аз и Я». Ясно было, что это за книга: то же »путешествие дилетанта», на сей раз в древнерусскую литературу (при полном невежестве в знании предмета, как обычно у этих «путешественников»), с той же известной нам целью, на этот раз с выкриком, что «Слово о полку Игореве» — это гениальный памятник не древнерусской культуры, а тюркского происхождения. Все то же политиканство. Но какой вокруг этой «гипотезы» поднялся гвалт, вспенилась «полемика» с участием ученых академиков, которые с самым серьезным видом обсуждали этот «тюркский вариант» с почтением к автору. Иных умилял сам факт такого неожиданно специфического интереса к древнерусскому творению: так богато наше «Слово...», что вот вдруг приняли его за тюркское. Невдомек этим умиленным, что завтра такой же специфический интерес может проявиться к «Войне и миру», «Братьям Карамазовым», и» эти романы могут быть объявлены чьими угодно, только не творениями русской культуры.

История литературы тоже не знает покоя от «вариантов». Конечно, ныне на дворе не двадцатые годы, когда Пушкин объявлялся дворянско-помещичьим идеологом, а Толстой контрреволюционным писателем (и по этой причине в 1928 году в прессе раздавались требования не отмечать его юбилей — столетие со дня рождения)... Нечего уж говорить о Гоголе, Достоевском. Ныне вроде бы таких «крайностей» нет, но есть нечто схожее. В феврале 1987 года отмечалось 150-летие со дня гибели Пушкина. Оказалось множество желающих порассуждать о Пушкине, что выявило довольно любопытную картину наличных интеллектуально-духовных

сил в писательской среде. Не будем говорить об авторах опрометчивых, лишенных элементарной догадки, что писать о Пушкине даже и с «похвальной» целью — это значит обнаружить уровень собственной личности, что и было сделано с неподдельной искренностью и угнетающим результатом. Целеустремленнее были другие, знавшие, зачем им практически нужен Пушкин, даже не сам по себе (он им безразличен), сколько как предлог для «самовыражения», для «актуальных» мыслей. В этом ряду особенно обратило на себя внимание выступление Д. Самойлова в журнале «Знамя» (1987, № 1). Там он с восхищением пишет, как один молодой стихотворец предложил заменить ставшую знаменитой строку из десятой главы «Евгения Онегина» — «Ты, Александровский холоп» (т.е. Аракчеев) другой строкой — «Ты, аракчеевский холоп», — то есть народ, подчеркивает Давид Самойлов. И это говорится о Пушкине, который сам себя называл «эхом русского народа». И вот здесь-то с особенной очевидностью поймешь, что Пушкин для нас — это не только литература, искусство, не только универсальность духа. И если здесь разрыв — то это проблема, касающаяся самой судьбы народной, заставляющая о многом глубоко задуматься. Что-то ненормальное есть в том, когда народ, или хотя бы его «сыны литературные», делают возможным подобные превращения с первым нашим национальным гением.

Надо ли говорить, что история литературы — это история народа, но простейшая сия истина предается забвению. И это, видимо, не случайно, это характерно для нынешней духовной атмосферы литературной жизни, во всяком случае, для задающего тон интеллектуального авангарда ее, так далеко ушедшего (скажем мягко) от магистрального пути русской литературы — ее народности, повернувшего стрелку на другое направление.

Точнее, однако, было бы сказать о смещении ценностей в литературе, о любопытных метаморфозах в ней за последнюю примерно четверть века. Постепенно, в течение каких-нибудь нескольких лет, иногда буквально на глазах происходит переоценка литературных явлений, мешались до

того вроде бы несопоставимые вещи, на первый план выдвигалось то, что не было заметным ранее. Мне лично пришлось не только наблюдать это, но и попасть в переделку в связи с этим, так что это не отвлеченный разговор. Более десяти лет тому назад в журнале «Молодая гвардия» (1975, № 3) была напечатана моя статья «Правда жизни и ее «превращения». В ней речь шла о Прусте, Кафке и т.д. и между прочим, приводился факт, как литературовед, покойный Б. Сучков, давал противоположные оценки одному и тому же писателю, в частности Прусту, в одном предисловии называет его модернистом, спустя немного времени в другом предисловии ставит его в ряд с крупнейшими мировыми реалистами XX века. Стоило мне сказать об этом, как дюжина членкоров АН СССР и АН УССР, докторов наук, накинулась на меня в коллективном письме «О науке и нравственности», опубликованном в журнале «Литературное обозрение» (1975, № 6). Авторы письма вознегодовали на критику. Нельзя, не сметь трогать «выдающегося» ученого (следовало перечисление званий), а заодно с ним Пруста и Кафку. Эта защита выглядела даже смешно: почтенные членкоры и доктора наук, обижаясь за Кафку, хором поучали, что «творчество писателя, если живет он в антагонистическом обществе, бывает нередко соткано из резких противоречий» (прием «неотразимый», способный все запутать и оправдать, вплоть до маркиза де Сада), что Кафка не был «критичным» по отношению к отцу и т.д. Обидели «гения», и сразу же выступила дружина в защиту его. Что-то не слышно, чтобы с такой же организованной сплоченностью выступали наши патентованные литературоведы в защиту классиков, с которыми куда вольнее, бесцеремоннее обращаются, чем с Кафкой и прочими модернистами.

Но в том-то и дело, что в последнее время очень многое сместилось в литературных понятиях, и критиковать Кафку — дело куда более рискованное, чем критиковать русских классиков (это можно, пожалуйста). Перемены произошли как бы исподволь, незаметно, как бы из благих намерений. Ну что плохого, скажем, в том, что вывели из забвения

и сделали достоянием широкого читателя Марину Цветаеву? Это и надо было сделать, как, впрочем, в любом другом случае с другим забытым талантливым писателем. И когда с новыми публикациями стихов поэтессы вокруг ее имени возник своеобразный литературный ажиотаж, то это можно было понять (в романе Гранина тех лет «Иду на грозу» интеллектуальная «элита» из числа молодых физиков-теоретиков яростно обсуждает переизданные рассказы Бабеля, очерки Кольцова, стихи Мандельштама, картины Пикассо, музыку будущего, здесь и стихи Цветаевой). Хорошо, что читатель лучше узнал поэтессу. Но вот прошло около трех десятков лет с тех пор, и Цветаева оказалась вдруг в литературе фигурой фантастически гипертрофированных размеров. Великие русские поэты — уже где-то там, за нею, во всяком случае в глазах многочисленных ее почитателей (сама она говорила о своем отношении к Пушкину: «Прадеду — товарка: в той же мастерской!»). Ни одно имя из поэтов-классиков (да и, пожалуй, все они, вместе взятые) не было столь часто на устах публики за это время, как имя Марины Цветаевой. Я слышал, что возник спор относительно очередного тома «Литературного наследства» — кого издавать: Тютчева или Цветаеву, и ответственные лица настаивали на Цветаевой. Имя ее сделалось неким поэтическим эталоном, знаком расхожей элитарности, а стихи стали «дефицитом» наряду с импортными бытовыми вещами. Все, кажется, можно найти, все есть у Цветаевой: книжные образы и сугубо бытовые; любимые поэты — Державин и Гейне; излюбленные библейские имена и русская народная частушка; неверие в Бога и религиозно-экзальтированная влюбленность в «Свете тихий» — в Блока (с которым никогда не встречалась); неприятие новой России и гимн челюскинцам; оппозиция к советской литературе и хвала «архангелу-тяжелоступу» Маяковскому; замкнутость в себе и ядовитая сатира на безликость буржуазной публики; интернациональность (ее «Стихи к Чехии» и то, что ее муж С. Эфрон принимал участие в испанских событиях) и подчеркивание «африканского», «негроского» в Пушкине и т.д. Все здесь есть, каждый может выбрать свое,

нужное ему. О своих «Стихах к Пушкину» она писала: «Они внутренно революционны... внутренно мятежные, с вызовом каждой строки...» Этот «вызов» ко всему и всем, присущий вообще ее поэзии (как и ее «жизненному поведению»), накладывает, конечно, своеобразную печать на цветаевские стихи, однако сама поэтичность от этого вряд ли выигрывает.

Но дело в данном случае не в качестве стиха. Существеннее другое — само мирочувствование поэтессы. За пестротой мыслей и настроений, ритмическим перестуком кастаньет чувствуется нечто другое. В стихах часто «тоска», «тоска», «тайная тоска», «забыть не могу тоски я», «сколько темной и грозной тоски в голове моей светловолосой», «в тоске вечерней и осенней», «тоска-червяк» и т.д., и т.п. «Погребенная заживо под лавиною дней — как каторгу избываю жизнь».

Жив, а не умер
Демон во мне.
В теле — как в трюме,
В себе — как в тюрьме.

«Со всеми немощами» и «очесами демонскими», как говорится в одном стихотворении, лирическая героиня (скажем так) растравляет в себе женскую болезненность, переносит ее на мир. Болезненной и слабой — какие уж там «чувства добрые» пробуждать, впору со своей немощью справиться, не заразить ею других... Но это духовная, а скорее душевная болезненность, не просветленная опытом, а с вызывающей (везде — вызов!) гордостью самоутверждаемая — незримо вроде бы, по «каплям» впитывается стихами поэтессы. Нагляднее эта вымороченность в сюжетной поэме «Крысолов».

Поэма навеяна немецкой средневековой легендой о человеке, который избавил жителей города от крысиного нашествия, но, будучи не удовлетворен вознаграждением, страшно наказал их. Поэтесса придумала свою «конструкцию» легенды, сделав крысолова символом поэзии, мстящей мещанству, по ее мнению, за свойственную ему тупость, неспособность оценить гениев в искусстве. Вслед за средневековым крысо-

ловом сочинительница мстит современным ей мещанам, далеким от ее пиитических воспарений. Не говоря уже о том, что мстительность сама по себе не очень нравственна, неприятно поражает поэтическая жестокость финала поэмы, где крысолов-поэзия губит мещанских детей.

Тише, тише, дети! Отданы
В школу тихую, подводную.
Лейтесь, лейтесь, розы щечные,
В воду вечную, проточную.
Кто-то: ил! кто-то: ил!
Кто-то: ноги промочил!
Кто-то: вал! Кто-то: гул!
Кто-то озера хлебнул!
А вода уже по пальчики
Водолазам и купальщикам...
Жемчуга навстречу сыплются,
А вода уже по щиколотку...
Под коленочки норовит:
— Хри-зо-лит!
...А вода уже по плечико
Мышкам в будничном и в клеточке.
Выше, выше носик вздернутый!
А вода уже по горлышко, —
Усладительней простыни...
Хрус-та-ли.
...Поминай, друзья и родичи!
Подступает к подбородочку...

В связи с мещанами, которые столь дорого заплатили за свою духовную и эстетическую неразвитость, невольно вспоминаются слова одного из героев Андрея Платонова: «Ну какая ты мещанка!.. Тебе до мещанки еще долго жить и учиться нужно: те хорошие женщины были...»

Неотступные мысли о смерти удручают в стихах Цветаевой. «К одному возвращаюсь опять: навсегда умереть!»; «я сколько раз хотела жить и сколько — умереть!»; «знаю, умру

на заре»; «выдышаться в смерть» и т.д. Кому-то из поклонников поэтессы могут «услаждать» слух даже и эти ее стихи о смерти («очень даже красиво!»), но самой-то Цветаевой было не до игры в смерть, она знала, что писала. Вот из ее стихотворения 1909 года: «Дай мне смерть в семнадцать лет». И это не было тогда просто стихом: сестра поэтессы Анастасия Цветаева в своих «Воспоминаниях» рассказывает, как Марина еще в семнадцать лет пыталась покончить с собою, оставив записку с такими, между прочим, жуткими словами: «Только бы не оборвалась веревка! А то — недовеситься — гадость, правда?» И впоследствии мысль о самоубийстве не покидала Цветаеву. В тех же «Воспоминаниях» Анастасии Цветаевой говорится: «Она сама в 1934 году задумывала уйти из жизни, но ее удерживал сын. «Мне все эти дни хочется написать свое завещание, — писала она А. Тесковой из Ванов, 21 ноября 1934 года. — Мне вообще хотелось бы не быть. Иду с Муром (сыном. — *М. Л.*) или без Мура, в школу или за молоком, — и изнутри, сами собой — слова завещания». В 1940 году она запишет: «Я уже год примеряю смерть».

Приходится цитировать эти тяжелые слова Марины Цветаевой, чтобы видно было, что жило в ней помимо писания стихов (да еще крайне сложные взаимоотношения с сыном в конце жизни, приведшие ее, в итоге, к самоубийству 31 августа 1941 года). И эта многолетняя, пожизненная мысль о смерти, эта душевная подавленность не могли не сказаться на ее поэзии. Одиночество, «мне все равно», чего бы это ни касалось, неуживчивость нигде, ни в какой среде, несчастное свойство вносить повсюду «оппозицию» ко всему, сама ее судьба не могут не вызвать сожаления и сочувствия. Но не жестоко ли по отношению к ней самой, к ее памяти делать из нее монумент, «каменного гостя», о котором она сама с таким презрением говорит в «Стихах к Пушкину»? Нелепо изломанную, больную женщину, которая не в силах была подняться над «каторгой» жизни (и погибла) делать ныне знаменосцем русской поэзии, о несообразности чего она сама могла бы сказать собственными стихами, по-женски правдивыми:

Что, если б знамя мне доверил полк
И вдруг бы ты предстал пред глазами —
С другим в руке — окаменев как столб,
Моя рука бы выпустила знамя...

Но, видно, поклонникам выгодно делать из Цветаевой «знаменосца»... И тайна сего не так уж велика есть; обычная фабрикация популярности нужного имени в нужных целях, отнюдь, конечно, не возвышающих духовно читателя.

Очевидным стало смешение понятий, ценностей истинных и ложных в литературе. Как-то знакомый писатель показывал мне геометрическую фигуру: смотришь — изображение вроде бы одно, а сдвинь буквально на один градус — прямо противоположное. Так у нас и в литературе, «чуть-чуть» смещаются акценты — и уже иной смысл. В последнее время любопытные метаморфозы происходят с этой чертовщиной в литературе. Проще говоря, модернизируется прежнее, то же самое, но на более «современном» уровне, с учетом «ситуации». Такую ловкость продемонстрировал А. Нуйкин в своей статье «Новое богоискательство и старые догмы» («Новый мир», 1987, № 4). Автор защищает Ч. Айтматова, Е. Евтушенко от критиковавших их пропагандистов атеизма И. Крывелева, С. Калтахчяна с их «уверенностью в неуязвимости обкатанных десятилетиями казенно-атеистических формул» (не будем здесь говорить о «критикуемых», насколько они дают повод для этого). Верно то, что научный уровень аргументаций этих «философов»-пропагандистов столь низок (не говоря уже о крайней серости, убогости языка), «догматический атеизм» их столь примитивен в современных условиях, что ждать каких-то действенных результатов от этих «борцов» за «человеческое счастье» больше уже не приходится. Свое дело они сделали (делали его многие десятилетия на одном и том же плакатно-воинствующем уровне), теперь ветеранам пора и на заслуженный отдых и им требуется смена.

И вот в числе сменщиков — А. Нуйкин, «убежденный атеист» (по его собственным словам), решивший раскрити-

ковать «старые догмы» своих предшественников (тех самых ветеранов) и должным образом обновить их. Не желая повторять «догмы», он хочет иметь дело с «философской культурой» — «как раз то, из чего вырастает подлинный атеизм, без него атеизма нет». «Философская культура», судя по статье, это, конечно, знание «художников мифологического направления» (Т. Манн, Булгаков, Маркес, вплоть до Айтматова), понимание «мифа, фантазии, религиозного сюжета» у них, набор газетных примеров, касающихся изобилия на Западе колдунов, ведьм, сатанистов, заклинателей, факиров, ясновидцев, поклонников астрологии, дзэн-буддизма, йоги, тех, кто увлекается спиритическими сеансами, культом дионисийских радостей и т.д., и т.д. Этот «взлет нетрадиционных верований и мистицизма», по словам автора, «специфичен для сегодняшней ситуации» в мире, и будущее за ними, а не за «традиционной религией», которая, по замечанию автора, находится в глубоком кризисе. Специфична и «богоискательская линия» романа Айтматова «Плаха», где герой представлен чрезвычайно многословным моралистом-дилетантом, словно бы выступающим на каком-нибудь нынешнем международном симпозиуме на «актуальные темы» и почему-то названным Христом. В этом же контексте «философской культуры» — и заключительная часть статьи Нуйкина: «Но самый популярный и затемняющий наш интеллект — именно миф об абсолютно незаменимой вере в Бога в сферах человеческой духовности, прежде всего в сфере нравственности». Замечательно, как преобразуется само понятие о мифе, вернее, меняется отношение к нему: восхищение «художниками мифологического направления», просвещающими интеллект читателя, открывающими им новые духовные сферы, восхищение «мифом», «религиозными сюжетами» у них; и эти внезапные, вполне определенные только что приведенные другие слова о «мифе», «затемняющем наш интеллект». Здесь даже не градус, а доля градуса, вроде бы один и тот же «миф», а какие вдруг противоположные лики!

Так «диалектически тонко» (не то что дубовые догмы у Крывелева и иже с ним) выводит Нуйкин «подлинный

атеизм» из «философской культуры». И вся соль здесь в том, что сменил Крывелева не кто-то, не какой-нибудь тугодум, неповоротливый в новой «ситуации», а Нуйкин, из числа тех, кто на лету способен поймать в воздухе «дух перемены» и оказаться тем самым «первооткрывателем», указчиком новых дорог для слепорожденных. Но не только и даже не столько желание такого приоритета двигало автором статьи со столь смелым, без кавычек, заглавным выражением «Новое богоискательство». Он сам дает разъяснения на этот счет: «Прогноз же состоит в том, что нынешняя внешне относительно благополучная ситуация будет сохраняться недолго. Расширение гласности, откровенности печатного слова, демократии вообще могут вызвать всплеск самых неожиданных проявлений религиозности и мистицизма в нашей художественной культуре...» И, предвидя этот «всплеск», критик заранее хочет найти «выход» для него, и этот выход — в пропагандируемой им «философской культуре» с ее духовной всеядностью — от йогов, сатанистов, «нетрадиционных верований» до «мифологических романов». Особенно это современно сейчас, накануне тысячелетия Крещения Руси.

Отдавая должное предвидению Нуйкина, хотел бы заметить: чтобы прогнозировать будущее, надо знать прошлое. Для нас, русских, прошлое — это не культурная дань истории, а наше насущное, наше настоящее, наше будущее. Если даже взять и одну литературу, историю ее — то и здесь затронь только нерв — и уже будет не до литературы. Вышедшая недавно книга «О Русь, взмахни крылами... Поэты есенинского круга» впервые более чем за пятьдесят лет познакомила читателя (тираж книги — 10 тысяч экземпляров) с творчеством близких к Есенину поэтов: Н. Клюева, С. Клычкова, П. Орешина, А. Ширяевца, В. Наседкина, И. Приблудного, П. Карпова, П. Радимова, А. Ганина, П. Васильева. Примечательно, что об этих проникновенных русских поэтах ни слова не говорилось тридцать лет тому назад, то есть в то время, когда реабилитировались многие другие писатели, тогда же объявленные отправной точкой русской культуры (вспомним гвалт молодых физиков-теоретиков

в романе Гранина «Иду на грозу» вокруг Бабеля, Кольцова, Мандельштама, Цветаевой и других). Более полувека после их смерти тяготело над ними молчание, а при жизни — травля и неприкрытые угрозы. Передо мной книжка Осипа Бескина «Кулацкая художественная литература и оппортунистическая критика» (изданная в 1930 году). Начинает автор так: «Она еще доживает свой век — старая, кондовая Русь с ларцами, сундуками, иконами, лампадным маслом, с ватрушками, шаньгами по "престольным" праздникам, с обязательными тараканами, с запечным медлительным распаренным развратом, с изуверской верой... В современной поэзии наиболее сильными представителями такого "россиянства" являются Клычков, Клюев и Орешин (Есенин — в прошлом)». Далее говорится: «В творчестве анализируемых писателей мы обнаруживаем целую гамму оттенков выражения этой лютой классовой ненависти к современности...» «Мне уже приходилось попутно отмечать, что всему тому, что с пеной у рта, с оскаленными клыками поносят кулацкие писатели, они противопоставляют девственную нетронутую природу...» О Сергее Клычкове: «клычковское мракобесие», «бард кулацко-"столыпинской" России», «озверевший на современность интеллектуальный выразитель кулачества» и т.д. Такими же эпитетами клеймятся и все другие поэты есенинского круга. Осип Бескин обвиняет их в «неославянофильстве», «русопятстве», «россиянстве» и т.д. на том лишь основании, что у них, говоря словами Есенина, было «чувство Родины» и они не могли вытравить в себе это чувство. Даже любовь их к родной земле, к природе засчитывалась им как классовое преступление. И в то же время — такой поощряемый критикой «феномен» тогдашней поэзии, как Мариенгоф, которому было наплевать на «чувство Родины» и который не удовольствовался скандальными выходками со своим «имажинизмом», но и звал к «массовому террору» (см.: С. А. Есенин в воспоминаниях современников. М.: Художественная литература, 1986. Т. 1. С. 469). И все это «забывается», как якобы не относящееся к славной истории советской литературы, хотя отнюдь не забываются критикой

сами имена этих сверхлитературных воителей. Книга поэтов есенинского круга не только открывает читателю богатство истинных поэтических талантов, но и потрясает трагической судьбой каждого из них, погибших в тридцатые годы (не вследствие ли морально подготовленного бескиными-мариенгофами террора?). Судьба этих поэтов, которые разделили судьбу своего народа, многое освещает в литературе и делает понятным истинное положение в ней. И мы будем слепцами, не достойными доверия народа, если забудем прошлое, в том числе и прошлое литературы, тем более что оно живо и в настоящем.

Так что прогнозы — прогнозами, а история — историей, и все труднее ее будет заменять «литературными вариантами».

ЧЕЛНОЧНЫЕ ПЕРЕСТРОЙЩИКИ

(отрывок из статьи «Пути преображения»)

...«Огонек» (1988, № 52) вставил даже в заголовок это слово: «Провинциальные анекдоты. О ”рязанском десанте” Петра III и чистоте крове». «Чистота крови» — взята из присланного в «Огонок» будто бы «письма читателя», а на самом деле — из статьи в краснодарской университетской газете «По заветам Ленина», написанной журналисткой Е. Крыловой по поводу моей беседы в альманахе «Кубань» (1988, № 9). На основании того, что в моей беседе названы несколько еврейских фамилий, известных преступлениями против народа, эта журналистка объявила, что мне не дает покоя «идея чистоты крови». «Огонек» с удовольствием перепечатала этот «жареный» «читательский отклик». Но ведь в той же университетской газете в другой статье говорится совершенно противоположное. Выпускник Кубанского университета В. Терский, отвечая упомянутой журналистке, пишет: «...в интервью нет и следа ”идеи чистоты крови”, якобы не дающей Лобанову спать ночами. И лучше всего на это обвинение отвечает он сам в своей последней книге ”Страницы памятного”, где резко критикует ”идею крови”

и говорит, что русской культуре она глубоко чужда, что величие русской культуры в том, что она "вбирала, сплачивала вокруг себя имена не по биологическим кровным признакам, а по духовным". Зачем же потребовалось Е. Крыловой вообще вводить эту идею в статью? А затем, чтобы обвинить Лобанова в приверженности к ней, то есть в расизме... в антисемитизме». То же самое делает «Огонек», размножая это обвинение уже в миллионах экземпляров. Закона для этого журнала нет, да и что значит закон для тех, у кого нет никаких моральных препон. А ведь кого буквально преследует идея чистоты крови, так это политиканствующих авторов «Огонька» и их единомышленников из других изданий. Такое впечатление, что это работники особой лаборатории по анализу крови. Вот и критик Игорь Виноградов не может обойтись без этих возбуждающих словечек: «кровяное национальное начало», «признак крови».

...В свое время русско-еврейские отношения обсуждались на духовно-культурном уровне. Бердяев видел нечто общее в катастрофичности исторических судеб еврейского и русского народов, теперь мы видим, что наша катастрофичность усугубилась не без сионистского участия. Василия Розанова считали антисемитом, но он же видел также нечто близкое, как он говорил, родственное в русской и еврейской душе, может быть, потому видел, что сам предпочитал новозаветному аскетизму ветхозаветно понимаемую плодовитость. Иван Аксаков считал иудаизм архаичностью, выпавшей из исторического потока мировой христианской эры. Есть «Еврейский вопрос» Достоевского. С другой стороны — такой факт, когда Владимир Соловьев перед смертью молился за евреев и т.д. и т.д. То есть был двусторонний диалог. Теперь обсуждение этого острейшего вопроса монополизировано одной стороной с обвинениями и оскорблениями русских. Всякая попытка отстоять свое национальное достоинство квалифицируется как русский шовинизм, фашизм. Почерк хорошо знакомый по прошлому.

У нас откровенный разговор о евреях, с евреями принимается чуть ли не как жертвенность, как готовность постра-

дать, чуть ли не умереть за истину. Но зачем это паническое геройство. Сами евреи люди умные: они прекрасно понимают, что к чему. Они не глупцы, чтобы видеть антисемитизм там, где его нет и где есть озабоченность глубокими вещами. Они сами даже могут подсказать нам видеть то, что мы сами не предполагаем видеть. Вот, например, Танкред Голенпольский, кандидат философских наук, пишет в газете «Советская культура» (1988, 15 окт.): «...ибо антисемитом может быть и еврей, спешащий сменить свою фамилию, свое отчество, свою национальность. Я знаю, что найдутся желающие их оправдать, но я убежден: человек, способный предать своего отца, может пойти и на более страшное предательство для спасения своей шкуры». У меня как-то рука не поднималась, да и теперь не поднимается называть антисемитом, например, ну хотя бы Буртина Юрия Гиршовича, именуемого в «огоньковской» книжке «Возможность возразить» Юрием Григорьевичем... Бог с ним, и не то было у нас, когда отказываться от отцов считалось высшим классовым геройством. Но и Голенпольского я хочу понять: почему его так возмущает человек, сменивший свое отчество, почему он видит в этом человеке возможность «страшного предательства для спасения своей шкуры».

...Наше прошлое богато и славным, и, увы, бесславным. Мы, русские, предпочитаем по обыкновению говорить о первом, но не следует нам забывать и о втором, хотя это и менее приятно. Не следует забывать, например, об историческом уроке, который преподнес нам Лжедмитрий II. Это был самозванец особый не то что Лжедмитрий I — отважный, открытый авантюрист с великодушными порывами, наверное, искренне убежденный в своем царственном происхождении. У Лжедмитрия II была цель не только честолюбивая. Русский престол ему нужен был для целей более далеких. Как считают некоторые историки, Лжедмитрий II, не расстававшийся с Талмудом, раввинскими книгами, рассчитывал повернуть Россию против турок, отобрать у них Палестину, создать там собственное государство. Самозванец обосновался в подмосковном Тушине. Сюда, в этот стан, превра-

тившийся в город, в столицу Лжедмитрия II, перелетели (этих перебежчиков называли перелетами) из Москвы, из окрестных земель дворяне, бояре, дети боярские, торговые люди, подьячие, даже стольники. Патриарх слал в Тушино грамоты, укорял бывших православных христиан всякого чина, «теперь уже не ведаем, как вас и назвать», но даже и это не возымело действия. Тушинский вор не знал недостатка в «перелетах». И когда историк Устрялов восклицал: «Поверит ли потомство? — несколько сот тысяч россиян с боярами и князьями предались иудею — вору тушинскому!» — то в этом факте можно видеть феномен не только национальной измены, но и слепоты.

И вот мы, вспоминая то далекое время, готовы обличать, проклинать Лжедмитрия II и не задумываемся над тем, что торжество тушинского вора и стало возможным потому, что ему предались «несколько сот тысяч россиян» (ужасная цифра для того времени), что только благодаря этим изменникам и мог он утвердиться на русском престоле, что только все своекорыстное, холуйское, предавшее веру, заветы отцов и дедов, только моральная эта гниль и могла быть питательной почвой для самозванца. Пора нам так и читать свою историю: не только проклиная врагов России, но и вопрошая себя: почему так случилось? С целью самопознания, если хотите — национальной самокритики — и должны мы сейчас изучать свою историю.

...Мне вспоминается рассказ о Троцком ныне покойного писателя Николая Павловича Смирнова — автора книги о Левитане, охотничьих рассказов. В двадцатых годах Троцкий написал предисловие к его книге, стал высоким покровителем «молодого друга». Однажды он пригласил «молодого друга» на охоту в Подмосковье, и тот ночевал у него в Архангельском. «Лежу я ночью в своей комнате, — говорил мне как-то Николай Павлович, — слышу, Лев Давидович мимо моей двери проходит на цыпочках (чтобы не разбудить гостя)». Не знаю, как рассказчику, а мне было жутко от Троцкого «на цыпочках». Таким вот, «на цыпочках», эдаким деликатным Львом Давидовичем, проходит по страницам

нашей прессы вдохновитель и организатор массовых расстрелов и репрессий.

И еще вспомнился один сюжет. Попался мне как-то на глаза номер журнала «Огонек» двадцатых годов. Фотография: сидит плотный, массивный Демьян Бедный, на коленях у него маленький, как кукла, Карл Радек в сапогах выше колен, с разъедающе умной улыбкой. Демьян-то, видно, думает, что вот он, какой богатырь русский, натура широкая, качает на коленях Карлушку, и не догадывается этот богатырь, что сам сидит в «кармане» у маленького Радека. И ведь сколько таких профанов, сидящих в подобных «карманах»!

Копенкин в платоновском «Чевенгуре» за Розу Люксембург готов был всех «косить как бурьян». Единственное, над чем способен трезво задуматься этот мужик в отношении обоготворяемой им «Красной Розы», — это следующее: «А как ты думаешь, — спросил Копенкин, — был товарищ Либкнехт для Розы что мужик для женщины, или мне это только думается?» И вот этот «международный революционер» Роза, не имевшая понятия о реальной России, — путеводная звезда для копенкиных. И как мы глухи к голосу лучших людей своего Отечества, величайших сынов России, тайновидцев ее духа! Достоевский предупреждал, чем может кончиться отрыв интеллигенции от народа, какой катастрофой. Не вняли умники, и только вышвырнутые из своей страны после революции, может быть, кое-что поняли.

...Сейчас, уже на пятом году объявленной «перестройки» идут бесконечные разговоры о том, что надо делать, что предпринимать, как лучше работать и т.д. На фоне этих, часто уездных споров своей мировой глобальностью выделяется опубликованный в «Огоньке» (1988. № 50) «круглый стол» с участием американских и советских советологов. Встреча эта была проведена по инициативе «Огонька» и американского журнала «Совьет экономи». Беседа озаглавлена «Перестройка: кто против? Взгляд с двух берегов океана». В предисловии конкретизируется, о чем шла речь: «какое соотношение сил», «кто или что мешает движению советско-

го общества по пути перестройки», «что необходимо предпринять, чтобы это движение обрело черты необратимости». Выражается «обоюдное беспокойство за исход дела, начатого в апреле 1985 года». Советская группа представлена академиком Андреем Сахаровым, экономистом-беллетристом Шмелевым, драматургом Гельманом и т.д. Со стороны «другого берега» — бизнесмен, экономист, советолог, политолог и т.д. Фотографии тех и других... Играя слегка в дискуссию, участники застолья не считают нужным скрывать того, что их так роднит. Говорят те и другие на одном и том же «перестроечном» языке. Как если бы это были не «Огонек» и «Совьет экономи», а «Огонек» и «Московские новости», «Огонек» и «Знамя» (кстати, один из заокеанских ораторов говорит о «диаметральных позициях «Молодой гвардии» и «Огонька», «Нашего современника» и «Московских новостей»).

«Обоюдное беспокойство» тех и других за «исход» перестройки понуждает их к энергичным совместным действиям. Вслед за «огоньковцами» их приезжие друзья требуют принятия срочных мер. По словам советолога Коэна, «для руководителей перестройки (!) весьма важным было бы установить твердую, прочную связь со сторонниками радикальной перестройки на нижних уровнях партии и общества». Тот же Коэн хочет знать мнение «своих советских друзей»: готовы ли в СССР к «радикальному разгосударствлению» (что-то уж очень смахивает на «расказачивание», «раскрестьянивание» Троцкого)? Гельман (от «Огонька») в связи с перестройкой бросает нешуточный призыв: «Перестройку следует рассматривать в общемировом контексте... И в этой связи одно предложение. Мне думается, что было бы очень хорошо, если бы демократические силы, допустим, Соединенных Штатов Америки и Советского Союза совместно выступали против антидемократических сил и здесь, и у вас в стране. На днях на Пушкинской площади долго и внимательно слушал я несколько человек из общества "Память"...»

Здесь следует вопрос Винстона, президента компании «Виктор Винстон и сыновья»: «Их не разгоняли?» Гельман

отвечает: «Нет, никто не разгонял. Но ясно, что такая вспышка антисемитизма, как у нас, должна встретить объединенный протест».

Много увидено за «круглым столом» угроз для перестройки, вроде того, о чем с возмущением поведал кандидат исторических наук Баткин. Ему стало известно, что один безвестный офицер запретил читать солдату пьесу Шатрова «Дальше... дальше... дальше!» Разве не опасны такие «настроения в армии»? И о чем бы ни говорилось — все тот же допрос: кто против? Ну точь-в-точь как то недавнее письмо Бакланова, Гельмана, Гранина и других Генеральному секретарю ЦК КПСС М. С. Горбачеву (Московские новости. 1989. 1 янв.) прямо-таки с требованием принять «строгие» меры против «врагов перестройки». Начать же, видимо, надо с наказания тех пяти тысяч делегатов недавней партконференции, которые сгоняли с трибуны политиканствующего Бакланова. За перестроечное же мерило взять, конечно же, проявленное Баклановым мужество в солидарности с провокатором Норинским.

Поразительна забота заокеанского советолога о процветании нашей страны: «Некоторые полагают, что если Горбачев победит, то в СССР восторжествует капитализм и Советский Союз станет таким же мощным экономическим соперником США, как и Япония». Может уже не удивлять некоторая сценарность «диалогов» здешних ораторов с заокеанскими коллегами. Мне вспоминается один случай во время передачи телемоста Москва-Вашингтон: это было, кажется, в середине 1988 года. Вели диалог советские и американские «парламентеры». Ведущими были с нашей стороны — Леонид, с «ихней» — Питер. Они так и называли себя «по-американски», по имени — Леонид, Питер. И вот наш Леонид, который оперативно пресекал бесцеремонных сенаторов, ловко парировал выходки Питера, бросает сидящему рядом советскому парламентеру Арбатову: «Господин сенатор». Тут же, спохватившись, поправился. Заигрались ребята.

Но здесь, за «круглым столом» в «Огоньке», очень уж разыгрались. Так, что забыли: все-таки не в Америке они,

а в другой стране, пусть и «одной из самых консервативных стран мира», как выразился, на этой встрече советолог Коэн. Довольно нагловато выглядит «обоюдное беспокойство» застольных друзей о перестройке, их ретивость просвещать дикарей. Следовало бы собеседникам потрезвее посмотреть на себя со стороны. Не похоже ли это на то, как если бы приехавшие в США члены упомянутой выше «Памяти» в содружестве с местными «правыми» принялись рядить да судить о тамошних порядках, выяснять: кто виноват?! Представляю, как реагировали бы на это тамошние «друзья перестройки».

Вообще недостатка нет в заезжих советчиках, всякого рода экспертах по перестройке. К нам едут наши спасители из числа тех, кого еще недавно журили как диссидентов. Правда, спасительная их миссия вполне уживается с «иметь выгоду». Клянясь в любви к перестройке, они тут же приступают к делу. Интервью с неким Эфраимом Джоэл Севела газета «Московский комсомолец» (1989. 19 янв.) назвала трогательно — «Ностальгия». Сам Севела, эмигрировавший из Советского Союза семнадцать лет тому назад, сваливает вину за свой выезд (как и все эмигранты «третьей волны») на «застой». То что он, свой человек для нашей страны, страдает тяжко за наши безобразия, свидетельствует такая его патриотическая рана: в связи с перестройкой некоторые эмигранты хотели бы вернуться в Советский Союз, но «даже за доллары кооператив может дать жилплощадь не раньше, чем через три года. Не то что американская система: платишь вступительный взнос и вселяешься в тот же день. И вот из-за нашего (?!) элементарного головотяпства эти люди через три-четыре месяца рванули обратно, пока еще действовал американский паспорт».

По словам Эфраима Джоэл Севела, эмигранты в большинстве своем воспринимают перестройку «взволнованно и с большими упованиями. Стало возможным ездить в СССР, общаться». Сам он, по его словам, живя в СССР, не был даже членом Союза писателей, а там, в Америке, выпустил сатирическую повесть, рассказы. «Вероятно, в одном из

ближайших номеров "Нового мира" появятся четыре рассказа из моей книги "Попугай, говорящий на идише"». В Москве он занят «устройством своих литературных и кинематографических дел».

Кинорежиссер Андрей Михалков-Кончаловский в беседе «Остаюсь советским» (Огонек. 1988. № 51) признается, что никто его не знает в США, где он прожил много лет, фильмы его не имели там никакого успеха. Теперь он приехал в СССР из-за рубежа, где живет, добиваться, «чтобы эти картины были куплены и советский зритель их увидел. Я слышал, что такие возможности имеются». И добьется своего. Чего там негоже, у нас все сойдет. Найдется ли чиновник, который не устрашится обвинений в преследовании жертв «застоя»: сколько сейчас в прессе гвалта вокруг них, требований наградить их, еще более исступленных требований наказать мнимых виновников того, что эти молодцы, употребляя выражение вышеупомянутого эмигранта, «рванули» туда, где им лучше. Этим беглецам задаются с подмигиванием вопросы: готовы ли они вернуться на Родину? Хорошо сказал недавно парижский корреспондент «Правды» об этих «ностальгийцах» из «третьей волны» эмиграции: приснись им, что они вернулись в Советский Союз, они проснутся в холодном поту. Хотя это не мешает им рекламировать себя: «остаюсь советским», «там мы считаемся красными» и т.д.

Но, конечно, цель приезда «жертв застоя» не сводится только к «иметь выгоду». Есть дела поважнее. И здесь голоса их сливаются в единый хор. Страдающий «ностальгией» Эфраим Севела по прибытии в СССР сразу же дал волю возмущению «антисемитизмом», «великодержавным чванством». Недавно в Москву приезжали Андрей Синявский и его жена Мария Розанова, редактор издающегося в Париже журнала «Синтаксис». С Андреем Синявским мы учились на одном курсе в Московском университете, у меня нет каких-либо недобрых чувств к нему. Он пострадал за издание книг за рубежом (хотя тому же Рою Медведеву это почему-то не вменялось в вину), провел шесть лет в заключении,

уехал за границу лет пятнадцать тому назад. Нельзя не сочувствовать ему. И достойно сожаления, что все пережитое не стало мудростью его опыта.

Было удивительно уже то, что на новом местожительстве в Париже он вскоре же печатно бросил обвинение «России — суке», что она «еще ответит» за «вышвырнутых» евреев-эмигрантов. Но ведь «третья волна» — это не первая эмиграция, которая действительно была «вышвырнута» из страны, а кто остался — того ждала «вышка». «Третья волна», все эти шумные диссиденты выехали вполне добровольно, убежденные, что родина там, где лучше. Зачем же винить в этом Россию? И вот теперь, читая интервью Андрея Синявского «Там мы считаемся красными...» (Книжное обозрение. 1989. 13 янв.), дивишься не столько мелколитературным счетам автора со старой «консервативной» эмиграцией, разъяснению своего открытия о «тонких эротических ножках» Пушкина, на которых он «вбежал в русскую литературу», сколько тому, что «искусство выше, важнее жизни» и т.д. Что-то эстетско-болезненное в этих «мыслях врасплох». Нет той духовной точки опоры, которая чувствовалась в давней статье Синявского о Пастернаке, в предисловии к сборнику его стихов.

Но еще более дивишься другому. После пятнадцатилетнего отсутствия в стране Андрей Донатович не находит сказать ничего другого, как объявить наибольшей опасностью для перестройки русский национализм, уверить, что «от объявления каких-либо групп населения русофобами до ярлыка "враг народа" один шаг». Откуда автор взял, что «русофоб» у нас близко ярлыку «враг народа»? Наоборот, русофобство в прошлом официально процветало, особенно в 20-х годах, да и сейчас не в загоне. Вот кого объявляли «антисемитом», так это действительно означало «враг народа». Антисемитизм у нас сразу после 1917 года был объявлен вне закона. В 30-х годах Сталин подтвердил действие этого декрета. И поныне он не отменен. Так что достаточно тому же Гельману услышать что-нибудь подозрительное, по его мнению, на Пушкинской площади — и он может объявить неугодного ему вне

закона. В 20-х годах это было обычным делом. Я не сторонник отмены этого закона, но он правомерен только в том случае, если будет введен закон против русофобии, которая сейчас становится социально опасной.

В том же интервью Мария Розанова с женской непосредственностью говорит: «Я не люблю границ, ни государственных, ни каких-либо иных». Но в оценке народов у нее есть границы. Так, виноватыми во всех бедах в нашей стране, по ее словам, являются только русские.

Вот эту мысль — виноваты во всех бедах только русские — и спешат высказать приезжие перестройщики. Это своего рода визитная карточка их благонадежности. Кинорежиссер Андрей Михалков-Кончаловский вещает: «Вот это свойственно русскому человеку — сваливать вину на тех, кто обладает властью. И очень часто находят «козла отпущения». Вот сейчас то, что происходит, сваливают на Сталина и Брежнева. А я задаю себе вопрос: где же были русские-то люди? Где была нация, чем она занималась? Кто голосовал? Кто "стучал"? Кто расстреливал? Евреи? Иностранцы?»

Кинорежиссер «остаюсь советским» в своих заграничных вояжах так подзабыл новую семидесятилетнюю отечественную историю, что считает, видимо, за русских — «кто расстреливал» — и первейшего народного комиссара, первого же, так сказать, архитектора повсеместных концентрационных лагерей в стране Троцкого, и кровавого вдохновителя терроров Зиновьева, и инициатора неслыханного по жестокости поголовного истребления казачества на Дону Свердлова, и палача кубанских крестьян во время коллективизации Кагановича, и обоих Френкелей — того, кто зверствовал на Дону в качестве главаря Донбюро, и его однофамильца — одного из начальников Беломорканала, построенного на костях неисчислимых жертв. И наркома Ягоду, главных следователей его зловещего НКВД, начальников ГУЛАГа. А если ближе к «культуре» — то можно вспомнить и легионы идеологических, политических судей типа рапповца Авербаха, передававших прямо в руки следователей с обязательной «вышкой» тех, кого они объявляли «мужиковствующими»,

«врагами пролетарской культуры», «врагами пролетариата» и т.д. Ведь и сейчас у многих чешутся руки по такого рода занятиям, ведь и клеймо готово: «враг перестройки», «контрреволюционер» (поскольку «перестройка — это революция») и т.д. Увы, время другое, и клеймо уже не так срабатывает.

Сюда и обратно туда, в нашу страну и опять за границу снуют эмигранты «третьей волны», эти челночные перестройщики, «красные», «советские», как именуют себя эти обличители зловредности русского народа. Здесь навстречу им протягивают руки такие газетно-журнальные выдвиженцы перестройки, как Овруцкий, Клямкин, пробужденный баклановским «Знаменем» Волкогонов, и другие, которые считают «патриархальный» русский народ причиной культа личности, всех злодейств в стране.

Перед невиданной нашей исторической трагедией, казалось бы, великий грех «счеты сводить».

Во многом, конечно, виноваты русские. В «эшелоне власти», опьяненные сознанием: кто был ничем, тот станет всем. Бездумным исполнением чуждой воли, вроде таких, как шолоховский Мишка Кошевой, по наущению Штокмана видящий главного врага в своем бывшем друге и родственнике Григории Мелехове, озверевший в своей «классовой ненависти». Виноват во многом, конечно, русский народ, помимо всего другого и в том, что поддался искусу «земного рая». За это он беспримерно жестоко расплачивается до сих пор. Но настало время снимать ореол и с «еврейской революционности», пора говорить правду и о деятелях типа вышеназванных, об их роли в геноциде народа. Нельзя их вину перекладывать на русский народ, как бы ни модно ныне обвинять именно его. Историческая ясность должна быть во всем, не для нагнетания страстей, а для уяснения уроков прошлого, их актуальности.

* * *

Что сейчас главное? Осознание наших реальных духовных, нравственных возможностей. Осознание места в контек-

сте исторического, тысячелетнего бытия народа. Празднование тысячелетия крещения Руси показало, сколь животворно коренящееся в народе объединяющее начало. Кому привелось быть на празднике в Новгороде в мае 1988 года, тому не забыть волнующего духовного единения людей, народного ликования на улицах и площадях города, массового шествия по вибрировавшему мосту через реку Волхов к Софийскому собору, где прошло торжественное богослужение. Непривычно было видеть рядом с иерархами ответственных аппаратных работников из Москвы, провозглашавших на своем языке многая лета исторической дате. Да и пора, наконец, прийти в разум. То, чем жил духовно народ веками и веками и что подавлялось в новое время, кажется, выходит из-под спуда. Становится потребностью общественной, которую уже трудно замалчивать.

Некоторые считают, что в критике, литературе происходят сейчас мелкотравчатые стычки, схватки амбиций. Это есть, но не это главное. За этими спорами стоят духовно-нравственные, острейшие национальные проблемы. Борьба приобретает мировое значение. И кто не понимает этого, тот слепец. Даже если он и сам лечит слепых. Вот, например, что выявилось в недавней, в конце января 1989 года, телепередаче «Позиция». Тема «круглого стола» была «Интеллигенция и перестройка». Единственно четкой «позицией» в этом полуторачасовом «трепе» было кредо известного хирурга-глазника С. Н. Федорова. Он вступился за Коротича, главного редактора «Огонька», где он, С. Н. Федоров, состоит членом редколлегии. Логика его защиты была такова: видите ли, Коротича обвиняют, что он раньше, в годы «застоя», хвалил Брежнева, а сейчас ругает. А кто не хвалил? Все хвалили в свое время и Хрущева, и Брежнева, и всех других. А теперь ругают за это же Коротича. Подумаешь, какие честняги. Так и было сказано: «честняги». Ничего не значит для уважаемого ученого и то, что его подзащитный откровенно лжет, уверяя в своем «Огоньке», что это не он писал о Брежневе, а кто-то другой выдавал за его фамилией эти оды.

Выходит, по Федорову, что не было честных людей, все врали, все хвалили. Такова «позиция» современного интеллигента: все врут, и мы врем, все хвалят, скажем, перестройку, и мы хвалим. Далеко же мы уйдем с такой моралью.

Издревле стоял наш народ на правде: «Не в силе Бог, а в правде». Неужели нам нечего выбрать из своей тысячелетней истории, выбрать подлинные ценности, а не кланяться вместо отвергнутых преступников другим? Неужели неимоверные жертвы нашего народа принесены лишь на то, чтобы по «новому кругу» пошла перетасовка сфабрикованных идолов, «отцов-основателей» нынешних эмигрантов-челночников?! И неужели только с этой перетасовкой связаны «исторические сдвиги», как определил главный редактор «Московских новостей» Егор Яковлев «реабилитацию Зиновьева и Каменева».

Естественно было бы, скажем, в ответ на наглые оскорбительные слова автора романа «Жизнь и судьба» Гроссмана о «русской душе, тысячелетней рабе» сказать что-нибудь равноценное о «еврейской душе». Но я знаю, что это значит, как понизится сам духовный уровень моего самосознания, когда я опущусь до этого. Знаю то, что историю «еврейской души» нельзя сводить к сионистскому товарищу нагану. Были пророки, патриархи, был Предтеча, были апостолы, были дохристианские евреи, были евреи, побиваемые камнями евреями же. Все это совершенно очевидно. Но для меня сейчас важнее другое. Как же жить? Око за око? Даже сто, тысячу око за одно око? Или же как-то разумнее, не так слепо?

В свое время после революции, в 20-х годах, среди русских философов-эмигрантов в Париже разгорелся спор. Иван Ильин, ожесточенный всем тем, что произошло после революции, выдвинул тезис: христианство допускает возможность самозащиты с помощью щита, силы. Либеральный Бердяев возражал ему, держался традиционной христианской этики, не отвечать злом на зло. Но спор этот и не мог закончиться мирно. Слишком мир наш, весь двадцатый век переполнен деятельным злом, чтобы не противиться ему. Но как, какими средствами противиться? В нынешней литерату-

ре улавливается этот нерв «современного сознания», бьется он и в «Печальном детективе» Астафьева. Ощущается и в «Любостае» Личутина, сквозь языческие бытовые напластования. Открыто заявляет о себе в публицистике Распутина. И особенно обнаженно дает о себе знать в романе Белова «Все впереди». Романе, где художественность отдана в жертву злой идее. Там, кажется, есть слово «меч», есть фраза: око за око. Но не только фраза. Русское и еврейское там поставлены в отношения, которые вызвали у одной дамы-сочинительницы вскрик об авторе-«человеконенавистнике». Это, конечно, чепуха. Такой писатель, как Белов, вошедший в литературу с этическим чувством народной жизни, не может быть «человеконенавистником». В принципе. Но есть другое — сопротивление. Сознание смертельной опасности. И когда этическое по своей природе становится «злым» — это признак не частного порядка. Допекло. И даже не столько кого-то лично. Но сила наша, русская, все-таки не в этом: око за око.

Нас хотели бы вызвать на это: око за око, а там и за одно око — сто, тысячу, ненависть ненасытна. Должны мы хорошо помнить и то, что больше всего вызывает ненависть — наша русскость. Осознать это, стать русским — не по паспорту только, а по духовно-исторической своей тысячелетней родословной — вот единственный путь к возрождению. Этим мы не только никому не грозим, но, наоборот, этим только внесем в отношения с другими народами мощь примирительного начала, столь исторически характерного для нашего народа и известного миру.

Не будем преувеличивать роли литературы в жизни народа, тем более в выводе его из кризисного состояния, но кое-что, пусть малое, литература все же может сделать. Прежде всего, повысить свой духовный уровень, качество мышления. Это не пройдет бесследно и для читателей.

Вспомним, что произошло в 60-х годах в литературе с появлением «деревенской прозы». До нее, за малым исключением, было полное торжество безликой, как бы переводной по языку прозы. Но вот появились, стали известны

книги Астафьева, Белова, Носова, позднее Распутина, и случилось нечто необратимое. Скажем, тот же Симонов после Астафьева оставался вроде бы тем же знаменитым писателем, но уже и не тем. Появилось новое качество прозы, тип именно русского художественного мышления, и это уже нельзя было отменить, это нельзя было перешагнуть. После этого национального явления нельзя было выдавать за ценности интернационалистский суррогат.

Теперь, когда нам угрожает полная культурная денационализация, в искусстве для нас нет задачи более важной, чем восстановление русского типа мышления, особенно в литературе, где плотью духа выступает слово.

Кристаллизация духовного слоя, создание хотя бы пока духовного микроклимата. Тогда в этой духовной атмосфере отпадет все чужеродное, отвалится как ветхая штукатурка. Все станет на свои места. Я имею в виду духовную объемность, вбирающую в себя содержательность историческую, наше тысячелетнее духовное культурное наследие. Когда ориентация, какая там духовная, — хотя бы только социальная, общественная — не уходит дальше хрущевских времен, оттуда только и начинается точка отсчета, начало всех начал для России — то какой исторической, духовной содержательности можно ждать от такого автора, от такого исторического недоросля.

А ведь таковы сейчас наши расхожие критики-публицисты с их мыслью-однодневкой, языком-коротышкой, с их амбицией всех поучать и вести к демократии и прогрессу. Хорошо, что сейчас среди молодых литераторов очевидно тяготение к духовной культуре. Здесь, конечно, много званных, но мало избранных. Больше понимания духовности, чем самой ее. Иной все знает, отличит блаженного от святого, расскажет вам все подробности о великих подвижниках, но у самого-то есть ли хотя бы самая малая готовность стать ну хотя бы литературным подвижником? Я навидался на своем литературном веку, как начинали героями многие молодые авторы, но при первом же нападении становились дезертирами, предателями идеи. В литературе остается итог жиз-

ни писателя. Остается Андрей Платонов. Время и благоприятное, и не легкое для молодых авторов. Им больше теперь дается, больше открывается тех же духовных возможностей. Но как при всякой большей доступности, есть опасность принять за творчество стилизованность, даже и духовную, имитацию, а не жизненное поведение. Может быть, важнее всего сейчас в литературе создание именно духовного климата, чувства духовной соборности у наших молодых авторов. Здесь и возможно соединение личного, индивидуального с народным.

Даже в азартных играх бывает трагедия «пиковой дамы» и бывает фарс ноздревского мошенничества на шашечной доске. Таким фарсом отмечена и игра наших специфических перестройщиков в «идеологические сдвиги», когда обманными ходами, на глазах у ошеломленного партнера дохлая шашка вдруг проводится в «дамки».

Игры будут продолжаться, но они уже бессильны перед непреложным фактом: в сознании миллионов вступает в права подлинная история России с ее традиционными духовно-нравственными заветами.

РЕВОЛЮЦИЯ: БОЛЕЗНЬ ИЛИ ИСЦЕЛЕНИЕ?
(круглый стол в газете «Московские новости»)

Общепризнанно: перестройке нет альтернативы, но варианты движения, конечно, имеются. Каковы они?

За «круглым столом» «МН» собрались люди с весьма различными взглядами. И это понятно — в стране идет полемика по коренным вопросам самоопределения общества через перестройку. Но различия прежде всего основание для диалога, а не повод для конфронтации.

В разговоре о положении в стране и путях обновления общества принимают участие: политолог Евгений Амбарцумов, публицист Лен Карпинский, критики и публицисты Вадим Кожинов и Михаил Лобанов, ученый и публицист Игорь Шафаревич.

Где лежит истина?

Карпинский: Попытаюсь вытянуть из клубка сложных проблем несколько нитей.

Во-первых, как мы понимаем цель преобразований, какими нам представляются берега того общества, к которому должен приплыть корабль перестройки? В поисках выхода из кризисной ситуации сегодняшнего дня, очевидно, необходимо решение этого общего вопроса. Во-вторых, как следует плыть по, допустим, верно намеченному курсу — всегда ли «на всех парусах» или осмотрительно маневрируя, где-то ускоряя ход, а где-то и притормаживая? Перестройка задумана как акт революционный в смысле фундаментальности преобразований. Но нужна ли радикальность также и в способах, формах осуществления реформ?

Существует заметный разброс позиций по поводу того, на какой исторической почве способно вырасти гуманное, процветающее общество. Часть авторов полагает, что «выход» найдем через «вход»: стоит в некоей машине времени отправиться в наше же прошлое, там и лежит «земля обетованная». Есть и другая позиция: никакого поиска не требуется; пока мы «гробили» социалистический идеал у себя дома, на Западе он был фактически реализован под другими названиями, и надо просто «стать Европой». Высказывается идея синтеза всего того, что достигнуто разными странами в разных общественных системах.

Как видите, диапазон возможного разговора чрезвычайно широк.

Шафаревич: Хочу сказать о том, что является вопросом нашего непосредственного будущего. Сумеем ли мы благополучно пережить перестройку или в результате перестройки разрушимся? Сложности и проблемы, травмирующие общество, нарастают, происходя уже не из застоя, а из перестройки, хотя и сама перестройка обусловлена застоем.

Обманчиво представление, будто прямо перед нами безоблачная перспектива: отвори дверь и входи. Необходим сложный переход, способный без разрушения имеющихся общественных форм выковать новые. Наиболее опасной была бы полная и мгновенная ликвидация сложившихся структур с ориентацией на их замещение западной моделью. Сейчас начинают выясняться реальные угрозы, которые при этом возникают. Например, появление резкого имущественного неравенства, возникновение наряду с безработицей крупных богатств, воспринимаемых народом как неоправданные и аморальные. Это конфликтная ситуация. Вот тут, мне кажется, западный опыт действительно поучителен.

На Западе нечто похожее было в начале промышленной революции. Хорошо известно, через какие противоречия она проходила: страшная система работных домов, где людей держали в заключении, фактически концлагеря. А с другой стороны — роскошные поместья, выезды, замки. С нынешней точки зрения, полный отказ от демократии, неограниченная власть богатых землевладельцев и промышленников над избирателями, возможность покупать места в парламенте. Грабежи, убийства происходили повсеместно. Прямой террор, жесточайшие репрессии, даже детей казнили. Народ был совершенно отстранен от средств информации, ни в какой мере не выступал субъектом политической деятельности.

Амбарцумов: Запад далеко не тот, каким он был в XIX веке или в начале XX, если судить, скажем, по романам Эптона Синклера. Современное западное общество стремится смягчить социальные антагонизмы, если хотите, даже из моральных соображений. Идти нам столетиями по пути Запада не нужно, потому что мы уже достигли другого уровня и при всех наших отставаниях являемся частью развитого мира.

Шафаревич: Я о другом — об объективных аналогиях. При возникновении социального неравенства и в наших условиях образуется взрывная масса, встает проблема обуз-

дания социальных антагонизмов. В таком случае удержать в руках страну можно будет только террором, на который, надеюсь, никто уже не пойдет. Поэтому единственный выход заключается, мне кажется, в оздоровлении существующей структуры. Но постепенно! Чтобы не образовался громадный массив выброшенных из жизни людей. К такой ориентации призвал и Солженицын.

Например, путь подъема деревни — не в реформе (который раз!), навязываемой сверху. Надо наконец дать крестьянам самим (в каждом регионе по-своему) решить, какую форму хозяйства выбрать. Они лучше увидят, что можно сохранить, а что надо менять.

Страшными являются национальные конфликты. Однако есть тенденция весьма легкого к ним отношения. Сахаров в интервью журналу «Огонек», например, предложил, чтобы каждая мелкая национальная единица имела статус, равносильный статусу союзной республики. И тогда, по его мнению, не было бы проблемы Нагорного Карабаха. А в газете «Ди Вельтвохе» он пишет, что считает идеалом для нашей страны Британское содружество наций, куда входят разделенные государства со своими армиями. Но для того же Карабаха это означало бы кровопролитную войну.

Социальные и национальные конфликты грозят разрастись в гоббсовскую «войну всех против всех», хаос. Единственное спасение видится мне в переносе центра тяжести с директивных, идущих сверху решений (которых требуют как «левые», так и «правые») на большую свободу районам и областям, то есть на реформы снизу.

Карпинский: Любопытно заметить, что сходная точка зрения активно выдвигается сегодня частью партийного аппарата. В имущественном расслоении, связанном с появлением рынка и самостоятельных товаропроизводителей, угрозой появления так называемых «совбуров» (советской буржуазии), в кознях кооператоров эти круги также видят источник всех современных зол. Они тоже предлагают

уважительно относиться к старым, проверенным структурам. Но имеем ли мы здесь вариант перестройки или уже вариант без перестройки?

Амбарцумов: Сейчас у многих складывается ощущение, что все разваливается, разваливаются и мировая социалистическая система, и реальный социализм.

Ощущение распада усугубляется нарастающей перепалкой в нашей интеллектуальной жизни. Причем выступающие друг против друга часто уже не думают, к чему это приведет. Видя эту довольно-таки мрачную картину, думаю, однако, что мы присутствуем в начале некоего синтеза подходов. Уже спала волна критики Сталина. Теперь стало понятно, что дело не только и даже не столько в нем. Нужно анализировать корни системы. Что такое социализм, на каких основах он строится? Это и вопрос о ценностных ориентациях. Надо искать путь к общественному консенсусу, исходя из общей ностальгии по моральным скрепам.

Новые «прокрустовы ложа»

Лобанов: Куда мы вообще придем — гипотетический вопрос. И ответ вряд ли доступен современным пророкам. Легче ответить, куда не надо идти. В этом нам может помочь наш исторический опыт.

Мне кажется, очень тревожное социальное явление в настоящее время — это активизация идеи новой революции. Помню, в свое время, когда я учился в Московском университете, у меня был знакомый однокурсник по имени Ревдит. Революционное дитя, имя в духе 20-х годов. Теперь заявили о себе новые «ревдиты». Точнее говоря, объявилась группа левых радикалов, которая не только в своих печатных выступлениях, но теперь уже и в действиях внедряет идею перманентной революции. Напомню, что в первом же своем выступлении на прошлом заседании Съезда народных депу-

татов академик Сахаров заявил: поскольку перестройка — это революция, необходимо сейчас же принимать декреты. Так лауреат Нобелевской премии мира взывает к революционным декретам. Мы декреты знаем по Октябрю, тут возникают довольно зловещие параллели.

Не довольствуясь литературно-книжной полемикой, группа радикалов обращается непосредственно к Генеральному секретарю ЦК.КПСС с призывом, даже требованием «принять строгие меры» к противникам перестройки. Выходит, достаточно иметь свое понимание перестройки — иное, чем у радикалов, — и человек попадает в ее противники, контрреволюционеры, поскольку перестройка названа революцией. Все это прямо напоминает времена, когда «именем революции» вершились бессудные расправы.

Идея перманентной революции никогда не сходила у нас с политической повестки дня. Она была официальной платформой коллективизации, которую сравнивали по историческому значению с октябрьским переворотом. Сейчас эта идея, повторяю, весьма активизировалась. Левые, радикалы уже требуют: перестройку — перестройке. Нужна новая революция! Перманентная. Дальше, дальше, дальше... Не случайна в некоторых выступлениях печати апологетика Троцкого.

Нынешние левые радикалы используют, так сказать, революционные гены, взращенные в массе за годы Советской власти, опираются на многолетнюю идеологическую обработку людей в духе «революционных традиций», деяний «пламенных революционеров». Кстати, и былые репрессии явно учитывали «революционное сознание» обывателя, отсюда их массовое митинговое одобрение.

Амбарцумов: Не стоит вкладывать в уста Сахарову давнее большевистское пристрастие к революционным декретам. Сахаров, по-моему, оценивает нынешний этап нашего развития как глубокий поворот во всем жизнеустроении — не будете же вы с этим спорить?! В его идее декрета о власти заключено стремление наконец-то поставить представитель-

ные органы государства над административным аппаратом, без чего о демократизации нечего и думать.

Вы верно заметили, что порочная традиция «объясняться» с помощью идеологических ярлыков еще жива. Но проявляется она не только в форме прямых обвинений, но и в тенденциозном отборе высказываний, предвзятом их толковании. Вряд ли нам здесь нужно следовать подобным традициям.

Лобанов: И я не об отдельных высказываниях, а именно о некоей системе воззрений, именуемых радикальными, «идее радикализации».

В этой связи вспоминаются слова Ивана Аксакова, который говорил: самое страшное, пагубное для народа, когда он живет по теории, втиснут в прокрустово ложе теоретической мысли, тогда народная жизнь настолько извращается, что потребуются столетия, чтобы ей войти в нормальное русло, а то и совсем не войдет. Не вышли еще из прежних тисков, а уже готовятся новые. Навязываются стране с больной экономикой новые теории с соблазнами американизма, с механическим копированием чужого опыта, с разрушительными экспериментами. Опять революция. Но нам следует помнить, что революция — это болезнь, кризис веры, государственности.

Изживание ее последствий требует длительного времени, мы можем судить об этом по нашему опыту — до сих пор не пришли в себя. Революция принимается за так называемое творчество только теми, кто смотрит на народ со стороны, для кого это очередной «перекувырк».

Мне кажется правильной мысль Шафаревича: если есть культура у народа — значит, и жив народ. Сейчас очевидна кристаллизация русской духовной культуры, и вряд ли она нуждается в новой революции.

Амбарцумов: Какие пути вы видите сами?

Лобанов: Единственно в духовном оздоровлении. Семьдесят лет разрушения духовности, начиная с культурных опор, экономического уклада и кончая национальными тра-

дициями, осознанием самих себя. Главное — чтобы опять не затоптали Церковь. Если она останется, то сохранится надежда на выход.

Карпинский: Вы утверждаете: революция — это болезнь. Действительно, во всех крупных революциях прошлого из безоглядного порыва к свободе быстро возникали новые деспотии. Революции подвержены такого рода заболеваниям. Но все-таки сама революция не болезнь, а скорее средство исцеления от недуга, который поражает общество, когда оно заходит в тупик и жить в нем становится просто невозможно. Происходящий взрыв — ответ на страдания огромного числа людей, терпящих немыслимые лишения под сводами «нормальных» тиранических порядков. Хочу сослаться на размышления гениального Андрея Платонова, писавшего, что народ себя напрасно тратить не любит, и тоска его бывает велика от сознания, что так больше нельзя — болезненно и голодно, безнадежно и уныло — жить на свете.

Как и почему, к примеру, началась летняя забастовка шахтеров? Откуда взялся радикализм рабочих? Полгода письмо с законными требованиями горняков шахты им. Шевякова г. Междуреченска гуляло из кабинета в кабинет с нулевым результатом. И дело в том, что волокита была заурядной, укорененной в системе. Самостоятельность трудовых коллективов — фикция. Вот и взрыв.

Стараюсь доказать только одно: радикализм возникает не от экстремизма отдельных неврастеников, а в результате массового прозрения относительно негодности общего порядка вещей, на котором держится общество. Возмущение частностями переходит в неприятие целого. Перестройку нельзя считать революцией «сверху». Наболело «внизу», во всей толще общества. Отсюда гигантский разворот событий, в том числе и кризисных.

Кожинов: Никто, конечно, не отрицает наличия причин, порождающих радикализм. Но каковы, с другой стороны, его неизбежные последствия? Больше всего меня тревожит вот

что. Стало штампом утверждение, что у нас низкая политическая культура. Если бы так! У нас, я думаю, господствует самая настоящая политическая безграмотность. Миллионы отдают свои голоса людям, которые гордо называют себя левыми радикалами. А элементарная политическая грамотность предостерегла бы их, подсказала бы: все самое чудовищное натворил в стране именно левый радикализм! Ельцин — один из лидеров нынешних левых радикалов — заявил в Америке, что ему 50 лет вдалбливали в голову «Краткий курс истории ВКП(б)». И он сказал чистейшую правду — и о себе, и о миллионах людей. Можно повернуть голову на 180 градусов, как это сделал Ельцин, но глубокая суть сознания и поведения остается той же. Даешь самые радикальные, самые чрезвычайные меры!

Как это ни нелепо, левые радикалы в то же самое время постоянно ставят нам в пример Запад. Между тем на Западе левый радикализм не способен увлечь за собой сколько-нибудь значительную массу людей. Он существует там только как некоторый элемент общественной структуры, критикующий «слева» и подчас корректирующий основное движение общества. И есть все основания утверждать, что в оттеснении левого радикализма на обочину общественной жизни огромную роль сыграли уроки, почерпнутые рассудительным Западом из нашей истории. Сумеем ли мы наконец сами извлечь урок из нашей неслыханно многострадальной истории? Или будем доказывать правоту горькой шутки, что история, мол, учит только тому, что она ничему не может научить?

Далее, народ пытаются в очередной раз убедить, что достаточно вновь радикально переделать производственные отношения — скажем, в одночасье превратить колхозников в фермеров — и мы окажемся в раю. Найдутся, без сомнения, люди, которые, прочитав это, закричат: «Ах, для Кожинова колхоз — идеал!» Поэтому сообщу, что до 1987 года я никогда не употреблял в печати даже само это слово «колхоз», ибо не имел возможности сказать, что я о колхозах думаю. Дело

не в «достоинствах» колхозов, а в том, что перед нами — способ мышления, почерпнутый все из того же «Краткого курса истории ВКП(б)» с его до предела примитивизированным и вульгаризированным «марксизмом».

Я отнюдь не собираюсь отрицать всю значимость производственных отношений в развитии общества, но благополучие экономики — сложнейшая и многообразнейшая проблема. Вот хотя бы один пример. У нас постоянно говорят о государственных дотациях сельскому хозяйству как о некоей дикой ненормальности. Между тем во всех высокоразвитых странах эти дотации громадны: они образуют от 50 до 80 процентов доходов фермеров! Уже это показывает, насколько реальность сложнее примитивных «решений» в духе левого радикализма.

И уж во всяком случае абсурдно мнение, что можно преодолеть тяжкие последствия революции другой — пусть и «противоположной» по своим лозунгам — революцией...

Путем реформ

Шафаревич: Я согласился бы с Лобановым в том, что есть реальная опасность возрождения и тирании некоего революционного духа, который основывается на радикальном мышлении. Карпинский говорил, что бывает «выход через вход», что возможно возвращение к идеалам революции. Но какой революции: военного коммунизма, раскулачивания?

Иногда говорят даже о революции в физике. Думаю, что когда Горбачев говорит, что перестройка носит революционный характер, для него, по-моему, это чисто образный термин. Он не имеет в виду то, что явилось в новом времени как особый тип катаклизмов, замешенных на какой-то квазирелигиозности, фанатизме. Вот такую еще одну революцию мы не переживем. А угроза ее реальна. Как часто в прессе проскальзывают симпатии к «энтузиастам» 20-х годов (будущим раскулачивателям) или вот, например, к Бела Куну, организатору

массовых расстрелов. Один известный публицист призывал недавно понять, что эти «романтики» не аморальны, что это — особая мораль. Но именно такая мораль создала и Освенцим, и Колыму. Вот эта симпатия к ней и есть опасный симптом.

Карпинский: А вы не думаете, что возможна революция, то есть коренная перемена, в самой форме революционного действия?

Шафаревич: Не думаю.

Карпинский: История умеет творить новое. В свое время Коммунистическая партия Италии предложила программу структурных реформ. Предлагался реформистский способ революционных преобразований. Думаю, что наша перестройка является революцией в сходном смысле.

Шафаревич: Я это и говорю. И петровские реформы можно назвать революцией.

Кожинов: К этому уместно добавить, что нескольким поколениям вдалбливали в головы убеждение, будто никакие реформы ничего не дадут, что это все буржуазные штучки. Только радикальные, чрезвычайные перемены что-то значат. Поэтому так радостно миллионы принимают заявления левых радикалов. Выступает Ельцин в американском университете и возмущается, что Горбачев в споре с ним отстаивал необходимость действовать с осторожностью. Но в такой гигантской и многообразной стране можно действовать только с величайшей осторожностью.

Амбарцумов: Слово «революция» применительно к перестройке было произнесено Горбачевым. Видимо, наше общество нуждается в революции в смысле изменения властных отношений. Сейчас власть по-прежнему принадлежит партийно-бюрократическим структурам, пусть подорванным, ослабленным. Здесь приводились очень хорошие слова Аксакова. Если народ втиснут в прокрустово ложе, чтобы оттуда его высвободить, нужно активное действие, и это тоже революция.

Другое дело, революция как голое разрушение совершенно неприемлема. Мы сейчас встали перед возможностью

повторения охлократической революции, о которой писал Горький в «Несвоевременных мыслях». Ищут врага, пытаются усмотреть первопричину наших бед то в чуждых нациях, то в кооперативах. А чем это может кончиться? Есть опасность неосталинистской реставрации. Ведь в начале 30-х годов произошел не просто переворот. Сталин спровоцировал определенную «культурную революцию», которую потом повторил Мао Цзэдун.

Конечно, нужно духовное оздоровление. Тут спора нет. Это, может быть, ключевое. Но путь к нему долог.

Шафаревич: Человек, который способен на деспотизм, не способен к творчеству, культурной работе. Он и без нее получает возможность стать в центре человеческих судеб и распоряжаться. Вот психология революционеров-радикалов.

Кожинов: Должен сказать, что я тоже имел в виду не столько абстрактные идеи, сколько действия людей. А экстремистские действия чаще всего диктуются именно левыми радикалами.

Карпинский: Но я протестую против того, чтобы связывать деспотизм и экстремизм только с левыми радикалами. Распространенная ошибка — подмена предмета обсуждения. Левый радикализм революционного народа — это совсем не то, что «огосударствленный» радикализм властей, продолжающих носить «красные колпаки», но действующих уже ради собственной корысти с помощью карательного аппарата. В этой метаморфозе состояла трагедия пролетарской — и не только пролетарской — революционности.

Меч революции начинает без разбора гулять по головам. Причины такого кровавого оборота событий уже во многом известны. Прежде всего это активизм вождей и идеологов революции, охваченных «всепожирающим» романтизмом и готовых принести в жертву излюбленной утопии жизнь целых человеческих сообществ. Подобный фанатизм тождествен вседозволенности. Он и требует жертв, и позволяет жертвовать — меньше собой, больше другими. Купаться в сиянии власти, освященной авторитетом революции, оказалось рос-

кошью сверхобыкновенной. Возникает самая страшная фигура истории: заурядный человек на особом положении при власти.

С опасностью «карьеры через революцию» мы встретились и сегодня, в виде «карьеры через перестройку» Карьеристы этого рода любят исключительно себя в перестройке, стремясь выкачать из нее как можно больше в свою пользу. Но это в первую очередь относится к тертым мошенникам, взращенным застоем В том числе — из «номенклатурной» части общества, стремящейся не только выжить, но и всячески нажиться в процессе перемен.

Конструктивный радикализм

Лобанов: Хочу сказать об элитарности левых радикалов. Те, прежние, считали себя «тончайшим слоем ленинской гвардии». Они не представляли, как это расширить состав ЦК за счет рабочих. Теперешние левые радикалы изобрели идею «агрессивного большинства» на Съезде народных депутатов. Тех и других объединяют элитарность, противопоставление себя большинству, которое должно слепо повиноваться им. Не случайно впоследствии некоторые из тех же радикалов потребовали крепкой власти... для утверждения демократии.

За четверть века до начала перестройки шли глубинные идеологические процессы, развитие общественной мысли, вплоть до полемики в конце 60-х годов «Нового мира» с «Молодой гвардией». А тут вдруг, как на сцене, новые лица. Бывало, конечно, когда десятилетиями, скажем, Плеханов работал на революцию, а пришло время — на первом плане оказался не он, Плеханов, а такие, как Урицкий, недавний меньшевик, ставший большевиком незадолго до октябрьских дней. Сейчас ситуация другая. И лозунги уже не так неотразимы. Раньше хлынули на лозунг: «Земля — крестьянам», который так и остался лозунгом, но решил судьбу переворота. У нынешних радикалов лозунг более откровенный: «Зем-

ля — всем, кто ее хочет купить». Всем — от здешних подпольных миллионеров до американцев.

Кожинов: Но на заседаниях Верховного Совета (которые левые радикалы всячески клеймили) были выступления десятков депутатов, которые рождают надежду, проникнутые чувством ответственности. Выступления основательные и новые.

Карпинский: Надо делать различие между желанной политической активностью и политическим карьеризмом.

Шафаревич: Я мог бы предложить критерий для разграничения демократизма и революционной элитарности — уважение к своим коллегам, избранным народом. Вот известная московская группа на прошлом съезде вела себя так, что явно не считала других депутатов равными себе. Они выступали по многу раз, хотя другие вообще не получили слова, почему-то сидели в первых рядах. А ведь все представляли равноправных избирателей!

Карпинский: Эта группа руководствовалась желанием не допустить превращения съезда в очередное бутафорское скопище пешек. Не потому они «захватили» трибуну, что пренебрежительно отнеслись к присутствующим, а для того, чтобы содействовать продвижению демократии в условиях, когда еще не было полной уверенности в наличии такого же желания со стороны руководства. Стремление изобразить всех радикалов этакими бессовестными горлохватами явно грешит против истины. На самом деле есть радикализм конструктивный, без которого преобразования просто немыслимы, и радикализм деструктивный, он же «обструктивный» (согласно словарю — «метод борьбы, состоящий в срыве обсуждения путем создания шума или произнесения не относящихся к делу речей»).

Что такое конструктивный радикализм? Не в жажде темпов его суть (хотя фактор времени приобрел огромное значение). Известно: поспешишь — людей насмешишь. Суть в основательности предлагаемых реформ, мыслимых именно в коренном, главном. Если, например, не решаются вопросы

о собственности, землевладении, гласности и т.д., то все другие элементы обновления оказываются невозможны. Конструктивный радикализм требует: «Зри в корень». Он не соглашается на полумеры, не удовлетворяется разбросанными «островковыми» сдвигами. Эта стратегия радикального действия опирается на готовность больших масс людей понять и принять выдвинутую программу; она апеллирует не к фантастическому «человеческому материалу», а к реальным людям, вышедшим из сталинизма и застоя. Можно сказать, позитивный радикализм надеется на естественно-исторический разворот событий и одновременно подчеркивает роль продуманной социальной технологии переходных движений. Такой радикализм революционен по существу и спокоен, лоялен по форме; Он уверен в себе, так как исходит из объективной возможности консолидации общества в рамках цивилизованных действий.

Лобанов: Ваше теоретизирование о «позитивном радикализме» ничего общего не имеет с практикой радикалов.

Амбарцумов: А по-моему, понятие конструктивного радикализма существенно сближает революционный подход к перестройке с принципом стабильности и преемственности в общественном развитии. Оказалось, что наши расхождения по затронутым темам не так велики, как можно было предполагать.

Кожинов: Это впечатление может явиться хорошим заключением состоявшейся беседы.

ИСТОКИ «НОВОГО МЫШЛЕНИЯ»

Тютчев писал в дни начавшейся Крымской войны: «Теперь тебе не до стихов, о слово русское, родное!» Не до праздных слов, особенно теперь, когда Россия стоит перед страшным вопросом: быть ей или не быть? На повестке дня вопрос распада не только Союза, но и расчленения самой России. О точках зрения на этот счет смотрите статью «Ка-

кой быть России?» в газете «Советская культура» от 24 февраля сего года.

Во втором сборнике «Перестройка и еврейский вопрос», изданном недавно Антисионистским комитетом, перепечатано интервью биробиджанского журналиста Л. Школьника, народного депутата, члена Комиссии Верховного Совета СССР по национальной политике и межнациональным отношениям. По его словам, он полон оптимизма и веры, что Биробиджан будет скоро самостоятельным государством, даже не вторым, а первым Израилем, с генконсульством Израиля в нем, с самостоятельной торговлей с США, Западом, совместным предпринимательством, связями с сионистскими организациями. Сам он не скрывает своей симпатии к сионизму. Так воплощается в итоге организованное Школьником обращение инициативной группы о выходе Биробиджана из-под диктата Хабаровского края. С этим же намеком о выходе, по словам Школьника, на декабрьском Пленуме ЦК КПСС выступил первый секретарь обкома партии Корсунский.

Чудовищным воспринимался послевоенный план Моргентау (американского финансового воротилы, сиониста, наставника президента) расчленения побежденной Германии на отдельные земли. Этого не произошло. Теперь не как дикий, а как вполне нормальный муссируется план расчленения России. Не по заокеанской ли указке, под пропагандистский шум о «русском фашизме»? Не поставят ли нас и здесь перед свершившимся фактом, как это не раз было с планами «межрегиональной оппозиции»? Поражает терпимость наших руководителей к пропаганде расчленения России!

Минуло пять лет «перестройки». Какова все-таки идеологическая концепция ее? Тщетно искать какой-либо официальный определенный ответ на этот вопрос. Например, на последнем (март 1990 года) Пленуме ЦК КПСС так и повисли в воздухе растерянные вопросы некоторых ораторов: куда мы идем? к социализму, к капитализму, к партии социал-демократической и т.д.? Очень характерно для нынешнего

плюрализма было признание на Пленуме небезызвестного академика Шаталина.

Так вот что он сказал: «я не меняю своих убеждений день ото дня, что и сейчас поддерживаю социал-демократические позиции. Но я никогда не принадлежал и не буду принадлежать к тем людям, которые в самые трудные минуты бегут из КПСС. Другое дело... я буду стараться, разумеется, толкать партийное руководство, партию, как член партии, к принятию тех идей, которые мне ближе».

Циничнее не скажешь. Такие толкачи сейчас в чести.

Мы много слышим об общем европейском доме, о приоритете общечеловеческих ценностей перед национальными. Появляется в печати нечто вроде теоретических разработок этой проблемы. Первой ласточкой здесь следует назвать беседу литератора Адамовича с членом-корреспондентом Академии наук, помощником генерального секретаря ЦК КПСС Шахназаровым «Новое мышление и инерция прогресса» (журнал «Дружба народов», № 6, 1988). Адамович предложил начать с того документа, с которого, оказывается, новое мышление и берет свой исток. А именно — манифеста Рассела — Эйнштейна. Впервые в СССР напечатан в «Дружбе народов» текст этого манифеста, подписанный тридцать лет тому назад. Суть манифеста сводится к следующему: «Искоренение войн потребует мер по ограничению национального суверенитета, которые будут ущемлять чувства национальной гордости... Помните о том, что вы принадлежите к роду человеческому, и забудьте обо всем остальном. Если вы сможете сделать это, перед — вами открыт путь в новый рай. Если нет, то перед вами опасность всеобщей гибели».

Комментируя манифест, Шахназаров подчеркивает, что принципы этого документа «получили также дальнейшее развитие в книге М. С. Горбачева "Перестройка и новое мышление для нашей страны, для всего мира"».

По словам Шахназарова, одно из важнейших требований нового мышления — «видеть планету, ее население как це-

лое, учитывать в политике не только национальные, но общемировые интересы...

Мне думается, что на исходе XX века наличие такого качества должно стать первостепенным по важности критерием при выборе политических лидеров. Надо учиться воспринимать мир при всей его многосложности и пестроте не как беспорядочный конгломерат отделенных друг от друга государств, а как единство сообществ, которое может становиться и постепенно становится все более и более управляемым».

В своей беседе («Московский комсомолец», 7 января этого года) главный редактор газеты «Правда», секретарь ЦК КПСС И. Фролов заявил: «Мыслить по-новому — об этом еще Эйнштейн сказал в 1946 году... В манифесте Рассела — Эйнштейна сформулировано: все мы должны понять, что являемся представителями рода человеческого, — и забыть обо всем другом, и если мы не сделаем этого, не выживем».

Следует напомнить, что Эйнштейн в 1946 году, призывая мыслить по-новому, считал, что необходимо создание мирового правительства, которое бы диктовало волю всему роду человеческому, и что в газете «Правда» тогда же было опубликовано письмо крупнейших советских ученых, протестующих против идеи Эйнштейна о создании мирового правительства. В самом деле, нетрудно понять, что означало бы такое правление для народов мира. Где гарантии того, что во главе мирового правительства не окажутся расистские силы?

О мировом правительстве как цели мирового сообщества говорится и в опубликованной 6 января 1990 года «Советской культурой» статье академика Сахарова, написанной в 1974 году. Но хорошо сказала Шаховская в своих парижских заметках «Мысли о границах» в «Литературной России» 12 января 1990 года. Цитирую: «Всемирное государство может оказаться всемирным злом... Для миллионов людей существование границ между странами было последней надеждой, вратами, открывающимися на волю... Границы в на-

шем веке — гарантия свободы человека... Благословен мир, в котором, как в раю, "обителей много"».

Десятилетиями навязывали нам мировую революцию, теперь, когда кровавый ее мираж потускнел и потерял всякий кредит доверия у нового поколения, внедряется в сознание новый идол — всемирное человеческое сообщество под эгидой мирового правительства. Под угрозой всеобщей гибели нас заставляют помнить только о том, что мы принадлежим к роду человеческому, и забыть обо всем остальном: о своей истории, национальных сокровищах, культуре, обо всем, чем жив каждый народ. Только в таком случае нам уготован рай. На самом деле это — путь в ад, тот страшный всемирный концентрационный лагерь, который уже достаточно хорошо известен нашему народу по послереволюционной троцкистской практике и который мы не желаем ни одному народу.

Только что вышел четвертый номер журнала «Коммунист», в котором напечатана новая статья Шахназарова — «Обновление идеологии и идеология обновления». В ней такие хорошие слова: «У каждого народа есть своя идеология — немецкая, французская, английская и т.д. Общеизвестно, какую роль в "экономическом чуде" Японии сыграла ее идеология, которую иногда называют патерналистской». Все это правильно, но почему же у русского народа не должна быть своя идеология — русская, а непременно заимствованная из другого источника, на этот раз из манифеста Эйнштейна? Правда, Шахназаров упоминает и ставших доступными русских философов. Но единственно приводимая фамилия — цитирую: «Ждут своей очереди книги Максима Ковалевского и других корифеев отечественной политической науки». Известно, что М. Ковалевский был не только корифеем политической науки с мощной ориентировкой на политические порядки Европы, но и корифеем масонства, организатором в России в начале двадцатого века масонских лож. Гласность и здесь необходима, иначе обновление идеологии будет неполным.

После выборов, когда Россию ждут неизведанные испытания, нелепо предаваться отвлеченным теоретическим мечтаниям. Нужно конкретное понимание скрытых зачастую идеологических программ, от которых зависит будущее страны. Без этого мы будем слепым орудием в чужих руках, что уже ни раз было в прошлом.

В СРАЖЕНИИ И ЛЮБВИ

Подвиг есть и в сраженьи,
Подвиг есть и в борьбе;
Высший подвиг — в терпеньи,
Любви и мольбе.

А. Хомяков

У перевернутого креста

Абсолютно господствующая у нас леворадикальная пресса типа журнала «Огонек» за короткий срок «гласности» и «плюрализма» устроила для массового сознания поистине духовный Чернобыль. Выжжено все здоровое прошлое. Человек с богатейшей тысячелетней историей оказался на голом месте. Семидесятилетняя поистине героическая трагедия народа превращена в нескончаемую пляску на могилах. Стала предметом циничных политических спекуляций. Все делается, чтобы вытравить великую историю нашего народа из национального сознания, цинично представить, что из нее вылез клоп, как выразилась одна левая критикесса в «Литературной газете». Те самые умники, которые еще совсем недавно восхваляли русскую литературу, ставя ее превыше всех других литератур в мире, ныне чернят ее за «метафизичность», вечность проблем, за саму духовно-нравственную высоту, за то, что она не целиком была погружена в житейские интересы. Нынешняя интеллектуальная чернь судит великих художников по своим меркам, желая стереть все высокое, все таинственное в мире, выходящее за рамки их

убогого эмпирического быта. Но слава Богу, есть и вечно будут на земле тайны, такие, как жизнь, смерть, такие, как народ, не только его быт, но и духовные особенности, связь их с чем-то высшим, сверхбытовым, с тем вечным, что живет и в великой русской литературе.

Русская литература оказалась нежелательной не только сама по себе, но и тем, что она напоминает нашему народу о духовных ориентирах, о том, что он — законный наследник тысячелетней великой культуры, обогатившей мир, а стало быть, ему есть на что опираться и с чем идти в будущее. Вот это больше всего и хотелось бы подорвать «перестройкой» нашим левым. Как хотелось бы им, выбросив уже в который раз за борт русскую классику, внедрить исключительную монополию авангардизма, прочих революционных и сверхреволюционных изготовлений и оболванивать ими людей. Сбирающиеся в «метрополию» на авангардистский пир эмигранты «третьей волны» уже с откровенным презрением разглагольствуют о наших великих реалистах. Один из таких приехавших к нам судей со «статусом эмигранта» считает позором для русской литературы, что она продолжила «линию Толстого», не будь этого, тогда была бы у нас «такая литература, как в Польше» («Юность», 1989, № 12).

Вообще, агрессивность левых очень уязвима, даже и со стороны интеллектуальной (не говоря уже духовной). Вот, например, рассуждения одного из них: «На самом деле, нравственные законы гораздо старше религии, они возникли еще до того, как появился человек. Уже у животного существуют зачатки нравственности, современная этология это хорошо показала... Нет, уважаемые сограждане, человек все же произошел от обезьяны, слишком много тому доказательств. И в данном случае гордыня человеческая, отрекающаяся от своего предка, жалка».

Кто это пишет? Уж не дитя ли пресловутого булгаковского Шарикова, кого так любят иные брезгливо высмеивать? Пишет это М. Чулаки, который именуется писателем, членом Координационного совета Ленинградского народного фронта («Книжное обозрение», 22 декабря 1989 г.). Но суть его

выступления не в этих научных «открытиях», а в другом, более актуальном: в разоблачении «национализма имперского народа». Русский народ «всегда выступал в роли старшего брата, и такая роль развращает национальное сознание». Неужели знатоку обезьяньего происхождения человека неизвестно, что русский народ никогда не выступал в роли «старшего брата», эту роль ему навязывали сверху и всегда эксплуатировали ее, преследуя явно грабительские цели за счет этого народа.

Какая «богоизбранность», когда народу, как говорится, не до жиру, быть бы живу, в том числе и от бесконечных нападок на все русское. В печати появляется то, что раньше держалось подспудно. Например, в газете «Комсомольская правда» (21 января 1990 г.) опубликованы воспоминания Горького о Ленине «Он разбудил Россию» — первая редакция воспоминаний, напечатанная в 1924 году и с тех пор не выходившая у нас в свет. Горький пишет о Ленине: «Я спросил: кажется мне или это он действительно жалеет людей?

"Умных — жалею. Умников мало у нас. Мы — народ талантливый, но ленивого ума. Русский умник почти всегда еврей или человек с примесью еврейской крови"».

Жаль умников, это не то что глупая масса, которая годна лишь в качестве объекта для массового террора или заложничества. В гражданскую войну умники так и действовали с этой глупой массой. Вот Троцкий, которого Бунин называл «кровавой гадиной». Зиновьев, разжигавший кровавые терроры в Петербурге, спровоцировавший Кронштадтское восстание, как об этом говорил Горький (в воспоминаниях В. Ходасевича). Или Блюмкин, с садистским наслаждением расстреливавший ни в чем не повинных людей. Другой умник из чрезвычайки одесской — Юзефович, с манерой «пристреливать над клозетной чашкой» (о чем пишет тот же Бунин в «Окаянных днях»). Кто скажет, что это не умники? На известный лад, конечно, ибо по самой элементарной шкале ценностей это просто неучи и духовные тупицы, вроде всесильного комиссара Петербурга Зиновьева, с четырехк-

лассным образованием, не умевшего грамотно писать. Но они-то, оказывается, и есть умники (и таких легионы). Их-то, оказывается, и жалко.

Такова эта расистская, зловещая «мораль».

И эта «мораль» не только не ушла в прошлое, но, наоборот, заявляет о себе в наши дни с особой воинственностью, агрессивностью. Считая нас, русских, за совершенных дураков, за «шариковых», не способных ни в чем разобраться самостоятельно, готовых верить любому слову «умников», нам без зазрения совести преподносят как нечто святое пресловутую «ленинскую гвардию» в составе таких преступников, как Троцкий, Зиновьев, Каменев и прочие. Избирательность здесь все та же — «умники». Такими же умниками выставляет себя «мыслящее меньшинство» в Верховном Совете, активисты так называемой «московской группы», переименованной затем в «межрегиональную группу», с презрением клеймящую не согласных с ними «агрессивным большинством»...

Кто только и в чем только не обвиняет сейчас Россию, русский народ. Экономист-академик, попавший в зам. председателя Совмина, обвиняет наш народ в лени, в неумении работать (видимо, лежа на печке, этот лентяй и наработал, украсив его городами и пашнями, такое государство, от Балтийского моря до Тихого океана, от Каспия до океана Ледовитого). Какой-нибудь уездный эстонский профессор, которому в его нервических наскоках на русских даже в голову не приходит, что русские все-таки наследники одной из величайших в истории человечества культур, и ему, дизайнеру, довольно комично представлять себя перед ними «высшей расой». Эмигранты «третьей волны», которые при въезде в «метрополию» сразу же поднимают гвалт о русском народе как главном виновнике всех творящихся здесь безобразий и беззаконий. «Апрелевцы», вопящие об «опасности русского фашизма» на том лишь основании, что русские начинают немного приходить в себя после невиданного удушения их исторического прошлого, начинают понимать, что духовно ближе им Александр Невский и Сергий Радонежский, защитники и покровители их, чем такие, как Свердлов

и Урицкий, безудержно разжигавшие кровавые терроры (и до сих пор нет не только областного города, но и районного городишки, где бы не было улиц с их именами). Казалось бы, при нынешнем нашем униженном положении, при экономической разрухе, кризисе идеологическом, духовном — какой может быть разговор о так называемом мессианстве русского народа? Но представьте себе — говорят, обвиняют в этом. В газете «Комсомольская правда» (2 января 1990 г.) даны рассуждения об американском и русском мессианстве, их различии. В «Литературной газете» (17 января 1990 г.) в беседе «За некруглым столом» А. Ципко, ратуя за возрождение России, в то же время говорит: «Нельзя допустить, чтобы возрождение России обернулось возрождением русского мистицизма, веры в свое особое предназначение. Здесь наша слабость, ахиллесова пята. Не было бы русского мессианства, никто бы не смог соблазниться мессианством Карла Маркса». Это, собственно, повторение мысли Н. Бердяева — о трансформации русского религиозного мессианства в мессианство революционное, идеи Москвы — Третьего Рима — в Третий Интернационал (странно, конечно, считать выразителем русского мессианства этот Интернационал, во главе которого стояли такие злобные русофобы, как Зиновьев, а затем Бухарин). Даже упомянутый выше обезьяний поклонник из Ленинграда М. Чулаки обвиняет русских писателей за «идею о богоизбранности народа».

Но если бы только газетная публика судила-рядила о мессианстве. Есть высказывания об этом и самих духовных авторитетов. В газете «Литературная Россия» (январь 1990 г., № 3) приводятся слова первоиерарха Русской Православной Церкви за границей митрополита Виталия: «Будут брошены все силы, миллиарды золота, лишь бы погасить пламя Русского Возрождения. Вот перед чем стоит сейчас Россия. Это почище Наполеона, Гитлера»... С другой стороны, в «Литературной газете» (14 февраля 1990 г.) цитируется свидетельство современного авторитетного исследователя Ватикана Маджистера: «Папа пессимистично оценивает будущее западного общества. По его мнению, оно становится

все менее религиозным, вульгарно материалистическим, в значительной степени коррумпированным. Его будущее духовное возрождение он связывает с Востоком, откуда "исходит свет". Это почти мессианская надежда на то, что обновление придет со стороны восточных христиан. Тогда вся Европа — до Урала включительно — сможет вдохнуть полной грудью, не одним, а двумя легкими».

Но нам ли говорить сейчас, в нашем-то положении, о мессианстве? Как-то, подойдя к киоску, услышал я разговор одной женщины с продавщицей газет: «Я прочитала вчера, что мы на шестидесятом месте в мире. Всю жизнь чувствовала себя самым счастливым человеком в мире, а теперь я самая несчастная». Говорила пожилая простая женщина, чуть ли не со слезами в голосе. Кончились иллюзии даже и у бесконечно доверчивых душ. С беспощадной трезвостью мы увидели развалины не только вокруг себя, но и, кажется, в собственной душе.

Может быть, только в далеком будущем появятся ответы на вопрос: что же случилось с Россией в XX веке? Немыслимо, видимо, никакое рационалистическое объяснение гибели старой России. Можно объяснить это кризисом государственного организма, по мерке Константина Леонтьева, отводившего каждому государству срок исторической жизни не более чем в тысячу лет, а затем это государство должно неизбежно идти к упадку и распаду. Слышал в проповеди одного священника, что все случившееся в 1917 году и все последовавшее за этим — это следствие исторического греха России, в том числе и греха исторического христианства (не истинного, а именно исторического), который заявил о себе уже со времен крещения Руси, когда начались жестокие преследования язычников, их пусть примитивной, но все же веры. Есть аргументы социально-политические, связанные, в частности, с историей русского утопического социализма, с извечной русской мечтой о социальной справедливости, о «граде Божием» на земле...

Но какую роль сыграло в исторической судьбе России то, что именуют «мессианством», а Достоевский называл фено-

менальным явлением в истории человечества, всечеловеческой отзывчивостью русского народа? Мы многое поняли в последнее время и уже не умиляемся этими словами Достоевского, зная, чего стоит эта «всечеловеческая отзывчивость» (когда, например, в Эстонии мать-эстонка за новорожденного ребенка по принятому недавно закону получает и будет получать годами по пятьдесят рублей в месяц пособия, в то время как живущая в той же Эстонии мать-русская исключается из этого правила). То, что было болью для русских мыслителей, вызывает ныне разве лишь циничную ухмылку таких, как режиссер Марк Захаров, он же «народный депутат». С убогим злорадством цитирует он в «Литературной газете» (3 января 1990 г.) Чаадаева: «Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок». «Полагаю, — язвит режиссер, — мы такой урок преподали, создав с большим напряжением сил тупиковую ветвь в мировом экономическом развитии — неповторимую в своем роде талонно-карточную цивилизацию». И заключает: «Моя надежда в том, что благодарное человечество обязано оплатить нам наши труды, желательно — в свободно конвертируемой валюте, а также от души поблагодарить за проделанную работу. А все говорим — где взять валюту».

Режиссер Марк Захаров все сводит к валюте и готов все продать за нее. Какое ему дело до того, что у Чаадаева есть другие, совершенно противоположные высказывания о России, как например: «У меня есть внутреннее убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, довести до конца большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на наиболее важные вопросы, которые занимают человеческий род».

Конечно, и над этими словами можно иронизировать, но доступна ли театральному клоуну та мысль, что в трагедии идеи заключено неизмеримо больше исторического смысла, чем в валютных вожделениях. Да, Россия с ее братской открытостью миру оказалась в тяжелейшем кризисе, но все

эти семьдесят лет только подтвердили правоту Достоевского, верившего в объединительную примирительную роль русского народа среди других народов. Эту особенность нашего народа власти бесстыдно эксплуатировали и эксплуатируют, «выезжая» в своей космополитической политике на выдержке, терпении России, буквально обдирая ее и унижая (от ежегодного перекачивания многих десятков миллиардов рублей из российского бюджета в бюджеты других республик до такого хотя бы недавнего факта, как дискриминация бежавших из Баку русских, не получивших в отличие от армян статуса беженцев, брошенных на произвол судьбы, — о чем писала «Литературная Россия» 2 февраля с. г.).

Вообще-то, говоря по-бытовому, нас, русских, просто дурачили «интернационализмом», и, конечно, хорошо знали нас, если мы так легко, во имя «равноправия» с другими нациями страны, чтобы не обижать их, отказались от своего культурного наследия, опустились до уровня «младописьменных литератур». Но выйти из этого положения не так уж трудно, имея прошлые великие ориентиры. Для этого надобно только время. Но вот именно этого времени может и не быть, учитывая бешеную активность тех, кто называет себя «прорабами перестройки». Они спешат, толкают народ в пропасть, пока он еще не пришел в себя от прошлых потрясений. Соблазняют его американизмом, «моделями» парламентаризма, президентства и в то же время жаждут «революционных декретов», как А. Сахаров (поскольку перестройка — революция), «сильной руки», подавления инакомыслящих (на которых не стесняются писать доносы в «высшие инстанции»). Надо быть младенцем, чтобы не увидеть разрушительности экономических прожектов, вроде прожектов сообщников Н. Шмелева, с их требованиями немедленной капитализации (новая революция!), продажи земли всем, кто ее хочет купить (от дельцов «теневой экономики» до американцев), немедленного введения конвертируемой валюты (это при наших-то финансах), кабалы иностранных, займов и свободы иностранного предпринимательства в нашей стране и т.д. Разумеется, нельзя жить по-прежнему, надо искать

выход из социально-экономического тупика, но искать выход с учетом интересов народа, а не отдельных слоев, рвущихся к экономическому, политическому владычеству над ним. Интересы народа — это когда земля отдается в собственность с правом наследования крестьянам, тем, кто обрабатывает землю, а не дельцам-миллионерам от «теневой экономики», не гастролирующим хаммерам. Вот даже и зачастившие к нам эмигранты-щелкоперы из «третьей волны» приглядываются, где бы им, теперешним гражданам США, стран Запада, в недалеком будущем обзавестись в ненавистной метрополии землей, построить дом на берегу моря, в другом подходящем месте, по желанию приезжать, прилетать сюда, уже не тая истинного своего призвания бизнесменов. Какие блага несут народу все эти активисты «межрегиональной группы», вроде экономиста Г. Попова, с его откровенной философией — «пониманием» завоевателей России (интервью в журнале «Знамя», 1988, № 3). Вроде бывшего партийного функционера, работника журнала «Коммунист», перекрасившегося мгновенно в «прораба перестройки» Ю. Афанасьева, который, будучи в Японии, рьяно защищал территориальные претензии Японии к Советскому Союзу.

Сегодня — одни претензии, завтра — другие, уже посущественнее. Любопытен разговор, свидетелем которого я был не так давно. Некий литератор говорил о «европейском доме». По его словам, Россия должна забыть, что она евроазиатская страна; за Уралом Азия с тюркскими народами, которые никакого отношения к России не имеют. А Россия — рядовое государство, территория до Урала, это и входит в «европейский дом». Вот, оказывается, какой смысл «европейского дома». Но хорошо еще, что Россия — до Урала, завтра ее могут урезать до Нижнего Новгорода, а то и короче. И уже есть к этому основания. Объявленная Ю. Афанасьевым ситуация февраля 1990 г. (Пленум ЦК КПСС) «Февральской революцией» не просто эффектное сравнение. Леворадикалы уже видят себя у кормила власти, с вытекающими из этого «февральскими» последствиями. В прошлом, после Февральской революции, за Уралом об-

разовалась, например, масонская Директория в Омске, свергнутая вскоре Колчаком. Не желанная ли цель иных «директорщиков» — под видом первоначальных региональных хозрасчетных форм добиваться разделения России на отдельные образования типа западносибирского, восточно-сибирского, забайкальского, дальневосточного и т.д. с дальнейшим включением их в транснациональные корпорации.

* * *

В «Литературной газете» (14 февраля 1990 г.) опубликована беседа члена Политбюро, секретаря ЦК КПСС А. Н. Яковлева «Синдром врага: анатомия социальной болезни». Прочитав ее, я вспомнил давнюю его же статью «Против антиисторизма», опубликованную в той же «Литературной газете» 14 ноября 1972 года. В той статье одним из наиболее критикуемых авторов оказался я, точнее, моя книга «Мужество человечности». Писал не просто «доктор исторических наук А. Яковлев», а руководитель отдела агитации и пропаганды ЦК КПСС, и его идеологические оценки приобретали широкий общественно-политический резонанс. Не буду здесь говорить о последствиях публикации этой статьи для критиковавшихся авторов, не буду говорить о той реакции на нее, которой были охвачены все идеологические службы страны, все высшие учебные заведения, писательские организации, пресса и т.д. А реакция была известно какая — завинчивать гайки, поднимать классовую бдительность, в частности против «русофильства», храмов, против недооценки ленинского учения о двух культурах в каждой национальной культуре и т.д.

В беседе «Синдром врага: анатомия социальной болезни», как и в давней статье того же автора «Против антиисторизма», главный предмет критики — те, кого принято называть «правыми», «русофилами», «патриотами» (называется даже «охотнорядчество, антисемитизм»). «Образ врага» и лепится этими людьми, как бы обреченными, «если судить по некоторым статьям и выступлениям»,

«жить в пещерах и с дубинками охотиться на других». Но вот что характерно. А. Н. Яковлев с удивлением пишет, что «некоторые ученые, литераторы, чуть что не согласны с кем-то — и тотчас пространные идеологические доносы в ЦК, КГБ. И таких, знаю по опыту, немало. Казалось бы, выступи открыто и аргументированно, изложи иную точку зрения, докажи и обоснуй ее — ведь можно же! Нет, предпочитают доносительство. Да и статьи подчас больше похожи на доносы, чем на попытки познать истину». Все это, конечно же, адресуется «правым». Но в том же номере «ЛГ», где опубликована беседа А. Н. Яковлева, напечатано «открытое письмо членам Политбюро ЦК КПСС «Пока не поздно». Подписанное тридцатью пятью «апрелевцами», это письмо нагло провоцирует национальную рознь, запугивая мнимой опасностью «русского фашизма», угрожая инакомыслящим за «срыв» перестройки (в их понимании): «каждому придется ответить персонально за свой выбор». Это уже особое, с кровавыми угрозами, доносительство. Нет числа таким «левым» доносительствам — от «Открытого письма Генеральному секретарю ЦК КПСС М. С. Горбачеву», в котором «прорабы перестройки» требуют «принять строгие меры» против «противников перестройки» («Московские новости», 1 января 1988 г.), до стихотворения Евтушенко о шестилетнем мальчике-«антисемите», о русских «наци», обложивших Кремль («Литературная газета», 13 декабря 1989 г.).

Составить список русских «монархо-нацистов», «новых последователей Гитлера в Советском Союзе», требует и участник недавнего сионистского съезда в Москве, академик В. Гольданский в «Вашингтон пост» (перепечатано в газ. «Советская Россия» 7 апреля 1990 года). Известно, для чего составлялись такие списки в прошлом.

Плюрализм, почитаемый как высшее достижение «перестройки», произвел выброс великого множества всяких газетенок. Газетка «Новая жизнь» именуется «независимой социал-демократической газетой». В номере девятом этой газетенки броский заголовок: «Пролетарии всех стран — совокупляйтесь!» В газетенке «Голодовка» (обозначена как «из-

дание транснациональной радикальной партии СССР, № 2, 1 ноября — 15 декабря 1989 г. Цена 1 рубль») напечатан рассказец Виктора Ерофеева «Болдинская осень» (с намеком на знаменитую пушкинскую осень). Тридцатилетний «философ» Сосин делает записи, называя «говном» решительно все: семью, родителей, родину, жизнь, культуру, блаженного Августина. Но, может быть, только в «Голодовке» и резвится хулиганствующий писака? Нет, он выступает неким мэтром в «Огоньке», ведет там рубрику «Поверх барьеров», беседуя с зачастившими к нам эмигрантами «третьей волны». Вот его интервью с Э. Лимоновым, живущим ныне на Западе («Огонек», 1990, № 7). «Опубликовать хотя бы строчку на Родине не удавалось, — читаем мы, — мешали фривольное, так скажем, содержание и непривычность манеры. Зарабатывал на жизнь поэта ремеслом портного»... За границей написал «скандальный роман» — «Это я — Эдичка». И вот эта беседа. На вопрос В. Ерофеева: «Вы приехали из Франции в чужую страну, да?» Э. Лимонов отвечает: «Да, как ни странно... И я тоже удивлен, что она мне кажется такой чужой». «И никакого чувства сентиментальности, никакого родственного чувства по отношению к ней?» — следует вопрос. «Какие-то затаенные старые воспоминания есть, но я могу только честно признаться, что думаю: неужели я мог здесь родиться?»

Считая себя не религиозным, Эдичка далее рассуждает: «Христианство — религия, прибывшая в русские снега с Ближнего Востока совершенно неизвестно по какому поводу. Кстати, одно из несчастий России, по-моему, в том, что религию в свое время выбрали не ту». Об этом жалеет не один только Эдичка.

Помню, по телевидению (вскоре после землетрясения в Армении) показывали «сюжет»; А. Битов беседует с двумя армянскими писателями на их земле. Говорил один Битов, те только изредка вставляли два-три слова. И о чем же, о ком говорил? О Нарекаци. Смысл слов был такой: вот, почитайте Нарекаци, как он гвоздит себя: я дерьмо, я дерьмо. И с таким напором, самоуверенно сочинитель повторял это, как будто речь шла о каком-нибудь его коллеге из «Апреля», а не

о великом средневековом поэте — духовном подвижнике, его человеческой трагедии от мучительного разрыва между идеалом и невозможностью жить по нему, осуществить его в своей земной жизни. О, это наглое, бескультурное невежество, выдающее себя за высший интеллектуализм! А тот же Эдичка из Парижа в той же беседе изрек о своем кредо: «Дестракшн из криэйшн» (разрушение и есть созидание). Вот эти разрушительные инстинкты и находят благоприятную почву «в этой стране», братаясь с чертенятами из какого-нибудь телевизионного «Взгляда», с духовными наркоманами всех сортов, с русским холуйством и слепотой, с бездуховностью властей предержащих.

Вот, например, наступил в конце сентября 1989 г. всенародный православный праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. И что же сделала, скажем, «Литературная газета»? В самые дни Воздвижения, 27 сентября 1989 г., она напечатала опус А. Вознесенского «Из жизни крестиков», где автор на целой странице чертовски изощряется в глумлении над Крестом Животворящим, святыней христианства, символом страданий Господних, искупления наших грехов. Но что до того модному стихотворцу, когда за невиданное кощунство он получил Государственную премию СССР (в поэме «Авось» автор заставляет героиню, молодую католическую монахиню, проклинать Богоматерь: «Рада я, что сын твой издох»). И никто не возмутится, не ответит этому богохульнику, особенно наши ученые «духовники». Может, потому, что братски сходятся с Вознесенским в религиозном экстазе. Сошлись же они, например, в оценке покойного академика А. Д. Сахарова, которого Вознесенский назвал «Андреем Первозванным», Д. Лихачев — «пророком», а С. Аверинцев — «праведником».

Автору так называемой поэмы «Из жизни крестиков», надеюсь, известны такие действа, как шабаши у перевернутого креста. Об этом недавно писала газета «Комсомольская правда» (9 января 1990 года). В польском городе Яроцине, в столице ежегодных так называемых фестивалей хард-рока, устраиваются зловещие черные мессы. На месте сборища их

участников устанавливается перевернутый крест, символизирующий служение сатане. Ровно в полночь сатане приносится кровавая жертва. В газете сообщается, что в жертву пока еще приносятся только животные. Одним из главных источников этого культа называется рок-музыка, особо агрессивные ее группы, с текстами прославления сатаны (кстати, некоторые из таких групп под шум советской газетной рекламы выступали и в нашей стране). Да и свои доморощенные сатанисты уже действуют, и не где-нибудь, а в самом православном храме. В газете «Правда» (14 января 1990 г.) сообщалось, что в Москве, в церкви Петра и Павла, бесчинствовала шайка с гитарами, бутылками. «За один вечер старинный русский храм заставили пройти все стадии унижения. Молча взирали святые на пьяный разгул, завершившийся рок-дискотекой возле алтаря». «Кодекс Сатаны» с проповедью, действенностью жестокости, насилия, мстительности вызывает отпор общественности в других странах. У нас же — плюрализм. У перевернутого креста идет сбор поистине сатанинских, не знающих удержу в своих разрушительных инстинктах сил, и это выдается за благотворность, за великий успех перестройки.

Заметы духовные

Дело было в писательском Доме творчества, в Голицыне. Я читал в своей комнате газету «Комсомольская правда» от 21 января 1990 года, когда кто-то постучал в дверь. Вошел поэт Т. с палкой в руке. Потоптавшись около стула, долго усаживался в кресло, спросил, что читаю.

— Да вот воспоминание о Ленине «Он разбудил Россию», статью Горького.

Прочитал ему разговор Горького с Лениным. «Я спросил: кажется мне это или это он действительно жалеет людей?

”Умных — жалею. Умников мало у нас. Мы — народ талантливый, но ленивого ума. Русский умник почти всегда еврей или человек с примесью еврейской крови”».

Выслушав это, Т. хитровато, смущенным взглядом уставился на меня. Запрыгали губы от заикания, наконец выговорил: «я татарин». Долго выговаривал, с зубным пристуком, что сестра отца была татаркой, а отец русский. Я не понял, почему он татарин, если отец русский, и, значит, тетка не татарка.

— А насчет ума у русских — это верно, — реагировал Т. на прочитанное мною. — Я не умный. Этого у меня нет. Но когда пишу стихи — сам себе удивляюсь, — покачал он головой и с простодушным довольством указал глазами вверх.

Через час мы сидели вместе в зале и смотрели телевизор. Оборотясь боком ко мне, держась за палку, он прыгающими губами выговаривал вполголоса: «Как мог Горький, русский человек, согласиться с Лениным? Как это — русский — не умный? А Ломоносов, а Вернадский? В конце концов, и Мережковский был неглупый человек».

Засело, видно, что-то. А может быть, перемена оттого, что в это время (26 января 1990 г.) в программе «Взгляд» показывали стычку в московском Доме литераторов «боевиков» с заседавшими там литераторами из пресловутого «Апреля». Телезрителю объявили, что учинившая в Доме литераторов драку группа неизвестных во главе с неким Осташвили (который называет себя Смирновым) представляет собою доказательство зловещего разгула у нас антисемитизма, русского фашизма. До этого почти все советские газеты, зарубежная печать и телевидение расписывали и показывали этот «фашистский» сюжет (в зале удивительно вовремя оказалось множество иностранных корреспондентов, телекамер). Настолько была видна, шита белыми нитками инсценировка, провокационность этого представления (с театральными выкриками в зале), что только дурак мог поверить в этот злонамеренный спектакль. Не потому ли засомневался Т. в глупости русских, что слишком уж нагло и глупо действовали против выдуманного «русского фашизма» «апрелевцы» и защищавшие их молодые интриганчики из «Взгляда». Бог весть почему, по глупости ли русской, по непонятному ли ему самому поэтическому воображению Т.

недавно вступил в «Апрель», в это гнездо активных «прорабов перестройки», и теперь ему предстояло дотягиваться до уровня этих «умников».

* * *

В Кордове, знаменитом испанском городе, советские литераторы осматривали старинный дворец. Рядом со мною, у перехода в другой зал, стояли двое из нашей группы, разговаривая о своем, к ним подошел незнакомый человек, заговорил по-русски. Я слышал, как он их спросил: «Вы из Советского Союза?» — «Да. А вы?» — «Из Израиля». Я видел реакцию на это слово только одного из них, стоявшего лицом ко мне, реакцию настолько захватывающую, что я забыл о присутствии другого. А тот буквально рванулся к сказавшему, что он из Израиля. Голоса слились, но я разбирал: живет в Израиле с 1939 года, приехал туда из Польши. С каким упоением, сияющим лицом смотрел на него, слушал его наш соотечественник! Он поедал его глазами, такими восторженно-жадными, что мне стало даже не по себе — может быть, от инстинктивной зависти, от нашей русской неспособности к такому родству на земле.

Да, теперь я видел своими глазами и знаю, что такое еврей для еврея. Никакие книги, никакие статьи не заменят мне этих нескольких минут, свидетелем которых я случайно был. Разговор их продолжался каких-нибудь пять минут, но за это время ими было сказано все. Израильтянин скрылся в другом зале, а эти двое, оживленно говоря между собою, все еще были под впечатлением встречи. Меня они, конечно, не замечали, как, видимо, и все другое, не относящееся к происшедшему.

* * *

Известно, что до сих пор ни в СССР, ни в США, ни в ФРГ, ни в какой другой стране не обнаружено подлинника так называемых секретных документов к советско-герман-

скому договору от 23 августа 1939 года. Эти секретные документы связываются с тайным сговором Сталина и Гитлера о «сфере интересов», связываются с присоединением Прибалтики к СССР. В конце декабря 1989 года Съезд народных депутатов после выступления председателя комиссии по изучению этого вопроса А. Н. Яковлева ответил большинством голосов согласием на предложение комиссии констатировать существование этих «секретных протоколов». Любопытно, что главным аргументом их достоверности называлось то, что последующие события развивались по сценарию этих протоколов.

Но почему же тогда не признаются достоверными «Протоколы сионских мудрецов»? Ведь действительно же то, что в них говорится, точь-в-точь подтверждается последующими событиями, ну хотя бы в нашей стране.

* * *

Гостиница в приморском городке, в Малайзии. На экране телевизора — цветная обезьяна, бегущая за девушкой по улице. Девушка изо всех сил бежит, страшась преследовательницы, та нагоняет ее, вот-вот настигнет, девушка подбегает к дому, стучит в дверь и только успевает вбежать внутрь дома, как дверь захлопывается перед обезьяной... Что за чушь! Выключить.

За открытым окном шум муссона, обложившего со вчерашнего дня, кажется, все небо, весь мир, и нет ему конца. Водные струи стучат о край балкона, зябко вздрагивает верхушкой долговязая пальма внизу, у серого, потерявшего вчерашнюю голубизну бассейна. Скучно.

На экране — та же самая цветная обезьяна, колотящая палкой в дверь, куда скрылась девушка. Той кажется, что ужас прошел, она в безопасности, но вдруг слышится глухой стук наверху. Это обезьяна хочет проникнуть в помещение через крышу, она что-то там возится, взламывает, и вот сверху прыгает на пол комнаты, оказавшись перед девушкой. Та в ужасе бежит, через дверь — на улицу.

Опять эта чушь.

Опять шум муссона, от которого некуда деться.

Снова на экране обезьяна, бегущая за девушкой по улице. Вот она настигает ее, настигла, та вырывается, бежит. Опять погоня.

Идиотизм какой-то.

Кажется, и во всей Малайзии сейчас одно и то же: эта цветная обезьяна, этот неисходный, пропитывающий душу тоской муссон...

...Вскоре, после возвращения из Малайзии, я поехал в родные мещерские места на Рязанщине. И по-особенному как-то понял, почему мне было неуютно там, в далекой, на краю света, стране. Там не было памяти. Не было того, что было здесь: могилы отца, родительского дома, где живут теперь чужие люди, не было этого леса, куда мать в молодости зимой ездила за дровами и однажды обморозила ноги, не было этого яра над рекой Пра, на котором мы стояли с дядей Алексеем Анисимовичем в день его шестидесятилетия, не было всего того, что наплыло здесь на меня и стеснило душу.

Вот уж поистине, как сказал старый русский поэт: «ум любит странствовать, а сердце жить на месте».

* * *

В своих воспоминаниях «Ленин и Сталин» (журнал «Слово», 1989, № 11) Троцкий приводит слова Н. Крупской, сказанные в 1926 году: «Если б Володя был жив, он сидел бы сейчас в тюрьме».

Ныне, в период «перестройки», появилось много литературных «альтернативных» историй о Ленине, в частности пьесы Шатрова, выдумывающего «сюжеты» с участием живого Ленина уже после его смерти: как «воскрешенный» Ильич спорит со Сталиным о нэпе, о путях социализма в стране и т.д. Но вот сюжет, вполне возможный по предположению Крупской: Ильич в тюрьме, за решеткой. Конечно же упек его туда злодей Сталин. И вот злодей с «плотно зажатой в зубах трубкой, со зловещей желтизной глаз» (как

описывает Сталина Троцкий) приходит в тюрьму, останавливается у клетки и тяжелым взглядом всматривается в угол, куда спрятался Ильич. «Мучается старик, — произносит диктатор с вынутой изо рта трубкой. (По версии Троцкого, Сталин так говорил о Ленине, который просил у него яд для избавления от «нового удара».) Услышав вроде бы сочувственное слово своего бывшего ученика, Ильич выбегает из угла, бесстрашно, с пальцами под мышкой, встает перед железными прутьями, отделяющими его от злодея с тигриной, «зловещей желтизной глаз», бросает патетически: «Вы знаете, товарищ Коба, за что я Вас так ценил архивысоко!..» (Слова Троцкого в указанных воспоминаниях: Ленин «несомненно высоко ценил известные черты Сталина: твердость характера, упорство, даже беспощадность и хитрость — качества, необходимые в борьбе и, следовательно, и в штабе партии»). «Нэ надо, товарищ Лэнин, — с досадой прерывает страшный гость заключенного. — Как учит наш вождь и учитель товарищ Лэнин, мы должны быть скромными и не зазнаваться. Коммунистический привет Вам от ленинской гвардии.

— От Льва Давидовича, от Григория, от Льва Борисовича? — От них, — загадочно, с неопределенной полуулыбкой подтверждает гость и интересуется, нет ли каких просьб у дорогого Ильича.

— Почему я здесь нахожусь один. А где наши классовые враги? — энергически вопрошает заключенный.

— Мы претворили в жизнь Вашу идею, дорогой Владимир Ильич, Ваш завет воспитывать народ в концентрационных лагерях в духе преданности пролетарскому делу, — заверяет гость, потягивая трубку».

Ситуация прямо-таки шекспировская, не то что политический галдеж в «пьесах» Шатрова, даже и с такими выходками его героев, как бросок Ленина в ноги Троцкому, когда речь идет о подписании Брестского мира. Но надо признать, что если и есть что-то шекспировское в действующих лицах, то только в одном из злодеев — в этом мрачном посетителе тюрьмы.

* * *

«Только бы глаза смотрели. И ничего больше не надо». Это сказала женщина о своем умершем муже — писателе В. И. Так она его любила. Я вспомнил это, когда прочитал в посмертной книге его статей слова о том, что единственное, чем устраняется одиночество человека на земле, — любовь мужчины и женщины. Ну что могут сказать эти логические, общие слова? Там любовь, неисчерпаемый мир живого чувства, родства душ, а здесь — просто слова, знаки.

Так и остается в лучшем случае словами, знаками все, что уходит с человеком из жизни. Невыносимо, если в это вдуматься.

* * *

«...Видимым же всем и невидимым». И это «невидимое» реальнее, чем видимое, такая изменчивая, зыбкая, ускользающая, как песок сквозь пальцы, внешняя жизнь наша с ее призраками, иллюзиями.

* * *

Это было что-то ужасное, почти безумное. Особенно было невыносимо по ночам: я смотрел открытыми глазами в темноту и чувствовал, что некуда мне деться от этой нависшей надо мной необъятной громады, которая вот-вот раздавит меня. Этой необъятной громадой был для меня Бог. Умом я понимал, что Бог не может раздавить меня, что Он есть любовь и благо, но от того не проходил страх быть раздавленным.

Постепенно этот страх прошел, но наступило другое. Я как бы со стороны мог наблюдать, всматриваться, как во мне борются, разрывают надвое, противоположные силы, совершенно не зависимые от меня. Находило такое душевное беспокойство, что я не мог быть на месте, непременно надо ходить, двигаться, как будто можно было уйти от этого состояния.

А потом все это ушло, и открылось что-то неизъяснимо сладостное. Для меня это и теперь загадка. Откуда это? Почему? Все преобразилось для меня в мире, в людях. Все соединилось этим неожиданным для меня переживанием. В детях было что-то глубоко трогательное, не «от мира сего». Я мог подумать о знакомом человеке, за тысячи верст от него, и в душу проливалась радость от желания сделать для него доброе. Помню, для «Литературной газеты» я хотел написать статью на «нравственную тему», чтобы вложить эту свою любовь. Тогда, в начале 60-х годов, «внеклассовая», «внесоциальная» нравственность была вроде скрытой «идеологической диверсии», в этом потом и обвиняли меня долгие годы. Мне было жаль людей, не познавших того, что открылось мне. Почему только мне, не всем? Потом я, видно, расплатился за свой вопрос, когда оскудел во мне этот непостижимый дар. Но тогда, в течение целых трех лет, я поистине жил с благодатью в душе. И сейчас я удивляюсь, вспоминая, какой же может быть неиссякаемой эта сила! Казалось мне, ее хватит на всех. Тогда в общей, коммунальной квартире жила вместе со мною семья Лины Ивановой, работавшей, как и я, одно время в редакции газеты «Литература и жизнь» (ныне «Литературная Россия»). Она тяжело болела, умирала от белокровия. Однажды я зашел к ней, пробыл около нее много часов. Не помню, о чем мы говорили, но, видно, передавалось в моих словах то, чем я жил тогда, эта переполненность чувством волнующего родства с людьми. Потом больная говорила своим родным, что в течение всех этих шести часов нашего разговора она даже забыла о своей боли, и, вспоминая теперь эти слова, я понимаю, сколько же мне давалось тогда свыше.

И много было таких моментов в моей тогдашней духовной жизни. Вот раздался звонок, открываю дверь, сердце дрогнуло от жалости. В дверях стоял брат, один рот улыбающийся, сам худой, лысый, беззубый.

— Входи, Боря, входи.

Ехал он тогда из деревни, через Москву, в северный город искать работу. Неустроенная семья, сам не знает, что ждет

его в незнакомом городе. Был канун Нового года, и всю новогоднюю ночь мы просидели с ним за столом. Поражаюсь теперь, вспоминая, сколько было во мне этой особой, сострадательной любви, которую, казалось, я мог перелить в чужую душу. Я видел, как постепенно оживает закаменевшее лицо младшего брата, и когда потом, уже утром, часов в пять, вышли на улицу и пошли по Воробьевскому шоссе к университету — на душе было так же светло, как в воздухе от порхавшего легкого пушистого снега.

Я был тогда на таком духовном подъеме, что у меня даже появилась мысль «идти в люди», ходить чаще в редакции (чего я всегда избегал), чтобы нести в свет то, что даровано мне и что должно распространяться среди других, независимо от моей малости. Со стороны это было, конечно, странно, смешно, но я об этом не думал.

Жил я тогда без телефона, и в подъезде дома так заговаривался по автомату, помню, с Борисом Викторовичем Шергиным, что на меня стали смотреть подозрительно «общественные активистки» дома. Как-то одна из них даже потребовала документы — это было время, когда Москва полнилась слухами о таинственном незнакомце, который под видом «работника из Мосгаза» проникал в квартиры и совершая садистские убийства (впоследствии им оказался армянин, певец из Оренбургского театра оперетты). Как не видна, выходит, окружающим наша духовная физиономия и как легко любому угодить в злодеи.

Иногда я приезжал в Переделкино к знакомому литератору. У матери его была там половина деревенского дома (на противоположной писательскому Дому творчества стороне железной дороги). Девяностолетняя старушка была строго верующей, в угловой комнатке ее всегда теплилась лампада. В доме в разных местах — на этажерке, на сундуке — лежали десятки номеров «Журнала Московской патриархии», я брал из них первопопавшиеся и с чувством умиротворения читал далеко за полночь.

Однажды я пошел в церковь за железной дорогой, в Переделкино, около Патриарших палат, и долгое время потом

упивался в воображении, как я бросил свою литературу, все, что связано с нею, постоянно хожу сюда, стою или даже сижу на ступеньках паперти вместе со старушками, сливаюсь со всеми в церкви. Представлял, как удивятся мои знакомые, узнав о странной истории со мной, но было что-то желанно уязвляющее в этом отвержении.

Духовный переворот совпал с выходом, в самом начале января 1963 года, моей книжки «Время врывается в книги», где я допустил легкомысленные атеистические выходки, со ссылкой на цитаты из других авторов (Плеханова, Л. Леонова). Тогда-то, до выхода книжки, совсем еще недавно, каких-нибудь два-три месяца назад, это не казалось мне легкомыслием, напротив, я был убежден, что затерянный во вселенной человек и есть абсолютная ценность, и воображаемому Богу отчуждается все то лучшее, высокое, что есть в человеке. И вдруг стало ясно: как это плоско, кощунственно. Самое ужасное было в том, что уже невозможно было ничем поправить это кощунство. Ибо сказано: «всякий грех и хула простятся человекам; а хула на Духа не простится человекам» (Евангелие от Матфея, гл. 12, 31). Меня тянуло к Евангелию. И я боялся брать его в руки, зная эти страшные слова. Отравлялась та, не сравнимая ни с чем, познанная радость, о которой я говорил. Кто может снять грех за хулу, чтобы не тяготило это отъединение? Хула была несознательная, поэтому, может быть, мне и простилось.

После трех, приблизительно, сокровенных лет потянулись духовные будни. И было то, что теперь кажется помрачением, а тогда было слепотой. Сам я не помню, но верю своему университетскому товарищу, который совсем недавно рассказал, как в середине 60-х годов (это было уже после переворота во мне) я называл глупостью, дикостью то, что он ездил в Троице-Сергиеву лавру к мощам. Мне даже трудно поверить, что я говорил это. Но удивительно ли для детей единственного в истории и в мире атеистического государства? Ведь тот же мой университетский товарищ, с малолетства верующий, с ужасом вспоминающий годы преподавательской работы в Комсомольске-на-Амуре, где нет ни одного

храма, тоже совсем недавно огорошил меня признанием, что в университетские и в последующие годы продолжал считать, что Бог возникнул в результате диалектического развития материи. Из таких чудовищных химер выкарабкивались мы к свету.

Со временем все более оскудевали духовные радости, редко уже когда испытывал то невыразимо ликующее чувство, может быть, потому, что слишком погряз в литературном эгоизме. Русская литература, если это призвание человека, всего «съедает» его, делает бедным для всего другого в жизни. Это можно было бы считать своего рода сомнамбулизмом, если бы не тайна самого слова. Оправданием здесь может служить то, о чем сказал один подвижник духа: капля крови мученика и капля чернил талантливого писателя могут быть одинаково драгоценны. Такое сравнение показалось бы кощунственным, если бы оно не принадлежало самому мученику. И это открывает нам назначение слова, высшее его предназначение. Не по нашему достоинству такое слово для большинства из нас, пишущих. Но зная весьма скромную цену своей литературной работы, скажу без лукавства, что после совершившегося во мне переворота ни единого слова не писал вопреки тому, что мне открылось.

Помню, редактор сборника, в котором должна была пойти моя статья, снял ее, по его словам, «бесполезно было что-то поправлять, весь дух статьи такой, что нельзя давать». Этот «дух» и вызывал почему-то особенное озлобление многих критиков. Собственно, и борьба глубинная в мире идет именно духовная. Человек сам по себе ничто, «ложь», как говорится в древней книге; духовность его начинается с того, когда он осознает даруемое ему свыше, и это — самое неистребимо реальное в нем.

* * *

Когда я был в Веймаре, в маленьком дворце, где жил Гете, то почему-то больше думал не о великом немецком поэте, а о его молодом секретаре Эккермане, который взирал на

Гете как на олимпийского бога, жадно внимал каждому его слову и записывал для потомков. А олимпийский бог, изрекая со своей высоты нечто важное для истории, для потомков, никогда не снисходил до того, чтобы поинтересоваться судьбой своего беспредельно преданного поклонника, даже не догадывался, что молодой человек не имеет средств для женитьбы на любимой девушке, жертвует счастьем ради кумира. Да и после смерти Гете судьба не улыбнулась его секретарю. Несчастный Эккерман задевает во мне что-то более глубокое, «экзистенциальное», чем непроницаемо величавый его хозяин.

Сын Наполеона I — Наполеон II, умерший в 1832 году в возрасте 21 года, сказал о себе перед смертью: «Рождение и смерть — вот вся моя история». Как это трогательно в сравнении с оглушительной историей его отца, о котором нагромождены горы книг, неумолкаем барабанный грохот славословий. Но действительно, «от великого до смешного один шаг». Гадают до сих пор, сортируют «версии» смерти Наполеона I: отравила ли его мышьяком любовница графиня Монтолон, действовавшая совместно с мужем, графом Монтолон; умер ли он от рака, от гормональной болезни, которая постепенно превращала его в женщину с покатыми плечами, маленькими ручками и ножками, круглой грудью, атрофированными органами деторождения и т.д. Ничего пронзительного в этом последнем акте человеческой жизни. Никакого соучастия к этому «сверхчеловеку». Но почему так трогает «умозаключение» страшно исхудавшего от смертельной болезни Канта: легкое тело не может тяжело упасть. Может быть, потому, что живое человеческое чувство, детская боязнь боли сталкиваются с абсурдом привычной рационалистичности философа.

* * *

По себе знаю: если первый (по Хомякову) подвиг — «в борьбе и сраженье» — мне еще по плечу, то для второго, высшего подвига — «в любви и мольбе» — я слишком слаб,

совершенно негоден. Двух только людей я знал в жизни, несших этот непосильный подвиг. Это — мать моя, с ее безграничным терпением, с готовностью «душу свою вынуть» ради нас, детей, ангел и душу унес ее как душу праведницы, во сне. И другой человек — Александр Федорович Мартынов, с которым я впервые встретился, когда ему было уже шестьдесят пять лет, за десять лет до его смерти. До пенсии он был учителем физики, многое перенес в жизни. Но судьбе мало было этого: под конец жизни — новый страшный удар: погиб сын, в Курске, на железнодорожной станции, сорвавшись с подножки тронувшегося поезда. Я послал ему письмо, где мог утешить только тем, что было известно ему, как человеку глубоко религиозному: Бог посылает испытания тому, кого любит. Сказать это, конечно, легко, но я видел, как он сдал после этого черного дня.

Долгие годы писал он богословский труд, в котором, судя по разговору с ним, доказывал существование Бога с помощью данных науки, в частности проявление божественной энергии, связи ее с человеком он видел в силовом поле. Намеки на это поле он находил в Библии. Мне не совсем понятна была эта теория, я считал, что «дух веет, где хочет», не требуется строго научных усилий, чтобы через это поле установить связь с Богом, иногда Он напоминает о себе нечаянно, как тихое веяние. Но это, кажется, не было и божественной энергией Паламы, а было связано именно с научным постижением «силового поля». Очень жалею, что в редкие, недолгие наши встречи я так и не попросил дать мне почитать хотя бы отрывок из его труда, хотя с ним его и могло не быть. Недавно от своего университетского товарища, Сергея Морозова, близко знавшего Александра Федоровича, я услышал, что жена покойного сожгла его рукописи. Сожгла из-за страха, уже в наше время, как бы не попасть в тюрьму. За рукопись о Боге.

Последний раз я видел Александра Федоровича в начале августа 1982 года, за две недели до его кончины. Я приехал в Щигры (в шестидесяти километрах от Курска), где он жил, попрощаться с ним, умиравшим. В квартире меня встретила

его жена, Надежда Васильевна, и пока мы разговаривали, я невольно прислушивался к другой комнате, где он лежал, но было тихо. Чувствовалась какая-то отделенность от происходившего там. Когда мы вошли к нему, он не спал; жена, нагнувшись, сказала ему о моем приезде, и я услышал, как он проговорил: «хорошо... хорошо». Она стала его, как дитя, занимать тем, что я привез, когда назвала «репейное масло», опять послышалось «хорошо». Когда-то в Москве мы купили с ним по дюжине, в коробке, пузырьков с репейным маслом и, уже выходя из магазина, обнаружили, что с ним нет его коробки, где-то оставил и позабыл. Он нисколько не огорчился, а был даже рад этой пропаже: «Достанется хорошему человеку, будет зажигать лампаду перед иконой». С таким добрым чувством сказал, что и я поверил в это. Теперь я смотрел на неузнаваемое не лицо — личико с почти плоским ниже подбородка одеялом и не находил слов, чтобы что-то сказать.

Потом мы сидели с Надеждой Васильевной на диване, напротив его кровати, и говорили о самом обыденном, не относящемся к нему, может быть, обрывки этого обыденного, доходившие до него, и были последней ниточкой, связывавшей его с жизнью, а может быть, и надеждой.

Ночью, лежа в соседней комнате, я вспоминал свою, десятилетней давности, поездку к нему в его родную деревню Астахово (на Смоленщине под Холм-Жирковским), где он купил по дешевке ветхий дом и жил здесь в летние месяцы. Приехали мы тогда к нему вместе с моим университетским товарищем, Сергеем Морозовым, который был в давней дружбе с ним и много говорил мне о нем. Свернув с большака, через поле густых, до колен, трав, берегом Днепра (в этих местах — верховье Днепра), долго мы брели, разговаривая, к деревне, пока не подошли к одиноко стоявшему дому и не увидели шедшего к нам навстречу пожилого человека в соломенной шляпе. Мой спутник, выкидывая вперед негнущуюся ногу (после ранения в войну), поспешил к нему с шутливым торжественным возгласом: «О, мой друг!» Друзья обнялись, трижды поцеловались. Хозяин так благодушно, приветливо смотрел на каждого из нас, что сразу же исчез-

ла обычная при первой встрече натянутость, и я почувствовал себя легко и свободно.

Мы немного походили вокруг дома, по полю, вернулись, постояли около огороженного, у самого крыльца, холмика с деревянным крестом на нем. Тут я узнал, что в войну в этом оккупированном немцами районе был выброшен наш десант, но солдаты даже не успели приземлиться на парашютах, их всех расстреляли в воздухе. Из тех, кого жители подобрали ночью и тайно похоронили, были и эти безвестные, под этим холмиком с крестом.

После обеда мы ходили купаться, лежали на теплом песке, и Александр Федорович вспоминал довоенные годы, как тогда здесь, вот у того омута, ловили сомов на «квок» (то есть с имитацией кваканья лягушек, которыми любят лакомиться сомы).

На другой день приехала жившая у Александра Федоровича и куда-то уезжавшая на время его сестра, мрачноватая старуха. Пока мы разговаривали, она чистила рыбу, и когда закончила, между нею и братом произошел любопытный разговор. «Ты же знаешь, что я люблю голову язя. Где же она? Куда ты ее выбросила?» — спрашивал брат, нагнувшись над столом, где лежали вычищенные рыбины. «В яме, на помойке, — грубо отвечала сестра. — Пойди и поройся там. Все у тебя не как у людей!» «Эх, напрасно ты это сделала», — с легкой досадой говорил Александр Федорович, отходя от стола. Сестра еще что-то говорила вздорное, ее, видимо, раздражали не только чудачества брата, но и сама кротость его голоса, его беззлобие.

Вскоре сестра уехала, а приехала Надежда Васильевна, жена Александра Федоровича, подолгу жившая в другом городе с тяжело больной матерью. Особенно запомнился один вечер в избе. Мы с Сергеем Морозовым сидим на лавке, они, муж и жена, на стульях. Он играет на гитаре «Славянку», дрожащие, больные руки его, успевающие перебирать струны, казалось, крепли на глазах под напором торжественно-бодрых звуков. Потом они вместе пели романс, по-домашнему просто и задушевно.

О религии, богословии Александр Федорович мог говорить сколько угодно и с кем угодно. Делал он это открыто, без всякой осторожности, и попадался на этом не раз. Как он мне сам рассказал, однажды в поезде он начал доказывать соседу по купе бытие Божие, а оказалось, что этот сосед — полковник КГБ, который, выслушав проповедника, стал грозить ему за «антисоветскую пропаганду» пятьдесят восьмой статьей, на этом, правда, дело и кончилось.

Удивил он меня, когда начал мне читать свои стихи. Вот уж чего не ожидал. Но тут же все выяснилось: все стихи о Христе, ради этого и написаны, хорошо, плохо ли — это ему было безразлично. С мягким укором заговорил о Пушкине: Бог наградил его редким даром, и почему он не посвятил его целиком прославлению Творца? С этим я не мог согласиться, и по неосторожности сказал, что в стихах «мирских» может быть больше от «духа веющего», чем в стихах риторических на религиозную тему. «Это ты о моих стихах говоришь?» — рассмеялся он в ответ, но нисколько не усомнился в их пользе.

Иногда, и в тот наш приезд к нему в деревню, и в дальнейших наших встречах в Москве, я был несдержан, резок в нашем разговоре, и всякий раз чувствовал, как недоступна мне его выдержанность. Точнее это назвать кротостью, но не бессильной, а выработанной жизнью. А жизнь его была тяжкой: несколько лет лагерей из-за религиозных убеждений, уход первой жены, смерть сына, переезды из одного города в другой в надежде обменять жилье, пока, наконец, из коммунальной каморки не перебрался в отдельную квартирку в районном городке. Бывая в Москве, он не упускал случая зайти в библиотеку, однажды пришел из Сокольников, с международной книжной выставки, очень довольный тем, что сделал: там он среди выставленных немецких книг выбрал нужную ему, уселся тут же, в зале, за стол и сделал выписки. Все для того же богословского сочинения.

В последний свой приезд в Москву Александр Федорович заболел, и я навестил его в больнице. Мы стояли внизу, он, рассматривая принесенные мной грейпфруты, говорил: «Это

полезная вещь». Он и в халате не походил на больного. Тогда он и сам не знал, что ожидает его. Позже мне стало известно, что он лежал в Смоленске в больнице, с болезнью крови, без разрешения врачей уехал оттуда к себе в деревню, не верил, что серьезно болен.

И вот эта последняя встреча с ним. Ночью, казалось, вот-вот я услышу вскрик за стеной, но там было тихо. Утром я пришел в его комнату, он не спал. Поднял на меня глаза, тихо спросил: «Как ты спал? Как себя чувствуешь?» Слушать это было невмоготу.

Днем приходил его знакомый священник, молился перед кроватью, я долго разговаривал с ним.

Потом бродил по берегу озера, за железной дорогой. Я уже знал это состояние по прошлому, по смерти дяди моего, Алексея Анисимовича, и не дивился охватившему меня безразличию. Знал только, что это поможет мне самому умирать, когда придет время.

ЧАСТЬ III

ТВЕРДЫНЯ ДУХА

ПРАВОСЛАВИЕ И РОССИЙСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ*

Биограф Серафима Саровского Н. А. Мотовилов оставил пронзительный рассказ о том, как слова старца заставили его, долгие годы лежавшего с неподвижными ногами, встать и пойти.

А вот любопытное место из книги «Воспоминания о Югове» (сборника воспоминаний разных лиц о писателе). Поэтесса, по ее словам, «обезноженная» болезнью, рассказывает о таком случае: однажды писатель Алексей Югов, врач по профессии, в разговоре «протянул ко мне руки, быстро и повелительно сказал: ''Встань-ко! — и засмеялся. — Знаю, знаю, что не поднять, а хотелось бы!''»

Вот в этом и отличие, пропасть между словом истинно духовным и литературным. В первом случае слово становится действием; во втором — словесностью.

Ныне причисленный Русской Православной Церковью к сонму святых епископ Игнатий (Брянчанинов) писал: «Бывали в жизни моей минуты или во время тяжких скорбей, или после продолжительного безмолвия, минуты, в которые появлялось в сердце моем «слово». Это «слово» было не мое. Оно утешало меня, наставляло, исполняло нетленной жизни

* Из выступления на состоявшейся в конце 1990 года на Капри конференции, посвященной религиозно-культурным проблемам.

и радости — и потом отходило. Случалось записывать мысли, которые так ярко светили в сии блаженные минуты. Читаю после, читаю не свое, читаю слова, из какой-то высшей среды нисходившие и остающиеся наставлением». По этой причине святитель считал, что его наставления — собственность не его личная, а всех верующих. По слову одного из отцов Церкви, Бог — это центр круга, чем ближе мы с точек окружности к этому центру приближаемся, тем более сближаемся друг с другом. Выступавший перед нами епископ Никандр бескомпромиссно противопоставил вертикальную линию самопознания — связь с Богом — горизонтальной — связи с культурой, не допуская абсолютно никакой возможности их взаимопроникновения. Другие выступавшие из числа литераторов, защищая культуру, видят в ней проводника божественной просветленности. Конечно, «дух дышит где хочет». И этой божественной просветленности в Пушкине неизмеримо больше, чем в его оплошном критике Владимире Соловьеве (Пушкин — не «философ»!), в богословских рационалистических построениях «всеединства» этого философа, в его премудрой «Софии». «Мысли о религии» Паскаля больше и глубже, может быть, дают почувствовать присутствие благодати в душе человека, нежели фундаментальные логические доказательства бытия Божия в богословской системе Фомы Аквинского. Или хотя бы из малых нынешних примеров. Поистине дар Божий в стихах Н. Рубцова, не искушенного в духовной эрудиции. Но вот ученейший филолог, знаток раннехристианской истории С. Аверинцев, он же автор мертвых «духовных стихов» в «Новом мире».

И все-таки культура, даже и с благодатными признаками, непомерно далека от религии. Духовно проникновенны пушкинские «Отцы пустынники и девы непорочны», но верующие обращаться будут к самой молитве Ефрема Сирина, а не к этому поэтическому, пусть и гениальному, ее переложению. Трогательна лермонтовская «Молитва» с ее «есть сила благодатная в созвучье слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них». Но этой как бы нечаянно сказанной «пре-

лестью» и бесконечно далеко это стихотворение от молитвы. Этой прелести было много в русской литературе, хотя один из западных писателей и назвал ее «святой». Агиографические сборники свидетельствуют, что святые, подвижники приходили к вере в результате духовных переворотов, внутренних прозрений, таинственных озарений. Но странно было бы фантазировать, что это могло быть под влиянием художественной литературы.

Более того, русская литература в лице даже ее гениев уводила от истинного центра круга. Есть что-то символическое в жуткой одинокой могиле Толстого на краю оврага в Ясной Поляне. Великий писатель сам отделил себя от православного кладбища (на котором похоронена и его жена, Софья Андреевна), от православного народа, но кто больший авторитет в оценке церковного отпадения Толстого? Святой Иоанн Кронштадтский, не пожелавший быть с «богоотступником» в почетных членах ученой корпорации, или либерально-радикальная интеллигенция, славословившая Толстого за его обличение Православной Церкви?

Философствующая интеллигенция и сама внесла немало духовной смуты. Сейчас говорят о возвращении к нам русских религиозных мыслителей, пишут о «религиозном ренессансе» десятых и даже начала двадцатых годов. Не говоря уже о том, что само определение «ренессанс» понятие гуманистическое и скорее противостоит религии, чем связано с нею, философские искания десятых годов несут на себе отпечаток религиозного модернизма. В отличие от классического славянофильства (И. Киреевский А. Хомяков, К. Аксаков) с его соборностью, традиционным Православием религиозный «персонализм» русских мыслителей начала XX века не лишен антихристианских черт. Творчество религиозной мысли Бердяева сдержано в плодотворности его релятивизмом (в одном ряду с Христом у него Сократ, Магомет, Будда, Конфуций и т.д.). Гениальный умственный змий В. Розанов, как ядовитая капля химического реактива, неустанно долбил, подтачивая, разрушая самое ядро христианства, видя в Христе врага жизни, столь лю-

безной Василию Васильевичу ветхозаветной иудейской плодовитости. И об этом ни слова в тех дифирамбических статьях об этих двух мыслителях, которые охотно печатаются в нынешних газетах и журналах.

Примечательно, что степень интереса, сочувствия к дореволюционным мыслителям прямо пропорциональна их отчужденности от «ортодоксального Православия». Например, более, чем другие, связанные с ним С. Булгаков, И. Ильин уже не вызывают такого понимания, как те же Бердяев и Розанов. Но зато модным именем для либеральных, леворадикальных изданий стало имя Г. Федотова, который уверял, что идеи «черной сотни», как «русского издания или первого варианта национал-социализма [...] переживут всех нас», который за «православным самодержавием, то есть за московским символом веры [...] легко различал [...] острый национализм, оборачивающийся ненавистью ко всем инородцам». И это было написано находившимся в эмиграции в США Г. Федотовым в 1945 году, после окончания войны России с гитлеровской Германией. Не потому ли столь близок этот мыслитель либералам, что в нем можно видеть родоначальника тех лозунгов об «опасности русского православного фашизма», которые сейчас в ходу как у нас в стране, так и за рубежом?

У нас всегда было слишком много учителей из среды писателей, которые в прошлом объявлялись «апостолами», «пророками» из одной только оппозиции существующему строю, «официальной религии». Художник Нестеров в своей картине «Душа народа (На Руси)» среди сонма лиц, олицетворяющих исторический, духовный, путь русского народа, изобразил рядом стоящими Достоевского, Толстого и Вл. Соловьева — в качестве религиозно-духовных выразителей Руси. Вот уж поистине «лебедь, рак и щука» — православный, религиозный бунтарь и философствующий мистик. Достоевский не ведет, он идет вслед за Христом и в этом сливается с христианским народом Руси. Эти же двое заявляют о себе как «обновители» христианства, и либеральная интеллигенция создает вокруг этих «исканий» такую «проро-

ческую» репутацию, что даже такой, в общем-то, православный художник, как М. Нестеров, оказывается в ее власти. Перед идолищем «научного сознания» теми же прогрессистами объявляются «юродивыми» Гоголь, Достоевский, ретроградами — такие писатели традиционной веры, как Гончаров, Островский. Александр Николаевич Островский отвечал тем, кто отделял себя от Церкви, от народной веры: мы «не должны чуждаться его (народа) веры и обычаев, не то не поймем его, да и он нас не поймет».

Мы привыкли судить о России, ее истории по литературе, по книжным героям. О войне 1812 года — по «Войне и миру», о железнодорожном строительстве — по стихотворению Некрасова «Железная дорога», о Дальнем Востоке — по каторжанам чеховского «Сахалина» и так далее. Литература, собственно, закрыла реальную Россию. Гончаров, возвращаясь из кругосветного путешествия через Сибирь, был в восхищении от знакомства с тамошними людьми, начиная от таких «крупных исторических личностей», «титанов», как генерал-губернатор Восточной Сибири граф Н. И. Муравьев-Амурский, совершивший немало «переворотов в пустом, безлюдном крае», как архиепископ Иннокентий (Вениаминов), издавший алеутский букварь, возглавивший огромную просветительскую работу среди местных племен; открыватели северных путей, хлебопашцы, купцы, инженеры, охотники, чиновники, военные, в деятельности которых «таится масса подвигов, о которых громко кричали и печатали бы в других местах, а у нас из скромности молчат». Тогда же, в пятидесятых годах XIX века, развернулась историческая деятельность на Дальнем Востоке Г. И. Невельского, который был не только замечательным моряком и крупным исследователем, но и человеком государственного ума, с именем которого связано присоединение к России огромных пространств Приамурского и Приуссурийского края. Героической была жизнь не только самого Невельского, но и жены его Екатерины Ивановны, женщины удивительно самоотверженной и милосердной.

Подобные подвиги созидания не нашли места в литературе, оказалась невидимой, как подводная часть айсберга, ис-

торически деятельная сторона русской жизни. И сам Иван Александрович Гончаров, возвратившись в Петербург, занялся совсем не тем, что он увидел в Сибири, а своим Обломовым, лежащим на диване.

И другая, столь же деятельная сторона русской жизни — молитвенная — оказалась вне литературы. О современнике Пушкина Серафиме Саровском тогдашняя словесность вряд ли что и слышала.

С исторической Голгофы, с высоты исторического опыта всего пережитого нашим народом в XX веке отрезвляется наш взгляд на прошлое, его культуру, открываются глубинные, истинные духовные ценности.

С объявленной сверху «перестройкой-революцией» литература захлебнулась в общественных страстях и раздорах. Да что там литература! Оказались втянутыми в раздоры — страшно молвить — сами Церкви, и, что особенно прискорбно для нас, русских, — Русская Православная Церковь и Русская Зарубежная Церковь, которая открывает в стране свои приходы. Церковь — это, конечно, не только ее служители, высшие иерархи, а нечто более вечное и нетленное. И, если можно так выразиться, — нынешние общественные немощи ее коренятся в нас самих. Наш епископ рассказал мне о своем разговоре с известным русским писателем, который наставлял его и через него священников, Церковь: «Вы должны духовно возрождать народ». Владыка на это отвечал: «Не вы, а мы. Церковь — это все мы, не только священнослужители. От каждого зависит, будет ли духовное возрождение».

Еще недавно писатели, поэты любили говорить о себе, что они «за все в ответе». И выходило, что отвечали за все и ни за что. Ныне этим демиургам более пристало быть в ответе не за всех и за все на свете, а прежде всего за себя. Как говорил в старинное время один благородный человек в ответ на монаршее пожалование: куда мне с ними, с тысячью душ, справиться, когда я не справляюсь с одной, своей собственной душой? И уже не так сейчас диковаты, как прежде, для нас гоголевские слова, что писателю сначала надо образовать себя, а потом писать книги.

«В начале было Слово». Слово — Логос, Бог. В советской литературе А. Твардовский перекладывал на стихи определение слова, данное вождем: «Нет, слово — это тоже дело, как Ленин часто повторял». Ах как лестно для литератора, что сказанное им слово — уже дело. Сколько насказано, наговорено, заболтано; а где наши дела, где плоды наших слов? И кого же мы обманывали, когда говорили не то, что думали, когда видели одно, а писали другое, когда слова были одни, а дела другие? И в кризисе, катастрофе страны — не повинна ли и наша славная литература, с ее разрывом между словом и готовностью отвечать за него, обеспечивать его нравственно?

И сейчас не суетно ли наше слово? Нынешние писатели приохотились выступать по телевидению — так сказать, по чину литературного Мелхиседека. Правда, еще Гоголь говорил, что не священник к нам, а мы к нему должны идти. Так и сочинитель: лучше бы читатели шли к его книгам, нежели ему самому навязываться с «проповедями».

Как когда-то, совсем еще недавно, наша литература бодро маршировала в коммунистическое будущее, так ныне она совсем пала духом, бедняга. В отношении народа модным стало слово «выживание» — «гнусный неологизм», более подходящий для крыс, животных, чем для людей, по справедливому замечанию нашего соотечественника Е. А. Вагина (вынужденно эмигрировавшего после отбытия восьмилетнего срока в мордовских политических лагерях и ныне проживающего в Риме). Уныние — великий грех, тем более когда оно распространяется на народ. Не «выживание», а данное нам свыше испытание по делам нашим, а испытывается, видимо, тот, кто имеет для этого силы.

Собственно, испытывается-то наша тысячелетняя вера. И как старая интеллигенция, пренебрегая ею, впадала в модернистские религиозно-философские блуждания, так нынешние «интеллигенты первого поколения» забавляются своими «исканиями», от неоязычества до його-рерихизма. Но, например, исихазм породил Сергия Радонежского, великие духовные силы русской литературы, культуры, а ка-

кая-нибудь «пассионарность» — всего лишь ее автора, Л. Гумилева. Все-таки есть пропасть между сущим и мнимым. Недаром в Новом Завете говорится о «Божьих глубинах» и о «так называемых глубинах сатанинских». Заметьте, «глубины сатанинские» — «так называемые», то есть мнимые, при всей изощренности их, так сказать, структур.

В литературе сейчас главным мне видится кристаллизация духовной жизни народа, все-таки несомненной при всем ужасе действительности. Но здесь силен искус стилизованности, в том числе православной, что приводит иногда писателя к неожиданным метаморфозам. Мне рассказали, как один наш исторический писатель с православными замашками во время приема в Ватикане советской делегации, в связи с тысячелетием Крещения Руси, бухнулся в ноги папе Римскому. Не думаю, что спутал папу с нашим Патриархом.

Есть тайные молитвы при Литургии, не слышимые никем, а только произносимые священником мысленно. Есть тайна слова. Литература наша, за немногими исключениями, все эти семьдесят лет слишком суесловила, чтобы оставалось в ней место религиозному отношению к слову.

Теперь ей, парализованной «плюрализмом», потопом словоблудия, предстоит прийти в себя и обратиться наконец к той, названной выше, окружности с центром в ней. Здесь та твердыня духа, в которой, как никогда, нуждается ныне литература. Здесь и пути сближения всех здоровых творческих сил.

СЛЕПОТА

...Читаю только что полученное мною письмо бывшего студента моего семинара в Литературном институте Эдуарда Симоняна из Еревана (письмо от 20 мая 1991 года). Горько читать это письмо:

...Вся же правда в том, что почти все приграничные с Азербайджаном армянские села были подвергнуты нападению русско-турецких войск... Михаил Петрович, предвижу,

что сочетание русско-турецких покажется диким. Но дико не только это, а и все, что произошло и происходит в Карабахе и Армении. Армяне изгоняются русскими солдатами из своих домов, со своей родины. Российская интеллигенция, так оперативно и достойно отреагировавшая на Тбилиси и Вильнюс, оказалась терпимой к геноциду армян, происходящему у них на глазах, в их стране. У меня появился комплекс национальной неполноценности. Может, так надо, может, заслужил? Что вы об этом думаете? Извините за резкий тон письма, надеюсь на Ваше понимание.

С уважением
ваш бывший студент

Эдуард СИМОНЯН.

Дорогой Эдуард, мне легче было ответить на ваше первое письмо, где вы с такой болью писали о страшных последствиях землетрясения в Армении. Тогда в моей памяти всплыло все доброе, что связано было с моей поездкой в Армению, встречами с ее людьми, и мне было легко говорить с вами. Теперь же, чувствую, вас отделяет пропасть от меня как от русского человека. Положение мое незавидно и тем, что в моем семинаре были и вы, и азербайджанец Ахмедов, оба, верю, уважающие меня, так же, как я с теплотой помнящий вас обоих. Как и вы, Ахмедов может (если не сейчас, то завтра) винить в происходящем у них русского солдата, русских. Как мне, русскому, быть? Для обоих вас я виноват, не лично, а национально. Из письма вашего я впервые понял и почувствовал, что произошло что-то непоправимое, если для армян «русское» стало равнозначно «турецкому» (то есть виновнику геноцида армян 1915 года). Лет пятнадцать-двадцать тому назад академик Амбарцумян в своей статье уподоблял взаимодействие между русским и армянским народами, как между солнцем и планетой. Конечно, говорилось это искренне, но преувеличенно, в духе того времени («старший», «младший брат» и т.д.). Помню, во время своей поездки (кажется, в 1977 году) в Армению я наслушался в купе от двух соседей-пассажиров армян — композитора и научного

работника — много любопытного. Поразило меня тогда то, что оба говорили о современной Армении как о преходящем этапе своей древней истории, говорили о том, что при русских жить можно, они не мешают и т.д. Поездив тогда по армянской земле, я понял, что такое для них Арарат. А теперь вот Карабах, где кровавые события связываются с русскими. А тут еще масла в огонь подливают московские «демократы». В тот же конверт со своим горьким письмом вы, Эдуард, вложили брошюру «По дорогам Карабаха». Автор ее, «народный депутат» Моссовета А. Мальгин, с репортерской лихостью отбарабанил свои летучие «впечатления» о встречах и разговорах с армянскими жителями Карабаха, упиваясь фразами о немыслимых зверствах «русских солдат» (почему не «советских»?). Ни одного исключения, сплошное зверство; одни садисты, «людоеды» и «наркоманы». «Хотелось бы, чтобы эти матери знали, с какой чудовищной жестокостью их сыновья карают других матерей. Не надо рожать таких сыновей». Выводы автора вполне однозначны (говоря модным словом): «Во всех пострадавших селах я слышал о повальном мародерстве солдат и офицеров»; «Не раз в Карабахе я слышал, что растет первое поколение, у которого ненависть к русским будет заложена в крови»; «Зверь, почувствовавший человеческую кровь, становится людоедом. Вот кого мы воспитываем в рядах нашей армии» и т.д. Но автор не ограничивается бойкими обличениями, а грозит некоей расправой: «В случае такого развития событий ("широкомасштабных военных действий" в Карабахе) не исключено, что демократические силы в стране примут решение повторить опыт испанской войны 1937 года... с участием вооруженных интернациональных отрядов». Вот, оказывается, какая война по душе крошке-стратегу: не национально-освободительная, а интернационально-космополитическая. Теперь-то уж, кажется, сник ореол испанской войны 1937 года, и как-то по-другому видятся обе стороны — национально-франкистская «фаланга» и интернационалистский сброд, съехавшийся в Испанию со всех концов света. Воевали-то, конечно, русские ребята, а не этот сброд, не матэ залки, кольцовы, эрен-

бурги и прочие агитаторы-интернационалисты с их «Гренада, Гренада моя». Захотелось и Андрюше Мальгину отведать воинственной славы, наподобие Михаила Кольцова в Испании, можно даже подумать, что он и возглавит «демократические силы» (то бишь «вооруженные интернациональные отряды») в Карабахе, зажжет пожар новой мировой революции*.

Помните, Эдуард, я говорил вам в свое время о книге Д. С. Киракосяна «Младотурки перед судом истории», вышедшей сначала двухтомником на армянском языке в Ереване, а затем в сжатом изложении на русском языке. Вы мне писали тогда, что не нашли этой книги в Ереване. Так вот, много неожиданного можно узнать в ней о геноциде 1915 года. На богатом фактическом материале автор показывает, что организовали и проводили этот геноцид не султан, не турецкий народ, а младотурки, так называемые дёнме, которые по национальности не были турками. Это была организация масонов-заговорщиков, захватившая власть в Турции в 1908 году и устроившая массовую резню армян. С восстановлением в 1919 году власти султана в Турции султанский суд приговорил младотурецких главарей к смертной казни, но им удалось скрыться за границей. Примечательна связь младотурецких главарей с троцкистами (в 1918 году Карл Радек жил на квартире «главного палача армянского народа» Талаат-паши, был солидарен с ним в армянском вопросе). Геноцид продолжался и с приходом к власти Кемаля Ататюрка (также дёнме).

Народ есть народ, и он может расплачиваться за слепоту свою (что и настигает его), но не может отвечать за пре-

* Из «Дневников» С. Есина (жур. «Наш современник», № 9, 2000) я узнаю, что тот юный подстрекальщик в Карабахе — ныне житель подмосковного, под вооруженной охраной с колючей проволокой, легендарного (в районе Барвихи и Успенского шоссе) заповедного места с гнездом сказочных дворцов и усадеб новых хозяев жизни. Он (не говоря уже о получении московской «элитной» квартиры) собственник третьей роскошной виллы с неописуемым комфортом, чередующий свои поездки в город на дорогом «мерседесе» с прогулками на дорогой лошади в своей усадьбе. По богатству, по образу жизни этот недавний аспирантик-журналист смахивает уже на султанчика. Видно, знал этот клеветник на русских солдат, на Россию, ради чего, ради какого светлого «демократического» будущего он это делает.

ступления, политику правителей. Космополитические правители русского народа никогда не думали о его национальных интересах и сейчас стремятся сделать его «козлом отпущения» в своей «перестройке». Русский народ должен был играть роль «старшего брата» в «семье единой», теперь же внушили, что он не брат, а враг. Но это наваждение пройдет. Нам надо не заискивать перед другими народами, а быть такими, какие мы есть. Я знаю только то, что если преемникам «интернационалистов», нынешним «демократам», удастся (разумеется, под руководством координационного мирового центра) подавить пробуждающееся национальное самосознание русских, разрушить Россию, сделав ее сырьевым придатком Запада, — то это прямым образом скажется на денационализации, космополитизации всех других народов нашей страны. Россия, как страна православная, всегда будет под покровом Божиим, а не под властью вселенского президента Вельзевула. Поэтому, без всякого преувеличения, защита России, а не разрушение ее — дело всех наших народов.

Подобно тому, как лидеры сионизма рассматривают «правовое состояние» в любой стране по ее отношению к евреям, так и нам следует судить о политике наших правителей, парламента и прочего по их отношению к русскому народу. И пора прозреть русским людям и видеть воочию то, что сейчас происходит. Неужели у нашего народа нет даже инстинкта самосохранения, если он не видит, как власти открыто третируют его, попирают его достоинство.

Мы, русские, слишком доверчивы к нравственным декларациям. В оправдание общей слепоты каждый может сказать и о своей слепоте. Скажу о своей промашке. Как-то по телевидению шла передача «Нравственная проповедь». Выступал академик Б. Раушенбах, который мне был до того известен не только как ученый, но и как знаток русской иконописи, можно сказать, как русский интеллигент, если не патриот. Б. Раушенбах привел пример с одним выходцем из африканской деревни, который, получив образование на Западе, остался там, а не возвратился на родину, чтобы учить

африканских детей, вносить свет просвещения в жизнь своих земляков. Академик-проповедник назвал поступок такого африканца безнравственным. Вот уж поистине «где родился, там и пригодился», — подумал я, сочтя автора проповеди, немца по национальности, аборигеном земли русской.

И вот проходит немного времени, и Б. Раушенбах возглавляет движение советских немцев за создание в России «независимого немецкого государства» (которого никогда не было в России), выступает на эту тему в печати, добивается встречи с Президентом СССР и т.д. Надо ли говорить, чем чревато создание такого «немецкого государства» внутри нашей страны, — вспомним вторжение в Чехословакию под предлогом защиты интересов судетских немцев. Наивно думать, что связь между «немецким государством» на русской земле и ныне объединенной мощной Германией ограничится в будущем сентиментальными рождественскими посылками, а не превратится в немецкую экспансию против нашего народа! (О, не дурачьте нас сказками о райском «общеевропейском доме».) А я-то, наивный, слушая «нравственную проповедь» Раушенбаха, думал: вот наш русский патриот, не то что африканец! Нет уж, братцы, перестанем умиляться «нравственным проповедям», не то нынче время, это вам не XIX век, когда принимавшие Православие деятели науки, культуры иностранного происхождения действительно становились патриотами России, не помышляя о создании внутри нее эфиопского, датского, турецкого и прочих государств.

Нам надо прийти в себя, сосредоточиться. Слова Достоевского «Широк русский человек, надо бы его сузить» — в прямом смысле слова относятся к нам, русским. Мы слишком широко раскинули свои руки для объятия чуть ли не всего человечества, а не видим почвы под ногами, есть ли она. Мы все еще живем прошлым, никак не можем расстаться с призраками. То, что у других стало посмешищем (спекуляция на «интернационализме»), нами принимается всерьез. В единственной вроде бы (наряду с «Литературной Россией») некосмополитической у нас газете «Советская Россия» не раз печатались письма русских читателей, проклинающих «рели-

гиозное мракобесие», похваляющихся тем, как «мы бивали беляков» и т.д. У этих идейных бойцов уже есть действительные хозяева — эксплуататоры из нынешних приватизаторов, которые завтра выбросят их на помойку искать пищевые отбросы, как и десятки миллионов других безработных, а они все клянут помещиков да беляков.

И верят во временщиков. Помню споры с моим дядей по матери Алексеем Анисимовичем Конкиным. Бывший фронтовик, видавший столько смертей на войне, что у него уж, казалось, не оставалось веры ни в человека, ни в Бога, он по-детски верил в правителей при Брежневе. «Кто-то же там думает, отвечает за страну», — говорил он убежденно. «Никто не думает и не отвечает», — не менее убежденно отвечал я и такого же мнения держусь ныне — как о тогдашних, так и о нынешних правителях. В лучшем случае власть осознает себя, учитывая социальную психологию, психологическое поле из многомиллионных человеческих воль. Но какая может быть ответственность за страну у нынешних «архитекторов перестройки», если что и учитывающих, то скорее мнение бушей, тэтчер, бронфманов и прочих, нежели «мнение народное». Трагедия в том, что простые люди, по житейскому опыту своему не представляющие, как можно разрушать собственный дом, в котором живешь, становятся жертвами своего собственного легковерия. Страшнее то, что они сами втягиваются в эту разрушительную работу, полагаясь на воображаемую правоту властей. Об этой психологической народной черте правдиво написано в повести оренбургского писателя Г. Саталкина «Скачки в праздничный день». Жокей Иван Агеев, зная, что его лошади грозит гибель, идет на скачки, губит лошадь, повинуясь указанию начальства: начальство знает, что делает.

Не так ли и сейчас: все вроде бы должны догадываться, знать, куда, к какой пропасти нищеты и бесправия (вовсе не к процветающему капитализму), ведут «демократы» с их программой невиданной безработицы, ставкой на уголовную теневую экономику, и массы все-таки прут к пропасти, как бараны, что показали выборы.

* * *

Варлам Шаламов часто употреблял в своих записях семидесятых годов, в разговорах аббревиатуру ПЧ — «прогрессивное человечество». Писатель, выработавший в себе опытом лагерей прямой взгляд на вещи, говорил о донимавшей его шумной публике из ПЧ: «Я им нужен мертвецом, вот тогда они развернутся. Они затолкают меня в яму и будут писать петиции в ООН». «Этой сволочи плюху прямо на пороге дать — только так от нее избавишься». Но писатель не избавился от этой сволочи и тогда, когда, по свидетельству автора воспоминаний, попал в психоневрологический «дом инвалидов» и «бедная, беззащитная его старость стала предметом шоу», «доброжелатели» не щадили Варлама Тихоновича, организуя сенсации с фотовспышками, записями голоса, письмами на Запад, «обзваниванием левых деятелей».

Среди разновидностей ПЧ в тех же шестидесятых — семидесятых годах весьма активна была либерально-космополитическая идеология. О журнале «Новый мир» Шаламов писал как о приспособленческом, играющем на социальной конъюнктуре, враждебном подлинной интеллигенции (письмо к Эренбургу). Впрочем, иначе и не могло быть, ибо со времени своего издания — 1925 года — этот журнал всегда был журналом не традиционного русского мира, а именно «нового мира». Такова была, собственно, и вся так называемая «творческая интеллигенция», именующая себя ныне «жертвой тоталитаризма». Вся гнусность в том, что, не имея мужества держаться внутренней свободы, независимости творчества, малодушно, рабски обслуживая режим, в лучшем случае не выдерживая идеологического насилия, давления и уступая ему, ныне эти гении выдают себя или выдаются их поклонниками за распятых агнцев. Но не укреплялся ли тот тоталитаризм этими приспособленцами, восхвалявшими его?

В журнале «Новый мир» (1990, № 3) опубликована статья Л. Лебединского «О некоторых музыкальных цитатах в произведениях Шостаковича». Говоря о введении композитором в свой Восьмой квартет популярной траурной мело-

дии революционной песни «Замучен тяжелой неволей», автор статьи поясняет, что Шостакович эту горестную песню относил к себе. Конечно же замучен композитор «тоталитаризмом». «Что конкретно его мучило? Прежде всего, неволя. Свободолюбивый демократ, он должен был жить и творить в условиях тоталитарного строя. Квартет был задуман как документ, объясняющий обществу причину его, Шостаковича, гибели». Далее мы узнаем, что квартет был написан в 1960 году, сразу же после заявления композитора о вступлении в КПСС. Можно подумать (и это резонно), что вполне зрелый гражданин, теперь уже коммунист, из сверкающего нового мира слышит траурную мелодию мира старого. Но нет, оказывается, «именно это насилие — вступление в партию — и было, как считал сам Шостакович, равносильно его гибели». Здесь возникает самый элементарный вопрос: зачем композитор все-таки вступил в партию, если это означало его гибель? Ведь это было не сталинское время, а «благословенно»-хрущевское, «оттепельное». Опять виноват «тоталитаризм», «сталинизм»?

Ниже следует еще более удивительная история — о Двенадцатой, так называемой ленинской, симфонии Шостаковича: «...Симфония (я знал об этом от самого композитора) была задумана как критика Ленина. Однако за две недели до ее премьеры в Ленинграде композитор, поняв, что замысел ничем не прикрыт и крайне опасен, в кратчайший срок, работая день и ночь, написал нечто хотя и совершенно новое, но маловразумительное. Тем не менее этот неудачный опус был объявлен льстивой и беспринципной критикой гениальным, в то время как сам композитор был в отчаянии». Если печатные словесные оды Шостаковича Сталину, коммунизму еще можно понять, то кто мог заставить всемирно известного композитора, опять-таки в «оттепельное» время, насиловать святая святых — талант, так стремительно менять «критику» Ленина на его воспевание? Запоздалой казуистике «оправдания зла» не скрыть того факта, что своим приспособленчеством к духу времени соответствующими сочинениями деятели культуры, искусства «освящали»

столь освистываемый ими ныне «тоталитаризм», «облагораживали» его в глазах мировой общественности. И здесь они объективно куда больше делали для «тоталитаризма», для защиты его, чем партократы. Чего стоило для ЦК хотя бы козырянье принадлежностью к партии коммунистов Шостаковича («С кем вы, мастера культуры?»).

Возьмите любого известного «деятеля культуры», и в каждом (за исключением буквально единиц) вы увидите прислужника режима. Союзом режима с «интеллигенцией» (мерзкое слово: интеллигентов тьма, творческих личностей среди них — единицы) и фабриковалась ложь, вершился обман народа. И сейчас эта интеллигенция быстро переориентировалась и кинулась в сторону «архитекторов перестройки». Никогда еще не было такой смердяковщины в этом сброде. Патологических размеров достигло преклонение перед Америкой, обожествление ее. Ничего не говорят людям общеизвестные факты, свидетельствующие о материальном паразитизме США на человечестве: при пяти процентах населения планеты (двести пятьдесят миллионов) эта страна потребляет сорок процентов производимого в мире сырья, а выбрасывает в почву, воду, атмосферу более пятидесяти процентов всех мировых отходов. Не говорят ничего и факты беспримерной жестокости, аморальности американских властей; недавний пример этому — беспрерывные, чудовищные, в течение недель, бомбардировки мирного населения Ирака, уничтожившие сотни тысяч неповинных детей, женщин, стариков. И в то время как генерал-горилла Шварцкопф осуществлял этот геноцид, президент США Буш, призвавший американцев к «национальной молитве», цинично, кощунственно разыгрывал роль молитвенника-миротворца. Агрессия США в Ираке стала зловещим предупреждением всем, кто не хочет поступиться национальной независимостью, и вот уже в нашей стране «архитекторы перестройки» в открытую призывают США под эгидой ООН вмешаться в наши внутренние дела для установления должного «мирового порядка».

Понятен американизм советских космополитов, людей нерусских. Там, в Америке, они свои, там их подкармливают

различные фонды, еврейские организации и т.д. Правда, многие из них и хотели бы там остаться, но в США все-таки надо работать, и работать адски, к чему наши «американцы» не привыкли, неспособны, да и квалификация убога. Правда, и с убогой квалификацией их могут временно обогреть за особые заслуги перед русофобией (Евтушенко, Коротич). Но присмотримся к психологии «челночных перестройщиков», снующих туда-сюда, из СССР в Америку и обратно (вырванный у «парламента» закон о выезде-въезде). Приехал, например, в США из СССР какой-нибудь «народный депутат», «экономист» для «чтения лекций», поговорил о том, о сем часок перед десятком-другим слушателей (чаще «русскоязычных») — обычная картина выступлений наших гастролеров за рубежом, — и ему вручают чек на тысячи долларов не за научную, разумеется, ценность «лекции», а за те же «особые заслуги». Хотя там и знают счет деньгам, но для своих не жалеют. И если учесть, что советский рубль унижен до предела (тридцать рублей за один доллар, хотя сам доллар на Западе ничего не стоит, три-четыре доллара кружка пива, то есть наших девяносто — сто двадцать), если учесть, что лучший компьютер в США стоит около полутора тысяч долларов, а у нас его «хватают» с ходу за восемьдесят тысяч рублей, — то, спрашивается, страшен ли нашим гастролерам дикий рынок с его «суперинфляцией»? Знаю, гастролеры посмеются над этим ничтожным для них «раскладом». Но я рассчитываю на читателя «дикого», верящего, что все эти наши «советники-экономисты» серьезно озабочены кризисом в нашей стране, что они наравне с народом будут нести тяжесть «выхода из кризиса». Программа у них откровенная — выбросить на улицу десятки миллионов безработных, наживая на бедах, страданиях народа капитал, «приватизируя», грабя то, что наработано народом.

И сумели же вдолбить культ американизма в головы русских, занятых подсчетом, сколько получает в США инженер, сколько программист, сколько ученый. Да нисколько там русский человек не получит, там он просто никому не нужен. Как сказал мне один крупный ученый математик,

«там я мыл бы посуду», — потому что он не нашел бы точки приложения своему выдающемуся таланту, потому что не ко двору пришелся «демократам» с их заокеанскими хозяевами.

«Демократы» не прочь поговорить о бесах, об историческом предвидении Достоевского в «Бесах» («Известия» от 3 июля 1991 года с умилением приводят высказывания о «Бесах» такого беса, как А. Ф. Керенский), клянется «сталинщина» (термин беса Л. Троцкого), и при этом делается вид, что бесы только там. А между тем ныне появились и множатся, как тысячеголовая гидра, новые, «демократические» бесы, программирующие сорокамиллионную безработицу (с каким циничным удовлетворением пишут «демократы» о первых биржах труда!), массовую преступность, уничтожение семьи, остатков народа России, закабаление всех нас под властью мирового правительства, поистине дьявольских масонских сил.

Трагедия России в том, что народ не видит за политической демагогией приспешников дьявола.

* * *

Ну, а интеллигенция русская, национальная? Если иметь в виду не аморфную массу, объединяемую безликим словом «интеллигенция», а силы здоровые, то они есть. И, более чем в другой среде, есть в среде писательской (в отличие от среды научной, кинематографической, театральной, музыкальной и т.д., где полнейшее антирусское засилье). Что это так, показал наглядно прошедший Съезд писателей РСФСР с его патриотической атмосферой, выборы в писательские органы, где впервые за все время существования Союза писателей оказались за бортом левые экстремисты (как, впрочем, и былые процветавшие чиновники от литературы). Известна та могучая сила воздействия на людей, какой обладает пресса. «Малое дело, тиражированное миллионом экземпляров, становится большим делом», — изрек некто академик Гинзбург («Правда» от 2 апреля 1990 года). Благодаря прессе, многомиллионному тиражированию не только

малое становится большим, но и ничтожное превращается в великое, бездарное — в гениальное, аморальное — в образцово-нравственное. Создаваемый прессой фиктивный мир затмевает мир реальный, отменяет его.

Да, антирусская пресса, приведшая к власти «демократов», могущественна, но подобно тому, как бесы страшатся поста и молитвы, так эта империя печатной лжи боится правды. Многомиллионноголовая гидра не выдерживает прямого взгляда, нравственной прямоты. Ну не смешно ли: стоило в одном из районов Москвы появиться газетке «Пульс Тушина» с ничтожным тиражом (редактор Владимир Фомичев), как на нее остервенело накинулись «Известия», «Огонек», их собратья. Благодаря мужеству талантливого прозаика Николая Дорошенко некогда бесцветный «Московский литератор» превратился в писательскую гражданскую трибуну. Кто слышал каких-нибудь два-три года назад об альманахе «Кубань», а ныне это (теперь уже не альманах, а журнал) одно из лучших периодических изданий в стране (главный редактор — Виталий Канашкин). Был такой «невзрачный» журнал «В мире книг» — ныне это интересный культурно-духовный журнал «Слово» (главный редактор — Арсений Ларионов, заместитель главного редактора — Виктор Калугин). Начала выходить новая литературная газета «День» (главный редактор — Александр Проханов, заместитель главного редактора Владимир Бондаренко, члены редколлегии Владимир Личутин, Карем Раш и другие), первые же номера газеты в защиту армии и целостности государства вызвали злобные нападки «Литературной газеты», прочих «демократов». Вы посмотрите, всего только несколько патриотических изданий с ничтожно малым (по сравнению с радикальными изданиями) тиражом, а какая это заметная общественная сила, способная вывести из себя газетных монополистов. Это и свидетельство того, сколько у нас активных патриотических сил, они могут объединиться, делать общее дело.

Вообще здоровые патриотические силы у нас есть, они нуждаются в поддержке, защите. Поддержкой может быть

и нравственный пример. У нас есть писатели с нравственным авторитетом, и тем более следует им дорожить тем, кого в народе знают и любят. Ведь чтобы завоевать этот авторитет, нужны годы, иногда целая подвижническая жизнь. Поколебать, подорвать, потерять его — достаточно одного изменнического поступка, ложного печатного слова, политиканского расчета. Надо ли говорить, как это особенно опасно для писателей, которые, в отличие от чуждых нравственности политиков, призваны выражать глубинные моральные интересы людей, народа...

В газете «Славянский вестник» (№ 8—9, май, 1991) опубликовано интервью с В. Распутиным. На замечание собеседника, что «сегодня идет критика Горбачева», Распутин говорит, между прочим, о президенте СССР: «Это вообще очень мудрый человек». Видимо, Валентину Григорьевичу как бывшему члену президентского Совета лучше знать, чем нам, президента, если он так высоко оценивает его. Но здесь у меня, как у простого смертного, рядового нашей страны, возникает вопрос: в том ли «мудрость», чтобы развалить в считанное время страну?

Меня поразили слова М. С. Горбачева в его выступлении на Первой сессии Верховного Совета СССР: «Мы столько глупостей наделали на начальном этапе, когда хорошие фонды производственные, кадровый потенциал нашего военно-промышленного комплекса, оборонного сектора начали использовать на чепуху. Тут может быть большой проигрыш. Но сейчас это уже осознано» («Правда» от 13 июня 1990 года). В самом начале «перестройки», во время кампании против пьянства, поспешно вырубили ценнейшие плантации виноградника — скажем так, по глупости. Но от глупости «оборонной» ноги подкашиваются. Вдумайтесь: то, что десятилетиями накапливалось, нарабатывалось как лучшее в науке и технике, поставленное на службу обороны страны, — пущено на кастрюльки. И неужели в этом мудрость Президента как Верховного главнокомандующего?

И так ли необходимо писателю брать под защиту человека, облеченного чрезвычайными полномочиями? Еще понят-

но, когда «демократы» Бакланов, Гельман, Гранин и т.д. обращались льстиво с открытым новогодним письмом к Горбачеву («Московские новости» от 1 января 1989 года), дабы подвигнуть его на расправу с «врагами перестройки». А какая нужда беспокоить президента довольно беспредметными одами, чему отдали дань все наши «деревенские классики»? Не резоннее было бы (и это в традициях русской литературы) взять под защиту «малых сих», оказавшихся под безжалостным катком «перестройки», поддержать тех мыслящих русских людей (не отмеченных никакими полномочиями), которые борются за Россию. Что-то я не припомню, чтобы наши «деревенские классики» хотя бы однажды назвали печатно имя какого-нибудь нынешнего «славянофила» (ведь не собчаки они, ведь это только Собчаку пристойно отчеканить: «Я не западник и не славянофил, я — россиянин»). Нет, лучше уж быть «славянофилом» или даже «западником», чем загадочным «россиянином».

Нет ли во всем этом признаков наступающих в жизни России коренных психологических перемен? Газета «Известия» (15 апреля 1991 года) с гордостью оповестила читателей о том, что некий юный Г. Стерлигов (образование — «средняя школа плюс один курс университета») «сделал» свой первый миллион за месяц работы. Что же это за работа? Вместе с братом Д. Стерлиговым он стал совладельцем биржи строительных материалов «Алиса», то есть гребут в десятки раз дороже за доски и прочее, чем государственная цена. Но «соль» не в этом, а в том, что братья и подобные им объединились дружно в клуб, чтобы защищать себя, по их словам, «самых бесправных» у нас людей — миллионеров. Оказывается, миллионеры самый социально незащищенный у нас слой населения. Но ведь такие же грабители — и все другие совладельцы, президенты фирм и все прочие президенты, объявившие цветом народа, надеждой страны предпринимателей, которые у нас не кто иные, как уголовники, жулики, грабящие народ, расхищающие богатства страны, вывозящие стратегическое сырье за рубеж в хищнических сделках.

Но мы отвлеклись, вернемся к нынешней литературной обстановке. Дозволенная сверху свобода говорить и писать что угодно, в том числе патриотическое, еще не гарантирует прочности убеждений. В испытаниях, в риске укрепляются, закаляются, как в горниле, убеждения, а этого многие не ведают. Более того, молодые литераторы уверены, что с них и начинается «возрождение России». Как будто до них ничего не было. Людям под сорок, за сорок, а они даже не задумываются о той драме, когда русские идеи, которые отстаивали, за которые боролись в шестидесятые-восьмидесятые годы патриоты старшего поколения, ныне перехвачены «демократами», взяты ими на вооружение в качестве политического капитала, и под знаменем «возрождения России» идет уничтожение России.

Вспоминается, сколько вилось певцов Руси вокруг журнала «Молодая гвардия», пока не грянула статья А. Яковлева «Против антиисторизма» в «Литературной газете» (14 ноября 1972 года) с политическими обвинениями «русофилов». Как от выстрела воробьи, разлетелись певцы по кустам, а один небезызвестный стихотворец тотчас же тиснул в «Огоньке» стихотворение о том, как он шел вперед, оглядываясь назад. Вот тогда-то и выяснилось, кто чего стоит, прежние «русофилы» быстро обрядились в сверхсоветских. Тогда-то и произошло очищение патриотической идеи от приспособленцев. Не повторятся ли подобные истории в будущем, когда кончится этот фарс с демократией, плюрализмом и потребуется испытаниями, а может быть, и жизнью расплачиваться за убеждения.

* * *

Но и в нынешних, «свободных» условиях испытания ждут крутые. Много было попыток «перестроить» русского человека, в прошлом — по немецким, французским меркам, теперь хотят из него сделать американца. Иные побывавшие в Америке дуреют от доллара, от потребительского потопа, но ведь резоннее дуреть, скажем, от тамошнего «религиозно-

го проповедника», бегающего по сцене с мегафоном (как у нас когда-то эстрадные стихотворцы в Лужниках). Дуреют от компьютеров, «видео» и прочего, особенно в предвкушении спекуляции этими заморскими дивами у себя, в «этой стране». Но опять-таки, более резонно дуреть от компьютеризации жизни, от американского стереотипа «образа жизни», где нет места «нечаянному», а все запрограммировано и учтено. Если мы еще противились и противимся эксперименту над нами, то там уже и это сопротивление невозможно, в этом экспериментальном грандиозном котле «переварки» людей разных национальностей в «американца», то есть в человеческую безликость. Мы лезем (нас заставляют лезть) в личину беспримерно омертвляющую — американскую. Это, пожалуй, самая страшная для нас опасность за всю тысячелетнюю нашу историю, ибо соблазн велик — «жить, как американцы» (не зная, как они в действительности живут, наш обыватель верит во всем прессе, возносящей на райский уровень эту заморскую жизнь). Как сказал телерепортер с видом сытого ленивого кота о недавно бывшем советском министре иностранных дел: «Благодаря Эдуарду Амвросиевичу Запад принял нас в цивилизованное лоно» (это о том самом министре, который торговал с Западом национальными интересами нашей страны!). Но каковы слова: «цивилизованное лоно»! Нет, все-таки бессмертны наши смердяковы, холуйствующие, раболепствующие перед «умной нацией», которая должна, мягко говоря, указывать путь «нации глупой», покорить ее.

Как-то, года два тому назад, я наткнулся в какой-то из газет на статью о наших футболистах, которые заключили контракт с американским клубом «Дьявол» и были ошеломлены обрушившимися на них долларами и комфортом. Но эти продали дьяволу свои ноги. Хуже, когда продают душу. Бывает и так, что достаточно побывать в качестве гостей в Америке, повидать витрины, внешний блеск, как и среди «патриотов» вылупливаются вдруг «американцы». Есть ли противодействие этому? То есть не соблазну, благам, зачастую мнимым (сами эмигранты третьей волны, живущие по пятнадцать — двадцать лет в США, пишут, насколько далека

американская действительность от той, какую представляет на своих страницах здешняя «демократическая» пресса), — есть ли противодействие этой духовной, а вернее — бездуховной американизации? Есть, и главное: твердыня Православия. На этой твердыне созидалось Российское государство, великая русская культура, личность в России, сохранявшая себя и на чужбине. Не мы велики в Православии, а Православие велико в нас, и только в нем наше будущее. Наивно думать, что «демократы», безраздельные, полные хозяева страны, будут спокойно смотреть на успехи Православия, которое стоит главным препятствием на их западнически-иудейско-католической экспансии в нашей стране (уже ныне Православие теснится экстремизмом «религиозного сионизма», униатов, открытием от Москвы до Иркутска католических епархий). Ведь изрек же сообщник наших «демократов» А. Синявский, что главная опасность сегодня для мира — это «русский православный фашизм». Из понимания Православия как духовной основы русского сознания мы и должны самоопределяться национально. Несомненно, что программа «демократов» — с превращением России в придаток Запада, ее экономики, ее «парламентаризма» — так же авантюристична, как «мировая революция» троцкистов; те и другие — силы антинациональные, враждебные России, способные только разжечь смуту, но не способные открыть стране исторический путь развития. Может это сделать только национальная идея, и все силы нужно сейчас сосредоточить на том, чтобы готовить условия для взращивания этой идеи, чтобы всеми средствами здоровые силы, начиная от русских предпринимателей и землевладельцев (земледельцев) и кончая национально мыслящими учеными, писателями и т.д., — объединялись. Не мода, не стилизованность, не некая духовность, а конкретное, церковное Православие — вот что нам ныне следует усвоить, и не умничать, как умничали дореволюционные «интеллигенты». «Много званых, мало избранных».

«Гуманизм», «духовность» — вот два слова, определяющие нечто характерное в «демократах» и «патриотах». «Гума-

низм» настолько уже истрепан болтовней «левых» (зачастую скорее ненавистников, чем «гуманистов», «друзей людей»), что говорить о нем нет смысла. А вот с «духовностью» следовало бы разобраться. Один из авторов пишет: «Оно (возрождение. — *М. Л.*) может пройти только на духовном уровне! Подчеркиваю: на духовном, а не на церковном, ибо Церкви есть разные, а дух один. Это ощущение первенства духовного начала, верности природе, братства людей, ощущение национального начала как объективного начала». Но христианин может возразить: ведь через Церковь, Литургию (пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Господни) и действует Дух — не вообще дух, а Дух Святый (третья ипостась Бога наряду с Богом-Отцом и Богом-Сыном). Все другие духи (в том числе и дух, противопоставленный Церкви) для христианина — наваждение и ложь. Как-то неловко говорить обо всем этом образованному человеку, но это наша общая беда. Мы так были замордованы материализмом (мой университетский товарищ, глубоко верующий, тем не менее считал, наслушавшись лекций, что Бог «диалектически» возник из материи), так были задавлены «первичным» (на экзаменах, всяких семинарах: «первичное — это материя, вторичное — сознание»), что, прорвавшись к «духовности», готовы ставить ее превыше Бога.

* * *

В «застойные годы» образовавшийся духовный вакуум стал заполняться всякого рода суррогатом, восточными учениями: йогой, «даосизмом», «экстрасенсами» и т.д. Гонимое властями христианство, Православная Церковь, как всегда, были прибежищем избранных, немногих из интеллигенции, отмеченных благодатью, масса же клевала на модную «современную духовность». Я помню, как ко мне в Литинститут пришел молодой ученый, кандидат философских наук Сергей Н. Ему нужно было поговорить со мной о «деревенской литературе». Прощаясь, он сказал, что спешит на занятия йогов. Меня это удивило, тем более что молодой философ

искренне относил себя к «русскому направлению», организовывал в то время конференцию на тему «Земля как философская категория» (эта конференция и состоялась в Полтаве, а тексты выступлений вышли отдельной книгой). Я дилетантски возразил было молодому ученому, что йоги есть йоги, но это достояние индийцев, не наше, ибо для них это не голые физические упражнения, а часть бытия в общей их системе нравственного самосовершенствования, то есть своеобразная религия — только для них, на их исторической, духовной почве и возможная. Мы же, как обезьяны, подражая дыханию через ноздри и прочее и продолжая жить по-советски, думаем, что это и есть йога. Не пора ли нам задуматься о своем, родном. Вот исполнилось тысяча лет Крещению Руси, и нам, русским, надо бы подумать об этом, приобщиться к своей религии, войти в ее лоно. Мой собеседник вежливо слушал меня, но... помчался все-таки на занятия йогов.

В такого рода просвещении сыграли свою роль сочинения Валентина Сидорова о йогах, об антихристианской философии Рериха. Как-то при встрече с ним я сказал ему: «Ты все учишь дышать через ноздрю, а ведь подходит тысячелетие христианства в России». На это он мне ответил: «Это сектантский взгляд».

Недавно Валентин Сидоров объявил себя президентом комитета «Год Блаватской». Весь 1991 год отведен празднованию юбилея — столетия со дня смерти названной особы. Знает ли Сидоров, кто такая Блаватская? Если знает, то уточню для читателя. Родившаяся в России, она вскоре, в юном возрасте, покинула ее, долгие годы путешествовала по Востоку, где изучала оккультизм; на Тибете, по ее словам, стала ученицей и посланницей высших мудрецов Тибета, адептов буддизма. Создав теософическое общество, Блаватская деятельно распространяла свое новое религиозное учение (основанное на оккультизме и иудейской каббале), исполненное ненависти к христианской Церкви, к Христу. Следует добавить, что буддизм (который является одним из краеугольных камней теософии Блаватской) ставит выше

Бога Будду, то есть человека, самодостаточного в достигнутой собственными усилиями нирване; буддизм — это религия обезличивания, уничтожения образа Божия в человеке. Один из авторов пишет о Блаватской, что она была обвинена в шарлатанстве; лондонское общество психических исследований после расследования написало отчет не в ее пользу: многие чудеса были разоблачены как искусный фокус, подделка. По словам того же автора, Блаватской свойствен был невероятный цинизм и презрение к людям, которые она и не пыталась скрыть.

Вот этой сатанистке и будет целый год петь осанну президент Сидоров, к радости какого-нибудь Нуйкина, который из духовной помойки (из всех оккультных учений, колдовства, фокусничества, сатанических сект и т.д.) вываривает новый «научный атеизм», в отличие от пещерного атеизма своего старшего собрата, Крывелева (но оба — «принципиальные противники» религии). Поздравляем «русского патриота» с побратимством с ненавистниками христианства.

Понятнее было бы: человек решил сыграть на «рынке» — раз есть спрос на колдовство, шарлатанство, сатанизм, — вот вам Блаватская. Но нет, президент «Года Блаватской» хочет сохранить «имидж» русского патриота; как же, христианство — это узко, это сектантство, другое дело — «широта русской культуры», «всечеловеческая отзывчивость», «русско-индийские духовные, культурные связи», симпозиумы на этот предмет, вояжи в страны где варила свое варево Блаватская. Дело личное, если бы поклонник Блаватской чтил ее и не спекулировал на этом. А тут литератор, президент комитета, целый год россказней и печатной шумихи, дурманящих слабые головы и неокрепшие души. Вот где уместно вспомнить басню Крылова «Сочинитель и разбойник»: призванные на Страшный суд, разбойник был помилован по малости преступлений, а сочинитель угодил в кипящий котел как преступник неизмеримо больший, ведь его сочинения губили души тысяч, миллионов людей.

В составе комитета «Год Блаватской», надо полагать, союзники президента. Но вот спрашиваю одного из них:

«Как вы могли согласиться войти в этот комитет по празднованию юбилея сатанистки?» Оказывается, он ничего не знает, введен без согласования с ним. «Ну тогда надо печатно отмежеваться бы от этой чести». «Надо это, видимо, сделать», — согласился он.

Или мало нам уроков прошлого — вся эта дореволюционная игра в религиозные идеи, весь этот религиозный релятивизм, — и к чему это привело? Легкомысленное пренебрежение Православием, измена ему никогда и никому не проходили даром, оборачивались воздаянием самим врагам Православия. Как ни либеральничал Бердяев, как ни старался угодить детям Израиля, а все же угодил в антисемиты. Таковым его и аттестует С. Лезов в статье «Национальная идея и христианство» («Октябрь», 1990, № 10) Приведя слова Бердяева: «Иудаизм до Христа и иудаизм после Христа — явления духовно различные», — «православный богослов», как называет себя С. Лезов, заключает: «Все эти классические постулаты теологического антисемитизма Бердяев тоже принимает и идет дальше...» И хотя Бердяев воздает должное евреям (апостолы), хотя обвиняет христиан, которые распинали Христа (антихристианскими делами, грехами), распинали и своим антисемитизмом, — Лезов негодует: «Так Бердяев повторяет древнюю клевету на евреев, которую можно сравнить лишь с кровавым наветом» (речь идет о распятии Христа).

Далее Лезов говорит о «христианском антисемитизме»: «Что же касается Евангелия от Иоанна, то в нем есть текст, ставший ключом для христианского варианта идеи жидо-масонского заговора: «Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего» (8, 44). У Иоанна "иудей" вообще и "фарисей" в особенности — основа неверия и духовной слепоты». Но разве сам Иоанн — не иудей, разве он «духовно слеп»? Вот Лезов действительно «духовно слеп», и если бы он был в самом деле «православный богослов», то не восхищался бы Вл. Соловьевым, как апологетом Талмуда, ибо, в отличие от Библии, в Талмуде действительно живет дьявол, люто ненавидящий Христа.

Как мелки, жалки ныне наши блудливые «патриоты» в сравнении с фанатизмом «иноверцев». Тот же Лезов не мельчится, не занимается блудословием, а замахивается под корень того, что для нас, русских, святыня. С Освенцима он начинает не только отсчет новой истории, но и новой морали, использует «холокост» («всесожжение») как единственное мерило ценностей. После Освенцима он ставит «под вопрос» постулат, «согласно которому христианство составляет ценностный стержень национальной культуры, а национальная культура обладает ценностью в той мере, в которой она — христианская культура». Рассуждая о «месте православия и антисемитизма внутри» «русского национализма XX века», автор видит в Православии виновника Освенцима, нынешнего «исхода евреев из России». Бесполезно говорить, что Освенцим был местом «всесожжения» не только евреев, но и людей других национальностей, и мы, русские, могли бы начинать отсчет новой истории со «Всеуничтожения» нашего народа в XX веке. Трудно что-то доказать после того, как вокруг Освенцима поднялся недавно всемирный гвалт лишь из-за того, что в этом «музее» (кстати, находящемся на территории Польши) осмелились молиться за погибших польские монахини. Если моления за жертвы — это кощунство в глазах сионистов, то здесь и дурак может понять, что такое гои (даже молящиеся за евреев) для расистов. Обычно надменные, гордые в своем католическом достоинстве поляки, от кардинала-примаса до напористого Валенсы, вынуждены были смириться и убрать бедных монахинь.

Недолго же поиграли «демократы» с религией, с Православием. Еще вчера, кажется, «Октябрь» свечи ставил Православию (правда, какие-то уличные, электрические свечи, не церковные, опубликовав «документальную повесть» Марка Поповского об архиепископе Луке, знаменитом хирурге Войно-Ясенецком). И вот, не отбивши еще покаянных поклонов (а надо бы!), уже бросает камень в Церковь. Да еще какой! Впору предстать Православной Церкви за антисемитизм перед мировым судилищем.

Как всегда, вчерашние «интернационалисты», ныне «демократы», действуют не в одиночку, за одним камнем следует ждать другой. В так называемой «Независимой газете» напечатана статья за подписью Владимира Войны под заголовком «Отец Звездоний из РПЦ». Знакомый почерк виден уже в «хохмачестве» словосочетания: «отец Звездоний» — мерзкий комический персонаж из романа любезного автору статьи Войновича, а РПЦ — аббревиатура (Русская Православная Церковь) — самая, видно, подходящая для иных форма усвоения русской речи со времен ВЦИКа; о недопустимости употребления РПЦ (вместо Русская Православная Церковь) говорил в печати Патриарх Алексий II, поясняя, что эта аббревиатура уводит от духовной, исторической полноты, которая содержится в выражении «Русская Православная Церковь».

В журнале «Звезда» (№ 1, 1991) опубликована статья Бориса Парамонова «Портрет еврея. Эренбург». В статье есть глава «Рассуждение об иудейском племени». Я не знаю, кто таков Борис Парамонов, русский или еврей, сам он говорит о себе: «Никакой особенной любви к евреям у меня нет», более того, он позволяет себе высказывание, за которое обычно по головке не гладят (недавняя история с покойным Осташвили): «Пониманию еврейства способствует иногда антисемитизм — как всякий опыт, и это может обогатить». Но по духу он конечно же считает себя близким к «типу еврея», как и того русского «жесткого» человека, который должен появиться с «религиозным возрождением в России», если таковое «вообще возможно». Отказавшись от «бытового и психологического идеализма», став «жестким», такой тип русского человека «будет ближе к самому типу еврея». Любопытно такое замечание (возможно, наблюдение) автора: некоторым интеллигентам «кажется, что евреи "такие же люди, как и мы", разве что умнее и просвещеннее. Интеллигент на этой ступени начинает идентифицироваться с евреями и "дружить" с ними. Евреи охотно возятся с такими людьми, но не уважают их». Не уважают и презирают. Один мой знакомый говорил мне об известном стихотвор-

це, с которым вместе работал в конце пятидесятых годов в журнале «Молодая гвардия». «Он так перед ними лебезил, а они уходили от него и в коридоре брезгливо говорили: ”У, русская вонючая онуча”». И поделом. Это тот «реализм», который действительно требует отказа не только от «идеализма», но прежде всего от холуйского заискивания перед «умниками».

Нет, пожалуй, большей опасности для нас, чем собственное «нелюбопытство» к себе самим. Как нам быть в том мире, «лежащем во зле»? Об этом мучительно думал Иван Ильин, написавший после революции книгу «Сопротивление злу силой». Есть точка зрения: будь тверд в вере, в Православии, и тогда Бог защитит Православие. Вышеназванный автор (Парамонов) возможное «религиозное возрождение России» связывает не столько с Православием, сколько с «жестким» типом еврея, которому должен следовать русский человек, возводит еврейство в гениальную «сверхнацию». «Нельзя говорить, что всякий еврей гениален, но зато в каждом гении есть что-то еврейское». Но «абсолютность» еврейства, ген гениальности, ему свойственный, делает его, с другой стороны, «кошмаром наций» — цитируется автором знаток еврейства. Еврейство, действительно, тайна человечества, мистическая тайна. Сохранившее себя в течение десятков веков в диаспоре, исключительность, загадочность его исторической судьбы, не сравнимая ни с одним народом его роль как революционного бродила в человечестве, нынешняя мощь с реальной угрозой владычества над миром — все это означает особую избранность еврейства (раньше, до Христа — действительно богоизбранность). Величайшая загадка — в богоизбранности этого народа, неотделимом от богоборчества (Иаков, ставший после борьбы с Богом Израилем, что означает «богоборец»). Здесь уместно привести мысль Л. Шестова о еврействе как явлении Божественного произвола, как о таком «избранничестве», в понимании которого непригодны, неприложимы никакие человеческие моральные оценки; Бог — это не правда и не добро, Бог есть Бог. Но в христианстве Бог есть любовь (апостол Иоанн). Святой Александр

Невский говорил: «Бог не в силе, а в правде». И здесь пропасть в религиозной психологии.

То, что еврейство не приняло христианства и идет своим «ветхим» путем — в прошлом, скажем, в XIX веке, воспринималось как религиозный исторический анахронизм, как выпадение из современного исторического потока (Иван Аксаков). Теперь а этом выпадении видят исключительность еврейства. Б. Парамонов пишет: «Еврейство не приняло христианства потому, почему не принял его мир в целом». Но дело даже не в том, что мир будто бы не принял христианства. Как Литургия не зависит от того, принимают ее или не принимают люди, она будет совершаться до скончания века, даже и в безлюдной церкви, так и христианство вовсе не умаляется оттого, приняли его или не приняли. Но если бы мир действительно «не принял» его, то не было бы святых (а они есть).

И далее автор заключает: «Существуют различия культурно-исторических типов — христианство связано с одним, максимум с двумя из них. Еврейство же не связано ни с одним, ему нет нужды выбирать ничего, кроме самого себя». То есть относительность христианских ценностей и самодостаточность еврейства — не культурная, упаси Бог. Что касается культуры, то автор на этот счет разъясняет: «Сфера еврейства — это гений, а не культура. Можно заметить игровое, ироническое отношение евреев к их собственной культурной деятельности». Это и доказывается на примере Ильи Эренбурга, поучительность пути которого он видит не в литературной деятельности, а в том, что он, несмотря ни на что, остался евреем.

Такова же роль многочисленного племени иронистов и в нашей литературе, иронистов не только по «жанру», по складу мышления, но и по отношению своему к своей «литературной деятельности». Но если бы дело ограничивалось этим. Им мало взаимного всепонимающего подмигивания («мы-то знаем, что такое для нас литература»), они хотят играть роль «полномочных представителей» русской литературы Кто представляет русскую литературу в своих бес-

конечных поездках за границу? Иронисты. Кто читает там «лекции» о нашей литературе? Они же. Кто монополизировал кафедры, должности преподавателей русской литературы в зарубежных институтах славистики? Опять-таки иронисты, из «третьей волны». И вот по их «трепу», «хохмачеству» и судят там об уровне русского сознания, о русской литературе, не только прошлой, но и настоящей, представляют ее по выборочным именам дружков лектора-ирониста.

Иронисты плодятся и множатся с картинностью, помните, как дети Мойсея Мойсеича в чеховской «Степи»: «Сальное одеяло зашевелилось, и из-под него показалась кудрявая детская голова на очень тонкой шее; два черных глаза блеснули и с любопытством уставились на Егорушку... из-под сального одеяла выглянула другая кудрявая головка на тонкой шее, за ней третья, потом четвертая... Если бы Егорушка обладал богатой фантазией, то мог бы подумать, что под одеялом лежала целая стоглавая гидра». Эти выходцы «из-под сального одеяла» впоследствии поистине как миллионноголовая гидра расползутся по России, внедряя в нее «комиссаров и скрипачей» (коими славны все «еврейские местечки», как поет об этом Иосиф Кобзон), чекистов, «народных комиссаров», «воинствующих безбожников», авангардистов, «теоретиков физиков», всякого рода доморощенных «гениев» во всех областях, а в итоге — внося повсюду элементы разрушения и разложения, разъедающих здоровую ткань жизни, нигилистическую заразу, сея расистскую ненависть к «этой стране», ее народу. И мы не смогли противостоять этому. Не потому, что они так необоримо сильны, а потому, что слабы мы. Слабы своей неискушенностью в борьбе с такой дьявольской изощренностью врага, слабы массовым непониманием сути происходящего, слабы глубинным чувством ответственности за судьбу Родины.

...Богоявленский (Елоховский) патриарший собор в Москве. У раки преподобного Серафима Саровского, которая временно находится здесь, перед тем как отправиться в Саровскую пустынь, непрерывный, денно и нощно поток верующих. Слева, у стены, около лавки молится женщина. К ней

подходит парень в белой кепке, она быстро срывает ее, он со злостью отбивается, потом хватает узлы и выбегает из храма. Возвращается, вцепляется в мать, кричит: «Дура! Пойдем. Быстро!» Мать становится на колени, истово молится, не глядя на него. Тот срывает с лавки новые узлы, опять крик: «Дура! Выдра! Ну, быстро!» Женщины, ожидающие своей очереди приложиться к святым мощам, с сочувствием смотрят на мать, которая, стоя на коленях, окаменевшая, упорно осеняет себя крестом. Вбегает сын, хочет сорвать ее с места, но она словно приросла к этому месту, не поддается. Другая женщина говорит: «Как ей трудно молиться!» В конце концов сыну удается вывести из церкви мать.

Так мы все, как этот непутевый сын, разделываемся с матерями, а может быть, и с матерью-Россией.

А они, стоя на коленях, со страданием молятся за нас.

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА И ВЕЛИКОЕ ПОРАЖЕНИЕ

Да, именно нашему поколению, воевавшему с гитлеровской Германией, выпало на долю испытать небывалую за всю тысячелетнюю историю России радость Победы и язвящее душу нынешнее унижение побежденных. Как сейчас вижу залитую ликующим народом Манежную площадь в день Победы 9 мая 1945 года, рядом с Московским университетом (где я тогда, после ранения, учился) — здание тогдашнего американского посольства, с балкона которого американцы машут руками, приветствуют нас, тогда еще своих союзников. На Красной площади, куда трудно пробраться, кажется, целое море голосов, звуков, слышимый на весь мир бой Кремлевских курантов. Вечернее небо в огнях салюта, напоминавших мне тогда прочерки, дуги трассирующих пуль на невидимом горизонте, когда мы ночью шли на передовую...

И вот вспоминаю своих университетских товарищей-фронтовиков: Сергея Морозова, выкидывающего правую, негнущуюся, ногу как на параде; Андрея Сутягина с висящей, как плеть, парализованной от ранения рукой; Николая Венгерен-

ко, без правой руки, с поднятой кверху левой, когда с пафосом декламировал нам своего любимого шекспировского «Гамлета»; Василия Цигуро, с протезом вместо правой руки и искалеченным запястьем левой (сам я был ранен и контужен осколком мины на Курской дуге). Вспоминаю и Николая Урусова. До сих пор я думаю: какими были бы в жизни мои молодые дяди по матери — Миша, двадцатичетырехлетний майор-артиллерист, погибший от прямого попадания бомбы в блиндаж в феврале 1943 года; двадцатилетний Костя, сгоревший в танке под Веной в конце апреля 1945 года, за несколько дней до окончания войны. Мой третий дядя — Алексей Анисимович вернулся с войны живым-здоровым, но с жутковатым блеском в глазах, когда вспоминал виденное; умирал еще не пожилым человеком от инфаркта в такой длительной, мучительной истоме, что, может быть, жалел, что не принял легкую смерть на войне.

Годами мечталось мне посмотреть, что же это за «логово зверя» — Германия, откуда в самом начале войны через наш мещерский поселок Екшур в один и тот же поздний вечерний час летели с далеким тревожащим гулом самолеты бомбить город Горький; «логово», откуда вторглись в нашу страну вражеские полчища, и уже осенью сорок первого передовые части их стояли недалеко от наших мест. А я, учившийся в восьмом классе, напечатал в местной районной газетке заметку: какая патриотическая семья у моего дедушки, какие у него все сыновья замечательные коммунисты — кто партийный работник, кто командир Красной Армии, и пришедший с фабрики дед, узнавший о напечатанной заметке, вовсю разругал меня, и поделом: немцы стояли рядом, могли войти в поселок в любой час, и не миновать бы мне и родителю расхваленных коммунистов виселицы. Но тогда об этом и не думалось: или такими безоглядными патриотами мы были воспитаны, или это было от моего легкомыслия, не знаю, что и сказать.

И вот мне через много лет после войны довелось (трижды) побывать в «логове зверя». В первый раз с особой обостренностью все виделось как будто из того, военного

времени, все хотелось представить, что делалось здесь, когда шла война. Видно, в том загородном садике, куда нас привезли, царила такая же немецкая аккуратность в ухаживании за цветами и такой же нарядный гном восседал на грядке, как некий сентиментальный образ благополучного домашнего очага. Но острее всего я чувствовал то военное время, когда находился рядом с тогдашним ректором Лейпцигского литинститута (мизерного по количеству студентов), по приглашению которого мы, преподаватели и студенты Литинститута имени Горького, приехали в ГДР. Этот ректор, плотный, бюргерского склада, с тяжелым взглядом немец по фамилии Шульц воевал в России, был пулеметчиком, и меня не покидала мысль, когда я видел его, говорил с ним, — не он ли строчил из пулемета во ржи в первый день нашего наступления на Курской дуге (в начале августа 1943 года) и сколько выкосил он за войну наших людей?

Второй раз я попал на немецкую землю спустя десять лет, в канун «падения Берлинской стены». Ректор был уже другой, явно озабоченный своими мыслями при встрече с нами, мне даже показалось, подавленный ими. На стене его кабинета висел еще портрет Хонеккера (как оказалось впоследствии, благородного коммуниста в отличие от «наших» предателей горбачевых), но генсеком был уже другой. Один из молодых немецких преподавателей выкрикивал нам: «Мы не хотим его. Мы хотим Горбачева!» Местные писатели, пригласившие нас в бар, говорили нам, что они за социализм, что немцы хотят жить при социализме, а в это время, как и вчера и позавчера, улицы Лейпцига запруживались демонстрантами, организованной, окончившей рабочий день людской массой, почуявшей резкую перемену в политической погоде, чем можно воспользоваться для «бархатной революции».

* * *

При «перестройке», при «демократах», при Горбачеве-Ельцине произошло то, о чем мечтал Гитлер и что не удалось ему сделать, — расчленение России, русского народа,

обреченного на геноцид. Начатая десять лет тому назад Америкой со здешней «пятой колонной» заключительная операция многолетней «холодной войны» с Россией включала в себя и развенчание нашей Победы над гитлеровской Германией, великого исторического подвига нашего народа. В «демократических» средствах массовой информации начался «отстрел» героев войны, составляющих национальную гордость России, безудержное наглое глумление над русским воином-победителем, над нашими историческими святынями. Все это в согласии с заокеанской пропагандой, оболванившей американцев до такой степени, что те, особенно новые поколения, даже не знают, что против гитлеровской Германии воевала Россия, и думают, что только Америка героически сражалась с Германией и победила, — об этом телепередачи, фильмы, статьи. Мы помним, как было встречено в Америке нападение Германии на Россию. На третий день войны, 24 июня 1941 года, в газете «Нью-Йорк таймс» было напечатано следующее заявление одного из сенаторов: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и таким образом, пусть они убивают как можно больше...» Имя этого сенатора — Гарри Трумэн, ставшего в конце войны, после смерти Рузвельта, президентом США, отдавшего приказ об атомной бомбардировке японских городов Хиросимы и Нагасаки. В сущности, этой же политикой натравливания государств друг на друга, выжидания, пока они не обессилят себя к выгоде третьей стороны, руководствовались янки (вместе с англичанами) и в отношении открытия второго фронта в Европе. В послании И. В. Сталина президенту США Рузвельту, отправленном 11 июня 1943 года, говорится: «Теперь, в мае 1943 года, вами вместе с г. Черчиллем принимается решение, откладывающее англо-американское вторжение в Западную Европу на весну 1944 года. То есть — открытие второго фронта в Западной Европе, уже отложенное с 1942 года на 1943 год, вновь откладывается, на этот раз на весну 1944 года. Это Ваше решение создает исключительные трудности для

Советского Союза, уже два года ведущего войну с главными силами Германии и ее сателлитов с крайним напряжением всех своих сил, и предоставляет Советскую Армию, сражающуюся не только за свою страну, но и за своих союзников, своим собственным силам, почти в единоборстве с еще очень сильным и опасным врагом».

Преследуя свои цели мирового господства, руководители США и Англии не могли не отдать должное героической борьбе русского народа против гитлеровской Германии. Высокие слова на этот счет высказывал Рузвельт. Черчилль постоянно и в годы войны, и в послевоенное время подчеркивал свое «сильное восхищение и уважение к доблестному русскому народу, к своему боевому товарищу маршалу Сталину». Им вторили военные деятели Запада. Эйзенхауэр (главнокомандующий вооруженными экспедиционными силами союзников в Европе) признавал: «Кампании, проведенные Красной Армией, сыграли решающую роль в поражении Германии». Фельдмаршал Великобритании Монтгомери: «Россия совершила великий военный подвиг — Россия в тяжелом единоборстве почти один на один с наступающими гитлеровскими армиями приняла на себя всю силу германского удара и выстояла. Мы, англичане, никогда не забудем подвига России». Де Голль, генерал разгромленной немцами в считанные дни французской армии, говорил в самый разгар гитлеровского наступления в России: «...Я позволю себе высказать мое восхищение непоколебимым сопротивлением русского народа, равно как и храбростью его армий и их полководцев. Бросив всю свою мощь против агрессора, СССР дал всем ныне угнетенным народам уверенность в своем освобождении».

По окончании войны американо-английские империалисты объявили «холодную войну» нашей стране. Сталин так оценил известную «фултонскую» речь Черчилля: «Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Г-н Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой

теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы мира... Английская расовая теория приводит г-на Черчилля и его друзей к тому выводу, что нации, говорящие на английском языке, как единственно полноценные, должны господствовать над остальными нациями мира. По сути дела, г-н Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше господство добровольно, и тогда все будет в порядке, — в противном случае неизбежна война».

В своих мемуарах Черчилль вспоминает слова Сталина, сказанные за обедом во время Ялтинской конференции: «В союзе союзники не должны обманывать друг друга. Быть может, это наивно? Опытные дипломаты могут сказать: "А почему бы мне не обмануть своего союзника?" Но я, как наивный человек, считаю, что лучше не обманывать своего союзника, даже если он дурак. Возможно, наш союз столь крепок именно потому, что мы не обманываем друг друга; или, быть может, потому, что не так уж легко обмануть друг друга?.. да будем мы как можно более откровенны». Обмануть Сталина было трудно, но он всегда был откровенным, верным союзническому слову, в отличие от американско-английских политиков, действовавших в отношении России путем обмана (оттягивание обещанного открытия второго фронта, испытания атомной бомбы, тайные, в обход русского союзника, американо-английские соглашения о войне с Японией).

Сталин превыше всего ставил не интернационалистски-революционные, а именно национальные, государственные интересы. Во время войны в мае 1943 года был ликвидирован Коминтерн (который Сталин до этого называл «лавочкой»). По свидетельству Джиласа, встречавшегося со Сталиным, Сталин был решительно против восстания в послевоенной Греции, требуя «свернуть его». Он считал (в послевоенное время), что социализм возможен и в Англии при короле. Таким образом, в практической политике Стали-

на, в его реальном отношении к международным вопросам не было места идее мирового коммунистического господства. Напротив, идеей мирового господства были одержимы финансово-политические воротилы Америки, Запада. «Новый порядок», обозначенный на американском долларе с усеченной масонской пирамидой, стал всепроникающей диктатурой в мире. Что это за «новый порядок» мы видим и ныне, являясь свидетелями наглого вмешательства США во внутренние дела других стран, свержений неугодных режимов, истребления мирного населения в навязываемых войнах (вроде «Бури в пустыне» в Ираке), поощрения, при всемирной болтовне о «правах человека», о «демократии» — кровавых расправ антинародных властей над защитниками закона, парламента (расстрел Дома Советов 3 октября 1993 года), агрессивного внедрения в жизнь других народов сатанинского культа доллара, массовой культуры, выхолащивающей все духовное в человеке. Американизм духа, как дыхание антихриста, поражает все окружающее, превращая в песчаную пустыню, в мертвую зону оазисы народных культур, истребляя всякие проблески идеала, добра. И насколько же надо быть отравленным лицемерием, цинизмом, чтобы при этом судить других в качестве высшего нравственного арбитра, как это делают политические главари Америки вроде Рейгана, клеймившего нашу страну как «империю зла».

* * *

В США выходят фильмы, книги о второй мировой войне, где совершенно умалчивается не только решающая, но вообще какая-либо роль России в разгроме гитлеровской Германии. Американские школьники, согласно опросу, если и слышали о второй мировой войне, то представляют ее так, что только одна Америка воевала с Германией и победила ее. В нашей стране, при всем желании американских наймитов — здешних «демократов» предать забвению героическое прошлое народа, — сделать это не так легко, но все делается для этого. Извращается история войны, оглупляется русский

солдат, облагораживаются захватчики, в фашизме обвиняются уже не немцы (как некогда, в конце войны, они поголовно обвинялись в этом литератором Эренбургом, требовавшим поголовной же расправы над ними), а русский народ, который спас миллионы евреев от нацистского истребления и в благодарность за это заслужил лютую ненависть их нынешних отпрысков.

«Переоценка» событий минувшей войны даже вроде бы и в очевидных документах не очень, в сущности, меняет нашего прежнего представления о войне. Недавно вышла книга «Скрытая правда войны. 1941 год» (в серии «Россия в лицах, документах, дневниках»). Редкие фотографии: вступление без сопротивления вражеского конного отряда в одно из сел под Киевом; пулеметный расчет противника во время боя; немецкие солдаты прочесывают местность после авиационного налета; добровольная сдача в плен красноармейцев-эстонцев; советские воины, плененные при выходе из окружения; пленные советские летчицы; взятые в плен партизаны; военнопленный полковник-танкист, переодевшийся в красноармейскую шинель; трупы советских воинов, погибших зимой 1941 года. Все это (самые обычные «сюжеты» войны) не принято было публиковать и ныне преподносится как «скрытая правда войны». С грифом «секретно» хранились десятилетиями в архиве и опубликованные в книге записки капитана первого ранга Евсеева об обороне Севастополя (первая половина 1942 года). «Секретность содержания» (как говорилось в отзыве о записках) заключалась в правдивости, яркости описания (напоминающего «Севастопольские рассказы» Толстого) конца Севастополя, обреченности последних его защитников. Названия самих глав книги уже как бы предполагают «ранее невозможные ответы». Глава «Броня крепка...» — по первой строке довоенной боевой песни о танкистах (а в войну, оказывается, танкисты гробили технику, безответственно относились к ней, что засвидетельствовано в приказах военачальников). Глава «Герои и стимулы» (героизм питался не только социалистическим патриотизмом, но и материальными стимулами: награждением

деньгами, орденами). Глава «Всегда ли коммунисты были впереди?» (что и говорить — не всегда). Главы «Казнокрады», «Ищите женщин» и т.д. (все и так понятно).

Никакая это не скрытая, а всем известная правда войны — дезертирство из Красной Армии уроженцев Западной Украины, Западной Белоруссии, Прибалтики (о чем говорится в главе «По фактам измены»). Нынешний разгул националистов этих областей (получивших «свободу» благодаря предательству подлой клики московских «перестройщиков»), нынешнее злобное преследование ими живущих там русских только подтверждают, насколько эти националисты были вредоносны в войну и как справедлива была послевоенная высылка их (очистительная для их народов). Конечно же те же дезертиры не представляли белорусский народ, в котором каждый четвертый был партизаном. Что пережил белорусский народ в годы ненавистной оккупации — можно хотя бы частично представить по документальной книге «Мы из огненной деревни» — записанным на пленку потрясающим рассказам деревенских женщин, чудом оставшихся в живых. Зверствовали на стороне врага в годы войны бандеровцы, но были и ковпаковцы (о партизанских действиях которых рассказывается в книге П. Вершигоры «Люди с чистой совестью»). И теперь в той же Белоруссии орудуют русофобы типа некоего Поздняка, Василя Быкова, раздутого московской либерально-интеллигентской критикой «военного писателя», писавшего на русском языке, нахватавшего все, что можно было нахватать (от Героя Соцтруда до множества премий, многомиллионных тиражей), а ныне угрожающе машущего пастушьим кнутом в сторону москалей, обвиняющего их в насилии в военное время над белорусами (которые, по Быкову, оказались между двумя наковальнями — немцами и русскими). Казалось бы, радоваться бедолаге, что освободился «из-под гнета Москвы», и подальше от нее — ан нет, все лезет туда же, подписывает в московских изданиях подстрекательские письма совместно со своими здешними сионистскими дружками-покровителями, радуется расстрелу 3 октября 1993 года, провоцирует

ельцинистов на новые бойни (письмо «сорока двух» в «Известиях» 5 октября 1993 года, когда Дом Советов был заполнен убитыми). Если уж в независимой вроде бы от Василя России он так распоясывается (разумеется, под покровительством тех самых дружков), то можно представить, что выделывает он (вкупе с поздняками) в самой Белоруссии. Остудил ли горячую быковскую голову недавний (в конце мая текущего года) референдум в Белоруссии с его сокрушительным для русофобов результатом (подавляющее большинство белорусов высказалось за единение с Россией, за признание русского языка в качестве государственного). Мельтешившие в Минске во время референдума руховцы заявили, что они не признают итоги референдума. И эти лезут все туда же, в чужой огород, попутно обвиняя москалей в имперских злодействах. Бедные «незалежники»! Вместо того, чтобы использовать «свободу» (пусть и не добытую героизмом, а полученную из рук предателей Москвы) для своего вклада в культурную копилку народа (чем, собственно, и определяется во многом место каждого народа в мире), «незалежники» накачивают себя, как горилкой, только одним: горючей ненавистью к москалям. Кажется, что лиши их этого вдохновения — и нечем им будет жить, рухнет несчастный РУХ!

Что же касается «непризнания» ими итогов референдума в Белоруссии, то, как говорится, почуяла кошка, чье сало съела; будь объявлен референдум на Украине, наверняка результат его окажется столь же сокрушительным для руховцев. Мартовский (1991 года) всесоюзный референдум показал, что все народы Советского Союза были за его сохранение (76,4 процента из числа участвовавших в голосовании 80 процентов населения страны), и только заговорщическая деятельность горбачевых-ельциных, руководимая из-за океана, явилась той миной, которая взорвала великое государство. И поэтому всякого рода интеллигентская накипь на поверхности общественной жизни в «новых государствах» ни в коей мере не отражает коренных интересов народов, а, наоборот, действует вопреки им. Новые режимы, растоптав-

шие волеизъявление народов, выступавших за целостность государства, незаконны, антинародны и не имеют исторического будущего.

* * *

В канун пятидесятилетия Победы мне позвонила женщина, назвавшаяся соседкой по подъезду, общественницей, и спросила, когда мне можно вручить «медальку». Оказывается, в здании школы раздавали ветеранам войны «медальки» в связи с пятидесятилетием Победы, а мне не дозвонились. «Медальку» я не взял, чем не очень, мне показалось, огорчил просительницу. Дело не только в том, что на этой «демократической» награде в салюте звездочек одной дотошливой на сей предмет газетой были зафиксированы три рядком главных, отчетливо шестиконечных. И вообще, взять участнику Великой Отечественной войны эту «медальку» даже хуже, чем поклониться Гитлеру, не сумевшему сделать то, что сделали эти разрушители великого государства, за которое мы воевали. Отказ от этого бесчестия настолько рядовое, обыденное, самое естественное дело для нормального сознания, что напрасно газета (кажется, «Правда») возвела шестерых «отказников» от «медальки» в героев, совершивших «последний подвиг». Почему «подвиг» и почему «последний»? Или не предвидится уже никаких других вражеских вылазок «демократов», против которых потребуется, может быть, уже настоящий подвиг! Я был уверен, что никто из знакомых братьев-писателей не возьмет «медальку», побрезгует. Но, увы, взяли даже и те, кто не воевал, некоторые даже участвовали в «параде ветеранов», хвалясь потом полученными за это серыми костюмами. И перед кем же они маршировали, перед какой компанией на трибуне Мавзолея?

Можно понять, когда эту власть поддерживают ее единокровные выкормыши, такие боевики, как марки захаровы, аллы гербер, такой литературный труп, как Булат Окуджава, вкусивший вурдалачье наслаждение от расстрела 3 октября. Но, пожалуй, гнуснее подобных открытых врагов до поры

скрытые русские предатели. Особенно кишели предателями смутные времена русской истории. В начале XVII века в подмосковное Тушино, в лагерь Лжедмитрия II, переметнулись десятки тысяч бояр, стольников, дворян, простого люда. В Сказании Авраамия Палицына об осаде Троице-Сергиева монастыря польско-литовскими интервентами (сентябрь 1608 года — январь 1610 года) то и дело говорится о «русских изменниках», которые «ползая, как змеи по земле», лиходействовали вместе с захватчиками. Но не было еще в истории России такого предательства, как во времена «перестройки», когда измена началась с вершин власти, с Иуды Горбачева, предавшего свою партию (которая сделала его генеральным секретарем, а потом президентом), вступившего в преступный сговор против собственного государства с масонской Америкой.

Впрочем, это особая тема — интернационалистская шайка в Политбюро, ставшая с «перестройкой» поставщиком идеологических ренегатов, проамериканских президентов в республиках бывшего Советского Союза.

Но были же в этом капище русофобов (откровенно признавшихся с разгромом великого государства, что целью их было — всеми силами способствовать разрушению Империи) и русские люди, видевшие, куда, в какую пропасть ведет «перестройка» государство, что за тип — Меченый с его скользким блудословием? Видели и верили! Бывший председатель КГБ В. Крючков, уже выйдя из «Матросской тишины», писал, что Горбачев не говорил ему правды в отличие от Андропова, который никогда не обманывал его. Не наивно ли это звучит, да еще в устах бывшего шефа госбезопасности? Когда это матерые политики были «душой нараспашку» со своими подчиненными? Говорил ли, например, Андропов русскому человеку Крючкову о своей ненависти к России (которую он, сразу же с приходом к власти, в докладе об очередной годовщине Октябрьского переворота назвал «тюрьмой народов»)? Недавно было опубликовано донесение председателя КГБ Андропова в ЦК партии, где он презрительно именует русских патриотов (историка С. Семано-

ва и других) «русистами», не скрывая своего враждебного отношения к ним. Говорил ли Андропов своему первому заместителю Крючкову, почему так и остался в тайне, не был обнародован известный в КГБ список «агентов влияния» в нашей стране? И таких «почему» может быть очень много.

«Я не смею думать, — писал историк Н. М. Карамзин, — чтобы у нас в России было немного патриотов; но мне кажется, что мы излишне смиренны в мыслях о народном своем достоинстве — а смирение в политике вредно». Но, пожалуй, не менее вредно навязывать политике нравственность, понятую отвлеченно (как это делает тот же Карамзин, черня Ивана Грозного с нравственной точки зрения, явно следуя за Курбским в обвинении царя как тирана, как бы забывая о его величайших деяниях как государственника, защитника Православия). Поэт и драматург А. К. Толстой также исходит в оценке Грозного из моральных соображений, но и он подтверждает ту истину, что «смирение в политике вредно». Сын Ивана Грозного Федор Иоаннович, вступив на престол, своим смирением, собственно, губит страну, отдавая во власть Бориса Годунова церевича Дмитрия и его мать, — с современной злободневностью это показано в спектакле об Иване Грозном, поставленном Малым театром.

Не этим ли пагубным для страны смирением, точнее говоря, доверием, слабоволием, простодушием поражены политики из русских людей? Бывший секретарь ЦК партии Шенин, также оказавшийся после августа 1991 года за решеткой, говорил по освобождении, что при всей очевидной катастрофичности положения в стране они, составляющие ближайшее окружение Горбачева, продолжали верить ему, верить, что он знает, что надо делать, и никто даже и не мыслил взять на себя ответственность, чтобы помимо Меченого что-то предпринять.

Или вот еще, из новых примеров. Недавно (в конце мая сего года) по телевидению в программе «Момент истины» выступал В. Поливанов, ставший знаменитым своей борьбой против распродажи за бесценок национального достояния. Короткое время он был председателем Госкомимущества

вместо получившего повышение за свою компрадорскую службу А. Чубайса. Вникнув в суть полученного наследия, он был потрясен: страна, ее стратегически важные отрасли оказались буквально разграбленными мафиозными лицами, зарубежными монополиями. После того как новый председатель Госкомимущества с трибуны Госдумы предал огласке факты фантастически дешевых, почти даровых сделок, разорительных, кабальных для страны, — на него злобно накинулся его нахрапистый предшественник, поддержанный Ельциным. И вот, выступая по телевидению, Полеванов с документами в руках свидетельствовал, что творится в стране, какой идет грабеж, разбой, насколько велик «паралич власти» «президента», подписывающего указы, на которые никто, даже само его окружение, не обращает внимания, как астрономически растет внешний долг России (нынешние сто тридцать миллиардов долларов — вместо недавних сорока миллиардов), так что на каждом из нас включая новорожденных лежит долг в тысячу долларов не считая процентов. По словам выступавшего, стоящие ныне в нашей стране у власти выполняют волю Международного валютного фонда. Кстати, на встрече с депутатами Думы на вопрос: почему плохо финансируется наука, культура — министр финансов России отвечал, что Международный валютный фонд отпустил для этих целей в переводе на рубли только пять триллионов рублей. Таким образом, развитие нашей науки, культуры полностью зависит от Международного валютного фонда, который, конечно же, заинтересован в том, чтобы Россия, до «перестройки» одна из самых образованных стран мира, отныне оставалась бы навсегда на положении научно-интеллектуальной колонии.

После всего сказанного какое может быть отношение к Ельцину, главному виновнику невиданного разорения на русской земле? Но, как это ни странно, на вопрос телеведущего, верит ли он Ельцину, Полеванов ответствовал: «Верю». Человека за честную, принципиальную позицию, за то, что он восстал против экономического разбоя, за государственные интересы России, Ельцин вышвырнул из прави-

тельства, — и этот человек верит ему?! Что это? Если даже и «дипломатический» расчет на будущее, то игра не стоит свеч, ибо само это заявление работает на разрушителя: десятки миллионов еле дышащих от голода простаков, услышав, что человек в любых обстоятельствах продолжает верить Ельцину, воспрянут, пожалуй, таким же доверием к своему мучителю и проголосуют за него на выборах — с последующим вскоре уходом на тот свет.

Но боюсь, что дело тут не в «дипломатии», а в искренней вере ельцинской жертвы. И если это так, то нечего ждать перемен в будущем (в смысле оздоровления экономики, правительственных кадров), о которых так оптимистически говорил с экрана телевизора Полеванов. Все будет решать «президент» (как раньше генсек), окружающая его челядь (русская часть!) будет ждать от него «руководящего» слова, верить, что он знает, что надо делать, и следует всецело полагаться на него.

Мало кто из современников понял зловещий смысл горбачевского лозунга о «перестройке» как «революции». «Перестроечная» революция подняла на поверхность социальной, политической жизни, на вершины власти отбросы общества, людей уголовного типа, моральных дегенератов. По словам одного историка, Горбачев «создал команду, в которой все поголовно оказались предателями». Ельцин сколотил команду (по совету таких «демократов», как Бурбулис, Собчак и проч.) из экономических, идеологических бейтаровцев. В прошлом это какой-нибудь бегающий по коридорам редакций «Правды», «Коммуниста» лысенький, упитанный журналист (Егор Гайдар), продавец цветов (Чубайс), серенький чиновник МИД (Козырев), директор небольшого завода (Шумейко), всякие там преподаватели марксизма-ленинизма (Бурбулис), «завлабы» — заведующие лабораториями (Шахрай), освобожденный секретарь комсомольской организации в банке (Б. Федоров) и т.д., и т.д. И вдруг вся эта мелкота оказалась на «верхотуре». В этом нет ничего удивительного: всякая революция, разрушая сложившуюся иерархию ценностей, выбрасывает из своей пены, грязи «человеческую

породу», необходимую ей, тем более такая революция, как нынешняя, которая справедливо названа «великой криминальной революцией». Недаром этих «реформаторов» именуют «чикагскими мальчиками» по названию духовного их проживания (помимо, разумеется, израильского). Когда Солженицын назвал «реформы» Гайдара «безмозглыми», то этот эпитет внешне можно было бы отнести и к самой личности «реформатора». Но интеллект, тем более духовное развитие, нравственные качества здесь не играют никакой роли. Выбор сделан по тому же рецепту «шоковой терапии», как и в «реформе». Вот вам, русские, реформатор. У немцев в послевоенное время был Эрхард, поднявший экономику Германии из руин, говоривший, что нет большей гнусности, чем обесценивать при реформе вклады населения, добившийся за короткий срок экономического процветания страны. Но ведь то немцы, а вы, русские, достойны только Егора Гайдара, посмотрите на него и задумайтесь, до чего вы пали, если вам подбрасывают такую больную куклу с плавающими глазами.

Но расчет «закулисы» был и на бешеный экстремизм этих бейтаровцев, дорвавшихся до власти (хотя по своему уровню оставшихся теми же обитателями щелей, откуда выползли), убогий прагматизм, невежество, духовную неразвитость — на все то, что требуется в слепых исполнителях «нового мирового порядка». Наряду с Гайдаром Чубайс — ключевая фигура в осуществлении плана Запада по экономическому сокрушению, закабалению России. Ставленник Международного валютного фонда, этот щебечущий мальчик с поджатыми губками, вытянутой шейкой оборачивается злобным крысенком, когда слышит обвинения в жульничестве с «ваучерами», в «прихватизации» за бесценок «новыми русскими» (точнее, «новыми нерусскими») народного богатства, наработанного десятками поколений, вопит об опасности фашизма в России, клеймит колхозников и т.д. Чтобы воочию видеть, какой это светоч демократической мысли, приводим его программное наставление: «Все материальное (и ваучер в том числе) первично, а идеальное (дух, совесть

и всякая прочая воздушность) — субстанции почти утопические, а потому ими следует пренебречь». Публицист, депутат Госдумы Юрий Власов, процитировав эти слова, посоветовал не комментировать их, оставить в первозданной нетронутости, прибавив при этом, что много он прочитал на своем веку книг, но такого невежества еще не встречал, да еще у такого высокопоставленного типа. Можно было бы объяснить такой небывалый кретинизм словами Достоевского: и у клопа есть своя тайна. Этот уровень объединяет всю команду Ельцина. В годы войны Сталин назвал гитлеровцев, считавших совесть химерой, выродками с моралью животных, и к чему привело это презрение гитлеровцев к совести — всем известно. Почему же с такой наглостью «чикагские мальчики» делают то, что для них самих все равно обернется расплатой?

И почему такой вандализм «на высшем уровне» возможен в стране, известной миру своей величайшей духовной культурой? Нет ли, помимо действий «закулисы» в качестве «кукловодов», нет ли для этого и внутренних причин? У Лескова (в статье «Герои отечественной войны по гр. Л. Н. Толстому») есть замечательное рассуждение на тему не новую, казалось бы, но всегда актуальную для кризисных эпох в жизни нации. Речь идет не столько о Польше, хронические государственные недуги которой, не раз кончавшиеся распадом, расчленением этого странноватого государства, стали притчей во языцех. Автор говорит о судьбах наций, поучительных особенно для нашего времени, для нашей страны. «Не известно ли критикам, что у падавших народностей в самую крайнюю минуту их падения являлись очень замечательные военные таланты и... не могли сделать ничего капитального для спасения отчизны?.. Костюшко видел, что в низком уровне духа страны было уже нечто невозвратно изрекшее его любимой родине "Finis Poloniae!"*. Столь велико и всесильно значение духа народа и столь зависимо от него значение вождя военных и всяких иных сил его!.. Никто

* Конец Польше *(лат.)*.

не может с успехом предводительствовать тем, что само в себе заключает лишь одну слабость и все элементы падения. Костюшко, воскликнув свое роковое "Finis Poloniae!", собственно говоря, не сказал этим ничего такого, что в сотой доле равнялось бы изречению Монтескье, что "всякое правительство впору своему народу". Что такое, в самом деле, одна "закончившаяся" Польша в сравнении с судьбой наций, управляемых правительствами, от которых они страдают и которых должны стыдиться, сознавая в то же время, что эти правительства держатся в них единственно в силу возможности в них держаться? Падение одной Польши решительно ноль в сравнении с этим неотрицаемым и наипечальнейшим мировым фактом! Всякой дурно управляемой стране дурно от ее плохого правительства потому, что такое правительство ей впору — другими словами, что она не умеет создать необходимости уничтожения существующего дурного правления и установления лучшего... Дух народа пал, и никакой вождь ничего не сделает, точно так же, как сильный и сознающий себя народный дух сам неведомыми путями изберет себе пригодного вождя».

В XX веке русский народ, пройдя через все ужасы революций, войн, голода, террора, геноцида, понес страшные, невиданные потери и вступает в новый, XXI век уже в ином, чем прежде, биологически, духовно пониженном качестве. Иногда (с отчаянья, что ли?) даже кажется, что мы, нынешние, имеем к русскому народу (скажем, XIX века) такое отношение, как сегодняшние греки — к эллинам, какие-нибудь провинциальные румыны — к древним римлянам и т.д. И в отношении к государственному сознанию: монархист Лесков, поклонник великих народных реформ Александра II, до смерти носивший перстень с александритом — камнем, названным в честь Царя Освободителя, всю жизнь боровшийся с разрушителями России, с теми, кто хотел ослабить ее интересы на окраинах, в буферных зонах (беловежские «шайки разбойников» в романе «Некуда»). И вот нынешний наш монархист — Владимир Солоухин, носящий кольцо с изображением Николая II. Ему, видите ли, стыдно «за

венгерские события 1956 года. Пражские события 1968 года», стыдно, «что он — русский», за то, что Россия воюет с маленьким, симпатичным ему чеченским народом (не обеляю ельцинский режим, вооруживший Дудаева).

Каждое государство, тем более великое, заинтересовано в том, чтобы его соседи, другие государства, были по отношению к нему невраждебны, хотя бы лояльны. В послевоенной «фултонской» речи Черчилль обвинил Советский Союз в порабощении стран Восточной Европы. Сталин в ответ на это справедливо говорил о государственных интересах нашей страны во взаимоотношениях с этими государствами. «Нельзя забывать следующего обстоятельства. Немцы произвели вторжение в СССР через Финляндию, Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию. Немцы могли произвести вторжение через эти страны потому, что в этих странах существовали тогда правительства, враждебные Советскому Союзу... Возможно, что кое-кто склонен предать забвению эти колоссальные жертвы советского народа, обеспечившие освобождение Европы от гитлеровского ига. Но Советский Союз не может забыть о них. Спрашивается, что же может быть удивительного в том, что Советский Союз, желая обезопасить себя на будущее время, старается добиться того, чтобы в этих странах существовали правительства, лояльно относящиеся к Советскому Союзу?» И вполне естественно, что когда в Венгрии в 1956 году, в Чехословакии в 1968 году возникла угроза государственного переворота, прихода к власти враждебных Советкому Союзу правительств, Советский Союз пресек этот переворот именно в интересах своей безопасности. Понятно, когда против «оккупантов» злобствовали здешние диссиденты, которым, конечно, было наплевать на «свободу и независимость» восточноевропейских стран, главное было разжигать ненависть к «исконной империи» России, натравливать на нее «мировое общественное мнение». Но надо быть несмышленышем тому «русскому патриоту», который стыдится, когда его государство (пусть и чуждое ему идеологически) старается обезопасить себя на будущее.

Почему-то Америке, ее патриотам «не стыдно» разделываться беспощадно с маленькими беззащитными странами (Панама, Гаити), воевать, убивать за десять тысяч километров от своей земли (Ирак, бывшая Югославия и т.д.). Теперь Солоухин может не стыдиться: предметы его печали — Венгрия, Чехословакия — нацелены на НАТО под командой Америки и в случае чего еще себя покажут (как показали себя у нас мадьяры и чехи в революцию, гражданскую войну). Что же касается войны в Чечне, то здесь русский патриот братается с остервенелыми русофобами гайдарами-ковалевыми, которые используют этот конфликт для расчленения России, как начало отпадения от нее, создания на ее территории «новых независимых государств», а вернее всего, как опорный пункт для «восстановления» Хазарии.

Что же это за такие патриоты-монархисты (а значит, и сторонники империи), которым стыдно за целостность государства, за его великие пространства. Все в мире вопят о своем великанстве: Великий Израиль, Великая Польша, Великая Румыния, чуть ли не Великая Латвия, Великая Эстония (с ее хуторской возней вокруг Изборска, Печорского края), а мы конфузимся при имени «Великая Россия».

«Демократы» было уже решили, что русского народа нет, и слова этого не употребляют. В ходу у них только «россияне», «эта страна».

И вдруг самые отпетые ненавистники России (вроде мидовского «друга Андрея», как назвал Козырева американский госсекретарь) заговорили о «просвещенном патриотизме». Конечно, здесь прежде всего политическая игра в преддверии пресловутых выборов, но даже и это говорит о том, что в народе еще не убито то, что стоит на пути американизированных «демократов». Знакомый литератор рассказал мне, как он встретился на пушкинском празднике с одним из вдохновителей октябрьской бойни в Доме Советов (3 октября 1993 года) и как тот, отрицая свое участие в ней, вдруг перекрестился. С чего бы это — с этими православными туземцами вроде бы покончено, гарантия тому — Америка-мама... Но в то же время — мало ли что, все может быть

в этой стране. Заварится какая-нибудь новая заваруха, не дай Бог, против демократов... Нелишне все-таки перекреститься, чтобы в случае чего откреститься от прошлого.

Говорят о провинции как о надежде на возрождение России — жизнь там поспокойнее, быт здоровее, находятся руководители, которые, увиливая от удавки центра, стараются что-то сделать для населения. Но... В конце мая с. г. в Белгороде прошли Дни славянской письменности и культуры. На научной конференции выступил ректор Белгородского университета Н. В. Комышанченко, который в одном ряду с преподобными Сергием Радонежским, Серафимом Саровским и великими русскими учеными патриотами Ломоносовым, Менделеевым поставил имя... А. Сахарова, адепта мирового правительства, призывавшего к расчленению России на полсотни государств. И этот «демократ» Сахаров, ничего общего не имеющий с духовными ценностями России, навязывается в качестве путеводной звезды для русского студенчества! Он-то и главное лицо в названном ряду.

Американский политолог Бжезинский победительно вещает: «Американское партнерство с Россией не существует и существовать не может... Россия не может претендовать на роль сверхдержавы, она была побеждена Соединенными Штатами... Политическая реальность такова, что Россия — побежденная страна... После семидесяти лет коммунизма она была повержена в титанической схватке. Теперь Россия может существовать только как клиент США. Претензия на что-нибудь иное является беспочвенной иллюзией».

Наши люди еще не осознали, что мы проиграли в войне, что мы — побежденные, что к нам завоевателями приставлены их пособники, которых в войну и после войны патриоты, патриотические власти даже на Западе расстреливали как изменников Родины, коллаборационистов. Победители приставили к оккупированному народу в качестве надсмотрщиков, исполнителей их воли вчерашних партократов, чтобы простаки видели и верили: да ведь ничего не изменилось! Все тот же «Борис Николаевич» с широченной кривоватой ухмылкой, «по-народному» гутарящий с телеэкрана: «У нас

лучшие, экологически чистые продукты! Сваришь картошечку — она рассыпчатая, вкусная. Такой нигде нет». Патриотично, нечего сказать, а за этой «картошечкой» — десятки миллионов голодающих, превышающая рождаемость смертность, массовая безработица, разбойное ограбление страны, внешний долг в сто тридцать миллиардов долларов, закабаление экономики зарубежными монополиями.

Когда-то фанатичный ниспровергатель советского строя, звавший Русь к топору, ныне проповедник терпения, примиритель с антинародной властью, лукавый утешитель Лука — Солженицын талдычит о земстве как панацее от всех бед в России, как будто это старая Россия, независимое государство, а не американская вотчина с ее мэрами, муниципальными управлениями, префектами, супрефектами, повсеместными вывесками на английском языке и т.д.

Оккупанты и их гауляйтеры еще никогда по доброй воле не ослабляли петлю на шее порабощенного ими народа. Пока не осознаем, что мы побежденные в войне, и пока не обратимся к тем способам борьбы, которые диктует всякая оккупация и задачи освобождения, — мы будем окончательно обречены на исчезновение как нация.

ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРСТВЕННИК
(беседа с Виктором Кожемяко)

Людям моего поколения, родившимся е середине 30-х (да и более старшим, конечно, а отчасти и младшим), довелось пережить диаметрально противоположное отношение к этому имени. От невероятного, почти божественного возвышения до полного низвержения. Можно сказать так: культ личности сменился уничтожением этой исторической личности.

Уничтожение продолжается. Вот вышла за рубежом и выходит в России книга известного драматурга Эдварда Радзинского «Сталин», широко разрекламированная и прессой, и телевидением. Достаточно вспомнить, что автору было предо-

ставлено аж четыре вечера, причем с последующим дневным повтором, на первом телевизионном канале! Однако незадолго до этого появилась другая книга под тем же названием — «Сталин». И вот ее составитель, известный литературовед Михаил Лобанов, ничего даже близкого к такой массовой аудитории не получил. Почему? Да понятно: его взгляд на фигуру Сталина не совпадает с тем, который считается ныне как бы окончательно узаконенным. Между тем точка зрения Лобанова представляет безусловный интерес, особенно если учесть, что сегодня к ней склоняется далеко не он один. Об этом я и беседую с ним.

Виктор Кожемяко: Михаил Петрович, скажу откровенно: когда я раскрыл на прилавке этот сборник, вышедший в издательстве «Новая книга», и прочитал, что его составитель — вы, очень удивился. Ведь читатели знают вас как литературоведа и литературного критика с определенным кругом интересов, далеких от этой темы, знают ваши замечательные книги об Аксакове и Александре Николаевиче Островском, вышедшие в серии «Жизнь замечательных людей». И вдруг — Сталин. Как и почему возник у вас замысел такой книги?

Михаил Лобанов: Действительно, я не историк, тем более не политолог, и мне никогда ранее не приходила в голову мысль писать книгу о Сталине. Не писал я о нем ни панегириков, ни обличений — видимо, не пришло еще тогда время для понимания самого существенного в Сталине, для меня по крайней мере. Пришло оно теперь, увы, так поздно. Пришло с разгромом нашего великого государства, великим строителем которого был Сталин.

С началом так называемой перестройки не случайно начался новый, невиданно ожесточенный штурм Сталина и «сталинщины». Кстати, это выражение Троцкого. А по сути то был штурм нашего государства. Логика простая: если Сталин — скопище зла, стало быть, такое же скопище зла и созданное им государство. «Империя зла», — как повторял Рейган. В те годы мне было не до книги. Тогда я боролся с разрушителями государства, «демократами», в своих ста-

тьях. За книгу же принялся, когда уже не стало нашего великого государства под именем СССР, да и целостность самой России оказалась под угрозой.

— И в чем, вы считаете, актуальность книги сегодня?

— Не случайно перед президентскими выборами в «демократических» средствах массовой информации опять была предпринята бешеная атака на «сталинизм», на «тоталитарное государство». Дело не только и не столько в самом Сталине. Ведь если до сих пор такая живая ненависть к человеку, умершему почти полвека назад, — значит, ненависть уже не к одной этой личности. Если до сих пор клеймят «сталинский тоталитаризм» — значит, не вытравлена еще до конца из нашего национального сознания идея сильного, централизованного Российского государства. Вытравить эту идею, добить Россию — вот по существу главная цель «перманентной революции» против «сталинщины».

— Сборник о Сталине составлен из воспоминаний современников и документов эпохи. Скажите, по какому принципу вы отбирали материал, какими источниками пользовались?

— Моей задачей было собрать документальный материал, который давал бы читателю живое и по возможности объективное представление о Сталине — о его жизненном, революционном пути, политической деятельности, о той роли, которую отвела ему история в XX веке. Ознакомился я в какой-то мере и с литературой на эту тему, вышедшей на Западе.

Надо сказать, иногда это просто «голливудские ужасы» — с невиданным злодейством героя, с выстрелами, сюжетными интригами и т.д. Один из авторов таких фантазий — Ю. Кротков, из бывших наших соотечественников, состряпавший в Нью-Йорке книжку под заголовком «Красный монарх». Познание им сталинской эпохи сводится ко всякого рода сплетням, байкам, анекдотическим свидетельствам «знакомых». Сообщает тетя Клава: «Маршал Конев был на стороне Маленкова». Показания соседа Ефима: «Солдаты маршала Конева оккупировали все железнодо-

рожные станции столицы. Я поверил Ефиму, он никогда не лгал». Свидетельства Соломона: «Никита Хрущев подошел прямо к Берии на заседании Политбюро и выстрелил ему шесть пуль в шею».

И все в таком роде. И все это в США экранизируется. Я думал, что такими пошлыми анекдотами потчуют только американцев, которые «все съедят». Но вот просто ахнул, когда на днях эту ахинею около двух часов крутили по первому каналу российского телевидения, продолжая одурачивать десятки миллионов наших зрителей, представляя молодежи нашу историю с гаденькой ухмылкой. Замечу, что сама книга разрекламирована в Америке небезызвестным историком Робертом Конквестом, который рекомендует данное сочинение как написанное «в лучших русских традициях». Подчеркивает: «То, что западному читателю может показаться невероятным, на самом деле аутентично». Конквест расхвален у нас «демократами» как специалист по сталинскому «большому террору». Но, читая его оду собирателю сплетен, можно невольно усомниться: а так ли уж «аутентично» то, о чем говорится в «Большом терроре» самого Конквеста тому, что происходило на самом деле?

Есть, конечно, более серьезные работы. Вот изданная недавно (не переведенная на русский язык) книга профессора Массачусетского университета Роберта Х. Макнила «Сталин. Человек и правитель». Здесь, в частности, говорится, что, не отрицая жестокости правления Сталина, «вместе с тем нельзя понять этого чрезвычайно одаренного политика, приписывая ему все преступления и страдания эпохи, просто считая его чудовищем и психически ненормальным человеком». Любопытна попытка автора психологизировать характер Сталина, объяснить «культ личности» ответной реакцией Сталина на противоречие, которое существовало между его скептическим взглядом на человеческую природу и марксистским представлением о том, каким должен стать человек будущего.

Впрочем, во многих из этих книг нет подлинно исторического подхода. Их тематика и анализ ограничены довольно узкими политизированными проблемами, а публицистичес-

кая мысль весьма прямолинейна. Для многих авторов ориентир в оценке Сталина один — книги и статьи Троцкого. Но ведь Троцкий не мог не быть крайне предвзятым и пристрастным по отношению к своему заклятому политическому врагу!

— Не из духа ли противоречия родилась ваша книга? Может быть, это просто полемическое желание пойти «против течения»? Попытаться оспорить то, что вроде бы уже утвердилось в общественном сознании?

— Нет. Это другое. Пришло время для более всестороннего осмысления роли Сталина в нашей истории. Прежде всего — как великого государственника.

Об этом вы не найдете почти ни слова в работах о нем. Даже не упоминается, например, о таком важнейшем факте, как его отчетный доклад в июле 1917 года на VI съезде РСДРП(б). А ведь именно тогда он впервые выдвинул идею возможности построения социализма в одной отдельно взятой стране. То есть идею государственности, независимости страны. И это в то время, когда Троцкие-Зиновьевы-Бухарины видели в России только материал для мировой революции.

Старый революционер Сталин со временем все более отходил от революционизма, свою судьбу он связан с судьбой Российского государства. Его значение в тысячелетней российской государственности предстоит еще осознать историкам. Но коротко можно сказать, что уже в предоктябрьское время он был непреклонным государственником, причем стоял за унитарное, то есть слитное, государство с сильной центральной властью. В статье «Против федерализма», которая была написана еще в марте 1917 года, Сталин выступает против тех, кто хотел превратить Россию в «союз областей». Он говорит об Америке, что там «развитие шло от независимых областей через их федерацию к унитарному государству». То же самое — в Канаде, Швейцарии. Это общая тенденция, и автор статьи заключает, что «неразумно добиваться для России федерации, самой жизнью обреченной на исчезновение».

— Сейчас наша федерация, кажется, как раз под угрозой распада...

— В нынешней ельцинской конституции такой порядок ценностей: личность, семья, государство. Государство — на последнем месте, не говоря уж о том, что не нашлось места народу. Сильное государство для «демократов» ненавистнее всего! В черном списке врагов России навсегда останутся экстремисты из «ДемРоссии» — все эти сахаровы, гавриилы поповы, афанасьевы, собчаки. Это они вопили о необходимости расчленения нашей страны на шестьдесят-семьдесят «независимых государств». Каиновой печатью отмечены имена беловежских преступников. Теперь взялись за разрушение собственно России — все эти солженицыны, новодворские, ковалевы, требующие независимости Чечни. Суетятся «православные» диссиденты, какие-нибудь тростниковы, видящие спасение страны в новообращенных интеллигентах, благодаря которым воспрянет грядущая Россия — пусть по своей территории «она будет размером с Московское княжество Дмитрия Донского». Именно так заключает этот «патриот»!

Уместно в связи с этим привести две цитаты. Одна — Карамзина, из его «Истории государства Российского». Историк считает ошибкой Дмитрия Донского то, что он, «имев случай присоединить Рязань и Тверь к Москве, не воспользовался оным: желая ли изъявить великодушное бескорыстие? Но добродетели Государя, противные силе, безопасности, спокойствию Государства, не суть добродетели». А вот из телеграммы в феврале 1943 года патриаршего местоблюстителя Сергия Иосифу Виссарионовичу Сталину: «В день юбилея нашей победоносной Красной Армии приветствую Вас как ее Главнокомандующего от имени духовенства и верующих Русской Православной Церкви, молитвенно желаю Вам испытать радость полной победы над врагом и видеть возрождение истерзанной Родины». И залог нашей национальной зрелости — в сопричастности к силе государства, к его судьбе.

— В составленной вами книге много свидетельств современников о Сталине именно как о государственном деятеле.

— Как о великом и мудром государственном деятеле. Это его усилиями были возвращены России ранее отторгнутые у нее земли: бывшая исконно русская Ливония на Балтике, Западные Украина и Белоруссия, Молдавия, Южный Сахалин. Почитайте стенографические записи его переговоров с руководителями США и Англии на Тегеранской, Ялтинской, Потсдамской конференциях. Какая глубина понимания обсуждаемых вопросов, какая сила логики и непреклонность в защите интересов своего государства!

Один из иностранных генералов сказал о нем: «Весь его облик был таков, что вызывал уважение к государству». А югославский политик Джилас, впоследствии антисталинист, в своих воспоминаниях о встречах со Сталиным приводит такой эпизод. Сталин остановился перед картой мира, на которой Советский Союз обозначен красным цветом, провел по нему рукой и воскликнул в адрес американцев и англичан: «Никогда они не смирятся с тем, чтобы такое пространство было красным, — никогда, никогда!» Ныне, к удовлетворению американцев и англичан, карта мира уже иная.

— Что ж, книга ваша, наверное, многих убедит в том, что Сталин был действительно великий государственник, что забота о силе государства была для него превыше всего. Однако остается вопрос, какой ценой это достигалось. «Лес рубят — щепки летят» — подлинно ли употребление Сталиным этой пословицы в определенном смысле?

— Таких слов я у него не встречал. Но известны, и они вошли в мою книгу, другие жутковатые слова Сталина: всякий, кто намеревается разрушить наше государство, будь он и старым большевиком, будет истребляться вместе со своей семьей и всем родом. Это в записи Георгия Димитрова, из высказываний Сталина на ужине у Ворошилова в день двадцатилетия Октябрьской революции — 7 ноября 1937 года. Да, беспощадные слова. И связаны они были с проходившими в тот период судебными процессами над троцкистами-зиновьевцами. Но еще до этого, в 1935 году, в беседе с Роменом Ролланом Сталин говорил, что когда человек

решает заниматься политикой, то он все делает уже не для себя, а для государства, которое требует безжалостности.

Сталин принимал суровые меры в интересах государства, но считал их временными, пока в них есть необходимость. Например, кто из старшего поколения не помнит довоенный закон о прогулах? Все помнят. Чей закон? Сталинский. А как он возник? Бывший нарком вооружений Ванников пишет в своих воспоминаниях: «Наркомы неоднократно обращались к И. В. Сталину и другим руководителям партии и правительства с предложением издать закон, направленный на борьбу с прогулами и текучестью рабочей силы. Сталин отвечал, что для этого нужны не особые законы, а повышение качества технического и хозяйственного руководства. Он потребовал от всех наркомов и директоров предприятий улучшения их работы». Но положение не менялось, и только тогда, в середине 1940 года, были приняты «более решительные меры».

Прочитаем дальше: «Был подготовлен проект закона о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с работы. При обсуждении его на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) присутствовали и наркомы, члены ЦК. Обращаясь к ним, И. В. Сталин сказал, что такой закон — вынужденная мера, вызванная прежде всего неспособностью руководителей наркоматов и заводов добиться стабильности и укрепления производственной дисциплины. Этот упрек был в значительной мере заслуженным». Такова история закона о прогулах, который обычно отождествляется с жестокостью Сталина.

— В рязанском селе Можары, где прошло мое детство, я слышал от женщины-крестьянки с тяжелым вздохом: «Ох ты, Сталин, Сталин, Сталин, всех ты мучиться заставил...» Вы, Михаил Петрович, тоже ведь родом рязанский, причем старше меня. Что из собственных впечатлений того времени, связанных с именем Сталина, приходит вам на память?

— При имени Сталина мне особенно вспоминаются два момента из моей духовной биографии. Это то, что обычно называют экзистенциальным опытом.

1938 год. Учился я тогда в пятом классе, и была у меня школьная тетрадь с портретом, кажется, Рыкова. Какой-то

мне самому непонятный страх испытывал я, что за этот портрет меня могут куда-то забрать. В конце концов порвал тетрадь в клочки и выбросил их во дворе в уборную. Видно, не случайно даже меня, подростка, коснулся страх, что-то тревожное было в атмосфере тогдашней жизни. Хотя тот же 1938-й памятен мне и тем, что меня, ученика Екшурской средней школы под Спас-Клепиками, одной из лучших тогда в стране сельских школ, наградили путевкой в Артек. Правда, поехала туда вместо меня дочь отчима (она болела костным туберкулезом ноги), но характерна эта смесь чувств — страх и радость: Артек, щедрый дар для сельского подростка!

И было еще одно незабываемое переживание, более позднее. После войны, уже пройдя фронт, я учился в МГУ. Так вот, бывало, выходишь из университетской библиотеки на Моховую, особенно в зимний метельный вечер, напротив зубчатые стены Кремля, а там, за ними, таинственный Сталин. Было такое чувство, что именно там и происходит самое главное в мире.

— Но давайте, Михаил Петрович, вернемся к эпизоду с тетрадью. В самом деле, не случайным ведь был страх, который вы испытали.

— Обстановка была действительно тревожная. Арестовывали людей. Был арестован муж моей любимой учительницы литературы Софьи Васильевны Застровой — он был латыш по национальности, работал механиком здешней ватной фабрики. Кто-то что-то донес на него, и он бесследно исчез. Угодил в тюрьму и отец моего одноклассника Василия Конкина — этот на вечеринке затянул «Боже, царя храни!» С год где-то просидел, потом перед самой войной вернулся и погиб на фронте. Двое учеников нашей школы, лет шестнадцати, помню по фамилиям — Цыпарев и Антошкин, сочинили листовку с призывом к восстанию, повесили ее на воротах ватной фабрики и на другой же день были арестованы. Один из них, Цыпарев, так и погиб в лагере. Были аресты, был страх. Но можно ли считать виновником всего этого одного человека — Сталина? Во-первых, страх вселился в людей

задолго до его культа личности: многое шло от кровавого противоборства гражданской войны. А во-вторых, сеяли подозрение и страх зачастую те, кто холуйствовал перед Сталиным, а потом, после его смерти, его же поносил.

Хрущев на XX съезде КПСС в 1956 году обвинял Сталина, в частности, в уничтожении военных кадров. Но из документов видно, как в бытность первым секретарем ЦК Компартии Украины и членом военного совета Киевского округа он здесь в 1938 году «выкорчевывал враждебные элементы». Попали под «чистку» почти все командиры. Хрущев даже жаловался вождю: «Дорогой Иосиф Виссарионович! Украина ежемесячно посылает 17—18 тысяч репрессированных, а Москва утверждает — не более двух-трех тысяч. Прошу принять срочные меры. Любящий Вас Н. Хрущев».

Для «демократов» высшее злодейство Сталина — это 1937—1938 годы, известные процессы, расстрелы старых революционеров, как их называли. Но не раз уже говорилось, что репрессии против этих лиц в большинстве своем — настигшее возмездие за прошлые их кровавые дела. Когда Зиновьев заливал кровью Петроград, организуя массовые расстрелы офицеров и всех «не своих»; когда Тухачевский на Тамбовщине травил газом мирное население, уничтожая в качестве заложников деревни с детьми и стариками; когда многие из этих «старых революционеров» бесчинствовали в чрезвычайках...

Выходит, это было возмездие — с нравственной точки зрения. А с политической, государственной точки зрения — пресечение «пятой колонны» в стране. То, что это была «пятая колонна», внутренний враг, не было сомнений даже у такого стороннего наблюдателя, как писатель Фейхтвангер. Он был на судебном процессе и выпустил книгу «Москва 1937», где поддержал Сталина и прямо говорил, как опасны заговорщики в такое время, когда Гитлер угрожает войной. Действительно, нетрудно понять, что ожидало бы нашу страну при «колонне» внутренних врагов. Да, мы можем судить об этом и по действиям их внуков — нынешних «демократов». Они взяли реванш, расчленили страну...

Сейчас тех заговорщиков (всех сразу!) выдают за невинные жертвы сталинизма. Видите ли, их реабилитировали — комиссией под главенством Александра Яковлева. И долго ли изучали? И что-то конкретно доказали? Наивно ждать каких-то доказательств со стороны Яковлева — для него эти люди невиновны уже только потому, что троцкисты...

— Однако репрессии были ведь не только в 1937-1938 годах. А коллективизация, раскулачивание?

— Книга, которую я составил, не скрывает эту драматическую страницу в истории нашего крестьянства. Смотрите раздел «Котлованы и народ». О том, что творилось тогда, какое насилие и произвол, с огромной силой рассказал, например, Шолохов в своем пространном письме Сталину.

Но отвратительно видеть, когда на тему коллективизации спекулируют сегодня всякого рода политиканы, не брезгуя «выгодным» подлогом. Так, в журнале «Отечественная история», в первом номере за 1995 год, современный немецкий историк разоблачает уже упоминавшегося специалиста по «большому террору» в России Роберта Конквеста в жульнической подделке. Тот публикует фотографии о голоде 1921—1922 годов, преподнося их как картины голода на Украине в 1932—1933-м. И ясно, какая тут цель: сработать в угоду русофобам, украинским националистам, которые подготовили доклад для слушания в американском конгрессе. Добавляется, конечно, и антисталинизм: ведь 1932—1933-й — это «его годы»...

— Подтасовки и фальсификации рано или поздно разоблачаются. Хрущев в закрытом докладе на XX съезде заявил, что Сталин руководил войной по глобусу. Но вот стоило появиться на свет мемуарам наших виднейших военачальников, как стало совершенно очевидно, что сказана была, мягко говоря, неправда. А такое ложное утверждение ставит под сомнение и многое другое. Не потому ли, между прочим, не из-за подобных ли «натяжек» тот доклад не публиковали более тридцати лет, да и потом, уже во время «перестройки», появился он не в самых массовых изданиях? Ведь до сих пор активно внедряется в общественное сознание мысль, что

в Великой Отечественной мы победили «вопреки Сталину». Ваша книга, по-моему, достаточно убедительно опровергает этот тезис.

Да, подлинно научная история, опирающаяся на документы, и пропаганда, конъюнктурно этими документами манипулирующая, порой расходятся очень далеко. Помнится, убеждали нас, что известный снимок Ленина и Сталина в Горках — монтаж. Так тогда нужно было. Теперь нужно другое — и Радзинский уже великодушно признает с телеэкрана: нет, снимок тот — подлинный. Как вы, кстати, восприняли эти выступления драматурга пол названием «Загадки Сталина»?

— Забрался в кресло в сталинской комнате на кунцевской даче Иосифа Виссарионовича и, даже не понимая, где находится, начинает паясничать. Ему невдомек, что есть непроходимое расстояние между исторической личностью и каким-нибудь балагуром.

Он начинает с воспоминания Черчилля о том, как неотразимо на него действовала сталинская воля, как все невольно вставали при его появлении в зале заседаний во время Ялтинской конференции, как он, Черчилль, однажды убедил себя этого не делать, но снова на очередном заседании поднялся с места при появлении Сталина, Умный человек поймет, что после таких слов одного государственного деятеля о другом великом государственном деятеле надо держаться какого-то уровня понимания. Ничего подобного!

После Черчилля наш конферансье в кресле приступает к шоу. С приставленными к виску пальцами, якобы в раздумье, с иронической ухмылкой, медоточивой вкрадчивостью. Хорошо еще, что он не оставляет после себя на даче Сталина таких следов, какие оставили здесь американские телевизионщики и позапрошлом, кажется, году. Те уж до того безобразничали, состязались в грязных оргиях, испражнениях, мстили тирану, что человеку нормальному это трудно понять. Впрочем, и этот не уступает в цинизме своим американским собратьям, когда глумится над умирающим Сталиным.

— Вы заметили, что каждая из передач открывалась зловещим титром: «1937»? Даже когда речь шла совсем о других временах — о детстве Сталина, его революционной молодости, двадцатых годах и т.д.

— Автору так надо. Сталин в детстве видел, как пьяный отец-сапожник бил его мать. И это «бить», оказывается, навсегда «входит в его сознание». «Бить, бить, бить!» — чуть не выпрыгивает из кресла рассказчик. Бить кого? Оппозицию, кого же еще. Недаром в передаче все сочувствие на стороне этой оппозиции. И опять-таки бесконечные ссылки на Троцкого.

Иногда доходит до глупости. Приводит Радзинский дневниковую запись Корнея Чуковского о том, в каком опьяняющем восторге были они с Борисом Пастернаком от лицезрения Сталина на съезде комсомола. И что же? Опять происки тирана! «Даже в дневниках заставлял писать о себе как о земном Боге».

А домыслы — без конца. Домыслы о «Завещании» Ленина, домыслы о пьесе Булгакова, посвященной молодому Сталину, о провокаторстве будущего вождя и т.д.

— По мне, так хоть то шаг вперед, что Сталин не выглядит в этих «версиях» карикатурным недоумком или параноиком, каким его зачастую изображали. Коварный, но умный. Оказался ведь умнее всех своих противников! Правда, про сросшиеся пальцы на ноге упомянуто, разумеется. И про то, что низенький был, сухорукий, рябой...

— Скажем о другом, более существенном. О невежестве автора. Сообщает, например, что после войны Сталин был одержим мыслью: «Капиталистическая Европа должна стать социалистической». И комментирует: «Все та же мечта о мировой революции». Нелепее этого ничего придумать нельзя! Автору даже невдомек, что Сталин как государственник давно уже был эволюционистом, а не «перманентным революционером». Об этом немало свидетельств в составленной мною книге.

Для Сталина в это время на первом месте стояли геополитические интересы России. Приведу и еще одно недавнее

свидетельство. В журнале «Новая и новейшая история» (№ 1 за 1996 г.) напечатана статья М. Наринского «Сталин и Торез» (1944—1947). В ней читаем: «Характерно, что лидер мирового коммунистического движения не говорит ни о мировой революции, ни о захвате коммунистами власти в странах Западной Европы в ближайшем обозримом будущем. Франция интересовала Сталина скорее как возможный противовес влиянию Великобритании и США на Европейском континенте, как потенциальный союзник СССР». Далее: «Характерно, что за все время беседы (с лидером Французской компартии Торезом. — *М. Л.*) Сталин ни разу не заявил о возможности компартии захватить власть — ни в период Освобождения в 1944 году, ни осенью 1947 г., когда во Франции шли острые социально-политические бои. Ни о каком захвате ими власти вооруженным путем не было и речи».

— Ваш взгляд на роль Сталина в истории России, можно сказать, кардинально противостоит официальной точке зрения, утвердившейся за последние годы. Откровением для многих будет и сталинская личность, вырисовывающаяся, скажем, из приводимых писем его к родным или некоторых воспоминаний о нем, документов. Тут в самом деле видишь, как личное всецело подчиняется государственному. В его понимании, естественно. И неуемная сталинская жажда власти, о которой столько написано, воспринимается уже не просто как некая слепая маниакальная страсть, как самоцель. Наверное, ближе к истине Чарльз Сноу: «Сталин совершенно очевидно верил, что, обладая властью, он в силах спасти свою страну». Именно за то, что Сталин спас, сохранил Россию, воздают ему хвалу в книге даже некоторые пострадавшие от него — к примеру, священник отец Дмитрий Дудко.

Однако в целом книгу вашу апологетической не назовешь. В ней немало страниц, рисующих героя и результаты его деятельности отнюдь не светлыми красками. Да вы и сами в послесловии написали: «В глубоко противоречивой личности Сталина выразился дух самой эпохи с ее социально-историческими конфликтами, потрясениями внутри России, мировой войной, противостоянием разрушительных

и созидательных сил. Жестокое время выразилось в нем...» Знаете, меня, когда я думаю обо всем этом, мучает вопрос: искупаются ли величием и мощью созданного им государства страдания людей, ни в чем не повинных? Это по существу тот же вопрос, которым задавался Пушкин в «Медном всаднике» и на который, по-моему, не дал однозначного ответа. Восхищается великим Петром, но сочувствует — маленькому Евгению. Вы тоже пишете о многомерности Сталина и его времени, «которая не оставляет окончательного решения».

— Гнусно, когда идет спекуляция на массовых страданиях, извлекаются из этого политические дивиденды. В «Российской газете» от 17 октября с. г. знаменитый «архитектор перестройки» А. Яковлев пишет: «В результате преступных действий большевистской власти погублено более 60 миллионов человек»... Но ведь созданная под председательством того же А. Яковлева в 1988 году при ЦК КПСС специальная комиссия по реабилитации как будто уже установила, что в 30-50-е годы (до 1953 года) было репрессировано 3 миллиона 778 тысяч 234 человека, из них к высшей мере наказания — расстрелу было приговорено 786 тысяч 98 человек. Сейчас этот «спецкомиссар» без всякого доказательства голословно манипулирует цифрами фантастического масштаба, следуя геббельсовско-солженицынскому девизу: чем больше врать, тем скорее поверят. Ведь эту цифру — 60—70 миллионов первым, кажется, запустил «художественный исследователь» Солженицын, внедривший в мировое общественное сознание «имидж» России, русского народа как сплошного ГУЛАГа.

Что же касается механики репрессий — как порождения ли системы, личной ли вины Сталина, его окружения, то вполне вероятно, что в недрах архивов еще таятся факты, которые могут опрокинуть многие наши привычные представления о прошлом. Поэтому-то архивы и «чистятся». Известно, что при Хрущеве было уничтожено одиннадцать мешков досье Берии на всех членов тогдашнего Президиума ЦК. Кстати, при том же Хрущеве было переписано архивное дело его сына-летчика, компрометирующие данные заменены

лестной характеристикой военного начальства. Я рассчитываю на скорое переиздание книги «Сталин». И вот если мне будет открыт доступ в соответствующие архивы, тогда, Виктор Стефанович, мы могли бы продолжить наш разговор.

— Архивы архивами, а история продолжается...

— Да, продолжается. И меня она больше всего мучает сегодня вот чем. Нельзя, конечно, забывать о прошлых репрессиях, но нельзя не видеть и того, что новая волна циничного манипулирования фантастическими цифрами ставит целью заслонить тот невиданный в истории геноцид, который осуществляется в настоящее время против нашего парода.

Уже в открытую в США требуют уничтожения целых поколений русского населения. Так, заместитель государственного секретаря Тэлботт в своем недавнем выступлении в Колумбийском университете (см. «Независимую газету» от 27 ноября с. г.) заявил: «Чтобы завершить процесс, идущий сейчас в России, люди, привыкшие работать по-советски (вернее, не работать), должны уйти со сцены». То-то они и боялись «советской империи», что мы не умели работать! Оратор продолжает, подчеркивая главные задачи «мировой демократии»: «Необходимо, чтобы ушли те, кто полон горечи но поводу того, что, по их мнению, потеряла Россия в период между 1989—1991 годами... политическую и экономическую систему, четверть территории и половину населения государства, центром которого была Россия».

Прервем эту человеконенавистническую цитату и заметим, что дается право на жизнь, очевидно, только голосовавшим за Ельцина, а они вряд ли составили и третью часть народа. Остальных — в могилу! Вот что заявляет дальше этот каннибал: «На смену этим людям должно прийти новое поколение, проникшееся пониманием того, что приобрела Россия за последние несколько лет, что можно назвать «свобода».

— Что ж, вспомните, чем закончил свои антисталинские телемонологи Радзинский: «Кнут — самое ценное, что нам оставили татары». Дескать, народ наш шел вперед только

тогда, когда чувствовал над собой кнут или палку. Ну, а теперь (наконец-то!) обретаем свободу.

— По-моему, теперь уже каждый здравый человек должен видеть, что это такое — свобода по-американски. Если кто не подчиняется американскому диктату, того ждет налет ракет с уничтожением мирного населения — как в Ираке. Или же затяжная война — как в Сербии. Как это вполне реально в отношении любой другой страны.

— Это Сталину в России ничего не прощается, а им все сходит с рук. Кто вспоминает, например, что команда залить огромные территории Вьетнама отравляющими веществами была отдана в 1961 году не кем-нибудь, а симпатичнейшим и обаятельнейшим Джоном Кеннеди? Уж никак не монстр в глазах либералов! Вытравленная земля, миллионы погубленных и калек, в том числе рождающиеся калеками до сих пор, — все как бы не в счет. И это ведь делалось в чужой стране.

— Нынешний антинародный режим в России послушно выполняет людоедские указания своих американских хозяев. Всеми преступными средствами — голодом, нищетой, невыплатой зарплаты и пенсий, безработицей, государственным поощрением абортов, разжиганием русофобства, внутрироссийских межнациональных кровавых конфликтов... Всеми мерами добиваются того, чтобы «сошли со сцены», то есть были уничтожены, десятки миллионов честных тружеников, строивших великое государство и живших в нем. Для меня это очевидно. И горько, что многие мои соотечественники не понимают этого.

ПЛАТА

Остановлюсь на исповеди главного редактора С. Залыгина «Моя демократия» («Новый мир», № 12, 1996). Исповедь эта должна убедить «демократов», что автор ее — верный их слуга. Он заверяет своих хозяев: «Большего демократа, чем Андрей Дмитриевич (Сахаров), я в жизни своей не встречал:

узнав его, я получил новые понятия о демократизме. Слишком, слишком поздно». «Сергей Адамович Ковалев — противник войны в Чечне, причем с самого ее начала. Не только коммунисты, но и большинство демократов его не слушали». «Я даже думаю, что Горбачев предотвратил бы войну в Чечне». Солженицын «сыграл в нашем демократическом сознании роль не меньшую, чем Толстой». Главный враг данного демократа, конечно, Сталин, его он называет «типичным бомжем» и не может ему простить того, что он уничтожил «все дореволюционное руководство партией» (то есть всех этих зиновьевых-каменевых-бухариных и прочих из «пятой колонны», внуки которых — нынешние «демократы» — взяли реванш, уничтожив великое государство, созданное Сталиным). Поливаются грязью нынешние лидеры народно-патриотического лагеря, бывший ЦК партии, что не помешало автору в свое время благодаря тому же ЦК перебраться из провинции в Москву и получить квартиру в генеральском кэгэбэшном доме. И о народе: «Мы говорим: большевистский террор. А ведь террор поначалу выдумали не большевики — народ выдумал». И заключает обличитель «нашей исторической несостоятельности» таким выводом: «Может, наши беспредельные пространства в том виноваты».

Ну зачем ставить во главе «Нового мира» какого-нибудь помешанного на русофобстве померанца, когда ту же роль с не меньшим рвением может исполнить «русак-сибиряк»? И Залыгин старается изо всех сил, печатая в своем журнале аж в трех номерах гнусные наветы одной «ученой» парочки на Шолохова как якобы фиктивного автора «Тихого Дона» (1993, № 5, 6 1995, № 11), виновником нынешней мафиозности в стране объявляется русское крестьянство, «крестьянский традиционализм» (Ю. Каграманов «Чужое и свое», 1995, № 6), одобрение расстрела 4 октября 1993 года смакуется религиозным ханжеством, обвинением «русских шовинистов» в апостасии — отпадении от Бога (В. Тростников «Красно-коричневые — ярлык или реальность?» (1994, № 10), стряпается якобы многовековая предыстория «современного фашизма» в России, Россия име-

нуется родиной фашизма, перекинувшегося оттуда в Германию. (Г. Померанц «Разрушительные тенденции в русской культуре», 1995, № 8) и т.д. и т.п. — все в таком же духе русоненавистничества.

Как извращается тот, кто отрекается от своей национальности, холуйствует перед «избранным народом». Нормальный русский человек знает, кто такой Сахаров, требовавший расчленения России — на семьдесят государств, такой же ненавистник России, другой «борец за права человека» Ковалев, клеветавший на русских солдат в Чечне, остервенело защищавший чеченских головорезов. И как же надо выродиться, чтобы так раболепствовать перед этими «демократами», коих подобие как своих непримиримых врагов именовал Шаламов «П. Ч.» (прогрессивное человечество).

Какая-то бактерия предательства гнездится в русском интеллигентском сознании, готовая в любое время вырваться наружу гнусным поступком. Был такой главный редактор газеты «Литературная Россия» М. Колосов, который долгие годы выставлял себя другом патриотов, но стоило ему вступить в конфликт с одним из них, известным русским писателем, как он тотчас же побежал в «Огонек» Коротича и опубликовал там письмо против своего вчерашнего единомышленника. Побежал к кому же? К главарю враждебного всему русскому желтого журнала, духовного отравителя десятков миллионов читателей, того самого журнала, с которым наш «патриот» вроде бы даже воевал, но вот вмиг скурвился и превратился в подстилку.

Предшественницей «Лит.России» была газета «Литература и жизнь», в которой я работал в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов завотделом литературы и искусства. Членом редколлегии этой газеты был поэт М. Дудин. Приезжая из Ленинграда, он своим появлением в редакции вносил целый каскад шуток, стихотворных экспромтов, вызывая всеобщий смех. Сам родом, кажется, из Иванова, он считал себя «питерцем». Высокий, прямой, с элегантными замашками, с улыбкой приветливой, чуть покровительственной (при встрече с «простыми смертными»), он располагал

доверием к себе. Шли годы. М. Дудин все больше поднимался на вершину — не поэзии (увы, не благоволившей к нему), а общественно-политического комфорта. Он уже не просто «поэт», а лауреат Государственной премии. И не одной. Герой Социалистического труда. С «перестройкой» — он «демократ», его фамилия всегда значится в числе подписантов, провоцирующих антирусские акции. Таких не забывают. Кто-то из его покровителей, кажется А. Борщаговский, картинно описал, как Дудин в зале, наполненном «демократами», шествовал к трибуне: обычно стремительный, как бы поэтически летящий, он на этот раз шел тяжкой походкой, погрузившись в скорбь от сознания того зла, ненависти, которые исходят от русских шовинистов... Не разыгрывал ли он подобную комедию, когда в день расстрела невинных людей у Дома Советов ставил свою подпись, вслед за Баклановым и Граниным, в упомянутом письме к Ельцину, требуя не щадить «красно-коричневых»?

Ну а что говорить о «деятелях культуры» вроде лицедея М. Ульянова, готового по заказу нынешних хозяев напялить на себя какую угодно обезьянью маску: предстал же он недавно во всей своей красе в телевизионном злобном и глупом шоу о Сталине, где, играя самого себя, вихляясь у бильярда, тыча кием в стоящего рядом «Сталина», как некий гусар в своего денщика, горлопанил: «Ну, где она, твоя советская власть родненькая?» Если раньше, при «красно-коричневых», эти лицедеи могли еще что-то «выдать» (тот же Ульянов в роли Дмитрия Карамазова в фильме «Братья Карамазовы»), то ныне, при «демократах», их амплуа сводится только к политическим выкрикам, к шутовству для развлечения жирующих грабителей России. Каков режим — таково «искусство», выблевываемое всеми этими никитами михалковыми с их генетической способностью быть постельничьими при всех временах, подлым нравом топтать то, чему пели гимны вчера.

Но что же все-таки это за «избранный народ», который так магически тянет к себе наших известных русачков? Мало-мальски духовно развитой человек из общения с ка-

кой-нибудь особью этого «избранного народа» может извлечь для себя нечто противоположное тому, что называется сознанием собственной неполноценности. Может сделать вывод: малый ты умный, но до того умный, что лучше было бы тебе быть поглупее. Помню (это было давно, где-то в начале семидесятых годов) по дороге из Литинститута, где мы провели свои семинары, возник у меня с Г. Баклановым какой-то мудроватый разговор, застряли в памяти слова моего спутника о том, что гениальность зависит от какого-то участка головного мозга. Это было сказано таким убежденным тоном, что я понял — бесполезно говорить что-то другое, например, что просто нелепо сводить тайну гения (как особый дар свыше) к узкой мозговой функции. И все они — мозговики, не более. Ведь только такой мозговик мог написать: «Таков механизм Рождества». Поэтому-то по сути своей нет никакого различия между И. Бродским (кому принадлежит этот стих) и Егором Гайдаром, этим безъязыким портативным счетчиком с набором бесконечных «рыночных механизмов» (типа: «действующие механизмы рыночного микрорегулирования» и т.д.). У всех у них механизмы во всем. И до них, до их хваленого интеллекта никогда не дойдет та простая истина, что сравнивать поэзию Есенина хотя бы со стихами того же И. Бродского — это все равно, что сравнивать таинственный мир живой клетки с мертвым синтетическим изделием, ибо в первом случае — редко кому дарованная бытийная интуиция (не говоря уже о даре поэтического откровения), в то время как во втором случае — сугубо рассудочное конструирование «образа», расчетливость словесных ходов. Вообще не случайно у этого типа людей так развито шахматное мышление, среди них множество известных шахматистов. Но вот недавно в печати сообщили, что чемпион мира по шахматам Каспаров проиграл компьютеру. Уже ныне компьютер берет верх и над всеми другими интеллектуальными игроками.

Но игры продолжаются.

«Президент сделал сильный ход», — изрек Чубайс по поводу назначения Ельциным Бориса Немцова первым заме-

стителем премьер-министра. Сам Ельцин так оценил способности своего назначенца: «В общем, у него сегодня при разговоре уже мысли так и льются из него». О том и другом (т.е. о Чубайсе и Немцове) сказано так: «Идея за идеей, только подхватывай и внедряй в общество своим авторитетом», оба «просто рвутся в бой, не давая и мне дремать». Это идеи действительно «рвущихся в бой» боевиков: «секвестр» (урезывание бюджетных средств на социальные нужды), коммунальная реформа (увеличение непосильной для десятков миллионов квартплаты), сокращение пенсионных выплат работающим пенсионерам и т.д. Завтра следует ожидать новые взрывы идей под остатки государственности и армии. (Кстати, отношение Ельцина к названным героям напоминает пиетет эсера Савинкова перед идеологами и практиками терроризма Гоцем, Гершуни, Азефом (см. его «Воспоминания террориста»)).

В качестве дымовой завесы при творящемся геноциде народа начались игры в культуру, благо для этого явился повод — пушкинский юбилей. Я вспоминаю, как светлый праздник детства, пушкинский юбилей в 1937 году: школьные тетради с изображением на обложках пушкинских героев, постановка в сельском клубе силами художественной самодеятельности «Цыган» с костром, табором на сцене, новые пушкинские сборники в местной библиотеке. Как известно, в том же 1937 году вышли роскошные, цвета беж, тома полного собрания сочинений Пушкина. Пушкин пришел тогда невиданными массовыми тиражами в самую народную гущу, способствуя духовному оздоровлению народа после многих, с октябрьского переворота, лет денационализации.

И вот ныне, в преддверии 200-летия со дня рождения Пушкина, «указом президента Ельцина» учрежден «Пушкинский день». Казалось бы, что общего между русским патриотом и «клеветниками России»? Между величайшей духовной культурой, основанной на принципе: «Нет истины, где нет любви» (Пушкин) и низменной, сеющей разложение массовой культурой, этого продукта криминального общест-

ва? Зачем понадобился Пушкин нынешним властям — это понятно: попробовать отмыть себя от крови и грязи, которыми запятнали себя с ног до головы эти убийцы России. Но при этом не учитывается одно: ведь с Пушкиным небезопасно, страшно иметь дело, им не только нельзя прикрыться, но через него предельно обнажается самая суть тех, кто хотел бы взять его в «союзники». Так и случилось при мероприятии, устроенном в Санкт-Петербурге 6 июля 1997, под названием «Пушкинский день».

В этот день в Санкт-Петербург прибыл Ельцин и началось «внедрение культуры» посредством его «культурных поездок» в сопровождении Геннадия Хазанова, Марка Захарова, Ролана Быкова и Мариэтты Чудаковой. Сия кавалькада, ведомая гражданином Израиля Хазановым, гляделась, конечно, экзотичнее в Северной Пальмире, чем если бы она оказалась у себя на «обетованной земле». Вообще, надо сказать, что устроители мероприятия, видно, решили, что Пушкин — поэт не русский, а еврейский (как недавно объявил Г. Бакланов Лермонтова потомком ирландского раввина), поэтому среди ельцинской «культурной» компашки не было буквально ни одного русского.

Началом окультуривания диких туземцев следует считать заседание Совета по культуре и искусству при президенте РФ. Выступивший на нем Ельцин призвал собравшихся объявить «борьбу за родной язык», главным образом — в армии, где, по его словам, «культурой и не пахнет». И это говорит так называемый главнокомандующий о «своей» армии! И, пожалуй, только патологической ненавистью к армии, жаждой добить ее можно объяснить это хрюканье. Тут же его подхватила Мариэтта Чудакова, предложившая «взять под культурный патронаж армию». Я, со своей стороны, как коллега Чудаковой по работе в Литературном институте, предлагаю ей познакомиться со студентом моего семинара, бывшим капитаном (сыном и внуком военных), который вынужден был уйти из разваливаемой армии, тяжело переживает это, и по уровню своего понимания происходящего, нынешнего состояния той же культуры мог бы

взять под патронаж всю эту нечисть «культурного» совета во главе со своим питекантропом. Неужели, видя такое глумление над собою, наши военные, вместо того, чтобы от отчаяния своего невыносимого положения убивать себя, не сделают этого со своими лютыми врагами?

На этом же Совете Ельцин предложил решать вопросы культуры «без бюрократии», «по линии — президент-Чубайс». Этот Чубайс стал притчей во языцех как тип абсолютно аморальный, о чем недавно говорил даже его сообщник «демократ» Н. Шмелев. И как в экономике своими «ваучерами», «приватизацией» он ограбил народ, не забывая и о своих баснословных «доходах», разрушил экономику страны — так и в культуре вся его припадочная энергия будет направлена на уничтожение духовной основы, традиций русской культуры (через телеканалы вроде НТВ, где с обожанием ловят каждое его слово).

Страдали за русскую культуру и другие члены Совета. Г. Бакланов, говоря о сокращающейся помощи Сороса «толстым журналам» («Новый мир», «Знамя» и т.д.), привел его слова: «Ваши буржуи богаче меня». Марк Захаров предложил дающих деньги на культуру награждать медалью «лучшему меценату».

Но помимо всего этого, пушкинский юбилей был отмечен выходом (издательство «Воскресение») полного академического 18-ти томного (в 24-х книгах) собрания сочинений Пушкина. Последний том открывается вступительным, в неполную страницу, «Словом» Ельцина. В этом убогом по содержанию и языку тексте есть выражение, звучащее кощунственно в устах расстрельщика Дома Советов, виновника нынешней чудовищной нищеты, бесправия народа: «Страстный проповедник добра и справедливости А. С. Пушкин стал символом России». «Независимая газета» в своем приложении «Exlibris» (№ 8, 1997) так оценила опус Ельцина (или подписанный им): «Такое впечатление, будто не слишком успевающий восьмиклассник, никогда не читавший Пушкина, пишет сочинение на тему: ”Пушкин в моей жизни”. То есть переписывает предисловие к плохому учебнику». Этот

«почти не живой и почти не русский текст» (но почему «почти»?) побудил редакцию газеты сделать такое обобщение (в самом заглавии рецензии): «Предисловие Бориса Ельцина к заключительному тому полного собрания сочинений поэта в очередной раз свидетельствует об интеллектуальном кризисе в российском обществе».

Но интеллектуальный кризис — кого, какого «российского общества»? О самом подписанте «Слова» — нечего говорить, ему даже недоступно такое понятие, как кризис. Те же, кто сочинили этот опус (референты), могли сделать это ради «хохмы» (пусть посмеются после Бори, что за гений правил Россией). А что значит «интеллектуальный кризис» по отношению к хазановым-маркзахаровым-роланам быковым и прочим, к окружающей Ельцина «интеллигенции», для которой высший интеллект — наглость да хохмачество о «совках», у которой своя интеллектуальная «линия судьбы» и ей наплевать на наши кризисы. Остается один «интеллектуальный кризис в российском обществе» — это кризис наш, русский, кризис русского сознания, который выражается хотя бы в том, что мы допустили такую вакханалию вокруг нашего национального гения. Это нам плата за прошлое, за забвение нами, русскими литераторами, того непреложного нравственного правила, которое А. Н. Островский выразил так: «Где нет твердых принципов — там разврат», добавим — там предательство.

Это плата за нашу духовную, моральную бесхребетность, национальное дезертирство в идейной борьбе. За услужничество «детям Израиля». Это плата за либерализм Твардовского в «Новом мире», восхищавшегося антирусским коллективом редакции. (Кому нужен ныне Твардовский на этом «пушкинском празднике» — этот гой, этот «баянист» в поэзии, как когда-то назвал его Илья Сельвинский, — певец иудея Лжедмитрия II.) Это плата за смердяковщину залыгиных, лакействующих перед сахаровыми-ковалевыми, видящих не в троцкистах, а в народе инициатора терроризма. За слизнячество колосовых-дудиных, тварей дрожащих перед коротичами-граниными. В преклонении чудовищно безгра-

мотного Ельцина перед наглыми невеждами маркзахаровыми есть своя предыстория в литературном мире, тем более поучительная, даже страшная история, что из нее выродился не просто их холуй, а громила, окруживший себя исключительно евреями и выполняющий планы этих «носителей культуры» по уничтожению страны. Каждый из русачков-либералов шестидесятых и последующих годов может сказать: «Это я подготовил окружение Ельцина и его погромную антирусскую политику».

Нынешний погром страны — это плата за предательство «русской интеллигенции» своего народа. С такой «интеллигенцией» у русского народа не оказалось настоящего, не будет и будущего.

ИЗ-ПОД РУИН

Стези прямые и лукавые

Может быть, одной из причин (и не такой уж маловажной, как это может показаться) разрушения нашего великого государства было наводнение в средствах массовой информации литературной лексики Михаила Горбачева, тогдашнего Генерального секретаря ЦК КПСС, а затем президента СССР. Потребовался немалый срок, чтобы людям стало очевидным блудословие этого ловкого типа с отметиной на лбу. А ведь первое время как многим он морочил головы своим краснобайством, умением «говорить без бумажки» (после неумелых на этот счет своих предшественников), «прогрессивностью социалистических идей» в противовес вчерашнему «застою». Слушатели и в толк не брали, что сей оратор по образованию юрист, и уже по одному этому можно судить о цене его слова, к тому же юрист провинциального уровня, с языковой, культурной, исторической малограмотностью («начать», «ложить», любимые писатели Гельман, Гранин, у Сталина «крыша поехала» и т.д.). Провинциальный Керенский. Но время показало, что новоявленный Ке-

ренский оказался куда более к месту, чем Александр Федорович. В свое время А. Ф. Керенский восклицал: «Почему союзники никак не могут по-настоящему почувствовать Россию? Они заставляют меня в течение двух третей времени говорить ради них в западноевропейском либеральном духе, и мне остается всего одна треть на разговоры в духе российского славянского социализма, необходимые для того, чтобы продержаться еще 24 часа» (цит. по кн.: Старцев В. И. Крах керенщины. — Наука, 1982, С. 197). Керенский умалчивал о том, почему он вынужден подчиняться «союзникам» и говорить «в западноевропейском либеральном духе». Все по той же причине, по которой назначенный им командующим войсками петроградского генерал-губернаторства генерал-лейтенант Теплов обязан слепо служить ему, Керенскому. Дело в том, что Теплов в свое время, еще полковником, был принят в масонскую ложу и должен был беспрекословно подчиняться секретарю «Верховного Совета народов России», каковым был Керенский.

Появление Горбачева на главной политической арене страны сопровождалось тотчас вошедшим в пропагандистский оборот словом «перестройка». Это слово было довольно распространенным в прежнее советское время, еще в двадцатые-тридцатые годы (в выступлениях Дзержинского «перестройка в Высшем Совете Народного хозяйства», у Кагановича «перестройка на железнодорожном транспорте» и т.д.). Но тут, у Горбачева, слово это приобрело какой-то новый, невиданный, даже сакральный смысл. За «обаянием» этого слова (ставшего сразу же всемирно знаменитым, как когда-то «спутник») массовое сознание не увидело его зловещего двойника — «революции» («перестройка — революция»). Но именно ради «революции», то есть погрома государства, народа, и была задумана пресловутая «перестройка» под прикрытием борьбы со «сталинизмом», «тоталитаризмом». Бесконечные речи и выступления Горбачева пестрели словами и выражениями «ускорение», «прогресс», «больше социализма», «больше демократии», «гласность», «общечеловеческие ценности», «европейский дом», «цивилизованный мир» и т.д.

Истоки этой либеральной лексики, собственно, и не скрывались ближайшим идеологическим окружением Горбачева. Так, об одном из его помощников шла речь в моем выступлении на пленуме Союза писателей России в марте 1990 года («Литературная Россия», 30 марта 1990 года). Мною были приведены слова этого горбачевского помощника из его статьи в журнале «Коммунист» о необходимости издания книг «корифеев отечественной политической науки» масонского толка.

В их статьях, книгах масонская цель — разрушение государственных, религиозных, культурных основ России — камуфлировалась расплывчато-либеральной фразеологией, словесным букетом из «прогресса», «демократии», «конституции», «парламентаризма» «правового порядка», «представительного правления», «выборного начала», «общественного блага», «общественного мнения» и т.д.

И вот эти темные имена вызваны ныне «демократами» из тайников прошлого. Выходят их работы, книги о них.

Во время декабрьского восстания 1825 года солдаты кричали под окнами царского дворца: «Да здравствует Конституция!», веря лжи своих офицеров-заговорщиков, будто Николай силой отобрал корону у своего старшего брата Константина и тот идет с войсками на Петербург (из Польши), чтобы стать законным государем, а его жена, их императрица, называется Конституцией. Для Пестеля и его сообщников слово «Конституция» было орудием обмана, средством для достижения своих политических целей, разрушительных для государства. Автор небезызвестной книги «Россия в 1839 году» маркиз де Кюстин передает следующие сказанные в беседе с ним слова Николая I о «Конституции»: «...Представительного образа правления я постигнуть не могу. Это правительство лжи, обмана, подкупа [...] Покупать голоса, покупать совесть, завлекать одних, чтобы обманывать других, — я с презрением отверг все эти средства, столь позорящие тех, кто подчиняется, сколь и того, кто повелевает [...] я никогда не соглашусь управлять каким-либо народом при помощи хитрости и интриг». Со-

беседник Николая I — француз-путешественник, проявивший в своей книге хлестаковскую «легкость мыслей необыкновенную» в оценке (почти сплошь черной) России, в характеристике ее императора (как деспотического повелителя «шестидесяти миллионов рабов»), на этот раз невольно признается: «Впечатление, произведенное на меня словами императора, было огромно: я чувствовал себя подавленным. Благородство взглядов, откровенность его речи — все это еще более возвышало в моих глазах его всемогущество. Я был, признаюсь в этом, совершенно ослеплен. Человек, которому, несмотря на мои идеи о независимости, я должен был простить, что он является неограниченным властелином 60-миллионного народа, казался мне существом сверхъестественным».

Масонам ковалевским конца XIX — начала XX века не надобно было прибегать к таким дешевым, рассчитанным на наивность толпы трюкам, как заставлять ее выкрикивать под видом женского имени «Конституцию». Уже более изощренные, «цивилизованные» средства идут в ход для обработки «общественного мнения», внедрения в него «конституционных начал», «демократических ценностей», «свободы и прав личности», обезличивая этим идеологическим террором массового человека, делая его рабом чужой воли, враждебной интересам данного государства, данного народа. И поразительно, как «лжедух» (слово из стихотворения К. Аксакова) может до такой степени прельстить «общественное мнение», что оно принимает его даже в свой духовный пантеон как некую святыню. Ведь тот же М. М. Ковалевский, главный масон в России — разрушитель ее государственности, традиционных основ, похоронен (в 1916 году) не где-нибудь, а в самой Александро-Невской Лавре, некрополе выдающихся русских людей, с такой либеральной надписью: «Историку и учителю права, борцу за свободу, равенство и прогресс». И ныне здесь же пристроились такие «демократы»-русофобы, как Собчак, Старовойтова, успокоившаяся, наконец, от своей неугомонной мысли о расчленении России на десятки государств.

* * *

Великой ложью нашего времени называл К. П. Победоносцев либерально-демократическую казуистику, рассчитанную на оболванивание масс, на вытравливание в них религиозно-гражданского начала, на превращение их в легко управляемое рабское стадо*. Фигура колоссальная, поистине столп русского религиозного, национально-государственного противостояния западному либерализму, «нигилятине» (Достоевский) в самой России, Победоносцев воплощал в своей личности то нравственно несокрушимое, что сам называл прямотою русского человека. В письме Александру III он писал о поэте В. А. Жуковском: «Кажется, для покойного Государя и для всей России было бы неоценимым благом присутствие — только присутствие — человека с такою душою, с прямым и ясным взглядом русского человека на дела и на людей. С Жуковским — и может быть, с ним только одним — покойный Государь в состоянии был бы говорить прямо...»

О «прямых стезях» говорится в Библии (Ис. 40, 3). Но они неведомы тем, о ком Христос сказал: «Ваш отец дьявол» (Ин. 8, 44). Есть одна особенность в средствах выражения «либеральной мысли», не ставшая предметом пристального

* Насколько циничны «демократические» приемы по околпачиванию масс, показали «президентские выборы» в нашей стране летом 1996 года. В книге бывшего ельцинского телохранителя генерала Коржакова «Восход и закат» приводятся «тезисы и мысли», подготовленные аналитической группой Чубайса-Дьяченко (дочь Ельцина) для предвыборной поездки Ельцина в Волгоградскую область. Ему даются рекомендации, как он должен пошутить с избирателями. Вот один из «шуточных эпизодов-ситуаций». К Ельцину должен подойти подставной ветеран войны с множеством орденов на груди и завести разговор о том, как важно бы подтвердить для его внуков, что их дед за геройство получил ордена, а не купил их на базаре. «Есть у меня просьба к вам или предложение: может быть, найдет правительство возможность выпустить книгу такую, что ли, или альбом, где были бы все наши фотографии, ордена... Вы поймите, Б. Н., что это не мне нужно, это моим внукам нужно и вашим. Кстати, а что касается меня, то скоро одна фотография волновать будет, сами понимаете, где». И здесь следует «соль» «эпизода-ситуации». — «''Хорошо начали, да плохо кончили...'' (Слова Ельцина.) — (Перебивая.) ''Вообще не кончаю!'' (Реплика сопровождается общим смехом)». Приписка от «аналитической группы»: «...Прошу не отвергать «с ходу» эту идею. Ее поймет вся страна. Она дойдет до каждого. Если ветеран, естественно, подготовленный, будет достаточно «мужиковат» (он все прошел, все испытал, никого и ничего не боится, из тех, кто режет «правду-матку»), а Б. Н. искренне расхохочется, то это будет незабываемым эпизодом».

внимания читателя, но которая (эта особенность) обнаруживает самую суть дела и которую можно назвать «стилистической дьяволиадой». Ну вот хотя бы первый попавшийся на глаза пример из текущей периодики.

«Я благодарен судьбе, что мне пришлось непосредственно заниматься такой деликатной проблемой, как религиозное возрождение». Помнится, немалое удивление в литературных кругах вызвало известие, что этот член Политбюро совершил вояж в Оптину пустынь. С чего бы это? Пещерный атеист, и вдруг это «хождение». Ныне мы узнаем (из этой же статьи) о побудительном мотиве данной вылазки. Оказывается, новоявленному игумену из ЦК надо было в своих целях прибрать к рукам духовенство, подкупив его передачей Церкви «конфессиональной собственности». Но как все и всегда в «этой стране», «инициатива» религиозного возродителя завязла в российской косности, на этот раз церковной. «Немало священников на местах оказались просто жуликами, разворовывающими церковное имущество, — жалуется он. — Богословская теория и практика как бы застыли, не желая поступиться даже теми догматами, которые явно пришли в противоречие с жизнью». Церковь должна «поступиться догматами», что означает — отказаться от христианства, Православия. Вот что стояло за фразеологией о «религиозном возрождении», о «возрождении нравственности, духовности».

Здешним доморощенным умельцам фразерства хотелось бы посоветовать пройти курс выучки у такого истинного классика либерального стиля, как У. Черчилль (кстати, пре-

---

Не говоря уже об интеллектуальном убожестве изготовителей этой сценарной шутки, об их родовом специфическом юморе «ниже пояса», как омерзительна эта грязная кухня лжевыборов! И после всех этих гнусных сценариев, «бесед» перед телекамерами с подставными персонажами этот мистификатор и лицедей объявляется «всенародно избранным». Упомянутое обезьянничанье Чубайсов под «фронтовиков» заставляет вспомнить рассуждение Гердера в «Идеях к философии истории человечества» о том, почему Создатель лишил божественной речи обезьян: «...Как осквернила бы язык человеческий обезьяна, грубая, дикая, похотливая, если бы стала твердить человеческие слова, наполовину обладая уже человеческим разумом. Омерзительная смесь человеческих звуков и обезьяньих мыслей — нет, нельзя было так унижать Божественную речь, и обезьяна замолчала...»

Но, скажите, каким разумом должны обладать те, кто изъясняется на таком нечеловеческом наречии?..

восходного литератора, отмеченного Нобелевской премией 1953 года по литературе). Вот где высочайшее мастерство стилистического лицедейства, почти гипнотического, «облагораживания» даже чудовищного политического цинизма. В своих мемуарах Черчилль рассказывает об американской атомной бомбардировке японских городов, на что он дал «принципиальное согласие» как премьер союзной державы. «Я сразу же подумал о том, что японский народ, храбростью которого я всегда восхищался, сможет усмотреть в появлении этого почти сверхъестественного оружия оправдание, которое спасет его честь и освободит его от обязательства погибнуть до последнего солдата». Сколько здесь «цивилизованного» лицемерия, какое изощренное лавирование, лицедейство «гуманной» мысли, как будто речь идет о добром воспитательном уроке от «появления» (вроде бы и неприменения) «сверхъестественного оружия», «спасительного» для чести и самого существования народа, намеченного для адского опыта. «Внезапно у нас появилась возможность милосердного прекращения бойни на Востоке и гораздо более отрадные перспективы в Европе». «Милосердной» называется атомная бомбардировка, в огне которой погибли сотни тысяч людей и в результате которой до сих пор многие страдают и умирают от облучения. Известно, что такие же атомные удары предназначались и для городов нашей страны, и возможно, что они были бы осуществлены «ради спасения чести русского народа», но помешало создание Советским Союзом своей атомной бомбы. Нетрудно представить, что ядерная агрессия выдавалась бы также за «акт милосердия» во имя спасения человечества от «империи зла». Насколько же сами США были «империей добра», свидетельствуют приводимые «Независимой газетой» (сентябрь 1997 года) бесчисленные, в течение десятилетий, начиная с начала пятидесятых годов, факты наглого вторжения американских самолетов в пределы нашего государства. Собственно, со стороны Америки против нас всегда шла не только «холодная», но и «горячая война» (которой и теперь она угрожает, которую развязывает против «непокорных»).

На лживом языке демократии это называется «санкциями против диктаторского режима», против «нарушения прав человека», «демократических свобод» и т.д.

В августовском перевороте 1991 года, в разрушении Советского государства, как известно, действовали совместно внутренняя «пятая колонна» со спецслужбами США. И установившийся «демократический» режим в растерзанной России облекся в такие «стилевые формы самовыражения», когда «цивилизованное» слово становится личиной обратного, агрессивного смысла. Кто ныне из мыслящих русских не вздрогнет от омерзения при слове «реформатор», всегда до того звучавшем в русском языке столь благозвучно, уводившем в глубину родной русской истории с ее великими реформами. Сегодня взрываются не только все составляющие государства (от экономики, армии до культуры), но и сам русский язык с его традиционными понятиями. Кто не знает, что такое эти нынешние «реформы», уничтожающие государство, народ! За этими «реформами» стоит свора остервенелых врагов России, каких наша история еще не знала. И для этой нечисти слово «реформа» — вроде уголовной статьи, с помощью которой они расправляются со своими противниками. Все, кто против их «реформ», — клеймятся как тоталитаристы, сталинисты, шовинисты, красно-коричневые, черносотенцы, враги демократии, «цивилизованного мира» и т.д.

Бывший «мэр» Москвы Гавриил Попов прославился своим вкладом в «науку об экономике» тем, что в одной из своих «концептуальных» статей начала девяностых годов предлагал узаконить взятку должностным лицам «в силу специфики условий, в которых эти реформы проводятся». И вот этот теоретик и в еще большей степени практик взяточничества взялся защищать своего друга Собчака, тоже бывшего «мэра», петербургского, привлеченного к уголовной ответственности за коррупцию. Казуистика хода мыслей Гавриила Попова (нынешнего председателя «Российского движения демократических реформ») столь изощренна, что она может стать прямо-таки вдохновляющим незаменимым об-

разчиком перевертывания с ног на голову любого уголовного дела. Вот эта кривая «доводов» (дается по отчету в «Независимой газете» от 9 октября 1997 года): «демонстративный наезд» правоохранительных органов на Собчака после его встречи с президентом Франции Шираком «не может не оскорбить французского президента». Это же и неуважение к «президенту российскому», поскольку «темные силы», организовавшие сей «наезд», желают представить дело так, «что Ельцин не владеет ситуацией (иначе он посоветовал бы Шираку не устраивать встречу)». Естественно, «темные силы» («враги реформ») появляются в глазах «демократических» главарей всякий раз, когда им нужно отбиваться от разоблачений. И этот заключительный «ход»: «...Всякая административная работа в России неизбежно связана с гигантским количеством проступков и нарушений...» Ну какой же может быть разговор об административных нарушениях, злоупотреблениях, преступлениях и т.д.! Это не Европа, а Россия, где все это в «гигантском количестве» было, есть и будет. Такова «диалектика» оправдательной речи одного государственного уголовника в защиту своего подельника.

Впрочем, спектр доводов господ «демократов» в свою пользу и в интересах своих собратьев чрезвычайно богат, и мне, признаться, больше по душе употребляемые ими при этом художественные краски, достойные почитаться вкладом в образную копилку великой русской литературы. Как-то в телепередаче «Времечко» (есть у них еще «Сегоднячко»!) очередная беседа волосатого ведущего с говоруном из них же была вдруг прервана телефонным вопросом как бы к умилению обоих: «Почему девяносто процентов вождей большевистских и нынешних демократических составляют евреи?» Ведущий, как будто заранее ожидавший этого вопроса, с ходу вцепился в «жареное»: «В чем причина здешнего антисемитизма?» Его собеседник Егор Яковлев, до «перестройки» сделавший карьеру на «лениниане», а затем ярый «демократ», главный редактор «Московских новостей», а ныне «Общей газеты», при слове «антисемитизм» заметно воспрянул духом, но не ограничился банальным залпом по «черно-

сотенцам», «фашистам», «шовинистам», а выдал нечто художественное: «У меня в ''Московских новостях'' девяносто процентов работали не знаю кто такие, я в их штаны не заглядывал»*.

Русский язык в своей истории испытал не одно иноязычное нашествие, перемолол их, но нынешняя «демократическая» языковая агрессия — это нечто невиданное. В знаменитых словах Тургенева о русском языке нам больше помнится «великий, могучий, свободный», как-то меньше в памяти остается «правдивый». А ведь в этом определении, пожалуй, главная особенность нашего языка, роднящая его со Словом, Логосом. Ныне происходит небывалое в русском языке — разрушение этического содержания слова, извращение его прямого смысла, подмена понятий. Массовый читатель обычно скользит по «демократическим» словосочетаниям, не вдумываясь в их значение. Но вот, например, «Выбор России» — оголтелая местечковая группа из гайдаров-чубайсов, патологических ненавистников России, выдает свою диверсию против нее за выбор самой России! Появились слова-«оборотни», лексика с характерным этническим смещением. Криминальный разгул за рубежом выходцев из России, преимущественно евреев, обогатившихся на российских «реформах», покрывается словами «русская мафия». И все процветающее ворье именуется «новыми русскими». Судебную статью сделали эти «языкотворцы» из слова «покаяние», требуя от русского народа ответа за мнимые преступления «тюрьмы народов» и вовсе не желая лично каяться за палачество своих дедов — троцкистских «пламенных революционеров» — и за нынешние злодеяния своих соплеменников-«ре-

* Не обязательно, однако, прибегать к таким радикальным мерам, когда дело обстоит гораздо проще: небезызвестный М. Шаккум пишет на этот счет в «Независимой газете» от 10 февраля 1998 года (статья «''Свой'' Гайдар и ''чужой'' Лукашенко»): «Многие, наверное, обратили внимание, как один и тот же ''демократический интеллигент'' — ведущий программы ''Зеркало'' Николай Сванидзе разговаривал с Лукашенко и Новодворской. В первом случае — при полном соблюдении дипломатического политеса — стена холодного отчуждения, во втором — при внешнем подобии спора — разговор внутренне близких существ, понимающих друг друга с полуслова. И это «внутреннее родство» оказывается порой важнее любых идеологических расхождений».

форматоров». Нельзя не удивляться поистине цирковым номерам с этим «покаянием». Так, в одной из вечерних телепередач 6 ноября 1997 года некий политолог смысл покаяния выразил так: русскому человеку должно быть стыдно, когда он видит, как хорошо живут в Европе, как там благоденствуют, почему этого нет у нас? Стыдиться, стыдиться надо, а значит, и каяться за эту махровую отсталость!

Зловещим смыслом наполняются слова, преподносимые в виде некого благодеяния: «выдача зарплаты». Уж не говоря о том, что «экономическим законом» нового режима стал рабский труд, невыплата зарплаты в течение полугода-года, информационный бум вокруг намечающейся «выдачи зарплаты учителям, врачам» таит в себе чудовищное деяние. Как при Ленине угроза голодной смерти была средством закабаления народа, так ныне орудием этого закабаления стала «выдача зарплаты» за счет разграбления, почти даровой распродажи народной собственности, наработанной многими поколениями. «Молодые реформаторы», спекулируя на необходимости найти деньги для «выдачи зарплаты», выставляют на торги, «аукционы» последние остатки в основном уже разграбленных богатств народного хозяйства, передают их за бесценок в руки антинациональных финансовых воротил. Каковы последствия этой распродажи — видно на примере хотя бы норильского комбината «Никель». Скупивший тридцать восемь процентов акций ОНЭКСИМ-банк получает четыре миллиарда долларов прибыли в год, не производя никакого технологического обновления производства. Для нормальной жизни населения Норильска достаточно двухсот пятидесяти миллионов долларов в год, но новые хозяева, выкачивая колоссальную прибыль, не выделяют из нее ни доллара для нужд оказавшихся в беде людей. Из 130 тысяч работавших на комбинате уволены пятьдесят тысяч, которые обречены с семьями на голодную смерть, так как уехать отсюда у них нет возможности — один билет до Центральной России стоит один миллион восемьсот тысяч рублей.

Обо всем этом было рассказано в телепрограмме «Время» (18 октября 1997 года). Сама передача эта стала возможной

потому, что столкнулись интересы банкиров, и телеведущий рьяно старался угодить своему хозяину, владельцу телеканала, разоблачая его конкурента — другого банкира, победившего на торгах. Вот подноготная вроде бы обнадеживающих слов: «выплата зарплаты».

Не правдивый русский язык, о котором говорил Тургенев, а язык лживый, двуличный, затмевающий, фальсифицирующий истину — основа либеральной лексики. К сожалению, даже и пишущая патриотическая братия принимает как данность навязываемую «демократами» лексику, тем самым закрепляя ее в сознании читающей массы, примиряя с нею. Но здесь не может быть никакого примиренья, так как за словами, даже за их оттенками, стоят слишком серьезные вещи. Где-то в самом начале девяностых годов в «Литературной России» (при главном редакторе Эрнсте Ивановиче Сафонове) была напечатана моя заметка по поводу одной вроде бы ничтожной редакционной правки моего текста в этой газете: были сняты кавычки в слове «мэр» (о Собчаке). В этой заметке я пояснил, что все эти «мэры», «мэрии», «префекты», «супрефекты», «префектуры», «муниципалитеты» могут восприниматься нами только в кавычках, что они никогда не приживутся у нас в силу исторической и даже языковой отторгаемости от них русской жизни, что навязывание «демократами» народу этого нового административного словаря напоминает всякого рода гауляйтеров времен немецкой оккупации. Но заморочивание голов идет порой небезуспешно. Приведу забавную сценку, свидетелем которой я был недавно, находясь в доме отдыха в Карачарове Тверской области. Около автобусной остановки на лавочке сидит женщина, другая, стоящая рядом, рассказывает ей о своем деле (видимо, об оформлении убогой собственности, земельного участка): «Капютор обманул, целый год ничего не добилась, вчера ходила в Белый дом».

— И в Твери есть Белый дом? — спрашиваю я ее.

Та молчит. Сидящая на скамейке молодая женщина улыбается.

— Белый дом в Карачарове.

— Белый дом один, в Америке, — решился я на местную проповедь. — Америка наш враг, и называть учреждение в нашей стране Белым домом — все равно что называть имперской канцелярией, если бы в войне победили немцы.

Старуха глядит, занятая своими мыслями, а молодая женщина, здешняя жительница, уточняет, что этот дом — бывший райком, в самом деле белый, из белого кирпича. Но называть его «Белым домом» стали только в последнее время.

Какой спрос, однако, с бабушек, если сама писательская братия в своем патриотическом задоре пишет «Белый дом» без кавычек, тем самым способствуя утверждению вроде бы ненавистной ей американизации. «Со словом надо обращаться честно» (Гоголь). Если слово — наше орудие, то его надо держать в чистоте, ибо даже песчинка может стать причиной словесного затора и лишить слова действенности. И может ведь каждый своими средствами блокировать те словесные формулы, которые представляют собою опорные пункты режима. Здесь ничего не остается незамеченным. Я заметил, например, что Вл. Гусев слово «президент» (в отношении Ельцина) всегда ставит в кавычки, что и понятно после растоптанной им Конституции и расстрела Дома Советов 4 октября 1993 года (признаюсь, я никогда не писал «президент Ельцин», а просто Ельцин). С удовольствием прочитал в перечне масонов об А. Козыреве: «Министр иностранных дел администрации режима Ельцина» (журнал «Кубань», № 1, 1997). Вот именно — министр ельцинского режима, а не России. Но тут же автор срывается, называя такого же проамериканиста «радикал-либерала» В. Лукина «бывшим послом России в США». Для меня незабываемо, что значил Кремль для нас, особенно после войны, — ассоциировался он в нашем сознании со Сталиным. Когда мы читали цитаты из иностранной печати: «Кремль принял решение», «Кремль ответил согласием», «Кремль отвергает...» и т.д., — то за Кремлем стояла колоссальная фигура Сталина, его государственная воля, и поистине ветром великой эпохи веяло от древних кремлевских стен. И обезьяньим фарсом несет от нынешнего «Кремля» («В Кремле готовится...», «Кремль на-

чал еще одну радикальную административную реформу...» и прочее), в котором окопалось политическое отребье, не способное ни на какое государственное дело, хотя и весьма верткое в организации всяких «хануков» и антирусских «указов». Очистится, конечно, Кремль со временем от этой нечисти, но зависеть это во многом будет и от того, насколько люди начнут разбираться в том, какой подлинный смысл стоит за словом. Зрячим человек может стать, только освободясь от магии либерального слова.

* * *

Одним из видов литературного стиля можно назвать так называемый «интеллигентный стиль». Стоит напомнить, что предельным выражением «интеллигентности» как высшего качества человеческой личности стали знаменитые (постоянно повторяемые в печати и по телевидению) слова академика Д. Лихачева о том, что можно имитировать все, казаться кем угодно: добрым, умным, щедрым, отзывчивым, нельзя подделаться только под интеллигентность. Отпечаток интеллигентского избранничества лежит на книге Д. Лихачева «Письма о добром», переиздаваемой повсеместно (от Японии до нашей Пензы, где она была выпущена Департаментом культуры в 1996 году, из нее и даются здесь цитаты). Перед нами коллекция поучений, наставлений на самые разнообразные житейские и культурные темы — начиная от правил поведения в обществе, общения с людьми, умения одеваться до способности человека «понимать искусство», «человеческое в искусстве», ценить «русскую природу», «природу других стран», «культуру в природе», памятники культуры, сознавать пользу путешествий, уметь замечать красивые пейзажи и т.д. и т.д. Автор предостерегает читателей (юных и взрослых) от таких пороков, как зависть, жадность, карьеризм. Советует, «когда следует обижаться», как овладевать «искусством ошибаться» (все это названия главок), способами «быть счастливым», «повышать уровень счастья всего человечества, в конце концов». Но, конечно, главное — «че-

ловек должен быть интеллигентен» (название главки). «Интеллигентность» не сходит со страниц книги, для автора это эталон всех ценностей в жизни. В том числе — и языковых, стилистических. В книге есть главки: «Как говорить», «Как писать». Академика шокирует «грубость», «неинтеллигентность» языка, «в языке сказывается интеллигентность человека». Но в том-то и заключается жизнь языка (а не его нормативность), что грубость иногда куда более выразительна и содержательна, чем интеллигентское чистоплюйство. Известная Дмитрию Сергеевичу Лихачеву его землячка ленинградка Ольга Берггольц, поэтесса, выдала в свое время такую (памятную в литературных кругах) фразу о любовной лирике Степана Щипачева: «диэтические яйца». Грубовато, конечно, но довольно метко. И в «интеллигентности» лихачевского языка слишком много уж «правильности», жеманства, некой театральности («находите для себя правильные решения жить по-доброму, а я помашу вам вслед»).

Любопытны лихачевские рекомендации психологического порядка. Так, например, он пишет: «Когда-то считалось неприличным показывать всем своим видом, что с вами произошло несчастье, что у вас горе. Надо было и в горе сохранять достоинство, быть ровным со всеми, не погружаться в себя и оставаться по возможности приветливым и даже веселым. Это большое и настоящее искусство». Все это напомнило мне одно место из воспоминаний С. Т. Аксакова «Встречи с мартинистами». Сергей Тимофеевич рассказывает, как известный масон Лабзин (издатель «Сионского вестника») на одном из домашних спектаклей требовал быть веселым от молодого актера, который только что получил письмо о смерти отца. Несчастный попробовал было сказать, что он не в состоянии теперь читать монолог любовника, что он «не в духе», на что Лабзин с презрением ответил: «Ну что тут за духи! Прочтите!» Он не отпустил его с ужина, когда тот хотел отпроситься, заставлял его громко петь, стуча рукояткой столового ножа по столу. Этот урок «искусства» быть веселым при любом душевном состоянии оставил тягчайший след в памяти Аксакова.

Впрочем, несколько слов о некоторых особенностях стилистики вроде бы случайно оказавшихся рядом авторов. Речь идет о неких геометрических, математических измерениях духовных, этических вещей. Вот характерная для Лабзина фраза: «Премудрость Божия обрела единственный способ к разрешению трудности в поднятии павшего. Явилась существовавшая всегда умственно между сими двумя линиями ипотенуза, произвела свой квадрат и заключила в оном полное действие и правосудия, и любви Божеской». Дмитрий Сергеевич обходится без этой уловки мерить «премудрость Божию» линиями, ипотенузами, квадратами и прочим, он более аналитичен, материалистически въедлив, желая избавить нас от порока, например, от обиды. «Если решили все же обидеться, то прежде произведите некое математическое действие — вычитание, деление и пр. Допустим, вас оскорбили за то, в чем вы только отчасти виноваты. Вычитайте из вашего чувства обиды все, что к вам не относится. Допустим, что вас обидели из побуждений благородных, — произведите деление вашего чувства на побуждения благородные, вызвавшие оскорбительное замечание, и тогда, произведя в уме некую нужную математическую операцию, вы сможете ответить на обиду с большим достоинством, которое будет тем благороднее, чем меньше значения вы придаете обиде. До известных пределов, конечно».

Из ключевых тезисов мировоззрения академика Лихачева выпишем следующее: «Природа создавала человека много миллионов лет, пока не создала, и вот эту творческую, созидательную деятельность природы нужно, я думаю, уважать, нужно прожить жизнь с достоинством, и прожить так, чтобы природа, работавшая над нашим созданием, не была обижена». Лихачев всю жизнь занимался изучением древнерусской литературы, проникнутой, как известно, глубочайшим религиозным духом, и надо быть поистине «интеллигентом», чтобы, несмотря на этот опыт, держаться до сих пор «научного уровня» журнала 20-х годов «Безбожник» в вопросе происхождения человека («природа создавала человека много миллионов лет»).

Академик пытается играть роль эдакого древнерусского летописца («добро и зло приемлющего равнодушно»). Но как совместить с этим свою подпись под коллективным письмом «демократов»-экстремистов Ельцину, одобрявших расстрел 4 октября 1993 года? И теперь эта невинно пролитая кровь как бы дымится между строчками всего того «доброго», о чем разглагольствует Лихачев. В тех же «Письмах о добре» до жути переиначивается значение благородных слов, понятий, когда читатель знает, что за ними стоит сообщник палачей. Вот этот набор поучений: «Самая большая ценность в мире — жизнь: чужая, своя»; «Надо прожить жизнь с достоинством, чтобы не стыдно было вспоминать»; «Нравственности в высшей степени свойственно чувство сострадания»; «В сострадании есть сознание своего единства с человечеством и миром... Именно поэтому забытое понятие сострадания требует своего полного возрождения и развития»; «В Библии сказано: «Чти отца своего и матерь свою, и долголетен будешь на земле». Это относится и к целому народу, и к отдельному человеку»; «В своих «письмах» я тоже рекомендую несомненные правила «ездить на велосипеде» — жить честно, по правде»; «В жизни ценнее всего доброта»; «Счастья достигает тот, кто стремится сделать счастливыми других»; «Человек должен быть интеллигентен!.. Ибо интеллигентность равна нравственному здоровью» и т.д. и т.п. Автор многократно повторяет, что главное для человека — быть интеллигентным, что это единственно неподдельное его качество, и вот обнаруживается, чего стоит на самом деле эта интеллигентность, эта личина, или, по Далю, «накладная рожа» благопристойности, которую, конечно, легче напялить на себя, нежели следовать добру истинному, христианскому. «По плодам их узнаете их». Как по «плодам» узнаем мы родоначальников так называемого гуманизма, деятелей Возрождения, провозгласивших автономность, самодостаточность человеческой личности, оказавшейся (без соотнесенности с абсолютными религиозными ценностями) жертвой морального разложения или же трагического тупика, о чем так живописно рассказал философ А. Лосев в своей книге «Эстетика Возрождения».

Но сегодняшние гуманисты не чувствуют себя в тупике, они самонадеянно поучают публику «как жить», не следя за тем, насколько «адекватны» эти поучения их собственному поведению. В свое время, кажется, в конце шестидесятых годов, в «застойную жизнь советских людей» ворвался хлесткий лозунг Солженицына «Жить не по лжи!» (коим бомбардировали бедных наших обывателей всякие «голоса Америки», «свободы», «би-би-си» и прочие зарубежные радиостанции). И, оказавшись за границей, этот оракул и оттуда поучал нас, как «жить не по лжи», сам лично прекрасно уживаясь со лживой американской демократией, гордясь тем, что президент Рейган ссылался на него в своей клевете на «империю зла». Не смея пикнуть против темных сил «мирового порядка», против сионизма, он требовал такого же «благоразумия» и от бывших своих соотечественников, которые обращались к нему за поддержкой, с просьбой сделать достоянием тамошней гласности разгул русофобии в России. В страшное время на рубеже восьмидесятых-девяностых годов, когда чума «демократии», неистовствуя в Москве, расползалась по всей русской земле, когда разрушители государства уже не скрывали своих агентурных связей с Америкой, что делал в то решающее для судьбы России время «вермонтский отшельник»? Он выжидал, пока Россию не поразил августовский переворот 1991 года, исторгший из суперстрадальческой души изгнанника дичайший вопль восторга («Ура Преображенской революции!»). А вскоре этот благополучный мученик одобрил расстрел 4 октября 1993 года, расценив его как закономерное следствие большевистского прошлого — оказывается, виноваты не расстрельщики, не Ельцин, не захватившие власть «демократы», а некие «прошлые большевики» — опять-таки уловка той самой либеральной стилистики, о которой речь шла выше. Эти господа готовы вывести «гуманизм» из любого злодеяния, оправдать его самыми изощренными средствами (как в данном случае — кровавая расправа 4 октября диктовалась якобы борьбой против «большевистской тирании», «коммунистического наследия» и т.д.). Надо ли говорить, что человек

с таким казуистическим мышлением не может быть художником, как бы не аттестовывал себя оным сам Солженицын.

Да он и здесь, обустроившись в России, все продолжает катить свою историческую колымагу, упиваясь по радио, под звон колокольчика, собственным чтением своей «эпопеи» о Феврале семнадцатого года. Кому нужен этот Февраль со всеми его гучковыми, маклаковыми, милюковыми и прочими тенями, когда Россия оказалась под пятой нового Февраля, терзаемая, распинаемая уже не тенями, а реальными врагами России. Однако об этом новом Феврале и помалкивает учитель «жить не по лжи», не называет поименно ни одного из главарей нынешнего режима, виновных в уничтожении России.

И это не случайно. Не раз восхищался Солженицын «героическим чеченским народом», в последнем своем телевыступлении на эту тему самодовольно напомнил, что именно он в недавнем прошлом требовал предоставления чеченцам полной свободы, независимости. Теперь очередь за другими областями России? Уж не для этого ли носится он со своей затеей о «местном самоуправлении», о «земстве»? Что такое земство в настоящее время? В Воронеже вышел альманах «Воронежские письма», где опубликованы материалы, свидетельствующие о том, насколько богата русская провинция мыслящими людьми, прекрасно разбирающимися в весьма актуальных для нынешней России общественно-исторических проблемах. Есть здесь и статья молодого историка воронежца А. Ю. Минакова «Земщина». Автор ведет речь об истории земства в России, начиная со времен Ивана Грозного (XVI век) и кончая началом XX века. Отмечается то исторически ценное, положительное, что содержала в себе земщина; не закрывая возможности в будущем попыток возродить ее созидательные элементы, автор подчеркивает мысль о той опасности, которая заключается в нынешнем навязывании стране земства. Он пишет: «...Серьезно опасаемся, что земская идея может стать козырной картой в руках демагогов, вторично в течение XX века способствовавших развалу великой державы. Извест-

но, что резкое усиление местного самоуправления, наряду с распадом оставшихся империй и отмиранием национальных государств, соответствует планам установления проамериканского "нового мирового порядка". Даже если считать подобный вариант маловероятным, как минимум, следует опасаться, что на смену уже изрядно скомпрометировавшим себя "мэрским" затеям придет какая-нибудь очередная декорация в стиле "а ля рюс", призванная прикрывать произвол "новых русских" компрадоров». Приведем еще одно суждение автора, достойное внимания: «Начнем с того, что взятое само по себе, как некий "механизм народовластия", земство рискует стать не только декоративным и малоэффективным институтом, но и откровенно разрушительным началом». Земство в дореволюционной России было «одним из составных элементов целостной системы общественных и государственных институтов. Вырванная из этого совершенно определенного контекста и приобретшая несвойственное ей самодовлеющее значение, земщина может оказаться откровенно антигосударственным явлением».

Не следует забывать, что в прошлом (особенно в конце XIX и в начале XX века) земство использовалось либеральной оппозицией, революционными экстремистами в своих разрушительных антигосударственных целях. Большой фактический материал на этот счет содержится в книге Н. М. Пирумовой «Земское либеральное движение» (вышедшей еще в «доперестроечное» время и выдержанной в ключе марксистско-ленинской методологии). В ней приводится множество свидетельств современников о крайней политизированности земства. Д. Шаховской: «Идея политического освобождения нераздельно связывалась с самой сущностью земства и составляла его характеристическую черту». К. Головин: «Она (провинциальная интеллигенция) переполнила собой земские должности и превратила вскоре подчиненные земской управе учреждения в постоянные активные очаги революционной пропаганды». Д. Шипов (в соответствии с политической установкой либеральных зем-

цев): «Превращение каждого земского врача, каждого фельдшера или акушерки в местного общественного деятеля». М. Петрункович: «Итак, в настоящую минуту земство должно написать на своем знамени три положения: свобода слова и печати, гарантия личности и созыв Учредительного собрания. Земские собрания требуют серьезной чистки и привлечения более живых и сильных элементов. Только при соблюдении этого последнего условия земство будет способно начать борьбу». В. Гольцев: «Политические требования» (в статье «Земский собор»): «Развитие земского и городского самоуправления на основе общего избирательного права, полная свобода вероисповедания; свобода языка; предоставление Польше широкого самоуправления; постепенная отмена ограничительных мер по отношению к евреям; постепенное уменьшение постоянного войска и замена его милицией; почин международного разоружения. Вот приблизительно те реформы, которые предстоит осуществить России с созывом Земского собора».

Либеральные земцы видели в земских учреждениях не столько органы местного самоуправления, сколько школу политической выучки. Сами они действовали как заговорщики, собираясь на нелегальные сборища (Петров А. Ф. Нелегальные общеземские совещания и съезды конца семидесятых — начала восьмидесятых годов XIX века. «Вопросы истории», 1974, № 9). На первом таком нелегальном земском съезде, состоявшемся в Москве на конспиративной квартире в марте 1879 года, председательствовал известный нам М. М. Ковалевский. Секретно проходивший съезд не оставил каких-либо данных о содержании его работы.

Такова оборотная сторона земства, выставляемого ныне Солженицыным в качестве всеспасительной панацеи для России. Но есть, пожалуй, и другой смысл в этой доморощенной земщине. Судьба России зависит от происходящего в Москве, здесь центр главных событий, оказывающих решающее влияние на положение в стране. От провинции ныне мало что зависит. Опыт показывает, что «мнение народное» ничего не стоит; избранные населением «крас-

ные губернаторы» не могут выйти из-под пяты центрального режима, связанного с мировыми силами, бессильны противостоять ему в его разрушительных действиях. А ждать, когда провинция возродится через десятки лет и оттуда начнется возрождение России, ждать этого при нынешних темпах уничтожения «демократами» страны — не пустая ли мечтательность? Жестокая реальность в том, что в нынешних условиях всякая болтовня о «местном самоуправлении» является прямым пособничеством оккупантам. Возможны ли были «земства» при гитлеровской оккупации?

Сегодняшними сторонниками «третьего пути» ставится себе в особую заслугу, в особое благородство и благоразумие — неучастие в сопротивлении. Эдакая независимость от крайностей левых и правых. Характерна в этом отношении программная статья «День завтрашний — день ближайший» в журнале «Москва» (1997, № 1), написанная главным редактором Л. Бородиным. Не будем останавливаться на приписывании автором абсолютной, исключительной вины самому русскому народу в той катастрофе, которая обрушилась на Россию. (Вроде: «Будто бы не народ в лице наинароднейших его представителей одобрил Беловежские соглашения. Будто бы не из народа вылупились мастера финансовых пирамид...») Надо ли спорить с автором, варьирующим парадокс К. Леонтьева, что «дух антихристов не опускался на Россию извне, но вызрел в ней...» (не обидятся ли на такой «шовинизм» потомки одного из колен израилевых, считающих, что из недр их — колена Данова — выйдет антихрист).

По словам Бородина, «православно-государственная ориентация журнала, не запятнавшая себя уступками политической конъюнктуре... в программном отношении смотрится серьезнее и основательнее курсов многих изданий...» Программа эта — в следовании третьему пути. «В политической практике мы ожидаем подлинной третьей созидательной силы, изжившей иллюзии как "правого", так и "левого" экстремизма, то есть равно пагубные пристрастия

к "западничеству" с одной стороны, и "реанимированию" коммунистических прожектов — с другой». Вывод таков: «Правым сегодня видится не тот, кто надеется сопротивляться до победы, а тот, кто сумеет остановить войну, то есть некто третий, чье слово и дело так или иначе зададут центростремительную тенденцию, и на крайних флангах политического театра действий останутся тогда корысть политическая да корысть экономическая, те самые евангельские козлы, что мудрым хозяином были заблаговременно отделены от стада».

Не может ли быть так, что, пока автор ждет «завтрашнего дня» с некой (непонятно, конкретно какой) «центростремительной тенденцией», — хищники (коим нельзя сопротивляться) перережут все стадо, не только «евангельских козлов».

В своей статье «Лукавые примирители» (журнал «Штурм», 1996, № 5) я писал, как сливаются в общий хор примирителей с нынешними радикальными «реформаторами» голоса вроде бы совсем недавно разных людей — от вчерашнего знаменитого тележурналиста-патриота до бывшего крупного партократа, ныне возглавляющего не какое-либо, а «реалистическое» общественное движение. В последнее время этот хор пополняется некой «третьей силой» (от А. Лебедя, быстро забывшего, впрочем, эту «третью силу», когда поманил его к себе Ельцин, но загорланившего о ней снова, как только был вышвырнут. Ну, так вот, от А. Лебедя — до литературных теоретиков). Невольно вспоминаются слова И. В. Сталина: «Для революции требуется ведущее революционное меньшинство, но самое... энергичное меньшинство будет беспомощно, если не будет опираться на хотя бы пассивную поддержку миллионов людей». Нынешнюю криминальную революцию в России (под именем «перестройка-революция») тоже начало меньшинство, но именно пассивность большинства позволяет ей утверждаться в беспредельности своих злодеяний. Так называемая «третья сила», отвергающая борьбу, сопротивление, служит утверждению гибельного для России режима.

«Бой ведут живые!»

Недавно мне довелось услышать такой разговор. Продавщица газет в подземном тоннеле к очаковской платформе говорила покупателю:

— Пенсия у меня двести тысяч (по-нынешнему — 200 рублей. — *М. Л.*), как с ней прожить, а вот устроилась здесь и подрабатываю. Слава тебе, Господи! — перекрестилась она с умилением в голосе.

— Чему же вы так радуетесь? — спросил у нее купивший газету мужчина средних лет. — Вот Ельцин услышит вас и скажет: видите, как доволен народ, его морят голодом, а он доволен, теперь можно морить его до конца.

— Их надо всех из автомата перестрелять! — вскрикнула только что молившаяся пенсионерка. — Заставили всех нас мучиться!

В моих глазах и сейчас стоит эта женщина с изменившимся в один миг лицом. Я и раньше видел, какая ненависть взрывается в русских людях при имени Ельцина и его сообщников, но здесь меня поразил сам этот переход от молитвы, сердечного умиления к автомату. Сколько же, оказывается, ненависти может скопиться в самой доброй душе к тем, кто ныне хозяйничает в стране!

Но что такое это «Слава тебе, Господи!»? Для кого-то это «рабство», кто-то выводит из этого свои политические лозунги. На встрече со студентами Литературного института Г. Зюганов заявил: «Лимит на революции в стране исчерпан». Приглашенный в другой раз на встречу в том же Литинституте А. Лебедь (возможно, по наущению радзиховских-каспаровых) похвалил русский народ за «великое терпение», видя в этом «фактор стабильности» в стране. Но терпение понятно при великой цели, как это было характерно для нашего народа в годы Великой Отечественной войны. А ныне? Новой «общественной этикой» (с обратным знаком) стало публичное садистское глумление нуворишей над ограбленным народом. Они же и выставляются «героями наше-

го времени». Телеканал НТВ известного банкира без устали фабрикует «героев дня», эту любопытнейшую популяцию нынешней нелюди. Занятно было наблюдать, например, за таким «героем дня», как Святослав Федоров (7 июня 1997 года). Рекомендовали его как предпринимателя, политика, недавнего кандидата в президенты, офтальмолога (глазной врач). За работой его не показали, а жаль: неосведомленный телезритель подивился бы, с чего начал этот герой, прибравший к рукам (еще до всеобщей «приватизации») государственную поликлинику с богатейшим современным оборудованием. С этого «старта равных возможностей» и началось сказочное обогащение героя. Помнится, как еще лет семь-восемь тому назад с «голубого экрана» Федоров, вдруг выхватив из нагрудного кармана какую-то книжицу, воскликнул: «Вот что я оставлю внуку!» (видимо, какой-то банковский счет). Теперь уже не глазник, а плантатор оставит внуку не эту книжицу, а целые угодья, конный завод, усадьбу с казино, не говоря уже о долларовых миллионах. Недаром он, гарцуя на коне, бахвалился, что цена этой лошадки (одной из множества других на его конном заводе) — двести тысяч долларов. Объездив и обойдя владения свои, семидесятилетний глазник-предприниматель предстает в семейном кругу, вдвоем с супругой Иреной Ефимовной, именующей его «солнышком» (он ее — «лапочкой»). Сидят они за «закусоном», по словам Ирены Ефимовны, вкушая «экологически чистый продукт». Казалось бы, рай земной, радоваться бы самим и делать добро другим. Но почему столько жестокости, прорывающейся ненависти в глазах, раздражительности в голосе? Супруги возмущены, что им завидуют. И завидуют потому, что все бездельники, рабы. «Все привыкли к рабству... Депутаты Госдумы — бывшие рабы из рабской системы... Российский народ не готов к труду, он должен поменять менталитет». Итог речи «солнышка» таков: когда этот народ вымрет — тогда и исчезнет рабство, рабское отношение к труду.

Глядя на этого «героя дня», воочию видишь, что делают с человеком деньги. Он даже не замечает, как он пошл со

всем своим богатством, даже смешон на своей в двести тысяч долларов коняге. Каким тленом несет от него, молодящегося старика. Наберетесь ли вы смелости лечь под скальпель этой разрекламированной звезды «самой гуманнейшей профессии» — хирурга-глазника, зная, что и в человеческом глазу таковому видится не что иное, как только доллар?

То, что происходит ныне в нашей стране, — никак не может вместиться в нормальное сознание. С ошеломляющей ясностью открылось, как плохо знали мы то общество, в котором жили, как далеки мы были от понимания «человеческой природы», не представляя себе, до каких глубин низости, нравственного извращения может дойти человек, пораженный страстью к наживе. И узнали мы на собственной шкуре, на собственной судьбе, что значит власть «финансовой олигархии», когда пять еврейских банкиров вмиг (как только был объявлен «рынок») захватили восемьдесят процентов нашей государственной, народной собственности. Добрался и до нас «ревнивый бог Израиля» — всевластие «золотого тельца», денег, во имя мирового владычества «избранного народа».

Но этим «сынам дьявола» (слова Спасителя в Евангелии от Иоанна) мало одного материального, экономического господства. Они хотят поработить наши души, истребить в них качества, данные свыше, сделать нас рабами. Мы должны четко уяснить, с кем имеем дело. Казалось бы, уму непостижимо: народ русский спас евреев от гитлеровского истребления, и что же в ответ? Одна ненависть, всепожирающая ненависть. О, тогда, в годы войны, они горланили оды русским, упивались стихами о том, как «умирали солдаты, по-русски рубаху рванув на груди» (это ли не «по-русски» сказано?). Небезызвестный Василий Гроссман в грозную зиму сорок первого написал очерк о деревенской старухе, как она встретила их, военных журналистов, накормила, уложила спать. И какие слова о «величии народной души» нашлись у автора, у того самого автора, который потом с такой злобой писал о рабстве той самой души! Перелистайте газеты, журналы последнего десятилетия (со времен «перестройки»),

посмотрите, как отмечался в них День Победы, — и вас буквально захлестнет вал публичной ненависти к «русскому фашизму», «русским антисемитам» и т.д.

Ныне дети, внуки тех, кто были спасены от нацистского уничтожения, с расистским остервенением творят геноцид русского народа. Гайдары-чубайсы стали проводниками грабительских реформ с помощью «либерализации цен», «ваучеров», «приватизации», именно с этими именами связаны те неисчислимые беды и страдания, которые обрушились на наш народ, именно этими именами открывается черный список врагов России, за злодеяния которых еще придется держать ответ породившему их племени (как не раз случалось с ним еще здесь, в земной жизни).

Итак, нам агрессивно навязывают такие условия существования (вернее, вымирания), когда мы должны забыть свою историю, свою религию, все самое заветное и взять за образец «этику» двуногих хищников.

Да, такие, как федоровы, с их мертвой, вовсе не медицинской, хваткой, — процветают, но вот люди с задатками гениев — наподобие Лобачевского, Менделеева, Пирогова, — что им делать в этом «рыночном» мире, где ни в грош не ставится наука? Что делать талантам — цвету народа? Что делать самому народу, призванному к историческому творчеству, созиданию, в то время как из него хотят сделать барахольщиков, ненавидящих честный труд, чернорабочее быдло, обслуживающее колонизаторов, когда все здоровое, имеющееся в нации, не принимающее нынешней «демократии», объявляется балластом, «лишним населением», подлежащим беспощадному устранению с «исторической арены» (и эти требования заокеанских тэлботтов из мирового правительства повторяются здешними федоровыми). Что делать с духовной заразой, проникающей в социальные поры, в массовое сознание, — с тем страшным злом, которое на общественном языке именуется «американизацией»?

Не будем абсолютизировать это зло, видеть в нем нечто беспримерно апокалиптическое в истории. В ней, в истории, никогда не прекращалась борьба сил разрушительных, рево-

люционных с силами охранительными, консервативными. Не меньшее, пожалуй, нынешнего разлагающего влияния американизма имело в Европе разрушительное действие идей французской революции в конце XVIII — начале XIX века. Любопытно читать, например, «письмо из Германии» немца, напечатанное в одном из русских журналов начала XIX века. Речь идет о «перемене, которую испытала Германия от слишком тесного общения с Францией». «Какая причина сему низвержению Германии с нравственной ее высоты? Франция, Франция! — кричат все немцы, единая виновница всех наших бед». Французы — «ловкие подлипалы у немецких жен и девиц. Язык для них совсем новый, и их ласковые обольщения понравились немкам. Красотки восхищались, когда у ног их млели сии обожатели, упадали в обморок и хотели умирать. Ах! как они милы, ловки! кричали они, — как, напротив того, наши грубы, неотесанны». «При всех немецких дворах, во всех здешних домах болтали и наряжались по-французски». «Германия! Германия! Ты противоборствовала мечу всеобладавшего Рима, иго его тебе было чуждо, а теперь ты, пред скипетром французских модных торговок, преклоняешь ты свою выю... Угнетения, ухудшения и обман явились в Германию, и старинная немецкая честность сказала: прощай!»

Увы, то же самое наблюдалось в России, и, что поразительно, — сразу после победы над Наполеоном, и даже во время войны с ним. Те же самые французы, «ловкие подлипалы» у русских жен и девиц, о чем много писалось в тогдашних русских журналах, вроде следующего о военнопленных французах: «...Не бывает ни одного собрания, ни одного бала, куда бы французы преимущественно приглашены не были... Они имеют вход во все дома... Некоторые русские дворяне с ними о России рассуждают, слушают их и любуются их красноречием и даже берут их в учители к детям своим». «Благородные девицы не погнушались руку свою предложить — кому? Тем, у которых кровь свойственников или ближних, несчастным сим девицам принадлежавших, не успела еще на руках обсохнуть! Тем, от которых,

может быть, вкусили тяжкую смерть отцы, братья, сродники их, друзья, не говоря уже о соотечественниках, ибо для мудрых космополитов, или обитательниц вселенной — ни сего звания, ни сей связи не существует... И после содеяния нынешними пленными в Отечестве нашем неслыханных святотатств и насилий».

«Доселе на дворян наших жаловались в безрассудной страсти подражать во всем иностранцам; ныне, и что всего удивительнее! после 1812 года, купечество наше, носившее доселе русское платье особого покроя, вдруг вздумало гнушаться столь почетным и прекрасным одеянием. Сия часть почетного нашего купечества нарядилась, конечно, неумышленно, в платье, присвоенное ныне выходцам земли иудейской!» «Когда перестанем мы применяться к иноземцам?.. есть такие, которые Россию почитают Америкою».

История показала, что не только высшие, образованные сословия, так называемая интеллигенция, но и народ в целом подвержен разлагающему влиянию, тому, что Достоевский называл развратом (надеясь, что народ все-таки избежит этого. Каждый сейчас может судить, оправдались ли надежды писателя).

После разрушения Советского Союза главным врагом для «мировой демократии» стало Православие в нашей стране. Об этом откровенно говорят официальные лица Америки, и это хорошо известно.

Антиправославная политика нынешнего режима (при всем показушном лобзании с иерархами) поощряет всякого рода экстремистских «реформистов» внутри церковной жизни. Стараниями «демократической» печати раздута известность священника Георгия Кочеткова, настоятеля храма Успения Божией Матери в Печатниках (Москва). В заслугу этого «реформиста» ставится его «собственный путь внутри православия» — с отказом от уставных форм богослужения, канонической строгости при совершении Евхаристии, с «обновлением» Православия путем внесения в него элементов других, чуждых ему конфессий и т.д. Одним словом (если не говорить о чем-то сходном в прошлом, вроде секты жидовст-

вующих в начале XV века, «обновленцах-живоцерковниках» в двадцатых годах двадцатого столетия), пред нами те заносчивые, нигилистические умствования, которые нам, литераторам, обрыдли в своей литературной среде, нестерпимой от гвалта всех этих «апрелевцев» о «демократии», «правах человека», «свободе слова» и т.д. Впрочем, и там и здесь — один и тот же национальный состав, одна и та же «паства». То главное, что ставит своей практической целью Кочетков, — это «расширение границ церковности», двигателем чего должна стать «воцерковленная интеллигенция». Затея не новая. В свое время, в семидесятых годах двадцатого столетия, небезызвестный Александр Мень проповедовал особую миссию гуманитарной интеллигенции в деле «новой евангелизации» страны (кстати, в своей книге «Бодался теленок с дубом» Александр Солженицын также говорит об особой роли в общественном пробуждении тех же самых гуманитариев, типа «Люши» Чуковской, нетерпимой, по словам самого же автора, к Православию). Читателю, мало-мальски зрячему, понятно, что это за «гуманитарная интеллигенция», долженствующая в «современном духе» «очистить» Православие, церковность от традиционализма. (Кому попадались на глаза статьи, например, диссидентки Зои Крахмальниковой, тот может представить, сколько нескрываемой злобы у таких «православных» к Русской Православной Церкви, к Патриарху.)

Но оставим все эти разглагольствования о «воцерковлении» через культуру и перейдем к событию, поразительному даже и для наших дней. Случилось это в упомянутом храме Успения Божией Матери. Службу вели Георгий Кочетков и недавно назначенный в приход второй священник Михаил Дубовицкий. И до этого были неизбежные конфликты между двумя священниками, один из которых уклонялся от уставных правил богослужения, а второй строго следовал им. На этот раз о. Михаил отказался выполнять неканонические требования настоятеля храма Кочеткова, и здесь последовало то, что мы увидели в телепрограмме «Русский дом» 1 августа 1997 года. Вышедшего

из алтаря о. Михаила окружила группа «прихожан» с явно семитскими физиономиями, и началось избиение священника, громким криком звавшего на помощь. Затем последовал кадр, как избиваемого священника заталкивают в машину неотложной помощи и отправляют в психушку.

Фантастично, что все это записано на пленку «прихожанами»-«кочетковцами», видимо, для публичного, по тому же телевизору, устрашения своих противников — чего осторожничать, сегодня все в их власти, и они могут творить что угодно и безнаказанно. И страшно становится: ведь любого из нас, кто будет отстаивать чистоту Православия, могут схватить, как преступника, и засадить в психиатричку. К счастью (как стало известно из газет), о. Михаила в больнице не признали психически больным, и на следующие сутки он был выпущен.

Эта вопиющая история вынудила обычно сдержанного, даже благосклонного к «старшим братьям-иудеям» Патриарха Алексия II своим указом отстранить организатора погрома Георгия Кочеткова от обязанностей настоятеля храма. Но остается приход, «монолитный, внутренне спаянный», как его характеризует лукавая «Независимая газета» (приложение к «Независимой газете» — «НГ-Религии», № 7, 1997). Приход, не терпящий «чуждого ему по духу священника», то есть любого священника, если он не отвечает их бейтаровскому темпераменту. Ведь из этого «внутри спаянного» отряда, как пишет та же «Независимая газета», и объявился тот врач-психиатр, по специальному вызову которого был увезен в психбольницу о. Михаил.

* * *

В «Независимой газете — Наука» № 1, сентябрь 1997, говорится о физике Л. Ландау: «Из физиков XX века он на первое место ставил Эйнштейна», на втором сверхуровне из советских физиков упоминал только себя. В опубликованном здесь же в газете «Рейтинге выдающихся физиков-атомщиков XX века» на «первом высшем уровне» зна-

чатся немцы Карл Вайцзеккер и Вернер Гайзенберг (по признанию самых авторитетных физиков — физик № 1 XX века). Фамилия Л. Ландау стоит в «третьем уровне» в числе тридцати шести имен, в том числе тринадцати советских ученых. Что касается «величайшего ученого двух тысячелетий» — Эйнштейна, то этот «корифей» заключает список самого последнего, «четвертого уровня» («до 1939 года Эйнштейн отвергал прогнозы практического использования атомной энергии»).

Помнится, как в шестидесятых годах под сурдинку «физиков и лириков» муссировалась в печати фамилия Ландау как несравненного гения-физика с неземным даром сверхскоростного мышления. Певец этой особой популяции «физиков-теоретиков» Д. Гранин в своем романе «Искатели» вывел Ландау под именем Данкевича, Дана — как «просто» зовут обожающие его ученики (видимо, знающие особую миссию колена Данова). «Поспеть за ходом мысли Дана было невозможно... Дан двигался огромными прыжками». Один из его поклонников говорит о нем: «А ты знаешь, как он мыслит? Это молния»*. Известно высказывание Эйнштейна о том, что в течение двух лет, предшествовавших 1916 году, когда появилась общая теория относительности, у него в среднем возникала одна идея каждые две минуты, и каждый раз он отвергал эти идеи, заменяя их новыми. Сколько же идей провертелось в теоретической голове за эти два года... под силу справиться, пожалуй, лишь компьютеру... Впрочем, в этих немыслимых мыслительных прыжках-полетах возможны явные конфузы, что и случилось с такого же рода интеллектуалом Матиссеном в «Эфирном тракте» А. Платонова. Инженер-агроном Матиссен убежден, что одной только мыслью, одним только словом «о-р-о-с-и-т-ь» можно без всякого приложения сил полить капустный участок. Более того,

* А. И. Солженицын с гордостью говорил своему западному биографу о своей жене Наталье Светловой (математике по образованию): «Она думает со скоростью ЭВМ... В мгновение она способна найти самый сильный аргумент... У нее всегда много идей о том, как действовать и как ответить...»

мыслью можно обстрелять вселенную, черт знает как наколобродить в ней. Увы, мозг бедного Исаака Григорьевича не выдержал, он умирает от мозгового штурма Вселенной, хотя, по свидетельству простодушного современника, «Млечный Путь лопнул от мыслей Исаака Григорьевича». «Кроме Млечного Пути, Исаак Григорьевич навеки испортил одну звезду и совлек Солнце с Землею с их спокойного гладкого пути. От этого же, я так думаю, и какая-то планета отчего-то прилетела на Камчатские полуострова».

Любопытно, как научный революционизм соединяется в этих людях с радикализмом общественным, политическим. Тот же Ландау в 1938 году в возрасте тридцати лет был арестован как автор листовки, призывающей к свержению Сталина — «фашистского диктатора», «сталинского фашизма», к «решительной борьбе против сталинского и гитлеровского режима», против «сталинских палачей, способных только выдумывать нелепые судебные процессы о несуществующих заговорах», и т.д. Молодой ученый призывал «организовываться», «вступать в антифашистскую Рабочую партию и налаживать подпольную технику» и т.д. (Подлинность авторства Ландау в составлении этой листовки не подвергалась сомнению даже в девяностые годы, «Известия ЦК КПСС», № 3, 1991). Молодого физика, не такого уж чудака-теоретика, призывавшего «сбросить фашистскую диктатуру Сталина», — Иосиф Виссарионович нашел возможным пощадить, отдав его на поруки академику Капице (хлопотавшему за него). С учетом этой революционности физика нам понятнее будут его научные амбиции.

В литературной среде еще нагляднее, пожалуй, видна эта пузырящаяся амбициозность. Сколько было шума вокруг романа В. Гроссмана «Жизнь и судьба». Как только его не именовали: вторая «Война и мир», «роман века» и т.п. Сам Гроссман виделся исходящим из плена египетского и одновременно входящим на Олимп литературы. Я начал читать его сочинение после «Колымских рассказов» Шаламова и не мог пересилить скуку: после страшной

шаламовской правды (с ее «Оставь надежду...») о лагерной жизни — какой-то интеллектуальный сиропец на «зловещую тему»: два героя-умника на лагерных нарах, как за «круглым столом», нудят о тоталитаризме, правах человека, свободе, рабстве. Ради этих лозунгов, навязших в зубах, и написан роман, ныне благополучно скончавшийся. А что осталось от других смельчаков — беков, анатолиев рыбаковых и всех других? Впрочем, престарелому автору «Детей Арбата» нельзя не отдать должного в его неугомонной, не слабеющей с годами настырности в обвинении русских в антисемитизме. Старческая память, да, видимо, и вся жизнь бедолаги только и поддерживается одним этим «огоньком». Вот отрывок из его «Романа-воспоминания» («Независимая газета», 10 июня 1997 года). В полувековой истории советской, русской литературы вылавливает он дрожащими руками всех тех, кого считает антисемитами, начиная с Ф. Панферова сороковых годов и кончая нынешними В. Астафьевым, В. Беловым, В. Распутиным. Оплевывает он, например, того же Ф. Панферова, а видно, как этот русский самородок, пусть не ахти какой писатель (во всяком случае, не хуже рыбаковых), до небес возвышается над обличителем. Вы посмотрите, какое великодушие (а можно сказать — какая дурацкая русская черта): только что встретился с незнакомым типом, не успел узнать его, а уже готов все сделать для него. Сам Рыбаков пишет о нем: «Отстоял мне в Союзе писателей квартиру, потом и дачу в Переделкине, рекомендовал и в члены редколлегии "Октября", выдвинул роман на Сталинскую премию...». Панферов был главным редактором журнала «Октябрь», имел вес не только в Союзе писателей, но и в высших партийных инстанциях, и наш сорокалетний «начинающий автор» конечно же извлек для себя из всего этого максимум «житухи». Но если главный редактор «Октября» был с ним, что называется, «душа нараспашку», то не из таких простаков наш герой. Ночуя по приглашению Панферова на его даче, Рыбаков был начеку касательно своего портфеля с полученным гонораром: «Положил под подушку портфель

с деньгами и заснул». Уж не сомневался ли гость в порядочности хозяина и его жены-писательницы, единственных, кто был в это время на даче? И не от них ли он упрятал под подушку портфель?

Но что же все-таки было причиной того, что осталось незаживающим рубцом в старческой памяти воспоминателя? А вот что. Как-то между ними зашел разговор о Волге (в связи с парфеновским романом).

«— Да, вам этого не понять.

— Кому это вам?

— Вам не понять, — повторил он, — в этой поездке я показываю читателю Волгу — нашу Волгу, великую русскую реку, дорогую каждому русскому человеку, матушку нашу Волгу, кормилицу, а вам, конечно, не понять.

— Кому это вам? — переспросил я... — Так кому это вам?

— Вам, инородцам.

— Ах, так. Мало того, что ты графоман, ты еще и антисемит».

Знакомый «мотив» — и известная почти ядерная реакция на него. В «Детях Арбата» Рыбакова есть такая сцена. Двое молодых приятелей — Саша Панкратов и Боря Соловейчик (из детей «борцов ленинской гвардии, пострадавших от сталинизма») в ссылке удостаивают вниманием старика Антона Семеновича, бывшего царского повара. За выпивкой заводят речь о его доме.

«— Где он, дом-то? В Бердичеве?

Борис встал, подошел к двери, накинул крючок.

— Вы чего, ребята? — беспокойно забормотал Антон Семенович. — Я ведь в шутку.

— Последний раз шутишь, стерва, — усмехнулся Саша.

Борис навалился на Антона Семеновича, прижал голову к столу.

— Ребята, пустите, — хрипел Антон Семенович.

— Не до конца его, Боря, на мою долю оставь, — сказал Саша... — Падаль! Задумал над нами измываться! Гад! Рванина!

— Извиняйся, гад.

— Извиняюсь, — прохрипел Антон Семенович.

Борис вытолкал его за дверь, сбросил с крыльца, устало опустился на скамейку».

Бедному старику еще повезло, могло кончиться и хуже. Не такая ли нота угрозы звучит и в словах самого Рыбакова, обращенная к вчерашнему благодетелю? И за что же? За то, что тот сказал, как «дорога каждому русскому человеку Волга», и этого не понять «вам», «инородцам». И что же здесь такого криминального? Разве не то же самое могли бы сказать индусы о своем Ганге, египтяне о Ниле, немцы о Рейне и т.д.? Но главное — человек завалил «инородца» немыслимыми для того времени щедротами (публикации, повышенный гонорар, квартира, дача, членство в редколлегии, Сталинская премия) и в ответ получил пожизненную ненависть за одно безобидное, в сущности, слово. Даже и когда умирающий от рака Панферов хотел его видеть, этот «гуманист» отрубил: «Не имею желания».

О, русское простофильство и доверчивость! Добившийся все-таки встречи с «непримиримым», умирающий Панферов исповедуется перед ним: «...Вот и Анатолий пришел. Я знал, что он придет, я любил его, как брата... Большие надежды на него возлагал и сейчас возлагаю. Анатолий себя покажет...» И показал. И все же, при всей нравственной приниженности перед ничтожеством, не высится ли этот Панферов, как глыба, характером своим, самой человеческой природой над своим обличителем, у которого за душой ничего нет, кроме непомерной амбиции, интриганства, иссушающего злопамятства? Только такими «творческими возможностями» и могут блеснуть подобные писаки.

* * *

Но ведь такого же рода «деятельность» собратьев их и на других поприщах. В свое время Сталин провозгласил: «Кадры решают все!» Эти слова основывались на вере в безграничные силы народа, способного из недр своих

выдвигать талантливых руководителей, знающих свое дело кадры. В докладе на Пленуме ЦК ВКП (б) 3 марта 1937 года Сталин говорил: «Можно бы назвать тысячи и десятки тысяч технически выросших большевистских руководителей, в сравнении с которыми все эти Пятаковы и Лившицы, Шестовы и Богуславские, Мураловы и Дробнисы являются пустыми болтунами и приготовишками с точки зрения технической подготовки». С ликвидацией «пятой колонны» (помимо всего прочего, поставлявшей болтунов и невежд) появилась целая плеяда молодых — чуть больше тридцати лет — наркомов, блестящих организаторов промышленности, народного хозяйства, таких, как А. Н. Косыгин, Н. А. Вознесенский, Д. Ф. Устинов, В. А. Малышев и многие другие. Это было время рождения, творческого взлета выдающихся авиаконструкторов, создателей новейших образцов вооружения, военной техники, что позволило стране подготовиться к отражению вражеского нашествия. Из народной же толщи выковывались в годы Великой Отечественной войны кадры военачальников, наших известных полководцев.

И вот захватившие власть в стране «демократы», поддерживаемые мировой закулисой, уничтожают то, чем было сильно наше государство, — питающий его источник народных талантов. Молодежи из рабочих, крестьянских семей закрыт доступ к высшему образованию, ставшему привилегией нового класса грабителей. Это значит, что уже не будет того патриотического научно-культурного слоя, который создавала прежняя государственная система образования, и место его займет космополитический сброд, для которого Родина везде, где больше платят. Путь открыт не будущим Курчатовым, Королевым, Мишиным, а «гарвардским мальчикам», с их научной бездарностью, но зато с двойным-тройным гражданством, а «ненужный» героизм Юрия Гагарина вполне компенсируется рекламируемым по телевидению фиглярством в Центре подготовки космонавтов на центрифуге лоснящегося от сытости какого-нибудь госчиновника. Какое обилие «талантов» в нынешнем «российском правительстве» — и в теннис играют, и в футбол,

и в сауне с девочками резвятся-соревнуются, и на центрифуге крутятся — ну, до дел ли государственных? Хотя Ельцин не нахвалится своими любимцами: «Какая умная команда работает из молодых реформаторов! Главное — умная!»* — заявил он на встрече со школьниками 1 сентября 1997 года. При словах об этих умниках всегда свирепая в распекании неугодных (вроде русских силовиков) физиономия Ельцина обливается эдаким физиологическим умилением от сознания, видимо, приобщенности к «интеллектуальной элите».

Итак, каков же выход для нас, русских, из того угла (почти резервации), куда нас загнали? Исторические параллели здесь мало чем могут помочь. После монголо-татарского вторжения, в XIII веке епископ Владимирский Серапион в проповедях своих, призывая людей к покаянию, как бы накладывал бальзам на измученные души их в условиях иноземного ига, укреплял веру, тем самым приуготовлял почву для будущего народного подвига. Но

* Вот что пишет об этих «реформаторах», «слывущих в стране очень умными», даже их собрат по «демократии» В. Белоцерковский («Независимая газета», «НГ-Сценарии», 10 сентября 1997 года): «Один из них, например Борис Немцов, объясняя свое решение перейти в правительство, говорит, что «единственно важным» для него аргументом было «заявление президента о желании войти в историю не Борисом Годуновым, но Ярославом Мудрым, чтобы оставить после себя процветающую Россию». Чтобы дать такое объяснение, надо кроме всего прочего не иметь и чувства юмора. Как и в случае с гениальным предложением пересадить всех министров с иномарок на «Волги»...

«Еще один умный — Анатолий Чубайс... на экономическом форуме в Давосе на весь мир заявил, что война в Чечне полезна для экономики России. Идиотизм здесь двойной: во-первых, утверждать это — значит путать экономику для страны с экономикой для номенклатуры, для мафиозных олигархий, а во-вторых, не следовало так откровенничать с трибуны, да еще международной. Только в нашей тотально деморализованной стране такое выступление могло сойти с рук их автору». В данном случае речь может идти не только об умственной неполноценности Чубайса (первый вице-премьер!), но и о причастности его к той группе военных преступников, которая в своих интересах развязала и одобряла кровавую бойню в Чечне.

Еще одна черта к характеристике умственно-морального уровня «реформаторов». В «Дневнике» (запись от начала ноября 1998 года) писателя, ректора Литературного института С. Есина говорится: «Институт делает экспертизу по текстам Коха и Чубайса. Проходя в кабинет, вижу, как из приемной выносят магнитофон с большими вертикальными дисками. Слушали телефонные переговоры этих двух фигурантов современной истории, записанные на пленку. «Спецы» говорят, что тексты совсем криминальные по лексике, с большим количеством мата, речений из быта качков и бандитов. Будто переговариваются не два премьер-министра, а служащие ''Коза Ностры''».

еще целое столетие отделяло проповедника от Куликовской битвы. Могут ли рассчитывать на такое отдаленное торжество нынешние проповедники? Восстанавливается храм Христа Спасителя, вступают в строй другие храмы, но не окажутся ли они в скором времени без паствы? При входе во двор Литературного института, где я работаю, висит огромное объявление: «Продажа квартир правительством Москвы». По дороге на автобусе от метро «Юго-Западная» (где я живу) до конечной остановки Очаково вы встречаетесь с приветливым предложением на громадном щите: «Продажа квартир. Мы построим вашу мечту». Здесь за короткий срок уже вырос целый район шестнадцатиэтажных домов, и нетрудно догадаться, кто в них вселился. На всех окрестных рынках — одни и те же кавказские лица, нерусская речь. Почти то же самое — в автобусах. Поэт Юрий Кузнецов рассказал мне о забавном случае, как он был ошарашен, парализован, когда, впервые приехав в Москву, увидел в автобусе негров. Ему показалось, что ими заполнен весь вагон. А приглядевшись, подсчитал: их, негров, всего четыре, а остальные, человек тридцать, русские. В сем казусе есть нечто оптимистичное, эдакий здоровый национализм — зрячесть насчет того, сколько наших, и не перебор ли не наших. Но ныне-то уже выходит наоборот: четыре наших, а «остальные, человек тридцать», — кто они? Недаром старший братец А. Чубайса выкрикивает с трибуны, что Москва — город еврейский, чеченский и т.д. И конечно же сладкоголосые зазывания «рыночной» сирены «построить вам мечту» доходят не до наших обобранных русских, а до интернациональной мафии разных калибров. И если мы не имеем денег, чтобы купить квартиру, то должны иметь что-то в голове, чтобы понимать, что происходит вокруг и какие выводы нам надо делать. Как мы реагируем, когда, например, русофобское телевидение сладострастно смакует такой «сюжет»: в Грозном из окна второго этажа дома чеченка, вопя по-дикому, грозит кулаком стоящей внизу плачущей русской женщине, выброшенной из собственной квартиры. Представьте, что в Москве русская женщина выгнала из квартиры

чеченку, — какой вой подняли бы «демократы». А там, в этой «Ичкерии», десятками тысяч убивают, изгоняют из домов русских, и мы не просто молчим, а не хотим даже знать об этом. Но эти «злые чеченцы» попридержали бы свои кинжалы и автоматы, если бы знали, что такое же, как у них в «Ичкерии» с русскими, будет и с чеченцами в Москве. И во всей России!

Дряблость «всепрощения», «понимания» других в ущерб себе, своим национальным интересам и губит нас.

И это безволие мы готовы оправдывать некой нашей загадочной природой, данной нам, в отличие от других, неслыханной свободой воли. Этой «внутренней свободой» некоторые объясняют и беспримерное нынешнее терпение народа: для него слишком узкая цель — противостоять, объединяться, бороться на «внешних началах» (экономических, социальных, политических, патриотических и т.д.), «русская душа живет чем-то большим». Пьер Безухов у Толстого хохочет, оказавшись в неволе: «Ха-ха, ха!.. Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня? Меня — мою бессмертную душу! Ха, ха, ха! — смеялся он с выступившими на глаза слезами». Вот так и каждого из нас (как французы — Пьера) могут запереть, засадить в тюрьму, в сумасшедший дом (как о. Михаила), и что? Мы также будем хохотать от радости, что все это чепуха, вздор для нас с нашей «свободой воли», «бессмертной душой»? Пусть оно и так, но ко времени ли? Ведь ныне даже сам Патриарх Алексий II стал призывать: «Все мы должны защищать Отечество и от врагов внешних, и от врагов внутренних» («Независимая газета», 24 февраля 1998 года).

Ныне важнее всего, пожалуй, осознание нами себя как русских, как нации, осознание не только своих слабых сторон, своих недостатков (в этом мы преуспели, как никто в мире), но и своих сильных качеств, своих достоинств. В свое время даже такой либерал, как В. Г. Короленко, после поездки в Америку писал: «И много у нас лучше. Лучше русского человека, ей-Богу, нет человека на свете». И, пожалуй, нет человека, народа сильнее. Историк Н. Костомаров,

малороссиянин, не чуждый украинского национализма, писал: «...Можно уже в отдаленные времена подметить те свойства, которые вообще составляли отличительные признаки великорусской народности: сплочение сил в собственной семье, стремление к расширению своих жительств...» О «еще неслыханной в мире стойкости, живучести и силе распространения» русского народа писал Н. Н. Страхов (в книге «Борьба с Западом в русской литературе»), видя в то же время «высший интерес» его в «духовной области». Ведь мы действительно великий, самобытный народ, и не только вкладом в мировую культуру, но и своим опытом бытия — общественного, религиозного. Ведь это русский народ объединил вокруг себя сотни наций, племен в великое государство, которое враги наши оклеветали как «империю зла», но которое навсегда останется в истории прообразом человеческого братства.

С разрушением великого государства историей поставлен вопрос: на что способен русский народ без этого щита нашей национальной независимости? Насколько он жизнеспособен сам по себе, без традиционной в России самодержавной, авторитарной власти? Имея в виду именно авторитарное будущее нашего государства, сознавая временность, историческую бесперспективность на нашей земле беспощадно навязываемой нам «демократии», мы должны в это кризисное время трезво оценить свои возможности, чтобы опереться на собственные силы, которыми мы не обделены. Необходимо осознание своей принадлежности к нации особой — по своей стойкости, живучести. Другой народ, пройдя через все то, что испытали мы в XX веке, перестал бы существовать, а мы все еще ненавистный «имперский народ». Нас оккупировали, уничтожают, а мы видим не «великодушие победителей», а еще большую ненависть к нам. Значит, есть что-то в нас большее, чем наше собственное представление о себе как о потерпевших поражение.

В книге знаменитого сталинградского снайпера Василия Зайцева «За Волгой земли для нас не было» (литературная запись Ивана Падерина) есть такие слова: «Мертвые бывают

в строю только на перекличках, а бой ведут живые». В строю с нами на исторических перекличках множество великих, героических имен из нашей тысячелетней истории, но не заслоняем ли мы их порою именами призрачными, даже враждебными России? Станислав Куняев в своем предисловии к заметкам Вл. Солоухина «Чаша» («Наш современник», 1997, № 9,) справедливо пишет о неоправданной идеализации автором этих заметок «рыцарей белого движения». Зачарованный перечислением аристократических фамилий эмигрантов, похороненных на известном русском кладбище под Парижем, Вл. Солоухин как бы и не ведает, что именно эти княжеские, графские господа масонского посвящения и подготовили гибельный для России Февраль 1917 года. Все эти господа приветствовали бы, как своих собратьев, «демократов» — нынешних разрушителей России. Избави нас Боже от таких перекличек. Ведь еще в XIX веке, говоря о либералах, связанных с масонами-декабристами, Н. Греч писал: «Либералы, проповедовавшие равенство, охотно забирали под свои знамена князей и князьков всякого рода, и Трубецких, и Оболенских, и Щепиных, и Шаховских, и Голицыных, и Одоевских, и графов, и баронов. «Cela sonne bien!» — «Звон оттого хороший!» (Греч Н. И. Записки моей жизни. СПб.: изд. А. С. Суворина, 1886).

Но ведь даже и наши патриоты, вдохновляя нас, не могут заменить современников. Бой ведут живые! Бой против нынешних, невиданных по изощренности и жестокости врагов России. Наше время — время жертвенного героизма. От нашей эпохи останутся в памяти потомков не шахтеры, стучащие касками об асфальт перед «Белым домом», выклянчивающие не выплаченную им за год зарплату (а затем, после надувательских обещаний «сверху», готовые по-прежнему поддерживать преступную власть). В памяти будущих поколений останутся те герои, кто встал здесь 4 октября 1993 года на защиту Родины от «демократов». На крови этих героев и зреет святое дело освобождения России.

Ныне время личных подвигов. Запомнились мне слова литератора Владимира Фомичева: «Надо кому-то начинать

первым». Его, как редактора газеты «Пульс Тушина», года три тому назад привлекли к суду за «антисемитизм», я был на суде и, слушая обвинения, не мог отделаться от мысли, что его могут засадить за решетку и не выпустить живым, расправятся, как с несчастным Осташвили. К счастью, Фомичева оправдали. Он сделал то, о чем боятся пикнуть на «свободном» Западе, показал, как важно начать именно одним из первых, идя на жертву в борьбе с теми, кто породил нынешних наших угнетателей. Это и есть признак здоровой нации, какими бы малозаметными ни казались подобные поступки в беспределе насилия.

В прошлом Россия поднималась на смертный бой с врагом, вызывая у современников вполне определенное представление о целях борьбы.

«Вставай, страна моя родная!» — восклицал Хомяков, обращаясь с началом Крымской войны к Родине, призывая ее покаяться в грехах, чтобы быть достойной своего исторического, религиозного призвания перед смертельной угрозой со стороны Запада.

«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» — гремело с пронизывающей трагической силой над страной, в которую вторглись гитлеровские «проклятые орды» для завоевания «жизненного пространства».

Нынешняя война в России — война невиданная в нашей истории, война с врагом, не осознанным еще в своей сущности народной массой, и потому как никогда велика роль сознательной ее части, роль истинных русских патриотов.

P. S. Получил письмо от своего университетского друга, участника Великой Отечественной войны Сергея Морозова, в котором он пишет: «Я преклоняюсь перед Христом, смиренным, поруганным и распятым на Кресте ради спасения человечества. Но у меня дух захватывает от волнения, от восторга, когда мысленно вижу Христа воинственного, опрокидывающего столы, бичом изгоняющего из храма меновщиков и всякого рода торгашей, превративших Храм Бога Живого в скотный двор. Святая Русь превращена в скотный двор...»

КТО ЖЕ СЕГОДНЯ ФАШИСТ НА САМОМ ДЕЛЕ

События последнего времени, связанные с экономическим и политическим кризисом в нашей стране, как бы оттеснили на второй план все остальное. Вот и радиообращение Б. Ельцина, в котором он заявил об угрозе «русского фашизма», почти не вспоминается. Между тем это было, как многие любят ныне выражаться, знаковое заявление.

Мы начали разговор о нем откликами писателей Валентина Распутина и Владимира Крупина, беседой с академиком Игорем Шафаревичем. Сегодня мой собеседник — известный литературный критик и ученый, профессор Литературного института имени А. М. Горького Михаил Петрович ЛОБАНОВ.

— Итак, 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, официальный глава Российского государства заявляет: «Полвека назад наша страна спасла мир от фашизма. Но сегодня именно в России он поднимает голову». А далее из текста следует, что это сегодня едва ли не самая главная угроза для нашего общества, ну а Ельцин ей противостоит. Как вы, Михаил Петрович, относитесь к этому?

— Мне это напоминает лозунг, который Солженицын внедрял в сознание своей первой жены Натальи Решетовской: «Плюй первой, пока не плюнули в тебя!» Так и в данном случае, с «угрозой фашизма» — именно «первым плюнуть». Но ведь вдумчивый слушатель, читатель может увидеть за этим вовсе не ту мифическую угрозу, которая имеется в виду и которой нас хотят напугать, а иную — вполне конкретную. Может, например, сопоставить поджог гитлеровцами рейхстага в конце февраля 1933 года и последовавшую отмену ими неугодных прежних законов с расстрелом Ельциным Дома Советов 4 октября 1993 года, после чего окончательно была ликвидирована Советская власть.

— Я знаю, что вы прямо со школьной скамьи были призваны в армию, участвовали в боях на Курской дуге

летом 1943 года, были ранены. Как тогда вы воспринимали фашизм и вообще, что такое фашизм, по вашему мнению?

— Тогда, в войну, фашизм для нас означал одно — смертельный враг вторгся в нашу страну, грозит нам порабощением. Тогда все было ясно — враг действовал открыто, все решалось на поле сражения, и вопрос стоял именно так: Родина или смерть. Ныне поле сражения переместилось в область идеологическую, духовную, а противник использует такие коварные, поистине сатанинские приемы, к которым, надо признаться, наш народ не был подготовлен, потому и потерпел сокрушительное поражение.

Сейчас главное — осознать смысл происшедшего, в том числе собственную вину в этом, гибельность нашей русской разобщенности. И, конечно, глубже осознать, с кем, с каким врагом мы имеем дело.

— И все-таки — как вы понимаете природу фашизма?

— В истории ничто, никакое явление — духовное ли, политическое — не возникает случайно, внезапно. Всему есть предыстория. Так и с фашизмом. Замечу, что термин «фашизм» довольно условен в отношении гитлеровской Германии. Фашизм зародился в Италии, а в Германии, если точнее говорить, был нацизм (национал-социализм). Было у них, конечно, много общего. Но в нацизме существенное значение имело еще и то, что делало его особенно воинствующим, — расизм, антисемитизм.

Можно много говорить о генезисе фашизма — духовном, философском, историческом. Наивно думать, что немцы, как дети, были обмануты Гитлером и повержены им в массовый страх. Этот страх утрированно показан, например, в романе американского писателя Томаса Вулфа «Домой возврата нет» (кстати, предки писателя, посетившего Германию в 1936 году, были выходцами из этой страны). Но и здесь поражает то, какое огромное впечатление произвела на героя — писателя, собственно, самого Томаса Вулфа, «громадная объединенная мощь всей страны»...

Фюрер использовал те свойства, особенности немецкой нации, ее духа, психологии, которые имели глубокие корни

в истории. Поэтому и возможно было с приходом Гитлера такое мощное объединение, сплочение немцев на основе националистической, расистской. Неру в своих письмах «Взгляд на всемирную историю» (середина 1933 года) приводил свидетельства очевидцев, какая удивительная атмосфера, напоминающая религиозное возрождение, царит в Германии. А Вальтер Ульбрихт писал, как глубоко дух милитаризма и расизма проник также и в ряды рабочего класса.

Не был Гитлер открывателем и в своих агрессивных замыслах, а затем действиях против России. В своей восточной политике он видел продолжение завоевательской практики германских императоров Средневековья. Таким образом, то, что называется немецким фашизмом (точнее — нацизмом), имеет для нас, русских, вовсе не отвлеченное значение. Это связано с самой нашей историей, с исторической нашей судьбой! И надо быть не просто безграмотным, но сознательным ненавистником русского народа, чтобы приписывать ему фашизм.

— С какой же целью, на ваш взгляд, это делается?

— То, что цель ельцинского режима — геноцид народа, должно быть сегодня совершенно очевидно уже для всех. И вот, чтобы добить народ окончательно, вытравить до корней его национальное самосознание, которое все-таки пробуждается, и пустили в ход жупел «русского фашизма».

— Вы ведь тоже испытали на себе эти обвинения в фашизме. Помнится, еще в шестидесятые-семидесятые годы вас систематически преследовали в прессе такие персоны, как Суровцев, Оскоцкий, Николаев, причем обвиняли и клеймили именно как русского шовиниста, фашиста. Ну а затем, с началом «перестройки», эту обличительную эстафету подхватил Коротич.

— Оскоцкие травили все русское в литературе, выставляя себя борцами за партийность, пролетарский интернационализм. К сожалению, им было полное доверие в ЦК. Сейчас мы видим, с каким цинизмом бывшие идеологические работники ЦК — всякие яковлевы, шахназаровы, бур-

лацкие, черняевы и прочие — вещают, что и пришли они туда, в этот ЦК, чтобы изнутри подтачивать, разлагать «тоталитаризм». Русофобское окружение партийного руководства во многом, увы, создавало погоду в идеологии.

Насколько преднамеренной была «партийная критика русофилов», признали теперь и официальные лица. В январе 1983 года было принято решение Секретариата ЦК КПСС, в котором подверглась осуждению моя статья «Освобождение», опубликованная в журнале «Волга». И сразу же в Союзе писателей РСФСР под председательством Сергея Михалкова собрался секретариат, на котором мне как автору осужденной статьи устроили идеологическую порку с нешуточными политическими обвинениями. Прошло с тех пор семь лет — и вот на съезде писателей России выступает Сергей Михалков и с трибуны просит извинения у меня за тот памятный разнос.

Узнал я потом от своего знакомого, сотрудника Министерства иностранных дел Владимира Зимянина, что отец его, бывший секретарь ЦК КПСС Михаил Васильевич Зимянин, просит меня извинить его. Я знал, что именно в кабинете Михаила Васильевича, тогдашнего секретаря ЦК по идеологии, где собрались главные редакторы газет и журналов, и начался грозный разговор в связи с моей злосчастной статьей. Передавая мне через сына извинения, Зимянин добавил: «Это шло от Юры». Так называл он, по комсомольской привычке, Юрия Андропова, который дал команду для «принятия мер». О реакции его на мою статью говорил на заседании правления Союза писателей СССР его первый секретарь Георгий Марков, с которым беседовал Генсек. Кстати, об этой истории подробно рассказывается в книге немецкого исследователя Дирка Кречмара «Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко». Она вышла в Германии в 1994 году, а у нас в переводе с немецкого — в 1997-м. В отличие от большинства «советологов», автор этой книги, по-немецки обстоятельной и аргументированной, старается быть по возможности объективным в исследовании идеологических проблем.

— Вы говорите о негативной роли Андропова в вашей судьбе и вообще в отношении к патриотической линии в литературе того времени. Между тем буквально на днях я слышал от поэта Феликса Чуева, который слыл уже тогда сталинистом, что его «ангелом-хранителем», как теперь выясняется, был тот же Андропов. Выходит, очень противоречивая фигура этот человек.

— Мне известно, что Андропов, будучи председателем КГБ, в своих донесениях в ЦК именовал нас «русистами», вкладывая в это слово нелестный для нас смысл. «Духовными аристократами» он называл, по словам Бурлацкого, своих советников, консультантов — того же Бурлацкого, Арбатова, Бовина и т.д. В глазах этой идеологической обслуги мы были, конечно, шовинистами, фашистами. Но сама их биография, их роль в разрушении государства показывает, что за «духовные аристократы» окружали Андропова...

— Вернемся к ельцинскому радиообращению. В нем говорится о тех, «кто сегодня бредит идеями национального превосходства и антисемитизма». Что вы можете сказать по этому поводу?

— Антисемитизм в России — это такой же жупел, как русский фашизм. По наблюдениям всей своей жизни, уже немалой, могу твердо сказать, что русские люди не только никогда не бредили идеями национального превосходства, но и не имели об этом даже никакого понятия. Не только не пылали ненавистью к евреям, считая их второсортными людьми, но и по добродушию, наивности своей готовы были считать себя дураками перед ними: «они все умные», «на скрипке играют», «все ученые, академики» и т.д. Это внушалось нам с детства, и мы впитывали это в свое сознание, впрочем, обычно не различая, кто еврей, кто не еврей. До войны, когда я был школьником, с газетных страниц не сходили портреты победителей международных конкурсов: Давида Ойстраха, Якова Флиера, Эмиля Гилельса... Помню, как я переживал за Ботвинника, когда он играл в шахматы с Алехиным. Как я был горд, когда наш новый учитель математики, черноволосый, с непривычным

для нас, деревенских детей, выговором вызвал меня к доске и я правильно решил задачу, которую до меня не решили другие. Я потом думал об этом учителе, когда вскоре, с объявлением войны, он куда-то уехал из нашей деревни. И в послевоенное время, когда я учился в МГУ, мы совершенно не задумывались, кто из нас какой национальности. Впрочем, и у моих сокурсников-евреев, во всяком случае у многих из них, не было еще этого уязвленного «пунктика». Помню, как живший со мною в одной комнате в студенческом общежитии на Стромынке сокурсник в разговоре с другим нашим жильцом — Космаком что-то пошутил насчет Еврейского театра, в котором он побывал. И как же возмутился Леонид Стефанович Косман, услышав от человека своей национальности нечто непочтительное о Еврейском театре! Косман был значительно старше нас, до войны жил, как он говорил, в буржуазной Латвии, откуда и вынес обостренное, болезненное восприятие всего, что он считал антисемитизмом. И нам это его болезненное отношение к национальной принадлежности казалось странным. Замечу, что тот, кто вызвал его неудовольствие своей шуткой, — ныне известный критик, главный редактор литературоведческого журнала, и, надеюсь, он улыбнется, вспомнив как нечто ностальгическое тот эпизод из студенческой жизни.

Расскажу об одном деревенском неофите. Это может кое-что прибавить к нашему разговору. В деревне Малое-Дарьино, где я жил в детстве, на Рязанщине, под Спас-Клепиками, поселился после войны новый человек по фамилии Цукерман. Женился он на уроженке здешних мест Наталье Добровой, дочери знаменитой в тридцатые годы Софьи Добровой. Знаменитой тем, что удостоилась похвалы с высокой трибуны самого Кагановича за свое бойкое выступление на Всесоюзном съезде колхозников. В запале красноречия она крикнула в зал: «Приезжайте, товарищ Буденный, к нам в колхоз, мы подарим вам лучших коней для красной кавалерии!» А когда вскоре к ней в колхоз приехали корреспонденты, то оказалось, что «лучшие кони» висят на веревках от истощения.

Так вот, поселился зять бывшей знаменитости в русской деревне — и ничего, прижился. Никто ему, разумеется, ничем не давал знать, что он какой-то чужак здесь — наоборот, даже было что-то вроде взаимовлияния. Он, казалось, обрусел, а кое-кто из местных вроде бы объевреился. Так и положено в миру. Но это не мешало ему оставаться вполне самобытным. Мой покойный дядя Иван Анисимович, добродушно посмеиваясь, рассказывал мне об одной живописной сцене. Идет он мимо дома Добровых и видит: Цукерман вытаскивает из избы вещи, вокруг навалены мешки, узлы, всякая рухлядь. «Ты что делаешь, Яков Исаакович?» — «Молчи! Хочу все вытащить и поджечь дом, страховку получить. Ох... все!» Видно, и в самом деле опротивела ему местечковая русская дикость, но ничего, не поджег, продолжал жить, плодиться. Впрочем, никто из его детей не остался жить в деревне, все разъехались кто куда.

Вот вам и антисемитизм. Кому-то этот рассказ может показаться чуть ли не анекдотическим, но ведь из таких историй образуется та плазма быта, которая способна больше и глубже сказать о взаимоотношениях людей разных национальностей. В народе решается все проще и человечнее, не то что в грязной игре политиков и так называемых интеллектуалов.

— Однако обвинения русских в антисемитизме звучат за последние годы постоянно, причем с возрастающей настойчивостью. Телевидение и определенная пресса нагнетают страсти изо всех сил, хотя, казалось бы, повода нет никакого.

— Поразительно! Доходит до полной умственной невменяемости обвинителей. Вот передо мной «Независимая газета» от 31 июля сего года. В ней — статья А. Севастьянова «Политические перспективы еврейской диаспоры на Украине». В конце статьи говорится: «Можно смело прогнозировать, что если сегодня Россия по уровню антиеврейских настроений стоит на одном из последних мест, позади США, Германии, Польши, Венгрии, Латинской Америки (что зафиксировано беспристрастными социологическими исследованиями), то это "первенство наоборот" ненадол-

го». Как понять такое? Выходит, что если в России нет антисемитизма, то тем хуже для нее, все равно она будет первой погромщицей в мире...

— Вы упомянули о такой отличительной черте нацизма, как расизм. Существует ли, по вашему мнению, опасность расизма в России?

— Известно, расизм одинаково характерен как для нацизма, так и для сионизма. На эту тему есть специальные авторитетные исследования. Но я хочу напомнить о Сталине, который постоянно подчеркивал мысль об опасности сионизма. Разговор со Сталиным о сионизме приводится, например, и в воспоминаниях художника Е. Кацмана, опубликованных в «Независимой газете» от 4 июля нынешнего года (встреча состоялась на даче Иосифа Виссарионовича в 1933 году).

Впрочем, оставим политику и поговорим о более близких мне делах — о писателях, литературе. В связи с тем же сионизмом. Вот критик Владимир Бондаренко назвал премии Букера расистскими. Имеется при этом в виду, что эти премии присуждаются только по национальному признаку. Исключительно евреям. Так же и премия «Триумф», отстегнутая соплеменникам банкиром Березовским из награбленного у народа. Премия в знак совместного триумфа в «этой стране». Лауреаты — все те же лица: Жванецкий, Войнович, Окуджава, Эйфман, Гребенщиков, Шнитке... Такие же премии — «Государственные», «Президентские».

— Нынешняя литература крайне политизирована, писатели-«демократы» не стыдятся открыто быть прислужниками антинародного режима. Вспоминается, как именно эти писатели на встрече с Ельциным накануне 4 октября 1993 года призывали его «решительно действовать» против так называемых красно-коричневых, а в кровавый день расстрела Дома Советов вопили яростно: «Раздавить гадину!»

— Особенно в этой кровожадной истерике отличился Окуджава. Он публично похвалялся, что испытывал великое наслаждение при виде расстрела... Молодцы белорусы, они устроили обструкцию этому «демократу», когда он приехал в Минск.

Окуджаву знают как гитариста, эстрадника, кто-то помнит его «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке». Как всегда, у этого барда — стишок серенький, но со смыслом. Понятно, кто эти друзья. Но, кроме песенок, имеются еще у Окуджавы так называемые исторические повести. В моей книге «Страницы памятного» есть статья «История и ее литературные варианты», где я разбираю эти опусы. Честно говоря, мне стоило героических усилий, чтобы одолеть такую графоманию. Безграмотный язык. Невежественные измышления о событиях русской истории XIX века. Везде одна и та же русофобская начинка. Вот русские войска несут в качестве знамен гулящую девку. Повторение одного и того же: «От пространств российских захватывало дух, рабов хватало»; «Беспредельная тупость патриотов». Ни одного нормального русского человека; Все уроды, тупицы, доносчики, пьяницы. Если и есть порядочные герои, то это кто угодно — немец, полька, француженка, грузин и т.д., только не русский. И какое-то маниакальное пристрастие к крови. В роман «Свидание с Бонапартом» «кровь», «чужая кровь» «затхлая кровь», «крашеная кровь», «Я вижу, как загорелись ваши глаза при слове ”кровь”» «А одна ли у нас кровь?», «Нет слов, способных подняться выше крови» и т.д. Преследующая автора «кровь» — его тайное тайных. Она многое объясняет в сочинениях, в поведении барда, в самом его отношении к «чужой крови» — при том же расстреле 4 октября.

Реальное место Окуджавы в русской литературе таково, что не стоило бы и говорить о нем. Но дело в том, что эти «возьмемся за руки, друзья» впереди своих колонн в качестве знамени, как ту гулящую девку, несут своего барда. В Переделкине уже открыт... «народный музей Окуджавы». На Трубной площади устраиваются шумные тусовки, здесь намечается ему поставить памятник. «Демпечать» уже объявила, что сие сооружение будет соперником установленного недалеко отсюда памятника Пушкину. Все это напоминает известную тактику Израиля: поскорее застолбить

захваченный кусок территории, а затем, путем всяческих проволочек, сделать захват необратимым.

Торопятся прихватизаторы. А главный из них — Чубайс вместе с таким же государственным преступником Гайдаром объявили Окуджаву своим духовным вождем. На вечере памяти барда в начале июня сего года в Театре современной пьесы они вспоминали, как вместе с ним традиционно справляли старый Новый год. Поведали, что всегда при принятии важных для судеб страны решений думали, «что сказал бы об этом Булат Шалвович». Страшное дело: на вершине власти в России оказалась компашка, для которой высший авторитет в государственных делах — литературный экстремист. Объяснить это можно только одним: «Нет слов, способных подняться выше крови». И это видно вообще в политике, в поведении нынешних правителей, которые действуют по вышеприведенному принципу: «А одна ли у нас кровь?» Не случайно ни одного лица от официальных властей не было на похоронах Леонида Максимовича Леонова, патриарха русской литературы. Почти полное молчание прессы. Зато какой бум был поднят вокруг похорон того же Окуджавы, конферансье Брунова, «не понятого в этой стране» композитора Шнитке и т.д. В почетном карауле были первые персоны ельцинского режима — Чубайс, Черномырдин, Кириенко, с газетных страниц, с экрана телевизора не сходили заклинания об их гениальности. Простаки могли подумать, что русская культура обезглавлена и осиротела.

— Действительно, я помню похороны Леонида Леонова в августе 1994-го. Никак нельзя было сказать, что страна прощается с последним классиком отечественной литературы XX века. Помню и другие похороны, последовавшие вскоре, — великого русского кинорежиссера и актера Сергея Бондарчука. Тоже полное игнорирование со стороны власти и прессы.

— Я считаю это очень показательным!

— А как вы относитесь к увлечению некоторой части молодежи символикой, которая в демпечати именуется нацистской?

— Сейчас много пишут об этой символике как о зловещей опасности для России. Новый министр юстиции Крашенинников объявил, что готовится закон о ее запрещении, как и о запрете фашистской литературы. Мэр Москвы Лужков 22 июня излил по телевидению негодование в адрес «мерзавцев», которые «увиливают от наказания». Во всем этом видится некий отвлекающий маневр. Даже единомышленник «демократов» Солженицын в своей книге «Россия в обвале» признает, что клеймо «русского фашизма» «действует как успешный прием, чтобы сбить, заткнуть оппонента, навлечь на него репрессии». История с «символикой» раздувается так же, как в свое время вокруг бутафорской «Памяти». Сколько и у нас, и за рубежом было шума о ней как об угрозе «демократии»! А кончилось чем? Руководитель «Памяти» Васильев полностью поддержал Ельцина...

Нет, не призрачная, а подлинная угроза для государства и народа совсем в другом! Оставшийся не у дел бывший ревностный хранитель «президентского тела» Александр Коржаков в своей книге «Борис Ельцин: от рассвета до заката» приводит угрожающие слова банкира Березовского, обращенные к бывшему руководителю службы безопасности России Барсукову: «Если вы не понимаете, что мы пришли к власти, то мы вас просто уберем. Вам придется служить нашим деньгам, капиталу».

— Подобная наглость не может не вызвать ответной реакции.

— Конечно. На все воинствующее, экстремистское бывает своя реакция. И так называемый шовинизм, а на деле пробуждающийся русский патриотизм — во многом это реакция на экспансию антирусских сил, разгул русофобии в стране. Генерал Рохлин перед смертью говорил о засилье нацменьшинства в правительстве России, об отсутствии в нем русских людей. Это засилье так беспардонно, так вызывающе, что невольно возникает мысль: а не делается ли это сознательно, в целях разжигания антисемитизма? Прав публицист Владимир Бушин, когда называет антисемитом Ельцина. Окружая себя исключительно евреями,

Ельцин провоцирует неприязнь в массах вообще к евреям, на них переносятся все преступления ельцинской камарильи.

Неизбежна реакция и на русофобию, которая уже не знает границ. Типичный пример — выбросы такого зоологического экземпляра, как Новодворская. Вроде знаменитого ее заявления: «Место русских — у параши». И эта особь ведь по-прежнему остается «героем дня» на НТВ и других телеканалах.

— В одной из своих статей вы писали о либерализме, демократии как о тех явлениях, которые могут привести к появлению реального фашизма.

— Известно, что перед Второй мировой войной в подавляющем большинстве европейских стран, до того числившихся демократическими, установился режим личной диктатуры, авторитаризма, фашизма. Да и Гитлер пришел к власти путем так называемых свободных, демократических выборов. Но что собой представляют эти «свободные, демократические» — мы и сами ныне знаем по недавним президентским выборам в нашей стране. Угроза гражданской войной, если Ельцин не будет избран президентом, террор СМИ против его оппонентов, финансирование березовскими избирательной кампании Ельцина, обман, ложь, лицемерие, демагогия — все средства грязного политиканства пущены в ход. И все это с холуйской оглядкой на «мировую демократию», на Америку. На ту самую Америку, которую иранские исламисты не случайно называют «империей сатаны».

Если говорить о фашизме не в конкретном его социально-историческом содержании, а в расхожем психологическом смысле, как о крайней степени бесчеловечности, жестокости, ненависти к другим народам, то такими фашистами и являются приверженцы американской демократии. Красноречив на этот счет пример, приводимый бывшим президентом США Никсоном в его трактате «1999 год. Победа без войны»: «Член палаты представителей, рассерженный тем, что японцы продают на американском рынке рис по демпинговым ценам, сказал: ”Спасибо Гарри Трумэ-

ну. Он сбросил две атомные бомбы, хотя ему следовало бы сбросить их четыре"».

Знает ли читатель, что единственная страна в мире, где проводилась стерилизация,- это США? Закон о стерилизации был принят в двадцати девяти штатах страны. Стерилизации было подвергнуто почти сто тысяч американцев — с целью «улучшения породы»! Эту изуверскую практику поддерживали такие президенты США, как Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон, Кольвин Кулидж, член верховного суда США Луис Брандейс. Именно главари нынешней американской демократии стали вдохновителями той программы геноцида нашего народа, которую осуществляют по их велению ельцинские изуверы. Зловещий смысл приобретают визиты в Россию заместителя государственного секретаря США Тэлботта — того самого Тэлботта, который в своем выступлении в Колумбийском университете потребовал устранить с «исторической сцены» все то население России, которое не поддержало ельцинскую «демократию» при президентских выборах!

И не есть ли очередная фашистская вылазка здешних «реформаторов» — устроенная недавно, во второй половине августа пытка ценами? Не для того ли все это, чтобы поскорее вымерло старшее поколение? Ведь без его домашнего родственного влияния так легко превратить детей и внуков в нравственных дебилов, если угодно — в будущих фашистов. Студентка моего семинара в Литинституте поведала, с какой радостью пишет она повесть о своем дедушке — участнике Великой Отечественной войны, сколько интересного, поистине великого открылось ей при этом в прошлом родной страны! И так можно сказать о лучшей части современной молодежи: опыт дедов, отцов открывает молодым глаза на героическую историю нашего народа, без связи с этим опытом не может быть для молодежи будущего.

А в связи с фашизмом хочется закончить так. Сталин, узнав о самоубийстве Гитлера, сказал: «Доигрался, подлец!» Доиграются и нынешние «демократы», как бы ни торжествовали они сегодня.

«УСТУПИ МЕСТО ДЕЯНИЮ...»
(беседа с Владимиром Бондаренко)

Владимир Бондаренко: Русское направление подводит свои итоги в литературе. В меня это вселяет оптимизм: значит, есть чувство чего-то крепко сделанного, неисчезаемого — это во-первых, и есть надежда, что эти итоги, отраженные в виде книг-воспоминаний, будут прочтены, изучены и поняты молодыми... По-настоящему прогремел трехтомник воспоминаний Станислава Куняева, вызвал споры, полемику, несогласие, но, минуя какие-то конкретные ошибочные оценки и личностные обиды, трехтомник дал читателям главное — ощущение русского пути. Сейчас многие с интересом читают книгу воспоминаний Сергея Викулова «На русском направлении». Готовятся к выходу мемуары Леонида Бородина. Вызвала огромный интерес книга художника Ильи Глазунова «Россия распятая». Книги разные, но это все наш русский фронт сопротивления, наше видение мира. Вот и ваши, Михаил Петрович, главы из книги, опубликованные в журнале «Наш современник», уже активно читаются и врагами и друзьями. Что означает для вас «Опыт духовной автобиографии»? Для кого вы писали свою книгу? На что надеялись?

Михаил Лобанов: Я писал свой «Опыт духовной автобиографии» не из узколичных побуждений, не ради собственного честолюбия и даже не для массового читателя, а главным образом для историков литературы. Может быть, эта книга пригодится и тем, кто будет изучать историю разрушения нашего великого государства. Причины нашей величайшей катастрофы, конечно же, слишком глубокие, и не походя о них надо говорить, да и все ли они открыты нам? Но могут внести свою долю в понимание того, что произошло, все свидетельства современников, в том числе и мое. Разумеется, не голословные свидетельства, а рожденные из собственного опыта активного участия в событиях конца XX века. Известно, что идеологические истоки того, что проис-

ходит ныне в нашей стране, — во многом в шестидесятых годах теперь уже прошлого XX столетия. Именно тогда, сорок лет тому назад, и выявилась сперва прикровенная, а потом и все более открытая борьба двух направлений в литературе, в общественной жизни — либералов и почвенников. Или иначе — космополитов и патриотов. Вот я и оказался волею обстоятельств, как когда-то в Великую Отечественную войну, стрелком на передовой — на той же передовой в идеологической борьбе. Не со стороны наблюдал за происходящим, а изнутри ощущал как бы накал этой борьбы. И было для меня очевидно, как либеральные миазмы разъедали, подтачивали основы общественного бытия. Там, в шестидесятых-семидесятых годах, в скрытой форме уже существовало то, что расцвело ядовитым махровым цветом с «перестройкой» при «демократах». Я писал об этой опасности, вызывая на себя вал обвинений в «антиисторизме», «внеклассовости», «шовинизме». Обвинения сыпались не только со стороны антирусской прессы, но и со стороны официальных властей. Вплоть до генсека ЦК КПСС Юрия Андропова, который дал команду осудить в специальном решении ЦК партии мою статью «Освобождение» о романе Михаила Алексеева «Драчуны».

— Удивительно то, что всерьез эта смычка антирусских сил из ЦРУ и КГБ, из радио «Свобода» и ЦК КПСС никогда не разбиралась. Обратите внимание, как одинаково, как говорят, вплоть до запятых, громили романы Валентина Пикуля и Михаила Алексеева, статьи Вадима Кожинова и ваши, стихи Станислава Куняева и Николая Тряпкина в отделах культуры и пропаганды ЦК КПСС, в газетах «Правда» и «Известия» и по всем буржуазным голосам. И никто не задумывался, почему так схожи статьи в «Правде» и выступления на радио «Свобода» по русскому национальному вопросу? Меня-то окунули в эту борьбу с головой с самого начала, когда я, скажу честно, мало что в ней понимал, и вдруг за достаточно лирическую историко-литературную статью «Сокровенное слово Севера», опубликованную в журнале «Север», еще будучи всего лишь начинающим крити-

ком, я попал под обстрел и «Правды», и «Коммуниста», и «Литературной газеты», и все те же идеологические марксистские зубры Суровцев и Оскоцкий нашли и у меня антиленинский внеклассовый подход. Но и «Свобода» в лице Марка Дейча тоже прицепилась ко мне... Они же были близнецы-братья: идеологи из ЦК, суровцевы, беляевы и оскоцкие, и идеологи из ЦРУ и «Свободы». Те из них, кто жив и сегодня, убедительно эту близость доказывают, печатаются в одних и тех же либеральных органах, состоят в одних и тех же партиях. Как выросла эта яковлевско-горбачевская раковая опухоль в руководстве страны? Неизбежна ли она?

— Теперь-то все открылось. Готовилась «перестройка», готовился разгром государства, а для этого, как всегда при революциях, требовалась духовная подготовка. Наверху действовала пятая колонна с просионистской, проамериканской идеологической обслугой. Задачей было — внедрение в массовое сознание разложения, подрыва всего национального и государственного. А я «пер против рожна». Против журнала «Юность» — матерого гнезда «детей XX съезда», хрущевских выкормышей, всех этих аксеновых и гладилиных, прочих будущих эмигрантов третьей волны. Против евтушенок с их изощренным «Да здравствует — Долой!» Против окуджав с их расистским «А одна ли у нас кровь?» Против бочаровых с их нигилизмом, язвительностью в адрес армии. Против либерального направления журнала «Новый мир», которое и породило нынешнее его прислужничество «реформаторам» и Соросам. Против американизма как смертельной угрозы национальной самобытности народов. Против глумления над русской историей и русской классикой. Вот обо всех этих событиях в моей жизни я и пишу в своей «духовной автобиографии». Как это было, как готовилось то, что мы сегодня имеем...

— Вас, пожалуй, из литературных критиков русского направления наиболее жестко критиковали в советское время в самых высочайших идеологических инстанциях и в ведущих партийных изданиях. Из-за ваших статей выгоняли с работы главных редакторов журналов, даже фамилию вашу

вычеркивали из общей обоймы упоминаемых в статье критиков. Вы были из самых гонимых. Почему же после перестройки вы не оказались в стане жертв социализма, в стане таких антисоветских патриотов, как Игорь Шафаревич, Леонид Бородин или даже Владимир Солоухин? Вам же доставалось поболее, чем тому же Солоухину? Что повело вас в стан «красно-коричневых»? А вернее, в стан последовательных защитников социализма?

— Я не мог стать сторонником «перестройки» хотя бы потому, что толкачами ее были те же самые идеологи, с кем я боролся десятилетиями. Те же самые русофобы. Кто были любимцы Горбачева? Бакланов, Гельман, Гранин, Юрий Афанасьев... Ни одного русского писателя не было и рядом с Ельциным. Помните, с кем он поехал в Петербург на пушкинский праздник? Как будто перепутал Пушкина с Остапом Бендером, забрал с собой исключительно одних соплеменников последнего, хазановых и жванецких. А помните встречу ЕБН с тем же «избранным народом» в Кремле с обсуждением «Что делать?» и с пированием этих местечковых бояр в Грановитой палате? Та же компашка собирается и вокруг Путина, все те же вечно цветущие хазановы и жванецкие. Могло ли присниться нам, фронтовикам, такое, чтобы президент России в годовщину начала Великой Отечественной войны торжественно вручил Государственную премию по литературе бешеному русофобу, презренному фельетонисту Войновичу за его Чонкина, с глумлением над русским солдатом, ненавистным ему, видимо, потому, что русский солдат спас еврейство от гитлеровского истребления..

— Последовательность антинациональной культурной политики Путина уже очевидна. С самого начала он предпочел встречу с малочисленным антирусским ПЕН-клубом, отказавшись от встречи с Союзом писателей России, куда входят до 80% писателей России. Да и назначение министром культуры местечкового порнографа Швыдкого, прославившегося показом по телевидению тайно заснятой порнопленки с генеральным прокурором, тоже говорило об уровне культуры

нашего президента. Видимо, литературу он совсем не читает и никогда не читал, только этим и схож с американским президентом Бушем. Кстати, такое абсолютное бескультурье президента в каком-то смысле пошло нам на пользу. Ему по фигу все либеральные издания, он не встречается с либеральной культурной элитой, а народу эти господа тоже малоинтересны, и поневоле рынок стал передвигаться в нашу сторону. Вот и пришло время Александра Проханова как первого писателя России. За ним, уверен, придут в массовое сознание читателя и другие патриотически настроенные литераторы. Смешно, но из телевидения изгнаны давно и все либеральные звезды литературы. Кому сегодня нужен постаревший Василий Аксенов с его семидесятилетием? Никто же не желает читать его последний опус «Кесарево свечение», скучное, старчески немощное творение, лишенное всяческой энергетики. Либеральных писателей не способны вытянуть на поверхность дня даже их былые друзья из политики.

— Через культуру, через писателей многое открывается в политике. Вот, например, Гайдар с Чубайсом, по их словам, каждый старый год проводили вместе с Окуджавой. С гордостью говорят, что, когда принимали то или иное государственное решение, всегда думали о том, как к этому отнесется Булат. Страшно подумать! Высшим авторитетом для этой парочки было мнение эстрадника. И от этого зависело положение дел в государстве, наше с вами положение. От решения барда, того самого Окуджавы, который признавался, что испытывал величайшее наслаждение в дни 3-4 октября 1993 года, когда расстреливали невинных людей у Дома Советов. Кстати, в своей статье «Просвещенное мещанство» я писал, что не дай Бог попасть под власть таких, как Окуджава. Писал тогда в связи с тем, что этот бард угрожал судом женщине-рецензенту, которая назвала скучным фильм, одним из авторов сценария которого был Окуджава. Ну и накинулся на меня за Окуджаву в конце 1969 года «Новый мир» в статье Дементьева «О традициях и новаторстве». Вот такие экстремисты и ходят в любимцах у главарей нынешнего режима. Как я мог быть вместе с ними?

— С либералами сегодня, пожалуй, уже мало кто из порядочных людей хочет быть. Тотальное большинство населения не верит власти ни в чем, презирает ее любые действия. Тем более и ежедневные смерти меняют обстановку в стране. Даже молодым опротивело все, вот они и лезут в скинхеды, в лимоновцы, в спортивные фанаты, лишь бы хоть чем, но досадить этой власти. К сожалению, многие идут в наркотики, гибнут по пустякам, а кто поумнее — уезжают из нашей страны. Надеюсь, не навсегда. Но когда я спрашивал вас, Михаил Петрович, почему вы не с жертвами социализма, не в рядах оппонентов марксизму, я имел в виду совсем не либералов, к которым, кстати, и примкнули все руководящие марксисты. Достаточно широк стан белого патриотизма, людей, любящих и Россию и наши духовные ценности и считающих, что именно марксисты, большевики, комиссары виновны в катастрофе России, спихнув ее в пропасть в октябре 1917 года. Они же, вернее, вся их верхушка, вновь кинули Россию в бездну в конце восьмидесятых годов.,. Считается, что и ваши статьи семидесятых-восьмидесятых годов подтверждают эту истину, особенно статья «Освобождение», где есть высказывания и о Ленине, и о массовых расстрелах, рекомендуемых им, и о страшном организованном голоде в начале тридцатых годов в Поволжье. Что же, вы в чем-то изменили свои взгляды, или не правы те, кто видит в тех статьях осуждение социализма?

— Я никогда не считал себя жертвой социализма. Социализм, между прочим, это не чиновники и даже не члены Политбюро, не генсеки КПСС, а то, что сдерживало их самих, вынуждало их даже подниматься над собой, хотя бы внешне. Хотелось бы им урвать от края и до края, да нельзя. Потому-то и ненавидели социализм горбачевы-ельцины и другие властные вельможи, что он не давал хода их аппетитам, алчности. При их-то власти необъятной — ни роскошных тебе владений, ни потрясающей «священной частной собственности», ни миллионов наворованных. И это было хорошо, это было благо для народа, потому что был строй, который держал в узде низменные инстинкты горбаче-

вых-ельциных, не давал развернуться потенциальным хищникам, будущим березовским-гусинским-ходорковским и прочим. Строй позволил мне окончить Московский университет, дал высшее образование моим четверым братьям, что немыслимо при нынешних «демократах». Строй позволил мне занять какое-то свое место в литературе. И я не чувствовал себя жертвой! И если были нападки на меня за мои статьи, то не социализм же нападал, а та самая публика, которая, как показало время, подтачивала изнутри этот социализм, а ныне в качестве «демократов» терзает Россию. Всех, кого ты, Володя, перечислил в роли «жертв социализма», я все-таки немного знаю и не очень натурально чувствую себя около них. В свое время Вадим Кожинов выпустил книгу, в которой есть страница с фотографиями в таком порядке: Солженицын, Шафаревич, Осипов, Бородин, Лобанов. При встрече вручает мне Вадим Валерианович книгу с милой своей усмешкой: «Не обессудьте, — говорит, — если не понравится соседство с Солженицыным. Тогда, в шестидесятых годах, вы одинаково думали». В ответ я спросил: а где доказательства этого? Кожинов улыбнулся, видимо, полагая, что это достаточный аргумент в пользу им сказанного. В твоем вопросе есть нечто схожее. Я не могу сказать, что одинаково думаю с теми, кого ты, Володя, назвал. Очень ценю Игоря Ростиславовича Шафаревича как автора знаменитой «Русофобии», о чем я в свое время писал в «Литературной газете». Но вот он в своей статье в журнале «Москва» мою статью «Освобождение» «подверстал» к солженицынскому «ГУЛАГу». Это я не могу принять, как не могу принять и его резко отрицательного отношения к советскому периоду в истории Российского государства. Он, как и Леонид Бородин с Владимиром Солоухиным, увидел в этом периоде нечто чужеродное нашей истории, обрыв ее, некую пустоту. Я же считаю, что советский период — это, несмотря ни на что, вершина государственности в тысячелетней истории России. Вершина по величию нашей державы, по влиянию на мир, по реальной силе противостояния мировому финансово-капиталистическому разбою. Теперь-то даже

слепому видно, какие силы зла вырвались наружу с разрушением нашего великого государства. Во внешнем мире — невиданная, никем не сдерживаемая агрессивность США. Внутри России — разгул воровства, разжигание всего низменного в человеке, ненависть к социальной справедливости, ко всему тому, что завещано нам христианской этикой.

— Вы сами, Михаил Петрович, — человек XX века, корневой советский человек: и пострадал немало, и повоевал с немцем крепко, и в советской литературе занял заметное место своими книгами. Да и кто другой может похвастать, что по его статье принималось специальное постановление ЦК КПСС? Но сами вы откуда родом? Кто ваши родители? Как пришли в литературу? Почему потянуло вас к русской партии?

— Отец мой, Петр Александрович Лобанов, умер в 1930 году, когда ему было всего тридцать лет с немногим. Пятилетним я лишился отца и всю жизнь жалел, что от него не осталось фотографии. Как, впрочем, и от моего деда и прадеда по отцу. Прадед был землевладельцем. Дед, который был женат на одной из пяти его дочерей, владел ватным заведением на реке Пра. Мама умерла восьмидесяти четырех лет 12 января 1988 года. Была она родом из крестьянской многодетной семьи Конкиных. В своей «...Автобиографии» я подробно рассказываю об этой семье, которая стала как бы воплощением того, какие широкие дороги открылись для крестьянских детей в тридцатые годы. Мама, как и мой отец в свое время, работала на местной фабрике. Родился я на Рязанщине, в мещерских местах, в деревне Иншаково, под Спас-Клепиками, где, как известно, учился Сергей Есенин. Здесь я и рос, учился в Екшурской средней школе. В 1938 году, как ученик одной из лучших школ РСФСР, был награжден путевкой в пионерлагерь «Артек». Это было, как я вижу теперь, нечто знаковое для меня. 1938 год с процессом над троцкистами-бухаринцами, арестами их последователей и путевка в знаменитый «Артек» для деревенского подростка из бедной семьи. Через год начали выходить мои рассказики в районной газете «Колхозная постройка»... Но я хочу рассказать прежде всего о своей матери Екатерине Анисимовне,

о ее влиянии на меня. Она была воистину праведницей. На ее руках было одиннадцать детей, нас с братом Дмитрием двое Лобановых, четверо Агаповых от второго мужа, да еще пятеро его детей от умершей жены. Мама была ее подругой и обещала ей, смертельно больной, что не оставит ее детей. И не оставила. И они, уже взрослыми, всегда называли ее мамой. Не помню, чтобы она когда-нибудь сидела без дела. И только со временем я по-настоящему понял, что держало ее в жизни, непосильной для других. Всему она радовалась. Какая-то я чудная, говорила она мне, всему радуюсь. Рада, что картошку покопала, все в доме к празднику прибрала, письмо от кого хорошее получила, за день как устала, до постельки добралась, в добром здоровье встала — всему рада!.. Потом только мне открылось, что это и есть та благодать, которая даруется редким душам. Часто она мне снится. Рассказал об этом о. Алексию Дарошевичу в храме Св. Троицы в Поленове. «Зовет быть ближе к Богу», — ответил он.

— Когда я вас попросил принять участие в обсуждении нашумевшей книги Александра Солженицына «Двести лет вместе», вы отказались. Я чувствую, потому, что ругать ее вам было не за что, а хвалить своего давнего оппонента вы не хотели. Но тем не менее, в своем «Опыте духовной автобиографии» вы много пишете о еврейском вопросе. Чем он вам интересен и важен? Что в еврейском вопросе для вас актуально?

— Из своего личного опыта я могу сказать, что для меня явления духовные гораздо более реальная вещь, чем эмпирика, видимая всем. В начале 1968 года в журнале «Юность» в статье «Заклинания духов» мне досталось за «духовность» в моих «молодогвардейских» статьях, за само слово «дух», которое высмеивалось как фикция. Но если это фикция, то почему же преследование меня либералами и началось за это слово, почему оно не давало им покоя? Да потому, что это действительно реальность. Так же и в еврейском вопросе. Незабываемо для меня, как я был потрясен блицкригом Израиля в войне с Египтом летом 1967 года. Это была какая-то мне самому непонятная интуитивная, может быть,

даже мистическая реакция на событие. Я ужаснулся: ведь такое же, как с Египтом, может случиться и с нами. Израиль так же стремительно может захватить и Москву. Тогда это могло показаться несуразным, при тогдашней-то нашей военной мощи. Но то состояние, то наитие так и осталось во мне, его уже не вырвешь, это моя реальность, более несомненная для меня, чем любая другая бытовая реальность. И вот произошло то, что меня так ужаснуло. Сионисты-экстремисты ныне — и в Кремле, и везде. Еврейский вопрос ныне поставлен во главу угла нашего существования. Понимание его — это уже, я бы сказал, показатель степени развитости каждого из нас, развитости духовной, культурной, национальной. А ведь все абсолютно ясно. Евреи сами открыто говорят, что впервые за тысячелетнюю историю России они пришли у нас к реальной власти. Александр Солженицын призывает в своей книге к диалогу между евреями и русскими, тем самым, на мой взгляд, парализуя нашу русскую волю к сопротивлению. Потому что какой может быть диалог победителей с побежденными?

— Все утверждения об исключительности евреев мало чего стоили бы, если бы наш русский народ твердо хранил свое достоинство и честь и в делах своих опирался бы на защиту русских национальных интересов. Могут и якуты объявить себя сверхнародом, избранной нацией, и татары, — кто угодно, но все их утверждения будут слышны лишь в своем кругу, для собственного самолюбования, пока окружающие их народы, в том числе и русский народ, обладают достоинством и честью, умом и мужеством, силой интеллекта и силой оружия, хранимого в достаточном количестве. А вот когда мы сами позволяем возникать в России этому пресловутому еврейскому вопросу, тогда и происходит своеобразная ароматизация всего общества. Интересно, что сегодня цивилизованная Европа гораздо более откровенно поддерживает тех же палестинцев в их борьбе, чем Россия, обвиняемая в антисемитизме.

— У русского религиозного философа Льва Карсавина есть любопытное рассуждение. Мы считаем антисемитизм,

говорит он, одним из самых отрицательных явлений. Но, если взять его как симптоматический факт, тогда окажется, что ослабление его в современной Европе признак не совершенствования, а упадка в европейской культуре. Его наличие в России, наоборот, свидетельствует о здоровье русской культуры. Там же, где есть здоровье, заключает философ, есть возможность действительно преодолеть антисемитизм, а не просто о нем забыть. Мысль глубокая, здоровая и полезная для самих евреев, хотя, по-моему, крайне сомнительно утверждение о наличии этого антисемитизма в России, да еще в большем количестве, чем в Европе. Никогда этого не было, как нет и сейчас. Недаром Борис Березовский считает, исходя из «научных данных», что антисемитов в России гораздо меньше, чем в Европе, ему виднее. Потому они уверенно затягивают петлю на шее русского народа, что не боятся никакого отпора. И всякую волю к сопротивлению называют антисемитизмом...

— Вернемся к современной литературе, хотя и в ней, очевидно, не обойтись без пресловутого еврейского вопроса. И опять же пишут о нем сплошь сами еврейские авторы. Обратите внимание, в русской прозе, что в левой, что в правой, почти не касаются национального вопроса, там все о душе, о жизни, о вечных вопросах, а как только начинаешь читать самых модных еврейских авторов, то в центре почему-то всегда еврейский вопрос... Что у Мелихова, что у Наймана, что у старика Бакланова. Нас прямо-таки втравливают в него, а как только заденешь эту тему, даже так деликатно, как Солженицын, сразу будто вляпался в лепешку коровьего помета... Стоит ли вообще задевать его? Может, лучше поговорим о насущном в литературе. Что в ней-то происходит? Чем она вас поражает в последнее время?

— Поражает игра в литературу. Мы пишем с самодовольством о чем угодно, будто ничего в стране не произошло. Вот с болью воспринял трагедию нашего государства даже иностранец, итальянский публицист Кьеза. Он назвал свою книгу «Прощай, Россия». Где-то в богословском сочинении я прочитал о печали слова, которое впитывает в себя созна-

ние нашего человеческого несовершенства. После великой трагедии, постигшей Россию, как можно играть в литературу? Нас всегда тешило изречение, что слово (любое!) есть уже и дело. Но вспоминаются слова героя шиллеровской пьесы, которые он бросает в лицо художнику. Ты свергаешь, говорит он, тиранов, на полотне одним мазком кисти освобождаешь государство, а сам остаешься жалким рабом. Твоя работа — скоморошество. Одна видимость борьбы. Так уступи же место деянию! Вот этот призыв как бы и обращен ныне к нам, играющим в слова, — уступи место деянию! Деянию в жизни, деянию в литературе, когда слово поистине действенно. А мы видим кругом дезертирство из действительности в стилизованную историческую беллетристику, дешевые фантазии. Куда угодно, лишь бы подальше от жизни, от реального обжигающего материала. Литературе пора вернуть чувство государственности. А ведь в народе оно до сих пор не исчезло — ответственность за судьбу страны. Это даже удивительно при нынешнем криминальном режиме. Мой брат, Дмитрий Петрович Лобанов, полковник, всю жизнь отдавший ракетным войскам, как-то сказал мне: «Не могу понять, как человек на самой вершине власти может не думать, каким он останется в истории России? Были у нас Иван Грозный, Петр Первый, Сталин... Неужели можно на вершине власти не думать об этом?» Увы, вряд ли там кто-нибудь об этом думает...

— Вы много лет занимаетесь со студентами Литературного института, среди ваших питомцев и популярный нынче Виктор Пелевин. Что вы можете сказать о нынешней молодой литературе?

— Я мало знаком с писаниями молодых авторов и не могу подробно говорить на эту тему. Но какие-то замечания могу сделать по опыту работы со студентами моего творческого семинара в Литературном институте. Кстати, я работаю в нем вот уже сорок лет, и на моих глазах волна за волной прошло несколько поколений литературной молодежи. Каждое из них несло в себе приметы своего времени, общего состояния современной им литературы, всякого рода иска-

ний. У нас в семинаре никогда не было и нет стеснения никакой творческой индивидуальности. Пишите о чем угодно и как угодно, но желательно, чтобы это было творчество, а не паразитизм на литературе, не помойка. И отрадно, что при этом никогда не обрывалась связь с традициями русской литературы, с ее социальностью, чуткостью к нравственным вопросам. Не обрывается эта связь и ныне, когда «демократическая» пресса объявила о «конце русской классической литературы», когда «книжный рынок» наводнен литературными отбросами. Впрочем, здесь есть своя закономерность. Это то, что только и может создать в культуре здешняя «демократия». Сама идеология ее — духовное растление народа всеми средствами, в том числе и литературными. Характерна недавняя история с одним порнографическим опусом. Какой гвалт поднялся вокруг него! Вот выступает по телеящику депутат Госдумы Лукин из фракции «Яблоко». Его возмутило, что группа людей устроила демонстрацию против названного опуса. Как так? — по-петушиному задрав голову, негодует депутат. Эти невежды готовы сжечь книгу, которая не отвечает их здоровому духу. Но в Германии фашисты тоже ссылались на здоровый дух, когда сжигали книги. Вот так ринулся в бой за «либеральные ценности» бывший посол «демократической России» в Америке. Вполне в манере своего друга по «Яблоку» Явлинского, который во время августовского переворота 1991 года прибежал с пистолетом арестовывать преданного советскому государству человека — Пуго. Вы посмотрите: какой ход обвинения. Если вы против растления, не принимаете его, как человек нормальный, духовно здоровый — значит, вы — фашист, потому что фашисты тоже, видите ли, были за здоровый дух, преследовали всякие извращения. Вывод ясен? Вы — экстремист...

— Верите ли вы, Михаил Петрович, в становление новой России?

— Верю в ту Россию, которая с омерзением будет, как дурной сон, вспоминать нынешнее «демократическое» наваждение, которая будет свободна от тех, о ком Христос сказал: «Ваш отец диавол»...

КОНСЕРВАТИВНАЯ НАКИПЬ

Как-то пошел я побродить по Тропаревскому парку, что напротив улицы Академика Анохина, на юго-западе Москвы, Когда-то, лет пятнадцать-двадцать тому назад, этот парк был славен тем, что сюда тянулись люди за родниковой водой, которая течет из железной трубы на дне оврага. Но в последние годы все реже можно увидеть идущих к тому роднику. Вообще, многое здесь изменилось. В парке немало аллей, но гуляют по одной центральной. Достаточно отойти в сторону, и можно прямо-таки замереть перед березой с дымчатыми кисточками по краям ветвей, меняющимися на глазах от светло-желтых до темно-коричневых, с покачивающейся вершиной, устремленной к пронзительной синеве неба. Не умолкающий ни на миг переклик птиц с чириканьем, треньканьем, деревянным скрипом, далеким карканьем, пиликаньем, что-то взахлеб ликующее — чухчуханье, тиканье, чурликанье. Сколько разных языков, и все они во славу жизни, этого неба, Творца своего — в поученье нам, забывшим, что есть не просто природа, а Божий мир и неисчислимые радости в нем.

Долго стоял я, уже не видя ни берез, ни чего другого, а только живя слухом: о чем же они, птицы, говорят между собою? И когда, ничего, конечно, не поняв, пошел домой, увидел по дороге остановившихся двух женщин с собакой. Поравнявшись с ними, услышал голос одной из них: «На дереве около оврага человек повесился. Люди пошли за милицией». Было это 21 апреля 2003 года в середине дня. Местные жители знают, что в овраге и поблизости от него ночуют «бомжи». Кто из них рассчитался с жизнью в этот весенний, с птичьим ликованием день?

«Всякое дыханье да хвалит Господа», а тут человек сам прекратил свое дыхание, и это никого не поражает. Как никого не поражает фантастическая цифра этих несчастных отверженных, еще недавно живших нормальной жизнью, а ныне ставших «бомжами», которые, как пугливые

дикие звери, прячутся по ночам в оврагах, заброшенных местах. В средствах массовой информации стали обычными сообщения об охотниках за «бомжами», считающих, что, убивая отверженных, они совершают «полезное для общества дело». Вот они, дети «новой морали». Все эти без малого двадцать лет «перестройки», «реформ» были направлены на взращивание невиданного в истории России человеконенавистнического сознания в отношении к слабым, к «лишним в жизни».

* * *

В основании общественного строя лежат изначально заложенные в нем элементы, определяющие его социально-нравственную природу, его будущее. С чего началась закладка «новой, демократической России»? Во-первых, с ограбления народа — от созданных поколениями богатств до трудовых сбережений. Кричат о «священной частной собственности», о ее нерушимости те, кто лишил честно заработанных средств десятки миллионов людей, превратив их трудовые сбережения в труху. Во-вторых, новый режим замешан на ритуальной крови жертв расстрела 3 октября 1993 года, на жертвах геноцида... И, в-третьих, — на русофобской вакханалии. Изобретена и пущена в массовый оборот кличка «совки» — как средство глумления над теми, чья жизнь, судьба связана с советским периодом русской истории — тем самым, который при всей своей трагичности, жестокости стал героической вершиной в тысячелетней истории российской государственности, определил ход мировых событий XX века.

Придя к власти, Горбачев провозгласил: «Революция продолжается». И при нынешних «реформаторах» их «криминальная революция» продолжается, и нет ей конца. Такого «революционизма», жажды разрушения страны, вытягивания жил из народа, истребления его не знает история. Размеры этого достигли черты, уже нежелательной для самих разрушителей, грозящей нестабильностью при всем награбленном богатстве. И вот вчерашние либералы, радикалы по

духу и действию, объявляют себя консерваторами, сторонниками «традиционных ценностей», всякого рода устоев государственной, общественной, семейной жизни.

В «Библиотеке "Единой России"» вышло трехтомное издание, посвященное теме консерватизма — «Идеи. Люди. Действия» (М., 2002). Удивительные метаморфозы творятся на наших глазах! Как будто не было и нет глумления над «совками», над советским периодом русской истории. Вместо привычной для слуха хулы на все это раздаются вдруг фанфары в честь «традиционалистского консервативного потенциала, накопленного в советский период» (книга «Идеи», с. 55). Там же: «Сторонники здорового консерватизма, в отличие от радикал-либералов, не склонны рассматривать советский период как "черную дыру" в истории России. Многие достижения социалистической истории страны — неотъемлемая часть традиции». «В советский период... сама система социализма держалась на определенных консервативных устоях (патриотическое сознание и т.д.), хотя они и были деформированы идеологией. Государственное образование, официальная культурная политика сохраняла классику. Идеология все более становилась ритуальной процедурой, в то время как народ жил своей жизнью, сохраняя глубокий консерватизм». Добавим от себя: все это и не устраивало врагов России, и не потому ли для сокрушения ее потребовалась «криминальная революция»?

Но еще о метаморфозах. Сколько клеветы, грязи обрушено на Сталина за все это «перестроечное», «рыночное» время, и вот вдруг такая здравица: «Великий консерватор — И. Сталин» (книга «Люди», с. 145). Приводятся слова политиков, руководителей государств, в том числе Черчилля, о Сталине: «Большим счастьем было для России, что в годы величайших испытаний страну возглавил гений и непоколебимый полководец Сталин... Сталин был человеком необычайной энергии и несгибаемой силы воли, резким, жестоким, беспощадным в беседе, которому даже я, воспитанный здесь, в британском парламенте, не мог ничего противопоставить. Эта сила была настолько велика в Сталине, что он казался

неповторимым среди руководителей государств всех времен и народов. Сталин производил на нас глубочайшее впечатление. Он обладал глубокой, лишенной всякой паники, логически осмысленной мудростью» (там же, с. 169).

Новоявленные консерваторы из «Единой России», обращаясь к имени Сталина, хотят нажить на этом политический капитал, но они умалчивают о том в личности и деяниях нашего величайшего государственника, что имеет такое жгуче-современное значение. То, например, о чем говорил Сталин в беседе с английским писателем Уэллсом в 1934 году — о «бедных» на Западе, которые «лишены возможности удовлетворить свои самые элементарные потребности», и о «классе имущих», «богатых», которые «не видят ничего, кроме своего интереса, своего стремления к прибыли», и готовы на любые преступления, если увидят угрозу этому. «Как можно примирить такие противоположные интересы и устремления?» — спрашивал Сталин. Теперь можно было бы добавить: тем более при такой пропасти, которая разверзлась у нас в стране между народом и его грабителями, не знающими никакой пощады. Из названных выше книг создастся некая мозаика, конгломерат «консервативных идей», связанных с именами философов, мыслителей разных эпох — от Конфуция, Платона до Ницше, Струве, Ильина. Но вот вопрос: чем может обогатить «Консервативный проект для России» (название вступительной статьи в книге «Идеи») Ницше с его истеричным пафосом книжного «сверхчеловека», апологета жестокости, войны, ненавистника Христа, христианства? Уж не презрением ли к состраданию, участию к обездоленным, слабым, которым он отказывал в праве на существование — ведь это сродни психологии наших нынешних «сильных мира сего»? Все это ницшеанское зло никак не перевешивается выходками Ницше против «стадного человека» в Европе, его измельчания, против «борзопишущих рабов демократического вкуса». Это мы хорошо знаем и по нашему К. Леонтьеву.

Но соль не в Ницше, вообще не в философах, а в политиках, «консервативных партиях». В книге «Люди» дается гале-

рея «великих консервативных политиков XIX—XX веков», которые внесли «огромный вклад в утверждение интернационального "консервативного стандарта" в политике». Среди них трое русских: Сперанский, Александр III, Столыпин. Остальные — политики других стран — от Бисмарка до Тэтчер. Предлагается «вдохновляться их примером». Уж не примером ли «железной леди» Тэтчер, которая вынуждена была уйти в отставку, доведя до тупика экономику с помощью монетаристских методов с их «социальным дарвинизмом» в духе пресловутых «принципов М. Фридмана»? К чему нам этот пример, когда у нас завелась своя монетаристская мокрица, свой фридман — Гайдар.

Конечно, можно извлечь разумное, полезное для себя из опыта зарубежных политиков. Например, из опыта творца немецкого «экономического чуда» Эрхарда (второго канцлера ФРГ), хозяйственная реформа которого подняла Германию из послевоенных руин. Эрхард решительно отвергал «шоковую терапию», он говорил, что нет ничего подлее, омерзительней, чем проводить реформы, в том числе финансовые, грабя народ. Он не принимал дикого рынка. По его убеждению, «только государство в заботе об общем благе может спасти рынок и само себя и придать ему социальную направленность». «Производство для человека, а не человек для производства».

Поучителен для нас и государственный опыт генерала де Голля, который сумел восстановить национальное достоинство разгромленной в войну Франции — в противостоянии экспансии США.

Но важнее, конечно, отечественная патриотическая традиция, вроде знаменитого завета Петра Столыпина: «Народы забывают иногда о своих национальных задачах, но такие народы гибнут, они превращаются в назем, удобрения, на которых вырастают и крепнут другие, более сильные народы».

Авторы упомянутых книг о консерваторах, видимо, завороженные «интернациональным "консервативным стандартом" в политике», не очень разборчивы по части объектив-

ности характеристик своих героев. Вот, например, премьер-министр Англии второй половины XIX века «еврейско-английского происхождения» Дизраэли (впоследствии лорд Биконсфильд). Автор статьи в книге «Действия» «большим успехом» Дизраэли называет «демонстрацию силы в русско-турецкой войне, в результате которой Россия поумерила свои аппетиты». А вот иностранный специалист, французский профессор А. Дебидур — куда объективнее оценивает деятельность Дизраэли: «Был склонен решительно во всем противодействовать России» (Дебидур А. Дипломатическая история Европы. Пер. с фр., М., 1947).

Глава об американском президенте Рейгане начинается словами: «Сороковой президент Америки Рональд Рейган стал для страны олицетворением сильной, патриотичной и в то же время семейной, духовно близкой простому американцу власти... Рейган поднял на щит традиционные ценности, особенно связанные с семьей, семейным очагом. В 1980 г. одна из его сторонниц объяснила свой выбор при голосовании тем, что «Ронни — такой домашний, он как член нашей семьи».

О «хранителе семейного очага» говорится с таким придыханием, как будто это не тот Рейган, который называл нашу страну «империей зла», прославился чудовищным раздуванием военного бюджета, «стратегическими инициативами» вроде СОИ и т.д. Бросается в глаза то усердие, с каким авторы книг о зарубежных консерваторах «облагораживают» их. В главе о Черчилле говорится, что в своей знаменитой речи в Фултоне (1946 г.) он «предупреждал об угрозе тоталитаризма, говорил о путях предотвращения новой мировой войны, а не о ее развязывании... Благодаря Черчиллю в широкий обиход вошла его фултонская фраза "железный занавес"... Впоследствии фултонская речь была оценена как шедевр ораторского искусства». Эти елейные слова ничего общего не имеют с истиной, недаром речь Черчилля и была воспринята как угроза Советскому Союзу. Сразу же после этой воинственной речи Сталин так охарактеризовал ее: «Немецкая расовая теория привела Гитлера и его друзей

к тому выводу, что немцы, как единственная полноценная нация, должны господствовать над другими нациями. Английская расовая теория приводит Черчилля и его друзей к тому выводу, что нации, говорящие на английском языке как единственно полноценные должны властвовать над остальными нациями мира.

По сути дела, г. Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, не говорящим на английском языке, вроде ультиматума: признайте господство добровольно, и тогда все будет в порядке — в противном случае неизбежна война... Вполне вероятно, что нации, не говорящие на английском языке и составляющие вместе с тем громадное большинство населения мира, не согласятся пойти в новое рабство».

Насколько прозорливы сталинские слова об опасности для народов американо-английских расистских притязаний на мировое господство, свидетельствуют события нашего времени, когда Америка при поддержке Англии беспощадно расправляется с неугодными режимами, «неполноценными нациями» (Сербия, Ирак — кто следующий?).

Черты той или иной нации становятся выпуклее в своей характерности при сопоставлении их выдающихся представителей. Вот два великих путешественника — русский Миклухо-Маклай и англичанин Джеймс Кук. Из жизни Миклухо-Маклая среди папуасов Новой Гвинеи известен такой случай. Кто-то из туземцев украл его топор. Как ни был Маклай расстроен пропажей столь необходимого ему в хозяйстве предмета, он ничего не сказал об этом туземцам. Но через несколько дней они сами пришли к нему и вернули топор с подарками. Человечное обращение привело к тому, что туземцы стали отвечать русскому путешественнику сердечным вниманием, называя его «другом», «братом», «отцом». Таким он и остался в памяти их потомков. А вот другой тип отношений с туземцами в лице англичанина Кука. Английский автор Алистер Маклин в своей книге «Капитан Кук» постоянно отмечает такую черту своего героя, как жестокость, «диктаторство» по отношению к «дика-

рям». Каждая очередная встреча с ними начинается с насилия, выстрелов, убийств. Излюбленная тактика — взятие заложников по всякому мелкому и даже нелепому поводу. К примеру, после дезертирства двух его матросов Кук «схватил полдюжины местных вождей» и держал их в качестве заложников, грозя карой, если они не помогут вернуть матросов на корабль. Эта практика продолжалась вплоть до трагической развязки. Во время пребывания Кука в деревне «дикарей» у него были похищены слесарные инструменты. Он решил забрать в заложники короля местного племени (который незадолго до этого обожествлял его как белого человека). По дороге произошла схватка с туземцами: «Кук собственноручно убил одного человека» и сам погиб от ударов дубинок. Автор книги замечает, что настороженность, а затем враждебность туземцев к тем, кого они при первом знакомстве принимали за богов, можно понять: «Колоссальная самонадеянность западноевропейских наций, которые странствовали по миру, захватывая все, что попадалось, независимо от желания и взглядов законных владельцев этих районов, просто поражает».

* * *

В одном из своих выступлений Путин призвал к повышению «качества жизни». Когда нет элементарных условий, никакой гарантии для безопасности жизни, то этот призыв кажется довольно отвлеченным. В быт, в психологию народа за все «демократические» годы въелось слово, не имевшее такого жуткого смысла в истории русского языка — выживание. Ценность жизни — в самом ее величайшем, дарованном Богом благе. Но на пути к этому благу такое множество препятствий, что жизнь зачастую теряет свой благодатный смысл. И среди этих препятствий — социальная среда, активно влияющая на психологию, духовный мир людей.

В каком же отношении «качество жизни» находится к социальной среде в нынешней России? Среда эта порождена «криминальной революцией», продолжающейся до сих пор.

Уже определились чудовищные формы социальной несправедливости с фантастическим разрывом между богатыми и бедными, объявлена амнистия вывезенному на Запад воровскому капиталу. Старт «демократическому образу жизни» был задан азартом грабительства, разжиганием самых низменных страстей, зависти. Как поведал по израильскому радио Березовский: кто получил миллиард, завидовал тому, кто получил три миллиарда, кто три — завидовал тому, кто получил пять, и т.д. Традиционный христианский коллективизм русского народа вытравливался индивидуализмом, безудержным эгоизмом. Всепоглощающим стал культ наживы, денег.

Есть у нас, русских, национальная черта, которой можно объяснить многие наши беды. В своей «Истории Русской Церкви» митрополит Макарий рассказывает, как по Руси в Смутное время валом катилось всеобщее признание Лжедмитрия. Все войско, все бояре, народ, все митрополиты, архиепископы, епископы признали его. Исключением был только Астраханский архиепископ Феодосий. Привезенный из Астрахани в Москву Феодосий, в ответ на гневный вопрос самозванца: «Кто же я?» — прямо отвечал, что он не царевич Дмитрий. «Смелый ответ так подействовал на Лжедмитрия, что он не только не предал казни Феодосия, но не велел даже его оскорблять». Автор «Истории Русской Церкви» спрашивает: «Осудим ли мы тогдашних святителей наших за то, что они покорились самозванцу?» И как на смягчающее обстоятельство ссылается на следующее: «Покорились, быть может, потому, что не в силах были, как и многие из мирян, противостоять всеобщему увлечению» (Митр. Макарий (Булгаков). История Русской Церкви, кн. VI. М., 1996, с. 77). Вот в этом и наша русская беда: во «всеобщем увлечении» тем, чем увлекаться, по здравом размышлении, и не следовало бы. Сколько таких «всеобщих увлечений» было в нашей истории! И «жидовствующие» в конце XV века, когда иудейскому соблазну поддалась не только рядовая паства, обманутая врагами христианства, но и сам великий князь Иван III вместе с митрополитом Зосимой (пресекли эту величайшую

угрозу для Православия Новгородский архиепископ Геннадий и игумен Волоколамского монастыря Иосиф Волоцкий). И «всеобщее увлечение» троцкистской «мировой революцией», остановленное Сталиным. Теперь все направляется к тому, чтобы сделать предметом «всеобщего увлечения», говоря расхожим языком западных философов — «проект постмодерна», то есть «нового порядка» во всем — в обществе, культуре, науке, образовании и т.д. Обычно умалчивается о религии, идеологии, но суть «проекта» неотделима от их «преобразования».

Модой становится консерватизм, выставляемый в качестве альтернативы либерализму. Но что меняется по сути? Та же сатанинская власть денег. То же еврейское господство — экономическое — в средствах массовой информации. То же наплевательство по отношению к народу. И сам народ — это только «электорат» на гонке выборов. Надо все-таки иногда включать телевизор, при всем отвращении к нему: можно услышать то, что следует знать. Вот, например, 26 января 2004 г. по каналу «Культура» передавалась беседа с раввином Адольфом Шаевичем. По его словам, нет ни одной еврейской семьи, которая не пострадала бы от погромов, фашизма, что в каждой еврейской душе живут опасение и боль, и потому евреи такие грустные, и сам он грустный. «Посмотрите на наших юмористов Жванецкого, Хазанова и всех других — они тоже все грустные». Ведущая отметила в раввине «великое смирение». А я подумал: «Вот если бы раввин с таким же смирением посетовал на «опасение и боль», вернее, на кровоточащие раны почти в каждой русской душе от погрома, учиненного «грустными евреями» — гайдарами, чубайсами, кириенками! Ведущая не увидела опасности фашизма в России: смотрите, как хохочет русская публика от эстрадных острот Жванецкого, Хазанова. Да уж, чего-чего, а этого добра хватает у русских простаков — беззлобного восторга перед глумлением над собой!

Но не чудо ли, что, несмотря на неслыханный погром, который любой другой народ вряд ли бы вынес, наш народ все-таки выстоял и, несомненно, еще заявит о себе в полную

меру своих духовных, исторических сил. У народа своя жизнь, свое назначение, не его дело ораторствовать, выставлять всякого рода «проекты постмодерна», но если и есть где почва для консерватизма, то, конечно же, не в головах спекулятивно философствующих умников, а в самом народе, в традиционных его духовно-нравственных ресурсах, принципах правды, социальной справедливости. Ныне даже и патриот не патриот, если он не ругает народ, не обвиняет его в нынешних бедах, не требует покаяния за прошлое. В одном из своих писем, говоря о «критическом отношении молодых священников к народу», К. П. Победоносцев писал: «Им и на ум не приходит, что они сами кость от костей этого народа... что какой бы ни был этот народ — мы пропали бы без него, ибо в нем — источник и хранилище нашего одушевления и возбуждения и сокровище сил веры...» В шестидесятых годах теперь уже прошлого столетия лучшие русские писатели, мы, «молодогвардейцы» (авторы журнала «Молодая гвардия»), идеал народности чаще всего видели в деревенских старушках, так сказать, в их нравственном свете. Конечно, была в этом своя избирательность, ведь народ — это не одни старушки, но и Курчатов, Королев, Гагарин, крупные деятели во всех областях жизни, и ныне это особенно очевидно. Но за нынешним разговором об «элите» как бы забывается: что же это за элита, интересы каких сил она выражает? И не преувеличивается ли разрыв между «элитой» и «не элитой»? Ведь если рассуждать по-христиански, каждая личность уникальна, неповторима, отсюда ее абсолютная ценность. Потому-то один из глубочайших тайновидцев сущности человеческой личности святитель Григорий Палама говорит, что уничтожение ее равносильно крушению мира, космической катастрофе. Да и в мире церковном, социальном на ком держится церковная жизнь? На тех же воцерковленных старушках, женщинах. Зайдите в храм, и какие светлые, благодатные лица вы увидите. И кто, как не такие женщины, своим стоянием, молитвами у здания суда спасли от недавнего судебного преследования тех молодых отважных алтарников, положивших конец выставке «худож-

ников»-сатанистов в так называемом сахаровском центре. И в социальной жизни, в самом быту: в свое время в начале 90-х годов я писал, как поразила меня встреча со старухой в моей родной деревне на Рязанщине, которая, говоря о своих мучениях при Ельцине, крикнула: «Я бы его, гада, подняла на вилы!» — и сделала такой выпад руками, что и до сих пор стоит она в моих глазах как символ народной ярости. Может быть, самое страшное, что произошло за эти «демократические» годы, — это истребление в человеке чувства сострадания. Любимый герой Достоевского князь Мышкин в «Идиоте» говорит: «Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия человечества». Нельзя назвать ни одного из великих мировых писателей, который был бы апологетом капиталистических нравов. И никто с такой силой не выразил пронизывающего сострадания к жертве этих нравов, как Достоевский, показав в «Преступлении и наказании», как бьется больная чахоткой Катерина Ивановна с малыми детьми в отчаянной, беспросветной нищете. Именно такие крики о сострадании прямо взывают к человеческой способности понимать слова Спасителя о тех, кто не чужд милосердия, и тех, кто попирает его. Наше отношение к пораженным лишениями, страданиями Господь отождествляет с отношением к Нему самому, берущему на себя бремя «униженных и оскорбленных», чтобы через эту непостижимую глубину милосердия пробудить сочувствие к ближнему (Мф. 25, 29—30).

* * *

...Недавно в газете «Русский вестник» (2003, № 9) писатель Л. Бородин, он же главный редактор журнала «Москва», выступил против меня в защиту своего друга В. Тростникова, которого я назвал диссидентом. «Может быть, Лобанов прав в критике В. Тростникова. Но зачем он назойливо повторяет "диссидентство", "диссидентские штучки"?» Л. Бородин умалчивает о том, в чем я прав, а ведь это главное, и об этом шла речь в моей статье (которую имеет

в виду Бородин) — «Россия и лицедеи» (Молодая гвардия, 1995, № 3). В этой статье я останавливаюсь на письме Тростникова «Красно-коричневые — ярлык или реальность?» (Новый мир, 1994, № 10). Письмо поражает злобой к тем, кого он называет красно-коричневыми. Даже больше, чем коммунисты, ненависть Тростникова вызывают русские патриоты, которых он честит «коричневыми», «национал-патриотами», «русскими шовинистами», «внерелигиозными патриотами», «коммуно-шовинистами», «квазипатриотами», «безрелигиозными национал-моралистами». С «русскими шовинистами», считает автор письма, не может быть никакого диалога, их надо истреблять. И приветствуя расстрел 3—4 октября 1993 года, обвиняя «красно-коричневых» в «мятеже», он недоволен тем, что «либеральные власти» пошли на отмену преследования организаторов кровавых погромов, а это, мол, равносильно постановлению о правомочности подобных вылазок и впредь. И вся эта кровожадность умасливается «философским» словоблудием (ссылка на «противление злу силой» Ивана Ильина), демагогией об «евангельской истине», недоступной «русским шовинистам» (поголовно всем, по его уверению, безбожникам), терминологической премудростью. Только на одной странице — «процесс апостасии — отпадение человека от Бога», «сюжет апостасии», «апостасийный опыт», «только апостасия» и пр., и пр.

Не так давно, в конце 2003 года, вышла приуроченная к десятой годовщине расстрела Дома Советов 3—4 октября 1993 года книга «Анафема» (приложение к журналу «Новая книга России»). Жутко читать эту хронику государственного переворота с массовыми расстрелами ни в чем не повинных людей (до 1500 убитых). Знаменитый старец о. Николай (протоиерей Гурьянов) назвал их мучениками.

И напрасно А. Бородин всецело поддерживает В. Тростникова. Ведь сам-то он, Бородин, судя по рассказу в его «автобиографическом повествовании» «Без выбора», при своем «неоднозначном» отношении к «вопросу об ответственности за пролитую кровь», не скрывает все же сочувствия к жертвам расправы. «Задело» же его (по собствен-

ному его слову) то, что я без должного почтения употребляю слово «диссидент» (хотя сам он пишет, что «не считает себя диссидентом»). И в своем «автобиографическом повествовании» он снова упрекает меня в недоверии к диссидентам с их апелляцией к Западу. Ставится мне в пример названный выше Тростников. «Чем отличается "диссидент" Тростников от "не диссидента" Лобанова? Тем, что, когда ему стало невмоготу, ушел с выгодных мест, стал дворником и продолжал писать то, что он думает. Он нашел в себе силы быть последовательным. А Михаил Иванович, когда его разругали за "Мужиков", притих. А ведь он тоже был "инакомыслящим"» (газ. «Русский вестник», 2003, № 9).

Помнится, когда-то (это было в январе 1993 года) Бородин, приглашая меня принять участие в вечере «бывших инакомыслящих» в московском Доме журналистов, именовал меня моим настоящим именем — Михаил Петрович, теперь я почему-то стал для него Михаилом Ивановичем. Но это мелочь.

По его словам, я «притих» после того, как меня «разругали за «Мужиков». Каких «мужиков»? Видимо, имеется в виду скандально известная статья А. Н. Яковлева «Против антиисторизма», в которой мне досталось, помимо всего прочего, и за «идеализацию мужика». Статья эта появилась в ноябре 1972 года, выходит, по Бородину, что с тех пор я «притих». Но за это время вышло более десяти моих книг, год назад — книга в сорок три печатных листа «В сражении и любви» (статьи последнего десятилетия). По одной из моих статей («Освобождение») было принято решение секретариата ЦК КПСС (1982). Кстати, тот же А. Н. Яковлев, «архитектор «перестройки», обличавший меня тридцать лет тому назад, и ныне в новой своей книге «Омут памяти» (М., 2002) продолжает клеймить меня как «шовиниста», «охотнорядца» (не приведя ни одной цитаты, ни одного примера, которые бы оправдывали употребление этих ярлыков).

Не оценил я жертвенность дворника! Мой друг с университетских лет, недавно скончавшийся Сергей Морозов, о котором я пишу в своей книге «В сражении и любви», был

глубоко религиозным человеком, никогда и нигде не скрывал этого, за что расплачивался не раз своим преподавательским местом в пединститутах, откуда его изгоняли, пока не нашел пристанища в Мордовском государственном университете, где и преподавал вплоть до начала 2000 года, не скрывая своей веры, влияя тем самым на студентов. И обошелся без поста дворника. Сколько было в 60—80-х годах этих дворников при приеме в Литинститут им. А. М. Горького (где работаю с 1963 года руководителем семинара). Вот идет заседание приемной комиссии, секретарь читает анкеты поступающих: «...работает дворником...» «Опять эти дворники!» — с заматерелой досадой, морщась, отмахивается ректор Владимир Федорович Пименов. Каждому «гению», как чеховской Змеюкиной, не хватало «атмосферы», «свободы творчества». Так же и диссиденты. А кто слышал этих дворников-тростниковых в 60—80-х годах, когда на виду у всей страны, мировых идеологических служб шла борьба русских патриотов («русистов» — по ненавистническому выражению Ю. Андропова) с космополитическими силами, вызывая антирусскую реакцию в многомиллионных тиражах прессы; когда требовалось открытое сопротивление разгулу русофобии, разжигаемой сионистской прессой, «агентами влияния» из ЦК? А кто-то в эти годы помахивал метлой, скрывая ею запечные свои писания, а сейчас выдает себя за некоего начальника жэка. И тот же ВСХСОН — кто знал об этой группке зеков-революционеров в те времена, когда на слуху и в сознании миллионов людей в стране были патриотические идеи той же «Молодой гвардии». Возвращаясь к Л. Бородину, хочу сказать, что его не только, видимо, «задело» сказанное о Тростникове в моей статье. Дело в том, что там же цитировались и его высказывания, с которыми я не был согласен: «Не будем останавливаться на приписывании Бородиным исключительно вины самому русскому народу в той катастрофе, которая обрушилась на Россию (вроде: ”Будто бы не народ в лице наинароднейших его представителей одобрил Беловежское соглашение. Будто бы не из народа вылупились мастера финансовых пирамид...”)». Надо

ли спорить с автором, варьирующим парадокс К. Леонтьева, что «дух антихристов не опускался на Россию извне, но вызрел в ней...» Неужели Бородину неизвестно общеизвестное — «вылупится» антихрист из колена Данова. Или Бородин спутал русский народ с Бухариным, который с детства мечтал быть антихристом, — зная, что у этого его кумира мать-блудница.

Как мне стало тогда известно, в ответ на эту мою реплику Бородин написал протестующий ответ, принес его в газету «Завтра», но вскоре забрал обратно, почему-то не решаясь опубликовать.

Читая воспоминания Л. Бородина «Без выбора», испытываешь сочувствие к автору, которому пришлось пережить тяжелые испытания. Сам он считает свою судьбу состоявшейся, в этом видит свое «счастье» — понятие для него определяющее как в личной жизни, так и общественно-политической. Но нет ли элемента ущербности в этом «счастье», если его обладатель говорит о тех, для кого гибель нашего государства — величайшая трагедия: «Подавай им опять Советский Союз!» Или: «Задние копыта "государственного коня", по причине несовершенства знания строителем законов сопротивления материалов, подломились сами по себе, и "коняга" рухнула — лишь пыль к небу!»

Для Бородина, как и для других диссидентов, советский период русской истории — провал, пустое место, а из слепой безбрежной людской массы — провидцы только он да еще немного таких же. «Тщетно А. И. Солженицын призывал жить не по лжи. Люди научились жить по "не вере". Причем все — от колхозника до члена Политбюро... На фоне многомиллионного "нового советского народа" мы и нам подобные были выродки, уроды. Потому что нормальный советский человек по поводу своего неверия не рефлексирует». О Солженицыне мне говорить страшно: объявил же в печати Бородин вместе с другими «узниками ГУЛАГа», что противников Александра Исаевича «ждет преисподняя» («Русский вестник», 2003, № 28). Видимо, ждет то же самое и тех, кто считает фальшью его призыв «жить не по лжи». Висит угроза

и над такими критиками его книги «Двести лет вместе», как М. Назаров и М. Дунаев, которые по радио «Радонеж» назвали автора этой книги «духовно незрелым», не сказавшим ни слова о главном — о пропасти между христианством и талмудистским иудейством. Я не думаю, что этот хитрован не ведает об этой пропасти, он умалчивает о ней, чтобы парализовать наше сопротивление еврейскому игу, — ибо, когда это и где было, чтобы за один стол «равноправного разговора» садились победители и побежденные, насильник и их жертва?

Бородин не принимает названия «русский патриот», именуя себя «просто русским», но не тем, конечно, «просто русским» — из числа презираемых им десятков миллионов, живущих по «не вере». Особая тема — участие его в подпольной организации ВСХСОН (Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа) — с программой вооруженного свержения советского строя. Материал скорее для историков политического подполья, во многом романтического — деятельность этого кружка идеологически была замкнута на радикальном антисоветизме. Но было тогда, в 60-х годах, и другое в «русском движении» — «молодогвардейство», бегло упоминаемое Бородиным, но на котором подробно останавливается диссидент А. Янов в своей известной русофобской книге «Русская идея и 2000 год» (Нью-Йорк, 1988). Вынужден привести из этой книги цитаты, касающиеся меня. Это необходимо для уточнения сути дела. Речь идет о моей статье «Просвещенное мещанство» («Молодая гвардия», 1968, № 4). «Лобанов... переносит центр мировой драмы из сферы борьбы социализма и капитализма в метафизическую сферу противостояния "духов"... предсказывает он, что в грядущем смертельном конфликте "рано или поздно столкнутся между собой эти две непримиримые силы", названные им "нравственной самобытностью" и "американизмом духа"... В отличие от ВСХСОНа, Лобанов верит в потенциал советского режима».

Это говорится о тех 60-х годах, когда группа «русских мальчиков» (по Бородину) из ВСХСОНа помышляла только

об одном — вооруженном свержении советской власти, а между тем в самой атмосфере того времени уже скапливалась та угроза американизма, которая ныне стала мировой реальностью в качестве палача народов. А ведь единственной силой в мире, противостоявшей американской агрессии, обуздывавшей ее, был столь ненавистный Бородину и его диссидентским друзьям «монстр» — Советский Союз.

Бородин выдает себя и буквально еще несколько человек за тех прозорливцев, кто ни в чем не ошибался и кто держался «спасительного» для России курса. Но есть и другие мнения на сей счет. Например, Татьяна Глушкова писала в журнале «Молодая гвардия» в 1995 году: «Поведение Солженицына (как и поведение Сахарова или Шафаревича, Леонида Бородина и прочих антисоветских диссидентов, обласканных Западом), без сомнения, разительно отличалось от поведения М. Лобанова и других русских писателей, критичных к советской власти, но не опускавшихся до апелляции к лжесвободному миру, до сотрудничества, соратничества с ярыми, безусловными врагами своего Отечества. Не искавших ни ”понимания”, ни поддержки, ни славы на истари ощеренном против России Западе. Не принявших ни единого сребреника из чужеземных, из заморских рук в качестве гонорара за свой русский патриотизм.

Я полагаю, что помимо непосредственного чувства, которое удерживало или отталкивало этих людей от — столь льстившего Солженицыну и его близкой компании — западного, американо-германо-израильского сочувствия, литераторы типа М. Лобанова (позволю себе такое обобщение) обладали достаточным разумом, чтобы понимать: за действительный русский патриотизм на Западе не платят ни славой, ни долларами, ни учеными званиями, ни докторскими мантиями, ни почетными лауреатствами... Что именно невостребованность Западом может сделать честь русскому патриоту».

И еще об одном. Бородин пишет, что в программе их подпольной организации, вообще среди их участников не было «еврейского вопроса». Иронично говорит он о русских

патриотах, смелости которых хватает только на борьбу с еврейским засильем в русской культуре. Но ведь дело-то не просто в культуре, и вряд ли уместна тут ирония.

Хотелось бы спросить Бородина: довелось ли ему случайно видеть телепередачу с участием высокочтимого им героя его «автобиографического повествования» Ильи Глазунова? (Передача «Свобода слова». НТВ, 13 февр. 2004 г.) Тогда достаточно было Глазунову высказаться положительно об истории России, ее прошлом, о русском народе, ныне оскорбляемом и унижаемом, о великой русской культуре, как на него злобной стаей набросились окружавшие его собеседники-евреи. Небезызвестный адвокат олигархов, всякого ворья Резник, телепират Познер, прочие — все они ополчились против художника с обвинениями — кто за его «русский шовинизм», «невежественность», кто за одно уже то, что он посмел говорить в этой компании о русском, кто за его обращение к прошлому, в котором тому же Познеру видится только рабство, перешедшее по наследству новому поколению русских. Осознав себя в ловушке, Глазунов обратился было к своему излюбленному доводу — русский тот, кто любит Россию, таковы его лучшие друзья-евреи, нацеливши при этом взгляд на стоявшего поблизости Иосифа Кобзона (портрет которого красуется в мастерской Ильи Сергеевича). Но тот сердито смотрел вытаращенными глазами и не спешил на помощь к «русскому другу». Не помогла и патетическая глазуновская речь о собрате по кисти, горячо любившем Россию «величайшем (?) русском художнике» Левитане. В ответ на весь экран наползла физиономия Резника, слушавшего панегирик соплеменнику с ядовитой саркастической ухмылкой. Так вот, Леонид Бородин: существует ли еврейский вопрос в России? Или его нет, как не было во ВСХСОНе? Или вам ничто не говорит и то, что именно из этого племени, употребляя ваше слово, «вылупились» гайдары-чубайсы с их ролью чумных бактерий в теле России. Впрочем, у Бородина свое мнение о происходящем в стране. Он, например, считает «свидетельством начала изживания смуты» в нашей стране новое президентское правление в ли-

це Путина, связывая его с «феноменом Владислава». В свою очередь с «польским королевичем» Владиславом, которому присягнули русские люди «по закону» в начале XVII века, связывается автором «начало духовного возрождения». Карамзин называл признавших Владислава «изменниками», и даже те, которые искренне видели в этом признании возможность умиротворения, вскоре убедились в иллюзии, ибо началась еще большая смута в результате грабежа, насилия со стороны ляхов. И только огненные призывы патриарха Гермогена (которые Бородин называет гласом вопиющего в пустыне), пламенный патриотизм Минина и Пожарского стали основой возрождения Руси.

И уже в царствование Михаила Романова притязания Владислава на московский престол грозили новыми смутами. В 1618 году он отправился «добывать Московское государство», осадил Москву, и даже когда по призыву Земского собора русские отстояли свою столицу от неприятеля и дело Владислава было проиграно, он продолжал сеять смуту, по его «наущению» крымцы в 1633 году напали на русские земли. И только в 1644 году поляки признали карту с Владиславом битой, пытаясь за его отказ от царского трона сорвать с Московского государства сто тысяч рублей. Что же касается упоминаемой Бородиным «смуты» наших дней, то странно думать, что неслыханные злодеяния, учиненные над народом, над страной «реформами» можно прикрыть риторикой о новом «деловитом» президенте, тем более, что этот президент сам называет себя «наемным работником» (кого?) и всегда подчеркивает, что право грабителей, сам людоедский порядок в стране — неприкосновенны. И какое может быть «изживание смуты», примирение между палачами и приговоренными к смерти?

* * *

Недалеко от Куликова поля есть село Себино (Тульская область). Здесь родилась в 1881 году блаженная Матронушка и жила до 1925 года, после ее перевезли в Москву, где он

скиталась и мыкалась по разным углам до блаженной кончины в 1952 году. Село это, видимо, мало кому известно из той массы верующих, которые в свое время шли за молитвенной помощью и заступничеством на могилку блаженной Матронушки на Даниловом кладбище, а теперь текут к раке с ее святыми мощами в Покровский монастырь на Таганке в Москве. Если вы, приехав в Себино, выйдете из автобуса или машины у местной церкви и спросите у случайного прохожего, где жила Матронушка, то ответчик укажет на не далекий отсюда домик под красной крышей.

Когда мы подходили к нему, навстречу бросилась с гавканьем собачонка и тут же заласкалась, завиляла хвостом, а стоявшая рядом хозяйка, пожилая, широколицая женщина, узнав о цели приезда, проводила нас в дом. Только войдя внутрь, я понял, почему по дороге к дому так пахло навозом. В первой клети тесного помещения лежал на полу крупноголовый теленок, поглядывая на вошедших. Во второй клети, около старого диванчика с подстеленной дерюжкой, сидел человек с какой-то непрояснившейся думой на помятой физиономии. Над мигавшим маленьким телевизором висела икона. Хозяйка пояснила, что это не тот дом, где жила блаженная Матронушка, — тот деревянный сгорел, — это же хозяйственная пристройка. «А может быть, дом стоял в другом месте», — рассуждала женщина.

От теленка в углу еще было что-то домовитое в этом голом жилище. Но, как только вышел я наружу, дохнуло полным разорением. Кругом безотрадная картина. Виднелись по сторонам среди пустырей отдельные постройки наподобие длинных сараев. Непонятно, куда делись дома: то ли их разобрали и вывезли в иные места, то ли они сами развалились от ветхости. Рядом с домиком Матроны еще несколько невзрачных избушек; у крайней из них застыла понурая лошаденка с санями. Так, казалось, стояла она здесь и пятьдесят, и пятьсот лет назад, на краю ряда таких же избушек. Но вот из дома вышел человек, сел в сани, лошаденка тронулась с места и побежала, а вслед пустились вдогонку три собачки друг за другом, и эта бегущая четверо-

ногая компания, как и тот теленок в избе, вносили нечто издревле гармоничное в окружающий мир.

В здешнем храме Успения Божией Матери находится купель, в которой крестили блаженную Матронушку. Настоятель местного храма — молодой батюшка Игорь Горошко. Работал он на заводе, был далек от Церкви, но когда пришел к вере и должен был стать священником, глубоко верующая матушка, его жена, упования свои за мужа возложила на Матрону: как она решит — так тому и быть! И вот его назначают настоятелем храма Успения Божией Матери в Себино. Приход бедный, считанные старушки из окрестных деревень. Невольно вспоминается духовный стих о «богатстве нищих». Как применим он к здешней скудной земле!

Я был на Литургии, которую негромко, вдохновенно служил отец Игорь, и слышал его короткую проповедь. Надо, говорил он, во всем навести порядок. Порядок в своей душе. Порядок в приходе. И тогда только можно влиять на то, чтобы установился порядок «наверху»...

После службы, выйдя из храма, я вспомнил о своем давнем (в конце 70-х годов) разговоре с отцом Владимиром, настоятелем храма в Осташкове (впоследствии архимандритом Вассианом, наместником Нило-Столобенской пустыни).

С печалью говорил он тогда, что скоро некому будет служить, старые священники уходят из жизни, а молодые не идут. И вот — Игорь Горошко, и сколько сейчас таких, как он, молодых священников.

И вспомнились мне еще слова из «Истории Русской Церкви» митрополита Макария (кн. 8, изд. 1988 г.), что русский народ именно сельскому священнику обязан тем запасом положительных сил, которыми был сохранен благодаря крепкой традиции и вопреки всем разлагающим влияниям.

От Себино километров тридцать до Куликова поля, а само оно развертывалось заснеженным пространством с невидимым в стороне Доном, с лесопосадками, с голой рощей на месте знаменитой дубравы с засадным полком, решившим исход битвы. За окном мчавшегося автобуса как-то незамет-

но сгустились сумерки, и затем стало совсем темно. Изредка показывались и медленно проплывали тусклые зраки какого-нибудь жилья, и снова ни огонька, как это было долгое время на этой земле после Куликовского побоища. Все тем же было небо, глядящее на землю, кажется, и на тебя сейчас, мириадами звезд влекущее в свои таинственные бездны, возвышающее душу, говорящее о величии Божием.

Такая причастность к бытию — вот уж поистине урок неложного консерватизма.

БОРЬБА

Незабвенный Вадим Валерианович Кожинов как-то в ответ на мои сомнения в востребованности наших идей, нашего русского опыта в будущем, в новых поколениях сказал мне, что ничто не исчезает в историческом «бытии» (его привычное слово), не пропадает ни одно духовное усилие, что все имеет свои последствия. Оглядываясь сейчас на свой пройденный путь, вижу, что вся жизнь моя — сплошная борьба, начиная с участия в сражении на Курской дуге до сегодняшнего сопротивления новым оккупантам. Пожизненная моя борьба — что называется, на идеологическом фронте. Но должен сказать, что, борясь, я никогда не прибегал к языку политических намеков, пусть кто укажет хоть на один пример обратного. Я считаю, что надо бороться на духовном уровне, и я этому следовал и следую, ибо здесь корень зла, всех идеологических конфликтов. И наоборот, мои противники только тем и занимались, что обвиняли меня в политическом, мягко говоря, злонамерении. Чего стоят уже одни названия рецензий на мои работы: «Было ли "темное царство"?» (о моей книге «А. Н. Островский» в серии «ЖЗЛ»); «Освобождение от чего?» (о моей нашумевшей статье «Освобождение» в журнале «Волга», 1982, № 10). Ну, конечно же, по «расшифровке» автора рецензии, освобождение от всех социалистических основ, коллективизации, индустриализации, марксистско-ленинской идеологии, классовой борьбы,

«завоеваний советской литературы» и т.д. Хотя у меня смысл этого слова (следовательно, и самой статьи) совершенно иной. На примере романа М. Алексеева «Драчуны» (о голоде 1933 года в Поволжье) речь идет о том, сколь необходимо для творчества освобождение писателя от внутренней несвободы: «Не решавшийся до сих пор говорить об этом, только дававший иногда выход сдавленному в памяти тридцать третьему году — упоминанием о нем, автор набрался наконец решимости освободиться от того, что десятилетиями точило душу, и выложить все так, как это было».

До «перестройки» в ходу были такие страшилки, как «антиисторизм», «внесоциальность», «внеклассовость» (помимо, конечно, «шовинизма», «славянофильства», «почвенничества»). С «перестройкой» в оборот запущен жупел покруче — русский фашизм. В журнале «Вопросы литературы» (№ 1, 2005) опубликована статья В. Твардовской «А. Г. Дементьев против "Молодой гвардии" (эпизод идейной борьбы 60-х годов)». Автор обращается к статье А. Дементьева почти сорокалетней давности «О традициях и новаторстве» (журнал «Новый мир», 1969, № 4) и пытается представить автора эдаким демократом — провидцем нынешней «фашистской опасности» в стране. Хваленая статья уже тогда, по выходе, была анахронизмом, курьезом по своему рапповскому методу орудовать идеологической дубиной, по невежеству (славянофилов автор именует мыслителями в кавычках). Преследуемая автором и редакцией «Нового мира» цель была настолько очевидной, что даже новомировец Солженицын сказал об этом так: редакции «Нового мира» «взбрела в голову несчастная идея — влиться в общее «ату» против «Молодой гвардии»... «удобно ударить и нам». И вот устремился «новомировский критик в пролом, разминированный, безопасный, куда с 20-х годов бито было наверняка...» В статье новоявленного рапповца под прикрытием марксистской фразеологии, «пролетарского интернационализма» выпирала антирусскость, очернение народных культурных традиций. И вот об этой русофобской статье В. Твардовская пишет: «Целью статьи было предупредить об опасности исповедуемых наци-

онал-патриотами идей». «Сейчас, когда наряду с националистическими в стране действуют и фашистские организации, нельзя не признать, что эта опасность критиком "Нового мира" не преувеличивалась».

Вот где, оказывается, «болячка» ученой дамы, из-за которой ей понадобилось вызвать из небытия «интеллигента в первом поколении, потомка крепостных крестьян знаменитой княгини З. А. Волконской», как она рекомендует А. Дементьева. Встревожила ее «опасность фашизма», русского, разумеется. Цитирует она при этом и своего отца — поэта А. Твардовского, который о письме критиковавших статью Дементьева одиннадцати литераторов в «Огоньке» (1969, № 30) «Против чего выступает "Новый мир"?» — выразился так: «открыто фашиствующий манифест мужиковствующих». И это говорил сын русского мужика! Повторяя выражение Троцкого — «мужиковствующие» — в адрес русских писателей, в частности крестьянских поэтов есенинского круга. В воспоминаниях заместителя главного редактора «Нового мира» А. Кондратовича «Новомировский дневник (1967—1970 годы)» приводится восторженный панегирик Твардовского Троцкому за его «блестящую речь» в агитпропе ЦК от 1923 года.

Прочитал я статью В. Твардовской и вот о чем подумал: прав Кожинов, ничего не пропадает из наших духовных усилий. Сам-то я вроде и забыл свою давнюю статью «Просвещенное мещанство» (1968), время ныне другое, другая для меня боль в русской жизни, но вот другие не забывают. Когда-то, почти сорок лет тому назад, набросился на нее А. Дементьев в статье «О традициях и народности», избрав ее в качестве главного объекта своих нападок на «Молодую гвардию». Теперь, завалив благодарственными венками своего предшественника за мнимые заслуги, В. Твардовская берет на прицел ту же мою статью «Просвещенное мещанство», связывая с нею идеологию тех, кого именует национал-патриотами (не звучит ли на манер: «национал-социалист»?). И так неугодны ей эти национал-патриоты, что она готова поддержать всякую «обличающую» их заведомую ложь. Так

она с академической важностью дает ссылку на мемуары А. Яковлева «Омут памяти», где этот отпетый фальсификатор пишет, что «программные» статьи «Молодой гвардии» «Просвещенное мещанство» М. Лобанова и «Неизбежность» В. Чалмаева «перед публикацией были просмотрены и одобрены в КГБ» при Андропове. Но мог ли Андропов поддержать авторов «Молодой гвардии», когда он был известен как русофоб, преследовавший «русистов» (по его выражению); давший впоследствии команду осудить решением секретариата ЦК мою статью «Освобождение»?

А вот и вывод пространной статьи В. Твардовской: по ее словам, дискуссия вокруг «Молодой гвардии» и «Нового мира» показала, что «ближе и роднее (власти) орган русских националистов, нежели демократический журнал... Великодержавие, яростное антизападничество, сталинистские симпатии национал-патриотов находили значительно большее сочувствие и понимание у идеологов и политиков КПСС, нежели отстаивание общечеловеческих ценностей и стремление к соединению социализма с демократией» (в духе авторитетного для Твардовской академика А. Сахарова, кстати, инициатора расчленения России на семьдесят государств). Логика этой казуистики такова: поскольку русских шовинистов, национал-патриотов поддерживали ЦК КПСС и КГБ, то, следовательно, и эти высшие органы власти были шовинистическими, фашистскими, антисемитскими, вся советская власть была таковой, и эту власть надо было свергать, заменить «демократией». Русский фашизм не прошел, но опасность, дескать, остается. Так, с «фашизацией» моей давней статьи, сугубо национально-оборонительной, нынешние «демократы» больше характеризуют себя, чем обличаемого ими автора. Казалось бы, все в их руках, наслаждайтесь своей демократией, «раем на земле». Но нет чего-то, все не так. Давно известно, что именно либералы торят дорогу к фашизму своей духовной энтропией, аморальным плюрализмом, мертвящим космополитизмом, но винят в «фашистской опасности» других. И какие приемы, какая злоба! Вот и в данном случае: не просто «полемика», «дискуссия», а го-

товность подвести «оппонента» — как фашиста — под статью о разжигании национальной розни. Тридцать с лишним лет тому назад А. Яковлев в своей «критике» молодогвардейцев еще осаживал себя в выборе эпитета, выражения, ставя, например, мне в вину «идеализацию мужика», «славянофильство», прочее. Теперь («Омут памяти», 2000) он зачисляет меня в ряд «апологетов охотнорядчества».

Да, поистине, какова нынешняя власть, такова ее идеология, таковы кадры ее. Злобные, мстительные, человеконенавистнические. Но я доволен, что проявилось это отчасти через нападки на мою давнюю статью.

* * *

Только что прочитал книгу Ю. А. Жданова «Взгляд в прошлое» («Феникс», 2004 г.). Автор — сын известного государственного деятеля А. А. Жданова, зять И. В. Сталина, в конце сороковых — начале пятидесятых годов заведующий отделом науки ЦК партии. В отличие от А. Яковлева он не отрекся от своих партийных убеждений, от социализма, не принимает лжи и насилия либералов-«демократов», разрушителей великого государства, ублюдочных идеологов «золотого тельца», торговцев Россией. С достоинством защищает он честь своего отца, стойкого государственника А. А. Жданова, имя которого с «перестройкой» стало объектом ненависти и оголтелой клеветы «демократов», поддерживаемой Горбачевым (о чем с любопытными подробностями рассказывает автор).

И вместе с тем Ю. Жданов счел нужным включить в свою книгу статью, написанную им в 60-е годы, ныне звучащую уж совсем архаично, в духе упрощенного социологизма. Ну что могут сказать современному читателю рассуждения вроде: «И не возьмут в толк наши товарищи, что волюнтаризм, бонапартизм, цезаризм, против которых они ополчаются, есть прямое порождение условий, психологии мелкого производителя — крестьянина, в первую очередь». В своей статье Ю. Жданов полемизирует со мной в связи с моими печатными выступлениями о «Войне и мире». (Тогда, в 1969

году, исполнилось сто лет со времени выхода толстовского романа в свет.) Вот некоторые пункты этой полемики: «Поиски народной правды, поиски путей к народу, свойственные Пьеру, М. Лобанов пытается интерпретировать весьма своеобразно: "Жизнь простых людей, — пишет он, — дала русским философам богатый материал для того вывода, который, в отличие от рационалистической рассудочности, утверждает целесообразность человеческого бытия в цельности его духа и поведения..." После этой цитаты автор заключает, что такая философия "отнюдь не линия Радищева, Герцена, Чернышевского, Плеханова, а нечто другое, недосказанное и уводящее мысль куда-то в сторону славянофилов..."» Вот уж поистине магия слов, имен. Но ведь главное-то у меня — «жизнь простых людей», народный характер — именно в цельности его, целесообразности его бытия, и это было «актуально» не только во времена Толстого, но и тогда, в шестидесятые годы теперь уже прошлого столетия («деревенская» литература). Да и сейчас: если как-то удерживается от окончательного «расползания» общественная ткань, то во многом благодаря уравновешивающему, стабилизирующему фактору «жизни простых людей» с их здоровой моралью, трудовыми, семейными заботами, если хотите, инстинктом государственности. Я думаю, что это реальное содержание куда важнее для нашего времени, чем перечисление фамилий философов-революционеров.

Второй пункт. Видя высшее достижение русской философии в рационализме, признавая исключительно только рационализм, более того — только сугубо рационалистический путь России, Ю. Жданов бичует меня за недооценку заслуг русского просветителя, последователя Вольтера В. Попугаева с его изречениями вроде «просвещение есть солнцев луч во мраке». В качестве неуместного противопоставления критик приводит мои слова, что когда над Родиной нависла опасность, то «решали дело не умствующие теории, не отвлеченный "солнцев луч", а дух армии, народное чувство». Я говорю о реальности — что происходило в России в 1812 году и что ее спасало: не вольтерьянство, наводнившее стра-

ну в XVIII веке, накануне наполеоновского нашествия, а именно дух армии, народное чувство (что и показано в «Войне и мире»), а мой оппонент токует свое: ах, рационализм! ах, просветители! «Откуда это озлобление против "умствований", французского и русского просвещения? М. Лобанов писал и так: "Теоретики могут рассуждать о "концепциях", "системах" и т.д., но им не дано прикоснуться к тому первородному, где зарождаются нервные узлы нравственного бытия и откуда исходит мощь творческого духа"». Все это, по словам моего критика, заставляет вспомнить «Вехи», Достоевского.

Третий пункт. «Наконец, что за тенденция в сторону обскурантизма?! М. Лобанов пишет о нравственной силе русского народа, непонятной "для привычного европейского представления"... Не вариация ли это на давно забытый мотив: умом Россию не понять?..». В отличие от Ю. Жданова, я полагаю, что этот «мотив» еще не забыт. Недаром нынешние погромщики России злобствуют, дивятся, почему «эта страна», ее народ не хотят принять «рыночного рая», вбежать в царство демократии и мировой цивилизации.

Четвертый пункт. «Далее М. Лобанов возвещает, что предчувствуемый Достоевским "разгул бесов ждал своего исторического часа". Не совращайте малых сих! Молодежь не знает, что "Бесы" были знаменем реакции в борьбе против русского революционного движения». А разгул нынешних «демократических» бесов, терзающих Россию, люто ненавидящих ее народ, самого Достоевского (в чем признается бес Чубайс, готовый, по собственным словам, «разорвать его на части») — разве это не связано с историческим предчувствием автора «Бесов»?

Но довольно. Мысль моя ясна: нельзя закрываться от действительности словами. Этим страдала официальная пропаганда в советские времена, когда жизнь, реальные события подменялись лозунгами, партийной фразеологией. Выходило так, что создавался мир фиктивный, имевший мало чего общего с реальным, и это не могло не привести к кризису. Но насколько этот отрыв от реального, гипноз стереотипов, рас-

хожей фразеологии может войти в сознание, психологию людей, показывает в данном случае и сам факт публикации Ю. Ждановым статьи, написанной почти сорок лет тому назад: ныне совсем другое время, за тысячелетие своей истории Россия никогда не была в таком чудовищном положении, надо собирать все живые, реальные силы для сопротивления, и уместно ли здесь поддаваться словесным иллюзиям?

А какой вред они, эти словесные иллюзии, могут принести — вот вам пример с Крымом, за необратимость принадлежности которого Украине в Госдуме голосовала фракция коммунистов (то есть почти все русские). Логика куриная: какая разница, чей сейчас Крым — России или Украины, когда там и сям к власти придут коммунисты, наступит прежнее братство народов и Крым будет общим, пролетарский интернационализм победит. Но надо быть уже совсем дитятей, чтобы не понять: если бы даже коммунисты и пришли к власти на Украине, Крымом их «незалежная» и не подумала бы поделиться. Посмотрите, вот даже цыганистая Молдавия с коммунистами во главе пялит глаза на Запад.

ПАМЯТЬ ВОЙНЫ

22 июня 1941 года. Тополиный пух летал над деревенской улицей, лез в окна дома, в глаза. Было жарко, я собирался идти купаться на реку, близкую от нас Пру, как вдруг по радио объявили, что скоро будет передаваться важное сообщение. И вот ровно в полдень Молотов, нарком иностранных дел, объявил, что немецко-фашистские войска напали на нашу страну. Мы стояли с моим дядей по матери Алексеем Анисимовичем, как я его называл — дядей Леней, у двери из одной половины избы в другую и слушали. И когда выступление закончилось, мой дядя, высокий, бледный, с ходящими по скулам желваками, словно застыл на месте, не сразу придя в себя, а потом, выругавшись, ушел быстро в свою комнату. Ему было тридцать лет, у него только что родился второй сын, и он, конечно же, хорошо представлял себе, что ждет

его. А мне, пятнадцатилетнему, стало даже как-то весело. По радио гремела бодрая музыка, лилась «Широка страна моя родная» и что-то ликующее заливало душу, обещающее скорую победу. Но пройдет всего несколько дней, все изменится вокруг, и уже невозвратным раем покажется прежняя жизнь, когда все было иным.

В 1941 году закончил я седьмой класс Екшурской средней школы на Рязанщине, а через полтора года, семнадцати с небольшим лет, был призван в армию, направлен в январе 1943 года в Благовещенское пулеметное училище (под Уфой). Но закончить нам его не дали. Уже в середине июля нас по команде подняли с нар и объявили об отправке на запад. Я попал на Курскую дугу, участвовал в боях стрелком первой гвардейской стрелковой роты пятьдесят восьмого гвардейского стрелкового полка восемнадцатой гвардейской стрелковой дивизии тридцать третьего гвардейского стрелкового корпуса одиннадцатой гвардейской армии. 9 августа 1943 года был ранен осколком мины в бою в районе населенного пункта Воейково, что в двадцати четырех километрах восточнее Карачева (Брянская область). За участие в боях награжден двумя боевыми орденами — Красной Звезды и Отечественной войны I степени.

Вспоминаю, как мы шли ночью на передовую. Впереди небо было в трассирующем свечении, в бегущих друг за другом роящихся огненных светлячках, пунктирах, оставляющих за собой полудужия или же растягивающихся по горизонту. Казалось, что там — главное, и все вместе, с ними не страшно (еще не знал огромного пространства от окопов даже до санбата). Все там вместе, вся армия, все делают сообща что-то налаженное, почти праздничное, это чувствовалось по непрекращающемуся кружению (так казалось) трассирующих огней.

Прямо с ходу, неожиданно, мы подошли к окопам, а потом оказались в них. Чувство было самое обыденное, как на привале. Видимо, скоро будет рассвет, очень хотелось есть. Сухой паек был съеден двое суток назад, вспоминалась буханка хлеба, найденная накануне по дороге, эта буханка

валялась на пути, странно было, что ее не подобрали до нас, тогда же я ее поднял, и мы жадно съели ее. В окопе нас казалось мало, после того как мы шли ночью, но было уже привычно, здесь мы и должны были быть, все те, кто стоит рядом. Давно рассвело уж. Послышалось, но не мне одному, это я понял по лицам, — далеко в стороне или далеко впереди что-то начало происходить. Понятно было лишь то, что там были наши, и только от них шло все, что там делалось. Вскоре слева от окопа появились раненые, были видны согнутые спины, стоны раздавались где-то за нами. Над окопом неожиданно вырос лейтенант, шедший с нами ночью на передовую, в памяти остался чудовищно раскрытый рот: «Впе-е-р-е-ед!!!» Когда вылезли из окопов и побежали по ржаному полю, все трещало вокруг от выстрелов, но никого во ржи не было видно, мы бежали за лейтенантом. Когда залегли, я в трех шагах увидел лежавшего неподвижного человека, немолодого, понял — убитый. Наш. Он лежал на боку, с подогнутыми к животу ногами, обнаженный от живота до колен, я подумал, что он мучился и сам разделся. Это меня почему-то больше всего удивило, но я не почувствовал никакого ужаса, как будто я уже видел это раньше. Попадались во ржи другие убитые, один — и этим он отличался от других, похожих друг на друга, — с разбитым черепом. Стреляли, перебегали. Непонятно, когда загорелась рожь, и сколько времени прошло, и когда появились самолеты. Их не было видно, но они летели где-то рядом, сзади, очень низко, и затихали в треске горящей ржи. После них жиденьким, почти безобидным казалось потрескивание. И вдруг, буквально в десяти-пятнадцати шагах, где начиналась непримятая рожь, выскочила фигура в зеленом френче, закричавшая что-то по-немецки, и тут же упала от соседнего от меня выстрела, сапогами к нам, с кобурой на боку, — это я рассмотрел, когда немец уже лежал в нескольких шагах от нас, удивительно тихий в такой же удивительно вдруг наступившей тишине.

Потом мы оказались в открытом месте — метрах в трехстах впереди два танка, странно, что не стреляют, не едут,

а стоят, и около них фигуры людей... А потом вдруг — наступивший вечер, село с колокольней, все горит... Нас собрал комбат, приказал накормить. Лейтенанта не было среди нас. Мне казалось, что все теперь уже позади, все люди вокруг — хотя почти все другие, но те самые, которые должны были быть, и было спокойно перед тем, что ожидало нас завтра. Я уснул у стога сена.

Удивительно: не было никакого страха, когда я был на передовой, видел убитых, и сам каждую секунду мог быть убит. Но шли годы, десятилетия, и не переставало мне сниться, что меня отправляют на передовую, и я просыпался с чувством какой-то тоски, что ли.

В своих воспоминаниях, впервые опубликованных в книге моей «Надежда исканий» (1978), я подробно писал и о других, с моим участием, боевых эпизодах на Курской дуге — вплоть до того, как был тяжело ранен осколком мины. И все, что было тогда, не столько даже вспоминается, а, говоря церковным языком, пребывает во мне. И особенно — картины немецкого отступления с мертвыми телами по дорогам, полям гитлеровских солдат, вблизи терявших казавшуюся до того таинственность врага.

В ноябре 1943 года я вернулся после ранения домой, с мамой мы пришли в избу бабушки, и, пока раздевался у порога, она появилась в дверях, сильно изменившаяся за десять месяцев. Она смотрела на меня долгим взглядом и вдруг затряслась в режущем душу плаче: «Не встречу... я больше своего сыночка... Мишу». Мое возвращение еще больше растравило ее горе: прошло всего полгода, как она получила похоронную на сына Мишу, двадцатичетырехлетнего майора, начальника штаба артиллерийского дивизиона, погибшего от прямого попадания авиабомбы в землянку, где находился его штаб. Но ждал бабушку новый страшный удар: в самом конце апреля 1945 года, за несколько дней до окончания войны, сгорел в танке под Веной второй ее сын, двадцатилетний Костя.

От моей бабушки довелось мне услышать: «Сердце — камень, все забывает», — и за этими словами чувствовалось

столько горького — что не умерла, когда получила похоронную, а жить осталась, а жить-то им бы надо...

Осенью 1985 года я был в Каунасе и все три дня, пока там находился, думал о Мише, который служил в этом городе после окончания Рязанского артиллерийского училища. Бродил по улицам этого города и представлял себе, как и Миша ходил по этим же улицам. Вспоминал, как он приезжал домой из Рязани, как шли с ним ночью по узкоколейке из Спас-Клепиков в деревню Малое Дарьино, где я жил тогда у бабушки, его матери. Вспоминал, как послал ему в Каунас письмо со своими стихами и отзывом из «Пионерской правды» — вежливым отказом, и в ответ получил от Миши письмо с трехрублевым «гонораром» в нем.

В Каунасе, идя по улице, увидел я огромную толпу людей в каком-то праздничном оживлении. Подхожу, спрашиваю первого попавшегося человека: «Скажите, пожалуйста, что здесь происходит?» Человек молчал, на меня уставились глаза, застывшие в такой ненависти, что я опешил. Другой человек пояснил мне, что сегодня католический праздник. Меня поразило, что незнакомец, так ненавидящий саму русскую речь, видимо, верующий, пришел молиться в этом соборе.

Вряд ли такое могло быть до войны, когда здесь служил мой дядя. В войну вылезли из затишья литовские националисты, действовавшие в наймитах у гитлеровцев, а после войны ушли в «зеленые братья». В 60-х годах студент моего литинститутского семинара литовец Ионас Руминас написал талантливую повесть о том, как герой-хуторянин приходит к «зеленым братьям», но, убедившись, что честному труженику не по пути с этими головорезами, возвращается к мирной жизни. Такова была психология трудовых литовцев, пока не наступила «перестройка-революция», и первым полигоном «архитектора перестройки» А. Яковлева стала Прибалтика, прежде всего Литва.

В середине 70-х годов я был в Венгрии и все думал о другом моем дяде, почти сверстнике, — Косте. Когда автобус миновал город Секешфехервар, где проходили танковые

сражения, я представил, как он глядел на эту равнину из своего танка. И когда автобус остановился в городке Кесег — на границе с Австрией, я жадно всматривался в лесок, в пригорок за ним, за которыми таилась дорога к Вене, где за несколько дней до конца войны погиб Костя.

В последнее время не раз видел Костю во сне. Как будто приехал он откуда-то, живет в доме матери (моей бабушки), а я все не соберусь прийти к нему. Знаю, что он должен скоро уехать. Прихожу, его уже нет. Уехал.

...Потери народа в Великой Отечественной войне имели для нас тяжелейшие последствия. Когда я был на поле Полтавской битвы, меня ошеломила высеченная на памятнике цифра погибших русских воинов: 1345. Всего! И это в сражении, от которого зависела судьба государства. Как-то я вычитал в прессе, что история всей человеческой цивилизации составляет несколько сотен поколений и за это время в войнах погибло сто миллионов человек. А теперь вдумаемся: из этих ста миллионов — более двадцати миллионов наших, убитых в минувшей войне. Пятая часть всех погибших в бесчисленных войнах за многие тысячелетия на земле. Цифра эта должна бы перевернуть наше сознание, заставить новыми глазами посмотреть на себя, на свое положение в мире, истории... И если даже после этих потерь мы, русские, не сошли с исторической сцены, а, единственный в мире народ, находим в себе духовные силы для борьбы, сопротивления сатанинскому глобализму — то это, видимо, и потому, что за нас предстательствует, за нас молится неисчислимый сонм наших братьев-воинов, отдавших жизнь свою «за други своя».

Гудерианец

В журнале «Знамя» (№ 3, 2004) опубликована переписка Г. Владимова с Л. Аннинским. Коснулась она и моей статьи «Либеральная ненависть» (опубликованной в газете «Завтра» еще в апреле 1996 года), где эмигрант Владимов назван «гудерианцем». Посылая своему зарубежному другу газету

с моей статьей, Аннинский сделал приписку: «То, что «гудерианец», — уже, так сказать, аксиома. Утешение одно: это все-таки паблисити. Но по-русски, с говнецом, как сказал бы Лесков». Лесков вряд ли бы так сказал, слишком уж специфичны нюхательные пристрастия к подобного рода словцам (а может, не только к словцам). Получив письмо друга, Владимов изготовил пространный ответ с нападками на критика своего романа. «Для меня, разумеется, особый интерес представило определение моей (или твоей?) позиции "Либеральная ненависть"... Нет для него (автора статьи) эпитета позорнее (и ненавистнее), чем "либеральный". Сколько мне Ланщиков мозги буравил: "Миша Лобанов! Ах, Миша Лобанов"». Владимов, по его словам, думал, что Лобанов — «мозговой трест правого крыла», а в статье, оказывается, «ничего своего», повторяется сказанное о его герое-смершевце писателем Богомоловым. Замечу, что в статье моей дается ссылка на Богомолова потому, что он сам в войну был в «Смерше», и почему бы не привести его свидетельство о неправдоподобности владимовского персонажа — майора-смершевца Светлоокова, в сущности мелкой сошки, которая по диссидентской предвзятости автора своим появлением на Военном совете армии приводит в состояние страха, оцепенения его членов. Одной этой частности оказалось достаточно для того, чтобы Владимов сделал такой вывод: «Долгое время мы думали, что он (писатель Богомолов) единомышленник Тарковского. Оказалось — единомышленник Лобанова».

Десятилетиями мусолят литературные либералы такие ставшие уже затхлыми наживки, как тоталитаризм, КГБ, «сталинщина» (Троцкий), холокост и т.д. И нет им дела до объективности, до того, что не может все в жизни быть одного цвета, что тот же «Смерш» имел в войну вполне конкретный смысл: смерть шпионам. Ибо шпионы были, как были в тридцатых годах враги народа, что подтверждается и ныне — реваншем преемников тех врагов народа (всех этих троцких-зиновьевых-каменевых-бухариных и прочих), которые, захватив ныне власть в стране, мстят русскому народу — геноцидом.

Ничего в событиях Великой Отечественной войны не видя, кроме зверств смершевцев, особистов, владимовы сделали из них пугал, страшилищ. Но и они ведь не были одного цвета. Мой брат полковник Лобанов Дмитрий Петрович прослужил в армии, в ракетных войсках, более тридцати лет, рассказал мне несколько историй, связанных с особистами. Будучи лейтенантом, он однажды после проведенных занятий забыл сдать секретное наставление по АК-47 и ушел домой. Примерно через два часа к нему явился посыльный солдат и сказал, что его вызывают в особый отдел. Там находились начальник отдела и начальник секретной части полка. Не услышав в свой адрес ни упрека, ни замечания, молодой офицер сдал наставления, извинился за халатность и возвратился домой. Особисты поверили, что здесь нет умысла. И было это в самом начале 50-х годов, при Сталине.

А вот история более «крупного масштаба». У заместителя главного инженера ракетной армии пропала секретная тетрадь. Прокуратура и особый отдел настаивали перед командующим ракетной армии генерал-полковником Мелехиным на предании забывчивого инженера суду. Генерал Милехин доложил о происшедшем командующему ракетными войсками стратегического назначения Н. И. Крылову, который приказал направить полковника к себе. После беседы, основательно изучив суть дела, Крылов принял решение не привлекать виновного к уголовной ответственности, а уволить его со службы по возрасту с сохранением пенсии. Вот вам «всевластие» особистов.

Пишущие диссиденты могут порезвиться по поводу этих фактов, ведь для них не резон все то, что может быть в жизни. Не потому ли так голо, тенденциозно, прямолинейно их «разоблачительство», хотя бы тех же особистов, лишенных оттого каких-либо живых психологических черт, так плакатно?

Художественная немощь — одна особенность опуса Владимова. Другая — та, что обозначена мною словом «гудерианец». Вот о чем шла речь в моей статье. «Автор романа до крайности пристрастен в своих характеристиках героев, ока-

рикатуривая одних, холуйствуя перед другими. Вот два полководца — русский маршал Жуков и немецкий генерал Гудериан. Маршал Жуков с "чудовищным подбородком", "с волчьей ухмылкой", "с улыбкой беззубого ребенка", "с панцирем орденов на груди и животе", со "зловещим" голосом и т.д. И как меняется тон разговора, переходя на умильное придыхание, когда речь заходит о Гудериане. Ну решительно идеал германца! Не завоеватель, вторгшийся в чужую страну со своей танковой армадой во исполнение преступного приказа фюрера, его плана по разгрому России, закабалению ее народа. Не жесткий пруссак, а некий благородный рыцарь воинского долга, вдохновленный идейной борьбой против "серой чумы большевизма", добрый Гейнц, заботливый отец своих измученных в русских снегах солдат, поднимающий своей (довольно театрализованной) речью их "тевтонский дух". Культуртрегер, призванный в собственном мнении открыть туземцам глаза на зло в их системе общественной морали».

Впрочем, в идеализации немецкого завоевателя столько литературно-условного, фальшивого (о чем я писал в статье), что этот дифирамб дает тот же сомнительный эффект, что и бездарный пасквиль на русского маршала. В свое время Л. Аннинский вознес до гомерических высот такое серенькое изделие, как «Дети Арбата» А. Рыбакова. Недавно этот литературный труп попытались реанимировать в «телесериале». Видимо, сверху спустили программу по очернению тридцатых годов с их созидательным энтузиазмом, освобождением от «пятой колонны» в канун Великой Отечественной войны. Как и в случае с Рыбаковым, Аннинский не знает удержу в славословии Владимова, называет его «писателем, составляющим национальную гордость своей культуры». Но в какой мере это славословие отвечает качеству товара, видно по очередному сочинению Владимова «Долог путь до Типперэри» (журнал «Знамя», № 4, 2004). Во вступлении говорится, что над романом автор работал в последние годы жизни, «постоянно возвращался к написанному и многократно его дополнял, исправляя и переписывая в разных вариантах». И что же родила «гора» этих многолетних многократных

дополнений, исправлений, переписываний в разных вариантах? Автор начинает свой роман с эффектной сцены «свержения железного Феликса» на Лубянке. Сидя «в своей срединно-европейской Тмутаракани, в заштатном Нидернхаузене», «воткнув глаза в телевизор, а ухом внимая "Свободе", я ждал десятичасовую "Tagesschau" (обозрение дня *(нем.)*), где свержение железного Феликса покажут подробнее...» И это свержение «первого чекиста» эмигрант Владимов именует дважды «крушением нашего тысячелетнего рейха». И если гитлеровский рейх продлился всего лишь 12 лет, то во сколько же сотен раз страшнее ему «рейх» другой — тысячелетнее русское государство! Не случайно, видно, брошен был клич по телевидению министром культуры Швыдким: «Русский фашизм страшнее немецкого».

После столь нелицеприятного объяснения с бывшей родиной — «тысячелетним рейхом» автор знакомит читателя со своей биографией, рассказывает о своем детстве, юности и величайшем событии в своей жизни — как он с приятелями (мальчиком и девочкой) навестил Зощенко, бывшего в опале после известного постановления ЦК партии. За десять минут встречи с подростками писатель успел вполне проинформировать их о своей жизни. «О чем говорил Зощенко? Сражался с бандами Махно. Был травлен газами. Был в красной коннице».

В 1958 году, работая в газете «Литература и жизнь», я с поэтом Юрием Мельниковым, приехав в Ленинград, побывал на квартире Анны Ахматовой, у которой взял стихи для газеты (как она и уверяла нас, они так и не прошли). Поэтесса была нездорова, лежала в постели, в изголовье ее было большое Распятие, бросавшееся в глаза прежде всего прочего в комнате. До этого я ее видел в 1946 году, когда был студентом МГУ и у нас в комаудитории выступали ленинградские поэты. Ахматова барствовала на сцене, принимая как должное внимание к себе всех других выступавших, комплименты председательствовавшего на вечере Николая Тихонова. Через год после этого имя ее окажется рядом с именем Зощенко в постановлении ЦК партии. Но ничего

сокрушительного в ее быту не произойдет. Из Союза писателей ее не исключали, она продолжала печататься, к 70-летию Сталина вышли ее мастерски сделанные стихи о вожде.

В отличие от нее, осторожной по части фрондирования, Зощенко встречался с иностранными журналистами, демонстрировал свое несогласие с критикой. А ведь было и нечто резонное в ней, в этой критике. Несколько лет назад в журнале «Знамя» появились дневники Геббельса, где нацистский идеолог пишет, как они с фюрером смеялись, читая рассказы Зощенко. Видно, доставляло удовольствие Гитлеру думать, что в предстоящей войне его солдаты будут иметь дело с такими придурками, как эти зощенковские герои. И что из этого вышло?

Время, история страны многому учат, заставляют трезво смотреть на прошлые события, на знаменитых некогда литераторов, их продукцию, хотя бы на ту же мелкотравчатую зощенковскую сатиру. Но какое дело до этого засевшему в немецкой Тмутаракани эмигранту, ковырявшемуся в пронафталиненном диссидентском «ретро». Впрочем, Зощенко понадобился ему для восхваления самого себя. Своего «исторического подвига». Как закрутилась «тоталитарная идеологическая машина» в Суворовском училище, где числился герой, в самом КГБ — когда узнали, что он был у Зощенко! Все карательные силы были брошены на выяснение вопроса — когда это было: до постановления или после постановления ЦК! «Министр Абакумов кулаком стучал по столу: ”Как такое могло случиться в нашей системе, кого вы там воспитываете?.. Тут одно из двух: либо они туда пошли до постановления и тогда их надо наказать примерно — за то, что читали его срамные книжки. Либо они были после — и надо их сажать, а училище — расформировывать”». Следуют допросы «вольнодумца» кагэбэшниками с разными подходами — от лобового («Ведь писателишко никакой. Подонок, пошляк, литературный хулиган, отребье») до изощренно-иезуитского («А вы уверены, что были у Зощенко?»)

История заканчивается триумфом «вольнодумца», одолевшего «тоталитаристов», такой картинкой: «Я вижу, как

идут по каналу Грибоедова два мальчика в черной униформе с голубыми погонами и девочка в цветах польского флага, холодея от страха, но также и от сознания, что иначе они поступить не могут. Человеку (то есть Зощенко. — *М. Л.*) плюнули в лицо, и брызги этого плевка попали в них. Не отговаривайте их от этого пути, не говорите, что этот путь ошибочен и бесполезен... Так еще не все потеряно, господа мои. Еще не только не вечер, но даже не сумерки, и рано хоронить надежды. Еще жива наша скорбная планета, она еще вертится, окаянная!..»

Ну что тут можно сказать — об этом лепете, несообразном, казалось бы, ни с опытом почти восьмидесятилетней жизни автора, ни со здравым смыслом, а разве лишь свидетельствующем, до чего может довести человека «литература», помрачающая живое мироощущение, инерция механического писательства. Не за это ли дряхлое младенчество называет Аннинский Владимова в своей переписке «национальной гордостью своей культуры». (Какой «своей»?)

Показательна во многих отношениях эта переписка. Человек живет десятки лет в Германии и ни слова об этой стране, о культуре, быте, национальной психологии, о небезразличном вроде бы для обоих адресатов «еврейском вопросе» в этом когда-то «логове антисемитизма». Я был, можно сказать, мельком в Германии — дважды в Лейпциге (тогда еще в ГДР), раз — в Кельне, как профессор Литературного института в рамках научного сотрудничества с немецкими учебными заведениями, и кое-что увидел и узнал из общения с немцами. Например, что до сих пор в старших поколениях живет ностальгия по гитлеровским временам. И не забывается война и то, кто был их враг.

Живущая в Лейпциге переводчица Люба, русская женщина, вышедшая замуж за немца, с которым вместе училась в Ленинграде, рассказала мне, что ее знакомая фрау, потерявшая трех сыновей на русском фронте, рехнулась умом и в минуты просветления что-то бормочет о России. Признаться, я не очень сочувствовал фрау, зная, сколько миллионов русских матерей получали в войну похоронки. Когда

я в 1996 году приехал в Кельн, в институт славистики Кельнского университета, меня поселили в так называемый пансион, попросту в одну из комнат большой квартиры. И я чувствовал, как хозяйка по имени Хильда, пожилая немка с водянистыми глазами, недоброжелательна, почти враждебна была ко мне. Перед моей поездкой в Кельн Вадим Кожинов полушутя, полусерьезно сказал мне по телефону: «Вы скажите, что воевали на Курской дуге, но зла не помните». Мы, конечно, не можем забыть, каких неисчислимых жертв стоила нам гитлеровская агрессия, но, видимо, немцы более памятливы в отношении войны, и помогают им в этом диссиденты-русофобы, о чем речь пойдет ниже.

Встречаясь в институте славистики Кельнского университета с Вольфгангом Казаком, автором «Лексикона русской литературы XX века», и зная, что он подростком был в гитлерюгенде, воевал в конце войны с нами, попал в плен, — я чувствовал в разговоре ров между нами, и не только в вопросах литературы, где имена писателей для «Лексикона» выбраны в результате «живого контакта» с эмигрантами «третьей волны».

Но что значат отрывочные сведения, беглые встречи, разговоры в сравнении с тем обилием материала, которым располагает живущий десятилетиями в другой стране эмигрант, хотя бы в познании ее культуры, национального характера? Но и намека на это нет в переписке двух «интеллектуалов». Кажется, сидят они, как и десятки лет назад, в Московском Доме литераторов и услаждаются литературным трепом, начиненным такими именами, как Белла Куркова, Ростропович, Гинзбург, Гладилин, «Наташа Иванова», «мать-наставница Латынина», «Саша Архангельский» и т.п. Тут же — сотрудники «Свободы», через которых идут выступления Аннинского по этому радио, а полученный гонорар становится постоянной темой переписки (как быть — переслать его или оставить до приезда критика в Германию). «Дорогой Лева» и «Дорогой Жора» не скупятся на похвалы друг другу. Жора именует Леву единственным критиком, а Лева в ответ уверяет, что Жора со своими текстами будет

жить, «пока останется на Руси читатель». Как говорил В. Розанов: «если бы евреи были немножко поумнее...»

От обоих достается русским, русскому народу. Аннинский: «Самое жуткое — это наши российские толпы... Похмельное дыхание у них так и эдак смердит»; «тут уж, наконец-то, наша логика проглядывает: наша российская, воровская»; «имперские амбиции». Владимов: «Народ "проспиртован"», «конгресс русопятов». И т.д.

Аннинский любит повторять в письмах сказанные о нем «незабываемые слова» Владимова: «расставишь руки и — полетел». Эдакий чернильный Икар! Куда, однако, полетел? Об этом мы еще скажем, но такой ли уж романтический летун перед нами? Вот какую далеко не летучую инструкцию дает он своему дружку-эмигранту Жоре, как тому устроиться в Москве (в немецкой Тмутаракани тот никому уже не нужен, как и другие диссиденты-русофобы за рубежом, спрос на которых катастрофически пал с разрушением нашего великого государства): «Я передавал через Алю: по моим понятиям, надо, чтобы Г. Владимов написал письмо на имя мэра Москвы Юрия Лужкова, желательно с тем же мастерством, с каким во время оно им написано письмо на имя генсека Юрия Андропова. Чтобы было вокруг чего строить. А добавить "голос общественности", собрать подписи литераторов и напечатать у Оли Мартыненко — за этим дело не станет. Но нужно то, "вокруг чего". Письмо мэру...» Если не дадут квартиру в мэрии, то «можно арендовать дачу в Переделкино. Пожизненно». Если какие-то другие проблемы с паспортом и пропиской, то «придумать вполне можно. Главное оказаться здесь, а это совершенно реально». Тут Лева ссылается на такой неотразимый, по его мнению, аргумент, как: Жорик — не так себе, а «национальная гордость своей культуры».

Да, без гешефта не обойтись, он-то, пожалуй, главный талант для наших приятелей, который они не дадут в себе зарыть. Только с пониманием этого и можно назвать справедливую цену этим литературным летунам.

Ведь кто такой Лев Аннинский? Ни одной статьи, которая стала бы этапной в критике. Об отсутствии всякого

эстетического, художественного чутья свидетельствуют хотя бы его панегирики упомянутым выше бездарным опусам Рыбакова и Владимова. Чего бы ни коснулся он в русской классике — все у него сводится к гаденькой цели — «обличить русскую дурь». Десятки лет потешается иронист не только над «Левшой» с его «непрыгающей блохой», но и над героями-праведниками Лескова, по поводу которых сам писатель сказал: «Сила моего таланта в положительных типах», «искусство должно и даже обязано сберечь сколь возможно все черты народной красоты».

В последнее время наш Лева весьма активизировался по части «обустройства России». К его радости, нет больше «империи зла», навечно покончено с «имперскими амбициями» России. «Никакой зримой перспективы у России нет; из числа великих держав мы вылетели навсегда, пора нам с этим смириться, да заодно и поучиться у "народов малых". А проблема — реальная: как России, которая на протяжении полутысячелетия играла роль "великой" державы, влезть в роль рядовой, малой страны» («Литературная газета», № 24, 2004). Поскольку сильная, великая Россия немыслима вне Церкви, Православия, то наш оракул старается напакостить им. Чего стоит его интервью под названием «Церковь или стая» («НГ-Религии», № 23, 15 декабря 2004). Не считая себя православным, он так расфасовывает содержимое своего «я»: «Я от этих самых "иноверцев" сам происхожу еврейской своей половиной. А если брать половину казачью с мечтами о том, что казаки не такие русские, как все остальные, а особый народ ("субэтнос", как сказал бы Лев Гумилев), так я и вовсе по всем корням "иноверец"...» «Как быть в таком случае? — спрашивает «иноверец» и отвечает: — Быть именно человеком надконфессиональной надэтнической общности», что означает для него быть русским. «Быть русским по культуре... а не "православным"». Православный ставится уже в кавычки, как нечто условное, уничижительное. Нашему иноверцу, надо полагать, известны слова Достоевского, что русский и православный — синонимы. Тем более культуролог, как он представлен в «НГ», должен знать, что

именно Православие является основой, сердцевиной тысячелетней русской литературы, культуры. Не из таких ли иноверцев, плюющих на Православие, ненавидящих его, и вылупился в «Бесах» Достоевского талмудист Лямшин, запустивший в киот иконы мышь со «сверхзадачей». Да и не с Лямшиным ли аукается Аннинский в своем интервью: «Ну и черт... то есть Бог с ней».

Бросаясь в защиту «жидовствующих», Аннинский видит в них эдаких овечек, пострадавших за то, что они «не с теми якшаются». А ведь «ересь жидовствующих» в XV веке была смертельной опасностью для православной России. Занесенная евреем Схарием (Захарием) в Новгород, ересь перекинулась в Москву, в другие места русской земли. Жидовствующие не признавали в Христе Бога, отвергали Троицу, церковные таинства, кощунствовали над Богоматерью, подрывали догматические основы церковной жизни. Все это вело к разрушению Церкви, к гибели православной России, к ее закабалению иудейством — наподобие Хазарии. На непримиримую борьбу с жидовствующими поднялись новгородский архиепископ Геннадий и игумен Волоколамского монастыря Иосиф Волоцкий, обличавший их в своем «Просветителе». Они закончили многолетнюю борьбу победой: на соборе в 1504 году ересь была осуждена и разгромлена.

Если все это ничего не говорит нашему культурологу, то добавлю, может быть, нечто более «пикантное» для него. В шестом томе «Памятников литературы Древней Руси» (конец XV — первая половина XVI веков) отмечается, что «вопрос о содомии (гомосексуализме)... особенно остро встал во времена Филофея, когда ересь жидовствующих распространила этот порок и среди светских лиц (у еретиков, по предположению некоторых историков, он выполнял роль ритуального действа)». Как тут не вспомнить разгул этой публики в администрации Ельцина, о чем так картинно пишет в своих мемуарах генерал А. Коржаков, бывший начальник службы безопасности Ельцина.

Как в черной мессе — все перевернуто, все навыворот у нашего иноверца. Начиная от креста: «Встанет вопрос:

”Кто кого?” — схватимся и за крест... Вокруг креста, вокруг отсутствия креста». Кончая народом, которому шибко достается от Левушки. Сам он говорит о себе, что «не получил от родителей никакого бога, кроме двух Емель: Пугачева и Ярославского». Казалось бы, имя «бога» Аннинского — Емельяна Ярославского (Губельмана) все ставит на свои места: именно эти ярославские-губельманы всеми средствами, угрозами, репрессиями внедряли в России воинствующее безбожие, организовывали погромы церквей, расправы над священниками. Но чадо Губельмана, не касаясь этого, перекладывает всю вину на... народ, на его «ярость, лютость к инакомыслию, иноверию». По его словам, «не церковь гонит инакомыслящих, она только оформляет (окормляет) свойственную русским готовность обличать всякую инакость. Церковь сама испытала это на себе, когда ярость населения, подхваченная большевиками, пала на ее собственную голову». Какая казуистика: не губельманы развязали войну против верующего русского народа, они только подхватили «ярость населения», которая пала и на голову Церкви. Ах, как чешутся руки у аннинских «разделаться» с Православием, «заменить его инакостью». Но следовало бы помнить «иноверцам», что ведь и у дедов их ничего с этим не вышло. В революционное время, в самый разгар борьбы с религией в русском народе, в самом «красном лагере» не поддавалась вытравлению вера в святыни. Об этом свидетельствует множество воспоминаний современников. Красноречивый факт приводит сын известного философа Евгения Трубецкого — Сергей. В 1920 году, тридцати лет, он был арестован за «контрреволюционную деятельность в пользу белых армий» и несколько дней находился в арестном помещении при кремлевском карауле. Потом через Спасские ворота стража повела заключенных в новую для них тюрьму на Лубянке. «Когда проходили через ворота, по старой московской традиции почти все мы сняли шапки. Я заметил, что большая часть нашей стражи тоже их сняла. С. П. Мельгунов, как принципиальный атеист, с интеллигентской цельностью и прямолинейностью, не снял шапки, и один из конвоиров ему

заметил: ”Спасские ворота — шапку снимите!”» (Князья Трубецкие. Россия воспрянет. Воениздат, 1996, с. 327).

В 1928 году в Москве, в Московской Патриархии, побывал митрополит Литовский и Виленский Елевферий. В своих живых записках «Неделя в Патриархии» он пишет, как ехал из Москвы обратно в Литву в одном купе с «красными военными». «Мы, батюшка, курим, — обратился ко мне один из них, — и купе — для курящих. Не будем ли вас беспокоить этим? Впрочем, когда будем курить, мы будем выходить из купе». Такое обращение сразу устраняло у меня предубеждение против красных военных, сложившееся под влиянием слухов об отношении их к священнослужителям в революционное время: хотя нужно сказать, что мне приходилось ездить по железным дорогам в самый разгар революции, быть среди военных, правда, я не видел со стороны их проявления никакого внимания к себе, но и не только не помню каких-либо обидных для себя действий, но даже не слышал и оскорбительных слов. Теперь я почувствовал, что духовная отчужденность во мне сразу пала, я увидел в них уже не ”красных военных”, а русских, православных, у которых живет русская душа, религиозное чувство, а с ним вместе и надлежащее уважение к представителям Церкви» (Из истории христианской Церкви на родине и за рубежом в XX столетии. М., 1995, с. 213).

В хрущевские времена, в пресловутую «оттепель», с троцкистской ожесточенностью шел погром церквей, духовенства (кстати, сам Хрущев в двадцатых годах был в троцкистской оппозиции). Кукурузник Никита обещал вскоре »показать последнего попа», а народ переполнял оставшиеся в живых храмы. Идеологическая шайка на цековской даче под коньячок и ухмылку расписывала для своего первого секретаря «программу», как уже нынешнее поколение будет жить при коммунизме, а народу, жившему своими заботами, до этих циничных прожектов не было никакого дела. О настоящем времени и говорить нечего — после всех испытаний народ только еще более утверждается в тысячелетней вере, видя в ней главную опору в своем противодействии, в своей борьбе против обложившего Россию талмудистского ига.

Не случайно это стояние в вере вызывает ненависть врагов. Очень уж не по нутру им неповрежденное Православие, верность ему русского народа. Например, Солженицыну не нравится «окаменелое ортодоксальное, "без поиска"» Православие, как не нравится оно и «архитектору перестройки» А. Яковлеву, недовольному тем, что Церковь не может отойти от «устаревших догматов». Как будто может быть какое-то не «ортодоксальное», не «догматическое» Православие. Расшатывающий догматы «поиск» и означает конец Православия.

Но вернемся к нашей паре: Аннинскому-Владимову. Главное, что их объединяет в литературе, перед чем не имеет никакого значения, в каком «жанре» они пишут, — это тип их мышления. Статья ли это, роман, письмо, «эссе» — все одинаково с неизменным мелкотравчатым «анализом» с гнильцой, мелкостью духа, несколько комической надменностью элементарных суждений. И все-таки — внутренняя неуверенность в своей «победительности». Моя статья «Либеральная ненависть» с критикой романа Владимова «Генерал и его армия» и панегирика на него Аннинского была опубликована в газете «Завтра» (апрель 1996 г., № 17) на одной странице со статьей Аннинского «Русский человек на RENDEZ-VOUS». Почему же тогда оба не обличили меня публично, если считали себя правыми, а облаяли из-под литературной подворотни — в своей переписке, и только спустя семь лет она была опубликована в журнале «Знамя». Можно, впрочем, это понять из такого признания Владимова: «Другое худо, что поле битвы вокруг "Генерала" осталось за ними. Как всегда. Последнее слово — почему-то они говорят... Или в самом деле нет у нас критики? Вместо нее — Курицын-сын, "Малолетка" и мать-наставница Латынина? Есть, правда, Лев Аннинский — только что же он может один?» Все правильно: в их критике одни «малолетки», «курицыны-сыны», «матери-наставницы Латынины», да и такие же аннинские. Двадцать с лишним лет тому назад в журнале «Молодая гвардия» в моем цикле «Из памятного» был опубликован набросок к портрету этого критика «С

тележкой по литературе». Сделаю из него краткую выписку: «Как ни увижу его, все бежит с тележкой, с набитой сумкой-рюкзаком на колесиках. Да ведь и в литературе он, критик, также все бегает с тележкой, вот уже не одно десятилетие все бегает, промышляет добыванием "ядра ореха", "самовыражением". Разного рода эти "самовыражения", как содержимое рюкзака, сегодня одно, завтра другое... Вчера он бежал, подталкиваемый "интеллектуальным ветром, дувшим в нашей прозе", а сегодня — "не пора ли попробовать жить?" "Личность", "личностное начало" — единственная для него "реалия", он начинает заходиться в словесном коклюше на эту тему. Не какая-то там толпа, масса, народ, а "ценностный индивидуум", единственно способный к "самовыражению". Нравится ему "Кафкианская магия деталей" — выразил и это. Не нравится русский фольклор — и это выразил. В восторге от мифа — пожалуйста: "С неба падает на нас на всех... колумбиец по имени Габриэль Гарсиа Маркес". Надоел миф, "аллегоризм" — "жажду беллетризма". Надоел "дух" — "жажду плоти!" Но и плоть "неоднозначна": ненавистна ему "тупая, звериная, сытая сила кулацкой плоти". "Однозначно" — "неоднозначно"... То этот критик называет себя духовным наследником русской культуры, Достоевского, то подчеркивает, что "в жилах Достоевского текла литовская кровь"...

Вокруг него не унимается "полемика", он чуть ли не "властелин дум". Вроде бы наш герой на коне, а все видна та самая тележка с набитой сумкой-рюкзаком... Никуда от себя не денешься».

Этот набросок я перепечатал в своей книге «В сражении и любви» (М., 2003 г.), заключив его таким postscriptum'ом «На вечере в Доме литераторов в декабре 2000 года "Лидеры XX века" (об итогах ушедшего столетия) ко мне в президиуме подсел Лев Аннинский, и первое, что он сказал: "А я сейчас без тележки"».

Два десятка лет еврейского «триумфа» сказались на его позе, придав ей более воинствующий вид. Он уже не бегает с тележкой по литературе, а выставляет себя неким прытким воителем. «Удары шпагой» — так озаглавил он свою

переписку с Владимовым. Он занял позицию фехтовальщика, пыряя пером во все стороны, где видятся ему наиболее уязвимые места России, забрызгивая их грязью, злорадствуя над ее нынешними бедами. Подергиваясь в заклинании, что ее больше нет, нет, нет! Удары шпаги нашего иноверца, конечно, квелые, отдающие пустозвонством, но пусть потешится малый.

Теперь о его друге Владимове с его романом «Генерал и его армия». Не стоило бы говорить об этом фарсовом опусе, если бы не вопрос, кому он нужен и для чего нужен. В литературе о войне есть хорошие, талантливые книги русских писателей В. Курочкина «На войне как на войне», Ю. Бондарева «Горячий снег», К. Воробьева «Убиты под Москвой», Е. Носова «Шлемоносцы» и т.д. Но ни один из них, как и другие русские авторы, даже не упомянут в книге «Русская литература XX века», допущенной в 2002 году Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов высших учебных заведений. Зато нагло рекламируется там все тот же картонный «Генерал и его армия», да еще приставлен к нему роман В. Астафьева «Прокляты и убиты» с его клеветой на русского солдата — как бы в награду за это. И не удивительно признание заслуг гудерианца на либерально-государственном уровне. Ведь вручил же Путин Государственную премию живущему в Германии бешеному русофобу, автору «Чонкина» Войновичу — да еще в день начала Великой Отечественной войны. Кормясь и подкармливаясь у немцев, эта чернильная публика злобствует на русского солдата-освободителя, на Россию в знак своего «нового, немецкого патриотизма». Перебравшийся в Кельн диссидент Лев Копелев устрашающе потчевал немцев рассказами об ужасах бесчинств, насилий, убийств и т.д., которые он, по его словам, видел, когда советские войска входили в Германию. Солженицын, не расстававшийся всю войну в «батарее звуковой разведки» с портретом своего кумира Троцкого, толкача «перманентной революции», в своей пьесе «Пир победителей» с патологической злобой пишет о русских воинах-победителях, о «Матросовых приду-

манных, глупеньких Зоях», возносит предателей Родины. В статье «Как нам обустроить Россию» он казуистически вещает, почему ему поперек горла наша Победа. Не раз наблюдавший за поведением наших либеральных сочинителей в Германии известный русский писатель, ректор Литературного института Сергей Есин в своем «Дневнике ректора» пишет, например, об Анатолии Приставкине (кстати, советчике Путина), как он, приезжая в Германию, заискивает перед немцами, глумясь над «старшим братом», т.е. русским народом, заявляет на официальном собрании, что он «как писатель скорее нужен Германии, чем России».

Как было бы хорошо, если бы эти литературные кочевники, считающие, что они нужны не России, а Германии, Америке, Израилю, навсегда оставались бы там. Но ведь кончается тем, что, никому там не нужные, они возвращаются в Россию, не упуская здесь возможности, в меру своих одряхлевших сил, лишний раз лягнуть «эту страну».

«Уметь стоять за Россию не только головами, но и головою»

Тогда, в годы Великой Отечественной войны, при всей жестокости ее все было ясно и видно. Виден был враг и ясна была задача: разбить его, не допустить овладеть Мамаевым курганом — главной стратегической высотой в Сталинградской битве. Ныне сам Путин вынужден признать, что против России идет война, хотя и не называет, кто же конкретно ведет с нами войну, кто они — наши враги. Но мы-то знаем, что это враг особый, невидимый для массы людей, вроде бы не пускающий в ход боевые средства войны, но оттого только более коварный. Он незримо занял все наши стратегические высоты, захватил нашу экономику, финансы, богатства недр, телевидение, прессу, культуру, страшнее Гитлера осуществляет геноцид русского народа, сеет растление в молодом поколении. И этого врага, занятые им стратегические высоты уже не возьмешь в открытом бою, физической силой, даже

тем героизмом, который делал такие чудеса в Великой Отечественной войне. Здесь невольно вспоминаются слова известного славянофила, великого патриота России Ивана Аксакова. В своей статье «В чем недостаточность русского патриотизма» он пишет, что «время и обстоятельства требуют от нас патриотизма иного качества, нежели в прежние годины бедствий», что «надо уметь стоять за Россию не только головами (как на войне. — *М. Л.*), но и головою», то есть пониманием происходящего, «не одним оружием вещественным, но и оружием духовным; не против одних видимых врагов, в образе солдат неприятельской армии, но и против невидимых и неосязаемых недругов».

Ставший жертвой криминального режима нынешней Эрэфии русский патриот Павел Хлебников, редактор русской версии американского журнала «Форбс» (где публиковал потрясающие материалы о мафиозном разграблении России, за что и поплатился жизнью) — этот искренний русский патриот в своих предсмертных записках говорит о «драгоценной русской крови». И какое море этой крови пролито в XX веке и проливается до сих пор! Если и есть тайна этой невиданной жертвенности, то путь к пониманию ее может быть только религиозным. В нашей духовной жизни бывают мгновения, когда сознания, чувства касается то бытийное, что навсегда остается для нас фактом некоего откровения. Ничем иным не могу назвать тот момент, когда меня пронзила мысль о русском народе, поистине уникальном в истории по своим духовным, душевным качествам. Наивно? Но ведь ненависть к нам наших врагов должна бы заставить нас задуматься. Чем же мы так отличаемся от них и что в нас их «не устраивает». Один из либеральных главарей, припадочный русофоб, бывший «первый вице-премьер РФ» Чубайс прямо так и корчится в злобе, когда говорит о Достоевском: «Я испытываю почти физическую ненависть к этом человеку... Его представления о русских, как об избранном, святом народе, его культ страдания и тот ложный выбор, который он предлагает, вызывает у меня желание разорвать его на части» (цит. по: «Советская Россия», 5 февраля 2005).

Вся соль в том, что бешеную ненависть вызывает здесь, скажем, не «еврейский вопрос» писателя, а его отношение к русским как «избранному народу», его, мол, «ложный выбор» (который, как известно, связан с Христом, Православием — этой сердцевиной духовной, исторической жизни русского народа, залогом его силы). В этой избранности русских и видится Чубайсам главная опасность для них, «реформаторов». И надо сказать, что в этом они не ошибаются, ибо все эти двадцать лет осуществляемого ими геноцида русского народа показали, что невозможно вытравить в нем даже в таких условиях инстинкт своей избранности, или, как это именуется иными, «имперское сознание». И вся историческая жизнь русского народа после смерти Достоевского подтверждает прозорливость его слов о русской нации как «необыкновенном явлении в истории человечества», вносящем дух примирения, братства во взаимоотношения с другими народами, что было и в советский период русской истории. Бывают косвенные доказательства тех или иных духовных явлений, например реальность существования беса в человеке, судя по необъяснимому накалу его ненависти. Таково русофобское беснование автора статьи «Деление ВВП» Ю. Афанасьева («Новая газета», № 8, 3—6 февр. 2005). Источник ненависти у обоих один, Чубайса трясет от «избранности русского народа», у Афанасьева — пена на губах, когда он говорит о нас, русских, о «тех, кого принято называть быдлом», «темнотой». «Я как историк хорошо знаю, из чего сегодня состоит сознание большинства русских людей, включая элиту. Это опилки... даже хуже — настоящие ”тараканы” в голове...»

Если бы такое сказал русский о евреях, то все тысяча двести еврейских «правозащитных организаций» в нашей стране (и где нет ни одной таковой русской) подняли бы всемирный гвалт и Россия была бы объявлена антисемитской, подлежащей расправе. И говорит это «Президент РГГУ (Российского государственного гуманитарного университета), доктор исторических наук, профессор Юрий Афанасьев». Можно представить себе, какие кадры готовит этот «прези-

дент», какую расистскую отраву вносит он в образование, сознание учащейся молодежи. В свое время этот «историк», работая в журнале «Коммунист», обвинял меня как автора осужденной решением ЦК КПСС статьи «Освобождение» за «отход от принципов марксизма-ленинизма, социализма», а с наступлением «перестройки» принялся поливать грязью тот же марксизм-ленинизм, социализм, теперь же у него свой «гуманитарный» гешефт. И сколько у этого выкормыша Сороса, ЮКОСа презрения, «брезгливости» к ограбленным, ставшим нищими русским людям. С какой наглостью хохмит он о «стариках», выступающих против отмены льгот, об их «протесте под лозунгом: ”Оставьте нас там, где мы торчали, — в дерьме. Дайте нам доторчать до конца наших дней”».

И если говорить о быдле, то этим быдлом (нравственным, интеллектуальным, каким угодно) и являются именно афанасьевы, в сравнении с ними любой русский старик — целый мир, целый духовный космос, потому что здесь есть какая-никакая природная субстанция, а там только крысиные ходы голой мысли, агрегат злобы. Вот почему бесперспективны планы этой человеконенавистнической касты, ведь для покорения надобно превосходство культурное, духовное.

Впрочем, цену русским знают и сами они, клевещущие на нас. Вспоминается, как по телеканалу НТВ (это было где-то в июне 2004 года) журналиста Марка Дейча (в «Дуэли» с Ципко), поливавшего грязью Россию, ее прошлое, особенно эпоху советскую, — вдруг спрашивает один из зрителей: «Так скажите, ничего хорошего нет в России?» И этот Дейч отвечает: «Есть. Духовность. Я много поездил по миру и ничего подобного нигде не видел». Если это так, то зачем же так пакостить «этой стране» с такой духовностью? Ведь то, что вырвалось у этого «дуэлянта», сказано давно другими. Так, Илья Эренбург в войну в статье «Строптивая Европа» (14 мая 1943 г.) писал: «Мы спасли прапрадедов современных европейцев от нашествия кочевых орд. Мы спасаем и спасем наших современников, детей разноплеменной Европы — от сапога немецкого фельдфебеля. Как бедна была бы Европа

без русского сердца, без русской совести, без русского гения». Теперь в ходу больше слова таких, как «министр культуры» — шоумен Швыдкой, объявивших нам, русским, войну: «Русский фашизм страшнее немецкого». И на эту объявленную нам войну не должно ли отвечать своим нынешним врагам тем же, о чем говорит тот же Эренбург в той своей статье военных лет: «Знают это все русские, что только ненависть, сильная, как любовь, оправдывает войну. Для такой ненависти нужно созреть, ее нужно выстрадать. А война без ненависти — это нечто бесстыдное, как сожительство без страсти».

Изощряясь всеми способами, «демократы» хотят внедрить нас в «цивилизованный мир», уничтожив наш Богом данный национальный духовный склад, то, что называется менталитетом. Русский народ виноват еще и тем в глазах «цивилизаторов», что он не способен к усвоению «демократии» из-за своей отсталости, «недисциплинированности». Но, может быть, иногда в этом что-то есть и не совсем худое? Священник Димитрий Дудко приводит такой, пусть и полушутливый, разговор в одном из своих «фрагментов»: «Рассказал священник, он как-то в компании говорит:

— Русские — самый недисциплинированный народ.

Еврейка, близ сидящая, подтверждает:

— О да!

Священник продолжает:

— Когда придет антихрист, все ему в силу своей дисциплинированности будут кланяться, а русские скажут: ”А зачем нам ему кланяться?” И не поклонятся, в силу своей недисциплинированности».

Шутка, конечно, но нет ли здесь некоей правды, в этой русской неподатливости к «общепринятым авторитетам», «мировым стандартам»? А что касается «дисциплинированности» хотя бы тех же немцев, я вспомнил один забавный эпизод. Осенью 1996 года от Литинститута выезжал я в Кельн, в институт славистики Кельнского университета. Иду по улице, по направлению к знаменитому Кельнскому собору, любуясь, восторгаясь обилием зелени, частыми лу-

жайками между домами, кварталами, ничего подобного «природного» ни в одном городе не видел. Пока прохаживался, разглядывал, думал о своем, постепенно что-то изменилось в погоде, пошел дождь, усиливаясь. Прохожие сворачивали к домам под прикрытия подъездов со стоящими рядом велосипедами. (Меня озадачило потом количество этих велосипедов вдоль улицы, в любое время неприкосновенно дремлющих без всякого присмотра, у нас за час растащили бы это «бесхозное хозяйство».) И вот, как и все прохожие, я стою у подъезда, жду, пока перестанет дождь. Постепенно он унимается, становится тише, но никто не трогается с места. Дождя почти нет, а немцы все стоят. Пора идти, я только сделал несколько шагов, как за мной последовал сосед по стоянке, затем, вижу, другие от подъездов других домов задвигались, выходя почти строем на улицу. Я даже восхитился: какая дисциплинированность, какой инстинкт порядка: все стоят — и должны так стоять, пока кто-то не подаст команды. Я, конечно, не был тут командиром, но остался очень доволен, что стал свидетелем этой картины. Иногда уличные наблюдения многое могут сказать.

Да, железная дисциплина у немцев, но многим ли в голову приходит (во всяком случае, мало кто лично скажет об этом), что минуло уже шестьдесят лет после окончания войны, уже сменилось несколько поколений немцев, а они, еще не родившиеся тогда, должны до сих пор платить Израилю миллиардные «возмещения» за преступления, которые они, новые поколения, не совершали. И так их взнуздали страхом перед самим словом «еврей», что вот уже и в новом тысячелетии безмолвствуют при этом слове зигфриды, как по команде набравшие в рот воды. Вот вам тоже пример «дисциплинированности». Под угрожающим надзором «сынов Израиля» пират телеящика Познер вещает (уже напрямую, не изворотливо), что он так ненавидит немцев, что никогда не хотел побывать в Германии, не может слышать немецкой речи. Как-то (это было вечером 29 января 2005 года) по радио «Свобода» передавалось интервью с получившим премию Улофа Пальме скандальным «правозащитни-

ком» С. Ковалевым. Обращаясь к своим коллегам-соплеменникам в Германии, он вцепился как клещ в Шредера, призывая «своих» дать тому урок «демократической» накачки (только я не понял — за что). И говорилось это тоном, как будто речь шла о каком-нибудь мелком клерке, не о канцлере Германии. И даже кажется, что канцлер вряд ли решился бы поставить на место ядовито-въедливого «правозащитника». И не только в Германии страшатся «правозащитников» Ковалевых. Русские в этом отношении свободнее, и это признак еще здоровой нации. Но не хватает нам зачастую характера, жесткости, самой православной воли. Слишком много в нас благодушия, «отходчивости», как говорил презиравший нас за это Ленин — «русский человек добряк». Мы боимся быть обвиненными в национализме, в отличие от других народов, народцев.

Русский народ со своей несчастной доверчивостью к власти не может поверить, что она может сознательно уничтожать его. И зная это, пользуясь своей безнаказанностью, нынешняя антирусская власть, не давая продыха, садистски терзает народ, обрушивая на него все новые и новые людоедские реформы. Последовательно реализуется план сокращения русского населения до 50 миллионов. Облеченный абсолютным доверием Путина «реформатор» Греф (с его хулиганским стишком «Умом Россию не понять, а надо знать, едрена мать») изрекает: «Главная наша проблема — это доживающее поколение». Оно, это «доживающее поколение», на богатстве наследия которого паразитируют эти «обновители России», и мешает, оказывается, «реформам», которые не сдвинутся с места, пока не вымрет это поколение. И уже знак духа времени такого рода официальные поощрения: «Телеграфное агентство сообщило: указом президента РФ медалью "За заслуги перед Отечеством" награждена Галина Гранаткина — директор похоронного бюро "Ритуал"» («Советская Россия», 19 авг. 2004). Поистине, по заслугам каждый награжден. В советское время наградами отмечали многодетных матерей («Мать-героиня»), ныне — похоронщиков.

Верхом цинизма, издевательства над народом, старшим поколением, фронтовиками стала отмена льгот в канун великого праздника Победы, разгрома шестьдесят лет тому назад гитлеровской Германии. И что же показывали в это время по телевидению? Вот один из собравшейся в районе «Белого дома» толпы средних лет человек (не чернобылец ли?) плачущим голосом взывает с экрана: «Люди добрые, пожалейте нас!» (это о толкачах шулерской «реформы»). Другой кадр: приехавший в провинциальный город ставший «знаменитым» Зурабов барабанит перед толпой байки о пользе, выгоде «монетизации»: к нему подходит с букетом цветов пожилая женщина, вручает их ему со словами: «Ведь нам будет теперь лучше?» И тот не моргнув глазом отвечает: «Будет лучше». Попробуйте назвать этот наглый обман настоящим именем — вы многим рискуете. По пять лет тюрьмы получили молодые люди за то, что, возмущенные вопиюще антисоциальными действиями «социального» министра, попортили мебель в его служебном кабинете. Того самого министра, который приготовил народу и такие подарки, как бесплатное пребывание в больнице только в течение пяти дней, выпуск лекарств и продажу их в аптеках без государственного контроля, то есть безнаказанное право травить, приговаривать к смерти массы населения страны. Открыто говорят и пишут в газетах о том, что Зурабов проталкивает эти «проекты» не бескорыстно, ибо как бизнесмен он связан с «рынком лекарств» и бесконтрольность их сулит ему многомиллиардные доходы. И несмотря ни на что, этот «Миша Зурабов» (привычное обращение наверху друг к другу по «ласковым именам») почитается его начальством незаменимым кадром.

Вот еще на том же телеэкране: в коридоре Госдумы в перерыве между заседаниями дает интервью Грызлов о предстоящих благодеяниях для льготников. Слышится за кадром чей-то голос: «Это преступление!» По-пришибеевски прямой начальник Госдумы коротко чеканит: «Надо вызвать врача!»

Верно, позднее (в конце января, в феврале) что-то изменилось, когда на улицы городов страны вышли массы возмущенных людей и власти струхнули (во многом, может

быть, и под влиянием «оранжевой революции» на Украине). Да и струхнули ли? Ибо какие власти? Недоумки? Провокаторы? «Пятая колонна»? Так восстановить против себя весь народ — от пенсионеров до нынешних офицеров, работников милиции, всех честных тружеников. Да и современная молодежь, с которой, возможно, только и считаются наверху, полагая, что она стала уже необратимо «рыночной», абсолютно только с долларом в голове, — современная молодежь больше видит и знает, чем представляют ее «воспитатели». Как ни стараются они оторвать ее от старшего поколения, от дедов-фронтовиков, свидетелей и участников героической советской эпохи — молодежь знает, что не воровством были заняты их деды, что все созданное ими до сих пор не могут разворовать «демократы». Молодежь видит, как измывается власть над их дедами и бабушками, прибавляя по тридцатке к их нищенской пенсии, выталкивая из автобусов как безбилетников, морально унижая наплевательством на их боевые, трудовые заслуги. Звонит мне моя студентка Литературного института Светлана Рыбакова и говорит о своем отношении к тому, что так задело массы людей. «Правители нарушили пятую заповедь: чти отца и мать свою...» В ее голосе волнение, неожиданное для меня, потому что знаю ее как глубоко воцерковленную, вроде бы далекую от мирских, тем более от политических страстей. А тут такая оценка, да еще с таким примером из рассказа Шаламова, — как в подмосковном доме престарелых он оказался вместе с бывшим лагерным надсмотрщиком, которого он знал, когда был зэком на Колыме. И вот этот мучитель заключенных кончил тем, что в старости, одичавший, вымороченный, он ел собственный кал. «Кончат плохо и эти мучители», — закончила студентка.

* * *

Митрополит Вениамин (Федченков) в своей книге «Записки епископа» вспоминает следующий разговор о Сталине.

«В 1945 году, когда я был вызван из Америки на коронование (”на столование”) Патриарха Алексия, заехал я в Вос-

кресенский храм в Сокольниках. Поклонился Иверской... и оттуда — на противоположную сторону, поехал на машине в Донской монастырь на могилу Патриарха Тихона. Сопровождал меня бывший келейник Патриарха Сергия (теперь наместник Троице-Сергиевой лавры), архимандрит Иоанн.

Шел слякотный снег.

Я попросил его рассказать что-нибудь о Патриархе Сергии.

Между прочим, он сообщил следующее. И. В. Сталин принял Митрополита Сергия, Митрополита Алексия и Митрополита Николая... Отец Иоанн не знал, о чем они там говорили. Только одно помнит: Митрополит Сергий, воротившись от И. В. Сталина, ходит в доме по комнате и, по обычаю, что-то про себя думает. А о. Иоанн стоит у притолоки молча... вдруг Митрополит Сергий вполголоса говорит:

— Какой он добрый!.. Какой он добрый!..

Это он так думал и говорил о Сталине...

Я говорю о. Иоанну:

— А вы не догадались спросить у Владыки: ведь он же неверующий?

— Спросил.

— И что же ответил Митрополит Сергий?

— А знаешь, Иоанн, что я думаю: кто добрый, у того в душе живет Бог» (Митрополит Вениамин (Федченков). Записки епископа. СПб.: Воскресение, 2002, с. 236).

В послесловии к составленному мной сборнику документальных материалов «Сталин» известный священник Димитрий Дудко пишет: «Наши патриархи, особенно Сергий и Алексий, называли Сталина богоданным вождем... Да, Сталин сохранил Россию, показал, что она значит для всего мира... Поэтому я, как православный христианин и русский патриот, низко кланяюсь Сталину».

В канун 60-летия Победы начался новый накат на Сталина, без которого не было бы этой Победы. Показательно выступление диакона Кураева (радио «Радонеж», 28 марта 2005). В свое время в статье «Дети свободы» (журнал «Молодая гвардия», 1994, № 7, 8) я писал о таком «приеме» этого

эрудита, когда рядом с отцами Церкви, православными святыми, у него — шеренга из модных в «интеллектуальной среде» имен: М. Мамардашвили, С. Аверинцев, М. Цветаева, М. Гершензон, А. Мейер, А. Экзюпери, Р. Гароди и т.п.: «Один голос сменяется другим, как в христиански двусмысленной, под античными масками, оперетке Оффенбаха». Теперь, в своем выступлении по названному радио А. Кураев включился в хор таких одиозных хулителей Сталина, как солженицын-волкогонов-радзинский. Что это — историческое невежество или низкопробный нигилизм, когда под общую «зачистку» попадают поставленные в один ряд Ленин, Троцкий, Сталин, Хрущев, без всякого учета их подлинной роли в истории России? На вопрос радиослушателя о причине ненависти погромщика церквей Хрущева к Сталину А. Кураев отчеканил: «И среди бандитов есть свои разборки». Вот она, лексика «Огонька» Коротича, в свое время вдоволь похулиганившего под эгидой «архитектора перестройки» А. Яковлева в «разоблачении Сталина». Наш эрудит не терпим к критике, называя, например, мерзостью напечатанный в газете «Русский вестник» отзыв на его статью «Война и сказки» в журнале «Благодатный огонь». «Мерзостью», видимо, сочтется и несогласие с тем, что из всех книг о Великой Отечественной войне А. Кураев в своем выступлении назвал только «знаковый» по неправде роман В. Астафьева «Прокляты и убиты». Но больше всего, пожалуй, смущал несдержанный, возбужденный тон разговора А. Кураева, особенно выделяясь этим на фоне спокойных, вежливых реплик радиослушателей. Один из них сказал, что он из сословия дворян, которые пострадали после революции, но он не осуждает Сталина, в действиях его была историческая необходимость, он был великий человек, как Петр I. Другой радиослушатель заметил, что ведущий беседу тонко развенчивает Сталина, но Сталин был против либералов-предателей.

Когда я недавно (в октябре 2004 года) побывал в Сталинграде, то с особым чувством вспоминался мне знаменитый приказ № 227 И. В. Сталина, подписанный им в смертельно опасное для страны время, когда враг грозил прорывом в Сталинград и захватом его. Даже и теперь, по прошествии

более шестидесяти лет после тех грозных дней, ледяным ветром эпохи веет от суровых слов приказа, беспощадного в требовании не отступать, стоять насмерть. Как актуален этот глубоко патриотический документ в наше время!

Кто-то из видных зарубежных политиков сказал, что надо сокрушить русский народ, чтобы он не мог породить нового Сталина. Увы, Сталин рождается, может быть, раз в тысячу лет и в особые исторические эпохи, но наш народ поистине стал почвой (не материалом, каким видели его для себя троцкисты), на которой только и могла взрасти такая колоссальная личность. И, конечно же, органична связь бывшего ученика Тифлисской духовной православной семинарии с русской православной верой. (Любопытно, что в первоначальный текст авторов его биографии, где сказано, что он учился в «тифлисской духовной семинарии», сам Сталин вписал слово «православной».)

Сокрушившая гитлеровскую Германию, претендовавший на мировое господство «Третий рейх» с его нацистским расизмом, одержавшая над врагом не только военную, но и духовно-нравственную победу, Россия ныне сама потерпела сокрушительное поражение. Не в прямом военном столкновении, а в духовной войне с мировым злом, концентрацией которого стало воинствующее антихристианство «Нового мирового порядка». На Западе всегда была непонятной и чуждой православная Россия, как, впрочем, и Советский Союз, в котором, несмотря на государственный атеизм, во многом сохранилась система традиционных духовных ценностей русского народа. Особенно эта враждебность Запада к Православию усилилась в последнее время. Такая вроде бы мелочь, но характерная: чтобы снискать благосклонность западных хозяев, нашим диссидентам уже мало быть антисоветчиками, русофобами, надо быть прежде всего врагами Православия. И нет недостатка на этот счет в охотниках не менее ретивых — пресловутого Бжезинского, изрекшего, что после краха коммунизма главным врагом для Америки, для мира становится Православие. Известный диссидент А. Синявский, оказавшись в эмиграции в Париже, пустился по

«Свободе», другим радиоголосам клеймить «православный фашизм». Из Православия хотят сделать пугало, страшилище для «демократии», «цивилизации», растворить его в «плюрализме». Государственный секретарь США Олбрайт, приехав в Москву, спешит прежде всего к Патриарху, чтобы защитить «права конфессиональных меньшинств», всякого рода ересей, сект. Продолжается мировая война, в которой видимое насилие, вроде бандитской расправы «цивилизованной» Америки над Сербией, Ираком, сообщается с войной невидимой сил сатанинских, пронизывающих нашу современную жизнь, с христианством, Православием — верой, не извращенной тем материальным идолопоклонством, перед которым пал Запад в блеске своей духовной нищеты.

В русском народе, как народе глубоко православном, живет ничем не вытравляемая — никакими «перестройками-революциями», никакими соблазнами безбожной цивилизации, — живет эта жажда духовного идеала, справедливости, дающая ему с Божией помощью неодолимую силу сопротивления злу. И может ли быть уныние, страх, боязнь вступить в борьбу со злом там, где торжествует истина: «...мужайтесь: Я победил мир» (Иоанн, 16, 33).

О НАШЕМ НЕВЕДЕНИИ

— Михаил Петрович, к сожалению, нашлись читатели, считающие, что журнал* несправедлив в оценке Солженицына, которого они называют великим патриотом. Какова ваша позиция?

— Есть такое явление, которое можно определить как неведение. Явление, довольно обычное как в жизни отдельного человека, так и в общественной жизни, даже в жизни целого народа. В свое время знаменитый русский публицист, общественный деятель, славянофил Иван Аксаков считал неведение, непонимание происходящего, гражданскую слепо-

* Русский журнал. Март-апрель, 2007.

ту национальным бедствием. Если ограничиться в данном случае литературой, то можно задаться вопросом: почему сделалось модой восторгаться «серебряным веком»? Абсолютное большинство не имеет о нем никакого представления. Ведь это самая растленная эпоха в истории русской литературы начала XX века. Можно уточнить — единственно растленная, не считая порожденную «демократией» литературу нынешнего времени. Даже и достижения формальных «серебряников», хотя бы стихи, отравлены болезнью духа. Поэтесса Анна Ахматова, сама дитя того времени, в «Поэме без героя» рассказывает о встрече со своими уже умершими дореволюционными друзьями.

Об одном из этих мертвецов, Михаиле Кузмине, поэтесса говорит: «Он один из тех, кому все возможно. Я сейчас не буду перечислять, что можно ему, но если бы я это сделала, у современного читателя волосы бы встали дыбом...»

Литературу «серебряного века» захватил антихристианский разгул, нормой стало одновременное поклонение Богу и дьяволу или же открытое служение дьяволу. И удивительно, что поклонники нового «ренессанса» из числа даже верующих ничего не знают об этом и не хотят знать. Главное — как обворожительно звучит: «поэзия серебряного века».

Или возьмите писателя М. Булгакова. Мало кто вспомнит его ранние замечательные рассказы о молодом враче, его самоотверженной работе в сельской больнице, о трагических историях с больными, сопереживаниях автора. Но все при имени писателя выкрикнут: «Мастер и Маргарита». Однако ведь в этом романе много от самого «серебряного века». Автор вознамерился создать свое собственное «Евангелие», где некий Иешуа, довольно плоский моралист-правдолюбец, ничего общего не имеет со Христом, Богочеловеком. Главным героем в романе стал Воланд — с его обольстительным сатанинским обликом, предмет прямо-таки вдохновения и преклонения автора, который присваивает ему всяческие достоинства, доброжелательность к людям, справедливость, мудрость и т.д. Воланд дает «Великий бал Сатаны». По словам одного исследователя, этот «великий бал и вся под-

готовка к нему — сатанинская антилитургия». Историк религии заключает, что автор «Мастера и Маргариты» отверг Евангелие ради Талмуда.

И не случайно так весьма активно пропагандируется этот антихристианский роман, особенно в школьных учебниках. Так, в школьной программе «М. Булгаков "Мастер и Маргарита"» («Дрофа». М., 2002) говорится: «Этим Булгаков хотел сказать, что мир поделен между Богом и дьяволом и они заодно правят миром». И вспомните: какой вой подняли «демократы», либералы, когда Церковь, верующая общественность выступили за введение в школу курса «Основ православной культуры»! Это запрещено, этого нельзя допускать. А вот пропагандировать, прославлять дьяволиаду — это пожалуйста. Это поощряется. Вот уж поистине «мрак неведения» (из канона молебного ко Пресвятой Богородице).

«Как сладостно Отчизну ненавидеть...»

— Но поговорим все-таки о патриотизме Солженицына.

— Я бы уточнил: о мнимом патриотизме Солженицына. О его предательстве.

Жил в XIX веке такой философ, поэт — Печерин, эмигрант, перешедший в католичество, автор воспоминаний «Замогильные записки». Мало кому он ныне известен. Но остались от него незабываемые стихи: «Как сладостно Отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтоженья». Это как девиз воинствующего космополита в поученье своим духовным наследникам. От каждого автора остается то, что можно назвать формулой не только его убеждений, но и самого его бытия. Все остальное словесность. И вот мне кажется, что из писаний Солженицына в тридцати томах (видно, в подражание тридцатитомному академическому собранию сочинений Достоевского) больше всего заслуживают внимания те места, в которых резко выражено этическое кредо автора. Об этом надо сказать уже потому, что Солженицын получил Нобелевскую премию именно за так называемую «этическую силу»

своих произведений, и эта «этическая сила», природа ее нуждается в уточнении.

В романе «В круге первом» есть два знаковых эпизода. В первом из них советский дипломат Володин мечется по центру Москвы, по Арбату, чтобы забежать в телефонную будку и позвонить оттуда в американское посольство, выдать наших разведчиков в Америке, посвященных в секреты атомной бомбы. Ведь ему ненавистна сама мысль о том, что его страна может иметь атомное оружие, может противостоять Америке.

И с каким нескрываемым сочувствием пишет автор о предателе, с каким сопереживанием, как бы он не попал в лапы КГБ. Сколько возвышенных слов вкладывает в его разглагольствования, стремясь его всячески идеализировать. Это уже не просто предательство, а некое благородство предательства, как бы уже высшее нравственное качество интеллектуальной личности. О таких типах, их вдохновителях можно сказать словами М. Горького: даже тифозная вошь оскорбится сравнением ее с предателем.

Признаться, когда я узнал, что по телеящику пойдет сериал «В круге первом», то подумал: роман был написан почти сорок лет тому назад, теперь совершенно другое время, не может быть, чтобы Солженицын как автор сценария оставил эту историю с Володиным. Оставил! Да еще гнусность подчеркнута эдакой щегольской, под нынешнего «демократа», игрой актера, как и натужным антисоветским лицедейством героев шарашки. И какую же надо иметь нравственную глухоту, презрение к здравому смыслу современников, чтобы и теперь видеть в нашей стране «империю зла», даже теперь, когда уже нет нашего великого государства и в мире разбойничает без всякого сдерживания подлинная империя зла — Америка, кроваво разделывается со всеми, кто ей не угоден. Никто не гарантирован от расправы: ни народы, на которых посыпятся бомбы, ни лидеры их, которых в устрашение другим могут вздернуть на виселицу, как это показательно сделали с президентом Ирака Хусейном в дни великого праздника мусульман

Ид-аль-Адха и Рождества Христова. И вот в такие-то времена американского сатанизма Солженицын на всю Россию предательством своего героя как бы освящает ненавистный всему миру американизм. И находятся простаки, которые продолжают видеть в нем патриота. Впрочем, даже на Западе вызывало недоумение его, мягко говоря, антипатриотическое поведение. Так, западногерманский журнал «Шпигель» писал, что «высланный Солженицын не хочет удовлетвориться только писанием книг, а хочет непосредственно делать политику, для этого он организует Международный трибунал против своей Родины — Советского Союза». Вот уж поистине: «Как сладостно Отчизну ненавидеть и жадно ждать ее уничтоженья».

Но перейдем ко второму знаковому эпизоду из романа «В круге первом», когда писатель заставляет своего героя, стилизованного под русского мужика Спиридона, прохрипеть чудовищную человеконенавистническую тираду перед десятками миллионов телезрителей: «Если бы мне, Глеба, сказали сейчас: вот летит такой самолет, на ем бомба атомная. Хочешь, тебя тут как собаку похоронят под лестницей, и семью твою перекроет, и еще мильен людей, но с вами — Отца Усатого и все заведение их с корнем... я бы сказал, — он вывернул голову к самолету: — А ну! ну! кидай! рушь!» И веришь, что вдохновитель этих слов и в самом деле мог бы шарахнуть атомную бомбу, снести ею всю Москву с ее многомиллионным населением, «все заведения» государства, лишь бы уничтожить Сталина!

Вместо фактов — догадки

— Солженицын — автор знаменитого выражения или, как еще назвать, лозунга, клича, требования, призыва — «Жить не по лжи». Какую общественную роль, по вашему мнению, сыграл, играет этот лозунг? Насколько этот призыв адекватен моральному авторитету автора, ведь чтобы учить других, надо самому быть свободным от того, что обличается.

— «Жить не по лжи» Солженицын сделал своим заклинанием. Это не столько призыв нравственного, христианского порядка, понятного, уместного в устах пастыря, сколько расчетливый пароль. Цель-то здесь не исправительная, не духовно-оздоровляющая, а сугубо политическая, все тот же «смертный бой» с чудовищным Левиафаном, как он называет Советский Союз. Кстати, бой в литературе — его любимое слово. Свою Нобелевскую речь он заканчивает призывом к писателям мира: «выйти на бой!» — против Левиафана, разумеется.

Заклиная «жить не по лжи», Солженицын в то же время упивается своей собственной ложью. Вот его оценка «жертв коммунистического режима» в том же трехтомнике «Публицистики»: «Мы потеряли 30—40 миллионов на Архипелаге ГУЛАГе», «Беда России, где уничтожено 60 миллионов»; «Было 60 миллионов погибших — это только внутренние потери» и т.д. Откуда берутся такие цифры? В беседе со студентами-славистами в Цюрихском университете Солженицын поясняет, почему его «Архипелаг ГУЛАГ» — это не историческое, не научное произведение, а «опыт художественного исследования»: «Художественное исследование по своим возможностям и по уровню в некоторых отношениях выше научного... Там, где научное исследование требовало бы сто фактов, двести, — а у меня их — два! три! И между ними бездна, прорыв. И вот этот мост, в который нужно бы уложить еще сто девяносто восемь фактов, — мы художественным прыжком делаем, образом, рассказом, иногда пословицей. Я считаю, что я провел самое добросовестное исследование, но оно местами не научное... Конечно, кое о чем надо было и догадаться».

Вы понимаете? Не историческая достоверность, опирающаяся на фундамент фактов, а некая литературщина с ее «тоннелем интуиции», «художественным прыжком», «догадкой» и прочим! И вот из этой игры воображения и возникают ошеломительные цифры. Характерно, что даже на Западе многие считают «Архипелаг» с его гипертрофированной политической тенденциозностью оскорблением для

России, превращенной бывшим зэком в сплошную универсальную зэковщину. Так, Солженицына очень задело, когда он, проживая в Цюрихе, получил извещение, что в Женеве властями ее запрещена продажа «Архипелага...» на английском и французском языках как книги, «оскорбляющей одного из членов ООН».

Помимо «страсти к политическим выпадам» (его слова) есть у Солженицына и еще страсть — видеть в своих соотечественниках желанных ему смертников, поголовных «жертв коммунистического режима». Это, можно сказать, я испытал на себе. В «Бодался теленок с дубом» он приводит несколько цитат из моей статьи «Просвещенное мещанство» в журнале «Молодая гвардия» (начало 1968 г.) и заключает: «В 20—30-е годы авторов таких статей сейчас же бы сунули в ГПУ да вскоре и расстреляли». Но дело в том, что было уже другое время и Россия была другой. И о себе, и о моих знакомых могу сказать, что травили нас, русских патриотов, не столько КГБ, сколько литературная русофобская банда, засевшие в ЦК «агенты влияния», «пятая колонна», которые потом превратились в «демократов» и цинично признавались, что сознательно подтачивали изнутри «тоталитарное государство».

Но закончим о лозунге «жить не по лжи». Так ли уж бесспорна, так сказать, воздушность, небесность помыслов нашего воителя очистить от лжи грешное человечество, прежде всего Россию? Увы. Хорошо сказал на этот счет известный мыслитель Г. М. Шиманов (давая точную характеристику другому такому же «учителю» и «патриоту» от диссидентов, Назарову, автору мифа-утверждения: «Не важно, если Россия превратится в Московию, главное, чтоб это была ”Святая Русь”»): «Люди типа Назарова хотели бы исключить всякую политичность в делах русских православных людей. Чтобы они, как науськивал когда-то Солженицын, ”жили не по лжи”, то есть покидали занимаемые ими партийные, государственные, хозяйственные, культурные позиции, оставляя их врагам русского народа, а сами трудились с чистой совестью дворниками да сторожами. И, находясь на социальном дне, боролись с ”империей зла”, опираясь на

поддержку "Свободного Запада". Или просто молчали, выключившись из общественной жизни. Вот такая блестящая мысль пришла в голову Александра Исаевича, которого, думается, не за одни лишь его литературные таланты так раскрутили некогда враги русского народа. Раскрутили, а затем выбросили, как выбрасывают выжатый лимон. Но не на помойку, для общего мусора, а в комфортабельную урну для заслуженных лимонов» (Г. М. Шиманов. «Записки из красного дома». 2006. С. 583).

Толстой и его подражатель

— В учебниках «Русской литературы» Солженицына называют продолжателем толстовской реалистической традиции. Насколько обосновано подобное утверждение?

— Сравнивать Солженицына с Толстым нелепо хотя бы уже по одному тому, что Толстой гениальный художник, а Солженицыну Бог не дал дара художника. Если уж условно говорить о чем-то общем у них, то это безмерность гордыни. Но и здесь же обнаруживается как у писателей пропасть между ними. Толстой говорил о священниках: бородатые невежды, обирают неграмотный народ и прочее. Но у безблагодатного моралиста Толстого — «слово благодатное» художника. И вот мы видим в сцене обручения Левина и Кити в «Анне Карениной», с какой теплотой, симпатией высвечен великим художником образ старенького священника, когда он совершает Таинство Венчания и шепотом поправляет молодых, от волнения путающихся при обмене кольцами. Куда девался обличитель «невежественного духовенства»? Не могу представить подобного превращения обличителя в художника у Солженицына. Вы только вообразите, что сделал бы он, какую злобную карикатуру из красного Мишки Кошевого и в какого нового Спиридона с его атомной бомбой превратил бы Григория Мелехова? (Не отсюда ли такая ревность Александра Исаевича к Шолохову?) А ведь тот же Мишка Кошевой своим затравленным после всего нечелове-

чески пережитого видом вызывает жалость у Ильинишны, матери убитого им сына. Такова правда жизни даже и в кровавой гражданской войне, когда все разделено и, казалось бы, не осталось, не должно быть места живому человеческому чувству. «Спутали нас ученые люди», — говорит Григорий Мелехов. И Солженицын путает их, доверчивых людей.

У Солженицына есть выражение «антисемит не может быть художником». Перефразируя его, можно сказать, что не может быть художником ослепленный маниакальной идеологией человек. Идеология, как поистине дракон, крепко держит в своей пасти самого писателя и его героев. Если уж «Раковый корпус» — то, считай, все в обществе, все в государстве поражено раковой опухолью сталинизма, террора. Если «В круге первом» с его шарашкой — то это только начало тех дантовых кругов ада, из которых скроена система «совкового» общества, в которых заключена жизнь народа. И если автор рассчитывал на символичность этих образов, то расчеты его оказались тщетными. Ибо символы вырастают из подлинности, глубинной содержательности жизни, а не изобретаются искусственно, не навязываются умственно.

Солженицына привычно потчуют словом «пророк», и он никогда не скажет, не остановит: «Перестаньте, стыдно!» Ну хотя бы провидец чего-то малого, и на это не тянет. Можно назвать, скажем, историческим предвидением то, что Герцен видел будущее мира за двумя державами: Россией и Америкой. Гениальное предвидение бесовщины, охватившей ныне весь мир, — у Достоевского в «Бесах».

Ну а в чем все-таки пророчество Солженицына? Есть у него любопытный рассказ об одном эпизоде из своей жизни в Америке. «20 марта 1975 года, в четверг первой недели поста, стоял я на одинокой трогательной службе в нашей церковке и просил: ”Господи, просвети меня, как помочь Западу укрепиться, он так явно и быстро рушится. Дай мне средство для этого”. Через полтора часа прихожу, Аля (жена С. — *М. Л.*) говорит: ”Только что звонили из Вашингтона, час назад сенат единогласно проголосовал за избрание тебя гражданином США”». Запад — это и Америка. Так в чем

же пророчество Солженицына? В том ли, что Америку проглотит советский дракон, Левиафан? Даже мысль не приходит в пророческую голову, что этим Левиафаном, смертельной угрозой России, миру, и может быть, скорее всего, Америка с ее историей истребления коренных народов, работорговлей, финансовым закабалением стран, национальной философией экспансионизма во всем — от государственной политики до навязываемой другим народам низменной массовой псевдокультуры. Америка показала, что никакие религиозные, моральные соображения, даже доводы нецелесообразности не остановят ее от использования атомной бомбы. Плохой пророк Солженицын, если он не понял и до сих пор не понимает этого.

Есть что-то роковое и несколько комическое в положении вернувшегося в Россию пророка. Он вроде бы и вне партий, разных там либералов и патриотов, а судьба-злодейка свинью ему подложила, поселила в особом доме, начиненном новыми хозяевами жизни, и сосед его из одного подъезда Чубайс. Корреспондент одной газеты все допытывался у Александра Исаевича, не встречался ли он с этим ваучером в лифте и не может ли он воспользоваться случаем, поговорить с ним, может быть, найдут общий язык, как обустроить Россию, на что бывший вермонтский отшельник мудровато отвечал, что не все так просто делается. А впоследствии как будто тем же магнитом Исаевич был притянут к другим олигархам — его поместье в Серебряном Бору оказалось по соседству с таким же жилищем бывшего премьера Касьянова (кличка «Миша два процента») и, кажется, Фридмана — миллиардера. Бедный пророк!

Слова и словечки

— Но если не пророческие, то какие характерные черты вы отметили бы в Солженицыне-писателе?

— Особого разговора заслуживает язык писателя. Александр Исаевич как-то печатно поведал, как он записывал

скрытно, карандашом за спиной, разговорную речь хозяйки дома Матрены, у которой он квартировал. Эта речь деревенской женщины во многом определила успех рассказа «Матренин двор». Писатель любит народные слова, он не расстается со словарем Даля, сам составил словарь лексического расширения. Народность языка — это не только лексика, отдельные характерные слова, но и особый склад речи, самого мышления, колорит словообразования. Грамматическая неправильность при смысловой, эстетической выразительности. Образность выражения, поговорочность и т.д. Поэтому даже теперь при оскудении языка писать о человеке из народа гораздо труднее, чем о каких-нибудь умниках из шарашки «В круге первом», с их нивелированной речью, всякими «измами», цитатами, мелкотравчатыми философическими разглагольствованиями и т.п.

Достойно сожаления, как трудно дается Александру Исаевичу то, что он считает своей задачей, — преодоление гладкости, безличности языка, подчеркнутой русскости, которая нередко выглядит нарочитой, утрированной. Взгляните только на подобное языкотворчество в трактате «Как нам обустроить Россию», опубликованном в 1990 году. Россия горит, кровоточит, а он обнюхивает якобы на русскость словечки: «Мы на последнем докате»; «за три четверти века — при вдолбляемой нам и прогрохоченной социалистической дружбе народов»; «при этом всеместном национальном изводе»; «беспомощное личное бесправие разлито по всей глубине страны» и т.п. Каков контраст между этими языковыми изысками, вялостью их и тем ужасом, который происходит в России и требует огненного слова!.. Автор из-за океана наблюдает, выжидает, чем все там кончится. Хотя, думаю, знал, что власть уже захвачена, и бесповоротно, «демократами». А кто-то может подумать, что Солженицын в отличие от Бунина, Шмелева, Зайцева, других, которые десятилетиями жили во Франции и продолжали писать таким же свободным русским языком, как и у себя на Родине, подзабыл русский язык. Но, вернувшись на Родину, он ведь и теперь все спотыкается на утрированной русскости.

Борьба с Левиафаном

— Солженицын постоянно разделяет русское и советское, Россию и Советский Союз, который он называет Левиафаном....

— Это разделение мнимое. Он одинаково не принимает как империи ни Россию старую, ни Россию Советскую. Красноречивы на этот счет вошедшие в трехтомник «Публицистики» его выражения разных лет, в частности его беседа с издателем журнала «Шпигель» Рудольфом Аугштайном в 1987 году: «Я никогда не был сторонником империи, а Петр I был», — заявил он. Немецкий собеседник приводит послевоенные стихи Солженицына: «Оправдала ли цену свою Полтава? // Двести лет все победы, победы // От разора к разору, к войне от войны...» В свое время Солженицын возмущался тем, что русские войска в XVIII вошли в Берлин. Солженицын говорит о своей приверженности к Православию, но к Православию у него примерно такое же отношение, как к Российской империи. Он не приемлет Православия «ортодоксального», оно претит ему отсутствием «поиска». Как будто может быть какое-то не ортодоксальное, не догматическое Православие. А уж куда может привести так называемый поиск — это нам хорошо известно и по прошлому — всякого рода разновидности «нового религиозного сознания» в начале XIX века, послереволюционное обновленчество, современные мени-якунины-кочетковы, другие духовные «искатели». Кстати, обновленчество было «детищем» кумира Солженицына Троцкого, о чем пишет диссидент Михаил Агурский в своей книге «Идеология национал-большевизма». Заметим, что книга написана не без симпатии к России. Папу Римского Иоанна-Павла II Солженицын называл «Благодатью Божией». В парижской телепередаче 17 сентября 1993 года, когда ему напомнили эту фразу, он не отказался от своих слов: «То, что я сказал о Иоанне Павле II, я могу повторить. Я считаю это великим счастьем, ничего другого добавить не могу». Не потому ли такое обоготворение папы, что тот совместно с Рейга-

ном, Горбачевым и Ельциным подготовил разгром Советского Союза. Достоевский говорил об опасности того духовного порабощения России, которое несет с собой папство с его антихристианским искушением «всемирного владычества».

Война с гитлеровской Германией для Солженицына не Великая Отечественная, а «советско-германская война». В упомянутой выше беседе с издателем «Шпигеля» он говорит: «Я еще не понимал (в войну), что нашими победами мы, в общем, роем себе же могилу. Что мы укрепляем сталинскую тиранию еще на тридцать лет».

В антисоветизме, в ненависти Солженицына к исторической России большую роль сыграл Троцкий, с портретом которого он не расставался всю войну. Солженицын и на войну с гитлеровской Германией смотрел глазами Троцкого, видел в ней только средство для разжигания мировой революции. Но война приняла характер Великой Отечественной. Сталин взял на вооружение наше героическое прошлое, традиции русской армии, вдохновил русский народ на священную борьбу в духе великих подвигов наших предков. Восстановленная в правах Православная Церковь крепила моральный, патриотический дух народа. Все это воспринималось наследниками Троцкого как предательство интересов революции, вызывало злобу. Солженицын в письме к другу не скрывал своей враждебности к переменам в идеологическом курсе государства, к Сталину, называл его «паханом». Понятно, как это в условиях войны могло быть расценено цензурой, законом. Такова история знаменитой, разрекламированной на весь мир «жертвы сталинского тоталитаризма», которой до сих пор невдомек, что без этого тоталитаризма не было бы и победы над гитлеровской Германией.

Есть своя логика в том, что, связав свою судьбу с Троцким в войну, Солженицын косвенно оставался с ним и в дальнейшем. Известно, что на стороне Троцкого в 20-х годах был Хрущев, чего он не отрицал, когда в 1957 году в попытке устранения его от власти один из старых партийных руководителей напомнил об этом. Правление Хрущева отмечено такими поистине революционными взрывами, как

массовый погром православных храмов, превышающий даже погром 20-х годов, преследование верующих, изъятие у колхозников приусадебных участков, авантюристские реформы. И конечно же, пресловутое «разоблачение культа личности», тотальное оклеветание Сталина, породившее нигилистическое племя «детей XX съезда», будущих разрушителей великого государства. Не случайно Хрущев поддержал Солженицына, дал ход его повести «Один день Ивана Денисовича». Обоих роднит мстительная ненависть к Сталину. Причем уровень их понимания зла настолько элементарен, близорук, что виновником всех преступлений они видят только одну личность. Как будто в мире, лежащем во зле, все зависит от одного человека. Ведь руки того же Хрущева в крови от его репрессий в те же тридцатые годы в Москве, на Украине. Тот же Солженицын приветствовал расстрел невинных людей у Дома Советов 3—4 октября 1993 года. Как автор, «В круге первом» провоцировал своего Спиридона бросить атомную бомбу на Москву, превратить в прах миллионы людей, лишь бы уничтожить ненавистного ему Сталина. И все это под лицемерным лозунгом «жить не по лжи».

Солженицын, Зиновьев и К°

— Известно, что наряду с Солженицыным вернулись в Москву другие диссиденты. Что они теперь пишут в своих книгах, в прессе, какова теперь их общественная позиция?

— Вслед за Солженицыным вернулся в Россию из Мюнхена, где прожил 20 лет, другой диссидент — Александр Зиновьев. И как вермонтский «отшельник» по возвращении публикациями здесь своих книг «Публицистики» объявил как бы о новом этапе своей войны с тем же Левиафаном, так мюнхенский сиделец тотчас же по приезде в 1999 году изданием первого тома своего собрания сочинений, опуса «Зияющие высоты», засвидетельствовал, что он все тот же, каким был в эмиграции, все тот же клеветник России. А если это не так, зачем же во вступительной статье так взахлеб превоз-

носить этот пасквиль, не делая никаких замечаний, как же теперь автор относится к этому? Значит, как и прежде. «Зияющие высоты» впервые вышли в 1978 году на Западе и были использованы там радиоголосами, прессой в пропагандистских целях. Если у Солженицына, так сказать, символ России ГУЛАГ, то у Зиновьева некий город Ибанск. И никакого удержу в русофобских выходках, в глумлении над «ибанским народом» (каково название!). Вот как нам, русским, достается: «Ибанская таинственная душа — это лишь ибанский общественный бардак», «Играющие в истории Ибанска выдающуюся роль сортиры», «Искусствовед Иванов выразил волю ибанского народа... Ему принадлежит монография о превосходстве балалайки над скрипкой и "матрешек" над "Сикстинской Мадонной"», «Заветная мечта ибанца, чтобы его приняли за иностранца». «"Науки юношей питают, надежду старшим подают", — писал один древнеибанский поэт». Это о Ломоносове, как повод потешиться над «ибанской наукой», только и годной для того, чтобы воровать научные открытия у иностранцев. «Не успеешь стянуть у них одну машину, как нужно тянуть другую». «Ибанцы много всего внесли в мировую культуру. Радио, самовар, матрешки — всего не перечесть. Ибанский землепроходец Хмырь раньше Колумба ходил в Америку». «Самый грандиозный вклад ибанцев в мировую культуру — это обычай троекратного целования».

Явной графоманской одержимостью отзывается все то, что пишет Зиновьев о Сталине. Прошу прощения у читателя за цитирование: «Ибанцы, обливаясь горючими слезами, наконец-то проводили в долгожданный путь Хозяина и наспех прикрыли кто чем мог свои разукрашенные шрамами и синяками голые зады, теоретически подготовленные для очередной всеобщей порки». «От природы Хозяин был средне посредственный человек» (Зиновьев, как и Солженицын «В круге первом», повторяет Троцкого о «посредственном» Сталине). И решил он отличиться «акцентом»: «чтобы окончательно проверить силу своего акцента на народных массах, Хозяин отправился в павианий питомник. Павианы-самцы

приняли Хозяина за самку и хором его изнасиловали». То и дело повторяется: «Когда Хозяин издох». «Для меня он убийца и вор. Для меня он гнуснейшая вошь».

Некоторые могут сказать, что Зиновьев в последнее время переменился. Он критиковал Запад, положительно говорил о советской цивилизации. Но не расходятся ли эти слова о нем с его собственными заявлениями, признаниями. В статье «Что мы теряем» («Литературная газета», 11—12, 22—28 марта 2005), повторяя свои неизменные заклинания «Россия обречена, погибла», он одновременно признается, что больше всего его тревожит «судьба западноевропейской цивилизации», ибо он «прожил всю свою жизнь человеком, до мозга костей принадлежащим западноевропейской цивилизации», что многие его сверстники формировались как «люди западноевропейские, а не национально русские — в этом отношении я ушел дальше многих других». Здесь же автор в заслугу себе ставит то, что он «не обрусел». Одним словом, «европеид» (его словцо) сидит в нем в печенках. У Достоевского есть статья «Мы в Европе лишь стрюцкие» (слово «стрюцкий» объясняется как «человек подлый, дрянной, презренный»). Это о тех, кто алчно жаждет «переродиться в европейцев, хотя бы по виду только». И чем больше они «презирали нашу национальность», тем более иностранцы презирали их самих. Великий писатель-патриот еще и так называет таких «русских европейцев»: «международная обшмыга». Говоря же о Европе, не следует забывать, что ее вряд ли можно покрыть общим термином «западноевропейская цивилизация», «западнизм», ибо ведь культура, скажем, Германии не то же самое, что культура Франции. Да и внутри культуры той же Франции есть Паскаль и есть Вольтер. Нашему «западноевропейцу» с его «свободой от религии» вольготнее, конечно, с фернейским оракулом.

Зиновьева возмущает, что в стране, в которую он вернулся, слишком воли дали Русской Православной Церкви. Об этом он пишет в своей статье «Их демократия нам не подходит» в журнале «Российская Федерация сегодня», № 5, 2005. Похвалив западную демократию за ее принцип отделе-

ния Церкви от государства, за свободу атеизма, антирелигиозной пропаганды, отсутствие привилегий церкви в уплате налогов и т.д., автор крайне недоволен отсутствием этого принципа демократии в России. Вот его претензии: «Государство всячески поддерживает Православную Церковь. Последняя имеет льготы и привилегии. Она вмешивается в систему образования и воспитания молодежи сверх всякой меры. Фактически она обнаруживает тенденции стать государственной идеологией». Обличителю как будто неведомо, что голоса Церкви, верующей общественности за введение в школах курса «Основы православной культуры» вызвали протестную вакханалию антирусских сил. И как вписывается это разглагольствование защитника «демократии» от «религиозной пропаганды» в то наступление на христианство, которое развернулось ныне в обезбоженном «либерально-демократическом мире». В ноябре минувшего года госдепартамент США опубликовал доклад, в котором российские власти обвиняются в поддержке Русской Православной Церкви, в притеснении всякого рода сектантов (газета «Православная Москва», № 24, декабрь 2005).

Не буду больше подробно излагать высказывания Зиновьева, приведу характерные цитаты. «Как некогда их отцы, миллионами сдававшиеся в 1941 году в плен в надежде на лучшую жизнь при Гитлере, нежели при Сталине, сегодня русские сами хотят быть завоеванными в своем безумном стремлении к лучшим условиям жизни» (газета «Советская Россия», 20 июля 2006). «Русский народ стал, по существу, народом предателем» (Там же). Не справедливее ли такую характеристику отнести не к народу, а к самому автору, который на реплику интервьюера: «Выходит, борьба с коммунизмом прикрывала желание уничтожить Россию?» — признался: «Совершенно верно. Я это говорил, потому что в свое время был невольным соучастником этого для меня постыдного действия» (Там же).

Этому служили и «изданные миллионными тиражами во многих странах мира» книги Зиновьева, осыпавшие автора иудиными сребрениками. И странно, что этот диссидент,

который сам подчеркивал: «патриотизм меня не касается», который столь злобно и бездарно глумился над «ибанцами», над исторической Россией, так угодливо перед Западом чернил ее, все делал для ее уничтожения, этот самый диссидент, «отщепенец», по его собственному слову, по возвращении его в Россию объявлен патриотом, новоявленным пророком. Но почему же так происходит, ведь эти приезжие видны как на ладони, сами не скрывают, даже бравируют, кто они. Тот же прошедший должную обкатку на радио «Свобода» Михаил Назаров все силы бросил на борьбу с ненавистной ему Московский Патриархией, прекрасно понимая, что какой бы ни была она — ее в любом виде не приемлют его западные коллеги. Первое, что можно здраво предположить, — это то, что поклонники, апологеты этих диссидентов просто не имеют реального представления о них, не читали их, судят по услышанному, где-то прочитанному, по созданному либеральными СМИ «имиджу». Недавно в Союзе писателей России проходила конференция на тему «Россия и будущее», где выступил и я, говорил, в частности, и о Зиновьеве. В перерыве председатель Союза писателей Валерий Ганичев рассказал мне, как в разговоре с ним дивился один известный ученый после услышанного о Зиновьеве. «Вот он какой Зиновьев, а мы ничего не знали о нем». Подходили и ко мне, тоже дивились, говорили, что читали как-то его интервью, где он называл себя «ученым с мировым именем», первым логиком в Европе, но имя его замалчивают. Больше ничего не знали.

Когда Солженицыну вручали в Академии наук медаль Ломоносова, то, как писали в «Независимой газете», весь зал, все академики поголовно поднялись с мест и стоя бурными аплодисментами приветствовали награжденного. Неужели ни одного не оказалось, кто знал бы цену Солженицыну? Почему назвали совестью России этого пропагандиста предательства?

Почему той же совестью России объявили академика Сахарова, который требовал расчленения России на семьдесят государств?

Это «почему» вопиет ко всем, в ком действительно жива совесть.

Великий русский патриот Иван Сергеевич Аксаков в статье «В чем недостаточность русского патриотизма?» пишет, что «время и обстоятельства требуют от нас патриотизма иного качества, нежели в прежние годины народных бедствий», что «надо уметь стоять за Россию не только головами (как на войне. — *М. Л.*), но и головой», то есть пониманием происходящего, «не одним оружием военным, но и оружием духовным; не только против видимых врагов в образе солдат неприятельской армии, но и против невидимых и неосязаемых недругов».

ПУТИ ПРЯМЫЕ И — ЛУКАВЫЕ

Не будем легковерны

Однажды я спросил о. Евгения Булина, священника подмосковного храма Покрова Божией Матери (он выпускник Литературного института им. А. М. Горького, где посещал и мой семинар), пишет ли он иногда что-нибудь, и о. Евгений ответил: я как-то попробовал, и мне стало нехорошо. И так это сказал, с таким выражением почти физической реакции на это «нехорошо», что мне неловко стало за мой вопрос. И тогда же о. Евгений подарил мне книгу, которая много объяснила его, мягко говоря, сдержанное отношение к литературе. Книга эта — «История одной старушки» монахини Амвросии (в миру — Александра Оберучева) (Изд. Храма святых Косьмы и Дамиана на Маросейке. М., 2005). И когда я начал читать ее, то сразу же почувствовал, как душа моя насыщается той простотой подлинности, за которой не видно слов, а встает перед тобой вся жизнь человека, какой она и должна быть по Христу, но почти не бывает по нашему ничтожеству.

Молодой девушкой в дореволюционное время Александра Оберучева избрала путь деятельной любви к «труждающимся и обремененным», ставши земским врачом, и вот

мы видим, с какой самоотреченностью, изнемогая от усталости, помогает она людям в их страданиях. Толпами крестьяне с детьми, даже до трехсот в день шли к ней на прием, зачастую ночью приходилось ей на подводе ехать в дальнюю деревню за верст сорок. И всегда она сознавала «гору великой ответственности на себе»: ведь ей «вручена жизнь человека».

Началась мировая война, провожая в поход брата с его товарищами, врач Александра Оберучева сказала им: «Я тоже поеду на войну». Поехала она на фронт с мыслью как врач «поспеть к первому бою». Так и вышло. На первом перевязочном пункте увидела она ужасную картину: масса тяжелораненых, разбитые черепа, искалеченные тела, стоны, умоляющие о помощи голоса, вскрики в бреду, неподвижность умерших. Скорее, скорее делать перевязки, все делать, чтобы облегчить мучения солдат. «Все мое черное платье было залито кровью, и я считала, что это святая кровь». На другой день утром она вместе с санитарами отправилась в направлении места боя. Оказывая по пути помощь раненым, дошла даже до окопов, к величайшему удивлению находившегося там брата, командира полка (о его местонахождении она узнала до этого).

Предстояла вскоре подвижническая работа в лазарете для холерных больных, потом во главе отряда, включавшего многих сестер, братьев милосердия, санитаров. Тогда она тяжело заболела сыпным тифом и едва выжила. Перед нами целая эпопея милосердия, святости в войну.

Встретившись на фронте с сестрой, ее брат, боевой офицер, сказал ей: «Саша, мы видели с тобой за это время столько человеческих страданий, что жить обычной, прежней жизнью уже нельзя — поступай в монастырь». Эти слова совпадали с самим ее подспудным желанием. В марте 1919 года в Оптиной пустыни был совершен постриг. Александра Оберучева стала монахиней Амвросией. Началось новое, духовное подвижничество.

В январе 1918 года декретом Совета народных комиссаров Оптина пустынь была закрыта, но продолжала сущест-

вовать под видом сельхозартели до весны 1923 года. В Вербное Воскресенье этого года начался разгон старцев и монашествующих. «Прежде я думала: буду жить здесь, пока живы еще наши параличные монахи и калеки... Пошла к заведующему (латышу) и спросила его, а он мне на это сказал: "Да этих черных ворон можно стрихнином..." Меня это так поразило, что я, придя в себя, сказала сестрам: нам надо готовить сумки, чтобы уходить». Матушка Амвросия с тремя больничными сестрами устроилась в Козельске, в тесной комнате. К ним постоянно заходили, останавливались идущие из монастыря, могли здесь отдохнуть, ночевать на полу, на кухоньке. Монашествующие во множестве селились в Козельске, в окрестных деревнях, уезжали на родину. Это был исход с неразрывностью духовно-родственных связей. Как бы по цепочке помогали друг другу — найти жилье, делились последним куском, знали, кто куда уехал, переписывались. Сердечно пеклись о старцах, усугубилось молитвенное общение с беседами батюшки, понимание внутреннего, не внешнего монашествования. Матушка Амвросия посещала больных в городе и деревнях. Она и трое сестер из монастыря образовали маленькую общину (с шитьем одеял), чтобы легче переносить нищету. Но вскоре последовал ее арест, допрос следователя.

«Когда я вошла, он сам сел и предложил сесть около него. Стал читать, в чем я обвиняюсь: в агитации молодых девушек, привлечении к монашеству и организации общины... "Почему именно к вам приезжало так много молодежи?"

"Да потому, что я держу себя как-то так, что в нашем доме не чувствовалось, кто старший, и останавливающийся чувствовал себя свободно". Говорила я с ним вполне искренно. А насчет агитации сказала: "Я избегаю всяких знакомств, и мы вели жизнь самую уединенную".

"Да, я знаю, знаю хорошо вашу жизнь. Вас можно обвинить лишь только в немой агитации. Вас там знают и уважают. Вот врач — верующая, в этом безмолвная агитация". Все это он говорил успокоительным, дружелюбным тоном. И как ни странно в данном положении, даже располагал меня к себе».

В итоге ей была объявлена «свободная ссылка в г. Архангельске».

По приезде на место назначения ее вызвали в ГПУ и сказали: «Вы врач, вы здесь хорошо устроитесь». Но ей ли было «устраиваться» с ее характером, в обстоятельствах, условиях, в которых жили ссыльные и она вместе с ними. Положение их было тяжелое. Незабываем ее рассказ, как ссыльные отправляются в лес на работу, непосильную для многих, особенно для женщин — очищать лес, кору с бревен, как обессиленные, голодные, иные больные возвращаются вечером в бараки. И здесь матушка Амвросия находит в себе силы, чтобы ободрить несчастных, она предложила прочесть «Евангелие — что откроется», и «не могу выразить, как на всех подействовало прочитанное, подходящее к нашему положению». «Среди этой ужасной обстановки Господь послал нам мир душевный, неизъяснимый словами!» В ссылке матушка Амвросия встретилась с обитавшим в этих местах архиепископом Лукой (в миру В. Ф. Войно-Ясенецким, будущим автором знаменитых «Очерков гнойной хирургии»). Когда-то в молодости в срединной России работали они земскими врачами, и вот пути их еще раз пересеклись (теперь уже личным знакомством) на суровом Севере. Он благословил ее, и на ее вопрос: если ей предстанет необходимость работать по медицине, благословит ли он ее — «с готовностью, с радостью сказал: ”Благословляю, работайте с Господом. Ведь я тоже работаю”».

Да она никогда не прекращала свое милосердное дело и в ссылке, где несчастные так нуждались в медицинской помощи.

Но одновременно шло постижение того дорогого, милосердного, что есть в людях, в лучших из них. Иногда это воспринималось как чудо, вроде встречи с неизвестным после изнурительной работы в лесу: «А я ведь с утра не ела, как-то буду дальше, и со мной ничего нет... Вдруг навстречу идет крестьянин с кожаной курткой через плечо. Поклонился и говорит: ”Я таких люблю, посидим!” Здесь было бревно. Мы сели. Он достал пшеничную лепешку и дал мне. Господи!

Откуда же это могло быть при таком голоде? Я была поражена и от умиления стала плакать. Не помню, о чем мы говорили. Потом я съела лепешку и подкрепилась. Разве я могла бы дойти голодной? У меня было такое чувство, что это Ангел Господень послан мне для спасения».

На фоне равнодушия, отчужденности многих людей от ссыльных — тем ярче искры человеческого участия к ним. «Нас нигде не принимали. Походив целый день по городу, мы опять возвратились на вокзал. Ночевать там не полагалось, но старичок сторож сжалился над нами и позволил нам переночевать, хотя, как мы видели, другим он не разрешал». «Дорогой нам кто-то посоветовал, что лучше всего пойти ко всенощной попросить кого-нибудь из местных жителей нас приютить. Мы так и сделали... Там мы переночевали. Когда некуда было деться, одна женщина еще несколько раз принимала нас». «Сделалось совсем темно, надо где-нибудь ночевать. Не помню, как-то вышло, что мне дали ночлег: пустили какие-то семейные добрые люди. На другой день даже угостили меня блинами и на дорогу дали». «Уже темнело, и я едва успела дойти до тех рабочих, которые как-то приютили нас в предместье города. Там и ночевала». «Сын хозяйки согласился довести меня с посылками в город». «Спаси Господу девушку. Она везла санки и решила проводить меня до места». «После обедни просфорница нас пригласила пить чай, сама предложила квартиру в мезонине и сказала, что муж ее приедет на лошади за нашими вещами». «Матушка София впоследствии рассказала мне, что когда она была на этом пересылочном пункте, то расспрашивала: куда отправлена такая-то старушка, ей хотелось узнать про меня. Комендант ответил, что он помнит такую, она напомнила ему мать, и ему так хотелось даже освободить ее. Недаром же батюшки заметили его доброе отношение ко мне». «Хозяева были хорошие люди, не притесняли нас». «Отдохнув и поговорив немного, я хотела уходить, а он, написав адрес своей дочери, живущей в Москве, настойчиво повторял: ”Напишите ей, непременно напишите”». Ему была назначена здесь ссылка. У меня осталось такое хорошее впечатление от этого челове-

ка, от этой чудесной встречи». И т.д. И вот этот эпизод (который как бы венчает все сказанное о добре, потому что оно здесь творится безымянно, по какому-то толчку Божественному. Матушка едет на электричке с посылкой для арестованного владыки. «Электрички полны одних рабочих мужчин, там все лесопильные заводы. Народ бойкий: на остановках вылетают, как сумасшедшие. Наша станция. Со ступенек электрички надо сходить прямо на обледеневшую горку. Я, конечно, упала. Через мою голову прыгают рабочие. Чья-то рука оказалась над моей головой и защищала меня от прыгающих. Слава Тебе, Милосердный!»

Любимый герой Достоевского князь Мышкин в «Идиоте» говорит: «Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия человечества». Опыт страдания и сострадания — наше духовное сокровище, сокровенное в нашем русском национальном бытии. Может быть, зло — одно из самых страшных, уготованных «демократами» России, нашему народу, — это всеми средствами вытравить в нем, истребить в корне чувство сострадания. Но и им, оказывается, это не по силам. В своей книжке «Записки президента» Ельцин рассказывает, как он приказал командующим спецгрупп «Альфа» и «Вымпел» штурмовать «Белый дом» (3 октября 1993 года). «Я обвел взглядом их — огромных, сильных, красивых». Но «обе группы отказались участвовать в операции... мы не для того готовились, чтобы в безоружных машинисток стрелять». Какое надо иметь мужество, какую природную способность сострадать жертвам готовившейся расправы, чтобы, употребляя слово самого Ельцина, «наплевать» на его приказ. И здесь на память приходит другая, недавняя история, на этот раз уже в Израиле: получив приказ о сносе еврейского поселения, тамошние «спецназовцы», не раздумывая ни минуты, бросились беспощадно колошматить своих соплеменников, жителей этих поселений, и не нашлось ни одного из этих погромщиков, кто отказался бы выполнять приказ. Хороший повод пошевелить мозгами для тех, кто любит разглагольствовать, кто рабы, а кто не рабы.

Но вернемся к нашей героине, чтобы сказать о ней последнее слово. Скончалось матушка Амвросия незадолго до окончания Великой Отечественной войны, в августе 1944 года, и была похоронена в Сергиевом Посаде, на старом Клементьевском кладбище. Вплоть до ухода в мир иной, несмотря на слабеющие силы, продолжала она без отказа врачевать нуждающихся в помощи. Автор «Записок» о ней, монахиня, хорошо знавшая ее, пишет: «Матушка не любила поучать. Она больше говорила о том, что сама прошла опытом и провела в жизнь». «За плечами лежал длинный, доблестно пройденный путь».

* * *

Однажды к Серафиму Саровскому пришел некий профессор и начал разглагольствовать о Православии, вроде бы даже и поучая старца. Выслушав краснобая, преподобный Серафим сказал: «Учить так легко, а вот попробуй проходить делом то, чему учишь». И какой легион так называемых ученых, «докторов наук», писателей пустились ныне в говорильню, строчкогонство о Православии на манер того болтуна, о котором говорил Сталин: человек управляет языком, а Радеком управляет язык. Вот недавно в «Литературной газете» (№ 27, 4—10 июля 2007) был опубликован материал «круглого стола» под заглавием «Спасет ли православие христианскую цивилизацию?» Не будем вдаваться в диковатость для православного сознания самой постановки вопроса, так же, как — экуменической подкладки в затее организатора «круглого стола». Это тема особая. Среди участников обсуждения были «представители всех христианских конфессий», но тон задавали «интеллектуалы». Возглавлявший «стол» А. Ципко находился вроде бы в пикантном положении: ведь не кто иной, как он, писал, что в православном храме видит только рабские лица; не он ли восхищался папой Римским Иоанном-Павлом II, стыдя нас, православных, что этот папа во времена тоталитаризма защищал религию, веру, а мы так неблагодарны к нему (видимо, и за то, что

этот папа сыграл такую зловещую роль в уничтожении нашего великого государства). Он же, Ципко, прославился несусветной хвалой в адрес Иуды Горбачева, в российском промасоненном фонде которого обрел прибежище. Видно, не удивляет его и то, что другой, созданный в 1992 году американский фонд Горбачева в Сан-Франциско, получил в 1995 году новое название: Мировой Форум (фонд Горбачева стал центром, где мировой закулисой, ее крупнейшими деятелями разрабатываются планы «нового мирового порядка» с закабалением народов, ликвидацией «излишнего населения», с глобальным контролем над человечеством, заменой христианской цивилизации — иудейско-масонской; обо всем этом пишет известный историк Олег Платонов в своей книге: «Почему погибнет Америка: Тайное мировое правительство» (Краснодар, 2001)). Именно фонд Горбачева выступил с идеей создания так называемой международной Организации Объединенных Религий в качестве надзирателя над религиями мира (за исключением, разумеется, иудейской). И странновато, что поклонник этого цербера «мировой религии», вообще человек с таким набором антиправославных симпатий занял место на капитанском мостике «круглого стола», дабы указывать непререкаемо, куда «плыть православию».

Впрочем, такую решимость Ципко можно отнести за счет той бердяевской (белибердяевской, по Солоневичу) «философии свободы», какую с младости он возлюбил (по собственному признанию) и волен таковой держаться при любых обстоятельствах. Вот и здесь, за этим «круглым столом» — полная «свобода» во всем. Например, в «оценке и субъекта декоммунизации и субъекта христианизации советской России. Несли в себе Бога не только те, кто принадлежал к "малому стаду", те, кто в советское время через воцерковление выражал свой протест против системы, но и "большое стадо" морально развитых людей, кто отличал добро от зла, кто не принимал идеологию классовой борьбы, мораль Павлика Морозова». Пишет это (как сказано о Ципко в справке одной газеты) член КПСС с 1963 по 1990 гг., ответственный работник ЦК КПСС (об этом не сказано),

и хотя ныне он рекомендует себя православным, тот партийный, цековский знак нестираем в его сознании. Воцерковление он иначе и не может себе представить, как только в качестве «протеста против системы». Так и представляешь себе тех ретивых «партийцев», «агитаторов», которые в людях воцерковленных, верующих видели врагов советской системы. Уж не думают ли подобные охранники, что причастность к самой Литургии есть не что иное, как «выражение протеста против системы»?

В своей статье в «Литературной газете» (28 февр.—6 марта 2007 г.) А. Ципко спорит с моей статьей 60-х годов «Просвещенное мещанство», удивительным образом переиначивая данное там понимание буржуазности, — сводит его к бытовому мещанскому комфорту: Лобанов «восстает против буржуазности как благополучия, устроенности отлаженного быта». Как будто я живу в современном мире с закрытыми глазами, не вижу, как морят голодом народ, и вот уж сами приходят слова: «Пошли им, Господи, отраду» — незнакомый десяткам миллионов сытости, пошли семейное благополучие. Но речь в моей статье идет о мещанстве духовном, а не бытовом, житейском, о «сытости духовной», на чем я остановлюсь в дальнейшем. Ципко же так заворожен мещанством бытовым, что абсолютно уверен: «все великие творения европейской культуры нового времени были созданы европейскими мещанами, привыкшими к сытой и устроенной жизни». Оставим в стороне «великие творения европейской культуры», «созданные мещанами» (уже не в «мещанах» ли оказался бы и гениальный французский ученый Паскаль, живший свято и говоривший о едином порыве милосердия, превышающем все тела, звезды во вселенной и все, сотворенное человечеством), но прелесть самой этой «отлаженной жизни» давно уже не секрет. Герцен, рвавшийся на Запад и проживший там много лет, был в ужасе и отчаянии от «мелкой и грязной среды мещанства, которое, как тина, покрывает зеленью своею всю Францию»; буржуа «обрюзг, отяжелел», он «смеется над самоотвержением», каменея «в разврате самом гнусном». «Все мельчает

и вянет на истощенной почве: нету талантов, нету творчества, нету силы мысли, нету силы воли, все нищают, не обогащая никого... нравы мелкой буржуазии стали общими». По словам Герцена, перед буржуа падает кисть художника. К. Леонтьев говорил о «среднем европейце» как воплощении буржуазной безликости, посредственном, сером, без всякой индивидуальности, «красок» мещанском стереотипе.

И в России появились тогда свои доморощенные буржуа — мещане, обосновавшись и в литературе. Адвокат Лужин с его деляческим духом в «Преступлении и наказании» Достоевского, ораторствуя о прогрессе, самодовольно изрекает: «Мы безвозвратно отрезали себя от прошедшего». Для Смердякова в «Братьях Карамазовых» все «неправда», что находится за рамками рационалистичности, о гоголевских «Вечерах на хуторе близ Диканьки» он с ухмылкой говорит: «Про неправду все написано». На Западе же столь завидная для Ципко «устроенность отлаженного быта» дошла до того, что наиболее прозорливые мыслители заговорили о конце этого «рая» («Закат Европы» Шпенглера), а ныне уже говорят о его гибели («Смерть Запада» Бьюкенена). Нынешнее время на Западе с гордостью именуется «постхристианским».

И как же можно свести столь духовно опустошительное по своим последствиям явление к «отлаженному быту»? Так я говорю о духовной сытости, как конце всякого движения в умственной, нравственной жизни (когда, по словам Гюго, «брюхо съело человека... конечное состояние всех обществ, в которых померк идеал»), а мне говорят: все в Европе построено на сытости, на комфорте, все великие научные, культурные ее достижения. И эта сытость понимается буквально, на желудочном уровне интеллектуального уродца Гайдара, о котором даже либеральная «Независимая газета» с иронией писала, как он в Италии, на каком-то экономическом симпозиуме, обличал социализм тем «доводом», что колбаса в Советском Союзе «не годилась в пищу». Таким колбасникам не дано понять, что есть уровень жизни и качество жизни. Есть также и качество личности.

Никуда не денешься: личность в русском сознании ну никак не оторвать от коллективности, соборности — без этого нет нашей истории, культуры. И, глядя шире — качество самой социальной системы. При ненавистной либералам советской эпохе, трагической и великой, были Блок (поэмы «Двенадцать», «Скифы»), Есенин, Маяковский, Шолохов, Платонов, Леонов и т.д. А теперешняя «демократическая эпоха» — что дала?

То, что можно назвать социальной базой нынешнего режима, — клан «олигархов» с награбленными ими несметными природными богатствами в нашей стране, всего созданного народом в течение многих поколений; гидра коррумпированного сверху-донизу чиновничества, преступный «бизнес» (постоянно амнистируемый властью за уголовщину, неуплату налогов, одинаковых у нас для миллиардеров и нищих); промежуточные слои всякого рода спекулянтов, перекупщиков, торговцев; продажная «интеллигенция», растленная журналистика, нужные власти в той же, видимо, функции, какую имел в виду Ленин, призывая «организовать проституток как особый революционный отряд» (из беседы с Кларой Цеткин осенью 1920 года в Кремле) — все это, перечисленное выше «на законных основаниях» требует своего идеологического оформления и «оправдания добра». И все это сходится в одном: в мертвой хватке за «право священной частной собственности», в требовании необратимости людоедских «реформ». То, что называется буржуазным сознанием и раньше воспринималось как нечто отвлеченное, ныне становится господствующим фактором бытия, предметом апологетики, причем, уже неолиберального толка, в духе неолиберальных «реформ». Когда Чубайс изрек, что в отношении экономики, «реформ» «надо пренебречь нравственностью», то это было воспринято как признак пещерного культурно-интеллектуального уровня этого одиозного типа. Но этот «младореформатор» (как и его подельники гайдары) знал, конечно, кого он повторяет и кому следует. Теперь уже цитируются и вдохновители их, вроде теоретика рыночной экономики Ф. фон Хайека, говорившего еще в 1980-х годах,

что для существования либерального общества надо, чтобы люди освободились от некоторых инстинктов, прежде всего — от «инстинкта солидарности и сострадания». Не скрывая сути дела, «либералы-демократы», их единомышленники во власти прямо указывают на истоки своей идеологии. В моей статье «Консервативная накипь» («Наш современник», 2004, № 6) уже говорилось о трехтомном издании «Идеи. Люди. Действия», вышедшем в «Библиотеке "Единой России"», где в качестве наставников нынешних российских политиков, прочей так называемой «элиты» названы Дизраэли, Черчилль, Рейган, Тэтчер и т.д. Не будем вдаваться в подробную характеристику этих враждебных к России деятелей, выделим из них две фигуры, осуществлявшие на практике неолиберализм, — Рейгана и Тэтчер. Последней, кстати, принадлежат слова: «На территории СССР экономически оправдано проживание 15 млн. человек». Из философов в числе тех, кто должен вдохновлять наших либералов, назван Ницше, любимец Гитлера, апологет войны, ненавистник Христа, христианства. Уж не презрением ли этого «сверхчеловека» к состраданию, участию к обездоленным, слабым, которым он отказывал в праве на существование, должны мы вдохновляться — ведь это так сродни психологии наших нынешних «сильных мира сего».

Никогда не исчезали на русской земле и ныне продолжаются великие дела милосердия. В начале этой статьи речь шла о монахине Амвросии, в миру враче Александре Оберучевой — из прошлого. И вот наш современник — врач, иеромонах о. Анатолий (Берестов). Два пути — доблестные и плодотворные. Так соединяются концы времени, исторической цепи. Иеромонах Анатолий — крупный ученый-медик, подвижник не только в монашеском стяжании духа, но и в общественном делании, практической работе в миру. Демографическая катастрофа в нашей стране вследствие «криминальной революции», «демократических реформ» неотступно занимает его научные и гражданские помыслы. По миллиону в год сокращающееся население страны за время правления «демократов» — эта бесстрастная цифра оживает,

превращается в его научных изысканиях в страшные картины народного горя, геноцида народа, ставшего жертвой людоедского режима. Никогда русский человек на своей земле не подвергался такой изуверской обработке. И вот мы видим в работах, статьях о. Анатолия его не отвлеченные, а конкретные, реальные наблюдения, выводы ученого, медика и человека религиозного, как разрушается человеческая личность в нынешних условиях — и психологически, и духовно, и физически, не выдерживая угнетения всех видов.

В своих многочисленных печатных выступлениях под рубрикой «В чем причина демографической катастрофы в России» он касается всего, что губительно действует на человека, от «духовной агрессии внешней и внутренней» против России до недоброкачественных продуктов, «псевдопродуктов», завозимой из-за границы пищевой отравы. «По плодам их узнаете», — сказано в Евангелии, и эти плоды «демократической» Эрэфии — катастрофическое вымирание нашего народа, в то время, как даже в послевоенный период людские потери в войну были восстановлены, и многие последующие годы, вплоть до «демократического» переворота, народонаселение неуклонно возрастало. Этот поразительный факт и определяет гражданскую позицию ученого-медика, о ком одна из газет («Долгожитель», № 5, 2004) пишет как о «человеке, который не боится говорить правду о многих старательно и сознательно замалчиваемых вещах».

Отец Анатолий — руководитель душепопечительского центра по реабилитации лиц, пострадавших от оккультизма, тоталитарных сект, наркомании. Через этот центр прошли десятки тысяч людей, получивших здесь помощь, исцеление от тяжких недугов. Особенно близко к сердцу принимает о. Анатолий несчастье молодого поколения, растлеваемого «демократической» агрессивной пропагандой вседозволенности. «Чем дальше от времени Советского Союза, — говорил он по радио «Радонеж» (5 июля 2007), — тем хуже духовное состояние молодежи».

Если в глубинах народного бытия не перестают нарождаться такие силы милосердия, то это значит, что в нем,

в народе живо христианство, ибо высшим выражением его и является милосердие. Ведь наше отношение к пораженным лишениями, страданиями людям Христос отождествляет с отношением к Нему Самому, берущему на Себя бремя «униженных и оскорбленных», чтобы через эту непостижимую глубину милосердия пробудить сочувствие к ним (Мф. 25, 29—30). Поэтому то, что либералы взялись за вытравление в человеке, в народе «природных инстинктов солидарности и сострадания» означает, в сущности, их бесовскую одержимость вытравить из сознания, жизни людей само христианство, Христа. Недавно опубликованное в печати (конец июля 2007 г.) пресловутое «письмо академиков» (Гинзбурга и др.) о якобы клерикализации в стране показало не только духовно-культурную никчемность, ущербность, но и характерную для либеральной среды крайнюю агрессивность, ненависть к Православию в духе времен Троцкого-Губельмана (Емельяна Ярославского). Нельзя не сказать о подрывной антиправославной роли, которую играют вернувшиеся в нашу страну (за ненадобностью их там, за границей) диссиденты. Солженицына не устраивает «окаменело ортодоксальное, без поиска» Православие, как будто возможно Православие с «поиском», с извращением, отменой его догматов. Известно, как обоготворял он папу Иоанна-Павла II, называя его «благодатью Божией», считая «великим счастьем» повторять это. И как он обвинял Патриарха Пимена во лжи: «Но после лжи какими руками совершать Евхаристию?» «К освобождению от лжи кого же было призвать первыми, как не духовных отцов» и т.д. Другой диссидент М. Назаров в течение многих лет выполнявший на Западе идеологические заказы против своей бывшей Родины, с приездом сюда избрал постоянным объектом своих «разоблачений» Московскую патриархию. Автор невиданно русофобского изделия «Зияющие высоты» А. Зиновьев оставил «наследие» и как непримиримый противник Православия, повторявший в своих статьях, интервью одно и то же: «Православие не является не только единственной, но и вообще никакой ценностной базой для духовного возрождения

России. Это — духовное падение России, это — деградация... Россия отбрасывается на 100 лет». «Усиление православия означает деградацию России и является одним из факторов падения России и гибели» (газ. «Советская Россия», 6 сент. 2007) и т.д. На фоне этих лобовых атак любопытно суждение известного «нейтрального» к этой теме еврея Исраэля Шамира (в послесловии к книге «Россия и евреи», М., 2007): «Правление Троцкого и Свердлова миновало как и семибанкирщина при Ельцине. В обоих случаях русский дух победил... Эту временность и ограниченность еврейской победы в России можно объяснить православной верой. Русский народ, объединенный своей Православной Церковью, — это такая духовная сила, с которой не справиться ни одному противнику». Автор даже полагает, что «коммунизм был — православием без Христа. Был бы с Христом — Россия пришла бы в сказочный век». Не будем легковерны насчет того, что «русский дух победил» при Ельцине (добавим — и при его преемнике) — очевидно только усиление паразитического капитала и вымирания народа. Но очевидно и то, что Православие — действительно духовная основа нашего национального сопротивления, и с нею, этой основой, не так легко справиться нашим «историческим нетерпеливцам». Ведь для окончательной победы необходимо покорить жертву насилия силою духовности, обаянием культуры, если хотите, тем же, присущим сильным людям, народам великодушием, милосердием, а когда этого нет — то в самом деле неизбежно, в конце концов, то, что называется иллюзией победы.

ДЫХАНИЕ ЛЮБВИ И СТРАДАНИЯ

Литература очень связывает и язык, и чувства, и сам дух. Такой «присяжный стилист» (его слова о самом себе), как К. Федин, признавался своей дочери, что в его письме к ней «что-то есть литературное и деревянное и нет простоты, и естественности». Но тот же Федин мог добиваться и простоты, и естественности, например, в своих «дневниках», вро-

де описания маленького ледохода на речке Сетунь в послевоенную пору, с каким-то праздничным — в народной традиции еще довоенных времен — скоплением на мосту людей, наблюдающих за шумным движением, кружением весенних льдин. Или же описания ночной бури в Переделкино, с контрастом разбушевавшейся стихии и домашним, кабинетным, со свечой, уютом. Здесь сама природа как бы гонит языковую волну, не позволяя ей «одеревенеть». Но, оказывается, насколько трудно иметь дело даже с родственным чувством, настолько трудно отойти от литературности, «мастерства», когда требуется выразить «просто человеческое».

Вспоминаю, как в конце пятидесятых годов мне довелось быть на вечере памяти писателя В. Я. Шишкова, устроенном дома его женой. В центре общего внимания был Константин Александрович Федин. С трубкой в зубах, казалось, с расчетом на значительность каждого движения, каждого поворота головы, он занимал общество, преимущественно женщин, светскими историями, шутил с каким-то книжным оттенком. Потом, когда расходились, он помогал женщинам усаживаться в такси и только после этого тронулся сам со своим спутником. Я пристроился к ним и, идя с ними по ночной улице Горького, слышал, как говорил Федин: «Вечер потерян, но я не мог отказать... (здесь он назвал имя-отчество жены Шишкова — Клавдия Михайловна). Надо стругать, каждый день — стругать, стругать!»

Он так и писал — отделывая каждую строчку, обтачивая ее, шлифуя, так что первоосновой становилось как бы уже само мастерство. Но Федин — действительно мастер, большой мастер, однако и в его «стругании» снимается тот трепетный слой плоти, живого духа, без чего нет литературы как откровения.

И вот я читаю Дмитрия Сергеевича Дудко. Отца Дмитрия. Известного священника. Его «Подарок от Бога». О, конечно же, «это не Федин», эта книга вроде бы и не «профессионального литератора». Ведь сам он пишет о себе: «Хотя сейчас начинаю понимать, что у меня нет дара писательского, или я никак не могу его найти, хотя чувствую

в себе способности. Мне всегда некогда заботиться о стиле...» И в этой книге — вроде бы ни «стиля», ни «сюжета», ни «композиции». Излишество бытового материала, подчас пестрого, без должного отбора. Но вот прочитаешь, закроешь книгу и задумываешься... Сносится как бы ветром времени все внешнее, ветхое, относящееся к «форме», и остается «внутренний человек». С его исповедью; пронзительным опытом веры, любви и страдания.

Тридцатые годы, которые падают на детство Дмитрия Дудко, родившегося в заброшенной деревне на Брянщине. Будущий священник с крестной мукой уже в детстве чувствует, «в чем мое спасение». «Крестиков тогда было невозможно достать, и я сделал себе крестик из палочек». И голод, помрачающий даже сам лучик веры. Вот мальчик зорко следит за пришедшей к ним в дом старшей сестрой, замужней, у которой маленькие дети, — как бы она не сорвала в огороде морковку, лучок. «Мы выглянули в окно, куда она пойдет, нам страшно было, если вдруг в огород и что-либо сорвет? И как раз она в огород-то и пошла. Я выбежал из хаты, схватил палку, и только она наклонилась над чем-то, мне показалось, сорвать, как я размахнулся и безжалостно ударил ее палкой по голове. Она присела, даже не схватилась руками за голову, а завыла как-то по собачьи, — так мне показалось, долго, долго выла. Мать вышла, спросила у меня:

— За что ты ее?

— А зачем она рвет, мы сами хотим есть, — Мать больше ничего не сказала, подошла к сестре, и они обе стали плакать.

Я ушел, а они все плакали. Мне не было жалко, может быть, даже радостно, что я не дал ей сорвать нашу царскую пищу. Но потом, когда я уже подрос, воспоминая этот момент, как я ударил сестру палкой, мне становилось больно, жалко, я не находил себе места от укора совести. И плакал в тишине ночи».

Война. «Неопытный солдат», как себя называет автор, пожалуй, больше молился, чем воевал; простодушно, не утаивая и смешных сторон, рассказывает он о своем поведении на фронте, о своей неспособности убить человека на войне.

А после войны — поступление в Московскую Духовную Академию, арест за «антисоветские стихи». Приговор: десять лет лагерей. Не шаламовское безысходное «оставь надежды!» Не солженицынская непримиримая ожесточенность. Лагерная реальность смягчается не остывающей даже в этих условиях верой в Христа. Мы видим удивительную какую-то легкость, открытость, бесстрашие в отношениях верующего молодого человека с другими заключенными, людьми разных национальностей, разных судеб — от прибалтийских, украинских националистов до закоренелых уголовников. Некий «шарм» в лагерную жизнь вносят взаимоотношения автора с евреями. У них как бы и общий интерес друг к другу, взаимное тяготение, что ли. Как говорил бытовой антисемит, духовный юдофил, а в общем гениальный умственный змий Василий Васильевич Розанов — русская душа и еврейская — чуть ли не близнецы-братья. До поры до времени, конечно. В лагере евреи «в основном были в камерах хранения, в магазинах, на начальнических работах, в бухгалтерии, библиотеках». Автор не раз отмечает, что евреи хорошо относились к нему и даже порой принимали его за своего. «Один еврей делал вид, что меня он тоже принимает за еврея, и говорил со мной так: ”Нас начинают гнать, но мы свое покажем”. Другой еврей, который выдавал себя за русского, сказал мне: ”Не верь ему, это хитрый жид”». Третий еврей «выдавал себя за русского патриота, хотя впоследствии оказалось, что он наполовину еврей». Он все время напевал мотив: «Боже, Царя храни...» (не из родственников ли кого-то из расстрельщиков в подвале Ипатьевского дома?)

После восьмилетней «отсидки» Дудко был освобожден со снятием судимости, и только выйдя из лагеря, понял, почувствовал, с каким наследием оказался на свободе. «У меня вдруг захватило дыхание от переполнившей меня свободы! Ни конвоя, ни собак. Свободен! Иду самостоятельно. Я остановился, потом выдохнул лишний воздух, шагнул, первые шаги были очень робкими. Всякий раз, когда шел навстречу человек с погонами, вздрагивало сердце, но я успокаивал себя тем, что у меня есть пропуск, старался не смотреть на

погонника». И все еще не верил, что происходящее с ним — не сон. «Помню, в лагере я часто видел сон, что освободился, живу на свободе долго, ко всему привык, и вдруг просыпаюсь: я в лагере! — тяжело становилось мне. Такие сны мне снились часто, и я приспособился: как увижу такой сон, закрываю глаза и просыпаюсь. Так сделал я и сейчас, сижу долго с закрытыми глазами на скамейке. Нет, не просыпаюсь, значит, в самом деле, наверно, освободился».

Добившись восстановления в Духовной Академии, бывший заключенный дивил окружающих своей странной жизнерадостностью. Он заразительно хохотал по малейшему поводу и без всякой причины — на подготовке ли уроков, в столовой и т.д. В этом усмотрели нарушение дисциплины, и вызвавший его классный руководитель просил объяснить ему, почему он все время хохочет.

«— Ах, вот в чем дело... Видимо, потому, что я долго молчал. В заключении приходилось все время молчать, там нельзя было смеяться, там можно было только плакать. А здесь мне радостно, и я хохочу. Может быть, это со временем пройдет, а сейчас я никак не могу нахохотаться». Прощаясь, классный руководитель напутствовал весельчака: «"Хохочите, если вам радостно, не удерживайте себя. Бог с вами. Это хорошо, когда радостно", — и сам чуть не смеется».

«В то же время, хохоча, я умел сосредоточиться и мысленно молиться Богу. В храме я стоял, не поворачивая головы, сосредоточенно. Могло меня посетить благодатное чувство в любом месте и в любое время. Любовь из моей груди, казалось мне, расплескивается на всех, я всех любил и не огорчался ни от каких обид. У меня было хорошо на душе, а если вдруг возникало что-то нехорошее, я начинал бороться с этим чувством, и еще становилось лучше».

Радостен, но и тернист, скорбен путь истинного христианина. И этот скорбный путь постоянно сопутствовал отцу Дудко. И это тоже было «подарком от Бога». Служение его было необычным. Живая натура священника, не только глубоко религиозная, но и граждански чуткая, отзывчивая на

общественные потребности времени, не отвечала привычной, пассивной роли православных священников в условиях жесткого давления властей на Церковь. В проповедях его, привлекавших многих, евангельские темы сливались с современными общественно-нравственными проблемами. К тому же устраивались беседы «по темам», «по вопросам», на которых было множество людей. Известность священника Дудко перекинулась на Запад, где стали выходить его книги, печатались, передавались интервью с ним. Все это кончилось тем, что в начале января 1980 года он был арестован и посажен в Лефортовскую тюрьму.

Так снова, спустя три с половиной десятилетия после того, первого срока, Дмитрий Дудко повторил свой путь узника. Но это был уже не тот заключенный, молодой, с надеждой на будущее, не обремененный семьей, ответственностью за нее. Здесь, в камере, отрезанный от мира, он с болью чувствует, что обрек на мучение свою жену-матушку и сына с дочкой.

Чада моя ненаглядная,
Мать ненаглядная чад.
Слезыньки ваши все страдные
Прямо мне в сердце летят.
И просыпаюсь средь ночи,
Чувствую, все там горит.
Жжет меня, жжет меня очень,
Кто на пожар поспешит?
Лишь в одиночку таскаю
Ведра молитвенных слез.
Страшный пожар заливаю —
Да мне поможет Христос.

Во время часовых пребываний на прогулочном дворике размером два на три метра Дмитрий Сергеевич «про себя», мысленно слагает стихи, выражая в них свое мучительное состояние. Вышедшая впоследствии его книга «Лефортовские стихи» с эмоциональной обнаженностью передает, что

пришлось пережить в то время. «Корпусов неприступная стража // Обступила прогулочный двор, // Я мотаю шаги, словно пряжу, // Заплетаясь меж мысленных гор... // Облака проплывают свободно, // Неужель мысль не может взлететь? // Что ж ты бродишь угрюмо сегодня // И не хочешь на небо глядеть?»

Но угрюмство, душевная тяжесть преодолеваются молитвой.

Молитва — не слов биенье
В глухую стену судьбы.
Молитва вскрывает гробы
Заступом воскресенья.

Молитва не за себя только, а за всех грешных: «Пощади и друзей, и врагов, // Пощади и помилуй нас, грешных. // А за мной все глядят из глазков: // А за нас не забыл, друг сердешный? // Помолюсь и за вас, и за тех, // Кто над вами, пред вами, под вами. // Не молиться в тюрьме — страшный грех. // Облегчается сердце слезами».

Отец Дмитрий не растравляет своих страданий, не винит, не проклинает своих преследователей. Он стремится понять их, не только не предаваться неприязни, ненависти к ним, но, как христианин, полюбить их. В своем следователе, помимо служебного лица, он видит и «внутреннего человека», в чем-то по-русски симпатичного, пусть и атеиста, но, возможно, более близкого к вере, чем диссидентствующие околоцерковные умники.

Выступления отца Дмитрия по телевидению и в печати не были и никогда не могли быть отказом от Христа, от Церкви, а были покаянием общественным, компромиссом с безбожной властью. Последствия были самые ужасные для вышедшего на волю Дудко. За исключением немногих, от него отшатнулись все те, кто считали его своим духовным отцом, непреклонным противником строя. Стена отчужденности, враждебности, открытой ненависти встала между ним и еще недавно близким ему миром. Пришел срок для неведомого еще испытания — того жгучего чувства позора, который

сравнивается им самим с адом в душе, несравнимым ни с тюрьмой, ни с лагерем. Об этом он сам рассказал в своей «Исповеди через позор» — поразительной по своей искренности и горечи.

Но в этом было и нечто провиденциальное. Время показало, что в преддверии разрушительной для государства «перестройки» компромисс с охранительными силами был симптоматичен, отцу Дмитрию было не по пути с теми диссидентами, которые вскоре станут «демократами» — русофобами, воинствующими ненавистниками не только советского периода, но и всей истории России. Кстати, такая же перемена произошла и в отношении отца Дудко к Сталину: обличитель его в юношеских стихах, в наше время он пишет о Сталине как о спасителе России и даже как о глубоко религиозной личности.

Утешительницей в «позоре» была для Дмитрия Сергеевича его жена — матушка Нина Ивановна, его верный друг. И вот новый — кажется, уже не вынести — удар: ее болезнь и смерть. Об этом страшном затмении в своей жизни он поведал в книге «Подарок от Бога» (в главе «Смерть моей матушки»). Как бы еще растерянным умом, вспоминая все, связанное с нею, всякие бытовые мелочи, молвя что-то и невпопад (не до стиля!), автор медлит коснуться самого больного для него. И когда этого уже нельзя миновать — говорит так, что этого уже нельзя забыть. В реанимационной он, чтобы ободрить ее, говорил: «О, у тебя сил еще много, жми еще...» «Но ты уже нисколько не жала, только держала мою руку в своей». Придя в другой раз, чтобы причастить ее, увидел, что «она смотрела вперед, не на меня». Отпевание. И похороны, когда, глядя на нее в гробу, у разверстой могилы, он как о самом очевидном, ясном для себя произносит тайно беспощадные, но полные надежд слова: «Что ты ищешь ее здесь, это вытряхнутое что-то, ее здесь нет, и как-то стало странно... Все, спи до Второго Пришествия. Твое тело будет лежать здесь, а сама ты теперь будешь свободно бывать где угодно».

Недавно в квартирке отца Дудко по благословению Святейшего патриарха Алексия II открылась домашняя цер-

ковь — редчайший знак признания заслуг священника. До того это была небольшая комната, наполненная стопами книг (и его собственных в том числе). Сидя в креслице, напротив собеседника, Дмитрий Сергеевич, прервав разговор, мог вдруг подняться с места, встать на диван и выискивать нужную ему книгу. Теперь здесь, кажется, и не тесно, как-то все посветлело и раздвинулось. Иконостасик, дверки Царских врат, за ними алтарь, престол. Ведь Дух Святый нисходит, пребывает в любом православном храме, независимо от малости, великости ли его размера. И вот уже в ответ на телефонный звонок и просьбу позвать Дмитрия Сергеевича можно услышать приглушенный голос кого-то из паствы: «Идет служба».

И вспомнилась мне другая, такого же примерно размера церковка в дальней пещере Киево-Печерской лавры. Стоя там, глубоко под землей, в этой сдавленной скровне, перед мерцающими лампадами, я чувствовал, как спрессовано пространство моего бытия, сосредоточивая дух мой на вечности, представлял себе монахов одиннадцатого-двенадцатого века, которые молились здесь в недоступной миру тиши. А эта церковка на первом этаже стандартного дома, за окном идут люди к недалекой отсюда автобусной остановке. И приходят сюда с грузом страстей и немощей, от которых не укроешься ни в каких пещерах.

ИЗ ПАМЯТНОГО. ПОДАРОК ОТ БОГА

В своей опубликованной в «Нашем современнике» статье (№ 7, 2005 г.) «Из выводов XX века» Олег Михайлов вспоминает: «Как-то лет тридцать тому назад у меня собралась дружеская компания: светлая душа Дмитрий Дудко (ныне, увы, покойный), замечательный критик Михаил Петрович Лобанов и Петр Васильевич (Палиевский. — *М. Л.*). Пока мы с Палиевским обсуждали какие-то личные дела, наши визави вовсю бранили коммунистов за их гонения на Церковь. И, не отвлекаясь от разговора со мной, Петр Васильевич бросил

цепкую реплику: ”Да если бы не гонения коммунистов, Церковь давно погрязла бы во грехе!..” Ныне гонений нет и в помине. А в пору ельцинского произвола Церкви было позволено беспошлинно ввозить табачные и алкогольные изделия. Провидческая реплика!..».

Я не могу не доверять рассказам Олега Николаевича о нашей давней беседе с дорогим моему сердцу отцом Димитрием Дудко, но мне хотелось бы продолжить затронутую автором тему. Коммунистов в стране было 20 миллионов, и большинство из них, конечно, были люди честные, преданные интересам государства, Родины, не имевшие ничего общего с гонителями Церкви. Достаточно было, особенно среди так называемой интеллигенции, и таких, как Марк Захаров, театральный делец, который на партбилете сварганил свою карьеру, а потом, с «перестройкой», сжег его публично по телеящику. У нас в Литературном институте наперегонки побежали из партии руководители семинаров из числа секретарей Союза писателей, трибунных краснобаев на писательских собраниях. Что касается отца Димитрия Дудко, то его отношение к коммунистам можно определить его собственным словом: понимание. Об этом он не раз говорит в своих книгах, в частности в книге «Попытка осмыслить и разобраться с общественного амвона» (Форум, 2000). По его словам, он «коммунистом никогда не был», но православный священник «должен не судить, а понимать» (с. 250). А понимает он коммунистов так, что «эти люди... более остро чувствуют зло капитализма, чем другие. Что такое капитализм в своей сущности, это показал пример современной России. В основном это воры, грабители», по вине которых «народ погибает в нищете; коммунисты так не поступали. Их упрекают, что тогда многие сидели, а сейчас не сидят. Но это, как говорится, замазать глаза. Сейчас сидят не просто многие, а весь народ сидит, и если в лагерях заключенные так или иначе были защищены, получали, как говорят, законную пайку, то сейчас никого не защищают» (с. 250). И сам атеизм коммунистов, или, как он еще их называет — «национал-большевиков», не лишен религиозного смысла. Сравни-

вая их с «демократами-разбойниками», захватившими власть в стране, отец Димитрий Дудко пишет: «Коммунисты, бывшие атеисты, ратуют за нашу тысячелетнюю культуру. То есть за Православие. А эти разбойники за что ратуют? За бизнес!.. разворовывание сокровищ общественных. Истинно сказал Христос: нельзя служить одновременно Богу и Мамоне» (с. 12). И не случайно он на президентских выборах стал доверенным лицом лидера коммунистов.

Отец Димитрий называл Сталина «богоданным вождем». «Сталин остановил (в тридцатых годах) то, что сейчас происходит» (с. 155). «Сталин заботился о всем народе» (с. 134). «Слово, над которым смеялись — отец народов — оказалось верным, он, в самом деле, был отец» (с. 124).

Добавим, что даже для евреев (как бы они ни хохмили на этот счет) Сталин был отцом, спасая их в войну от гитлеровского истребления, а после войны, в 1947 году, даруя им через Организацию Объединенных Наций государственность (обретенную ими после двухтысячелетнего мирового бродяжничества). Так за что же так люто ненавидит неблагодарное племя своего благодетеля? Единственно за то, что Сталин кровно связал свою судьбу с Россией, создал великое государство, независимое от диктата мировых сатанинских сил, заложил в основание этого государства такой мощный созидательный потенциал, что вот уже два десятка лет захватчики безудержно грабят, терзают страну, а все еще есть что грабить!

Таково было понимание происходящего в мире отцом Димитрием Дудко, человеком мудрым, глубоко современным, не говоря уже об озарявшей всю его жизнь религиозности. Как истинный христианин, православный священник, он не осуждал ближнего, не мог «вовсю бранить» кого-либо. Помню, когда я возмущался, не жалея ярких эпитетов, поведением небезызвестного Г. Якунина, он мягко поправлял меня: нельзя так, когда-то он был другим. Хотя, конечно, выходки этого диссидента против Православной Церкви батюшка не принимал.

Видимо, мягкость, снисходительность к ближнему шла у него от неколебимой веры в силу самой истины Христовой,

которая была столь для него очевидна, что и других она, как и его самого, должна осенить рано или поздно. И не в этом ли секрет его влияния на людей? Один из духовных детей батюшки, Синицын, рассказал мне (эта история известна многим), как он, будучи баптистом, послан был своими собратьями к Дудко для... обращения его в свою веру, а кончилось тем, что сам, общаясь с ним, перешел в Православие, стал ревностным его воителем.

Многие знают отца Димитрия Дудко как проповедника, а ведь он и писатель, автор таких замечательных автобиографических книг, как «Подарок от Бога», «Исповедь через позор». Написанные в непритязательной манере (по излишней скромности автор не считал себя писателем), эти книги содержат в себе богатый психологический материал, глубоко пережитое человеком XX века, на долю которого выпали тягчайшие испытания, от голодного детства начала 30-х годов, лихолетья военного времени до погромной «перестройки». И драматизм судьбы священника, взявшего на себя крест активного противодействия безбожию при атеистическом режиме, пострадавшего за это. И несмотря ни на что, свою многотрудную жизнь приемлющего как подарок от Бога, как ниспосланное свыше благо. Вспомним апостола, который стал сетовать на непосильное бремя проповедничества и услышал в ответ: «Разве тебе мало Моей благодати?»

Мне посчастливилось многие годы знать батюшку. Сколько теснится в памяти встреч, разговоров с ним! Увидев его впервые, неожиданно было услышать, что в своих церковных проповедях он ссылается и на нынешних авторов (отец Димитрий назвал и мое имя). Он любил литературу, пристально следил за «почвенническим» направлением в ней и считал нужным использовать ее для нравственных бесед с прихожанами. Позднее я убедился, как скудна наша литераторская духовность в сравнении с тем, чем жил он в сокровенном своем мире. Уже в конце 80-х годов мы втроем — выпускник Литературного института Женя Булин (ныне отец Евгений), Николай Тетенов из США, редактор журнала «Русское самосознание», и я приехали в подмосковное Чер-

кизово, где служил в храме Димитрий Дудко. После вечернего богослужения, трапезы с участием большой группы молодежи — духовных детей батюшки — мы отправились на ночлег. Я лежал на диване, а за перегородкой стоял отец Димитрий и полушепотом читал молитвы. Днем мы прогуливались с ним по берегу Москвы-реки, удивительно широкой здесь, разговаривали на разные мирские темы, для меня он был Дмитрием Сергеевичем, чуть ли не коллегой по литературе. И вот теперь, слушая за перегородкой молитвы отца Димитрия, я почувствовал недосягаемость его для меня, и все наши недавние дневные разговоры были как будто с другим человеком. Было уже за полночь, глаза мои слипались, одолевал сон, я со все меньшим вниманием прислушивался, а он все молился, молился, молился...

В жизни я не вел ни дневников, ни литературных записей, о чем теперь сожалею. Но вот сохранившиеся листки о разговорах с отцом Димитрием.

«Первое мая 2000 г. Второй день Пасхи. Звонок от Дмитрия Сергеевича Дудко. Радостный голос. Рассказал, что нашел мою книгу об Аксакове (подаренную мною ему книгу "С. Т. Аксаков" в "ЖЗЛ"). Стал хвалить ее. "Когда я ее читал, вспомнил детство. У нас в деревне тоже стучали колотушкой". Сказал даже такие слова: "Я счастлив, что судьба свела меня с вами". Чтобы увести разговор от этих смутивших меня слов, я начал говорить о его книге "Подарок от Бога" — о детстве автора в голодный 1932 год, когда мальчик ударил палкой по голове старшую замужнюю сестру, пришедшую в их огород — чтобы она не рвала "райские овощи", и как та вместе с матерью заплакала, а он потом всю жизнь с болью вспоминал об этом. Но о. Дудко все говорил свое об Аксакове. Сколько радости доставила ему книга. Видно, хотел поделиться со мной пасхальной радостью и меня порадовать пасхальным подарком».

«Седьмое мая 2000 г. Вечером по телефону отец Димитрий Дудко сказал мне, что в своей домашней церкви он начнет службу в одиннадцать часов дня. Я пришел около одиннадцати, но служба уже шла. Слышался в дверях хор из

тоненьких женских голосков. Молились пять женщин, один молодой человек (как выяснилось потом, среди женщин — врач, библиотекарь; молодой человек — преподаватель школы). Церковка в бывшей жилой комнатке скромной квартиры в панельном доме. Через овальное окошко царских врат (перегородка комнаты) я увидел отца Димитрия в красной епитрахили, с кадилом в руках, заполняющим все благоуханием. Молодая женщина с летающей правой рукой истово командовала хором из трех человек. Я старался не смотреть на отца Димитрия, он был погружен в службу. Через овальное окошко я видел, как он читал тихо молитву под звуки проникновенного песнопения, воздев вверх руки. Потом молившиеся стали причащаться. После окончания Литургии мы с батюшкой перешли в отдельную комнату, где он прилег отдохнуть, а я, сидя против него, был еще под влиянием службы, но и видел, каким он стал другим. Дочка его, Наташа, придя к нам, дала мне просвирку. Пришла женщина-врач, измерила ему давление.

Потом принесли обед, вкусный суп с консервным мясом, кашу с печеночным паштетом, его батюшка не ел. Когда остались одни, начали разговор. Недавно мы с женой были на Глинских чтениях в Троице-Сергиевой лавре, где много говорилось о схиархимандрите Иоанне (Маслове) и на могиле которого на окраине города был совершен молебен при стечении массы народа, в том числе участников Глинских чтений. Отец Димитрий рассказал, что он и отец Иоанн — земляки, из Брянской области, их села в ста километрах друг от друга. Он хорошо знал его по духовной академии в Троице-Сергиевой лавре. Были между ними когда-то какие-то разногласия.

Отец Димитрий показал мне свои новые книги, сказал о себе: "Надо жить, как сказано в Евангелии: сердцем как голуби, а умом — мудро, как змий. И я как "змий" в издании своих книг: одна женщина помогает мне — она связывается со "спонсорами", те дают деньги и находятся издатели». На моих глазах усталый, утомленный батюшка ожил, повеселел, помолодел. Вспомнил он место в одной из своих книг, пора-

зившее меня: ”Христос назвал евреев детьми отца дьявола (Евангелие от Иоанна). Но между отцом дьяволом и его детьми-евреями никогда не будет мира. Дьявол будет еще больше ненавидеть своих детей. Закон их — ненависть”».

Перед моим уходом, стоя у дверей, отец Димитрий сказал мне: «М. П., как вы относитесь к благословению священника?» Мне стало стыдно. Ведь сколько знаю отца Димитрия, редко когда называл его батюшкой, и вот он деликатно напомнил мне, что он не просто Дмитрий Сергеевич, как я обычно его называл, не просто собеседник, автор книг, а священник, и недопустимо забывать о данном священнику свыше благодатном даре благословлять людей на добрые дела, на маленькие и большие подвиги, на мужество, вселять, укреплять в них веру. А ведь я не всегда просил у отца Димитрия благословения, редко когда целовал его руку, а он не менял оттого своего отношения ко мне. И грустно мне было, когда я прочитал в его книге «Шторм или пристань?» в числе других и такие слова: «С Лобановым дружба, может быть, только начинается, я почувствовал в нем по духу сродное мне». Эти слова, характеризуя его как беспредельно великодушного христианина, оставляют во мне горький привкус своего недостоинства перед батюшкой.

Он был действительно сеятель, разбрасывавший повсюду живительные семена. Он любил встречаться с молодежью, не раз приходил на мой семинар в Литературном институте побеседовать с молодыми авторами; переходя от стола к столу, выслушивал, приложив руку к уху, вопросы, отвечал просто и мудро. Он регулярно проводил в Московской библиотеке имени Блока беседы, делая упор на борьбу с алкоголизмом, брал со своих слушателей обеты не пить такой-то срок, а затем вовсе бросить. В той же библиотеке имени Блока в 2002 году отмечалось восьмидесятилетие отца Димитрия. Он усадил меня за столом рядом с собою, среди священников, других людей. С этого места зал был виден, как на огромном ковре: прекрасные лица, яркие, разноцветные одеяния; пришли любящие батюшку люди. Столы заставлены снедью, фруктами, прохладительными напитками,

соками, квасами, ни одной бутылки горячительного. Сердечные поздравления, воспринимаемые юбиляром столь обыденно, что иногда он прерывал выступающего: «Хватит, хватит, долго говоришь!»

Объявили перерыв, и вижу, как отец Димитрий вдруг насторожился, подозрительно глядя на выходящих из зала оживленных мужчин. «Уж не пошли ли они пить?» — встревоженно спросил он самого себя. А я подумал: «Не из тех ли они, кто дал обет не пить?»

Вечером 27 июня 2004 года на Красной площади завершился начатый от Храма Христа Спасителя крестный ход с Тихвинской иконой Божьей Матери, и здесь, в грандиозной массе народа у Казанского собора, с раздающимся на всю площадь через усилители торжественным голосом патриарха Алексия медленно доходил до меня смысл услышанного об отце Димитрии Дудко. От случайно встретившегося Петра Синицына я узнал, что батюшке совсем плохо, он так исхудал, что его не узнать. Давно отказался от врачебной помощи, лекарств. Последние шесть дней не принимает никакой пищи. Иногда только глоток святой воды. Дважды за эти шесть дней причащался. Никто не слышал от него за это время ни единой жалобы, ни единого стона. Возвратившись домой, я долго переворачивал в памяти, в душе все связанное с дорогим мне батюшкой, пораженный тем безграничным доверием, с каким он предал себя воле Божией, с таким христианским смирением уходя из жизни. На другой день он скончался, в половине седьмого утра.

Отпевали его в храме Троицы Живоначальной на Пятницком кладбище, что неподалеку от Рижского вокзала. Когда-то в семидесятые годы я изредка ходил сюда, тайком причащался, мне казалось, это место слишком укромное, скрытое, чтобы здесь меня могли встретить знакомые. И вот я теперь стоял в этом же храме, только переполненном скорбящим по батюшке народом.

Заупокойная Литургия и отпевание длились долго, шесть часов, служба шла по архиерейскому чину. Лицо, тело его в гробу были прикрыты, видны только руки, даже не руки,

а мощи. Прощаясь, я поцеловал их, а потом вспоминал, как при первой встрече с ним мне бросилась в глаза его властная правая рука, лежавшая на колене. И вот — мощи.

Более года, как нет больше с нами отца Димитрия Дудко. От храма — прямая дорожка к Пятницкому кладбищу, затем повернуть налево, идти вдоль бетонной стены, мимо овражка. На склоне овражка и приютилась могилка батюшки. В фонарике горящая лампадка. Его фотография незадолго до смерти — в беззащитном взгляде такая обнаженность души, духа, что, кажется, иного больше и нет ничего, кроме вечного, предчувствия его. Мы стояли здесь втроем — поэт Володя Смык, его жена Марина и я — и дума была у каждого своя. А я думал о том, что вот и обрел батюшка покой рядом со своей матушкой Ниной Ивановной, похороненной тут же несколько лет тому назад. Это о ней в его книге «Подарок от Бога» тот потрясающий момент, когда, глядя на нее в гробу, у разверстой могилы, он как о самом очевидном для себя произносит тайно беспощадные, но полные надежд слова: «Что ты ищешь ее здесь, это вытряхнутое что-то, ее здесь нет, и как-то стало странно... Все, спи до Второго Пришествия. Твое тело будет лежать здесь, а сама ты будешь свободно бывать где угодно». Какой мощью веры надо обладать, чтобы из затмения страшной земной утраты вырваться туда, где несомненна новая жизнь и где оба они пребудут вместе навечно.

ДЕЛО ДАЛЕКО НЕ ЧАСТНОЕ

Иногда нужна чья-то добрая заинтересованность в твоих воспоминаниях. Таковую я почувствовал на вечере «ЛГ» в Доме национальностей, когда главный редактор Юрий Поляков со сцены в ответ на мои слова об односторонности, преобладании праздничных реляций в освещении газетой своей деятельности в советский период предложил мне написать собственные об этом воспоминания, за что я благодарю его и предлагаю заметки об истории своих взаимоотношений с «Литературной газетой», ибо это дело далеко не частное.

До середины 60-х годов я был вроде бы желанным автором «ЛГ». В конце 50-х — начале 60-х годов здесь были напечатаны несколько моих статей, в том числе «О "веселых эскападах" на "критической арене"» — об авторе эпатажной книги «Товарищ время и товарищ искусство» В. Турбине с его интеллектуальной клоунадой. Еще до этого в конце мая 1959 года рядом с материалом о 60-летии Л. Леонова «Литгазета» дала положительную рецензию Д. Старикова на мою книгу «Роман Л. Леонова "Русский лес"» под названием «Любовь критика». В своей книге «Судьба России» Вадим Кожинов пишет, что «новое направление журнала "Молодая гвардия" начало складываться прежде всего в статьях Михаила Лобанова "Чтобы победило живое" (1965, № 12), "Внутренний и внешний человек" (1966, № 5), "Творческое и мертвое" (1967, № 4) — но стало явным для всех позднее». Мои «молодогвардейские» статьи, вошедшие в книгу «Мужество человечности» (1969), и стали причиной «охлаждения» ко мне газеты. Моя статья «"Интеллектуализм" и "надобность в понятиях"» («ЛГ», 27 ноября 1968) — по своему почвенническому духу решительно не соответствовала тому, что печаталось в газете. Но, как я догадывался, шла речь о каких-то не понятных мне тактических соображениях главного редактора. А. Б. Чаковский в своем кабинете сидел за столом, вооруженный огромной шариковой ручкой, и что-то подчеркивал на газетной полосе; стоявшие у стола трое сотрудников следили почтительно за каждым движением шефа. «Здравствуйте, у меня к вашей статье есть некоторые замечания, — заговорил Чаковский и стал водить ручкой. — У вас здесь есть слово "тае", что за "тае"?» — «Это не мое слово, я цитирую героя пьесы Толстого "Власть тьмы": "Почему "тае-не-тае"?» Чаковский, как бы не слыша моего ответа, опять повторил шепеляво и с каким-то искривлением в губах: «Тае, тае...» Я ждал, что будет дальше, но он перешел к другим замечаниям, довольно мягким, которые не затрагивали существа статьи и были быстро улажены. Но и в этих замечаниях мне слышалось, что он не забыл «тае», хотя и не мог своей огромной шариковой ручкой вычеркнуть это неле-

пое и отвратительное для него слово, в котором сам Толстой усматривал нечто порядком выше, важнее голого интеллектуализма, а именно прямоту моральных оценок. В статье моей сказано: «Если за Акимом из толстовской драмы "Власть тьмы" и не признавать цивилизаторских заслуг, то все равно не минешь его, когда речь идет о русской культуре. И сам Аким с его крестьянским "не тае", смутно намекающим на существенное в жизни, и его творец Л. Толстой, высшее напряжение национальных творческих сил в искусстве, — все это разные ступени нравственно-однородного сознания, все это исходит из органической целостности национально-народного бытия».

Конечно же, не только Александра Борисовича Чаковского, но и его собратьев по «интеллектуализму» неслучайно раздражали эти дикости вроде «тае-не-тае», и не только в толстовском Акиме, но и в самом писателе, в почвенническом типе мышления тех же славянофилов Хомякова, Киреевского, К. Аксакова и т.д. Неслучайно в статье А. Дементьева «О традициях и народности» («Новый мир», 1969, № 4), которая послужила, по признанию А. Яковлева, сценарием для его статьи «Против антиисторизма» (их сходство и в общих выпадах против меня), славянофилы именуются мыслителями в кавычках. Сознание своего превосходства вдохновляло безъязычных умников на своеобразное «словотворчество». Так, Б. Полевой, главный редактор молодежного журнала «Юность», именовал так называемых деревенских писателей гужеедами.

Характерна история моих статей, попавших в свое время под удар «Литературной газеты». Все связанное с этим подробно изложено в моей книге «В сражении и любви» (2003), здесь же коснусь бегло главного — идеологических обвинений. От автора статьи «Против антиисторизма» А. Яковлева («ЛГ», 15 ноября 1972) мне досталось за «антипартийность», за слова о «самобытности России», за неприятие «буржуазной безликости», даже почему-то за непочтительность перед Великой французской революцией, за «мужика» и т.д. Обличал меня тот самый А. Яковлев, матерый партократ, цеков-

ский идеолог, будущий «архитектор перестройки», который окажется при Андропове — Горбачеве на высотах власти, начнет оголтело разрушать все то, что восхвалял до этого, а уже при «демократах» обратится к «российской и мировой общественности» с призывом «возбудить преследование фашистско-большевистской идеологии и ее носителей»!

Говорят сами за себя и названия других в мой адрес статей в «ЛГ». В одной из них «А было ли "темное царство"?» В. Кулешова (19 марта 1980 года) попало мне за «идеализацию» прошлого, за то, что не свел художественный мир А. Островского исключительно к «темному царству», к «самодурству», а показал этот мир в полноте его, со сторонами не только темными, но и светлыми, в богатстве народных характеров, поэтичности образов («Снегурочка»), эпичности картин, героев в исторических пьесах и т.д. На посланную мною в редакцию в качестве ответа статью с просьбой опубликовать ее я получил от А. Чаковского письмо (от 16 мая 1980 года) с отказом («дискуссия стала бы "топтаться на месте", не развиваясь») и заключительным укором, что в течение двенадцати лет я «не обращался с каким-нибудь предложением в редакцию... Одним словом, давайте смотреть вперед».

Газета, не давшая мне ни слова для ответа, подала зато должный пример другим изданиям, в частности журналу «Вопросы литературы» (1980, № 9), где на круглом столе полудюжина удальцов с академическими и докторскими этикетками устроила мне головомойку с приговорами-прибаутками (заголовки выступлений): «Оспаривая Островского», «А как быть с исторической правдой?», «Когда надо защищать хрестоматийные истины» — и т.д.

Весьма примечательно, что статья В. Кулешова «А было ли "темное царство"?» была приурочена к состоявшемуся в тот же день в Доме литераторов отчетно-выборному собранию «творческого объединения критиков и литературоведов». В своем докладе на нем П. Николаев, ссылаясь на только что вышедшую статью В. Кулешова в «ЛГ», повторил все сказанное в ней, добавив и собственную демагогию.

После всех выступлений (чаще в поддержку докладчика) приступили к обсуждению кандидатур в члены бюро объединения, в числе которых был и я, выдвинутый руководством Московской писательской организации. Несмотря на требования театрального критика А. Анастасьева отвести мою кандидатуру, все же моя фамилия осталась в списке для голосования. Уже поздно, чуть ли не к полуночи, объявили результат. Против меня — подавляющее большинство голосов. Здесь, конечно, сыграла свою роль и «Литературная газета», запустившая специально к этому собранию увесистый булыжник — статью В. Кулешова.

В декабре 1982 года по команде генсека Ю. Андропова состоялось решение ЦК КПСС о моей статье «Освобождение» (журнал «Волга», 1982, № 10). С криком «Бей лежачего!» набросился на нее тот же П. Николаев (кстати, мой сокурсник по МГУ) в опусе, набранном вызывающе крупным шрифтом: «Освобождение... от чего?» («ЛГ», 5 января, 1983). По поводу названия этой статьи автор романа «Драчуны» М. Алексеев (об этом романе идет речь в моей статье) пишет в послесловии к своему трехтомнику (1998), что «Лобанов первый указал, что может добиться писатель, освободившись от внутренней цензуры, раскрепостив и душу и перо свое, — это и только это продиктовало умному и честному критику и заголовок, и все, что сказано под этим заголовком». И у меня в статье сказано: «Не решившийся до сих пор говорить об этом, только дававший иногда выход сдавленному в памяти тридцать третьему году — упоминанием о нем, автор набрался наконец решимости освободиться от того, что десятилетиями точило душу, и выложить все так, как это было». Вроде бы ясно, о каком освобождении идет речь, но моему обличителю требуется политическая улика, и вот он «расшифровывает» заголовок как освобождение от всех социалистических основ, как неприятие коллективизации, индустриализации, марксистско-ленинской идеологии, классовой борьбы, «завоеваний советской литературы» и т.п.

Но вот в литературной среде, как и в идеологии, наступили «новые веяния». Ст. Лесневский писал в «ЛГ» (27 января,

1988): «У нас не прозвучало полного признания того, что мы совершили большую ошибку, учинив разгром памятной статьи М. Лобанова в "Волге". Между тем сейчас, перечитывая статью, мы находим в ней немало справедливого, точного. Не должна возникать такая ситуация, когда одно направление пытается доказать власти, что противоположное направление является врагом нашего строя. Эта ситуация находится и вне морали, и вне культуры». Но вне морали находится и перевертничество тех, кто, как тот же «доктор филологических наук» В. Кулешов, громил меня в своей статье «А было ли "темное царство"?» за «идеализацию прошлого», «темного царства» с его «дикостью», религиозностью, а при «демократах» в предисловии к вышедшей под его редакцией книге «Русская литература и христианство» (изд. МГУ, 1997) как ни в чем не бывало объявляет строгий выговор своему вчерашнему кумиру — «вульгарно-социологическому схематизму и всякого рода идеологическому диктату», направляет «современное литературоведение» в «религиозную область», воркует о «гуманистической благодати (?) в русской литературе». Уж не та ли это ничего общего не имеющая с русской литературой «благодать» того самого связанного с Просвещением гуманизма, заслуги которого в истории отмечены враждебностью, уничтожением всего, что не вписывается в рамки этого рационалистического, антихристианского представления о человеке, начиная с истребления индейцев, работорговли неграми до нынешнего навязывания народам мира американского жизнеустройства?

Перестроился в своем роде и другой «доктор филологических наук» — П. Николаев. Известный писатель Сергей Есин, в своей «мистической повести» о Литинституте (ректором которого он был) описавший историю моих злоключений в этом институте в связи со статьями обо мне в «ЛГ», рассказал мне о Николаеве, которого хорошо знал. Тот уже в новое время признал ошибкой свою статью «Освобождение... от чего?» И, кстати, печатно поведал, что его сближает со мною любовь к деревне, ведь он в детстве был деревен-

ским пастухом. Когда на нашем ученом совете Литинститута, где я работаю, зачитали эту исповедь, то все дружно захохотали, зная, с кем имеют дело.

Неожиданным было для меня то, что в декабре 1990 года на VII съезде писателей РСФСР С. Михалков принес мне извинение за свое выступление на секретариате Союза писателей РСФСР в феврале 1983 года, когда подверглась разносу моя статья «Освобождение». Позднее международник, работник МИД Владимир Зимянин, автор книги о своем отце, бывшем секретаре ЦК КПСС М. В. Зимянине, передал мне его извинение. Под председательством Михаила Васильевича в ЦК было проведено в январе 1983 года экстренное совещание главных редакторов всех столичных изданий, где и было произведено судилище над моей статьей «Освобождение». И вот уже во время перестройки, находясь на пенсии, бывший секретарь ЦК просит сына передать мне, чтобы я не обижался на него за то судилище, потому что «все шло от Юры», как назвал он по старой комсомольской привычке Юрия Андропова, давшего ему добро на проработку (с соответствующим решением ЦК по этому же вопросу). Как-то странно мне было узнать об этом «покаянии»: как все непросто в душе человека и вместе с тем неужели так непрочны были убеждения тех, кого мы знали в роли идеологических столпов великого государства?.

Теперь в материалах «ЛГ» история ее 60—80-х годов выглядит как подспудное приуготовление эпохи перестройки, «демократии», либеральной власти в России. (Об этом прямо говорится в статье о главном редакторе «ЛГ» А. Чаковском, написанной его внучкой.) Видно, так и было, тогда чего стоила эта игра в партийность, коммунизм, советскую государственность? И эта фотография в юбилейном номере — стоящий в торжественной позе А. Чаковский со знаменем в руках, на которое некое высокое должностное лицо прикрепляет орден «Литгазете» «за выдающиеся заслуги в деле коммунистического воспитания трудящихся».

То, что было определяющим в литературе 60-х — начала 80-х годов минувшего столетия, живет и сегодня. Остается

все то же самое противостояние сил национально-традиционных, почвеннических и, с другой стороны, либеральных, космополитических. И сама «ЛГ» напоминает об этом — хотя бы в статье А. Ципко (28 февраля 2007 г.). Именуя меня «основоположником красного патриотизма», автор цитирует отрывки из моей статьи сорокалетней давности «Просвещенное мещанство» (1968) и делает довольно странные выводы. Вот цитата из моей статьи: «Нет более лютого врага для народа, чем искус буржуазного благополучия. Это равносильно параличу творческого гения народа». А. Ципко не увидел в «Просвещенном мещанстве» главного, того, о чем, например, «со своим интересом» писал диссидент-эмигрант А. Янов в своей вышедшей в Нью-Йорке, а затем изданной в России книге «Русская идея и 2000 год»: «Лобанов неожиданно обнаружил червоточину в самом сердце первого в мире социалистического государства, причем в разгаре его триумфального перехода к коммунизму... Язва эта состояла, оказывается, в "духовном вырождении образованного человека"». И моя статья — это разбор всего того, что составляет сущность этого духовного вырождения «образованного человека», так называемой «интеллигенции».

Нынешние «демократы-интеллигенты» любят повторять ставшее расхожим словцо Солженицына «образованщина», хотя сам же он в своих мемуарах «Бодался теленок с дубом», цитируя мою статью «Просвещенное мещанство», свою «образованщину» выводит именно из выведенного в заголовок термина.

В современной ему России Солженицын не видел ничего, кроме ГУЛАГа, а тот же А. Янов считал, что автор «Просвещенного мещанства» «верил в потенциал советского режима». Заключая, хочу сказать, что эта статья, если хотите, была предчувствием того, что произошло в России. Речь шла о страшном тогда, в 60-годы, психологическом симптоме — назревании в обществе, стране духовного, социального кризиса, подспудного скопления разрушительных сил в лице той «советской интеллигенции», той самой, которая впоследствии с «перестройкой-революцией», уже в наше время, объ-

явив себя «демократией», направила всю свою бесовскую энергию на уничтожение России, русского народа.

Суть происходящего ныне в России можно лучше понять из бессмертных слов Достоевского — о борьбе дьявола с Богом, где поле битвы — сердца людей. Так и в нашем сознании некуда деться от выбора: либерально-космополитическая Антироссия или национально-самобытная, историческая Россия?

«ДОРОГОЙ ОТЕЦ ФЕОДОР!»

Из переписки с о. Феодором, монахом Свято-Троицкого Александро-Свирского мужского монастыря

Мой дорогой отец Феодор!

Ваше письмо оставило такой глубокий след в моей душе, что я до сих пор не перестаю думать о нем и о Вас. Вот и сейчас, прежде чем написать это письмо, смотрю на Вашу фотографию, и мысль уносится к Вам. Когда я впервые увидел Вас в монашеском одеянии, у меня невольно вырвалось: «Пономарев. Пономарев». Стоявшая рядом жена Татьяна удивилась моему возгласу. А меня поразило, сколько неожиданного, таинственного в жизни и как мы мало думаем об этом. И вот для меня Вы уже не Юра Пономарев, которого я знал три десятилетия тому назад как студента нашего литинститутского семинара, деликатного «петербуржца», склонного к философствованию, даже к «общечеловеческим проектам», а подвижник, поднявшийся на такую духовную высоту, перед которой я могу только благоговеть. И в самом Вашем письме, в слоге, тоне виден отпечаток Вашей нынешней высокой жизни. И вместе с тем доброе отношение к литературе, которая, может быть, давала толчок, но вряд ли кого приводила к духовному перевороту, к вере, но которая, как многое другое, тоже есть дар Божий и может служить добру, как пишете Вы.

Дорогой отец Феодор, Вы просите прислать Вам мои публикации за последние годы (10—15 лет). Посылаю Вам мою книгу «В сражении и любви» — как раз написанное мною за этот период. Название ориентировано на стихи Хомякова:

Подвиг есть и в сраженьи,
Подвиг есть и в борьбе;
Высший подвиг — в терпеньи,
Любви и мольбе.

Годы страшные, и неизвестно, как мы выберемся из этого кошмара. Очень меня мучит, что происходит в России. В сдержанных Ваших словах чувствуется, как глубоко переживаете Вы «ужас безобразия» в стране. Но я уверен, что молитвами таких избранных, как Вы, Россия не погибнет.

Посылаю Вам десятый номер «Роман-журнала XXI век», который только что вышел. Прошу великодушного снисхождения ко мне, что без Вашего разрешения дал в печать Ваши фотографии и отрывки из письма. Хотелось мне, чтобы читатели узнали, что не все еще пропало, когда в лучших русских людях открываются такие провиденциальные пути. В материале о Суворине Вы увидите замечание В. Крупина о некоей моей реплике в частной беседе. Видимо, он имеет в виду мое напоминание (возможно, не лишенное пристрастности) о необходимости волевого, не пассивного Православия, резкого неприятия рассуждений иных литераторов, что даже если Россия и сократится до размеров Московии, главное, чтобы осталась Святая Русь. Не могу принять социального примирения. Ведь великие подвижники духа, даже святые не были равнодушны к тому «земному», что называется патриотизмом, государственностью, социальной справедливостью. Свт. Димитрий Ростовский говорил, что неуплата трудящимся за труд есть тягчайший грех перед Богом. Знаменитый автор «Троицких листков» архиепископ Никон возмущался, когда слышал, что Церковь не должна заниматься социальными, национальными вопросами, политикой, что ее, Церковь, хотят изолировать от мирской жизни, и т.д. Вот и Вы в письме говорите о социальной роли религии.

К сожалению, мне ничего не известно о наших выпускниках 1977 года. Вот смотрю на групповой снимок — и кого уже нет? Косенко умер несколько лет тому назад. Акулов —

страшно сказать: повесился (работал в Сочи, в музее Н. Островского). Ахмедова видел последний раз где-то в середине 80-х, он приезжал из Баку в Москву, заходили с ним в Дом литераторов, как когда-то с Вами. Далее: Муравенко, Ежеченко. Как они там, на «незалежной», бывают ли на Майдане, откуда и до нас доносится вопль: «Ю-щен-ко!»

Мой брат Дмитрий Петрович Лобанов более двадцати лет служил в ракетных войсках на Украине, сейчас живет в Воронеже. Решил побывать вместе с ним в городке его офицерской молодости у брата его жены, благо — билеты льготные, — с будущего года этого уже не будет. Приехали в Жмеринку. Вечером приходит сосед, украинец, бывший идеологический работник, учился в Москве, в партшколе. И первое, о чем заговорил: Россия устроила в начале 30-х годов «голодомор» на Украине, от голода умерло 17 миллионов. Я не выдержал и сказал: а у нас, в Москве, есть могучий статистик Солженицын, который называет цифру жертв большевизма в 70—90 миллионов человек. Гость воспринял это вполне серьезно. Украина, видимо, действительно становится другой, более далекой от России. Рвутся в Европу, где в официальных общеевропейских документах о всякого рода ценностях не значатся ценности христианские.

Дорогой отец Феодор, вчера у меня был разговор с директором издательства «Ковчег» Сергеем Владимировичем Тимченко (моим бывшим студентом). Я рассказал о Вас, и он просил передать, что может посылать церковную литературу — лично Вам или же монастырю — в качестве благотворительности. Вышли великолепные издания «Жития и творения русских святых», «Беседы русских старцев» и т.д.

Поздравляем Вас, дорогой батюшка, с Новым годом, с Рождеством Христовым, с сердечным пожеланием Вам всех и всяческих благ.

М.Лобанов
25.12.2004

* * *

Мой дорогой отец Феодор!

Каждое утро в молитве за здравие всегда называю в числе самых дорогих для меня лиц Ваше имя. А потом в суете дневной, укоряя себя, что редко пишу Вам, оправдываюсь перед собой тем, что Вы все понимаете. В последнее время был занят дипломными работами выпускников и набором нового семинара. Сколько пришлось перечитать, перелопатить рукописей, чтобы выбрать из этой массы что-то подходящее. А там еще неизвестно, сколько авторов, допущенных к экзаменам, приедет, может быть, только треть. Лучшие-то могут и не приехать из самых дальних мест, как оттуда им выбраться в нынешнее-то время с такими ценами на билеты. Всегда меня огорчало, что многие даровитые и не приезжают. В этом году, может быть, как никогда раньше, через этих молодых людей наглядно открылось мне, что же происходит в сознании, психологии нового поколения от 17 до 25 лет. Это не «рожденные бурей», «прекрасным и яростным миром», а продукт того невиданного периода русской истории, который связан с так называемой «перестройкой», «реформами». Как юные незрелые души впитывают в себя ядовитые испарения, грязь, все растлевающее в нынешней «общественной» атмосфере с ее «свободой», культом всего низменного. Читаешь подряд «исповеди», и кажется, что видишь какую-то сексуальную саранчу. Где-то я читал у одного православного священника, что для него молодежь — это больные люди, до которых не достучишься духовно. Кто-то скажет, что слова спорные, не все больные, но что больным можно сделать целое поколение (что и делается) — это очевидно. И все же...

Один из поступающих в Институт — священник Горицкого женского монастыря города Кириллова Мокиевский Артур Васильевич. Представлены им две вещи: во-первых, отрывок из романа «Незавершенная литургия». Время действия — начало 20-х годов (при патриархе Тихоне). Талантливое описание Литургии с пресуществлением хлеба и вина в Тело и Кровь Господне. Параллельно несколько утрирован-

ное описание вторжения комиссара во главе с красноармейцами в Храм с арестом в алтаре священника Георгия. Другая вещь «И Святого Духа» — живописная картина трудовой поездки (священника и мирских лиц) в переполненном вагоне поезда в метельную ночь. И как симпатичен сам священник, обогревающий душевно народ свой неунывностью, добрыми шутками.

Из произведений других абитуриентов — рассказ 18-летнего автора «Одиночество»: письмо матери к сыну в Москву, пронзительно место, как она, бывшая музыкантша, кормит бродяг, одного из них сбивает машина. Рассказ другого автора — о бизнесмене времен «дефолта» 17 августа 1998 (ведь знает до точности даже день) — о его успехах в предпринимательской деятельности, крахе, после чего — «новые проекты». Есть и другие — вдумчивого, серьезного взгляда на современную жизнь.

На днях на заседании приемной комиссии руководители семинаров по всем жанрам высказывали свои впечатления о нынешнем наборе: состав поступающих, о чем пишут, особенности мировосприятия и т.д. Один выступающий впал в публичное уныние, от чтения многих рукописей у него руки опустились, не знал, что делать, «все православие да православие». И сказал таким тоном, будто ждал сочувствия у присутствующих, впрочем, при всеобщем молчании.

И все-таки «стены Литинститута» весьма далековаты от «стен церковных». Как-то на узкой юбилейной пирушке у одного из литинститутских сотрудников — поэта, переводчика Микушевича я, может быть, излишне похвалил его за верность ортодоксальному Православию — в отличие от «несчастного узника» Даниила Андреева с его фантастической мировой религией «Розы мира», и в ответ доцент нашего института Джимбинов по-петушиному клюнул меня за «православный фундаментализм». Вот ведь незадача, этот фундаментализм лепят к чему угодно — исламский, иудейский и т.д. И ничего, «звучит». А фундаментализм православный... сам язык русский не принимает эту нелепицу, отторгает ее. Ибо то, что истинно, — не нуждается ни в каких «измах».

Приходилось мне и на защите дипломных работ моих семинаристов сталкиваться с такими «прогрессивными» оппонентами. А на этот раз, на заседании приемной комиссии, я внес некую порчу в благополучный разговор. Поскольку идеологией «новой демократической России» объявлено и с успехом реализуется право сильного, презрение к народу как к «быдлу», поскольку вся политика направлена на его уничтожение (о чем говорил и Патриарх Алексий II), то животрепещущая задача литературы, молодых писателей — активно противостоять этому людоедству, никогда не забывать о традициях нашей русской литературы с ее защитой «униженных и оскорбленных». Говорил я не ради красного словца, а как человек уже старый, которого, можно сказать, сожрала литература (и как хотелось иногда ответить ей за это проклятьем), и как все еще живущий какой-то детской иллюзией в нужности слова, даже и в узком кругу, когда «чешется язык», а может быть, и рвется надсадное в душе — оправдать как-то наше жалкое писательское звание каким-то серьезным делом, хотя бы той же социальной, гражданской ответственностью, а не заниматься словесной игрой при нынешнем положении России. Простите, дорогой отец Феодор, за эти «литературные мелочи» в моем письме, но мне кажется, что в какой-то мере это Вам небезразлично как нашему выпускнику.

На днях выезжали с женой в подмосковный поселок около Внуково, где снимаем в аренду в писательском шестиквартирном доме небольшую квартиру. Здесь есть храм Ильи Пророка, был построен в 1905 году, недавно отмечалось его столетие с приехавшим церковным начальством. Еще несколько лет назад он был в запущенном состоянии, а сейчас его не узнать. Восстановлен он на деньги «бизнесмена» — женатого на русской женщине англичанина, приехавшего в Россию, заведшего здесь конное дело (племенное хозяйство). Долгое время супруги не имели детей, а когда появились дети — в благодарность за «услышанные молитвы» он и стал щедро помогать восстановлению храма.

Здешний храм, конечно, не так намолен, как наш — Михаила Архангела, — на юго-западе, в Москве. В Ильинском

храме (на горке, откуда такой чудесный вид в сторону зеленой впадины, где расположен наш маленький писательский поселок, ныне захваченный «новыми русскими» с их построенными здесь дворцами) прихожане из числа сельского населения — паства более «прозрачная», более открытая, кажется, и самими лицами. Здесь все знают друг друга, по возможности помогают, что и делает по доброте своей моя жена Татьяна.

Некоторое время в этом храме читал лекции философ-богослов С. Н. Катасонов. Какие лекции могут быть в храме, помимо проповедей батюшки? Но вот читал, прямо-таки как в университете с кафедры, и старушки покорно слушали его. Входил в церковном одеянии в алтарь с Библией в руках... Но вот что-то разладилось. Ушел из лекторства, не стал появляться в храме. Но вижу его сейчас в Москве, в нашем Храме Михаила Архангела, постоянно причащается. Но и «ничто человеческое ему не чуждо» — обратился ко мне с просьбой помочь ему вступить в Союз писателей России, что я и сделал как член приемной комиссии (аж с 1960 года). Я прочитал подаренную им мне его книгу «Христианство, Наука, Культура» и увидел в ней не только образованность автора, но и его однодумье о христианстве, Православии не как об учении, а как о жизни, о реальности, об онтологическом бытии.

Хотя Ильинский храм — и сельский, но мимо него рядом проходит шоссе к недалекому отсюда (в двух километрах) Внуковскому аэродрому, и в воздухе нередко звук колоколов заглушается шумом пролетающих самолетов. И бывает, когда поздно не спишь и слышишь доносящиеся с аэродрома свистящие звуки взлетающих самолетов, то представляешь себя в это время в недалеком отсюда храме — там так же свистящие звуки издает кадило, которым размахивает батюшка во все стороны, кадит.

Прочитал недавно статью об Евхаристии в журнале «Православная беседа», № 2 за 2006 год. Автор ссылается на священномученика Иринея, Иоанна Дамаскина, святителя Григория Паламу, суть сводится к тому (текст автора), что «именно Евхаристия» как путь нашего общения со Христом закладывает в нас то основание, и более того, она есть то

самое основание, которое позволяет праведникам подлинным образом воскреснуть в день Второго Пришествия. «Христиане воскреснут именно потому, что уже сейчас они подлинно являются членами Тела Церкви, Тела Христова и питаются истинным Телом Спасителя — Евхаристией».

Итак, Евхаристия, когда Христос входит в нас, — и есть залог нашего будущего воскресения. Перед этим я причащался и не задумывался над этим, воспринимая единение с Христом «в настоящем времени», а тут как-то удивительно стало ясно (приходит на ум даже такое неуместное вроде бы здесь слово: логично), что восстанем мы из праха именно потому, что в нас через Евхаристию навечно запечатлена, останется навечно частица Самого воскресшего Христа. Точно ли я говорю, те ли слова (не доморощенно ли это?). А может быть, вообще не вдаваться в непосильное для ума, непостижимое? Лучше следовать интуиции «простецов», не мудрить, а молиться (как молилась моя мать) с детским доверием к Милостивому Творцу.

М. Лобанов
1.07.2006

* * *

Дорогой отец Феодор!

Прежде всего хочется от всего сердца, преданного Вам, пожелать исцеления Вашего глазного недуга. Это непременно и должно быть. Ведь с Вами Ваш Хранитель — св. Александр Свирский, а вы — его охранник.

Не раз я читал в богословской литературе (от святителя Брянчанинова до Флоровского, нынешнего А. И. Осипова и т.д.) о необходимости руководствоваться (может быть, не то слово) не только откровением Священного Писания, но и творениями Св. Отцов, подвижников веры. Мне кажется, что важно знать, читать и своих современников — истинно православно верующих, ведь их слово дышит тем воздухом эпохи, каким дышим и мы (куда от этого денешься), и поэтому, пожалуй, нам внятно более, нежели иные книжные,

отвлеченные проповеди, удаленные от общественных токов нашего времени. Не говорю уже о тончайшем лукавстве политиканствующих ораторов (на том же радио «Радонеж»). Мне как-то полоснуло душу, когда я прочитал Ваши слова о том, что вера — «самое великое счастье, доступное человеку». Можно сказать, что это не ново, но ведь как сказать и кто так может сказать? Сколько в этом мире наговорено о любви «он — она», а все кончается банальным метаньем временных счастливцев. Как сказано в псалме: «Только в Боге успокаивается душа моя». О, если бы обрести такое успокоение! Но счастлив человек уже тем, когда он приходит хотя бы к пониманию этого.

А у меня в Литинституте, не успел оглянуться, окончились каникулы, и на днях прошло первое занятие с поступающими — этюд. Как-то впервые посмотрел на себя со стороны как на руководителя семинара (может быть, что-то изменилось во мне с возрастом, да и пора). И вот новая очередная волна молодежи в той же самой одиннадцатой аудитории, в которой провожу семинарские занятия вот уже сорок четвертый год (с 1963). В основном — юные лица, от 18 до 25 лет. Я для них даже не дедушка, а прадедушка («патриарх» в Литинституте, как меня именуют «коллеги»). В душе моей — почти вековой груз прошлого, с конца двадцатых-тридцатых годов, с безотцовщиной, с коллективизацией, голодным тридцать вторым годом, индустриализацией, политическими процессами 1937—1938 гг.; война, ранение на Курской дуге, послевоенные трудности; университетские годы с приобретенным туберкулезом; смерть Сталина, хрущевщина с заложенными минами государственного подрыва, пресловутый «застой» (ведь не только!) при Брежневе — с копившейся подспудно грозой. Величайшая катастрофа, постигшая Россию. Да что говорить, исторические события послевоенного времени стали и Вашим опытом. По времени пережитое нашим поколением — это почти какая-нибудь двадцатая часть до Христа. В двухтысячелетней истории человечества — одна из высших по напряженности, высоте духа, трагичности эпох. И все это оставило в сознании, психологии,

памяти нашего поколения свой осадок, свои неизбывные наследия, как оставляют природные катаклизмы в геологических породах свои трещины, разломы.

Но это — чистый лист бумаги для нынешней молодежи, продукта «перестройки», «рынка», в большинстве своем не знающей и не хотящей знать прошлое. И как найти с ними приемлемый язык? Заискивать глупо, я-то знаю, хотя бы и по своему литературному опыту, с чего начинали иные «юные гении», с каких красивых слов, и чем кончили.

Как жизнь человеческую надо судить не по началу, а по итогу ее — так и в литературе: что оставил после себя писатель, какое выношенное, выстраданное слово. Мысль не популярна среди молодежи, но надо о ней напоминать.

А сколько в жизни страшного, внезапного! Вот погибли в автокатастрофе двое детей (дочь 20 лет и сын — 17 лет) и двое тяжко пострадали — у отца Алексея Дарошевича. Я знаю его. Был лет пять тому назад в его храме Живоначальной Троицы в знаменитом Поленове. Здешняя паства, по его словам, — из шести с половиной бабушек, добираются из них — трое. Но у него православная община, приезжает к нему по субботам-воскресеньям кто-то из москвичей. Кстати, сам он — выпускник пресловутого ВГИКа — вот ведь какие бывают метаморфозы! Мать его русская, отец — белорус. Помню, как после утренней службы за длинным столом, где трапезничали под открытым небом, поблизости от храма, он рассказывал о своих детях, о появившемся на свет седьмом ребенке. И вот этот страшный удар.

Вскоре же, спустя несколько дней, в течение августа он выступал на радио »Радонеж», отвечал на вопросы. Я слушал все четыре передачи, и поразили они меня тем, насколько глубоко верующий человек может идти в бездонную глубину своей веры, полагаясь на волю Божию, без которой не может быть ничего случайного в жизни, и в то же время невозможно отрешиться от человеческого, в этом случае — отцовского горя. В первой передаче (какой-то даже неестественной в его состоянии) в ответ на звонки сочувствующих он медлительно говорил: «Переживать не надо. Что такое переживание?

Этого не нужно. Нужно обращение к Богу, нужна молитва. Ясность, прямота во всем, в горе». И вот второе его выступление — в день Успенского поста. Другой голос. Вспоминает своих детей с подспудной надсадной болью. Незримые слезы. Смерть всегда ужасна, особенно близких людей. Что человек? И Сам Христос плакал о смерти Своего друга Лазаря, плакал по обреченности людей после первородного греха. Была еще передача — о том храме Живоначальной Троицы, где настоятелем он, о. Алексей. И какой же светлый образ храма в окружении живописной природы с крутым берегом близкой отсюда Оки возникал в его рассказе (я как будто снова побывал там)! В последней, четвертой передаче (25 августа) послышалось мне в его голосе что-то усталое, надломленное — с призывом соединяться с Богом, желать смерти, не бояться ее.

Да, велик человек своей связью с Богом, но и слаб по природе своей человеческой. А у звонивших на радио (в основном женщин) свои заботы: «Отец Алексей, приношу Вам свое соболезнование, у меня тоже горе. Умер сын. Я все время плачу». — «Отец Алексей, у меня дочь отбилась от дома, от матери, приходит ночью. Что мне делать?» — «У вас, батюшка, большое горе, умерли ваши детишки, и у меня, батюшка, тоже большое горе. Умерла сестра. И у меня рак. Не знаю, как жить. Надо молиться. И я молюсь. Хожу в храм. Молюсь». И т.д. и т.п. Горе о. Алексея вызвало целую стихию народных стенаний, горя современной России. Отвечая им словами: «У нас общее горе, очищение наше — путь к Богу», отец Алексей находит в себе силы как бы ввести эту страждущую стихию в русло всеобщей любви. Ценою неимоверного страдания даются такие проповеди, но как они отзываются в наше время, равнодушное ко всякому отвлеченному нравоучению.

Дорогой отец Феодор, я вот разогнался с этим письмом, а ведь Вам нельзя читать.

Исцели, Господи, зрение верного твоего воина Феодора!

Сердечно,
М. Лобанов
28.08.2006

* * *

Дорогой мой отец Феодор!

Огромное Вам спасибо за Ваши молитвы о здравии отца жены раба Божия Николая у охраняемой Вами раки св. Александра Свирского. Больному стало легче, и я уверен: благодаря тому, что Ваш голос услышан.

Как всегда в Ваших письмах — и в последнем, — есть над чем глубоко задуматься. Это Ваши слова в связи с гибелью детей батюшки Алексея Дарошевича, что Вы теперь уже научились не искать и не пытаться определять Промысла Божьего... причин, истоков или последствий происходящего с нами. «Наше (мое) дело только молиться: просить, умолять Бога...» И этот потрясающий пример веры священника-философа Орнадского в 1918 году, который просил своих палачей первыми расстрелять его взрослых сыновей; когда их убивали, он читал по ним отходную молитву, а потом сам пошел под расстрел.

Я думаю, Вы не посетуете на меня, что передал я отцу Алексею содержание той части письма, где речь идет о нем и в связи с ним. Это так важно, так дорого для него в его положении, особенно Ваши слова, что «батюшка Алексей не только словом, но и делом показывает всем нам — как надо верить Богу и любить Бога».

Печально читать, дорогой отец Феодор, Ваши слова о «глазной эпопее», так хочется верить, что все кончится благополучно. Прочитал Ваше письмо и будто побывал вместе с Вами в Поленово, вспомнил молодые годы, когда в схожих обстоятельствах теснилось в душе что-то романтическое, возвышенное (о чем так щемяще сказано у Вас), но «все прошло, все умчалося», перед глазами слепящая точка, на которую надо смотреть прямо, мужественно, но этого мне и не хватает.

Спасибо Вам за Ваш совет, чтобы я не оставлял Литинститута, действительно, здесь можно сделать и что-то доброе, полезное для молодежи. На днях по моему приглашению беседовал со студентами моего семинара священник Ярослав

Шипов, он же и талантливый писатель, автор самобытных рассказов о реальных событиях, людях, без праздного вымысла. Он сам был студентом Литинститута, знает эту публику, какой нужен тон разговора с нею, и его так внимательно, сосредоточенно слушали, что три часа пролетели незаметно. Мне даже показалось, что каждое лицо от слушания неподвижно, как в раме. Каждый мог почерпнуть что-то конкретное из его опыта — духовного, жизненного, писательского. Говорил он и о политике, в устах священника и она воспринимается по-особенному, например, то, что судить правителя надо не по словам, не по «национальным проектам», а по главному — «сбережению народа», а народ наш катастрофически вымирает. Останется в памяти будущих писателей и то, что нас не принимают в мире, враждебны к нам, потому что мы православные, иными быть не можем. Мы такие.

С запозданием пришел на беседу другой батюшка — отец Евгений Булин. Как и о. Ярослав, он также окончил Литинститут, учился в семинаре критики, но постоянно посещал наш семинар прозы и после окончания Литинститута приходил к нам и записывал мои выступления. С «перестройкой» уехал в Америку (у него там был родственник по жене — редактор журнала «Русское самосознание» Николай Иванович Тетенов, недавно умерший), работал маляром, поступил в семинарию при Русской Зарубежной Церкви, но после окончания первого курса из шести вернулся в Россию и служит сейчас в Люберцах под Москвой. У меня его фотографии: трогательно видеть маленький храм, малое «стадо Христово» — приход в составе неизменных старушек, шествие их, возглавляемое моим дорогим батюшкой.

Увидел я его, и что-то дрогнуло во мне: показался он мне постаревшим, в его-то годы. Хотя «иго» это и «благо», — но сколько духовных, душевных, физических сил требует это служение Церкви, Христу — более тяжкого подвига и нет. Глядя на него, я думал, как легко живется нам, светским людям. А тут он еще щипнул во мне какой-то недозволительный нерв: жена Татьяна (она вместе с дочерью Галей была на

этой встрече) передала мне, что в мое отсутствие (я выходил из аудитории) на вопрос, что стало толчком на его пути к вере, отец Евгений сослался на мое духовное влияние на него. Конечно же, это чтобы поддержать меня в глазах моих студентов, но как это было тактично сделано — в мое отсутствие. Уже уходя из Литинститута, направляясь к метро, я спросил у отца Евгения, пишет ли он что, и он так обыденно, с каким-то внутренним отсутствием при этом отвечал — «Как-то попробовал, и нехорошо стало», сказал так, будто дурно стало от чего-то несъедобного. Как все-таки необъятна жизнь, и какие в ней разные «смыслы», уровни духовные.

Дорогой мой отец Феодор! Как бы Вы порадовали меня, если бы сообщили хорошую новость о Вашем зрении.

Сердечно Ваш
М. Лобанов
11.12.2006

* * *

Мой дорогой отец Феодор!

Думаю о Ваших глазах и постараюсь писать разборчивее, четче. Пишу Вам из больницы (уютная участковая больничка на 35 человек, напоминает что-то чеховское) — неподалеку от нашего писательского поселка. Попал сюда сходу по диагнозу врача: воспаление легких, но оказался затяжной глубокий бронхит, со мною это бывает почти всегда в начале года, к весне (наследие туберкулеза, пневмоторакса в молодости). Так что получилось вроде пародии на болезнь, хотя пришлось две недели колоться, глотать всякие таблетки и т.д.

Неудачное выдалось время для этого безделья: надо было сдавать дипломные работы выпускников (к середине марта), и теперь придется делать это с запозданием. И хотя меня никто укорять за это не будет, но и во мне живет что-то от бдительности моего любимого покойного дядюшки фронтовика Алексея Анисимовича («дяди Лени»), говорившего, что больных на работе не любят. Когда ему на местной ватной

фабричке оторвало два пальца, то он после больницы на другой же день вышел на работу, не показывая вида. Ибо приближалось его пенсионное время, боялся отставки и не мог представить свою жизнь без фабрички, без ночных вызовов как начальник цеха. Где он теперь, святой работник...

Почти все больничные дни читал Феофана Затворника «Пути к спасению» (краткий курс аскетики), третья часть. Но что значит «читал»? Даже поверхностное соприкосновение с этим «опытом аскетики» переворачивает представление о мире и человеке. Всякие философские измышления, вся психология «великой художественной литературы», всякие «исторические деяния» и т.д. — все это блажь, игра страстей в сравнении с реальностью переживания, бытия в глубинах духа человека, решившего жить подлинно христианской жизнью. Не мне рассуждать об этом, но тяжела мысль, что даже и не оставляемый благодатью человек как бы обречен на бесконечную, кровавую войну с самим собой, не зная ни послабления себе, ни передышки в брани, ни окончательной победы. И только вера в милосердие Спасителя может спасти от отчаяния несовершенного по природе человека. Может быть, это ощущение такого старикашки, как я, но отдельные места у еп. Феофана беспощадностью брани высасывали мои последние силенки. Впрочем, даже и само чтение «аскетики» дает трезвение нам, как мы никчемны со своей самостью, и если что-то можем внести в свое дело разумного, то только понимание того, что чего стоит в этом мире.

А вот другой голос Феофана о тех, кто, как он, оставляет этот мир: «бывает, впрочем, и так, что сильный натиск от мира бывает только в начале, потом стихает, стихает, и оставившего этот мир оставляет в покое, ибо в мире редко кем дорожат — поговорят, поговорят, а там и забудут... Он зрелище, занят только или держит в себе тех, кои в нем, до других же ему дела нет». Грустные, между прочим, слова. В чеховском «Архиерее» вскоре после смерти Владыки никто уже не помнит о нем, не верят рассказам матери, что сын ее был архиереем. Я однажды как-то задумался (я писал об этом в своей статье «Освобождение», четверть века тому назад):

вот приходят и уходят миллионы, сотни миллионов безвестных людей, и никто о них не знает, не помнит (кроме родных). Но вот и с «известными» то же самое.

И все-таки хочется верить, что не все забывается здесь, на земле, дорогой отец Феодор. Перед отправкой письма только что звонил Татьяне Кулаевой, она рассказала, что три дня назад говорила с Вами по телефону. В Ваших местах будут после 20 мая. Просим Вас с женой помолиться за ее тяжко болящую мать Галину, а также за отца ее — Николая. Поздравляем вас с Величайшим праздником — Христовым Воскресением!

Сердечно,
М. Лобанов
29.03.2007

* * *

Дорогой отец Федор, пишу Вам в канун Нового, 2009 года, в преддверии величайшего светлого Праздника Рождества Христова. Поздравляю Вас с этой радостью, желаю крепости духовной и телесной, осуществления в Новом Году того, что так заботит Вас о сыне.

После нашего последнего телефонного разговора произошло такое, можно сказать, эпохальное событие, как кончина патриарха Алексия II, вызвавшая необычно живую реакцию, во всяком случае, в Москве, и со всей очевидностью показавшая, как власти предержащие старались использовать имя патриарха, порыв верующего люда для прикрытия своей внутренней антихристианской, антинародной политики. Но что рассуждать об очевидном, уместнее, пожалуй, послать Вам вырезку из газеты «Советская Россия» (13 дек. 2008), где комментируется «надгробное слово» и выступление на поминальной трапезе местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Кирилла (кстати, в этой газете бывают недопустимые выпады против Церкви, «попов», религии). Здесь даются комментарии на «посылы» митр. Кирилла — об усилении Церкви в настоящее время, ее лидерстве в определе-

нии национальной идеи, в утверждении традиций, ценностей Святой Руси, единства исторической России. Да, что-то непривычное в новейшей истории нашей Церкви — говорить так прямо, «без дрожи в руках и ногах» (как выразился сам митр. Кирилл, теперь «у нас не дрожат руки и ноги, потому что Церковь вместе со своим народом») Ну что ж, время покажет, как это будет выглядеть на деле. Пока же можно сказать, что сам митр. Кирилл, кажется, не ко двору либералам, судя по нападкам на него в желтой прессе (типа «Комсомольской правды»). Златоуст в проповедях, выступлениях, митрополит вроде бы не чужд интереса к литературе, что-то читает, даже как-то процитировал некое восточное изречение из кавказца Искандера, пишущего на русском языке. В свое время писатель Леонид Корнюшин рассказал мне, как он добивался, чтобы в его родное село на Смоленщине (недалеко от Дорогобужа) прислали священника для службы в местном храме (еще тогда не восстановленном). Дело не двигалось. Тогда отправился он в Смоленск, выждал, пока не кончилась служба, которую вел в кафедральном соборе митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, и по выходе владыки из собора остановил его и не отпускал, пока тот не дал согласия в этот же день поехать с ним в село, чтобы на месте ознакомиться с обстановкой. По дороге митрополит, вкушая и сам, угостил попутчика свежей провизией, огурцами и помидорами с монастырского огорода и, между прочим, спросил, знает ли он такого-то (назвал мою фамилию). Это было то время (начало 1983 года), когда после решения ЦК КПСС по моей «ошибочной» статье «Освобождение» фамилию мою трепали в прессе, и поэтому мог быть такой вопрос. Отчасти поэтому я и решил, когда познакомился в Союзе писателей России, в кабинете его Председателя Валерия Ганичева с митрополитом Кириллом (Ганичев близок к нему и как Сопредседатель Русского народного собора, проходящего ежегодно в Храме Христа Спасителя), решил подарить митрополиту свою книгу «В сражении и любви» (где много материала против церковного диссидентства).

Кажется, какой может быть в наше время «престиж» литературы, но вот, оказывается, и сами иерархи пишут: вел дневник Алексий II, видимо, скоро опубликуют. Писал стихи патриарх Пимен, разумеется, без всякой претензии на «поэтичность», просто «для себя, для души», но как много говорят эти стихи о личности Святейшего — своей бесхитростностью, простодушной обыденностью, фактографичностью. Например, подробнейший перечень работ при возведении Храма; как он, молодой игумен Пимен, приехал на новое место службы в Ростов-на-Дону, как его встречали там на вокзале в осенний дождь; как служил всенощную в переполненном молящимися соборе; описание икон и т.д. Стихи Пимена под рубрикой «Былое пролетает...» вместе с эпизодами из его жизни систематически публикуются в газете «Православная Москва». Вот как поздравляет он нас с вами в канун Нового года:

Ждут счастья люди, не дождутся,
Они мечтают каждый год.
К нему бегут, к нему крадутся,
Но все на счастье недород.
С грядущим годом поздравляю.
Хочу, чтоб добр он был и тих.
Чтоб нес покой родному краю,
Чтоб всех ласкал, как нежный стих.

(Православная Москва,
№ 20, октябрь 2008)

Нельзя без улыбки читать последние две строчки первого четверостишья (подчеркнуто). И это так прекрасно в устах нашего верховного Пастыря, сурового обликом, величественного в богослужении, каким он остался в моей памяти. За время его патриаршества (1970—1990) я много раз был на его службе в Богоявленском (Елоховском) кафедральном соборе, почти всегда на Страстной Седмице. Помню, как однажды в Великий Пяток, стоя у вынесенной Плащаницы, опираясь

на жезл, он произнес такую проповедь в нескольких словах, повторяя кого-то из Отцов Церкви: «Что мы можем сказать в этот час? Мы можем только молчать и плакать». Власть его не жаловала. В той же газете «Православная Москва» опубликована запись беседы зам. председателя Комитета по делам религии Фурова с митрополитом Пименом (21 февр. 1967). Чиновник напрямик просит митрополита рассказать о себе «откровенно», на что владыка (по записи беседы) «заявил, что он всегда старается быть откровенным с Советом и на этот раз готов рассказать все, что может интересовать». И рассказывает о личной жизни, о том, что «с московскими архиереями отношения нормальные», коротко характеризует их. Познав подобную горечь унижения, незащищенность от грубой силы, патриарх Пимен сам жил в психологическом поле «малого стада» с внутренним сопротивлением среде, и это выражалось в напряженности, стойкости религиозного чувства, какового нет в нынешней среде с «разрешенной» религией, тысячами новых храмов и монастырей. Пишу об этом потому, что считаю себя современником церковной эпохи патриарха Пимена, дорогой для меня, живущей и поныне не только в памяти, но и в душе моей.

Но если я завел разговор о литературе, то закончу его. Недавно вышла весьма объемная книга митрополита Антония Храповицкого: «Избранные труды. Письма. Материалы» (М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2007), а еще ранее в двух солидных (по 700 с.) книгах было издано жизнеописание его («Митрополит Антоний (Храповицкий) и его время» (2005)). В этих изданиях — богатейший исторический, богословский материал, здесь жизненный пастырский путь выдающегося иерарха, его труды, выступления на Поместном соборе 1917—1918 гг., воспоминания его собственные и воспоминания о нем самом и т.д. Удивительно его отношение к Достоевскому, которого он считает не только единственным из русских мировым писателем, но почти обожествляет его. Один из авторов воспоминаний о митрополите приводит такой разговор

с ним: «Главное, конечно, для него был Достоевский. Помню даже такое замечание: «Прежде всего Библия, потом церковный устав, а на третьем месте Достоевский». Я тогда был уже посмелее и, помню, спросил: «Ну а где же, владыко, святые отцы?» Митрополит умно посмотрел и по-своему незабываемо улыбнулся».

Митрополит составлял словарь идей, изречений своего любимого писателя, называл его «не только диагностиком, но и терапевтом», считал, что «творения Достоевского успокаивают наши души светлою надеждою на неистощимое милосердие Божие и нравственное возрождение человека», освобождение «из тенет греха, неверия и злобы». А ведь сам Достоевский, видевший смысл своей жизни только с Христом, признавался в постоянном борении в себе веры и безверия.

Вот как духовными лицами ценится литература, которая превращена сегодня в гуляющую бабу.

Сообщаю Вам, батюшка, что недавно Литинститут отметил свое 75-летие. Посему случаю было собрание в Институте с вручением всяческих грамот, и затем 3 декабря с.г. состоялся юбилейный семичасовой вечер в Доме литераторов, с выступлениями выпускников, песнями на их слова, с прочим концертными номерами, с неизменным в таких случаях «фуршетом». Я не был на этом вечере, но слышал от студентов, что на трибуне красовались персонажи из числа чиновников от культуры, госдумцев, завсегдатай «голубого экрана», корейский посол и т.д.

Разрешите же и Вас поздравить с праздником и выразить благодарность судьбе за то, что именно здесь, в Литинституте, она свела меня с Вами.

Высылаю Вам по Вашей просьбе мои книги «Оболганная империя» и «Сталин». Сталиным я не устаю и вряд ли перестану восхищаться. На днях я смотрел на квартире знакомого литератора немецкий фильм о съезде национал-социалистической партии Германии в 1934 году. Первое впечатление — очень сильное: прошел всего год со времени прихода Гитлера к власти — и какое потрясающее сплочение,

подъем немецкой нации. Это следование на открытой машине Гитлера по улицам Мюнхена, заполненным ликующим народом, сияющие лица в окнах домов. Эти литые колонны штурмовиков, марширующих по улице. Такие же сплоченные ряды, квадраты, можно сказать каре, рабочих-строителей с лопатами, как с винтовками на плечах, выкрикивающих откуда они, из каких земель Германии. Сам ход съезда нацисткой партии — сменяющие друг друга ораторы с «хайль Гитлер» в конце своих речей. И выступление перед закрытием съезда самого Гитлера — постепенно входящего в транс, взывающего, угрожающего, взвинчивающего криком, судорожными жестами себя и огромное скопление людей. Но вот проходит время и постепенно исчезает ощущение силы, воли в происходящем, на первый план выступает что-то механическое. Обычно диктаторы завоевывают власть и популярность зрелищами и демагогией. Сталин же не ораторствовал, как Гитлер, Троцкий, не заигрывал с толпой, не дурманил ее, не взвинчивал низменные страсти, инстинкты, он подчинял массы своим гением организатора, несокрушимой логикой мысли, величием своей личности и тем скрытым в нем, что знавшие, встречавшиеся с ним, называли человеческим обаянием. И разве не странно, что на «ближней даче» на стене спальни «всесильного диктатора» висела журнальная репродукция «Девочка кормит овечку».

Вот какие у меня, м.б. неожиданные для Вас, мысли об Иосифе Виссарионовиче, с таким пониманием роли Сталина и составлена посылаемая Вам моя книга. Но мне, конечно же, было бы важно знать и Вашу на нее критику.

Дорогой отец Феодор! Как мы с Татьяной благодарны Вам за бесценный подарок — книгу «Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь. 500 лет». Она и радует и обогащает, и умудряет нас, и всегда напоминает о Вас!

Еще раз поздравляем с Рождеством Христовым! Доброго Вам здоровья, хорошего зрения, такого же зоркого, как Ваше зрение внутреннее.

Ваш *М. Лобанов*
26 дек. 2008

Закат

Осенний вечер. Из окна видны колокольня, купола храмов Новодевичьего монастыря. Над ними медленно ползут низкие тяжелые серые тучи. Слева от колокольни заходящее солнце, тусклое от облаков, но вдруг ярко вспыхивающее, заливающее край неба. Всплеск ликующего сияния золотых головок куполов, вскоре гаснущих. На горизонте светлая полоса от невидимого уже солнца, сдавленного затученным небом. А внизу, во дворе, качающиеся, шумящие от ветра кроны деревьев с проносящимися над ними острыми углами черными птицами. Из окна, за крышами двухэтажных зданий больницы видны коробки домов, палки «высоток», котельные трубы, поодаль справа — смутный силуэт Московского Университета — все притихло, кажется, в понимании чего-то неизвестного нам под этим вселенским покровом.

Через стенку палаты крик соседа, прикованного к постели: «Они опять закрыли двери. Откройте дверь в коридор! Я психологически не могу с закрытой дверью!» Встаю. Открываю дверь. Из конца коридора движется каталка. Кто в ней? Больной? Мертвый? За окнами шум деревьев. Колокольни уже не видно.

На обратной стороне земного шара поднимается солнце.

Все благо: бдения и сна
Приходит час определенный:
Благословен и день забот,
Благословен и тьмы приход.

Московская больница № 61, бокс 622
Август 2009

КОММЕНТАРИИ

В настоящее издание входят избранные произведения выдающегося русского мыслителя, литературоведа, общественного деятеля Михаила Петровича Лобанова. Нами опубликованы произведения, выходившие в течение более полувека и вобравшие в себя характерные черты каждой эпохи, реакцию неравнодушного человека и гражданина на меняющиеся события. На этих страницах обозначен тот путь русского самосознания, в котором частное и общее сходятся, и частное может внести немаловажную долю в понимание произошедшего и происходящего в стране.

ЧАСТЬ I
ПОЧВЕННОСТЬ

В настоящем разделе собраны статьи, опубликованные в 60-х годах в журнале «Молодая гвардия». Лейтмотивом их, эстетическим стержнем стала народность, ее традиционные ценности в противостоянии либерально-космополитическим силам, которые активизировались тогда в литературе и обществе. Собственно, в 60-е и определилась та передовая линия идеологической, духовной войны, которая спустя четверть века привела к «перестройке-революции», разрушившей наше великое государство.

В. В. Кожинов в своей книге «Судьба России» пишет, что «новое направление журнала ''Молодая гвардия'' начало складываться, прежде всего, в статьях Михаила Лобанова ''Чтобы победило живое'' (1965, № 12), ''Внутренний и внешний человек'' (1966, № 5), ''Творческое и мертвое'' (1967, № 4) — но стало явным для всех позднее». Бурную реакцию вызвала статья «Просвещенное мещанство» (1968, № 4).

С обвинениями ее автора в «антимарксизме», почвенничестве выступил А. Дементьев в своей статье «О традиции и народности» (Новый мир, 1969, № 4). Спустя два с половиной года те же обвинения с еще большим политическим накалом повторит в своей статье «Против антиисторизма» (Литературная газета, 15 ноября 1972 года) идеолог ЦК партии, будущий «архитектор перестройки» А. Яковлев. Именно этот «барабанщик коммунизма» и «развитого социализма», матерый партократ с полувековым стажем, который при Андропове, Горбачеве вознесется на вершину власти, став членом Политбюро ЦК КПСС, будет разрушать, обличать, проклинать все то, что до этого прославлял, выдвинет «судебный иск к большевизму», потребует «суда над большевистской идеологией и ее носителями» и т.д. Оборотничество, перерождение захватит широкие круги партократии и так называемой творческой интеллигенции, а симптомом этого было явление, названное Лобановым «просвещенным мещанством». В своих мемуарах «Бодался теленок с дубом» (1974) А. И. Солженицын, пересказывая и комментируя цитаты из статьи Лобанова «Просвещенное мещанство», выводит из него свою «образованщину»: «У нас выросло просвещенное мещанство (Да! — и это ужасный класс — необъятный, некачественный, необразованный слой, образованщина, присвоившая себе звание интеллигенции — подлинной творческой элиты, очень малочисленной, насквозь индивидуальной. И в той же образованщине — весь партаппарат)». «Молодого человека нашей страны облепляет: выхолощенный язык, опустошающий мысль и чувство; телевизионная суета, беготня кинофильмов». Приводя ряд цитат из той же статьи, Солженицын заключает: «В 20—30-е годы авторов таких статей сейчас бы сунули в ГПУ да вскоре и расстреляли». Однако то были уже другие годы, другое время, и другой была страна — травили в ней русских патриотов не столько КГБ, сколько литературная сионистская банда, засевшие в ЦК русофобы, агенты влияния, которые потом сделались «демократами» и цинично признавались, что сознательно подтачивали изнутри «тоталитарное государство».

По поговорке «у страха глаза велики» среагировал на «Просвещенное мещанство» бывший до эмиграции работником комсомольского журнала в Москве профессор Нью-йоркского университета и идейный русофоб А. Янов. В своей книге «Русская идея и 2000 год» (Нью-Йорк, 1988) он

пишет: «Даже на кухнях говорили об этой статье шепотом...» и «...сказать, что появление статьи Лобанова в легальной прессе, да еще во влиятельной и популярной ''Молодой гвардии'' было явлением удивительным, значит сказать очень мало. Оно было явление потрясающим». Янов продолжает: «Злость, яд и гнев, которые советская пресса обычно изливала на ''империализм'' или подобные ему ''внешние'' сюжеты, на этот раз были направлены внутрь. Лобанов неожиданно обнаружил червоточину в самом сердце первого в мире социалистического государства, причем в разгар его триумфального перехода к коммунизму. [...] Язва эта состоит, оказывается в ''духовном вырождении'' образованного человека... [...] Лобанов... переносит центр мировой драмы из сферы борьбы социализма и капитализма в метафизическую сферу противостояния ''духов''... предсказывает он, что в грядущем смертельном конфликте ''рано или поздно столкнутся меж собой эти две непримиримые силы'', названные им ''нравственной самобытностью» и «американизмом духа''». В отличие от ВСХСОНа «Лобанов верит в потенциал советского режима».

Друзья и враги
(глава из книги «Роман Л. Леонова ''Русский лес''»)

Первая публ.: Роман Л. Леонова «Русский лес». М., Советский писатель, 1958.

В своей книге «В сражении и любви» (2003) М. Лобанов назвал открытие им «Русского леса» «событием в своей духовной жизни». Он также писал: «Первая моя книга. Появившаяся на нее в ''Литературной газете'' в конце мая 1959 года рецензия Дм. Старикова называлась ''Любовь критика''. Рецензент отметил то, что действительно есть в моем отношении, как к героям книги, так и к самому писателю. И общее, шире — к русскому народному характеру. Я почти забыл эту книгу, но вот как-то пришлось перелистывать ее и нахлынуло вдруг то далекое время моей молодости, когда я писал ее. За неимением домашних условий буквально на ходу, пристроившись где-нибудь на скамейке уличного сквера, тем более, что на память мог вспомнить почти каждую фразу. Настолько сжился с Иваном Матвеичем Вихровым, ученым-лесоводом, патриотом, что и фраза рождалась, будто из живого разговора с ним. Как и они сами о себе, я не думал тогда, кто они, Вихров или дочь Поля — русские или

советские. Это была та целостность бытия, когда вековые традиции христианства одухотворяли сверхличные помыслы, дела и подвиги людей тридцатых-сороковых годов — величайшей эпохи, небывалой по напряженности духа, устремленности к идеалу, справедливости. Мне и теперь не кажется наивно пафосным строй мысли Вихрова и Поли. Роман писал с 1950 по 1953 год при жизни Сталина (опубликовали в журнале ''Знамя'' 10—12 за 1953 год). Мне памятен, говоря словами И. Киреевского, ''воздух времени'' и было бы бесчестно отрекаться от того, что было духовной эпохой моей жизни, как, впрочем, отчасти и сам роман ''Русский лес''».

Чтобы победило живое

Первая публ.: Молодая гвардия. 1965, № 12.

В. В. Кожинов считал, что «новое направление журнала ''Молодая гвардия'' начало складываться прежде всего в статьях Михаила Лобанова ''Чтобы победило живое'' (1965, № 12), ''Внутренний и внешний человек'' (1965, № 5), ''Творческое и мертвое'' (1967, № 4) — но стало явным для всех позднее» (Кожинов В. Судьба России. М., 1990). Под «новым направлением» имеется в виду поворот журнала ЦК комсомола «Молодая гвардия» в середине 1960-х гг. от официальной партийно-комсомольской идеологии к народно-патриотической.

Поэт поистине народный

Первая публ.: Известия. 1965, октябрь.

Публикация связана с 70-летим со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина.

Ответ норвежскому критику

Первая публ.: Молодая гвардия. 1966, № 2.

В № 9 за 1965 журнала «Молодая гвардия» была опубликована статья М. Лобанова «Нахватанность пророчеств не сулит» — о поэме Евгения Евтушенко «Братская ГЭС». В статье говорилось об эклектичности поэмы, подражательности автора в «приемах» известным поэтам, об игре в словесные эффекты, в гражданственность: «Поэма Евтушенко не только не воспламеняет гражданственность, но, напротив, уходит от гражданственности... Когда в темпе повторяется одно и то же, когда о разных вещах говорится в одинаково воскли-

цательной интонации, когда вместо раскрытия духа внутренних исканий — декламация — это что. гражданственность?»

То было время «оттепели», эстрадного бума стихов Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной, Окуджавы — «детей XX съезда партии». По словам автора статьи «Нахватанность пророчеств не сулит», его критика «Братской ГЭС» вызвала поток писем в редакцию «Молодой гвардии» читателей «в защиту великого поэта», что было показателем тогдашних ориентиров в общества. Появились отклики либерального толка и за рубежом. Так, в норвежской газете «Арбейдербладет» от 13 окт. 1965 г. было напечатано «Открытое письмо русскому критику» Мартина Нага, где Евгений Евтушенко назван «борющейся личностью», сказано, что он «воодушевляет историю», является «предшественником» Достоевского, а свое «открытое письмо» автор объявил «предостережением как в Советском Союзе, так и в других странах».

Внутренний и внешний человек

Первая публ.: Молодая гвардия. 1966, № 5.

Отмеченное М. Лобановым в своей статье «Внутренний и внешний человек» сходство «идейно противостоящих» журналов «Новый мир» и «Октябрь» в отторжении от традиционной русской духовности впоследствии подтвердилось самым определенным образом. В журнале «Октябрь» (1968, № 12) заместитель главного редактора «Октября» П. Строков выступил с набором партийных идеологических обвинений против «Молодой гвардии». В «Новом мире» (1964, № 4) вышла статья А. Дементьева «О традициях и народности» с теми же обвинениями «Молодой гвардии» в антипартийности, славянофильстве.

Личность истинная и личность мнимая

Первая публ.: Молодая гвардия. 1966, № 8.

В журнале «Огонек» (1966, № 41) А. Дымшиц в публикации о современной критике говоря о статье М. Лобанова «Личность истинная и личность мнимая» писал о борьбе автора с критиками-нигилистами, навязывающими русским мыслителям чуждый им дух индивидуализма, разрушительного западничества, приводил его слова о том, что «в литературе наступает время сильных духом». «Личностью мнимой» характеризуется в статей Лобанова герой журнала «Юность», почитающий себя «интеллектуалом», «гением» перед толпой

«простых работяг». Расхождение между журналами «Молодая гвардия» и «Юность» как раз и можно было охарактеризовать противопоставлением понятий «земля» и «асфальт», «народ» и «личность». В журнале «Вопросы литературы» (1968, № 2) был опубликован материал, посвященный обсуждению критиками журнала «Юность». Выступление на этом обсуждении Лобанова встретило резкое неприятие со стороны других критиков, выразившееся в том числе и в выступлении главного редактора Юности Б. Полевого: «Мне бы, например, не хотелось в такой квалифицированной аудитории полемизировать с М. Лобановым по поводу того, является ли проза ''Юности'' принципиально оторванной от народа и от традиций русской литературы, как он здесь столь авторитетно утверждал» (Вопросы литературы. 1968, № 2).

Творческое и мертвое

Первая публ.: Молодая гвардия. 1967, № 4.

Просвещенное мещанство

Первая публ.: Молодая гвардия. 1968, № 4.

Бывший заместитель главного редактора «Молодой гвардии», а затем главный редактор журнала «Наш современник» С. Викулов в своей книге «На русском направлении» (2002) пишет: «Во втором номере журнала ''Юность'' за 1968 год появилась статья ''Заклинатели духов'', по исполнению явно редакционная, хотя под ней и значилось имя автора. В начале он приводит шесть цитат из литературно-критических статей, опубликованных в ''Молодой гвардии'' за последний год-полтора. И хотя все они, на поверку, были взяты из работ одного критика — Михаил Лобанова, автор об этом не без умысла умолчал: ему нужно было создать впечатление, что все, что кто бы и что бы ни печатал в ''Молодой гвардии'', сводят дело к одному: к русофильству, под коим он разумел патриотизм, ''заклинателей духов''».

Спустя два месяца после «Заклинателей духов» в «Молодой гвардии» появилась статья Михаил Лобанова «Просвещенное мещанство», вызвавшая большое количество самых разнообразных откликов. Первым из них стала статья А. Дементьева «О традициях и народности» (Новый мир, 1969, № 4) — в духе официозно-партийной, марксистско-ленинской идеологии с призывом к «непримиримой борьбе» против «мужиковствующих», «неистовых, не знающих удержу

врагов ''просвещенного мещанства''» и горячих ревнителей национального духа, против «шовинизма» славянофилов, которых автор называет мыслителями в кавычках.

В мемуарах Солженицына «Бодался теленок с дубом» — подробный рассказ об истории появления статьи А. Дементьева в «Новом мире», против публикации которой он выступал, видя в ней губительный для репутации журнала марксистско-ленинский догматизм. Здесь же Солженицын выводит свою «образованщину» из «просвещенного мещанства».

Еще один отзыв — статья тогдашнего руководителя идеологического отдела ЦК КПСС А Яковлева «Против антиисторизма» (Литературная газета. 1972, 15 ноября), где центральное место занимает критика статей М. Лобанова, вошедших в его книгу «Мужество человечности» (1969). Статья А. Яковлева в основных своих идеологических акцентах повторяет новомировскую статью А. Дементьева.

Современные исследователи ушедшей эпохи также отдают должное детищу Лобанова: «В статье ''Просвещенное мещанство'' автор обвинил советскую интеллигенцию (ее либеральное крыло) в духовном вырождении, назвал ее ''зараженной мещанством массой'', которая визгливо активна в отрицании и разрушительна... В итоге Лобанов призывал власть опираться не на прогнившую сплошь проамериканскую омещанившуюся интеллигенцию, а на простого мужика, который способен сохранить и укрепить национальный дух, национальную самобытность... Следом за этой статьей в том же журнале вышла еще одна — В. Чалмаева на эту же тему... Именно в этот спор, который шел уже на протяжении последних двух лет, и вплел свой голос Высоцкий... Из-под его пера родилась ''Песня-сказка про джинна'' (1967), где он вволю поерничал над национализмом русского разлива... Этот раб-джинн представляет из себя весьма неприятное на вид чудище (''зеленое, пахучее, противное''), напоминающее ''мужука''. И здесь намек более чем прозрачен, вспомним, на кого призывал опираться в своей статье М. Лобанов — на простого русского мужика, а не на омещанившуюся интеллигенцию... Либеральная публика из числа столичной интеллигенции советскую деревню презирала, воспринимала ее обитателей как безликую серую массу, безропотную опору советского режима» (Ф. Раззаков. «Я в колесе не птица», или «Чертово колесо» Владимира Высоцкого // Советская Россия. 2010, 22 июля).

Обращение исследователей и идеологов к статье «Просвещенное мещанство» продолжалось и в дальнейшем, вплоть до самых недавних времен, т.е. спустя более 40 лет после ее публикации.

«Интеллектуализм» и «надобность в понятиях»

Первая публ.: Литературная газета. 1968, 27 ноября.

Боль творчества и словесное самодовольство

Первая публ.: Молодая гвардия. 1969, № 11.

Блестинка наследия

Первая публ.: Молодая гвардия. 1969, № 5.

Вечность красоты

Первая публ.: Молодая гвардия. 1969, № 12.

Опубликована в числе материалов других авторов в связи со столетием выхода в свет «Войны и мира» Л. Н. Толстого.

Оценки выступления М. Лобанова см. в настоящей книге — статья «Борьба», где речь идет о книге Ю. А. Жданова «Взгляд в прошлое» («Феникс, 2004), о включенной в нее написанной автором сорок лет назад в духе упрощенного социологизма статьи против «Вечности красоты».

Другая юбилейная статья М. Лобанова о «Войне и мире» опубликована в журнале «Огонек» (1969).

«Мне все надо родное»

Первая публ.: Молодая гвардия. 1970, № 9.

Звучащее чудо

Первая публ.: Молодая гвардия. 1970, № 12.

Об интересе автора статьи к музыке — см. его статью «Откровение и музыка» (о Бахе) в кн. «В сражении и любви»; о восприятии народной песни — в кн. «А. Н. Островский» (М., 1979).

Ценности народного характера (заметки о книгах)

Первая публ.: Огонек. 1971, № 30.

Газета «Комсомольская правда» от 9 сентября 1971 г. почти на полосу напечатала «полемические заметки» «Банные традиции» и «Современная цивилизация» (подписанные фамилией «А. Широков»), в которых обвинила автора статьи

«Ценности народного характера» во «вневременной, внесоциальной, внеклассовой точке зрения на духовные и нравственные ценности». Здесь характерны методологические приемы полемики. Центр смысла в статье «Ценности народного характера» — в патриотизме, в исполнении воинского долга каждым гражданином страны, в полемике с критиком, считающим, что раз человек пишет стихи (признак «интеллектуала»), то цена его жизни выше цены жизни «простого солдата», и его не надо посылать на фронте на опасное задание. Серьезность, острота темы снимается фельетонным приемом («банные традиции»), ставится под сомнение политизированной формулой о «вневременном, внесоциальном внеклассовом». Десятилетиями эта триада была прибежищем для новых рапповцев.

«На высотах создания...»

Первая публ.: Молодая гвардия. 1974, № 7.

ЧАСТЬ II

В СРАЖЕНИИ И ЛЮБВИ

Семидесятые и первая половина восьмидесятых при кажущемся «застое» были чреваты подспудными процессами, размывавшими гражданские, этические начала социально-общественной жизни, сеявшими ядовитые семена нигилизма в отношении русской истории. В литературу внедряется дегероизация Великой Отечественной войны — от опереточного игрового представления о ней и до психологически затейливой игры вокруг какого-нибудь дезертира или предателя, оправдания особого, привилегированного положения молодого «интеллектуала» среди «простых солдат» при общем исполнении воинского долга.

В книгах появляются новые герои — «физики-теоретики», отмеченные общей печатью серийного интеллектуализма, приправленного жаргонным остроумием, преисполненные надменного сознания своей исключительности, гениальности. Их общим девизом становятся слова одного из героев повести молодого тогда «певца ученых»: «Бей по морде интеллектом!» Предмет же для битья — это, конечно же, пресловутые шариковы, так же как и сами воинствующие ум-

ники — родовые предшественники той нынешней «демократической интеллектуальной элиты», а по сути — духовной черни, для которой трудовой человек, народ — не что иное, как «быдло».

В литературоведении, критике в качестве выдающихся художественных открытий пропагандируется релятивность, относительность всего и вся, в том числе в этической религиозной сфере; амбивалентность в «традициях карнавальной культуры», совмещающая в себе прямо противоположные стороны явления, в том числе и духовные, нравственные, усматривающая элементы карнавального даже в Евангелии (Бахтин). Эта релятивность, амбивалентность была преддверием того плюрализма, который вскоре при Горбачеве-Яковлеве зальет всю «демократическую» прессу цинизмом смешения всего и вся, одинаковой «толерантностью» к понятиям высокого и низменного, святого и сатанинского, — и обратится в мощное средство разложения здоровой морали, разрушения страны.

Все перечисленные выше явления — симптомы общественного, духовного кризиса. Нарастание опасности для России со стороны либерально-русофобского лагеря, противостояние ему, борьба с ним — все это составило содержание книг Лобанова «Внутреннее и внешнее» (М., 1975), «Надежда исканий» (М., 1978), «А. Н. Островский» (М., 1979), «С. Т. Аксаков» (книга была задержана на 5 лет, вышла в Москве в 1987), «Размышления о литературе и жизни» (М., 1982), «Пути преображения» (М., 1988), «Страницы памятного» (М., 1990).

В конце 1982 года в журнале «Волга» (№ 10) была опубликована статья Лобанова «Освобождение» — посвященная роману М. Алексеева «Драчуны» о голоде в Поволжье в 1933 году. Статья вызвала негативную оценку Ю. Андропова, за которым последовало осуждение ЦК КПСС и вал предвзятых идеологических обвинений на страницах прессы. Так в «Литературной газете» (5 января 1983 года) само название статьи — «Освобождение... от чего?» — звучало как политическая улика. Сам же автор романа, которому посвящена статья, Михаил Алексеев, писал позже относительно ее названия, что Лобанов подвергся нападкам за «то, что первый указал, чего может добиться писатель, освободившись от внутренней цензуры, раскрепостив и душу, и перо свое, — это, только это продиктовало умному и честному критику и заголовок, и все, что сказано им под этим заголовком». В своей

статье Лобанов писал: «Не решившийся до сих пор говорить об этом, только дававший иногда выход сдавленному в памяти тридцать третьему году упоминанием о нем, автор набрался, наконец, решимости освободиться от того, что десятилетиями точило душу, и выложить все так, как это было». Вроде бы ясно, о каком освобождении идет речь, однако автор «Литературной газеты» расшифровывает заголовок статьи иначе, утверждая, что речь об освобождении от всех социалистических основ советской жизни, а следовательно и о неприятии коллективизации, индустриализации, марксистско-ленинской идеологии, классовой борьбы, «завоеваний советской литературы» и т.д.

Статья «Освобождение» имела широкий общественный резонанс не только в СССР (об этом Лобанов впоследствии подробно рассказал в своей книге «В сражении и любви» (2003)), но и вызвала отклики в зарубежных изданиях, вплоть до рецензии в японской газете «Асахи». Внимательному и объективному исследованию история со статьей «Освобождение» подверглась впоследствии в книге немецкого историка Дирка Кречмар «Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко. 1970—1985». Время показало, насколько несостоятельным было официальное обличение статьи. Уже спустя семь с небольшим лет после решения ЦК начался процесс переоценки работы. Перед Лобановым извинился С. Михалков, под председательством которого клеймил автора «Освобождения» весь секретариата правления СП РСФСР. Еще одно извинение передал Лобанову журналист-международник Владимир Зимянин, автор книги о своем отце, бывшем секретаре ЦК КПСС М. В. Зимянине. Именно под председательством Михаила Васильевича в январе 1983 года в ЦК было проведено экстренное совещание главных редакторов всех столичных изданий, осудившее лобановское «Освобождение». По словам сына, находившийся в то время уже на пенсии Зимянин просил Лобанова забыть былое, потому что тогда «все шло от Юры», как по старой комсомольской привычке Зимянин называл Андропова, давшего добро на тщательную «проработку» автора статьи.

Правда жизни и ее «превращения»

Первая публ.: Молодая гвардия. 1979, № 3.

В журнале «Литературное обозрение» (1975, № 6) появилось «Письмо в редакцию» группы литературоведов под

названием «О науке и нравственности». Письмо подписали: доктор филологических наук Н. К. Гей, профессор Я. Н. Засурский, член-корреспондент АН УССР Д. Ф. Затонский, член-корреспондент АН СССР Д. Ф. Марков, профессор А. С. Мясников, доктор филологических наук И. Г. Неупокоева. Авторы приводят «резюмирующую» мысль своего оппонента: «''Одним словом, заботиться о том, чтобы та идея релятивности, с которой некоторые критики связывают новаторское искусство XX века, не стала решающим в отношении читателей к литературе''.

Ради этого абзаца статья М. Лобанова, собственно говоря, и написана».

В своей статье «Правда жизни и ее превращения», встретившей столь сплоченный отпор, М. Лобанов останавливается на работах исследователя творчества Пруста и Кафки Б. Сучкова, члена-корреспондента АН СССР, директора Института мировой литературы им. А. М. Горького. В своих литературоведческих исследованиях автор неоднократно подчеркивает релятивистские тенденции, свойственные творчеству названных авторов — и поддерживаемые вышеперечисленными авторами коллективного письма. По словам М. Лобанова, они «защищали от всякой критики не только Пруста и Кафку с их всеразъедающим моральным нигилизмом, но и в большей степени своего коллегу, отводя мои упреки в релятивности его оценок. Между тем я приводил слова самого Б. Сучкова: ''Идея релятивности — сквозная и важнейшая для книг романиста Пруста — была тем новым, что внес Пруст в искусство вообще и искусство романа в частности''. И показательна была сама метаморфоза с его оценками этих писателей. Так, сначала Б. Сучков говорил о Кафке как модернисте, а потом, восемь лет спустя, в своем эссе поставил его в один ряд с крупнейшими реалистами, не оговариваясь о своей прежней оценке. И в этом смещении был свой релятивистский смысл» (В сражении и любви).

Образ и схема

Первая публ.: Молодая гвардия. 1975, №№ 10, 11

Мера художественности

Первая публ.: Молодая гвардия. 1977, № 12.

В статье «Мера художественности» отразился опыт работы ее автора в Литературном институте им. А. М. Горького, где

он с 1963 по настоящее время руководит семинаром прозы. Письма к своим студентам вошли в книгу «Надежда исканий» (1978). Во второй юбилейной книге «Воспоминания о Литературном институте» (М., 2008) напечатана развернутая статья М. Лобанова «Литинститут и жизнь», содержащая воспоминания о череде разных поколений молодых писателей, связанных с общественной, духовной атмосферой своего времени. В статье вспоминаются сложные психологические процессы в студенческой среде, идеологическая «проработка» автора в Союзе писателей РСФСР и в Литинституте после выхода статьи А. Яковлева «Против антиисторизма» и решения ЦК КПСС по статье М. Лобанова «Освобождение».

«Тихий Дон» и русская классика

Первая публ.: М. Лобанов Надежда исканий. М., 1978.

См. также: М. Лобанов. Воспоминание о Шолохове // Слово. 1991, № 6.

«Сподобиться России быть слугою» (глава из книги «А. Н. Островский»)

Первая публ.: М. Лобанов. А. Н. Островский. М, 1979.

Летом 1856 года Островский принял участие в экспедиции, организованной Морским министерством по обследованию и описанию быта жителей Волги. Знакомство с волжскими городами, их святынями и достопримечательностями обогатило историческую память художника, внесло в нее новые краски и образы (см. главу «По великой русской реке» из кн. «А. Н. Островский»). Работая над книгой о драматурге, М. Лобанов повторил его путь по великой русской реке от ее истока до Нижнего Новгорода (об этом его очерк в альманахе «Памятники Отечества» Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры начала 1970-х гг..

В книге «А. Н. Островский» как бы двойное обращение к истории: великого драматурга к историческим событиям, лицам «в условиях, когда канун, а затем сама реформа 19 февраля 1861 года открывали пути новым, невиданным в истории России буржуазно-капиталистическим отношениям, и неясной, неопределенной была историческая перспектива». И с другой стороны — обращение автора книги об Островском к его времени, эпохи, выявление в ней того, что отвечало бы запросам современности. Познание России в полноте ее тысячелетнего бытия, духовного богатства.

Вокруг книги разгорелся диспут, в котором оппоненты авторы выступали преимущественно с радикальной социологической позиции. «Литературная газета», журналы «Вопросы литературы», «Знамя», другие официально-либеральные издания увидели в книге идеализацию прошлого России, патриархального быта, отход от Добролюбова в оценке изображаемой великим драматургом русской жизни как «темного царства», в толковании «Грозы, образа Катерины (см. комментарий к статье «Дело далеко не частное» и глава «В предчувствии ''темного царства''» в книге «В сражении и любви»).

Во втором издании книги М. Лобанова «А. Н. Островский» (1987) приводятся краткие сведения об отзывах на книгу.

То, что в книге М. Лобанова мир Островского не сводится только к «темному царству», вызвало резкую критику В. Кулешова («А было ли ''темное царство''?» — Литературная газета. 1980, 19 марта), В. Жданова («А как же быть с исторической правдой?» — Вопросы литературы. 1980, № 9), А. Дементьева («Когда надо защищать хрестоматийные истины» — Вопросы литературы. 1980, № 9), А. Анастасьева («Оспаривая Островского» — Вопросы литературы. 1980, № 9), И. Дзеверина («Несколько соображений общего характера» — Вопросы литературы. 1980, № 9), Г. Бердникова («О партийном отношении к классическому литературному наследию» — Знамя. 1982, № 8) и т.д.

Положительные отзывы содержатся в рецензиях С. Плеханова («Современность классики» — Учительская газета. 1979, 14 июня), С. Баруздина («Новое об Островском. — Дружба народов, 1981, № 1). Осторожные похвалы с назидательными цитатами из революционных демократов — в статье В. Кузнецова «Истина историй» (Москва. 1984, №№ 7, 8) и т. д.

Что же касается обвинений со стороны критиков, не принявших книгу, в том, что в оценке «Грозы» «ревизуется» Добролюбов, то в качестве ответа на это уместно привести высказывание Ю. Селезнева на дискуссии о книгах «ЖЗЛ»: «М. Лобанов относится к мысли Добролюбова, справедливо увидевшего трагедию народного характера в невозможности жить по старому, по законам ''темного царства'', отнюдь не как к мертвой, застывшей догме, но как к живой, развивающейся идее. Если критик революционной демократии исходил в своей оценке драмы из страстной веры в близкую кончину ''темного царства'', то современный критик, осмыс-

ливая то же явление, обязан исходить из знания реальной исторической последовательности событий — ''темное царство'' крепостничества сменилось, как мы знаем, не светлым царством свободы, но еще более ''темным царством'' буржуа. Именно подобные переходные трагические эпохи рождали духовные драмы не только народно-стихийных характеров (как, например, той же Катерины), но и даже характеров осознанно революционных» (Вопросы литературы. 1980, № 9).

«Найти в человеке человека»

Первая публ.: Октябрь. 1980, № 10.

В статье продолжение темы, поставленной в «Правде жизни и ее ''превращениях''» — о природе релятивизима. Отмечая достоинства книги Ю. Селезнева «В мире Достоевского», особенно «плодотворность его суждений и о такой основополагающей для Достоевского проблеме как народность», М. Лобанов не приемлет «многочисленных положительных ссылок на М. Бахтина», которые «запутывают проблемы — да и сам мир Достоевского» (ссылка на релятивное определение М. Бахтиным природы творчества Достоевского как «амбивалентного» в традициях «карнавальной культуры», совмещающего в себе прямо противоположные стороны явления, в том числе и духовного, нравственного).

Освобождение

Первая публ.: Волга. 1982, № 10.

«В статье Лобанова впервые в русской публицистике осмысливались масштабы и причины народной трагедии раскрестьянивания. Как писал современник, ''эффект от статьи был ошеломляющим — словно в хорошо прогретое солнцем болотце вдруг плашмя упала откуда-то с неба огромная каменная глыба''. Публикация была осуждена специальным решением Секретариата ЦК КПСС» (Барсенков А. С. Вдовин А. И. История России. 1917—2004. Учебное пособие для студентов вузов. М., 2005).

Освобождение (глава из книги «В сражении и любви»)

Публ. по: М. Лобанов. В сражении и любви. М.: Ковчег, 2003.

Первый краткий вариант истории статьи: История с «Освобождением» // Московский литератор. 1991, 21 апреля.

Также см. «Полный текст стенограммы заседания секретариата правления Союза писателей РСФСР (8 февраля 1983 г.) в связи с осуждающим решением ЦК КПСС о статье М. Лобанова ''Освобождение''» // Кубань. 1990, № 10.

Настоящая статья содержит обширный документальный материал, отражающий литературно-идеологическую ситуацию вокруг статьи «Освобождение», реакцию на нее, обнажившую кризисное состояние официальной идеологии.

Из воспоминаний об «Освобождении»:

Священник Димитрий Дудко: «Я Лобанова давно уже заметил по его произведениям, они мне очень нравились, были удивительно духовны. Как он все хорошо понимал в безбожный период в нашей стране и безбоязненно обо всем говорил. Его статья «Освобождение» наделала большой переполох. Лобанова наказали. Вот они, герои все выставляют кого-то, кто им и в подметки не годится... Я почувствовал в Лобанове по духу сродное мне» (Д. Дудко. Шторм или пристань? М., 2001).

В. Бондаренко: «...Величие замысла статьи и сейчас поражает... Быть Михаилом Лобановым — это звание повыше, чем быть Героем России» (Российский писатель. 2005, №№ 23-24, декабрь).

Вл. Костров: «Она (статья «Освобождение») принадлежит к тем событиям в моей жизни, которые изменили очень многое во мне, как в человеке... Я понял, что это — мое. Я оттуда вышел... Но на самом деле многие Ваши статьи определенным образом изменили в нашей стране взгляды огромного числа людей, значит, они изменили и нашу страну» (Российский писатель. 2005, №№ 23—24, декабрь).

Ю. Архипов: «Забыть ли, с каким нетерпением взбирался на двадцать второй этаж высотного здания МГУ в аспирантскую свою пору, чтобы, отложив в сторону Музиля, о котором писал, и Гессе, которого переводил, полистать свежие журналы в тамошней библиотеке. С каким упоением — западник! — проглатывал, к примеру, ''Освобождение'' Лобанова. За непомерным окном ''сталинского'' небоскреба пуржит, а взвихренная мысль автора уносит в ту, в заснеженную бескрайность России» (Литературная Россия. 2010, № 26).

Оплот (семья Аксаковых)

Первая публ.: М. Лобанов. С. Т. Аксаков. М., 1987 (глава «Братья Константин и Иван»).

Расширенный вариант: Оплот. Семья Аксаковых // Современное прочтение русской классической литературы XIX в. — М.: МГОПУ, Пашков дом, 2007.

См. также: М. Лобанов. Семья Аксаковых // Семья. Художественно-публицистический сборник. М.: Белый город, 2008.

История и ее «литературные варианты»

Первая публ.: Молодая гвардия. 1988, № 3.

Челночные перестройщики
(отрывок из статьи «Пути преображения»)

Первая публ.: Молодая гвардия. 1989, № 6.

Революция — болезнь или исцеление?
(круглый стол в газете «Московские новости»)

Первая публ.: Московские новости. 1989, 17 декабря.

В разгар «перестройки», в последние годы существования СССР М. Лобанов выступает против идеализации уже начавшихся и грядущих изменений. С первых дней своей творческой деятельности тяготея к традиционности, почвенности национальной жизни, критик избежал соблазнов либерализма, которые увлекали многих из будущих его соратников в условиях советской действительности, решительно и определенно призвал к сопротивлению наступающим разрушительным силам.

«Духовное образование определило жизненные взгляды и жизненный путь критика, позволило избежать ему многих искушений. Например, в отличие от известных будущих ''правых'' Лобанов в 50-е годы не переболел либерализмом — ''великой ложью нашего времени'' (К. Победоносцев). Так, по свидетельству Феликса Кузнецова, со знакомства с Вадимом Кожиновым начался его ''путь возвращения в Россию, к русской, патриотической идее''. До этого он был, ''так сказать, более либерал...''. Показательна и реакция Станислава Куняева на это признание: ''Да, все мы были либералами. Но Вадим в себе этот либерализм изживал и одновременно с этим изгонял его и из нас, потихоньку, не специально как-то все получалось само собой''».

Итак, когда многие будущие деятели национального движения изживали в себе либерализм, Михаил Петрович ста-

новился человеком православным, верующим» (Ю. Павлов. Русский критик на передовой // Критика XX—XXI вв.: литературные портреты, статьи, рецензии. М., 2009).

Истоки «нового мышления»

Первая публ.: Литературная Россия. 1990, 30 марта.

В сражении и любви

Первая публ.: Наш современник. 1990, № 6.

ЧАСТЬ III

ТВЕРДЫНЯ ДУХА

Страшные девяностые, кровавый перевал из XX в XXI век. Нескончаемые реформы, добивающие страну. При декларируемом отсутствии идеологии ожесточенно внедряется идеология «золотого тельца», наживы, обогащения любыми средствами. Объявленная «демократами» свобода на деле означала прежде всего свободу от нравственных пут, свободу растления молодежи и человеческих душ вообще, свободу сильного давить, лишать самого права на существование обездоленных и слабых. Все делается для того, чтобы традиционные христианские основы народной жизни заменить другими, противоположными — теми, что господствуют на Западе, где, по Ницше, «Бог умер», где в конституции единой Европы не упоминается христианство, где сама нынешняя эпоха именуется постхристианской.

Об этом катастрофическом периоде нашей истории, о русском сопротивлении злу — статьи, вошедшие в эту часть. Впоследствии они были включены автором в книгу «Сталин — Великая победа и великое поражение» (2000), «В сражении и любви» (2003), «Память войны» (2005), «Оболганная империя» (2008).

Православие и российская интеллигенция

Первая публ. (под названием «Твердыня духа»): Литературная Россия. 1991, 11 января).

Осенью 1990 года в Италию на конференцию «Религия и культура» выезжала группа Московских писателей, в сос-

таве которой был и автор «Твердыни духа». Его выступление заканчивалось мыслью о «религиозном отношении к слову», о православной вере как той «твердыне духа», в которой в русской литературе открывались «пути сближения всех здоровых творческих сил».

Спустя месяц после этой конференции состоялась «римская встреча» писателей, в которой участвовали с одной стороны В. Астафьев, С. Залыгин, В. Крупин, В. Солоухин и, с другой стороны, Г. Бакланов, И. Бродский, Э. Неизвестный, А. Стреляный и другие диссиденты живущие на Западе. В своем «Римском обращении», подписанном всеми участниками встречи, с удовлетворение говорилось о «конце существования одной из самых величайших империй в истории человечества».

Слепота

Первая публ.: Наш современник. 1991, № 11.

«...Статья ''Слепота'', впервые опубликованная в ''Нашем современнике'' в конце 1991 года, т.е. еще до окончательного развала СССР и кровавых событий октября 1993 года. Каждая страница, каждый абзац, каждая строка этой статьи пронизана страстным предупреждением, как русским быть более зоркими, менее доверчивыми ко всяким обманным обещаниям-декларациям ''демократов'', более сосредоточенными, не бахвалиться ''широтой'' своей...

А о процветании смердяковщины в рядах ''интеллигенции'', ''деятелей культуры'' в той же статье ''Слепота''? О продажности ''народных депутатов'' уже с первых шагов своей деятельности, о культе американизма, который сумели вдолбить ''перестройщики'' в головы русским?.. Предназначение своего писательского слова М. Лобанов видит в бичевании «трагедии русской пассивности», как определил он направленность творчества великого русского сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрина» (Н. Кузин. Спутники извечные мои. Екатеринбург, 2008).

Великая победа и великое поражение

Первая публ.: Молодая гвардия. 1995, № 9.

Великий государственник (беседа с Виктором Кожемяко)

Первая публ.: Советская Россия. 1996, 12 декабря.

Плата

Первая публ.: Завтра. 1997, № 30.

В альманахе «Вече» (Мюнхен. 1990, № 37) говорилось: «Мы не можем не согласиться с Михаилом Лобановым, когда он заявляет на страницах ''Литературной газеты'' (8.1.1990): ''Сейчас, как никогда, необходимо объединение всех здоровых патриотических сил из всех слоев общества, от политических до религиозных''». «Это — все то же опасение консолидации всех русских сил (к чему призывает цитированный выше М. Лобанов), независимо от политической направленности и идеологического наполнения, которое, в частности, было высказано при начале издания ''Вече'' русофобом Эткиндом».

Поднятая тема нашла свое выражение в «Плате».

Из-под руин

Первая публ.: Наш современник. 1998, № 4.

«В памяти будущих поколения останутся те герои, кто встал здесь 3—4 октября 1993 года на защиту родины от "демократов". На крови этих героев и зреет святое дело освобождения России».

В газете «Литературная Россия» (5.11.1993) был опубликован материал М. Лобанова «Вызов» — живое свидетельство о событиях 3—4 октября 1993 г. Поддержка «мировой демократией» расстрела законно избранного парламента — как объявленный ею самой себе смертный приговор и как факт еще большего исторического размежевания между Россией и Западом. Глубинный смысл этого размежевания раскрыт в книге ученого и писателя, создателя многотомной «Энциклопедии русской цивилизации» Олега Платонова «Русское сопротивление. Война с антихристом» (М., 2006).

Кто же сегодня фашист на самом деле

Первая публ.: Правда. 1998, № 104.

«Уступи место деянию...»
(беседа с Владимиром Бондаренко)

Первая публ.: Завтра. 2002, № 37, сентябрь.

Консервативная накипь

Первая публ.: Наш современник. 2004, № 6.

Борьба

Первая публ.: Наш современник. 2005, № 11.

Память войны

Первая публ.: Наш современник. 2005, № 5.

Статья написана к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. В либеральной прессе с особым размахом была развернута кампания по умалению, дискредитации Великой Победы с одновременными антинародными мерами властей в канун юбилея, — такими, как монетизация, отмена льгот участникам, ветеранам войны.

Спустя пять лет, в 2010 году, с 65-летием Победы достигает своего апогея официальная сталинофобия, усиленное внедрение в массовое сознание тезиса «победа вопреки Сталину».

Оценка исключительно высокой роли Сталина в Великой Отечественной войне мировыми лидерами, полководцами Советского Союза, руководителями оборонной промышленности — в кн. «Сталин: в воспоминаниях современников и документах эпохи. (Сост. М. Лобанов). М., 1995. (Переиздания: 2000, 2008).

О нашем неведении

Первая публ.: Русский журнал. 2007, март-апрель.

Пути прямые и — лукавые

Первая публ.: Наш современник. 2008, № 2.

Дыхание любви и страдания

Первая публ.: Наш современник. 1992, № 12.

Из памятного. Подарок от Бога

Первая публ.: Наш современник. 2005, № 11.

Дело далеко не частное

Первая публ.: Литературная газета. 2009, 3 ноября.

«Дорогой отец Феодор!»
(из переписки с о. Феодором,
монахом Свято-Троицкого Александро-Свирского
мужского монастыря)

Первая публ.: Наш современник. 2009, № 1 (Письма 1—5). Письмо № 6 публикуется впервые.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Абакумов В. С. — 874.
Абрамов Ф. А. — 448.
Авербах Л. Л. — 631.
Аверинцев С. С. — 668, 687, 895.
Агурский М. С. — 908.
Адамович А. М. — 653.
Адорно Т. — 482.
Азеф Е. Ф. — 762.
Айтматов Ч. Т. — 104, 617-618.
Аксаков Г. С. — 550, 571.
Аксаков И. С. — 510, 524, 531, 539, 541-551, 559-571, 622, 643, 647, 718, 897, 915.
Аксаков К. С. — 510, 524-525, 531, 533-534-542, 546, 551-556, 559-560, 562-563, 570-571, 688, 769, 947.
Аксаков С. Т. — 177, 427, 509-511, 513, 515-516, 518-524, 527, 531-535, 540-542, 546, 549-550, 555-559, 570-571, 592, 742, 780, 941, 985, 991.
Аксакова В. С. — 550, 556, 558, 560, 570.
Аксакова Л. С. — 560, 570.
Аксакова М. С. — 570.
Аксакова Н. С. — 570.
Аксакова О. С. — 510, 570.
Аксакова О. С. — 570.
Аксакова С. С. — 570.
Аксенов В. П. — 824, 826.
Акулов И. И. — 435.
Акулов — 955.
Александр II — 410, 737.
Александр III — 571, 770, 839.
Александр Македонский — 575.
Александр Невский блгв. — 207, 606, 659, 717-718.
Александр Свирский прп. — 961, 965.
Александров П. С. — 95, 129.
Алексеев М. Н. — 397, 402-403, 407-408, 412, 414-415, 418-420, 424, 426-427, 442-443, 447-449, 455, 463, 468, 476, 483-489, 493, 501, 506-508, 823, 858, 949, 985.
Алексий I (Симанский) — 893-894.
Алексий II (Ридигер) — 716, 796, 805, 936, 944, 959, 969, 971.
Алехин А. А. — 813.
Амбарцумов Е. А. — 637, 639-641, 642-643, 647, 651.
Амбарцумян В. А. — 694.
Амвросий Оптинский прп. — 540.

Амвросия (Оберучева) — 915-918, 921, 926.
Анастасьев А. Н. — 949, 989.
Анатолий (Берестов) — 926-927.
Андерсен Г.-Х. — 288.
Андреев Д. Л. — 958.
Андреев Л. Н. — 178, 183.
Андреева Н. А. — 461.
Андрей Рублев прп. — 387.
Андроников И. Л. — 189.
Андропов Ю. В. — 8-9, 454-456, 458-462, 479, 502, 504, 731-732, 812-813, 823, 849, 860, 877, 948-949, 951, 977, 985-986.
Анисимов Е. В. — 599.
Анненков П. В. — 522.
Аннинский Л. А. — 869-870, 872, 875-877, 879-880, 882-883.
Анохин П. К. — 835.
Антокольский П. Г. — 606.
Антонов А. С. — 401.
Антошкин — 749.
Аракчеев А. А. — 611.
Арбатов Г. А. — 459-460, 627.
Арина Родионовна Яковлева — 404, 521, 570.
Архангельский А. Н. — 876.
Архипов А. Е. — 45, 123.
Архипов Ю. И. — 991.
Астафьев В. П. — 94, 136, 139, 141, 143, 407, 466-467, 635-636, 799, 884, 895.
Ататюрк М. — 605, 696.
Аугштайн Р. — 908.
Афанасьев Ю. Н. — 664, 746, 825, 887.
Афанасьев — 490.
Ахмадулина Б. А. — 980.
Ахматова А. А. — 873, 898.
Ахмедов — 694.
Аяцков Д. Ф. — 507-508.
Бабель И. Э. — 613, 620.
Багратион П. И. — 594.
Бакланов Я .Г. — 627, 707, 761, 763-764, 825, 832, 994.
Бальзак О. — 112.
Баратынский Е. А. — 186.
Барсенков А. С. — 990.
Барсуков М. И. — 819.
Баруздин С. А. — 989.
Баткин Л. М. — 627.
Батюшков К. Н. — 541.
Бах И. — 60, 76, 115-116, 185, 983.
Бахтин М. М. — 395, 985, 990.
Бедный Д. — 625.
Безыменский А. И. — 473.
Белов В. И. — 50-53, 94, 195, 407, 422, 478, 635.
Белоцерковский В. В. — 803.
Беляев А. А. — 452, 506, 824.
Беляков Г. — 464, 470.
Берггольц О. Ф. — 780.
Бердников Г. П. — 989.
Бердяев Н. А. — 538, 622, 634, 660, 688-69, 714.
Березовский Б. А. — 816, 819, 828, 832, 843.
Бернард К. — 220.
Бескин О. М. — 620.
Бетховен Л. — 69, 185.
Бехер И. — 75.
Бжезинский З. — 740, 896.
Бианки В. В. — 489.
Бирон Э.-И. — 599, 602.
Бирюков Ф. Г. — 473-474.
Бирюлин В. В. — 454.
Бисмарк О. — 839.

Битов А. Г. — 667.
Блаватская Е. П. — 454, 712-713.
Блок А. А. — 118, 227, 282-283, 551, 593, 613, 925, 943.
Бобров А. С. — 496.
Боброва Л. М. — 496.
Бовин А. Е. — 459-461, 813.
Богомолов В. О. — 870.
Богуславский М. С. — 802.
Болингброк Г. — 575.
Болотов А. Т. — 540, 600-601.
Бондарев Ю. В. — 199, 488, 493-494, 498, 884.
Бондаренко В. Г. — 505, 705, 816, 822, 991, 995.
Бондарчук С. Ф. — 818.
Борев Ю. Б. — 478.
Бородин Л. И. — 787, 822, 825, 828, 846-854.
Борщаговский А. М. — 760.
Ботвинник М. М. — 813.
Боткин В. П. — 229, 323, 536.
Боттичелли С. — 244, 250.
Бочаров А. Г. — 198.
Брандейс Л. — 821.
Брежнев Л. И. — 454, 460, 499, 633, 699, 812, 962.
Бродский И. А. — 761, 994.
Брунов Б. С. — 818.
Бубеннов М. С. — 104.
Будда — 688, 713.
Буденный С. М. — 814.
Булгаков М. А. — 618, 753, 898-899.
Булгаков С. Н. — 567, 689.
Булгарин Ф. В. — 394.
Булин Е. — 915, 940.
Бунин И. А. — 81, 101, 145, 155-156, 178, 181, 183, 290-291, 293, 333, 658, 907.
Бурбулис Г. Э. — 734.
Бурлацкий Ф. М. — 459, 813.
Бурсов Б. И. — 387-388.
Буртин Ю. Г. — 623.
Буханцов Н. С. — 478.
Бухарин Н. И. — 162, 502, 660, 745, 758, 850, 870.
Буш Д. — 702, 826.
Бушин В. С. — 581, 589, 819.
Быков В. В. — 728.
Быков Р. А. — 763, 765.
Бьюкенен П. — 924.
Вавилов С. И. — 516.
Вагин Е. А. — 692.
Вагнер Н. П. — 102.
Вагнер Р. — 250.
Вайцзеккер К. — 797.
Валенса Л. — 715.
Валери П. — 240.
Варвара влкмчц. — 215.
Васиан (Шуста) — 856.
Василевский А. М. — 472.
Васильев П. Н. — 819.
Васнецов А. М. — 377.
Васнецов В. М. — 377.
Вахтангов Е. Б. — 471.
Вдовин А. И. — 990.
Венгеренко Н. — 720.
Вениамин (Федченков) — 893-894.
Вергилий — 250.
Вернадский В. И. — 670.
Верченко Ю. Н. — 499.
Вершигора П. П. — 728.
Виардо П. — 281.
Викулов С. В. — 494, 822, 981.
Вильсон В. — 821.
Виноградов И. И. — 622.

Винстон В. — 626.
Винтер Э. — 89.
Виталий (Устинов) — 660.
Владимов Г. Н. — 869-873, 875, 877-878, 882, 884.
Владислав IV — 854.
Власов Ю. П. — 736.
Вознесенский А. А. — 101, 593-594, 668, 980.
Вознесенский Н. А. — 802.
Война В. — 716.
Войнович В. Н. — 716, 816, 825, 884.
Волкогонов Д. А. — 632, 895.
Волконская З. А. — 859.
Володарский В. — 401, 474.
Вольтер Ф.-М. — 128, 171, 566, 602, 862, 912.
Воробьев К. Д. — 407, 435-436, 465-466, 884.
Ворошилов К. Е. — 747.
Врубель М. А. — 377.
Вулф Т. — 810.
Высоцкий В. С. — 982.
Вышинский А. Я. — 502.
Гагарин И. С. — 83.
Гагарин Ю. А. — 208, 266, 802, 845.
Гайдар А. П. — 489.
Гайдар Е. Т. — 734-735, 739, 761, 775, 792, 818, 826, 839, 844, 924-925.
Гайзенберг В. — 797.
Галанов А. М. — 472-473.
Галахов А. Д. — 511.
Гамзатов Р. Г. — 104.
Ганин А. А. — 619.
Ганичев В. Н. — 914, 970.
Гарибальди Д. — 281.
Гароди Р. — 895.
Геббельс П. — 874.
Гебль П. — 592.
Гегель Г.-В. — 99, 133, 170, 525, 528, 566.
Гедеонов А. С. — 366-368.
Гей Н. К. — 987.
Гейне Г. — 613.
Гейтс Р. — 461.
Гельман А. И. — 626-627, 630, 707, 766, 825.
Геннадий Новгородский свт. — 844, 879.
Гердер И. — 328, 771.
Гермоген свщмч. — 854.
Герцен А. И. — 102, 120, 522, 531-532, 547-549, 554, 567, 862, 905, 923-924.
Гершензон М. О. — 895.
Гершуни Г. А. — 762.
Гессе Г. — 991.
Гете И.-В. — 89, 99, 117, 152, 679-680.
Гилельс Э. Г. — 813.
Гинзбург В. Л. — 704, 876.
Гладилин А. Т. — 824, 876.
Гоголь Н. В. — 93, 122, 224-225, 227, 238, 252, 256, 308, 312, 321, 411, 453, 509, 532-533, 542, 544, 550, 568, 603, 609-610, 690, 692, 778
Годунов Б. — 188, 227, 352, 362-363, 521, 732, 803.
Голенпольский Т. Г. — 623.
Голинков Д. Л. — 400-401, 474.
Голицыны — 807.
Головин К. Ф. — 785.
Гольданский В. И. — 666.
Гольцев В. А. — 786.
Гомер — 603.
Гончар О. — 104.
Гончаров И. А. — 227, 309, 314, 348, 354, 690-691.

Горбачев М. С. — 454, 461, 627, 646-647, 653, 666, 706, 722, 729, 731-732, 734, 758, 766-768, 825, 827, 836, 861, 909, 922, 948, 977, 985.
Горбунов И. Ф. — 362, 370.
Гордич Я. — 602-603.
Горошко И. Е. — 856.
Горький А. М. — 5, 25, 117, 155, 165, 180, 183, 300, 316, 399, 427-428, 494, 523, 607, 647, 658, 669-670, 722, 849, 900, 915, 930, 987.
Гофман Э. — 236.
Гоц А. Р. — 762.
Гранаткина Г. И. — 891.
Гранин Д. А. — 613, 620, 627, 707, 760, 766, 797, 825.
Гребенщиков Б. Б. — 816.
Грекова И. — 66, 72, 74, 76.
Греф Г. О. — 891.
Греч Н. И. — 807.
Грибачев Н. М. — 406, 466.
Грибов Ю. — 485, 498-500.
Грибоедов А. С. — 594.
Григорий Палама — 681, 845, 960.
Григорович Д. В. — 239, 394, 403.
Григорьев А. А. — 234, 351, 509, 514.
Грин А. — 288.
Гринберг И. Л. — 478.
Гриценко Н. О. — 21.
Гроссман В. С. — 634, 791, 798.
Губельман М. И. (Ярославский Е.) — 880, 928.
Гудериан Г. — 872.
Гусев В. И. — 778.
Гусев В. К. — 479.
Гюго В. — 122, 924.
Даль В. И. — 92, 96, 782, 907.
Данэм Б. — 127-129.
Дарошевич А. — 830, 963, 965.
Де Голль Ш. — 724, 839.
Дебидур А. — 840.
Девтелев И. — 367.
Дедков И. А. — 490.
Дейч М. М. — 824, 888.
Дементьев А. Г. — 7, 826, 858-859, 947, 977, 980, 982, 989.
Дементьев В. В. — 475, 477-478, 481, 483, 493, 495.
Демичев П. Н. — 452.
Джавад — 605.
Джемаль — 605.
Джилас М. — 725, 747.
Джимбинов С. Б. — 958.
Джойс Д. — 387.
Дзеверин И. А. — 989.
Дзержинский Ф. Э. — 767.
Дидро Д. — 171, 602.
Дизраэли Б. (лорд Биконсфильд) — 840, 926.
Димитрий Ростовский, свт. — 955.
Димитров Г. М. — 747.
Диоген — 122.
Дмитрий Донской — 207, 347, 371, 375, 746.
Днепров В. — 99.
Доброва Н. — 814.
Доброва С. — 814.
Добролюбов Н. А. — 8, 522, 989.
Довженко О. П. — 100.
Докучаев В. В. — 426.
Долматовский Е. А. — 477.
Доризо Н. К. — 484, 496-497.

Дорошенко Н. И. — 705.
Достоевская А. Г. — 217.
Достоевский Ф. М. — 47-48, 55, 60, 62, 80. 87, 89, 90, 92-94, 108, 113, 115, 117, 130, 133-135, 144, 158, 163-165, 170, 174-177, 189, 215-218, 224-227, 229-233, 236, 238-240, 242, 261, 290, 293, 300, 305, 315, 321, 323, 328, 339-340, 378-398, 403-405, 413, 424, 446, 509, 513-514, 523, 537, 541, 552, 566, 570, 609-610, 622, 625, 661-663, 689-690, 698, 704, 736, 770, 794, 846, 863, 878-879, 883, 886-887, 899, 905, 909, 912, 920, 924, 953, 972-973, 980, 990.
Дремов А. К. — 103-104.
Дробнис Я. Н. — 802.
Дружинин Н. М. — 595.
Друнина Ю. В. — 487, 489, 492.
Дубовицкий М. — 795.
Дубровский Н. А. — 372-373.
Дувакин В. Д. — 457.
Дудин М. А. — 759-760, 765.
Дудко Д. С. — 754, 889, 894, 930-945, 991.
Дудко Н. И. — 945.
Дудочкин П. — 465.
Дунаев М. М. — 851.
Духонин Н. Н. — 400.
Дымшиц А. Л. — 980.
Дьяченко Т. Б. — 770.
Евсеев А. К. — 727.
Евтушенко Е. А. — 58-60, 62, 460, 496, 617, 666, 703, 824, 979.
Ежеченко — 956.
Екатерина II — 599, 603.
Елевферий (Богоявленский) — 881.
Елизавета Петровна — 599, 602.
Ельцин Б. Н. — 502, 645, 647, 722, 729, 733-734, 736, 756, 760-766, 770, 774, 778, 782-783, 788-789, 803, 809, 816, 819-820, 825, 827-828, 846, 879, 909, 920, 929.
Ермак — 377.
Ерофеев В. В. — 667.
Есеньская М. — 239.
Есин С. Н. — 696, 803, 885, 950.
Ефрем Сирин прп. — 687.
Жанна д'Арк — 128, 139.
Жванецкий М. М. — 816, 825, 844.
Жданов А. А. — 861.
Жданов В. — 991.
Жданов Ю. А. — 861-862, 864, 983.
Жуков А. — 194.
Жуков Г. К. — 872.
Жуковский В. А. — 130, 541, 770.
Забелин И. Е. — 371-375, 377.
Зайцев Б. К. — 907.
Зайцев В. Г. — 200-208, 806.
Залыгин С. П. — 446, 757-758, 765, 994.
Заславский Д. И. — 164.
Застрова С. В. — 749.
Засурский Я. Н. — 987.
Затонский Д. Ф. — 987.
Захария (Схария) — 879.
Захаров М. А. — 662, 730, 764-766, 938.

Зимянин В. М. — 455, 812, 951, 986.
Зимянин М. В. — 455, 812, 986.
Зиновьев А. А. — 910-914, 928.
Зиновьев Г. Е. — 401, 474, 502, 631, 634, 658-660, 745, 750, 758, 870.
Зосима Брадатый — 843.
Зощенко М. М. — 304, 873-875.
Зурабов М. Ю. — 892.
Зюганов Г. А. — 789.
Иван III — 843.
Иван Антонович — 603.
Иванов А. С. — 196-197.
Иванов В. В. — 399.
Иванов В. И. — 99.
Иванов П. К. — 450-451.
Иванова А. — 676.
Иванова Н. Б. — 876.
Игнатий (Брянчанинов) свт. — 686, 961.
Израиль (Иаков) — 366, 717.
Иларион Киевский — 393, 540.
Ильин И. А. — 634, 689, 717.
Иннокентий (Вениаминов) — 690.
Иноземцев Н. Н. — 459.
Иоанн (Маслов) — 942.
Иоанн (Разумов) — 894.
Иоанн IV Грозный (молодой царь) — 367, 369.
Иоанн Дамаскин — 960.
Иоанн Кронштадтский — 688.
Иоанн — 555, 567, 714, 717, 791, 897, 943.
Иоанн-Павел II — 908, 921, 928.
Ионеско Э. — 225.
Иоселиани — 594.
Иосиф Волоцкий прп. — 844, 879.
Ириней Лионский свщмч. — 960.
Исаев Е. А — 193, 484, 500.
Иулиания Муромская прав. — 353.
Кавелин К. Д. — 514.
Каганович Л. М. — 631, 767, 814.
Каграманов Ю М. — 758.
Казак В. — 876.
Казакевич Э. Г. — 198.
Казин В. В. — 399.
Каледин А. М. — 400.
Калинин А. В. — 458.
Калтахчян С. Т. — 617.
Калугин В. И. — 705.
Каменев Л. Б. — 634, 659, 758, 870.
Камю А. — 229-233, 397, 416, 446, 482.
Канашкин В. А. — 503, 705.
Капица П. Л. — 148, 798.
Кардин В. — 497-498.
Карелин П. А. — 468.
Карлейль Т. — 139, ...
Карпинский Л. В. — 637-638, 640, 644, 646-648, 650.
Карпов П. И. — 619.
Карсавин Л. П. — 831.
Карунный М. Д. — 465.
Касвинов М. К. — 400.
Каспаров Г. К. — 761, 789.
Касьянов М. М. — 906.
Катаев В. П. — 145-148, 151-156, 300.
Катасонов С. Н. — 960.
Катков М. Н. — 562.

Кафка Ф. — 233-242, 244, 251, 305, 386-387, 446, 594, 612.
Кацман Е. А. — 816.
Кейзерлинг (Кайзерлинг) К. — 601.
Кеннеди Д. — 458, 757.
Керенский А. Ф. — 332, 704, 766-767.
Кешоков А. П. — 490.
Ким Ю. Ч. — 490.
Киракосян Д. С. — 604, 696.
Киреевский И. В. — 524, 527-531, 534, 539, 548, 688, 947.
Киреевский П. В. — 528, 541.
Клушин В. — 371.
Клычков С. А. — 619-620.
Клюев Н. А. — 619-620.
Ключевский В. О. — 119, 139, 353, 444, 540.
Клямкин И. М. — 632.
Книпович Е. Ф. — 478.
Кобзон И. Д. — 719, 853.
Ковалев В. А. — 98-101.
Ковалев С. А. — 739, 746, 758, 765, 891.
Ковалевский М. М. — 655, 769, 786.
Ковальчик Е. И. — 457.
Ковский В. Е. — 124.
Кожевников В. М. — 104.
Кожемяко В. С. — 741, 997.
Кожинов В. В. — 6, 9, 479, 494, 505, 637, 644-645, 648, 650-651, 823, 828, 857, 859, 876, 946, 976, 979, 992.
Козловский И. С. — 188-189.
Козырев А. В. — 734, 739, 778.
Колосов М. М. — 759, 765.
Колтовская А. А. — 367.
Колумб Х. — 568, 911.
Колычев А. — 368.
Кольвиц К. — 387.
Кольцов М. Е. — 613, 620, 696.
Комышанченко Н. В. — 740.
Кондратович А. И. — 859.
Кондрашов В. П. — 479, 505, 508.
Конев И. С. — 743.
Кони А. Ф. — 314.
Конингс Г. — 206.
Конквест Р. — 744, 751.
Конкин А. А. — 673, 685, 699, 721, 864, 967.
Конкин И. А. — 815.
Конкин К. А. — 721, 868.
Конкин М. А. — 721.
Конкин Ф. А. — 457.
Конфуций — 688, 838.
Копелев Л. З. — 884.
Коржаков А. В. — 770, 819, 879.
Корнеев А. А. — 469.
Королев С. П. — 802, 845.
Короленко В. Г. — 90, 805.
Коротич В. А. — 633, 703, 759, 765, 811, 895.
Корсунский Б. Л. — 652.
Корф А. Н. — 601.
Косенко — 955.
Косман Л. С. — 814.
Космодемьянская З. А. — 43.
Костомаров Н. И. — 362, 374-376, 805.
Костров В. А. — 991.
Костюшко Т. — 736-737.
Косыгин А. Н. — 499, 802.
Кочетков Г. С. — 794-796.
Кочетов В. А. — 104.

Кочетов Я. — 370.
Кошелев А. И. — 592.
Коэн С — 626, 628.
Крамской И. Н. — 214.
Крахмальникова З. А. — 795.
Крашенинников П. В. — 819.
Кречмар Д. — 456, 503, 812, 986.
Кротков Ю. В. — 743.
Крупин В. Н. — 492-493, 809, 955, 994.
Крупская Н. К. — 673.
Крывелев И. А. — 617-619, 713.
Крылов И. А. — 92, 713.
Крылов Н. И. — 871.
Крылова Е. — 621-622.
Крючков В. А. — 731-732.
Кузин Н. Г. — 479, 994.
Кузнецов В. — 989.
Кузнецов Ф. Ф. — 482-484, 486, 490, 493, 495, 992.
Кузнецов Ю. П. — 804.
Кук Д. — 841-842.
Кулешов В. И. — 8, 948-950, 989.
Кули Д. — 221-222.
Кулидж К. — 821.
Кун Б. — 646.
Куняев С. Ю. — 593-594, 807, 822-823, 992.
Куприн А. И. — 176, 178-179, 181-184, 482.
Кураев А. В. — 894-895.
Курбский А. М. — 363, 732.
Курицын В. Н. — 882.
Куркова Б. А. — 876.
Курочкин В. А. — 884.
Курчатов И. В. — 220, 222, 266, 802, 845.
Кустодиев Б. М. — 377.
Кьеза Д. — 832.
Кюстин А. де — 768.
Лабзин А. Ф. — 780.
Ландау Л. Д. — 148, 796-798.
Ланщиков А. П. — 870.
Лаптев И. Д. — 461.
Ларионов А. В. — 705.
Ларионов — 314.
Латынина А. Н. — 876, 882.
Лашевич М. М. — 401.
Ле Дантю (Ивашева) К. — 592.
Лебедев А. А. — 82, 84-89.
Лебединский Л. Н. — 700.
Лебедь А. И. — 788-789.
Левитан И. И. — 624, 853.
Лезов С. В. — 714-715.
Леонов Л. М. — 5, 10-11, 13-14, 16, 18, 20-22, 24, 34-36, 39, 41, 43-44, 104, 157, 160, 167, 169, 408, 466, 501-503, 818, 925, 946, 978.
Леонтьев К. Н. — 384, 661, 787, 838, 850, 924.
Лесневский С. С. — 505, 949.
Лжедмитрий I — 365, 623, 843.
Лжедмитрий II — 364-365, 565, 623-624, 731, 765.
Либкнехт К. — 625.
Лившиц Я. Б. — 802.
Лимонов Э. В. — 667.
Липпман У. — 599.
Лихачев Д. С. — 603, 668, 779-782.
Личутин В. В. — 635, 705.
Лобанов А. П. — 51.
Лобанов Б. П. — 676.
Лобанов Д. П. — 833, 871, 956.
Лобанов П. А. — 829.

Лобанова Е. А. — 45-46, 51, 190-191, 213-214, 673, 681, 961, 829-830.
Лобачевский Н. И. — 266, 792.
Ломоносов М. В. — 122, 541, 670, 911, 914.
Лощиц Ю. М. — 479.
Лука (Войно-Ясенецкий) — 715, 918.
Лукашенко А. Г. — 775.
Лукин В. П. — 778, 834.
Лыкошин С. А. — 479.
Любомудров М. Н. — 479.
Людовик XVI — 325.
Люксембург Р. — 625.
Лютер М. — 128.
Магомет — 688.
Маджистер С. — 660.
Макарий (Булгаков) — 843, 856.
Маклин А. — 841.
Макнил Р. Х. — 744.
Максимов С. В. — 374.
Маленков Г. М. — 743.
Малышев В. А. — 802.
Мальгин А. В. — 695-696.
Мамардашвили М. К. — 895.
Мамин-Сибиряк Д. Н. — 414, 523.
Мандельштам О. Э. — 613, 620.
Манн Т. — 69, 131, 166, 618.
Мао Цзэдун — 648.
Марат Ж.-П. — 323.
Мариенгоф А. Б. — 620.
Маркес Г. Г. — 445-446, 482, 618, 883.
Марков Г. М. — 9, 104, 456, 479, 499, 812.
Марков Д. Ф. — 987.
Маркс К. — 128, 150, 254.
Маркузе Г. — 482.
Мартыненко О. — 877.
Мартынов А. Ф. — 681.
Марушкин И. М. — 123.
Маршак С. Я. — 104.
Матвеева Н. Н. — 97.
Матрона Московская бл. — 854-856.
Маца И. — 99.
Медведев Р. А. — 629.
Межелайтис Э. — 104.
Мейер А. — 895.
Мейерхольд В. Э. — 116.
Мелентьева В. — 367-369.
Мелехин А. Д. — 871.
Мелихов А. М. — 832.
Мельгунов С. П. — 880.
Мельников Ю. — 873.
Мельников-Печерский П. И. — 513.
Менделеев Д. И. — 177, 266, 740, 792.
Мень А. — 795.
Мережковский Д. С. — 565, 670.
Микеланджело Б. — 467.
Микешин М. О. — 376.
Миклухо-Маклай Н. Н. — 841.
Микушевич В. Б. — 958.
Милорадович М. А. — 574.
Мильков В. В. — 208.
Минаков А. Ю. — 784.
Минин К. З. — 347-357, 374, 569, 854.
Мирович В. Я. — 603.
Митулич Д. — 212.
Михаил Федорович Романов — 540.
Михайлов О. Н. — 937.
Михалков Н. С. — 760.

Михалков С. В. — 471, 478-480, 486, 493-495, 497, 506, 812, 951, 986.
Михалков-Кончаловский А. С. — 629, 631.
Мишин В. П. — 802.
Мнишек Марина — 189, 363, 375.
Мокиевский А. В. — 957.
Молдавский Д. М. — 478.
Молешотт Я. — 566.
Монтгомери Б. — 724.
Монтень М. — 270.
Монтескье Ш.-Л. — 737.
Монтолон А. — 680.
Монтолон Ш.-Т. — 680.
Моргентау Г. — 652.
Морозов П. Т. — 398, 922.
Морозов С. — 681-683, 720, 808, 848.
Морозова Ф. П. — 377.
Моруа А. — 251.
Мотовилов Н. А. — 686.
Мотяшов И. П. — 405.
Моцарт В. А. — 116-117, 119.
Моэм С. — 77-79.
Музиль Р. — 991.
Муравенко — 473, 956.
Муравьев-Амурский Н. И. — 690.
Муралов А. И. — 802.
Муромцева В. Н. — 156.
Мусоргский М. П. — 188-189, 609.
Мясников А. С. — 987.
Наг М. — 58-61, 980.
Назаров М. В. — 851, 903, 914, 928.
Назым — 605.
Найман А. Г. — 832.
Налбандян М. — 604.
Наполеон II — 680.
Наполеон — 135-136, 170, 173-174, 218-219, 334, 342, 380, 528, 588-590, 607, 660, 680, 793.
Нарекаци Г. — 667.
Наринский М. М. — 754.
Наседкин В. Ф. — 619.
Небольсин С. А. — 593.
Невельская Е. И. — 690.
Невельской Г. И. — 690.
Неверов А. С. — 399.
Нежданова А. В. — 187.
Неизвестный Э. И. — 994.
Ней М. — 592.
Нейгауз Г. Г. — 189.
Некрасов В. П. — 100.
Некрасов Н. А. — 51, 62, 239, 349, 364, 509, 543, 545.
Немцов Б. Е. — 498, 761-762, 803.
Неру Д. — 811.
Нессельроде К. В. — 584.
Нестеров М. В. — 177, 185, 187, 689-690.
Неупокоева И. Г. — 987.
Нечкина М. В. — 595.
Никандр — 687.
Николаев П. А. — 462-463, 487, 495, 811, 948-950.
Николаева Г. Е. — 104.
Николай (Гурьянов) — 847.
Николай (Ярушевич) — 894.
Николай I — 84, 574, 576-579, 581, 768.
Николай II св. црств. мч. — 400, 737.
Никон (Рождественский) архиепископ — 955.
Никонов А. В. — 504-505.
Нилин П. Ф. — 447.
Нинов А. А. — 100, 106-108.

Ницше Ф. — 170, 385, 838, 926, 993.
Норинский А. М. — 627.
Носов Е. И. — 94, 407, 466-467, 636, 884.
Носов Н. Н. — 489.
Нуйкин А. А. — 617-619, 713.
Оболенские — 807.
Обухова Н. А. — 184-190.
Овидий — 592.
Овруцкий Л. М. — 632.
Овчаренко А. И. — 472-473.
Огнев В. Ф. — 100.
Одоевские — 807.
Озеров В. М. — 495.
Ойстрах Д. Д. — 813.
Окуджава Б. Ш. — 110, 572, 574-575, 581, 583-585, 587-589, 592-598, 609, 730, 816-818, 824, 826, 980.
Окулова-Микешина Т. Н. — 458.
Олбрайт М. — 897.
Орешин П. В. — 619-620.
Оржеховский И. В. — 584.
Орлов А. Ф. — 578, 582.
Орнадский Ф. Н. — 965.
Осипов А. И. — 961.
Осипов В. Н. — 462, 828.
Оскоцкий В. Д. — 462-463, 487, 811, 824.
Осорьина У. У. — см. Иулиания Муромская.
Островский А. Н. — 8, 93, 117, 227, 346-378, 463, 513, 571, 592, 690, 742, 765, 857, 948, 955, 983, 985, 988-989.
Островский Г. Ф. — 376.
Островский Н. А. — 956.
Отрепьев Г. — 362.
Оффенбах Ж. — 895.
Павлов Ю. М. — 993.
Падерин И. Г. — 200, 806.
Палиевский П. В. — 937.
Палицын А. — 361, 731.
Палькин Н. Е. — 449, 455, 480, 506.
Пальме У. — 890.
Панков В. К. — 472.
Панова В. Ф. — 100, 104.
Панферов Ф. И. — 405, 799, 801.
Панчулидзе И. Д. — 594.
Панчулидзе С. Д. — 594.
Парамонов Б. М. — 716-718.
Пастернак Б. Л. — 60, 593, 630, 753.
Паустовский К. Г. — 274-277, 279-281, 284-293, 300.
Пелевин В. О. — 833.
Перов В. Г. — 227, 413.
Перцов В. О. — 478.
Пестель В. И. — 572.
Пестель П. И. — 573-574, 595, 768.
Петелин В. В. — 504.
Петр I — 402, 599, 606, 755, 833, 895, 908.
Петр III — 599-603, 621.
Петров (Катаев) Е. П. — 300.
Петров А. Ф. — 786.
Петрункович М. — 786.
Петруччи Д. — 220.
Печерин В. С. — 404, 565-566, 899.
Пикассо П. — 613.
Пикуль В. С. — 823.
Пимен (Извеков) — 471, 928, 971-972.
Пименов В. Ф. — 469-472, 849.
Пирогов Н. И. — 792.

Пирумова Н. М. — 785.
Писарев Д. И. — 373.
Платон — 193, 838.
Платонов А. П. — 63, 253, 255-256, 258-259, 262, 264-265, 268, 274-277, 287, 394, 444, 484, 519, 615, 637, 644, 797, 925.
Платонов О. А. — 7, 922, 995.
Платонова М. А. — 258.
Плеханов Г. В. — 649, 862.
Плеханов С. Н. — 678.
Плоткин А. А. — 457.
По Э. — 288.
Победоносцев К. П. — 571, 770, 845, 992.
Поволяев В. Д. — 489.
Погодин М. П. — 522, 556.
Пожарский Д. М. — 347, 354, 854.
Поздняк З. С. — 728-729.
Познер В. В. — 853, 890.
Полеванов В. П. — 733-734.
Полевой Б. Н. — 947.
Поликарпов В. Д. — 400.
Поляков Ю. М. — 945.
Померанц Г. С. — 758-759.
Попов Г. Х. — 664, 746, 773.
Поповский М. А. — 715.
Попугаев В. В. — 171, 862.
Потанин В. Ф. — 194.
Приблудный И. — 619.
Пришвин М. М. — 267-274, 293.
Пришвина В. Д. — 274.
Прокофьев А. А. — 104.
Проханов А. А. — 705, 826.
Пруст М. — 241-242, 245, 250-251, 387, 612, 987.
Птолемей Брюхо — 122.
Пугачев Е. — 55, 880.
Пуго Б. К. — 834.
Пустовойт П. Г. — 96.
Путин В. В. — 825, 842, 854, 884-885, 891.
Пушкин А. С. — 55, 60-61, 92, 103, 117, 130, 167, 177, 187, 189, 207, 227, 236, 270, 304, 313, 352, 362, 380-382, 385, 391, 394, 404, 521, 533, 540, 568, 570, 576, 610-611, 613-614, 616, 626, 630, 684, 687, 691, 755, 762-764, 817, 825.
Пятаков Г. Л. — 502, 802.
Рабле Ф. — 122.
Радек К. Б. — 502, 605, 625, 696, 921.
Радзинский Э. С. — 741, 752-753, 756, 895.
Радзиховский Л. А. — 789.
Радимов П. А. — 619.
Раззаков Ф. И. — 982.
Разин С. — 59, 129, 377.
Распутин В. Г. — 192-193, 407, 635-636, 706, 799, 809.
Распутин Г. Е. — 402.
Рассел Б. — 653.
Раушенбах Б. В. — 697-698.
Рафаэль — 116.
Рахманинов С. В. — 183, 189, 193.
Раш К. Б. — 705.
Резник Г. М. — 853.
Рейган Р. — 742, 783, 840, 908, 926.
Ремарк Э.-М. — 484.
Рембрандт Х. — 69, 133.
Рерих Н. К. — 377, 454, 712.
Римский-Корсаков Н. П. — 176, 187.
Робеспьер М. — 325.

Розанов В. В. — 146, 531, 541, 543, 622, 688-689, 877, 932.
Розанова М. В. — 629, 631.
Роллан Р. — 747.
Романовы — 362.
Росляков В. П. — 447.
Ростропович М. Л. — 876.
Рохлин Л. Я. — 819.
Рубцов Н. А. — 687.
Рузвельт Ф. — 723-724.
Рулье К. Ф. — 592-593.
Руминас И. А. — 868.
Руссо Ж.-Ж. — 111, 124.
Рыбаков А. Н. — 799-801, 872, 878.
Рыбакова С. Н. — 893.
Рыков А. И. — 748.
Сад Д. де — 612.
Саймс Д. — 460.
Салтыков-Щедрин М. Е. — 509, 994.
Салтычиха — 119.
Самойлов Д. С. — 611.
Саталкин Г. Н. — 699.
Сафонов Э. И. — 777.
Сахаров А. Д. — 626, 640, 642, 654, 663, 668, 740, 757, 759, 852, 860, 914.
Сбитнев Ю. Н. — 489.
Сванидзе Н. К. — 775.
Свердлов Я. М. — 659, 929.
Светлов М. А. — 497.
Светлова Н. Д. — 797.
Свиридов Н. В. — 468-469.
Севастьянов А. Н. — 815.
Севела Э. — 628-629.
Селезнев Ю. И. — 378-380, 382-383, 385-389, 391-394, 396, 479, 989-990.
Сельвинский И. Л. — 765.
Семанов С. Н. — 462, 479, 731.
Сенека — 135.
Сен-Симон А. — 566.
Серапион Владимирский — 803.
Сергий (Страгородский) — 746, 894.
Сергий Радонежский прп. — 139, 347, 350, 355, 659, 692, 740.
Сидоров В. М. — 454, 712-713.
Сидоров Е. Ю. — 467-468, 474-475.
Сикст IV — 215.
Симонов К. М. — 99-100, 494, 636.
Симонян Э. — 693.
Синицын П. — 940, 944.
Синклер Э. — 639.
Синявский А. Д. — 536, 629-630, 710.
Скобелев М. Д. — 565.
Скотт В. — 513.
Смирнов Н. П. — 624.
Смирнов-Осташвили К. В. — 670.
Смык В. Ф. — 945.
Смык М. — 945.
Сноу Ч. — 754.
Собинов Л. В. — 187.
Соболев Л. С. — 478.
Собчак А. А. — 707, 746, 769, 773-774, 777.
Соколов В. Д. — 469.
Сократ — 102, 128, 688.
Солженицын А. И. — 7, 464-465, 553, 640, 741, 755, 758, 783-784, 786, 795, 797, 809, 819, 828-830, 832, 850,

852, 858, 882, 884, 897, 899-911, 914, 928, 952, 956, 977, 982.
Соловьев В. С. — 165, 171, 622, 687, 689, 714.
Соловьев С. М. — 91, 354, 362, 439, 514, 599-600.
Солоневич И. Л. — 922
Солоухин В. А. — 406-408, 737, 739, 825, 828, 994.
Сорос Д. — 764, 824, 888.
Соснора В. А. — 597-600, 602-603..
Сперанский М. М. — 171, 839.
Спиноза Б. — 128.
Сталин И. В. — 472, 630-631, 641, 648, 672-674, 701, 723-725, 736, 738, 741-755, 758, 760, 766, 778, 788, 798, 801-802, 816, 821, 833, 837-838, 840, 844, 861, 871, 874, 893-896, 901, 909-911, 913, 921, 936, 939, 962, 973, 974, 979, 993, 996.
Станиславский К. С. — 592.
Станкевич Н. В. — 535-536.
Стариков Д. В. — 946, 978.
Старовойтова Г. В. — 769.
Старцев В. И. — 767.
Стельмах М. А. — 104.
Степанова Е. Л. — 212.
Стерлигов Г. Л. — 707.
Стерлигов Д. Л. — 707.
Столыпин П. А. — 839.
Страхов Н. Н. — 384.
Стреляный А. И.
Строков П. С. — 980.
Струве П. Б. — 838.
Стругацкие А. Н., Б. Н. — 300, 583.
Стукалин Б. И. — 462, 502-503.
Суворин А. С. — 807, 955.
Суворов А. В. — 207-208, 377, 587.
Сулейменов О. О. — 610.
Сурганов В. А. — 472-473.
Суриков В. И. — 187, 377
Суровцев Ю. И. — 462-463, 495, 811, 824.
Сусанин И. — 188.
Сутягин А. — 720.
Сучков Б. Л. — 242, 612, 987.
Талаат-паша — 604-605.
Тарковский А. А. — 870.
Тарле Е. В. — 603.
Татищев В. Н. — 573-574.
Твардовская В. А. — 858.
Твардовский А. Т. — 104, 406, 482, 692, 765, 859-860.
Тельпугов В. П. — 475.
Тендряков В. Ф. — 107, 296-297, 299, 417.
Теплов В. В. — 767.
Терский В. — 621.
Тескова А. А. — 616.
Тетенов Н. И. — 940, 966.
Тимирязев К. А. — 20.
Тимофеев Л. И. — 99.
Тимченко С. В. — 956.
Тихонов Н. С. — 873.
Толстая С. А. — 214.
Толстой А. К. — 732.
Толстой Л. Н. — 57, 79-80, 103, 111, 113, 123, 125-126, 155-156, 169-170, 172, 174-176-177, 180, 188, 193, 214-216, 219, 227-228, 235, 252, 273, 290, 300, 304, 313-315, 317-319, 323-324, 326, 332-333, 345, 380, 387,

389, 397, 402-403, 405, 427, 444, 482, 509, 513, 518, 522, 565, 568, 585, 609-610, 657, 688-689, 727, 736, 758, 862, 904, 946-947, 983.
Томашевский Н. Б. — 465-467.
Торез М. — 754.
Торо Г. — 86-87.
Трифонов Ю. В. — 609.
Трифонова Т. К. — 100.
Тростников В. Н. — 758, 846-849.
Троцкий Л. Д. — 21, 467-468, 476, 497, 624, 626, 631, 642, 658-659, 673-674, 704, 742, 745, 753, 859, 870, 884, 895, 908-909, 911, 928, 929, 974.
Трубецкие — 807, 881.
Трубецкой Е. Н. — 880.
Трубецкой С. Е. — 880.
Трубецкой С. П. — 595.
Трумэн Г. — 723, 820.
Трухтанов В. — 116.
Тряпкин Н. И. — 823.
Турбин В. Н. — 946.
Тургенев И. С. — 92, 117, 125, 276, 278, 281, 310, 326, 360, 430, 509, 522, 524, 541, 548, 775.
Турков А. Ю. — 479, 495.
Тухачевский М. Н. — 750.
Тынянов Ю. Н. — 606.
Тэлботт С. — 459, 756, 821.
Тэтчер М. — 839, 926.
Тютчев Ф. И. — 219, 509, 568, 613, 651.
Уайльд О. — 288.
Ульбрихт В. — 811.
Ульянов М. А. — 760.
Урбан А. А. — 99.
Урицкий М. С. — 649, 660.
Урусов Н. — 721.
Успенский Г. И. — 119.
Устинов Д. Ф. — 802.
Устрялов Н. Г. — 366.
Уточкин С. И. — 178.
Ухтомский А. А. — 395.
Уэллс Г. — 838.
Федин К. А. — 99, 104, 929-930.
Федоров Б. Г. — 734.
Федоров С. Н. — 633-634, 790.
Федорова И. Е. — 790.
Федотов Г. П. — 689.
Фейербах Л. — 118.
Фейхтвангер Л. — 502, 750.
Феодор (Пономарев) — 954-974, 996.
Феодор Иоаннович — 362, 732.
Феодосий Астраханский свт. — 843.
Филарет (Дроздов) свт. — 376.
Филатов В. П. — 222-223.
Филипп II — 323.
Филофей — 350, 879.
Фирсов В. Н. — 505.
Флиер Я. В. — 813.
Флобер Г. — 250.
Флоренский П. А. — 510, 542.
Флоровский Г. В. — 961.
Фома Аквинский — 687.
Фомичев В. Т. — 705, 807.
Фонвизин Д. И. — 540, 603.
Форман — 222.
Фохт К. — 566.
Франс А. — 139, 273.
Фрейд З. — 385-386.

Френкель А. А. — 631.
Френкель Н. А. — 631.
Фридман М. М. — 839, 906.
Фридрих II — 599.
Фролов И. Т. — 654.
Фурье Ф. — 566.
Хазанов Г. В. — 763, 844.
Хайдеггер М. — 482.
Хайек Ф. фон — 925.
Ханжин В. В. — 66, 69, 72, 76.
Хворостинин И. А. — 404, 565.
Хлебников В. — 212.
Хлебников П. — 886.
Ходасевич В. Ф. — 658.
Хомяков А. С. — 524-527, 531-534, 538-539, 548, 553, 568, 656, 680, 688, 808, 947, 954.
Хомякова К. М. — 526, 533, 539.
Хонеккер Э. — 722.
Хрущев Н. С. — 458, 633, 744, 750-751, 755, 881, 895, 909-910.
Хусейн С. — 900.
Цветаева М. И. — 613-617, 620, 895.
Цезарь — 575.
Цеткин К. — 925.
Цигуро В. — 721.
Циолковский К. Э. — 266.
Ципко А. С. — 660, 888, 921-924, 952.
Цицерон — 582.
Цукерман Я. И. — 814-815.
Цыпарев — 749.
Чаадаев П. Я. — 82-89, 119, 404, 585, 662.
Чайковский П. И. — 609.
Чаковский А. Б. — 946-948, 951.
Чалмаев В. А. — 860, 982.
Чапаев В. И. — 441.
Черненко К. У. — 456, 812, 986.
Черноуцан И. С. — 472.
Чернышевский Н. Г. — 522, 862.
Черняев А. С. — 459.
Черняев М. Г. — 569.
Черчилль У. — 723-725, 738, 752, 771-772, 837, 840-841, 926.
Чехов А. П. — 33, 57, 101, 113, 117-118, 218, 253, 293, 609.
Чикин В. В. — 481.
Чудакова М. О. — 763.
Чуев Ф. И. — 813.
Чулаки М. И. — 657, 660.
Шаевич А. С. — 844.
Шаккум М. Л. — 775.
Шаламов В. Т. — 700, 759, 798, 893.
Шаляпин Ф. И. — 186-187.
Шамир И. — 929.
Шаталин С. С. — 653.
Шатров М. Ф. — 627, 673-674.
Шафаревич И. Р. — 637-639, 643, 646-648, 650, 809, 825, 828, 852.
Шахназаров Г. Х. — 458, 653, 655.
Шаховская З. А. — 654.
Шаховские — 807.
Шаховской Д. И. — 785.
Шахрай С. М. — 734.
Шварцкопф Н. — 702.
Швыдкой М. Е. — 825, 873, 889.
Шеварднадзе Э. А. — 709.

Шевырев С. П. — 522, 532-533.
Шевяков Л. Д. — 644.
Шекспир У. — 215, 226.
Шеллинг Ф. — 528.
Шенин О. С. — 732.
Шергин Б. В. — 48-49.
Шергин В. В. — 48.
Шестов А. А. — 802.
Шиллер И. — 288.
Шиманов Г. М. — 903-904.
Шипов (Зимин) М. И. — 585.
Шипов Д. Н. — 785.
Шипов Я. А. — 965-966.
Ширак Ж. — 774.
Широков А. — 983.
Ширяевец А. В. — 619.
Шишкин И. И. — 520.
Шишков В. Я. — 930.
Шишкова К. М. — 930.
Школьник Л. Б. — 652.
Шмелев И. С. — 907.
Шмелев Н. П. — 626, 663, 764.
Шнитке А. Г. — 816, 818.
Шолохов М. А. — 9, 104, 345, 397, 405, 456-458, 470, 473, 481, 751, 758, 904, 925, 988.
Шостакович Д. Д. — 700-702.
Шпенглер О. — 924.
Шредер Г. — 891.
Штирнер М. — 85.
Шуберт Ф. — 196.
Шуйский В. И. — 361-362, 364-365, 375.
Шульпин И. В. — 508.
Шульц — 722.
Шумейко В. Ф. — 734.
Шундик Н. Е. — 497.
Щепины — 807.
Щербатов М. М. — 600.
Щипачев С. П. — 780.
Эйзенхауэр Д. — 724.
Эйнштейн А. — 298, 653-655, 796-797.
Эйфман Б. Я. — 816.
Экзюпери А. — 895.
Эккерман И.-П. — 679-680.
Эльяшевич А. П. — 99.
Эмин Г. — 604.
Энвер — 605.
Эренбург И. Г. — 413, 700, 716, 718, 727, 888-889.
Эрхард Л. — 735, 839.
Эткинд Е. Г. — 995.
Эфрон С. Я. — 613.
Эфрос А. В. — 116.
Югов А. К. — 686.
Юзефович Б. — 658.
Юрий Долгорукий — 372.
Ющенко В. А. — 956.
Явлинский Г. А. — 834.
Ягода Г. Г. — 631.
Яковлев А. Н. — 7, 461, 469, 665-666, 672, 708, 751, 755, 848, 860-861, 868, 882, 895, 947, 977, 982, 988.
Яковлев Е. В. — 634, 774.
Яковлев Н. Н. — 332.
Якубович Л. А. — 595.
Янов А. Л. — 6-7, 851, 952, 977-978.
Ярослав Мудрый — 803.
Яшин А. Я. — 406.
Scot — 658.

Асахи — 986.
Безбожник — 781.
В мире книг — 705.
Вашингтон пост — 666.
Вече — 462, 995.
Волга — 8, 449, 456, 470, 479-480, 483, 490, 492, 506, 812, 857, 949, 985.
Вопросы истории — 786.
Вопросы литературы — 237, 858, 948, 981, 989.
Воронежские письма — 784.
Голодовка — 666-667.
День поэзии — 58.
День — 562-563, 565-567.
День — 705.
Ди Вельтвохе — 640.
Долгожитель — 927.
Дружба народов — 653.
Журнал Московской патриархии — 677.
Завтра — 850, 869, 882.
Знамя — 611, 626, 632, 664, 764, 869, 872, 874, 882, 989.
Известия ЦК КПСС — 798.
Известия — 460-461, 468, 704-705, 707, 823.
Книжное обозрение — 657.
Колхозная постройка — 829.
Коммунист — 655, 664, 734, 768, 824, 888.
Комсомолия — 457.
Комсомольская правда — 453, 658, 660, 668-669, 970, 983.
Кубань — 503, 621, 705, 778.
Литература и жизнь — 676, 759, 873.
Литературная газета — 7-8, 115, 127, 221, 418, 463, 480, 487, 505, 656, 660, 662, 665-666, 668, 676, 705, 708, 824, 828, 878, 912, 921, 923, 945-952, 986, 989, 995.
Литературная Россия — 463, 480, 487, 493, 503, 505-506, 654, 656, 660, 663, 676, 698, 759, 768, 777, 995.
Литературное обозрение — 612, 986.
Молодая гвардия — 6, 58, 451-452, 475, 478, 612, 626, 649, 708, 717, 845, 847, 849, 851-852, 858-860, 882, 903, 976-977, 979-981.
Молот — 457, 497.
Москва — 405, 455, 468, 787, 828, 846.
Москва — 562.
Москвич — 562.
Московские новости — 626, 634, 637, 707, 774-775, 992.
Московский комсомолец — 628, 654, 666.
Московский литератор — 460, 705.
Наука и религия — 299, 417.
Наш современник — 397, 449, 626, 696, 807, 822, 926, 937, 981, 494.
НГ — Exlibris — 764.
НГ — Наука — 796.
НГ — Религии — 796, 878.
НГ — Сценарии — 803.
Независимая газета — 716, 756, 764, 772, 774-775, 796, 799, 803, 805, 815-816, 878, 914, 924.
Новая газета — 878.
Новая жизнь — 666.
Новая и новейшая история — 754.

Новая книга России — 847.
Новый мир — 7, 66, 77, 147, 498, 617, 649, 687, 700, 757-758, 764-765, 947, 824, 826, 858-860, 980, 982.
Нью-Йорк таймс — 723.
Огонек — 609, 621-622, 625-627, 633, 640, 656, 667, 705, 708, 759, 859, 895, 980, 983.
Отечественная история — 751.
Памятники Отечества — 988.
По заветам Ленина — 621.
Правда — 129, 463, 500, 629, 654, 669, 704, 706, 730, 734, 823-824.
Православная беседа — 960.
Православная Москва — 913, 971-972.
Простор — 492.
Пульс Тушина — 705, 808.
Роман-журнал XXI век — 955.
Российская газета — 755.
Российская Федерация сегодня — 912.
Российский писатель — 991.
Русский вестник — 846, 848, 850, 895.
Русское самосознание — 940, 966.
Русское слово — 373.
Сельская жизнь — 466.
Синтаксис — 629.
Сионский вестник — 780.
Славянский вестник — 706.
Слово — 458, 673, 705.
Советская культура — 623, 652, 654.
Советская Россия — 116, 459, 461, 465, 474, 503, 666, 698, 886, 891, 913, 929, 969.
Совьет экономи — 625-626.
Театр — 471.
Троицкие листки — 955.
Учительская газета — 989.
Форбс — 886.
Человек и закон — 462.
Шпигель — 901, 908-909.
Штурм — 788.
Юность — 81, 89, 657, 824, 830, 947, 980-981.

Именной указатель составил
Д. Орлов

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 5

ЧАСТЬ I

ПОЧВЕННОСТЬ

ДРУЗЬЯ И ВРАГИ
(глава из книги «Роман Л. Леонова ”Русский лес”») 10
ЧТОБЫ ПОБЕДИЛО ЖИВОЕ 45
ПОЭТ ПОИСТИНЕ НАРОДНЫЙ 54
ОТВЕТ НОРВЕЖСКОМУ КРИТИКУ 58
ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ ЧЕЛОВЕК 63
ЛИЧНОСТЬ ИСТИННАЯ И ЛИЧНОСТЬ МНИМАЯ 77
ТВОРЧЕСКОЕ И МЕРТВОЕ 89
ПРОСВЕЩЕННОЕ МЕЩАНСТВО 109
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗМ» И «НАДОБНОСТЬ
В ПОНЯТИЯХ» 124
БОЛЬ ТВОРЧЕСТВА И СЛОВЕСНОЕ
САМОДОВОЛЬСТВО 130
БЛЕСТИНКА НАСЛЕДИЯ 157
ВЕЧНОСТЬ КРАСОТЫ 169
«МНЕ ВСЕ НАДО РОДНОЕ» 176
ЗВУЧАЩЕЕ ЧУДО 184
ЦЕННОСТИ НАРОДНОГО ХАРАКТЕРА
(заметки о книгах) 190
«НА ВЫСОТАХ СОЗДАНИЯ...» 208

ЧАСТЬ II

В СРАЖЕНИИ И ЛЮБВИ

ПРАВДА ЖИЗНИ И ЕЕ «ПРЕВРАЩЕНИЯ» 224
ОБРАЗ И СХЕМА 252
МЕРА ХУДОЖЕСТВЕННОСТИ 300
«ТИХИЙ ДОН» И РУССКАЯ КЛАССИКА 317

«СПОДОБИТЬСЯ РОССИИ БЫТЬ СЛУГОЮ»
(глава из книги «А. Н. Островский») 346
«НАЙТИ В ЧЕЛОВЕКЕ ЧЕЛОВЕКА» 378
ОСВОБОЖДЕНИЕ 397
ОСВОБОЖДЕНИЕ
(глава из книги «В сражении и любви») 449
ОПЛОТ (семья Аксаковых) 509
ИСТОРИЯ И ЕЕ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВАРИАНТЫ» 572
ЧЕЛНОЧНЫЕ ПЕРЕСТРОЙЩИКИ
(отрывок из статьи «Пути преображения») 621
РЕВОЛЮЦИЯ: БОЛЕЗНЬ ИЛИ ИСЦЕЛЕНИЕ?
(круглый стол в газете «Московские новости») 637
ИСТОКИ «НОВОГО МЫШЛЕНИЯ» 651
В СРАЖЕНИИ И ЛЮБВИ 656

ЧАСТЬ III

ТВЕРДЫНЯ ДУХА

ПРАВОСЛАВИЕ И РОССИЙСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ 686
СЛЕПОТА 693
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА И ВЕЛИКОЕ ПОРАЖЕНИЕ 720
ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРСТВЕННИК
(беседа с Виктором Кожемяко) 741
ПЛАТА 757
ИЗ-ПОД РУИН 766
КТО ЖЕ СЕГОДНЯ ФАШИСТ НА САМОМ ДЕЛЕ 809
«УСТУПИ МЕСТО ДЕЯНИЮ...»
(беседа с Владимиром Бондаренко) 822
КОНСЕРВАТИВНАЯ НАКИПЬ 835
БОРЬБА 857
ПАМЯТЬ ВОЙНЫ 864
О НАШЕМ НЕВЕДЕНИИ 897
ПУТИ ПРЯМЫЕ И – ЛУКАВЫЕ 915
ДЫХАНИЕ ЛЮБВИ И СТРАДАНИЯ 929
ИЗ ПАМЯТНОГО. ПОДАРОК ОТ БОГА 937
ДЕЛО ДАЛЕКО НЕ ЧАСТНОЕ 945
«ДОРОГОЙ ОТЕЦ ФЕОДОР!»
(из переписки с о. Феодором, монахом Свято-Троицкого
Александро-Свирского мужского монастыря) 954

КОММЕНТАРИИ 976
ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 997

Автономная некоммерческая организация Институт русской цивилизации создана в октябре 2003 г. для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева). Предшественником Института был Научно-исследовательский и издательский центр «Энциклопедия русской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований, конференций, семинаров и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала XXI века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 20-томной «Энциклопедии русского народа» (вышло 10 томов), а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей, отражающих главные вехи в развитии русского национального мировоззрения и противостояния силам мирового зла, русофобии и расизма (вышло более 40 томов).

Редактор Д. В. Орлов
Корректор О. Ю. Акакиева
Компьютерная верстка Д. В. Явно
Институт русской цивилизации Тел.: 8-495-605-25-35.

Подписано в печать 11.08.2010 г. Формат 84 x 108 1/32.
Гарнитура «Times». Объем 48,8 изд. л.
Печать офсетная. Заказ №
Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ ВЫПУСКАЕТ БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ РУССКОГО НАРОДА

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация *(вышел)*
Русское Православие в трех томах *(вышли)*
Русское государство *(вышел)*
Русский патриотизм *(вышел)*
Русское мировоззрение *(вышел)*
Русский образ жизни *(вышел)*
Русская география
Русское хозяйство *(вышел)*
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература *(вышел)*
Русское искусство
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организации. Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания.

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения.

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.

ВЫШЛИ В СВЕТ КНИГИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ИНСТИТУТОМ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.

СЕРИЯ «РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»

Ильин И. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.

Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.

СЕРИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

Лебедев С. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: Философия и литература, 720 с.
Олейников А. Л. Политическая экономия национального хозяйства
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII – начало XXI века), 688 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: Философия и литература, 720 с.

СЕРИЯ «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ РОССИИ»

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.

Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в книжной лавке «Русского вестника» (Покровский бул., 18/15, тел. 8(495)-916-29-41), в книгоиздательской фирме «Крафт+» (пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)